# Мишель МОНТЕНЬ

# ОПЫТЫ

## ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ В ОДНОМ ТОМЕ

*Классика мировой литературы*



МОЯ БОЛЬШАЯ КНИГА

# ОПЫТЫ

## Мишель Монтень

Аннотация
Мишель МОНТЕНЬ. ОПЫТЫ. (Полное издание в одном томе)
К читателю
КНИГА I
Глава I. Различными средствами можно достичь одного и того же
Глава II. О скорби
Глава III. Наши чувства устремляются за пределы нашего «я»
Глава IV. О том, что страсти души изливаются на воображаемые предметы, когда ей недостает настоящих
Глава V. Вправе ли комендант осажденной крепости выходить из нее для переговоров с противником?
Глава VI. Час переговоров — опасный час
Глава VII. О том, что наши намерения являются судьями наших поступков
Глава VIII. О праздности
Глава IX. О лжецах
Глава X. О речи живой и о речи медлительной

Глава XI. О предсказаниях
Глава XII. О стойкости
Глава XIII. Церемониал при встрече царствующих особ
Глава XIV. О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них
Глава XV. За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание
Глава XVI. О наказании за трусость
Глава XVII. Об образе действий некоторых послов
Глава XVIII. О страхе
Глава XIX. О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер
Глава XX. О том, что философствовать — это значит учиться умирать
Глава XXI. О силе нашего воображения
Глава XXII. Выгода одного — ущерб для другого
Глава XXIII. О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы
Глава XXIV. При одних и тех же намерениях воспоследовать может разное
Глава XXV. О педантизме
Глава XXVI. О воспитании детей

Глава XXVII. Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности
Глава XXVIII. О дружбе
Глава XXIX. Двадцать девять сонетов Этьена де Ла Боэси
Глава XXX. Об умеренности[1] [broken link: #na30_1]
Глава XXXI. О каннибалах
Глава XXXII. О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшею осмотрительностью
Глава XXXIII. О том, как ценой жизни убегают от наслаждений
Глава XXXIV. Судьба нередко поступает разумно[1] [broken link: #na34_1]
Глава XXXV. Об одном упущении в наших порядках
Глава XXXVI. Об обычае носить одежду
Глава XXXVII. О Катоне Младшем
Глава XXXVIII. О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же
Глава XXXIX. Об уединении
Глава XL. Рассуждение о Цицероне
Глава XLI. О нежелании уступать свою славу
Глава XLII. О существующем среди нас неравенстве[1] [broken link: #na42_1]

Глава XLIII. О законах против роскоши
Глава XLIV. О сне
Глава XLV. О битве при Дре
Глава XLVI. Об именах
Глава XLVII. О ненадежности наших суждений
Глава XLVIII. О боевых конях
Глава XLIX. О старинных обычаях
Глава L. О Демокрите и Гераклите
Глава LI. О суетности слов
Глава LII. О бережливости древних
Глава LIII. Об одном изречении Цезаря
Глава LIV. О суетных ухищрениях
Глава LV. О запахах
Глава LVI. О молитвах[1] [broken link: #na56_1]
Глава LVII. О возрасте
КНИГА II
Глава I. О непостоянстве наших поступков
Глава II. О пьянстве
Глава III. Обычай острова Кеи[1] [broken link: #nb3_1]
Глава IV. Дела — до завтра!
Глава V. О совести
Глава VI. Об упражнении
Глава VII. О почетных наградах
Глава VIII. О родительской любви
Глава IX. О парфянском вооружении

Глава X. О книгах
Глава XI. О жестокости
Глава XII. Апология Раймунда Сабундского[1] [broken link: #nb12_1]
Глава XIII. О том, как надо судить о поведении человека пред лицом смерти
Глава XIV. О том, что наш дух препятствует себе самому
Глава XV. О том, что трудности распаляют наши желания
Глава XVI. О славе
Глава XVII. О самомнении
Глава XVIII. Об изобличении во лжи
Глава XIX. О свободе совести[1] [broken link: #nb19_1]
Глава XX. Мы неспособны к беспримесному наслаждению
Глава XXI. Против безделья
Глава XXII. О почтовой гоньбе
Глава XXIII. О дурных средствах, служащих благой цели
Глава XXIV. О величии римлян
Глава XXV. О том, что не следует прикидываться больным
Глава XXVI. О большом пальце руки
Глава XXVII. Трусость — мать жестокости

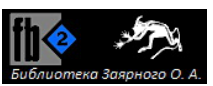
Глава XXVIII. Всякому овощу свое время
Глава XXIX. О добродетели
Глава XXX. Об одном уродце[1] [broken link: #nb30_1]
Глава XXXI. О гневе
Глава XXXII. В защиту Сенеки и Плутарха
Глава XXXIII. История Спурины
Глава XXXIV. Замечания о способах ведения войны Юлия Цезаря
Глава XXXV. О трех истинно хороших женщинах
Глава XXXVI. О трех самых выдающихся людях
Глава XXXVII. О сходстве детей с родителями
КНИГА III
Глава I. О полезном и честном
Глава II. О раскаянии
Глава III. О трех видах общения
Глава IV. Об отвлечении
Глава V. О стихах Вергилия
Глава VI. О средствах передвижения
Глава VII. О стеснительности высокого положения
Глава VIII. Об искусстве беседы
Глава IX. О суетности
Глава X. О том, что нужно владеть своей волей
Глава XI. О хромых

Глава XII. О физиогномии
Глава XIII. Об опыте

## Аннотация

**Мишель Монтень** (1533–1592) — французский писатель и философ-гуманист эпохи Возрождения, оказавший большое влияние на мировую литературу.

В книге «**Опыты**» — тончайшие наблюдения Монтеня над тайнами человеческой души, образные, с особенным французским юмором эссе на разные темы: об управлении государством, войнах, особенностях поведения и отношений между людьми («О жестокости», «О страхе», «О пьянстве», «О свободе совести»). Афоризмы на все случаи жизни и повод к размышлению — в знаменитых «Опытах».



# Мишель МОНТЕНЬ
# ОПЫТЫ
***(Полное издание в одном томе)***



# К читателю

Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь как

живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и по-сейчас еще наслаждаются сладостной свободою изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотою нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги — я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!

***Де Монтень.***
***Первого марта тысяча пятьсот восьмидесятого года.***

# КНИГА I



## Глава I
## Различными средствами можно достичь одного и того же

Если мы оскорбили кого-нибудь и он, собираясь отметить нам, волен поступить с нами по своему усмотрению, то самый обычный способ смягчить его сердце — это растрогать его своею покорностью и вызвать в нем чувство жалости и сострадания. И, однако, отвага и твердость — средства прямо противоположные — оказывали порою то же самое действие.

Эдуард, принц Уэльский[1] [broken link: #na1_1], тот самый, который столь долго держал в своей власти нашу Гиень[2] [broken link: #na1_2], человек, чей характер и чья судьба отмечены многими чертами величия, будучи оскорблен лиможцами и захватив силой их город, оставался глух к воплям народа, женщин и детей, обреченных на бойню, моливших его о пощаде и валявшихся у него в ногах, пока, подвигаясь все глубже в город, он не наткнулся на трех французов-дворян, которые с невиданной храбростью, одни сдерживали натиск его победоносного войска. Изумление, вы-

званное в нем зрелищем столь исключительной доблести, и уважение к ней притупили острие его гнева и, начав с этих трех, он пощадил затем и остальных горожан.

Скандербег[3] [broken link: #na1_3], властитель Эпира, погнался как-то за одним из своих солдат, чтобы убить его; тот, после тщетных попыток смягчить его гнев униженными мольбами о пощаде, решился в последний момент встретить его со шпагой в руке. Эта решимость солдата внезапно охладила ярость его начальника, который, увидев, что солдат ведет себя достойным уважения образом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие о поразительной физической силе и храбрости этого государя, могли бы истолковать настоящий пример совершенно иначе.

Император Конрад III, осадив Вельфа, герцога Баварского, не пожелал ни в чем пойти на уступки, хотя осажденные готовы были смириться с самыми позорными и унизительными условиями, и согласился только на то, чтобы дамам благородного звания, запертым в городе вместе с герцогом, позволено было выйти оттуда пешком, сохранив в неприкосновенности свою честь и унося на себе все, что они смогут взять. Они же, руководясь великодушным порывом,

решили водрузить на свои плечи мужей, детей и самого герцога. Императора до такой степени восхитил их благородный и смелый поступок, что он заплакал от умиления; в нем погасло пламя непримиримой и смертельной вражды к побежденному герцогу, и с этой поры он стал человечнее относиться и к нему и к его подданным[4] [broken link: #na1_4].

На меня одинаково легко могли бы воздействовать и первый и второй способы. Мне свойственна чрезвычайная склонность к милосердию и снисходительности. И эта склонность во мне настолько сильна, что меня, как кажется, скорее могло бы обезоружить сострадание, чем уважение. А между тем, для стоиков жалость есть чувство, достойное осуждения; они хотят, чтобы, помогая несчастным, мы в то же время не размягчались и не испытывали сострадания к ним.

Итак, приведенные мною примеры кажутся мне весьма убедительными; ведь они показывают нам души, которые, испытав на себе воздействие обоих названных средств, остались неколебимыми перед первым из них и не устояли перед вторым. В общем, можно вывести заключение, что открывать свое сердце состраданию свойственно людям снисходительным,

благодушным и мягким, откуда проистекает, что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковы женщины, дети и простолюдины. Напротив, оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения перед святынею доблести есть проявление души сильной и непреклонной, обожающей мужественную твердость, а также упорной. Впрочем, на души менее благородные то же действие могут оказывать изумление и восхищение. Пример тому — фиванский народ, который, учинив суд над своими военачальниками и угрожая им смертью за то, что они продолжали выполнять свои обязанности по истечении предписанного и предуказанного им срока, с трудом оправдал Пелопида[5] [broken link: #na1_5], согнувшегося под бременем обвинений и добивавшегося помилования лишь смиренными просьбами и мольбами; с другой стороны, когда дело дошло до Эпаминонда[6] [broken link: #na1_6], красноречиво обрисовавшего свои многочисленные заслуги и с гордостью и высокомерным видом попрекавшего ими сограждан, у того же народа не хватило духа взяться за баллотировочные шары и, расходясь с собрания, люди всячески восхваляли величие его души и бесстрашие.

Дионисий Старший[7] [broken link: #na1_7], взяв после продолжительных и напряженных усилий Регий[8] [broken link: #na1_8] и захватив в нем вражеского военачальника Фотона, человека высокой доблести, упорно защищавшего город, пожелал показать на нем трагический пример мести. Сначала он рассказал ему, как за день до этого он велел утопить его сына и всех его родственников. На это Фитон ответил, что они, стало быть, обрели свое счастье на день раньше его. Затем Дионисий велел сорвать с него платье, отдать палачам и водить по городу, жестоко и позорно бичуя и, сверх того, понося гнусными и оскорбительными словами. Фитон, однако, стойко сохранял твердость и присутствие духа; идя с гордым и независимым видом, он напоминал громким голосом, что умирает за благородное и правое дело, за то, что не пожелал предать тирану родную страну, и грозил последнему близкой карой богов. Дионисий, прочитав в глазах своих воинов, что похвальба поверженного врага и его презрение к их вождю и его триумфу не только не возмущают их, но что, напротив, изумленные столь редким бесстрашием, они начинают проникаться сочувствием к пленнику, готовы поднять мятеж и даже вырвать его из рук стражи,

велел прекратить это мучительство и тайком утопить его в море.

Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразное представление. Вот перед нами Помпеи, даровавший пощаду всему городу мамертинцев[9] [broken link: #na1_9], на которых он перед тем был сильно разгневан, единственно из уважения к добродетелям и великодушию одного их согражданина — Зенона[10] [broken link: #na1_10]; последний взял на себя бремя общей вины и просил только о единственной милости: чтобы наказание понес он один. С другой стороны, человек, который оказал Сулле гостеприимство, проявив подобную добродетель в Перузии[11] [broken link: #na1_11], нисколько не помог этим ни себе ни другим.

А вот нечто совсем противоположное моим предыдущим примерам. Александр, превосходящий храбростью всех когда-либо живших на свете и обычно столь милостивый к побежденным врагам, завладев после величайших усилий городом Газой[12] [broken link: #na1_12], наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, поразительное искусство и доблесть которого

он имел возможность не раз испытать во время осады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом, весь израненный и истекающий кровью, Бетис один продолжал еще биться, окруженный толпой македонян, теснивших его. Александр, уязвленный тем, что победа досталась ему столь дорогою ценой, — ибо, помимо больших потерь в его войске, его самого только что дважды ранили, — крикнул ему: «Ты умрешь, Бетис, не так, как хотел бы. Знай: тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можно придумать для пленника». Бетис не только сохранял полную невозмутимость, но больше того, с вызывающим и надменным видом молча внимал этим угрозам. Тогда Александр, выведенный из себя его гордым и упорным молчанием, продолжал: «Преклонил ли он колени, слетела ли с его уст хоть одна-единственная мольба? Но поверь мне, я преодолею твое безмолвие и, если я не могу исторгнуть из тебя слово, то исторгну хотя бы стоны». И распаляясь все больше и больше, он велел проколоть Бетису пятки и, привязав его к колеснице, волочить за нею живым, раздирая, таким образом, и уродуя его тело. Случилось ли это из-за того, что Александр утратил уважение к доблести, так как она была для него делом

привычным и не вызывала в нем восхищения? Или быть может, он настолько высоко ценил собственную, что не мог с высоты своего величия видеть в другом нечто подобное, не испытывая ревнивого чувства? Или же свойственная ему от природы безудержность гнева не могла стерпеть чьего-либо сопротивления? И, действительно, если бы она могла быть обуздана, она была бы обуздана, надо полагать, при взятии и разорении Фив[13] [broken link: #na1_13], когда у него на глазах было самым безжалостным образом истреблено столько отважных людей, потерявших все и лишенных возможности защищаться. Ведь тогда по его приказу было убито добрых шесть тысяч, причем никого из них не видели бегущим или умоляющим о пощаде; напротив, всякий, бросаясь из стороны в сторону, искал случая столкнуться на улице с врагом-победителем, навлекая на себя таким путем почетную смерть. Не было никого, кто бы, даже изнемогая от ран, не пытался из последних сил отметить за себя и во всеоружии отчаянья найти утешение в том, что он продает свою жизнь ценою жизни кого-нибудь из неприятелей. Их доблесть, однако, не породила в нем никакого сочувствия, и не хватило целого дня, чтобы утолить его жажду мщения.

Эта резня продолжалась до тех пор, пока не пролилась последняя капля крови; пощажены были лишь те, кто не брался за оружие, а именно: дети, старики, женщины, дабы доставить победителю тридцать тысяч рабов.

## Глава II
## О скорби

Я принадлежу к числу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я не люблю и не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает его исключительным почитанием. В его одеяние обряжают мудрость, добродетель, совесть — чудовищный и нелепый наряд! Итальянцы гораздо удачнее окрестили этим же словом коварство и злобу. Ведь это — чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное. Стоики воспрещают мудрецу предаваться ему.

Существует рассказ, что Псамменит, царь египетский, потерпев поражение и попав в плен к Камбизу[1] [broken link: #na2_1], царю персидскому, увидел свою дочь, также ставшую пленницей, когда она, посланная за водой, проходила мимо него в одеждах рабыни. И хотя все друзья его, стоявшие тут же, плакали и громко стенали, сам он остался невозмутимо спокойным и, вперив глаза в землю, не промолвил ни слова; то же самообладание сохранил он и тогда, когда увидел, как его

сына ведут на казнь. Заметив, однако, одного из своих приближенных в толпе прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове и выражать крайнюю скорбь[2] [broken link: #na2_2].

Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из наших вельмож[3] [broken link: #na2_3]. Находясь в Триенте, он получил известие о кончине своего старшего брата, и притом того, кто был опорою и гордостью всего рода; спустя некоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего также предметом его надежд. Выдержав оба эти удара с примерною твердостью, он по прошествии нескольких дней, когда умер один из его приближенных, был сломлен этим несчастьем и, утратив душевную твердость, предался горю и отчаянью, что подало некоторым основание думать, будто он был задет за живое лишь этим последним потрясением. В действительности, однако, это произошло оттого, что для скорби, которая заполняла и захлестывала его, достаточно было еще нескольких капель, чтобы прорвать преграды его терпения.

Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную выше историю, не будь к ней добавления, в котором приводится ответ Псамменита Камбизу, пожелавшему узнать,

почему, оставаясь безучастным к горькой доле сына и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одного из его друзей. «Оттого, — сказал Псамменит, — что лишь это последнее огорчение может излиться в слезах, тогда как для горя, которое причинили мне два первых удара, не существует способа выражения».

Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приеме того древнего живописца[4] [broken link: #na2_4], который, стремясь изобразить скорбь присутствующих при заклании Ифигении сообразно тому, насколько каждого из них трогала гибель этой прелестной, ни в чем не повинной девушки, достиг в этом отношении предела возможностей своего мастерства; дойдя, однако, до отца девушки, он нарисовал его с закрытым лицом, как бы давая этим понять, что такую степень отчаянья выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтами вымысел, будто несчастная мать Ниобея[5] [broken link: #na2_5], потеряв сначала семерых сыновей, а затем столько же дочерей и не выдержав стольких утрат, в конце концов превратилась в скалу —

*Diriguisse malis.[6] [broken link: #na2_6]*

Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухое оцепенение, которое овладевает нами, когда нас одолевают несчастья, превосходящие наши силы.

И, действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений; нечто подобное случается с нами под свежим впечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях, — а некоторое время спустя, разразившись, наконец, слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя легче и свободнее.

> *Et via vix tandem voci laxata dolore est.[7] [broken link: #na2_7]*

Во время войны короля Фердинанда со вдовою венгерского короля Иоанна, в битве при Буде[8] [broken link: #na2_8], немецкий военачальник Рейшах, увидев вынесенное из схватки тело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменною храбростью, пожалел о нем вместе со всеми; полюбопытствовав вместе с остальными, кто же все-таки этот всадник, он, после того как

с убитого сняли доспехи, обнаружил, что это его собственный сын. И в то время, как все вокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы; выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимся, прикованным к мертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов[9] [broken link: #na2_9], и он, оцепенев, не пал замертво наземь.

> *Chi puo dir com'egli arde, è in picciol fuoco.[10] [broken link: #na2_10]*

Говорят влюбленные, желая изобразить терзания страсти:

> *misero quod omnes*
> *Eripit sensus mihi. Nam simul te,*
> *Lesbia, aspexi, nihil est super mi*
> *Quod loquar amens.*
> *Lingua sed torpet, tenuis sub artus*
> *Flamma dimanat, sonitu suopte*
> *Tinniunt aures, gemina teguntur*
> *Lumina nocte.[11] [broken link: #na2_11]*

Таким-то образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах; наша

душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.

Отсюда и рождается иной раз неожиданное изнеможение, так несвоевременно овладевающее влюбленными, та ледяная холодность, которая охватывает их по причине чрезмерной пылкости, в самый разгар наслаждений. Всякая страсть, которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.

> *Curae leves loquuntur, ingentes stupent.[12] [broken link: #na2_12]*

Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас.

> *Ut me conspexit venientem, et Troia circum*
>
> *Arma amens vidit, magnis exterrita monstris,*
>
> *Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,*
>
> *Labitur, et longo vix tandem tempore fatur.[13] [broken link: #na2_13]*

Кроме той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына, возвратившегося после поражения при Каннах[14] [broken link: #na2_14], кроме Софокла и тирана Дионисия, скончавшихся также от радости, кроме, наконец,

Тальвы[15] [broken link: #na2_15], умершего на острове Корсике по прочтении письма, извещавшего о дарованных ему римским сенатом почестях, мы располагаем примером, относящимся и к нашему веку: так, папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего он так страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой и вскоре умер[16] [broken link: #na2_16]. И чтобы привести еще более примечательное свидетельство человеческой суетности, укажем на один случай, отмеченный древними, а именно, что Диодор Диалектик[17] [broken link: #na2_17] умер во время ученого спора, так как испытал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразить выставленный против него аргумент.

Что до меня, то я не слишком подвержен подобным неистовствам страсти. Меня не так-то легко увлечь — такова уж моя природа; к тому же, благодаря постоянному размышлению, я с каждым днем все более черствею и закаляюсь.

## Глава III
## Наши чувства устремляются за пределы нашего «я»

Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему и учат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять, — ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое, — затрагивают одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений, если только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то вовне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. Calamitosus est animus futuri anxius.[1] [broken link: #na3_1]

Вот великая заповедь, которую часто приводит

Платон: «Делай свое дело и познай самого себя»[2] [broken link: #na3_2]. Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себе и вторую половину ее и, таким образом, охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что прежде всего он должен познать, что он такое и на что он способен. Кто достаточно знает себя, тот не посчитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач. Ut stultitia, etsi adepta est quod concupivit nunquam se tamen satis consecutam putat: sic sapienta semper eo contenta est quod adest, neque eam unquam sui poenitet.[3] [broken link: #na3_3]

Эпикур считает, что мудрец не должен предугадывать будущее и тревожиться о нем.

Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти. Они — собратья законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобы оно обрело ее над их добрым именем и наследственным достоянием их преемников: ведь и то и другое мы нередко ценим

дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, что к его памяти относятся точно так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покорятся всякому без исключения государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым незначительным их начинаниям, пока их власть нуждается в нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славу верных и почтительных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошо известны, и лишая потомство столь поучительного примера. И кто из чувства личной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит не заслуживающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном, делает это в

ущерб общественной справедливости. Прав Тит Ливий, говоря, что язык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетного притворства; каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был, приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия[4] [broken link: #na3_4].

Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которые не побоялись бросить Нерону в лицо все, что они о нем думали. Первый из них на вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: «Я был предан тебе и любил тебя, пока ты заслуживал этого; но после того, как ты убил свою мать, как ты стал поджигателем, скоморохом, возницею на ристалищах, я возненавидел тебя, ибо чего же другого ты стоишь?» Второй же, когда ему был задан Нероном вопрос, почему он замыслил его убить, сказал на это в ответ: «Потому, что я не видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния».[5] [broken link: #na3_5] Но кто же в здравом уме вздумал бы обсуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких и чудовищных преступлениях этого императора, которые заклеймили его после смерти и останутся на вечные времена?

Меня огорчает, что, при всей безупречности

принятого у лакедемонян образа жизни, мы находим у них нижеследующий весьма лицемерный обряд: после смерти царя все союзники и соседи, все илоты, мужчины и женщины, собравшись беспорядочной толпой, раздирали себе в знак скорби лицо и громко стенали и плакали, возглашая, что покойный — каков бы он ни был на деле — был лучшим из их царей; таким образом, они воздавали сану умершего ту похвалу, которая принадлежит по праву только заслугам и должна воздаваться лишь тому, кто имеет совершенно исключительные заслуги, хотя бы он и принадлежал к самому низшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи на свете, задается вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смерти не может быть назван счастливым: а можно ли назвать счастливым того, кто жил и умер, как подобает, если он оставил по себе недобрую славу и если потомство его презренно?[6] [broken link: #na3_6] Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно, но лишь только мы оказываемся вне бытия, мы не поддерживаем больше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, если б сказал, что человек никогда не бывает счастливым, раз он может быть счастлив

лишь после того, как перестал существовать.

*Quisquam*
*Vix radicitus e vita se tollit, et eiicit:*
*Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse,*
*Nec removet satis a proiecto corpore sese, et*
*Vindicat.[7] [broken link: #na3_7]*

Бертран Дю Геклен[8] [broken link: #na3_8] умер во время осады замка Ранкон, расположенного близ Пюи в Оверни. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудили возложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео д'Альвиано[9] [broken link: #na3_9], начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Брешии, руководя там военными действиями. Чтобы доставить его тело в Венецию, надо было проследовать через земли враждебных веронцев. Большинство в войске венецианцев находило, что для этого следует испросить у веронцев пропуск. Теодоро Тривульцио[10] [broken link: #na3_10], однако, воспротивился этому: он предпочел пробиться открытою силой, подвергнув себя случайностям битв. «Не подобает, — сказал он, — чтобы тот, кто при жизни никогда не бо-

ялся врагов, высказал после смерти страх перед ними».

Здесь будет кстати вспомнить о том, что, согласно обычаям греков, всякий, обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чье-либо тело, как бы отказывался тем самым от чести быть победителем и лишался, таким образом, права на то, чтобы воздвигнуть трофей[11] [broken link: #na3_11]. Победителями считались те, к кому обращались с подобною просьбой. Именно по этой причине Никий[12] [broken link: #na3_12] не мог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне с коринфянами, и, напротив, Агесилай[13] [broken link: #na3_13] закрепил за собой сомнительную победу над беотийцами.

Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде не было свойственно не только простирать заботы о себе за пределы своего земного существования, но, сверх того, также верить, что милости неба довольно часто следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки. Сказанное можно подтвердить таким обилием примеров из древности, — не говоря уже о примерах из нашего времени, — что я не вижу нужды распространяться об этом. Эдуард I[14] [broken link: #na3_14], король английский, удо-

стоверившись во время продолжительных войн своих с шотландским королем Робертом[15] [broken link: #na3_15], насколько его присутствие способствовало успеху в делах, — ибо всему, чем он лично руководил, неизменно сопутствовала победа, — умирая, связал своего сына торжественной клятвой, чтобы тот, после его кончины, выварил его тело и, отделив кости от мяса, предал погребению плоть; что до костей, то он завещал сыну хранить их и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случится драться с шотландцами, — словно судьба роковым образом привязала победу к его костяку.

Ян Жижка[16] [broken link: #na3_16], возмутивший Богемию ради поддержки заблуждений Уиклифа[17] [broken link: #na3_17], высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа и чтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на битву с врагами; он полагал, что это поможет закрепить преимущества, достигнутые им в упорной борьбе. Равным образом, некоторые индейцы, отправляясь сражаться с испанцами, несли с собой кости одного из умерших вождей, памятуя о тех удачах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы Нового Света берут на войну останки сво-

их доблестных, погибших в сражениях воинов, дабы они служили им примером храбрости и залогом победы[18] [broken link: #na3_18].

В первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава, которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последние приписывают им, сверх того, способность действовать и после их смерти. Гораздо прекраснее и возвышеннее поступок нашего полководца Баярда[19] [broken link: #na3_19], который, почувствовав, что смертельно ранен выстрелом из аркебузы, на убеждения окружающих выйти из боя ответил, что не станет под конец жизни показывать врагу спину, и продолжал биться, пока его не покинули силы; чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказал своему слуге положить его у подножия дерева, но так, чтобы он мог умереть лицом к неприятелю; так он и скончался.

Мне кажется необходимым присоединить сюда также следующий пример, который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущие. Император Максимилиан, прадед ныне царствующего короля Филиппа[20] [broken link: #na3_20], был государем, наделенным множеством достоинств и среди них — необыкновенною телесною

красотою. Но наряду с этими качествами он обладал еще одним, вовсе не свойственным государям, которые, дабы поскорее разделаться с важнейшими государственными делами, превращают порою в трон свой стульчак: он не позволял видеть себя за нуждою никому, даже самому приближенному из своих слуг. Он всегда мочился в укромном месте и, будучи стыдлив, как девственница, не открывал ни перед врачами, ни перед кем бы то ни было тех частей тела, которые принято прикрывать. Что до меня, то, обладая языком, не ведающим ни в чем стеснения, я, тем не менее, также наделен от природы стыдливостью подобного рода. Если нет крайней необходимости и меня не толкает к этому любовное наслаждение, я никогда не позволяю себе нескромных поступков и не обнажаю ни перед кем того, что по обычаю должно быть прикрыто. Я страдаю скорее застенчивостью, и притом в большей мере, чем подобает, как я полагаю, мужчине, особенно же мужчине моего положения. Но император Максимилиан до такой степени был в плену у этого предрассудка, что особо оговорил в своем завещании, чтобы ему после кончины надели подштанники, и добавил в особой приписке, чтобы тому, кто это проделает

с его трупом, завязали глаза. Если Кир[21] [broken link: #na3_21] завещал своим детям, чтобы ни они, ни кто другой ни разу не взглянули на его труп и не прикоснулись к нему, после того как душа его отлетит от тела, то я склонен искать объяснение этому в каком-нибудь религиозном веровании; ведь и его историк и сам он, помимо прочих великих достоинств, отличались еще и тем, что насаждали на протяжении всей своей жизни рвение и уважение к религиозным обрядам. Мне очень не по душе нижеследующий рассказ, услышанный мною от некоего вельможи, об одном из моих свойственников, оставившем по себе память и на мирном и на военном поприще. Умирая в преклонном возрасте у себя дома и испытывая невыносимые боли, причиняемые каменною болезнью, он в последние часы своей жизни находил утешение в разработке мельчайших подробностей церемониала своих похорон, причем заставлял навещавших его придворных клясться ему, что они примут участие в похоронной процессии. Он обратился с настойчивой просьбой даже к самому королю, которого видел перед своей кончиной, чтобы тот велел своим приближенным прибыть на его погребение, подкрепляя свое ходатайство многочисленными соображе-

ниями и примерами, подтверждавшими, что человек его положения имеет на это бесспорное право; он скончался, по-видимому, успокоенный и довольный, так как успел добиться от короля столь желанного обещания и распорядиться по своему усмотрению устройством и церемониалом своих собственных похорон.

Столь упорного и великого тщеславия я еще никогда не встречал.

А вот еще одна странность совершенно противоположного свойства, образчики которой также найдутся в моем роду; она представляется мне единокровной сестрой упомянутой выше. Эта странность также состоит в том, чтобы предаваться со страстью заботе о своей похоронной процессии, но проявлять при этом исключительную, совершенно не принятую в таких случаях, бережливость, ограничивая себя только одним слугою и одним фонарем. Я знаю, что многие хвалят подобную скромность и, в частности, одобряют последнюю волю Марка Эмилия Лепида[22] [broken link: #na3_22], запретившего своим наследникам устраивать ему после смерти обычные церемонии. Неужели, однако, умеренность и воздержанность в том только и заключаются, чтобы избегать расточительности и излишества,

когда они уже не могут более доставить нам пользу и удовольствие? Вот, действительно, легкий и недорогой способ самосовершенствования! Если бы требовалось перед смертью оставлять на этот счет распоряжения, то, полагаю, и здесь, как и во всяком житейском деле, каждый должен был бы считаться с возможностями своего кошелька. И философ Ликон[23] [broken link: #na3_23] поступил весьма мудро, наказав друзьям предать его тело земле там, где они сочтут наилучшим; что же касается похорон, то он завещал, чтобы они не были ни слишком пышными, ни слишком убогими. Лично я предоставляю обычаю установить распорядок похоронного обряда и охотно отдам свое мертвое тело на благоусмотрение тех, — кто бы это ни оказался, — кому придется взять на себя эту заботу: Totus hic locus est contemnendus in nobis, non negligendus in nostris.[24] [broken link: #na3_24] И святая истина сказана одним из святых: Curatio funeris, condicio sepulturae, pompa exsequiarum, maqis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum.[25] [broken link: #na3_25] Вот почему, когда Критон спросил Сократа в последние мгновения его жизни, каким образом желает он быть погребенным, тот ответил ему: «Как вам будет угодно». Если бы я простирал заботы

о своем будущем столь далеко, я счел бы более заманчивым для себя уподобиться тем, кто, продолжая жить и дышать, ублажает себя мыслями о церемониале своих похорон и о пышности погребальных обрядов и находит удовольствие видеть в мраморе свои безжизненные черты. Счастлив тот, кто умеет тешить и ублажать свои чувства тем, что бесчувственно, кто умеет жить своей собственной смертью.

Я проникаюсь ненавистью к народоправству, хотя этот образ правления и представляется мне наиболее естественным и справедливым, когда вспоминаю о бесчеловечном произволе афинян, беспощадно казнивших, не пожелав даже выслушать их оправданий, своих храбрых военачальников, только что выигравших у лакедемонян морское сражение при Аргинусских островах[26] [broken link: #na3_26], самое значительное, самое ожесточенное среди всех, какие когда-либо давались греками на море. Их казнили только за то, что, одержав победу над неприятелем, они воспользовались предоставленными ею возможностями, а не задержались на месте, дабы собрать и предать погребению тела убитых сограждан. Особенно гнусною представляется мне эта расправа, когда я вспоминаю о Диомедоне,

одном из осужденных на казнь, человеке замечательной воинской доблести и гражданских добродетелей. Выслушав обвинительный приговор, он вышел вперед, чтобы произнести речь, и, хотя ему впервые позволили беспрепятственно выступить перед народом, воспользовался ею не для самозащиты и не для того, чтобы показать очевидную несправедливость столь жестокого решения судей, но для того, чтобы проявить заботу об ожидающей этих судей судьбе; он обратился к богам с мольбою не карать их за приговор и, опасаясь, как бы боги не обрушили на них своего гнева за невыполнение тех обетов, которые были даны им и его товарищами, в ознаменование столь блистательного успеха, уведомил своих судей, в чем они состояли. Не сказав больше ни слова, ничего не оспаривая и ни о чем не прося, он мужественно, твердой походкой направился к месту казни. Через несколько лет, однако, судьба при сходных обстоятельствах отметила афинянам. Хабрий, главнокомандующий афинского флота, одержав верх над Поллисом, возглавлявшим морские силы спартанцев, в сражении у острова Наксоса, упустил все преимущества этой бесспорной победы, столь существенной для афинян, только из опасения, как бы не подвергнуться

столь же печальной участи, какая постигла его предшественников. И, чтобы не потерять в море несколько трупов своих убитых друзей, он позволил ускользнуть множеству живых и невредимых врагов, заставивших впоследствии дорогою ценою заплатить за этот нелепейший предрассудок.

> *Quaeris quo iaceas post obitum loco?*
>
> *Quo non nata iacent.[27] [broken link: #na3_27]*

Другой поэт также наделяет бездыханное тело ощущением ничем не нарушаемого покоя:

> *Neque sepulcrum, quo recipiatur, habeat portum corporis.*
>
> *Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat a malis.[28] [broken link: #na3_28]*

## Глава IV
## О том, что страсти души изливаются на воображаемые предметы, когда ей недостает настоящих

Один из наших дворян, которого мучали жесточайшие припадки подагры, когда врачи убеждали его отказаться от употребления в пищу кушаний из соленого мяса, имел обыкновение остроумно отвечать, что в разгар мучений и болей ему хочется иметь под рукой что-нибудь, на чем он мог бы сорвать свою злость, и что, ругая и проклиная то колбасу, то бычий язык или окорок, он испытывает от этого облегчение. Но, право же, подобно тому, как мы ощущаем досаду, если, подняв для удара руку, не поражаем предмета, в который метили, и наши усилия растрачены зря, или, скажем, как для того, чтобы тот или иной пейзаж был приятен для взора, он не должен уходить до бесконечности вдаль, но нуждается на подобающем расстоянии в какой-нибудь границе, которая служила б ему опорой:

*Ventus ut amittit vires, nisi robore densae*
*Occurrant silvae, spatio diffusus inani.[1]*

*[broken link: #na4_1]*

так же, мне кажется, и душа, потрясенная и взволнованная, бесплодно погружается в самое себя, если не занять ее чем-то внешним; нужно беспрестанно доставлять ей предметы, которые могли бы стать целью ее стремлений и направлять ее деятельность. Плутарх говорит по поводу тех, кто испытывает чрезмерно нежные чувства к собачкам и обезьянкам, что заложенная в нас потребность любить, не находя естественного выхода, создает, лишь бы не прозябать в праздности, привязанности вымышленные и вздорные[2] [broken link: #na4_2]. И мы видим, действительно, что душа, теснимая страстями, предпочитает обольщать себя вымыслом, создавая себе ложные и нелепые представления, в которые и сама порою не верит, чем оставаться в бездействии. Вот почему дикие звери, обезумев от ярости, набрасываются на оружие или на камень, которые ранили их, или, раздирая себя собственными зубами, пытаются выместить на себе мучающую их боль.

*Pannonis haud aliter post ictum saevior ursa,*

*Cui iaculum parva Libys amentavit habena*

*Se rotat in vulnus, telumque irata receptum*
*Impetit, et secum fugientem circuit hastam.[3] [broken link: #na4_3]*

Каких только причин ни придумываем мы для объяснения тех несчастий, которые с нами случаются! За что ни хватаемся мы, с основанием или без всякого основания, лишь бы было к чему придраться! Не эти светлые кудри, которые ты рвешь на себе, и не белизна этой груди, которую ты, во власти отчаянья, бьешь так беспощадно, наслали смертоносный свинец на твоего любимого брата: ищи виновных не здесь. Ливии, рассказав о скорби римского войска в Испании по случаю гибели двух прославленных братьев[4] [broken link: #na4_4], его полководцев, добавляет: Flere omnes repente et offensare capita.[5] [broken link: #na4_5] Таков общераспространенный обычай. И разве не остроумно сказал философ Бион о царе, который в отчаянии рвал на себе волосы: «Этот человек, кажется, думает, что плешь облегчит его скорбь»[6] [broken link: #na4_6]. Кому из нас не случалось видеть, как жуют и глотают карты, как кусают игральную кость, чтобы выместить хоть на чем-нибудь свой проигрыш? Ксеркс велел высечь море — Геллеспонт[7] [broken link: #na4_7]

и наложить на него цепи, он обрушил на него поток брани и послал горе Афон вызов на поединок. Кир на несколько дней задержал целое войско, чтобы отомстить реке Гинд за страх, испытанный им при переправе через нее. Калигула[8] [broken link: #na4_8] распорядился снести до основания прекрасный во всех отношениях дом из-за тех огорчений, которые претерпела в нем его мать.

В молодости я слышал о короле одной из соседних стран, который, получив от бога славную трепку, поклялся отметить за нее; он приказал, чтобы десять лет сряду в его стране не молились богу, не вспоминали о нем и, пока этот король держит в своих руках власть, даже не верили в него. Этим рассказом подчеркивалась не столько вздорность, сколько бахвальство того народа, о котором шла речь: оба эти порока связаны неразрывными узами, но в подобных поступках проявляется, по правде говоря, больше заносчивости, нежели глупости.

Император Август[9] [broken link: #na4_9], претерпев жестокую бурю на море, разгневался на бога Нептуна и, чтобы отметить ему, приказал на время праздничных игр в цирке убрать его статую, стоявшую среди изображений прочих богов. В этом его можно извинить еще меньше,

чем всех предыдущих, и все же этот поступок Августа более простителен, чем то, что случилось впоследствии. Когда до него дошла весть о поражении, понесенном его полководцем Квинтилием Варом в Германии, он стал биться в ярости и отчаянье головою о стену, без конца выкрикивая одно и то же: «О Вар, отдай мне мои легионы!»[10] [broken link: #na4_10] Но наибольшее безумие, — ведь тут примешивается еще и кощунство, — постигает тех, кто обращается непосредственно к богу или судьбе, словно она может услышать нашу словесную пальбу; они уподобляются в этом фракийцам, которые, когда сверкает молния или гремит гром, вступают в титаническую борьбу с небом, стремясь тучею стрел образумить разъяренного бога. Итак, как говорит древний поэт у Плутарха:

> *Когда ты в ярости судьбу ругаешь,*
>
> *Ты этим только воздух сотрясаешь[11] [broken link: #na4_11].*

Впрочем, мы никогда не кончим, если захотим высказать все, что можно, в осуждение человеческой несдержанности.

## Глава V
## Вправе ли комендант осажденной крепости выходить из нее для переговоров с противником?

Луций Марций, римский легат, во время войны с Персеем, царем македонским, стремясь выиграть время, чтобы привести в боевую готовность свое войско, затеял переговоры о мире, и царь, обманутый ими, заключил перемирие на несколько дней, предоставив, таким образом, неприятелю возможность и время вооружиться и приготовиться, что и повело к окончательному разгрому Персея[1] [broken link: #na5_1]. Но случилось так, что старцы-сенаторы, еще хранившие в памяти нравы своих отцов, осудили действия Марция как противоречащие древним установлениям, которые заключались, по их словам, в том, чтобы побеждать доблестью, а не хитростью, не засадами и не ночными схватками, не притворным бегством и неожиданным ударом по неприятелю, а также не начиная войны прежде ее объявления, но, напротив, зачастую оповещая заранее о часе и месте предстоящей битвы. Исходя из этого, они

выдали Пирру его врача, задумавшего предать его, а фалискам — их злонамеренного учителя[2] [broken link: #na5_2]. Это были правила подлинно римские, не имеющие ничего общего с греческой изворотливостью и пуническим вероломством, у каковых народов считалось, что меньше чести и славы в том, чтобы побеждать силою, а не хитростью и уловками. Обман, по мнению этих сенаторов, может увенчаться успехом в отдельных случаях, но побежденным считает себя лишь тот, кто уверен, что его одолели не хитростью и не благодаря случайным обстоятельствам, а воинской доблестью, в прямой схватке лицом к лицу на войне, которая протекала в соответствии с установленными законами и с соблюдением принятых правил. По речам этих славных людей ясно видно, что им еще не было известно нижеследующее премудрое изречение:

> *dolus an virtus quis in hoste requirat?[3] [broken link: #na5_3]*

Ахейцы, рассказывает Полибий, презирали обман и никогда не прибегали к нему на войне; они ценили победу только тогда, когда им удавалось сломить мужество и сопротивление неприятеля[4] [broken link: #na5_4]. Eam vir sanctus et sapiens

sciet veram esse victoriam, quae salva fide et integra dignitate parabitur,[5] [broken link: #na5_5] — говорит другой римский автор.

> *Vos ne velit an me regnare hera quidve ferat fors*
>
> *Virtute experiamur.[6] [broken link: #na5_6]*

В царстве тернатском[7] [broken link: #na5_7], именуемом нами с легкой душою варварским, общепринятые обычаи запрещают идти войною, не объявив ее предварительно и не сообщив врагу полного перечня всех сил и средств, которые будут применены в этой войне, а именно, сколько у тебя воинов, каково их снаряжение, а также оборонительное и наступательное оружие. Однако, если, невзирая на это, неприятель не уступает и не идет на мирное разрешение спора, они не останавливаются ни перед чем и полагают, что в этом случае никто не имеет права упрекать их в предательстве, вероломстве, хитрости и всем прочем, что могло бы послужить средством к обеспечению легкой победы.

Флорентийцы в былые времена были до такой степени далеки от желания получить перевес над врагом с помощью внезапного нападения, что

за месяц вперед предупреждали о выступлении своего войска, звоня в большой колокол, который назывался у них Мартинелла.

Что касается нас, которые на этот счет гораздо менее щепетильны, нас, считающих, что, кто извлек из войны выгоду, тот достоин и славы, нас, повторяющих вслед за Лисандром, что, где недостает львиной шкуры, там нужно пришить клочок лисьей, то наши воззрения ни в какой степени не осуждают общепринятых способов внезапного нападения на врага. И нет часа, говорим мы, когда военачальнику полагается быть более начеку, чем в час ведения переговоров или заключения мира. Поэтому для всякого теперешнего воина непреложно правило, по которому комендант осажденной крепости не должен ни при каких обстоятельствах выходить из нее для переговоров с неприятелем. Во времена наших отцов в нарушении этого правила упрекали господ де Монмора и де Л'Ассиньи, защищавших Музон от графа Нассаускогo[8] [broken link: #na5_8].

Но бывает и так, что нарушение этого правила имеет свое оправдание. Так, например, оно извинительно для того, кто выходит из крепости, обеспечив себе безопасность и преимущество, как это сделал граф Гвидо ди Рангоне (если прав

Дю Белле, ибо, по словам Гвиччардини, это был не кто иной, как он сам) в городе Реджо[9] [broken link: #na5_9], когда встретился с господином де Л'Экю для ведения переговоров. Он остановился на таком незначительном расстоянии от крепостных стен, что, когда во время переговоров вспыхнула ссора и противники взялись за оружие, господин де Л'Экю и прибывшие с ним не только оказались более слабою стороною, — ведь тогда-то и был убит Алессандро Тривульцио, — но и самому господину де Л'Экю пришлось, доверившись графу на слово, последовать за ним в крепость, чтобы укрыться от угрожавшей ему опасности.

Антигон, осадив Евмена в городе Нора[10] [broken link: #na5_10], настойчиво предлагал ему выйти из крепости для ведения переговоров. В числе разных доводов в пользу своего предложения он привел также следующий: Эвмену, мол, надлежит предстать перед ним потому, что он, Антигон, более велик и могуществен, на что Евмен дал следующий достойный ответ: «Пока у меня в руках меч, нет человека, которого я мог бы признать выше себя». И он согласился на предложение Антигона не раньше, чем тот, уступив его требованиям, отдал ему в заложники своего

племянника Птолемея.

Впрочем, попадаются и такие военачальники, которые имеют основание думать, что они поступили правильно, доверившись слову осаждающих и выйдя из крепости. В качестве примера можно привести историю Анри де Во, рыцаря из Шампани, осажденного англичанами в замке Коммерси. Бертелеми де Бонн, начальствовавший над осаждавшими, подвел подкоп под большую часть этого замка, так что оставалось только поднести огонь к запалу, чтобы похоронить осажденных под развалинами, после чего предложил вышеназванному Анри выйти из крепости и вступить с ним в переговоры, убеждая его, что это будет к его же благу, в доказательство чего и открыл ему свои козыри. После того как рыцарь Анри воочию убедился, что его ожидает неотвратимая гибель, он проникся чувством глубокой признательности к своему врагу и сдался со всеми своими солдатами на милость победителя. В подкопе был устроен взрыв, деревянные подпоры рухнули, замок был уничтожен до основания.

Я склонен оказывать доверие людям, но я обнаружил бы это пред всеми с большой неохотою, если бы мое поведение подавало кому-нибудь повод считать, что меня побуждают к нему отча-

яние и малодушие, а не душевная прямота и вера в людскую честность.

## Глава VI
## Час переговоров — опасный час

Надо сказать, что не так давно я наблюдал в городе Мюссидане[1] [broken link: #na6_1], находящемся по соседству со мной, — как те, кто был выбит оттуда нашей армией, а также приверженцы их жаловались на предательство, ибо во время переговоров, условившись о перемирии, они подверглись внезапному нападению и были разбиты наголову. Подобная жалоба в другой век могла бы, пожалуй, вызвать сочувствие. Но, как я говорил выше, наши обычаи не имеют больше ничего общего с правилами былых времен. Вот почему не следует доверять друг другу, пока договор не скреплен последней печатью; да и при наличии этого, чего не случается!

Никогда, впрочем, нельзя с уверенностью рассчитывать, что победоносное войско станет соблюдать обязательства, которые дарованы победителем городу, сдавшемуся на сравнительно мягких и милостивых условиях и согласившемуся впустить еще разгоряченных боем солдат. Луций Эмилий Регилл, римский претор, потеряв

время в бесплодных попытках захватить силою город фокейцев, ибо жители его защищались с поразительною отвагой, пошел, в конце концов, с ними на соглашение, по которому он принимал их под свою руку в качестве «друзей римского народа» и должен был вступить в их город, как в город союзников. Этим он окончательно рассеял их опасения насчет возможности каких-либо враждебных действий со стороны победителей. Но, когда они вошли в город — ибо Эмилий, желая показать себя во всем блеске, ввел туда все свое войско, — усилия, которые он прилагал, чтобы держать их в узде, оказались напрасными, и значительная часть города была разгромлена у него на глазах: жажда пограбить и отметить поборола в них уважение к его власти и привычку повиноваться.

Клеомен имел обыкновение говорить, что, каковы бы ни были злодеяния, совершаемые во время войны в отношении неприятеля, они выходят за пределы правосудия и не подчиняются его приговорам — за них не судят ни боги, ни люди. Договорившись с аргивянами о перемирии на семь дней, он напал на них уже в третью ночь, когда их лагерь был погружен в сон, и нанес им жесточайшее поражение, ссылаясь в дальней-

шем на то, что в его договоре о перемирии ни словом не упоминается о ночах. Боги, однако, покарали его за это изощренное вероломство.

Жители города Казилина[2] [broken link: #na6_2], беспечно полагаясь на свою безопасность, подверглись во время переговоров внезапному нападению, и это произошло в век наисправедливейших и благороднейших полководцев превосходящего во всех отношениях римского войска. В самом деле, нигде ведь не сказано, что нам не дозволено в подобающем месте и в подобающий час воспользоваться глупостью неприятеля, подобно тому, как мы извлекаем для себя выгоду из его трусости. Война, естественно, имеет множество привилегий, которые в условиях военных действий совершенно разумны, вопреки нашему разуму; здесь не соблюдают правила: neminem id agere, ut ex alterius praedetur inscitia.[3] [broken link: #na6_3]

Меня поражает, однако, та безграничность, какую допускает в отношении отмеченных привилегий такой автор, как Ксенофонт, о чем свидетельствуют и речи и деяния его якобы совершенного самодержца; а ведь в подобных вопросах это — писатель, обладающий исключительным весом, ибо он — прославленный полководец и

философ из числа ближайших учеников Сократа. Далеко не всегда и не во всем я могу согласиться с его чрезмерно широкими, по-моему, взглядами на этот предмет[4] [broken link: #na6_4].

Господин д'Обиньи, обложив осадою Капую, подверг ее жесточайшей бомбардировке, после чего сеньор Фабрицио Колонна, комендант города, стоя на стене бастиона, начал переговоры о сдаче, и, так как его солдаты утратили бдительность, наши ворвались в крепость и не оставили в ней камня на камне[5] [broken link: #na6_5]. А вот еще более свежий в нашей памяти случай. Сеньор Джулиано Роммеро допустил в Ивуа[6] [broken link: #na6_6] большой промах: он вышел из крепости для ведения переговоров с коннетаблем — и что же? — возвращаясь назад, обнаружил, что она захвачена неприятелем. Я расскажу еще об одном событии, дабы показать, что порою и мы оставались в накладе: маркиз Пескарский осаждал Геную, где начальствовал покровительствуемый нами герцог Оттавиано Фрегозо; переговоры между обоими военачальниками шли настолько успешно, что соглашение между ними считалось уже делом решенным. Однако в момент их завершения испанцы проникли в город и стали распоряжаться в нем, словно и

в самом деле одержали решительную победу[7] [broken link: #na6_7]. И впоследствии также город Линьи в Барруа, где начальствовал граф де Бриенн, а осадою руководил сам император, был захвачен в то самое время, когда уполномоченный вышеназванного графа — Бертейль, выйдя за пределы крепостных стен ради переговоров, вел их с представителями противника[8] [broken link: #na6_8].

> *Fu il vincer sempre mai laudabil cosa,*
>
> *Vincasi o per fortuna o per ingegno,[9] [broken link: #na6_9] —*

так, по крайней мере, принято говорить. Впрочем, философ Хрисипп[10] [broken link: #na6_10] не разделял этого мнения, и я также далек от того, чтобы признать его до конца справедливым. Он говорил, что соревнующиеся в беге должны приложить все свои силы, чтобы опередить остальных; но при этом им никоим образом не разрешается хватать рукою соперника, тем самым задерживать его, или подставлять ему ногу, чтобы он упал.

И еще благороднее ответ великого Александра Полисперхонту, который советовал воспользоваться ночной темнотой для неожиданного

нападения на войска Дария. «Не в моих правилах, — сказал Александр, — одерживать уворованную победу» — Malo me fortunae poeniteat, quam victoriae pudeat.[11] [broken link: #na6_11]

> *Atque idem fugientem haud est dignatus Orodem*
>
> *Sternere, nec iacta caecum dare cuspide vulnus;*
>
> *Obvius, adversoque occurrit, seque viro vir*
>
> *Contulit, haud furto melior, sed fortibus armis.[12] [broken link: #na6_12]*

## Глава VII
## О том, что наши намерения являются судьями наших поступков

Говорят, что смерть освобождает нас от любых обязательств. Я знаю, что эти слова толковали по-разному. Генрих VII, король Англии, заключил соглашение с доном Филиппом, сыном императора Максимилиана, или — чтобы придать его имени еще больший блеск — отцом императора Карла V, в том, что вышеупомянутый Филипп передаст в его руки герцога Саффолка, его врага из партии Белой Розы, бежавшего из пределов Англии и нашедшего убежище в Нидерландах, при условии, что он, Генрих, обязуется не посягать на жизнь этого герцога. Тем не менее, уже будучи на смертном одре, он велел своему сыну в оставленном им завещании немедленно после его кончины умертвить герцога Саффолка[1] [broken link: #na7_1]. Недавняя трагедия в Брюсселе, которая была явлена нам герцогом Альбой и героями которой были несчастные графы Горн и Эгмонт, заключает в себе много такого, что заслуживает внимания[2] [broken link: #na7_2].

Так, например, граф Эгмонт, уговоривший своего товарища графа Горна отдаться в руки герцогу Альбе и уверивший его в безопасности этого шага, настойчиво домогался умереть первым; он хотел, чтобы смерть сняла с него обязательство, которым он связал себя по отношению к графу Горну. Но ясно, что в первом из рассказанных случаев смерть не освобождала от данного слова, тогда как во втором обязательство не имело никакой силы, даже если бы принявший его на себя и не умирал. Мы не можем отвечать за то, что сверх наших сил и возможностей. И поскольку последствия и даже самое выполнение обещания вне нашей власти, то распоряжаться, строго говоря, мы можем лишь своей волей: она-то и является неизбежно единственной основой и мерилом человеческого долга. Вот почему граф Эгмонт, и душою и разумом сохранявший верность данному им обещанию, хотя не имел никакой возможности его исполнить, без сомнения был бы освобожден от своего обязательства, если бы даже и пережил графа Горна. Но бесчестность английского короля, намеренно нарушившего свое слово, никоим образом не может найти себе оправдание в том, что он отложил казнь герцога до своей смерти; равным образом, нет оправ-

дания и тому каменщику у Геродота, который, соблюдая с безупречною честностью в течение всей своей жизни тайну сокровищ египетского царя, своего владыки, умирая, открыл ее своим детям[3] [broken link: #na7_3].

Я видел на своем веку немало таких людей, которые, хотя совесть и уличала их в том, что они утаивают чужое имущество, тем не менее легко мирились с этим, рассчитывая удовлетворить законных владельцев после своей кончины, путем завещания. Такой образ действий ни в коем случае нельзя оправдать: плохо и то, что они откладывают столь срочное дело, и то, что желают возместить причиненный ими убыток ценою столь малых усилий и столь мало поступаясь своей выгодой. Право, им надлежало бы поделиться тем, что им взаправду принадлежит. Чем тяжелее им было бы заплатить, чем больше трудностей пришлось бы в связи с этим преодолеть, тем справедливее было бы такое возмещение и тем больше было бы им заслуги. Раскаяние требует жертв.

Еще хуже поступают те, которые в течение всей своей жизни таят злобу к кому-нибудь из своих ближних, выражая ее лишь в последнем изъявлении своей воли. Возбуждая в обиженном

неприязнь к их памяти, они показывают тем самым, что мало пекутся о своей чести и еще меньше о совести, ибо не хотят угасить в себе злобного чувства хотя бы из уважения к смерти и оставляют его жить после себя. Они подобны тем неправедным судьям, которые без конца откладывают свой приговор и выносят его лишь тогда, когда ими уже утрачено всякое представление о сути самого дела.

Если только мне это удастся, я постараюсь, чтобы смерть моя не сказала ничего такого, чего ранее не сказала моя жизнь.

## Глава VIII
## О праздности

Как пустующая земля, если она жирна и плодородна, зарастает тысячами видов сорных и бесполезных трав и, чтобы заставить ее служить в наших целях, необходимо сначала подвергнуть ее обработке и засеять определенными семенами; как женщины сами собою в состоянии производить лишь бесформенные груды и комки плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкое потомство, их необходимо снабдить семенем со стороны, — так же и с нашим умом. Если не занять его определенным предметом, который держал бы его в узде, он начинает метаться из стороны в сторону, то туда, то сюда, по бескрайним полям воображения:

*Sicut aquae tremulum labris ubi lumen ahenis*

*Sole repercussum, aut radiantis imagine lunae*

*Omnia pervolitat late loca, iamque sub auras*

*Erigitur, summique ferit laquearia tecti.[1]*

*[broken link: #na8_1]*

И нет такого безумия, таких бредней, которых не порождал бы наш ум, пребывая в таком возбуждении,

*velut aegri somnia, vanae*
*Finguntur species.[2] [broken link: #na8_2]*

Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель, ибо, как говорится, кто везде, тот нигде:

*Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat.[3] [broken link: #na8_3]*

Уединившись с недавнего времени у себя дома[4] [broken link: #na8_4], я проникся намерением не заниматься, насколько возможно, никакими делами и провести в уединении и покое то недолгое время, которое мне остается еще прожить. Мне показалось, что для моего ума нет и не может быть большего благодеяния, чем предоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою, сосредоточиться и замкнуться в себе. Я надеялся, что теперь ему будет легче достигнуть этого, так как с годами он сделался более положительным, более зрелым. Но я нахожу, что

*variam semper dant otia mentem[5] [broken link: #na8_5]*

и что, напротив, мой ум, словно вырвавшийся на волю конь, задает себе во сто раз больше работы, чем прежде, когда он делал ее для других. И, действительно, ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится.

## Глава IX
## О лжецах

Нет человека, которому пристало бы меньше моего затевать разговоры о памяти. Ведь я не нахожу в себе ни малейших следов ее и не думаю, чтобы во всем мире существовала другая память столь же чудовищно немощная. Все остальные мои способности незначительны и вполне заурядны. Но в отношении этой я представляю собой нечто совсем исключительное и редкостное и потому заслуживаю, пожалуй, известности и громкого имени.

Не говоря уже о понятных каждому неудобствах, которые я претерпеваю от этого — ведь, принимая во внимание насущную необходимость памяти, Платон с достаточным основанием назвал ее великою и могущественною богинею[1] [broken link: #na9_1], — в моих краях, если хотят сказать о том или ином человеке, что он совершенно лишен ума, то говорят, что он лишен памяти, и всякий раз, как я принимаюсь сетовать на недостаток своей, меня начинают журить и разуверять, как если бы я утверждал, что безумен.

Люди не видят различия между памятью и способностью мыслить, и это значительно ухудшает мое положение. Но они несправедливы ко мне, ибо на опыте установлено, что превосходная память весьма часто уживается с сомнительными умственными способностями. Они несправедливы еще и в другом отношении: ничто не удается мне так хорошо, как быть верным другом, а между тем, на моем наречии неблагодарность обозначается тем же словом, которым именуют также мою болезнь. О силе моей привязанности судят по моей памяти; природный недостаток перерастает, таким образом, в нравственный. «Он забыл, — говорят в этих случаях, — исполнить такую-то мою просьбу и такое-то свое обещание. Он забывает своих друзей. Он не вспомнил, что из любви ко мне ему следовало сказать или сделать то-то и то-то и, напротив, умолчать о том-то и том-то». Я, и в самом деле, могу легко позабыть то-то и то-то, но сознательно пренебречь поручением, данным мне моим другом, — нет, такого со мной не бывает. Пусть они удовольствуются моею бедой и не превращают ее в своего рода коварство, которому так враждебна моя натура.

Кое в чем я все же вижу для себя утешение. Во-первых, в этом своем недостатке я нахожу

существенную опору, борясь с другим, еще худшим, который легко мог бы развиться во мне, а именно с честолюбием, ибо последнее является непосильным бременем для того, кто устранился от жизни большого света. Далее, как подсказывают многочисленные примеры подобного рода из жизни природы, она щедро укрепила во мне другие способности в той же мере, в какой обездолила в отношении вышеназванной. В самом деле, ведь я мог бы усыпить и обессилить мой ум и мою проницательность, идя проторенными путями, как это делает целый мир, не упражняя и не совершенствуя своих собственных сил, если бы, облагодетельствованный хорошею памятью, имел всегда перед собою чужие мнения и измышления чужого ума. Кроме того, я немногословен в беседе, ибо память располагает более вместительной кладовой, чем вымысел. Наконец, если бы память была у меня хорошая, я оглушал бы своей болтовнею друзей, так как припоминаемые мною предметы пробуждали бы заложенную во мне способность, худо ли хорошо ли, владеть и распоряжаться ими, поощряя, тем самым, и воспламеняя мои разглагольствования. А это — сущее бедствие. Я испытал его лично на деле, в общении с иными из числа моих близких друзей;

по мере того, как память воскрешает перед ними события или вещи со всеми подробностями и во всей их наглядности, они до такой степени замедляют ход своего рассказа, настолько загромождают его никому не нужными мелочами, что, если рассказ сам по себе хорош, они обязательно убьют его прелесть, если же плох, то вам только и остается, что проклинать либо выпавшее на их долю счастье, то есть хорошую память, либо, напротив, несчастье, то есть неумение мыслить. Право же, если кто разойдется, тому нелегко завершить свои разглагольствования или оборвать их на полуслове. А ведь нет лучшего способа узнать силу коня, как испытать его уменье останавливаться сразу и плавно. Но даже среди дельных людей мне известны такие, которые хотят, да не могут остановить свой разгон. И, силясь отыскать точку, где бы задержать, наконец, свой шаг, они продолжают тащиться, болтая и ковыляя, точно люди, изнемогающие от усталости. Особенно опасны тут старики, которые сохраняют память о былых делах, но не помнят о том, что уже много раз повторяли свои повествования. И я не раз наблюдал, как весьма занимательные рассказы становились в устах какого-нибудь почтенного старца на редкость

скучными; ведь каждый из слушателей насладился ими, по крайней мере, добрую сотню раз. Во-вторых, я нахожу для себя утешение также и в том, что моя скверная память хранит в себе меньше воспоминаний об испытанных мною обидах; как говаривал один древний писатель[2] [broken link: #na9_2], мне нужно было бы составить их список и хранить его при себе, следуя в этом примеру Дария, который, дабы не забывать оскорблений, нанесенных ему афинянами, велел своему слуге трижды возглашать всякий раз, как он будет садиться за стол: «Царь, помни об афинянах». Далее: местности, где я уже побывал прежде, или прочитанные ранее книги всегда радуют меня свежестью новизны.

Не без основания говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко складно лгать. Мне хорошо известно, что грамматики устанавливают различие между выражениями: «говорить ложно» и «лгать». Они разъясняют, что «говорить ложно» это значит — говорить вещи, которые не соответствуют истине, но, тем не менее, воспринимаются говорящим как истинные, а также, что слово «лгать» по-латыни — а от латинского слова произошло и наше французское — означает почти то же самое, что

«идти против собственной совести»[3] [broken link: #na9_3]. Здесь, во всяком случае, я веду речь лишь о тех, которые говорят одно, а про себя знают другое. А это либо те, чьи слова, так сказать, чистейший вымысел, либо те, кто лишь отчасти скрывает и искажает истину. Но, слегка скрывая и искажая ее, они рано или поздно, если наводить их снова и снова на один и тот же сюжет, сами изобличат себя во лжи, так как немыслимо, чтобы в их воображении не возникало всякий раз то представление о вещи, как она есть, которое первым отложилось в их памяти и затем прочно запечатлелось в ней, закрепившись в процессе познания, а затем и знания ее свойств; а это первоначальное представление понемногу вытесняет из памяти вымысел, который не может обладать такой же устойчивостью и прочностью, поскольку обстоятельства первого ознакомления с вещью, всплывая всякий раз снова в нашем уме, заслоняют воспоминание о привнесенном извне, ложном и извращенном. В тех же случаях, когда все сказанное людьми — сплошной вымысел и у них самих нет противоречащих этому вымыслу впечатлений, они, очевидно, имеют меньше оснований опасаться промаха. Однако и тут, раз их вымысел — призрак, нечто неуловимое, он так

и стремится ускользнуть из их памяти, если она недостаточно цепкая.

Я частенько наблюдал подобные промахи, и, что всего забавнее, они приключались именно с теми, кто, можно сказать, сделал своею профессией строить свою речь так, чтобы она помогала в делах, а также была бы приятна влиятельным лицам, к которым обращена. Но раз обстоятельства, которым они готовы подчинить душу и совесть, подвержены бесчисленным изменениям, то и им приходится бесконечно разнообразить свои слова. А это приводит к тому, что ту же самую вещь они принуждены называть то серой, то желтой, и перед одним из своих собеседников утверждать одно, а перед другим — совершенно другое. Если те при случае сопоставят столь несходные между собой суждения, то во что превращается великолепное искусство этих говорунов? А кроме того, и они сами, забывая об осторожности, изобличают себя во лжи, ибо какая же память способна вместить такое количество вымышленных, несхожих друг с другом образов одного и того же предмета? Я встречал многих моих современников, завидовавших славе, которою пользуются обладатели этой блистательной разновидности благоразумия. Они не замечают, однако, того, что

слава славою, а толку от нее — никакого.

И, действительно, лживость — гнуснейший порок. Только слово делает нас людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его сожжением на костре с большим основанием, чем иное преступление. Я нахожу, что детей очень часто наказывают за сущие пустяки, можно сказать, ни за что; что их карают за проступки, совершенные по неведению и неразумию и не влекущие за собой никаких последствий. Одна только лживость и, пожалуй, в несколько меньшей мере, упрямство кажутся мне теми из детских пороков, с зарождением и укоренением которых следует неуклонно и беспощадно бороться. Они возрастают вместе с людьми. И как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде! От этого и проистекает, что мы встречаем людей, в других отношениях вполне честных и добропорядочных, но покоренных и порабощенных этим пороком. У меня есть портной, вообще говоря, славный малый, но ни разу не слышал я от него хотя бы словечка правды, и притом даже тогда, когда она могла бы доставить ему только выгоду.

Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов.

Пифагорейцы считают, что благо определенно и ограниченно, тогда как зло неопределенно и неограниченно. Тысячи путей уводят от цели, и лишь один-единственный ведет к ней. И я вовсе не убежден, что даже ради предотвращения грозящей мне величайшей беды я мог бы заставить себя воспользоваться явной и беззастенчивой ложью.

Один из отцов церкви сказал, что мы чувствуем себя лучше в обществе знакомой собаки, чем с человеком, язык которого нам не знаком: Ut externus alieno non sit hominis vice.[4] [broken link: #na9_4] Но насколько же лживый язык, как средство общения, хуже молчания!

Король Франциск I хвалился, как ловко он обвел вокруг пальца посла миланского герцога Франческе Сфорца — Франческо Таверну, человека весьма прославленного в искусстве заговаривать зубы своему собеседнику. Тот был послан ко двору вашего короля, чтобы принести его

величеству извинения своего государя в связи с одним весьма важным, излагаемым ниже делом. Король, которого незадолго до того вытеснили из Италии и даже из Миланской области, желая располагать сведениями обо всем, что там происходит, придумал держать при особе миланского герцога одного дворянина, в действительности своего посла, но проживавшего под видом частного человека, приехавшего туда якобы по своим личным делам. И это было тем более необходимо, что герцог, завися больше от императора, чем от нас, а в то время особенно, так как сватался за его племянницу, дочь короля Дании, ныне вдовствующую герцогиню лотарингскую, не мог, не причиняя себе большого ущерба, открыто поддерживать с нами сношения и вступать в какие либо переговоры. Лицом, подходящим для поддержания связи между обоими государями, и оказался некто Мервейль, королевский конюший и миланский дворянин[5] [broken link: #na9_5]. Этот последний, снабженный тайными верительными грамотами и инструкциями, которые вручаются обычно послам, а также, для отвода глаз и соблюдения тайны, рекомендательными письмами к герцогу, относившимися к личным делам этого дворянина, провел при миланском

дворе столь долгое время, что вызвал неудовольствие императора, каковое обстоятельство, как мы предполагаем, и явилось истинною причиной всего происшедшего дальше. А случилось вот что: воспользовавшись как предлогом каким-то убийством, герцог приказал в два дня закончить судебное разбирательство и повелел в одну прекрасную ночь отрубить голову названному Марвейлю. И так как король, требуя удовлетворения, обратился по поводу этого дела с посланием ко всем христианским государям, в том числе и к самому миланскому герцогу, мессер Франческо, посол последнего, заготовил пространное и лживое изложение этой истории, которое и представил королю во время утреннего приема.

В нем он утверждал, стремясь обелить своего господина, что тот никогда не считал Мервейля не кем иным, как частным лицом, миланским дворянином и своим подданным, прибывшим в Милан ради собственных дел и пребывавшим там исключительно в этих целях; далее, он решительно отрицал, будто герцогу было известно о том, что Мервейль состоял на службе у короля Франциска и даже, что этот последний знал его лично, вследствие чего у герцога не было решительно никаких оснований смотреть на Мервейля, как

на посла короля Франциска. Король, однако, тесня его, в свою очередь, различными вопросами и возражениями, подкапываясь под него различными способами и прижав, наконец, к стене, потребовал у посла объяснения, почему же, в таком случае, казнь была произведена ночью и как бы тайком. На этот последний вопрос бедняга, запутавшись окончательно и стремясь соблюсти учтивость, ответил, что герцог, глубоко почитая его величество, был бы весьма опечален, если бы подобная казнь была совершена днем. Нетрудно представить себе, что, допустив такой грубый промах, к тому же перед человеком с таким тонким нюхом, как король Франциск I, он был тут же пойман с поличным[6] [broken link: #na9_6].

Папа Юлий II направил в свое время посла к английскому королю с поручением восстановить его против вышеназванного французского короля. После того, как посол изложил все, что было ему поручено, английский король[7] [broken link: #na9_7], отвечая ему, заговорил о трудностях, с которыми, по его мнению, сопряжена подготовка к войне со столь могущественной державой, как Франция, и привел в подкрепление своих слов несколько соображений. Посол весьма некстати заметил на это, что и он подумал обо всем этом

и даже сообщил о своих сомнениях папе. Эти слова, очень плохо согласовавшиеся с целями посольства, состоявшими в том, чтобы побудить английского короля немедленно же начать войну, вызвали у этого последнего подозрение, впоследствии подтвердившееся на деле, что посол в душе был на стороне Франции. Он сообщил об этом папе; имущество посла было конфисковано, и сам он едва не поплатился жизнью.

## Глава X
## О речи живой и о речи медлительной

*Не всем таланты все дарованы бывают[1] [broken link: #na10_1]*

Это относится, как мы можем убедиться, и к красноречию; одним свойственна легкость и живость в речах, и они, как говорится, за словом в карман не полезут, во всеоружии всегда и везде, тогда как другие, более тяжелые на подъем, напротив, не вымолвит ни единого слова, не обдумав предварительно своей речи и основательно не поработав над нею. И подобно тому, как дамам советуют иногда, в каких играх и телесных упражнениях им лучше участвовать, чтобы выставить напоказ все, что в них есть самого привлекательного[2] [broken link: #na10_2], так и я на вопрос, какой из этих двух видов красноречия, которым в наше время пользуются преимущественно проповедники и адвокаты, под стать первым и какой — вторым, я посоветовал бы человеку, говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо, адвокатом. Ведь обязанности первого предостав-

ляют ему сколько угодно досуга для подготовки, а кроме того, его деятельность постоянно протекает в одном направлении, спокойно и ровно, в то время как обстоятельства, в которых живет и действует адвокат, в любое мгновение могут принудить его к поединку, причем неожиданные наскоки противника выбивают его подчас из седла и ему тут же на месте приходится изыскивать новые приемы защиты.

Между тем, при свидании папы Климента с королем Франциском, происходившем в Марселе, вышло как раз наоборот. Господин Пуайе[3] [broken link: #na10_3], человек, всю жизнь выступавший в судах, можно сказать, там воспитавшийся и высоко там ценимый, получив поручение произнести приветственную речь папе, имел достаточно времени, чтобы хорошенько поразмыслить над нею и, как говорят, привез ее из Парижа в совершенно готовом виде. Но в тот самый день, когда эта речь должна была быть произнесена, папа, опасаясь, как бы в приветственном слове ему не сказали чего-нибудь такого, что могло бы задеть находившихся при нем послов других государей, уведомил короля о желательном и, по его мнению, соответствующем месту и времени содержании речи. К несчастью,

однако, это было совсем не то, над чем трудился господин Пуайе, так что подготовленная им речь оказалась ненужною, и ему надлежало в кратчайший срок сочинить новую. Но так как он почувствовал себя неспособным к выполнению этой задачи, ее пришлось взять на себя господину кардиналу Дю Белле[4] [broken link: #na10_4].

Труд адвоката сложнее труда проповедника, и все же мы встречаем, по-моему, больше сносных адвокатов, чем проповедников. Так, по крайней мере, обстоит дело во Франции.

Нашему остроумию, как кажется, более свойственны быстрота и внезапность, тогда как уму — основательность и медлительность. Но как тот, кто, не располагая досугом для подготовки, остается немым, так и тот, кто говорит одинаково хорошо, независимо от того, располагал ли он перед этим досугом, представляют собою крайности. О Севере Кассии[5] [broken link: #na10_5] рассказывают, что он говорил значительно лучше без предварительного обдумывания своей речи и что своими успехами он скорее обязан удаче, чем прилежанию. Рассказывают также, что ему шло на пользу, если его раздражали во время произнесения речи, и что противники остерегались задевать его за живое, опасаясь,

как бы гнев не удвоил его красноречия[6] [broken link: #na10_6]. Я знаю, по личному опыту, людей с таким складом характера, с которым несовместима кропотливая и напряженная подготовка. Если у таких людей мысль в том или ином случае не течет легко и свободно, она становится не способною к чему-либо путному. Мы говорим об иных сочинениях, что от них несет маслом и лампой, так как огромный труд, который в них вложен авторами, сообщает им отпечаток шероховатости и неуклюжести. К тому же стремление сделать как можно лучше и напряженность души, чрезмерно скованной и поглощенной делом, искажают ее творение, калечат, душат его, вроде того, как это происходит иногда с водой, которая будучи сжата и стеснена своим собственным напором и изобилием, не находит для себя выхода из открытого, но слишком узкого для нее отверстия.

У людей с таким характером, о котором я здесь говорю, бывает иногда так: им вовсе не требуется толчков извне, пробуждающих бурные страсти, как, например, ярость Кассия, — такое волнение было бы для них слишком грубым; их натура нуждается не в возбуждении, а во вдохновении — в каких-либо особых впечатлениях, неожиданных и внезапных. Человек подобного душевного

склада, предоставленный себе, бывает вял и бесплоден. Легкое волнение придает ему жизнь и пробуждает талант.

Я плохо умею управлять и распоряжаться собой. Случай имеет надо мной большую власть, чем я сам. Обстоятельства, общество, в котором я нахожусь, наконец, звучание моего голоса извлекают из моего ума больше, чем я мог бы обнаружить в себе, занимаясь самоисследованием или употребляя его на потребу себе самому.

Мои речи, вследствие этого, стоят больше, чем мои писания, если вообще допустимо выбирать между вещами, которые не имеют никакой ценности.

Со мной бывает и так, что я не нахожу себя там, где ищу, и, вообще, я чаще нахожу себя благодаря счастливой случайности, чем при помощи самоисследования. Допустим, что мне удалось выразить на бумаге нечто тонкое и остроумное (я очень хорошо понимаю, что для другого может быть плохо то, что для меня очень хорошо; оставим ложную скромность: каждый старается в меру своих способностей). И вдруг моя мысль настолько от меня ускользает, что я уже больше не знаю, что я хотел сказать; и случается, что сторонний человек понимает меня лучше, чем

я сам. Если бы я пускал в ход бритву всякий раз, когда в этом является надобность[7] [broken link: #na10_7], от меня бы ровно ничего не осталось. Но может настать такой час, когда забытое мною озарится светом более ясным, чем белый день, и тогда я буду только удивляться моей теперешней растерянности.

## Глава XI
## О предсказаниях

Относительно оракулов известно, что вера в них стала утрачиваться еще задолго до пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что Цицерон пытался установить причины постигшего их упадка: Cur isto modo iam oracula Delphis non eduntur non modo nostra aetate sed iamdiu ut modo nihil possit esse contemptius?[1] [broken link: #na11_1] Но что касается других предсказаний: по костям и внутренностям приносимых в жертву животных, у которых, по мнению Платона, строение внутренних органов в известной мере приспособлено к этому[2] [broken link: #na11_2], по тому, как роются в земле куры, по полету различных птиц, aves quasdam rerum augurandarum causa natas esse putamus,[3] [broken link: #na11_3] по молнии, по извилинам рек, multa cernunt aruspices, multa augures provident, multa oraculis declarantur, multa vaticinationibus, multa somniis, multa portentis[4] [broken link: #na11_4] и иным приметам, на которых древние по большей части основывали свои начинания, как государствен-

ные, так и частные, то наша религия упразднила их. Но все же и у нас сохраняются кое-какие способы заглядывать в будущее: при помощи звезд, духов, различных телесных признаков, снов и еще многого другого, что служит ясным свидетельством неудержимого любопытства нашей души, жаждущей заглянуть в будущее, точно ей не хватает забот в настоящем:

> *cur hans tibi rector Olympi*
>
> *Sollicitis visum mortalibus addere curam,*
>
> *Noscant venturas ut dira per omina clades,*
>
> *Sit subitum quodcunque paras, sit caeca futuri*
>
> *Mens hominum fati, liceat sperare timenti.[5] [broken link: #na11_5]*

Ne utile quidem est scire, quid futurum sit. Miserum est enim nihil proficientem angi,[6] [broken link: #na11_6] и это, действительно, так, ибо наша душа бессильна перед обстоятельствами.

Вот почему случившееся с Франческо, маркизом Салуцким, показалось мне весьма примечательным. Командуя той армией короля Франциска, что находилась по ту сторону гор, бесконечно обласканный нашим двором, обязанный королю своим титулом и своими владениями, конфиско-

ванными у его брата и отданными маркизу, не имея, наконец, ни малейшего повода к измене своему государю, тем более, что душа его противилась этому, он позволил запугать себя (как было выяснено впоследствии) предсказаниями об успехах, ожидающих в будущем императора Карла V, и о нашем неминуемом поражении. Об этих нелепых предсказаниях толковали повсюду, и они проникли также в Италию, где получили настолько широкое распространение, что, вследствие слухов о грозящем нам якобы разгроме, в Риме бились об заклад, что именно так и случится, ставя огромные суммы. Маркиз Салуцкий нередко с горестью говорил своим приближенным о несчастьях, неотвратимо нависших, по его мнению, над французской короной, а также о своих французских друзьях. В конце концов, он поднял мятеж и переметнулся к врагу, что оказалось для него величайшим несчастьем, каково бы ни было расположение звезд. Но он вел себя при этом как человек, раздираемый противоположными побуждениями, ибо, имея в своих руках различные города и военную славу, находясь всего в двух шагах от неприятельских войск под начальством Антонио де Лейва[7] [broken link: #na11_7], он мог бы, пользуясь нашим

неведением о задуманной им измене, причинить значительно больше вреда. Ведь его предательство не стоило ни одной жизни, ни одного города, кроме Фоссано[8] [broken link: #na11_8], да и то после долгой борьбы за него.

*Prudens futuri temporis exitum*
*Caliginosa nocte premit Deus,*
*Ridetque si mortalis ultra*
*Fas trepidat.*
*.....*
*Ille potens sul*
*Laetusque deget, cui licet in diem*
*Dixisse: Vixi. Cras vel atra*
*Nube polum paler occupato*
*Vel sole puro.[9] [broken link: #na11_9]*

*Laetus in praesens animus, quod ultra est,*
*Oderit curare.[10] [broken link: #na11_10]*

Напротив, глубоко заблуждается тот, кто согласен со следующими словами: Ista sic reciprocantur, ut et, si divinatio sit, dii sint; et, si dii sint, sit divinatio.[11] [broken link: #na11_11] Гораздо разумнее говорит Пакувий:

*Nam istis qui linguam avium intelligunt,*

*Plusque ex alieno iecore sapiunt quam ex suo,*

*Magis audiendum quam auscultandum censeo.[12] [broken link: #na11_12]*

Столь прославленное искусство тосканцев[13] [broken link: #na11_13] угадывать будущее возникло следующим образом. Один крестьянин, подняв лемехом своего плуга большой пласт земли, увидел, как из-под него вышел Тагет, полубог с лицом ребенка и мудростью старца. Сбежался народ. Речи Тагета и все его наставления по части гаданий собрали вместе и в течение долгих веков бережно сохраняли[14] [broken link: #na11_14]. Дальнейшее развитие этого искусства стоит его возникновения.

Что до меня, то я предпочел бы руководствоваться в своих делах скорее счетом очков брошенных мною игральных костей, чем подобными бреднями.

И действительно, во всех государствах с республиканским устройством на долю жребия выпадала немалая власть. В воображаемом государстве, созданном фантазией Платона, он предоставляет жребию решать многие важные

вещи. Между прочим, он хочет, чтобы браки между добрыми гражданами заключались посредством жребия; этому случайному выбору он придает настолько большое значение, что только родившиеся от таких браков дети, по его мысли, должны воспитываться на родине, тогда как потомство от дурных граждан подлежит изгнанию на чужбину. Впрочем, если кто-нибудь из изгнанников, выросши, обнаружит добрые нравы, то он может быть возвращен на родину; равным образом, кто из составленных на родине, достигнув юношеского возраста, не оправдает надежд, тот может быть, в свою очередь, изгнан в чужие края.

Я знаю людей, которые изучают и толкуют на все лады свои альманахи[15] [broken link: #na11_15], ища в них указаний, как им лучше в данном случае поступить. Но поскольку в таких альманах можно найти все, что угодно, в них, очевидно, наряду с ложью должна содержаться и доля правды. Quis est enim qui totum diem iaculans non aliquando conlineet?[16] [broken link: #na11_16] Я не придаю им сколько-нибудь большей цены от того, что вижу порою их правоту. Уж лучше бы они всегда лгали: тогда люди знали бы, что о них думать. Добавим, что никто не ведет счета

их промахам, как бы часты и обычны они ни были; что же касается предсказаний, оказавшихся правильными, то им придают большое значение именно потому, что они редки и в силу этого кажутся нам чем-то непостижимым и изумительным. Вот как Диагор, по прозвищу Атеист, находясь в Самофракии, ответил тому, кто, показав ему в храме многочисленные дарственные приношения с изображением людей, спасшихся при кораблекрушении, обратился к нему с вопросом: «Ну вот, ты, который считаешь, что богам глубоко безразличны людские дела, что ты скажешь о стольких людях, спасенных милосердием?» «Пусть так, — ответил Диагор. — Но ведь тут нет изображений утонувших, а их несравненно больше». Цицерон говорит, что между всеми философами, разделявшими веру в богов, один Ксенофан Колофонский пытался бороться с предсказателями разного рода[17] [broken link: #na11_17]. Тем менее удивительно, что иные из наших властителей, как мы видим, все еще придают значение подобной нелепости, и нередко себе во вред.

Я хотел бы увидеть собственными глазами два таких чуда, как книгу Иоахима, аббата из Калабрии, предсказавшего всех будущих пап,

их имена и их облик, и книгу императора Льва, предсказавшего византийских императоров и патриархов[18] [broken link: #na11_18]. Но собственными глазами я видел лишь вот что: во времена общественных бедствий люди, потрясенные своими невзгодами, отдаются во власть суеверий и пытаются выискать в небесных знамениях причину и предвестие обрушившихся на них несчастий. И так как мои современники обнаруживают в этом непостижимое искусство и ловкость, я пришел к убеждению, что, поскольку для умов острых и праздных это занятие не что иное, как развлечение, всякий, кто склонен к такого рода умствованиям, кто умеет повернуть их то в ту, то в другую сторону, может отыскать в любых писаниях все, чего бы он ни искал. Впрочем, главное условие успеха таких гадателей — это темный язык, двусмысленность и причудливость пророческих словес, в которые авторы этих книг не вложили определенного смысла с тем, чтобы потомство находило здесь все, чего бы ни пожелало.

«Демон» Сократа[19] [broken link: #na11_19] был, по-видимому, неким побуждением его воли, возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе, столь возвышенной, как

у него, к тому же подготовленной постоянным упражнением в мудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, были всегда разумными и достойными того, чтобы следовать им. Каждый в той или иной мере ощущал в себе подобного рода властные побуждения, возникавшие у него стремительно и внезапно. Я, который не очень-то доверяю благоразумию наших обдуманных решений, склонен высоко ценить такие побуждения. Нередко я и сам их испытывал; они сильно влекут к чему-нибудь или отвращают от какой-либо вещи, — последнее у Сократа бывало чаще. Я позволял этим побуждениям руководить собою, и это приводило к столь удачным и счастливым последствиям, что, право же, в них можно было бы усмотреть нечто вроде божественного внушения.

## Глава XII
## О стойкости

Если кто-нибудь пользуется славой человека решительного и стойкого, то это вовсе не означает, что ему нельзя уклоняться, насколько возможно, от угрожающих ему бедствий и неприятностей, а следовательно, и опасаться, как бы они не постигали его. Напротив, все средства — при условии, что они не бесчестны, — способные оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы. Что до стойкости, то мы нуждаемся в ней, чтобы терпеливо сносить невзгоды, с которыми нет средств бороться. Ведь нет такой уловки или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар.

Многие весьма воинственные народы применяли внезапное бегство с поля сражения как одно из главнейших средств добиться победы над неприятелем, и они оборачивались к нему спиною с большей опасностью для него, чем если бы стояли к нему лицом.

Турки и сейчас еще знают толк в этом деле.

Сократ — у Платона — потешается над Лахесом, определявшим храбрость следующим образом: «Неколебимо стоять в строю перед лицом врага». — «Как! — восклицает Сократ. — Разве было бы трусостью бить неприятеля, отступая пред ним?» И в подкрепление своих слов он ссылается на Гомера, восхваляющего Энея за уменье искусно применять бегство. А после того как Лахет, подумав, должен был признать, что таков действительно обычай у скифов, да и вообще у всех конных воинов, Сократ привел ему в пример еще пехотинцев-лакедемонян, народ, столь привыкший стойко сражаться в пешем строю: в битве при Платеях, после безуспешных попыток прорвать фалангу персов, они решили рассыпаться и податься назад, чтобы, создав, таким образом, видимость бегства, разорвать и рассеять грозную массу персов, когда те бросятся преследовать их. Благодаря этой хитрости они добились победы[1] [broken link: #na12_1].

Относительно скифов рассказывают, будто Дарий во время похода, предпринятого им с целью покорить этот народ, обрушился на их царя с жестокими упреками за то, что он непрерывно отступает пред ним и уклоняется от открытого

боя. На что Индатирс[2] [broken link: #na12_2] — таково было имя царя — ответил, что отступает не из страха пред ним, ибо вообще не боится никого на свете, но потому, что таков обычай скифов на войне; ведь у них нет ни возделываемых полей, ни городов, ни домов, которые нужно было бы защищать, дабы враг ими не поживился. Однако, добавил он, если Дарию так уж не терпится сойтись с противником в открытом бою, пусть он приблизится к тем местам, где находятся могилы предков Индатирса: там он найдет, с кем померяться силами.

И все же, когда оказываешься мишенью для пушек, что нередко случается на войне, считается позорным бояться ядер, поскольку принято думать, что от них все равно не спастись вследствие их стремительности и мощи. И не раз бывало, что тот, кто при таких обстоятельствах поднимал руку или наклонял голову, вызывал, по меньшей мере, хохот товарищей.

Но вот что произошло однажды в Провансе во время похода императора Карла V против нас. Маркиз дель Гуасто, отправившись на разведку к городу Арлю и выйдя из-за ветряной мельницы, служившей ему прикрытием и позволившей приблизиться к городу, был замечен господами

де Бонневалем и сенешалем Аженуа, которые прохаживались в амфитеатре арльского цирка. Последние указали на маркиза дель Гуасто господину де Вилье, начальнику артиллерии, и тот так метко навел кулеврину[3] [broken link: #na12_3], что если бы названный выше маркиз, заметив, что по нем открыли огонь, не стал быстро на четвереньки, то, наверно, получил бы заряд в свое тело. Нечто подобное произошло за несколько лет перед тем и с Лоренцо Медичи, герцогом Урбинским, отцом королевы, матери нашего короля[4] [broken link: #na12_4], во время осады Мондольфо, крепости в Италии, расположенной в области, называемой Викариатом[5] [broken link: #na12_5]: увидев, что уже поднесли фитиль к направленной прямо на него пушке, он спасся лишь тем, что бросился на землю, нырнув, можно сказать, словно утка. Ибо иначе ядро, которое пронеслось почти над его головой, угодило бы, без сомнения, ему прямо в живот. Говоря по правде, я не думаю, чтобы такие движения производились нами обдуманно, ибо, как можно составить себе суждение, высок ли прицел или низок, когда все совершается с такою внезапностью? И гораздо вернее будет предположить, что в описанных случаях этим людям благоприятствовала судьба

и что, действуя в состоянии испуга подобным образом, можно с таким же успехом угодить под ядро, как и избегнуть его попадания.

Когда оглушительный треск аркебуз внезапно поражает мой слух, и притом в таком месте, где у меня не было никаких оснований этого ожидать, я не могу удержаться от дрожи; мне не раз доводилось видеть, как то же самое случалось и с другими людьми, которые похрабрее меня.

Даже стоикам, и тем ясно, что душа мудреца, как они себе его представляют, неспособна устоять перед внезапно обрушившимися на нее впечатлениями и образами и что этот мудрец отдает законную дань природе, когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохот обвала. То же самое происходит, когда его охватывают страсти: лишь бы мысль сохраняла ясность и не нарушалась в своем течении, лишь бы разум, оставаясь непоколебимым и верным себе, не поддался чувству страха или страдания. С теми, кто не принадлежит к числу мудрецов, дело обстоит точно так же, если иметь в виду первую часть сказанного, и совсем по-иному, если — вторую. Ибо у людей обычного склада действие страстей не остается поверхностным, но проникает в глубины их разума, заражая и

отравляя его. Такой человек мыслит под прямым воздействием страстей и как бы повинуясь им. Вот вам полное и верное изображение душевного состояния мудреца-стоика:

> *Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes.[6] [broken link: #na12_6]*

Мудрец, в понимании перипатетиков, не свободен от душевных потрясений, но он умеряет их.

## Глава XIII
## Церемониал при встрече царствующих особ

Нет предмета, сколь бы ничтожен он ни был, который оказался бы неуместным среди этой моей причудливой смеси. Согласно принятым у нас правилам, было бы большой неучтивостью даже по отношению к равному, а тем более к тому, кто занимает высокое положение в обществе, не быть дома, если он предуведомил нас о своем прибытии. Больше того, королева Наваррская Маргарита[1] [broken link: #na13_1] добавляет по этому поводу, что со стороны дворянина невежливо выйти из дому, как это часто случается, навстречу тому, кто должен его посетить, сколь бы знатен последний ни был, но что гораздо почтительнее и учтивее ожидать его у себя, хотя бы из опасения разминуться с ним в пути, и что в таких случаях достаточно проводить его в предназначенные ему покои.

Что до меня, то я частенько забываю как о той, так и о другой из этих пустых обязанностей, поскольку стараюсь изгнать из моего дома всякие

церемонии. Есть люди, которые иногда на это обижаются. Но что поделаешь! Лучше обидеть кого-нибудь один-единственный раз, чем постоянно терпеть самому обиду: это последнее было бы для меня нестерпимым гнетом. К чему бежать от придворного рабства, если заводишь его в своей собственной берлоге?

А вот еще одно правило, неуклонно соблюдаемое на собраниях всякого рода: оно гласит, что нижестоящим подобает являться первыми, тогда как лицам более видным приличествует, чтобы их дожидались. Однако же перед встречею папы Климента с королем Франциском, имевшею произойти в Марселе, король, отдав все необходимые распоряжения, удалился из этого города, предоставив папе в течение двух или трех дней устраиваться и отдыхать, и лишь после этого возвратился, чтобы встретиться с ним. Равным образом, когда тот же папа и император назначили встречу в Болонье, император предоставил папе возможность прибыть туда первым, сам же приехал несколько позже. При свиданиях царствующих особ руководствуются, как говорят люди знающие, следующим правилом: кто среди них самый могущественный, тому и полагается быть в назначенном месте прежде других и даже

прежде того государя, в чьих владениях происходит встреча; считают, что эта уловка применяется ради того, чтобы таким способом создать видимость, будто низшие разыскивают высшего и домогаются встречи с ним, а не наоборот.

Не только в каждой стране, но и в каждом городе, и даже у каждого сословия есть свои особые правила вежливости. Я был достаточно хорошо воспитан в детстве и затем вращался в достаточно порядочном обществе, чтобы знать законы нашей французской учтивости; больше того, я в состоянии преподать их другим. Я люблю следовать им, однако не настолько покорно, чтобы они налагали путы на мою жизнь. Иные из них кажутся нам стеснительными, и если мы забываем их предумышленно, а не по невоспитанности, то это нисколько не умаляет нашей любезности. Я нередко встречал людей, которые оказывались неучтивыми именно вследствие того, что они были чересчур учтивы, и несносны вследствие того, что были чересчур вежливы.

А впрочем, уменье держать себя с людьми — вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует установлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться на

примере других и, вместе с тем, подавать пример и выказывать себя с хорошей стороны, если только в нас действительно есть нечто достойное подражания и поучительное для окружающих.

## Глава XIV
## О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них

Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них[1] [broken link: #na14_1]. И если бы кто-нибудь мог установить, что это справедливо всегда и везде, он сделал бы чрезвычайно много для облегчения нашей жалкой человеческой участи. Ведь если страдания и впрямь порождаются в нас нашим рассудком, то, казалось бы, в нашей власти либо вовсе пренебречь ими, либо обратить их во благо. Если вещи отдают себя в наше распоряжение, то почему бы не подчинить их себе до конца и не приспособить к нашей собственной выгоде? И если то, что мы называем злом и мучением, не есть само по себе ни зло, ни мучение, и только наше воображение наделяет его подобными качествами, то не кто иной, как мы сами, можем изменить их на другие. Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы,

тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму. Итак, давайте посмотрим, можно ли доказать, что то, что мы зовем злом, не является само по себе таковым, или, по крайней мере, чем бы оно ни являлось, — что от нас самих зависит придать ему другой привкус и другой облик, ибо все, в конце концов, сводится к этому.

Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы и все они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми способностями и средствами познания и суждения. Однако различие в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями; кто-нибудь, быть может, и воспринимает

их, по счастливой случайности в согласии с их подлинной сущностью, но тысяча прочих видит в них совершенно иную, непохожую сущность.

Мы смотрим на смерть, нищету и страдание, как на наших злейших врагов. Но кто же не знает, что та самая смерть, которую одни зовут ужаснейшею из всех ужасных вещей, для других — единственное прибежище от тревог здешней жизни, высшее благо, источник нашей свободы, полное и окончательное освобождение от всех бедствий? И в то время, как одни в страхе и трепете ожидают ее приближения, другие видят в ней больше радости, нежели в жизни.

Есть даже такие, которые сожалеют о ее доступности для каждого:

> *Mors utinam pavidos vita subducere nolles,*
> *Sed virtus te sola daret.[2] [broken link: #na14_2]*

Но не будем вспоминать людей прославленной доблести, вроде Теодора, который сказал Лисимаху, угрожавшему, что убьет его: «Ты свершишь в таком случае подвиг, посильный и шпанской мушке!»[3] [broken link: #na14_3] Большинство философов сами себе предписали смерть или, содействуя ей, ускорили ее.

А сколько мы знаем людей из народа, которые перед лицом смерти, и притом не простой и легкой, но сопряженной с тяжким позором, а иногда и с ужасающими мучениями, сохраняли такое присутствие духа, — кто из упрямства, а кто и по простоте душевной, — что в них не замечалось никакой перемены по сравнению с обычным их состоянием. Они отдавали распоряжения относительно своих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательными и иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки, и, совсем как Сократ, пили за здоровье своих друзей. Один из них, когда его вели на виселицу, заявил, что не следует идти этой улицей, так как он может встретиться с лавочником, который схватит его за шиворот: за ним есть старый должок. Другой просил палача не прикасаться к его шее, чтобы он не затрясся от смеха, до такой степени он боится щекотки. Третий ответил духовнику, который сулил ему, что уже вечером он разделит трапезу с нашим Спасителем: «В таком случае, отправляйтесь-ка туда сами; что до меня, то я нынче пощусь». Четвертый пожелал пить и, так как палач пригубил первым, сказал, что после него ни за что не станет пить, так как боится заболеть дурною болезнью.

Кто не слышал рассказа об одном пикардийце? Когда он уже стоял у подножия виселицы, к нему подвели публичную женщину и пообещали, что если он согласится жениться на ней, то ему будет дарована жизнь (ведь наше правосудие порою идет на это); взглянув на нее и заметив, что она припадает на одну ногу, он крикнул: «Валяй, надевай петлю! Она колченогая». Существует рассказ в таком же роде об одном датчанине, которому должны были отрубить голову. Стоя уже на помосте, он отказался от помилования на сходных условиях лишь потому, что у женщины, которую ему предложили в жены, были ввалившиеся щеки и чересчур острый нос. Один слуга из Тулузы, обвиненный в ереси, в доказательство правильности своей веры мог сослаться только на то, что такова вера его господина, молодого студента, заключенного вместе с ним в темницу; он пошел на смерть, так и не позволив себе усомниться в правоте своего господина. Мы знаем из книг, что когда Людовик XI захватил город Аррас, среди его жителей оказалось немало таких, которые предпочли быть повешенными, лишь бы не прокричать: «Да здравствует король!».

В царстве Нарсингском[4] [broken link: #na14_4] жены жрецов и посейчас еще погребаются зажи-

во вместе со своими умершими мужьями. Всех прочих женщин сжигают живыми на похоронах их мужей, и они умирают не только с поразительной стойкостью, но, как говорят, даже с радостью. А когда предается сожжению тело их скончавшегося государя, все его жены, наложницы, любимицы и должностные лица всякого звания, а также слуги, образовав большую толпу, с такой охотой собираются у костра, чтобы броситься в него и сгореть вместе со своим властелином, что, надо полагать, у них почитается великою честью сопутствовать ему в смерти.

А что сказать об этих низких душонках — шутах? Среди них попадаются порой и такие, которые не хотят расставаться с привычным для них балагурством даже перед лицом смерти. Один из них, когда палач, вешая его, уже вышиб из-под него подставку, крикнул: «Эх, где наша не пропадала!» — что было его излюбленной прибауткой. Другой, лежа на соломенном тюфяке у самого очага и находясь при последнем издыхании, ответил врачу, спросившему, где именно он чувствует боль: «между постелью и очагом». А когда пришел священник и, желая совершить над ним обряд соборования, стал нащупывать его ступни, которые он от боли подобрал под

себя, он сказал: «Вы найдете их на концах моих ног». Тому, кто убеждал его вручить себя нашему господу, он задал вопрос: «А кто же меня доставит к нему?» и, когда услышал в ответ: «Быть может, вы сами, если будет на то его божья воля», то сказал: «Но ведь я буду у него, пожалуй, лишь завтра вечером». — «Вы только вручите себя его воле, — заметил на это его собеседник, — и вы окажетесь там очень скоро». — «В таком случае, — заявил умирающий, — уж лучше я сам себя и вручу ему»[5] [broken link: #na14_5].

Во время наших последних войн за Милан, когда он столько раз переходил из рук в руки, народ, истомленный столь частыми превратностями судьбы, настолько проникся жаждою смерти, что, по словам моего отца, он видел там список, в котором насчитывалось не менее двадцати пяти взрослых мужчин, отцов семейств, покончивших самоубийством в течение одной только недели[6] [broken link: #na14_6]. Нечто подобное наблюдалось и при осаде Брутом города Ксанфа[7] [broken link: #na14_7]; его жителей, — мужчин, женщин, детей — охватило столь страстное желание умереть, что люди, стремясь избавиться от грозящей им смерти, не прилагают к этому столько усилий, сколько приложили они, чтобы избавиться от

ненавистной им жизни; и Бруту с трудом удалось спасти лишь ничтожное их число.

Всякое убеждение может быть достаточно сильным, чтобы заставить людей отстаивать его даже ценою жизни.

Первый пункт той прекрасной и возвышенной клятвы, которую принесла и сдержала Греция во время греко-персидских войн, гласил, что каждый скорее сменит жизнь на смерть, чем законы своей страны на персидские[8] [broken link: #na14_8]. А сколь многие во время греко-турецких войн предпочитали умереть мучительной смертью, лишь бы не осквернить обрезания и не подвергнуться обряду крещения! И нет религии, которая не могла бы побудить к чему-либо подобному.

После того как кастильские короли изгнали из своего государства евреев, король португальский Иоанн[9] [broken link: #na14_9] предоставил им в своих владениях убежище, взыскав по восемь экю с души и поставив условием, чтобы к определенному сроку они покинули пределы его королевства; он обещал для этой цели снарядить корабли, которые должны будут перевезти их в Африку. В назначенный день, по истечении коего все не подчинившиеся указу, согласно

сделанному им предупреждению, обращались в рабов, им были предоставлены весьма скудно снаряженные корабли. Те, кто взошел на них, подверглись жесткому и грубому обращению со стороны судовых команд, которые, не говоря уже о других издевательствах, возили их по морю взад и вперед, пока изгнанники не съели всех взятых с собою припасов и не оказались вынуждены покупать их у моряков по таким баснословным ценам, что к тому времени, когда, наконец, их высадили на берег, они были обобраны до нитки.

Когда известие об этом бесчеловечном обращении распространилось среди оставшихся в Португалии, большинство предпочло стать рабами, а некоторые притворно выразили готовность переменить веру. Король Мануэль, наследовавший Иоанну, сначала возвратил им свободу, но затем, изменив свое решение, установил новый срок, по истечении коего им надлежало покинуть страну, для чего были выделены три гавани, где им предстояло погрузиться на суда. Он рассчитывал, как говорит в своей превосходно написанной на латыни книге историк нашего времени епископ Озорно[10] [broken link: #na14_10], что если блага свободы, которую он им даровал, не могли склонить их к христианству, то к этому их

принудит страх подвергнуться, подобно ранее уехавшим соплеменникам, грабежу со стороны моряков, а также нежелание покинуть страну, где они привыкли располагать большими богатствами, и отправиться в чужие, неведомые края. Но убедившись, что надежды его были напрасны и что евреи, несмотря ни на что, решили уехать, он отказался предоставить им две гавани из числа первоначально назначенных трех, рассчитывая, что продолжительность и трудности переезда отпугнут некоторых из них, или имея в виду собрать их всех в одно место, дабы с большим удобством исполнить задуманное. А задумал он вот что: он повелел вырвать из рук матерей и отцов всех детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, чтобы отправить их в такое место, где бы они не могли ни видеться, ни общаться с родителями, и там воспитать их в нашей религии. Говорят, что это приказание явилось причиной ужасного зрелища. Естественная любовь родителей к детям и этих последних к родителям, равно как и рвение к древней вере не могли примириться с этим жестоким приказом. Здесь можно было увидеть, как родители кончали с собой; можно было увидеть и еще более ужасные сцены, когда они, движимые любовью и

состраданием к своим маленьким детям, бросали их в колодцы, чтобы хоть этим путем избежать исполнения над ними закона. Пропустив назначенный для них срок из-за нехватки кораблей, они снова были обращены в рабство. Некоторые из них стали христианами, однако и теперь, по прошествии целых ста лет, мало кто в Португалии верит в искренность их обращения или приверженность христианскому исповеданию их потомства, хотя привычка и время действуют гораздо сильнее, чем принуждение[11] [broken link: #na14_11]. Quoties non modo ductores nostri, — говорит Цицерон, — sed universi etiam exercitus ad non dubiam mortem concurrerunt.[12] [broken link: #na14_12]

Мне привелось наблюдать одного из моих ближайших друзей, который всей душой стремился к смерти: это была настоящая страсть, укоренившаяся в нем и подкрепляемая рассуждениями и доводами всякого рода, страсть, от которой я не в силах был его отвратить; и при первой же возможности покончить с собой при почетных для него обстоятельствах он, без всяких видимых оснований, устремился навстречу смерти, влекомый мучительной и жгучей жаждой ее.

Мы располагаем примерами подобного рода и

для нашего времени, вплоть до детей, которые из боязни какой-нибудь ничтожной неприятности накладывали на себя руки. «Чего только мы ни страшимся, — говорит по этому поводу один древний писатель[13] [broken link: #na14_13], — если страшимся даже того, что трусость избрала своим прибежищем?» Если бы я стал перечислять всех лиц мужского и женского пола, принадлежавших к различным сословиям, исповедовавших самую различную веру, которые даже в былые, более счастливые времена с душевной твердостью ждали наступления смерти, больше того, сами искали ее, одни — чтобы избавиться от невзгод земного существования, другие — просто от пресыщения жизнью, третьи — в чаянии лучшего существования в ином мире, — я никогда бы не кончил. Число их столь велико, что поистине мне легче было бы перечесть тех, кто страшился смерти.

Только вот еще что. Однажды во время сильной бури философ Пиррон[14] [broken link: #na14_14], желая ободрить некоторых из своих спутников, которые, как он видел, боялись больше других, указал им на находившегося вместе с ними на корабле борова, не обращавшего ни малейшего внимания на непогоду. Так что же, решимся ли

мы утверждать, что преимущества, доставляемые нашим разумом, которым мы так гордимся и благодаря которому являемся господами и повелителями прочих тварей земных, даны нам на наше мучение? К чему нам познание вещей, если из-за него мы теряем спокойствие и безмятежность, которыми в противном случае обладали бы, и оказываемся в худшем положении, чем боров Пиррона? Не употребим ли мы во вред себе способность разумения, дарованную нам ради нашего вящего блага, если будем применять ее наперекор целям природы и общему порядку вещей, предписывающему, чтобы каждый использовал свои силы и возможности на пользу себе?

Мне скажут, пожалуй: «Ваши соображения справедливы, пока речь идет о смерти. Но что скажете вы о нищете? Что скажете вы о страдании, на которое Аристипп[15] [broken link: #na14_15], Иероним и большинство мудрецов смотрели как на самое ужасное из несчастий? И разве отвергавшие его на словах не признавали его на деле?» Помпей, придя навестить Посидония[16] [broken link: #na14_16] и застав его терзаемым тяжкой и мучительной болезнью, принес свои извинения в том, что выбрал столь неподходя-

щее время, чтобы послушать его философские рассуждения. «Да не допустят боги, — ответил ему Посидоний, — чтобы боль возымела надо мной столько власти и могла воспрепятствовать мне рассуждать и говорить об этом предмете». И он сразу же пустился в рассуждения о презрении к боли. Между тем она делала свое дело и ни на мгновение не оставляла его, так что он, наконец, воскликнул: «Сколько бы ты, боль, ни старалась, твои усилия тщетны; я все равно не назову тебя злом». Этот рассказ, которому придают столько значения, свидетельствует ли он в действительности о презрении к боли? Здесь идет речь лишь о борьбе со словами. Ведь если бы страдания не беспокоили Посидония, с чего бы ему прерывать свои рассуждения? И почему придавал он такую важность тому, что отказывал боли в наименовании ее злом?

Здесь не все зависит от воображения. Если в иных случаях мы и следуем произволу наших суждений, то тут есть некая достоверность, которая сама за себя говорит. Судьями в этом являются наши чувства:

> *Qui nisi sunt veri, ratio quoque falsa sit omnis.[17] [broken link: #na14_17]*

Можем ли мы заставить нашу кожу поверить, что удары бича лишь щекочут ее? Или убедить наши органы вкуса, что настойка алоэ — это белое вино? Боров Пиррона — еще одно доказательство в нашу пользу. Он не знает страха перед смертью, но, если его начнут колотить, он станет визжать и почувствует боль. Можем ли мы побороть общий закон природы, согласно которому все живущее на земле боится боли? Деревья — и те как будто издают стоны, когда им наносят увечья. Что касается смерти, то ощущать ее мы не можем; мы постигаем ее только рассудком, ибо от жизни она отделена не более, чем мгновением:

> *Aut fuit, aut veniet, nihil est praesentis in illa,*
>
> *Morsque minus poenae quam mora mortis habet.[18] [broken link: #na14_18]*

Тысячи животных, тысячи людей умирают прежде, чем успевают почувствовать приближение смерти. И действительно, когда мы говорим, что страшимся смерти, то думаем прежде всего о боли, ее обычной предшественнице.

Правда, если верить одному из отцов церкви, malam mortem non facit, nisi quod sequitur mortem.[19] [broken link: #na14_19] Но, мне кажет-

ся, правильнее было бы сказать, что ни то, что предшествует смерти, ни то, что за ней следует, собственно к ней не относится. Мы извиняем себя без достаточных оснований. И, как говорит опыт, дело тут скорее в невыносимости для нас мысли о смерти, которая делает невыносимой также и боль, мучительность которой мы ощущаем вдвойне, поскольку она предвещает нам смерть. Но так как разум бросает нам упрек в малодушии за то, что мы боимся столь внезапной, столь неизбежной и столь неощутимой вещи, мы прибегаем к этому, наиболее удобному оправданию своего страха.

Любую болезнь, если она не таит в себе никакой другой опасности, кроме причиняемых ею страданий, мы зовем неопасною. Кто же станет считать зубную боль или, скажем, подагру, как бы мучительны они ни были, настоящей болезнью, раз они не смертельны? Но допустим, что в смерти нас больше всего пугает страдание, — совершенно так же, как и в нищете нет ничего страшного, кроме того, что, заставляя нас терпеть голод и жажду, зной и холод, бессонные ночи и прочие невзгоды, она делает нас добычей страдания.

Так вот, будем вести речь только о физической

боли. Я отдаю ей должное: она — наихудший из спутников нашего существования, и я признаю это с полной готовностью. Я принадлежу к числу тех, кто ненавидит ее всей душой, кто избегает ее, как только может, и, благодарение господу, до этого времени мне не пришлось еще по-настоящему познакомиться с нею. Но ведь в нашей власти, если не устранить ее полностью, то, во всяком случае, до некоторой степени умерить терпением и, как бы ни страдало наше тело, сохранить свой разум и свою душу неколебимыми.

Если бы это было не так, кто среди нас стал бы ценить добродетели, доблесть, силу, величие духа, решительность? В чем бы они проявляли себя, если бы не существовало страдания, с которым они вступают в борьбу? Avida est periculi virtus.[20] [broken link: #na14_20] Если бы не приходилось спать на голой земле, выносить в полном вооружении полуденный зной, питаться кониной или ослятиной, подвергаться опасности быть изрубленным на куски, терпеть, когда у вас извлекают засевшую в костях пулю, зашивают рану, промывают, зондируют, прижигают ее каленым железом, — в чем могли бы мы выказать то превосходство, которым желаем отличиться от низменных натур? И когда мудрецы говорят,

что из двух одинаково славных деяний более заманчивым нам кажется то, выполнить которое составляет больше труда, то это отнюдь не похоже на совет избегать страданий и боли. Non enim hilaritate, nec lascivia, nec risu aut ioco comite levitatis, sed saepe etiam trister firmitate et constantia sunt beati.[21] [broken link: #na14_21] Вот почему никак нельзя было разубедить наших предков в том, что победы, одержанные в открытом бою, среди превратностей, которыми чревата война, более почетны, чем достигнутые без всякой опасности, одной лишь ловкостью и изворотливостью:

> *Laetius est, quoties magno sibi constat honestum.[22] [broken link: #na14_22]*

Кроме того, мы должны находить для себя утешение также и в том, что обычно, если боль весьма мучительна, она не бывает очень продолжительной, если же она продолжительна, то не бывает особенно мучительной: si gravis, brevis; si longus, levis.[23] [broken link: #na14_23] Ты не будешь испытывать ее слишком долго, если чувствуешь ее слишком сильно; она положит конец либо себе, либо тебе. И то и другое ведет, в итоге, к одному и тому же. Если ты не в силах

перенести ее, она сама унесет тебя. Memineris maximos morte finiri: parvos multa habere intervalla requietis; mediocrium nos esse dominos: ut si tolerabiles sint, feramus, sin minus, e vita quum ea non placeat, tanquam e theatro exeamus.[24] [broken link: #na14_24]

Невыносимо мучительной делается для нас боль оттого, что мы не привыкли искать высшего нашего удовлетворения в душе и ждать от нее главной помощи, несмотря на то, что именно она — единственная и полновластная госпожа и нашего состояния и нашего поведения. Нашему телу свойственно более или менее одинаковое сложение и одинаковые склонности. Душа же наша бесконечно изменчива и принимает самые разнообразные формы, обладая при этом способностью приспосабливать к себе и к своему состоянию, — каким бы это состояние ни было, — ощущения нашего тела и все прочие его проявления. Вот почему ее должно изучать и исследовать, вот почему надо приводить в движение скрытые в ней могущественные пружины. Нет таких доводов и запретов, нет такой силы, которая могла бы противостоять ее склонностям и ее выбору. Перед нею — тысяча самых разнообразных возможностей; так предоставим же

ей ту из них, которая может обеспечить нашу сохранность и наш покой, и тогда мы не только укроемся от ударов судьбы, но, даже испытывая страдания и обиды, будем считать, если она того пожелает, что нас осчастливили и облагодетельствовали ее удары.

Она извлекает для себя пользу решительно из всего. Даже заблуждения, даже сны — и они служат ее целям: у нее все пойдет в дело, лишь бы оградить нас от опасности и тревоги.

Легко видеть, что именно обостряет наши страдания и наслаждения: это — сила действия нашего ума. Животные, ум которых таится под спудом, предоставляют своему телу свободно и непосредственно, а следовательно, и почти тождественно для каждого вида, выражать одолевающие их чувства; в этом легко убедиться, глядя на их движения, которые при сходных обстоятельствах всегда одинаковы. Если бы мы не стесняли в этом законных прав частей нашего тела, то надо думать, нам стало бы от этого много лучше, ибо природа наделила их в должной мере естественным влечением к наслаждению и естественной способностью переносить страдание. Да они и не могли бы быть неестественными, так как они свойственны всем и одинаковы

для всех. Но поскольку мы отчасти освободились от предписаний природы, чтобы предаться необузданной свободе нашего воображения, постараемся, по крайней мере, помочь себе, направив его в наиболее приятную сторону.

Платон опасается нашей склонности предаваться всем своим существом страданию и наслаждению, потому что она слишком подчиняет душу нашему телу и привязывает ее к нему[25] [broken link: #na14_25]. Что до меня, то я опасаюсь скорее обратного, а именно, что она отрывает и отдаляет их друг от друга.

Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится еще безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаемся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем ее. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.

Обратимся, однако, к примерам — этому подспорью людей слабосильных, вроде меня, — и тут мы сразу убедимся, что со страданием дело обстоит так же, как и с драгоценными камнями,

которые светятся ярче или более тускло, в зависимости от того, в какую оправу мы их заключаем; подобно этому и страдание захватывает нас настолько, насколько мы поддаемся ему. Tantum doluerunt, — говорит св. Августин, — quantum doloribus se inserverunt.[26] [broken link: #na14_26] Мы ощущаем гораздо сильнее надрез, сделанный бритвой хирурга, чем десяток ранений шпагою, полученных нами в пылу сражения. Боли при родовых схватках и врачами и самим богом считаются необыкновенно мучительными, и мы обставляем это событие всевозможными церемониями, а, между тем, существуют народы, которые не ставят их ни во что. Я уже не говорю о спартанских женщинах; напомню лишь о швейцарках, женах наших наемников-пехотинцев. Чем отличается их образ жизни после родов? Разве только тем, что, шагая вслед за мужьями, сегодня иная из них несет ребенка у себя на шее, тогда как вчера еще носила его в своем чреве. А что сказать об этих страшных цыганках, которые снуют между нами? Они отправляются к ближайшей воде, чтобы обмыть новорожденного и искупаться самим. Оставим в стороне также веселых девиц, скрывающих, как правило, и свою беременность и появление на свет божий младен-

ца. Вспомним лишь о почтенной супруге Сабина, римской матроне, которая, не желая беспокоить других, вынесла муки рождения двух близнецов совсем одна, без чьей-либо помощи и без единого крика и стона. Простой мальчишка-спартанец, украв лисицу и спрятав ее у себя под плащом, допустил, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не выдать себя (ведь они, как известно, гораздо больше боялись проявить неловкость при краже, чем мы — наказания за нее). Другой, кадя благовониями во время заклания жертвы и выронив из кадильницы уголек, упавший ему за рукав, допустил, чтобы он прожег ему тело до самой кости, опасаясь нарушить происходившее таинство. В той же Спарте можно было увидеть множество мальчиков семилетнего возраста, которые, подвергаясь, согласно принятому в этой стране обычаю, испытанию доблести, не менялись даже в лице, когда их засекали до смерти. Цицерон видел разделившихся на группы детей, которые дрались, пуская в ход кулаки, ноги и даже зубы, пока не падали без сознания, так и не признав себя побежденными. Nunquam naturam mos vinceret: est enim ea semper invicta; sed nos umbris, deliciis, otio, languore, desidia animum infecimus; opinionibus maloque more delinitum

mollivimus.[27] [broken link: #na14_27] Кому не известна история Муция Сцеволы, который, пробравшись в неприятельский лагерь, чтобы убить вражеского военачальника, и потерпев неудачу, решил все же добиться своего и освободить родину, прибегнув к весьма необыкновенному средству? С этой целью он не только признался Порсенне — тому царю, которого собирался убить, — в своем первоначальном намерении, но еще добавил, что в римском лагере есть немало его единомышленников, людей такой же закалки, как он, поклявшихся совершить то же самое. И, чтобы показать, какова же эта закалка, он, попросив принести жаровню, положил на нее свою руку и смотрел спокойно, как она пеклась и поджаривалась, до тех пор, пока царь, придя в ужас, не повелел сам унести жаровню. Ну а тот, который не пожелал прервать чтение книги, пока его резали?[28] [broken link: #na14_28] А тот, который не переставал шутить и смеяться над пытками, которым его подвергали, вследствие чего распалившаяся жестокость его палачей и все изощренные муки, какие только они в состоянии были для него придумать, лишь служили к его торжеству[29] [broken link: #na14_29]? Это был, правда, философ. Ну так что ж? В таком случае,

вот вам гладиатор Цезаря, который лишь смеялся, когда бередили или растравляли его раны. Quis mediocris qladiator inqemuit? Quis vultum mutavit unquam? Quis non modo stetit verum etiam decubuit turpiter? Quis sum decubuisset, ferrum recipere iussus coellum contraxit?[30] [broken link: #na14_30] Добавим сюда женщин. Кто не слышал в Париже об одной особе, которая велела содрать со своего лица кожу единственно лишь для того, чтобы, когда на ее месте вырастет новая, цвет ее был более свежим? Встречаются и такие, которые вырывают себе вполне здоровые и крепкие зубы, чтобы их голос стал нежнее и мягче или чтобы остальные зубы росли более правильно и красиво. Сколько могли бы мы привести еще других примеров презрения к боли! На что только не решаются женщины? Существует ли что-нибудь, чего бы они побоялись, если есть хоть крошечная надежда, что это пойдет на пользу их красоте?

> *Vellere queis cura est albos a stirpe capillos,*
>
> *Et faciem dempta pelle referre novam.[31] [broken link: #na14_31]*

Я видел таких, что глотают песок или золу, всячески стараясь испортить себе желудок, чтобы

лицо у них сделалось бледным. А каких только мук не выносят они, чтобы добиться стройного стана, затягиваясь и шнуруясь, терзая себе бока жесткими, въедающимися в тело лубками, отчего иной раз даже умирают!

У многих народов и в наше время существует обычай умышленно наносить себе раны, чтобы внушить больше доверия к тому, что они о себе рассказывают, и наш король[32] [broken link: #na14_32] приводил немало замечательных случаев подобного рода, которые ему довелось наблюдать в Польше среди окружавших его людей. Не говоря уже о том, что иные и у нас во Франции, как мне известно, проделывают над собой то же самое из подражания; я видел незадолго до знаменитых штатов в Блуа одну девицу, которая, стремясь подтвердить пламенность своих обещаний, а заодно и свое постоянство, нанесла себе вынутой из прически шпилькою четыре или пять сильных уколов в руку, прорвавших у нее кожу и вызвавших сильное кровотечение. Турки в честь своих дам делают у себя большие надрезы на коже, и, чтобы след от них остался навсегда, прижигают рану огнем, причем держат его на ней непостижимо долгое время, останавливая таким способом кровь и, вместе с тем, образуя

себе рубцы. Люди, которым довелось это видеть своими глазами, писали мне об этом, клянясь, что это правда. Впрочем, можно всегда найти среди них такого, который за десять асперов[33] [broken link: #na14_33] сам себе нанесет глубокую рану на руке или ляжке[34] [broken link: #na14_34].

Мне чрезвычайно приятно, что там, где нам особенно бывают необходимы свидетели, они тут как тут, ибо христианский мир поставляет их в изобилии. После примера, явленного нам нашим всеблагим пастырем, нашлось великое множество людей, которые из благочестия возжелали нести крест свой. Мы узнаем от заслуживающего доверия свидетеля[35] [broken link: #na14_35], что король Людовик Святой носил власяницу до тех пор, пока его не освободил от нее, уже в старости, его духовник, а также, что всякую пятницу он побуждал его бить себя по плечам, употребляя для этого пять железных цепочек, которые постоянно возил с собою в особом ларце. Гильом, наш последний герцог Гиеньский[36] [broken link: #na14_36], отец той самой Альеноры, от которой это герцогство перешло к французскому, а затем к английскому королевским домам, последние десять или двенадцать лет своей жизни постоянно носил под монашеской одеждой, покаяния

ради, панцырь; Фульк[37] [broken link: #na14_37], граф Анжуйский, отправился даже в Иерусалим с веревкой на шее для того, чтобы там, по его приказанию, двое слуг бичевали его перед гробом господним. А разве не видим мы каждый год, как толпы мужчин и женщин бичуют себя в страстную пятницу, терзая тело до самых костей? Я видел это не раз и, признаюсь, без особого удовольствия. Говорят, среди них (они надевают в этих случаях маски) бывают такие, которые берутся за деньги укреплять таким способом набожность в других, вызывая в них величайшее презрение к боли, ибо побуждения благочестия еще сильнее побуждений корыстолюбия.

Квинт Максим похоронил своего сына, бывшего консула, Марк Катон — своего, избранного на должность претора, а Луций Павел — двух сыновей, умерших один за другим, — и все они внешне сохраняли спокойствие и не выказывали никакой скорби. Как-то раз, в дни моей молодости, я сказал в виде шутки про одного человека, что он увильнул от кары небесной. Дело в том, что он в один день потерял погибших насильственной смертью троих взрослых сыновей, что легко можно было истолковать, как удар карающего бича; и что же, он был недалек от того,

чтобы принять это как особую милость! Я сам потерял двух-трех детей, правда в младенческом возрасте, если и не без некоторого сожаления, то, во всяком случае, без ропота. А между тем, нет ничего, что могло бы больше потрясти человека, чем это несчастье. Мне известны и другие невзгоды, которые обычно считаются людьми достаточным поводом к огорчению, но они едва ли могли бы задеть меня за живое, если бы мне пришлось столкнуться с ними; и действительно, когда они все же постигли меня, я отнесся к ним с полным пренебрежением, хотя тут были вещи, относимые всеми к самым ужасным, так что я не посмел бы хвалиться этим перед людьми без краски стыда на лице. Ex quo intelligitur non in natura, sed in opinione esse aegritudinem.[38] [broken link: #na14_38]

Наше представление о вещах — дерзновенная и безмерная сила. Кто стремился с такою жадностью к безопасности и покою, как Александр Великий и Цезарь к опасностям и лишениям? Терес, отец Ситалка, имел обыкновение говорить, что, когда он не на войне, он не видит между собой и своим конюхом никакого различия[39] [broken link: #na14_39].

Когда Катон в бытность свою консулом, желая

обеспечить себе безопасность в нескольких городах Испании, запретил их обитателям носить оружие, многие из них наложили на себя руки; Ferox gens nullam vitam rati sine armis esse.[40] [broken link: #na14_40] А сколько мы знаем таких, кто бежал от утех спокойного существования у себя дома, в кругу родных и друзей, навстречу ужасам безлюдных пустынь, кто сам себя обрек нищете, жалкому прозябанию и презрению света и настолько был удовлетворен этим образом жизни, что полюбил его всей душой! Кардинал Борромео[41] [broken link: #na14_41], скончавшийся недавно в Милане, в этом средоточии роскоши и наслаждений, к которым его могла бы приохотить и знатность происхождения, и богатство, и самый воздух Италии, и, наконец, молодость, жил в такой строгости, что одна и та же одежда служила ему и зимою и летом, и ему было незнакомо другое ложе, кроме охапки соломы; и если у него оставались свободные от его обязанностей часы, он их проводил в непрерывных занятиях, стоя на коленях и имея возле своей книги немного воды и хлеба, составлявших всю его пишу, которую он и съедал, не отрываясь от чтения. Я знаю рогоносцев, извлекавших выгоду из своей беды и добивавшихся благодаря ей про-

движению, а между тем одно это слово приводит большинство людей в содрогание. Если зрение и не самое необходимое из наших чувств, оно все же среди них то, которое доставляет нам наибольшее наслаждение; а из органов нашего тела, одновременно доставляющих наибольшее наслаждение и наиболее полезных для человеческого рода, следует назвать, думается мне, те, которые служат деторождению. А между тем, сколько людей возненавидели их лютой ненавистью только из-за того, что они дарят нам наслаждение, и отвергли именно потому, что они особенно важны и ценны. Так же рассуждал и тот, кто сам лишил себя зрения[42] [broken link: #na14_42].

Большинство людей, и притом самые здоровые среди них, считают, что иметь много детей — великое счастье; что до меня и еще некоторых, мы считаем столь же великим счастьем не иметь их совсем. Когда спросили Фалеса[43] [broken link: #na14_43], почему он не женится, от ответил, что не имеет охоты плодить потомство.

Что ценность вещей зависит от мнения, которое мы имеем о них, видно хотя бы уже из того, что между ними существует много таких, которые мы рассматриваем не только затем, чтобы оценивать их, но и с тем, чтобы оценить

их для себя.

Мы не принимаем в расчет ни их качества, ни степени их полезности; для нас важно лишь то, чего нам стоило добыть их, словно это есть самое основное в их сущности: и ценностью их мы называем не то, что они в состоянии нам доставить, но то, какой ценой мы себе их достали. Из этого я делаю заключение, что мы расчетливые хозяева и не позволяем себе лишних издержек. Если вещь добыта нами с трудом, она стоит в наших глазах столько, сколько стоит затраченный нами труд. Мнение, составленное нами о вещи, никогда не допустит, чтобы она имела несоразмерную цену. Алмазу придает достоинство спрос, добродетели — трудность блюсти ее, благочестию — претерпеваемые лишения, лекарству — горечь.

Некто, желая сделаться бедняком, выбросил все свои деньги в то самое море, в котором везде и всюду копошится столько других людей, чтобы уловить в свои сети богатство[44] [broken link: #na14_44]. Эпикур[45] [broken link: #na14_45] говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность. Я хочу поделиться на этот счет своим опытом.

С тех пор как я вышел из детского возраста, я испытал три рода условий существования. Первое время, лет до двадцати, я прожил, не имея никаких иных средств, кроме случайных, без определенного положения и дохода, завися от чужой воли и помощи. Я тратил деньги беззаботно и весело, тем более что количество их определяла прихоть судьбы. И все же никогда я не чувствовал себя лучше. Ни разу не случилось, чтобы кошельки моих друзей оказались для меня туго завязанными. Главнейшей моей заботой я считал в те времена заботу о том, чтобы не пропустить срока, который я сам назначил, чтобы расплатиться. Этот срок, впрочем, они продлевали, может быть, тысячу раз, видя усилия, которые я прилагал, чтобы вовремя рассчитаться с ними; выходит, что я платил им со щепетильною и, вместе с тем, несколько плутоватою честностью. Погашая какой-нибудь долг, я испытываю всякий раз настоящее наслаждение: с моих плеч сваливается тяжелый груз, и я избавляюсь от сознания своей зависимости. К тому же, мне доставляет некоторое удовольствие мысль, что я делаю нечто справедливое и удовлетворяю другого. Сюда, конечно, не относятся платежи, сопряженные с расчетами и необходимостью торговаться,

так как если нет никого, на кого можно было бы свалить эту обузу, я, к стыду своему, не вполне добросовестным образом оттягиваю их елико возможно; я смертельно боюсь всяких препирательств, к которым ни склад моего характера, ни мой язык никоим образом не приспособлены. Для меня нет ничего более ненавистного, чем торговаться: это сплошное надувательство и бесстыдство; после целого часа споров и жульничества обе стороны нарушают раньше данное ими слово ради каких-нибудь пяти су. Вот почему условия, на которых я занимал, бывали обычно невыгодными; не решаясь попросить денег при личном свидании, я обычно прибегал в таких случаях к письменным сношениям, а бумага — не очень хороший ходатай и часто соблазняет руку на отказ. Я гораздо охотнее и с более легким сердцем доверял в ту пору ведение моих дел счастливой звезде, чем доверяю их теперь своей предусмотрительности и здравому смыслу.

Большинство хороших хозяев считает чем-то ужасным жить в такой неопределенности; но, во-первых, они упускают из виду, что большинство людей живет именно таким образом. Сколько весьма почтенных людей жертвовало своей уверенностью в завтрашнем дне и продолжает

каждодневно делать то же самое в надежде на королевское благоволение и на милости фортуны. Цезарь, чтобы сделаться Цезарем, издержал, помимо своего имущества, еще миллион золотом, взятый им в долг. А сколько купцов начинают свои торговые операции с продажи какой-нибудь фермы, которую они посылают, так сказать, в Индию

> *Tot per impotentia freta.[46] [broken link: #na14_46]*

Мы видим, что, несмотря на оскудение благочестия, многие тысячи монастырей не знают нужды, хотя дневное пропитание живущих в них монахов зависит исключительно от милостей неба. Во-вторых, эти хорошие хозяева забывают также о том, что обеспеченность, на которую они хотят опереться, столь же неустойчива и столь же подвержена разного рода случайностям, как и сам случай. Имея две тысячи экю годового дохода, я вижу себя столь близким к нищете, как если бы она уже стучалась ко мне в дверь. Ибо судьбе ничего не стоит пробить сотню брешей в нашем богатстве, открыв тем самым путь нищете, и нередко случается, что она не допускает ничего среднего между величайшим благоденствием и

полным крушением:

> *Fortuna vitrea est; tum, quum splendet frangitur.[47] [broken link: #na14_47]*

И поскольку она сметает все наши шанцы и бастионы, я считаю, что нужда столь же часто по разным причинам бывает гостьей как тех, кто обладает значительным состоянием, так и тех, кто не имеет его; и подчас она менее тягостна, когда встречается сама по себе, чем когда мы видим ее бок о бок с богатством. Последнее создается не столько большими доходами, сколько правильным ведением дел: faber est suae quisque fortunae.[48] [broken link: #na14_48] Озабоченный, вечно нуждающийся и занятый по горло делами богач кажется мне еще более жалким, чем тот, кто попросту беден: in divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est.[49] [broken link: #na14_49]

Нужда и отсутствие денежных средств побуждали самых могущественных и богатых властителей к крайностям всякого рода. Ибо что может быть большею крайностью, чем превращаться в тиранов и бесчестных насильников, присваивающих достояние своих подданных?

Второй период моей жизни — это то время,

когда у меня завелись свои деньги. Получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, я в короткий срок отложил довольно значительные, сравнительно с моим состоянием, сбережения, считая, что по-настоящему мы имеем лишь то, чем располагаем сверх наших обычных издержек и что нельзя полагаться на те доходы, которые мы только надеемся получить, какими бы верными они нам не казались. «А вдруг, — говорил я себе, — меня постигнет та или другая случайность?» Находясь во власти этих пустых и нелепых мыслей, я думал, что поступаю благоразумно, откладывая излишки, которые должны были выручить меня в случае затруднений. И тому, кто указывал мне на то, что таким затруднениям нет числа, я отвечал, не задумываясь, что если это и не избавит меня от всех трудностей, то предохранит, по крайней мере, от некоторых и притом весьма многих. Дело не обходилось без мучительных волнений. Я из всего делал тайну. Я, который позволяю себе рассказывать так откровенно о себе самом, говорил о своих средствах, многое утаивая, неискренне, следуя примеру тех, кто, обладая богатством, прибедняется, а будучи бедным, изображает себя богачом, но никогда не признается по совести,

чем он располагает в действительности. Смешная и постыдная осторожность! Отправлялся ли я в путешествие, мне постоянно казалось, что у меня недостаточно при себе денег. Но чем больше денег я брал с собой, тем больше возрастали мои опасения: то я сомневался, насколько безопасны дороги, то — можно ли доверять честности тех, кому я поручил мои вещи, за которые, подобно многим другим, я никогда не бывал спокоен, если только они не были у меня перед глазами. Если же шкатулку с деньгами я держал при себе, — сколько подозрений, сколько тревожных мыслей и, что самое худшее, — таких, которыми ни с кем не поделишься! Я был всегда настороже. В общем, уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их. Если, бывало, я и не испытывал всего того, о чем здесь рассказываю, то каких трудов мне стоило удержаться от этого! О своем удобстве я заботился мало или совсем не заботился. От того, что я получил возможность тратить деньги свободнее, я не стал расставаться с ними с более легкой душой. Ибо, как говорил Бион[50] [broken link: #na14_50], волосатый злится не меньше плешивого, когда его дерут за волосы. Как только вы приучили себя к мысли, что обладаете той или иной суммой, и твердо это запомнили, — вы

уже больше не властны над ней, и вам страшно хоть сколько-нибудь из нее израсходовать. Вам все будет казаться, что перед вами строение, которое разрушится до основания, стоит вам лишь прикоснуться к нему. Вы решитесь начать расходовать эти деньги только в случае, если вас схватит за горло нужда. И в былое время я с большею легкостью закладывал свои пожитки или продавал верховую лошадь, чем теперь позволял себе прикоснуться к заветному кошельку, который я хранил в потайном месте. И хуже всего то, что нелегко положить себе в этом предел (ведь всегда бывает трудно установить границу того, что считаешь благом) и остановиться на должной черте в своем скопидомстве. Накопленное богатство невольно стараешься все время увеличить и приумножить, не беря из него чего-либо, а прибавляя, вплоть до того, что позорно отказываешься от пользования в свое удовольствие своим же добром, которое хранишь под спудом, без всякого употребления.

Если так распоряжаться своим богатством, то самыми богатыми людьми придется назвать тех, кому поручено охранять ворота и стены какого-нибудь богатого города. Всякий денежный человек, на мой взгляд, — скопидом.

Платон в следующем порядке перечисляет физические и житейские блага человека: здоровье, красота, сила, богатство. И богатство, говорит он, вовсе не слепо; напротив, оно весьма прозорливо, когда его освещает благоразумие[51] [broken link: #na14_51].

Здесь уместно вспомнить о Дионисии Младшем, который весьма остроумно подшутил над одним скрягою. Ему сообщили, что один из его сиракузцев закопал в землю сокровища. Дионисий велел ему доставить их к нему во дворец, что тот и сделал, утаив, однако, некоторую их часть; а затем, забрав с собой припрятанную им долю, этот человек переселился в другое место, где, потеряв вкус к накоплению денег, начал жить на более широкую ногу. Услышав об этом, Дионисий приказал возвратить ему отнятую у него часть сокровищ, сказав, что, поскольку человек этот научился, наконец, пользоваться ими как подобает, он охотно возвращает ему отобранное[52] [broken link: #na14_52].

И я в течение нескольких лет был таким же. Не знаю, какой добрый гений вышиб, на мое счастье, весь этот вздор из моей головы, подобно тому как это случилось и с сиракузцем. Забыть начисто о скопидомстве помогло мне удовольствие,

испытанное во время одного путешествия, сопряженного с большими издержками. С той поры я перешел уже к третьему по счету образу жизни — так, по крайней мере, мне представляется, — несомненно более приятному и упорядоченному. Мои расходы я соразмеряю с доходами; если порою первые превышают вторые, а порою бывает наоборот, то все же большого расхождения между ними я не допускаю. Я живу себе потихоньку и доволен тем, что моего дохода вполне хватает на мои повседневные нужды; что же до нужд непредвиденных, то тут человеку не хватит и богатств всего мира. Глупостью было бы ждать, чтобы фортуна сама вооружила нас навсегда для защиты от ее посягательств. Бороться с нею мы должны своим собственным оружием. Случайное оружие всегда может изменить в решительную минуту. Если я иной раз и откладываю деньги, то лишь в предвидении какого-нибудь крупного расхода в ближайшем времени, не для того чтобы купить себе землю (с которою мне нечего делать), а чтобы купить удовольствие. Non esse cupidum pecunia est, non esse emacem vectigal est.[53] [broken link: #na14_53]

Я не испытываю ни опасений, что мне не хватит моего состояния, ни желания, чтобы оно у

меня увеличилось: Divitiarum fructus est in copia, copiam declarat satietas.[54] [broken link: #na14_54] Я считаю великим для себя счастьем, что эта перемена случилась со мною в наиболее склонном к скупости возрасте и что я избавился от недуга, столь обычного у стариков и притом самого смешного из всех человеческих сумасбродств.

Фераулес, унаследовав два состояния и обнаружив, что с возрастанием богатства желание есть, пить, спать или любить жену не возрастает, но остается таким же, как прежде, и чувствуя, с другой стороны, какое невыносимое бремя возлагает на него стремление соблюдать бережливость, — совсем как это было со мной, — решил облагодетельствовать одного юношу, своего верного друга, который жаждал разбогатеть, и с этою целью подарил ему не только все то, что уже имел, — а состояние его было огромным, — но и то, что продолжал получать от щедрот своего повелителя Кира, равно как и свою долю военной добычи, при условии, что этот молодой человек возьмет на себя обязательство достойным образом содержать и кормить его, как гостя и друга. Так они и жили с этой поры в полном согласии, причем оба были в равной мере довольны переменой в своих обстоятельствах. Вот пример,

которому я последовал бы с величайшей охотою[55] [broken link: #na14_55].

Я весьма одобряю также поведение одного пожилого прелата, который полностью освободил себя от забот о своем кошельке, о своих доходах и тратах, поручая их то одному из своих доверенных слуг, то другому, и провел долгие годы в таком неведении относительно состояния своих дел, словно он был во всем этом лицом посторонним. Доверие к добропорядочности другого является достаточно веским свидетельством собственной, и ему обычно покровительствует бог. Что касается упомянутого мною прелата, то нигде я не видел такого порядка, как у него в доме, как нигде больше не видел, чтобы хозяйство поддерживалось с таким достоинством и такой твердой рукой. Счастлив тот, кто сумел с такой точностью соразмерять свои нужды, что его средства оказываются достаточными для удовлетворения их, без каких-либо хлопот и стараний с его стороны. Счастлив тот, кого забота об управлении имуществом или о его приумножении не отрывает от других занятий, более соответствующих складу его характера, более спокойных и приятных ему.

Итак, и довольство и бедность зависят от представления, которое мы имеем о них; сходным

образом и богатство, равно как и слава или здоровье, прекрасны и привлекательны лишь настолько, насколько таковыми находят их те, кто пользуется ими. Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Доволен не тот кого другие мнят довольным, а тот, кто сам мнит себя таковым. И вообще, истинным и существенным тут можно считать лишь собственное мнение данного человека.

Судьба не приносит нам ни зла, ни добра, она поставляет лишь сырую материю того и другого и способное оплодотворить эту материю семя. Наша душа, более могущественная в этом отношении, чем судьба, использует и применяет их по своему усмотрению, являясь, таким образом, единственной причиной и распорядительницей своего счастливого или бедственного состояния. Внешние обстоятельства принимают тот или иной характер в зависимости от наших внутренних свойств, подобно тому, как наша одежда согревает нас не своей теплотою, но нашей собственной, которую, благодаря своим свойствам, она может задерживать и накапливать. Тот, кто укутал бы одеждою какой-нибудь холодный предмет, точно таким же образом поддержал бы

в нем холод: так именно и поступают со снегом и льдом, чтобы предохранить их от таяния.

Как учение — мука для лентяя, а воздержание от вина — пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения — тяготою для человека изнеженного и праздного, и тому подобное. Вещи сами по себе не являются ни трудными, ни мучительными, и только наше малодушие или слабость делают их такими. Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны. Весло, погруженное в воду, кажется над надломленным. Таким образом, важно не только то, что мы видим, но и как мы его видим.

А раз так, то почему среди стольких рассуждений, которые столь различными способами убеждают людей относиться с презрением к смерти и терпеливо переносить боль, нам не найти какого-нибудь годного также для нас? И почему из такого множества доводов, убедивших в этом других, каждому из нас не избрать для себя такого, который был бы ему больше по нраву? И если ему не по силам лекарство, действующее быстро и бурно и исторгающее болезнь с кор-

нем, то пусть он примет хотя бы мягчительного, которое принесло бы ему облегчение. Opinio est quaedam effeminata ac levis, nec in dolore magis, quam eadem in voluptate: qua, quum liquescimus fluimusque mollitia, apis aculeum sine clamore ferre non possumus. Totum in eo est, ut tibi imperes.[56] [broken link: #na14_56]

Впрочем, и тот, кто станет чрезмерно подчеркивать остроту наших страданий и человеческое бессилие, не отделяется от философии. В ответ ему она выдвинет следующее бесспорное положение: «Если жить в нужде плохо, то нет никакой нужды жить в нужде».

Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам.

Кому не достает мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать, ни сражаться, чем поможешь такому?

## Глава XV
## За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание

Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел, преступив который, начинаешь склоняться к пороку. Вот почему она может увлечь всякого, недостаточно хорошо знающего ее границы, — а установить их с точностью, действительно, нелегко — к безрассудству, упрямству и безумствам всякого рода. Это обстоятельство и породило обыкновение наказывать во время войны — иногда даже смертью — тех, кто упрямо отстаивает укрепленное место, удержать которое, по правилам военной науки, невозможно. Иначе не было бы такого курятника, который, в надежде на безнаказанность, не задерживал бы продвижение целей армии.

Господин коннетабль де Монморанси при осаде Павии[1] [broken link: #na15_1] получил приказание переправиться через Тичино и захватить предместье св. Антония; задержанный защитниками предмостной башни, оказавшими упорное сопротивление, он все же взял ее приступом и

велел повесить всех оборонявшихся в ней. Так же поступил он и впоследствии, когда сопровождал дофина в походе по ту сторону гор; после того как замок Виллано был им захвачен и солдаты, озверев, перебили всех, кто находился внутри, за исключением коменданта и знаменосца, он велел, по той же причине, повесить и этих последних[2] [broken link: #na15_2]. Подобную же участь и в тех же краях испытал и капитан Бонн, все люди которого были перебиты при взятии укрепления; так приказал Мартен Дю Белле[3] [broken link: #na15_3], в ту пору губернатор Турмна. Но поскольку судить о мощи или слабости укрепления можно, лишь сопоставив свои силы с силами осаждающих (ибо тот, кто достаточным основанием стал бы сопротивляться двум кулевринам, поступил бы как сумасшедший, если бы вздумал бороться против тридцати пушек), и так как здесь, кроме того, принимается обычно в расчет могущество вторгшегося государя, его репутация, уважение, которое ему должно оказывать, то существует опасность, что на весах его чаша всегда будет несколько перевешивать. А это, в свою очередь, приводит к тому, что такой государь начинает настолько мнить о себе и своем могуществе, что ему кажется просто

нелепым, будто может существовать хоть кто-нибудь, достойный сопротивляться ему, и пока ему улыбается военное счастье, он предает мечу всякого, кто борется против него, как это видно хотя бы на примере тех свирепых, надменных и исполненных варварской грубости требований, которые были в обычае у восточных властителей да и ныне в ходу у их преемников.

Также и там, где португальцы впервые начали грабить Индию, они нашли государства, в которых господствовал общераспространенный и нерушимый закон, гласящий, что враг, побежденный войском, находящимся под начальством царя или его наместника, не подлежит выкупу и не может надеяться на пощаду.

Итак, пусть всякий, кто сможет, остерегается попасть в руки судьи, когда этот судья — победоносный и вооруженный до зубов враг.

## Глава XVI
## О наказании за трусость

Я слышал как-то от одного принца и весьма крупного полководца, что нельзя осуждать на смерть солдата за малодушие; это мнение было высказано им за столом, после того как ему рассказали о суде над господином де Вервеном, приговоренным к смерти за сдачу Булони[1] [broken link: #na16_1].

И в самом деле, я нахожу вполне правильным, что проводят отчетливую границу между поступками, проистекающими от нашей слабости, и теми, которые порождены злонамеренностью. Совершая последние, мы сознательно восстаем против велений нашего разума, запечатленных в нас самою природою, тогда как, совершая первые, мы имели бы основание, думается мне, сослаться на ту же природу, которая создала нас столь немощными и несовершенными; вот почему весьма многие полагают, что нам можно вменять в вину только содеянное нами вопреки совести. На этом и основано в известной мере как мнение тех, кто осуждает смертную казнь для

еретиков и неверующих, так и правило, согласно которому адвокат и судья не могут привлекаться к ответственности за промахи, допущенные по неведению при отправлении ими должности.

Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенный способ ее наказания — это всеобщее презрение и поношение. Считают, что подобное наказание ввел впервые в употребление законодатель Харонд[2] [broken link: #na16_2] и что до него всякого бежавшего с поля сражения греческие законы карали смертью; он же приказал вместо этого выставлять таких беглецов на три дня в женском платье на городской площади, надеясь, что это может послужить им на пользу и что бесчестие возвратит им мужество. Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere.[3] [broken link: #na16_3] Римские законы, по крайней мере в древнейшее время, также карали бежавших с поля сражения смертной казнью. Так, Аммиан Марцеллин рассказывает, что десять солдат, повернувшихся спиной к неприятелю во время нападения римлян на войско парфян, были лишены императором Юлианом военного звания и затем преданы смерти в соответствии с древним законом[4] [broken link: #na16_4]. Впрочем, в другой раз за такой же проступок он наказал

виновных лишь тем, что поместил их среди пленных в обозе. Хотя римский народ и подверг суровой каре солдат, бежавших после битвы при Каннах, а также тех, кто во время той же войны был с Гнеем Фульвием при его поражении, тем не менее, в этом случае дело не дошло до наказания смертью.

Есть, однако, основание опасаться, что позор не только повергает в отчаянье тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов.

Во времена наших отцов господин де Франже, некогда заместитель главнокомандующего в войсках маршала Шатильона, назначенный маршалом де Шабанном на пост губернатора Фуэнтарабии вместо господина дю Люда и сдавший этот город испанцем, был приговорен к лишению дворянского звания, и как он сам, так и его потомство были объявлены простолюдинами, причислены к податному сословию и лишены права носить оружие. Этот суровый приговор был исполнен над ними в Лионе. В дальнейшем такому же наказанию были подвергнуты все дворяне, которые находились в городе Гизе, когда туда вступил граф Нассауский; с той поры то же

претерпели и некоторые другие.

Как бы там ни было, всякий раз, когда мы наблюдаем столь грубые и явные, превосходящие всякую меру невежество или трусость, мы вправе прийти к заключению, что тут достаточно доказательств преступного умысла и злой воли, и наказывать их так таковые.

## Глава XVII
## Об образе действий некоторых послов

Во время моих путешествий, стремясь почерпнуть из общения с другими что-нибудь для меня новое (а это — одна из лучших школ, какие только можно себе представить), я неизменно следую правилу, состоящему в том, чтобы наводить своего собеседника на разговор о таких предметах, в которых он лучше всего осведомлен.

*Basti al nocchiero ragionar de'venti,*
*Al bifolco dei tori, et le sue piaghe*
*Conti'l guerrier, conti'l pastor gli armenti.[1] [broken link: #na17_1]*

Впрочем, чаще всего наблюдается обратное, ибо всякий охотнее рассуждает о чужом ремесле, нежели о своем собственном, надеясь прослыть, таким образом, знатоком еще в какой-нибудь области; так, например, Архидам[2] [broken link: #na17_2] упрекал Периандра в том, что тот пренебрег славою выдающегося врача, погнавшись за славою дурного поэта.

Поглядите, сколь многословным становится Це-

зарь, когда он описывает нам свои изобретения, относящиеся к постройке мостов[3] [broken link: #na17_3] или военных машин, и как, напротив, он краток и скуп на слова всюду, где рассказывает о своих обязанностях военачальника, о своей личной храбрости или о поведении своих воинов.

Его деяния и без того достаточно подтверждают, что он выдающийся полководец; ему хочется, однако, чтобы его знали и как превосходного военного инженера, а это нечто совсем уже новое. Не так давно некий ученый юрист, когда ему показали рабочий кабинет, где было множество книг, относящихся к его роду занятий, а также к другим отраслям знания, не обнаружил в нем ничего такого, о чем, по его мнению, стоило бы поговорить. А между тем он остановился, чтобы с ученым и важным видом потолковать по поводу заграждения на винтовой лестнице, что вела в эту комнату, хотя человек до ста офицеров и солдат ежедневно проходит мимо, не обращая на него никакого внимания.

Дионисий Старший был отличнейшим полководцем, как это и приличествовало его положению, но он стремился достигнуть славы преимущественно в поэзии, в которой решительно ничего не смыслил.

*Optat ephippia bos piger, optat arare caballus.[4] [broken link: #na17_4]*

Но таким образом вы никогда не добьетесь чего-либо путного.

Итак, всякого, кем бы он ни был, — зодчий ли это, живописец, сапожник или кто-либо иной, — подобает неукоснительно возвращать к предмету его повседневных занятий. И по этому поводу замечу: читая сочинения по истории, — в каковом жанре упражнялись самые различные люди, — я усвоил обыкновение принимать в расчет, кем именно были писавшие: если это люди, не занимавшиеся ничем иным, кроме литературных трудов, я смотрю прежде всего на слог и язык; если врачи, я доверяю с большей охотой тому, что говорится ими о температуре воздуха, о здоровье и складе характера государей, о ранениях и болезнях; если юристы, то в первую очередь следует направить свое внимание на их рассуждения по вопросам права, о законах, о государственных учреждениях и прочих вещах такого же рода; если теологи — то на дела церковные отлучения от церкви, эпитимии, разрешения на вступления в брак; если придворные — на описание обычаев и церемоний; если военные — на то, что относится к их ремеслу, и, главным образом, на их

повествования о походах и битвах, в которых они принимали участие; если послы — то на всевозможные хитрости, шпионаж, подкупы и на то, как все это проделывалось.

По этой причине я выделил и отметил в «Истории» сеньора де Ланже[5] [broken link: #na17_5], человека в высшей степени сведущего в этих делах, много такого, мимо чего я прошел бы, будь автором кто-либо иной. Рассказав о весьма выразительных предупреждениях, сделанных императором Карлом V римской консистории в присутствии наших послов, епископа Маковского и господина дю Белли, к чему император добавил немало оскорбительных выражений, направленных против нас, и, среди прочего, то, что если бы его военачальники, солдаты и подданные были столь же преданы своему господину и столь искусны в военном деле, как те, которыми располагает король, то он тут же навязал бы себе на шею веревку и отправился бы смиренно молить о пощаде (он, по-видимому, и сам в некоторой степени верил, что так оно в действительности и есть, ибо и позже, в течение своей жизни, раза два или три повторял то же самое), а также сообщив о том, что он послал вызов нашему королю, предлагая ему поединок в лодке, в одних рубахах,

на шпагах и на кинжалах, — вышеназванный сеньор де Ланже добавляет, что упомянутые послы, написав королю донесение, утаили от него большую часть слов императора и даже те оскорбления, о которых было рассказано выше. Я нахожу весьма странным, как это посол позволил себе решать, о чем докладывать своему государю, а что скрыть от него, тем более, что дело было чревато такими последствиями, что эти слова исходили от такого лица и были произнесены на столь многолюдном собрании. Мне кажется, что обязанность подчиненного — точно и правдиво, со всеми подробностями, излагать события, как они были, дабы господин располагал полной свободою отдавать приказания, оценивать положение и выбирать. Ибо искажать или утаивать истину из опасения, как бы он не принял ее неподобающим образом и как бы это не толкнуло его к какому-нибудь неправильному решению, и из-за этого оставлять его неосведомленным о действительном положении дел — подобное право, как я полагаю, принадлежит тем, кто предписывает законы, а не тем, для кого они предназначены, принадлежит руководителю и наставнику, но вовсе не тому, кто должен почитать себя низшим, и притом не только по своему положению, но и

по опытности и мудрости. Как бы там ни было, я отнюдь не хотел бы, чтобы мне, при всей ничтожности моей особы, служили вышеописанным образом.

Мы стремимся, пользуясь любыми предлогами, выйти из подчинения и присвоить себе право распоряжаться; всякий из нас — и это вполне естественно — домогается свободы и власти; вот почему для вышестоящего не должно быть и в подчиненном ничего более ценного, чем простодушное и бесхитростное повиновение.

Если повиновение оказывают не беспрекословно, но сохраняя за собой известную независимость, то это большая помеха для отдающего приказание. Публий Красе[6] [broken link: #na17_6], тот самый, которого римляне считали пятикратно счастливым, пребывая во время своего консульства в Азии, велел одному инженеру-греку доставить к нему большую из двух корабельных мачт, которые он видел при посещении им Афин, дабы соорудить из нее задуманную им метательную машину; грек же, основываясь на своих знаниях, позволил себе нарушить приказ и привез ту из мачт, которая была меньше, но, вместе с тем, как подсказывал ему опыт, и более пригодной для указанной цели. Красе, терпеливо

выслушав его доводы, велел все же подвергнуть его бичеванию, считая, что дисциплина прежде всего, даже если это ведет к ущербу для дела.

С другой стороны, нелишне отметить, что безусловное повиновение полезно лишь при наличии точного и определенного приказания. Обязанности послов допускают больше свободы в действиях, ибо в ряде случаев принимать решения приходится им самим: ведь они не только исполнители воли своего государя, они также подготавливают ее и направляют своими советами. На своем веку я видел немало высокопоставленных лиц, которых упрекали за слепое подчинение букве королевских распоряжений и неумение учитывать обстоятельства дела.

Люди сведущие порицают еще и теперь обыкновение персидских властителей предоставлять своим наместникам и доверенным лицам настолько куцые полномочия, что тем приходилось из-за любой мелочи испрашивать дополнительно указания. Подобное промедление, принимая во внимание огромные пространства персидского царства, нередко вредило, и весьма основательно, их делам.

И если Красе в письме к человеку, опытному в своем ремесле, указал на употребление, которое

он намерен дать мачте, то не означало ли это, что он вступал с ним в обсуждение своего замысла и дал ему право выполнить приказание с теми или иными поправками?

## Глава XVIII
## О страхе

*Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit.[1] [broken link: #na18_1]*

Я отнюдь не являюсь хорошим натуралистом (как принято выражаться), и мне не известно, посредством каких пружин на нас воздействует страх; но как бы там ни было, это — страсть воистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем эта. И впрямь, я наблюдал немало людей, становившихся невменяемыми под влиянием страха; впрочем, даже у наиболее уравновешенных страх, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление. Я не говорю уже о людях невежественных и темных, которые видят со страху то своих вышедших из могил и завернутых в саваны предков, то оборотней, то домовых или еще каких чудищ. Но даже солдаты, которые, казалось бы, должны меньше других поддаваться страху, не раз принимали, ослепленные им, стадо овец за эскадрон закованных в броню всадников,

камыши и тростник за латников и копейщиков, наших товарищей по оружию за врагов и крест белого цвета за красный[2] [broken link: #na18_2].

Случилось, что, когда принц Бурбонский брал Рим[3] [broken link: #na18_3], одного знаменщика, стоявшего на часах около замка св. Ангела, охватил при первом же сигнале тревоги такой ужас, что он бросился через пролом, со знаменем в руке, вон из города, прямо на неприятеля, убежденный, что направляется в город, к своим; и только увидев солдат принца Бурбонского, двинувшихся ему навстречу, — ибо они подумали, что это вылазка, предпринятая осажденными, — он, наконец, опомнившись, повернул вспять и возвратился в город через тот же пролом, через который вышел только затем, чтобы пройти свыше трехсот шагов в сторону неприятеля по совершенно открытому месту. Далеко не так счастливо окончилось дело со знаменщиком Жюля. Когда начался штурм Сен-Поля, взятого тогда у нас графом де Бюром и господином дю Рю, этот знаменщик настолько потерялся от страха, что бросился вон из города вместе со своим знаменем через пролом и был изрублен шедшими на приступ неприятельскими солдатами. Во время той же осады произошел памятный для всех случай, когда сердце одного

дворянина охватил, сжал и оледенил такой ужас, что он упал замертво у пролома, не имея на себе даже царапины.

Подобный страх овладевает иногда множеством людей. Во время одного из походов Германика[4] [broken link: #na18_4] против аллеманов два значительных отряда римлян, охваченных ужасом, бросились бежать в двух различных направлениях, причем один из них устремился как раз туда, откуда уходил другой.

Страх то окрыляет нам пятки, как в двух предыдущих примерах, то, напротив, пригвождает и сковывает нам ноги, как можно прочесть об императоре Феофиле, который, потерпев поражение в битве с агарянами[5] [broken link: #na18_5], впал в такое безразличие и такое оцепенение, что не был в силах даже бежать: adeo, pavor etiam auxilia formidat.[6] [broken link: #na18_6] Кончилось тем, что Мануил, один из главных его военачальников, схватив его за плечо и встряхнув, как делают, чтобы пробудить человека от глубокого сна, обратился к нему с такими словами: «Если ты не последуешь сейчас за мною, я предам тебя смерти, ибо лучше расстаться с жизнью, чем, потеряв царство, сделаться пленником».

Крайняя степень страха выражается в том, что,

поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении римлян во время войны с Ганнибалом — в этот раз командовал ими консул Семпроний — один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты, оказавшись во власти страха и не видел, в своем малодушии, иного пути спасения, бросился напролом, в самую гущу врагов, и пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью, нанеся тяжелый урон карфагенянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту самую цену, которою мог бы купить блистательную победу. Вот чего я страшусь больше самого страха.

Вообще же страх ощущается нами с большею остротой, нежели остальные напасти.

Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, израненных и еще окровавленных, назавтра можно снова повести в бой, но тех, кто познал, что представляет собой страх перед врагом, тех вы не сможете заставить хотя бы взглянуть на него. Все, кого постоянно снедает страх утратить имущество, подвергнуться изгнанию, впасть в зависимость, живут в постоянной

тревоге; они теряют сон, перестают есть и пить, тогда как бедняки, изгнанники и рабы зачастую живут столь же беспечно, как все прочие люди. А сколько было таких, которые из боязни перед муками страха повесились, утопились или бросились в пропасть, убеждая нас воочию в том, что он еще более несносен и нестерпим, чем сама смерть.

Греки различали особый вид страха, который ни в какой степени не зависит от несовершенства наших мыслительных способностей. Такой страх, по их мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба. Он охватывает порою целый народ, целые армии. Таким был и тот приступ страха, который причинил в Карфагене невероятные бедствия. Во всем городе слышались лишь дикие вопли, лишь смятенные голоса. Всюду можно было увидеть, как горожане выскакивали из домов, словно по сигналу тревоги, как они набрасывались один на другого, ранили и убивали друг друга, будто это были враги, вторгшиеся, чтобы захватить город. Смятение и неистовства продолжались до тех пор, пока молитвами и жертвоприношениями они не смирили гнева богов[7] [broken link: #na18_7].

Такой страх греки называли паническим.

## Глава XIX
## О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер

*Scilicet ultima semper*
*Exspectanda dies homini est, dicique beatus*
*Ante obitum nemo, supremaque funera debet.[1] [broken link: #na19_1]*

Всякому ребенку известен на этот счет рассказ о царе Крезе: захваченный в плен Киром и осужденный на смерть, перед самой казнью он воскликнул: «О, Солон, Солон!» Когда об этом было доложено Киру и тот спросил, что это значит, Крез ответил, что он убедился на своей шкуре в справедливости предупреждения, услышанного им некогда от Солона, что как бы приветливо ни улыбалось кому-либо счастье, мы не должны называть такого человека счастливым, пока не минет последний день его жизни, ибо шаткость и изменчивость судеб человеческих таковы, что достаточно какого-нибудь ничтожнейшего толчка, — и все тут же меняется. Вот почему и Агесилай[2] [broken link: #na19_2] сказал кому-то, утверждавшему, что царь персидский — счаст-

ливец, ибо, будучи совсем молодым, владеет столь могущественным престолом: «И Приам в таком возрасте не был несчастлив». Царей Македонии, преемников великого Александра, мы видим в Риме песцами и столярами, тиранов Сицилии — школьными учителями в Коринфе. Покоритель полумира, начальствовавший над столькими армиями, превращается в смиренного просителя, унижающегося перед презренными слугами владыки Египта; вот чего стоило прославленному Помпею продление его жизни еще на каких-нибудь пять-шесть месяцев[3] [broken link: #na19_3]. А разве на памяти наших отцов не угасал, томясь в заключении в замке Лош, Лодовико Сфорца, десятый герцог Миланский, перед которым долгие годы трепетала Италия? И самое худшее в его участи то, что он провел там целых десять лет[4] [broken link: #na19_4]. А разве не погибла от руки палача прекраснейшая из королев, вдова самого могущественного в христианском мире государя?[5] [broken link: #na19_5] Такие примеры исчисляются тысячами. И можно подумать, что подобно тому как грозы и бури небесные ополчаются против гордыни и высокомерия наших чертогов, разным образом там наверху существуют духи, питающие зависть

к величию некоторых обитателей земли:

> *Usque adeo res humanas vis abdita quaedam*
>
> *Obterit, et pulchros fasces saevasque secures*
>
> *Proculcare, ac ludibrio sibi habere videtur.[6] [broken link: #na19_6]*

Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока извергнуть все то, что воздвигалось ею самою годами; и это заставляет нас воскликнуть, подобно Лаберию[7] [broken link: #na19_7]: Nimirum hac die una plus vixi, mihi quam vivendum fuit.[8] [broken link: #na19_8]

Таким образом, у нас есть все основания прислушиваться к благому совету Солона. Но поскольку этот философ полагал, что милости или удары судьбы еще не составляют счастья или несчастья, а высокое положение или могущество считал маловажными случайностями, я нахожу, что он смотрел глубже и хотел своими словами сказать, что не следует считать человека счастливым, — разумея под счастьем спокойствие и удовлетворенность благородного духа, а также

твердость и уверенность умеющей управлять собою души, — пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем возможна личина. Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более, как заученный урок, и всякие житейские неприятности очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие. Но в этой последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству; приходится говорить начистоту и показать, наконец, без утайки, что у тебя за душой:

> *Nam verae voces tum demum pectore ab imo*
>
> *Eiiciuntur, et eripitur persona, manet res.[9] [broken link: #na19_9]*

Вот почему это последнее испытание — окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. Этот день — верховный день, судья всех остальных наших дней. Этот день, говорит один древний автор[10] [broken link: #na19_10], судит все мои прошлые годы. Смерти предоставляю я оценить плоды

моей деятельности, и тогда станет ясно, исходили ли мои речи только из уст или также из сердца.

Я знаю иных, которые своей смертью обеспечили добрую или, напротив, дурную славу всей своей прожитой жизни. Сципион, тесть Помпея, заставил своей смертью замолкнуть дурное мнение, существовавшее о нем прежде[11] [broken link: #na19_11]. Эпаминонд, когда кто-то спросил его, кого же он ставит выше — Хабрия, Ификрата или себя, ответил: «Чтобы решить этот вопрос, надлежало бы посмотреть, как будет умирать каждый из нас»[12] [broken link: #na19_12]. И действительно, очень многое отнял бы у него тот, кто стал бы судить о нем, не приняв в расчет величия и благородства его кончины. Неисповедима воля господня! В мои времена три самых отвратительных человека, каких я когда-либо знал, ведших самый мерзкий образ жизни, три законченных негодяя умерли как подобает порядочным людям и во всех отношениях, можно сказать, безупречно.

Бывают смерти доблестные и удачные. Так, например, я знавал одного человека, нить поразительных успехов которого была оборвана смертью в момент, когда он достиг наивысшей точки своего жизненного пути; конец его был

столь величав, что, на мой взгляд, его честолюбивые и смелые замыслы не заключали в себе столько возвышенного, сколько это крушение их. Он пришел, не сделав ни шагу, к тому, чего добивался, и притом это свершилось более величественно и с большей славой, чем на это могли бы притязать его желания и надежды. Своей гибелью он приобрел больше могущества и более громкое имя, чем мечтал об этом при жизни[13] [broken link: #na19_13].

Оценивая жизнь других, я неизменного учитываю, каков был конец ее, и на этот счет главнейшее из моих упований состоит в том, чтобы моя собственная жизнь закончилась достаточно хорошо, то есть спокойно и неприметно.

## Глава XX
## О том, что философствовать — это значит учиться умирать

Цицерон говорит, что философствовать — это не что иное, как приуготовлять себя к смерти[1] [broken link: #na20_1]. И это тем более верно, ибо исследование и размышление влекут нашу душу за пределы нашего бренного «я», отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти; короче говоря, вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеется над нами, либо, если это не так, он должен стремиться только к одной-единственной цели, а именно, обеспечить нам удовлетворение наших желаний, и вся его деятельность должна быть направлена лишь на то, чтобы доставить нам возможность творить добро и жить в свое удовольствие, как сказано в Священном писании[2] [broken link: #na20_2]. Все в этом мире твердо убеждены, что наша конечная цель — удовольствие, и спор идет лишь о том, каким образом достигнуть

его; противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать человека, утверждающего, что цель наших усилий — наши бедствия и страдания?

Разногласия между философскими школами в этом случае — чисто словесные. Transcurramus sollertissimas nugas[3] [broken link: #na20_3]. Здесь больше упрямства и препирательства по мелочам, чем подобало бы людям такого возвышенного призвания. Впрочем, кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет вместе с тем и себя самого. Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель — наслаждение. Мне нравится дразнить этим словом слух тех, кому оно очень не по душе. И когда оно действительно обозначает высшую степень удовольствия и полнейшую удовлетворенность, подобное наслаждение в большей мере зависит от добродетели, чем от чего-либо иного. Становясь более живым, острым, сильным и мужественным, такое наслаждение делается от этого лишь более сладостным. И нам следовало бы скорее обозначать его более мягким, более милым и естественным словом «удовольствие», нежели словом «вожделение», как его часто именуют. Что до этого более низменного насла-

ждения, то если оно вообще заслуживает этого прекрасного названия, то разве что в порядке соперничества, а не по праву. Я нахожу, что этот вид наслаждения еще более, чем добродетель, сопряжен с неприятностями и лишениями всякого рода. Мало того, что оно мимолетно, зыбко и преходяще, ему также присущи и свои бдения, и свои посты, и свои тяготы, и пот, и кровь; сверх того, с ним сопряжены особые, крайне мучительные и самые разнообразные страдания, а затем — пресыщение, до такой степени тягостное, что его можно приравнять к наказанию. Мы глубоко заблуждаемся, считая, что эти трудности и помехи обостряют также наслаждение и придают ему особую пряность, подобно тому как это происходит в природе, где противоположности, сталкиваясь, вливают друг в друга новую жизнь; но в не меньшее заблуждение мы впадаем, когда, переходя к добродетели, говорим, что сопряженные с нею трудности и невзгоды превращают ее в бремя для нас, делают чем-то бесконечно суровым и недоступным, ибо тут гораздо больше, чем в сравнении с вышеназванным наслаждением, они облагораживают, обостряют и усиливают божественное и совершенное удовольствие, которое добродетель дарует нам. Поистине недо-

стоин общения с добродетелью тот, кто кладет на чаши весов жертвы, которых она от нас требует, и приносимые ею плоды, сравнивая их вес; такой человек не представляет себе ни благодеяний добродетели, ни всей ее прелести. Если кто утверждает, что достижение добродетели — дело мучительное и трудное и что лишь обладание ею приятно, это все равно как если бы он говорил, что она всегда неприятна. Разве есть у человека такие средства, с помощью которых кто-нибудь хоть однажды достиг полного обладания ею? Наиболее совершенные среди нас почитали себя счастливыми и тогда, когда им выпадала возможность добиваться ее, хоть немного приблизиться к ней, без надежды обладать когда-нибудь ею. Но говорящие так ошибаются: ведь погоня за всеми известными нам удовольствиями сама по себе вызывает в нас приятное чувство. Само стремление порождает в нас желанный образ, а ведь в нем содержится добрая доля того, к чему должны привести наши действия, и представление о вещи едино с ее образом по своей сущности. Блаженство и счастье, которыми светится добродетель, заливают ярким сиянием все имеющее к ней отношение, начиная с преддверия и кончая последним ее пределом. И одно из главнейших

благодеяний ее — презрение к смерти; оно придает нашей жизни спокойствие и безмятежность, оно позволяет вкушать ее чистые и мирные радости; когда же этого нет — отравлены и все прочие наслаждения.

Вот почему все философские учения встречаются и сходятся в этой точке. И хотя они в один голос предписывают нам презирать страдания, нищету и другие невзгоды, которым подвержена жизнь человека, все же не это должно быть первейшей нашей заботою, как потому, что эти невзгоды не столь уже неизбежны (большая часть людей проживает жизнь, не испытав нищеты, а некоторые — даже не зная, что такое физическое страдание и болезни, каков, например, музыкант Ксенофил, умерший в возрасте ста шести лет и пользовавшийся до самой смерти прекрасным здоровьем[4] [broken link: #na20_4]), так и потому, что, на худой конец, когда мы того пожелаем, можно прибегнуть к помощи смерти, которая положит предел нашему земному существованию и прекратит наши мытарства. Но что касается смерти, то она неизбежна:

*Omnes eodem cogimur, omnium*
*Versatur urna, serius ocius*

*Sors exitura et nos in aeternum*

*Exitium impositura cymbae.[5] [broken link: #na20_5]*

Из чего следует, что если она внушает нам страх, то это является вечным источником наших мучений, облегчить которые невозможно. Она подкрадывается к нам отовсюду. Мы можем, сколько угодно, оборачиваться во все стороны, как мы делаем это в подозрительных местах: quae quasi saxum Tantalo semper impendet.[6] [broken link: #na20_6] Наши парламенты нередко отсылают преступников для исполнения над ними смертного приговора в то самое место, где совершено преступление. Заходите с ними по дороге в роскошнейшие дома, угощайте их там изысканнейшими яствами и напитками,

*non Siculae dapes*

*Dulcem elaborabunt saporem,*

*Non avium cytharaeque cantus*

*Somnum reducent;[7] [broken link: #na20_7]*

думаете ли вы, что они смогут испытать от этого удовольствие и что конечная цель их путешествия, которая у них всегда перед глазами, не

отобьет у них вкуса ко всей этой роскоши, и та не поблекнет для них?

> *Audit iter, numeratque dies, spatioque viarum*
>
> *Metitur vitam, torquetur peste futura.[8] [broken link: #na20_8]*

Конечная точка нашего жизненного пути — это смерть, предел наших стремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один-единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство, применяемое невежественными людьми — вовсе не думать о ней. Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой! Таким только и взнуздывать осла с хвоста.

> *Qui capite ipse suo instituit vestigia retro,[9] [broken link: #na20_9] —*

и нет ничего удивительного, что подобные люди нередко попадаются в западню. Они страшатся назвать смерть по имени, и большинство из них при произнесении кем-нибудь этого слова крестится так же, как при упоминании дьявола. И так как в завещании необходимо упомянуть смерть, то не ждите, чтобы они подумали о

его составлении прежде, чем врач произнесет над ними свой последний приговор; и одному богу известно, в каком состоянии находятся их умственные способности, когда, терзаемые смертными муками и страхом, они принимаются, наконец, стряпать его.

Так как слог, обозначавший на языке римлян «смерть»[10] [broken link: #na20_10], слишком резал их слух, и в его звучании им слышалось нечто зловещее, они научились либо избегать его вовсе, либо заменять перифразами. Вместо того, чтобы сказать «он умер», они говорили «он перестал жить» или «он отжил свое». Поскольку здесь упоминается жизнь, хотя бы и завершившаяся, это приносило им известное утешение. Мы заимствовали отсюда наше: «покойный господин имя рек». При случае, как говорится, слово дороже денег. Я родился между одиннадцатью часами и полночью, в последний день февраля тысяча пятьсот тридцать третьего года по нашему нынешнему летоисчислению, то есть, считая началом года январь[11] [broken link: #na20_11]. Две недели тому назад закончился тридцать девятый год моей жизни, и мне следует прожить, по крайней мере, еще столько же. Было бы безрассудством, однако, воздерживаться от мыслей о такой далекой,

казалось бы, вещи. В самом деле, и стар и млад одинаково сходят в могилу. Всякий не иначе уходит из жизни, как если бы он только что вступил в нее. Добавьте сюда, что нет столь дряхлого старца, который, памятуя о Мафусаиле[12] [broken link: #na20_12], не рассчитывал бы прожить еще годиков двадцать. Но, жалкий глупец, — ибо что же иное ты собой представляешь! — кто установил срок твоей жизни? Ты основываешься на болтовне врачей. Присмотрись лучше к тому, что окружает тебя, обратись к своему личному опыту. Если исходить из естественного хода вещей, то ты уже долгое время живешь благодаря особому благоволению неба. Ты превысил обычный срок человеческой жизни. И дабы ты мог убедиться в этом, подсчитай, сколько твоих знакомых умерло ранее твоего возраста, и ты увидишь, что таких много больше, чем тех, кто дожил да твоих лет. Составь, кроме того, список украсивших свою жизнь славою, и я побьюсь об заклад, что в нем окажется значительно больше умерших до тридцатипятилетнего возраста, чем перешедших этот порог. Разум и благочестие предписывают нам считать образцом человеческой жизни жизнь Христа; но она кончилась для него, когда ему было тридцать три года. Величайший среди лю-

дей, на этот раз просто человек — я имею в виду Александра — умер в таком же возрасте.

И каких только уловок нет в распоряжении смерти, чтобы захватить нас врасплох!

> *Quid quisque vitet, nunquam homini satis*
> *Cautum est in horas.[13] [broken link: #na20_13]*

Я не стану говорить о лихорадках и воспалении легких. Но кто мог бы подумать, что герцог Бретонский будет раздавлен в толпе, как это случилось при въезде папы Климента, моего соседа[14] [broken link: #na20_14], в Лион? Не видали ли мы, как один из королей наших был убит, принимая участие в общей забаве?[15] [broken link: #na20_15] И разве один из предков его не скончался, раненный вепрем?[16] [broken link: #na20_16] Эсхил, которому было предсказано, что он погибнет раздавленный рухнувшей кровлей, мог сколько угодно принимать меры предосторожности; все они оказались бесполезными, ибо его поразил насмерть панцирь черепахи, выскользнувшей из когтей уносившего ее орла. Такой-то умер, подавившись виноградной косточкой[17] [broken link: #na20_17]; такой-то император погиб от царапины, которую причинил себе гребнем;

Эмилий Лепид — споткнувшись о порог своей собственной комнаты, а Авфидий — ушибленный дверью, ведущей в зал заседаний совета. В объятиях женщин скончали свои дни: претор Корнелий Галл, Тигеллин, начальник городской стражи в Риме, Лодовико, сын Гвидо Гонзаго, маркиза Мантуанского, а также — и эти примеры будут еще более горестными — Спевсипп, философ школы Платона, и один из пап. Бедняга Бебий, судья, предоставив недельный срок одной из тяжущихся сторон, тут же испустил дух, ибо срок, предоставленный ему, самому истек. Скоропостижно скончался и Гай Юлий, врач; в тот момент, когда он смазывал глаза одному из больных, смерть смежила ему его собственные. Да и среди моих родных бывали тому примеры: мой брат, капитан Сен-Мартен, двадцатитрехлетний молодой человек, уже успевший, однако, проявить свои незаурядные способности, как-то во время игры был сильно ушиблен мячом, причем удар, пришедшийся немного выше правого уха, не причинил раны и не оставил после себя даже кровоподтека. Получив удар, брат мой не прилег и даже не присел, но через пять или шесть часов скончался от апоплексии, причиненной этим ушибом. Наблюдая столь частые и столь

обыденные примеры этого рода, можем ли мы отделаться от мысли о смерти и не испытывать всегда и всюду ощущения, будто она уже держит нас за ворот.

Но не все ли равно, скажете вы, каким образом это с нами произойдет? Лишь бы не мучиться! Я держусь такого же мнения, и какой бы мне ни представился способ укрыться от сыплющихся ударов, будь то даже под шкурой теленка, я не таков, чтобы отказаться от этого. Меня устраивает решительно все, лишь бы мне было покойно. И я изберу для себя наилучшую долю из всех, какие мне будут предоставлены, сколь бы она ни была, на ваш взгляд, мало почетной и скромной:

> *praetulerim delirus inersque videri*
>
> *Dum mea delectent mala me, vel denique fallant,*
>
> *Quam sapere et ringi[18] [broken link: #na20_18]*

Но было бы настоящим безумием питать надежды, что таким путем можно перейти в иной мир. Люди снуют взад и вперед, топчутся на одном месте, пляшут, а смерти нет и в помине. Все хорошо, все как нельзя лучше. Но если она нагрянет, — к ним ли самим или к их женам, детям,

друзьям, захватив их врасплох, беззащитными, — какие мучения, какие вопли, какая ярость и какое отчаянье сразу овладевают ими! Видели ли вы кого-нибудь таким же подавленным, настолько же изменившимся, настолько смятенным? Следовало бы поразмыслить об этих вещах заранее. А такая животная беззаботность, — если только она возможна у сколько-нибудь мыслящего человека (по-моему, она совершенно невозможна) — заставляет нас слишком дорогою ценой покупать ее блага. Если бы смерть была подобна врагу, от которого можно убежать, я посоветовал бы воспользоваться этим оружием трусов. Но так как от нее ускользнуть невозможно, ибо она одинаково настигает беглеца, будь он плут или честный человек,

> *Nempe et fugacem persequitur virum,*
> *Nec parcit imbellis iuventae*
> *Poplitibus, timidoque tergo,[19] [broken link: #na20_19]*

и так как даже наилучшая броня от нее не обережет,

> *Ille licet ferro cautus se condat et aere,*
> *Mors tamen inclusum protrahet inde*

*caput,[20] [broken link: #na20_20]*

давайте научимся встречать ее грудью и вступать с нею в единоборство. И, чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом. Будемте всюду и всегда вызывать в себе ее образ и притом во всех возможных ее обличиях. Если под нами споткнется конь, если с крыши упадет черепица, если мы наколемся о булавку, будем повторять себе всякий раз: «А что, если это и есть сама смерть?» Благодаря этому мы окрепнем, сделаемся более стойкими. Посреди празднества, в разгар веселья пусть неизменно звучит в наших ушах все тот же припев, напоминающий о нашем уделе; не будем позволять удовольствиям захватывать нас настолько, чтобы время от времени у нас не мелькала мысль: как наша веселость непрочна, будучи постоянно мишенью для смерти, и каким только нежданным ударам ни подвержена наша жизнь! Так поступали египтяне, у которых был обычай вносить в торжественную залу, наряду с самыми лучшими яствами и напитками, мумию какого-нибудь покойника, чтобы она служила напоминанием

для пирующих.

> *Omnem*
> *crede diem tibi diluxisse supremum.*
>
> *Grata superveniet, quae non sperabitur hora.[21] [broken link: #na20_21]*

Неизвестно, где поджидает нас смерть; так будем же ожидать ее всюду. Размышлять о смерти — значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь — не зло. Когда к Павлу Эмилию явился посланец от несчастного царя македонского, его пленника, передавший просьбу последнего не принуждать его идти за триумфальною колесницей, тот ответил: «Пусть обратится с этой просьбой к себе самому».

По правде сказать, в любом деле одним уменьем и стараньем, если не дано еще кое-что от природы, многого не возьмешь. Я по натуре своей не меланхолик, но склонен к мечтательности. И ничто никогда не занимало моего воображения в большей мере, чем образы смерти. Даже в наиболее легкомысленную пору моей жизни —

> *Iucundum cum aetas florida ver ageret,[22]*

*[broken link: #na20_22]*

когда я жил среди женщин и забав, иной, бывало, думал, что я терзаюсь муками ревности или разбитой надеждой, тогда как в действительности мои мысли были поглощены каким-нибудь знакомым, умершим на днях от горячки, которую он подхватил, возвращаясь с такого же празднества, с душой, полною неги, любви и еще не остывшего возбуждения, совсем как это бывает со мною, и в ушах у меня неотвязно звучало:

> *Iam fuerit, nec post unquam revocare licebit.[23] [broken link: #na20_23]*

Эти раздумья не избороздили мне морщинами лба больше, чем все остальные. Впрочем, не бывает, конечно, чтобы подобные образы при первом своем появлении не причиняли нам боли. Но возвращаясь к ним все снова и снова, можно в конце концов, освоиться с ними. В противном случае — так было бы, по крайней мере, со мной — я жил бы в непрестанном страхе волнений, ибо никто никогда не доверял своей жизни меньше моего, никто меньше моего не рассчитывал на ее длительность. И превосходное здоровье, которым я наслаждаюсь посейчас и которое нарушалось весьма редко, нисколько не может укрепить моих

надежд на этот счет, ни болезни — ничего в них убавить. Меня постоянно преследует ощущение, будто я все время ускользаю от смерти. И я без конца нашептываю себе: «Что возможно в любой день, то возможно также сегодня». И впрямь, опасности и случайности почти или — правильнее сказать — нисколько не приближают нас к вашей последней черте; и если мы представим себе, что, кроме такого-то несчастья, которое угрожает нам, по-видимому, всех больше, над нашей головой нависли миллионы других, мы поймем, что смерть действительно всегда рядом с нами, — и тогда, когда мы веселы, и когда горим в лихорадке, и когда мы на море, и когда у себя дома, и когда в сражении, и когда отдыхаем. Nemo altero fragilior est: nemo in crastinum sui certior.[24] [broken link: #na20_24] Мне всегда кажется, что до прихода смерти я так и не успею закончить то дело, которое должен выполнить, хотя бы для его завершения требовалось не более часа. Один мой знакомый, перебирая как-то мои бумаги, нашел среди них заметку по поводу некоей вещи, которую, согласно моему желанию, надлежало сделать после моей кончины. Я рассказал ему, как обстояло дело: находясь на расстоянии какого-нибудь лье от дома, вполне здоровый и

бодрый, я поторопился записать свою волю, так как не был уверен, что успею добраться к себе. Вынашивая в себе мысли такого рода и вбивая их себе в голову, я всегда подготовлен к тому, что это может случиться со мной в любое мгновенье. И как бы внезапно ни пришла ко мне смерть, в ее приходе не будет для меня ничего нового.

Нужно, чтобы сапоги были всегда на тебе, нужно, насколько это зависит от нас, быть постоянно готовыми к походу, и в особенности остерегаться, как бы в час выступления мы не оказались во власти других забот, кроме о себе.

*Quid brevi fortes iaculamur aevo*
*Multa?[25] [broken link: #na20_25]*

Ведь забот у нас и без того предостаточно. Один сетует не столько даже на самую смерть, сколько на то, что она помешает ему закончить с блестящим успехом начатое дело; другой — что приходится переселяться на тот свет, не спев устроить замужество дочери или проследить за образованием детей; этот оплакивает разлуку с женой, тот — с сыном, так как в них была отрада всей его жизни.

Что до меня, то я, благодарение богу, готов убраться отсюда, когда ему будет угодно, не печа-

луясь ни о чем, кроме самой жизни, если уход из нее будет для меня тягостен. Я свободен от всяких пут; я наполовину уже распрощался со всеми, кроме себя самого. Никогда еще не было человека, который был бы так основательно подготовлен к тому, чтобы уйти из этого мира, человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь, это удалось сделать мне.

> *Miser, o miser, aiunt, omnia ademit*
>
> *Una dies infesta mihi tot praemia vitae.[26] [broken link: #na20_26]*

А вот слова, подходящие для любителя строиться:

> *Manent opera interrupta, minaeque*
>
> *Murorum ingentes.[27] [broken link: #na20_27]*

Не стоит, однако, в чем бы то ни было загадывать так далеко вперед или, во всяком случае, проникаться столь великою скорбью из-за того, что тебе не удастся увидеть завершение начатого тобой. Мы рождаемся для деятельности:

> *Cum moriar, medium solvar et inter opus.[28] [broken link: #na20_28]*

Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они как можно лучше выполняли налагаемые на них жизнью обязанности, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и, тем более, к моему не до конца возделанному огороду. Мне довелось видеть одно умирающего, который уже перед самой кончиной не переставал выражать сожаление, что злая судьба оборвала нить составляемой им истории на пятнадцатом или шестнадцатом из наших королей.

> *Illud in his rebus nec addunt, noc tibi earum*
>
> *Iam desiderium rerum super insidet una.[29] [broken link: #na20_29]*

Нужно избавиться от этих малодушных и гибельных настроений. И подобно тому, как наши кладбища расположены возле церквей или в наиболее посещаемых местах города, дабы приучить, как сказал Ликург, детей, женщин и простолюдинов не пугаться при виде покойников, а также, чтобы человеческие останки, могилы и похороны, наблюдаемые нами изо дня в день, постоянно напоминали об ожидающей нас судьбе,

> *Quin etiam exhilarare viris convivia caede*

*Mos olim, et miscere epulis spectacula dira*
*Certantum ferro, saepe et super ipsa cadentum*
*Pocula respersis non parco sanguine mensis;[30] [broken link: #na20_30]*

подобно также тому, как египтяне, по окончании пира, показывали присутствующим огромное изображение смерти, причем державший его восклицал: «Пей и возвеселись сердцем, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же», так и я приучал себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде. И нет ничего, что в большей мере привлекало б меня, чем рассказы о смерти такого-то или такого-то; что они говорили при этом, каковы были их лица, как они держали себя; это же относится и к историческим сочинениям, в которых я особенно внимательно изучая места, где говорится о том же. Это видно хотя бы уже из обилия приводимых мною примеров и из того необычайного пристрастия, какое я питаю к подобным вещам. Если бы я был сочинителем книг, я составил бы сборник с описанием различных смертей, снабдив его комментариями. Кто учит людей умирать, тот учит их жить.

Дикеарх[31] [broken link: #na20_31] составил по-

добную книгу, дав ей соответствующее название, но он руководствовался иною, и притом менее полезной целью.

Мне скажут, пожалуй, что действительность много ужаснее наших представлений о ней и что нет настолько искусного фехтовальщика, который не смутился бы духом, когда дело дойдет до этого. Пусть себе говорят, а все-таки размышлять о смерти наперед — это, без сомнения, вещь полезная. И потом, разве это безделица — идти до последней черты без страха и трепета? И больше того: сама природа спешит нам на помощь и ободряет нас. Если смерть — быстрая и насильственная, у нас нет времени исполниться страхом пред нею; если же она не такова, то, насколько я мог заметить, втягиваясь понемногу в болезнь, я вместе с тем начинаю естественно проникаться известным пренебрежением к жизни. Я нахожу, что обрести решимость умереть, когда я здоров, гораздо труднее, чем тогда, когда меня треплет лихорадка. Поскольку радости жизни не влекут меня больше с такою силою, как прежде, ибо я перестаю пользоваться ими и получать от них удовольствие, — я смотрю и на смерть менее испуганными глазами. Это вселяет в меня надежду, что чем дальше отойду я от жизни и чем ближе

подойду к смерти, тем легче мне будет свыкнуться с мыслью, что одна неизбежно сменит другую. Убедившись на многих примерах в справедливости замечания Цезаря, утверждавшего, что издалека вещи кажутся нам нередко значительно большими, чем вблизи, я подобным образом обнаружил, что, будучи совершенно здоровым, я гораздо больше боялся болезней, чем тогда, когда они давали знать о себе: бодрость, радость жизни и ощущение собственного здоровья заставляют меня представлять себе противоположное состояние настолько отличным от того, в котором я пребываю, что я намного преувеличиваю в своем воображении неприятности, доставляемые болезнями, и считаю их более тягостными, чем оказывается в действительности, когда они настигают меня. Надеюсь, что и со смертью дело будет обстоять не иначе.

Рассмотрим теперь, как поступает природа, чтобы лишить нас возможности ощущать, несмотря на непрерывные перемены к худшему и постепенное увядание, которое все мы претерпеваем, и эти наши потери и наше постепенное разрушение. Что остается у старика из сил его юности, от его былой жизни?

*Heu senibus vitae portio quanta manet.[32]*

*[broken link: #na20_32]*

Когда один из телохранителей Цезаря, старый и изнуренный, встретив его на улице, подошел к нему и попросил от пустить его умирать, Цезарь, увидев, насколько он немощен, довольно остроумно ответил: «Так ты, оказывается, мнишь себя живым?» Я не думаю, что мы могли бы снести подобное превращение, если бы оно сваливалось на нас совершенно внезапно. Но жизнь ведет нас за руку по отлогому, почти неприметному склону, потихоньку до полегоньку, пока не ввергнет в это жалкое состояние, заставив исподволь свыкнуться с ним. Вот почему мы не ощущаем никаких потрясений, когда наступает смерть нашей молодости, которая, право же, по своей сущности гораздо более жестока, нежели кончина еле теплящейся жизни, или же кончина нашей старости. Ведь прыжок от бытия-прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия-радости и процветания к бытию — скорби и муке.

Скрюченное и согбенное тело не в состоянии выдержать тяжелую ношу; то же и с нашей душой: ее нужно выпрямить и поднять, чтобы ей было под силу единоборство с таким противником. Ибо если невозможно, чтобы она пребывала спокойной, трепеща перед ним, то, избавившись

от него, она приобретает право хвалиться, — хотя это, можно сказать, почти превосходит человеческие возможности, — что в ней не осталось более места для тревоги, терзаний, страха или даже самого легкого огорчения.

*Non vultus instantis tyranni*
*Mente quatit solida, neque Auster*
*Dux inquieti turbidus Adriae,*
*Nec fulminantis magna Iovis manus.[33] [broken link: #na20_33]*

Она сделалась госпожой своих страстей и желаний; она властвует над нуждой, унижением, нищетой и всеми прочими превратностями судьбы. Так давайте же, каждый в меру своих возможностей, добиваться столь важного преимущества! Вот где подлинная я ничем не стесняемая свобода, дающая нам возможность презирать насилие и произвол, и смеяться над тюрьмами в оковами:

*in manicia, et*
*Compedibus, saevo te sub custode tenebo.*
*Ipse deus simul atque volam, me solvet: opinor*
*Hoc sentit, moriar. Mors ultima linea rerum*

*est.[34] [broken link: #na20_34]*

Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни. И не только голос разума призывает нас к этому, говоря: стоит ля бояться потерять нечто такое, потеря чего уже не сможет вызвать в нас сожаления? — но и такое соображение: раз нам угрожают столь многие виды смерти, не тягостнее ли страшиться их всех, чем претерпеть какой-либо один? И раз смерть неизбежна, не все ли равно, когда она явится? Тому, кто сказал Сократу: «Тридцать тиранов осудили тебя на смерть», последний ответил: «А их осудила на смерть природа»[35] [broken link: #na20_35].

Какая бессмыслица огорчаться из-за перехода туда, где мы избавимся от каких бы то ни было огорчений!

Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтому столь же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как то, что мы не жили за сто лет перед этим. Смерть одного есть начало жизни другого. Точно так же плакали мы, таких же усилий стоило нам вступить в эту жизнь, и так же, вступая в нее, срывали мы с себя свою

прежнюю оболочку.

Не может быть тягостным то, что происходит один-единственный раз. Имеет ли смысл трепетать столь долгое время перед столь быстротечною вещью? Долго ли жить, мало ли жить, не все ли равно, раз и то и другое кончается смертью? Ибо для того, что больше не существует, нет ни долгого ни короткого. Аристотель рассказывает, что на реке Гипанис обитают крошечные насекомые, живущие не дольше одного дня. Те из них, которые умирают в восемь часов утра, умирают совсем юными; умирающие в пять часов вечера умирают в преклонном возрасте. Кто же из нас не рассмеялся бы, если б при нем назвали тех и других счастливыми или несчастными, учитывая срок их жизни? Почти то же и с нашим веком, если мы сравним его с вечностью или с продолжительностью существования гор, рек, небесных светил, деревьев и даже некоторых животных[36] [broken link: #na20_36].

Впрочем, природа не дает нам зажиться. Она говорит: «Уходите из этого мира так же, как вы вступили в него. Такой же переход, какой некогда бесстрастно и безболезненно совершили вы от смерти к жизни, совершите теперь от жизни к смерти. Ваша смерть есть одно из звеньев управ-

ляющего вселенной порядка; она звено мировой жизни:

> *inter se mortales mutua vivunt*
>
> *Et quasi cursores vitai lampada tradunt.[37] [broken link: #na20_37]*

Неужели ради вас стану я нарушать эту дивную связь вещей? Раз смерть — обязательное условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, то значит, вы стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вы наслаждаетесь, одной своей половиной принадлежит жизни, другой — смерти. В день своего рождения вы в такой же мере начинаете жить, как умирать:

> *Prima, quae vitam dedit, hora, carpsit.[38] [broken link: #na20_38]*
>
> *Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.[39] [broken link: #na20_39]*

Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни; оно прожито вами за ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни — это взращивать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь.

Или, если угодно, вы становитесь мертвыми,

прожив свою жизнь, но проживете вы ее, умирая: смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает умирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже.

Если вы познали радости в жизни, вы успели насытиться ими; так уходите же с удовлетворением в сердце:

> *Cur non ut plenus vitae conviva recedis?[40] [broken link: #na20_40]*

Если же вы не сумели ею воспользоваться, если она поскупилась для вас, что вам до того, что вы потеряли ее, на что она вам?

> *Cur amplius addere quaeris*
>
> *Rursum quod pereat male, et ingratum occidat omne?[41] [broken link: #na20_41]*

Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. И если вы прожили один-единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как все прочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это солнце, эта луна, эти звезды, это устройство вселенной — все это то же, от чего вкусили пращуры ваши и что взрастит ваших потомков:

*Non alium videre: patres aliumve nepotes*
*Aspicient.[42] [broken link: #na20_42]*

И, на худой конец, все акты моей комедии, при всем разнообразии их, протекают в течение одного года. Если вы присматривались к хороводу четырех времен года, вы не могли не заметить, что они обнимают собою все возрасты мира: детство, юность, зрелость и старость. По истечении года делать ему больше нечего. И ему остается только начать все сначала. И так будет всегда:

*versamur ibidem, atque insumus usque*
*Atque in se sua per vestigia volvitur annus.[43] [broken link: #na20_43]*

Или вы воображаете, что я стану для вас создавать какие-то новые развлечения?

*Nam tibi praeterea quod machiner, inveniamque*
*Quod placeat, nihil est, eadem sunt omnia semper.[44] [broken link: #na20_44]*

Освободите место другим, как другие освободили его для вас. Равенство есть первый шаг к справедливости. Кто может жаловаться на то, что он обречен, если все другие тоже обречены? Сколько бы вы ни жили, вам не сократить того

срока, в течение которого вы пребудете мертвыми. Все усилия здесь бесцельны: вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вам такой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках кормилицы:

> *licet, quod vis, vivendo vincere saecla,*
>
> *Mors aeterna tamen nihilominus illa manebit.[45] [broken link: #na20_45]*

И я поведу вас туда, где вы не будете испытывать никаких огорчений:

> *In vera nescis nullum fore morte alium te,*
>
> *Qui possit vivus tibi lugere peremptum.*
>
> *Stansque iacentem.[46] [broken link: #na20_46]*

И не будете желать жизни, о которой так сожалеете:

> *Nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit,*
>
> *Nec desiderium nostri nos afficit ullum.[47] [broken link: #na20_47]*

Страху смерти подобает быть ничтожнее, чем ничто, если существует что-нибудь ничтожнее, чем это последнее:

*multo*
*mortem minus ad nos esse putandum*

*Si minus esse potest quam quod nihil esse videmus.[48] [broken link: #na20_48]*

Что вам до нее — и когда вы умерли, и когда живы? Когда живы — потому, что вы существуете; когда умерли — потому, что вас больше не существует.

Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас, не более ваше, чем то, что протекало до вашего рождения; и ваше дело тут — сторона:

*Respice enim quam nil ad nos ante acta vetustas*

*Temporis aeterni fuerit.[49] [broken link: #na20_49]*

Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец. Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы использовали ее: иной прожил долго, да пожил мало, не мешкайте, пока пребываете здесь. Ваша воля, а не количество прожитых лет определяет продолжительность вашей жизни. Неужели вы думали, что никогда так и не доберетесь туда, куда идете, не останавливаясь? Да есть ли такая дорога, у которой не было бы конца? И если вы

можете найти утешение в доброй компании то не идет ли весь мир той же стязею, что вы?

> *Omnia te vita perfuncta sequentur.[50] [broken link: #na20_50]*

Не начинает ли шататься все вокруг вас, едва пошатнетесь вы сами? Существует ли что-нибудь, что не старилось бы вместе с вами? Тысячи людей, тысячи животных, тысячи других существ умирают в то же мгновение, что и вы:

> *Nam nox nulla diem, neque noctem aurora secuta est,*
>
> *Quae non audierit mistos vagitibus aegris*
>
> *Ploratus, mortis comites et funeris atri.[51] [broken link: #na20_51]*

Что пользы пятиться перед тем, от чего вам все равно не уйти? Вы видели многих, кто умер в самое время, ибо избавился, благодаря этому, от великих несчастий. Но видели ли вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их? Не очень-то умно осуждать то, что не испытано вами, ни на себе, ни на другом. Почему же ты жалуешься и на меня и на свою участь? Разве мы несправедливы к тебе? Кому же надлежит управлять: нам ли тобою или тебе нами? Еще

до завершения сроков твоих, жизнь твоя уже завершилась. Маленький человечек такой же цельный человек, как и большой.

Ни людей, ни жизнь человеческую не измерить локтями. Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога бесконечного времени, каковы свойства этого бессмертия[52] [broken link: #na20_52]. Вдумайтесь хорошенько в то, что называют вечной жизнью, и вы поймете, насколько она была бы для человека более тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила ее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во внимание доступность ее, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей. Чтобы привить вам ту умеренность, которой я от вас требую, а именно, чтобы вы не отвращались от жизни и вместе с тем не бежали от смерти, я сделала и ту и другую наполовину сладостными и наполовину скорбными.

Я внушила Фалесу, первому из ваших мудрецов, ту мысль, что жить и умирать — это одно и то же. И когда кто-то спросил его, почему же, в таком случае, он все-таки не умирает, он весьма мудро

ответил: «Именно потому, что это одно и то же.

Вода, земля, воздух, огонь и другое, из чего сложено мое здание, суть в такой же мере орудия твоей жизни, как и орудия твоей смерти. К чему страшиться тебе последнего дня? Он лишь в такой же мере способствует твоей смерти, как и все прочие. Последний шаг не есть причина усталости, он лишь дает ее почувствовать. Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти; последний только подводит к ней».

Таковы благие наставления нашей родительницы-природы. Я часто задумывался над тем, почему смерть на войне — все равно, касается ли это нас самих или кого-либо иного, — кажется нам несравненно менее страшной, чем у себя дома; в противном случае, армия состояла бы из одних плакс да врачей; и еще: почему, несмотря на то, что смерть везде и всюду все та же, крестьяне и люди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные? Я полагаю, что тут дело в печальных лицах и устрашающей обстановке, среди которых мы ее видим и которые порождают в нас страх еще больший, чем сама смерть. Какая новая, совсем необычная картина: стоны и рыдания матери, жены, детей, растерянные и смущенные посетители, услуги многочисленной

челяди, их заплаканные и бледные лица, комната, в которую не допускается дневной свет, зажженные свечи, врачи и священники у вашего изголовья! Короче говоря, вокруг нас ничего, кроме испуга и ужаса. Мы уже заживо облачены в саван и преданы погребению. Дети боятся своих новых приятелей, когда видят их в маске, — то же происходит и с нами. Нужно сорвать эту маску как с вещей, так, тем более, с человека, и когда она будет сорвана, мы обнаружим под ней ту же самую смерть, которую незадолго перед этим наш старый камердинер или служанка претерпели без всякого страха. Благостна смерть, не давшая времени для этих пышных приготовлений.

## Глава XXI
## О силе нашего воображения

Fortis imaginatio generat casum,[*] [broken link: #f1] — говорят ученые.

Я один из тех, на кого воображение действует с исключительной силой. Всякий более или менее поддается ему, но некоторых оно совершенно одолевает. Его натиск подавляет меня. Вот почему я норовлю ускользнуть от него, но не Сопротивляюсь ему. Я хотел бы видеть вокруг себя лишь здоровые и веселые лица. Если кто-нибудь страдает в моем присутствии, я сам начинаю испытывать физические страдания, и мои ощущения часто вытесняются ощущениями других. Если кто-нибудь поблизости закашляется, у меня стесняется грудь и першит в горле. Я менее охотно навещаю больных, в которых принимаю участие, чем тех, к кому меньше привязан и к кому испытываю меньшее уважение. Я перенимаю наблюдаемую болезнь и испытываю ее на себе. И я не нахожу удивительным, что воображение причиняет горячку и даже смерть тем, кто дает ему волю и поощряет его. Симон Тома был

великим врачом своего времени. Помню, как однажды, встретив меня у одного из своих больных, богатого старика, больного чахоткой, он, толкуя о способах вернуть ему здоровье, сказал, между прочим, что один из них — это сделать для меня привлекательным пребывание в его обществе, ибо, направляя свой взор на мое свежее молодое лицо, а мысли на жизнерадостность и здоровье, источаемые моей юностью в таком изобилии, а также заполняя свои чувства цветением моей жизни, он сможет улучшить свое состояние. Он забыл только прибавить, что из-за этого может ухудшиться мое собственное здоровье. Вибий Галл настолько хорошо научился проникаться сущностью и проявлениями безумия, что, можно сказать, вывихнул свой ум и никогда уже не мог вправить его; он мог бы с достаточным основанием похваляться, что стал безумным от мудрости[1] [broken link: #na21_1]. Встречаются и такие, которые трепеща перед рукой палача, как бы упреждают ее, — и вот тот, кого развязывают на эшафоте, чтобы прочитать ему указ о помиловании, — покойник, сраженный своим собственным воображением. Мы покрываемся потом, дрожим, краснеем, бледнеем, потрясаемые своими фантазиями, и, зарывшись в перину,

изнемогаем от их натиска; случается, что иные даже умирают от этого. И пылкая молодежь иной раз так разгорячится, уснув в полном одеянии, что во сне получает удовлетворение своих любовных желаний:

> *Ut, quasi transactis saepe omnibus rebus, profundant*
>
> *Fluminis ingentes fluctus vestemque cruentent.[2] [broken link: #na21_2]*

И хотя никому кому не внове, что в течение ночи могут вырасти рога у того, кто, ложась, не имел их в помине, все же происшедшее с Ципом[3] [broken link: #na21_3], царем италийским, особенно примечательно; последний, следя весь день с неослабным вниманием за боем быков и видя ночь напролет в своих сновидениях бычью голову с большими рогами, кончил тем, что вырастил их на своем лбу одной силою воображения. Страсть одарила одного из сыновей Креза[4] [broken link: #na21_4] голосом, в котором ему отказала природа; а Антиох схватил горячку, потрясенный красотой Стратоники, слишком сильно подействовавшей на его душу[5] [broken link: #na21_5]. Плиний рассказывает, что ему довелось видеть некоего Луция Коссиция — жен-

щину, превратившуюся в день своей свадьбы в мужчину. Понтано[6] [broken link: #na21_6] и другие сообщают о превращениях такого же рода, имевших место в Италии и в последующие века. И благодаря не знающему преград желанию, а также желанию матери,

> *Vota puer solvit, quae femina voverat Iphis.[7] [broken link: #na21_7]*

Проезжая через Витри Ле-Франсе, я имел возможность увидеть там человека, которому епископ Суассонский дал на конфирмации имя Жермен; этого молодого человека все местные жители знали и видели девушкой, носившей до двадцатидвухлетнего возраста имя Мария. В то время, о котором я вспоминаю, этот Жермен был с большой бородой, стар и не был женат. Мужские органы, согласно его рассказу, возникли у него в тот момент, когда он сделал усилие, чтобы прыгнуть дальше. И теперь еще между местными девушками распространена песня, в которой они предостерегают друг дружку от непомерных прыжков, дабы не сделаться юношами, как это случилось в Марией-Жерменом. Нет никакого чуда в том, что такие случае происходят довольно часто. Если воображение в силах творить

подобные вещи, то, постоянно прикованное к одному и тому же предмету, оно предпочитает порою, вместо того, чтобы возвращаться все снова и снова к тем же мыслям и тем же жгучим желаниям, одарять девиц навсегда этой мужской принадлежностью.

Некоторые приписывают рубцы короля Дагобера и святого Франциска[8] [broken link: #na21_8] также силе их воображения. Говорят, что иной раз оно бывает способно поднимать тела и переносить их с места на место. А Цельс[9] [broken link: #na21_9] — тот рассказывает о жреце, доводившем свою душу до такого экстаза, что тело его на долгое время делалось бездыханным и теряло чувствительность. Святой Августин называет другого, которому достаточно было услышать чей-нибудь плач или стон, как он сейчас же впадал в обморок, и настолько глубокий, что сколько бы ни кричали ему в самое ухо и вопили и щипали его и даже подпаливали, ничто не помогало, пока он не приходил, наконец, в сознание; он говорил, что в таких случаях ему слышатся какие-то голоса, но как бы откуда-то издалека и только теперь, опомнившись, он замечал свои синяки и ожоги. А что это не было упорным притворством и что он не скрывал просто-напросто свои

ощущения, доказывается тем, что, пока длился обморок, он не дышал и у него не было пульса[10] [broken link: #na21_10].

Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других. Из них настолько вышибли способность здраво судить, воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят.

Я держусь того мнения, что так называемое наведение порчи на новобрачных, которое столь многим людям причиняет большие неприятности и о котором в наше время столько толкуют, объясняется, в сущности, лишь действием тревоги и страха. Мне доподлинно известно, что некто, за кого я готов поручиться, как за себя самого, в том, что его-то уж никак нельзя заподозрить в недостаточности подобного рода, равно как и в том, что он был во власти чар, услышав как-то от одного из своих приятелей о внезапно постигшем того, и притом в самый неподходящий момент, полном бессилии, испытал, оказавшись в сходном положении, то же самое вследствие страха,

вызванного в нем этим рассказом, поразившим его воображение. С тех пор с ним не раз случалась подобная вещь, ибо тягостное воспоминание о первой неудаче связывало и угнетало его. В конце концов, он избавился от этого надуманного недуга при помощи другой выдумки. А именно, признаваясь в своем недостатке и предупреждая о нем, он облегчал свою душу, ибо сообщением о возможности неудачи он как бы уменьшал степень своей ответственности, и она меньше тяготила его. После того, как он избавился от угнетавшего его сознания вины и почувствовал себя свободным вести себя так или иначе, его телесные способности перешли в свое натуральное состояние; первая же попытка его оказалась удачной, и он добился полного исцеления.

Ведь кто оказался способным к этому хоть один раз, тот и в дальнейшем сохранит эту способность, если только он и в самом деле не страдает бессилием. Этой невзгоды следует опасаться лишь на первых порах, когда наша душа сверх меры охвачена, с одной стороны, пылким желанием, с другой — робостью, и, особенно, если благоприятные обстоятельства застают нас врасплох и требуют решительности и быстроты действий; тут уж, действительно, ничем не

поможешь. Я знаю одного человека, которому помогло от этой беды его собственное тело, когда в последнем началось пресыщение и вследствие этого ослабление плотского желания; с годами он стал ощущать в себе меньше бессилия именно потому, что сделался менее сильным. Знаю я и другого, которому от того же помог один из друзей, убедивший его, будто он обладает целой батареей амулетов разного рода, способных противостоять всяким чарам. Но лучше я расскажу все по порядку. Некий граф из очень хорошего рода, с которым я был в приятельских отношениях, женился на прелестной молодой женщине; поскольку за нею прежде упорно ухаживал некто, присутствовавший на торжестве, молодой супруг переполошил своими страхами и опасениями друзей и, в особенности, одну старую даму, свою родственницу, распоряжавшуюся на свадьбе и устроившую ее у себя в доме; эта дама, боявшаяся наваждений в сглаза, поделилась своею тревогой со мной. Я попросил ее положиться во всем на меня. К счастью, в моей шкатулке оказалась золотая вещица с изображенными на ней знаками Зодиака. Считалось, что, если ее приложить к черепному шву, она помогает от солнечного удара и головной боли, а дабы она могла там

держаться, к ней была прикреплена лента, достаточно длинная, чтобы концы ее можно было завязывать под подбородком. Короче говоря, это такой же вздор, как и тот, о котором мы ведем речь. Этот необыкновенный подарок сделал мне Жак Пеллетье[11] [broken link: #na21_11]. Я вознамерился употребить его в дело и сказал графу, что его может постигнуть такая же неудача, как и многих других, ибо тут находится личности, готовые подстроить ему подобную неприятность. Но пусть он смело ложится в постель, так как я намерен оказать ему дружескую услугу и не пожалею для него чудесного средства, которым располагаю, при условии, что он даст мне слово сохранять относительно этого строжайшую тайну. Единственное, что потребуется от него, это чтобы ночью, когда мы понесем к нему в спальню свадебный ужин, он, буде дела его пойдут плохо, подал мне соответствующий знак. Его настолько взволновали мои слова и он настолько пал духом, что не мог совладать с разыгравшимся воображением и подал условленный между нами знак. Тогда я сказал ему, чтобы он поднялся со своего ложа, как бы за тем, чтобы прогнать нас подальше, и, стащив с меня якобы в шутку шлафрок (мы были почти одного роста), надел его на себя, но

только после того, как выполнит мои предписания, а именно: когда мы выйдем из спальни, ему следует удалиться будто бы за малой нуждою и трижды прочитать там такие-то молитвы и трижды же проделать такие-то телодвижения; и чтобы он всякий раз опоясывал себя при этом той лентою, которую я ему сунул в руку, прикладывая прикрепленную к ней медаль к определенному месту на пояснице, так, чтобы лицевая ее сторона находилась в таком-то и таком-то положении. Проделав это, он должен хорошенько закрепить ленту, чтобы она не развязалась и не сдвинулась с места и лишь после всего этого он может, наконец, с полной уверенностью в себе возвратиться к своим трудам. Но пусть он не забудет при этом, сбросив с себя мой шлафрок, швырнуть его к себе на постель, так чтобы он накрыл их обоих. Эти церемонии и есть самое главное; они-то больше всего и действуют: наш ум не может представить себе, чтобы столь необыкновенные действия не опирались на какие-нибудь тайные знания. Как раз их нелепость и придает им такой вес и значение. Короче говоря, обнаружилось с очевидностью, что знаки на моем талисмане связаны больше с Венерой, чем с Солнцем, а также, что они скорей поощряют, чем ограждают. На эту

проделку толкнула меня внезапная и показавшаяся мне забавною прихоть моего воображения, в общем чуждая складу моего характера. Я враг всяческих ухищрений и выдумок. Я ненавижу хитрость, и не только потехи ради, но и тогда, когда она могла бы доставить выгоду. Если в самом проступке моем и не было ничего плохого, путь, мною избранный, все же плох.

Амасис, царь египетский[12] [broken link: #na21_12], женился на Лаодике, очень красивой греческой девушке; и вдруг оказалось, что он, который неизменно бывал славным сотоварищем в любовных утехах, не в состоянии вкусить от нее наслаждений; он грозил, что убьет ее, считая, что тут не без колдовства. И как бывает обычно во всем, что является плодом воображения, оно увлекло его к благочестию; обратившись к Венере с обетами и мольбами, он ощутил уже в первую ночь после заклания жертвы и возлияний, что силы его чудесным образом восстановились.

И зря иные женщины встречают нас с таким видом, будто к ним опасно притронуться, будто они злятся на нас, и мы внушаем им неприязнь; они гасят в нас пыл, стараясь разжечь его. Сноха Пифагора говаривала, что женщина, которая спит с мужчиною, должна вместе с платьем сбра-

сывать с себя и стыдливость, а затем вместе с платьем вновь обретать ее. Душа осаждающего, скованная множеством тревог и сомнений, легко утрачивает власть над собою, — и кого воображение заставило хоть раз вытерпеть этот позор (а он возможен лишь на первых порах, поскольку первые приступы всегда ожесточеннее и неистовее, а также и потому, что вначале особенно сильны опасения в благополучном исходе), тот, плохо начав, испытывает волнение и досаду, вспоминая об этой беде, и то же самое, вследствие этого, происходит с ним и в дальнейшем.

Новобрачные, у которых времени сколько угодно, не должны торопиться и подвергать себя испытанию, пока они не готовы к нему; и лучше нарушить обычай и не спешить с воздаянием должного брачному ложу, где все исполнено волнения и лихорадки, а дожидаться, сколько бы ни пришлось, подходящего случая, уединения и спокойствия, чем сделаться на всю жизнь несчастным, пережив потрясение и впав в отчаянье от первой неудачной попытки.

Не без основания отмечают своенравие этого органа, так некстати оповещающего нас порой о своей готовности, когда нам нечего с нею делать, и столь же некстати утрачивающего ее, когда мы

больше всего нуждаемся в ней; так своенравно сопротивляющегося владычеству нашей воли и с такою надменностью и упорством отвергающего те увещания, с которыми к нему обращается наша мысль. И все же, предложи он мне соответствующее вознаграждение, дабы я защищал его от упреков, служащих основанием, чтобы вынести ему обвинительный приговор, я постарался бы, в свою очередь, возбудить подозрение в отношении остальных наших органов, его сотоварищей, в том, что они, из зависти к важности и приятности принадлежащих ему обязанностей, выдвинули это ложное обвинение и составили заговор, дабы восстановить против него целый мир, злостно приписывая ему одному прегрешения, в которых повинны все они вместе.

Предоставляю вам поразмыслить, существует ли такая часть нашего тела, которая безотказно выполняла бы свою работу в согласии с нашей волей и никогда бы не действовала наперекор ей. Каждой из них свойственны свои особые страсти, которые пробуждают ее от спячки или погружают, напротив, в сон, не спрашиваясь у нас. Как часто непроизвольные движения на нашем лице уличают нас в таких мыслях, которые мы хотели бы утаить про себя, и тем самым выдают окру-

жающим! Та же причина, что возбуждает наши сокровенные органы, возбуждает без нашего ведома также сердце, легкие, пульс: вид приятного нам предмета мгновенно воспламеняет нас лихорадочным возбуждением. Разве мышцы и жилы не напрягаются, а также не расслабляются сами собой, не только помимо участия нашей воли, но и тогда, когда мы даже не помышляем об этом? Не по нашему приказанию волосы становятся у нас дыбом, а кожа покрывается потом от желания или страха. Бывает и так, что язык цепенеет и голос застревает в гортани. Когда нам нечего есть, мы охотно запретили бы голоду беспокоить нас своими напоминаниями, и, однако, желание есть и есть не перестает терзать наши органы, подчиненные ему, совершенно так же, как то, другое желание; и оно же, когда ему вздумается, внезапно бежит от нас, и часто весьма некстати. Органы, предназначенные разгружать наш желудок, также сжимаются и расширяются по своему произволу, помимо нашего намерения, и порой вопреки ему, равно как и те, которым надлежит разгружать наши почки. Правда, св. Августин, чтобы доказать всемогущество вашей воли, в ряду других доказательств ссылается также на одного человека, которого от сам видел и кото-

рый приказывал своему заду производить то или иное количество выстрелов, а комментатор св. Августина Вивес добавляет пример, относящийся уже к его времени, сообщая, что некто умел издавать подобные звуки соответственно размеру стихов, которые при этом читали ему; отсюда, однако, вовсе не вытекает, что данная часть нашего тела всегда повинуется нам, ибо чаще всего она ведет себя весьма и весьма нескромно, доставляя нам немало хлопот. Добавлю, что мне ведома одна такая же часть нашего тела, настолько шумливая в своенравная, что вот уже сорок лет, как она не дает своему хозяину ни отдыха, нм срока, действуя постоянно и непрерывно и ведя его, подобным образом, к преждевременной смерти.

Но и наша воля, защищая права которой мы выдвинули эти упреки, — как же дело обстоит с нею? Не можем ли мы по причине свойственных ей строптивости и необузданности с еще большим основанием заклеймить ее обвинением в возмущениях и мятежах? Всегда ли она желает того, чего мы хотим, чтобы желала она? Не желает ли она часто того — и притом к явному ущербу для нас, — что мы ей запрещаем желать? Не отказывается ли она повиноваться решениям нашего разума? Наконец, в пользу моего

подзащитного я мог бы добавить и следующее: да соблаговолят принять во внимание то, что обвинение, выдвинутое против него, неразрывно связано с пособничеством его сотоварищей, хотя и обращено только к нему одному, ибо улики и доказательства здесь таковы, что, учитывая обстоятельства тяжущихся сторон, они не могут быть предъявлены его сотоварищам. Уже из этого легко усмотреть недобросовестность и явную пристрастность истцов. Как бы то ни было, сколько бы не препирались и какие бы решения ни выносили адвокаты и судьи, природа всегда будет действовать согласно своим законам; и она поступила, вне всякого сомнения, вполне правильно, даровав этому органу кое-какие особые права и привилегии. Он — вершитель и исполнитель единственного бессмертного деяния смертных. Зачатие, согласно Сократу, есть божественное деяние; любовь — жажда бессмертия и она же — бессмертный дух.

Иной благодаря силе воображения оставляет свою золотуху у нас, тогда как товарищ его уносит ее обратно в Испанию[13] [broken link: #na21_13]. Вот почему в подобных вещах требуется, как правило, известная подготовка души. Ради чего врачи с таким рвением добиваются

доверия своего пациента, не скупясь на лживые посулы поправить его здоровье, если не для того, чтобы его воображение пришло на помощь их надувательским предписаниям? Они знают из сочинения, написанного одним из светил их ремесла, что бывают люди, которые поправляются от одного вида лекарства.

Обо всех этих причудливых и странных вещах я вспомнил совсем недавно в связи с тем, о чем мне рассказывал наш домашний аптекарь, — его услугами пользовался мой покойный отец, — человек простой, из швейцарцев, а это, как известно, народ ни в какой мере не суетный и не склонный прилгнуть. В течение долгого времени, проживая в Тулузе, он посещал одного больного купца, страдавшего от камней и нуждавшегося по этой причине в частных клистирах, так что врачи, в зависимости от его состояния, прописывали ему по его требованию клистиры разного рода. Их приносили к нему, и он никогда не забывал проверить, все ли в надлежащем порядке; нередко он пробовал также, не слишком ли они горячи. Но вот он улегся в постель, повернулся спиною; все сделано, как полагается, кроме того, что содержимое клистира так и не введено ему внутрь. После этого аптекарь уходит,

а пациент устраивается таким образом, словно ему и впрямь был поставлен клистир, ибо все проделанное над ним действовало на него не иначе, как действует это средство на тех, кто по-настоящему применяет его. Если врач находил, что клистир подействовал недостаточно, аптекарь давал ему еще два или три совершенно таких же. Мой рассказчик клянется, что супруга больного, дабы избежать лишних расходов (ибо он оплачивал эти клистиры, как если бы они и в самом деле были ему поставлены), делала неоднократные попытки ограничиться тепловатой водой, но так как это не действовало, проделка ее вскоре открылась и, поскольку ее клистиры не приносили никакой пользы, пришлось возвратиться к старому способу.

Одна женщина, вообразив, что проглотила вместе с хлебом булавку, кричала и мучилась, испытывая, по ее словам, нестерпимую боль в области горла, где якобы и застряла булавка. Но так как не наблюдалось ни опухоли, ни каких-либо изменений снаружи, некий смышленый малый, рассудив, что тут всего-навсего мнительность и фантазия, порожденные тем, что кусочек хлеба оцарапал ей мимоходом горло, вызвал у нее рвоту и подбросил в то, чем ее вытошнило, изогнутую

булавку. Женщина, поверив, что она и взаправду извергла булавку, внезапно почувствовала, что боли утихли. Мне известен также и такой случай: один дворянин, попотчевав на славу гостей, через три или четыре дня после этого стал рассказывать в шутку (ибо в действительности ничего подобного не было), будто он накормил их паштетом из кошачьего мяса. Это ввергло одну девицу из числа тех, кого он принимал у себя, в такой ужас, что у нее сделались рези в желудке, а также горячка, и спасти ее так и не удалось. Даже животные, и те, совсем как люди, подвержены силе своего воображения; доказательством могут служить собаки, которые околевают с тоски, если потеряют хозяина. Мы наблюдаем также, что они тявкают и вздрагивают во сне; а лошади ржут и лягаются.

Но все вышесказанное может найти объяснение в тесной связи души с телом, сообщающими друг другу свое состояние. Иное дело, если воображение, как это подчас случается, воздействует не только на свое тело, но и на тело другого. И подобно тому как больное тело переносит свои немощи на соседей, что видно хотя бы на примере чумы, сифилиса или главных болезней, переходящих с одного на другого, —

*Dum spectant oculi laesos, laeduntur et ipsi:*

*Multaque corporibus transitione nocent,[14] [broken link: #na21_14]*

так, равным образом, и возбужденное воображение мечет стрелы, способные поражать окружающие предметы. Древние рассказывают о скифских женщинах, которые, распалившись на кого-нибудь гневом, убивали его своим взглядом. Черепахи и страусы высиживают свои яйца исключительно тем, что, не отрываясь, смотрят на них, и это доказывает, что они обладают некоей изливающейся из них силою. Что касается колдунов, то утверждают, будто их взгляды наводят порчу и сглаз:

*Nescio qui teneros oculus mihi fascinat agnos.[15] [broken link: #na21_15]*

Чародеи, впрочем, по-моему, плохие ответчики. Но вот что мы знаем на основании опыта: женщины сообщают детям, вынашивая их в своем чреве, черты одолевающих их фантазией; доказательством может служить та, что родила негра. Карлу, королю богемскому и императору, показали как-то одну девицу из Пизы, покрытую густой и длинною шерстью; по словам матери,

она ее зачала такою, потому что над ее постелью висел образ Иоанна Крестителя. То же самое и у животных; доказательство — овны Иакова[16] [broken link: #na21_16], а также куропатки и зайцы, выбеленные в горах лежащим там снегом. Недавно мне пришлось наблюдать, как кошка подстерегала сидевшую на дереве птичку; обе они некоторое время смотрели, не сводя глаз, друг на друга, и вдруг птичка как мертвая свалилась кошке прямо в лапы, то ли одурманенная своим собственным воображением, то ли привлеченная какой-то притягательной силой, исходившей от кошки. Любители соколиной охоты знают, конечно, рассказ о сокольничем, который побился об заклад, что, пристально смотря на парящего в небе ястреба, он заставит его, единственно лишь силою своего взгляда, спуститься на землю и, как говорят, добился своего. Впрочем, рассказы, заимствованные мной у других, я оставляю на совести тех, от кого я их слышал.

Выводы из всего этого принадлежат мне, и я пришел к ним путем рассуждения, а не опираясь на мой личный опыт. Каждый может добавить к приведенному мной свои собственные примеры, а у кого их нет, то пусть поверит мне, что они легко найдутся, принимая во внимание большое

число и разнообразие засвидетельствованных случаев подобного рода. Если приведенные мною примеры не вполне убедительны, пусть другой подыщет более подходящие.

При изучении наших нравов и побуждений, чем я, собственно, и занимаясь, вымышленные свидетельства так же пригодны, как подлинные, при условии, что они не противоречат возможному. Произошло ли это в действительности или нет, случилось ли это в Париже иль в Риме, с Жаном иль Пьером, — вполне безразлично, лишь бы дело шло о той или иной способности человека, которую я с пользою для себя подметил в рассказе. Я ее вижу и извлекаю из нее выгоду, независимо от того, принадлежит ли она теням или живым людям. И из различных уроков, заключенных нередко в подобных историях, я использую для своих целей лишь наиболее необычные и поучительные. Есть писатели, ставящие себе задачей изображать действительные события. Моя же задача — лишь бы я был в состоянии справиться с нею — в том, чтобы изображать вещи, которые могли бы произойти. Школьной премудрости разрешается — да иначе и быть не могло бы — усматривать сходство между вещами даже тогда, когда на деле его вовсе и нет. Я же ничего

такого не делаю и в этом отношении превосхожу своею дотошностью самого строгого историка. В примерах, мною здесь приводимых и почерпнутых из всего того, что мне довелось слышать, самому совершить или сказать, я не позволил себе изменить ни малейшей подробности, как бы малозначительна она ни была. В том, что я знаю, — скажу по совести, — я не отступаю от действительности ни на йоту; ну, а если чего не знаю, прошу за это меня не винить. Кстати, по этому поводу: порой я задумываюсь над тем, как это может теолог, философ или вообще человек с чуткой совестью и тонким умом браться за составление хроник? Как могут они согласовать свое мерило правдоподобия с мерилом толпы? Как могут они отвечать за мысли неизвестных им лиц и выдавать за достоверные факты свои домыслы и предположения? Ведь они, пожалуй, отказались бы дать под присягою показания относительно сколько-нибудь сложных происшествий, случившихся у них на глазах; у них нет, пожалуй, ни одного знакомого им человека, за намерения которого они согласились бы полностью отвечать. Я считают, что описывать прошлое — меньший риск, чем описывать настоящее, ибо в этом случае писатель отвечает только за точную

передачу заимствованного им у других. Некоторые уговаривают меня[17] [broken link: #na21_17] описать события моего времени; они основываются на том, что мой взор менее затуманен страстями, чем чей бы то ни было, а также что я ближе к этим событиям, чем кто-либо другой, ибо судьба доставила мне возможность общаться с вождями различных партий. Но они упускают из виду, что я не взял бы на себя этой задачи за всю славу Саллюстия[18] [broken link: #na21_18], что я заклятый враг всяческих обязательств, усидчивости, настойчивости; что нет ничего столь противоречащего моему стилю, как распространенное повествование; что я постоянно сам себя прерываю, потому что у меня не хватает дыхания; что я не обладаю способностью стройно и ясно что-либо излагать; что я превосхожу, наконец, даже малых детей своим невежеством по части самых обыкновенных, употребляемых в повседневном быту фраз и оборотов. И все же я решился высказать здесь, приспособляя содержание к своим силам, то, что я умею сказать. Если бы я взял кого-нибудь в поводыри, мои шаги едва ли совпадали б с его шагами. И если бы я был волен располагать своей волей, я предал бы гласности рассуждения, которые и на мой собственный

взгляд и в соответствии с требованиями разума были бы противозаконными и подлежали бы наказанию[19] [broken link: #na21_19]. Плутарх мог бы сказать о написанном им, что забота о достоверности, всегда и во всем, тех примеров, к которым он обращается, — не его дело; а вот, чтобы они были назидательны для потомства и являлись как бы факелом, озаряющим путь к добродетели, — это действительно было его заботой. Предания древности — не то, что какое-нибудь врачебное снадобье; здесь не представляет опасности, составлены ли они так или этак.

## Глава XXII
## Выгода одного — ущерб для другого

Демад, афинянин, осудил одного из своих сограждан, торговавшего всем необходимым для погребения, основываясь на том, что тот стремился к слишком большой выгоде, достигнуть которой можно было бы не иначе, как ценою смерти очень многих людей[1] [broken link: #na22_1]. Этот приговор кажется мне необоснованным, ибо, вообще говоря, нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других; и потому, если рассуждать как Демад, следовало бы осудить любой заработок.

Купец наживается на мотовстве молодежи; земледелец — благодаря высокой цене на хлеб; строитель — вследствие того, что здания приходят в упадок и разрушаются; судейские — на ссорах и тяжбах между людьми; священники (даже они!) обязаны как почетом, которым их окружают, так и самой своей деятельностью нашей смерти и нашим порокам. Ни один врач, говорится в одной греческой комедии, не радуется здоровью даже самых близких своих друзей,

ни один солдат — тому, что его родной город в мире со своими соседями, и так далее. Да что там! Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются, по большей части, за счет кого-нибудь другого.

Когда я размышлял об этом, мне пришло в голову, что природа и здесь верна установленному ею порядку, ибо, как полагают естествоиспытатели, зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение и гибель другой.

> *Nam quodcunque suis mutatum finibus exit,*
>
> *Continuo hoc mors est illius, quod fuit ante.[2] [broken link: #na22_2]*

## Глава XXIII
## О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы

Прекрасно, как кажется, постиг силу привычки тот, кто первый придумал сказку о той деревенской женщине, которая, научившись ласкать теленка и носить его на руках с часа его рождения и продолжая делать то же и дальше, таскала его на руках и тогда, когда он вырос и стал нарядным бычком[1] [broken link: #na23_1]. И действительно, нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка. Мало-помалу, украдкой забирает она власть над нами, но, начиная скромно и добродушно, она с течением времени укореняется и укрепляется в нас, пока, наконец, не сбрасывает покрова со своего властного и деспотического лица, и тогда мы не смеем уже поднять на нее взгляда. Мы видим, что он постоянно нарушает установленные самой природой правила: Usus efficacissimus rerum omnium magister.[2] [broken link: #na23_2]

В связи с этим я вспоминаю пещеру Платона в

его «Государстве»[3] [broken link: #na23_3], а также врачей, которые в угоду привычке столь часто пренебрегают предписаниями своего искусства, и того царя, который приучил свой желудок питаться ядом[4] [broken link: #na23_4], и девушку, о которой рассказывает Альберт[5] [broken link: #na23_5], что она привыкла употреблять в пищу исключительно пауков.

И в Новой Индии[6] [broken link: #na23_6], которая есть целый мир, были обнаружены весьма многолюдные народы, обитающие в различных климатах, которые также употребляют в пищу главным образом пауков; они заготовляют их впрок и откармливают, как, впрочем, и саранчу, муравьев, ящериц и летучих мышей, и однажды во время недостатка в съестных припасах там продали жабу за шесть экю; они жарят их и приготовляют с приправами разного рода. Были обнаружены и такие народы, для которых наша мясная пища оказалась ядовитою и смертельною. Consuetudinis magna vis est. Pernoctant venatores in nive: in montibus uri se patiuntur. Pugiles caestibus contusi ne ingemiscunt quidem.[7] [broken link: #na23_7]

Эти позаимствованные в чужих странах примеры не покажутся странными, если мы обратимся

к личному опыту и припомним, насколько привычка способствует притуплению наших чувств. Для этого вовсе не требуется прибегать к рассказам о людях, живущих близ порогов Нила, или о том, что философы считают музыкою небес, а именно, будто бы небесные сферы, твердые и гладкие, вращаясь, трутся одна о другую, что неизбежно порождает чудные, исполненные дивной гармонии звуки, следуя ритму и движениям которых перемещаются и изменяют свое положение на небосводе хороводы светил, хотя уши земных существ — так же, как, например, уши египтян, обитающих по соседству с порогами Нила, — по причине непрерывного этого звучания не в состоянии уловить его, сколько бы мощным оно ни было. Кузнецы, мельники и оружейники не могли бы выносить того шума, в котором работают, если бы он поражал их слух так же, как наш. Мой колет из продушенной кожи вначале приятно щекочет мой нос, но если я проношу его, не снимая, три дня подряд, он будет приятен лишь обонянию окружающих. Еще поразительнее, что в нас может образоваться и закрепиться привычка, подчиняющая себе наши органы чувств даже тогда, когда то, что породило ее, воздействует на них не непрерывно, но с большими

промежутками; это хорошо знают те, кто живет поблизости от колокольни. У себя дома я живу в башне, на которой находится большой колокол, вызванивающий на утренней и вечерней заре Ave Maria[8] [broken link: #na23_8]. Сама башня — и та бывает испугана этим трезвоном; в первые дин он и мне казался совершенно невыносимым, но спустя короткое время я настолько привык к нему, что теперь он вовсе не раздражает, а часто даже и не будит меня.

Платон разбранил одного мальчугана за то, что тот увлекался игрою в бабки. Тот ответил ему: «Ты бранишь меня за безделицу». — «Привычка, — сказал на это Платон, — совсем не безделица»[9] [broken link: #na23_9].

Я нахожу, что все наихудшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших кормилиц и нянюшек. Для матерей нередко бывает забавою смотреть, как их сыночек сворачивает шею цыпленку и потешается, мучая кошку или собаку. А иной отец бывает до такой степени безрассуден, что, видя как его сын ни за что ни про что колотит беззащитного крестьянина или слугу, усматривает в этом добрый признак воинственности его характера, или, наблюдая,

как тот же сынок одурачивает, прибегая к обману и вероломству, своего приятеля, видит в этом проявление присущей его отпрыску бойкости ума. В действительности, однако, это не что иное, как семена и корни жесткости, необузданности, предательства; именно тут они пускают свой первый росток, который впоследствии дает столь буйную поросль и закрепляется в силу привычки. И обыкновение извинять эти отвратительные наклонности легкомыслием, свойственным юности, и незначительностью проступков весьма и весьма опасно. Во-первых, тут слышится голос самой природы, который более звонок и чист, пока не успел огрубеть; во-вторых, разве мошенничество становится менее гладким от того, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких экю? Оно гадко само по себе. Я нахожу гораздо более правильным сделать следующий вывод: «Почему такому-то не обмануть на целый экю, коль скоро он обманывает на одно су?» — вместо обычных рассуждений на этот счет: «Ведь он обманул только на одно су; ему и в голову не пришло бы обмануть на целый экю». Нужно настойчиво учить детей ненавидеть пороки как таковые; нужно, чтобы они воочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только в

делах своих, но и в сердце своем; нужно, чтобы самая мысль о пороках, какую бы личину они ни носили, была им ненавистна. Я убежден, что если и посейчас еще, даже в самой пустячной забаве, я испытываю крайнее отвращение к обманам всякого рода, что является внутренней моей потребностью и следствием естественных моих склонностей, а не чем-то требующим усилий, то причина этого в том, что меня приучили с самого детства ходить только прямой и открытой дорогой, гнушаясь в играх со сверстниками (здесь кстати отметить, что игры детей — вовсе не игры и что правильнее смотреть на них, как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста) каких бы то ни было плутней и хитростей. Играя в карты на дубли, я рассчитываюсь с такою же щепетильностью, как если бы играл на двойные дублоны[10] [broken link: #na23_10], и тогда, когда проигрыш и выигрыш, в сущности, для меня безразличны, поскольку я играю с женою и дочерью, и тогда, когда я смотрю на дело иначе. Во всем и везде мне достаточно своих собственных глаз, дабы исполнить, как подобает, мой долг, и нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально и к которой я питал бы большее уважение.

Недавно я видел у себя дома одного карлика родом из Нанта, безрукого от рождения; он настолько хорошо приучил свои ноги служить ему вместо рук, что они, можно сказать, наполовину забыли возложенные на них природой обязанности. Впрочем, он их и не называет иначе, как своими руками; ими он режет, заряжает пистолет и спускает курок, вдевает нитку в иглу, шьет, пишет, снимает шляпу, причесывается, играет в карты и в кости, бросая их не менее ловко, чем всякий другой; деньги, которые я ему дал (ибо он зарабатывает на жизнь, показывая себя), он принял ногой, как мы бы сделали это рукой. Знал я и другого калеку, еще совсем мальчика, который, будучи также безруким, удерживал подбородком, прижимая его к груди, алебарду и двуручный меч, подбрасывал и снова ловил их, метал кинжал и щелкал бичом с таким же искусством, как заправский возчик-француз.

Но еще легче обнаружить тиранию привычки в тех причудливых представлениях, которые она создает в наших душах, поскольку они меньше сопротивляются ей. Чего только не в силах сделать она с нашими суждениями и верованиями! Существует ли такое мнение, каким бы нелепым оно нам ни казалось (я не говорю уже о грубом

обмане, лежащем в основе многих религий и одурачившем столько великих народов и умных людей, ибо это за пределами человеческого разумения, и на кого не снизошла благодать божья, тому недолго и заблудиться), так вот, существуют ли такие, непостижимые для нас, взгляды и мнения, которых она не насадила бы и не закрепила в качестве непреложных законов в избранных ею по своему произволу странах? И до чего справедливо это древнее восклицание: Non pudet physicum, id est speculatorem venatoremque naturae, ab animis consuetudine imbutis quaerere testimonium veritatis?[11] [broken link: #na23_11]

Я полагаю, что нет такой зародившейся в человеческом воображении выдумки, сколь бы сумасбродною она ни была, которая не встретилась бы где-нибудь как общераспространенный обычай и, следовательно, не получила бы одобрения и обоснования со стороны нашего разума. Существуют народы, у которых принято показывать спину тому, с кем здороваешься, и никогда не смотреть на того, кому хочешь засвидетельствовать почтение[12] [broken link: #na23_12]. Есть и такой народ, у которого, когда царь пожелает плюнуть, одна из придворных дам, и притом та, что пользуется наибольшим благоволением,

подставляет для этого свою руку; в другой же стране наиболее влиятельные из царского окружения склоняются при сходных обстоятельствах до земли и подбирают платком царский плевок.

Уделим здесь место следующей побасенке. Один французский дворянин неизменно сморкался в руку, что является непростительным нарушением наших обычаев. Защищая как-то эту свою привычку (а он был весьма находчивый спорщик), он обратился ко мне с вопросом — какие же преимущества имеет это грязное выделение сравнительно с прочими, что мы собираем его в отличное тонкое полотно, завертываем и, что еще хуже, бережно храним при себе? Ведь это же настолько противно, что не лучше ли оставлять его, где попало, как мы и делаем с прочими нашими испражнениями? Я счел его слова не лишенными известного смысла и, привыкнув к тому, что он очищает нос описанным способом, перестал обращать на это внимание, хотя, слушая подобные рассказы о чужестранцах, мы находим их омерзительными.

Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что это ей свойственно. Привычка притупляет остроту наших суждений. Дикари для

нас нисколько не большее чудо, нежели мы сами для них, да к атому и нет никаких оснований; это признал бы каждый, если б только сумел, познакомившись с чуждыми для нас учреждениями, остановиться затем на привычных и здраво сравнить их между собой. Ведь все наши воззрения и нравы, каков бы ни был их внешний облик, — а он бесконечен в своих проявлениях, бесконечен в разнообразии — примерно в одинаковой мере находят обоснование со стороны нашего разума. Но вернусь к моему рассуждению. Существуют народы, у которых никому, кроме жены и детей, не дозволяется обращаться к царю иначе, как через посредствующих лиц. У одного и того же народа девственницы выставляют напоказ наиболее сокровенные части своего тела, тогда как замужние женщины, тщательно прикрывают и прячут их. С этим обычаем связан, до некоторой степени, еще один из числа распространенных у них: так как целомудрие ценится только в замужестве, девушкам разрешается отдаваться, кому они пожелают, и, буде они понесут, делать выкидыши с помощью соответствующих снадобий, ни от кого не таясь. Кроме того, если сочетается браком купец, все прочие приглашенные на свадьбу купцы ложатся с новобрачною прежде него,

и чем больше их будет, тем больше для нее чести и уважения, ибо это считается свидетельством ее здоровья и силы; если женится должностное лицо, то и тут наблюдается то же самое; так же бывает и на свадьбе знатного человека, и у всех прочих, за исключением земледельцев и других простолюдинов, ибо здесь право первенства — за сеньором; но в замужестве полагается соблюдать безупречную верность. Существуют народы, у которых можно увидеть публичные дома, где содержатся мальчики и где даже заключаются браки между мужчинами; существуют также племена, у которых женщины отправляются на войну вместе с мужьями и не только допускаются к участию в битвах, но подчас и начальствуют над войсками. Бывают народы, где кольца носят не только в носу, на губах, на щеках и больших пальцах ноги, но продевают также довольно тяжелые прутья из золота через соски и ягодицы. Где за едой вытирают руки о ляжки, мошонку и ступни ног. Где дети не наследуют своим родителям, но наследниками являются братья и племянники, а бывает и так, что только племянники (впрочем, это не относится к престолонаследию). Где все находится в общем владении и для руководства всеми делами назначают облеченных верхов-

ною властью должностных лиц, которые и несут заботу о возделывании земли и распределении взращенных ею плодов в соответствии с нуждами каждого. Где оплакивают смерть детей и празднуют смерть стариков. Где на общее ложе укладывается десять или двенадцать супружеских пар. Где женщины, чьи мужья погибли насильственной смертью, могут выйти замуж вторично, тогда как всем прочим это запрещено. Где женщины ценятся до того низко, что всех новорожденных девочек безжалостно убивают; женщин же для своих нужд покупают у соседних народов. Где муж может оставить жену без объяснения причин, тогда как жена не может этого сделать, на какие бы причины она ни ссылалась. Где муж вправе продать жену, если она бесплодна. Где вываривают трупы покойников, а затем растирают их, пока не получится нечто вроде кашицы, которую смешивают с вином, и потом пьют этот напиток. Где самый желанный вид погребения — это быть отданным на съедение собакам, а в других местах — птицам. Где верят, что души, вкушающие блаженство, наслаждаются полной свободой, обитая в прелестных полях и испытывая самые разнообразные удовольствия, и что это они порождают эхо, которое нам дово-

дится иногда слышать. Где сражаются только в воде и, плавая, метко стреляют из лука. Где в знак покорности нужно поднять плечи и опустить голову, а входя в жилище царя, разуться. Где у евнухов, охраняющих женщин, посвятивших себя религии, отрезают вдобавок еще носы и губы, чтобы их нельзя было любить, а священнослужители выкалывают себе глаза, дабы приблизиться к демонам и принимать их прорицания. Где каждый создает себе бога из всего, чего бы ни захотел: охотник — из льва или лисицы; рыбак — из той или иной рыбы, в они творят идолов из любого действия человеческого и из любой страсти; их главные боги: солнце, луна и земля; клянутся же они, прикоснувшись рукой к земле и обратив глаза к солнцу, а мясо и рыбу едят сырыми. Где самая страшная клятва — это поклясться именем какого-нибудь покойника, который пользовался доброю славой в стране, прикоснувшись рукой к его могиле. Где новогодний подарок царя состоит в том, что он посылает князьям, своим вассалам, огонь из своего очага; и когда прибывает царский гонец, доставляющий этот огонь, все огни, до этого горевшие в княжеском дворце, должны быть погашены; а подданные князей должны в свою очередь заимствовать у них этот огонь под

страхом кары за оскорбление величества. Где царь, желая отдаться целиком благочестию (а это случается у них достаточно часто), отрекается от престола, и тогда ближайший наследник его обязан поступить так же, а власть переходит к следующему. Где изменяют образ правления в государстве в соответствии с требованиями обстоятельств: царя, когда им кажется это нужным, они смещают, а на его место ставят старейшин, чтобы они управляли страной; иногда же всеми делами вершит община. Где и мужчины и женщины подвергаются обрезанию, а вместе с тем и крещению. Где солдат, которому удалось принести своему государю после одной или нескольких битв семь или больше голов неприятеля, причисляется к знати. Где люди живут в варварском и столь непривычном для нас убеждении, что души — смертны. Где женщины рожают без стонов и страха. Где на обоих коленях они носят медные наколенники: они же, когда их искусает вошь, обязаны, следуя долгу великодушия, в свою очередь укусить ее; они же не смеют выходить замуж, не предложив прежде царю, если он того пожелает, своей девственности. Где здороваются, приложив палец к земле, а затем подняв его к небу. Где мужчины носят тяжести на голове, а

женщины — на плечах; там же женщины мочатся стоя, тогда как мужчины — присев. Где в знак дружбы посылают немного своей крови и жгут благовония, словно в честь богов, перед людьми, которым желают воздать почет. Где в браках не допускают родства, и не только до четвертой степени, но и до любой, сколь бы далекой она ни была. Где детей кормят грудью целых четыре года, а часто и до двенадцати лет; но там же считают смертельно опасным для любого ребенка дать ему грудь в первый день после рождения. Где отцам надлежит наказывать мальчиков, предоставляя наказание девочек матерям; наказание же у них состоит в том, что провинившегося слегка подкапчивают, подвесив за ноги над очагом. Где женщин подвергают обрезанию. Где едят без разбору все произрастающие у них травы, кроме тех, которые кажутся им дурно пахнущими. Где все постоянно открыто, и дома, какими бы красивыми и богатыми они ни были, не имеют никаких засовов, и в них не найти сундука, который запирался бы на замок; для вора же у них наказания вдвое строже, чем где бы то ни было. Где вшей щелкают зубами, как это делают обезьяны, и находят отвратительным, если кто-нибудь раздавит их ногтем. Где ни

разу в жизни не стригут ни волос, ни ногтей; в других местах стригут ногти только на правой руке, на левой же их отращивают красоты ради. Где отпускают волосы, как бы они ни выросли, с правой стороны и бреют их с левой. А в землях, находящихся по соседству, в одной — отращивают волосы спереди, в другой, наоборот, — сзади, а спереди бреют. Где отцы предоставляют своих детей, а мужья жен на утеху гостям, получая за это плату. Где не считают постыдным иметь детей от собственной матери; у них же в порядке вещей, если отец сожительствует с дочерью или сыном. Где на торжественных праздниках обмениваются на утеху друг другу своими детьми.

Здесь питаются человеческим мясом, там почтительный сын обязан убить отца, достигшего известного возраста; еще где-нибудь отцы решают участь ребенка, пока он еще во чреве матери, — сохранить ли ему жизнь и воспитать его или, напротив, покинуть без присмотра и убить; еще в каком-нибудь месте мужья престарелого возраста предлагают юношам своих жен, чтобы те услужили им; бывает и так, что жены считаются общими, и в этом никто не усматривает греха; есть даже такая страна, где женщины носят на подоле одежды в качестве почетного знака от-

личия столько нарядных кисточек с бахромой, скольких мужчин они познали за свою жизнь. Не обычай ли породил особое женское государство? Не он ли вложил в руки женщины оружие? Не он ли образовал из них батальоны и повел их в бой? И чего не в силах втемяшить в мудрейшие головы философия, не внушает ли обычай своей властью самому темному простолюдину? Ведь мы знаем о существовании целых народов, которые не только с презрением относятся к смерти, но встречают ее даже с радостью, народов, у которых семилетние дети дают засечь себя насмерть, не меняясь даже в лице; где богатством гнушаются до того, что самый обездоленный горожанин счел бы ниже своего достоинства протянуть руку, чтобы поднять кошелек, полный золота. Нам известны также чрезвычайно плодородные и обильные всякими съестными припасами области, где, тем не менее, обычной и самой лакомой пищей считают хлеб, дикий салат и воду.

Не обычай ли сотворил чудо на острове Хиосе, где за целых семьсот лет не запомнили случая нарушения какой-нибудь женщиной или девушкой своей чести?

Короче говоря, насколько я могу представить себе, нет ничего, чего бы он не творил, ничего,

чего бы не мог сотворить; и если Пиндар, как мне сообщили, назвал его «царем и повелителем мира»[13] [broken link: #na23_13], то он имел для этого все основания.

Некто, застигнутый на том, что избивал собственного отца, ответил, что таков обычай, принятый в их роду; что отец его также, бывало поколачивал деда, а дед, в свою очередь, прадеда; и указывая на своего сына, добавил: «А этот, достигнув возраста, в котором ныне я нахожусь, будет делать то же самое со мною».

И когда сын, схватив отца, тащил его за собой по улице, тот велел ему остановиться у некоей двери, ибо он сам, по его словам, никогда не волочил своего отца дальше; здесь проходила черта, за которую дети, руководствуясь унаследованным семейным обычаем, никогда не тащили своих отцов, подвергая их поношению. По обычаю, не менее часто, чем из-за болезни, говорит Аристотель, женщины вырывают у себя волосы, грызут ногти, поедают уголь и землю[14] [broken link: #na23_14]; и скорее опять-таки в силу укоренившегося обычая, чем следуя естественной склонности, мужчины сожительствуют с мужчинами.

Нравственные законы, о которых принято

говорить, что они порождены самой природой, порождаются, в действительности, тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, следуя им, не воздавать себе похвалы.

Жители Крита в прежние времена, желая подвергнуть кого-либо проклятию, молили богов, чтобы те наслали на него какую-нибудь дурную привычку.

Но могущество привычки особенно явственно наблюдается в следующем: она связывает нас в такой мере и настолько подчиняет себе, что лишь с огромным трудом удается нам избавиться от ее власти и вернуть себе независимость, необходимую для того, чтобы рассмотреть и обсудить ее предписания. В самом деле, поскольку мы впитываем их вместе с молоком матери и так как мир предстает перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким он ими изображается, нам кажется, будто мы самым своим рождением предназначены идти тем же путем. И поскольку эти общераспространенные представления, которые разделяют все вокруг, усвоены нами вместе с семенем наших отцов, они кажутся нам всеобщими

и естественными.

Отсюда и проистекает, что все отклонения от обычая считаются отклонениями от разума, — и одному богу известно, насколько, по большей части, неразумно. Если бы и другие изучали себя, как мы, и делали то же, что мы, всякий, услышав какое-нибудь мудрое изречение, постарался бы немедленно разобраться, в какой мере оно применимо к нему самому, — и тогда он понял бы, что это не только меткое слово, но и меткий удар бича по глупости его обычных суждений. Но эти советы и предписания истины всякий желает воспринимать как обращенные к людям вообще, а не лично к нему; и вместо того, чтобы применить их к собственным нравам, их складывают у себя в памяти, а это — занятие весьма нелепое и бесполезное. Вернемся, однако, к тирании обычая.

Народы, воспитанные в свободе и привыкшие сами править собою, считают всякий иной образ правления чем-то противоестественным и чудовищным. Те, которые привыкли к монархии, поступают ничуть не иначе. И какой бы удобный случай к изменению государственного порядка ни предоставила им судьба, они даже тогда, когда с величайшим трудом отделались от какого-нибудь независимого государя, торопятся

посадить на его место другого, ибо не могут решиться возненавидеть порабощение[15] [broken link: #na23_15].

Дарий как-то спросил нескольких греков, за какую награду они согласились бы усвоить обычай индусов поедать своих покойных отцов (ибо это было принято между теми, поскольку они считали, что нет лучшего погребения, как внутри своих близких): греки на это ответили, что ни за какие блага на свете. Но когда Дарий попытался убедить индусов отказаться от их способа погребения и перенять греческий способ, состоявший в сжигании на костре умерших отцов, он привел их в еще больший ужас, чем греков. И всякий из нас делает то же, ибо привычка заслоняет собою подлинный облик вещей;

> *Nil adeo magnum, nec tam mirabile quicquam*
>
> *Principio, quod non minuant mirarier omnes*
>
> *Paulatim.[16] [broken link: #na23_16]*

Некогда, желая укрепить одно наше довольно распространенное мнение, считаемое многими непререкаемым, и не довольствуясь, как это делается обычно, простой ссылкой на законы и

на соответствующие примеры, но стремясь, как всегда, добраться до самого корня, я нашел его основание до такой степени шатким, что едва сам не отрекся от него, — и это я, который ставил своей задачей убедить в его правильности других.

Вот тот способ, который Платон, добиваясь искоренения противоестественных видов любви, пользовавшихся в его время распространением, считает всемогущим и основным: добиться, чтобы общественное мнение решительно осудило их, чтобы поэты клеймили их, чтобы каждый их высмеивал. Именно этому способу мы обязаны тем, что самые красивые дочери не возбуждают больше страсти в отцах, а братья, какой бы они выдающейся красотою ни отличались, — в сестрах; и даже сказания о Фиесте, Эдипе и Макарее, наряду с удовольствием, доставляемым декламацией этих прекрасных стихов, закрепляют, по мнению Платона[17] [broken link: #na23_17], в податливом детском мозгу это полезное предостережение.

Надо правду сказать, целомудрие — прекрасная добродетель, и как велика его польза — известно всякому; однако прививать целомудрие и принуждать блюсти его, опираясь на природу, столь же трудно, сколь легко добиться его соблюдения,

опираясь на обычай, законы и предписания. Обосновать изначальные и всеобщие истины не так-то просто. И наши наставники, скользя по верхам, торопятся поскорее подальше или, даже не осмеливаясь коснуться этих вопросов, сразу же ищут прибежища под сенью обычая, где пыжатся от преисполняющего их чванства и торжествуют. Те же, кто не желает черпать ниоткуда, кроме первоисточника, т. е. природы, впадают в еще большие заблуждения и высказывают дикие взгляды, как, например, Хрисипп[18] [broken link: #na23_18], во многих местах своих сочинений показавший, с какой снисходительностью он относился к кровосмесительным связям, какими бы они ни были. Кто пожелает отделаться от всесильных предрассудков обычая, тот обнаружит немало вещей, которые как будто и не вызывают сомнений, но, вместе с тем, и не имеют иной опоры, как только морщины и седина давно укоренившихся представлений. Сорвав же с подобных вещей эту личину и сопоставив их с истиною и разумом, такой человек почувствует, что, хотя прежние суждения его и полетели кувырком, все же почва под ногами у него стала тверже. И тогда, например, я спрошу у него: возможно ли что-нибудь удивительнее того,

что мы постоянно видим перед собой, а именно, что целый народ должен подчиняться законам, которые были всегда для него загадкою, что во всех своих семейных делах, браках, дарственных, завещаниях, в купле, в продаже он связан правилами, которых не в состоянии знать, поскольку они составлены и опубликованы не на его языке, вследствие чего истолкование и должное применение их он принужден покупать за деньги?[19] [broken link: #na23_19] Все это ни в малой степени не похоже на остроумное предложение Исократа, советующего своему государю обеспечить возможность подданным свободно, прибыльно и беспрепятственно торговать, но, вместе с тем, сделать для них разорительными, обложив высокой пошлиной, ссоры и распри[20] [broken link: #na23_20], и вполне согласуется с теми чудовищными воззрениями, согласно которым даже человеческий разум — и тот является предметом торговли, а законы — рыночным товаром. И я бесконечно благодарен судьбе, что первым, как сообщают наши историки, кто воспротивился намерению Карла Великого ввести у нас римское и имперское право, был некий дворянин из Гаскони, мой земляк[21] [broken link: #na23_21]. Есть ли что-нибудь более дикое, чем видеть народ, у кото-

рого на основании освященного законом обычая судебные должности продаются[22] [broken link: #na23_22], а приговоры оплачиваются звонкой монетой; где, опять-таки, совершенно законно отказывают в правосудии тем, кому нечем заплатить за него; где эта торговля приобретает такие размеры, что создает в государстве в добавление к трем прежним сословиям — церкви, дворянству в простому народу — еще и четвертое, состоящее из тех, в чьем ведении находится суд; это последнее, имея попечение о законах и самовластно распоряжаясь жизнью и имуществом граждан, является, наряду с дворянством, некоей обособленной корпорацией. Отсюда и возникает два рода законов, противоречащих во многом друг другу: законы чести и те, на которых покоится правосудие. Первые, например, сурово осуждают того, кто, будучи обвинен во лжи, стерпит подобное обвинение, тогда как вторые — отмщающего за него. По законам рыцарского оружия такой-то, если снесет оскорбление, лишается чести и дворянского достоинства, тогда как по гражданским законам тот, кто мстит, подлежит уголовному наказанию. Значит, тот, кто обратится к закону, дабы защитить свою оскорбленную честь, обесчещивает себя, а кто не обратится к нему,

того закон преследует и карает. И разве действительно не является величайшею дикостью, что из этик двух столь различных сословий, подчиненных, однако, одному и тому же властителю, одно заботится о войне, другое печется о мире; удел одного — выгода, удел другого — честь; удел одного — ученость, удел другого — доблесть; у одного — слово, у другого — дело; у одного — справедливость, у другого — отвага; у одного — разум, у другого — сила; у одного — долгополая мантия, у другого — короткий камзол.

Что до вещей менее важных, как, например, нашего платья, то тому, кто вздумал бы согласовать его с подлинным его назначением, а именно, служить нашему телу и доставлять ему возможно больше удобств, — что и определило изящество и благопристойность одежды при ее появлении, — я укажу лишь на самое что ни на есть чудовищное из того, что, по-моему, можно представить себе, и, среди прочего, на наши квадратные головные уборы, на этот длинный, свисающий с головы наших женщин хвост из собранного складками бархата, расшитого, к тому же, пестрыми украшениями, и наконец, на нелепое и бесполезное подобие того органа, назвать который мы не можем, не нарушая приличия, и

воспроизведение которого, да еще во всем блеске наряда, показываем, тем не менее, всему честному народу. Эти соображения не отвращают, однако, разумного человека от следования общепринятой моде; более того, хотя мне и кажется, что все выдумки и причуды в покров нашего платья порождены скорее сумасбродством и спесью, чем действительной целесообразностью, и что мудрец должен внутренне оберегать свою душу от всякого гнета, дабы сохранить ей свободу и возможность свободно судить обо всем, — тем не менее, когда дело идет о внешнем, он вынужден строго придерживаться принятых правил и форм. Обществу нет ни малейшего дела до наших воззрений; но все остальное, как то: нашу деятельность, наши труды, наше состояние и самую жизнь, надлежит предоставить ему на службу, а также на суд, как и поступил мужественный и великий Сократ, отказавшийся спасти свою жизнь лишь на том основании, что это явилось бы неповиновением власти, пусть даже весьма неправедной и пристрастной. Ибо правило правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан повиноваться законам страны, в которой живет:

*Νόμοις επεσθαι τοισιν έγχώροις καλόν.[23]*

*[broken link: #na23_23]*

А вот кое-что в ином роде. Весьма сомнительно, может ли изменение действующего закона, каков бы он ни был, принести столь очевидную пользу, чтобы перевесить то зло, которое возникает, если его потревожить; ведь государство можно в некоторых отношениях уподобить строению, сложенному из отдельных, связанных между собой частей, вследствие чего нельзя хоть немного поколебать даже одну среди них без того, чтобы это не отразилось на целом. Законодатель фурийцев велел, чтобы всякий, стремящийся уничтожить какой-нибудь из старых законов или ввести в действие новый, выходил пред народом с веревкой на шее с тем, чтобы, если предлагаемое им новшество не найдет единогласного одобрения, быть удавленным тут же на месте[24] [broken link: #na23_24]. А законодатель лакедемонян[25] [broken link: #na23_25] посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добиться от сограждан твердого обещания не отменять ни одного из его предписаний. Эфор, так безжалостно оборвавший две новые струны, добавленные Фриннсом к его музыкальному инструменту[26] [broken link: #na23_26], не задавался вопросом, улучшил ли Фринис свой инструмент и обогатил ли его

аккорды; для осуждения этого новшества ему было достаточно и того, что старый, привычный образец претерпел изменение; то же обозначал и древний заржавленный меч правосудия, который бережно хранился в Марселе[27] [broken link: #na23_27].

Я разочаровался во всяческих новшествах, в каком бы обличий они нам ни являлись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельные последствия они вызывают. То из них, которое угнетает нас в течение уже стольких лет, не было, правда, непосредственною причиною всего происходящего; но, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что именно в нем, в силу несчастного стечения обстоятельств, причина и корень всего, даже тех бедствий и ужасов, которые творятся с тех пор без его участия и вопреки ему[28] [broken link: #na23_28]. Пусть оно пеняет поэтому на себя самого.

> *Heu! patior telis vulnera facta meis.[29] [broken link: #na23_29]*

Те, кто расшатывают государственный строй, чаще всего первыми и гибнут при его крушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а

ловить рыбу будут уже другие. Так как целость и единство нашей монархии были нарушены упомянутым новшеством, и ее величественное здание расшаталось и начало разрушаться, и так как это произошло, к тому же, в ее преклонные годы, в ней образовалось сколько угодно трещин и брешей, представляющих собою как бы ворота для названных бедствий. Величие государя, говорит некий древний писатель, труднее низвести от его вершины до половины, чем низвергнуть от половины до основания.

Но если зачинатели и приносят больше вреда, нежели подражатели, то последние все же преступнее первых, следуя образцам, зло и ужас которых сами ощутили и покарали. И если даже злодеяния приносят известную долю славы, то у первых перед вторыми то преимущество, что самый замысел и дерзость почина принадлежат именно им.

Все виды новейших бесчинств с легкостью черпают образцы и наставления, как потрясать государственный строй, из этого главнейшего и неиссякаемого источника[30] [broken link: #na23_30]. Даже в наших законах, созданных с целью пресечения этого изначального зла, и то можно найти наставления, как творить злоде-

яния всякого рода, и попытки оправдания их. С нами происходит теперь то самое, о чем говорит Фукидид[31] [broken link: #na23_31], повествуя о гражданских войнах своего времени; тогда, угождая порокам общества и пытаясь найти для них оправдание, давали им не их подлинные названия, но, искажая и смягчая последние, обозначали словами новыми и менее резкими. И таким-то способом хотят подействовать на вашу совесть и исправить наши взгляды! Honesta ratio est.[32] [broken link: #na23_32] Однако как бы благовиден ни был предлог, все же всякое новшество чревато опасностями: adeo nihil motum ex antiquo probabile est.[33] [broken link: #na23_33] По правде говоря, мне представляется чрезмерным самолюбием и величайшим самомнением ставить свои взгляды до такой степени высоко, чтобы ради их торжества не останавливаться пред нарушением общественного спокойствия, пред столькими неизбежными бедствиями и ужасающим падением нравов, которые приносят с собой гражданские войны, пред изменениями в государственном строе, что влечет за собой столь значительные последствия, — да еще делать все это в своей собственной стране. И не просчитывается ли тот, кто дает волю этим явным и всем

известным порокам, дабы искоренить недостатки, в сущности спорные и сомнительные? И есть ли пороки худшие, нежели те, которые нестерпимы для собственной совести и для здравого смысла?[34] [broken link: #na23_34]

Римский сенат в разгар распри с народом по поводу распределения жреческих должностей решился прибегнуть к уловке такого рода: Ad deos id magis quam ad se, pertinere: ipsos visuros ne sacra sua polluantur,[35] [broken link: #na23_35] — подражая в этом ответу оракула жителям Дельф во время греко-персидских войн. Опасаясь вторжения персов, дельфийцы обратились тогда к Аполлону с вопросом, что им делать со святынями его храма — укрыть ли их где-нибудь или же вывезти. Он ответил на это, чтобы они ничего не трогали: пусть они заботятся о себе, а он уже сам сумеет охранить свою собственность.

Христианская религия обладает всеми признаками наиболее справедливого и полезного вероучения, но ничто не свидетельствует об этом в такой мере, как выраженное в ней с полной определенностью требование повиноваться властям и поддерживать существующий государственный строй. Какой поразительный пример оставила нам премудрость господня, которая,

стремясь спасти род человеческий и осуществить свою славную победу над смертью и над грехом, пожелала свершить это не иначе, как опираясь на наше общественное устройство и поставив достижение и осуществление этой великой и благостной цели в зависимость от слепоты и неправедности наших обычаев и воззрений, допустив, таким образом, чтобы лилась невинная кровь столь многих возлюбленных чад ее и мирясь с потерею длинной чреды годов, пока не созреет этот бесценный плод.

Между подчиняющимся обычаям и законам своей страны и тем, кто норовит подняться над ними и сменить их на новые, — целая пропасть. Первый ссылается в свое оправдание на простосердечие, покорность, а также на пример других; что бы ни довелось ему сделать, это не будет намеренным злом, в худшем случае — лишь несчастьем. Quis est enim quem non moveat clarissimis monumentis testata consignataque antiquitas?[36] [broken link: #na23_36]

Сверх того, как говорит Исократ, недобор ближе к умеренности, чем перебор[37] [broken link: #na23_37]. Второй оправдывать гораздо труднее.

Ибо, кто берется выбирать и вносить изменения, тот присваивает себе право судить и должен

поэтому быть твердо уверен в ошибочности отменяемого им и в полезности им вводимого. Это столь нехитрое соображение и заставило меня засесть у себя в углу; даже во времена моей юности — а она была много дерзостнее — я поставил себе за правило не взваливать на свои плечи непосильной для меня ноши, не брать на себя ответственности за решения столь исключительной важности, не осмеливаться на то, на что я не мог бы осмелиться, рассуждая здраво, даже в наиболее простом из того, чему меня обучали, хотя смелость суждений в последнем случае и не могла бы ничему повредить. Мне кажется в высшей степени несправедливым стремление подчинить отстоявшиеся общественные правила и учреждения непостоянству частного произвола (ибо частный разум обладает лишь частной юрисдикцией) и, тем более, предпринимать против законов божеских то, чего не потерпела бы ни одна власть на свете в отношении законов гражданских, которые, хотя и более доступны уму человеческому, все же являются верховными судьями своих судей; самое большее, на что мы способны, это объяснять и распространять применение уже принятого, но отнюдь не отменять его и заменять новым. Если божественное про-

видение и преступало порою правила, которыми оно по необходимости поставило нам пределы, то вовсе не для того, чтобы освободить и нас от подчинения им. Это мановения его божественной длани, и не подражать им, но проникаться изумлением перед ними, вот что должно нам делать: это случаи исключительные, отмеченные печатью ясно выраженного особого умысла, из разряда чудес, являемых нам как свидетельство его всемогущества и превышающих наши силы и наши возможности; было бы безумием и кощунством тщиться воспроизвести что-либо подобное, — и мы должны не следовать им, но с трепетом созерцать их. Это деяния, доступные божеству, но не нам.

Здесь весьма уместно привести слова Котты: Cum de religione agitur T. Coruncanium, P. Scipionen, P. Scaevolam, pontifices maximos, non Zenonem aut Clearithem aut Chrysippum, sequor.[38] [broken link: #na23_38]

В настоящее время мы охвачены распрей: речь идет о том, чтобы убрать и заменить новыми целую сотню догматов, и каких важных и значительных догматов; а много ли найдется таких, которые могли бы похвастаться, что им досконально известны доводы и основания как той,

так и другой стороны?

Число их окажется столь незначительным — если только это и впрямь можно назвать числом, — что они не могли бы вызвать между нами смятения. Но все остальное скопище — куда несется оно? Под каким знаменем устремляются вперед нападающие? Здесь происходит то же, что с иным слабым и неудачно примененным лекарством; те вредные соки организма, которые ему надлежало бы изгнать, оно на самом деле, столкнувшись с ними, только разгорячило, усилило и раздражило, а затем, сотворив все эти беды, осталось бродить в нашем теле. Оно не смогло освободить нас от болезни из-за своей слабости и, вместе с тем, ослабило нас настолько, что мы не в состоянии очиститься от него; действие его сказывается лишь в том, что нас мучат нескончаемые боли во внутренностях.

Бывает, однако, и так, что судьба, могущество которой всегда превосходит наше предвидение, ставит нас в настолько тяжелое положение, что законам приходится несколько и кое в чем уступить. И если, сопротивляясь возрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держать себя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то

подобное самоограничение в борьбе с тем, кто обладает свободою действий, для кого допустимо решительно все, лишь бы оно шло на пользу его намерениям, кто не знает ни другого закона, ни других побуждений, кроме тех, что сулят ему выгоду, неправильно и опасно: Aditum nocendi perfido praestat fides.[39] [broken link: #na23_39] Но ведь обычный правопорядок в государстве, пребывающем в полном здравии, не предусматривает подобных исключительных случаев: он имеет в виду упорядоченное сообщество, опирающееся на свои основные устои и выполняющее свои обязанности, а также согласие всех соблюдать его и повиноваться ему. Действовать, придерживаясь закона, значит — действовать спокойно, размеренно, сдержанно, а это вовсе не то, что требуется в борьбе с действиями бесчинными и необузданными.

Известно, что и посейчас еще упрекают двух великих государственных деятелей, Октавия и Катона, за то, что первый во время гражданской войны с Суллою, а второй — с Цезарем готовы были скорее подвергнуть свое отечество самым крайним опасностям, чем оказать ему помощь, нарушив законы, и ни за что не соглашались хоть в чем-нибудь поколебать эти последние. Но

в случаях крайней необходимости, когда все заключается в том, чтобы как-нибудь устоять, иной раз и впрямь благоразумнее опустить голову и стерпеть удар, чем биться сверх сил, не желая ни в чем уступить и доставляя возможность насилию подмять все под себя и попрать его[40] [broken link: #na23_40]. И пусть лучше законы домогаются лишь того, что им под силу, когда им не под силу все то, чего они домогаются. Так, например, поступил тот, кто приказал, чтобы они заснули на двадцать четыре часа, и таким образом урезал на этот раз календарь на один день[41] [broken link: #na23_41], и тот, кто превратил июнь во второй май[42] [broken link: #na23_42]. Даже лакедемоняне, которые с таким усердием соблюдали законы своей страны, как-то раз, будучи связаны одним из своих законов, воспрещавшим вторичное избрание начальником флота того же лица, — а между тем обстоятельства настоятельно требовали от них, чтобы эту должность снова занял Лисандр[43] [broken link: #na23_43], — нашли выход в том, что поставили начальником флота Арака, а Лисандра назначили «главным распорядителем» морских сил. Подобной же уловкой воспользовался один их посол, который был направлен ими к афинянам с тем, чтобы добиться

отмены какого-то изданного этими последними распоряжения. Когда Перикл[44] [broken link: #na23_44] в ответ сослался на то, что строжайшим образом запрещается убирать доску, на которой начертан какой-нибудь закон, посол предложил повернуть доску обратною стороной, так как это, во всяком случае, не запрещается. Это то, наконец, за что Плутарх воздает хвалу Филопемену: рожденный повелевать, он умел повелевать не только согласно с законами, но, в случае общественной необходимости, и самими законами[45] [broken link: #na23_45].

## Глава XXIV
## При одних и тех же намерениях воспоследовать может разное

Жак Амио[1] [broken link: #na24_1], главный придворный священник и раздаватель милостыни французского короля, рассказал мне как-то про одного нашего принца[2] [broken link: #na24_2] (кто другой, а этот был наш с головы до пят, даром что по происхождению чужеземец) нижеследующую, делающую ему честь историю. Вскоре после того, как начались наши смуты, во время осады Руана[3] [broken link: #na24_3] королева-мать[4] [broken link: #na24_4] известила этого принца, что на его жизнь готовится покушение, причем в письме королевы точно указывалось, кто должен его прикончить. Это был один не то анжуйский, не то менский дворянин, который постоянно посещал дом принца. Принц никому не сказал об этом предупреждении. Но, прогуливаясь на следующий день на горе святой Екатерины, откуда бомбардировали Руан (ибо в ту пору мы его осаждали) вместе с вышеназванным главным раздавателем милостыни и одним епископом,

он заметил этого дворянина, которого знал в лицо, и велел, чтобы его позвали к нему. Когда тот предстал перед ним, принц, видя, что он побледнел и дрожит, ибо совесть его была нечиста, сказал ему следующее: «Господин такой-то, вы догадываетесь, конечно, чего я хочу от вас; это написано на вашем лице. Вам следует признаться во всем, ибо я настолько осведомлен в вашем деле, что, пытаясь отпереться, вы только ухудшите свое положение. Вы отлично знаете о том-то и том-то (тут он выложил ему решительно все, вплоть до мельчайших подробностей, касающихся заговора). Так не играйте же своей жизнью и расскажите всю правду о своем умысле». Когда бедняга окончательно понял, что он пойман с поличным и что от этого никуда не уйти (ибо их заговор открыл королеве один из его сообщников), ему ничего другого не оставалось, как, сложив умоляюще руки, просить принца о милости и пощаде; и он уже готовился пасть ему в ноги, но тот, удержав его, продолжал таким образом: «Послушайте: обидел ли я вас когда-нибудь? Преследовал ли я кого-нибудь из ваших друзей своей ненавистью? Всего три недели, как я знаком с вами; что же могло побудить вас покуситься на мою жизнь?» Дворянин, запинаясь,

ответил, что никаких особых причин у него не было, но что он руководствовался интересами своей партии; его убедили, будто уничтожение столь могущественного врага их веры, каким бы способом оно ни было выполнено, будет делом, угодным богу. «А я, — продолжал принц, — хочу показать вам, насколько вера, которую я считаю своей, незлобивее той, которой придерживаетесь вы. Ваша подала вам совет убить меня, даже не выслушав, хотя я ничем не обидел вас; моя же требует, чтобы я даровал вам прощение, хотя вы полностью изобличены в том, что готовились злодейски прикончить меня, не имея к этому ни малейших оснований. Ступайте же прочь, убирайтесь и чтоб я вас здесь больше не видел. И если вы обладаете хоть крупицей благоразумия, принимаясь за дело, выбирайте себе в советники более честных людей».

Император Август, находясь в Галлии, получил достоверное сообщение о составленном против него Луцием Цинной заговоре; решив покарать его, он велел вызвать своих ближних друзей на совет, назначив его на следующий день. Ночь накануне совета он провел, однако, чрезвычайно тревожно, мучимый мыслью, что обрекает на смерть молодого человека хорошего

рода, племянника прославленного Помпея. Сетуя на трудность своего положения, он перебирал всевозможные доводы. «Так что же, — говорил он, — неужели нужно сказать себе: пребывай в тревоге и страхе и отпусти своего убийцу разгуливать на свободе? Неужели допустить, чтобы он ушел невредимым, — он, покусившийся на мою жизнь, которую я сберег в стольких гражданских войнах, в стольких сражениях на суше и море? Неужели простить того, кто умыслил не только убить меня — и когда! после того, что я установил мир во всем мире! — но и воспользоваться мною самим, как жертвой, приносимой богам?» Ибо заговорщики предполагали убить его в то время, когда он будет совершать жертвоприношение. Затем, помолчав некоторое время, он снова, и еще более твердым голосом, продолжал, обращаясь к самому себе: «К чему тебе жить, если столь многие хотят твоей смерти? Где же конец твоему мщению и жестокостям? Стоит ли твоя жизнь затрат, необходимых для ее сбережения?» Тогда жена его Ливия, слыша все эти сетования, сказала ему: «А не может ли жена подать тебе добрый совет? Поступи так, как поступают врачи: когда обычные лекарства не помогают, они испытывают те, которые оказывают противоположное

действие. Суровостью ты ничего не добился: за Сальвидиеном последовал Лепид, за Лепидом — Мурена, за Муреной — Цепион, за Цепионом — Эгнаций. Испытай, не помогут ли тебе мягкость и милосердие. Цинна изобличен, но прости его — ведь вредить тебе он больше не сможет, — а это послужит к возвеличению твоей славы». Август был очень доволен, что нашел поддержку своим добрым намерениям. Поблагодарив жену и отменив прежнее приказание о созыве друзей на совет, он велел призвать к себе только Цинну. Удалив всех из покоев и усадив Цинну, он сказал ему следующее: «Прежде всего, Цинна, я хочу, чтобы ты спокойно выслушал меня. Давай условимся, что ты не станешь прерывать мою речь; я предоставлю тебе возможность в свое время ответить. Ты очень хорошо знаешь, Цинна, что я захватил тебя в стане моих врагов, причем ты не то чтобы сделался мне врагом: ты, можно сказать, враг мой от рождения: однако я пощадил тебя; я возвратил тебе все, что было отнято у тебя и чем ты владеешь теперь; наконец, я обеспечил тебе изобилие и богатство в такой степени, что победители завидуют побежденному. Ты попросил у меня должность жреца, и я удовлетворил твою просьбу, отказав в этом другим, чьи отцы сра-

жались бок о бок со мной. И вот, хотя ты кругом предо мною в долгу, ты замыслил убить меня!». Когда Цинна в ответ на это воскликнул, что он и не помышлял о таком злодеянии, Август заметил: «Ты забыл, Цинна, о нашем условии: ведь ты обещал, что не станешь прерывать мою речь. Да, ты замыслил убить меня там-то, в такой-то день, при участии таких-то лиц и таким-то способом».

Видя, что Цинна глубоко потрясен услышанным и молчит, но на этот раз не потому, что таков был уговор между ними, но потому, что его мучит совесть, Август добавил: «Что же толкает тебя на это? Или, быть может, ты сам метишь в императоры? Воистину, плачевны дела в государстве, если только я один стою на твоем пути к императорской власти. Ведь ты не в состоянии даже защитить своих близких и совсем недавно проиграл тяжбу из-за вмешательства какого-то вольноотпущенника. Или, быть может, у тебя не хватает ни возможностей, ни сил ни на что иное, кроме посягательства на жизнь цезаря? Я готов уступить и отойти в сторону, если только кроме меня нет никого, кто препятствует твоим надеждам. Неужели ты думаешь, что Фабий, сторонники Коссов или Сервилиев[5] [broken link: #na24_5] потерпят тебя? Что примирится

с тобою многолюдная толпа знатных, — знатных не только по имени, но делающих своими добродетелями честь своей знатности?» И после многого в этом же роде (ибо он говорил более двух часов) Август сказал ему: «Ну так вот что: я дарую тебе жизнь, Цинна, тебе, изменнику и убийце, как некогда уже даровал ее, когда ты был просто моим врагом; но отныне между нами должна быть дружба. Посмотрим, кто из нас двоих окажется прямодушнее, я ли, подаривший тебе жизнь, или ты, получивший ее из моих рук?» На этом они расстались. Некоторое время спустя Август предоставил Цинне должность консула, упрекнув его, что тот сам не обратился к нему с просьбой об этом. С этой поры Цинна сделался одним из наиболее любимых его приближенных, и Август назначил его единственным наследником своего достояния. После этого случая, приключившегося, когда Августу шел сороковой год, за всю его жизнь не было больше ни одного заговора против него, ни одного покушения на него, и он был, можно сказать, справедливо вознагражден за свою снисходительность. Но совсем иначе случилось с нашим принцем, ибо мягкость нимало не помогла ему, и он попался впоследствии в расставленные ему сети предательства[6]

[broken link: #na24_6]. Вот до чего неверная и ненадежная вещь — человеческое благоразумие; ибо наперекор всем нашим планам, решениям и предосторожностям судьба всегда удерживает в своих руках власть над событиями.

Когда врачам удается добиться благоприятного исхода лечения, мы говорим, что им посчастливилось — как будто их искусство единственное, которому требуется поддержка извне, так как, покоясь на слишком шатком основании, оно не может держаться собственной силою, как будто только оно нуждается в том, чтобы к его действиям приложила руку удача. Я готов думать о врачебном искусстве все, что угодно, и самое худшее и самое лучшее, ибо, благодарение богу, мы не водим с ним никакого знакомства. В этом случае я составляю противоположность всем прочим, так как всегда, при любых обстоятельствах, пренебрегаю его услугами; а когда мне случается заболеть, то, вместо того, чтобы смириться пред ним, я начинаю еще вдобавок ненавидеть и страшиться его. Тем, кто заставляет меня принять лекарство, я отвечаю обычно, чтобы они обождали, по крайней мере, пока у меня восстановятся здоровье и силы, дабы я мог противостоять с большим успехом действию их настоя

и таящимся в нем опасностям. Я предоставляю полную свободу природе, полагая, что она имеет зубы и когти, чтобы отбиваться от совершаемых на нее нападений и поддерживать целое, распада которого она всячески старается избежать. Я опасаюсь, как бы лекарство вместо того чтобы оказать содействие, когда природа вступает в схватку с недугом, не помогло бы ее противнику и не возложило на нее еще больше работы.

Итак, я утверждаю, что не в одной медицине, но и в других, менее шатких искусствах, фортуне принадлежит далеко не последнее место. А порывы вдохновения, захватывающие и уносящие ввысь поэта, — почему бы и их не приписывать его удаче? Ведь он и сам признает, что они превосходят то, чего могли бы достигнуть его силы и дарования; ведь он и сам ощущает, что они пришли к нему помимо него и от него не зависят. То же самое говорят и ораторы, признающие, что они не властны над охватывающим их порывом и необыкновенным волнением, увлекающими их дальше первоначального их намерения. Так же точно и в живописи, ибо и здесь рука живописца создает порою творения, превосходящие и его замыслы и меру его мастерства, творения, восхищающие и изумляющие его самого. Но сколь

велика в этих произведениях доля удачи, видно особенно явственно из изящества и красоты, которые возникли без всякого намерения и даже без ведома художника. Смыслящий в этих вещах читатель нередко находит в чужих сочинениях совершенства совсем иного рода, нежели те, какими хотел наделить их и какие усматривал сам автор, и благодаря этому придает им более глубокий смысл и выразительность.

Что до военного дела, то тут уже каждому ясно, сколь многое зависит в нем от удачи. Если мы обратимся хотя бы к нашим собственным расчетам и соображениям, то и здесь придется признать, что дело не обходится без участия судьбы и удачи, ибо мудрость человеческая в этих вещах мало чего стоит. Чем острее и проницательнее наш ум, тем отчетливее ощущает он свое бессилие и тем меньше доверяет себе. Я держусь того же мнения, что и Сулла, и когда всматриваюсь более пристально в наиболее прославляемые военные деяния, то вижу, что те, кто руководит ими, прибегают, на мой взгляд, к рассуждениям и составлению планов, так сказать, для очистки совести, самое главное и основное в своем предприятии предоставляя случаю, и, полагаясь на его помощь, отваживаются на дей-

ствия, не оправданные здравым смыслом. Их рассуждения перебиваются порою приливами внезапного душевного подъема или дикой ярости, толкающими их на самые необоснованные, по-видимому, решения и придающими им смелость, выходящую за пределы благоразумия. Это-то и побуждало многих великих полководцев древности ссылаться на снизошедшее на них вдохновение или указание свыше в виде пророчеств или знамений, чтобы внушить войскам доверие к их безрассудным решениям.

Вот почему, пребывая в неуверенности и тревоге, порождаемых в нас нашею неспособностью видеть и избирать наиболее правильное решение, поскольку всякое дело сопряжено с трудностями из-за всевозможных случайностей и обстоятельств, на мой взгляд, самое надежное — даже если прочие соображения и не склоняют нас к этому — поступать возможно более честно и справедливо; и когда нас одолевают сомнения, какой путь самый короткий, — предпочитать всегда самый прямой. Так вот и в обоих, приведенных мною выше примерах те, на чью жизнь готовилось покушение, проявляли бы больше душевной красоты и благородства, простив покушавшихся, чем поступив по-иному. И если

первый из них все же кончил плохо, то тут его добрые намерения ни при чем: ведь нам совершенно не из вест но, избежал ли бы он уготованной ему судьбой гибели, если бы поступил по-другому; но мы наверно знаем, что тогда он не приобрел бы той славы, которую ему доставило столь удивительное милосердие.

В исторических сочинениях мы встречаем великое множество властителей, дрожавших за свою жизнь, причем большая часть их предпочитала отвечать на заговоры и покушения местью и казнями; но я вижу из их числа очень немногих, кому это средство пошло на пользу; пример — целый ряд римских императоров. Тот, кому грозит опасность подобного рода, не должен возлагать чрезмерных надежд на свою силу или бдительность. В самом деле, что может быть труднее, чем уберечься от врага, надевшего на себя личину нашего самого преданного друга, или проникнуть в сокровенные мысли и побуждения тех, кто находится постоянно около нас? Тут не помогут отряды иноземных наемников, не поможет тесно обступившая стража: тот, кто с презрением относится к собственной жизни, всегда сумеет лишить жизни другого. К тому же вечная подозрительность, заставляющая госу-

даря сомневаться во всех, не может не быть для него крайне мучительной.

И все же Дион, предупрежденный о том, что Каллипп изыскивает способ убить его, не мог заставить себя удостовериться в этом и заявил, что он скорей готов умереть, чем влачить столь жалкую жизнь, остерегаясь не только врагов, но и друзей[7] [broken link: #na24_7]. Подобные же чувства еще ярче, и притом не на словах, а на деле, проявил Александр, когда, извещенный письмом Пармениона о том, что Филипп, его самый любимый врач, подкуплен Дарием, чтобы отравить его, передал это письмо в руки Филиппу и одновременно выпил приготовленное им питье. Не показал ли он этим, что, если друзья хотят убить его, он ничего не имеет против того, чтобы они это сделали? Никто не совершил столько отважных деяний, как Александр; но я не знаю в его жизни другого случая, когда он проявил бы столько же твердости и столько же нравственной красоты, примечательной во всех отношениях. Те, кто советует своим государям быть недоверчивыми и подозрительными, потому что этого якобы требуют соображения безопасности, советуют им идти навстречу своему позору и гибели. Всякое благородное дело сопряжено с риском. Я

знаю одного государя, наделенного от природы весьма деятельной и мужественной душой, которому каждодневно наносят вред, советуя ему замкнуться в тесном кругу своих приближенных, не помышлять ни о каком примирении со своими былыми врагами, держаться в стороне и, боже упаси, доверяться более сильному, какие бы обещания ему ни давали и какие бы выгоды ни сулили. Я знаю также другого государя, которому неожиданно удалось достигнуть крупных успехов, потому что он последовал советам противоположного рода. Доблесть, которою так жаждут прославиться, может проявиться при случае столь же блистательно, независимо от того, надето ли на нас домашнее платье или боевые доспехи, находитесь ли вы у себя дома или в военном лагере, опущена ли ваша рука или занесена для удара. Мелочное и настороженное благоразумие — смертельный враг великих деяний. Сципион, желая добиться дружбы Сифакса, не поколебался покинуть свои войска в Испании, которая была еще очень неспокойна после недавнего завоевания, и переправиться в Африку на двух небольших кораблях, чтобы на враждебной земле доверить свою жизнь никому не ведомому варварскому царьку, без каких-либо обязательств

с его стороны, без заложников, полагаясь лишь на величие своего сердца, на свою удачу, на то, что сулили его высокие надежды: habita fides ipsam plerumque fidem obligat.[8] [broken link: #na24_8]

Человек, жизнь которого исполнена честолюбивых стремлений и славных деяний, должен держать подозрительность в крепкой узде и ни в чем не давать ей поблажки: боязливость и недоверие вызывают и навлекают опасность. Самый недоверчивый из наших монархов успешно уладил свои дела, главным образом благодаря тому, что по доброй воле доверил свою жизнь и свободу своим давним врагам[9] [broken link: #na24_9], сделав при этом вид, что вполне на них полагается, чтобы и они ответили ему тем же. Цезарь противопоставил своим взбунтовавшимся и взявшимся за оружие легионам лишь властность своего лица и гордость речей; он настолько был проникнут верой в себя и в свою судьбу, что не побоялся доверить ее мятежному и своевольному войску[10] [broken link: #na24_10].

*Stetit aggere fultus*
*Cespitis, interpidus vultu, meruitque timeri*
*Nil metuens.[11] [broken link: #na24_11]*

Несомненно, однако, что эта уверенность

может быть проявлена во всей непосредственности и полноте только теми, кого не страшат ни смерть, ни то худшее, что может за ней воспоследовать. Если же в каком-либо важном случае мы дадим почувствовать, что наша уверенность напускная, а на самом деле нами владеют страх, сомнения и тревога, то наши усилия пропали даром. Прекрасный способ завоевать сердца и расположение других — это предстать перед ними, отдавшись в их руки и доверившись им, но, разумеется, только при том условии, что это делается по собственной воле, а не по необходимости, что вы доверяете им искренно и до конца и уж, конечно, не дадите заметить на своем лице и тени тревоги. В детстве мне пришлось видеть одного дворянина, управлявшего большим городом, в состоянии полной растерянности перед восставшим, разъяренным народом. Желая потушить восстание в самом зародыше, он решил покинуть вполне безопасное место, где находился, и выйти к мятежной толпе; это плохо кончилось для него: он был безжалостно убит[12] [broken link: #na24_12]. Я считаю, однако, что ошибка его заключалась не столько в том, что он вышел к толпе, в чем обыкновенно и упрекают его, сколько в том, что он предстал перед нею с

покорным и заискивающим лицом, что он хотел усыпить ее гнев, скорее идя у нее на поводу, чем подчиняя ее себе, скорее как упрашивающий, чем как призывающий к порядку. Я думаю также, что умеренная суровость и исполненная твердости военная властность, более подобавшие его званию и значительности занимаемой должности, позволили бы ему с большим успехом и уж, во всяком случае, с большей честью и большим достоинством выйти из трудного положения. Менее всего можно надеяться, чтобы толпа — это разъяренное чудовище — обнаружила человечность и кротость; ей можно внушить скорее страх и благоговение. Я упрекнул бы погибшего дворянина и в том, что, приняв решение (на мой взгляд, скорее смелое, чем безрассудное) броситься слабым и беззащитным в это бушующее море обезумевших людей, он, вместо того чтобы испить чашу до дна и выдержать, чего бы это ни стоило, взятую на себя роль, — столкнувшись лицом к лицу с опасностью, струсил, и если вначале весь его облик говорил об угодливости и льстивости, то в дальнейшем их сменило выражение ужаса, а в голосе и глазах можно было прочесть испуг и мольбу о пощаде. Пытаясь спрятаться и забиться в щель, он еще более разжег ярость

толпы и натравил ее на себя.

Однажды обсуждался вопрос об устройстве общего смотра различных отрядов[13] [broken link: #na24_13], а это, как известно, самый удобный случай для сведения личных счетов: тут это можно проделать с большею безопасностью, чем где бы то ни было. Явные и несомненные признаки предвещали, что может не поздоровиться некоторым из военачальников, прямой и непременной обязанностью которых было присутствовать при прохождении войск. Тут можно было услышать множество самых разнообразных советов, как это бывает всегда в любом трудном деле, имеющем большое значение и чреватом последствиями. Я предложил не подавать вида, что на этот счет существуют какие-либо опасения: пусть эти военачальники находятся в самой гуще солдатских рядов, с поднятой головой и открытым лицом; я советовал также ни в чем не отступать от принятого порядка и не ограничивать залпов (к чему, однако, склонялось мнение большинства), но, напротив, убедить офицеров, чтобы они приказали солдатам палить в честь присутствующих, не жалея пороха, бойко и дружно. Это вызвало признательность находившихся на подозрении войсковых частей и обеспечило на будущее столь

благотворное для обеих сторон доверие.

Я нахожу, что способ действий, избранных Юлием Цезарем, является наилучшим из всех возможных. Сначала он пытался добиться ласковым обхождением и милосердием, чтобы его полюбили даже враги. Когда он узнавал о заговорах, то ограничивался простым заявлением, что предупрежден обо всем. Сделав это, он с благородной решимостью дожидался, без всякого страха и тревоги, что принесет ему будущее, вверяя себе охране богов и отдаваясь на волю судьбы. Таково же, бесспорно, было его поведение и в тот день, когда заговорщики умертвили его.

Один чужеземец, приехавший в Сиракузы, принялся болтать на всех перекрестках, что, если бы Дионисий, тамошний тиран, хорошо ему заплатил, он научил бы его безошибочно угадывать и распознавать дурные умыслы против него его подданных. Узнав об этом, Дионисий призвал приезжего к себе и попросил открыть ему этот способ, столь необходимый для сохранения его жизни. На это чужеземец ответил, что никакого особого уменья тут нет: пусть только Дионисий велит выплатить ему один талант серебром, а потом пусть похваляется перед всеми, будто бы приезжий открыл ему великий секрет. Выдумка

эта весьма понравилась Дионисию, который велел отсчитать чужеземцу шестьсот экю. В самом деле, невероятно было бы предположить, что он уплатил такие деньги какому-то иноземцу, не получив от него взамен чрезвычайно полезных сведений. И Дионисий воспользовался возникшими по этому поводу толками, чтобы держать своих врагов в страхе. Вот почему государи поступают весьма разумно, когда предают гласности предостережения, которые они получили относительно происков, направленных против их жизни; они хотят заставить поверить, будто отлично обо всем осведомлены и что нельзя предпринять против них ничего такого, о чем бы они немедленно не узнали. Герцог Афинский[14] [broken link: #na24_14], сделавшись тираном Флоренции, натворил на первых порах великое множество глупостей, но главнейшая среди них заключается в том, что, заблаговременно предупрежденный о заговоре, который составился против него в народе, он велел умертвить оповестившего его об этом Маттео ди Морозо, одного из участников заговора, для того чтобы сохранить в тайне это сообщение и чтобы никто не подумал, будто хоть кто-нибудь в городе может тяготиться его столь прекрасным правлением.

Помнится, я читал когда-то историю одного римлянина, человека весьма почтенного, который, спасаясь от тирании триумвирата, благодаря своей исключительной ловкости и изворотливости сотни раз ускользал от преследователей. Случилось однажды, что отряд всадников, которому было поручено изловить его, проехал совсем рядом с кустом, за которым он притаился, и не заметил его. Тем не менее, подумав о всех тяготах и страданиях, которые ему уже столько времени приходилось переносить, скрываясь от непрерывных, настойчивых и производящихся повсеместно поисков, размыслив также о том, может ли доставить ему удовольствие подобная жизнь в будущем и насколько было бы для него легче сделать один решительный шаг, нежели пребывать и впредь в таком страхе, — он окликнул всадников и открыл свой тайник, добровольно отдавшись им на жестокую казнь, дабы избавить и их и себя от дальнейших хлопот. Подставить шею под удар врага — решение, пожалуй, чересчур смелое: однако же, мне думается, лучше принять его, чем вечно трястись в лихорадочном ожидании бедствия, против которого нет никакого лекарства. И поскольку меры предосторожности, о которых нужно постоянно

заботиться, требуют бесконечных усилий и не могут считаться надежными, лучше вооружиться благородною твердостью и приготовить себя ко всему, что может случиться, находя утешение в том, что оно, быть может, все-таки не случится.

## Глава XXV
## О педантизме

В детстве моем я нередко досадовал на то, что в итальянских комедиях педанты[1] [broken link: #na25_1] — неизменно шуты, да и между нами слово «магистр» пользуется не большим почетом и уважением. Отданный под их надзор и на их попечение, мог ли я безразлично относится к их доброму имени? Я пытался найти объяснение этому в естественной неприязни, существующей между невеждами и людьми, не похожими на остальных и выделяющимися своим умом и знаниями, тем более что они идут совсем иною дорогою, чем все прочие люди. Но меня совершенно ставило в тупик то, что самые тонкие умы больше всего и презирают педантов; например, добрейший наш Дю Белле, сказавший:

> *Но ненавистен мне ученый вид педанта[2] [broken link: #na25_2].*

Так уже повелось издавна; ведь еще Плутарх говорил, что слова «грек» и «ритор» были у римлян бранными и презрительными[3] [broken link: #na25_3]. В дальнейшем, с годами, я понял, что

подобное отношение к педантизму в высшей степени обоснованно и что magis magnos clericos, non sunt magis magnos sapientes[4] [broken link: #na25_4]. Но каким образом может случиться, чтобы душа, обогащенная знанием столь многих вещей, не становилась от этого более отзывчивой и живой, и каким образом ум грубый и пошлый способен вмещать в себя, нисколько при этом не совершенствуясь, рассуждения и мысли самых великих мудрецов, когда-либо живших на свете, — вот чего я не возьму в толк и сейчас.

Чтобы вместить в себя столько чужих мозгов, и, к тому же, таких великих и мощных, необходимо (как выразилась о ком-то одна девица, первая среди наших принцесс), чтобы собственный мозг потеснился, съежился и сократился в объеме.

Я готов утверждать, что подобно тому, как растения чахнут от чрезмерного обилия влаги, а светильники — от обилия масла, так и ум человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загроможденный и подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает. Но в действительности дело обстоит иначе, ибо чем больше заполняется наша душа, тем

вместительнее она становится, и среди тех, кто жил в стародавние времена, можно встретить, напротив, немало людей, прославившихся на общественном поприще, — например, великих полководцев или государственных деятелей, отличавшихся вместе с тем и большою ученостью.

Что до философов, уклонявшихся от всякого участия в общественной жизни, то недаром их порою высмеивала без всякого стеснения современная им комедия, ибо их мнения и повадки действительно казались забавными. Угодно вам сделать их судьями, которые вынесли бы приговор по чьей-либо тяжбе или оценили действия того или иного лица? О, они с великой готовностью возьмутся за это! Прежде всего они займутся такими вопросами, как: существует ли жизнь, существует ли движение? Представляет ли собой человек нечто иное, чем бык? Что значит действовать и страдать? Что это за звери — законы и правосудие? Говорят ли они о правителях за глаза или беседуют с нами лично, — речи их равно дерзки и непочтительны. Слышат ли они похвалы своему князю или царю — для них он не более, чем пастух, праздный, как все пастухи, занятый исключительно тем, что стрижет и доит свое стадо, только еще более грубый. Считаете

ли вы кого-нибудь стоящим выше других по той причине, что ему принадлежат две тысячи арпанов[5] [broken link: #na25_5] земли, — они начинают издеваться над этим, ибо привыкли рассматривать весь мир как свою собственность. Гордитесь ли вы своей знатностью на том основании, что можете насчитать семь богатых предков, — они не ставят вас ни во что, ибо вы не постигли, по их мнению, общей картины природы и забыли, сколько каждый из нас насчитывает в своей родословной предшественников, богатых и бедных, царей и слуг, просвещенных людей и варваров. И будь вы даже в пятидесятом колене потомком Геркулеса, они и в этом случае скажут, что вы суетны, если цените этот подарок судьбы. Вот в этом и заключается причина презрения, которое к ним питает толпа, как к людям, не понимающим самых простых общеизвестных вещей, притом заносчивым и надменным[6] [broken link: #na25_6]. Но это принадлежащее Платону изображение весьма далеко от того, что представляют собою наши педанты. Философы древности вызывали к себе зависть, поскольку они возвышались над общим уровнем, пренебрегали общественной деятельностью, жили отчужденно, на свой особый лад, руководствуясь

несколькими возвышенными и не получившими всеобщего распространения правилами. Наших педантов, напротив, презирают за то, что они ниже общего уровня, неспособны выполнять общественные обязанности и, наконец, придерживаются образа жизни и нравов еще более грубых и низменных, нежели нравы и образ жизни толпы.

> *Odi homines ignava opera, philosopha sententia.[7] [broken link: #na25_7]*

Так вот, что до философов древности, то они, по моему мнению, великие в мудрости, проявляли еще больше величия в своей жизни. Таков был, судя по рассказам, великий сиракузский геометр[8] [broken link: #na25_8], который отвлекся от своих ученых разысканий, дабы применить их отчасти на практике для защиты своей родины, когда он неожиданно пустил в ход диковинные машины, действие которых превосходило все, что в состоянии вообразить человек. Но сам он глубоко презирал свои изобретения, считая, что, занявшись ими, унизил свою науку, для которой они были не более, как ученические упражнения или игрушки. Таким образом, эти мудрецы всякий раз, когда им приходилось подвергать себя

испытанию действием, взлетали на огромную высоту, и всякому делалось ясно, что их сердца и их души, возвысились и обогатились столь поразительным образом благодаря познанию сути вещей. Некоторые, однако, видя, что важнейшие должности в государстве заняты людьми неспособными, отказались от служения обществу; и тот, кто спросил Кратеса[9] [broken link: #na25_9], доколе же следует философствовать, услышал в ответ: «Пока погонщики ослов не перестанут стоять во главе нашего войска». Гераклит отказался от царства, уступив его брату, и ответил эфесцам, порицавшим его за то, что он отдает все свое время играм с детьми перед храмом: «Разве это не лучше, чем вершить дела совместно с вами?» Иные, вознесясь мыслью над мирскими делами и судьбами, сочли не только судейские кресла, но и самые царские троны чем-то низменным и презренным. Отказался же Эмпедокл от престола, который ему предлагали жители Агригента. Фалесу[10] [broken link: #na25_10], который неоднократно обличал скопидомство и жажду обогащения, бросили упрек в том, что он, как лисица в басне, чернит то, до чего не может добраться. И вот однажды ему захотелось забавы ради произвести опыт; унизив свою мудрость до

служения прибыли и наживе, он начал торговлю, которая в течение года доставила ему такие богатства, какие с превеликим трудом удалось скопить за всю жизнь людям, наиболее опытным в делах подобного рода.

Аристотель рассказывает, что некоторые называли Фалеса, Анаксагора[11] [broken link: #na25_11] и прочих, подобных им, мудрецами, но людьми отнюдь не разумными, по той причине, что они проявляли недостаточную заботу в отношении более полезных вещей. Но, не говоря о том, что я не очень-то улавливаю разницу между значениями этих двух слов, сказанное ни в какой мере не могло бы послужить к оправданию наших педантов: зная, с какой низкой и бедственной долей они мирятся, мы скорее имели бы основание применять к ним оба эти слова, сказав, что они и не мудры и не разумны.

Я не разделяю мнения тех людей, о которых говорит Аристотель; мы были бы ближе к истине, я полагаю, если б сказали, что все зло — в их неправильном подходе к науке. Принимая во внимание способ, которым нас обучают, неудивительно, что ни ученики, ни сами учителя не становятся от этого мудрее, хотя и приобретают ученость.

И, в самом деле, заботы и издержки наших

отцов не преследуют другой цели, как только забить нашу голову всевозможными знаниями; что до разума и добродетели, то о них почти и не помышляют. Крикните нашей толпе о ком-нибудь из мимоидущих: «Это ученейший муж!», и о другом: «Это человек, исполненный добродетели!», — и она не преминет обратить свои взоры и свое уважение к первому. А следовало бы, чтобы еще кто-нибудь крикнул: «О, тупые головы! Мы постоянно спрашиваем: знает ли такой-то человек греческий или латынь? Пишет ли он стихами или прозой? Но стал ли он от этого лучше и умнее, — что, конечно, самое главное, — этим мы интересуемся меньше всего. А между тем, надо постараться выяснить — не кто знает больше, а кто знает лучше».

Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными. Иногда птицы, найдя зерно, уносят его в своем клюве и, не попробовав, скармливают птенцам; так и наши педанты, натаскав из книг знаний, держат их на кончиках губ, чтобы тотчас же освободиться от них и пустить их по ветру.

До чего же, однако, я сам могу служить примером той же глупости! Разве не то же делаю и я в большей части этого сочинения? Я продви-

гаюсь вперед, выхватываю из той или другой книги понравившиеся мне изречения не для того, чтобы сохранить их в себе, ибо нет у меня для этого кладовых, но чтобы перенести их все в это хранилище, где, говоря по правде, они не больше принадлежат мне, чем на своих прежних местах. Наша ученость — так, по крайней мере, считаю я — состоит только в том, что мы знаем в это мгновение; наши прошлые знания, а тем более будущие, тут ни при чем.

Но что еще хуже, ученики и птенцы наших педантов не насыщаются их наукой и не усваивают ее; она лишь переходит из рук в руки, служа только для того, чтобы ею кичились, развлекали других и делали из нее предмет занятного разговора, она вроде счетных фишек, непригодных для иного употребления и использования, кроме как в счете или в игре: Apud alios loqui didicerunt, non ipsi secum[12] [broken link: #na25_12]. — Non est loquendum, sed gubernandum.[13] [broken link: #na25_13]

Природа, стремясь показать, что в подвластном ей мире не существует ничего дикого, порождает порой среди мало просвещенных народов такие жемчужины остроумия, которые могут поспорить с наиболее совершенными творениями

искусства. Как хороша и как подходит к предмету моего рассуждения следующая гасконская поговорка: «Bouha prou bouha, mas a remuda lous ditz qu'em» — «Все дуть да дуть, но нужно же и пальцами перебирать» (речь идет об игре на свирели).

Мы умеем сказать с важным видом: «Так говорит Цицерон» или «таково учение Платона о нравственности», или «вот подлинные слова Аристотеля». Ну, а мы-то сами, что мы скажем от своего имени? Каковы наши собственные суждения? Каковы наши поступки? А то ведь это мог бы сказать и попугай. По этому поводу мне вспоминается один римский богач, который, не останавливаясь перед затратами, приложил немало усилий, чтобы собрать у себя в доме сведущих в различных науках людей; он постоянно держал их подле себя, чтобы в случае, если речь зайдет о том или другом предмете, один мог выступить вместо него с каким-нибудь рассуждением, другой — прочесть стих из Гомера, словом, каждый по своей части. Он полагал, что эти знания являются его личною собственностью, раз они находятся в головах принадлежащих ему людей. Совершенно так же поступают и те, ученость которых заключена в их роскошных библиотеках.

Я знаю одного такого человека: когда я спрашиваю его о чем-нибудь, хотя бы хорошо ему известном, он немедленно требует книгу, чтобы отыскать в ней нужный ответ; и он никогда не решится сказать, что у него на заду завелась парша, пока не справится в своем лексиконе, что собственно значит зад и что значит парша.

Мы берем на хранение чужие мысли и знания, только и всего. Нужно, однако, сделать их собственными. Мы уподобляемся человеку, который, нуждаясь в огне, отправился за ним к соседу и, найдя у него прекрасный, яркий огонь, стал греться у чужого очага, забыв о своем намерении разжечь очаг у себя дома. Что толку набить себе брюхо говядиной, если мы не перевариваем ее, если она не преобразуется в ткани нашего тела, если не прибавляет нам веса и силы? Или, быть может, мы думаем, что Лукулл, ознакомившийся с военным делом только по книгам и сделавшийся, несмотря на отсутствие личного опыта, столь видным полководцем, изучал его по нашему способу?

Мы опираемся на чужие руки с такой силой, что, в конце концов, обессиливаем. Хочу ли я побороть страх смерти? Я это делаю за счет Сенеки. Стремлюсь ли утешиться сам или утешить

другого? Я черпаю из Цицерона. А между тем, я мог бы обратиться за этим к себе самому, если бы меня надлежащим образом воспитали. Нет, не люблю я этого весьма относительного богатства, собранного с мира по нитке.

И если можно быть учеными чужою ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью.

> *Μίσω σοφιστην, οστις ούχ αυτω σοφός[14] [broken link: #na25_14]*
>
> *Ex quo Ennius: Nequicquam sapere sapientem, qui ipse sibi prodesse non quiret.[15] [broken link: #na25_15]*
>
> *si cupidus, si*
>
> *Vanus et Euganea quantumvis vilior agna.[16] [broken link: #na25_16]*
>
> *Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est.[17] [broken link: #na25_17]*

Дионисий издевался над теми грамматиками, которые со всей тщательностью изучают бедствия Одиссея, но не замечают своих собственных: над музыкантами, умеющими настроить свои флейты, но не знающими, как внести гармонию в свои нравы; над ораторами, старающимися

проповедовать справедливость, но не соблюдающими ее на деле[18] [broken link: #na25_18].

Если учение не вызывает в нашей душе никаких изменений к лучшему, если наши суждения с его помощью не становятся более здравыми, то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким. Но взгляните: вот он возвращается после пятнадцати или шестнадцати лет занятий; найдется ли еще кто-нибудь, столь же неприспособленный к практической деятельности? От своей латыни и своего греческого он стал надменнее и самоуверенней, чем был прежде, покидая родительский кров, — вот и все его приобретения. Ему полагалось бы прийти с душой наполненной, а он приходит с разбухшею; ей надо было бы возвеличиваться, а она у него только раздулась.

Наши учителя, подобно своим братьям-софистам, о которых это же самое говорит Платон[19] [broken link: #na25_19], среди всех прочих людей — те, которые обещают быть всех полезнее человечеству, на деле же, среди всех прочих людей — единственные, которые не только не совершенствуют отданной им в обработку вещи, как

делают, например, каменщик или плотник, а, напротив, портят ее, и притом требуют, чтобы им заплатили за то, что они привели ее в еще худшее состояние.

Если бы у нас было принято правило, предложенное Протагором[20] [broken link: #na25_20] тем, кто у него обучался, а именно: либо они платят ему, сколько бы он ни назначил, либо под присягою заявляют во всеуслышание в храме, во сколько сами оценивают пользу от занятий с ним, и в соответствии с этим вознаграждают его за труд, то мои учителя не разбогатели бы, получив плату на основании принесенной мною присяги.

Мои земляки перигорцы очень метко называют таких ученых мужей — lettreferits [окниженные], вроде того как по-французски сказали бы lettre-ferus, то есть те, кого наука как бы оглушила, стукнув по черепу. И действительно, чаще всего они кажутся нам пришибленными, лишенными даже самого обыкновенного здравого смысла. Возьмите крестьянина или сапожника: вы видите, что они просто и не мудрствуя лукаво живут помаленьку, говоря только о тех вещах, которые им в точности известны. А наши ученые мужи, стремясь возвыситься над остальными

и щегольнуть своими знаниями, на самом деле крайне поверхностными, все время спотыкаются на своем жизненном пути и попадают впросак. Они умеют красно говорить, но нужно, чтобы кто-то другой применил их слова на деле. Они хорошо знают Галена[21] [broken link: #na25_21], но совершенно не знают больного. Еще не разобравшись, в чем суть вашей тяжбы, они забивают вам голову целою кучей законов. Им известна теория любой вещи на свете; надо только найти того, кто применил бы ее на практике.

Мне довелось как-то наблюдать у себя дома, как один из моих друзей, встретившись с подобным педантом, принялся, развлечения ради, подражать их бессмысленному жаргону, нанизывая без всякой связи ученейшие слова, нагромождая их одно на другое и лишь время от времени вставляя выражения, относящиеся к предмету их диспута. Целый день заставлял он этого дуралея, вообразившего, будто он отвечает на возражения, которые ему делают, вести нескончаемый спор. А ведь это был человек высокоученый, пользовавшийся известностью и занимавший видное положение.

*Vos, o patricius sanguis, quos vivere par est*

*Occipiti*
*caeco, posticae occurrite sannae.[22] [broken link: #na25_22]*

Кто присмотрится внимательнее к этой породе людей, надо сказать, довольно распространенной, тот найдет, подобно мне, что чаще всего они не способны понять ни самих себя, ни других, и что, хотя память их забита всякой всячиной, в голове у них совершенная пустота, — кроме тех случаев, когда природа сама не пожелала устроить их иначе. Таков был, например, Адриан Турнеб[23] [broken link: #na25_23]. Не помышляя ни о чем другом, кроме науки, в которой, по моему мнению, он должен почитаться величайшим гением за последнее тысячелетие, он не имел в себе ничего от педанта, за исключением разве покроя платья и кое-каких привычек, не поощряемых, может быть, при дворе. Впрочем, это мелочи, на которые незачем обращать внимания; я ненавижу наших модников, относящихся нетерпимее к платью с изъяном, чем к такой же душе, и судящих о человеке лишь по тому, насколько ловок его поклон, как он держит себя на людях и какие на нем башмаки. По существу же, Турнеб обладал самой тонкой и чувствительною душой на свете. Я часто умышленно наводил

его на беседу, далекую от предмета его обычных занятий; глаз его был до такой степени зорок, ум так восприимчив, суждения так здравы, что казалось, будто он никогда не занимался ничем иным, кроме военных вопросов и государственных дел. Натуры сильные и одаренные,

> *queis arte benigna*
> *Ex meliore luto finxit praecordia Titan,[24]*
> *[broken link: #na25_24]*

сохраняются во всей своей цельности, как бы ни коверкало их воспитание. Недостаточно, однако, чтобы воспитание только не портило нас; нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему.

Некоторые наши парламенты, принимая на службу чиновников, проверяют лишь наличие у них нужных знаний; но другие присоединяют к этому также испытание их ума, предлагая высказываться по поводу того или иного судебного дела. Последние, на мой взгляд, поступают гораздо правильнее; хотя необходимо и то и другое и надлежит чтобы оба эти качества были в наличии, все же, говоря по правде, знания представляются мне менее ценными, нежели ум. Последний может обойтись без помощи первых, тогда как первые не могут обойтись без ума. Ибо,

как гласит греческий стих

*Ως ουδεν η μαθησις, ην μη νους παρη. —*

к чему наука, если нет разумения?[25] [broken link: #na25_25] Дай бог, чтобы ко благу нашего правосудия эти судебные учреждения сделались столь же разумны и совестливы, как они богаты ученостью. Non vitae, sed scholae discimus.[26] [broken link: #na25_26] Ведь дело не в том, чтобы, так сказать, прицепить к душе знания: они должны укорениться в ней; не в том, чтобы окропить ее ими: нужно, чтобы они пропитали ее насквозь; и если она от этого не изменится и не улучшит своей несовершенной природы, то, безусловно, благоразумнее махнуть на все это рукой. Знания, — обоюдоострое оружие, которое только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться: ut fuerit melius non didicisse.[27] [broken link: #na25_27]

Быть может, именно по этой причине и мы сами, и теология не требуем от женщин особых познаний; и когда Франциску, герцогу Бретонскому, сыну Иоанна V, сообщили, ввиду его предполагаемой женитьбы на Изабелле Шотландской[28] [broken link: #na25_28], что она

воспитана в простоте и не обучена книжной премудрости, он ответил, что ему это как раз по душе и что женщина достаточно образована, если не путает рубашку своего мужа с его курткой.

Поэтому вовсе не так уже удивительно, как об этом кричат повсюду, что науки не очень-то ценились нашими предками и что люди, овладевшие ими, и сейчас еще редкое исключение среди ближайших королевских советников. И если бы всеобщее стремление разбогатеть — чего в наши дни можно достигнуть при помощи юриспруденции, медицины, преподавания да еще теологии, — не поддерживало авторитета науки, мы бы видели ее, без сомнения, в таком же пренебрежении, в каком она находилась когда-то. Как жаль, однако, что она не учит нас ни правильно мыслить, ни правильно действовать! Postquam docti prodierunt, boni desunt.[29] [broken link: #na25_29]

Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред. Причина этого, которую я пытался только что выяснить, заключается, быть может, и в том, что у нас во Франции обучение наукам не преследует, как правило, никакой иной цели, кроме прямой выгоды. Я не считают тех, весьма немногих лиц, которые, будучи

созданы самой природой для занятии скорей благородных, чем прибыльных, всей душой отдаются науке; иные из них, не успев как следует познать вкус науки, оставляют ее ради деятельности, не имеющей ничего общего с книгами. Таким образом, по-настоящему уходят в науку едва ли не одни горемыки, ищущие в ней средства к существованию. Однако в душе этих людей, и от природы и вследствие домашнего воспитания, а также под влиянием дурных примеров наука приносит чаще всего дурные плоды. Ведь она не в состоянии озарить светом душу, которая лишена его, или заставить видеть слепого; ее назначение не в том, чтобы даровать человеку зрение, но в том, чтобы научить его правильно пользоваться зрением, когда он движется, при условии, разумеется, что он располагает здоровыми и способными передвигаться ногами. Наука — великолепное снадобье; но никакое снадобье не бывает столь стойким, чтобы сохраняться, не подвергаясь порче и изменениям, если плох сосуд, в котором его хранят. У иного, казалось бы, и хорошее зрение, да на беду он косит; вот почему он видит добро, но уклоняется от него в сторону, видит науку, но не следует ее указаниям. Основное правило в государстве Платона — это

поручать каждому гражданину только соответствующие его природе обязанности. Природа все может и все делает. Хромые мало пригодны к тому, что требует телесных усилий; так же и те, кто хромает душой, мало пригодны к тому, для чего требуются усилия духа. Душа ублюдочная и низменная не может возвыситься до философии. Встретив дурно обутого человека, мы говорим себе: неудивительно, если это сапожник. Равным образом, как указывает нам опыт, нередко бывает, что врач менее, чем всякий другой, печется о врачевании своих недугов, теолог — о самоусовершенствовании, а ученый — о подлинных знаниях.

В древние времена Аристон из Хиоса был несомненно прав, высказав мысль, что философы оказывают вредное действие на своих слушателей, ибо душа человеческая в большинстве случаев неспособна извлечь пользу из тех поучений, которые, если не сеют блага, то сеют зло: asotos ex Aristippi, acerbos ex Zenonis schola exire.[30] [broken link: #na25_30]

Из рассказа Ксенофонта о замечательном воспитании, которое давалось детям у персов, мы узнаем, что они обучали их добродетели, как другие народы обучают детей наукам. Платон

говорит[31] [broken link: #na25_31], что старшие сыновья их царей воспитывались следующим образом: новорожденного отдавали не на попечении женщин, а тех евнухов, которые по причине своих добродетелей пользовались расположением царской семьи. Они следили за тем, чтобы тело ребенка было красивым и здоровым, и на восьмом году начинали приучать его к верховой езде и охоте. Когда мальчику исполнялось четырнадцать лет, его передавали под надзор четырех воспитателей: самого мудрого, самого справедливого, самого умеренного и самого доблестного в стране. Первый обучал его религиозным верованиям и обрядам, второй — никогда не лгать, третий — властвовать над своими страстями, четвертый — ничего не страшиться.

Весьма примечательно, что в превосходном своде законов Ликурга, можно сказать, исключительном по своему совершенству, так мало говорится об обучении, хотя воспитанию молодежи уделяется весьма много внимания и оно рассматривается как одна из важнейших задач государства, причем законодатель не забывает даже о музах: выходит, будто это благородное юношество, презиравшее всякое другое ярмо, кроме ярма добродетели, нуждалось вместо на-

ших преподавателей различных наук лишь в учителях доблести, благоразумия и справедливости, — образец, которому последовал в своих законах Платон. Обучали же их следующим образом: обычно к ним обращались с вопросом, какого они мнения о тех или иных людях и их поступках, и, если они осуждали или, напротив, хвалили то или иное лицо или действие, их заставляли обосновать свое мнение; этим путем они изощряли свой ум и, вместе с тем, изучали право. Астиаг, у Ксенофонта, требует от Кира отчета обо всем происшедшем на последнем уроке. «У нас в школе, — говорит тот, — мальчик высокого роста, у которого был слишком короткий плащ, отдал его одному из товарищей меньшего роста, отобрав у него более длинный плащ. Учитель велел мне быть судьею в возникшем из-за этого споре, и я решил, что все должно остаться как есть, потому что случившееся наилучшим образом устраивает и того и другого из тяжущихся. На это учитель заметил, что я неправ, ибо ограничился соображениями удобства, между тем как сначала следовало решить, не пострадает ли справедливость, которая требует, чтобы никто не подвергался насильственному лишению собственности». Мальчик добавил, что его высекли,

совсем так, как у нас секут детей в деревнях за то, что забыл, как будет первый аорист глагола τυπτω [я бью]. Моему ректору пришлось бы произнести искуснейшее похвальное слово in genere demonstrativo[*] [broken link: #f2] прежде чем он убедил бы меня в том, что его школа не уступает писанной. Древние хотели сократить путь и, — поскольку никакая наука, даже при надлежащем ее усвоении, не способна научить нас чему-либо большему, чем благоразумию, честности и решительности, — сразу же привить их своим детям, обучая последних не на слух, но путем опыта, направляя и формируя их души не столько наставлениями и словами, сколько примерами и делами, с тем, чтобы эти качества не были восприняты их душой как некое знание, но стали бы ее неотъемлемым свойством и как бы привычкой, чтобы они не ощущались ею как приобретения со стороны, но были бы ее естественной и неотчуждаемой собственностью. Напомню по этому поводу, что, когда Агесилая спросили, чему, по его мнению, следует, обучать детей, он ответил: «Тому, что им предстоит делать, когда они станут взрослыми». Неудивительно, что подобное воспитание приносило столь замечательные плоды.

Говорят, что ораторов, живописцев и музыкантов приходилось искать в других городах Греции, но законодателей, судей и полководцев — только в Лакедемоне. В Афинах учили хорошо говорить, здесь — хорошо действовать; там — стряхивать с себя путы софистических доводов и сопротивляться обману словесных хитросплетений, здесь — стряхивать с себя путы страстей и мужественно сопротивляться смерти и ударам судьбы; там пеклись о словах, здесь — о деле; там непрестанно упражняли язык, здесь — душу. Неудивительно поэтому, что, когда Антипатр потребовал у спартанцев выдачи пятидесяти детей[32] [broken link: #na25_32], желая иметь их заложниками, их ответ был мало похож на тот, какой дали бы на их месте мы; а именно, они заявили, что предпочитают выдать двойное количество взрослых мужчин. Так высоко ставили они воспитание на их родине и до такой степени опасались, как бы их дети не лишились его. Агесилай убеждал Ксенофонта отправить своих детей на воспитание в Спарту не для того, чтобы они изучали там риторику или диалектику, но для того, чтобы усвоили самую прекрасную (как он выразился) из наук — науку повиноваться и повелевать.

Весьма любопытно наблюдать Сократа, ко-

гда он подсмеивается, по своему обыкновению, над Гиппием, который рассказывает ему, что, занимаясь преподаванием, главным образом в небольших городах Сицилии, он заработал немало денег и что, напротив, в Спарте он не добыл ни гроша; там живут совершенно темные люди, не имеющие понятия о геометрии и арифметике, ничего не смыслящие ни в метрике, ни в грамматике и интересующиеся только последовательностью своих царей, возникновением и падением государств и тому подобной чепухой. Выслушав Гиппия[33] [broken link: #na25_33], Сократ постепенно, путем остроумных вопросов, заставил его признать превосходство их общественного устройства, а также, насколько добродетельную и счастливую жизнь ведут спартанцы, предоставив своему собеседнику самому сделать вывод о бесполезности для них преподаваемых им наук.

Многочисленные примеры, которые являют нам и это управляемое на военный лад государство и другие подобные ему, заставляют признать, что занятия науками скорее изнеживают души и способствуют их размягчению, чем укрепляют и закаляют их. Самое мощное государство на свете, какое только известно

нам в настоящее время, — это империя турок, народа, воспитанного в почтении к оружию и в презрении к наукам[34] [broken link: #na25_34]. Я полагаю, что и Рим был гораздо могущественнее, пока там не распространилось образование. И в наши дни самые воинственные народы являются вместе с тем и самыми дикими и невежественными. Доказательством могут служить также скифы, парфяне, Тамерлан[35] [broken link: #na25_35]. Во время нашествия готов на Грецию ее библиотеки не подвергались сожжению только благодаря тому из завоевателей, который счел за благо оставить всю эту утварь, как он выразился, неприятелю, дабы она отвлекла его от военных упражнений и склонила к мирным и оседлым забавам. Когда наш король Карл VIII, не извлекши даже меча из ножен, увидал себя властелином неаполитанского королевства и доброй части Тосканы, его приближенные приписали неожиданную легкость победы только тому, что государи и дворянство Италии прилагали гораздо больше усилий, чтобы стать утонченными и образованными, чем чтобы сделаться сильными и воинственными[36] [broken link: #na25_36].

## Глава XXVI
## О воспитании детей

*Госпоже Диане де Фуа, графине де Гюрсон[1] [broken link: #na26_1]*

Я не видел такого отца, который признал бы, что сын его запаршивел или горбат, хотя бы это и было очевидною истиной. И не потому — если только его не ослепило окончательно отцовское чувство — чтобы он не замечал этих недостатков, но потому, что это его собственный сын. Так и я; ведь я вижу лучше, чем кто-либо другой, что эти строки — не что иное, как измышление человека, отведавшего только вершков науки, да и то лишь в детские годы, и сохранившего в памяти только самое общее и весьма смутное представление об ее облике: капельку того, чуточку этого, а в общем почти ничего, как водится у французов. В самом деле, я знаю, например, о существовании медицины, юриспруденции, четырех частей математики[2] [broken link: #na26_2], а также, весьма приблизительно, в чем именно состоит их предмет. Я знаю еще, что науки, вообще говоря, притязают на служение человечеству. Но углу-

биться в их дебри, грызть себе ногти за изучением Аристотеля, властителя современной науки, или уйти с головою в какую-нибудь из ее отраслей, этого со мною никогда не бывало; и нет такого предмета школьного обучения, начатки которого я в состоянии был бы изложить. Вы не найдете ребенка в средних классах училища, который не был бы вправе сказать, что он образованнее меня, ибо я не мог бы подвергнуть его экзамену даже по первому из данных ему уроков; во всяком случае, это зависело бы от содержания такового. Если бы меня все же принудили к этому, то, не имея иного выбора, я выбрал бы из такого урока, и притом очень неловко, какие-нибудь самые общие места, чтобы на них проверить умственные способности ученика, — испытание, для него столь же неведомое, как его урок для меня.

Я не знаю по-настоящему ни одной основательной книги, если не считать Плутарха и Сенеки, из которых я черпаю, как Данаиды[3] [broken link: #na26_3], непрерывно наполняясь и изливая из себя полученное от них. Кое-что оттуда попало и на эти страницы; во мне же осталось так мало, что, можно сказать, почти ничего. История — та дает мне больше поживы; также и поэзия, к которой я питаю особую склонность. Ибо, как говорил

Клеанф[4] [broken link: #na26_4], подобно тому, как голос, сжатый в узком канале трубы, вырывается из нее более могучим и резким, так, мне кажется, и наша мысль, будучи стеснена различными поэтическими размерами, устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой. Что до моих природных способностей, образчиком которых являются эти строки, то я чувствую, как они изнемогают под бременем этой задачи. Мой ум и мысль бредут ощупью, пошатываясь и спотыкаясь, и даже тогда, когда мне удается достигнуть пределов, дальше которых мне не пойти, я никоим образом не бываю удовлетворен достигнутым мною; я всегда вижу перед собой неизведанные просторы, но вижу смутно и как бы в тумане, которого не в силах рассеять. И когда я принимаясь рассуждать без разбора обо всем, что только приходит мне в голову, не прибегая к сторонней помощи и полагаясь только на свою сообразительность, то, если при этом мне случается — а это бывает не так уж редко — встретить, на мое счастье, у кого-нибудь из хороших писателей те самые мысли, которые я имел намерение развить (так было, например, совсем недавно с рассуждением Плутарха о силе нашего воображения), я начинаю понимать,

насколько, по сравнению с такими людьми, я ничтожен и слаб, тяжеловесен и вял, — и тогда я проникаюсь жалостью и презрением к самому себе. Но в то же время я и поздравляю себя, ибо вижу, что мои мнения имеют честь совпадать иной раз с их мнениями и что они подтверждают, пусть издалека, их правильность. Меня радует также и то, что я сознаю — а это не всякий может сказать про себя, — какая пропасть лежит между ними и мною. И все же, несмотря ни на что, я не задумываюсь предать гласности эти мои измышления, сколь бы слабыми и недостойными они ни были, и притом в том самом виде, в каком я их создал, не ставя на них заплат и не подштопывая пробелов, которые открыло мне это сравнение. Нужно иметь достаточно крепкие ноги, чтобы пытаться идти бок о бок с такими людьми. Пустоголовые писаки нашего века, вставляя в свои ничтожные сочинения чуть ли не целые разделы из древних писателей, дабы таким способом прославить себя, достигают совершенно обратного. Ибо столь резкое различие в яркости делает принадлежащее их перу до такой степени тусклым, вялым и уродливым, что они теряют от этого гораздо больше, чем выигрывают.

Разные авторы поступали по-разному. Философ

Хрисипп, например, вставлял в свои книги не только отрывки, но и целые сочинения других авторов, а в одну из них он включил даже «Медею» Еврипида. Аполлодор[5] [broken link: #na26_5] говорил о нем, что, если изъять из его книг все то, что принадлежит не ему, то, кроме сплошного белого места, там ничего не останется. У Эпикура, напротив, в трехстах оставшихся после него свитках не найдешь ни одной цитаты.

Однажды мне случилось наткнуться на такой заимствованный отрывок. Я со скукою перелистывал французский текст, бескровный, немощный, настолько лишенный я содержания и мысли, что иначе его не назовешь, как французским текстом, пока, наконец, после долгого и скучного блуждания, не добрался до чего-то прекрасного, роскошного, возвышающегося до облаков. Если бы склон, по которому я поднимался, был пологим и подъем, вследствие этого, продолжительным, все было бы в порядке; но это была столь обрывистая, совсем отвесная пропасть, что после первых же слов, прочтенных мною, я почувствовал, что взлетел в совсем иной мир. Оказавшись в нем, я окинул взором низину, из которой сюда поднялся, и она показалась мне такой безрадостной и далекой, что у меня пропа-

ло всякое желание снова спуститься туда. Если бы я приукрасил какое-нибудь из моих рассуждений сокровищами прошлого, это лишь подчеркнуло бы убожество всего остального.

Порицать в другом свои недостатки, думается мне, столь же допустимо, как порицать — а это я делаю весьма часто — чужие в себе. Обличать их следует всегда и везде, не оставляя им никакого пристанища. Я-то хорошо знаю, сколь дерзновенно пытаюсь я всякий раз сравняться с обворованными мной авторами, не без смелой надежды обмануть моих судей: авось они ничего не заметят. Но я достигаю этого скорее благодаря прилежанию, нежели с помощью воображения. А кроме того, я не борюсь с этими испытанными бойцами по-настоящему, не схожусь с ними грудь с грудью, но делаю время от времени лишь небольшие легкие выпады. Я не упорствую в этой схватке; я только соприкасаюсь со своими противниками и скорее делаю вид, что соревнуюсь с ними, чем в действительности делаю это.

И если бы мне удалось оказаться достойным соперником, я показал бы себя честным игроком, ибо вступаю я с ними в борьбу лишь там, где они сильнее всего.

Но делать то, что делают, как я указал выше,

иные, а именно: облачаться до кончиков ногтей в чужие доспехи, выполнять задуманное, как это нетрудно людям, имеющим общую осведомленность, путем использования клочков древней мудрости, понатыканных то здесь, то там, словом, пытаться скрыть и присвоить чужое добро — это, во-первых, бесчестно и низко, ибо, не имея ничего за душой, за счет чего они могли бы творить, эти писаки все же пытаются выдать чужие ценности за свои, а во-вторых, — это величайшая глупость, поскольку они вынуждены довольствоваться добытым с помощью плутовства одобрением невежественной толпы, роняя себя в глазах людей сведущих, которые презрительно морщат нос при виде этой надерганной отовсюду мозаики, тогда как только их похвала и имеет значение. Что до меня, то нет ничего, чего бы я столь же мало желал. Если я порой говорю чужими словами, то лишь для того, чтобы лучше выразить самого себя. Сказанное мною не относится к центонам[6] [broken link: #na26_6], публикуемым в качестве таковых; в молодости я видел между ними несколько составленных с большим искусством, какова, например, одна, выпущенная в свет Капилупи[7] [broken link: #na26_7], не говоря уже о созданных в древности. Авторы их, по боль-

шей части, проявили свое дарование и в других сочинениях; таков, например, Липсий[8] [broken link: #na26_8], автор ученейшей, потребовавшей огромных трудов компиляции, названной им «Политика».

Как бы там ни было, — я хочу сказать: каковы бы ни были допущенные мною нелепости, — я не собираюсь утаивать их, как не собираюсь отказываться и от написанного с меня портрета, где у меня лысина и волосы с проседью, так как живописец изобразил на нем не совершенный образец человеческого лица, а лишь мое собственное лицо. Таковы мои склонности и мои взгляды; и я предлагаю их как то, во что я верю, а не как то, во что должно верить. Я ставлю своею целью показать себя здесь лишь таким, каков я сегодня, ибо завтра, быть может, я стану другим, если узнаю что-нибудь новое, способное произвести во мне перемену. Я не пользуюсь достаточным авторитетом, чтобы каждому моему слову верили, да и не стремлюсь к этому, ибо сознаю, что слишком дурно обучен, чтобы учить других.

Итак, некто, познакомившись с предыдущей главой, сказал мне однажды, будучи у меня, что мне следовало бы несколько подробнее изложить свои мысли о воспитании детей. Сударыня,

если и я впрямь обладаю хоть какими-нибудь познаниями в этой области, я не в состояния дать им лучшее применение, как принеся в дар тому человечку, который грозит в скором будущем совершить свой торжественный выход на свет божий из вас (вы слишком доблестны, чтобы начинать иначе как с мальчика). Ведь, приняв в свое время столь значительное участие в устройстве вашего брака, я имею известное право печься о величии и процветании всего, что от него воспоследует; я не говорю уж о том, что давнее мое пребывание в вашем распоряжении в качестве вашего покорнейшего слуги обязывает меня желать всею душой чести, всяческих благ и успеха всему, что связано с вами. Но, говоря по правде, я ничего в названном выше предмете не разумею, кроме того, пожалуй, что с наибольшими и наиважнейшими трудностями человеческое познание встречается именно в том разделе науки, который толкует о воспитании и обучении в детском возрасте.

Приемы, к которым обращаются в земледелии до посева, хорошо известны, и применение их не составляет труда, как, впрочем, и самый посев; но едва то, что посеяно, начнет оживать, как перед нами встает великое разнообразие этих приемов

и множество трудностей, необходимых, чтобы его взрастить. То же самое и с людьми: невелика хитрость посеять их; но едва они появились на свет, как на вас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог, как же их вырастить и воспитать.

Склонности детей в раннем возрасте проявляются так слабо и так неотчетливо, задатки их так обманчивы и неопределенны, что составить себе на этот счет определенное суждение очень трудно.

Взгляните на Кимона, взгляните на Фемистокла и стольких других! До чего непохожи были они на себя в детстве! В медвежатах или щенках сказываются их природные склонности; люди же, быстро усваивающие привычки, чужие мнения и законы, легко подвержены переменам и к тому же скрывают свой подлинный облик. Трудно поэтому преобразовать то, что вложено в человека самой природой. От этого и происходит, что, вследствие ошибки в выборе правильного пути, зачастую тратят даром труд и время на натаскивание детей в том, что они не в состоянии как следует усвоить. Я считаю, что в этих затруднительных обстоятельствах нужно неизменно стремиться к тому, чтобы направить детей в сто-

рону наилучшего и полезнейшего, не особенно полагаясь на легковесные предзнаменования и догадки, которые мы извлекаем из движений детской души. Даже Платон, на мой взгляд, придавал им в своем «Государстве» чрезмерно большое значение.

Сударыня, наука — великое украшение и весьма полезное орудие, особенно если им владеют лица, столь обласканные судьбой, как вы. Ибо, поистине, в руках людей низких и грубых она не может найти надлежащего применения. Она неизмеримо больше гордится в тех случаях, когда ей доводится предоставлять свои средства для ведения войн или управления народом, для того, чтобы поддерживать дружеское расположение чужеземного государя и его подданных, чем тогда, когда к ней обращаются за доводом в философском споре или чтобы выиграть тяжбу в суде или прописать коробочку пилюль. Итак, сударыня, полагая, что, воспитывая ваших детей, вы не забудете и об этой стороне дела, ибо вы и сами вкусили сладость науки и принадлежите к высокопросвещенному роду (ведь сохранились произведения графов де Фуа[9] [broken link: #na26_9], от которых происходит и господин граф, ваш супруг, и вы сами; да и господин Франсуа де

Кандаль, ваш дядюшка, и ныне еще всякий день трудится над сочинением новых, которые продлят на многие века память об этих дарованиях вашей семьи), я хочу сообщить вам на этот счет мои домыслы, противоречащие общепринятым взглядам; вот и все, чем я в состоянии услужить вам в этом деле.

Обязанности наставника, которого вы дадите вашему сыну, — учитывая, что от его выбора, в конечном счете, зависит, насколько удачным окажется воспитание ребенка, — включают в себя также и многое другое, но я не стану на всем этом останавливаться, так как не сумею тут привнести ничего путного. Что же касается затронутого мною предмета, по которому я беру на себя смелость дать наставнику ряд советов, то и здесь пусть он верит мне ровно настолько, насколько мои соображения покажутся ему убедительными. Ребенка из хорошей семьи обучают наукам, имея в виду воспитать из него не столько ученого, сколько просвещенного человека, не ради заработка (ибо подобная цель является низменной и недостойной милостей и покровительства муз и к тому же предполагает искательство и зависимость от другого) и не для того, чтобы были соблюдены приличия, но для

того, чтобы он чувствовал себя тверже, чтобы обогатил и украсил себя изнутри. Вот почему я хотел бы, чтобы, выбирая ему наставника, вы отнеслись к этому с возможной тщательностью; желательно, чтобы это был человек скорее с ясной, чем с напичканной науками головой, ибо, хотя нужно искать такого, который обладал бы и тем и другим, все же добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености; и нужно также, чтобы, исполняя свои обязанности, он применил новый способ обучения.

Нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая разнообразные знания, в нас вливают их, словно воду в воронку, и наша обязанность состоит лишь в повторении того, что мы слышали. Я хотел бы, чтобы воспитатель вашего сына отказался от этого обычного приема и чтобы с самого начала, сообразуясь с душевными склонностями доверенного ему ребенка, предоставил ему возможность свободно проявлять эти склонности, предлагая ему изведать вкус различных вещей, выбирать между ними и различать их самостоятельно, иногда указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскивать дорогу ему самому. Я не хочу, чтобы наставник один все решал и только один говорил; я хочу, чтобы он слушал также своего

питомца. Сократ, а впоследствии и Аркесилай заставляли сначала говорить учеников, а затем уже говорили сами. Obest plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum, qui docent.[10] [broken link: #na26_10]

Пусть он заставит ребенка пройтись перед ним и таким образом получит возможность судить о его походке, а следовательно, и о том, насколько ему самому нужно умерить себя, чтобы приспособиться к силам ученика. Не соблюдая здесь соразмерности, мы можем испортить все дело; уменье отыскать такое соответствие и разумно его соблюдать — одна из труднейших задач, какие только я знаю. Способность снизойти до влечении ребенка и руководить ими присуща лишь душе возвышенной и сильной. Что до меня, то я тверже и увереннее иду в гору, нежели спускаюсь с горы.

Если учителя, как это обычно у нас делается, просвещают своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности их вовсе не одинаковы, но отличаются и по силе и по своему характеру, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка, которые извлекают

настоящую пользу из подобного преподавания.

Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но смысл и самую суть его и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни. И пусть, объясняя что-либо ученику, он покажет ему это с сотни разных сторон и применит ко множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и в какой мере усвоил это; и в последовательности своих разъяснений пусть он руководствуется примером Платона[11] [broken link: #na26_11]. Если кто изрыгает пищу в том самом виде, в каком проглотил ее, то это свидетельствует о неудоваримости пищи и о несварении желудка. Если желудок не изменил качества и формы того, что ему надлежало сварить, значит он не выполнил своего дела.

Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помочам, что мы уже не в состоянии обходиться без них. Мы утратили нашу свободу и собственную силу. Nunquam tutelae suae fiunt.[12] [broken link: #na26_12] Я знавал в Пизе одного весьма достойного человека, который настолько почитал

Аристотеля, что первейшим его правилом было: «Пробным камнем и основой всякого прочного мнения и всякой истины является их согласие с учением Аристотеля; все, что вне этого, — химеры и суета, ибо Аристотель все решительно предусмотрел и все высказал». Это положение, истолкованное слишком широко и неправильно, подвергало его значительной и весьма долго угрожавшей ему опасности со стороны римской инквизиции.

Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние; пусть принципы Аристотеля не становятся неизменными основами его преподавания, равно как не становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти учения друг от друга; ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или, по крайней мере, останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности.

> *Che*
> *non men che saper dubbiar m'aggrada[13]*
> *[broken link: #na26_13]*

Ибо, если он примет мнения Ксенофонта или Платона, поразмыслив над ними, они перестанут быть их собственностью, но сделаются также и его мнениями. Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит; да ничего и не ищет. Non sumus sub rege; sibi quisque se vindicet.[14] [broken link: #na26_14] Главное — чтобы он знал то, что знает. Нужно, чтобы он проникся духом древних мыслителей, а не заучивал их наставления. И пусть он не страшится забыть, если это угодно ему, откуда он почерпнул эти взгляды, лишь бы он сумел сделать их собственностью. Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. То-то и то-то столь же находится в согласии с мнением Платона, сколько с моим, ибо мы обнаруживаем здесь единомыслие и смотрим на дело одинаково. Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком претворяют в мед; ведь это уже больше не тимьян или майоран. Точно так же и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением.

Его воспитание, его труд, его ученье служат лишь одному: образовать его личность.

Пусть он таит про себя все, что взял у других, и предает гласности только то, что из него создал. Грабители и стяжатели выставляют напоказ выстроенные ими дома и свои приобретения, а не то, что они вытянули из чужих кошельков. Вы не видите подношений, полученных от просителей каким-нибудь членом парламента; вы видите только то, что у него обширные связи и что детей его окружает почет. Никто не подсчитывает своих доходов на людях; каждый ведет им счет про себя. Выгода, извлекаемая нами из наших занятий, заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее.

Только рассудок, говорил Эпихарм[15] [broken link: #na26_15], все видит и все слышит; только он умеет обратить решительно все на пользу себе, только он располагает всем по своему усмотрению, только он действительно деятелен — он господствует над всем и царит; все прочее слепо, глухо, бездушно. Правда, мы заставляем его быть угодливым и трусливым, дабы не предоставить ему свободы действовать хоть в чем-нибудь самостоятельно. Кто же спрашивает ученика о его мнении относительно риторики и грамматики, о

том или ином изречении Цицерона? Их вколачивают в нашу память в совершенно готовом виде, как некие оракулы, в которых буквы и слоги заменяют сущность вещей. Но знать наизусть еще вовсе не значит знать; это — только держать в памяти то, что ей дали на хранение. А тем, что знаешь по-настоящему, ты вправе распорядиться, не оглядываясь на хозяина, не заглядывая в книгу. Ученость чисто книжного происхождения — жалкая ученость! Я считаю, что она украшение, но никак не фундамент; в этом я следую Платону, который говорит, что истинная философия — это твердость, верность и добросовестность; прочие же знания и все, что направлено к другой цели, — не более как румяна.

Хотел бы я поглядеть, как Палюэль или Помпеи — эти превосходные танцовщики нашего времени — стали бы обучать пируэтам, только проделывая их перед нами и не сдвигая нас с места. Точно так же многие наставники хотят образовать нам ум, не будоража его. Можно ли научить управлять конем, владеть копьем, лютней или голосом, не заставляя изо дня в день упражняться в этом, подобно тому как некоторые хотят научить нас здравым рассуждениям и искусной речи, не заставляя упражняться ни в рассужде-

ниях, ни в речах? А между тем, при воспитании в нас этих способностей все, что представляется нашим глазам, стоит назидательной книги; проделка пажа, тупость слуги, застольная беседа — все это новая пища для нашего ума.

В этом отношении особенно полезно общение с другими людьми, а также поездки в чужие края, не для того, разумеется, чтобы, следуя обыкновению нашей французской знати, привозить с собой оттуда разного рода сведения — о том, например, сколько шагов имеет в ширину церковь Санта-Мария Ротонда[16] [broken link: #na26_16], или до чего роскошны панталоны синьоры Ливии, или, подобно иным, насколько лицо Нерона на таком-то древнем изваянии длиннее и шире его же изображения на такой-то медали, но для того, чтобы вывезти оттуда знание духа этих народов и их образа жизни, и для того также, чтобы отточить и отшлифовать свой ум в соприкосновении с умами других. Я бы советовал посылать нашу молодежь за границу в возможно более раннем возрасте и, чтобы одним ударом убить двух зайцев, именно к тем из наших соседей, чья речь наименее близка к нашей, так что, если не приучить к ней свой язык смолоду, то потом уж никак ее не усвоить.

Недаром все считают, что неразумно воспитывать ребенка под крылышком у родителей. Вложенная в последних самой природой любовь внушает даже самым разумным из них чрезмерную мягкость и снисходительность. Они не способны ни наказывать своих детей за проступки, ни допускать, чтобы те узнали тяжелые стороны жизни, подвергаясь некоторым опасностям. Они не могут примириться с тем, что их дети после различных упражнений возвращаются потными и перепачкавшимися, что они пьют, как придется, — то теплое, то слишком холодное; они не могут видеть их верхом на норовистом коне или фехтующими с рапирой в руке с сильным противником, или когда они впервые берутся за аркебузу. Но ведь тут ничего не поделаешь: кто желает, чтобы его сын вырос настоящим мужчиною, тот должен понять, что молодежь от всего этого не уберечь и что тут, хочешь не хочешь, а нередко приходится поступаться предписаниями медицины:

*Vitamque sub divo et trepidis agat*
*In rebus.[17] [broken link: #na26_17]*

Недостаточно закалять душу ребенка; столь же необходимо закалять и его тело. Наша душа

слишком перегружена заботами, если у нее нет должного помощника; на нее тогда возлагается непосильное бремя, так как она несет его за двоих. Я-то хорошо знаю, как тяжело приходится моей душе в компании со столь нежным и чувствительным, как у меня, телом, которое постоянно ищет ее поддержки. И, читая различных авторов, я не раз замечал, что то, что они выдают за величие духа и мужество, в гораздо большей степени свидетельствует о толстой коже и крепких костях. Мне довелось встречать мужчин, женщин и детей, настолько нечувствительных от природы, что удары палкою значили для них меньше, чем для меня щелчок по носу: получив удар, такие люди не только не вскрикнут, но даже и бровью не поведут. Когда атлеты своею выносливостью уподобляются философам, то здесь скорее сказывается крепость их мышц, нежели твердость души. Ибо привычка терпеливо трудиться — это то же, что привычка терпеливо переносить боль: labor callum obducit dolori.[18] [broken link: #na26_18] Нужно закалять свое тело тяжелыми и суровыми упражнениями, чтобы приучить его стойко переносить боль и страдания от вывихов, колик, прижиганий и даже от мук тюремного заключения и пыток. Ибо надо

быть готовым и к этим последним; ведь в иные времена и добрые разделяют порой участь злых. Мы хорошо знаем это по себе! Кто ниспровергает законы, тот грозит самым добропорядочным людям бичом и веревкой. Добавлю еще, что и авторитет воспитателя, который для ученика должен быть непререкаемым, страдает и расшатывается от такого вмешательства родителей. Кроме того, почтительность, которою окружает ребенка челядь, а также его осведомленность о богатстве и величии своего рода являются, на мой взгляд, немалыми помехами в правильном воспитании детей этого возраста.

Что до той школы, которой является общение с другими людьми, то тут я нередко сталкивался с одним обычным пороком: вместо того, чтобы стремиться узнать других, мы хлопочем только о том, как бы выставить напоказ себя, и наши заботы направлены скорее на то, чтобы не дать залежаться своему товару, нежели чтобы приобрести для себя новый. Молчаливость и скромность — качества, в обществе весьма ценные. Ребенка следует приучать к тому, чтобы он был бережлив и воздержан в расходовании знаний, которые он накопит; чтобы он не оспаривал глупостей и вздорных выдумок, высказанных в

его присутствии, ибо весьма невежливо и нелюбезно отвергать то, что нам не по вкусу. Пусть он довольствуется исправлением самого себя и не корит другого за то, что ему самому не по сердцу; пусть он не восстает также против общепринятых обычаев. Licet sapere sine pompa, sine invidia.[19] [broken link: #na26_19] Пусть он избегает придавать себе заносчивый и надменный вид, избегает ребяческого тщеславия, состоящего в желании выделяться среди других и прослыть умнее других, пусть не стремится прослыть человеком, который бранит все и вся и пыжится выдумать что-то новое. Подобно тому как лишь великим поэтам пристало разрешать себе вольности в своем искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычая. Si quid Socrates et Aristippus contra morem et consuetudinem fecerint, idem sibi ne arbitretur licere: magnis enim illi et divinis bonis hanc licentiam assequebantur.[20] [broken link: #na26_20] Следует научить ребенка вступать в беседу или в спор только в том случае, если он найдет, что противник достоин подобной борьбы; его нужно научить также не применять все те возражения, которые могут ему пригодиться, но только сильнейшие из них. Надо приучить его тщательно выбирать

доводы, отдавая предпочтение наиболее точным, а следовательно, и кратким. Но, прежде всего, пусть научат его склоняться перед истиной и складывать перед нею оружие, лишь только он увидит ее, — независимо от того, открылась ли она его противнику или озарила его самого. Ведь ему не придется подыматься на кафедру, чтобы читать предписанное заранее. Ничто не обязывает его защищать мнения, с которыми он не согласен. Он не принадлежит к тем, кто продает за наличные денежки право признаваться в своих грехах и каяться в них. Neque, ut omnia quae praescripta et imperata sint, defendat, necessitate ulla cogitur.[21] [broken link: #na26_21]

Если его наставником будет человек такого же склада, как я, он постарается пробудить в нем желание быть верноподданным, беззаветно преданным и беззаветно храбрым слугой своего государя; но, вместе с тем, он и охладит пыл своего питомца, если тот проникается к государю привязанностью иного рода, нежели та, какой требует от нас общественный долг. Не говоря уже о всевозможных стеснениях, налагаемых на нас этими особыми узами, высказывания человека, нанятого или подкупленного, либо не так искренни и свободны, либо могут быть приняты

за проявление неразумия или неблагодарности. Придворный не волен — да и далек от желания — говорить о своем повелителе иначе, как только хорошее; ведь среди стольких тысяч подданных государь отличил его, дабы осыпать своими милостями и возвысить над остальными. Эта монаршая благосклонность и связанные с ней выгоды убивают в нем, естественно, искренность и ослепляют его. Вот почему мы видим, что язык этих господ отличается, как правило, от языка всех прочих сословий и что слова их не очень-то достойны доверия.

Пусть совесть и добродетели ученика находят отражение в его речи и не знают иного руководителя, кроме разума. Пусть его заставят понять, что признаться в ошибке, допущенной им в своем рассуждении, даже если она никем, кроме него, не замечена, есть свидетельство ума и чистосердечия, к чему он в первую очередь и должен стремиться; что упорствовать в своих заблуждениях и отстаивать их — свойства весьма обыденные, присущие чаще всего наиболее низменным душам, и что умение одуматься и поправить себя, сознаться в своей ошибке в пылу спора — качества редкие, ценные и свойственные философам.

Его следует также наставлять, чтобы, бывая в обществе, он присматривался ко всему и ко всем, ибо я нахожу, что наиболее высокого положения достигают обычно не слишком способные и что судьба осыпает своими дарами отнюдь не самых достойных. Так, например, я не раз наблюдал, как на верхнем конце стола, за разговором о красоте какой-нибудь шпалеры или с вкусе мальвазии, упускали много любопытного из того, что говорилось на противоположном конце. Он должен добраться до нутра всякого, кого бы ни встретил — пастуха, каменщика, прохожего; нужно использовать все и взять от каждого по его возможностям, ибо все, решительно все пригодится, — даже чьи-либо глупость и недостатки содержат в себе нечто поучительное. Оценивая достоинства и свойства каждого, юноша воспитывает в себе влечение к их хорошим чертам и презрение к дурным.

Пусть в его душе пробудят благородную любознательность, пусть он осведомляется обо всем без исключения; пусть осматривает все примечательное, что только ему ни встретится, будь то какое-нибудь здание, фонтан, человек, поле битвы, происходившей в древности, места, по которым проходили Цезарь или Карл Великий:

*Quae tellus sit lenta gelu, quae putris ad aestu,*

*Ventus in Italiam quis bene vela ferat.[22] [broken link: #na26_22]*

Пусть он осведомляется о нравах, о доходах и связях того или иного государя. Знакомиться со всем этим весьма занимательно и знать очень полезно.

В это общение с людьми я включаю, конечно, и притом в первую очередь, и общение с теми, воспоминание о которых живет только в книгах. Обратившись к истории, юноша будет общаться с великими душами лучших веков. Подобное изучение прошлого для иного — праздная трата времени; другому же оно приносит неоценимую пользу. История — единственная наука, которую чтили, по словам Платона[23] [broken link: #na26_23], лакедемоняне. Каких только приобретений не сделает он для себя, читая жизнеописания нашего милого Плутарха! Пусть, однако, наш воспитатель не забывает, что он старается запечатлеть в памяти ученика не столько дату разрушения Карфагена, сколько нравы Ганнибала и Сципиона; не столько то, где умер Марцелл, сколько то, почему, окончив

жизнь так-то и так-то, он принял недостойную его положения смерть[24] [broken link: #na26_24]. Пусть он преподаст юноше не столько знания исторических фактов, сколько уменье судить о них. Это, по-моему, в ряду прочих наук именно та область знания, к которой наши умы подходят с самыми разнообразными мерками. Я вычитал у Тита Ливия сотни таких вещей, которых иной не приметил; Плутарх же — сотни таких, которых не сумел вычитать я, и, при случае, даже такое, чего не имел в виду и сам автор. Для одних — это чисто грамматические занятия, для других — анатомия, философия, открывающая нам доступ в наиболее сокровенные тайники нашей натуры. У Плутарха мы можем найти множество пространнейших рассуждений, достойных самого пристального внимания, ибо, на мой взгляд он в этом великий мастер, но вместе с тем и тысячи таких вещей, которых он касается только слегка. Он всегда лишь указывает пальцем, куда нам идти, если мы того пожелаем; иногда он довольствуется тем, что обронит мимоходом намек, хотя бы дело шло о самом важном и основном. Все эти вещи нужно извлечь из него и выставить напоказ. Так, например, его замечание о том, что жители Азии были рабами одного-единственного монарха, потому

что не умели произнести один-единственный слог «нет», дало, быть может, Ла Боэси тему и повод к написанию «Добровольного рабства»[25] [broken link: #na26_25]. Иной раз он также отмечает какой-нибудь незначительный с виду поступок человека или его брошенное вскользь словечко, — а на деле это стоит целого рассуждения. До чего досадно, что люди выдающегося ума так любят краткость! Слава их от этого, без сомнения, возрастает, но мы остаемся в накладе. Плутарху важнее, чтобы мы восхваляли его за ум, чем за знания; он предпочитает оставить нас алчущими, лишь бы мы не ощущали себя пресыщенными. Ему было отлично известно, что даже тогда, когда речь идет об очень хороших вещах, можно наговорить много лишнего и что Александр бросил вполне справедливый упрек тому из ораторов, который обратился к эфорам с прекрасной, но слишком длинной речью: «О чужестранец, ты говоришь то, что должно, но не так, как должно»[26] [broken link: #na26_26]. У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одежек; у кого скудная мысль, тот приукрашивает ее напыщенными словами.

В общении с людьми ум человеческий достигает изумительной ясности. Ведь мы погружены

в себя, замкнулись в себе; наш кругозор крайне узок, мы не видим дальше своего носа. У Сократа как-то спросили, откуда он родом. Он не ответил: «Из Афин», а сказал: «Из вселенной». Этот мудрец, мысль которого отличалась такой широтой и таким богатством, смотрел на вселенную как на свой родной город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему человечеству, — не так, как мы, замечающие лишь то, что у нас под ногами. Когда у меня в деревне сличается, что виноградники прихватит морозом, наш священник объясняет это тем, что род человеческий прогневил бога, и считает, что по этой же самой причине и каннибалам на другом конце света нечем промочить себе горло. Кто, глядя на наши гражданские войны, не восклицает: весь мир рушится и близится светопреставление, забывая при этом, что бывали еще худшие вещи и что тысячи других государств наслаждаются в это самое время полнейшим благополучием? Я же, памятуя о царящей среди нас распущенности и безнаказанности, склонен удивляться тому, что войны эти протекают еще так мягко и безболезненно. Кого град молотит по голове, тому кажется, будто все полушарие охвачено грозою и бурей. Говорил же один уроженец Савойи, что,

если бы этот дурень, французский король, умел толково вести свои дела, он, пожалуй, годился бы в дворецкие к его герцогу. Ум этого савойца не мог представить себе ничего более величественного, чем его государь. В таком же заблуждении, сами того не сознавая, находимся и мы, а заблуждение это, между тем, влечет за собой большие последствия и приносит огромный вред. Но кто способен представить себе, как на картине, великий облик нашей матери-природы во всем ее царственном великолепии; кто умеет подметить ее бесконечно изменчивые и разнообразные черты; кто ощущает себя, — не только себя, но и целое королевство, — как крошечную, едва приметную крапинку в ее необъятном целом, только тот и способен оценивать вещи в соответствии с их действительными размерами.

Этот огромный мир, многократно увеличиваемый к тому же теми, кто рассматривает его как вид внутри рода, и есть то зеркало, в которое нам нужно смотреться, дабы познать себя до конца. Короче говоря, я хочу, чтобы он был книгой для моего юноши. Познакомившись со столь великим разнообразием характеров, сект, суждений, взглядов, обычаев и законов, мы научаемся здраво судить о собственных, а также приучаем наш

ум понимать его несовершенство и его врожденную немощность; а ведь это наука не из особенно легких. Картина стольких государственных смут и смен в судьбах различных народов учит нас не слишком гордиться собой. Столько имен, столько побед и завоеваний, погребенных в пыли забвения, делают смешною нашу надежду увековечивать в истории свое имя захватом какого-нибудь курятника, ставшего сколько-нибудь известным только после своего падения, или взятием в плен десятка конных вояк. Пышные и горделивые торжества в других государствах, величие и надменность стольких властителей и дворов укрепят наше зрение и помогут смотреть, не щурясь, на блеск нашего собственного двора и властителя, а также преодолеть страх перед смертью и спокойно отойти в иной мир, где нас ожидает столь отменное общество. То же и со всем остальным.

Наша жизнь, говорил Пифагор, напоминает собой большое и многолюдное сборище на олимпийских играх. Одни упражняют там свое тело, чтобы завоевать себе славу на состязаниях, другие тащат туда для продажи товары, чтобы извлечь из этого прибыль. Но есть и такие — и они не из худших, которые не ищут здесь ника-

кой выгоды: они хотят лишь посмотреть, каким образом и зачем делается то-то и то-то, они хотят быть попросту зрителями, наблюдающими жизнь других, чтобы вернее судить о ней и соответственным образом устроить свою.

За примерами могут естественно последовать наиболее полезные философские правила, с которыми надлежит соразмерять человеческие поступки. Пусть наставник расскажет своему питомцу,

> *quid fas optare: quid asper*
> *Utile nummus habet; patriae carisque propinquis*
> *Quantum elargiri deceat; quem te Deus esse*
> *Iussit, et humana qua parte locatus es in re:*
> *Quid*
> *sumus, aut quidnam victuri gignimur;[27] [broken link: #na26_27]*

что означает: знать и не знать; какова цель познания; что такое храбрость, воздержанность и справедливость; в чем различие между жадностью и честолюбием, рабством и подчинением, распущенностью и свободою: какие признаки позволяют распознавать истинное и устойчивое довольство; до каких пределов допустимо стра-

шиться смерти, боли или бесчестия,

> *Et quo quemque modo fugiatque feratque laborem;[28] [broken link: #na26_28]*

какие пружины приводят нас в действие и каким образом в нас возникают столь разнообразные побуждения. Ибо я полагаю, что рассуждениями, долженствующими в первую очередь напитать его ум, должны быть те, которые предназначены внести порядок в его нравы и чувства, научить его познавать самого себя, а также жить и умереть подобающим образом. Переходя к свободным искусствам, мы начнем с того между ними, которое делает нас свободными.

Все они в той или иной мере наставляют нас, как жить и как пользоваться жизнью, — каковой цели, впрочем, служит и все остальное. Остановим, однако, свой выбор на том из этих искусств, которое прямо направлено к ней и которое служит ей непосредственно.

Если бы нам удалось свести потребности нашей жизни к их естественным и законным границам, мы нашли бы, что большая часть обиходных знаний не нужна в обиходе; и что даже в тех науках, которые так или иначе находят себе применение, все же обнаруживается множество никому не

нужных сложностей и подробностей, таких, какие можно было бы отбросить, ограничившись, по совету Сократа, изучением лишь бесспорно полезного[29] [broken link: #na26_29].

> *Sapere aude,*
>
> *Incipe: vivendi recte qui prorogat horam,*
>
> *Rusticus expectat dum defluat amnis; at ille*
>
> *Labitur, et labetur in omne volubilis aevum.[30] [broken link: #na26_30]*

Величайшее недомыслие — учить наших детей тому,

> *Quid moveant Pisces, animosaque signa Leonis,*
>
> *Lotus et Hesperia quid Capricornus aqua,[31] [broken link: #na26_31]*

или науке о звездах и движении восьмой сферы раньше, чем науке об их собственных душевных движениях:

> *Τί Πλειάδεσσι κάμοί*
>
> *Τί δ' αστράσι Βοώτεω[32] [broken link: #na26_32]*

Анаксимен[33] [broken link: #na26_33] писал Пифагору: «Могу ли я увлекаться тайнами звезд,

когда у меня вечно пред глазами смерть или рабство?» (Ибо это было в то время, когда цари Персии готовились идти походом на его родину). Каждый должен сказать себе: «Будучи одержим честолюбием, жадностью, безрассудством, суевериями и чувствуя, что меня раздирает множество других вражеских сил, угрожающих моей жизни, буду ли я задумываться над круговращением небесных сфер?»

После того как юноше разъяснят, что же собственно ему нужно, чтобы сделаться лучше и разумнее, следует ознакомить его с основами логики, физики, геометрии и риторики; и какую бы из этих наук он ни выбрал, — раз его ум к этому времени будет уже развит, — он быстро достигнет в ней успехов. Преподавать ему должно то путем собеседования, то с помощью книг; иной раз наставник просто укажет ему подходящего для этой цели автора, а иной раз он изложит содержание и сущность книги в совершенно разжеванном виде. А если сам воспитатель не настолько сведущ в книгах, чтобы отыскивать в них подходящие для его целей места, то можно дать ему в помощь какого-нибудь ученого человека, который каждый раз будет снабжать его тем, что требуется, а наставник потом уже сам

укажет и предложит их своему питомцу. Можно ли сомневаться, что подобное обучение много приятнее и естественнее, чем преподавание по способу Газы?[34] [broken link: #na26_34] Там — докучные и трудные правила, слова, пустые и как бы бесплотные; ничто не влечет вас к себе, ничто не будит ума. Здесь же наша душа не останется без прибытка, здесь найдется, чем и где поживиться. Плоды здесь несравненно более крупные и созревают они быстрее.

Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ничего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой ценности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого — бесконечные словопрения, в которых она погрязла. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступною для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающими страх. Кто напялил на нее эту обманчивую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, бодрого, радостного, чуть было не сказал — шаловливого. Философия призывает только к праздности и веселью. Если перед вами нечто печальное и унылое — зна-

чит философии тут нет и в помине. Деметрий Грамматик, наткнувшись в дельфийском храме на кучку сидевших вместе философов, сказал им: «Или я заблуждаюсь, или, — судя по вашему столь мирному и веселому настроению, — вы беседуете о пустяках». На что один из них — это был Гераклеон из Мегары — ответил: «Морщить лоб, беседуя о науке, — это удел тех, кто предается спорам, требуется ли в будущем времени глагола βάλλω две ламбды или одна или как образована сравнительная степень χειρον и βέλτιον и превосходная χειριστον и βέλτιστον[35] [broken link: #na26_35]. Что же касается философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, кто участвует в них, и отнюдь не заставляют хмурить лоб и предаваться печали». 178

> *Deprendas animi tormenta in aegro*
>
> *Corpore, deprendas et gaudia; sumit utrumque*
>
> *Inde habitum facies.[36] [broken link: #na26_36]*

Душа, ставшая вместилищем философии, непременно наполнит здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать вовне; точно так же она изменит по сво-

ему образу и подобию нашу внешность, придав ей исполненную достоинства гордость, веселость и живость, выражение удовлетворенности и добродушия. Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. Это baroco и baralipton[37] [broken link: #na26_37] марают и прокапчивают своих почитателей, а вовсе не она; впрочем, она известна им лишь понаслышке. В самом деле, это она успокаивает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод не при помощи каких-то воображаемых эпициклов[38] [broken link: #na26_38], но опираясь на вполне осязательные, естественные доводы разума. Ее конечная цель — добродетель, которая пребывает вовсе не где-то, как утверждают схоластики, на вершине крутой, отвесной и неприступной горы. Те, кому доводилось приблизиться к добродетели, утверждают, напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем плоскогорье, откуда отчетливо видит все находящееся под нею; достигнуть ее может, однако, лишь тот, кому известно место ее обитания; к ней ведут тенистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, по пологому, удобному

для подъема и гладкому, как своды небесные, склону. Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшею добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но вместе с тем, и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имеющей своим путеводителем природу, а спутниками — счастье и наслаждение, то, по своей слабости, они придумали этот глупый и ни на что не похожий образ: унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель, и водрузили ее на уединенной скале, среди терниев, превратив ее в пугало, устрашающее род человеческий.

Мой воспитатель, сознавая свой долг, состоящий в том, чтобы вселить в воспитаннике желание не только уважать, но в равной, а то и в большей мере и любить добродетель, разъяснит ему, что поэты, подобно всем остальным, подвержены тем же слабостям; он также растолкует ему, что даже боги, и те прилагали гораздо больше усилий, чтобы проникнуть в покои Венеры, нежели в покои Пал лады. И когда его ученик начнет испытывать свойственное молодым людям томление, он представит ему Брадаман-

ту и рядом с нею Анджелику[39] [broken link: #na26_39] как возможные предметы его обожания: первую во всей ее непосредственной, не ведающей о себе красоте, — деятельную, благородную, мужественную, но никоим образом не мужеподобную, и вторую, исполненную женственной прелести, — изнеженную, хрупкую, изощренную, жеманную; одну — одетую юношей, с головой, увенчанной сверкающим шишаком шлема, другую — в девичьем наряде, с повязкой, изукрашенной жемчугом, в волосах. И остановив свой выбор совсем не на той, которой отдал бы предпочтение этот женоподобный фригийский пастух[40] [broken link: #na26_40], юноша докажет своему воспитателю, что его любовь достойна мужчины. Пусть его воспитатель преподаст ему и такой урок: ценность и возвышенность истинной добродетели определяются легкостью, пользой и удовольствием ее соблюдения; бремя ее настолько ничтожно, что нести его могут как взрослые, так и дети, как те, кто прост, так и те, кто хитер. Упорядоченности, не силы, вот чего она от нас требует. И Сократ, первейший ее любимец, сознательно забыл о своей силе, чтобы радостно и бесхитростно отдаться усовершенствованию в ней. Это — мать-кормилица человеческих

наслаждений. Вводя их в законные рамки, она придает им чистоту и устойчивость; умеряя их, она сохраняет их свежесть и привлекательность. Отметая те, которые она считает недостойными, она обостряет в нас влечение к дозволенным ею; таких — великое множество, ибо она доставляет нам с материнской щедростью до полного насыщения, а то и пресыщения, все то, что согласно с требованиями природы. Ведь не станем же мы утверждать, что известные ограничения, ограждающие любителя выпить от пьянства, обжору от несварения желудка и распутника от лысины во всю голову, — враги человеческих наслаждений! Если обычная житейская удача не достается на долю добродетели, эта последняя отворачивается от нее, обходится без нее и выковывает себе свою собственную фортуну, менее шаткую и изменчивую. Она может быть богатой, могущественной и ученой и возлежать на раздушенном ложе. Она любит жизнь, любит красоту, славу, здоровье. Но главная и основная ее задача — научить пользоваться этими благами, соблюдая известную меру, а также сохранять твердость, теряя их, — задача более благородная, нежели тягостная, ибо без этого течение нашей жизни искажается, мутнеет, уродуется; тут нас подстерегают под-

водные камни, пучины и всякие чудовища. Если же ученик проявит не отвечающие нашим чаяньям склонности, если он предпочтет побасенки занимательному рассказу о путешествии или назидательным речам, которые мог бы услышать; если, заслышав барабанный бой, разжигающий воинственный пыл его юных товарищей, он обратит свой слух к другому барабану, сзывающему на представление ярмарочных плясунов; если он не сочтет более сладостным и привлекательным возвращаться в пыли и грязи, но с победою с поля сражения, чем с призом после состязания в мяч или танцев, то я не вижу никаких иных средств, кроме следующих: пусть воспитатель — и чем раньше, тем лучше, причем, разумеется, без свидетелей, — удавит его или отошлет в какой-нибудь торговый город и отдаст в ученики пекарю, будь он даже герцогским сыном. Ибо, согласно наставлению Платона, «детям нужно определять место в жизни не в зависимости от способностей их отца, но от способностей их души».

Поскольку философия учит жизни и детский возраст совершенно так же нуждается в подобных уроках, как и все прочие возрасты, — почему бы не приобщить к ней и детей?

*Udum et molle lutum est; nunc nunc properandus et acri*

*Fingendus sine fine rota.[41] [broken link: #na26_41]*

А между тем нас учат жить, когда жизнь уже прошла. Сотни школяров заражаются сифилисом прежде, чем дойдут до того урока из Аристотеля, который посвящен воздержанию. Цицерон говорил, что, проживи он даже двойную жизнь, все равно у него не нашлось бы досуга для изучения лирических поэтов. Что до меня, то я смотрю на них с еще большим презрением — это совершенно бесполезные болтуны. Нашему юноше приходится еще более торопиться; ведь учению могут быть отданы лишь первые пятнадцать-шестнадцать лет его жизни, а остальное предназначено деятельности. Используем же столь краткий срок, как следует; научим его только необходимому. Не нужно излишеств: откиньте все эти колючие хитросплетения диалектики, от которых наша жизнь не становится лучше; остановитесь на простейших положениях философии и сумейте надлежащим образом отобрать и истолковать их; ведь постигнуть их много легче, чем новеллу Боккаччо, и дитя, едва выйдя из рук кормилицы,

готово к их восприятию в большей мере, чем к искусству чтения и письма. У философии есть свои рассуждения как для тех, кто вступает в жизнь, так и для дряхлых старцев.

Я согласен с Плутархом, что Аристотель занимался со своим великим учеником не столько премудростью составления силлогизмов и основами геометрии, сколько стремился внушить ему добрые правила по части того, что относится к доблести, смелости, великодушию, воздержанности и не ведающей страха уверенности в себе; с таким снаряжением он и отправил его, совсем еще мальчика, завоевывать мир, располагая всего лишь тридцатью тысячами пехотинцев, четырьмя тысячами всадников и сорока двумя тысячами экю. Что до прочих наук и искусств, то, как говорит Плутарх, хотя Александр и относился к ним с большим почтением и восхвалял их пользу и великое достоинство, все же, несмотря на удовольствие, которое они ему доставляли, не легко было побудить его заниматься ими с охотою.

> *Petite hinc, iuvenesque senesque,*
>
> *Finem animo certum, miserisque viatica canis.[42] [broken link: #na26_42]*

А вот что говорит Эпикур в начале своего письма к Меникею: «Ни самый юный не бежит философии, ни самый старый не устает от нее»[43] [broken link: #na26_43]. Кто поступает иначе, тот как бы показывает этим, что пора счастливой жизни для него либо еще не настала, либо уже прошла.

Поэтому я не хочу, чтобы нашего мальчика держали в неволе. Я не хочу оставлять его в жертву мрачному настроению какого-нибудь жестокого учителя. Я не хочу уродовать его душу, устраивая ему сущий ад и принуждая, как это в обычае у иных, трудиться каждый день по четырнадцати или пятнадцати часов, словно он какой-нибудь грузчик. Если же он, склонный к уединению и меланхолии с чрезмерным усердием, которое в нем воспитали, будет корпеть над изучением книг, то и в этом, по-моему, мало хорошего: это сделает его неспособным к общению с другими людьми и оттолкнет от более полезных занятий. И сколько же на своем веку перевидал я таких, которые, можно сказать, утратили человеческий облик из-за безрассудной страсти к науке! Карнеад[44] [broken link: #na26_44] до такой степени ошалел от нее, что не мог найти времени, чтобы остричь себе волосы и ногти. Я не хочу, чтобы его

благородный нрав огрубел в соприкосновении с дикостью и варварством. Французское благоразумие издавна вошло в поговорку, в качестве такого, однако, которое, хотя и сказывается весьма рано, но зато и держится недолго. И впрямь, трудно сыскать что-нибудь столь же прелестное, как маленькие дети во Франции; но, как правило, они обманывают наши надежды и, став взрослым, не обнаруживают в себе ничего выдающегося. Я слышал от людей рассудительных, что коллежи, куда их посылали учиться, — их у нас теперь великое множество, — и являются причиной такого их отупения.

Что касается нашего воспитанника, то для него все часы хороши и всякое место пригодно для занятий, будет ли то классная комната, сад, стол или постель, одиночество или компания, утро иль вечер, ибо философия, которая, образуя суждения и нравы людей, является главным предметом его изучения, имеет привилегию примешиваться решительно ко всему. Исократ-оратор, когда его попросили однажды во время пира произнести речь о своем искусстве, ответил — и всякий признает, что он был прав, — такими словами: «Для того, что я умею, сейчас не время; сейчас время для того, чего я не умею». Ибо, и в самом

деле, произносить речи или пускаться в словесные ухищрения перед обществом, собравшимся, чтобы повеселиться и попировать, значило бы соединить вместе вещи несоединимые. То же самое можно было бы сказать и о всех прочих науках. Но когда речь заходит о философии и именно о том ее разделе, где рассматривается человек, а также в чем его долг и обязанности, то, согласно мнению всех мудрецов, дело здесь обстоит совсем по-иному, и от нее не подобает отказываться ни на пиру, ни на игрищах — так сладостна беседа о ней. И мы видим, как, явившись по приглашению Платона на его пир[45] [broken link: #na26_45], она изящно и сообразно месту и времени развлекает присутствующих, хотя и пускается в самые назидательные и возвышенные рассуждения:

> *Aeque pauperibus prodest, locupletibus aeque;*
>
> *Et neglecta, aeque pueris sensibusque nocebit.[46] [broken link: #na26_46]*

Таким образом, наш воспитанник, без сомнения, будет прибывать в праздности меньше других. Но подобно тому, как шаги, которые мы делаем, прогуливаясь по галерее, будь их хоть в три раза больше, не утомляют нас в та-

кой мере, как те, что затрачены на преодоление какой-нибудь определенной дороги, так и урок, проходя как бы случайно, без обязательного места и времени, в сочетании со всеми другими нашими действиями, будет протекать совсем незаметно. Даже игры и упражнения — и они станут неотъемлемой и довольно значительной частью обучения: я имею в виду бег, борьбу, музыку, танцы, охоту, верховую езду, фехтование. Я хочу, чтобы благовоспитанность, светскость, внешность ученика совершенствовались вместе с его душою. Ведь воспитывают не одну душу и не одно тело, но всего человека; нельзя расчленять его надвое. И, как говорит Платон, нельзя воспитывать то и другое порознь; напротив, нужно управлять ими, не делая между ними различия, так, как если бы это была пара впряженных в одно дышло коней[47] [broken link: #na26_47]. И, слушая Платона, не кажется ли нам, что он уделяет и больше времени и больше старания телесным упражнениям, считая, что душа упражняется вместе с телом, а не наоборот?

Вообще же обучение должно основываться на соединении строгости с мягкостью, а не так, как это делается обычно, когда, вместо того, чтобы приохотить детей к науке, им преподносят ее

как сплошной ужас и жестокость. Откажитесь от насилия и принуждения; нет ничего, по моему мнению, что так бы уродовало и извращало натуру с хорошими задатками. Если вы хотите, чтобы ребенок боялся стыда и наказания, не приучайте его к этим вещам. Приучайте его к поту и холоду, к ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые ему надлежит презирать; отвадьте его от изнеженности и разборчивости; пусть он относится с безразличием к тому, во что он одет, на какой постели спит, что ест и что пьет: пусть он привыкнет решительно ко всему. Пусть не будет он маменькиным сынком, похожим на изнеженную девицу, но пусть будет сильным и крепким юношей. В юности, в зрелые годы, в старости — я всегда рассуждал и смотрел на дело именно так. И, наряду со многими другими вещами, порядки, заведенные в большинстве наших коллежей, никогда не нравились мне. Быть может, вред, приносимый ими, был бы значительно меньше, будь воспитатели хоть немножечко снисходительней. Но ведь это настоящие тюрьмы для заключенной в них молодежи. Там развивают в ней развращенность, наказывая за нее прежде, чем она действительно проявилась. Зайдите в такой коллеж во время занятий:

вы не услышите ничего, кроме криков — криков школьников, подвергаемых порке, и криков учителей, ошалевших от гнева. Можно ли таким способом пробудить в детях охоту к занятиям, можно ли с такой страшной рожей, с плеткой в руках руководить этими пугливыми и нежными душами? Ложный и губительный способ! Добавим правильное замечание, сделанное на этот счет Квинтилианом: столь безграничная власть учителя чревата опаснейшими последствиями, особенно если учесть характер принятых у нас наказаний[48] [broken link: #na26_48]. Настолько пристойнее было бы усыпать полы классных комнат цветами и листьями вместо окровавленных ивовых прутьев! Я велел бы там расписать стены изображениями Радости, Веселья, Флоры, Граций, как это сделал у себя в школе философ Спевсипп[49] [broken link: #na26_49]. Где для детей польза, там же должно быть для них и удовольствие. Когда кормишь ребенка, полезные для него кушанья надо подсахаривать, а к вредным примешивать желчь.

Поразительно, сколько внимания уделяет в своих «Законах» Платон увеселениям и развлечениям молодежи в своем государстве; как подробно говорит он об их состязаниях в беге,

играх, песнях, прыжках и плясках, руководство которыми и покровительство коим, по его словам, в древности было вверено самим божествам — Аполлону, музам, Минерве. Мы найдем у него тысячу предписаний касательно его гимнасий; книжные знаки его, однако, весьма мало интересуют, и он, мне кажется, советует заниматься поэзией только потому, что она связана с музыкой.

Нужно избегать всего странного и необычного в наших нравах и поведении, поскольку это мешает нам общаться с людьми и поскольку это вообще — уродство. Кто не удивился бы необычным свойствам кравчего Александра, Демофона, который обливался потом в тени и трясся от озноба на солнце? Мне случалось видеть людей, которым был страшнее запах яблок, чем выстрелы из аркебуз, и таких, которые до смерти боялись мышей, и таких, которых начинало мутить, когда они видели сливки, и таких, которые не могли смотреть, когда при них взбивали перину, подобно тому как Германии[50] [broken link: #na26_50] не выносил ни вида петухов, ни их пения. Возможно, что это происходит от какого-нибудь тайного свойства натуры: но, по-моему, все это можно побороть, если вовремя взяться за дело. Я был воспитан так,

что мой вкус, хоть и не без труда, приспособился ко всему, что подается к столу, за исключением пива. Пока тело еще гибко, его нужно упражнять всеми способами и на все лады. И если воля и вкусы нашего юноши окажутся податливыми, нужно смело приучать его к образу жизни любого круга людей и любого народа, даже, при случае, к беспутству и излишествам, если это окажется нужным. Пусть он приспосабливается к обычаям своего времени. Он должен уметь делать все без исключения, но любить делать должен только хорошее. Сами философы не одобряют поведения Каллисфена, утратившего благосклонность великого Александра из-за того, что он отказался пить так же много, как тот. Пусть юноша хохочет, пусть шалит, пусть беспутничает вместе со своим государем. Я хотел бы, чтобы даже в разгуле он превосходил выносливостью и крепостью своих сотоварищей. И пусть он никому не причиняет вреда не по недостатку возможностей и умения, а лишь по недостатку злой воли. Multum interest utrum peccare aliquis nolit aut nesciat.[51] [broken link: #na26_51] Как-то раз, находясь в веселой компании, я обратился к одному вельможе, который, пребывая во Франции, никогда не отличался беспорядочным образом жизни, с вопросом, сколько

раз в жизни ему пришлось напиться, находясь на королевской службе в Германии. Задавая этот вопрос, я имел в виду выразить ему свое уважение, и он так этот и принял. Он ответил, что это случилось с ним трижды, и тут же рассказал, при каких обстоятельствах это произошло. Я знаю лиц, которые, не обладая способностями подобного рода, попадали в весьма тяжелое положение, ведя дела с этой нацией. Не раз восхищался я удивительной натурой Алкивиада[52] [broken link: #na26_52], который с такой легкостью умел приспособляться, без всякого ущерба для своего здоровья, к самым различным условиям, то превосходя роскошью и великолепием самих персов, то воздержанностью и строгостью нравов — лакедемонян, то поражая всех своих целомудрием, когда был в Спарте, то сладострастием, когда находился в Ионии.

*Omnis Aristippum decuit color, et status, et res.[53] [broken link: #na26_53]*

Таким хотел бы я воспитывать и моего питомца,

*quem duplici panno patientia velat*
*Mirabor, vitae via si conversa decebit,*
*Personamque feret non inconcinnus*

*utramque.[54] [broken link: #na26_54]*

Вот мои наставления. И больше пользы извлечет из них не тот, кто их заучит, а тот, кто применит их на деле. Если вы это видите, вы это и слышите; если вы это слышите, вы это и видите.

Да не допустит бог, говорит кто-то у Платона, чтобы занятия философией состояли лишь в усвоении разнообразных знаний и погружении в науку! Hanc amplissimam omnium artium bene vivendi disciplinam vita magis quam litteris persecuti sunt.[55] [broken link: #na26_55]

Леон, властитель Флиунта, спросил как-то Гераклида Понтийского, какой наукой или каким искусством он занимается. «Я не знаю ни наук, ни искусства, — ответил тот, — я — философ»[56] [broken link: #na26_56].

Диогена упрекали в том, что, будучи невежественным в науках, он решается браться за философию. «Я берусь за нее, — сказал он в ответ, — с тем большими основаниями». Гегесий[57] [broken link: #na26_57] попросил его прочитать ему какую-то книгу. «Ты смешишь меня! — отвечал Диоген. — Ведь ты предпочитаешь настоящие фиги нарисованным, — так почему же тебе больше нравятся не действительные деяния, а рассказы о них?»

Пусть наш юноша научится не столько отвечать уроки, сколько претворять их в жизнь. Пусть он повторяет их в своих действиях. И тогда будет видно, лежит ли благоразумие в основе его начинаний, проявляет ли он справедливость и доброту в своем поведении, ум и изящество в речах, стойкость в болезнях, скромность в забавах, умеренность в наслаждениях, неприхотливость в питье и пище, — будет ли то мясо или же рыба, вино или вода, — умеет ли соблюдать порядок в своих домашних делах: Qui disciplinam suam, non ostentationem scientiae, sed legem vitae putet, quique obtemperet ipse sibi, et decretis pareat.[58] [broken link: #na26_58]

Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.

Зевксидам ответил человеку, спросившему его, почему лакедемоняне не излагают письменно своих предписаний относительно доблести и не дают их в таком виде читать молодежи: «Потому, что они хотят приучить ее к делам, а не к словам»[59] [broken link: #na26_59]. Сравните их юношу пятнадцати или шестнадцати лет с одним из наших латинистов-школьников, который затратил столько же времени только на то, чтобы научиться как следует говорить. Свет

слишком болтлив; я не встречал еще человека, который говорил бы не больше, а меньше, чем полагается; во всяком случае, половина нашей жизни уходит на разговоры. Четыре или пять лет нас учат правильно понимать слова и строить из них фразы; еще столько же — объединять фразы в небольшие рассуждения из четырех или даже пяти частей; и последние пять, если они не больше — уменью ловко сочетать и переплетать эти рассуждения между собой. Оставим это занятие тем, кто сделал его свои ремеслом.

Направляясь как-то в Орлеан, я встретил на равнине около Клери двух школьных учителей, шедших в Бордо на расстоянии примерно пятидесяти шагов один позади другого. Еще дальше, за ними, я увидел военный отряд во главе с офицером, которым оказался не кто иной, как граф де Ларошфуко, ныне покойный. Один из сопровождавших меня людей спросил первого из учителей, кто этот дворянин. Тот, не заметив шедших подальше солдат и думая, что с ним говорят о его товарище, презабавно ответил: «Он вовсе не дворянин; это — грамматик, а что до меня, то я — логик». Но поскольку мы стараемся воспитать не логика или грамматика, а дворянина, предоставим им располагать свои временем

столь нелепо, как им будет угодно; а нас ждут другие дела. Итак, лишь бы наш питомец научился как следует делам; слова же придут сами собой, — а если не захотят прийти, то он притащит их силой. Мне приходилось слышать, как некоторые уверяют, будто их голова полна всяких прекрасных мыслей, да только выразить их они не умеют: во всем, мол, виновато отсутствие у них красноречия. Но это — пустые отговорки! На мой взгляд, дело обстоит так. В головах у этих людей носятся какие-то бесформенные образы и обрывки мыслей, которые они не в состоянии привести в порядок и уяснить себе, а стало быть, и передать другим: они еще не научились понимать самих себя. И хотя они лепечут что-то как будто бы уже готовое родиться, вы ясно видите, что это скорей похоже на зачатие, чем на роды, и что они только подбираются издали к смутно мелькающей перед ними мысли. Я полагаю, — и в этом я могу опереться на Сократа, — что тот, у кого в голове сложилось о чем-либо живое и ясное представление, сумеет передать его на любом, хотя бы на тарабарском наречии, а если он немой, то с помощью мимики:

> *Verbaque praevisam rem non invita sequentur.[60] [broken link: #na26_60]*

Как выразился — хотя и прозой, но весьма поэтически — Сенека: cum res animum occupavere verba ambiunt.[61] [broken link: #na26_61] Или, как говорил другой древний автор: Ipsae res verba rapiunt.[62] [broken link: #na26_62] Не беда, если мой питомец никогда не слышал о творительном падеже, о сослагательном падеже, и о существительном и вообще из грамматики знает не больше, чем его лакей или уличная торговка селедками. Да ведь этот самый лакей и эта торговка, лишь дай им волю, наговорят с три короба и сделают при этом не больше ошибок против правил своего родного языка, чем первейший магистр наук во Франции. Пусть наш ученик не знает риторики, пусть не умеет в предисловии снискать благоволение доверчивого читателя, но ему и не нужно знать всех этих вещей. Ведь, говоря по правде, все эти роскошные украшения легко затмеваются светом, излучаемым простой и бесхитростной истиной. Эти завитушки могут увлечь только невежд, неспособных вкусить от чего-либо более основательного и жесткого, как это отчетливо показано Апром у Тацита[63] [broken link: #na26_63]. Послы самосцев явились к Клеомену, царю Спарты, приготовив прекрасную и пространную речь, которою хотели склонить

его к войне с тираном Поликратом. Дав им возможность высказаться, Клеомен ответил: «Что касается зачина и вступления вашей речи, то я их забыл, равно как и середину ее, ну а что касается заключения, то я несогласен». Вот, как мне представляется, прекрасный ответ, оставивший этих говорунов с носом.

А что вы скажете о следующем примере? Афинянам надлежало сделать выбор между двумя строителями, предлагавшими свои услуги для возведения какого-то крупного здания. Один, более хитроумный, выступил с великолепной, заранее обдуманной речью о том, каким следует быть этому строению, и почти склонил народ на свою сторону. Другой же ограничился следующими словами: «Мужи афинские, что он сказал, то я сделаю».

Многие восхищались красноречием Цицерона в пору его расцвета; но Катон лишь подсмеивался над ним: «У нас, — говорил он, — презабавный консул». В конце ли, в начале ли речи, полезное изречение или меткое словцо всегда уместно. И если оно не подходит ни к тому, что ему предшествует, ни к тому, что за ним следует, оно все же хорошо само по себе. Я не принадлежу к числу тех, кто считает, что раз в стихотворении без-

упречен размер, то значит и все оно безупречно; по-моему, если поэт где-нибудь вместо краткого слога поставит долгий, беда не велика, лишь бы стихотворение звучало приятно, лишь бы оно обладало глубоким смыслом и содержанием — и я скажу, что перед нами хороший поэт, хоть и плохой стихотворец:

> *Emunctae naris, durus componere versus.[64] [broken link: #na26_64]*

Удалите, говорил Гораций, из его стихотворения чередование долгих и кратких слогов, удалите из него размеры, —

> *Tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est,*
>
> *Posterius facias, praeponens ultima primis,*
>
> *Invenias etiam disiecti membra poetae,[65] [broken link: #na26_65]*

оно не станет от этого хуже; даже отдельные части его будут прекрасны. Вот что ответил Менандр[66] [broken link: #na26_66] бранившим его за то, что он еще не притронулся к обещанной им комедии, хотя назначенный для ее окончания срок уже истекал: «Она полностью сочинена и готова; остается только изложить это в стихах».

Разработав в уме план комедии и расставив все по своим местам, он считал остальное безделицей. С той поры как Ронсар и Дю Белле создали славу нашей французской поэзии, нет больше стихоплетов, сколь бы бездарными они ни были, которые не пучились бы словами, не нанизывали бы слогов, подражая им: Plus sonat quam valet.[67] [broken link: #na26_67] Никогда еще не было у нас столько поэтов, пишущих на родном языке. Но хотя им и было легко усвоить ритмы двух названных поэтов, они все же не доросли до того, чтобы подражать роскошным описаниям первого и нежным фантазиям второго.

Но как же должен поступить наш питомец, если его начнут донимать софистическими тонкостями вроде следующего силлогизма: ветчина возбуждает желание пить, а питье утоляет жажду, стало быть, ветчина утоляет жажду? Пусть он посмеется над этим. Гораздо разумнее смеяться над подобными глупостями, чем пускаться в обсуждение их. Пусть он позаимствует у Аристиппа его остроумное замечание: «К чему мне распутывать это хитросплетение, если, даже будучи запутанным, оно изрядно смущает меня?» Некто решил выступить против Клеанфа во всеоружии диалектических ухищрений. На это Хрисипп

сказал: «Забавляй этими фокусами детей и не отвлекай подобной чепухой серьезные мысли взрослого человека».

Если эти софистические нелепости, эти contorta et aculeata sophismata[68] [broken link: #na26_68] способны внушить ученику ложные понятия, то это и в самом деле опасно; но если они не оказывают на него никакого влияния и не вызывают в нем ничего, кроме смеха, я не вижу никаких оснований к тому, чтобы он уклонялся от них. Существуют такие глупцы, которые готовы свернуть с пути и сделать крюк в добрую четверть лье в погоне за острым словцом: aut qui non verba rebus aptant, sed res extrinsecus arcessunt, quibus verba conveniant.[69] [broken link: #na26_69] А вот с чем встречаемся у другого писателя: sunt qui alicuius verbi decore placentis vocentur ad id quod non proposuerant scribere.[70] [broken link: #na26_70] Я охотнее изменю какое-нибудь хорошее изречение, чтобы вставить его в мои собственные писания, чем оборву нить моих мыслей, чтобы найти ему подходящее место. По-моему, это словам надлежит подчиняться и идти следом за мыслями, а не наоборот, и там, где бессилен французский, пусть его заменит гасконский. Я хочу, чтобы вещи преобладали,

чтобы они заполняли собой воображение слушателя, не оставляя в нем никакого воспоминания о словах. Речь, которую я люблю, — это бесхитростная, простая речь, такая же на бумаге, как на устах; речь сочная и острая, краткая и сжатая, не столько тонкая и приглаженная, сколько мощная и суровая:

> *Haec demum sapiet dictio, quae feriet;[71] [broken link: #na26_71]*

скорее трудная, чем скучная; свободная от всякой напыщенности, непринужденная, нескладная, смелая; каждый кусок ее должен выполнять свое дело; она не должна быть ни речью педанта, ни речью монаха, ни речью сутяги, но, скорее, солдатскою речью, как называет Светоний речь Цезаря[72] [broken link: #na26_72], хотя, говоря по правде, мне не совсем понятно, почему он ее так называет.

Я охотно подражал в свое время той небрежности, с какой, как мы видим, наша молодежь носит одежду: плащ, свисающий на завязках, капюшон на плече, кое-как натянутые чулки — все это призвано выразить гордое презрение к этим иноземным нарядам, а также пренебрежение ко всякому лоску. Но я нахожу, что еще более умест-

ным было бы то же самое в отношении нашей речи. Всякое жеманство, особенно при нашей французской живости и непринужденности, совсем не к лицу придворному, а в самодержавном государстве любой дворянин должен вести себя как придворный. Поэтому мы поступаем, по-моему, правильно, слегка подчеркивая в себе простодушие и небрежность.

Я ненавижу ткань, испещренную узелками и швами, подобно тому как и красивое лицо не должно быть таким, чтобы можно было пересчитать все его кости и вены. Quae veritati operam dat oratio, incomposita sit et simplex.[73] [broken link: #na26_73] Quis accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui?[74] [broken link: #na26_74]

Красноречие, отвлекая наше внимание на себя, наносит ущерб самой сути вещей.

Желание отличаться от всех остальных не принятым и необыкновенным покроем одежды говорит о мелочности души; то же и в языке: напряженные поиски новых выражений и малоизвестных слов порождаются ребяческим тщеславием педантов. Почему я не могу пользоваться той же речью, какою пользуются на парижском рынке? Аристофан Грамматик[75] [broken link: #na26_75], ничего в этом не смысля,

порицал в Эпикуре простоту его речи и цель, которую тот ставил перед собой как оратор и которая состояла исключительно в ясности языка. Подражание чужой речи в силу его доступности — вещь, которой постоянно занимается целый народ; но подражать в мышлении и в воображении — это дается не так уж легко. Большинство читателей, находя облачение одинаковым, глубоко заблуждаются, полагая, что под ним скрыты и одинаковые тела.

Силу и сухожилия нельзя позаимствовать; заимствуются только уборы и плащ. Большинство тех, кто посещает меня, говорит так же, как написаны эти «Опыты»; но я, право, не знаю, думают ли они так же или как-нибудь по-иному.

Афиняне, говорит Платон[76] [broken link: #na26_76] заботятся преимущественно о богатстве и изяществе своей речи, лакедемоняне — о ее краткости, а жители Крита проявляют больше заботы об изобилии мыслей, нежели о самом языке: они-то поступают правильнее всего. Зенон говорил, что у него было два рода учеников: один, как он именует их, φιλολόγοι, алчущие познания самих вещей, — и они были его любимцами; другие — λογοφίλοι, которые заботились только о языке[77] [broken link: #na26_77]. Этим нисколько

не отрицается, что умение красно говорить — превосходная и весьма полезная вещь; но все же она совсем не так хороша, как принято считать, и мне досадно, что вся наша жизнь наполнена стремлением к ней. Что до меня, то я прежде всего хотел бы знать надлежащим образом свой родной язык, а затем язык соседних народов, с которыми я чаще всего общаюсь. Овладение же языками греческим и латинским — дело, несомненно, прекрасное и важное, но оно покупается слишком дорогою ценой. Я расскажу здесь о способе приобрести эти знания много дешевле обычного — способе, который был испытан на мне самом. Его сможет применить всякий, кто пожелает.

Покойный отец мой, наведя тщательнейшим образом справки у людей ученых и сведущих, как лучше всего изучать древние языки, был предупрежден ими об обычно возникающих здесь помехах; ему оказали, что единственная причина, почему мы не в состоянии достичь величия и мудрости древних греков и римлян, — продолжительность изучения их языков, тогда как им самим это не стоило ни малейших усилий. Я, впрочем, не думаю чтобы это была действительно единственная причина. Так или иначе, но мой отец нашел выход в том, что прямо из рук

кормилицы и прежде, чем мой язык научился первому лепету, отдал меня на попечение одному немцу[78] [broken link: #na26_78], который много лет спустя скончался во Франции, будучи знаменитым врачом. Мой учитель совершенно не знал нашего языка, но прекрасно владел латынью. Приехав по приглашению моего отца, предложившего ему превосходные условия, исключительно ради моего обучения, он неотлучно находился при мне. Чтобы облегчить его труд, ему было дано еще двое помощников, не столь ученых, как он, которые были приставлены ко мне дядьками. Все они в разговоре со мною пользовались только латынью. Что до всех остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно которому ни отец, ни мать, ни лакей или горничная не обращались ко мне с иными словами, кроме латинских, усвоенных каждым из них, дабы кое-как объясняться со мною. Поразительно, однако, сколь многого они в этом достигли. Отец и мать выучились латыни настолько, что вполне понимали ее, а в случае нужды могли и изъясниться на ней; то же можно сказать и о тех слугах, которым приходилось больше соприкасаться со мною. Короче говоря, мы до такой степени олатинились, что наша латынь добралась даже

до расположенных в окрестностях деревень, где и по сию пору сохраняются укоренившиеся вследствие частого употребления латинские названия некоторых ремесел и относящихся к ним орудий. Что до меня, то даже на седьмом году я столько же понимал французский или окружающий меня перигорский говор, сколько, скажем, арабский. И без всяких ухищрений, без книг, без грамматики и каких-либо правил, без розог и слез я постиг латынь, такую же безупречно чистую, как и та, которой владел мой наставник, ибо я не знал ничего другого, чтобы портить и искажать ее. Когда случалось предложить мне ради проверки письменный перевод на латинский язык, то приходилось давать мне текст не на французском языке, как это делают в школах, а на дурном латинском, который мне надлежало переложить на хорошую латынь. И Никола Груши, написавший «De comitiis Romanorum», Гильом Герант, составивший комментарии к Аристотелю, Джордж Бьюкенен, великий шотландский поэт, Марк-Антуан Мюре[79] [broken link: #na26_79], которого и Франция и Италия считают лучшим оратором нашего времени, бывшие также моими наставниками, не раз говорили мне, что в детстве я настолько легко и свободно говорил

по-латыни, что они боялись подступиться ко мне. Бьюкенен, которого я видел и позже в свите покойного маршала де Бриссака, сообщил мне, что, намереваясь писать о воспитании детей, он взял мое воспитание в качестве образца; в то время на его попечении находился молодой граф де Бриссак, представивший нам впоследствии доказательства своей отваги и доблести.

Что касается греческого, которого я почти вовсе не знаю, то отец имел намерение обучить меня этому языку, используя совершенно новый способ — путем разного рода забав и упражнений. Мы перебрасывались склонениями вроде тех юношей, которые с помощью определенной игры, например шашек, изучают арифметику и геометрию. Ибо моему отцу, среди прочего, советовали приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитывать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения. И это проводилось им с такой неукоснительностью, что, — во внимание к мнению некоторых, будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна, в

который они погружаются гораздо глубже, чем мы, взрослые, — мой отец распорядился, чтобы меня будили звуками музыкального инструмента и чтобы в это время возле меня обязательно находился кто-нибудь из услужающих мне.

Этого примера достаточно, чтобы судить обо всем остальном, а также чтобы получить надлежащее представление о заботливости и любви столь исключительного отца, которому ни в малой мере нельзя поставить в вину, что ему не удалось собрать плодов, на какие он мог рассчитывать при столь тщательной обработке. Два обстоятельства были причиной этого: во-первых, бесплодная и неблагодарная почва, ибо, хоть я и отличался отменным здоровьем и податливым, мягким характером, все же, наряду с этим, я до такой степени был тяжел на подъем, вял и сонлив, что меня не могли вывести из состояния праздности, даже чтобы заставить хоть чуточку поиграть. То, что я видел, я видел как следует, и под этой тяжеловесной внешностью предавался смелым мечтам и не по возрасту зрелым мыслям. Ум же у меня был медлительный, шедший не дальше того, докуда его довели, усваивал я также не сразу; находчивости во мне было мало, и, ко всему, я страдал почти полным — так что трудно

даже поверить — отсутствием памяти. Поэтому нет ничего удивительного, что отцу так и не удалось извлечь из меня что-нибудь стоящее. А во-вторых, подобно всем тем, кем владеет страстное желание выздороветь и кто прислушивается поэтому к советам всякого рода, этот добряк, безумно боясь потерпеть неудачу в том, что он так близко принимал к сердцу, уступил, в конце концов, общему мнению, которое всегда отстает от людей, что идут впереди, вроде того как это бывает с журавлями, следующими за вожаком, и подчинился обычаю, не имея больше вокруг себя тех, кто снабдил его первыми указаниями, вывезенными им из Италии. Итак, он отправил меня, когда мне было около шести лет, в гиеньскую школу, в то время находившуюся в расцвете и почитавшуюся лучшей во Франции. И вряд ли можно было бы прибавить еще что-нибудь к тем заботам, которыми он меня там окружил, выбрав для меня наиболее достойных наставников, занимавшихся со мною отдельно, и выговорив для меня ряд других, не предусмотренных в школах, преимуществ. Но как бы там ни было, это все же была школа. Моя латынь скоро начала здесь портиться, и, отвыкнув употреблять ее в разговоре, я быстро утратил владение ею. И все мои зна-

ния, приобретенные благодаря новому способу обучения, сослужили мне службу только в том отношении, что позволили мне сразу перескочить в старшие классы. Но, выйдя из школы тринадцати лет и окончив, таким образом, курс наук (как это называется на их языке), я, говоря по правде, не вынес оттуда ничего такого, что представляет сейчас для меня хоть какую-либо цену.

Впервые влечение к книгам зародилось во мне благодаря удовольствию, которое я получил от рассказов Овидия в его «Метаморфозах». В возрасте семи-восьми лет я отказывался от всех других удовольствий, чтобы наслаждаться чтением их; кроме того, что латынь была для меня родным языком, это была самая легкая из всех известных мне книг и к тому же наиболее доступная по своему содержанию моему незрелому уму. Ибо о всяких там Ланселотах Озерных, Амадисах, Гюонах Бордоских[80] [broken link: #na26_80] и прочих дрянных книжонках, которыми увлекаются в юные годы, я в то время и не слыхивал (да и сейчас толком не знаю, в чем их содержание), — настолько строгой была дисциплина, в которой меня воспитывали. Больше небрежности проявлял я в отношении других задаваемых мне уроков. Но тут меня выручало

то обстоятельство, что мне приходилось иметь дело с умным наставником, который умел очень мило закрывать глаза как на эти, так и на другие, подобного же рода мои прегрешения. Благодаря этому я проглотил последовательно «Энеиду» Вергилия, затем Теренция, Плавта, наконец, итальянские комедии, всегда увлекавшие меня занимательностью своего содержания. Если бы наставник мой проявил тупое упорство и насильственно оборвал это чтение, я бы вынес из школы лишь лютую ненависть к книгам, как это случается почти со всеми нашими молодыми дворянами. Но он вел себя весьма мудро. Делая вид, что ему ничего не известно, он еще больше разжигал во мне страсть к поглощению книг, позволяя лакомиться ими только украдкой и мягко понуждая меня выполнять обязательные уроки. Ибо главные качества, которыми, по мнению отца, должны были обладать те, кому он поручил мое воспитание, были добродушие и мягкость характера. Да и в моем характере не было никаких пороков, кроме медлительности и лени. Опасаться надо было не того, что я сделаю что-нибудь плохое, а того, что я ничего не буду делать. Ничто не предвещало, что я буду злым, но все — что я буду бесполезным. Можно было

предвидеть, что мне будет свойственна любовь к безделью, но не любовь к дурному.

Я вижу, что так оно и случилось. Жалобы, которыми мне протрубили все уши, таковы: «Он ленив; равнодушен к обязанностям, налагаемым дружбой и родством, а также к общественным; слишком занят собой». И даже те, кто менее всего расположен ко мне, все же не скажут: «На каком основании он захватил то-то и то-то? На каком основании он не платит?» Они говорят: «Почему он не уступает? Почему не дает?»

Я буду рад, если и впредь ко мне будут обращать лишь такие, порожденные сверхтребовательностью, упреки. Но некоторые несправедливо требуют от меня, чтобы я делал то, чего я не обязан делать, и притом гораздо настойчивее, чем требуют от себя того, что они обязаны делать. Осуждая меня, они заранее отказывают тем самым любому моему поступку в награде, а мне — в благодарности, которая была бы лишь справедливым воздаянием должного. Прошу еще при этом учесть, что всякое хорошее дело, совершенное мною, должно цениться тем больше, что сам я меньше кого-либо пользовался чужими благодеяниями. Я могу тем свободнее распоряжаться моим имуществом, чем больше оно мое. И если

бы я любил расписывать все, что делаю, мне было бы легко отвести от себя эти упреки. А иным из этих господ я сумел бы без труда доказать, что они не столько раздражены тем, что я делаю недостаточно много, сколько тем, что я мог бы сделать для них значительно больше.

В то же время душа моя сама по себе вовсе не лишена была сильных движений, а также отчетливого и ясного взгляда на окружающее, которое она достаточно хорошо понимала и оценивала в одиночестве, ни с кем ни общаясь. И среди прочего я, действительно, думаю, что она неспособна была бы склониться перед силою и принуждением.

Следует ли мне упомянуть еще об одной способности, которую я проявлял в своем детстве? Я имею в виду выразительность моего лица, подвижность и гибкость в голосе и телодвижениях, умение сживаться с той ролью, которую я исполнял. Ибо еще в раннем возрасте,

> *Alter ab undecimo tum me vix ceperat annus,[81] [broken link: #na26_81]*

я справлялся с ролями героев в латинских трагедиях Бьюкенена, Геранта и Мюре, которые отлично ставились в нашей гиеньской

школе. Наш принципал, Андреа де Гувеа[82] [broken link: #na26_82], как и во всем, что касалось исполняемых им обязанностей, был и в этом отношении, без сомнения, самым выдающимся среди принципалов наших школ. Так вот, на этих представлениях меня считали первым актером. Это — такое занятие, которое я ни в какой мере не порицал бы, если бы оно получило распространение среди детей наших знатных домов. Впоследствии мне довелось видеть и наших принцев, которые отдавались ему, уподобляясь в этом кое-кому из древних, с честью для себя и с успехом.

В древней Греции считалось вполне пристойным, когда человек знатного рода делал из этого свое ремесло: Aristoni tragico actori rem aperit; huic et genus et fortuna honesta erant; nec ars, quia nihil tale apud Graecos pudori est, ea deformabat.[83] [broken link: #na26_83]

Я всегда осуждал нетерпимость ополчающихся против этих забав, а также несправедливость тех, которые не допускают искусных актеров в наши славные города, лишая тем самым народ этого публичного развлечения. Разумные правители, напротив, прилагают всяческие усилия, чтобы собирать и объединять горожан как для того, что-

бы сообща отправлять обязанности, налагаемые на нас благочестием, так и для упражнений и игр разного рода: дружба и единение от этого только крепнут. И потом, можно ли было бы предложить им более невинные развлечения, чем те, которые происходят на людях и на виду у властей? И, по-моему, было бы правильно, если бы власти и государь угощали время от времени за свой счет городскую коммуну подобным зрелищем, проявляя тем самым свою благосклонность и как бы отеческую заботливость, и если бы в городах с многочисленным населением были отведены соответствующие места для представлений этого рода, которые отвлекали бы горожан от худших и темных дел.

Возвращаясь к предмету моего рассуждения, повторю, что самое главное — это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью. Поощряя их ударами розог, им отдают на хранение торбу с разными знаниями, но для того, чтобы они были действительным благом, недостаточно их держать при себе, — нужно ими проникнуться.

## Глава XXVII
## Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности

Не без основания, пожалуй, приписываем мы простодушию и невежеству склонность к легковерию и готовность поддаваться убеждению со стороны. Ведь меня, как кажется, когда-то учили, что вера есть нечто, как бы запечатлеваемое в нашей душе; а раз так, то чем душа мягче и чем менее способна оказывать сопротивление, тем легче в ней запечатлеть что бы то ни было. Ut necesse est lancem in libra ponderibus impositis deprimi, sic animum perspicuis cedere.[1] [broken link: #na27_1]

В самом деле, чем менее занята и чем меньшей стойкостью обладает наша душа, тем легче она сгибается под тяжестью первого обращенного к ней убеждения. Вот почему дети, простолюдины, женщины и больные склонны к тому, чтобы их водили, так сказать, за уши. Но, с другой стороны, было бы глупым бахвальством презирать и осуждать как ложное то, что кажется нам неве-

роятным, а это обычный порок всех, кто считает, что они превосходят знаниями других. Когда-то страдал им и я, и если мне доводилось слышать о привидениях, предсказаниях будущего, чарах, колдовстве или еще о чем-нибудь, что было мне явно не по зубам,

> *Somnia, terrores magicos, miracula, sagas,*
> *Nocturnos lemures portentaque Thessala.[2]*
> *[broken link: #na27_2]*

меня охватывало сострадание к бедному народу, напичканному этими бреднями. Теперь, однако, я думаю, что столько же, если не больше, я должен был бы жалеть себя самого; и не потому, чтобы опыт принес мне что-нибудь новое сверх того, во что я верил когда-то, — хотя в любознательности у меня никогда не было недостатка, — а по той причине, что разум мой с той поры научил меня, что осуждать что бы то ни было с такой решительностью, как ложное и невозможное, — значит приписывать себе преимущество знать границы и пределы воли господней и могущества матери нашей природы; а также потому, что нет на свете большего безумия, чем мерить их мерой наших способностей и нашей осведомленности. Если мы зовем диковин-

ным или чудесным недоступное нашему разуму, то сколько же таких чудес непрерывно предстает нашему взору! Вспомним, сквозь какие туманы и как неуверенно приходим мы к познанию большей части вещей, с которыми постоянно имеем дело, — и мы поймем, разумеется, что если они перестали казаться нам странными, то причина этому скорее привычка, нежели знание —

*iam nemo, fessus satiate videndi,*

*Suspicere in coeli dignatur lucida templa.[3] [broken link: #na27_3]*

и что, если бы эти же вещи предстали перед нами впервые, мы сочли бы их столь же или даже более невероятными, чем воспринимаемые нами как таковые,

*si nunc primum mortalibus absint*

*Ex improviso, ceu sint obiecta repente,*

*Nil magis his rebus poterat mirabile dici,*

*Aut minus ante quod auderent fore credere gentes.[4] [broken link: #na27_4]*

Кто никогда не видел реки, тот, встретив ее в первый раз, подумает, что перед ним океан. И вообще, вещи, известные нам как самые что ни на есть большие, мы считаем пределом того, что

могла бы создать в том же роде природа, —

> *Scilicet et fluvius, qui non est maximus, ei est*
>
> *Qui non ante aliquem maiorem vidit, et ingens*
>
> *Arbor homoque videtur; et omnia de genere omni*
>
> *Maxima quae vidit quisque, haec ingentia fingit.[5] [broken link: #na27_5]*

Consuetudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque requirunt rationes earum rerum quas semper vident[6] [broken link: #na27_6].

Не столько величественность той или иной вещи, сколько ее новизна побуждает нас доискиваться ее причины.

Нужно отнестись с большим почтением к этому поистине безграничному могуществу природы и яснее осознать нашу собственную невежественность и слабость. Сколько есть на свете маловероятных вещей, засвидетельствованных, однако, людьми, заслуживающими всяческого доверия! И если мы не в состоянии убедиться в действительном существовании этих вещей, то вопрос о них должен оставаться, в худшем случае, нерешенным; ибо отвергать их в качестве

невозможных означает не что иное, как ручаться, в дерзком самомнении, будто знаешь, где именно находятся границы возможного. Если бы люди достаточно хорошо отличали невозможное от необычного и то, что противоречит порядку вещей и законам природы, от того, что противоречит общераспространенным мнениям, если бы они не были ни безрассудно доверчивыми, ни столь же безрассудно склонными к недоверию, тогда соблюдалось бы предписываемое Хилоном[7] [broken link: #na27_7] правило: «Ничего чрезмерного».

Когда мы читаем у Фруассара, что граф де Фуа, будучи в Беарне, узнал о поражении короля Иоанна Кастильского под Альхубарротой[8] [broken link: #na27_8] уже на следующий день после битвы, а также его объяснения этого чуда, то над этим можно лишь посмеяться; то же относится и к содержащемуся в наших анналах[9] [broken link: #na27_9] рассказу о папе Гонории, который в тот самый день, когда король Филипп Август[10] [broken link: #na27_10] умер в Манте, повелел совершить торжественный обряд его погребения в Риме, а также по всей Италии, ибо авторитет этих свидетелей не столь уж значителен, чтобы мы безропотно подчинялись ему. Но так ли это

всегда? Когда Плутарх, кроме других примеров, которые он приводит из жизни древних, говорит, что, как он знает из достоверных источников, во времена Домициана весть о поражении, нанесенном Антонию где-то в Германии, на расстоянии многих дней пути, дошла до Рима и мгновенно распространилась в тот же день, когда было проиграно это сражение[11] [broken link: #na27_11] когда Цезарь уверяет, что молва часто упреждает события[12] [broken link: #na27_12], — скажем ли мы, что эти простодушные люди, не столь проницательные, как мы, попались на ту же удочку, что и невежественная толпа? Существует ли что-нибудь столь же тонкое, точное и живое, как суждения Плиния, когда он считает нужным сообщить их читателю, не говоря уже об исключительном богатстве его познаний? Чем же мы превосходим его в том и другом? Однако нет ни одного школьника, сколь бы юным он ни был, который не уличал бы его во лжи и не горел бы желанием прочитать ему лекцию о законах природы.

Когда мы читаем у Буше[13] [broken link: #na27_13] о чудесах, совершенных якобы мощами святого Илария, то не станем задерживаться на этом: доверие к этому писателю не столь уж

велико, чтобы мы не осмелились усомниться в правдивости его рассказов. Но отвергнуть все истории подобного рода я считаю недопустимой дерзостью. Св. Августин, этот величайший из наших святых, говорит, что он видел, как мощи святых Гервасия и Протасия, выставленные в Милане, возвратили зрение слепому ребенку; как одна женщина в Карфагене была исцелена от язвы крестным знаменем, которым ее осенила другая, только что крещенная женщина; как один из его друзей, Гесперий, изгнал из его дома злых духов с помощью горсти земли с гробницы нашего господа и как потом эта земля, перенесенная в церковь, мгновенно исцелила паралличного; как одна женщина, до этого много лет слепая, коснувшись своим букетом во время религиозной процессии руки святого Стефана, потерла себе этим букетом глаза и тотчас прозрела; и о многих других чудесах, которые, как он говорит, совершились в его присутствии. В чем же могли бы мы предъявить обвинение и ему и святым епископам Аврелию и Максимину, на которых он ссылается как на свидетелей? В невежестве, глупости, легковерии? Или даже в злом умысле и обмане? Найдется ли в наше время столь дерзостный человек, который считал бы,

что он может сравняться с ними в добродетели или благочестии, в познаниях, уме и учености? Qui, ut rationem nullam afferent, ipsa auctoritate me frangerent[14] [broken link: #na27_14].

Презирать то, что мы не можем постигнуть, — опасная смелость, чреватая неприятнейшими последствиями, не говоря уж о том, что это нелепое безрассудство. Ведь установив, согласно вашему премудрому разумению, границы истинного и ложного, вы тотчас же должны будете отказаться от них, ибо неизбежно обнаружите, что приходится верить в вещи еще более странные, чем те, которые вы отвергаете. И как мне кажется, уступчивость, проявляемая католиками в вопросах веры, вносит немалую смуту и в нашу совесть и в те религиозные разногласия, в которых мы пребываем. Им представляется, что они проявляют терпимость и мудрость, когда уступают своим противникам в тех или иных спорных пунктах. Но, не говоря уж о том, сколь значительное преимущество дает нападающей стороне то, что противник начинает подаваться назад и отступать, и насколько это подстрекает ее к упорству в достижении поставленной цели, эти пункты, которые они выбрали как наименее важные, в некоторых отношениях чрезвычайно

существенны. Надо либо полностью подчиниться авторитету наших церковных властей, либо решительно отвергнуть его. Нам не дано устанавливать долю повиновения, которую мы обязаны ему оказывать. Я могу сказать это на основании личного опыта, ибо некогда разрешал себе устанавливать и выбирать по своему усмотрению, в чем именно я могу нарушить обряды католической церкви, из которых иные казались мне либо совсем незначительными, либо особенно странными; но, переговорив с людьми сведущими, я нашел, что и эти обряды имеют весьма глубокое и прочное основание и что лишь недомыслие и невежество побуждают нас относиться к ним с меньшим уважением, чем ко всему остальному. Почему бы нам не вспомнить, сколько противоречий ощущаем мы сами в своих суждениях! Сколь многое еще вчера было для нас нерушимыми догматами, а сегодня воспринимается нами как басни! Тщеславие и любопытство — вот два бича нашей души. Последнее побуждает нас всюду совать свой нос, первое запрещает оставлять что-либо неопределенным и нерешенным.

## Глава XXVIII
## О дружбе

Присматриваясь к приемам одного находящегося у меня живописца, я загорелся желанием последовать его примеру. Он выбирает самое лучшее место посредине каждой стены и помещает на нем картину, написанную со всем присущим ему мастерством, а пустое пространство вокруг нее заполняет гротесками, то есть фантастическими рисунками, вся прелесть которых состоит в их разнообразии и причудливости. И, по правде говоря, что же иное и моя книга, как не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные как попало из различных частей, без определенных очертаний, последовательности и соразмерности, кроме чисто случайных?

> *Desinit in piscem mulier formosa superne[1] [broken link: #na28_1].*

В последнем я иду вровень с моим живописцем, но что до другой, лучшей части его труда, то я весьма отстаю от него, ибо мое умение не простирается так далеко, чтобы я мог решиться задумать прекрасную тщательно отделанную картину, на-

писанную в соответствии с правилами искусства. Мне пришло в голову позаимствовать ее у Этьена де Ла Боэси, и она принесет честь всему остальному в этом труде. Я имею в виду его рассуждение, которому он дал название «Добровольное рабство» и которое люди, не знавшие этого, весьма удачно перекрестили в «Против единого»[2] [broken link: #na28_2]. Он написал его, будучи еще очень молодым, в жанре опыта в честь свободы и против тиранов. Оно с давних пор ходит по рукам людей просвещенных и получило с их стороны высокую и заслуженную оценку, ибо прекрасно написано и полно превосходных мыслей. Нужно, однако, добавить, что это отнюдь не лучшее из того, что он мог бы создать; и если бы в том, более зрелом возрасте, когда я его знал, он возымел такое же намерение, как и я — записывать все, что ни придет в голову, мы имели бы немало редкостных сочинений, которые могли бы сравниться со знаменитыми творениями древних, ибо я не знаю никого, кто мог бы сравняться с ним природными дарованиями в этой области. Но до нас дошло, да и то случайно, только это его рассуждение, которого, как я полагаю, он никогда после написания больше не видел, и еще кое-какие заметки о январском эдикте[3]

[broken link: #na28_3] (заметки эти, быть может, будут преданы гласности где-нибудь в другом месте), — эдикте столь знаменитом благодаря нашим гражданским войнам. Вот и все — если не считать книжечки его сочинений, которую я выпустил в свет[4] [broken link: #na28_4], — что мне удалось обнаружить в оставшихся от него бумагах, после того как он, уже на смертном одре, в знак любви и расположения, сделал меня по завещанию наследником и своей библиотеки и своих рукописей. Я чрезвычайно многим обязан этому произведению, тем более что оно послужило поводом к установлению между нами знакомства. Мне показали его еще задолго до того, как мы встретились, и оно, познакомив меня с его именем, способствовало, таким образом, возникновению между нами дружбы, которую мы питали друг к другу, пока богу угодно было, дружбы столь глубокой и совершенной, что другой такой вы не найдете и в книгах, не говоря уж о том, что между нашими современниками невозможно встретить что-либо похожее. Для того, чтобы возникла подобная дружба, требуется совпадение стольких обстоятельств, что и то много, если судьба ниспосылает ее один раз в три столетия.

Нет, кажется, ничего, к чему бы природа толкала нас более, чем к дружескому общению. И Аристотель указывает, что хорошие законодатели пекутся больше о дружбе, нежели о справедливости[5] [broken link: #na28_5]. Ведь высшая ступень ее совершенства — это и есть справедливость. Ибо, вообще говоря, всякая дружба, которую порождают и питают наслаждение или выгода, нужды частные или общественные, тем менее прекрасна и благородна и тем менее является истинной дружбой, чем больше посторонних самой дружбе причин, соображений и целей примешивают к ней.

Равным образом не совпадают с дружбой и те четыре вида привязанности, которые были установлены древними: родственная, общественная, налагаемая гостеприимством и любовная, — ни каждая в отдельности, ни все вместе взятые.

Что до привязанности детей к родителям, то это скорей уважение. Дружба питается такого рода общением, которого не может быть между ними в силу слишком большого неравенства в летах, и к тому же она мешала бы иногда выполнению детьми их естественных обязанностей. Ибо отцы не могут посвящать детей в свои самые сокровенные мысли, не порождая тем самым

недопустимой вольности, как и дети не могут обращаться к родителям с предупреждениями и увещаниями, что есть одна из первейших обязанностей между друзьями. Существовали народы, у которых, согласно обычаю, дети убивали своих отцов, равно как и такие, у которых, напротив, отцы убивали детей, как будто бы те и другие в чем-то мешали друг другу и жизнь одних зависела от гибели других. Бывали также философы, питавшие презрение к этим естественным узам, как, например, Аристипп; когда ему стали доказывать, что он должен любить своих детей хотя бы уже потому, что они родились от него, он начал плеваться, говоря, что эти плевки тоже его порождение и что мы порождаем также вшей и червей. А другой философ, которого Плутарх хотел примирить с братом, заявил: «Я не придаю большого значения тому обстоятельству, что мы оба вышли из одного и того же отверстия». А между тем слово «брат» — поистине прекрасное слово, выражающее глубокую привязанность и любовь, и по этой причине я и Ла Боэси постоянно прибегали к нему, чтобы дать понятие о нашей дружбе. Но эта общность имущества, разделы его и то, что богатство одного есть в то же время бедность другого, все это до крайности ослабляет и

уродует кровные связи. Стремясь увеличить свое благосостояние, братья вынуждены идти одним шагом и одною тропой, поэтому они волей-неволей часто сталкиваются и мешают друг другу. Кроме того, почему им должны быть обязательно свойственны то соответствие склонностей и душевное сходство, которые только одни и порождают истинную и совершенную дружбу? Отец и сын по свойствам своего характера могут быть весьма далеки друг от друга; то же и братья. Это мой сын, это мой отец, но вместе с тем это человек жестокий, злой или глупый. И затем, поскольку подобная дружба предписывается нам законом или узами, налагаемыми природой, здесь гораздо меньше нашего выбора и свободной воли. А между тем ничто не является в такой мере выражением нашей свободной воли, как привязанность и дружба. Это вовсе не означает, что я не испытывал на себе всего того, что могут дать родственные чувства, поскольку у меня был лучший в мире отец, необычайно снисходительный вплоть до самой глубокой своей старости, да и вообще я происхожу из семьи, прославленной тем, что в ней из рода в род передавалось образцовое согласие между братьями:

*et ipse*

*Notus in fratres animi paterni.[6] [broken link: #na28_6]*

Никак нельзя сравнивать с дружбой или уподоблять ей любовь к женщине, хотя такая любовь и возникает из нашего свободного выбора. Ее пламя, охотно признаюсь в этом, —

*neque enim est dea nescia nostri*
*Quae dulcem curis miscet amaritiem,[7] [broken link: #na28_7]*

более неотступно, более жгуче и томительно. Но это — пламя безрассудное и летучее, непостоянное и переменчивое, это — лихорадочный жар, то затухающий, то вспыхивающий с новой силой и гнездящийся лишь в одном уголке нашей души. В дружбе же — теплота общая и всепроникающая, умеренная, сверх того, ровная, теплота постоянная и устойчивая, сама приятность и ласка, в которой нет ничего резкого и ранящего. Больше того, любовь — неистовое влечение к тому, что убегает от нас:

*Come segue la lepre il cacciatore*
*Al freddo, al caldo, alla montagna, al lito;*
*Ne piu l'estima poi che presa vede,*
*Et sol dietro à chi fugge affretta il piede.[8]*

*[broken link: #na28_8]*

Как только такая любовь переходит в дружбу, то есть в согласие желаний, она чахнет и угасает. Наслаждение, сводясь к телесному обладанию и потому подверженное пресыщению, убивает ее. Дружба, напротив, становится тем желаннее, чем полнее мы наслаждаемся ею; она растет, питается и усиливается лишь благодаря тому наслаждению, которое доставляет нам, и так как наслаждение это — духовное, то душа, предаваясь ему, возвышается. Наряду с этой совершенною дружбой и меня захватывали порой эти мимолетные увлечения; я не говорю о том, что подвержен им был и мой друг, который весьма откровенно в этом признается в своих стихах. Таким образом, обе эти страсти были знакомы мне, отлично уживаясь между собой в моей душе, но никогда они не были для меня соизмеримы: первая величаво и горделиво совершала свой подобный полету путь, поглядывая презрительно на вторую, копошившуюся где-то внизу, вдалеке от нее.

Что касается брака, то, — не говоря уж о том, что он является сделкой, которая бывает добровольной лишь в тот момент, когда ее заключают (ибо длительность ее навязывается нам принудительно и не зависит от нашей воли), и, сверх того,

сделкой, совершаемой обычно совсем в других целях, — в нем бывает еще тысяча посторонних обстоятельств, в которых трудно разобраться, но которых вполне достаточно, чтобы оборвать нить и нарушить развитие живого чувства. Между тем, в дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме нее самой. Добавим к этому, что, по правде говоря, обычный уровень женщин отнюдь не таков, чтобы они были способны поддерживать ту духовную близость и единение, которыми питается этот возвышенный союз; да и душа их, по-видимому, не обладает достаточной стойкостью, чтобы не тяготиться стеснительностью столь прочной и длительной связи. И, конечно, если бы это не составляло препятствий и если бы мог возникнуть такой добровольный и свободный союз, в котором не только души вкушали бы это совершенное наслаждение, но и тела тоже его разделяли, союз, которому человек отдавался бы безраздельно, то несомненно, что и дружба в нем была бы еще полнее и безусловнее. Но ни разу еще слабый пол не показал нам примера этого, и, по единодушному мнению всех философских школ древности, женщин здесь приходится исключить.

Распущенность древних греков в любви,

имеющая совсем особый характер, при наших нынешних нравах справедливо внушает нам отвращение. Но, кроме того, эта любовь, согласно принятому у них обычаю, неизбежно предполагала такое неравенство в возрасте и такое различие в общественном положении между любящими, что ни в малой мере не представляла собой того совершенного единения и соответствия, о которых мы здесь говорим: Quis est enim iste amor amicitiae? Cur neque deformem adolescentem quisquam amat, neque formosum senem?[9] [broken link: #na28_9] И даже то изображение этой любви, которое дает Академия[10] [broken link: #na28_10], не отнимает, как я полагаю, у меня права сказать со своей стороны следующее: когда сын Венеры поражает впервые сердце влюбленного страстью к предмету его обожания, пребывающему во цвете своей нежной юности, — по отношению к которой греки позволяли себе любые бесстыдные и пылкие домогательства, какие только может породить безудержное желание, — то эта страсть может иметь своим основанием исключительно внешнюю красоту, только обманчивый образ телесной сущности. Ибо о духе тут не могло быть и речи, поскольку он не успел еще обнаружить себя, поскольку он только еще зарождается и не достиг

той поры, когда происходит его созревание. Если такой страстью воспламенялась низменная душа, то средствами, к которым она прибегала для достижения своей цели, были богатство, подарки, обещание впоследствии обеспечить высокие должности и прочие низменные приманки, которые порицались философами. Если же она западала в более благородную душу, то и приемы завлечения были более благородными, а именно: наставления в философии, увещания чтить религию, повиноваться законам, отдать жизнь, если понадобится, за благо родины, беседы, в которых приводились образцы доблести, благоразумия, справедливости; при этом любящий прилагал всяческие усилия, дабы увеличить свою привлекательность добрым расположением и красотой своей души, понимая, что красота его тела увяла уже давно, и надеясь с помощью этого умственного общения установить более длительную и прочную связь с любимым. И когда усилия после долгих старании увенчивались успехом (ибо, если от любящего и не требовалось осторожности и осмотрительности в выражении чувств, то эти качества обязательно требовались от любимого, которому надлежало оценить внутреннюю красоту, обычно неясную и трудно различимую),

тогда в любимом рождалось желание духовно зачать от духовной красоты любящего. Последнее для него было главным, а плотское — случайным и второстепенным, тогда как у любящего все было наоборот. Именно по этой причине любимого древние философы ставили выше, утверждая, что и боги придерживаются того же. По этой же причине порицали они Эсхила, который, изображая любовь Ахилла к Патроклу, отвел роль любящего Ахиллу, хотя он был безбородым юношей, только-только вступившим в пору своего цветения и к тому же прекраснейшим среди греков. Поскольку в том целом, которое представляет собой такое содружество, главная и наиболее достойная сторона выполняет свое назначение и господствует, оно, по их словам, порождает плоды, приносящие огромную пользу как отдельным лицам, так и всему обществу; они говорят, что именно в этом заключалась сила тех стран, где был принят этот обычай, что он был главным оплотом равенства и свободы и что свидетельством этого является столь благодетельная любовь Гармодия и Аристогитона[11] [broken link: #na28_11]. Они называют ее поэтому божественной и священной. И лишь произвол тиранов и трусость народов могут, по их мнению, противиться ей. В конце концов,

все, что можно сказать в оправдание Академии, сводится лишь к тому, что эта любовь заканчивалась подлинной дружбой, а это не так уже далеко от определения любви стоиками: Amorem conatum esse amicitiae faciendae ex pulchritudinis specie[12] [broken link: #na28_12]. Возвращаюсь к моему предмету, к дружбе более естественной и не столь неравной. Omnino amicitiae corroboratis iam confirmatisque ingeniis et aetatibus, iudicandae sunt[13] [broken link: #na28_13].

Вообще говоря, то, что мы называем обычно друзьями и дружбой, это не более, чем короткие и близкие знакомства, которые мы завязали случайно или из соображений удобства и благодаря которым наши души вступают в общение. В той же дружбе, о которой я здесь говорю, они смешиваются и сливаются в нечто до такой степени единое, что скреплявшие их когда-то швы стираются начисто и они сами больше не в состоянии отыскать их следы. Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав: «Потому, что это был он, и потому, что это был я».

Где-то, за пределами доступного моему уму и того, что я мог бы высказать по этому поводу, су-

ществует какая-то необъяснимая и неотвратимая сила, устроившая этот союз между нами. Мы искали друг друга прежде, чем свиделись, и отзывы, которые мы слышали один о другом, вызывали в нас взаимное влечение большей силы, чем это можно было бы объяснить из содержания самих отзывов. Полагаю, что таково было веление неба. Самые имена наши сливались в объятиях. И уже при первой встрече, которая произошла случайно на большом празднестве, в многолюдном городском обществе, мы почувствовали себя настолько очарованными друг другом, настолько знакомыми, настолько связанными между собой, что никогда с той поры не было для нас ничего ближе, чем он — мне, а я — ему. В написанной им и впоследствии изданной превосходной латинской сатире он[14] [broken link: #na28_14] оправдывает и объясняет ту необыкновенную быстроту, с какой мы установили взаимное понимание, которое так скоро достигло своего совершенства. Возникнув столь поздно и имея в своем распоряжении столь краткий срок (мы оба были уже людьми сложившимися, причем он — старше на несколько лет[15] [broken link: #na28_15]), наше чувство не могло терять времени и взять себе за образец ту размеренную и спокойную дружбу,

которая принимает столько предосторожностей и нуждается в длительном предваряющем ее общении. Наша дружба не знала иных помыслов, кроме как о себе, и опору искала только в себе. Тут была не одна какая-либо причина, не две, не три, не четыре, не тысяча особых причин, но какая-то квинтэссенция или смесь всех причин вместе взятых, которая захватила мою волю, заставила ее погрузиться в его волю и раствориться в ней, точно так же, как она захватила полностью и его волю, заставив ее погрузиться в мою и раствориться в ней с той же жадностью, с тем же пылом. Я говорю «раствориться», ибо в нас не осталось ничего, что было бы достоянием только одного или другого, ничего, что было бы только его или только моим.

Когда Лелий в присутствии римских консулов, подвергших преследованиям, после осуждения Тиберия Гракха, всех единомышленников последнего, приступил к допросу Гая Блоссия — а он был одним из ближайших его друзей — и спросил его, на что он был бы готов ради Гракха, тот ответил: «На все». — «То есть, как это на все? — продолжал допрашивать Лелий. — А если бы он приказал тебе сжечь наши храмы?» — «Он не приказал бы мне этого», — возразил Блоссий. «Ну, а если

бы он все-таки это сделал?» — настаивал Лелий. «Я бы повиновался ему», — сказал Блоссий. Будь он и в самом деле столь совершенным другом Гракха, как утверждают историки, ему все же незачем было раздражать консулов своим смелым признанием; ему не следовало, кроме того, отступаться от своей уверенности в невозможности подобного приказания со стороны Гракха. Во всяком случае, те, которые осуждают этот ответ как мятежный, не понимают по-настоящему тайны истинной дружбы и не могут постичь того, что воля Гракха была его волей, что он знал ее и мог располагать ею. Они были больше друзьями, чем гражданами, больше друзьями, чем друзьями или недругами своей страны, чем друзьями честолюбия или смуты. Полностью вверив себя друг другу, каждый из них полностью управлял склонностями другого, ведя их как бы на поводу, и поскольку они должны были идти в этой запряжке, руководствуясь добродетелью и велениями разума, — ибо иначе взнуздать их было бы невозможно, — ответ Блоссия был таким, каким надлежало быть. Если бы их поступки не были сходными, они, согласно тому мерилу, которым я пользуюсь, не были бы друзьями ни друг другу, ни самим себе. Замечу, что ответ Блоссия звучал

так же, как звучал бы мой, если бы кто-нибудь обратился ко мне с вопросом: «Убили бы вы свою дочь, если бы ваша воля приказала вам это?», и я ответил бы утвердительно. Такой ответ не свидетельствует еще о готовности к этому, ибо у меня нет никаких сомнений в моей воле, так же как и в воле такого друга. Никакие доводы в мире не могли бы поколебать моей уверенности в том, что я знаю волю и мысли моего друга. В любом его поступке, в каком бы виде мне его ни представили, я могу тотчас же разгадать побудительную причину. Наши души были столь тесно спаяны, они взирали друг на друга с таким пылким чувством и, отдаваясь этому чувству, до того раскрылись одна перед другой, обнажая себя до самого дна, что я не только знал его душу, как свою собственную, но и поверил бы ему во всем, касающемся меня, больше, чем самому себе.

Пусть не пытаются уподоблять этой дружбе обычные дружеские связи. Я знаком с ними так же, как всякий другой, и притом с самыми глубокими из них. Не следует, однако, смешивать их с истинной дружбой: делающий так впал бы в большую ошибку. В этой обычной дружбе надо быть всегда начеку, не отпускать узды, проявлять всегда сдержанность и осмотрительность, ибо

узы, скрепляющие подобную дружбу, таковы, что могут в любое мгновение оборваться. «Люби своего друга, — говорил Хилон, — так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь возненавидеть его; и ненавидь его так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь полюбить его»[16] [broken link: #na28_16]. Это правило, которое кажется отвратительным, когда речь идет о возвышенной, всепоглощающей дружбе, весьма благодетельно в применении к обыденным, ничем не замечательным дружеским связям, в отношении которых весьма уместно вспомнить излюбленное изречение Аристотеля: «О друзья мои, нет больше ни одного друга!»[17] [broken link: #na28_17]

В этом благородном общении разного рода услуги и благодеяния, питающие другие виды дружеских связей, не заслуживают того, чтобы принимать их в расчет; причина этого — полное и окончательное слияние воли обоих друзей. Ибо подобно тому, как любовь, которую я испытываю к самому себе, нисколько не возрастает от того, что по мере надобности я себе помогаю, — что бы ни говорили на этот счет стойки, — или подобно тому, как я не испытываю к себе благодарности за оказанное самому себе одолжение, так и единение между такими друзьями, как мы, будучи

поистине совершенным, лишает их способности ощущать, что они тем-то и тем-то обязаны один другому, и заставляет их отвергнуть и изгнать из своего обихода слова, означающие разделение и различие, как например: благодеяние, обязательство, признательность, просьба, благодарность и тому подобное. Поскольку все у них действительно общее: желания, мысли, суждения, имущество жены, дети, честь и самая жизнь, и поскольку их союз есть не что иное, как — по весьма удачному определению Аристотеля — одна душа в двух телах,[18] [broken link: #na28_18] они не могут ни ссужать, ни давать что-либо один другому. Вот почему законодатели, дабы возвысить брак каким-нибудь, хотя бы воображаемым, сходством с этим божественным единением, запрещают дарения между супругами, как бы желая этим показать, что все у них общее и что им нечего делить и распределять между собой.

Бели бы в той дружбе, о которой я говорю, один все же мог что-либо подарить другому, то именно принявший от друга благодеяние обязал бы этим его: ведь оба они не желают ничего лучшего, как сделать один другому благо, и именно тот, кто предоставляет своему другу возможность и повод к этому, проявляет щедрость, даруя ему

удовлетворение, ибо он получает возможность осуществить свое самое пламенное желание. Когда философ Диоген нуждался в деньгах, он не говорил, что одолжит их у друзей; он говорил, что попросит друзей возвратить ему долг. И для того, чтобы показать, как это происходит на деле, я приведу один замечательный пример из древности.

Эвдамид, коринфянин, имел двух друзей: Хариксена, сикионца, и Аретея, коринфянина. Будучи беден, тогда как оба его друга были богаты, он, почувствовав приближение смерти, составил следующее завещание: «Завещаю Аретею кормить мою мать и поддерживать ее старость, Хариксену же выдать замуж мою дочь и дать ей самое богатое приданое, какое он только сможет; а в случае, если жизнь одного из них пресечется, я возлагаю его долю обязанностей на того, кто останется жив». Первые, кто прочитали это завещание, посмеялись над ним; но душеприказчики Эвдамида, узнав о его содержании, приняли его с глубочайшим удовлетворением. А когда один из них, Хариксен, умер через пять дней и обязанности его перешли к Аретею, тот стал заботливо ухаживать за матерью Эвдамида и из пяти талантов, в которых заключалось состояние, два с

половиной отдал в приданое своей единственной дочери, а другие два с половиною — дочери Эвдамида, которую выдал замуж в тот же день, что и свою.

Этот пример был бы полне хорош, если бы не одно обстоятельство — то, что у Эвдамида было целых двое друзей, а не один. Ибо та совершенная дружба, о которой я говорю, неделима: каждый с такой полнотой отдает себя другу, что ему больше нечего уделить кому-нибудь еще; напротив, он постоянно скорбит о том, что он — только одно, а не два, три, четыре существа, что у него нет нескольких душ и нескольких воль, чтобы отдать их все предмету своего обожания. В обычных дружеских связях можно делить своей чувство: можно в одном любить его красоту, в другом — простоту нравов, в третьем — щедрость; в том — отеческие чувства, в этом — братские, и так далее. Но что касается дружбы, которая подчиняет себе душу всецело и неограниченно властвует над нею, тут никакое раздвоение невозможно. Если бы два друга одновременно попросили вас о помощи, к которому из них вы бы поспешили? Если бы они обратились к вам за услугами, совместить которые невозможно, как бы вышли вы из этого положения? Если бы один из них доверил

вам тайну, которую полезно знать другому, как бы вы поступили?

Но дружба единственная, заслоняющая все остальное, не считается ни с какими другими обязательствами. Тайной, которую я поклялся не открывать никому другому, я могу, не совершая клятвопреступления, поделиться с тем, кто для меня не «другой», а то же, что я сам. Удваивать себя — великое чудо, и величие его недоступно тем, кто утверждает, что способен себя утраивать. Нет ничего такого наивысшего, что имело бы свое подобие. И тот, кто предположил бы, что двух моих истинных друзей я могу любить с одинаковой силой и что они могут одинаково любить друг друга, а вместе с тем, и меня с той же силой, с какою я их люблю, превратил бы в целое братство нечто совершенно единое и единственное, нечто такое, что и вообще труднее всего сыскать на свете.

Конец рассказанной мной истории отлично подходит к тому, о чем я сейчас говорил, — ибо Эвдамид, поручая своим друзьям позаботиться о его нуждах, сделал это из любви и расположения к ним. Он оставил их наследниками своих щедрот, заключавшихся в том, что именно им дал он возможность сделать ему благо. И, без сомнения, в его поступке сила дружбы проявилась намного

ярче, чем в том, что сделал для него Аретей. Словом, эти проявления дружбы непонятны тому, кто сам не испытал их. Вот почему я чрезвычайно ценю ответ того молодого воина Киру, который на вопрос царя, за сколько продал бы он коня, доставившего ему первую награду на скачках, и не согласен ли он обменять его на целое царство, ответил: «Нет, государь. Но я охотно отдал бы его, если бы мог такой ценой найти столь же достойного друга среди людей».

Он неплохо выразился, сказав «если бы мог найти», ибо легко бывает найти только таких людей, которые подходят для поверхностных дружеских связей. Но в той дружбе, какую я имею в виду, затронуты самые сокровенные глубины нашей души; в дружбе, поглощающей нас без остатка, нужно, конечно, чтобы все душевные побуждения человека были чистыми и безупречными.

Когда дело идет об отношениях, которые устанавливаются для какой-либо определенной цели, нужно заботиться лишь об устранении изъянов, имеющих прямое отношение к этой цели. Мне совершенно безразлично, каких религиозных взглядов придерживается мой врач или адвокат. Это обстоятельство не имеет никакой связи с теми дружескими услугами, которые они обязаны

мне оказывать. То же и в отношении услужающих мне. Я очень мало забочусь о чистоте нравов моего лакея; я требую от него лишь усердия. Я не так боюсь конюха-картежника, как конюха-дурака. По мне не беда, что мой повар сквернослов, знал бы он свое дело. Впрочем, я не собираюсь указывать другим, как нужно им поступать — для этого найдется много охотников, — я говорю только о том, как поступаю я сам.

*Mihi sic usus est; tibi, ut opus est facto, face.[19] [broken link: #na28_19]*

За столом я предпочитаю занимательного собеседника благонравному; в постели красоту — доброте; для серьезных бесед — людей основательных, но свободных от педантизма. И то же во всем остальном.

Некий отец, застигнутый скачущим верхом на палочке, когда он играл со своими детьми, попросил человека, заставшего его за этим занятием, воздержаться от суждения об этом до тех пор, пока он сам не станет отцом: когда в его душе пробудится отцовское чувство, он сможет более здраво и справедливо судить о его поведении[20] [broken link: #na28_20]. Точно так же и я; и мне хотелось бы говорить о дружбе лишь с теми,

которым довелось самим испытать то, о чем я рассказываю. Но зная, что это — вещь необычная и редко в жизни встречающаяся, я не очень надеюсь найти судью, сведущего в этих делах. Ибо даже те рассуждения о дружбе, которые оставила нам древность, кажутся мне слишком бледными по сравнению с чувствами, которые я в себе ощущаю. Действительность здесь превосходит все наставления философии:

> *Nil ego contulerim iucundo sanus amico.[21] [broken link: #na28_21]*

Древний поэт Менандр говорил: счастлив тот, кому довелось встретить хотя бы тень настоящего друга[22] [broken link: #na28_22]. Он, конечно, имел основания это сказать, в особенности, если сам испытал нечто подобное. И в самом деле, когда я сравниваю всю последующую часть моей жизни, которую я, благодарение богу, прожил тихо, благополучно, и, — если не говорить о потере такого друга, — без больших печалей, в нерушимой ясности духа, довольствуясь тем, что мне было отпущено, не гоняясь за большим, — так вот, говорю я, когда я сравниваю всю остальную часть моей жизни с теми четырьмя годами, которые мне было дано провести в отрадной для меня

близости и сладостном общении с этим человеком, — мне хочется сказать, что все это время — дым, темная и унылая ночь. С того самого дня, как я потерял его,

*quem semper acerbum,*

*Semper honoratum (sic, Dii, voluistis) habebo,[23] [broken link: #na28_23]*

я томительно прозябаю; и даже удовольствия, которые мне случается испытывать, вместо того, чтобы принести утешение, только усугубляют скорбь от утраты. Все, что было у нас, мы делили с ним поровну, и мне кажется, что я отнимаю его долю;

*Nec fas esse ulla me voluptate hic frui*

*Decrevi, tantisper dum ille abest meus particeps.[24] [broken link: #na28_24]*

Я настолько привык быть всегда и во всем его вторым «я», что мне представляется, будто теперь я лишь полчеловека.

*Illam meae si partem animae tulit*

*Maturior vis, quid moror altera,*

*Nec carus aeque, nec superstes*

*Integer? Ille dies utramque*

*Duxit ruinam.[25] [broken link: #na28_25]*

И что бы я ни делал, о чем ни думал, я неизменно повторяю мысленно эти стихи, — как и он делал бы, думая обо мне; ибо насколько он был выше меня в смысле всяких достоинств и добродетели, настолько же превосходил он меня и в исполнении долга дружбы.

*Quis desiderio sit pudor aut modus*
*Tam cari capitis?[26] [broken link: #na28_26]*

*O misero frater adempte mihi!*
*Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,*
*Quae tuus in vita dulcis alebat amor.*
*Tu mea, tu moriens fregisti commoda, frater;*
*Tecum una tota est nostra sepulta anima,*
*Cuius ego interitu tota de mante fugavi*
*Haec studia atque omnes delicias animi.*

*.....*

*Alloquar? audiero nunquam tua verba loquentem?*
*Nunquam ego te, vita frater amabilior,*
*Aspiciam posthac? At certe semper*

*amabo?[27] [broken link: #na28_27]*

Но послушаем этого шестнадцатилетнего юношу.

Так как я узнал, что это произведение уже напечатано и притом в злонамеренных целях людьми, стремящимися расшатать и изменить наш государственный строй, не заботясь о том, смогут ли они улучшить его, — и напечатано вдобавок вместе со всякими изделиями в их вкусе, — я решил не помещать его на этих страницах[28] [broken link: #na28_28]. И чтобы память его автора не пострадала в глазах тех, кто не имел возможности познакомиться ближе с его взглядами и поступками, я их предупреждаю, что рассуждение об этом предмете было написано им в ранней юности, в качестве упражнения на ходячую и избитую тему, тысячу раз обрабатывавшуюся в разных книгах. Я нисколько не сомневаюсь, что он придерживался тех взглядов, которые излагал в своем сочинении, так как он был слишком совестлив, чтобы лгать, хотя бы в шутку. Больше того, я знаю, что если бы ему дано было выбрать место своего рождения, он предпочел бы Сарлаку[29] [broken link: #na28_29] Венецию, — и с полным основанием. Но, вместе с тем, в его душе было глубоко запечатлено другое

правило — свято повиноваться законам страны, в которой он родился. Никогда еще не было лучшего гражданина, больше заботившегося о спокойствии своей родины и более враждебного смутам и новшествам своего времени. Он скорее отдал бы свои способности на то, чтобы погасить этот пожар, чем на то, чтобы содействовать его разжиганию. Дух его был создан по образцу иных веков, чем наш.

Поэтому вместо обещанного серьезного сочинения, я помещу здесь другое, написанное им в том же возрасте, но более веселое и жизнерадостное[30] [broken link: #na28_30].

## Глава XXIX
## Двадцать девять сонетов Этьена де Ла Боэси

*Госпоже де Граммон, графине де Гиссен*

Сударыня, я не предлагаю вам чего-либо своего, поскольку оно и без того уже ваше и поскольку я не нахожу ничего достойного вас. Но мне захотелось, чтобы эти стихи, где бы они ни появились в печати, были отмечены в заголовке вашим именем и чтобы им выпала тем самым честь иметь своей покровительницей славную Коризанду Андуанскую[1] [broken link: #na29_1]. Мне казалось, что это подношение уместно тем более, что во Франции немного найдется дам, которые могли бы столь же здраво судить о поэзии и находить ей столь же удачное употребление, как это свойственно вам. И еще: ведь нет никого, кто мог бы вложить в нее столько жизни и столько души, сколько вы вкладываете в нее благодаря богатым и прекрасным звучаниям вашего голоса, которым природа одарила вас, вместе с целым миллионом других совершенств. Сударыня, эти стихи заслуживают того, чтобы вы оказали им

благосклонность; вы, несомненно, согласитесь со мною, что наша Гасконь еще не рождала произведений, которые были бы изящнее и поэтичнее этих и которые могли бы свидетельствовать, что они вышли из-под пера более одаренного автора. И не досадуйте, что вы обладаете лишь остатком, поскольку часть этих стихов я как-то уже напечатал, посвятив их вашему достойному родственнику, господину де Фуа; ведь в тех, что остались на вашу долю, больше жизни и пылкости, так как они были сочинены в пору зеленой юности и согреты прекрасной и благородной страстью, о которой я как-нибудь расскажу вам на ушко. Что же касается тех других стихов, то он написал их позднее в честь невесты, когда готовился вступить в брак, и от них веет уже каким-то супружеским холодком. А я придерживаюсь мнения тех, кто считает, что поэзия улыбается только там, где ей приходится иметь дело с предметами шаловливыми и легкомысленными. (Эти стихи можно прочесть в другом месте[2] [broken link: #na29_2].)

## Глава XXX
## Об умеренности[1] [broken link: #na30_1]

Можно подумать, что наше прикосновение несет с собою заразу; ведь мы портим все, к чему ни приложим руку, как бы ни было оно само по себе хорошо и прекрасно. Можно и к добродетели прилепиться так, что она станет порочной: для этого стоит лишь проявить к ней слишком грубое и необузданное влечение. Те, кто утверждает, будто в добродетели не бывает чрезмерного по той причине, что все чрезмерное не есть добродетель, просто играют словами:

> *Insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui,*
> *Ultra quam satis est virtutem si petat ipsam.[2] [broken link: #na30_2]*

Это не более, как философское ухищрение. Можно и чересчур любить добродетель и впасть в крайность, ревнуя к справедливости. Здесь уместно вспомнить слова апостола: «Не будьте более мудрыми, чем следует, но будьте мудрыми в меру»[3] [broken link: #na30_3].

Я видел одного из великих мира сего, который подорвал веру в свое благочестие, будучи слишком благочестив для людей его положения[4] [broken link: #na30_4].

Я люблю натуры умеренные и средние во всех отношениях. Чрезмерность в чем бы то ни было, даже в том, что есть благо, если не оскорбляет меня, то, во всяком случае, удивляет, и я затрудняюсь, каким бы именем ее окрестить. И мать Павсания[5] [broken link: #na30_5], которая первой изобличила сына и принесла первый камень, чтобы его замуровать, и диктатор Постумий[6] [broken link: #na30_6], осудивший на смерть своего сына только за то, что пыл юности увлек того во время успешной битвы с врагами, и он оказался немного впереди своего ряда, кажутся мне скорее странными, чем справедливыми. И я не имею ни малейшей охоты ни призывать к столь дикой и столь дорогой ценой купленной добродетели, ни следовать ей.

Лучник, который допустил перелет, стоит того, чья стрела не долетела до цели. И моим глазам так же больно, когда их внезапно поражает яркий свет, как и тогда, когда я вперяю их во мрак. Калликл у Платона говорит, что крайнее увлечение философией вредно[7] [broken link: #na30_7], и со-

ветует не углубляться в нее далее тех пределов, в каких она полезна; если заниматься ею умеренно, она приятна и удобна, но, в конце концов, она делает человека порочным и диким, презирающим общие верования и законы, врагом приятного обхождения, врагом всех человеческих наслаждений, не способным заниматься общественной деятельностью и оказывать помощь не только другому, но и себе самому, готовым безропотно сносить оскорбления. Он вполне прав, если предаваться в философии излишествам, она отнимает у нас естественную свободу и своими докучливыми ухищрениями уводит с прекрасного и ровного пути, который начертала для нас природа.

Привязанность, которую мы питаем к нашим женам, вполне законна; теология, однако, всячески обуздывает и ограничивает ее. Я когда-то нашел у святого Фомы[8] [broken link: #na30_8], в том месте, где он осуждает браки между близкими родственниками, среди других доводов также и следующий: есть опасность, что чувство, питаемое к жене-родственнице, может стать неумеренным; ведь, если муж в должной мере испытывает к жене подлинную и совершенную супружескую привязанность и к ней еще добавляется та привязанность, которую мы должны

испытывать к родственникам, то нет никакого сомнения, что этот излишек заставит его выйти за пределы разумного.

Пауки, определяющие поведение и нравы людей, — как философия и теология, — вмешиваются во все: нет среди наших дел и занятий такого, — сколь бы оно ни было личным и сокровенным, — которое могло бы укрыться от их назойливых взглядов и их суда. Избегать их умеют лишь те, кто ревниво оберегает свою свободу. Таковы женщины, предоставляющие свои прелести всякому, кто пожелает: однако стыд не велит им показываться врачу. Итак, я хочу от имени этих наук наставить мужей (если еще найдутся такие, которые и в браке сохраняют неистовство страсти), что даже те наслаждения, которые они вкушают от близости с женами, заслуживают осуждения, если при этом они забывают о должной мере, и что в законном супружестве можно так же впасть в распущенность и разврат, как и в прелюбодейной связи. Эти бесстыдные ласки, на которые толкает нас первый пыл страсти, не только исполнены непристойности, но и несут в себе пагубу нашим женам. Пусть лучше их учит бесстыдству кто-нибудь другой. Они и без того всегда готовы пойти нам навстречу. Что до меня,

то я следовал лишь естественным и простым влечениям, внушаемым нам самой природой.

Брак — священный и благочестивый союз; вот почему наслаждения, которые он нам приносит, должны быть сдержанными, серьезными, даже, в некоторой мере, строгими. Это должна быть страсть совестливая и благородная. И поскольку основная цель такого союза — деторождение, некоторые сомневаются, дозволительна ли близость с женой в тех случаях, когда мы не можем надеяться на естественные плоды, например, когда женщина беременна или когда она вышла уже из возраста. По мнению Платона, это то же, что убийство[9] [broken link: #na30_9]. Некоторые народы и, между прочим, магометане гнушаются сношений с беременными женщинами; другие — когда у женщины месячные. Зенобия допускала к себе мужа один только раз, а затем в течение всего периода беременности не разрешала прикасаться к ней; и только тогда, когда наступало время вновь зачать, он снова приходил к ней. Вот похвальный и благородный пример супружества[10] [broken link: #na30_10].

У какого-то истомившегося и жадного до этой утехи поэта Платон позаимствовал такой рассказ. Однажды Юпитер до того возгорелся желанием

насладиться со своей женой, что, не имея терпения подождать, пока она ляжет на ложе, повалил ее на пол. От полноты испытанного им удовольствия он начисто забыл о решениях, только что принятых им совместно с богами на его небесном придворном совете. Он похвалялся затем, что ему на этот раз было так же хорошо, как тогда, когда он лишил свою жену девственности тайком от ее и своих родителей[11] [broken link: #na30_11].

Цари Персии хотя и приглашали своих жен на пиры, но когда желания их от выпитого вина распалялись и им начинало казаться, что еще немного и придется снять узду со страстей, они отправляли их на женскую половину, дабы не сделать их соучастницами своей безудержной похоти, и звали вместо них других женщин, к которым не обязаны были относиться с таким уважением.

Не всякие удовольствия и не всякие милости в одинаковой мере приличествуют людям разного положения. Эпаминонд велел посадить в темницу одного распутного юношу; Пелопид попросил его выпустить ради него узника на свободу; Эпаминонд ответил отказом, но уступил ходатайству одной из своих подруг, которая также об этом просила. Он следующим образом

объяснил свое поведение: это была милость, оказанная приятельнице, но недостойная по отношению к военачальнику. Софокл, будучи претором одновременно с Периклом, увидел однажды проходившего мимо красивого юношу. «Погляди, какой прелестный юноша!» — сказал он Периклу, на что Перикл ответил: «Он может быть желанен для всякого, но не для претора, у которого должны быть незапятнанными не только руки, но и глаза».

Когда жена императора Элия Вера стала жаловаться, что он ищет любовных утех с другими женщинами, тот ей ответил, что делает это со спокойной совестью, так как брак есть исполненный достоинства, честный союз, а не легкомысленная и сладострастная связь. И наши старинные церковные авторы с похвалой вспоминают о женщине, которая дала развод своему мужу, потому что не пожелала терпеть его чрезмерно сладострастные и бесстыдные ласки. И, вообще говоря, нет такого дозволенного и законного наслаждения, в котором излишества и неумеренность не заслуживали бы нашего порицания.

Но, говоря по совести, до чего же несчастное животное — человек! Самой природой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное

и цельное наслаждение, и однако же он сам старается урезать его своими нелепыми умствованиями. Видно, он еще недостаточно жалок, если не усугубляет сознательно и умышленно своей горькой доли:

> *Fortunae miseras auximus arte vias.[12] [broken link: #na30_12]*

Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь ограничить количество и сладость предоставленных нам удовольствий, — совсем так же, как и тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабы пригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность к ним. Если бы я был главой какой-нибудь секты, я избрал бы другой, более естественный путь, который и впрямь является и более удобным и более праведным; и я, быть может, сумел бы увлечь людей на него.

Между тем, наши врачеватели, и телесные и духовные, словно сговорившись между собой, не находят ни другого пути к исцелению, ни других лекарств против болезней души и тела, кроме мучений, боли и наказаний. Бдения, посты, власяница, изгнание в отдаленные и пустынные местности, заключение навеки в темницу, би-

чевание и прочие муки были введены именно ради этого и притом с непременным условием, чтобы они были самыми что ни на есть настоящими муками и мы со всей остротой ощущали бы их горечь и чтобы не получалось так, как произошло с неким Галлионом[13] [broken link: #na30_13], который, будучи отправлен в изгнание на остров Лесбос, как сообщили оттуда в Рим, жил там в свое удовольствие, и, таким образом, то, что предназначалось ему в наказание, превратилось для него в благоденствие; тогда сенат, изменив ранее принятое решение, возвратил его обратно к жене и приказал ему не отлучаться из дома, дабы он и в самом деле почувствовал, что наказан. Ибо, кому пост придает здоровья и бодрости, кому рыба нравится больше, для того пост уже не будет исцеляющим душу средством; и точно так же, при врачевании тела, лекарства не оказывают полезного действия на того, кто принимает их с охотою и удовольствием. Горечь и отвращение, которое они вызывают, являются обстоятельствами, содействующими их целительным свойствам. Человек, который мог бы употреблять ревень как обычную пищу, не испытывал бы никакой пользы от его применения: надо, чтобы ревень бередил желудок, — только

тогда он может оказать полезное действие. Отсюда вытекает общее правило, что все исцеляется своею противоположностью, ибо только боль врачует боль.

Это наводит на мысль о другом, весьма странном мнении, будто бы небесам и природе можно угодить кровопролитием и человекоубийством, как это признавалось всеми религиями. Еще на памяти наших отцов Мурад[14] [broken link: #na30_14], захватив Коринфский перешеек, принес в жертву душе своего отца шестьсот молодых греков, чтобы их кровь искупила грехи покойного. И в новых землях, открытых уже в наше время, столь чистых и девственных по сравнению с нашими, подобный обычай имеет повсеместное распространение[15] [broken link: #na30_15]; все их идолы захлебываются в человеческой крови, причем нередки примеры невообразимой жестокости. Жертвы поджаривают живыми и наполовину изжаренными вытаскивают из жаровни, чтобы вырвать у них сердце и внутренности. У других, в том числе даже у женщин, сдирают заживо кожу и этой еще окровавленной кожей накрываются сами и облачают в нее других. И мы встречаем у этих народов не меньше, чем у нас, примеров твердости и мужества.

Ибо эти несчастные — старики, женщины, дети, предназначенные в жертву, — за несколько дней перед священнодействием обходят, собирая милостыню, дома, дабы принести ее в дар при жертвоприношении, и являются на эту бойню приплясывая и распевая вместе с сопровождающей их толпой. Послы мексиканского владыки, описывая Фердинандо Кортесу мощь и величие своего господина, сообщили ему прежде всего о том, что у него тридцать вассалов и каждый из них может выставить по сто тысяч воинов и что он обитает в самом красивом и самом укрепленном, какой только существует в мире, городе, и под конец добавили, что ему полагается ежегодно приносить в жертву богам пятьдесят тысяч человек. Он ведет, — говорили они, — непрерывные войны с некоторыми большими, живущими по соседству народами не только для того, чтобы доставить упражнение молодежи своей страны, но и с целью обеспечить в своем государстве жертвоприношения военнопленными. В другой раз, в одном из их городов, по случаю прибытия туда Кортеса, было единовременно принесено в жертву пятьдесят человек. Расскажу еще следующее: некоторые из этих народов, разбитые Кортесом, дабы признать себя побежденными и

искать его дружбы, отправили к нему своих представителей; послы, передавая три вида подарков, сказали: «Господин, вот тебе пять рабов. Если ты грозный бог и питаешься мясом и кровью, пожри их, и мы тебя еще больше возлюбим; если ты кроткий бог, вот ладан и перья; если же ты человек, прими этих птиц и эти плоды».

## Глава XXXI
## О каннибалах

Царь Пирр[1] [broken link: #na31_1], переправившись в Италию и увидев боевой строй высланного против него римского войска, сказал: «Я не знаю, что тут за варвары (ибо греки называли так всех чужестранцев), но расположение войска, которое я пред собой вижу, нисколько не варварское». То же самое говорили и греки о войске, переправленном к ним Фламинием[2] [broken link: #na31_2]; то же мнение высказал и Филипп, рассматривая с холма порядок и расположение римского лагеря, разбитого на его земле Публием Сульпицием Гальбой[3] [broken link: #na31_3]. Это показывает, с какой осторожностью следует относиться к общепринятым мнениям, а также, что судить о чем бы то ни было надо, опираясь на разум, а не на общее мнение.

У меня довольно долго служил человек, проведший десять или двенадцать лет в том Новом Свете, который открыт уже в наше время; он жил в тех местах, где пристал к берегу Вильганьон[4] [broken link: #na31_4], назвавший эту землю

Антарктической Францией. Это открытие бескрайной страны является, по-видимому, весьма важным. Я не мог бы, впрочем, поручиться за то, что в будущем не будет открыта еще какая-нибудь другая, ведь столько людей, гораздо ученее нас, ошибались на этот счет. Я опасаюсь, однако, что наши глаза алчут большего, чем может вместить желудок, а также что любопытство в нас превосходит наши возможности. Мы захватываем решительно все, но наша добыча — ветер.

Солон у Платона[5] [broken link: #na31_5] пересказывает слышанное им от жрецов города Саиса в Египте: некогда, еще до потопа, существовал большой остров, по имени Атлантида, расположенный прямо на запад от того места, где Гибралтарский пролив смыкается с океаном. Этот остров был больше Африки и Азии взятых вместе, и цари этой страны, владевшие не только одним этим островом, но утвердившиеся и на материке, — так что они господствовали в Африке вплоть до Египта, а в Европе вплоть до Тосканы, — задумали вторгнуться даже в Азию и подчинить народы, обитавшие на берегах Средиземного моря до залива его, известного под именем Большого моря[6] [broken link: #na31_6]. С этой целью они переправились в Испанию,

пересекли Галлию, Италию и дошли до Греции, где их задержали афиняне. Однако некоторое время спустя и они, и афиняне, и их остров были поглощены потопом. Весьма вероятно, что эти ужасные опустошения, причиненные водами, вызвали много причудливых изменений в местах обитания человека; ведь считают же, что море оторвало Сицилию от Италии,

> *Haec loca, vi quondam et vasta convulsa ruina,*
>
> *Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus*
>
> *Una foret.[7] [broken link: #na31_7]*

Кипр от Сирии, остров Негрепонт[8] [broken link: #na31_8] от материковой Беотии и, напротив, воссоединило другие земли, которые прежде были отделены друг от друга, заполнив песком и илом углубления между ними:

> *sterilisque diu palus aptaque remis*
>
> *Vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum.[9] [broken link: #na31_9]*

Но не похоже, чтобы этим островом и был Новый Свет, который мы недавно открыли, ибо вышеупомянутый остров почти соприкасался с

Испанией, и трудно поверить, чтобы наводнение могло затопить страну протяжением более чем на тысячу двести лье; а кроме того, открытия мореплавателей нашего времени с точностью установили, что это не остров, но материк, примыкающий, с одной стороны, к Ост-Индии, а с другой — к землям, расположенным у того и другого полюса, — или, если он все-таки не смыкается с ними, то они отделены друг от друга настолько узким проливом, что это не дает основания называть новооткрытую землю островом[10] [broken link: #na31_10].

По-видимому, этим огромным телам присущи, как и нашим, движения двоякого рода — естественные и судорожные. Когда я вспоминаю о переменах, произведенных, можно сказать, у меня на глазах моею родною Дордонью на правом ее берегу, если смотреть вниз по течению, и о том, что за двадцать лет она передвинулась до такой степени, что размыла фундаменты многих строений, я отчетливо вижу, что тут речь идет не об естественном, но о судорожном движении, ибо, если бы она и прежде перемещалась с подобной быстротой и впредь стала бы вести себя не иначе, то весь облик мира был бы изменен ею одной. Но реки, как правило, не всегда ведут себя

одинаково: то они смещаются в одну сторону, то в другую, а то держатся совего старого русла. Я не говорю о внезапных наводнениях, причины которых нам хорошо известны. В Медоне[11] [broken link: #na31_11] море засыпало извергнутым им песком земли моего брата, господина д'Арсака; виднеются только коньки крыш каких-то строений; сдававшиеся им в аренду участки и его возделанные поля превратились в скудные пастбища. Обитатели этих мест говорят, что с некоторых пор море так стремительно наступает на них, что они потеряли уже целях четыре лье прибрежной земли. Эти пески как бы его квартирьеры, и мы видим огромные груды их, которые движутся на полулье впереди моря, завоевывая для него сушу.

Другое свидетельство древних, с которым также хотят связать открытие Нового Света, мы находим у Аристотеля, если только та книжечка, где повествуется о неслыханных чудесах, действительно принадлежит ему[12] [broken link: #na31_12]. В ней он рассказывает, что несколько карфагенян, миновав Гибралтарский пролив и выйдя в Атлантический океан, после долгого плавания вдалеке от всякого материка открыли в конце концов большой плодородный остров,

весь покрытый лесами и орошаемый полноводными и глубокими реками; впоследствии и они, и вслед да ними другие, привлекаемые красотой и плодородием этого острова, отправились туда вместе с женами и детьми и начали там обосновываться. Властители Карфагена, однако, увидев, что страна их мало-помалу становится все безлюднее, издали строгий приказ, которым под страхом смерти запрещалось переселяться туда кому бы то ни было; этим же приказом они изгнали оттуда всех раньше поселившихся там из опасения, как бы те, умножившись в числе, не подавили их и не разорили их государства. Но и этот рассказ Аристотеля не имеет ни малейшего отношения к недавно открытым землям.

Слуга, о котором я говорю, был человеком простым и темным, а это как раз одно из необходимых условий достоверности показаний, ибо люди с более тонким умом наблюдают, правда, с большей тщательностью и видят больше, но они склонны придавать всему свое толкование, и, желая набить ему цену и убедить слушателей, не могут удержаться, чтобы не исказить, хоть немного, правду; они никогда не изобразят вещей такими, каковы они есть; они их переиначивают и приукрашивают в соответствии с тем, какими

показались они им самим; и с целью придать вес своему мнению и склонить вас на свою сторону они охотно присочиняют кое-что от себя, так сказать, расширяя и удлиняя истину. Тут нужен либо человек исключительно добросовестный, либо настолько простой, чтобы его умение сочинять небылицы и придавать вид достоверности выдумкам превосходило его способности, и вообще человек без предвзятых мыслей. Именно таким и был мой слуга. А кроме того, он не раз приводил ко мне матросов я купцов, с которыми свел знакомство во время своего путешествия. Таким образом, меня вполне удовлетворяют сведения, которыми они снабдили меня, и я не стану справляться, что говорят об этих вещах космографы.

Нам нужны географы, которые дали бы точное описание местностей, где они побывали. Но имея перед нами то преимущество, что они собственными глазами видели, например, Палестину, они стремятся воспользоваться этою привилегией и порассказать, сверх того, обо всем в мире. Я хотел бы, чтобы не только в этой области, но и во всех остальных каждый писал только о том, что он знает, и в меру того, насколько он знает, ибо иной может обладать точнейшими сведениями о свойствах какой-либо реки или

источника, которые, может статься, он испытал на себе, а вместе с тем, не знать всего прочего, что известно каждому. Но вместо того, чтобы пустить в обращение малую толику своих знаний, он порождает многие весьма важные неудобства. Итак, я нахожу — чтобы вернуться, наконец, к своей теме, — что в этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас, по-видимому, нет другого мерила истинного и разумного, как служащие нам примерами и образцами мнения и обычаи нашей страны. Тут всегда и самая совершенная религия, и самый совершенный государственный строй, и самые совершенные и цивилизованные обычаи. Они дики в том смысле, в каком дики плоды, растущие на свободе, естественным образом; в действительности скорее подобало бы назвать дикими те плоды, которые человек искусственно исказил, изменив их природные качества. В дичках в полной силе сохраняются их истинные в наиболее полезные свойства, тогда как в плодах, выращенных нами искусственно, мы только извратили эти природные свойства, приспособив к своему испорченному

дурному вкусу. И все же даже на наш вкус наши плоды в нежности и сладости уступают плодам этих стран, не знавшим никакого ухода. Да и нет причин, чтобы искусство хоть в чем-нибудь превзошло нашу великую и всемогущую мать-природу. Мы настолько обременили красоту и богатство ее творений своими выдумками, что, можно сказать, едва не задушили ее. Но всюду, где она приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной силой посрамляет все наши тщетные и дерзкие притязания,

*Et veniunt hederae sponte sua melius,*
*Surgit et in solis formosior arbutus antris,*
*.....*
*Et volucres nulla dulcius arte canunt.[13] [broken link: #na31_13]*

Все наши усилия не в состоянии воспроизвести гнездо даже самой маленькой птички, его строение, красоту и целесообразность его устройства, как, равным образом, и паутину жалкого паука. Всякая вещь, говорит Платон, порождена либо природой, либо случайностью, либо искусством человека; самые великие и прекрасные — первой и второй; самые незначительные и несовершенные — последним[14] [broken link: #na31_14].

Итак, эти народы кажутся мне варварскими только в том смысле, что их разум еще мало возделан и они еще очень близки к первозданной непосредственности и простоте. Ими все еще управляют естественные законы, почти не извращенные нашими. Они все еще пребывают в такой чистоте, что я порою досадую, почему сведения о них не достигли нас раньше, в те времена, когда жили такие люди, которые могли бы судить об этом лучше, чем мы. Мне досадно, что ничего не знали о них ни Ликург, ни Платон; ибо то, что мы видим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, не только все картины, которыми поэзия изукрасила золотой век, и все ее выдумки и фантазии о счастливом состоянии человечества, но даже и самые представления и пожелания философии. Философы не были в состоянии вообразить себе столь простую и чистую непосредственность, как та, которую мы видим собственными глазами; они не могли поверить, что наше общество может существовать без всяких искусственных ограничений, налагаемых на человека. Вот народ, мог бы сказать я Платону[15] [broken link: #na31_15], у которого нет никакой торговли, никакой письменности, никакого знакомства со счетом, никаких признаков власти

или превосходства над остальными, никаких следов рабства, никакого богатства и никакой бедности, никаких наследств, никаких разделов имущества, никаких занятий, кроме праздности, никакого особого почитания родственных связей, никаких одежд, никакого земледелия, никакого употребления металлов, вина или хлеба. Нет даже слов, обозначающих ложь, предательство, притворство, скупость, зависть, злословие, прощение. Насколько далеким от совершенства пришлось бы ему признать вымышленном им государство!

> *Viri a diis recentes.[16] [broken link: #na31_16]*
>
> *Hos natura modos primum dedit.[17] [broken link: #na31_17]*

К тому же они обитают в стране с очень приятным и умеренным климатом, так что там, как сообщали мне очевидцы, очень редко можно встретить больного; и они уверяли меня, что им ни разу не пришлось видеть в этой стране старика, у которого тряслись бы от старости руки, гноились глаза, согнулась спина или выпали зубы. Они живут на морском побережье, и со стороны материка их защищают огромные и

высокие горы, причем между горами и морем остается полоса приблизительно в сто лье шириной. У них великое изобилие рыбы и мяса различных животных, совершенно непохожих на наших, и едят они эту пищу без всяких приправ, лишь изжарив ее. Первый, кто появился у них верхом на коне, хотя они и знали этого человека по прежним его путешествиям, вызвал у них такой неописуемый ужас, что они убили его, осыпав стрелами, прежде чем смогли распознать. Их здания очень вытянуты в длину и вмещают от двухсот до трехсот душ; они обложены корою больших деревьев, причем полосы этой коры одним концом упираются в землю, а другим сходятся у вершины крыши, образуя конек и поддерживая друг друга, наподобие наших риг, кровля которых спускается до самой земли, служа одновременно и боковыми стенами.

Есть у них столь твердое дерево, что они изготовляют из него мечи и вертелы для жарения мяса. Их постели сделаны из бумажной ткани, и они подвешивают их к потолку, вроде того, как это принято у нас на кораблях, причем у каждого своя собственная постель, ибо жена у них спит отдельно от мужа. Встают же они вместе с солнцем и, как только встанут, принимаются за еду, нае-

даясь сразу на целый день, ибо другой трапезы у них не бывает. При этом они совершенно не пьют, подобно тому как и некоторые живущие на востоке народы, которые, по словам Суды[18] [broken link: #na31_18], никогда не пьют за едою; зато они пьют несколько раз в течения дня, и помногу. Их питье варится из какого-то корня и цветом напоминает наше легкое красное вино. Пьют они его только теплым; оно сохраняется не более двух-трех дней; на вкус оно несколько терпкое, нисколько не опьяняет и благотворно действует на желудок; на тех, однако, кто не привык к нему, оно действует как слабительное; но для тех, кто привык, это очень приятный напиток. Вместо хлеба они употребляют какое-то белое вещество, напоминающее сваренный в сахаре кориандр[19] [broken link: #na31_19]. Я отведал его; оно сладкое и чуть приторное на вкус. Весь день проходит у них в плясках. Те, кто помоложе, отправляются на охоту; охотятся же они на зверей вооруженные луком. Часть женщин занимается в это время подогреванием их напитка, и это главное их занятие. Один из стариков по утрам, прежде чем все остальные примутся за еду, читает проповедь всем обитателям дома, двигаясь с одного конца его до другого и бормоча одно и то же, пока не

обойдет всех (ведь их постройки в длину имеют добрую сотню шагов). Он внушает им только две вещи: храбрость в битвах с врагами и добрые чувства к женам, причем никогда не забывает прибавить, словно припев, что к женам должно питать благодарность за заботу о том, чтобы их питье было теплым и вкусным. У многих и, в частности, у меня можно увидеть образцы тамошних постелей, бечевок, мечей и деревянных запястий, которыми они прикрывают кисть руки во время сражений, а также длинных, выдолбленных с одного конца тростинок; дуя в них они извлекают звуки, под которые пляшут. Они бреют лицо, голову и все тело, причем делают это чище нашего, хоть бритвы у них каменные или деревянные. Они верят в бессмертие души и полагают, что те, кто заслужил это перед богами, пребывают на той стороне неба, где солнце всходит, а осужденные — на той, где оно заходит.

Есть у них своего рода жрецы и пророки, которые, однако, очень редко показываются народу, ибо живут где-то в горах. В честь их появления устраивается большое празднество, на которое собираются обитатели нескольких деревень (каждое жилище, мною описанное, представляет собой деревню, и находятся они примерно на рас-

стоянии французского лье одно от другого). Этот пророк держит речь перед жителями, призывая их к добродетели и к исполнению долга; впрочем, вся их мораль сводится к двум предписаниям, а именно: быть отважными на войне и любить своих жен. Такой пророк предсказывает им будущее и разъясняет, на какой исход своих начинаний они могут рассчитывать; он же побуждает их к войне, или, напротив, отговаривает от нее. Он должен угадать правильно, потому что, если случится не так, как он предсказал, его объявят лжепророком и, поймав, изрубят на тысячу кусков. Поэтому тот из пророков, который ошибся в своих предсказаниях, старается навсегда скрыться с глаз своих земляков.

Дар прорицания — дар божий: вот почему злоупотребление им есть обман, который подлежит наказанию. Когда у скифов случалось, что предсказание их прорицателя не оправдывалось, они сковывали его по рукам и ногам, бросали на устланные вереском и влекомые быками повозки, а затем сжигали на них. Можно простить ошибки людей, берущихся судить о вещах, находящихся в пределах человеческого разума и способностей, если они сделали все, что в их силах. Но не следует ли карать за невыполне-

ние обещанного и за дерзость обмана тех, кто хвалится необычайными способностями, превосходящими силу человеческого разумения?

Они ведут войны с народами, обитающими в глубине материка, по ту сторону гор, причем на войну они отправляются совершенно нагими, не имея другого оружия, кроме луков и стрел или деревянных мечей, заостренных наподобие железных наконечников наших копий. Поразительно, до чего упорны их битвы, которые никогда не заканчиваются иначе, как страшным кровопролитием и побоищем, ибо ни страх, ни бегство им не известны. Каждый приносит с собой в качестве трофея голову убитого им врага, которую и подвешивает у входа в свое жилище. С пленными они долгое время обращаются хорошо, предоставляя им все удобства, какие те только могут пожелать; но затем владелец пленника приглашает к себе множество своих друзей и знакомых; обвязав руку пленника веревкою и крепко зажав конец ее в кулаке, он отходит на несколько шагов, чтобы пленник не мог до него дотянуться, а своему лучшему другу он предлагает держать пленника за другую руку, обвязав ее веревкою точно так же, после чего на глазах всех собравшихся оба они убивают его, нанося удары

мечами. Сделав это, они жарят его и все вместе съедают, послав кусочки мяса тем из друзей, которые почему-либо не могли явиться. Они делают это, вопреки мнению некоторых, не ради своего насыщения, как делали, например, в древности скифы, но чтобы осуществить высшую степень мести. И что это действительно так, доказывается следующим: увидев, что португальцы, вступившие в союз с их врагами, казнят попавших к ним в плен их сородичей по-иному, а именно зарывая их до пояса в землю и осыпая открытую часть тела стрелами, а затем вешая, они решили, что эти люди, явившиеся к ним из другого мира, распространившие среди их соседей знакомство со многими неведомыми доселе пороками и более изощренные в злодеяниях, чем они, не без основания, должно быть, применяют такой вид мести, который, очевидно, мучительнее принятого у них, — и вот, они начали отказываться от своего старого способа и переходить к новому. Меня огорчает не то, что мы замечаем весь ужас и варварство подобного рода действий, а то, что должным образом оценивая прегрешения этих людей, до такой степени слепы к своим. Я нахожу, что гораздо большее варварство пожирать человека заживо, чем пожирать его мертвым,

большее варварство раздирать на части пытками и истязаниями тело, еще полное живых ощущений, поджаривать его на медленном огне, выбрасывать на растерзание собакам и свиньям (а мы не только читали об этих ужасах, но и совсем недавно были очевидцами их[20] [broken link: #na31_20], когда это проделывали не с закосневшими в старинной ненависти врагами, но с соседями, со своими согражданами, и, что хуже всего, прикрываясь благочестием и религией), чем изжарить человека и съесть его после того, как он умер.

Хрисипп и Зенон, основатели стоической школы, полагали, что нет ничего зазорного в том, чтобы любым способом использовать наш трупы, если в этом есть надобность, и даже питаться ими; именно так поступили наши предки, которые во время осады Цезарем города Алезии[21] [broken link: #na31_21] решили смягчить голод, вызванный этой осадою, употребив в пищу тела стариков, женщин и всех неспособных носить оружие.

> *Vascones, fama est, alimentis talibus usi*
> *Produxere animas.[22] [broken link: #na31_22]*

Да и врачи также не стесняются изготовлять из трупов различные снадобья для возвращения нам здоровья, то прописывая последние внутрь, то применяя их как наружные[23] [broken link: #na31_23]; но никогда никто не придерживался столь безнравственных взглядов, чтобы оправдывать измену, бесчестность, тиранию, жестокость, то есть наши обычные прегрешения.

Итак, мы можем, конечно, назвать жителей Нового Света варварами, если судить с точки зрения требований разума, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во всякого рода варварстве мы оставили их далеко позади себя. Их способ ведения войны честен и благороден, и даже извинителен и красив — настолько, насколько может быть извинителен и красив этот недуг человечества: основанием для их войн является исключительно влечение к доблести. Они начинают войну не ради завоевания новых земель, ибо все еще наслаждаются плодородием девственной природы, снабжающей их, без всякого усилия с их стороны, всем необходимым для жизни в таком изобилии, что им незачем расширять собственные пределы. Они пребывают в том благословенном состоянии духа, когда в человеке еще нет желаний сверх

вызываемых его естественными потребностями; все то, что превосходит эти потребности, им ни к чему. Всех своих единомышленников, которые примерно одинакового с ними возраста, они называют братьями, младших — своими детьми, стариков же — отцами. Эти последние оставляют свое имущество в наследство всей общине, без раздела и без всякого иного права на владение им, кроме того, какое дарует своим созданиям, производя их на свет, природа. Если их соседи, перейдя через горы, совершают на них нападение и одерживают победу, то вся добыча победителя — только в славе да еще в сознании своего превосходства в силе и доблести; им нет дела до имущества побежденных, и они возвращаются в свою область, где у них нет недостатка ни в чем, а главное — в том величайшем благе, которое состоит в умении наслаждаться своей долей и довольствоваться ею. Так же поступают, в свою очередь, и они сами, когда им случается быть победителями. Они не требуют от своих пленных иного выкупа, кроме громко сделанного заявления, что те признали себя побежденными; но в течение целого столетия не нашлось среди них такого, который не предпочел бы умереть, нежели хоть сколько-нибудь поступиться в своих

речах или действиях величием своего несокрушимого мужества; и не встретишь среди них такого, который из страха быть убитым и съеденным унизился бы до просьбы о помиловании. Они предоставляют пленникам полную свободу для того, чтобы жизнь приобрела для них тем большую цену, и постоянно напоминают им об их близкой смерти, о муках, которые им предстоит вытерпеть, о приготовлениях, производимых с этой целью, о том, как они разрубят их на кусочки и будут лакомиться ими на своем пиршестве. Все это делается исключительно для того, чтобы вырвать у них хотя бы несколько малодушных и униженных слов или пробудить в них желание бежать и таким образом, напугав их и сломив их стойкость, почувствовать свое превосходство над ними. Ибо, в сущности говоря, именно в этом и состоит подлинная победа:

*victoria nulla est*

*Quam*
*quae confessos animo quoque subiugat hostes.[24] [broken link: #na31_24]*

Венгры, весьма воинственная нация, в былые времена никогда не добивали своих врагов, когда те начинали молить их о пощаде. Но, вырвав у

них это признание в своем поражении, венгры, не причиняя им вреда, отпускали их без выкупа, самое большее, — взяв с них слово, что впредь те никогда уже не выступят против них.

Весьма часто своим превосходством над врагом мы бываем обязаны преимуществам внешним, случайным, а не таким, которые относятся к числу наших достоинств. Крепкие руки и ноги хороши для носильщика, но они не имеют никакого отношения к доблести; наше сложение — это качество бездушное и чисто телесное; если наш противник споткнулся или глаза его ослепило солнце, это подарок судьбы и ничего больше; умение хорошо фехтовать — не что иное, как знание и искусство, которые могут быть усвоены человеком трусливым и ничтожным. Ценность и достоинство человека заключены в его сердце и в его воле; именно здесь — основа его подлинной чести. Доблесть есть сила не наших рук или ног, но мужества и души; она зависит от качеств не нашего коня или оружия, но только от наших собственных. Тот, кто пал, не изменив своему мужеству, si succiderit, de genu pugnat[25] [broken link: #na31_25], тот, кто пред лицом грозящей ему смерти не утрачивает способности владеть собой, тот, кто, испуская последнее дыхание, смотрит

на своего врага твердым и презрительным взглядом, — тот сражен, но не побежден.

Самые доблестные бывают порой и самыми несчастливыми.

Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у победителей. Четыре победы, эти четыре сестры, прекраснейшие из всех, какие когда-либо видело солнце, — при Саламине, Платеях, при Микале и в Сицилии, — не осмелились противопоставить всю свою славу, вместе взятую, славе поражения царя Леонида и его воинов в Фермопильском ущелье[26] [broken link: #na31_26].

Устремлялся ли кто-нибудь когда-нибудь с таким великолепным и гордым мужеством навстречу своей победе, как Исхолай[27] [broken link: #na31_27] устремился навстречу верному поражению? Кто столь же искусно и предусмотрительно действовал ради своего спасения, как он — ради гибели? Ему было поручено оборонять от аркадян одно из ущелий, ведущих в Пелопоннес. Выяснив, что это совершенно невыполнимо по причине условий местности и неравенства в силах, и понимая, что всякий, кто выступит против врага, неминуемо ляжет на месте, но считая, вместе с тем, недостойным своей доблести,

величия и имени лакедемонянина не выполнить возложенной на него задачи, он принял следующее, среднее между двумя этими крайностями, решение. Наиболее сильных и молодых воинов, дабы сберечь их для служения и защиты родины, он отослал от себя, с остальными же, гибель которых была не столь ощутительна, он решил отстаивать это ущелье, чтобы своей и их смертью принудить врагов оплатить возможно дороже этот проход. Так оно и случилось, ибо, окруженные почти отовсюду аркадянами, среди которых они учинили страшное избиение, и он и все его воины были перебиты один за другим. Существует ли какой-нибудь трофей в честь победителей, который не подобало бы присудить скорее таким побежденным? Кто подлинный победитель, решается не исходом сражения, а ходом его; и честь воина и доблесть его в том, чтобы биться; а не в том, чтобы разбить врага.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Как бы пленников ни запугивали, так и не удается заставить их проявить малодушие; напротив, в течение двух-трех месяцев, пока их не трогают, они держатся бодро и весело, торопят своих победителей поскорее подвергнуть их последнему испытанию, поносят их, осыпают бранью и упреками

в трусости, перечисляют битвы, проигранные ими их соплеменникам. У меня есть сочиненная одним из пленников песнь, в которой поется: пусть все они смело приходят и собираются, чтобы насытиться им; ведь они будут есть своих отцов и своих предков, которые послужили пищей для его тела и взрастили его. «Эти мышцы, — говорит он, — это мясо и жилы — ваши, жалкие вы глупцы! Вы не хотите признать, что в них еще сохраняется та же плоть, из которой состояли тела ваших предков? Так распробуйте же их хорошенько, и вы ощутите в них вкус своего собственного мяса».

Такая поэзия нисколько не отзывается варварством. Люди, видевшие, как они расстаются с жизнью, изображая картину их казни, рассказывают, что пленник плюет в лицо своим убийцам и дразнит их. Поистине, до последнего своего вздоха они не перестают держать себя вызывающе и выказывать свое презрение словами и жестами. Право же, по сравнению с нами их можно назвать сущими дикарями, ибо, по совести говоря, одно из двух — либо они дикари, либо мы: так велико различие между их образом жизни и нашим.

Мужчины у них имеют по нескольку жен, и их бывает тем больше, чем больше мужчина

славится своей доблестью. И вот прекрасная и изумительная особенность их брачных союзов: насколько наши жены стараются воспрепятствовать нам добиваться расположения и близости других женщин, настолько их жены сами стремятся к этому. Заботясь о чести своих мужей больше, чем о чем-либо ином, они прилагают все усилия к тому, чтобы у них было как можно больше товарок, ибо это свидетельствует о доблести их мужей.

Наши жены, пожалуй, скажут, что это чудо из чудес. Вовсе нет: это проявление истинной супружеской добродетели, но только в самой высокой ее форме. Загляните в Библию: Лия, Рахиль, Сарра и жены Иакова[28] [broken link: #na31_28] приводили к своим мужьям красивых рабынь; Ливия также, в ущерб себе, потворствовала вожделениям Августа, а Стратоника, жена Дейотара[29] [broken link: #na31_29], не только отдала мужу свою красивую молодую служанку, но даже заботливо воспитала ее детей и помогла им унаследовать царство отца.

Но дабы кто-нибудь не подумал, что все это не более как простая и рабская покорность общепринятым обычаям, внушенная им авторитетом давно установившегося уклада, который они

принимают безропотно и без рассуждений, ибо ум их настолько не развит, что не в состоянии представить себе что-либо иное, я могу привести несколько доказательств их одаренности и ума. Выше я привел уже отрывок из песни их воина, теперь приведу другую, любовную песню, которая начинается так: «Остановись, змейка, остановить, чтобы сестра моя могла всмотреться в узор твоей шкурки и по образцу его сделать роскошную ленту, которую я мог бы подарить моей милой; и пусть твоей красоте, твоим формам будет навсегда отдано предпочтение перед всеми другими змейками». Таков первый куплет и он же припев этой песни. Я достаточно знаком с поэзией, чтобы утверждать, что в этой песне не только нет ничего варварского, но что это самое настоящее анакреонтическое произведение[30] [broken link: #na31_30]. Кстати сказать, их язык очень мягкий, приятный на слух, напоминает своими окончаниями греческий.

Трое из этих туземцев прибыли в Руан в то самое время, когда там находился король Карл IX[31] [broken link: #na31_31]. Не подозревая того, как тяжело в будущем отзовется на их покое и счастье знакомство с нашей испорченностью, не ведая того, что общение с нами навлечет на них

гибель, — а я предполагаю, что она уже и в самом деле очень близка, — эти несчастные, увлекшись жаждою новизны, покинули приветливое небо своей милой родины, чтобы посмотреть, что представляет собою наше. Король долго беседовал с ними; им показали, как мы живем, нашу пышность, прекрасный город. После этого кому-то захотелось узнать, каково их мнение обо всем виденном и что сильнее всего поразило их; они назвали три вещи, из которых я забыл, что именно было третьим, и очень сожалею об этом; но две первые сохранились у меня в памяти. Они сказали, что прежде всего им показалось странным, как это столько больших, бородатых людей, сильных и вооруженных, которых они видели вокруг короля (весьма возможно, что они говорили о швейцарских гвардейцах), безропотно подчиняются мальчику и почему они сами не изберут кого-нибудь из своей среды, кто начальствовал бы над ними; во-вторых, — у них есть та особенность в языке, что они называют людей «половинками» друг друга, — они заметили, что между нами есть люди, обладающие в изобилии всем тем, чем только можно пожелать, в то время как их «половинки», истощенные голодом и нуждой, выпрашивают милостыню у их

дверей; и они находили странным, как это столь нуждающиеся «половинки» могут терпеть такую несправедливость, — почему они не хватают тех других за горло и не поджигают их дома.

С одним из этих туземцев я очень долго беседовал, но мой толмач так плохо переводил мои слова, и ему, по причине его тупости, так трудно было улавливать мои мысли, что я не извлек никакого удовольствия из этого разговора. На мой вопрос: какие преимущества доставляет ему высокое положение среди соплеменников (ибо это был вождь и наши матросы называли его королем), он ответил: «Идти впереди всех на войну». Когда я просил, сколько же людей ведет он за собой, он жестом отмерил некоторое пространство, желая показать, что их столько, сколько может здесь поместиться; получалось примерно четыре или пять тысяч человек. Наконец, на вопрос, не прекращается ли его власть вместе с войной, он ответил, что сохраняет ее и в мирное время и что заключается она в том, что, когда он посещает подчиненные ему деревни, жители их прокладывают для него сквозь чащу лесов тропинки, по которым он может пройти с полным удобством.

Все это не так уже плохо. Но помилуйте, они не

носят штанов!

## Глава XXXII
## О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшею осмотрительностью

Истинным раздольем и лучшим поприщем для обмана является область неизвестного. Уже сама необычайность рассказываемого внушает веру в него, и, кроме того, эти рассказы, не подчиняясь обычным законам нашей логики, лишают нас возможности что-либо им противопоставить. По этой причине, замечает Платон, гораздо легче угодить слушателям, говоря о природе богов, чем о природе людей; ибо невежество слушателей дает полнейший простор и неограниченную свободу для описания таинственного[1] [broken link: #na32_1].

Поэтому люди ни во что не верят столь твердо, как в то, о чем они меньше всего знают, и никто не разглагольствует с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например алхимики, астрологи, предсказатели, хироманты, врачи, id genus omne[2] [broken link: #na32_2]. Я охотно прибавил бы к их числу, если б осмелился,

еще целую кучу народа, а именно присяжных толкователей и угадчиков намерений божьих, которые считают своей обязанностью отыскивать причины всего, что случается, усматривать в тайнах воли господней непостижимые побуждения господних деяний; и хотя разнообразие и постоянная несогласованность происходящих событий и заставляют их метаться из стороны в сторону и из одной крайности в другую, они все же не бросают своей игры и той же самой кистью размалевывают все без разбора то в белый, то в черный цвет.

У одного индейского племени есть похвальный обычай: когда им не повезет в какой-нибудь стычке или в сражении, они всей общиной просят за это у солнца, своего бога, прощения, словно они совершили неправедное деяние; ибо свою удачу и неудачу они приписывают божественному разуму, ставя по сравнению с ним ни во что свои домыслы и суждения.

Для христианина достаточно верить, что все исходит от бога, принимать все с благодарностью и признанием его неисповедимой божественной мудрости, считать благом все выпавшее на его долю, в каком бы обличий оно ни было ему ниспослано. Но я никоим образом не могу

примириться с тем, что вижу повсюду, а именно, со стремлением утвердить и подкрепить нашу религию ссылками на успех и процветание наших дел. Наша вера располагает достаточным количеством иных оснований, не нуждаясь в подобного рода ссылках на события; ведь существует опасность, что народ, привыкнув к этим, столь соблазнительным и пришедшимся ему по вкусу доводам, когда вдруг случится что-нибудь противоположное и ему неприятное, может поколебаться в своей вере. И вот вам пример из происходящих ныне у нас религиозных войн. Победители в битве при Ларошлабейле необычайно ликовали по поводу своей удачи и видели в ней доказательство правоты своего дела. Когда же им довелось испытать поражения при Монконтуре и при Жарнаке[3] [broken link: #na32_3], им, чтобы как-нибудь объяснить свои неудачи, пришлось вспомнить и об отеческих розгах и об отеческих наказаниях. И если бы народ не был всецело у них в руках, он бы сразу почуял, что это то же самое, что за помол одного мешка брать плату дважды или, дуя себе на пальцы, одновременно студить и согревать их. Было бы много лучше сказать ему чистую правду. Несколько месяцев тому назад под командованием Дон Хуана Ав-

стрийского была одержана блестящая морская победа над турками[4] [broken link: #na32_4]; но господу богу не раз бывало угодно допускать также и победы турок над христианами. Короче говоря, трудно взвешивать на наших весах дела божий, чтобы они не терпели при этом ущерба. И кто пожелал бы придать особый смысл тому, что Арий и близкий к нему по образу мыслей папа Лев, важнейшие главари ереси ариан[5] [broken link: #na32_5], умерли хотя и в разное время, но столь сходной и странной смертью (оба они, покинув из-за резей в желудке диспут, внезапно скончались в отхожем месте), и, сверх того, особо подчеркнуть обстоятельства и самое место, где совершилось это божественное возмездие, — тому я мог бы указать в придачу и на Гелиогабала, который был убит также в нужнике[6] [broken link: #na32_6]. Но помилуйте! И святого Иринея[7] [broken link: #na32_7] постигла та же самая участь. Господь бог, желая показать нам, что благо, на которое может надеяться добрый, и зло, которого должен страшиться злой, не имеют ничего общего с удачами и неудачами мира сего, располагает ими и распределяет их согласно своим тайным предначертаниям, отнимая тем самым у нас возможность пускаться на этот счет в нелепейшие

рассуждения. И в дураках остаются те, кто пытается разобраться в этих вещах, опираясь на свой человеческий разум. За каждым удачным ударом у них следует, по меньшей мере, два промаха. Это хорошо показал св. Августин на примере своих противников. Этот спор решается скорее оружием, чем оружием разума. Нужно довольствоваться тем светом, который солнцу угодно изливать на нас своими лучами; кто же поднимет взор, чтобы впитать в себя немного больше света, пусть не сетует, если в наказание за свою дерзость он лишится зрения. Quis hominum potest scire consilium Dei? aut quis poterit cogitare quid velit dominus?[8] [broken link: #na32_8].

## Глава XXXIII
## О том, как ценой жизни убегают от наслаждений

Я убедился в том, что мнения древних, в большинстве случаев, сходятся в следующем: когда в жизни человека больше зла, нежели блага, значит настал час ему умереть; и еще: сохранять нашу жизнь для мук и терзаний — значит нарушать самые законы природы; о чем и говорят приводимые ниже древние изречения:

*Η ζην αλύπως, η θανειν ευδαιμόνως.*

*Καλόν θνησκειν οις υβριν το ζην φέρει.*

*Κρεισσον τό μη ζην εστίν η ζην αθλίως.[1] [broken link: #na33_1]*

Но доводить презрение к смерти до такой степени, чтобы использовать ее в качестве средства избавиться от почестей, богатства, высокого положения и других преимуществ и благ, которые мы называем счастьем, возлагать на наш разум еще и это новое бремя, как будто ему и без того не пришлось достаточно потрудиться, чтобы убедить нас отказаться от них, — ни таких сове-

тов, ни упоминания о действительных случаях подобного рода я не встречал, пока мне случайно не попал в руки следующий отрывок из Сенеки. Обращаясь к Луцилию, человеку весьма могущественному и имевшему большое влияние на императора, с советом сменить свою роскошную и исполненную наслаждений жизнь и суетность света на тихое и уединенное существование, заполненное философскими размышлениями, и, зная о том, что Луцилий ссылается на связанные с этим некоторые трудности, Сенека говорит: «Я держусь того мнения, что тебе надлежит либо отказаться от этого образа жизни, либо от жизни вообще; я советую, однако, избрать менее трудный путь и скорее развязать, нежели разрубить тот узел, который ты так неудачно завязал, при условии, разумеется, что, если развязать его не удастся, ты все же его разрубишь. Нет человека, каким бы трусом он ни был, который не предпочел бы упасть один единственный раз, но уже навсегда, чем постоянно колебаться из стороны в сторону»[2] [broken link: #na33_2]. Я склонен был думать, что такой совет подходит лишь к суровому учению стоиков; однако, удивительное дело, он оказался позаимствованным у Эпикура, который по этому поводу писал Идоменею весьма

сходные вещи.

Нечто подобное, как мне кажется, подметил я и между людьми нашего исповедания, правда, смягченное до некоторой степени христианством. Святой Иларий, епископ города Пуатье[3] [broken link: #na33_3], этот знаменитый враг арианской ереси, находясь в Сирии, был извещен о том, что его единственная дочь Абра, которую он оставил дома вместе с ее матерью, окружена толпой поклонников, людей в тех краях весьма видных, домогающихся сочетаться с ней браком, так как была она девицей весьма хорошо воспитанной, красивой, богатой и в цвете лет. Он написал ей (как нам это известно), чтобы она отвратилась от всех соблазнов и наслаждении, которые ей предлагают; он добавлял, что во время своего путешествия подыскал ей супруга несравненно более высокого и достойного, обладающего неизмеримо большею властью и величием, который одарит ее бесценнейшими нарядами и украшениями. Его намерение состояло в том, чтобы искоренить в ней влечение и привычку к мирским удовольствиям и полностью обратить ее к богу. Но так как ему казалось, что простейшим и самым верным средством для этого была бы смерть его дочери, он неустанно обращался к

богу с просьбами и мольбами, чтобы он призвал ее к себе из этого мира; так оно и случилось, ибо вскоре после возвращения Илария его дочь скончалась, чему он был несказанно рад. Этот Иларий, пожалуй, превзошел своим рвением остальных, ибо прибегнул к подобному средству сразу же, тогда как другие прибегают к нему, когда уже нет иного исхода, а также потому, что он это сделал по отношению к единственной своей дочери. Однако мне хочется досказать эту историю до конца, хотя конец ее и не касается непосредственно предмета моего рассуждения. Жена святого Илария, узнав от него, что смерть их дочери была вызвана им намеренно и сознательно, а также, насколько она стала счастливее, покинув наш мир, вместо того, чтобы и дальше томиться в нем, прониклась столь пылким влечением к вечному блаженству на небе, что, осаждая своего супруга непрестанными просьбами, умолила его сделать то же самое и для нее. И господь, вняв мольбам их обоих, немного времени спустя призвал к себе и ее, и смерть эту оба они встретили с величайшей радостью.

## Глава XXXIV
## Судьба нередко поступает разумно[1] [broken link: #na34_1]

Непостоянство и шаткость судьбы приводят к тому, что ей приходится представать перед нами в самых разнообразных обличиях. Свершалось ли когда-нибудь правосудие с такой стремительностью, как в следующем случае? Герцог Валантинуа[2] [broken link: #na34_2], решив отравить Адриана, кардинала Корнето, у которого в Ватикане собирались отужинать он сам и его отец, папа Александр VI, отправил заранее в его покои бутылку отравленного вина, наказав кравчему хорошенько беречь ее. Папа, прибыв туда раньше сына, попросил пить, и кравчий, думая, что вино было поручено его особому попечению только из-за своего отменного качества, предложил его папе. В этот момент появляется, к началу пира, и герцог; полагая, что к его бутылке не прикасались, он пьет то же самое вино. И вот, отца постигла внезапная смерть, а сын, долгое время тяжело проболев, выжил, чтобы претерпеть еще худшую участь.

Иногда кажется, что судьба дожидается определенного часа, чтобы сыграть с нами шутку. Господин д'Эстре, в то время знаменосец в полку господина Вандома, и господин де Лик, заместитель начальника отряда герцога д'Аско, ухаживали одновременно, хотя и принадлежали к враждующим сторонам (как это бывает с соседями, которых разделяет граница), за сестрою господина де Фукероля, отдавшей, в конце концов, предпочтение второму из них. Но в день свадьбы и, что еще хуже, прежде, чем разделить с новобрачной ложе, молодой супруг пожелал преломить копье в честь своей супруги и с этой целью засел в засаде близ Сент-Омера, где господин д'Эстре, оказавшись сильнее, захватил его в плен; и в довершение торжества д'Эстре случилось так, что молодая дама,

> *Coniugis ante coacta novi dimittere collum,*
>
> *Quam veniens una atque altera rursus hiems*
>
> *Noctibus in longis avidum saturasset amorem,[3] [broken link: #na34_3]*

обратилась к нему с просьбой оказать ей любезность и отпустить пленника, что он и сделал, ибо французский дворянин никогда и ни в чем

не отказывает даме.

Не кажется ли порой, что судьба — остроумная выдумщица? Константин, сын Елены, основал Константинопольскую империю, и много столетий спустя Константином, сыном Елены, завершилось ее многовековое существование[4] [broken link: #na34_4].

Иногда ей угодно бывает передразнивать совершаемые богом чудеса. Передают, будто бы, когда король Хлодвиг осаждал Ангулем, стены его сами собой пали пред ним; кроме того, и Буше[5] [broken link: #na34_5] также сообщает, позаимствовав этот рассказ у какого-то автора, что король Роберт осадил некий город, а затем отлучился из войска, чтобы, выполняя обет, отправиться в Орлеан отпраздновать день святого Агнана; во когда он присутствовал на торжественном богослужении, то в какой-то момент мессы стены осажденного города без всякого усилия со стороны осаждающих сами собой развалились. Нечто совсем иное произошло во время наших войн за Миланское герцогство. Полководец Риенциг сражаясь на нашей стороне осадил город Эронну и заложил мину под изрядный кусок крепостной стены. Когда пришел срок, часть стены целиком взлетела кверху, а затем

— подобно пущенной прямо в небо и упавшей обратно стреле — опустилась так же целиком на свое прежнее место, так что осажденные ничего от этого не потеряли.

Иногда судьба занимается и врачеванием: Ясон Ферский[6] [broken link: #na34_6] страдал нарывом в груди, и врачи от него отступились, считая, что он безнадежен. Страстно желая избавиться от страданий, хотя бы ценой смерти, он очертя голову бросился во время сражения в самую гущу врагов и был равен, но так удачно, что нарыв его прорвался и он выздоровел.

Не превзошла ли судьба художника Протогена в его искусстве? Нарисовав в совершенстве усталую и измученную собаку, он был вполне удовлетворен своей работой, однако за одним исключением: ему никак не удавалось изобразить, как ему хотелось, слюну и пену у ее рта. Раздосадованный этим, он схватил губку, пропитанную разными красками, и запустил ею в картину, чтобы стереть все нарисованное; судьба, однако, весьма кстати направила удар прямо в морду собаки и выполнила таким путем то, что было не под силу искусству.

Не руководит ли порой судьба нашими замыслами и не исправляет ли она их? Изабелла,

королева английская, переправляясь с войском из Зеландии в свое королевство, чтобы оказать помощь сыну в борьбе против мужа, погибла бы, если бы прибыла в ту самую гавань, куда направлялась, ибо именно там-то ее и поджидали враги; но судьба, наперекор ее воле, отбросила ее корабли в другое место, где она благополучно высадилась[7] [broken link: #na34_7]. И не имел ли оснований тот древний, который, швырнув камень в собаку, попал в мачеху и убил ее, произнести следующий стих:

*Ταυτόματον ημων καλλίω βουλεύεται,*

то есть: судьба лучше нас знает, что надо делать[8] [broken link: #na34_8]. Икет[9] [broken link: #na34_9] подговорил двух воинов, чтобы они убили Тимолеона, жившего в то время в Адране, в Сицилии. Они договорились, что сделают это, как только он приступит к жертвоприношению, и, замешавшись в толпу, уже перемигнулись между собой в знак того, что настало время выполнить их намерение. Но в это мгновение возле них появился третий воин, который хватил одного из них мечом по голове так, что тот упал замертво; свершив это, он пустился бежать. Товарищ убитого, считая, что все открылось и он погиб,

бросился к алтарю и, моля о пощаде, обещал признаться во всем. Но в то время, как он рассказывал о заговоре, удалось схватить третьего воина, и в страшной давке, осыпая ударами, его потащили как убийцу к Тимолеону и наиболее видным лицам, присутствовавшим на торжестве. Схваченный, моля о помиловании, заявил, что он совершил акт правосудия, умертвив убийцу своего отца; и свидетели, которых ему весьма кстати послал его счастливый жребий, подтвердили, что, действительно, в городе леонтинцев его отец был убит тем, кому он сейчас отомстил. Ему тут же было пожаловано десять аттических мин, ибо на его долю выпало счастье, мстя за смерть отца, избавить от смерти отца сицилийцев. Судьба, как мы видим, в этом случае превзошла хитроумием хитроумие наших расчетов.

И еще один, последний пример. Не проявилось ли в том, о чем я хочу рассказать, особая доброта, милость и человеколюбие судьбы? Игнации, отец и сын, внесенные римскими триумвирами в проскрипционные списки, приняли благородное решение отдать свою жизнь один другому, обманув тем самым жестокость тиранов; и вот, обнажив мечи, они ринулись один на другого. Судьбе было угодно направить острия мечей

таким образом, что и сын и отец были поражены насмерть; и та же судьба, воздавая дань почтения столь поразительной и прекрасной любви, позволила им сохранить достаточно сил, чтобы каждый из них, вырвав свой меч из тела другого, мог сжать своего близкого окровавленной и вооруженной рукой в столь цепком объятии, что палачам, отрубившим обе головы сразу, пришлось оставить тела в этом благородном сплетении, так, что рана одного приникла к ране другого, и они любовно впивали в себя остатки крови и жизни друг друга.

## Глава XXXV
## Об одном упущении в наших порядках

Мой покойный отец, человек, руководствовавшийся всю свою жизнь опытом и природной сметкой, при этом обладавший ясным умом, говорил мне когда-то, что ему очень хотелось бы, чтобы во всех городах было известное место, куда сходились бы все имеющие в чем-либо нужду и где бы они могли сообщить о ней, чтобы приставленный к этому делу чиновник записал их пожелания, например: «Хочу продать жемчуг, хочу купить жемчуг»; «такой-то ищет спутника для поездки в Париж», «такой-то — слугу, умеющего делать то-то и то-то»; «такой-то — учителя»; «такому-то нужен подмастерье»; одним словом, одному — одно, другому — другое, кому что нужно. И мне кажется, что подобная мера должна была бы в немалой степени облегчить общественные сношения, ибо всегда и везде имеются люди, обстоятельства которых складываются таким образом, что они ощущают нужду друг в друге, но, так и не отыскав один другого, испытывают крайние неудобства.

Мне известно, что, к величайшему стыду нашего века, у нас на глазах умерли с голоду два человека выдающихся знаний: Лилио Грегорио Джиральди в Италии и Себастиан Касталион в Германии[1] [broken link: #na35_1]; полагаю, что нашлось бы немало людей, которые пригласили бы их к себе на весьма хороших условиях или, во всяком случае, оказали бы помощь, где бы они не жили, если бы знали об их бедственном положении. Мир не настолько еще испорчен, чтобы не нашлось человека — и я знаю такого, — который не пожелал бы от всего сердца расходовать унаследованные им от родителей средства, пока судьбе будет угодно, чтобы он ими располагал, на избавление от нищеты людей редкостных и выдающихся в какой-либо имеющей значение области, ибо нередко судьба преследует их по пятам и доводит до крайности. Этот человек создал бы им, по меньшей мере, такие условия, что если бы среди них и нашелся кто-нибудь, кто не был бы ими доволен, то это могло бы случиться лишь по причине его собственного неразумия.

И в делах хозяйственных мой отец установил порядки, которые я считаю похвальными, но которые, увы, я не в силах поддерживать. Ведь кроме записей, относящихся к ведению раз-

личных хозяйственных дел, куда заносились счета помельче, платежи, сделки, не требующие скрепления рукой нотариуса, — ибо регистрация таковых возлагается на правительственного сборщика податей, — он поручил тому из своих доверенных слуг, которого использовал как писца, вести также дневник, в котором полагалось отмечать все достойные внимания происшествия, а также день за днем решительно все события, относящиеся к истории нашего дома. И теперь, когда время начинает изглаживать в памяти живые воспоминания, заглянуть в эту летопись чрезвычайно приятно и столь же полезно, ибо она нередко разрешает наши сомнения: когда именно было задумано такое-то дело? Когда оно было закончено? Как оно шло? Как завершилось? Тут же мы можем прочесть о наших путешествиях, наших отлучках, браках, смертях, о получении счастливых или печальных известий, о смене важнейших из наших слуг и тому подобных вещах. Это — старинный обычай, и я думаю, что неплохо было бы каждому освежить его у своего камелька. А я себя считаю глупцом, что не придерживался его.

## Глава XXXVI
## Об обычае носить одежду

За что бы я ни брался, мне приходится преодолевать преграды, созданные обычаем, — настолько опутал он каждый наш шаг. В эту прохладную пору года я думал как-то о том, является ли для недавно открытых народов привычка ходить совершенно нагими следствием высокой температуры воздуха, как мы утверждаем это относительно индейцев и мавров, или же она первоначально была свойственна всем людям. Но поскольку все, что живет под небом, как говорит Писание, подвластно одинаковым законам[1] [broken link: #na36_1], люди мыслящие, сталкиваясь с вопросами подобного рода, где нужно проводить различие между законами естественными и надуманными, имеют обыкновение обращаться к общему миропорядку, в котором не может быть никакой фальши. Итак, раз все сущее вооружено, так сказать, иголкой и ниткой, чтобы поддерживать свое бытие, право же, трудно поверить, что только одни мы созданы столь немощными и убогими, что не в состоя-

нии поддержать себя без сторонней помощи. Я полагаю поэтому, что, подобно тому как любое растение, дерево, животное, да и вообще все, что живет, самой природой обеспечено покровами; достаточными, чтобы защитить себя от суровой непогоды:

> *Proptereaque fere res omnes aut corio sunt*
> *Aut seta, aut conchis, aut callo, aut cortice tectae,[2] [broken link: #na36_2]*

точно так же было когда-то и с нами; но подобно тем, кто заменяет дневной свет искусственным, и мы заменили естественные средства заимствованными. И нетрудно убедиться, что этот обычай делает для нас невозможным то, что в действительности вовсе не является таковым. В самом деле, народы, не имеющие никакого понятия об одежде, обитают примерно в том же климате, что и мы; а, кроме того, наиболее чувствительные части нашего тела остаются открытыми, например глаза, рот, нос, уши, а у наших крестьян, — как, впрочем, и наших предков, — сверх того, еще грудь и живот. И если бы нам от рождения было предопределено носить штаны или юбки, то можно не сомневаться, что природа снабдила бы те части нашего тела, которые она оставила

уязвимыми для суровостей погоды, более толстой кожей, как она это сделала на концах пальцев и на ступнях ног.

Почему же трудно поверить этому? Между моим способом одеваться и тем, как одет в наших краях крестьянин, я нахожу различие большее, чем между его одеждою и одеждою человека, прикрытого своею кожей.

А сколько людей, особенно в Турции, ходят нагими из благочестия!

Некто, увидев в разгаре зимы одного из наших нищих, который, не имея на себе ничего, кроме рубашки, чувствовал себя все же не хуже, чем тот, кто закутан по самые уши в куний мех, спросил его, как он может терпеть такой холод. «Ну, а вы, сударь, — ответил тот, — ведь и у вас тоже лицо ничем не прикрыто. Вот так и я — весь словно лицо». Итальянцы рассказывают о шуте, если не ошибаюсь, герцога Флорентийского, который на вопрос своего господина, как он может, столь плохо одетый, переносить холод, когда он, герцог, так от него страдает, ответил: «Последуйте моему совету, наденьте на себя все, что только у вас найдется, как это сделал я, и вы не больше моего будете страдать от мороза». Царя Масиниссу до глубокой старости нельзя было убедить покры-

вать голову ни в мороз, ни в бурю, ни в дождь[3] [broken link: #na36_3]. То же передают и об императоре Севере[4] [broken link: #na36_4].

Геродот рассказывает, что во время войн египтян с персами и им и другими было замечено, что головы убитых египтян гораздо крепче, чем головы персов, потому что первые бреют их и оставляют непокрытыми с детских лет, тогда как у вторых они постоянно покрыты в юные годы колпаками, а позднее — тюрбанами[5] [broken link: #na36_5].

Царь Агесилай до преклонного возраста носил зимой и летом одинаковую одежду. Цезарь, как сообщает Светоний, выступал всегда впереди своего войска и чаще всего шел пешком, с непокрытой головой, все равно — палило ли солнце или лил дождь; то же самое рассказывают и о Ганнибале.

> *tum vertice nudo*
>
> *Excipere insanos imbrea coelique ruinam.[7] [broken link: #na36_7]*

Один венецианец, который прожил долгое время в царстве Перу[8] [broken link: #na36_8] и только недавно возвратился оттуда, пишет, что тамошние мужчины и женщины, хотя и покры-

вают прочие части тела одеждой, ходят всегда босые и так же ездят верхом на лошади.

И замечательно, что Платон также советует ради здоровья всего нашего тела не давать ни ногам, ни голове никакого иного покрова, кроме того, которым их одарила сама природа[9] [broken link: #na36_9].

Король, которого поляки избрали себе после нашего[10] [broken link: #na36_10], — он и впрямь один из самых великих государей нашего века, — никогда не носит перчаток и не сменяет ни зимою, ни в непогоду той шапочки, что он носит у себя дома[11] [broken link: #na36_11].

Если я терпеть не могу ходить нараспашку, не застегнув камзол на все пуговицы, то мои соседи-землепашцы почувствовали бы себя, напротив, очень стесненными, когда бы им пришлось ходить в таком виде. Варрон считает, что предписавшие римлянам обнажать голову в присутствии богов и должностных лиц сделали это скорее имея в виду здоровье граждан, а также желая закалить их от непогоды, чем из уважения к высшим[12] [broken link: #na36_12].

И раз уж речь зашла о холодах и о французах, привыкших напяливать на себя целую кучу пестрого тряпья (я не говорю о себе, ибо, подражая

моему покойному отцу, одеваюсь исключительно в черное и белое), то добавлю, что, согласно рассказу нашего полководца Мартена Дю Белле, ему во время похода в Люксембург[13] [broken link: #na36_13] довелось испытать морозы настолько суровые, что вино в провиантском складе кололи топорами и клиньями, выдавая его солдатам по весу, и те уносили его в корзинах. Совсем так, как у Овидия:

> *Nudaque consistunt formam servantia testae*
>
> *Vina, nec hausta meri, sed data frusta bibunt.[14] [broken link: #na36_14]*

У устья Меотийского озера морозы бывают настолько суровы, что в том самом месте, где полководец Митридата дал бой врагам и разбил их в пешем строю, он же, когда наступило лето, выиграл у них еще и морское сражение[15] [broken link: #na36_15].

Римлянам пришлось претерпеть много бедствий во время сражения с карфагенянами близ Плаценции[16] [broken link: #na36_16], ибо, когда они бросились на врагов, у них от холода стыла кровь и коченели руки и ноги, тогда как Ганнибал велел развести костры, чтобы солдаты во всем его

войске могли обогреваться у них, а также распределить по отрядам масло, дабы, обмазав им свое тело, они придали мышцам больше гибкости и подвижности и защитили поры от морозного воздуха и порывов дувшего тогда студеного ветра.

Отступление греков из Вавилона на родину знаменито теми лишениями и трудностями, которые им потребовалось преодолеть. Застигнутые в горах Армении ужасной снежной бурей, они заблудились и потеряли дорогу; яростно, можно сказать, осаждаемые непогодой, они в течение суток ничего не ели и не пили, большая часть бывших с ними животных пала; многие воины умерли, многие были ослеплены градом и белизной снега; иные изувечили себе руки и ноги, иные закоченели до того, что остались неподвижными на месте, хотя и полностью сохранили сознание.

Александр видел народ, где плодовые деревья закапывают на зиму в землю, чтобы предохранить их таким способом от мороза.

Что касается одежды, то мексиканский царь менял четыре раза в день свои облачения и никогда не надевал снова уже хотя бы раз надетого платья. Он употреблял их для раздачи в качестве наград и пожалований; равным образом, ни один

горшок, блюдо или другая кухонная и столовая утварь не были подаваемы ему дважды.

## Глава XXXVII
## О Катоне Младшем

Я не разделяю всеобщего заблуждения, состоящего в том, чтобы мерить всех на свой аршин. Я охотно представляют себе людей, не схожи со мной. И, зная за собой определенные свойства, я не обязываю весь свет к тому же, как это делает каждый; я допускаю и представляю себе тысячи иных образов жизни, и, вопреки общему обыкновению, с большей готовностью принимаю несходство другого человека со мною, нежели сходство. Я нисколько не навязываю другому моих взглядов и обычаев и рассматриваю его таким, как он есть, без каких-либо сопоставлений, но меряя его, так сказать, его собственной меркой. Отнюдь не будучи сам воздержанным, я от чистого сердца восхищаюсь воздержанностью фельянтинцев и капуцинов[1] [broken link: #na37_1], находя их образ жизни весьма достойным; и силой моего воображения и без труда переношу себя на их место.

И я тем больше люблю их и уважаю, что они иные, чем я. И ничего я так не хотел бы, как чтобы

о каждом из нас судили особо и чтобы меня не стригли под общую гребенку.

Моя собственная слабость нисколько не умаляет того высокого мнения, которое мне подобает иметь о стойкости и силе людей, этого заслуживающих. Sunt qui nihil laudant, nisi quod se imitari posse confidunt[2] [broken link: #na37_2]. Пресмыкаясь во прахе земном, я, тем не менее, не утратил способности замечать где-то высоко в облаках несравненную возвышенность иных героических душ. Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не дано надлежащим образом действовать, и сохранять, по крайней мере, неиспорченной эту главнейшую часть моего существа, — по мне, и то уже много. Ведь обладать доброй волей, даже если кишка тонка, это тоже чего-нибудь стоит. Век, в который мы с вами живем, по крайней мере под нашими небесами, — настолько свинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней — вещь неведомая; похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнении в риторике:

*virtutem verba putant, ut*
*Lucum ligna.[3] [broken link: #na37_3]*

*Quam vereri deberent, etiam si percipere*

*non possent.[4] [broken link: #na37_4]*

Это безделушка, которую можно повесить у себя на стенке или на кончике языка, или на кончике уха в виде украшения.

Не заметно больше поступков, исполненных добродетели; те, которые кажутся такими, на деле не таковы, ибо нас влекут к ним выгода, слава, страх, привычка и другие столь же далекие от добродетели побуждения. Справедливость, доблесть, доброта, которые мы обнаруживаем при этом, могут быть названы так лишь теми, кто смотрит со стороны, на основании того облика, в каком они предстают на людях, но для самого деятеля это никоим образом не добродетель; он преследует совершенно иные цели, им руководят иные побудительные причины. А добродетель, между тем, признает своим только то, что творится посредством нее одной и лишь ради нее.

После великой битвы при Потидее, в которой греки под предводительством Павсания нанесли Мардонию и персам страшное поражение, победители, следуя принятому у них обычаю, стали судить, кому принадлежит слава этого великого подвига, я признали, что наибольшую доблесть в этой битве проявили спартанцы. Когда же спартанцы, эти отличные судьи в делах добродетели,

стали решать, в свою очередь, кому из них принадлежит честь свершения в этот день наиболее выдающегося деяния, они пришли к выводу, что храбрее всех сражался Аристодем; и все же они не дали ему этой почетной награды, потому что его доблесть воспламенялась желанием смыть пятно, которое лежало на нем со времени Фермопил, и он жаждал пасть смертью храброго, дабы искупить свой прежний позор[5] [broken link: #na37_5]. Следуя за общей порчею нравов, пошатнулись и наши суждения. Я вижу, что большинство умов моего времени изощряется в том, чтобы умалить славу прекрасных и благородных деяний древности, давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для их объяснения суетные поводы и причины.

Велика хитрость! Назовите мне какое-нибудь самое чистое и выдающееся деяние, и я берусь обнаружить в нем, с полным правдоподобием, полсотни порочных намерений. Одному богу известно, сколько разнообразнейших побуждений можно, при желании, вычитать в человеческой воле! Но любители заниматься подобным злословием поражают при этом не столько даже своим ехидством, сколько грубостью и тупоумием.

С таким же усердием и готовностью, с каким

глупцы стремятся унизить эти великие имена, я хотел бы приложить все силы, чтобы вновь их возвысить. Я не тешу себя надеждой, что мне удастся восстановить в их былом достоинстве эти драгоценнейшие образцы, могущие, по мнению мудрецов, служить примером для всего мира, но я все же постараюсь использовать для этого все доступные мне возможности и всю силу моей аргументации, как бы недостаточна она ни была. Ибо надо помнить, что все усилия нашего воображения не в состоянии подняться до уровня их заслуг.

Долг честных людей — изображать добродетель как можно более прекрасною, и не беда, если мы увлечемся страстью к этим священным образам. Что же до наших умников, то они всячески их чернят либо по злобе, либо в силу порочной склонности мерить все по собственной мерке, о чем я говорил уже выше, либо — что мне представляется наиболее вероятным — от того, что не обладают достаточно ясным и острым зрением, чтобы различить блеск добродетели во всей ее первозданной чистоте: к таким вещам их глаз непривычен. Так, например, Плутарх говорит, что в его время некоторые считали причиной самоубийства Катона Младшего его мнимый страх

перед Цезарем, и, вполне основательно, возмущается этим толкованием[6] [broken link: #na37_6]; можно себе представить, какое негодование вызвали бы у него те из наших современников, которые приписывают самоубийство Катона его честолюбию! Глупцы! Он совершил бы прекрасное, благородное и возвышенное деяние даже в том случае, если бы его ожидал за это позор, а не слава. Этот человек был, поистине, образцом, избранным природой для того, чтобы показать нам, каких пределов могут достигнуть человеческая добродетель и твердость[7] [broken link: #na37_7].

Я не буду пытаться исчерпать здесь эту благородную тему. Мне хочется, однако, устроить своего рода соревнование между стихами пяти латинских поэтов, восхвалявших Катона и этим поставивших памятник не только ему, но, в известном смысле, и самим себе. Всякий мало-мальски развитой ребенок заметит, что первые два из высказываний, по сравнению с остальными, немного хромают, а третье, хотя и будет покрепче, именно в силу избытка своей силы отличается некоторой сухостью; словом, целая ступень, или даже две, поэтического совершенства отделяют их от четвертого, прочитав которое, всякий всплеснет руками от восхище-

ния. Наконец, прочитав последнее или, лучше сказать, первое, идущее впереди всех остальных на известном расстоянии, на таком, однако, что, готов поклясться, его не заполнить никаким усилием человеческого ума, — он будет поражен, он замрет от восторга.

Но странная вещь: у нас больше поэтов, чем истолкователей и судей поэзии. Творить ее легче, чем разбираться в ней. О поэзии, не превышающей известного, весьма невысокого уровня, можно судить на основании предписаний и правил поэтического искусства. Но поэзия прекрасная, выдающаяся, божественная — выше правил и выше нашего разума. Тот, кто способен уловить ее красоту твердым и уверенным взглядом, может разглядеть ее не более, чем сверкание молнии. Она нисколько не обогащает наш ум; она пленяет и опустошает его. Восторг, охватывающий всякого, кто умеет проникнуть в тайны такой поэзии, заражает и тех, кто слушает, как рассуждают о ней или читают ее образцы; тут то же самое, что с магнитом, который не только притягивает иглу, но и передает ей способность притягивать в свою очередь другие иглы. И всего отчетливее это заметно в театре. Мы видим, как священное вдохновение муз, ввергнув сначала

поэта в гнев, скорбь, ненависть, самозабвение, во все, что им будет угодно, потрясает затем актера через посредство поэта и, наконец, зрителей через посредство актера. Это целая цепь наших магнитных игл, висящих одна на другой. С самого раннего детства поэзия приводила меня в упоение и пронизывала все мое существо. Но заложенная во мне самой природой восприимчивость к ней с течением времени все обострялась и совершенствовалась благодаря знакомству со всем ее многообразием — я имею в виду не то, чтобы поэзию прекрасную и дурную (ибо я избирал всегда наиболее высокие образцы в каждом поэтическом роде), а различие в ее оттенках; вначале это была веселая и искрометная легкость, затем возвышенная и благородная утонченность и, наконец, зрелая непоколебимая сила. Примеры скажут об этом еще яснее: Овидий, Лукан, Вергилий. Но вот мои поэты, — пусть каждый говорит за себя.

> *Sit Cato, dum vivit, sane vel Caesare maior, — [8] [broken link: #na37_8]*

заявляет один.

> *Et invictum, devicta morte, Catonem, — [9] [broken link: #na37_9]*

вспоминает другой.

Третий, касаясь гражданских войн между Цезарем и Помпеем, говорит:

> *Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.[10] [broken link: #na37_10]*

Четвертый, воздав хвалу Цезарю, добавляет:

> *Et cuncta terrarum subacta,*
>
> *Praeter atrocem animum Catonis.[11] [broken link: #na37_11]*

И, наконец, корифей этого хора, перечислив всех наиболее прославленных римлян, которых он изобразил на своей картине, заканчивает именем Катона:

> *His dantem iura Catonem.[12] [broken link: #na37_12]*

## Глава XXXVIII
## О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же

Читая в исторических сочинениях о том, что Антигон разгневался на своего сына, когда тот поднес ему голову врага его, царя Пирра, только что убитого в сражении с его войсками, и что, увидев ее, Антигон заплакал[1] [broken link: #na38_1], или что герцог Рене Лотарингский также оплакал смерть герцога Карла Бургундского[2] [broken link: #na38_2], которому он только что нанес поражение, и облачился на его похоронах в траур, или что в битве при Оре[3] [broken link: #na38_3], которую граф де Монфор выиграл у Шарля де Блуа, своего соперника в борьбе за герцогство Бретонское, победитель, наткнувшись на тело своего умершего врага, глубоко опечалился, — давайте воздержимся от того, чтобы воскликнуть:

*Et cosi avven che l’animo ciascuna*

*Sua passion sotto’l contrario manto*

*Ricopre, con la vista or’chiara, or bruna.[4] [broken link: #na38_4]*

Историки сообщают, что, когда Цезарю поднесли голову Помпея, он отвратил от него взор, как от ужасного и тягостного зрелища[5] [broken link: #na38_5]. Между ними так долго царило согласие, они так долго сообща управляли государственными делами, их связывали такая общность судьбы, столько взаимных услуг и совместных деяний, что нет никаких оснований полагать, будто поведение Цезаря было не более, как притворством, хотя такого мнения придерживается автор следующих стихов:

> *tutumque putavit*
>
> *Iam bonus esse socer: lacrimas non sponte cadentes*
>
> *Effudit, gemitusque expressit pectore laeto.[6] [broken link: #na38_6]*

Ибо хотя большинство наших поступков и в самом деле не что иное, как маска и лицемерие, и поэтому иногда вполне соответствует истине, что

> *Haeredis fletus sub persona risus est,[7] [broken link: #na38_7]*

все же, размышляя по поводу вышеприведенных случаев, нужно учитывать, до чего часто

нашу душу раздирают противоположные страсти. В нашем теле, говорят врачи, существует целый ряд различных соков, среди которых господствующим является тот, который обычно преобладает в нас в зависимости от нашего телосложения; так и в нашей душе: сколько бы различных побуждений ни волновало ее, среди них есть такое, которое неизменно одерживает верх. Впрочем, его победа никогда не бывает настолько решительной, чтобы, из-за податливости и изменчивости нашей души, более слабые побуждения не отвоевывали себе при случае места и не добивались, в свою очередь, кратковременного преобладания. Именно по этой причине одна и та же вещь, как мы видим, может заставить и смеяться и плакать не только детей, с непосредственностью следующих во всем природе, но зачастую и нас самих; в самом деле, ведь ни один из нас не может похвастаться, что, отправляясь в путешествие, сколь бы желанным оно для него ни было, и отрываясь от семьи и друзей, он не чувствовал бы, что у него щемит сердце; и, если у него тут же не выступят слезы, все же он будет вдевать ногу в стремя с лицом, по меньшей мере, унылым и опечаленным. И как бы ни согревало нежное пламя сердце благонравной

девицы, ее приходится, можно сказать, насильно вырывать из объятий матери, дабы вручить супругу, что бы ни говорил на этот счет наш добрый приятель Катулл:

> *Est ne novis nuptis odio Venus, anne parentum*
>
> *Frustrantur falsis gaudia lacrimulis,*
>
> *Ubertim thalami quas intra limina fundunt?*
>
> *Non, ita me divi, vera gemunt, iuverint.[8] [broken link: #na38_8]*

Итак, нет ничего удивительного, что иной оплакивает смерть человека, которого он вовсе не желал бы видеть живым.

Когда я браню моего слугу, я браню его от всего сердца, и проклятия мои искренние, а не притворные; но пусть только уляжется мое раздражение, и у того же слуги будет нужда во мне, я охотно сделаю все, что в моих силах, как ни в чем не бывало. Когда я называю его болваном или ослом, у меня нет и в мыслях прилепить к нему навсегда эти прозвища, и я не считаю, что противоречу себе, когда, через короткое время, называю его славным малым. Нет таких качеств, которые целиком и полностью господствовали

бы в нас. Если бы разговаривать с самим собой не было свойством сумасшедших, то каждый день можно было слышать, как я ворчу на себя, обзывая себя дерьмом. И все же я не считаю, что это слово точно определяет мою сущность.

Глупцом был бы тот, кто, видя меня то равнодушным, то влюбленным возле моей жены, счел бы, что я притворяюсь в обоих случаях. Нерон, прощаясь с матерью, когда ее уводили, чтобы по его приказанию утопить, испытал все же при этом сыновнее чувство; он содрогнулся и пожалел ее![9] [broken link: #na38_9]

Говорят, что солнечный свет не представляет собой чего-то сплошного, но что солнце настолько часто мечет свои лучи один за другим, что мы не в состоянии заметить промежутки, которые их отделяют:

> *Largus enim liquidi fons luminis, aetherius sol*
>
> *Inrigat assidue coelum candore recenti,*
>
> *Suppeditatque novo confestim lumine lumen[10] [broken link: #na38_10]*

так и наша душа испускает различные лучи с неуловимыми переходами от одного из них к другому.

Артабан, заметив однажды внезапную перемену в выражении лица своего племянника Ксеркса, пожурил его за это. Ксеркс в это время смотрел на несметные полчища, переправлявшиеся через Геллеспонт, чтобы вторгнуться в Грецию. При виде стольких тысяч подвластных ему людей, он затрепетал от удовольствия, и на лице его появилось выражение торжества. Но вдруг в то же мгновение ему пришла в голову мысль, что не пройдет и ста лет, как из всего этого великого множества не останется в живых ни одного человека, — и тут на чело его набежали морщины и он огорчился до слез.

Мы, не колеблясь, отомстили за нанесенное нам оскорбление и испытали глубокое удовлетворение, добившись своего; и вдруг мы залились слезами. Разумеется, не успех побудил нас заплакать, и все осталось по-прежнему; но душа наша смотрит теперь на дело другими глазами, и оно представляется ей в новом обличий, ибо всякая вещь многообразна и многоцветна. Теперь нашим воображением овладели воспоминания о родственных связях, давнем знакомстве и дружбе, и, в зависимости от их яркости, оно оказывается потрясено ими; но только образы эти проносятся в нашем сознании так стремительно,

что мы не в состоянии задержаться на них:

*Nil adeo fieri celeri ratione videtur*
*Quam si mens fieri proponit et inchoat ipsa.*
*Ocius ergo animus quam res se perciet ulla,*
*Ante oculos quarum in promptu natura videtur.[11] [broken link: #na38_11]*

И по этой причине, желая объединить все эти последовательные переживания в нечто цельное, мы впадаем в ошибку. Когда Тимолеон оплакивает убийство, совершенное им после возвышенного и зрелого размышления, он оплакивает не свободу, возвращенную его деянием родине, он оплакивает не тирана, нет, он оплакивает брата[12] [broken link: #na38_12]. Часть своего долга он выполнил, предоставим же ему выполнить и другую.

## Глава XXXIX
## Об уединении

Оставим в стороне пространные сравнения жизни уединенной и жизни деятельной. Что же касается красиво звучащего изречения, которым прикрываются честолюбие и стяжательство, а именно: «Мы рождены не для себя, но для общества», то пусть его твердят те, кто без стеснения пляшет со всеми другими под одну дудку. Но если у них есть хоть крупица совести, они должны будут сознаться, что за привилегиями, должностями и прочей мирской мишурой они гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорей ради того, чтобы извлечь из общественных дел выгоду для себя. Бесчестные средства, с помощью которых многие в наши дни возвышаются, ясно говорят о том, что и цели также не стоят доброго слова. А честолюбию давайте ответим, что оно-то и прививает нам вкус к уединению, ибо чего же чуждается оно больше, чем общества, и к чему оно стремится с такой же настойчивостью, как не к тому, чтобы иметь руки свободными? Добро и зло можно творить повсюду: впрочем, если

справедливы слова Бианта, что «большая часть — это всегда наихудшая»[1] [broken link: #na39_1], или также Экклезиаста, что «и в целой тысяче не найти ни одного доброго», —

> *Rari quippe boni: numero vix sunt totidem, quot*
>
> *Thebarum portae, vel divitis ostia Nili[2] [broken link: #na39_2]*

то в этой толчее недолго и заразиться. Нужно или подражать людям порочным, или же ненавидеть их. И то и другое опасно: и походить на них, ибо их превеликое множество, и сильно ненавидеть их, ибо они на нас непохожи.

Купцы, отправляясь за море, имеют все основания приглядываться к своим попутчикам на корабле, не развратники ли они, не богохульники ли, не злодеи ли, считая, что подобная компания приносит несчастье. Вот почему Биант, обратившись к тем, которые, будучи с ним на море во время разыгравшейся бури, молили богов об избавлении от опасности, шутливо сказал: «Помолчите, чтобы боги не заметили, что и вы здесь вместе со мной!»

Еще убедительнее пример Альбукерке[3] [broken link: #na39_3], вице-короля Индии в цар-

ствование португальского короля Мануэля. Когда кораблю, на котором он находился, стала угрожать близкая гибель, он посадил себе на плечи мальчика, с той единственной целью, чтобы этот невинный ребенок, судьбу которого он связал со своей, помог ему снискать и обеспечил милость всевышнего, и тем самым спас бы их от гибели.

Сказанное вовсе не означает, что мудрец не мог бы жить в свое удовольствие где угодно, чувствуя себя одиноким даже среди толпы придворных; но если бы ему было дано выбирать, то, как учит его философия, он постарался бы даже не глядеть на этих людей. Он готов снести это, если окажется необходимым, но если дело будет зависеть от него самого, он выберет совершенно иное. Ему будет казаться, что он и сам не вполне избавился от пороков, если ему понадобится бороться с пороками остальных.

Харонд карал как преступников даже тех, кто был уличен, что он водится с дурными людьми. И нет другого существа, которое было бы столь же неуживчиво и столь же общительно, как человек: первое — по причине его пороков, второе — в силу его природы.

И Антисфен, когда кто-то упрекнул его в том, что он общается с дурными людьми, ответил, по-

моему, не вполне убедительно, сославшись на то, что и врачи проводят жизнь среди больных. Дело в том, что, заботясь о здоровье больных, врачи, бесспорно, наносят ущерб своему собственному, поскольку они постоянно соприкасаются с больными и имеют дело с ними, подвергая себя опасности заразиться.

Цель, как я полагаю, всегда и у всех одна, а именно жить свободно и независимо; но не всегда люди избирают правильный путь к ней. Часто они думают, что удалились от дел, а оказывается, что только сменили одни на другие. Не меньшая мука управлять своею семьей, чем целым государством: ведь если что-нибудь тяготит душу, она уже полностью отдается этому; и хотя хозяйственные заботы не столь важны, все же они изрядно докучливы. Сверх того, отделавшись от двора и городской площади, мы не отделались от основных и главных мучений нашего существования:

> *ratio et prudentia curas,*
> *Non locus effusi late maris arbiter, aufert.[4]*
> *[broken link: #na39_4]*

Честолюбие, жадность, нерешительность, страх и вожделения не покидают нас с переме-

ной места.

> *Et post equitem sedet atra cura.[5] [broken link: #na39_5]*

Они преследуют нас нередко даже в монастыре, даже в убежище философии. Ни пустыни, ни пещеры в скалах, ни власяницы, ни посты не избавляют от них:

> *haeret lateri letalis arundo.[6] [broken link: #na39_6]*

Сократу сказали о каком-то человеке, что путешествие нисколько его не исправило. «Охотно верю, — заметил на это Сократ. — Ведь он возил с собой себя самого».

> *Quid terras alio calentes*
>
> *Sole mutamus? patria quis exul*
>
> *Se quoque fugit?[7] [broken link: #na39_7]*

Если не сбросить сначала со своей души бремени, которое ее угнетает, то в дорожной тряске она будет еще чувствительней. Ведь так же и с кораблем: ему легче плыть, когда груз на нем хорошо уложен и закреплен. Вы причиняете больному больше вреда, чем пользы, заставляя его менять положение; шевеля его, вы загоняете болезнь

внутрь. Чем больше мы раскачиваем воткнутые в землю колья и нажимаем на них, тем глубже они уходят в почву и увязают в ней. Недостаточно поэтому уйти от людей, недостаточно переменить место, нужно уйти и от свойств толпы, укоренившихся в нас; нужно расстаться с собой и затем обрести себя заново.

> *Rupi iam vincula dicas:*
>
> *Nam luctata canis nodum arripit; attamen illi,*
>
> *Cum fugit, a collo trahitur pars longa catenae.[8] [broken link: #na39_8]*

Мы волочим за собой свои цепи; здесь нет еще полной свободы — мы обращаем свой взор к тому, что оставили за собой, наше воображение еще заполнено им;

> *Nisi purgatum est pectus, quae proelia nobis*
>
> *Atque pericula tunc ingratis insinuandum?*
>
> *Quantae conscindunt hominem cuppedinis acres*
>
> *Sollicitum curae, quantique perinde timores?*
>
> *Quidve superbia, spurcitia, ac petulantia,*

*quantas*

*Efficiunt clades, quid luxus desidiesque?[9] [broken link: #na39_9]*

Зло засело в нашей душе, а она не в состоянии бежать от себя самой:

*In culpa est animus qui se non effugit unquam[10] [broken link: #na39_10].*

Итак, ей нужно обновиться и замкнуться в себе: это и будет подлинное уединение, которым можно наслаждаться и в толчее городов и при дворах королей, хотя свободнее и полнее всего наслаждаться им в одиночестве. А раз мы собираемся жить одиноко и обходиться без общества, сделаем так, чтобы наша удовлетворенность или неудовлетворенность зависели всецело от нас; освободимся от всех уз, которые связывают нас с ближними; заставим себя сознательно жить в одиночестве, и притом так, чтобы это доставляло нам удовольствие.

Стильпону удалось спастись от пожара, опустошившего его родной город; но в огне погибли его жена, дети и все его имущество. Встретив его и не прочитав на его лице, несмотря на столь ужасное бедствие, постигшее его родину, ни испуга, ни потрясения, Деметрий Полиоркет[11] [broken

link: #na39_11] задал ему вопрос, неужели он не потерпел никакого убытка. На это Стильпон ответил, что дело обошлось без убытков и ничего своего, благодарение бога, он не потерял. То же выразил философ Антисфен в следующем шутливом совете: «Человек должен запасать только то, что держится на воде и в случае кораблекрушения может вместе с ним вплавь добраться до берега»[12] [broken link: #na39_12].

И действительно, мыслящий человек ничего не потерял, пока он владеет собой. После разрушения варварами города Нолы тамошний епископ Павлин, потеряв все и попав в плен к победителям, обратился к богу с такой молитвой: «Господи, не дай мне почувствовать эту потерю; ибо ничего из моего, как тебе ведомо, они пока что не тронули». Те богатства, которые делали его богатым, и то добро, которое делало его добрым, остались целыми и невредимыми.

Вот что значит умело выбирать для себя сокровища, которые невозможно похитить, и укрывать их в таком тайнике, куда никто не может проникнуть, так что выдать его можем только мы сами. Надо иметь жен, детей, имущество и, прежде всего, здоровье, кому это дано: но не следует привязываться ко всему этому свыше

меры, так, чтобы от этого зависело наше счастье. Нужно приберечь для себя какой-нибудь уголок, который был бы целиком наш, всегда к нашим услугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединяться. Здесь и подобает нам вести внутренние беседы с собой и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши приятели, ни посторонние; здесь надлежит нам размышлять и радоваться, забывая о том, что у нас есть жена, дети, имущество, хозяйство, слуги, дабы, если случится, что мы потеряем их, для нас не было бы чем-то необычным обходиться без всего этого. Мы обладаем душой, способной общаться с собой; она в состоянии составить себе компанию; у нее есть на что нападать и от чего защищаться, что получать и чем дарить. Нам нечего опасаться, что в этом уединении мы будем коснеть в томительной праздности:

> *in solis sis tibi turba locis.[13] [broken link: #na39_13]*

Добродетель, говорит Антисфен, довольствуется собой: она не нуждается ни в правилах, ни в воздействии со стороны.

Среди тысячи наших привычных поступков мы не найдем ни одного, который мы совершали бы непосредственно ради себя. Посмотри: вот человек, который карабкается вверх по обломкам стены, разъяренный и вне себя, будучи мишенью для выстрелов из аркебуз; а вот другой, весь в рубцах, изможденный, бледный от голода, решивший скорее подохнуть, но только не отворить городские ворота первому. Считаешь ли ты, что они здесь ради себя? Они здесь ради того, кого никогда не видели, кто нисколько не утруждает себя мыслями об их подвигах, утопая в это самое время в праздности и наслаждениях. А вот еще один: харкающий, с гноящимися глазами, неумытый и нечесаный, он покидает далеко за полночь свой рабочий кабинет: думаешь ли ты, что он роется в книгах, чтобы стать добродетельнее, счастливее и мудрее? Ничуть не бывало. Он готов замучить себя до смерти, лишь бы поведать потомству, каким размером писал свои стихи Плавт, или как правильнее пишется такое-то латинское слово. Кто бы не согласился с превеликой охотой отдать свое здоровье, покой или самую жизнь в обмен на известность и славу — самые бесполезные, ненужные и фальшивые из всех монет, находящихся у нас в обращении?

Нам мало страха за свою жизнь, так давайте же трепетать еще за жизнь наших жен, детей, домочадцы! Нам мало хлопот с нашими собственными делами, так давайте же мучиться и ломать себе голову из-за дел наших друзей и соседей!

> *Vah! quemquamne hominem in animum instituere aut*
>
> *Parare, quod sit carius quam ipse est sibi?[14] [broken link: #na39_14]*

Уединение, как мне кажется, имеет разумные основания скорее для тех, кто успел уже отдать миру свои самые деятельные и цветущие годы, как это сделал, скажем, Фалес.

Мы пожили достаточно для других, проживем же для себя хотя бы остаток жизни. Сосредоточим на себе и на своем собственном благе все наши помыслы и намерения! Ведь нелегкое дело — отступать, не теряя присутствия духа; всякое отступление достаточно хлопотливо само по себе, чтобы прибавлять к этому еще другие заботы. Когда господь дает нам возможность подготовиться к нашему переселению, используем ее с толком; уложим пожитки; простимся заблаговременно с окружающими; отделаемся от стеснительных уз, которые связывают нас с внешним миром и

отдаляют от самих себя. Нужно разорвать эти на редкость крепкие связи. Можно еще любить то или другое, но не связывая себя до конца с чем-либо, кроме себя самого. Иначе говоря: пусть все будет по-прежнему близко нам, но пусть оно не сплетается и не срастается с нами до такой степени прочно, чтоб нельзя было отделить от нас, не ободрав у нас кожу и не вырвав заодно еще кусок мяса. Самая великая вещь на свете — это владеть собой.

Наступил час, когда нам следует расстаться с обществом, так как нам больше нечего предложить ему. И кто не может ссужать, тот не должен и брать взаймы. Мы теряем силы; соберем же их и прибережем для себя. Кто способен пренебречь обязанностями, возлагаемыми на него дружбой и добрыми отношениями, и начисто вычеркнуть их из памяти, пусть сделает это! Но ему нужно остерегаться, как бы в эти часы заката, который превращает его в ненужного, тягостного и докучного для других, он не стал бы докучным и для себя самого, а также тягостным и ненужным. Пусть он нежит и ублажает себя, но, главное, пусть управляет собой, относясь с почтением и робостью к своему разуму и своей совести, — так, чтобы ему не было стыдно взглянуть им в гла-

за. Rarum est enim ut satis se quisque vereatur[15] [broken link: #na39_15].

Сократ говорил, что юношам подобает учиться, взрослым — упражняться в добрых делах, старикам — отстраняться от всяких дел как гражданских, так и военных и жить по своему усмотрению без каких-либо определенных обязанностей[16] [broken link: #na39_16].

Есть люди такого темперамента, что им легко дается соблюдение правил уединенной жизни. Натуры, чувства которых ленивы и вялы, а воля и страсти не отличаются большой пылкостью, вследствие чего они нелегко подчиняются им, увлекаются чем-либо, — таков и я, например, и по природному складу характера, и по моим убеждениям, — такие натуры скорее и охотнее примут этот совет, нежели души деятельные и живые, стремящиеся охватить решительно все, вмешивающиеся во все, увлекающиеся всем, что бы ни попалось на глаза, предлагающие и себя и свои услуги во всех случаях жизни и готовые взяться за любое дело. Следует пользоваться случайными и не зависящими от нас удобствами, которые дарует нам жизнь, раз они доставляют нам удовольствие, но не следует смотреть на них как на главное в нашем существовании; это

не так, и ни разум, ни природа не хотят этого. К чему, вопреки законам ее, ставить в зависимость удовлетворенность или неудовлетворенность нашей души от вещей, зависящих не от нас? Предвосхищать возможные удары судьбы, лишать себя тех удобств, которыми мы можем располагать, — как это делали многие из благочестия, а некоторые философы — в соответствии со своими воззрениями, — отказываться от помощи слуг, спать на голых досках, выкалывать себе глаза, выбрасывать свое богатство в реку, искать страданий (первые — для того, чтобы мучениями в этой жизни снискать блаженство в грядущей, вторые — чтобы, спустившись на самую нижнюю ступень лестницы, обезопасить себя от падения еще ниже) — это чрезмерные проявления добродетели. Превращать же свой тайник в источник собственной славы и в образец для других — пусть этим занимаются другие, те, которые тверже и крепче:

*tuta et parvula laudo,*

*Cum res deficiunt, satis inter vilia fortis:*

*Verum ubi quid melius contingit et unctius, idem*

*Hos sapere, et solos aio bene vivere,*

*quorum*

*Conspicitur nitidis fundata pecunia villis.[17] [broken link: #na39_17]*

Что до меня, то мне хватает и своих дел, чтобы не забираться так далеко. Мне более чем достаточно, пока судьба дарит меня своей благосклонностью, подготовлять себя к ее неблагосклонности и, пребывая в благополучии, представлять себе настолько мрачное будущее, насколько хватает моего воображения, — наподобие того, как мы приучаем себя к фехтованию и турнирам, играя в войну среди нерушимого мира.

Философ Аркесилай[18] [broken link: #na39_18] нисколько не теряет в моем уважении из-за того, кто употреблял, как известно, золотую и серебряную посуду, поскольку ему позволяло это его состояние; и он внушает мне тем большее уважение, что не лишил себя всех этих благ, но пользовался ими с умеренностью и отличался, вместе с тем, неизменной щедростью.

Я вижу, до чего ограниченны естественные потребности человека; и, глядя на беднягу-нищего у моей двери, часто гораздо более жизнерадостного и здорового, чем я сам, я мысленно ставлю себя на его место, стараюсь почувствовать себя в его

шкуре. И хоть я превосходно знаю, что смерть, нищета, презрение и болезни подстерегают меня на каждом шагу, все же, вспоминая о таком нищем и о многом другом в этом же роде, я убеждаю себя не проникаться ужасом перед тем, что стоящий ниже меня принимает с таким терпением. Я не могу заставить себя поверить, чтобы неразвитый ум мог сотворить большее, чем ум сильный и развитой, а также, чтобы с помощью размышления нельзя было достигнуть того же, что достигается простой привычкой. И зная, насколько ненадежны эти второстепенные жизненные удобства, я, живя в полном достатке, неустанно обращаюсь к богу с главнейшей моею просьбой, а именно, чтобы он даровал мне способность довольствоваться самим собою и благами, порождаемыми мною самим. Я знаю цветущих юношей, которые постоянно держат в своем ларце множество разных пилюль на случай простуды, и, полагая, что обладают средством против нее, меньше опасаются этой болезни. Нужно подражать им в этом, а кроме того, если вы подвержены какой-нибудь более серьезной болезни, вам следует обзавестись такими лекарствами, которые унимают боль и усыпляют пораженные органы.

При подобном образе жизни должно избрать

для себя такое занятие, которое не было бы ни слишком хлопотливым, ни слишком скучным; в противном случае, не к чему было устраивать себе уединенное существование. Это зависит от личного вкуса; что до моего, то хозяйство ему явно не по нутру. Кто же любит его, пусть и занимается им, но отнюдь не чрезмерно:

> *Conentur sibi res, non se submittere rebus.[19] [broken link: #na39_19]*

В противном случае это увлечение хозяйственными делами превратится, по словам Саллюстия[20] [broken link: #na39_20], в своего рода рабство. Есть тут отрасли и более благородные, например плодоводство, пристрастие к которому Ксенофонт приписывал Киру[21] [broken link: #na39_21]. Вообще же здесь можно найти нечто среднее между низкой и жалкой озабоченностью, связанных с вечной спешкой, которые мы наблюдаем у тех, кто уходит во всякое дело с головой, и глубоким, совершеннейшим равнодушием, допускающим, чтобы все приходило в упадок, как мы это наблюдаем у некоторых:

> *Democriti pecus edit agellos*
>
> *Cultaque, dum peregre est animus sine corpore velox.[22] [broken link: #na39_22]*

Но выслушаем совет, который дает по поводу все того же уединенного образа жизни Плиний Младший своему другу Корнелию Руфу: «Я советую тебе поручить своим людям эти низкие и отвратительные хлопоты по хозяйству, и воспользовавшись своим полным и окончательным уединением, целиком отдаться наукам, чтобы оставить после себя хоть крупицу такого, что принадлежало бы только тебе»[23] [broken link: #na39_23]. Он подразумевает здесь славу, совсем так же, как и Цицерон, заявляющий, что он хочет использовать свой уход от людей и освобождение от общественных дел, дабы обеспечить себе своими творениями вечную жизнь[24] [broken link: #na39_24]:

> *usque adeone*
>
> *Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.[25] [broken link: #na39_25]*

Это, мне кажется, было бы вполне правильно, если бы речь шла о том, чтобы уйти из мира, рассматривая его как нечто, находящееся вне тебя; названные же мною авторы делают это только наполовину. Они задумываются над тем, что будет, когда их самих больше не будет; но тут получается забавное противоречие, ибо плоды

своих намерений они рассчитывают пожать в этом мире, однако лишь тогда, когда они сами будут уже за его пределами. Гораздо более здравыми представляются мне соображения тех, кто ищет уединения из благочестия, поддерживая в себе мужество верой в будущую жизнь, которая принесет им осуществление обещанного нам богом. Они отдают себя богу, существу бесконечному и в благости и в могуществе; и перед душой открывается необозримый простор для осуществления ее чаяний. И болезни и страдания приносят им пользу, ибо через них они добывают себе вечное здоровье и вечное наслаждение; и даже смерть представляется им желанною, ибо она — переход к этому совершенному состоянию. Суровость их дисциплины благодаря привычке вскоре перестает казаться им тягостной, их плотские вожделения, будучи подавляемы, успокаиваются и замирают, ибо они поддерживаются в нас исключительно тем, что мы беспрепятственно удовлетворяем их. Эта единственная их цель, — блаженная и бессмертная жизнь — и в самом деле заслуживает того, чтобы отказаться ради нее от радостей и утех нашего бренного существования. И кто может зажечь в своей душе пламя этой живой веры, а также надежды, по-на-

стоящему и навсегда, тот создает себе и в пустыне жизнь, полную наслаждений и радостей, превышающих все, чего можно достигнуть при всяком ином образе жизни.

Итак, ни цель, ни средства, которые предлагает Плиний, не удовлетворяют меня; следуя ему, мы лишь попадаем из огня да в полымя. Эти книжные занятия столь же обременительны, как все прочее, и столь же вредны для здоровья, которое должно быть главной нашей заботой. И никоим образом нельзя допускать, чтобы удовольствие, доставляемое нашими занятиями, затмило все остальное: ведь это то самое удовольствие, которое губит жадного хозяина, стяжателя, сладострастника и честолюбца. Мудрецы затратили немало усилий, чтобы предостеречь нас от ловушек наших страстей и научить отличать истинные, полновесные удовольствия от таких, к которым примешиваются заботы и которые омрачены ими. Ибо большинство удовольствий, по их словам, щекочет и увлекает нас лишь для того, чтобы задушить до смерти, как это делали те разбойники, которых египтяне называли филетами. И если бы головная боль начинала нас мучить раньше опьянения, мы остерегались бы пить через меру. Но наслаждение, чтобы нас обмануть,

идет впереди, прикрывая собой своих спутников. Книги приятны, но если, погрузившись в них, мы утрачиваем, в конце концов, здоровье и бодрость — самое ценное достояние наше, — то не лучше ли оставить и их. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что польза от них не может возместить эту потерю. Подобно тому как люди, ослабленные длительным недомоганием, отдают себя в конце концов в руки врачей и соглашаются подчинить свою жизнь некоторым предписанным ими правилам, которые и стараются не преступать, так и тому, кто усталый и разочарованный, покидает людей, надлежит устроить для себя жизнь согласно правилам разума, упорядочить ее и соразмерить, предварительно все обдумав. Он должен распрощаться с любым видом труда, каков бы он ни был; и, вообще, он должен остерегаться страстей, нарушающих наш телесный и душевный покой; он должен избрать для себя тот путь, который ему больше всего по душе:

> *Unusquisque sua noverit ire via[26] [broken link: #na39_26].*

Занимаетесь ли вы хозяйством, науками, охотой или чем-либо иным, вы должны отдаваться этому не дальше предела, где кончается удо-

вольствие; берегитесь увлечься и устремиться вперед, туда, где к удовольствию примешивается усилие. Нужно предаваться занятиям и заботам лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы сохранять бодрость и обезопасить себя от неприятностей, порождаемых противоположною крайностью, а именно, вялым и сонным бездельем. Есть науки бесплодные и бесполезные, и большинство из них создано ради житейской суеты; их следует предоставить тем, кто занят мирскими делами. Что до меня, то я люблю лишь развлекательные и легкие книги либо те, которые возбуждают мое любопытство, либо те, которые утешают меня или советуют, как упорядочить мою жизнь и мою смерть:

> *tacitum silvas inter reptare salubres*
>
> *Curantem quidquld dignum sapiente bonoque est.[27] [broken link: #na39_27]*

Люди более мудрые, обладая душою мужественной и сильной, способны сохранять душевное спокойствие, независимо от всего прочего. Но так как душа у меня самая обыкновенная, мне приходится поддерживать ее телесными удовольствиями; и поскольку возраст отнимает у меня те из них, которые были мне больше всего

по вкусу, я приучаю себя острее воспринимать другие, более соответствующие этой новой поре моей жизни. Нужно вцепиться и зубами и когтями в те удовольствия жизни, которые годы вырывают у нас одно за другим:

> *carpamus dulcia: nostrum est*
>
> *Quod vivis: cinis et manes et fabula fies.[28] [broken link: #na39_28]*

Что до славы, предлагаемой нам Цицероном и Плинием в качестве нашей цели, то я очень далек от подобных стремлений. Честолюбие несовместимо с уединением. Слава и покой не могут ужиться под одной крышей. Сколько я вижу, оба названных мною писателя унесли из житейской толчеи только руки да ноги; душой же и помыслами они погрязли в ней еще глубже, чем когда-либо прежде:

> *Tun, vetule, auriculis alienis colligis escas?[29] [broken link: #na39_29]*

Они всего-навсего лишь отступили немного назад, чтобы прыгнуть дальше и лучше, чтобы, напрягшись, как следует, рвануться в самую гущу толпы. Хотите убедиться, насколько легковесны их рассуждения? Сопоставим мнения

двух философов[30] [broken link: #na39_30],принадлежащих к совершенно различным школам и пишущих, один — Идоменею, другой — Луцилию, их друзьям, убеждая их отказаться от дел и почестей и уединиться от мира. Вы жили, говорят они, до этого времени, плавая и носясь по волнам, — так доберитесь, наконец, до гавани, чтобы там умереть. Всю свою жизнь они отдали свету — проведите остаток ее в тени. Невозможно отрешиться от дел, не отрешившись от их плодов; по этой причине оставьте заботу о своем имени и о славе. Есть опасность, что блеск ваших былых деяний осеняет вас слишком ярким ореолом и не покинет вас и в вашем убежище. Откажитесь вместе со всеми прочими наслаждениями и от того, которое вы испытываете, когда вас одобряют другие; а что касается ваших знаний и ваших талантов, то не тревожьтесь о них; они не утратят своего значения оттого, что вы сами сделаетесь более достойными их. Вспомните человека, который на вопрос, зачем он тратит столько усилий, постигая искусство, недоступное большинству людей, ответил: «С меня довольно очень немногих, с меня довольно и одного, с меня довольно, если даже не будет ни одного». Он говорил сущую правду. Вы и хотя бы еще один

из ваших друзей — это уже целый театр для вас обоих, и даже вы один — театр для себя самого. Пусть целый народ будет для нас «одним» и этот «один» — целым народом. Желание извлечь славу из своей праздности и своего затворничества — это суетное тщеславие. Нужно поступать так, как поступают дикие звери, заметающие следы у входа в свою берлогу. Вам не следует больше стремиться к тому, чтобы о вас говорил весь мир; достаточно и того, чтобы вы сами могли говорить с собой о себе. Удалитесь в себя, но позаботьтесь сначала о том, чтобы сделать это подобающим образом; было бы безумием довериться себе, если вы не умеете собою управлять. Можно ошибаться в уединении так же, как и в обществе подобных себе. Пока вы не сделаетесь таким, перед которым не посмеете отступиться, и пока не будете внушать себе самому почтение и легкий трепет, — observentur species honestae animo[31] [broken link: #na39_31], — помните всегда о Катоне, Фокионе[32] [broken link: #na39_32] и Аристиде, в присутствии которых даже безумцы старались скрыть свои заблуждения, и изберите их судьями всех своих помыслов; если эти последние пойдут по кривому пути, уважение к названным героям возвратит вас на правильный

путь. Они поддержат вас на нем, они помогут вам довольствоваться самим собой, ничего не заимствовать ни у кого, кроме как у самого себя, сосредоточить и укрепить свою душу на определенных и строго ограниченных размышлениях, таких, где она сможет находить для себя усладу и, познав, наконец, истинные блага, наслаждение которыми усиливается по мере познания их, удовольствоваться всем этим, не желая ни продления жизни, ни увековечения своего имени. Вот совет истинной и бесхитростной философии, а не болтливой и показной, как у первых двух упомянутых мной мыслителей.

## Глава XL
## Рассуждение о Цицероне

Вот еще одна черта, полезная для сравнения двух этих пар. Произведения Цицерона и Плиния (на мой взгляд очень мало походившего по складу ума на своего дядю) представляют собой бесконечный ряд свидетельств о чрезмерном честолюбии их авторов. Между прочим, всем известно, что они добивались от историков своего времени, чтобы те не забывали их в своих произведениях. Судьба же, словно в насмешку, донесла до нашего времени сведения об этих домогательствах, а самые повествования давным-давно предала забвению. Но что переходит все пределы душевной низости в людях, занимавших такое положение, так это стремление приобрести высшую славу болтовней и краснобайством, доходящее до того, что для этой цели они пользовались даже своими частными письмами к друзьям, причем и в тех случаях, когда письмо своевременно не было отправлено, они все же предавали его гласности с тем достойным извинением, что не хотели, мол, даром потерять затраченный труд и часы

бдения. Подобало ли двум римским консулам, верховным должностным лицам государства, повелевающего миром, употреблять свои досуги на тщательное отделыванье красивых оборотов в письме, для того чтобы прославиться хорошим знанием языка, которому их научила нянька? Разве хуже писал какой-нибудь школьный учитель, зарабатывавший себе этим на жизнь? Не думаю, чтобы Ксенофонт или Цезарь стали описывать свои деяния, если бы эти деяния не превосходили во много раз их красноречие. Они старались прославиться не словами, а делами. И если бы совершенство литературного слога могло принести крупному человеку завидную славу, наверно Сципион и Лелий не уступили бы чести создания своих комедий, блещущих красотами и тончайшими оттенками латинского языка, на котором они написаны, рабу родом из Африки[1] [broken link: #na40_1]: красота и совершенство этих творений говорят о том, что они принадлежат им, да и сам Теренций признает это. И я возражал бы против всякой попытки разубедить меня в этом.

Насмешкой и оскорблением является стремление прославить человека за те качества, которые не подобают его положению, хотя бы они сами

по себе были достойны похвалы, а также за те, которые для него не наиболее существенны, как, если бы, например, прославляли какого-нибудь государя за то, что он хороший живописец или хороший зодчий, или метко стреляет из аркебузы, или быстро бегает наперегонки. Подобные похвалы приносят честь лишь в том случае, если они присоединяются к другим, прославляющим качества, важные в государе, а именно — его справедливость и искусство управлять народом в дни мира и во время войны. Так, в этом смысле Киру приносят честь его познания в земледелии, а Карлу Великому — его красноречие и знакомство с изящной литературой. Мне приходилось встречать людей, для которых уменье владеть пером было признанием, обеспечившим им высокое положение, но которые, тем не менее, отрекались от своего искусства, нарочно портили свой слог, и щеголяли таким низменным невежеством, которое наш народ считает невозможным у людей образованных; они старались снискать уважение, избрав для себя более высокое поприще.

Сотоварищи Демосфена, вместе с ним отправленные послами к Филиппу, стали восхвалять этого царя за его красоту, красноречие и за то, что он мастер выпить. Демосфен же нашел, что такие

похвалы больше подходят женщине, стряпчему и хорошей губке, но отнюдь не царю.

*Imperet bellante prior, iacentem*
*Lenis in hostem.[2] [broken link: #na40_2]*

Не его дело быть хорошим охотником или плясуном,

*Orabunt causas alii, coelique meatus*
*Describent radio, et fulgentia sidera dicent;*
*Hic regere imperio populos sciat.[3] [broken link: #na40_3]*

Более того, Плутарх говорит, что обнаруживать превосходное знание вещей, не столь уж существенных, это значит вызывать справедливые нарекания в том, что ты плохо использовал свои досуги и недостаточно изучал вещи, более нужные и полезные[4] [broken link: #na40_4]. Филипп, царь македонский, услышав однажды на пиру своего сына, великого Александра, который пел, вызывая зависть прославленных музыкантов, сказал ему: «Не стыдно ли тебе так хорошо петь?» Тому же Филиппу некий музыкант, с которым он вступил в спор об искусстве, заметил: «Да не до пустят боги, государь, чтобы тебе когда-либо выпало несчастье смыслить во всем этом больше

меня».

Царь должен иметь возможность ответить так, как Ификрат ответил оратору, который бранил его в своей речи: «А ты кто такой, чтобы так храбриться? Воин? Лучник? Копьеносец?» — «Я ни то, ни другое, ни третье, но я тот, кто умеет над ними всеми начальствовать».

И Антисфен считал доказательством ничтожности Исмения то обстоятельство, что его хвалили как отличного флейтиста[5] [broken link: #na40_5].

Когда я слышу о тех, кто толкует о языке моих «Опытов», должен сказать, я предпочел бы, чтобы они помолчали, ибо они не столько превозносят мой слог, сколько принижают мысли, и эта критика особенно досадна, потому что она косвенная. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли другие больше меня заботились именно о содержании. Худо ли, хорошо ли, но не думаю, чтобы какой-либо другой писатель дал в своих произведениях большее богатство содержания или, во всяком случае, рассыпал бы его более щедро, чем я на этих страницах. Чтобы его было еще больше, я в сущности напихал сюда одни лишь главнейшие положения, а если бы я стал их еще и развивать, мне пришлось бы во много раз увеличить объем

этого тома. А сколько я разбросал здесь всяких историй, которые сами по себе как будто не имеют существенного значения! Но тот, кто захотел бы в них основательно покопаться, нашел бы материал еще для бесконечного количества опытов. Ни эти рассказы, ни мои собственные рассуждения не служат мне только в качестве примера, авторитетной ссылки или украшения. Я обращаюсь к ним не только потому, что они для меня полезны. В них зачастую содержатся, независимо от того, о чем я говорю, семена мыслей, более богатых и смелых[6] [broken link: #na40_6], и, словно под сурдинку, намекают о них и мне, не желающему на этот счет распространяться, и тем, кто способен улавливать те же звуки, что и я. Возвращаясь к дару слова, я должен сказать, что не нахожу большой разницы между тем, кто умеет только неуклюже выражаться, и теми, кто ничего не умеет делать, кроме как выражаться изящно. Non est ornamentum virile concinnitas[7] [broken link: #na40_7].

Мудрецы утверждают, что для познания — философия, а для деятельности — добродетель, вот то, что пригодно для любого состояния и звания.

Нечто подобное обнаруживается и у знакомых нам двух философов, ибо они тоже обещают

вечность тем письмам, которые писали своим друзьям[8] [broken link: #na40_8].

Но они делают это совсем иным образом, с благой целью снисходя к тщеславию ближнего. Ибо они пишут своим друзьям, что если стремление стать известными в грядущих веках и жажда славы еще препятствуют этим друзьям покинуть дела и заставляют опасаться уединения и отшельничества, к которым они их призывают, то не следует им беспокоиться об этом: ведь они, философы, будут пользоваться у потомства достаточной известностью и потому могут отвечать за то, что одни только письма, полученные от них друзьями, сделают имена друзей более известными и более прославят их, чем они могли бы достичь этого своей общественной деятельностью. И кроме указанной разницы это отнюдь не пустые и бессодержательные письма, весь смысл которых в тонком подборе слов, объединенных и размещенных согласно определенному ритму, — они полным-полны прекрасных и мудрых рассуждений, которые учат не красноречию, а мудрости, которые поучают не хорошо говорить, а хорошо поступать. Долой красноречие, которое влечет нас само по себе, а не к стоящим за ним вещам! Впрочем, о цицероновском слоге говорят,

что, достигая исключительного совершенства, он в нем и обретает свое содержание.

Добавлю еще один рассказ о Цицероне, который рисует его натуру с осязательной наглядностью. Ему предстояло публично произнести речь и не хватало времени, чтобы как следует подготовиться. Один из его рабов, по имени Эрот, пришел к нему с известием, что выступление переносится на следующий день. Он был до того обрадован, что за эту добрую весть отпустил раба на волю.

Насчет писем хочу сказать, что, по мнению моих друзей, у меня есть способность к сочинению их. И для распространения своих выдумок я охотно пользовался бы этой формой, если бы имел подходящего собеседника. Я нуждаюсь в таком общении с собеседником (некогда я его имел!), которое бы поддерживало и вдохновляло меня. Ибо бросать слова на ветер, как делают другие, я мог бы разве только во сне, а изобретать несуществующих людей для того, чтобы писать им о значительных вещах, мне тоже было бы противно, так как я заклятый враг всяких подделок. Если бы я обращался к хорошему другу, то был бы более внимателен и более уверен в себе, чем теперь, когда вижу перед собой многоликую толпу, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в

этом случае писал бы удачнее. Природа одарила меня слогом насмешливым и непринужденным, но эта свойственная мне форма изложения не годится для официальных сношений, как и вообще мой язык, слишком сжатый, беспорядочный, отрывистый. И я не отличаюсь уменьем писать церемонные послания, у которых нет другого смысла, кроме изящного нанизывания любезных слов. Нет у меня ни способности, ни склонности ко всякого рода пространным изъявлениям своего уважения и готовности к услугам. Я вовсе этого не чувствую, и мне неприятно говорить больше, чем я чувствую. В этом я очень далек от теперешней моды, ибо никогда еще не было столь отвратительного и низменного проституирования слов, выражающих почтение и уважение: «жизнь», «душа», «преданность», «обожение», «раб», «слуга» — все это до того опошлено, что, когда люди хотят высказать подлинно горячее чувство и настоящее уважение, у них уже не хватает для этого слов.

Я смертельно ненавижу все, что хоть сколько-нибудь отдает лестью, и поэтому, естественно, склонен говорить сухо, кратко и прямо, а это тем, кто меня плохо знает, кажется высокомерием. С наибольшим почтением отношусь я к тем, кому

не расточаю особо почтительных выражений, и если душа моя устремляется к кому-либо с радостью, я уже не могу заставить ее выступать шагом, которого требует учтивость. Тем, кому я действительно принадлежу всей душой, с предлагаю себя скупо и с достоинством и меньше всего заявляю о своей преданности тем, кому больше всего предан. Мне кажется, что они должны читать в моем сердце и что всякое словесное выражение моих чувств только исказит их.

Я не знаю никого, чей язык был бы так туп и неискусен, как мой, когда дело касается всевозможных приветствий по случаю прибытия, прощаний, благодарностей, поздравлений, предложений услуг и других словесных выкрутасов, предписываемых правилами нашей учтивости.

И ни разу не удавалось мне написать письмо с рекомендацией кого-либо или с просьбой об одолжении кому-либо так, чтобы тот, для кого оно писалось, не находил его сухим и вялым.

Величайшие мастера составлять письма — итальянцы. У меня, если не ошибаюсь, не менее ста томов таких писем; лучшие из них, по-моему, письма Аннибале Каро[9] [broken link: #na40_9]. Если бы вся та бумага, которую я в свое время исписал, обращаясь к женщинам, была теперь

налицо, то из написанного мной в те дни, когда руку мою направляла настоящая страсть, может быть и нашлась бы страничка, достойная того, чтобы ознакомить с нею нашу праздную молодежь, обуреваемую пылом любви. Я всегда пишу свои письма торопливо и так стремительно, что, хотя у меня отвратительный почерк, я предпочитаю писать их своей рукой, а не диктовать другому, так как не могу найти человека, который бы поспевал за мной, и никогда не переписываю набело. Я приучил высоких особ, которые со мной знаются, терпеть мои кляксы и помарки на бумаге без сгибов и полей. Те письма, на которые я затрачиваю больше всего труда, как раз самые неудачные: когда письмо не далось мне сразу, значит, мне не удалось вложить в него душу. Приятнее всего для меня — начинать безо всякого плана: пусть одно влечет за собой другое. В наше время в письмах больше всяких отступлений и предисловий, чем делового содержания. Так как я предпочитаю написать два письма, чем сложить и запечатать одно, то это дело я всегда возлагаю на кого-нибудь другого. Точно так же, когда все, что нужно было сказать в письме, исчерпано, я охотно поручал бы кому-нибудь другому добавлять к нему все эти длинные обращения,

предложения и просьбы, которыми у нас принято уснащать конец письма, и очень желал бы, чтобы какой-нибудь новый обычай избавил нас от этого, а также от необходимости выписывать перечень всех чинов и титулов. Чтобы тут не напутать и не ошибиться, я не раз отказывался от намерения писать, особенно же к людям из судейского и финансового мира. Там постоянно возникают новые должности, царит путаница в распределений и присвоении высоких званий, а они покупаются настолько дорого, что нельзя забыть их или заменить одно другим, не нанеся обиды. Точно так же нахожу я неподходящим делом помещать посвящение с перечнем чинов и титулов на заглавных листах книг, которые мы посылаем в печать.

## Глава XLI
## О нежелании уступать свою славу

Из всех призрачных стремлений нашего мира самое обычное и распространенное — это забота о нашем добром имени и о славе. В погоне за этой призрачной тенью, этим пустым звуком, неосязаемым и бесплотным, мы жертвует и богатством, и покоем, и жизнью, и здоровьем — благами действительными и существенными:

> *La fama, ch'invaghisce a un dolce suono*
>
> *Gli superbi mortali, et par si bella,*
>
> *E un echo, un sogno, anzi d'un sogno un'ombra*
>
> *Ch'ad ogni vento ci delegua e sgombra.[1] [broken link: #na41_1]*

И из всех неразумных человеческих склонностей это, кажется, именно та, от которой даже философы отказываются позже всего и с наибольшей неохотой. Из всех она самая неискоренимая и упорная: quia etiam bene proficientes aminos temptare non cessat[2] [broken link: #na41_2]. Но найдешь другого предрассудка, чью суетность

разум обличал бы столь ясно. Но корни его вросли в нас так крепко, что не знаю, удавалось ли кому-нибудь полностью избавиться от него. После того как вы привели все свои доводы, чтобы разоблачить его, вашим рассуждениям противостоит столь глубокое влечение к славе, что вам нелегко устоять перед ним. Ибо, как говорит Цицерон, даже восстающие против него стремятся к тому, чтобы книги, которые они на этот счет пишут, носили их имя, и хотят прославить себя тем, что презрели славу[3] [broken link: #na41_3]. Все другое может стать общим; когда нужно, мы жертвуем для друзей и имуществом и жизнью. Но уступить свою честь, подарить другому свою славу — такого обычно не увидишь. Катул Лутаций во время войны против кимвров, исчерпав все средства, чтобы остановить своих солдат, бегущих от неприятеля, сам стал во главе беглецов и выдал себя за труса, дабы всем казалось, что они скорее следуют за своим начальником, чем спасаются от врага: так он пожертвовал своим честным именем, чтобы покрыть чужой стыд. Говорят, что когда Карл V в 1537 г. вторгся в Прованс, Антонио де Лейва[4] [broken link: #na41_4], видя, что император твердо решил предпринять этот поход, и считая, что он может увенчаться

необычайной славой, тем не менее возражал и давал императору противоположный совет, с той лишь целью, чтобы вся слава и честь этого решения были приписаны его повелителю и чтобы, по мнению всех, так велика оказалась мудрость и предусмотрительность государя, что, даже вопреки советам окружающих, он успешно завершил столь блестящее предприятие. Таким образом стремился он прославить его за свой счет. Когда фракийские послы, утешая Архилеониду, мать Брасида[5] [broken link: #na41_5], потерявшую сына, славили его вплоть до утверждения, будто он не оставил равных себе, она отвергла эту хвалу, частную и личную, чтобы воздать ее всему народу: «Не говорите мне этого, — сказала она; — я знаю, что Спарта имеет граждан более великих и доблестных, чем он». Во время битвы при Креси[6] [broken link: #na41_6] принцу Уэльскому, тогда еще весьма юному, пришлось командовать авангардом. Именно здесь и завязалась самая жестокая схватка. Находившиеся при нем приближенные, видя, что им приходится туго, послали королю Эдуарду просьбу оказать им помощь. Он спросил, в каком положении сейчас его сын, и, получив ответ, что тот жив и по-прежнему на коне, сказал: «Я повредил бы ему, если

бы отнял у него честь победы в этом сражении, в котором он так стойко держался. И хотя ему сейчас трудновато, пусть она достанется ему одному», И он не пожелал ни сам прийти сыну на помощь, ни послать кого-либо, зная, что если бы он туда отправился, стали бы говорить, что без его поддержки все погибло бы, и приписали бы ему одному успех в этом доблестном деле. Semper enim quod postremum adiectum est, id rem totam videtur traxisse[7] [broken link: #na41_7].

В Риме многие считали и говорили повсюду, что главными победами своими Сципион был в значительной степени обязан Лелию, который, однако, всегда и всеми способами содействовал блеску величия и славы Сципиона, нисколько не помышляя о себе[8] [broken link: #na41_8]. А царь спартанский Феопомп, когда кто-то стал говорить, что государство держится крепко потому, что он умеет хорошо повелевать, ответил: «Нет, скорее потому, что народ умеет так хорошо повиноваться».

Подобно тому, как женщины, унаследовавшие звание пэров, имели право, несмотря на свой пол, присутствовать и высказываться при разбирательстве дел, подлежащих юрисдикции пэров, так и пэры, принадлежащие к церкви,

несмотря на свой духовный сан, обязаны были во время войны помогать нашим королям не только присылкой своих людей и слуг, но и личным присутствием.

Епископ города Бове, находясь при короле Филиппе-Августе во время битвы при Бувине[9] [broken link: #na41_9], сражался весьма мужественно. Но он полагал, что ему не следует пожинать плоды и славу такого кровавого и жестокого дела. Многих врагов смирил он в тот день своей рукой, но всегда передавал их первому попавшемуся дворянину, предоставляя ему поступить с ними по своему усмотрению: умертвить или взять в плен. Таким образом передал он Уильяма, графа Солсбери, мессиру Жану де Нель. С такой же щепетильностью в делах совести, как та, о которой я только что говорил, он соглашался оглушить врага, но не ранить, и сражался только палицей. Уже в наше время некий дворянин, которого король укорил за то, что он поднял руку на священника, твердо и решительно отрицал это. А дело было в том, что он бил его и топтал ногами.

## Глава XLII
## О существующем среди нас неравенстве[1] [broken link: #na42_1]

Плутарх говорит в одном месте, что животное от животного не отличается так сильно, как человек от человека[2] [broken link: #na42_2]. Он имеет в виду душевные свойства и внутренние качества человека. И поистине, от Эпаминонда, как я себе его представляю, до того или иного из известных мне людей, хотя бы и не лишенного способности здраво рассуждать, столь же, по-моему, далеко, что я выразился бы сильнее Плутарха и сказал бы, что между иными людьми разница часто большая, чем между некоторыми людьми и некоторыми животными, —

> *Hem! vir viro quid praestat?[3] [broken link: #na42_3]*

и что ступеней духовного совершенства столько же, сколько саженей отсюда до неба; им же несть числа.

Но, если уж говорить об оценке людей, то — удивительное дело — все вещи, кроме нас самих, оцениваются только по их собственным каче-

ствам. Мы хвалим коня за силу и резвость:

> *volucrem*
>
> *Sic laudamus equum, facili cui plurima palma*
>
> *Fervet, et exultat rauco victoria circo,[4] [broken link: #na42_4]*

а не за сбрую; борзую за быстроту бега, а не за ошейник; ловчую птицу за крылья, а не за цепочки и бубенчики.

Почему таким же образом не судить нам и о человеке по тому, что ему присуще?

Он ведет роскошный образ жизни, у него прекрасный дворец, он обладает таким-то влиянием, таким-то доходом; но все это — при нем, а не в нем самом. Вы не покупаете кота в мешке. Приторговывая себе коня, вы снимаете с него боевое снаряжение, осматриваете в естественном виде; если же он все-таки покрыт попоной, как это делали в старину, приводя коней на продажу царям, то она прикрывает наименее существенное для того чтобы вы не увлеклись красотой шерсти или шириной крупа, а обратили главное внимание на ноги, глаза, копыта — наиболее важное во всякой лошади:

> *Regibus hic mos est: ubi equos mercantur,*

*opertos*

*Inspiciunt, ne, si facies, ut saepe, decora*

*Molli fulta pede est, emptorem inducat hiantem,*

*Quod pulchrae clunes, breve quod caput, ardua cervix.[5] [broken link: #na42_5]*

Почему же, оценивая человека, судите вы о нем, облеченном во все покровы? Он показывает нам только то, что ни в коей мере не является его сущностью, и скрывает от нас все, на основании чего только и можно судить о его достоинствах. Вы ведь хотите знать цену шпаги, а не ножен: увидев ее обнаженной, вы, может быть, не дадите за нее и медного гроша.

Надо судить о человеке по качествам его, а не по нарядам, и, как остроумно говорит один древний автор, «знаете ли, почему он кажется вам таким высоким? Вас обманывает высота его каблуков»[6] [broken link: #na42_6]. Цоколь — еще не статуя. Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в сторону свои богатства и знания и предстанет перед вами в одной рубашке. Обладает ли тело его здоровьем и силой, приспособлено ли оно к свойственным ему занятиям? Какая душа у него? Прекрасна ли она, одарена ли спо-

собностями и всеми надлежащими качествами? Ей ли принадлежит ее богатство или оно заимствовано? Не обязана ли она всем счастливому случаю? Может ли она хладнокровно видеть блеск обнаженных мечей? Способна ли бесстрашно встретить и естественную и насильственную смерть? Достаточно ли в ней уверенности, уравновешенности, удовлетворенности? Вот в чем надо дать себе отчет, и по этому надо судить о существующих между нами громадных различиях. Если человек

> *sapiens, sibique imperiosus*
>
> *Quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent,*
>
> *Responsare cupidinibus, contemnere honores*
>
> *Fortis, et in se ipso totus teres atque rotundus,*
>
> *Externi ne quid valeat per laeve morari,*
>
> *In quem manca ruit semper fortuna?[7] [broken link: #na42_7]*

то он на пятьсот саженей возвышается над всеми королевствами и герцогствами, в самом себе обретая целое царство.

*Sapiens pol ipse fingit fortunam sibi[8] [broken link: #na42_8].*

Что ему остается желать?

*Nonne videmus*

*Nil allud sibi naturam latrare, nisi ut quoi*

*Corpore selunctus dolor absit, mente fruatur,*

*Iucundo sensu cura semotus metuque?[9] [broken link: #na42_9]*

Сравните с ним толпу окружающих нас людей, тупых, низких, раболепных, непостоянных и беспрерывно мятущихся по бушующим волнам различных страстей, которые носят их из стороны в сторону, целиком зависящих от чужой воли: от них до него дальше, чем от земли до неба. И тем не менее, таково обычное наше ослепление, что мы очень мало или совсем не считаемся с этим. Когда же мы видим крестьянина и короля, дворянина и простолюдина, сановника и частное лицо, богача и бедняка, нашим глазам они представляются до крайности несходными, а между тем они, попросту говоря, отличаются друг от друга только своим платьем.

Во Фракии царя отличали от его народа спосо-

бом занятным, но слишком замысловатым: он имел особую религию, бога, ему одному принадлежавшего, которому подданные его не имели поклоняться, — то был Меркурий. Он же пренебрегал их богами — Марсом, Вакхом, Дианой. И все же это лишь пустая видимость, не представляющая никаких существенных различий. Они подобны актерам, изображающим на подмостках королей и императоров; но сейчас же после спектакля они снова становятся жалкими слугами или поденщиками, возвращаясь в свое изначальное состояние. Поглядите на императора, чье великолепие ослепляет вас во время парадных выходов:

> *Scilicet et grandes viridi cum luce smaragdi*
> *Auro includuntur, teriturque Thalassina vestis*
> *Assidue, et Veneris sudorem exercita potat.[10] [broken link: #na42_10]*

А теперь посмотрите на него за опущенным занавесом: это обыкновеннейший человек и, может статься, даже более ничтожный, чем самый жалкий из его подданных: Ille beatus introrsum est. Istius bracteata felicitas est.[11] [broken link: #na42_11] Трусость, нерешительность, честолю-

бие, досада и зависть волнуют его, как всякого другого:

*Non enim gazae neque consularis*
*Summovet lictor miseros tumultus*
*Mentis et curas laqueata circum*
*Tecta volantes[12] [broken link: #na42_12]*

тревога и страх хватают его за горло, когда он находится среди своих войск.

*Re veraque metua hominum, curaeque sequaces,*
*Nec metuunt sonitus armorum, nec fera tela;*
*Audacterque inter reges, rerumque potentes*
*Versantur, neque fulgorem reverentur ab auro.[13] [broken link: #na42_13]*

А разве лихорадка, головная боль, подагра щадят его больше, чем нас? Когда плечи его согнет старость, избавят ли его от этой ноши телохранители? Когда страх смерти оледенит его, успокоится ли он от присутствия вельмож своего двора? Когда им овладеет ревность или внезапная причуда, приведут ли его в себя низ-

кие поклоны? Полог над его ложем, который весь топорщится от золотого и жемчужного шитья, не способен помочь ему справиться с приступами желудочных болей.

*Nec calidae citius decedunt corpore febres,*
*Textilibus si in picturis ostroque rubenti*
*Iacteris, quam si plebeia in veste cubandum est[14] [broken link: #na42_14]*

Льстецы Александра Великого убеждали его в том, что он сын Юпитера. Однажды, будучи ранен, он посмотрел на кровь, текущую из его раны, и заметил: «Ну, что вы теперь скажете? Разве это не красная, самая, что ни на есть человеческая кровь? Что-то не похожа она на ту, которая у Гомера вытекает из ран, нанесенных богам». Поэт Гермодор сочинил стихи в честь Антигона, в которых называл его сыном Солнца. Но Антигон возразил: «Тот, кто выносит мое судно, отлично знает, что это неправда»[15] [broken link: #na42_15]. Царь — всего-навсего человек. И если он плох от рождения, то даже власть над всем миром не сделает его лучше:

*puellae*
*Hunc rapiant: quicquid calcaverit hic, rosa*

*fiat[16] [broken link: #na42_16]*

Что толку от всего этого, если как человек он душевно ничтожен и груб? Для наслаждения и счастья необходимы и душевные силы и разум:

> *haec perinde sunt, ut illius animus qui ea possidet,*
> *Qui uti scit, ei bona: illi qui non utitur recte, mala.[17] [broken link: #na42_17]*

Каковы бы ни были блага, дарованные вам судьбой, надо еще обладать способностью ощущать их прелесть. Не владение чем-либо, а наслаждение делает нас счастливыми:

> *Non domus et fundus, non aeris acervus et auri*
> *Aegroto domini deduxit corpore febres,*
> *Non animo curas: valeat possessor oportet,*
> *Qui comportatis rebus bene cogitat uti.*
> *Qui cupit aut metuit, iuvat illum sic domus aut res,*
> *Ut lippum pictae tabulae, fomenta podagram.[18] [broken link: #na42_18]*

Кто глуп, чьи вкусы грубы и притуплены, тот способен наслаждаться ими не более, чем утра-

тивший обоняние и вкус — сладостью греческих вин или лошадь — роскошью сбруи, которой ее украсили. Верно говорит Платон, утверждая, что здоровье, красота, сила, богатство и все, что называется благом, для неразумного столь же плохо, как для разумного хорошо, и наоборот[19] [broken link: #na42_19]. К тому же если тело и душа недужны, к чему все эти внешние удобства жизни? Ведь малейшего укола булавки, малейшего душевного волнения достаточно для того, чтобы отнять у человека всякую радость обладания всемирной властью. При первом же приступе подагрических болей, каким бы он там ни был государем или величеством,

> *Totus et argento conflatus, totus et auro,[20] [broken link: #na42_20] —*

разве не забывает он о своих дворцах и о своем величии? А если он в ярости, то разве его царское достоинство поможет ему не краснеть, не бледнеть и не скрипеть зубами, как безумцу? Если же это человек благородный и обладающий разумом, царский престол едва ли добавит что-нибудь к его счастью.

> *Si ventri bene, si lateri est pedibusque tuis, nil*

*Divitiae poterunt regales addere maius.[21] [broken link: #na42_21]*

Он видит, что это только обманчивая личина. Быть может, он даже согласится с мнением царя Селевка, что «тот, кто знает, как тяжел царский скипетр, не стал бы его поднимать, когда бы нашел его валяющимся на земле»[22] [broken link: #na42_22]; он говорил так из-за великого и тягостного бремени, выпадающего на долю хорошего царя. И действительно, управлять другими не легкое дело, когда и самим собою управлять нам достаточно трудно. Что же касается возможности повелевать, которая представляется столь сладостной, то, принимая во внимание жалкую слабость человеческого разумения и трудность выбора между вещами новыми и сомнительными, я придерживаюсь того мнения, что легче и приятнее следовать за кем-либо, чем предводительствовать, и что великое облегчение для души — придерживаться уже предписанного пути и отвечать лишь за себя:

*Ut satius multo iam sit parere quietum,*

*Quam regere imperio res velle.[23] [broken link: #na42_23]*

К тому же Кир говорил, что повелевать может

только такой человек, который лучше тех, кем он повелевает. Но царь Гиерон у Ксенофонта утверждает, что даже в наслаждениях своих цари находятся в худшем положении, чем простые люди: ибо, с удобством и легкостью предаваясь удовольствиям, они не находят в них той сладостно-терпкой остроты, которую ощущаем мы[24] [broken link: #na42_24].

> *Pinguis amor nimiumque potens in taedia nobis*
>
> *Vertitur, et stomacho dulcis ut esca nocet.[25] [broken link: #na42_25]*

Разве детям, поющим в церковном хоре, музыка доставляет большое удовольствие? Пресыщенность ею вызывает у них скорее скуку. Празднества, танцы, маскарады, турниры радуют тех, кто не часто бывает на них и кого туда влечет. Но человеку, привычному к ним, они кажутся нелюбопытными и пресными. И общество дам не возбуждает того, кто может насладиться им до пресыщения; кому не приходится испытывать жажды, тот не станет пить с удовольствием. Выходки фигляров веселят нас, а для них они — тяжелая работа. Так и получается, что для высоких особ — праздник, наслаждение, если

иногда они, переодевшись, могут предаться на некоторое время простонародному и грубому образу жизни:

> *Plerumque gratae principibus vices,*
> *Mundaeque parvo sub lare pauperum*
> *Cenae, sine aulaeis et ostro,*
> *Sollicitam explicuere frontem.[26] [broken link: #na42_26]*

Ничто так не раздражает и не вызывает такого пресыщения, как изобилие. Какой сладострастник не почувствует отвращения, если во власти его окажутся триста женщин, как у султана в его серале? И какое влечение, какой вкус к охоте мог быть у того из его предков, который выезжал в поле, сопровождаемый не менее чем семью тысячами сокольничих? Помимо этого я полагаю, что самый блеск величия привносит немалые неудобства в наслаждении наиболее сладостными удовольствиями: владыки мира слишком освещены отовсюду, слишком на виду. И я не понимаю, как можно обвинять их больше, чем других людей, за старания скрыть или утаить свои прегрешения. Ибо то, что для нас только слабость, у них, по мнению народа, есть проявление тирании, презрение и пренебрежение к

законам: кажется, что, кроме удовлетворения своих порочных склонностей, они еще тешатся тем, что оскорбляют и попирают ногами общественные установления. Действительно, Платон в «Горгии»[27] [broken link: #na42_27] определяет тирана как того, кто имеет возможность в государстве делать все, что ему угодно. И часто по этой причине открытое выставление напоказ их пороков оскорбляет больше, чем самый порок. Никому не нравится, чтобы за ним следили и проверяли его поступки. С них не спускают глаз, отмечая их манеру держаться и стараясь проникнуть даже в их мысли, ибо весь народ считает, что судить об этом — его право и его законный интерес. Я уже не говорю о том, что пятна кажутся больше на поверхности выдающейся и ярко освещенной, и что царапина или бородавка на лбу сильнее бросается в глаза, чем шрам в месте не столь заметном.

Вот почему поэты изображают, будто Юпитер в своих любовных похождениях принимал различные обличия; и из всех любовных историй, которые ему приписываются, есть, мне кажется, только одна, где он выступает во всем своем царственном величии.

Но вернемся к Гиерону. Он также свидетель-

ствует и о том, какие неудобства приходится испытывать от царской власти не позволяющей ему свободно путешествовать и вынуждающей его, подобно пленнику, оставаться в пределах своей страны, и о том, что во всех своих действиях он подвергается самым досадным стеснениям. И по правде сказать, видя, как наши короли сидят совсем одни за столом, а кругом толпится столько посторонних, которые глазеют на них и судачат, я часто испытываю больше жалости, чем зависти.

Король Альфонс[28] [broken link: #na42_28] говорил, что в этом отношении даже ослы находятся в лучшем положении, чем властители: хозяева дают им пастись на свободе, где им угодно, чего короли никак не могут добиться от своих слуг.

Я же никогда не воображал, что разумному человеку может показаться каким-либо особым удобством иметь двадцать надсмотрщиков за своим стульчаком, и не считал, что услуги человека, имеющего десять тысяч ливров дохода, либо взявшего Казале или отстоявшего Сиену[29] [broken link: #na42_29], для него более удобны и приемлемы, чем услуги хорошего опытного лакея.

Преимущества царского сана — в значительной степени мнимые: на любой ступени богатства и

власти можно ощущать себя царем. Цезарь называл царьками всех владетельных лиц, которые в его время пользовались во Франции правом суда и расправы. В самом деле, за исключением титула «величество» положение любого сеньора, в сущности, мало уступает королевскому. А посмотрите, в провинциях, отдаленных от двора — назовем, к примеру, Бретань, — как живет там, уединившись в своем поместье, сеньор, окруженный слугами, посмотрите на его свиту, его подчиненных, на то, каким церемониалом он окружен, и посмотрите, куда заносит его полет воображения, — нет ничего более царственного: он слышит о своем короле и повелителе едва ли раз в год, словно о персидском царе, и признает лишь свое старинное родство с ним, которое удостоверено в бумагах, хранящихся у секретаря. По правде сказать, законы наши достаточно свободны, и верховная власть дает себя чувствовать французскому дворянину, может быть, раза два за всю его жизнь. Из нас всех подчиненное положение ощущают по настоящему, в действительности, только те, кто сам на это идет, желая своей службой достичь почестей и богатств. Ибо тот, кто хочет тихо сидеть у себя дома и умеет вести свое хозяйство без ссор и судебных тяжб,

так же свободен, как венецианский дож. Paucos servitus, plures servitutem tenent[30] [broken link: #na42_30].

Сверх того, Гиерон особо подчеркивает, что царское достоинство совершенно лишает государя дружеских связей и живого общения с людьми, а ведь именно в этом величайшая радость человеческой жизни. Ибо как я могу рассчитывать на выражение искренней приязни и доброй воли от того, кто — хочет он этого или нет — во всем от меня зависит? Могу ли я доверять его смиренным речам и учтивым приветствиям, раз он вообще не имеет возможности вести себя иначе? Почести, воздаваемые нам теми, кто нас боится, не почести: уважение в данном случае воздается не мне, а царскому сану:

> *maximum hoc regni bonum est,*
>
> *Quod facta domini cogitur populus sui*
>
> *Quam ferre tam laudare.[31] [broken link: #na42_31]*

Разве мы не видим, что и доброму и злому владыке, и тому, кого ненавидят, и тому, кого любят, воздается одно и то же? С такими же высшими знаками почтения, с тем же церемониалом служили моему предшественнику и будут

служить моему преемнику. Если подданные не оскорбляют меня, это не является выражением их привязанности: какое право имел бы я думать, что это привязанность, когда они не могут быть иными, даже если бы захотели? Никто не следует за мной в силу дружеского чувства, возникшего между нами; ибо не может завязаться дружбы там, где так мало взаимных связей и соответствия в положении. Высота, на которой я пребываю, поставила меня вне общения с людьми. Они следуют за мной по обычаю или по привычке, или, точнее, не за мной, а за моим счастьем, чтобы приумножить свое. Все, что они мне говорят и для меня делают, — только прикрасы, ибо их свобода со всех сторон ограничена моей великой властью над ними. Все, что я вижу вокруг себя, прикрыто личинами.

Однажды придворные восхваляли императора Юлиана за справедливость. «Я охотно гордился бы, — сказал он, — этими похвалами, если бы они исходили от лиц, которые осмелились бы осудить или подвергнуть порицанию противоположные действия, буде я их совершил бы».

Все подлинные блага, которыми пользуются государи, общи у них с людьми среднего состояния: только богам дано ездить верхом на крылатых

конях и питаться амброзией. Сон и аппетит у них такой же, как у нас; их сталь не лучшего закала, чем та, которой вооружаемся мы; венец не предохраняет их от солнца и дождя. Диоклетиан, царствовавший так счастливо и столь почитавшийся всеми, в конце концов отказался от власти и предпочел радости частной жизни; когда же через некоторое время обстоятельства стали требовать, чтобы он вернулся к государственным делам, он отвечал тем, кто просил его об этом: «Вы бы не решились уговаривать меня, если бы видели прекрасные ряды деревьев, которые я сам посадил у себя в саду, и чудесные дыни, которые я вырастил».

По мнению Анахарсиса, лучшим управлением было бы такое, в котором при всеобщем равенстве во всем прочем, первые места были бы обеспечены добродетели, а последние — пороку[32] [broken link: #na42_32].

Когда царь Пирр намеревался двинуться на Италию, Кинеад, его мудрый советчик, спросил, желая дать ему почувствовать всю суетность его тщеславия: «Ради чего, государь, затеял ты это великое предприятие?» — «Чтобы завоевать Италию», — сразу же ответил царь. — «А потом, — продолжал Кинеад, — когда это будет

достигнуто?» — «Я двинусь, — сказал тот, — в Галлию и Испанию». — «Ну, а потом?» — «Я покорю Африку, и наконец, подчинив себе весь мир, буду отдыхать и жить в свое полное удовольствие». — «Клянусь богами, государь, — продолжал Кинеад, — что же мешает тебе и сейчас, если ты хочешь, наслаждаться всем этим? Почему бы тебе сразу не поселиться там, куда ты, по твоим уверенъям, стремишься, и не избежать всех тяжелых трудов и всех случайностей, стоящих на пути к твоей цели?»[33] [broken link: #na42_33].

> *Nimirum, quia non bene norat quae esset habendi*
>
> *Finis, et omnino quoad crescat vera voluptas.[34] [broken link: #na42_34]*

Закончу это рассуждение кратким изречением одного древнего автора, поразительно, на мой взгляд, подходящим для данного случая: Mores cuique sui fingunt fortunam[35] [broken link: #na42_35].

## Глава XLIII
## О законах против роскоши

Тот способ, которым законы наши стараются ограничить безумные и суетные траты на стол и одежду, на мой взгляд, ведет к совершенно противоположной цели. Правильнее было бы внушить людям презрение к золоту и шелкам, как вещам суетным и бесполезным. Мы же вместо этого увеличиваем их ценность и заманчивость, а это самый нелепый способ вызвать к ним отвращение. Ибо объявить, что только особы царской крови могут есть палтуса или носить бархат и золотую тесьму, и запретить это простым людям, разве не означает повысить ценность этих вещей и вызвать в каждом желание пользоваться ими? Пусть короли смело откажутся от таких знаков величия — у них довольно других; подобные же излишества извинительны кому другому, только не государю. Взяв пример с других народов, мы можем научиться гораздо лучшим способом внешне отличать людей по рангу (что, по-моему, в государстве действительно необходимо), не насаждая столь явной испорченности и изне-

женности нравов. Удивительно, как в этих, по существу безразличных, вещах легко и быстро сказывается власть привычки. И года не прошло с тех пор, как мы, следуя примеру двора, стали носить сукно в знак траура по короле Генрихе II[1] [broken link: #na43_1], а шелка настолько упали во всеобщем мнении, что, встречая кого-либо в шелковой одежде, вы тотчас же решали, что это не дворянин, а горожанин. Шелковые ткани достались в удел врачам и хирургам. И хотя все были одеты более или менее одинаково, оставалось достаточно внешних различий в положении людей.

Как быстро в наших войсках входят в честь засаленные куртки из замши и холста, а чистая и богатая одежда вызывает упреки и презрение!

Пусть короли прекратят это мотовство, и все будет сделано в один месяц, без постановлений и указов: мы сразу же последуем за ними.

Наоборот, закон должен бы объявлять, что красный цвет и ювелирные украшения запрещены людям всех состояний, за исключением комедиантов и куртизанок. Такими законами Залевк[2] [broken link: #na43_2] исправил развращенные нравы локрийцев. Его указы были таковы: «Женщине свободного состояния запре-

щается выходить в сопровождении более чем одной служанки, разве что она пьяна. Запрещается ей также выходить из города по ночам, носить золотые драгоценности на своей особе и украшенные вышивкой одежды, если она не девка и не блудница. Ни одному мужчине, кроме распутников, не разрешается носить на пальцах золотые перстни и одеваться в тонкие одежды, как, например, сшитые из шерсти, вытканной в городе Милете». Благодаря таким постыдным исключениям он искусным образом отвратил граждан от излишеств и гибельной изнеженности.

Это было очень разумное средство — привлечь людей к выполнению долга и повиновению, соблазняя их почетом, и удовлетворением честолюбивых стремлений. Короли наши всемогущи в области таких внешних преобразований. Quidquid principes faciunt, praecipere videntur.[3] [broken link: #na43_3] Вся Франция принимает за правило то, что является правилом при дворе. Пусть они откажутся от этих безобразных панталон, которые выставляют напоказ наши обычно скрываемые части тела; от камзолов на толстой подкладке, придающих нам вид, какого на самом деле мы не имеем, и очень неудобных

для ношения оружия; от длинных, как у женщин, кудрей; от обычая целовать предметы, которые мы передаем своим друзьям, или наши пальцы, перед тем, как сделать приветственный жест, — в старину эта церемония была в ходу лишь в отношении принцев; от требования, чтобы дворянин находился в местах, в которых ему подобает держать себя достойно, без шпаги на боку, в расстегнутом камзоле, словно он только что вышел из нужника; от того, чтобы вопреки обычаю наших отцов и особым вольностям дворян нашего королевства, мы снимали головные уборы, даже стоя очень далеко от королевской особы, где бы она не находилась, и даже не только в ее окружении, но и вблизи сотен других, ибо сейчас у нас развелось множество королей на одну треть или даже не одну четверть. Так обстоит и с другими подобными вредными нововведениями: они сразу потеряли бы всякую привлекательность и исчезли бы. Все это заблуждения поверхностные, но не предвещающие ничего доброго; ведь хорошо известно, что самая основа стен повергается порче, когда начинают трескаться краска и штукатурка.

Платон в своих «Законах» считает, что нет более гибельной для государства чумы, чем

предоставление молодым людям свободы постоянно переходить — и в манере одеваться, и в жестах, и в танцах, и в гимнастических упражнениях, и в песнях — от одной формы к другой, колебаться в своих мнениях то в одну сторону, то в другую, стремиться ко всяческим новшествам и почитать их изобретателей; ибо таким путем происходит порча нравов, и все древние установления начинают презираться и забываться[4] [broken link: #na43_4]. Во всем, что не является явно плохим, перемен следует опасаться: это относится и к временам года, и к ветрам, и к пище, и к настроениям. И только те законы заслуживают истинного почитания, которым бог обеспечил существование настолько длительное, что никто уже того не знает, когда они возникли и были ли до них какие-либо другие.

## Глава XLIV
## О сне

Разум повелевает нам идти все одним и тем же путем, но не всегда с одинаковой быстротой; и хотя мудрый человек не должен позволять страстям своим отклонять его от правого пути, он может, не поступясь долгом, разрешить им то убыстрять, то умерять его шаг, и ему не подобает стоять на месте, словно он колосс, неподвижный и бесстрастный. Даже у добродетельнейшего из людей, я полагаю, пульс бьется сильнее, когда он идет на приступ, чем когда он направляется к обеденному столу; необходимо даже, чтобы он иногда погорячился и разволновался. По этому поводу я заметил как явление редкое, что иногда великие люди в своих возвышенных предприятиях в и важнейших делах так хорошо сохраняют хладнокровие, что даже не укорачивают времени, предназначенного для сна.

Александр Великий в день, когда была назначена решающая битва с Дарием, спал таким глубоким сном и так долго, что Пармениону пришлось зайти в его опочивальню и, подойдя

к ложу, два или три раза окликнуть царя, чтобы разбудить его, ибо уже наступило время начинать битву.

Император Огон[1] [broken link: #na44_1], задумавший покончить жизнь самоубийством, в ту самую ночь, когда он решил умереть, приведя в порядок свои домашние дела, разделив свои деньги между слугами, наточив лезвие меча и ожидая только известий о том, что все его сторонники успели укрыться в безопасных местах, погрузился в такой глубокий сон, что его приближенные слуги слышали, как он храпит.

Смерть этого императора имеет много общего со смертью великого Катона даже в подробностях: ибо Катон, собиравшийся покончить с собой и ожидавший сообщения, что сенаторы, которым он хотел обеспечить спасение, уже отплыли из гавани Утики, так крепко заснул, что из соседней комнаты было слышно его дыхание. И когда тот, кого он послал в гавань, разбудил его, чтобы сообщить, что сенаторы не могут выйти в открытое море из-за поднявшегося сильного ветра, он отправил в гавань другого, а сам, снова улегшись в постель, опять начал дремать, пока посланец не известил его об отъезде сенаторов.

Мы имеем право сравнить того же Катона с

Александром, когда в дни заговора Катилины над Катоном нависла великая и грозная опасность вследствие мятежа, поднятого трибуном Метеллом, который хотел обнародовать постановление о возвращении Помпея с его войсками. Так как один лишь Катон возражал против этого, у него с Метеллом в сенате дело дошло до резких слов и грубых угроз. Но окончательно решение надлежало принять лишь на другой день на площади, куда Метелл, и без того сильный поддержкой народа и Цезаря, тогда бывшего с ним в заговоре в пользу Помпея, должен был явиться в сопровождении большого количества рабов-чужеземцев и отчаянных рубак, Катон же — вооруженный только своей непреклонной твердостью. Поэтому его близкие, члены семьи и многие достойные люди находились в большой тревоге; среди них были такие, которые провели ночь вместе с ним, не желая ни спать, ни пить, ни есть из-за опасности, которой ему предстояло подвергнуться. Даже его жена и сестры только плакали да тревожились в его доме. Он же, наоборот, всех успокаивал и, отужинав как обычно, отправился спать и проспал глубоким сном до утра, пока один из его товарищей по трибунату не разбудил его, чтобы идти на предстоявшую схватку. То, что мы знаем

о величии и мужестве этого человека по его дальнейшей жизни, позволяет нам с уверенностью сказать, что все это исходило из души, так высоко вознесенной над подобными происшествиями, что он и не удостаивал мыслить о них иначе, как о чем-то самом обыкновенном.

Во время морского сражения у берегов Сицилии, в котором Август одержал победу над Сектом Помпеем[2] [broken link: #na44_2], он в тот самый момент, когда надо было отправляться на битву, оказался погруженным в такой глубокий сон, что его друзьям пришлось разбудить его, чтобы он дал сигнал к началу сражения; это позволило Марку Антонию упрекнуть его впоследствии, будто у него не хватило храбрости своими глазами взглянуть на расположение войск и будто он не смел предстать перед солдатами, пока Агриппа не пришел к нему объявить о победе, одержанной над неприятелем. Но что касается Младшего Мария[3] [broken link: #na44_3], то с ним вышло и того хуже, ибо в день своей последней битвы с Суллой, расставив войска и отдав приказ начать сражение, он прилег в тени дерева отдохнуть и так крепко заснул, что не без труда проснулся, когда его побежденные войска обратились в бегство, и даже не видел самой битвы; это случи-

лось, говорят, потому, что он изнемог от трудов и вынужденной бессонницы, и природа в конце концов взяла свое. Тут врачи должны решить, так ли необходим сон, что от него может зависеть жизнь: ибо мы знаем, например, что царя Македонского Персея[4] [broken link: #na44_4] в римском плену довели до смерти, не давая ему спать; впрочем, Плиний приводит в качестве примера других, долго живших без сна.

Геродот упоминает о племенах, где люди полгода спят и полгода бодрствуют[5] [broken link: #na44_5].

А те, кто описал жизнь мудреца Эпименида, утверждают, что он проспал, ни разу не пробудившись, пятьдесят семь лет[6] [broken link: #na44_6].

## Глава XLV
## О битве при Дре

В битве при Дре[1] [broken link: #na45_1] было много замечательных случаев. Но те, кому не по душе слава господина де Гиза[2] [broken link: #na45_2], усиленно подчеркивают, что нет никакого извинения его задержке с починенными ему частями и проявленной им медлительности в то время, когда с помощью артиллерии был прорван фронт господина коннетабля, командующего армией; они также утверждают, что лучше было положиться на случай и ударить неприятелю во фланг, чем, дожидаясь благоприятного момента, когда он подставит под удар свой тыл, терпеть столь тяжкие потери. Но, помимо даже того, что показал исход сражения, всякий рассуждающий беспристрастно признает, по-моему, что целью и стремлением не только военачальника, но и каждого солдата должна быть окончательная победа и что любые частные и случайные успехи, какую бы выгоду они для них не представляли, не могут отвлекать их от этой заботы. Филопемен в одном из своих столкновений с Маханидом[3]

[broken link: #na45_3] выслал вперед для нападения сильный отряд, вооруженный луками и дротиками; враги отбросили его, увлеклись стремительным преследованием и помчались вдоль всего фронта войск, где находился Филопемен. Хотя солдаты были чрезвычайно возбуждены, он решил не двигаться с места и не нападать на неприятеля, чтобы помочь своим людям; так позволил он отогнать их и уничтожить у себя на глазах, а затем напал на врага, обрушившись на пехоту, как только увидел, что конница оставила ее без прикрытия; и, поскольку ему удалось захватить врагов в то время, когда они, уверенные, что битва ими уже выиграна, расстроили свои ряды, он, хотя они и были лакедемоняне, быстро справился с ними и затем бросился преследовать Маханида. Этот случай во всем сходен с делом господина де Гиза.

В жестокой битве между Агесилаем и беотийцами, которую участвовавший в ней Ксенофонт считает самой тяжелой из всех виденных им когда-либо, Агесилай пренебрег возможностью, которую давало ему военное счастье, — пропустить мимо себя беотийские войска и ударить по их тылам, полагая, что сделать так — означало бы проявить больше искусства, чем доблести;

чтобы показать свое геройство, он предпочел с изумительным пылом храбрости атаковать их в лоб, но, разбитый и раненный в сражении, был вынужден отступить и принять решение, от которого сперва отказался, расступиться и пропустить весь этот поток беотийцев между своими частями; затем, после их прихода, убедившись, что они двигаются без всякого порядка, словно им уже ничто не грозит, он отдает приказ начать преследование и напасть на них с флангов. Но все же ему не удалось обратить их в беспорядочное бегство; и они отступали медленно, все время огрызаясь, до тех пор, пока не оказались в безопасности.

## Глава XLVI
## Об именах

Сколько бы ни было различных трав, все их можно обозначить одним словом: «салат». Так и здесь, по видом рассуждения об именах, я устрою мешанину из всякой всячины.

У каждого народа есть некоторые имена, которые, уж не знаю почему, не в чести: у нас это — Жан, Гильом, Бенуа.

Далее, в родословных государей есть имена, роковым образом встречающиеся постоянно: таковы Птолемеи в Египте, Генрихи в Англии, Нарвы во Франции, Балдуины во Фландрии, а в нашей Аквитании в старину — Гильомы, откуда даже, как уверяют, произошло название Гиень: словопроизводство такого рода следовало бы признать очень натянутым, если бы даже у Платона не встречались столь же грубые его образчики[1] [broken link: #na46_1].

Для примера можно привести также случай пустяковый, но все же достойный быть отмеченным и описанным очевидцем; Генрих, герцог Нормандский, сын Генриха II, короля Англии,

давал однажды во Франции пир, на котором присутствовало столько знати, что забавы ради она разделилась на отряды по признаку имен: и в первом отряде — отряде Гильомов — оказалось сто десять рыцарей этого имени, сидящих за столом, не считая простых дворян и слуг.

Рассадить гостей за столами по именам было столь же забавной выдумкой, как со стороны императора Геты[2] [broken link: #na46_2] установить порядок подаваемых на пиру блюд по первым буквам названий: так, например, слуги подавали подряд блюда, начинающиеся на «б»: баранину, буженину, бекасов, белугу и тому подобное.

Далее, существует выражение: хорошо иметь доброе имя, то есть пользоваться доверием и хорошей славой. Но ведь, кроме того, приятно обладать и красивым именем, легко произносимым и запоминающимся. Ибо королям и вельможам тогда проще запомнить нас и труднее забывать. И мы сами чаще отдаем распоряжения и даем поручения тем из наших слуг, чьи имена легче всего слетают с языка.

Я сам наблюдал, как король Генрих II не мог правильно произнести фамилию некоего гасконского дворянина, и он же решил именовать одну из фрейлин королевы по названию местности,

откуда она была родом, так как название ее родового поместья представлялось ему слишком трудным.

И Сократ также считал выбор красивого имени ребенку достойной заботой отца.

Далее, относительно постройки церкви Богоматери в Пуатье рассказывают, что некий развратный юноша, первоначально живший на том месте, приведя к себе однажды девку, спросил ее имя, а оно оказалось — Мария; тогда он внезапно проникся таким религиозным трепетом и уважением к пресвятому имени Девы, матери нашего Спасителя, что не только тотчас же прогнал блудницу, но каялся в своем грехе всю остальную жизнь. И в ознаменование этого чуда на месте, где находился дом юноши, построили часовню Богоматери, а впоследствии и стоящую сейчас церковь. Здесь благочестивое исправление произошло через слово и звук, проникший прямо в душу. А вот другой случай, в том же роде, когда воздействие на телесные вожделения оказали музыкальные звуки. Находясь однажды в обществе молодых людей, Пифагор почувствовал, что они, разгоряченные пиршеством, сговариваются пойти и учинить насилие в одном доме, где процветало целомудрие. Тогда Пифагор приказал

флейтистке настроиться на другой лад и звуками музыки мерной, строгой, выдержанной в спондейном ритме, понемногу заворожил их пыл и убаюкал его.

Далее, не скажет ли потомство о реформах, современниками которых мы являемся, что они показали свою проникновенность и правоту не только тем, что боролись с пороками и заблуждениями, наполнив весь свет благочестием, смирением, послушанием, миром и всякого рода добродетелями, но дошли и до того, что восстали против старых имен, которые нам давались при крещении, Шарля, Луи, Франсуа, чтобы населить мир Мафусаилами, Иезекиилями, Малахиями, гораздо сильнее отдающими верой? Некий дворянин, мой сосед, который обычаи прошлого предпочитал нынешним, не забывал сослаться при этом и на великолепные, горделивые дворянские имена былых времен — дон Грюмедан, Кадреган, Агезилан — утверждая, что даже по звучанию их чувствуется, что люди те были иного полета, чем какие-нибудь Пьер, Гильом и Мишель.

Далее, я весьма признателен Жаку Амио за то, что, произнося однажды на французском языке проповедь, он оставил все латинские имена в

неприкосновенности, а не коверкал их и неизменял так, чтобы они звучали на французский лад. Сначала это немного резало слух, но затем, благодаря успеху его перевода «Жизнеописаний» Плутарха, вошло во всеобщее употребление и перестало представляться нам странным. Я часто высказывал пожелание, чтобы люди, пишущие исторические труды по-латыни, оставляли наши имена такими, какими мы знаем их, ибо когда Водемон превращается в Валлемонтануса[3] [broken link: #na46_3] и вообще не переиначивается на греческий или латинский лад, мы перестаем уже разбираться в чем-либо и что-либо понимать.

В заключение скажу, что обыкновением именовать каждого по названию его поместья или лена — очень дурной обычай, приводящий у нас во Франции к самым плохим последствиям: ничто на свете не способствует в такой мере генеалогической путанице и недоразумениям. Младший отпрыск благородного рода, получив во владение землю, а вместе с нею и имя, по которым он приобрел известность и почет, не может отказаться от него без ущерба для своей чести; через десять лет после его смерти земля переходит к совершенно постороннему человеку, который поступает точно так же; вы сами можете сообразить, легко

ли будет разобраться в их родословной. Незачем далеко ходить за примерами — вспомним о нашем королевском семействе, где сколько ветвей, столько и фамильных прозвищ, а корни фамильного древа теряются в неизвестности.

И все эти изменения происходят так свободно, что в наше время я не видел ни одного человека, достигшего прихотью судьбы исключительно высокого положения, который не обретал бы немедленно новых родовых званий, его отцу неизвестных и взятых из какой-либо знаменитой родословной; и легко понять, что незнатные фамилии особенно охотно идут на подобную подделку. Сколько у нас во Франции дворян, заявляющих права на происхождение от королевского рода! Я полагаю — больше, чем тех, которые на это не притязают. Один из моих друзей рассказал мне такой весьма забавный случай. Однажды собрались вместе несколько дворян, и они принялись обсуждать спор, возникший между двумя сеньорами. Один из этих сеньоров, благодаря своим титулам и брачным связям, имел известные преимущества перед простыми дворянами. Из-за этого его преимущества каждый, пытаясь сравняться с ним, приписывал себе — кто то, кто иное происхождение, ссылаясь на

сходство своего фамильного имени с каким-либо другим, либо на сходство гербов, либо на старую грамоту, сохранявшуюся у него в доме; и самый ничтожный из этих дворян оказывался потомком какого-нибудь заморского государя. Так как этот спор происходил за обедом, тот, кто рассказал мне о нем, вместо того, чтобы занять свое место, попятился назад с нижайшими поклонами, умоляя собравшихся извинить его за то, что он до сих пор имел смелость пребывать среди них, как равный; теперь же, узнав об их высоком происхождении, он будет чтить их, согласно их рангам, и ему не подобает сидеть в присутствии стольких принцев. После этой шутовской выходки он крепко отругал их: «Будьте довольны, клянусь богом, тем, чем довольствовались наши отцы, и тем, чем мы в действительности являемся; мы и так достаточно много собой представляем — только бы нам уметь хорошо поддерживать честь своего имени; не будем же отрекаться от доли и от судеб наших предков и отбросим эти дурацкие выдумки, только вредящие тем, кто имеет бесстыдство на них ссылаться».

Гербы не более надежны, чем фамильные прозвища. У меня, например, лазурное поле, усеянное золотыми трилистниками, и золотая львиная

лапа держит щит, пересеченный красной полосой. По какому особому праву эти изображения должны оставаться только в моей семье? Один из зятьев перенесет их в другую; какой-нибудь безродный, приобретший землю за деньги, сделает себе из них новый герб. Ни в чем другом не бывает столько изменений и путаницы.

Но это рассуждение заставляет меня перейти к другому вопросу. Подумаем хорошенько, и ради господа бога, приглядимся внимательно, на каких основаниях зиждутся слава и почет, ради которых мы готовы перевернуть весь мир; на чем покоится известность, которой мы с таким трудом домогаемся. В конце концов, какой-нибудь Пьер или Гильом является носителем этой славы, ее защитником, и она его касается ближе всего. О, полная отваги человеческая надежда! Зародившись в какое-то мгновенье в ком-то из смертных, она готова завладеть необъятным, бесконечным, вечным! Природа одарила нас забавной игрушкой! А что такое эти Пьер или Гильом? Всего-навсего пустой звук, три или четыре росчерка пера, в которых — заметьте при этом! — так легко напутать. Право, я готов спросить: кому же в конце-концов, принадлежит честь стольких побед — Гекену, Глекену или Геакену?[4] [broken

link: #na46_4]. Здесь такой вопрос уместнее, чем у Лукиана, где Σ греч. спорит с Т, ибо

*non levia aut ludicra petuntur*

*Praemia.[5] [broken link: #na46_5]*

Здесь дело немаловажное: речь идет о том, какой из этих букв воздать славу стольких осад, битв, ран, дней, проведенных в плену, и услуг, оказанных французской короне этим ее прославленным конетаблем. Никола Денизо[6] [broken link: #na46_6] дал себе труд сохранить лишь самые буквы, составлявшие его имя, но совершенно изменил их порядок, чтобы путем их перестановки создать себе новое имя — граф д'Альсинуа, которое и венчал славой своего поэтического и живописного искусства. А историку Светонию было дорого только значение его имени, и он сделал Транквилла наследником своей литературной славы, отказав в этом Ленису, как прозывался его отец[7] [broken link: #na46_7]. Кто поверил бы, что полководцу Баярду принадлежит только та честь, которую он заимствовал у деяний Пьера Террайля?[8] [broken link: #na46_8]И что Антуан Эскален допустил, чтобы на глазах его капитан Пулен и барон де Ла-Гард похитили у него славу стольких морских путешествий и трудных дел,

совершенных на море и на суше?[9] [broken link: #na46_9]

Кроме того, эти начертания пером одинаковы для тысяч людей. Сколько у того или иного народа носителей одинаковых имен и прозваний! А сколько таких среди различных народов в различных странах и на протяжении веков? История знает трех Сократов, пять Платонов, восемь Аристотелей, семь Ксенофонтов, двадцать Демет-риев, двадцать Феодоров. А сколько еще их не сохранилось в памяти истории — попробуйте угадать! Кто помешает моему конюху назваться Помпеем Великим? Но в конце-то концов, какие способы, какие средства существуют для того, чтобы связать с моим покойным конюхом или тем другим человеком, которому в Египте отрубили голову, соединить с ними эти прославленные сочетания звуков и начертания букв так, чтобы они могли ими гордиться?

> *Id cinerem et manes credis curare sepultos?[10] [broken link: #na46_10]*

Что знают оба великих мужа, одинаково высоко оцененных людьми, Эпаминонд о том прославляющем его стихе, который в течение стольких веков передается из уст в уста:

*Consiliis*
*nostris laus est attrita Laconum?[11] [broken link: #na46_11]*

и Сципион Африканский о другом стихе, относящемся к нему:

*A sole exoriente supra Maeotis paludes*
*Nemo est qul factis me aequirarare queat?[12] [broken link: #na46_12]*

Людей, живущих после них, ласкает сладость подобных восхвалений, возбуждая в них ревность и жажду славы, и бессознательно, игрой воображения, они переносят на усопших эти собственные свои чувства; а обманчивая надежда заставляет их верить, что они сами способны на такие же деяния. Богу это известно. И тем не менее,

*ad haec se*
*Romanus,*
*Graiusque, et Barbarus induperator*
*Erexit, causas discriminis atque laboris*
*Inde habuit: tanto maior famae sitis est quam*
*Virtutis[13] [broken link: #na46_13].*

## Глава XLVII
## О ненадежности наших суждений

Хорошо говорится в этом стихе:

*Επέων δε πόλυς νομος ενθα και ενθα,*

Мы можем обо всем по произволу говорить и за и против[1] [broken link: #na47_1]. Например:

*Vinse Hannibal, et non seppe usar poi*

*Ben la vittoriosa ventura[2] [broken link: #na47_2]*

Тот, кто разделяет это мнение и утверждает, что наши сделали ошибку в битве при Монконтуре, не развив своего успеха, или тот, кто осуждает испанского короля за то, что он не использовал своей победы над нами при Сен-Кантене[3] [broken link: #na47_3], может сказать, что повинны в этих ошибках душа, опьяненная выпавшей ей удачей, и храбрость, которая, сразу насытившись первыми успехами, теряет всякую охоту умножать их и с трудом переваривает достигнутое: она забрала в охапку сколько могла, больше ей не захватить, она оказалась недостойна дара, полученного от фортуны. Ибо какой смысл в нем,

если врагу дана возможность оправиться? Можно ли надеяться, что осмелится вторично напасть на врага, сомкнувшего ряды, отдохнувшего и вновь вооружившегося своей досадой и жаждой мщения, тот, кто не решился преследовать его, когда он был разбит и ошеломлен,

> *Dum fortuna calet, dum conficit omnia terror[4] [broken link: #na47_4]*

и разве дождется он чего-либо лучшего после такой потери? Это ведь не фехтование, где выигрывает тот, кто большее количество раз кольнул рапирой противника; пока враг не повержен, надо наносить ему удар за ударом; успех — только тогда победа, когда он кладет конец военным действиям. Цезарь, которому не повезло в схватке у Орика, упрекал солдат Помпея, утверждая, что был бы уничтожен, если бы их военачальник сумел победить его до конца; сам же он по-иному взялся за дело, когда пришла его очередь. Но почему, наоборот, не сказать, что неуменье положить конец своим жадным устремлениям есть проявление излишней торопливости и ненасытности? Что желание пользоваться милостями неба без меры, которую им положил сам господь, есть злоупотребление благостью божией? Что

устремляться к опасности, уже одержав победу, значит снова испытывать судьбу? Что одно из мудрейших правил в воинском искусстве — не доводить противника до отчаяния? Сулла а Марий, разбившие марсов во время Союзнической войны[5] [broken link: #na47_5] и увидевшие, что один уцелевший отряд намеревается броситься на них с отчаянием диких зверей, не стали дожидаться и напали на него первыми. Если бы господин де Фуа[6] [broken link: #na47_6], увлеченный своим пылом, не стал слишком яростно преследовать остатки разбитого у Равенны врага, он не омрачил бы победы своей гибелью: недаром этот недавний пример сослужил службу господину д'Ангиену и удержал его от подобной же ошибки в битве при Серизоле[7] [broken link: #na47_7]. Опасное дело — нападать на человека, у которого осталось только одно средство спасения — оружие, ибо необходимость — жестокая наставница: gravissimi sunt morsus irritatae necessitatis[8] [broken link: #na47_8].

> *Vincitur haud gratis iugulo qui provocat hostem.[9] [broken link: #na47_9]*

Вот почему Фарак с воспрепятствовал царю лакедемонян, одержавшему победу над манти-

нейцами, напасть на тысячу аргивян, которые избежали разгрома; он предоставил им отступить, чтобы не испытывать доблести этих людей, раздраженных и раздосадованных неудачей. Хлодомир, король Аквитании, одержав победу, стал преследовать разгромленного и обратившегося в бегство Гундемера, короля бургундского, и вынудил его принять бой; но собственное упорство отняло у Хлодомира плоды победы, ибо он погиб в этой схватке.

Точно так же, если кому-нибудь приходится делать выбор — давать ли своим солдатам богатое и роскошное военное снаряжение или же снаряжать их только самым необходимым — в пользу первого мнения, которого придерживались Серторий, Филопемен, Брут, Цезарь и другие, можно сказать, что для солдата пышное снаряжение — лишний повод искать почестей и славы и проявлять большое упорство в бою, раз ему надо спасать ценное оружие как свое имущество и достояние. По этой же причине, говорится у Ксенофонта, азиатские народы брали с собою в походы своих жен и наложниц со всеми их богатствами и драгоценными украшениями[10] [broken link: #na47_10]. Но, с другой стороны, на это можно возразить, что гораздо правильнее ис-

коренять в солдате мысль о самосохранении, чем поддерживать ее, что, заботясь о ценностях, он еще меньше склонен будет подвергаться риску, и что, вдобавок, возможная богатая добыча только увеличит в неприятеле стремление к победе; замечено было, что именно это удивительно способствовало храбрости римлян в битве с самнитами. Когда Антиох показал Ганнибалу войско, которое он готовил против римлян, великолепно и пышно снаряженное, и спросил его: «Придется ли по вкусу римлянам такое войско?», Ганнибал ответил ему: «Придется ли по вкусу? Еще бы, ведь они такие жадные». Ликург запрещал своим воинам не только надевать богатое снаряжение, но даже грабить побежденных, желая, как он говорил, чтобы бедность ж умеренность украшали тех, кто вернется после битвы.

Во время осады и в других случаях, когда нам удается сблизиться с противником, мы охотно разрешаем солдатам вести себя с ним заносчиво, выражать ему презрение ж осыпать его всевозможными поношениями. И не без некоторого основания, ибо немалое дело отнять у них всякую надежду на пощаду или возможность договориться с врагом, показав, что не приходится ожидать этого от тех, кого они так жестоко оскорбили, и

что единственный выход — победа. Так и получилось с Вителлием; ибо, имея против себя Отона, более слабого из-за того, что солдаты его отвыкли от войны и разнежились среди столичных утех, он так раздразнил их, в конце концов, своими едкими насмешками над их малодушием и тоской по женщинам и пирам, только оставленным в Риме, что одним этим вернул им мужество, которого не могли в них вдохнуть никакие призывы, и сам заставил их броситься на него, чего от них никак нельзя было добиться. И правда, когда оскорбления задевают за живое, они могут привести к тому, что воин, не слишком рвущийся в битву за дело своего владыки, ринется в нее с новым пылом, мстя за свою собственную обиду.

Если принять во внимание, что сохранность жизни вождя имеет для всего войска особенное значение и что враг всегда старается поразить именно эту голову, от которой зависят все прочие, нельзя сомневаться в правильности решения, часто принимавшегося многими крупными военачальниками — переодеться и принять другой облик в самый час битвы. Однако же неудобство, проистекающее от этой меры, не меньше того, которого желательно было избежать. Ибо мужество может изменить солдатам, не узнающим своего

полководца, чье присутствие и пример воодушевляли их, и, не видя его обычных отличительных признаков, они могут подумать, что он погиб или бежал с поля битвы, отчаявшись в ее исходе. Что же до проверки этого дела опытом, то мы видим, что он говорит в пользу то одного, то другого мнения. Случай с Пирром в битве, которая произошла в Италии между ним и консулом Левином, служит нам доказательством и того и другого. Ибо, одевшись в доспехи Демогакла и отдав ему свои, он, конечно, спас свою жизнь, но зато потерпел другую беду — проиграл битву[11] [broken link: #na47_11]. Александр, Цезарь, Лукулл любили в сражении отличаться от других богатством и яркостью своей одежды и вооружения. Наоборот, Агис, Агесилай и великий Гилипп[12] [broken link: #na47_12] шли в сражение одетыми незаметно и безо всякого царственного великолепия.

В связи с битвой при Фарсале[13] [broken link: #na47_13] Помпеи подвергался многочисленным нападкам и, в частности, за то, что он остановил свое войско, ожидая неприятеля. Тем самым — здесь я приведу собственные слова Плутарха, которые стоят больше моих — «он умерил силу, которую разбег придает первым ударам, воспрепятствовал стремительному напору, с которым

сражающиеся сталкиваются друг с другом и который обычно наполняет их особенным буйством и яростью в ожесточенных схватках, распаляя их храбрость криками и движениями, и, можно сказать, охладил, заморозил боевой пыл своих воинов»[14] [broken link: #na47_14]. Вот что говорит он по этому поводу. По если бы поражение потерпел Цезарь, разве нельзя было бы утверждать, что, наоборот, самая мощная и прочная позиция у того, кто неподвижно стоит на месте, сдерживая себя и накопляя силы для решительного удара, с большим преимуществом по сравнению с тем, кто двинул свои войска вперед, вследствие чего они запыхались от быстрого бега? К тому же войско ведь является телом, состоящим из многих различных частей; оно не имеет возможности в этом яростном напоре двигаться с такой точностью, чтобы не нарушать порядка и строя и чтобы самые быстрые из воинов не завязывали схватки еще до того, как их товарищи смогут им помочь. В злосчастной битве между двумя братьями-персами[15] [broken link: #na47_15] лакедемонянин Клеарх, командовавший греками в армии Кира, повел их в наступление без особой торопливости; когда же они приблизились на пятьдесят шагов, он велел им бежать, рассчитывая, что достаточно

короткое расстояние не утомит их и не расстроит рядов, а в то же время они получат то преимущество, которое яростный напор дает и самому воину и его оружию. Другие в своих армиях разрешили это сомнение таким образом: если враг двинулся вперед, жди его, стоя на месте, если же он занял оборонительную позицию, переходи в наступление.

Когда император Карл V решил вторгнуться в Прованс[16] [broken link: #na47_16], король Франциск мог принять одно из двух решений: либо двинуться навстречу ему в Италию, либо ждать его на своей земле. Он, конечно, хорошо сознавал, насколько важно предохранить страну от потрясений войны, чтобы, полностью обладая своими силами, она непрерывно могла предоставлять средства для ведения войны и, в случае необходимости, помощь людьми. Он понимал, что в обстановке войны поневоле приходится производить опустошения, чего следовало бы избегать у себя на родине, ибо крестьянин не станет переносить разорение от своих так безропотно, как от врага, и из-за этого среди нас могут вспыхнуть мятежи; что позволение грабить и разорять жителей, которого нельзя дать солдатам у себя дома, очень облегчает им тяготы войны и что трудно

удержать от дезертирства того, кто не имеет иных доходов, кроме своего солдатского жалованья, и в то же время находится в двух шагах от своей жены и от своего дома; что тот, кто накрывает другому стол, сам и платит за обед; что нападение больше поднимает дух, чем оборона; что проиграть сражение внутри страны — дело ужасное, которое может поколебать все государство, принимая во внимание, насколько заразителен страх, как легко он одолевает людей и как быстро рапространяется, и что города, которые услышали раскаты этой грозы у своих стен, приняв к себе в качестве беглецов своих полководцев и солдат, еще дрожащих и задыхающихся, могут сгоряча пойти на что угодно. И тем не менее он предпочел вывести свои войска из Италии и ждать вражеского наступления. Ибо, с другой стороны, он мог представить себе, что, находясь у себя дома среди друзей он будет в изобилии получать припасы, так как по рекам и по дорогам к нему будут подвозить сколько понадобится провианта и денег без особой военной охраны; что сочуствие подданных будет тем вернее, чем ближе угрожающая им опасность; что, имея возможность всегда укрыться в стольких городах и укреплениях, он сможет выбирать выгодное и удобное

время и место для столкновений с врагом и что, если бы ему захотелось выжидать, он мог бы, находясь в надежном укрытии, взять врага измором и добиться разложения его войск, поскольку перед неприятелем возникли бы непреодолимые трудности: он во вражеской стране, где все воюет с ним и спереди, и сзади, и вокруг; он не имеет никакой возможности ни освежить и пополнить свое войско, если в нем начнут свирепствовать болезни, ни укрыть где-либо раненых, он может лишь силой оружия добывать деньги и провиант; ему негде передохнуть и собраться с силами, у него нет достаточно ясного представления о местности, которое могло бы обезопасить его от засад и других случайностей, а в случае проигрыша битвы — никакой возможности спасти остатки разгромленной армии.

Таким образом, есть достаточно примеров, как в пользу одного, так и в пользу другого мнения. Сципион предпочел напасть на врага в его африканских владениях, вместо того, чтобы защищать свои и оставаться у себя в Италии; это обеспечило ему успех[17] [broken link: #na47_17]. И, наоборот, в этой же самой войне Ганнибал потерпел поражение из-за того, что отказался от завоевания чужой страны ради защиты своей. Судьба

оказалась немилостивой к Афинянам, когда они оставили неприятеля на своей земле, а сами напали на Сицилию[18] [broken link: #na47_18]; но к Агафоклу, царю Сиракузскому, она была благосклонна, хотя он тоже отправился походом в Африку, оставив неприятеля у себя дома[19] [broken link: #na47_19]. Потому-то мы и говорим обычно не без основания, что и события и исход их, особенно на войне, большей частью зависят от судьбы, которая вовсе не намерена считаться с нашими соображениями и подчиняться нашей мудрости, как гласят следующие стихи:

> *Et male consultis pretium est: prudentia fallax,*
>
> *Nec fortuna probat causas sequiturque merentes;*
>
> *Sed vaga per cunctos nullo discrimine fertur;*
>
> *Scilicet est aliud quod nos cogatque regatque*
>
> *Maius, et in proprias ducat mortalia leges.*

Но, в сущности, сами наши мнения и суждения, точно так же, по-видимому, зависят от судьбы, и она придает им столь свойственные ей смутность и неуверенность. «Мы рассуждаем легкомыслен-

но и смело, — говорит у Платона Тимей, — ибо как мы сами, так и рассуждения наши подвержены случайности».

И на долю неблагоразумия выпадает успех: благоразумие часто обманывает, и Фортуна, мало разбираясь в заслугах, не всегда благоприятствует правому делу. Непостоянная, она переходит от одного к другому, не делая никакого различия. Стало быть есть над нами высшая власть, которая вершит дела смертных, руководствуясь собственными законами[20] [broken link: #na47_20] (лат).

## Глава XLVIII
## О боевых конях

Вот и я стал грамматиком, я, который всегда изучал какой-либо язык только путем практического навыка, и до сих пор не знаю, что такое имя прилагательное, сослагательное наклонение или творительный падеж. Я от кого-то слышал, что у римлян были лошади, которых они называли funales или dextrarii; они бежали справа от всадника в качестве запасных, чтобы в случае нужды можно было использовать их свежие силы. Потому-то мы и называем destriers добавочных лошадей. А те, кто пользуется романским, обычно говорят adestrer вместо accompaignier. Римляне называли также dexultorii equi лошадей, обученных таким образом, что когда они бежали во весь опор попарно, бок о бок, без седла и уздечки, римские всадники в полном вооружении могли во время езды перепрыгивать с одной на другую.[1] [broken link: #na48_1] Нумидийские воины всегда имели под рукой вторую лошадь, чтобы воспользоваться ею в самом пылу схватки: Quibus, desultorum in modum, binos trahentibus

equos, inter acerrimam saepe pugnam in recentem equum ex fesso armatis transsultare mos erat: tanta velocitas ipsis, tamque docile equorum genus.[2] [broken link: #na48_2].

Существуют кони, обученные так, чтобы помогать своим хозяевам бросаться на всякого, кто встанет пред ними с обнаженным мечом, топтать и кусать наступающих и нападающих. Но чаще получается так, что своим они причиняют больше вреда, чем врагам. Добавим, что их уже нельзя укротить, раз они ввязались в бой, и судьба всадника целиком зависит от случайностей битвы. Так, тяжкая беда постигла Артибия, командовавшего персидскими войсками, когда он вступил в единоборство с Онесилаем, царем Саламина, верхом на коне, обученном таким образом ибо конь этот стал причиной его смерти: пехотинец, сопровождавший Онесилая, нанес Артибию сокрушительный удар секирой в спину как раз тогда, когда конь Артибия напал на Онесилая и поднялся над ним на дыбы[3] [broken link: #na48_3].

Когда же итальянцы рассказывают, что в битве при Форнуово[4] [broken link: #na48_4] лошадь короля, брыкаясь и лягаясь, спасла его от наседавших врагов и что иначе он бы погиб, то даже

если это правда, здесь просто исключительно счастливый случай.

Мамелюки хвалятся тем, что у них лучшие в мире боевые кони и что по природе своей они таковы, да и обучены так, чтобы по данному им голосом или движением знаку узнавать и различать неприятелей. И будто бы точно так же они по приказанию своего хозяина умеют поднимать зубами и подавать ему копья и дротики, разбросанные по полю сражения, а также видеть и различать…[5] [broken link: #na48_5].

О Цезаре и о Великом Помпее говорят, что, наряду с другими своими выдающимися качествами, они были прекрасные наездники. О Цезаре же, в частности, — что в молодости он садился задом наперед на невзнузданного коня, заложив руки за спину, и пускал его во весь опор. Сама природа сделала из этого человека и из Александра два чуда военного искусства и, можно сказать, она же постаралась вооружить их необыкновенным образом. Ибо о коне Александра Буцефале известно, что голова его походила на бычью, что он позволял садиться на себя только своему господину, не подчинялся никому, кроме него, а после смерти удостоился почестей, и даже один город был назван его именем.

У Цезаря была столь же удивительная лошадь, с передними ногами, напоминавшими человеческие, и копытами, как бы разделенными на пальцы. Она тоже не позволяла садиться на себя и управлять собой никому, кроме Цезаря, который после ее смерти посвятил богине Венере ее изображение.

Я неохотно слезаю с лошади, раз уж на нее сел, так как, здоров я или болен, лучше всего чувствую себя верхом. Платон советует ездить верхом для здоровья; Плиний тоже считает верховую езду очень полезной для желудка и для суставов[6] [broken link: #na48_6]. Вернемся же к тому, о чем мы говорили. У Ксенофонта читаем, что закон запрещал путешествовать пешком человеку, имеющему лошадь[7] [broken link: #na48_7]. Трог и Юстин утверждают, что парфяне имели обыкновение не только воевать верхом на конях[8] [broken link: #na48_8], но также вершить в этом положении все свои общественные и частные дела — торговать, вести переговоры, беседовать и прогуливаться — и что главное различие между свободными и рабами у них состояло в том, что одни ездили верхом, а другие ходили; установление это было введено царем Киром.

В истории Рима мы находим много примеров

(Свето-ний отмечает это в особенности о Цезаре)[9] [broken link: #na48_9], когда полководцы приказывали своим конникам спешиться в наиболее опасные моменты боя, чтобы лишить их какой бы то ни было надежды на бегство, а также и для того, чтобы использовать все преимущества пешего боя: quo haud dubie superat Romanus[10] [broken link: #na48_10], — говорит Тит Ливий.

Для того чтобы предотвратить восстания среди вновь покоренных народов, римляне прежде всего забирали у них оружие и лошадей: потому-то так часто и читаем мы у Цезаря: arma proferri, iumenta produci, obsides dari iubet[11] [broken link: #na48_11]. В наше время турецкий султан не дозволяет никому из своих подданных христианского или еврейского исповедания иметь собственных лошадей.

Предки наши, особенно в войне с англичанами, во всех знаменитых битвах и прославленных в истории сражениях, большей частью бились пешими, ибо опасались вверять такие ценные вещи, как жизнь и честь, чему-либо иному, кроме своей собственной силы и крепости своего мужества и своих членов. Что бы ни говорил Хрисанф у Ксенофонта[12] [broken link: #na48_12], вы всегда связываете и доблесть свою и судьбу с судьбою и

доблестью вашего коня; его ранение или смерть влекут за собой и вашу гибель, его испуг или его ярость делают вас трусом или храбрецом; если он плохо слушается узды или шпор, вам приходится отвечать за это своей честью. По этой причине я не считаю странным, что битвы, которые ведутся в пешем строю, более упорны и яростны, нежели конные:

> *cedebant pariter, pariterque ruebant*
>
> *Victores victique, neque his fuga nota neque illis.[13] [broken link: #na48_13]*

В те времена победы в битвах давались с большим трудом, чем теперь, когда все сводится к натиску и бегству: primus clamor atque impetus rem decernit[14] [broken link: #na48_14]. И разумеется, дело столь важное и в нашем обществе подверженное стольким случайностям, должно находиться всецело в нашей власти. Точно так же советовал бы я выбирать оружие, действующее на наиболее коротком расстоянии, такое, которым мы владеем всего увереннее. Очевидно же, что для нас шпага, которую мы держим в руке, гораздо надежнее, чем пуля, вылетающая из пистолета, в котором столько различных частей — и порох и кремень, и курок: откажись малей-

шая из них служить — и вам грозит смертельная опасность.

Мы не можем нанести удар с достаточной уверенностью в успехе, если он должен достигнуть нашего противника не непосредственно, а по воздуху:

> *Et quo ferre velint permittere vulnera ventis:*
>
> *Ensis habet vires, et gens quaecunque virorum est,*
>
> *Bella gerit gladiis.[15] [broken link: #na48_15]*

Что касается огнестрельного оружия, то о нем я буду говорить подробнее при сравнении вооружения древних с нашим. Если не считать грохота, поражающего уши, к которому теперь уже все привыкли, то я считаю его малодейственным и надеются, что мы в скором времени от него откажемся.

Оружие, которым некогда пользовались в Италии, — метательные и зажигательные снаряды — было гораздо ужаснее. Древние называли phalarica особый вид копья с железным наконечником длиною в три фута, так что оно могло насквозь пронзить воина в полном вооружении;

в стычке его метали рукой, а при защите осажденных крепостей — с помощью различных машин. Древко, обернутое паклей, просмоленной и пропитанной маслом, зажигалось при бросании и разгоралось в полете; вонзившись в тело или в щит, оно лишало воина возможности действовать оружием или своими членами. Все же мне представляется, что когда дело доходило до рукопашного боя, такие копья вредили также и тому, кто их бросал, и что горящие головешки, усеивавшие поле битвы, мешали во время схватки обеим сторонам:

> *magnum stridens contorta phalarica venit*
> *Fulminis acta modo.[16] [broken link: #na48_16]*

Были у них и другие средства, заменявшие им наш порох и ядра: средствами этими они пользовались с искусством, для нас, вследствие нашего неумения с ними обращаться, просто невероятным.

Они метали копья с такой силой, что зачастую пронзали сразу два щита и двух вооруженных людей, которые оказывались словно нанизанными на одно копье. Так же метко и на столь же большом расстоянии поражали врага их пращи: saxis

globosis funda mare apertum incessentes: coronas modici circuli, magno ex intervallo loci, assueti traiicere: non capita modo hostium vulnerabant, sed quem locum destinassent[17] [broken link: #na48_17]. Их осадные орудия производили такое же действие, как и наши, с таким же грохотом: ad ictus moenium cum terribili sonitu editos pavor et trepidatio cepit[18] [broken link: #na48_18]. Галаты, наши азиатские сородичи, ненавидели эти предательские летающие снаряды: они привыкли с большей храбростью биться врукопашную: Non tam patentibus plagis moventur: ubi latior quam altior plaga est, etiam gloriosius se pugnare putant, idem, cum aculeus sagittae aut glandis abditae introrsus tenui vulnere in speciem urit, tum, in rabiem et pudorem tam parvae perimentis pestis versi, prosternunt corpora humi. Эта картина очень походит на битву воинов, вооруженных аркебузами.[19] [broken link: #na48_19]

Десять тысяч греков во время своего долгого и столь знаменитого отступления повстречали на своем пути племя, которое нанесло им большой урон стрельбой из больших крепких луков; стрелы же у этих людей были такие длинные, что пронзали насквозь щит вооруженного воина и его самого, а взяв такую стрелу в руки, можно

было пользоваться ею, как дротиком. Машины, изобретенные Дионисием Сиракузским[20] [broken link: #na48_20] для метания толстых массивных копий и ужасающей величины камней на значительное расстояние и с большой быстротой, очень схожи с нашими изобретениями[21] [broken link: #na48_21].

Кстати будет вспомнить забавную посадку на муле некоего мэтра Пьера Поля, доктора богословия, о котором Монтреле рассказывает, что он имел обыкновение ездить верхом по улицам Парижа, сидя боком, по-дамски. В другом месте он сообщает, что гасконцы имели страшных лошадей, приученных круто поворачиваться на всем скаку, что вызывало великое изумление у французов, пикардийцев, фламандцев и брабантцев, ибо, как он говорит, «непривычно им было видеть подобное»[22] [broken link: #na48_22]. Цезарь говорит о свевах: «Во время конных стычек они часто соскакивают на землю, чтобы сражаться пешими, а лошади их приучены в таких случаях стоять на месте, чтобы они могли, когда понадобится, снова вскочить на них. По их обычаю, пользоваться седлом и потником — дело для храброго воина постыдное, и они так презирают тех, кто употребляет седла, что даже горстка

свевов осмеливается нападать на крупные их отряды»[23] [broken link: #na48_23]

В свое время я был очень удивлен, увидев лошадь, обученную таким образом, что ею можно было управлять одним лишь хлыстом, бросить поводья на ее шею, но это было обычным делом у массилийцев, которые пользовались своими лошадьми без седла и без уздечек:

> *Et gens quae nudo residens Massilia dorso*
>
> *Ora levi flectit, frenorum nescia, virga.[24] [broken link: #na48_24]*
>
> *Et Numidae infreni cingunt.[25] [broken link: #na48_25]*
>
> *Equi sine frenis, deformis ipse cursus, rigida cervice et extento capite currentium.[26] [broken link: #na48_26]*

Король Альфонс, тот самый, что основал в Испании орден рыцарей Повязки или Перевязи[27] [broken link: #na48_27], установил среди прочих правил этого ордена и такое, согласно которому ни один рыцарь не имел права садиться верхом на мула или лошака под страхом штрафа в одну марку серебром; я прочел это недавно в «Письмах» Гевары[28] [broken link: #na48_28], которым

люди, назвавшие их «золотыми», дают совсем не ту оценку, что я.

В книге «Придворный»[29] [broken link: #na48_29] говорится, что в прежнее время считалось непристойным для дворянина ездить верхом на этих животных. Наоборот, абиссинцы, наиболее высокопоставленные и приближенные к пресвитеру Иоанну[30] [broken link: #na48_30], своему государю, предпочитают в знак своего высокого положения ездить на мулах. Ксенофонт рассказывает, что ассирийцы на стоянках держали своих лошадей спутанными — до того они буйны и дики, а чтобы распутать их и взнуздать требовалось столько времени, что внезапное нападение врага могло привести войско в полное замешательство; поэтому свои походные лагери они всегда окружали валом и рвом[31] [broken link: #na48_31].

Кир, великий знаток в обращении с лошадьми, сам объезжал своих коней и не разрешал давать им корм, пока они не заслужат его, хорошо пропотев от какого-нибудь упражнения.

Скифы, когда им приходилось голодать в походах, пускали своим коням кровь и утоляли ею голод и жажду:

*Venit et epoto Sarmata pastus equo.[32]*

*[broken link: #na48_32]*

Критяне, осажденные Метеллом, так страдали от отсутствия воды, что принуждены были пить мочу своих лошадей[33] [broken link: #na48_33].

В доказательство того, насколько турецкие войска выносливее и неприхотливее наших, приводят обычно то обстоятельство, что они пьют только воду и едят только рис и соленое мясо, истолченное в порошок, месячный запас которого каждый легко может унести на себе, а также, подобно татарам и московитам, кровь своих лошадей, которую они солят.

Недавно обнаруженные народы Индии[34] [broken link: #na48_34], когда там появились испанцы, приняли этих прибывших к ним людей и их лошадей за богов или за животных, обладающих такими высокими качествами, которые человеческой природе не свойственны. Некоторые из них, после того как они были побеждены, явились просить у испанцев мира и пощады, принеся им золото и пищу; с такими же подношениями они подходили и к лошадям и обращались к ним так же, как к людям, принимая их ржание за выражение согласия и примирения.

А в ближней Индии в старину считалось высшей и царской почестью ехать на слоне, почестью

второго разряда ехать на колеснице, запряженной четверкой лошадей, третьего — верхом на верблюде и, наконец, последнею и самой низшей — ехать верхом на коне или в повозке, запряженной одной лошадью.

Кто-то из наших современников пишет, что в тех краях он видел страны, где ездят верхом на быках, употребляя вьючные седла, стремена и уздечки, и что это считается очень удобным.

Квинт Фабий Максим Рутилиан[35] [broken link: #na48_35] в битве с самнитами, видя, что его конникам даже после трех или четырех атак не удалось врезаться в неприятельские ряды, велел им разнуздать коней и пришпорить их изо всей силы; теперь уж ничто не могло остановить лошадей; они помчались вперед, опрокидывая людей с их оружием, и проложили дорогу пехоте, которая и нанесла врагам кровавое поражение.

Такой же приказ отдал Квинт Фульвий Флакк в битве с кельтиберами: Id cum maiore vi equorum facietis, si effrenatos in hostes equos immittitis; quod saepe Romanes equites cum laude fecisse sua, memoriae proditum est. Detractisque frenis, bis ultro citroque cum magna strage hostium, infractis omnibus hastis, transcurrerunt[36] [broken link: #na48_36].

Великий князь Московский в старые времена должен был оказывать татарам такой почет: когда от них прибывали послы, он выходил к ним навстречу пешком и предлагал им чашу с кобыльим молоком (этот напиток они почитают самым сладостным), а если, выпивая его, они проливали хоть несколько капель на конскую гриву, он обязан был слизать их языком.

Войско, посланное в Россию султаном Баязетом[37] [broken link: #na48_37], было застигнуто такой ужасной снежной бурей, что для того, чтобы укрыться от нее и спастить от холода, многие решили убить своих лошадей, вспарывали им животы, залезали туда, согреваясь их животной теплотой.

Баязету, после жестокого сражения, в котором он был разбит Тамерланом, удалось бы спастись поспешным бегством на арабской кобыле, если бы он не был вынужден дать ей напиться вволю, когда переезжал через речку: после этого она настолько остыла и ослабела, что он был легко настигнут своими преследователями. Считают, что лошадь ослабевает, если дать ей помочиться, но что касается питья, то я полагал бы скорее, что это должно освежить ее и придать ей силы.

Крез, проходя в окрестностях города Сарды,

нашел там луга, где в изобилии водились змеи, которых охотно поедали лошади его войска, и это, говорит Геродот, явилось для него дурным предзнаменованием[38] [broken link: #na48_38].

Мы считаем, что лошадь в исправном состоянии, если у нее целы грива и уши, и только такие допускаются на смотры и парады. Лакедемоняне, нанеся в Сицилии поражение афинянам и торжественно возвращаясь с победой в Сиракузы, кроме других глумлений над врагами, остригли их лошадей и так вели их в своем триумфальном шествии. Александр воевал с народом, называвшимся дагами[39] [broken link: #na48_39]: они выступали на войну подвое в полном вооружении на одном коне; но во время сражения то один из них, то другой соскакивали с коня и так сражались по очереди — один верхом, другой пеший.

Я думаю, что ни один народ не превосходит нас в искусстве верховой езды и в изяществе посадки. Впрочем, говоря о хорошем наезднике, обычно имеют в виду скорее храбрость, чем изящество. Из тех, кого я знал, самым умелым, уверенным в себе и ловким наездником, был, на мой взгляд, господин де Карневале, этим своим искусством служивший нашему королю Генриху II. Я видел, как один человек скакал, стоя обеими ногами на

седле, как он сбросил седло, а затем на обратном пути поднял, приладил и сел в него, проделав все это на полном скаку, с брошенными поводьями; промчавшись над брошенной наземь шляпой, он сзади стрелял в нее из лука, а также поднимал с земли все, что угодно, опустив одну ногу и держа другую в стремени, и показывал еще много подобных же фокусов, которыми зарабатывал себе на жизнь.

В наше время в Константинополе видели двух человек, которые, сидя верхом на одном коне, на всем скаку спрыгивали по очереди на землю и потом опять взлетали в седло. Видели и такого, который одними зубами взнуздывал и седлал лошадь. И еще такого, который скакал во всю прыть сразу на двух лошадях, стоя одной ногой на седле первой лошади, а другой на седле второй, и в то же время держал на себе человека, а этот второй человек, стоя во весь рост, очень метко стрелял из лука. Были там и такие, которые пускали коня во весь опор, стоя вверх ногами на седле, причем голова находилась между двух сабель, прикрепленных к седлу. Во времена моего детства князь Сульмоне в Неаполе укрощал как-то всевозможными приемами норовистую лошадь: чтобы показать крепость своей посадки, он дер-

жал под коленами и под большими пальцами ног несколько реалов[40] [broken link: #na48_40], которые были там совершенно неподвижны, словно пригвожденные.

## Глава XLIX
## О старинных обычаях

Я охотно извинил бы наш народ за то, что для совершенствования своего он не имеет никаких других образцов и правил, кроме своих собственных обычаев и нравов. Ибо не одному лишь простонародью, но и почти всем людям свойствен этот порок — определять свои желания и взгляды по тем условиям жизни, в которые они поставлены от рождения. Я готов примириться с тем, что наш народ, если бы ему довелось увидеть Фабриция или Лелия[1] [broken link: #na49_1], нашел бы их внешность и поведение варварскими, потому что их одежда и обращение не соответствуют нашей моде. Но меня приводит в негодование то исключительное легкомыслие, с которым наши люди позволяют ослеплять и одурачивать себя вкусам нынешнего дня до такой степени, что они способны менять взгляды и мнения каждый месяц, если этого требует мода, и всякий раз готовы судить о себе по-разному. Когда пряжку на своем камзоле они носили на высоте сосков, то самым убедительным образом

доказывали, что это и есть самое подходящее для нее место. Но вот прошло несколько лет, она опустилась и носится теперь почти что между бедрами, и люди смеются над прежней модой, находя ее нелепой и безобразной. Принятый сегодня способ одеваться тотчас же заставляет их осудить вчерашний, притом с такой решительностью и таким единодушием, что, кажется, ими овладела какая-то мания, перевернувшая им мозги.

Вкусы наши меняются так быстро и внезапно, что даже самые изобретательные портные не могут поспеть за ними и выдумать столько новинок. Поэтому неизбежно получается так, что отвергнутые формы зачастую снова начинают пользоваться всеобщим признанием, чтобы вскоре опять оказаться в полном пренебрежении. И выходит, что на протяжении пятнадцати-двадцати лет один и тот же человек по одному и тому же поводу высказывает два или три не только различных, но и прямо противоположных мнения, с непостоянством и легкомыслием поразительными. И нет среди нас человека, настолько разумного, чтобы он не поддался чарам всех этих превращений, ослепляющих и внутреннее и внешнее зрение.

Я хочу привести здесь примеры некоторых

древних обычаев, сохранившихся у меня в памяти — одни из них сходны с нашими, другие отличаются от них, — для того чтобы, имея все время перед глазами эту непрерывную изменяемость вещей, мы могли высказать о ней наиболее трезвое и основательное суждение.

То, что у нас называется фехтованием на шпагах с плащом, было известно еще римлянам, как говорит Цезарь: Sinistris sagos involvunt gladiosque distringunt.[2] [broken link: #na49_2]. Он же отмечает в нашем племени дурное обыкновение останавливать встречающихся нам по пути прохожих, выпытывать у них, кто они такие, и считать оскорблением и поводом для ссоры, если те отказываются отвечать[3] [broken link: #na49_3].

Во время омовений, которые древние совершали перед каждой едой так же часто, как мы моем руки, они первоначально мыли только руки до локтей и ноги, но впоследствии установился обычай, сохранившийся в течение ряда веков у большинства народов тогдашнего мира, мыть все тело надушенной водой с различными примесями, так что мытье в простой воде стало считаться проявлением величайшей простоты в обиходе. Наиболее утонченные и изнеженные

душили себе все тело три-четыре раза в день. Зачастую они выщипывали себе волосы на всей коже, подобно тому как с недавнего времени у французских женщин вошло в обычай выщипывать себе брови,

> *Quod pectus, quod crura tibi, quod brachia vellis.[4] [broken link: #na49_4]*

хотя имели для этой же цели особые притирания:

> *Psilotro nitet, aut arida latet oblita creta…[5] [broken link: #na49_5]*

Они любили мягкие ложа и считали признаком особой выносливости спать на простом матрасе. Они ели, возлежа на ложе, приблизительно так, как это делают в наше время турки,

> *Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto…[6] [broken link: #na49_6]*

А о Катоне Младшем рассказывают, что после Фарсальской битвы он наложил на себя траур из-за дурного состояния общественных дел и принимал пищу сидя, так как начал вообще вести более суровый образ жизни. В знак уважения и привета они целовали руки вельмож, а друзья, здороваясь, целовались, как это делают вене-

цианцы:

> *Gratatusque darem cum dulcibus oscula verbis.[7] [broken link: #na49_7]*

А приветствуя высокопоставленное лицо или прося его о чем-либо, притрагивались к его колену. Однажды, при таком случае, философ Пасикл, брат Кратета, коснулся не колен, а половых органов. Когда тот, к кому он обращался, резко оттолкнул его, Пасикл спросил: «Как, разве эти части не твои так же, как колени?»

Подобно нам они ели фрукты после обеда.

Они подтирали себе задницу (незачем нам по-женски бояться слов) губкой: потому-то слово spongia по-латыни считается непристойным. О такой губке, привязанной к концу палки, идет речь в рассказе об одном человеке, которого вели, чтобы отдать на растерзание зверям на глазах народа. Он попросил отпустить его в отхожее место и, не имея другой возможности покончить с собой, засунул себе палку с губкой в горло и задохся[8] [broken link: #na49_8]. Помочившись, они подтирались надушенными шерстяными тряпочками.

> *At tibi nil faciam, sed lota mentula lana[9] [broken link: #na49_9].*

В Риме на перекрестках ставились особые посудины и низкие чаны, чтобы прохожие могли в них мочиться.

*Pusi saepe lacum propter, se ac dolia curta*
*Somno devincti credunt extollere vestem.[10] [broken link: #na49_10]*

В промежутках между трапезами они закусывали. Летом у них продавали снег для охлаждения вин; а некоторые и зимой пользовались снегом, находя вино недостаточно холодным. У знатных людей были особые слуги, которые разливали вино и разрезали мясо, а также шуты, которые их забавляли. Зимой кушанья подавали им на жаровнях, ставившихся на стол. Они имели и переносные кухни — я сам видел такие — со всеми приспособлениями для приготовления пищи: их употребляли во время путешествия;

*Has vobis epulas habete lauti;*
*Nos offendimur ambulante cena.[11] [broken link: #na49_11]*

Летом же они часто проводили в нижние помещения дома по особым каналам прохладную чистую воду, в которой было много живой рыбы, и присутствующие выбирали и собственными ру-

ками вынимали понравившихся им рыб, чтобы они были приготовлены по их вкусу. Рыба и тогда пользовалась привилегией, которую сохраняет доныне: великие мира сего лично вмешивались в ее приготовление, считая себя знатоками в этом деле. И действительно, на мой взгляд по крайней мере, — вкус ее гораздо более изысканный, чем вкус мяса. Но во всякого рода роскоши, распущенности, сладострастных прихотях, изнеженности и великолепии мы, по правде сказать, делаем все, чтобы сравняться с древними, ибо желания у нас извращены не меньше, чем у них; но достичь этого мы не способны: сил у нас не хватает, чтобы уподобиться им и в добродетелях и в пороках. Ибо и те и другие проистекают от крепости духа, которой они обладали в несравненно большей степени, нежели мы. Чем слабее души, тем меньше возможности имеют они поступать очень хорошо или очень худо.

Самым почетным местом за столом считалась у них середина. Первое или второе место ни в письменной ни в устной речи не имело никакого значения, как это видно из их литературных произведений: «Оппий и Цезарь» они скажут так же охотно, как «Цезарь и Оппий», «я и ты» для них так же безразлично, как «ты и я». Вот почему

я отметил в жизнеописании Фламиния во французском Плутархе одно место, где автор, говоря о споре между этолийцами и римлянами — кто из них больше прославился в совместно выигранной ими битве, — кажется, придает значение тому, что в греческих песнях этолийцев называли раньше римлян, если только в переводе этого места на французский не допущена какая-нибудь двусмысленность.

Женщины принимали мужчин в банях; там же их рабы мужеского пола растирали их и умащали:

> *Inguina succinctus nigra tibi servus aluta*
> *Stat, quoties calidis nuda foveris aquis.[12] [broken link: #na49_12]*

Чтобы меньше потеть, женщины присыпали кожу особым порошком.

Древние галлы, свидетельствует Сидоний Аполлинарий, спереди носили длинные волосы, а затылок выстригали — этот обычай недавно перенял наш изнеженный и расслабленный век[13] [broken link: #na49_13].

Римляне платили судовладельцам за перевоз при отплытии; мы же расплачиваемся по прибытии к месту назначения:

*dum as exigitur, dum mula ligatur,*

*Tota abit hora.[14] [broken link: #na49_14]*

Женщины ложились на краю постели. Вот почему Цезаря прозвали spondam regis Nicomedis.[15] [broken link: #na49_15].

Они пили вино меньшими глотками, чем мы, и разбавляли его водой:

*quia puer ocius*

*Restinguet ardentis falerni*

*Pocula praetereunte lympha?[16] [broken link: #na49_16]*

Наглые выходки наших лакеев были в ходу и у их слуг:

*O Iane, a tergo quem nulla ciconia pinsit,*

*Nec manus auriculas imitata est mobilis albas,*

*Nec linguae quantum sitiet canis Apula tantum…[17] [broken link: #na49_17]*

Аргивянки и римлянки носили траур белого цвета, как женщины и у нас делали в старину и, на мой взгляд, должны были бы делать и ныне.

Но обо всех этих вещах написаны целые томы.

## Глава L
## О Демокрите и Гераклите

Рассуждение есть орудие, годное для всякого предмета, и оно примешивается всюду. По этой причине в моих опытах я пользуюсь им при любом случае. Если речь идет о предмете, мне неясном, я именно для того и прибегаю к рассуждению, чтобы издали нащупать брод и, найдя его слишком глубоким для моего роста, стараюсь держаться поближе к берегу. Но уже понимание того, что переход невозможен, есть результат рассуждения, притом один из тех, которыми способность рассуждения может больше всего гордиться. Иногда же я применяю рассуждение к предмету возвышенному и часто разрабатывавшемуся; в этом случае ничего своего не найдешь — дорога уже настолько избита, что можно идти только по чужим следам. Тогда игра рассуждающего состоит в том, чтобы избрать путь, который ему представляется наилучшим, и установить, что из тысячи тропок надо предпочесть ту или эту. Я беру наудачу первый попавшийся сюжет. Все они одинаково хороши. И я никогда не стара-

юсь исчерпать мой сюжет до конца, ибо ничего не могу охватить в целом, и полагаю, что не удается это и тем, кто обещает нам показать это целое. Каждая вещь состоит из многих частей и сторон, и я беру всякий раз какую-нибудь одну из них, чтобы лизнуть или слегка коснуться, хотя порою вгрызаюсь и до кости. Я стараюсь по возможности идти не столько вширь, сколько вглубь, и порою мне нравится смотреть на вещи под необычным углом зрения. Если бы я знал себя хуже, то, может быть, и попытался бы досконально исследовать какой-нибудь вопрос. Я бросаю тут одно словечко, там другое — слова отрывочные, лишенные прочной связи, — не ставя себе никаких задач и ничего не обещая. Таким образом, я не обязываю себя исследовать свой предмет до конца или хотя бы все время держаться его, но постоянно перебрасываюсь от одного к другому, а когда мне захочется, предаюсь сомнениям, неуверенности и тому, что мне особенно свойственно, — сознанию своего неведения.

Каждое наше движение раскрывает нас. Та же самая душа Цезаря, которая проявилась в воинском искусстве во время битвы при Фарсале, обнаружила себя и в его досужих и любовных похождениях. О лошади мы должны судить не

только по тому, как она несется вскачь, но и по тому, как она идет шагом и даже как ведет себя, когда спокойно стоит в своем стойле.

Среди отправлений человеческой души есть и низменные: кто не видит и этой ее стороны, тот не может сказать, что знает ее до конца. И случается, что легче всего постичь душу человеческую тогда, когда она идет обычным своим шагом. Ибо бури страстей захватывают чаще всего наиболее возвышенные ее проявления. Вдобавок она предается вся целиком каждому затронувшему ее предмету, отдает ему все свои силы, никогда не увлекается сразу двумя предметами и всегда рассматривает то, что в данное время притягивает ее, исходя не из его сущности, а из своей собственной. Вещи, находящиеся вне ее, может быть, и обладают своим весом, своими мерами, своими свойствами, но внутри нас, в нашем душевном восприятии, мы перекраиваем их на свой лад. Смерть представляется ужасной Цицерону, желанной Катону, безразличной Сократу. Здоровье, сознание, власть, наука, богатство, красота и все, что им противоположно, совлекают с себя у порога все свои облачения и получают от нашей души новые одежды такой расцветки, какая ей больше нравится — коричневой, зеленой, светлой, тем-

ной, яркой, нежной, глубокой, поверхностной. И притом каждая душа судит по-своему, ибо они не согласуют между собой свои стили, правила и формы: каждая сама себе госпожа. Поэтому не будем ссылаться на внешние свойства вещей: мы сами представляем их себе такими, а не иными. Наше счастье или несчастье зависят только от нас самих.

Вот куда нам следует обращаться с дарами и обетами, а не к судьбе. Наши нравы зависят не от нее, наоборот, они увлекают ее за собой и придают ей тот или иной облик по образу своему и подобию. Разве не могу я составить себе мнение об Александре на основании того, как ведет он себя за столом, как беседует и пьет или как он играет в шахматы? Каких только струн его души не затрагивала эта пустая детская игра? Я лично терпеть ее не могу и всячески избегаю именно за то, что она — недостаточно игра и захватывает нас слишком всерьез; мне совестно уделять ей столько внимания, которое следовало бы отдать на что-либо лучшее. Александр не больше ломал себе голову над планом похода на Индию, или какой-либо другой великий человек, — разыскивая путь, от которого зависит спасение человечества. Посмотрите, как наша душа при-

дает этой смешной забаве значение и смысл, как напрягаются все наши нервы и как благодаря этому она дает возможность любому человеку познать себя самого и непосредственно судить о себе. Какие только страсти не возбуждаются при этой игре! Гнев, досада, ненависть, нетерпение и пламенное честолюбивое стремление к победе в состязании, в котором гораздо извинительнее было бы гордиться поражением, ибо недостойно порядочного человека иметь редкие, выдающиеся над средним уровнем способности в таком ничтожном деле. То, что я говорю по поводу этого примера, может быть сказано о любом другом. Каждая мелочь, каждое занятие человека выдает его полностью и показывает во весь рост так же, как и всякий другой пустяк.

Демокрит и Гераклит — два философа; из коих первый, считая судьбу человека ничтожной и смешной, появлялся на людях не иначе, как с насмешливым и смеющимся лицом. Напротив, Гераклит, у которого тот же удел человеческий вызывал жалость и сострадание, постоянно ходил с печальным лицом и полными слез глазами:

*alter*
*Ridebat, quoties a limine moverat unum*

*Protuleratque pedem; flebat contrarius alter.[1] [broken link: #na50_1]*

Настроение первого мне нравится больше — не потому, что смеяться приятнее, чем плакать, а потому, что в нем больше презрения к людям, и оно сильнее осуждает нас, чем настроение второго; а мне кажется, что нет такого презрения, которого мы бы не заслуживали. Жалость и сострадание всегда связаны с некоторым уважением к тому, что вызывает их; тому же, над чем смеются, не придают никакой цены. Я не думаю, чтобы злонамеренности в нас было так же много, как суетности, и злобы так же много, как глупости: в нас меньше зла, чем безрассудства, и мы не столь мерзки, сколь ничтожны. Так, Диоген, который бездельничал в уединении, катая свою бочку и воротя нос от великого Александра, и считал нас чем-то вроде мух или надутых воздухом пузырей, был судьей более язвительным и жестоким, а следовательно, на мой взгляд, и более справедливым, чем Тимон, прозванный человеконенавистником[2] [broken link: #na50_2]. Ибо раз мы ненавидим что-либо, значит, принимаем это близко к сердцу. Тимон желал нам зла, страстно жаждал нашей гибели и избегал общения с нами, как с существами опас-

ными, зловредными и развращенными. Диоген же ставил нас ни во что; общение с нами не могло ни смутить его, ни изменить его настроения; он не желал иметь с нами дела не из каких-либо опасений, но от презрения к нашему обществу, считая нас не способными ни к добру, ни ко злу.

Такого же рода был ответ Статилия Бруту, склонявшему его присоединиться к заговору против Цезаря: замысел этот он нашел справедливым, но не видел людей, достойных того, чтобы сделать ради них хоть малейшее усилие. Тут он следовал учению Гегесия[3] [broken link: #na50_3], который утверждал, что мудрец должен заботиться только о себе самом, ибо лишь он один и достоин того, чтобы для него было что-нибудь сделано, а также учению Феодора[4] [broken link: #na50_4], считавшего, что было бы несправедливо, если бы мудрец рисковал собой для блага своей родины и мудрость подвергал опасности ради безумцев.

Наши природные и благоприобретенные свойства столь же нелепы, как и смешны.

## Глава LI
## О суетности слов

Один ритор былых времен говорил, что его ремесло состоит в том, чтобы вещи малые изображать большими. Пригонять большие сапоги к маленькой ноге — искусство сапожника. В Спарте его подвергли бы бичеванию за то, что он сделал своим ремеслом обман и надувательство. Я думаю, что Архидам, который был царем Спарты, не без удивления выслушал ответ Фукидида[1] [broken link: #na51_1] на свой вопрос, кто сильнее в единоборстве — он или Перикл. «Это, — сказал Фукидид, — было бы трудно проверить; ибо если бы я свалил его на землю, он сумел бы убедить зрителей, что он не упал, а одержал верх». Те, кто изменяет и подкрашивает лица женщин, причиняет меньше вреда, ибо не видеть их природного облика — потеря небольшая. Люди, пытающиеся обмануть не глаза наши, а разум и извратить и исказить истинную сущность вещей, гораздо вреднее. Государства, в управлении которыми господствовал твердый порядок, как, например, критское или лакедемонское, не придавали боль-

шого значения ораторам.

Аристон[2] [broken link: #na51_2] мудро определяет риторику: искусство убеждать народ; Сократ и Платон: искусство льстить и обманывать[3] [broken link: #na51_3], а те, кто отвергает такое общее определение, подтверждают его правильность в своих частных наставлениях.

Магометане запрещают обучать своих детей риторике ввиду ее бесполезности. А афиняне, у которых она была в большом почете, заметив, сколь губительно оказываемое ею действие, предписали устранить из нее самое главное — все, что возбуждало волнение чувств, вместе со вступлениями и заключениями.

Это орудие, изобретенное для того, чтобы волновать толпу и управлять неупорядоченной общиной, применяется, подобно лекарствам, только в нездоровых государственных организмах. Ораторы во множестве расплодились там, где простонародье, невежды и вообще все без разбору пользовались властью, как, например, в Афинах, на Родосе, в Риме, и где вся общественная жизнь протекала бурно. И действительно, в этих государствах было мало влиятельных людей, которые выдвинулись бы без помощи красноречия: при его поддержке достигли, в конце концов,

высших должностей такие люди, как Помпей, Цезарь, Красс, Лукулл, Лентул, Метелл[4] [broken link: #na51_4], и оно помогло им больше, чем сила оружия, вопреки воззрениям лучших времен. Ибо Луций Волумний, выступая публично в пользу избрания консулами Квинта Фабия и Публия Деция, сказал: «Это — мужи, рожденные для войны, великие в действии, суровые в словесных схватках, истинно консульские умы; утонченные, красноречивые и ученые, они хороши для городских должностей в качестве преторов, отправляющих правосудие».

Красноречие процветало в Риме больше всего тогда, когда его дела шли хуже всего, когда его потрясали бури гражданской войны, подобно тому как на невозделанном и запущенном поле пышнее всего разрастаются сорные травы. Из этого можно сделать вывод, что государства, где правит монарх, нуждаются в красноречии меньше, чем все другие. Ибо массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками красивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть вещей. На подобном легкомыслии, говорю я, не так легко играть, когда речь идет об одном

человеке, которого к тому же легче предохранить хорошим воспитанием и добрыми советами от этого яда. Недаром из Македонии или Персии не вышло ни одного знаменитого оратора.

Все сказанное пришло мне в голову после недавнего разговора с одним итальянцем, который служил дворецким у кардинала Караффы[5] [broken link: #na51_5] до самой его смерти. Я попросил его рассказать мне о должности, которую он отправлял. Он произнес целую речь об этой науке ублаготворения глотки со степенностью и обстоятельностью ученого, словно толковал мне какой-нибудь важный богословский тезис. Он разъяснил мне разницу в аппетитах — какой у человека бывает натощак, какой после второго и какой после третьего блюда; изложил средства, которыми его можно или просто удовлетворить, или возбудить и обострить; дал обстоятельное описание соусов, сперва общее, а затем частное, остановившись на качестве отдельных составных частей и на действии, которое они производят; рассказал о различии салатов в зависимости от времени года, — какие из них следует подогревать, какие лучше подавать холодными, каким способом их убирать и украшать, чтобы они были еще и приятны на вид. После этого

он стал распространяться о порядке подачи кушаний, высказав много прекрасных и важных соображений:

*nec minimo sane discrimine refert*

*Quo gestu lepores, et quo gallina secetur.[6] [broken link: #na51_6]*

И все это в великолепных и пышных выражениях, таких, какие употребляют, говоря об управлении какой-нибудь империей. Этот человек привел мне на память следующие строки:

*Hoc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum eat parum,*

*Illud recte: iterum sic memento; sedulo*

*Moneo quae possum pro mea sapientia.*

*Postremo, tanquam in speculum, in patinas, Demea,*

*Inspicere iubeo, et moneo quid facto usus sit.[7] [broken link: #na51_7]*

Впрочем, даже греки весьма хвалили порядок и устройство пиршества, которое Павел Эмилий[8] [broken link: #na51_8] дал им по своем возвращении из Македонии; но здесь я говорю не о существе дела, а о словах.

Не знаю, как у других, но когда я слышу, как

наши архитекторы щеголяют пышными словами вроде: пилястр, архитрав, карниз, коринфский и дорический ордер, и тому подобными из их жаргона, моему воображению представляется дворец Аполидона[9] [broken link: #na51_9]; а на самом деле я вижу здесь только жалкие доски моей кухонной двери.

Вы слышите, как произносят слова метонимия, метафора, аллегория и другие грамматические наименования, и не кажется ли вам, что обозначаются таким образом формы необычайной, особо изысканной речи? А ведь они могут применяться и к болтовне вашей горничной.

Подобный же обман — давать нашим государственным должностям великолепные римские названия, хотя наши должности по характеру выполняемых обязанностей имеют очень мало общего с римскими, а по размерам власти и могущества — еще меньше. Укажу еще на один обман, который, по-моему, когда-нибудь будет приводиться в доказательство исключительной умственной ограниченности нашего времени, — это наделять без всяких оснований кого угодно славными прозваниями, которыми древние почтили только одного-двух выдающихся людей на протяжении целых столетий. Прозвание

«божественный» было дано Платону всеобщим признанием, и никто не стал бы его у него оспаривать. Но итальянцы, которые не без основания могут похваляться тем, что ум у них более развит, а суждения более здравы, чем у других народов нашего времени, недавно почтили этим прозвищем Аретино[10] [broken link: #na51_10], который, на мой взгляд, ничем не возвышается над средним уровнем писателей своего времени, если не считать его пышной и заостренной манеры, не лишенной изысканности, но искусственной и надуманной, и кроме того — обычного красноречия, а уж до «божественности» в том смысле, какой придавали этому слову древние, ему далеко. А прозвище «великий» мы часто даем государям, которые отнюдь не возвышаются над любым средним человеком.

## Глава LII
## О бережливости древних

Аттилий Регул[1] [broken link: #na52_1], командовавший римскими войсками в Африке, в самый разгар своей славы и своих побед над карфагенянами обратился к республике с письмом, в котором сообщал, что слуга, которому он поручил управлять своим имением, состоявшим из семи арпанов земли, бежал, захватив с собой все земледельческие орудия; поэтому Регул просил предоставить ему отпуск, чтобы он мог вернуться и привести свое хозяйство в порядок, так как он боялся, что его жена и дети могут от этого пострадать. Сенат позаботился о том, чтобы в имение Регула был послан другой управляющий, велел возместить Регулу все убытки и, кроме того, распорядился, чтобы его жена и дети получали содержание от государства.

Катон Старший, возвращаясь из Испании, чтобы занять должность консула, продал лошадь, каковой пользовался, желая сберечь деньги, которые пришлось бы заплатить за ее перевозку морем в Италию. Будучи правителем Сардинии,

он по всем своим делам ходил пешком в сопровождении одного лишь служителя, состоявшего на жалованье у республики и носившего за ним его мантию и сосуд для совершения жертвоприношений; чаще всего, впрочем, свою поклажу он носил сам. Он хвалился тем, что никогда не имел одежды, стоившей дороже десяти экю, и никогда не тратил на рынке больше десяти су в день; хвалился он также и тем, что ни один из его деревенских домов не был оштукатурен и побелен снаружи. Сципион Эмилиан[2] [broken link: #na52_2], после того как он получил два триумфа и дважды был избран консулом, отправился легатом в провинцию в сопровождении всего семи слуг. Утверждают, что у Гомера никогда не было больше одного слуги, у Платона более трех, а у Зенона, главы стоической школы, не было даже и одного.

Когда Тиберий Гракх, бывший тогда первым среди римлян, уезжал по делам республики, ему назначали содержание в размере всего пяти с половиной су в день.

## Глава LIII
## Об одном изречении Цезаря

Если бы мы хоть изредка находили удовольствие в том, чтобы присматриваться к самим себе, и время, которое мы затрачиваем на наблюдение за другими и ознакомление с вещами, до нас не касающимися, употребляли на изучение самих себя, то быстро поняли бы, какое ненадежное и хрупкое сооружение наше «я». Разве не является удивительным свидетельством несовершенства неспособность наша по-настоящему удовлетвориться чем-либо, равно как и то обстоятельство, что даже в желании и воображении не способны мы выбрать то, что нам нужнее всего? Об этом ясно свидетельствует извечный великий спор между философами — в чем заключается высшее благо для человека, — который еще продолжается и будет продолжаться вечно, не находя ни решения, ни примирения;

> *dum abest quod avemus, id exuperare videtur*
>
> *Cetera; post aliud cum contigit illud avemus,*

*Et sitis aequa tenet.[1] [broken link: #na53_1]*

С чем бы мы ни знакомились, чем бы ни наслаждались, мы все время чувствуем, что это нас не удовлетворяет, и жадно стремимся к будущему, к неизведанному, так как настоящее не может нас насытить: не потому, на мой взгляд, что в нем нет ничего, могущего нас насытить, а потому, что сами способы насыщения у нас нездоровые и беспорядочные:

*Nam, cum vidit hic, ad usum quae flagitat usus,*

*Omnia iam ferme mortalibus esse parata,*

*Divitiis homines et honore et laude potentes*

*Affluere, atque bona natorum excellere fama,*

*Nec minus esse domi cuiquam tamen anxia corda,*

*Atque animum infestis cogi servire querelis:*

*Intellexit ibi vitium vas efficere ipsum,*

*Omniaque illius vitio corrumpier intus,*

*Quae collata foris et commoda quaeque venirent.[2] [broken link: #na53_2]*

Наше алкание неустойчиво и ненадежно: оно не способно ничего удержать, не способно дать нам чем-либо насладиться по-настоящему. Человек, полагая, что недостаток — в самих вещах, начинает вкушать и поглощать другие вещи, которых он доселе не знал, с которыми еще не ознакомился; к ним устремляет он свои желания и надежды, их он уважает и чтит, как об этом сказал Цезарь: Communi fit vitio naturae ut invisis, latitantibus atque incognitis rebus magis confidamus, vehementiusque exterreamur.[3] [broken link: #na53_3]

## Глава LIV
## О суетных ухищрениях

Часто люди пытаются добиться одобрения путем легкомысленных суетных ухищрений. Таковы поэты, которые сочиняют длинные творения, состоящие из стихов, начинающихся с какой-либо одной буквы; так в древности греки подбирали размеры своих стихов, удлиняя или укорачивая строки таким образом, чтобы из сочетания этих строк образовывались какие-нибудь фигуры — яйца, шарики, крылья, топоры; такова же была мудрость и того человека, который увлекся вычислением, сколькими различными способами можно расположить буквы алфавита, обнаружив, в конце концов, как рассказывает об этом Плутарх, что существует невероятное количество таких комбинаций[1] [broken link: #na54_1]. Я нахожу правильным мнение о подобных вещах одного человека, которому показали искусника, научившегося так ловко метать рукой просяное зерно, что оно безошибочно проскакивало через ушко иголки; когда этого человека попросили вознаградить столь редкое искусство

каким-либо подарком, он отдал забавное и, по-моему, вполне правильное приказание выдать искуснику две-три меры проса, чтобы он мог сколько угодно упражняться в своем прекрасном искусстве[2] [broken link: #na54_2]. И поразительное свидетельство немощности нашего разума заключается в том, что он оценивает всякую вещь с точки зрения ее редкости и новизны, а также малодоступности, хотя бы сама по себе она и не содержала в себе ничего хорошего и полезного.

Недавно у меня в доме мы занялись игрой — кто подберет большее количество слов, выражающих два совершенно противоположных значения, как, например, sire, которое обозначает титул, присвоенный самой высокой особе в нашем государстве — королю, но применимо также и к простым людям, например торговцам, не касаясь, однако, лиц, занимающих промежуточное между ними положение. Женщину высокопоставленную называют — dame, женщину среднего сословия — demoiselle, а женщин самого низкого состояния опять-таки — dame. Балдахины над столами допускаются только у особ королевской крови и в трактирах.

Демокрит утверждал, что боги и звери обладают более острой чувствительностью, чем люди,

которые в этом отношении находятся на среднем уровне[3] [broken link: #na54_3]. Римляне носили одинаковые одежды в траурные и в праздничные дни. Установлено с несомненностью, что предельный страх и предельный пыл храбрости одинаково расстраивают желудок и вызывают понос.

Прозвище «дрожащий», полученное двенадцатым королем Наварры Санчо, доказывает, что смелость заставляет наши члены дрожать, подобно страху. Однажды слуги, надевая на своего господина доспехи и видя его дрожь, пытались ободрить его и стали приуменьшать опасность, которой ему предстояло подвергнуться, но он сказал им: «Вы плохо меня знаете. Если бы тело мое представляло себе, куда увлечет его сейчас моя храбрость, оно бы, объятое смертным холодом, упало на землю».

Слабость, овладевающая нами вследствие холодности и отвращения к венериным играм, возникает у нас также и от чрезмерных желаний и необузданной пылкости.

Слишком сильный холод и слишком сильный жар могут варить и жарить. Аристотель утверждает, что слитки свинца размягчаются и плавятся от холода и от зимних морозов так же,

как от сильного жара[4] [broken link: #na54_4]. Вожделение и пресыщение в равной мере заставляют страдать нас и когда мы еще не достигли наслаждения, и когда мы перешли его границы. Глупость и мудрость сходятся в одном и том же чувстве и в одном и том же отношении к невзгодам, которые постигают человека: мудрые презирают их и властвуют над ними, а глупцы не отдают себе в них отчета; вторые, если можно так выразиться, не доросли до них, первые их переросли. Мудрые, хорошо взвесив и рассмотрев свойства наших несчастий, измерив их и обсудив их истинную природу, возвышаются над ними мощным и мужественным порывом: они презирают их, попирают ногами, ибо обладают такой силой и крепостью духа, что стрелы злого рока, попадая в них, неизбежно должны отскакивать и притупляться, как от встречи с твердым телом, в которое им не проникнуть. Люди обыкновенные, средние, находятся между двумя этими крайностями — они сознают свои беды, ощущают их и не имеют силы их перенести. Детство и старческая дряхлость сходны умственной слабостью, алчность и расточительность — стремлением приобретать, увеличивать свое достояние.

Есть все основания утверждать, что невежество

бывает двоякого рода: одно, безграмотное, предшествует науке; другое, чванное, следует за нею. Этот второй род невежества так же создается и порождается наукой, как первый разрушается и уничтожается ею.

Простые умы, мало любознательные и мало развитые, становятся хорошими христианами из почтения и покорности; они бесхитростно веруют и подчиняются законам. В умах, обладающих средней степенью силы и средними способностями, рождаются ошибочные мнения. Они следуют за поверхностным здравым смыслом и имеют некоторое основание объяснять простотой и глупостью то, что мы придерживаемся старинного образа мыслей, имея в виду тех из нас, которые не просвещены наукой. Великие умы, более основательные и проникновенные, являют собой истинно верующих другого рода: они длительно и благоговейно изучают Священное писание, обнаруживают в нем более глубокую истину и, озаренные ее светом, понимают сокровенную и божественную тайну учения нашей церкви. Все же мы видим, что некоторые достигают этой высшей ступени через промежуточную, испытав при этом величайшую радость и убежденность в том, что ими достигнута последняя грань хри-

стианского просвещения, и наслаждаются своей победой, нравственно перерожденные, исполненные умиления, благодарности и величайшей скромности. Но в их число я не хотел бы включать тех людей, которые, желая очиститься от всякого подозрения в склонности к своим прежним заблуждениям и убедить нас в своей твердости, впадают в крайность, становятся нетерпимыми и несправедливыми в отстаивании нашего дела и пятнают его, вызывая постоянные упреки в жестокости.

Простые крестьяне — честные люди; честные люди также философы, натуры глубокие и просвещенные, обогащенные обширными познаниями в области полезных наук. Но метисы, пренебрегшие состоянием первоначального неведения всех наук и не сумевшие достигнуть второго, высшего состояния (то есть сидящие между двух стульев, как, например, я сам и многие другие), опасны, глупы и вредны: они-то и вносят в мир смуту. Что касается меня, то я стараюсь, насколько это в моих силах, вернуться к первоначальному, естественному состоянию, которое совсем напрасно пытался покинуть.

Народная и чисто природная поэзия отличается непосредственной свежестью и изяществом, ко-

торые уподобляют ее основным красотам поэзии, достигшей совершенства благодаря искусству, как свидетельствуют об этом гасконские вилланели[5] [broken link: #na54_5] и поэтические произведения народов, не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности. Поэзия посредственная, занимающая место между народною и тою, которая достигла высшего совершенства, заслуживает пренебрежения, недостойна того, чтобы цениться и почитаться.

Однако, предавшись подобным умственным изысканиям, я увидел, как это часто бывает, что мы принимали за трудную и необычную работу то, что на самом деле не таково; находчивость наша, обострившись, обнаруживает бесконечное количество подобных примеров. Я приведу здесь только один: если стоит говорить об этих моих «Опытах», то может случиться, думается мне, что они не придутся по вкусу ни умам грубым и пошлым, ни умам исключительным и выдающимся. Те их не поймут, эти поймут слишком хорошо; и придется им удовольствоваться читателем среднего умственного уровня.

## Глава LV
## О запахах

О некоторых людях — к ним относится Александр Великий — говорят, что их пот издавал приятный запах, благодаря каким-то редким и исключительным особенностям их телесного устройства. Причину этого пытались выяснить Плутарх и другие[1] [broken link: #na55_1]. Но обычно человеческие тела устроены совсем по-иному: лучше всего, если они вовсе не имеют запаха. Самым чистым и сладостным дыханием — например, дыханием здорового ребенка — мы восхищаемся потому, что оно лишено какого бы то ни было неприятного запаха. Вот почему, как говорит Плавт,

> *Mulier tum bene olet, ubi nihil olet.[2] [broken link: #na55_2]*

Лучше всего ведет себя та женщина, о поведении которой ничего не знают и не слышат. Что же касается приятных запахов, заимствованных извне, то мне кажется правильным мнение, что люди пользуются духами для того, чтобы скрыть какой-нибудь природный недостаток.

Отсюда такое отождествление у древних поэтов: благоухание у них часто означает вонь —

> *Rides nos, Coracine, nil olentes*
>
> *Malo quam bene olere nil olere[3] [broken link: #na55_3]*

и в другом месте:

> *Posthume, non bene olet, qui bene semper olet.[4] [broken link: #na55_4]*

Тем не менее я очень люблю вдыхать приятные запахи и до крайности ненавижу дурные, ибо к ним я чувствительнее, чем кто-либо другой:

> *Namque sagacius unus odoror,*
>
> *Polypus, an gravis hirsutis cubet hircus in alis.*
>
> *Quam canis acer ubi lateat sus.[5] [broken link: #na55_5]*

Самые простые и естественные запахи для меня всего приятнее. И это в особенности касается женщин. Во времена самого грубого варварства скифские женщины, помывшись, пудрили и мазали себе лицо и тело ароматическим снадобьем, распространенным в их стране; перед тем, как сблизиться с мужчиной, они снимали эти

притирания, и тело их становилось гладким и благоухающим.

Удивительно, до какой степени пристают ко мне всевозможные запахи, до какой степени моя кожа обладает способностью впитывать их в себя. Тот, кто жалуется, что природа не наделила человека особым орудием для того, чтобы подносить запахи к носу, неправ, ибо запахи сами проникают в нос. Мне же, в частности, очень помогают в этом отношении мои пышные усы. Стоит мне поднести к ним мои надушенные перчатки или носовой платок, и запах будет держаться на них потом целый день. По ним можно обнаружить, откуда я пришел. Когда-то, в дни юности, крепкие поцелуи, сладкие, жадные и сочные, прилипали к ним и часами удерживались на них. И, однако, я мало подвержен тем повальным болезням, которые передаются при соприкосновении человека с человеком или чрез зараженный воздух. В свое время я счастливо избег таких заболеваний, свирепствовавших в наших городах и среди войск. О Сократе мы читаем, что хотя он не покидал Афин в то время, как их несколько раз посещала чума, он один ни разу ею не заразился[6] [broken link: #na55_6]. Я полагаю, что врачи могли бы лучше использовать запахи, чем они это делают, ибо

часто замечал, что от запахов изменяется мое состояние, так они действуют на мое настроение в зависимости от своих свойств. И в этом я нахожу подтверждение моего взгляда, что употребление ладана и других ароматов в церквах, распространенное с древнейших времен среди всех народов и во всех религиях, имеет целью пробудить, очистить и возвеселить наши чувства, сделав нас тем самым более способными к созерцанию.

Чтобы лучше судить об этом, я хотел бы попробовать стряпню тех поваров, которые умеют приправлять кушанья различными ароматическими веществами, как это бросалось в глаза во время трапез короля тунисского, который в наши дни прибыл в Неаполь для свидания с императором Карлом[7] [broken link: #na55_7]. У него кушанья начинялись душистыми пряностями, и притом так щедро, что один павлин и два фазана, приготовленные по их способу, обходились в, сотню дукатов. Когда их разрезали, то не только в пиршественной зале, но и во всех комнатах дворца и даже в соседних домах распространялись сладостные испарения, которые улетучивались не скоро.

Отыскивая себе жилье, я прежде всего забочусь о том, чтобы избежать тяжелого и зловонного

воздуха. Пристрастие, которое я питаю к прекрасным городам Венеции и Парижу, ослабляется из-за острого запаха стоячей воды в Венеции и грязи в Париже.

## Глава LVI
## О молитвах[1] [broken link: #na56_1]

Я предлагаю вниманию читателя мысли неясные и не вполне законченные, подобно тем, кто ставит на обсуждение в ученых собраниях сомнительные вопросы: не для того, чтобы найти истину, но чтобы ее искать. И подчиняю эти свои мысли суждению тех, кто призван направлять не только мои действия и мои писания, но и то, что я думаю. Мною принято будет и обращено мне же на пользу осуждение так же, как и одобрение, ибо сам я сочту нечестием, если окажется, что по неведению или небрежению позволил себе высказать что-либо противное святым установлениям католической апостольской римской церкви, в которой умру и в которой родился. И все же, отдаваясь всегда во власть их цензуры, которой целиком подчиняюсь, я имею дерзновение коснуться здесь подобных предметов.

Не знаю, ошибочно ли мое мнение, но поскольку богу угодно было по особой своей милости и благоволению предписать нам и продиктовать собственными устами особый вид молитвы, мне

всегда казалось, что мы должны были бы пользоваться ею чаще, чем это делаем. И по моему убеждению, перед едой и после еды, перед сном и после пробуждения и при всех обстоятельствах вообще, когда мы обычно молимся, христианам следовало бы читать «Отче наш», если не в качестве единственной молитвы, то во всяком случае неизменно. Церковь может увеличить количество молитв, разнообразить их, наставляя нас в том или ином отношении по мере надобности: ибо я хорошо знаю, что сущность их и предмет всегда одни и те же. Но этой именно молитве подобало бы отдать предпочтение, чтобы она постоянно была у всех на устах. Ибо не подлежит сомнению, что в ней сказано все необходимое и что она подходит для всех случаев жизни. Это единственная молитва, которой я пользуюсь неизменно, и я повторяю ее, вместо того, чтобы заменить другой.

Благодаря этому ни одной молитвы я не помню так хорошо, как эту.

Теперь я думаю о том, откуда взялось у нас ошибочное стремление прибегать к богу во всех наших намерениях и предприятиях, призывать его во всех наших нуждах и во всех делах, в которых нам по слабости нашей требуется помощь, не

заботясь о том, справедливы или несправедливы наши желания, и взывать к имени его и могуществу во всяком положении и во всяком деле, даже в самом порочном.

Конечно, он — единственный наш защитник, и в его власти все средства, чтобы нам помочь. Но, не говоря уже о том, угодно ли ему будет удостоить нас своей сладостной отеческой милости, он так же справедлив, как благостен и всемогущ. И справедливость свою он являет чаще, чем всемогущество, благодетельствуя нам в меру ее требований, а не согласно нашим просьбам.

Платон в своих законах указывает на три ошибочных суждения о богах: что их вовсе нет, что они не вмешиваются в наши дела и что они ни в чем не отказывают нам, когда мы прибегаем к ним с молитвами, обетами и жертвоприношениями. По его мнению, никогда не бывает, чтобы первое из названных заблуждений прочно укоренялось в человеке с детства до старости. Два других могут оказаться более упорными[2] [broken link: #na56_2].

Справедливость божия и его могущество нераздельны. Тщетно призываем мы силу его к себе на помощь в неправом деле. Хотя бы в то мгновение, когда мы обращаемся к нему с молитвой,

душа у нас должна быть чистой и свободной от порочных страстей; в противном случае мы сами подносим ему те бичи, которыми он нас карает. Вместо того чтобы очиститься от греха, мы удваиваем его, прибегая к тому, у кого должны просить прощения, с чувствами неблагоговейными и полными ожесточения. Вот почему я не слишком восхищаюсь теми, кто молится богу особенно часто и усердно, если их поступки, совершаемые после молитвы, не свидетельствуют о раскаянии и исправлении:

> *si, nocturnus adulter,*
>
> *Tempera sanctonico velas adoperta cucullo.[3] [broken link: #na56_3]*

И поведение человека, который сочетает гнусную жизнь с благочестием, кажется мне гораздо более достойным осуждения, чем поведение человека, верного себе во всем и всегда отвергает человека, упорствующего в каком-нибудь важном грехе, и закрывает перед ним свои двери.

Молимся мы по обычаю и по привычке или, вернее сказать, мы просто читаем или произносим слова молитв. В конце концов, это всего-навсего личина благочестия.

Мне противно бывает, когда люди трижды

осеняют себя крестом во время benedicite[4] [broken link: #na56_4] и столько же раз во время благодарственной молитвы, а во все остальные часы дня упражняются в ненависти, жадности и несправедливости; и тем более противно мне это, что сам я весьма почитаю крестное знамение, постоянно осеняю себя крестом и даже, зевая, крещу себе рот. Порокам свой час, богу — свой; так люди словно возмещают и уравновешивают одно другим. Просто диву даешься, как это столь разные дела совершают они одно за другим и с таким неизменным рвением, что при этом не заметно никакого перерыва, никакого изменения даже при переходе от одного к другому.

Поистине чудовищной должна быть совесть, которая остается невозмутимой, давая приют под одной кровлей, в столь согласном и мирном сообществе, и преступнику и судье! Что может говорить о делах своих господу человек, у которого на уме одно только распутство и который знает, сколь мерзостно оно пред лицом всевышнего? Он обращается к богу лишь для того, чтобы тотчас же снова пасть. Если, как он уверяет, мысль о божьем правосудии и ощущение его во время молитвы поражают и потрясают его душу, то, как бы кратко ни было раскаяние, один страх божий

так часто возвращал бы его мысль к покаянию, что он тотчас же побеждал бы угнездившиеся и укоренившиеся в нем пороки. Но что сказать о тех, вся жизнь которых основана на том, что они пожинают плоды и выгоды порока, зная, что это смертный грех? А сколько у нас занятий и должностей по самой природе своей порочных! Один человек, открывшись мне, признался в том, что всю свою жизнь исповедовал догматы религии и выполнял ее обряды, хотя и отвергал их в душе, для того, чтобы не утратить своего высокого положения и почетных должностей. Как хватило у него духу сделать подобное признание? Каким языком говорят эти люди, обращаясь к правосудию божию? Не дано им право перед богом и перед нами ссылаться на свое раскаянье, ибо оно проявляется лишь в чисто внешнем и поверхностном исправлении. Или они дерзновенно решаются просить прощения, даже не помышляя об искуплении и раскаянии? Я полагаю, что с ними дело обстоит так же, как и с теми, о которых я говорил раньше, только упорство их труднее побороть. Эта противоречивость, эта столь внезапная резкая переменчивость мнений, которую они выказывают, притворяясь перед нами, кажется мне каким-то чудом.

Они являют нам душу в состоянии невыносимой агонии. Каким извращенным представлялось мне воображение тех людей, которые в недавнее время имели обыкновение упрекать каждого, кто сохранял ясность мысли, исповедуя католическую веру, якобы в притворстве, да еще к тому же утверждать, — по-видимому, желая ему польстить, — что он лишь с виду католик, а в душе не может не признавать истинной религию, реформированную на их лад! Какое докучное и болезненное заблуждение — мнить себя столь мудрым, что даже не допускать мысли о возможности кому-либо другому думать совсем иначе! А еще хуже то, что подобные люди полагают, будто этот другой готов переменчивость земных судеб поставить выше надежд на вечное спасение и угрозы вечного проклятия. Они могут мне поверить. Ибо если в мои юные годы что-нибудь могло совратить меня, то честолюбивое стремление бросить вызов судьбе и преодолеть все опасности, связанные с недавними событиями, сыграло бы здесь немаловажную роль.

Не без достаточных оснований, думается мне, церковь запрещает слишком свободно, смело и неосмотрительно пользоваться теми священными и божественными песнопениями, которые дух

святой вложил в уста царя Давида. Примешивать бога к делам нашим допустимо лишь с должным благоговением и осторожностью, проникнутой почитанием и уважением. Голос этот — слишком божественный, чтобы воспроизводить его только ради упражнения легких и удовольствия, доставляемого нашему слуху; эти слова должна повторять совесть наша, а не язык. Безрассудно было бы допускать, чтобы какой-нибудь приказчик из лавки забавлялся и развлекался ими вперемешку со своими суетными и пустыми помыслами.

Столь же неразумно было бы позволять, чтобы в общей зале или на кухне валялись священные книги, излагающие божественные тайны нашей веры. Предмет столь важный и достойный почитания нельзя изучать в сутолоке и мимоходом. К нему надо приступать сосредоточенно и степенно, предпосылая изучению, в качестве вступления, слова, которыми начинается церковная служба: Sursum corda[5] [broken link: #na56_5], и даже тело наше необходимо привести в положение, свидетельствующее об особом внимании и уважении.

Это занятие не для всех и каждого: оно подобает лишь тем, кто посвятил себя ему, кто призван для

этого богом. Дурным и невежественным людям оно принесет только вред. Священная история рассказывается не для развлечения — ей должно внимать благоговейно, смиренно и с почтением. Как смешны люди, возомнившие, что сделали ее доступной народу, изложив на народном языке! Словно ему достаточно разобраться в словах, чтобы понять все, что написано! Я сказал бы даже больше: вместо того, чтобы приблизить простого человека к священной книге, они удаляют его от нее. Полное незнание, во всем полагающееся на других, было более спасительным и более мудрым, чем эта чисто словесная и пустая наука, питающая в людях самомнение и дерзость.

Я думаю также, что в предоставлении каждому свободы распространять слово божие на всевозможных языках гораздо больше опасности, чем пользы. Евреи, магометане и почти все другие народы приняли и почитают тот язык, на котором впервые открылись им тайны их веры. И не без основания у них запрещено заменять его каким-либо другим. Можем ли мы сказать, что у басков или бретонцев найдутся судьи, достаточно сведущие для того, чтобы установить, правильно ли переведено Священное писание на их язык? Для церкви вселенской вопрос этот,

самый насущный и трудный. В проповедях и словесных поучениях даются толкования менее определенные, более свободные и текучие, и к тому же — по отдельным вопросам, так что это совсем не одно и то же.

Один из греческих историков-христиан справедливо порицает свое время за то, что тайны христианской веры свободно распространялись тогда на площадях, попадая в руки каких-нибудь ничтожных ремесленников, и что каждый мог обсуждать их и толковать по-своему. Он говорит также, что для нас, по благодати божией обладающих чистейшими тайнами благочестия, — величайший стыд допускать, чтобы тайны эти опошлялись в устах простых и невежественных людей, — ведь даже язычники запрещали Сократу, Платону и другим величайшим мудрецам говорить и рассуждать о предметах, порученных ведению дельфийских жрецов. Говорит он и о том, что, когда государи берут ту или иную сторону в богословских спорах, они бывают вооружены не религиозным рвением, но гневом, что рвение воодушевляется божественным разумом и справедливостью и потому всегда спокойно и умеренно в своих проявлениях, однако увлекаемое страстью человеческой, может превратиться

в ненависть и зависть, и тогда вместо пшеницы и винограда оно производит плевелы и крапиву. Другой историк, давая советы императору Феодосию, правильно указывал, что диспуты не столько устраняют несогласия в церкви, сколько возбуждают и воодушевляют еретические учения, и что поэтому следует избегать всяческих споров и словопрений и опираться исключительно на предписания и догматы, установленные древними. А император Андроник, встретив у себя во дворце двух вельмож, споривших с Лопадием[6] [broken link: #na56_6] по одному из важнейших вопросов нашей веры, сурово выбранил их и даже пригрозил утопить в реке, если они тотчас же не перестанут.

В наши дни дети и женщины оспаривают мнения людей самого почтенного возраста и наиболее умудренных в вопросах церковных законов, между тем как первый же закон Платона запрещал им даже осведомляться об основаниях гражданских законов, которые для них должны были являться установлениями божественными. Разрешая старцам обсуждать вопросы законодательства между собой и с должностными лицами, этот платоновский закон добавляет: с тем, чтобы это не происходило в присутствии молодежи или

непосвященных.

Некий епископ писал, что на другом конце света есть остров, у древних называвшийся Диоскоридой[7] [broken link: #na56_7], который отличается здоровым климатом, плодородием, изобилует всякого рода деревьями и плодами и населен племенем, исповедающим христианство, имеющим церкви и алтари, украшенные одним лишь крестом без всяких других изображений. Люди эти тщательно соблюдают посты и праздники, усердно платят десятину священникам и столь целомудренны, что ни один из них не может знать больше одной женщины за всю жизнь. Впрочем, они так довольны своей судьбой, что, живя на острове посреди моря, не имеют понятия о кораблях, и настолько простодушны, что ни слова не разумеют в религиозном учении, которому так старательно следуют. Это могло бы показаться невероятным тому, кто не знает, что некоторые язычники — ревностные идолопоклонники — о богах своих не ведают ничего, кроме их имен и статуй.

Старинное начало «Меланиппы», трагедии Эврипида, гласило:

*О Юпитер! Ибо ничего не знаю я о тебе,*

*Кроме одного твоего имени[8] [broken link: #na56_8].*

В наше время мне приходилось слышать жалобы на некоторые произведения, которые упрекают за то, что содержание их — слишком человеческое и философское без всякой примеси богословских рассуждений. Но на подобные жалобы можно не без основания возразить, что божественному учению гораздо лучше занимать особое место, подобающее ему, как царствующему и господствующему; что оно всюду должно быть главенствующим, а не играть подсобной и второстепенной роли; что рассуждения человеческого и философского характера подкреплять примерами из грамматики, риторики, логики гораздо уместнее, чем из предмета столь священного, и что их также лучше брать из области театра, игр и публичных зрелищ; что божественные установления рассматриваются с большим уважением и почитанием, взятые в отдельности и в соответствующих им выражениях, а не в связи с рассуждениями о человеческом; что гораздо чаще грешат богословы, употребляющие слишком земные слова, чем гуманисты, пишущие недостаточно возвышенно (философия, говорит Иоанн Златоуст, изгонялась святой наукой, как

бесполезная служанка, не достойная видеть даже мимоходом, с порога, хранилище священных сокровищ небесного учения); что человеческой речи свойственны формы более низменные и ей не подобают возвышенное достоинство, величие и царственность слова божия. Я бы предоставил ей говорить verbis indisciplinatis[9] [broken link: #na56_9] о судьбе, предназначении, случайности, счастье и несчастье, о богах и употреблять другие, свойственные ей выражения.

Я предлагаю домыслы человеческие, и в том числе мои собственные, просто как человеческие, взятые обособленно, а не как установленные и упорядоченные небесным повелением и потому не подлежащие сомнению и непререкаемые: это — дело взгляда на вещи, а не дело веры; как то, что я обсуждаю, согласно своему разумению, а не как то, во что я верю по слову божию. Они подобны тем упражнениям, которые задают детям и которые никак не поучительны, а наоборот, сами нуждаются в поучении. Все это я обсуждаю с мирской точки зрения, а не церковной, хотя и в глубоко благочестивом духе.

И не следует ли считать основательным, во многих отношениях полезным и справедливым предписание о том, чтобы по вопросам религии

лишь с чрезвычайной осторожностью писали все те, кто предназначен для этого по своему положению? Мне же, быть может, лучше всего не говорить о подобных вещах.

Меня уверяли, что даже те, кто не принадлежит к нашей вере, запрещают у себя употреблять имя божие в повседневной речи. Они не желают, чтобы им пользовались для призывов и восклицаний, для клятв или сравнений, и я нахожу, что в этом они правы. При каких обстоятельствах ни призывали бы мы бога среди наших мирских дел и в общении друг с другом, — это должно совершаться серьезно и благоговейно.

Кажется, у Ксенофонта есть одно место, где он говорит, что нам следует реже молиться богу, поскольку не так легко привести свою душу в состояние сосредоточенности, чистоты и благоговения, в котором ей следует находиться во время молитвы. Иначе моления наши не только тщетны и бесполезны, но даже греховны[10] [broken link: #na56_10]. Прости нам, говорим мы, как мы прощаем своим обидчикам. Что это значит, если не то, что мы отдаем ему свою душу, очищенную от вражды и жажды мщения? И тем не менее мы обычно взываем к помощи божией даже в греховных своих стремлениях и молим его совершить

несправедливость:

> *Quae, nisi seductis, nequeas committere divis.[11] [broken link: #na56_11]*

Скупец молится о сохранении своих суетных и излишних сокровищ, честолюбец — о победах, о возможности свободно отдаваться своей страсти; вор просит помочь ему преодолеть опасности и затруднения, противостоящие его зловредным замыслам, или же благодарит за легкость, с какой ему удалось ограбить прохожего. У порога дома, в который грабители пытаются проникнуть по приставной лестнице или взломав замок, возносят они молитвы, питая намерения и надежды, полные жестокости, жадности и сластолюбия:

> *Hoc ipsum quo tu Iovis aurem impellere tentas,*
>
> *Dic agedum Staio: Pro Iuppiter, o bone, clamet,*
>
> *Iuppiter! at sese non clamet Iuppiter ipse.[12] [broken link: #na56_12]*

Королева Маргарита Наваррская рассказывает о некоем молодом принце (и, хотя она не называет его, легко догадаться, кто это), что, направляясь на любовное свидание с женой одного

парижского адвоката, он должен был проходить мимо церкви, и всякий раз, дойдя до этого святого места, он произносил молитву[13] [broken link: #na56_13]. Предоставляю вам самим судить, для чего ему, преисполненному столь благих помыслов, нужна была помощь божия. Впрочем, королева Наваррская упоминает об этом в доказательство его исключительного благочестия. Но не один этот пример свидетельствует о том, что женщины совершенно не способны рассуждать на богословские темы.

Истинная молитва, истинное примирение с богом не могут быть доступны душе нечистой, да еще в тот миг, когда она находится во власти сатаны. Тот, кто призывает помощь божию в порочном деле, поступает так, как поступил бы вор, залезший в чужой кошелек и в то же время взывающий к правосудию, или как те, кто упоминает имя божие, лжесвидетельствуя:

> *tacito mala vota susurro*
>
> *Concipimus.[14] [broken link: #na56_14]*

Мало найдется людей, которые решились бы открыто высказать то, о чем тайно просят бога:

> *Haud cuivis promptum eat murmurque humilesque susurros*

*Tollere de templis, et aperto vivere voto.[15] [broken link: #na56_15]*

Вот почему пифагорейцы требовали, чтобы люди молились публично и вслух, дабы у бога не просили они о вещах недостойных и неправедных, в таком, например, роде:

*clare cum dixit: Apollo!*

*Labra movet, metuens audiri: Pulchra Laverna,*

*Da mihi fallere, da iustum sanctumque videri.*

*Noctem peccatis et fraudibus obiice nubem.[16] [broken link: #na56_16]*

Боги выполнили неправедные молитвы Эдипа для того, чтобы жестоко покарать его за них. Он молил о том, чтобы дети его силою оружия решили между собою спор о наследовании его престола, и имел несчастье быть пойманным на слове. Не о том следует просить, чтобы все шло по нашему желанию, а о том, чтобы все шло согласно требованиям разума.

И в самом деле, кажется, что мы пользуемся нашими молитвами, словно каким-то условным языком, подобно тем, кто святые и божественные

слова применяет для волшебства и магических целей, и что мы полагаем, будто действие молитвы зависит от расположения и последовательности слов, от их звучания или от движений, которые мы делаем во время молитвы. Ибо с душой, полной вожделений, не затронутой раскаяньем или подлинным желанием вновь примириться с богом, мы обращаем к нему эти слова, которые подсказывает нам память, и надеемся таким образом искупить свои прегрешения. Нет ничего более кроткого, ласкового и милосердного к нам, чем божественный закон: он призывает нас к себе, как бы мерзостны и грешны мы ни были; он открывает нам объятия и принимает в лоно свое, как бы мы ни были гнусны, грязны и отвратительны и сейчас и в будущем. Но зато и мы должны взирать на него чистыми очами. Мы должны принимать это прощение с величайшей благодарностью, и хотя бы в то мгновение, когда обращаемся к богу, ощущать всей душой своей отвращение к своим грехам и ненависть к страстям, которые заставили нас преступить божий закон. Ни боги, ни благомыслящие люди, говорит Платон, не принимают даров от злых[17] [broken link: #na56_17].

*Immunis aram si tetigit manus,*

*Non sumptuosa blandior hostia,*
*Mollivit aversos Penates*
*Farre pio et saliente mica.[18] [broken link: #na56_18]*

## Глава LVII
## О возрасте

Я не знаю, на основании чего устанавливаем мы продолжительность нашей жизни. Я вижу, что, по сравнению с общим мнением на этот счет, мудрецы сильно сокращают ее срок. «Как, — сказал Катон Младший тем, кто хотел помешать ему покончить с собой, — неужели, по-вашему, я настолько молод еще, что заслуживаю упрека в желании слишком рано уйти из жизни?»[1] [broken link: #na57_1]. А ему было всего сорок восемь лет. Сообразуясь с тем, что лишь немногие люди достигают этого возраста, он считал его весьма зрелым и преклонным. Те же, кто ссылается на какой-то другой срок, который они считают естественным и который обещает еще несколько лет жизни, могли бы делать это с некоторым основанием, если бы обладали преимуществом, избавляющим их от бесчисленных случайностей, которым каждый из нас подвержен по самой природе вещей и которые всегда могут сократить этот положенный, по их мнению, срок. Какое тщетное мечтание — надеяться на смерть от

истощения сил вследствие глубокой старости и считать, что этим определяется продолжительность нашей жизни! Ведь этот род смерти наиболее редкий и наименее обычный из всех. Мы называем естественным только его, как будто для человека неестественно сломать себе шею при падении, утонуть во время кораблекрушения, схватить чуму или воспаление легких, и как будто обычные условия нашего существования не подвергают нас всем подобным бедствиям. Не будем обольщаться приятными словами: естественным гораздо правильнее считать то, что оказывается наиболее распространенным, обычным и всеобщим. Умереть от старости — это смерть редкая, исключительная и необычная, это последний род смерти, возможный лишь как самый крайний случай, и чем более удалена от нас такая возможность, тем меньше основании на нее рассчитывать. Разумеется, это тот предел, который мы никогда не переступим и который закон природы не разрешает нам переступать; и этот закон лишь очень редко позволяет нам дожить до предела. Это исключительный дар, которым природа особо награждает какого-нибудь одного человека на протяжении двух-трех столетий, избавляя его от опасностей и трудностей,

непрерывно встречающихся на столь долгом жизненном пути.

Поэтому, на мой взгляд, достигнутый нами возраст надо рассматривать как такой, которого достигают лишь немногие люди. Поскольку обычно людям не дано бывает дойти до него, это признак того, что нам удалось далеко зайти. И раз мы перешли обычные границы, которые и являются подлинной мерой длительности нашего существования, нам не следует надеяться на то, что путь наш еще удлинится. Мы уже избежали стольких случаев умереть, постоянно подстерегающих человека, что должны признать столь необычно поддерживающее нас счастье совершенно исключительным и не рассчитывать на то, что оно продлится.

Сами законы наши повинны в том, что нами овладевает это ложное самообольщение: они не считают человека способным располагать его имуществом до двадцати пяти лет, а ведь ему далеко не всегда удается дожить до этого возраста. Август сбавил пять лет по сравнению со старинными римскими установлениями, объявив, что для занятия судейских должностей достаточно иметь тридцать лет. Сервий Туллий освободил всадников, достигших сорока семи

лет, от военной повинности; Август еще снизил этот срок до сорока пяти лет. Мне же кажется, что нет особых оснований отпускать людей на покой ранее пятидесяти пяти — шестидесяти лет. Мое мнение таково, что в интересах общества — дать нам возможность как можно дольше исправлять занимаемые нами должности, но я считаю, с другой стороны, что нам следует открывать к ним доступ раньше. Сам Август девятнадцати лет решал судьбы мира, а в то же время он издает указ, что надо достигнуть тридцати лет, чтобы решать вопрос о том, где установить какой-нибудь сточный желоб.

Я же считаю, что к двадцати годам душа человека вполне созревает, как и должно быть, и что она раскрывает уже все свои возможности, Если до этого возраста душа человеческая не выказала с полной очевидностью своих сил, то она уже никогда этого не сделает. Именно к этому сроку наши природные качества и добродетели должны проявить себя с полной силой и красотой или же они никогда не проявят себя:

*Раз шип не острый с первых дней,*
*Потом не станет он острей, —*

говорят в Дофине.

Из всех известных мне прекрасных деяний человеческих, каковы бы они ни были, гораздо больше, насколько мне кажется, совершалось до тридцатилетнего возраста, чем позднее. Так было в древности, так и в наше время, и часто в жизни одного и того же человека: ведь это с полной уверенностью можно сказать о Ганнибале и о его великом противнике Сципионе. Добрая половина их жизни была прожита за счет славы, которую они стяжали в молодости: позже они тоже были великими людьми, но лишь по сравнению с другими, а не с самими собой. Что до меня, то я с полной уверенностью могу сказать, что с этого возраста мой дух и мое тело больше утратили, чем приобрели, больше двигались назад, чем вперед. Возможно, что у тех, кто умеет хорошо использовать свое время, знание и опыт растут вместе с жизнью, но подвижность, быстрота, стойкость и другие душевные качества, непосредственно принадлежащие нашему существу, более важные и основные, слабеют и увядают:

> *ubi iam validis quassatum eat viribus aevi*
> *Corpus, et obtusis ceciderunt viribus artus,*
> *Claudicat ingenium, delirat linguaque mensque.[2] [broken link: #na57_2]*

Иногда первым уступает старости тело, иногда душа. Я видел достаточно примеров, когда мозг ослабевал раньше, чем желудок или ноги. И это зло тем опаснее, что оно менее заметно для страдающего и проявляется не так открыто. Вот почему я и сетую не на то, что законы слишком долго не освобождают нас от дел и обязанностей, а на то, что они слишком поздно допускают нас к ним. Мне кажется, что, принимая во внимание бренность нашей жизни и все те естественные и обычные подводные камни, которые она встречает на своем пути, не следовало бы придавать такое большое значение происхождению и уделять столько времени обучению праздности.

# КНИГА II



## Глава I
## О непостоянстве наших поступков

Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение, ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника. Марий Младший[1] [broken link: #nb1_1] в одних случаях выступал как сын Марса, в других — как сын Венеры. Папа Бонифаций VIII[2] [broken link: #nb1_2], как говорят, вступая на папский престол, вел себя лисой, став папой, выказал себя львом, а умер как собака. А кто поверит, что Нерон[3] [broken link: #nb1_3] — это подлинное воплощение человеческой жестокости, — когда ему дали подписать, как полагалось, смертный приговор одному преступнику, воскликнул: «Как бы я хотел не уметь писать!» — так у него сжалось сердце при мысли осудить человека на смерть. Подобных примеров великое множество, и каждый из нас может привести их сколько угодно; поэтому мне

кажется странным, когда разумные люди пытаются иногда мерить все человеческие поступки одним аршином, между тем как непостоянство представляется мне самым обычным и явным недостатком нашей природы, свидетельством может служить известный стих насмешника Публилия:

> *Malum consilium est, quod mutari non potest.[4] [broken link: #nb1_4]*

Есть некоторое основание составлять себе суждение о человеке по наиболее обычным для него чертам поведения в жизни; но, принимая во внимание естественное непостоянство наших обычаев и взглядов, мне часто казалось, что напрасно даже лучшие авторы упорствуют, стараясь представить нас постоянными и устойчивыми. Они создают некий обобщенный образ и, исходя затем из него, подгоняют под него и истолковывают все поступки данного лица, а когда его поступки не укладываются в эти рамки, они отмечают все отступления от них. С Августом[5] [broken link: #nb1_5], однако, у них дело не вышло, ибо у этого человека было такое явное неожиданное и постоянное сочетание самых разнообразных поступков в течение всей его жизни,

что даже самые смелые судьи вынуждены были признать его лишенным цельности, неодинаковым и неопределенным. Мне труднее всего представить себе в людях постоянство и легче всего — непостоянство. Чаще всего окажется прав в своих суждениях тот, кто вникнет во все детали и разберет один за другим каждый поступок.

На протяжении всей древней истории не найдешь и десятка людей, которые подчинили бы свою жизнь определенному и установленному плану, что является главной целью мудрости. Ибо, как говорит один древний автор[6] [broken link: #nb1_6], если пожелать выразить единым словом и свести к одному все правила нашей жизни, то придется сказать, что мудрость — это «всегда желать и всегда не желать той же самой вещи». «Я не считаю нужным, — говорил он, — прибавлять к этому: лишь бы желание это было справедливым, так как, если бы оно не было таковым, оно не могло бы быть всегда одним и тем же». Действительно, я давно убедился, что порок есть не что иное, как нарушение порядка и отсутствие меры, и, следовательно, исключает постоянство. Передают, будто Демосфен говорил[7] [broken link: #nb1_7], что «началом всякой добродетели является взвешивание и размышление,

а конечной целью и увенчанием ее — постоянство». Если бы мы выбирали определенный путь по зрелом размышлении, то мы выбрали бы наилучший, но никто не думает об этом:

> *Quod petiit spernit; repetit, quod nuper omisit;*
>
> *Aestuat, et vitae disconvenit ordine toto.[8] [broken link: #nb1_8]*

Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся, как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы отвергаем только что принятое решение, потом опять возвращаемся к оставленному пути; это какое-то непрерывное колебание и непостоянство:

> *Ducimur, ut nervis alienis mobile lignum.[9] [broken link: #nb1_9]*

Мы не идем — нас несет, подобно предметам, подхваченным течением реки, — то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива:

> *nonne videmus*

*Quid sibi quisque velit nescire, et quaerere semper*

*Commutare locum, quasi onus deponere possit.[10] [broken link: #nb1_10]*

Каждый день нам на ум приходит нечто новое, и наши настроения меняются вместе с течением времени:

*Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse*

*Iuppiter auctifero lustravit lumine terras.[11] [broken link: #nb1_11]*

Мы колеблемся между различными планами: в наших желаниях никогда нет постоянства, нет свободы, нет ничего безусловного. В жизни того, кто предписал бы себе и установил бы для себя в душе определенные законы и определенное поведение, должно было бы наблюдаться единство нравов, порядок и неукоснительное подчинение одних вещей другим.

Эмпедокл[12] [broken link: #nb1_12] обратил внимание на одну странность в характере агригентцев: они предавались наслаждениям так, как если бы им предстояло завтра умереть, и в то же время строили такие дома, как если бы им предстояло жить вечно.

Судить о некоторых людях очень легко. Взять, к примеру, Катона Младшего[13] [broken link: #nb1_13]: тут тронь одну клавишу — и уже знаешь весь инструмент; тут гармония согласованных звуков, которая никогда не изменяет себе. А что до нас самих, тут все наоборот: сколько поступков, столько же требуется и суждений о каждом из них. На мой взгляд, вернее всего было бы объяснять наши поступки окружающей средой, не вдаваясь в тщательное расследование причин и не выводя отсюда других умозаключений.

Во время неурядиц в нашем несчастном отечестве случилось, как мне передавали, что одна девушка, жившая неподалеку от меня, выбросилась из окна, чтобы спастись от насилия со стороны мерзавца солдата, ее постояльца; она не убилась при падении и, чтобы довести свое намерение до конца, хотела перерезать себе горло, но ей помешали сделать это, хотя она и успела основательно себя поранить. Она потом призналась, что солдат еще только осаждал ее просьбами, уговорами и посулами, но она опасалась, что он прибегнет к насилию. И вот, как результат этого — ее крики, все ее поведение, кровь, пролитая в доказательство ее добродетели, — ни дать, ни взять вторая Лукреция[14] [broken link: #nb1_14].

Между тем я знал, что в действительности она и до и после этого происшествия была девицей не столь уж недоступной. Как гласит присловье, «если ты, будучи тих и скромен, натолкнулся на отпор со стороны женщины, не торопись делать из этого вывод о ее неприступности: придет час — и погонщик мулов свое получит».

Антигон[15] [broken link: #nb1_15], которому один из его солдат полюбился за храбрость и добродетель, приказал своим врачам вылечить его от болезни, которая давно его мучила. Заметив, что после выздоровления в нем поубавилось бранного пыла, Антигон спросил его, почему он так изменился и утратил мужество. «Ты сам, государь, тому причиной, — ответил солдат, — ибо избавил меня от страданий, из-за которых мне жизнь была не мила». Один из солдат Лукулла[16] [broken link: #nb1_16] был ограблен кучкой вражеских воинов и, пылая местью, совершил смелое и успешное нападение на них. Когда солдат вознаградил себя за потерю, Лукулл, оценив его храбрость, захотел использовать его в одном задуманном им смелом деле и стал уговаривать его, соблазняя самыми заманчивыми обещаниями, какие он только мог придумать:

*Verbis quae timido quoque possent addere*

*mentem.[17] [broken link: #nb1_17]*

«Поручи это дело, — ответил тот, — какому-нибудь бедняге, обчищенному ими»:

*quantumvis rusticus: Ibit,*

*Ibit eo, quo vis, qui zonam perdidit, inquit,[18] [broken link: #nb1_18]*

и наотрез отказался.

Сообщают, что Мехмед[19] [broken link: #nb1_19] однажды резко обрушился на предводителя своих янычар Гасана за то, что тот допустил, чтобы венгры обратили в бегство его отряд, и трусливо вел себя в сражении. В ответ на это Гасан, не промолвив ни слова, яростно бросился один, как был с оружием в руках, на первый попавшийся отряд неприятеля и был тотчас же изрублен. Это было не столько попыткой оправдаться, сколько переменою чувств, и говорило не столько о природной доблести, сколько о новом взрыве отчаяния.

Пусть не покажется вам странным, что тот, кого вы видели вчера беззаветно смелым, завтра окажется низким трусом; гнев или нужда в чем-нибудь, или какая-нибудь дружеская компания, или выпитое вино, или звук трубы заставили его сердце уйти в пятки. Ведь речь здесь идет не о чувствах, порожденных рассудком и размышле-

нием, а о чувствах, вызванных обстоятельствами. Что удивительного, если человек этот стал иным при иных, противоположных обстоятельствах?

Эта наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других — что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна — к добру, другая — ко злу, ибо резкий переход от одной крайности к другой не может быть объяснен иначе.

Однако не только случайности заставляют меня изменяться по своей прихоти, но и я сам, кроме того, меняюсь по присущей мне внутренней неустойчивости, и кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что он не бывает дважды в одном и том же состоянии. Я придаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее обращаю. Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек зрения. Тут словно бы чередуются все заключенные во мне противоположные начала. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и

изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность. Все это в той или иной степени я в себе нахожу в зависимости от угла зрения, под которым смотрю. Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе, и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе просто, цельно и основательно, я не могу определить себя единым словом, без сочетания противоположностей. Distinguo[*] [broken link: #f3] — такова постоянная предпосылка моего логического мышления.

Должен сказать при этом, что я всегда склонен говорить о добром доброе и толковать скорее в хорошую сторону вещи, которые могут быть таковыми, хотя, в силу свойств нашей природы, нередко сам порок толкает нас на добрые дела, если только не судить о доброте наших дел исключительно по нашим намерениям. Вот почему смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всех обстоятельствах. Если бы это было проявлением врожденной доброде-

тели, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится среди людей; как во время поединка, так и в сражении; ибо, что бы там ни говорили, нет одной храбрости на уличной мостовой и другой на поле боя. Он будет так же стойко переносить болезнь в постели, как и ранение на поле битвы, и не будет бояться смерти дома больше, чем при штурме крепости. Не бывает, чтобы один и тот же человек смело кидался в брешь, а потом плакался бы, как женщина, проиграв судебный процесс или потеряв сына.

Когда человек, падающий духом от оскорбления, в то же время стойко переносит бедность, или боящийся бритвы цирюльника обнаруживает твердость перед мечом врага, то достойно похвалы деяние, а не сам человек.

Многие греки, говорит Цицерон, не выносят вида врагов и стойко переносят болезни; и как раз обратное наблюдается у кимвров и кельтиберов[20] [broken link: #nb1_20]. Nihil enim potest esse aequabile, quod non a certa ratione proficiscatur[21] [broken link: #nb1_21].

Нет высшей храбрости в своем роде, чем храбрость Александра Македонского, но и она

— храбрость лишь особого рода, не всегда себе равная и всеобъемлющая. Как бы несравненна она ни была, на ней все же есть пятна. Так, мы знаем, что он совсем терял голову при самых туманных подозрениях, возникавших у него относительно козней его приверженцев, якобы покушавшихся на его жизнь; мы знаем, с каким неистовством и откровенным пристрастием он бросался на расследование этого дела, объятый страхом, мутившим его природный разум. И то суеверие, которому он так сильно поддавался, тоже носит характер известного малодушия. Его чрезмерное раскаяние в убийстве Клита[22] [broken link: #nb1_22] тоже говорит за то, что его храбрость не всегда была одинакова.

Наши поступки — не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия (voluptatem contemnunt, in dolore sunt molliores; gloriam negligunt, franguntur infamia[*] [broken link: #f4]), и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Если она однажды проникла к нам в душу, то она подобна яркой и несмываемой краске, которая сходит

только вместе с тканью. Вот почему, чтобы судить о человеке, надо долго и внимательно следить за ним: если постоянство ему несвойственно (cui vivendi via considerata atque provisa est[23] [broken link: #nb1_23]), если он, в зависимости от разнообразных случайностей, меняет путь (я имею в виду именно путь, ибо шаги можно ускорять или, наоборот, замедлять), предоставьте его самому себе — он будет плыть по воле волн, как гласит поговорка нашего Тальбота[24] [broken link: #nb1_24].

Неудивительно, говорит один древний автор[25] [broken link: #nb1_25], что случай имеет над нами такую огромную власть: ведь то, что мы живем, — тоже случайность. Тот, кто не поставил себе в жизни определенной цели, не может наметить себе и отдельных действий. Тот, кто не имеет представления о целом, не может распределить и частей. Зачем палитра тому, кто не знает, что делать с красками? Никто не строит цельных планов на всю жизнь; мы обдумываем эти планы лишь по частям. Стрелок прежде всего должен знать свою мишень, а затем уже он приспосабливает к ней свою руку, лук, стрелу, все свои движения. Наши намерения меняются, так как они не имеют одной цели и назначения.

Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Я не согласен с тем решением, которое было вынесено судом относительно Софокла[26] [broken link: #nb1_26] и которое, вопреки иску его сына, признавало Софокла способным к управлению своими домашними делами на основании только одной его прослушанной судьями трагедии.

Я не нахожу также, что паросцы, посланные положить конец неурядицам милетян, сделали правильный вывод из их наблюдений. Прибыв в Милет, они обратили внимание на то, что некоторые поля лучше обработаны и некоторые хозяйства ведутся лучше, чем другие; они записали имена хозяев этих полей и хозяйств и, созвав народное собрание, объявили, что вручают этим людям управление государством, так как они считают, что эти хозяева будут так же заботиться об общественном достоянии, как они заботились о своем собственном[27] [broken link: #nb1_27].

Мы все лишены цельности и скроены из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент играет свою роль. Настолько многообразно и пестро наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. Magnam

rem puta unum hominem agere[28] [broken link: #nb1_28]. Так как честолюбие может внушить людям и храбрость, и уверенность, и щедрость, и даже иногда справедливость; так как жадность способна пробудить в мальчике — подручном из лавочки, выросшем в бедности и безделье, смелую уверенность в своих силах и заставить его покинуть отчий дом и плыть в утлом суденышке, отдавшись воле волн разгневанного Нептуна, и в то же время жадность способна научить скромности и осмотрительности; так как сама Венера порождает смелость и решимость в юношах, еще сидящих на школьной скамье, и укрепляет нежные сердца девушек, охраняемых своими матерями, —

> *Hac duce, custodes furtim transgressa iacentes*
>
> *Ad iuvenem tenebris sola puella venit,[29] [broken link: #nb1_29]*

то не дело зрелого разума судить о нас поверхностно лишь по нашим доступным обозрению поступкам. Следует поискать внутри нас, проникнув до самых глубин, и установить, от каких толчков исходит движение; однако, принимая во внимание, что это дело сложное и рискованное,

я хотел бы, чтобы как можно меньше людей занимались этим.

## Глава II
## О пьянстве

Мир — не что иное, как бесконечное разнообразие и несходство. Все пороки совершенно сходны между собой в том, что они пороки, и именно так их и толкуют стоики. Но хотя все они равно пороки, они пороки не в равной мере. Трудно допустить, чтобы тот, кто преступил установленную границу на сто шагов, —

> *Quos ultra citraque nequit consistere rectum,[1] [broken link: #nb2_1] —*

не был более тяжким преступником, чем тот, кто преступил ее на десять; или что совершить святотатство не хуже, чем украсть на огороде кочан капусты:

> *Ne vincet ratio, tantundem ut peccet idemque*
>
> *Qui teneros caules alieni fregerit horti,*
>
> *Et qui nocturnus divum sacra legerit.[2] [broken link: #nb2_2]*

Во всех этих проступках столько же различий, сколько и в любом другом деле.

Очень опасно не различать характер и степень прегрешения. Это было бы весьма выгодно убийцам, предателям, тиранам. Не следует, чтобы их совесть испытывала облегчение от сознания, что такой-то вот человек лентяй, или похотлив, или недостаточно набожен. Всякий склонен подчеркивать тяжесть прегрешений своего ближнего и преуменьшать свой собственный грех. На мой взгляд, даже судьи часто неправильно оценивают их.

Сократ говорил, что главная задача мудрости в том, чтобы различать добро и зло; то же самое и мы, в чьих глазах нет безгрешных, должны сказать об умении различать пороки, ибо без этого точного знания нельзя отличить добродетельного человека от злодея.

Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком особенно грубым и низменным. В других пороках больше участвует ум; существуют даже пороки, в которых, если можно так выразиться, имеется оттенок благородства. Есть пороки, связанные со знанием, с усердием, с храбростью, с проницательностью, с ловкостью и хитростью; но что касается пьянства, то это порок насквозь телесный и материальный. Поэтому самый грубый из всех ныне существующих на-

родов — тот, у которого особенно распространен этот порок. Другие пороки притупляют разум, пьянство же разрушает его и поражает тело:

*cum vini vis penetravit*

*Consequitur gravitas membrorum, praepediuntur*

*Crura vacillanti, tardescit lingua, madet mens,*

*Nant oculi; clamor, singultus, iurgia gliscunt.[3] [broken link: #nb2_3]*

Наихудшее состояние человека — это когда он перестает сознавать себя и владеть собой.

По поводу пьяных среди прочего говорят, что подобно тому, как при кипячении вся муть со дна поднимается на поверхность, точно так же те, кто хватил лишнего, под влиянием винных паров выбалтывают самые сокровенные тайны:

*tu sapientium*

*Curas et arcanum iocoso.*

*Consilium retegis Lyaeo.[4] [broken link: #nb2_4]*

Иосиф[5] [broken link: #nb2_5] рассказывает, что, напоив направленного к нему неприятелем посла, он выведал у него важные тайны. Однако

Август, доверившись в самых сокровенных своих делах завоевателю Фракии Луцию Пизону, ни разу не просчитался, как равным образом и Тиберий[6] [broken link: #nb2_6] с Коссом, которому он открывал все свои планы; между тем известно, что оба они были столь привержены к вину, что их нередко приходилось уносить из сената совсем упившимися: Hesterno inflatum venas de more Lyaeo[7] [broken link: #nb2_7].

И ведь не побоялись же заговорщики посвятить Цимбра[8] [broken link: #nb2_8], который часто напивался, в свой замысел убить Цезаря, как они посвятили в него Кассия, который пил только воду. Цимбр по этому поводу весело сострил: «Мне ли носить в себе тайну о тиране, — ведь я даже вино переношу плохо!» Известно также, что немецкие солдаты, действующие во Франции, даже напившись до положения риз, никогда не забывают, однако, ни о том, в каком полку числятся, ни о своем пароле, ни о своем чине:

> *nec facilis victoria de madidis et*
> *Blaesis, atque mero titubantibus.[9] [broken link: #nb2_9]*

Я бы не мог себе представить такого беспробудного и нескончаемого пьянства, если бы

не прочел у одного историка[10] [broken link: #nb2_10] о следующем случае. Аттал, пригласив на ужин того самого Павсания, который впоследствии, в связи с нижеописанным происшествием убил македонского царя Филиппа — царя, своими превосходными качествами доказавшего, какое прекрасное воспитание он получил в доме Эпаминонда и в его обществе, — желая нанести Павсанию чувствительное оскорбление, напоил его до такой степени, что Павсаний, совершенно не помня себя, как гулящая девка, стал отдаваться погонщикам мулов и самым презренным слугам в доме Аттала.

Или вот еще один случай, о котором рассказала мне одна весьма уважаемая мною дама. Неподалеку от Бордо, возле Кастра, где она живет, одна деревенская женщина, вдова, славившаяся своей добродетелью, вдруг заметила у себя признаки начинающейся беременности. «Если бы у меня был муж, — сказала она соседям, — то я решила бы, что я беременна». С каждым днем подозрения относительно беременности все усиливались и наконец дело стало явным. Тогда она попросила, чтобы с церковного амвона было оглашено, что она обещает тому, кто сознается в своем поступке, простить его и, если он захочет, выйти за него

замуж. И вот один из ее молодых работников, ободренный ее заявлением, рассказал, что однажды в праздничный день он застал ее около очага погруженную после обильной выпивки в такой глубокий сон и в такой нескромной позе, что сумел овладеть ею, не разбудив ее. Они и поныне живут в честном браке.

Известно, что в древности пьянство не особенно осуждалось. Многие философы в своих сочинениях довольно мягко отзываются о нем; и даже среди стоиков есть такие, которые советуют иногда выпивать, но только не слишком много, а ровно столько, сколько нужно, чтобы потешить душу:

> *Hoc quoque virtutum quondam certamine, magnum*
>
> *Socratem palmam promeruisse ferunt.[11] [broken link: #nb2_11]*

Того самого Катона[12] [broken link: #nb2_12], которого называли цензором и наставником, упрекали в том, что он изрядно выпивал:

> *Narratur et prisci Catonis*
>
> *Saepe mero caluisse virtus.[13] [broken link: #nb2_13]*

Прославленный Кир[14] [broken link: #nb2_14], желая показать свое превосходство над братом Артаксерксом, в числе прочих своих достоинств ссылался на то, что он умеет гораздо лучше пить, чем Артаксеркс. У самых цивилизованных и просвещенных народов очень принято было пить. Я слышал от знаменитого парижского врача Сильвия[15] [broken link: #nb2_15], что для того, чтобы наш желудок не ленился работать, хорошо раз в месяц дать ему встряску, выпив вина и пробудив этим его активность.

О персах пишут, что они совещались о важнейших своих делах под хмельком[16] [broken link: #nb2_16].

Что касается меня, то врагом этого порока является не столько мой разум, сколько мой нрав и мои вкусы. Ибо, кроме того, что я легко поддаюсь авторитетным мнениям древних авторов, я действительно нахожу, что пьянство — бессмысленный и низкий порок, однако менее злостный и вредный, чем другие, подтачивающие самые устои человеческого общества. И хотя нет, как полагают, такого удовольствия, которое мы могли бы доставить себе так, чтобы оно нам ничего не стоило, я все же нахожу, что этот порок менее отягчает нашу совесть, чем другие, не говоря уже

о том, что он не требует особых ухищрений и его проще всего удовлетворить, что также должно быть принято в соображение.

Один весьма почтенный и пожилой человек говорил мне, что в число трех главных оставшихся ему в жизни удовольствий входит выпивка. Но она не шла ему впрок: в этом деле надо избегать изысканности и нельзя быть чересчур разборчивым в выборе вина. Если вы хотите получать от вина наслаждение, смиритесь с тем, что оно иногда будет вам не вкусно. Надо иметь и более грубый, и более разнообразный вкус. Кто желает быть настоящим выпивохой, должен отказаться от тонкого вкуса. Немцы, например, почти с одинаковым удовольствием пьют всякое вино. Они хотят влить в себя побольше, а не лакомиться вином. Это вещь более достижимая. Удовольствие немцев в том, чтобы вина было вволю, чтобы оно было доступным. Что касается французской манеры пить, то прикладываться к бутылке дважды в день за едой, умеренно, опасаясь за здоровье, — значит лишать себя многих милостей Вакха. Тут нужно больше постоянства, больше пристрастия. Древние предавались этому занятию ночи напролет, прибавляя часто сверх того еще и дни. И, действительно, надо, чтобы обычная порция

вина была и более обильной и более постоянной. Я знавал некоего сановника, на редкость удачливого во всех своих великих начинаниях, который без труда выпивал во время своих обычных трапез не менее двадцати пинт вина и после этого становился только более проницательным и искусным в решении сложных дел. Удовольствие, которое мы хотим познать в жизни, должно занимать в ней побольше места. Нельзя упускать ни одного представляющегося случая выпить и следует всегда помнить об одном желании, надо походить в этом отношении на рассыльных из лавки или мастеровых. Похоже на то, что мы с каждым днем ограничиваем наше повседневное потребление вина и что раньше в наших домах, как я наблюдал в детстве, всякие угощения и возлияния были куда более частыми и обычными, чем в настоящее время. Значит ли это, что мы в каких-то отношениях идем к лучшему? Отнюдь нет! Это значит только, что мы в гораздо большей степени, чем наши отцы, ударились в распутство. Ведь невозможно предаваться с одинаковой силой и распутству, и страсти к вину. Воздержание от вина, с одной стороны, ослабляет наш желудок, а с другой — делает нас дамскими угодниками, более падкими к любовным утехам.

Какое множество рассказов довелось мне слышать от моего отца о добродетельности людей его времени! Добродетель, по его словам, как нельзя более соответствовала нравам тогдашних дам. Отец мой говорил мало и очень складно, уснащая свою речь некоторыми выражениями не из древних, а из новых авторов, в особенности из испанских; из испанских книг его излюбленной было сочинение, обычно именуемое у испанцев «Марком Аврелием»[17] [broken link: #nb2_17]. Он держался с приятным достоинством, полным скромности и смирения. На нем лежал особый отпечаток честности и порядочности; он проявлял большую тщательность в одежде как обычного рода, так и для верховой езды. Он был поразительно верен своему слову, а в отношении религиозных убеждений скорее склонен был к суеверию, чем к другой крайности. Он был небольшого роста, но полон сил, имел хорошую выправку и был прекрасно сложен. У него было приятное смугловатое лицо. Он был ловок и искусен во всякого рода физических упражнениях. Я еще застал палки со свинцовым грузом, которые, как мне передавали, служили ему для упражнений рук при подготовке к игре в городки или фехтованию, и ботинки со свинцовыми

набойками, в которых легче было бегать и прыгать. С самых ранних лет в моей памяти с ним связаны маленькие чудеса. Когда ему было уже за шестьдесят, мне не раз приходилось видеть, как он, посмеиваясь над нашей неловкостью, вскакивал в своем меховом плаще на коня, как он перепрыгивал через стол или как он, поднимаясь по лестнице в свою комнату, всегда перескакивал через три или четыре ступеньки. Он утверждал, что во всей нашей области вряд ли можно было найти хоть одну благородную женщину, которая пользовалась бы дурной славой, и рассказывал о приключавшихся с ним случаях удивительной близости с почтенными женщинами, случаях, не вызывавших никаких сомнений в его безупречном поведении. Он клялся, что до самой своей женитьбы был девственником. Он провел многие годы в Италии, участвуя в итальянских походах, о которых оставил нам собственноручный дневник с подробнейшим описанием всего происходившего, описанием, предназначавшимся и для его личного и для общественного пользования.

Поэтому он и женился довольно поздно, по возвращении из Италии, в 1528 году, когда ему было тридцать три года. Но вернемся к разговору о бутылках.

Докуки старости, нуждающейся в опоре и каком-то освежении, с полным основанием могли бы внушить мне желание обладать умением пить, ибо это одна из последних радостей, которые остаются после того, как убегающие годы украли у нас одну за другой все остальные. Знающие толк в этом деле собутыльники говорят, что естественное тепло прежде всего появляется в ногах: оно сродни детству. По ногам оно поднимается вверх, в среднюю область, и, водворясь здесь надолго, является источником, на мой взгляд, единственных, подлинных плотских радостей (другие наслаждения меркнут по сравнению с ними). Под конец, подобно поднимающемуся и оседающему пару, оно достигает нашей глотки и здесь делает последнюю остановку.

Однако я не могу представить себе, как можно продлить удовольствие от питья, когда пить уже больше не хочется, и как можно создать себе воображением искусственное и противоестественное желание пить. Мой желудок был бы не способен на это: он может вместить только то, что ему необходимо. У меня привычка пить только после еды, и поэтому я под конец почти всегда пью самый большой бокал. Анахарсис[18] [broken link: #nb2_18] удивлялся, что греки к кон-

цу трапезы пили из более объемистых чаш, чем в начале ее. Я полагаю, что это делалось по той же причине, по какой так поступают немцы, которые к концу начинают состязание — кто выпьет больше. Платон запрещал детям пить вино до восемнадцатилетнего возраста и запрещал напиваться ранее сорока лет; тем же, кому стукнуло сорок, он предписывает наслаждаться вином вволю и щедро приправлять свои пиры дарами Диониса, этого доброго бога, возвращающего людям веселье и юность старцам, укрощающего и усмиряющего страсти, подобно тому, как огонь плавит железо. В своих «Законах»[19] [broken link: #nb2_19] он считает такие пирушки полезными (лишь бы для наведения порядка был распорядитель застолья, сдерживающий остальных), ибо опьянение — это хорошее и верное испытание натуры всякого человека; оно, как ничто другое, способно придать пожилым людям смелость пуститься в пляс или затянуть песню, чего они не решились бы сделать в трезвом виде. Вино способно придать душе выдержку, телу здоровье. И все же Платон одобряет следующие ограничения, частью заимствованные им у карфагенян: «Следует отказаться от вина в военных походах; всякому должностному лицу и всякому судье

надо воздерживаться от вина при исполнении своих обязанностей и решении государственных дел; выпивке не следует посвящать ни дневных часов, отведенных для других занятий, ни той ночи, когда хотят дать жизнь потомству».

Говорят, что философ Стильпон[20] [broken link: #nb2_20], удрученный надвинувшейся старостью, сознательно ускорил свою смерть тем, что пил вино, не разбавленное водой. По той же причине — только вопреки собственному желанию — погиб и отягченный годами философ Аркесилай[21] [broken link: #nb2_21].

Существует старинный, очень любопытный вопрос: поддается ли душа мудреца действию вина?

> *Si munitae adhibet vim sapientiae.[22] [broken link: #nb2_22]*

На какие только глупости не толкает нас наше высокое мнение о себе! Самому уравновешенному человеку на свете надо помнить о том, чтобы твердо держаться на ногах и не свалиться на землю из-за собственной слабости. Из тысячи человеческих душ нет ни одной, которая хоть в какой-то миг своей жизни была бы недвижна и неизменна, и можно сомневаться, способна ли

душа по своим естественным свойствам быть таковой? Если добавить к этому еще постоянство, то это будет последняя ступень совершенства; я имею в виду, если ничто ее не поколеблет, — а это может произойти из-за тысячи случайностей. Великий поэт Лукреций философствовал и зарекался, как только мог, и все же случилось, что он вдруг потерял рассудок от любовного напитка. Думаете ли вы, что апоплексический удар не может поразить с таким же успехом Сократа, как и любого носильщика? Некоторых людей болезнь доводила до того, что они забывали свое собственное имя, а разум других повреждался от легкого ранения. Ты можешь быть сколько угодно мудрым, и все же в конечном счете — ты человек; а есть ли что-нибудь более хрупкое, более жалкое и ничтожное? Мудрость нисколько не укрепляет нашей природы:

> *Sudores itaque et pallorem existere toto*
>
> *Corpore, et infringi linguam, vocemque aboriri*
>
> *Caligare oculos, sonere aures, succidere artus*
>
> *Denique concidere ex animi terrore videmus.[23] [broken link: #nb2_23]*

Человек не может не начать моргать глазами, когда ему грозит удар. Он не может не задрожать всем телом, как ребенок, оказавшись на краю пропасти. Природе угодно было сохранить за собой эти незначительные признаки своей власти, которую не может превозмочь ни наш разум, ни стоическая добродетель, чтобы напомнить человеку, что он смертен и хрупок. Он бледнеет от страха, краснеет от стыда; на припадок боли он реагирует, если не громким отчаянным воплем, то хриплым и неузнаваемым голосом:

> *Humani a se nihil alienum putet.[24] [broken link: #nb2_24]*

Поэты, которые творят со своими героями все, что им заблагорассудится, не решаются лишить их способности плакать:

> *Sic fatur lacrimans, classique immittit habenas.[25] [broken link: #nb2_25]*

С писателя достаточно того, что он обуздывает и умеряет склонности своего героя; но одолеть их не в его власти. Даже сам Плутарх, — этот превосходный и тонкий судья человеческих поступков, — упомянув о Бруте[26] [broken link: #nb2_26] и Торквате[27] [broken link: #nb2_27], казнивших своих сыновей, выразил сомнение,

может ли добродетель дойти до таких пределов и не были ли они скорее всего побуждаемы какой-нибудь другой страстью. Все поступки, выходящие за обычные рамки, истолковываются в дурную сторону, ибо нам не по вкусу ни то, что выше нашего понимания, ни то, что ниже его.

Оставим в покое стоиков, явно кичащихся своей гордыней. Но когда среди представителей философской школы, которая считается наиболее гибкой[28] [broken link: #nb2_28], мы встречаем следующее бахвальство Метродора: «Occupavi te, Fortuna, atque cepi; omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me aspirare non posses»[29] [broken link: #nb2_29]; или когда по повелению кипрского тирана Никокреона, положив Анаксарха в каменную колоду, его бьют железными молотами и он не перестает восклицать при этом: «Бейте, колотите сколько угодно, вы уничтожаете не Анаксарха, а его оболочку»[30] [broken link: #nb2_30]; или когда мы узнаем, что наши мученики, объятые пламенем, кричали тирану: «С этой стороны уже достаточно прожарено, руби и ешь, мясо готово; начинай поджаривать с другой»; или когда у Иосифа мы читаем[31] [broken link: #nb2_31], что ребенок, которого по приказанию Антиоха рвут клещами и колют шипами, все еще

смело противится ему и твердым, властным голосом кричит: «Тиран, ты попусту теряешь время, я прекрасно себя чувствую. Где то страдание, те муки, которыми ты угрожал мне? Знаешь ли ты, с чем ты имеешь дело? Моя стойкость причиняет тебе большее мучение, чем мне твоя жестокость, о гнусное чудовище, ты слабеешь, а я лишь крепну; заставь меня жаловаться, заставь меня дрогнуть, заставь меня, если можешь, молить о пощаде, придай мужества твоим приспешникам и палачам — ты же видишь, что они упали духом и больше не выдерживают, — дай им оружие в руки, возбуди их кровожадность», — когда мы узнаем обо всем этом, то, конечно, приходится признать, что в душах всех этих людей что-то произошло, что их обуяла какая-то ярость, может быть священная. А когда мы читаем о следующих суждениях стоиков: «Я предпочитаю быть безумным, чем предаваться наслаждениям» (слова Антисфена[32] [broken link: #nb2_32] — Μανειειν μαλλον η ηθειειν), когда Секст[33] [broken link: #nb2_33] уверяет нас, что предпочитает быть во власти боли, нежели наслаждения; когда Эпикур легко мирится со своей подагрой, отказывается от покоя и здоровья и, готовый вынести любые страдания, пренебрегает слабою болью и призы-

вает более сильные и острые мучения, как более достойные его:

> *Spumantemque dari pecora inter inertia votis*
>
> *Optat aprum, aut fulvum descendere monte leonem,[34] [broken link: #nb2_34]*

то кто не согласится с тем, что это проявления мужества, вышедшего за свои пределы? Наша душа не в состоянии воспарить из своего обиталища до таких высот. Ей надо покинуть его и, закусив удила, вознестись вместе со своим обладателем в такую высь, что потом он сам станет удивляться случившемуся, подобно тому как это бывает при военных подвигах, когда в пылу сражения отважные бойцы часто совершают такие рискованные вещи, что придя потом в себя, они первые им изумляются; и точно так же поэты часто приходят в восторг от своих собственных произведений и не помнят, каким образом их озарило такое вдохновение; это и есть то душевное состояние, которое называют восторгом и исступлением. И как Платон говорит, что тщетно стучится в дверь поэзии человек бесстрастный, точно так же и Аристотель утверждает, что ни одна выдающаяся душа не чужда до известной

степени безумия[35] [broken link: #nb2_35]. Он прав, называя безумием всякое исступление, каким бы похвальным оно ни было, превосходящее наше суждение и разумение. Ведь мудрость — это умение владеть своей душой, которой она руководит осмотрительно, с тактом и с чувством ответственности за нее.

Платон следующим образом обосновывает утверждение[36] [broken link: #nb2_36], что дар пророчества есть способность, превосходящая наши силы: «Пророчествуя, — говорит он, — надо быть вне себя, и наш рассудок должен быть помрачен либо сном, либо какой-нибудь болезнью, либо он должен быть вытеснен каким-то сошедшим с небес вдохновением».

## Глава III
## Обычай острова Кеи[1] [broken link: #nb3_1]

Если философствовать, как утверждают философы, значит сомневаться, то с тем большим основанием заниматься пустяками и фантазировать, как поступаю я, тоже должно означать сомнение. Ученикам подобает спрашивать и спорить, а наставникам — решать. Мой наставник — это авторитет божьей воли, которому подчиняются без спора и который выше всех пустых человеческих измышлений.

Когда Филипп[2] [broken link: #nb3_2] вторгся в Пелопоннес, кто-то сказал Дамиду, что лакедемонянам придется плохо, если они не сдадутся ему на милость. «Ах ты трус, — ответил он ему, — чего может бояться тот, кому не страшна смерть?» Кто-то спросил Агиса[3] [broken link: #nb3_3]: «Как следует человеку жить, чтобы чувствовать себя свободным?» «Презирая смерть», — ответил он. Такие и тысячи им подобных изречений несомненно не означают, что надо терпеливо дожидаться смерти. Ибо в жизни случается мно-

гое, что гораздо хуже смерти. Подтверждением может служить тот спартанский мальчик, взятый Антигоном[4] [broken link: #nb3_4] в плен и проданный в рабство, который, понуждаемый своим хозяином заняться какой-нибудь грязной работой, заявил: «Ты увидишь, кого ты купил. Мне было бы стыдно находиться в рабстве, когда свобода у меня под рукой», — и с этими словами он бросился на камни с вышки дома. Когда Антипатр[5] [broken link: #nb3_5], желая заставить лакедемонян подчиниться какому-то его требованию, обрушился на них с жестокими угрозами, они ему ответили: «Если ты будешь угрожать нам чем-то худшим, чем смерть, мы умрем с тем большей готовностью». А Филиппу[6] [broken link: #nb3_6], который написал им, что помешает всякому их начинанию, они заявили: «Ну, а умереть ты тоже сможешь помешать нам?» Ведь говорят же по этому поводу, что мудрец живет столько лет, сколько ему нужно, а не столько, сколько он может прожить, и что лучший дар, который мы получили от природы и который лишает нас всякого права жаловаться на наше положение, это — возможность сбежать. Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но указала тысячи способов, как уйти из жизни.

Нам может не хватать земли для прожития, но, чтобы умереть, человеку всегда ее хватит, как ответил Байокал[7] [broken link: #nb3_7] римлянам. «Почему ты жалуешься на этот мир? Он тебя не удерживает; если ты живешь в муках, причиной тому твое малодушие: стоит тебе захотеть и ты умрешь»:

> *Ubique mors est: optime hac cavit deus;*
>
> *Eripere vitam, nemo non homini potest;*
>
> *At nemo mortem: mille ad hanc aditus patent.[8] [broken link: #nb3_8]*

Смерть — не только избавление от болезней, она — избавление от всех зол. Это — надежнейшая гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться. Все сводится к тому же, кончает ли человек с собой или умирает; бежит ли он навстречу смерти или ждет, когда она придет сама; в каком бы месте нить ни оборвалась, это — конец клубка. Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же — только от нашей. В этом случае больше, чем в каком-либо другом, мы должны сообразоваться только с нашими чувствами. Мнение других в таком деле не имеет никакого значения; очень глупо считаться

с ним. Жизнь превращается в рабство, если мы не вольны умереть. Обычно мы расплачиваемся за выздоровление частицами самой жизни: нам что-то вырезают или прижигают, или ампутируют, или ограничивают питание, или лишают части крови; еще один шаг — и мы можем исцелиться окончательно от всего. Почему бы в безнадежных случаях не перерезать нам, с нашего согласия, горло вместо того, чтобы вскрывать вену для кровопускания? Чем серьезнее болезнь, тем более сильных средств она требует. Грамматик Сервий[9] [broken link: #nb3_9], страдавший от подагры, не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к яду, чтобы умертвить свои ноги. Пусть они останутся подагрическими, лишь бы он их не чувствовал! Ставя нас в такое положение, когда жизнь становится хуже смерти, бог дает нам при этом достаточно воли.

Поддаваться страданиям значит выказывать слабость, но давать им пищу — безумие.

Стоики утверждают, что для мудреца жить по велениям природы значит вовремя отказаться от жизни, хоть бы он и был в цвете сил; для глупца же естественно цепляться за жизнь, хотя бы он и был несчастлив, лишь бы он в большинстве вещей сообразовался, как они говорят, с природой.

Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни.

Гегесий[10] [broken link: #nb3_10] говорил, что все, что касается нашей смерти или нашей жизни, должно зависеть от нас.

Диоген[11] [broken link: #nb3_11], встретив уже много лет страдавшего от водянки философа Спевсиппа, которого несли на носилках и который крикнул ему: «Доброго здоровья, Диоген!», ответил: «А тебе я вовсе не желаю здоровья, раз ты миришься с жизнью, находясь в таком состоянии».

И действительно, некоторое время спустя Спевсипп покончил с собой, устав от такого тяжкого существования.

Однако далеко не все в этом вопросе единодушны. Многие полагают, что мы не вправе покидать крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней; что лишь от бога, который послал нас в мир не только ради нас самих, но ради его славы и служения ближнему, зависит дать нам волю, когда он того захочет, и не нам

принадлежит этот выбор; мы рождены, говорят они, не только для себя, но и для нашего отечества; в интересах общества законы требуют от нас отчета в наших действиях и судят нас за самоубийство, иначе говоря, за отказ от выполнения наших обязанностей нам полагается наказание и на том и на этом свете:

> *Proxima deinde tenent moesti loca, qui sibi lethum*
>
> *Insontes peperere manu, lucemque perosi*
>
> *Proiecere animas.[12] [broken link: #nb3_12]*

Больше стойкости — в том, чтобы жить с цепью, которою мы скованы, чем разорвать ее, и Регул[13] [broken link: #nb3_13] является более убедительным примером твердости, чем Катон. Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной; даже в горе и страдании она ищет своей пищи. Угрозы тиранов, костры и палачи только придают ей духу и укрепляют ее:

> *Duris ut ilex tonsa bipennibus*

*Nigrae feraci frondis in Algido,*

*Per damna, per caedes, ab ipso*

*Ducit opes animumque ferro.[14] [broken link: #nb3_14]*

Или, как говорит другой поэт,

*Non est, ut putas, virtus, pater,*

*Timere vitam, sed malis ingentibus*

*Obstare, nec se vertere ac retro dare.[15] [broken link: #nb3_15]*

*Rebus in adversis facile est contemnere mortem*

*Fortius ille facit qui miser esse potest.[16] [broken link: #nb3_16]*

Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, — таков удел трусости, а не добродетели. Добродетель не прерывает своего пути, какая бы гроза над нею ни бушевала:

*Si fractus illabatur orbis*

*Impavidam ferient ruinae.[17] [broken link: #nb3_17]*

Нередко стремление избежать других бед-

ствий толкает нас к смерти; иногда же опасение смерти приводит к тому, что мы сами бежим ей навстречу —

> *Hic, rogo, non furor est, ne moriare mori.[18] [broken link: #nb3_18]*

подобно тем, кто из страха перед пропастью сами бросаются в нее:

> *multos in summa pericula misit*
>
> *Venturi timor ipse mali; fortissimus ille est,*
>
> *Qui promptus metuenda pati, si cominus instent,*
>
> *Et differre potest.[19] [broken link: #nb3_19]*

> *Usque adeo, mortis formidine, vitae*
>
> *Percipit*
> *humanos odium, lucisque videndae,*
>
> *Ut sibi consciscant moerenti pectore lethum*
>
> *Obliti*
> *fontem curarum hunc esse timorem.[20] [broken link: #nb3_20]*

Платон в своих «Законах»[21] [broken link: #nb3_21] предписывает позорные похороны для того, кто лишил жизни и всего предназначенного

ему судьбой своего самого близкого и больше чем друга, то есть самого себя, и сделал это не по общественному приговору и не по причине какой-либо печальной и неизбежной случайности и не из-за невыносимого стыда, а исключительно по трусости и слабости, то есть из малодушия. Презрение к жизни — нелепое чувство, ибо в конечном счете она — все, что у нас есть, она — все наше бытие. Те существа, жизнь которых богаче и лучше нашей, могут осуждать наше бытие, но неестественно, чтобы мы презирали сами себя и пренебрегали собой; ненавидеть и презирать самого себя — это какой-то особый недуг, не встречающийся ни у какого другого создания. Это такая же нелепость, как и наше желание не быть тем, что мы есть. Следствие такого желания не может быть нами оценено, не говоря уже о том, что оно само по себе противоречит и уничтожает себя. Тот, кто хочет из человека превратиться в ангела, ничего не достигнет, ничего не выиграет, ибо раз он перестает существовать, то кто же за него порадуется и ощутит это улучшение?

*Debet enim misere cui forte aegreque futurum est,*

*Ipse quoque esse in eo tum tempore, cum*

*male possit*
*Accidere.[22] [broken link: #nb3_22]*

Спокойствие, отсутствие страданий, невозмутимость духа, избавление от зол этой жизни, обретаемые нами ценою смерти, нам ни к чему. Незачем избегать войны тому, кто не в состоянии наслаждаться миром, и тот, кто не может вкушать покой, напрасно бежит страданий.

Среди философов, приверженцев первой точки зрения, были большие сомнения вот по какому поводу: какие причины достаточно вески, чтобы заставить человека принять решение лишить себя жизни? Они называют это ευλογον εξαώγην[23] [broken link: #nb3_23]. Ибо они хотя говорят, что нередко приходится умирать из-за незначительных причин, так как те, что привязывают нас к жизни, не слишком вески, все же в этом должна быть какая-то мера. Существуют безрассудные и взбалмошные порывы, толкающие на самоубийство не только отдельных людей, а целые народы. Выше я уже приводил такого рода примеры[24] [broken link: #nb3_24], сошлюсь, кроме того, на девушек из Милета, которые, вступив в какой-то безумный сговор, вешались одна за другой до тех пор, пока в это дело не вмешались

власти, издавшие приказ, что впредь тех, кого найдут повесившимися, на той же веревке будут волочить голыми по всему городу[25] [broken link: #nb3_25]. Когда Терикион стал убеждать Клеомена[26] [broken link: #nb3_26] покончить с собой из-за тяжелого положения, в котором тот оказался, избежав почетной смерти в только что проигранном сражении, и доказывать Клеомену, что тот должен решиться на эту менее почетную смерть, чтобы не дать победителю возможности обречь его ни на позорную жизнь, ни на позорную смерть, Клеомен с подлинно спартанским стоическим мужеством отверг этот совет, как малодушный и трусливый: «Этот выход, — сказал он, — от меня никогда не уйдет, но к нему не следует прибегать, пока остается хотя тень надежды». Жизнь, говорил он, иногда есть доказательство выдержки и мужества; он хочет, чтобы самая смерть его сослужила службу его родине, и потому он желает превратить ее в деяние доблести и добродетели. Терикиона это не убедило, и он покончил с собой. Клеомен спустя некоторое время поступил так же, но после того, как испробовал все. Все бедствия не стоят того, чтобы, желая избежать их, стремиться к смерти.

Кроме того, в судьбе человеческой бывает иной

раз столько внезапных перемен, что трудно судить, в какой мере мы правы, полагая, будто не остается больше никакой надежды:

> *Sperat et in saeva victus gladiator arena*
>
> *Sit licet infesto pollice turba minax.[27] [broken link: #nb3_27]*

Старинное присловие гласит: пока человек жив, он может на все надеяться. «Конечно, — отвечает на это Сенека, — но почему я должен думать о том, что фортуна может все сделать для того, кто жив, а не думать о том, что она ничего не может сделать тому, кто сумел умереть?»[28] [broken link: #nb3_28]. У Иосифа[29] [broken link: #nb3_29] мы читаем, что он находился на краю гибели, когда весь народ поднялся против него, и, рассуждая здраво, он видел, что для него не оставалось спасения; и все же, сообщает он, когда один из его друзей посоветовал ему покончить с собой, то он, к счастью, решил все же не терять надежды, — и вот, против всякого ожидания, судьбе угодно было распорядиться так, что он выпутался из затруднений без всякого для себя ущерба. А Брут и Кассий, наоборот, своей поспешностью и легкомыслием лишь способствовали гибели последних остатков римской свободы,

защитниками которой они были, после чего покончили с собой раньше времени. Я видел, как сотни зайцев спасались, будучи почти уже в зубах борзых. Aliquis carnifici suo superstes fuit[30] [broken link: #nb3_30].

> *Multa dies variusque labor mutabilis aevi*
> *Rettulit in melius; multo alterna revisens*
> *Lusit, et in solido rursus fortuna locavit.[31] [broken link: #nb3_31]*

Плиний утверждает[32] [broken link: #nb3_32], что есть лишь три болезни, из-за которых можно лишить себя жизни; из них самая мучительная — это камни в мочевом пузыре, препятствующие мочеиспусканию. Сенека же считает наихудшими те болезни, которые надолго повреждают наши умственные способности[33] [broken link: #nb3_33].

Некоторые, желая избежать худшей смерти, полагают, что они должны бежать ей навстречу. Вождю этолийцев Дамокриту, когда его вели пленником в Рим, удалось ночью бежать. Преследуемый стражей, он закололся мечом прежде, чем его поймали[34] [broken link: #nb3_34].

Ангиной и Теодот, когда их город в Эпире доведен был римлянами до последней крайности[35]

[broken link: #nb3_35], стали увещевать все население лишить себя жизни; но жители города, решив, что лучше умереть победителями, пошли на смерть и ринулись на врагов, словно не оборонялись, а наступали на них.

Когда остров Гоцо[36] [broken link: #nb3_36] несколько лет тому назад вынужден был сдаться туркам, один сицилиец, у которого были две красивые дочери на выданье, собственной рукой убил их, а вслед за тем и их мать, которая прибежала, узнав об их смерти. Выскочив затем на улицу с аркебузой и арбалетом, он двумя выстрелами убил наповал двух первых попавшихся ему навстречу турок, приближавшихся к его дому; потом с мечом в руке яростно кинулся в самую гущу врагов, которыми был тотчас же окружен и изрублен в куски; так он спас себя от рабства, избавив сначала от него своих близких.

Еврейские матери, совершив, несмотря на преследования, обрезание своим сыновьям, настолько страшились гнева Антиоха, что сами лишали себя жизни[37] [broken link: #nb3_37]. Мне рассказывали про некоего знатного человека, что, когда он был посажен в одну из наших тюрем, его родители, узнав, что он наверняка будет осужден на казнь, желая избежать такой

постыдной смерти, подослали к нему священника, внушившего ему, что наилучшим для него средством избавления будет отдаться под покровительство того или иного святого, принеся определенный обет, после чего он в течение недели не должен притрагиваться к пище, какую бы слабость ни чувствовал. Узник поверил священнику и уморил себя голодом, избавив себя этим и от опасности, и от жизни. Скрибония, советуя своему племяннику Либону лучше лишить себя жизни, чем ждать приговора суда, убеждала его, что оставаться в живых для того, чтобы через три-четыре дня отдать свою жизнь тем, кто возьмет ее, в сущности то же, что делать за другого его дело, и что это означает оказывать услугу врагам, сохраняя свою кровь, чтобы она послужила им добычей[38] [broken link: #nb3_38].

В Библии мы читаем, что гонитель истинной веры Никанор повелел своим приспешникам схватить доброго старца Разиса, прозванного за свою добродетель отцом иудеев. И вот когда этот добрый муж увидел, что дело принимает дурной оборот, что ворота его двора подожжены и враги готовятся схватить его, он, решив, что лучше умереть доблестной смертью, чем отдаться в руки этих злодеев и позволить всячески унижать себя

и позорить, пронзил себя мечом. Но от поспешности он нанес себе лишь легкую рану, и тогда, взбежав на стену, он бросился с нее вниз головой на толпу своих гонителей, которая расступилась так, что образовалась пустота, куда он и упал, почти размозжив себе голову. Однако, чувствуя, что он еще жив, и пылая яростью, он, несмотря на лившуюся из него кровь и тяжкие раны, поднялся на ноги и пробежал, расталкивая толпу, к крутой и отвесной скале. Здесь, собрав последние силы, он сквозь глубокую рану вырвал у себя кишки и, скомкав и разорвав их руками, швырнул их своим гонителям, призывая на их головы божью кару[39] [broken link: #nb3_39].

Из насилий, чинимых над совестью, наиболее следует избегать, на мой взгляд, тех, которые наносятся женской чести, тем более, что в таких случаях страдающая сторона неизбежным образом также испытывает известное физическое наслаждение, в силу чего сопротивление ослабевает, я получается, что насилие отчасти порождает ответное желание. Пелагея и Софрония — обе канонизированные святые — покончили с собой: Пелагея, спасаясь от нескольких солдат, вместе с матерью и сестрами бросилась в реку и утонула, Софрония же тоже лишила себя жизни,

чтобы избежать насилия со стороны императора Максенция[40] [broken link: #nb3_40]. История церкви знает много подобных примеров и чтит имена тех благочестивых особ, которые шли на смерть, чтобы охранить себя от насилий над их совестью.

К нашей чести в будущих веках окажется, пожалуй, то, что один ученый автор наших дней, притом парижанин[41] [broken link: #nb3_41], всячески старается внушить нашим дамам, что лучше пойти на все, что угодно, только не принимать рокового, вызванного отчаянием, решения покончить жизнь с собой. Жаль, что ему осталось неизвестным одно острое словцо, которое могло бы усилить его доводы. Одна женщина в Тулузе, прошедшая через руки многих солдат, после говорила: «Слава богу, хоть раз в жизни я досыта насладилась, не согрешив».

Эти жестокости действительно не вяжутся с кротким нравом французского народа, и мы видим, что со времени этого забавного признания положение дел весьма улучшилось; с нас достаточно, чтобы наши дамы, следуя завету прямодушного Маро[42] [broken link: #nb3_42], позволяли все, что угодно, но говорили при этом: «Нет, нет, ни за что!»

История полна примеров, когда люди всякими способами меняли несносную жизнь на смерть.

Луций Арунций[43] [broken link: #nb3_43] покончил с собой, чтобы уйти разом, как он выразился, и от прошедшего, и от грядущего.

Гранин Сильван и Стаций Проксим[44] [broken link: #nb3_44], получив помилование от Нерона, все же лишили себя жизни — то ли потому, что не захотели жить по милости такого злодея, то ли для того, чтобы над ними не висела угроза вновь зависеть от его помилования: ведь он был подозрителен и беспрестанно осыпал обвинениями знатных лиц.

Спаргаписес[45] [broken link: #nb3_45], сын царицы Томирис, попав в плен к Киру, воспользовался первой же милостью Кира, приказавшего освободить его от оков, и лишил себя жизни, так как он счел, что наилучшим применением свободы будет выместить на себе позор своего пленения.

Богу, наместник царя Ксеркса в Эйоне, осажденный афинской армией под предводительством Кимона, отверг предложение вернуться целым и невредимым со всем своим имуществом в Азию, так как не хотел примириться с потерей всего того, что было ему доверено Ксерксом. Он защищал

поэтому свой город до последней крайности, но, когда в крепости кончились съестные припасы, он приказал бросить в реку Стримон все золото и ценности, которыми враг мог бы увеличить свою добычу. Затем он велел соорудить большой костер и, умертвив жен, детей, наложниц и слуг, бросил их в огонь, а после сам кинулся в пламя[46] [broken link: #nb3_46].

Индусский сановник Нинахтон, прослышав о намерении португальского вице-короля отрешить его без всякой видимой причины от занимаемого им в Малакке поста и передать его царю Кампара, принял следующее решение. Он приказал построить длинный, но не очень широкий помост, укрепленный на столбах, и роскошно украсить его цветами, расставив курильницы с благовониями. Облачившись затем в одеяние из золотой ткани, усыпанное драгоценными камнями, он вышел на улицу и взошел по ступеням на помост, в глубине которого был зажжен костер из ароматических деревьев. Народ стекался к помосту, чтобы посмотреть, для чего делаются эти необычные приготовления. Тогда Нинахтон запальчиво и с негодующим видом стал рассказывать о том, чем ему обязаны португальцы, как преданно он служил им, как часто

он с оружием в руках доказывал, что честь ему куда дороже жизни, но что сейчас он не может не подумать о себе, и так как у него нет средств бороться против оскорбления, которое ему хотят нанести, то его доблесть велит ему по крайней мере не покориться духом и сделать так, чтобы в народе сложилась молва о его торжестве над недостойными его людьми. Сказав это, он бросился в огонь[47] [broken link: #nb3_47].

Секстилия[48] [broken link: #nb3_48], жена Сквара, и Паксея, жена Лабеона, желая придать духу своим мужьям и избавить их от грозившей им опасности, которая им обеим вовсе не угрожала и тревожила их только из любви к мужьям, предложили добровольно пожертвовать своей жизнью, чтобы в том безвыходном положении, в каковом оказались их мужья, послужить им примером и разделить их участь. То же самое, что эти женщины совершили для своих мужей, сделал и Кокцей Нерва[49] [broken link: #nb3_49] для блага отечества, хотя и с меньшей пользой, но побуждаемый столь же сильной любовью. У этого выдающегося законоведа, наслаждавшегося цветущим здоровьем, богатством, славой и доверием императора, не было никаких других оснований лишить себя жизни, кроме удручавшего его

положения дел в его отечестве. Но нет ничего благороднее той смерти, на которую обрекла себя жена приближенного Августа, Фульвия. До Августа дошло, что Фульвий проговорился о важной тайне, которую он ему доверил, и, когда Фульвий однажды утром пришел к нему, Август встретил его весьма неласково. Фульвий вернулся домой в отчаянии и дрожащим голосом рассказал жене, в какую беду он попал, добавив, что он решил покончить с собой. «Ты поступишь совершенно правильно, — ответила она ему смело, — ведь ты много раз убеждался в моей болтливости и все же не таился от меня. Позволь мне только покончить с собой первой». И без лишних слов она пронзила себя мечом.

Вибий Вирий[50] [broken link: #nb3_50], потеряв надежду на спасение своего родного города, осажденного римлянами, и не рассчитывая на милость с их стороны, на последнем собрании городского сената, изложив все свои доводы и соображения на этот счет, заключил свою речь выводом, что лучше всего им будет покончить с собою своими собственными руками и так спастись от ожидавшей их участи. «Враги проникнутся к нам уважением, — сказал он, — и Ганнибал узнает, каких преданных сторонников

он бросил на произвол судьбы». После этого он пригласил всех, согласных с его мнением, на пиршество, уже приготовленное в его доме, с тем, что, когда они насытятся яствами и напитками, они все также хлебнут из той чаши, которую ему поднесут. «В ней будет напиток, — заявил он, — который избавит наше тело от мук, душу от позора, а глаза и уши от всех тех мерзостей, которые жестокие и разъяренные победители творят с побежденными. Я распорядился, и держу наготове людей, которые бросят наши бездыханные тела в костер, разложенный перед моим домом». Многие одобрили это смелое решение, но лишь немногие последовали ему. Двадцать семь сенаторов пошли за Вибием в его дом и, попытавшись утопить свое горе в вине, закончили пир условленным смертельным угощением. Посетовав вместе над горькой участью родного города, они обнялись, после чего некоторые из них разошлись по домам, другие же остались у Вибия, чтобы быть похороненными вместе с ним в приготовленном перед его домом костре. Но смерть их оказалась мучительно долгой, ибо винные пары, заполонив вены, замедлили действие яда, так что некоторые из них умерли всего за час до происшедшего на другой день захвата

римлянами Капуи и едва-едва спаслись от бед, за избавление от которых заплатили такой дорогой ценой.

Другой капуанец, Таврей Юбеллий[51] [broken link: #nb3_51], когда консул Фульвий вернулся после позорной бойни, учиненной им над двумястами двадцатью пятью сенаторами, дерзко окликнул его по имени и остановил его. «Прикажи, — сказал он ему, — после стольких совершенных тобой казней лишить и меня жизни; тогда ты сможешь похваляться, что убил человека много достойнее себя». И так как Фульвий не обращал на него, как на безумца, внимания (к тому же он только что получил из Рима предписания, шедшие вразрез с его бесчеловечно жестоким поведением и связывавшие ему руки), то Юбеллий продолжал: «Итак, теперь, когда мой край в руках врагов, когда мои друзья погибли, когда я собственной рукой лишил жизни жену и детей, чтобы спасти их от этих бедствий, а я сам лишен возможности разделить участь моих сограждан, — пусть моя собственная доблесть избавит меня от этой ненавистной жизни». С этими словами он вытащил спрятанный под платьем кинжал и, пронзив себе грудь, замертво упал к ногам консула.

Александр осаждал какой-то город в Индии. Жители, доведенные до крайности, твердо решили лишить его радости победы; они подожгли город и вместе с ним все погибли в пламени, презрев великодушие победителя. Началось новое сражение: враги дрались за то, чтобы их спасти, а жители — за возможность покончить с собой, причем прилагали к этому такие же усилия, какие люди обычно делают, чтобы спасти свою жизнь.

Жители испанского города Астапы[52] [broken link: #nb3_52], видя что его стены и укрепления недостаточно крепки, чтобы устоять против римлян, сложили на городской площади, в виде огромной кучи, все свои богатства и домашнюю утварь, посадив сверху жен и детей, и обложили эту груду хворостом и другими легко воспламеняющимися материалами, оставив там пятьдесят юношей для выполнения задуманного ими плана. После этого они сделали вылазку и, убедившись в невозможности победить врага, все до последнего добровольно лишили себя жизни. А пятьдесят юношей, умертвив всех оставшихся в городе жителей, подожгли затем высившуюся на площади груду и сами бросились в этот костер. Так распрощались они со своей благород-

ной свободой не с болью и позором, а скорее в бесчувственном состоянии, доказав врагам, что если бы судьбе угодно было, то у них хватило бы мужества лишить их победы с тем же успехом, с каким они сумели сделать для них эту победу бесплодной, отталкивающей, а кое для кого даже смертоносной. Ведь некоторые из противников, привлеченные блеском золота, плавившегося в этом пожарище, подбегали слишком близко к огню и либо задыхались от дыма, либо сгорали, ибо не могли уже податься назад, так как сзади напирала следовавшая за ними толпа. Такое же решение приняли и жители Абидоса, доведенные до крайности Филлипом[53] [broken link: #nb3_53]. Но царь, внезапно взяв город и не желая быть свидетелем того, как это ужасное решение, принятое с безрассудной поспешностью, будет приводиться в исполнение, приказал захватить все те сокровища и утварь, которые они собирались сжечь или утопить, а затем отозвал своих солдат, предоставив жителям три дня, в течение которых они могли бы свободно лишать себя жизни, как им заблагорассудится. Они и воспользовались этим, устроив такое кровопролитие и смертоубийство, которое превзошло всякую вражескую жестокость; не осталось в живых

ни единой души, у которой была возможность свободно распорядиться своей участью. Известно множество случаев таких массовых самоубийств, которые кажутся нам тем более ужасными, чем большее число лиц в них участвовало. На самом же деле они менее ужасны, чем самоубийства единичные, ибо доводы, которые на каждого человека, взятого в отдельности, и не подействовали бы, на массу могут подействовать: в пылком порыве, охватывающем толпу, гаснет разум отдельных людей.

Во времена Тиберия те, кто были осуждены и ожидали казни, лишались своего имущества и права на погребение; тех же, кто, предвосхищая события, сами лишали себя жизни, хоронили, и они могли составлять завещания[54] [broken link: #nb3_54].

Но иногда желают смерти в ожидании какого-то большего блага. «Имею желание разрешиться, — говорит святой Павел, — и быть со Христом»; и в другом месте он спрашивает: «Кто избавит меня от сего тела смерти?»[55] [broken link: #nb3_55] Клеомброт Амбракийский, прочтя «Пир» Платона, так загорелся жаждой грядущей жизни, что без всяких других к тому поводов бросился в море. Отсюда явствует, что мы неправильно именуем

отчаянием то добровольное решение, к которому нас часто побуждает пылкая надежда, а нередко и спокойное, ясное рассуждение. Суассонский епископ Жак дю Шатель, участник крестового похода Людовика Святого[56] [broken link: #nb3_56], видя, что король и вся армия собираются вернуться во Францию, не доведя до конца свое предприятие, решил, что лучше уж ему отправиться в рай. Простившись со своими друзьями, он на глазах у всех бросился в гущу врагов и был изрублен.

В одном из царств новооткрытых земель в день торжественной процессии, когда в огромной колеснице везут по улицам боготворимого ими идола, некоторые отрубают у себя куски тела и бросают ему, другие же ложатся посреди дороги, чтобы быть раздавленными под колесами и в награду за это после смерти причисленными к святым[57] [broken link: #nb3_57].

В смерти вышеназванного епископа больше благородного порыва, нежели рассудка, так как он был отчасти увлечен пылом сражения.

В некоторых странах государственная власть вмешивалась и пыталась установить, в каких случаях правомерно и допустимо добровольно лишать себя жизни. В прежние времена в нашем Марселе хранился запас цикуты, заготовленный

на государственный счет и доступный всем, кто захотел бы укоротить свой век, но при условии, что причины самоубийства должны были быть одобрены советом шестисот, то есть сенатом; наложить на себя руки можно было только с разрешения магистрата и в узаконенных случаях.

Такой же закон существовал и в других местах. Секст Помпей[58] [broken link: #nb3_58], направляясь в Азию, по дороге из Негропонта остановился на острове Кее. Как сообщает один из его приближенных, случилось как раз так, что, когда он там находился, одна весьма уважаемая женщина, изложив своим согражданам причины, по которым она решила покончить с собой, попросила Помпея оказать ей честь своим присутствием при ее смерти. Помпеи согласился и в течение долгого времени пытался с помощью своего отменного красноречия и различных доводов отговорить ее от ее намерения, но все было напрасно, и под конец он вынужден был дать согласие на ее самоубийство. Она прожила девяносто лет в полном благополучии, и телесном, и духовном; и вот теперь, возлегши на свое более чем обычно украшенное ложе, она, опершись на локоть, промолвила: «О, Секст Помпей, боги, — и, пожалуй, скорее те, которых я оставляю, чем те,

которых я скоро увижу, — воздадут тебе за то, что ты не погнушался мной и сначала пытался уговорить меня жить, а затем согласился быть свидетелем моей смерти. Что касается меня, то фортуна всегда обращала ко мне свой благой лик, и вот боязнь, как бы желание жить дольше не принудило меня узреть другой ее лик, побуждает меня отказаться от дальнейшего существования, оставив двух дочерей и множество внуков». Сказав это, она дала наставления своим близким и призвала их к миру и согласию, разделила между ними свое имущество и поручила домашних богов своей старшей дочери; затем она твердой рукой взяла чашу с ядом и, вознеся мольбы Меркурию и попросив его уготовить ей какое-нибудь спокойное местечко в загробном мире, быстро, выпила смертельный напиток. Но она продолжала следить за последствиями своего поступка; чувствуя, как ее органы один за другим охватывал леденящий холод, она заявила под конец, что холод этот добрался до ее сердца и внутренностей, и подозвала своих дочерей, чтобы те сотворили над ней последнюю молитву и закрыли ей глаза.

Плиний сообщает[59] [broken link: #nb3_59] об одном из северных народов, что благодаря мягкости тамошнего воздуха люди в тех краях столь

долговечны, что обычно сами кончают с собой; устав от жизни, они обыкновенно, по достижении весьма почтенного возраста, после славной пирушки бросаются в море с вершины определенной, предназначенной для этой цели скалы.

По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству.

## Глава IV
## Дела — до завтра!

Среди всех французских писателей я отдаю пальму первенства — как мне кажется, с полным основанием — Жаку Амио[1] [broken link: #nb4_1], и не только по причине непосредственности и чистоты его языка — в чем он превосходит всех прочих авторов, — или упорства в столь длительном труде, или глубоких познаний, помогших ему передать так удачно мысль и стиль трудного и сложного автора (ибо меня можно уверить во всем, что угодно, поскольку я ничего не смыслю в греческом; но я вижу, что на протяжении всего его перевода смысл Плутарха передан так превосходно и последовательно, что либо Амио в совершенстве понимал подлинный замысел автора, либо он настолько вжился в мысли Плутарха, сумел настолько отчетливо усвоить себе его общее умонастроение, что нигде по крайней мере он не приписывает ему ничего такого, что расходилось бы с ним или ему противоречило). Но главным образом я ему благодарен за находку и выбор книги, столь достойной и ценной, что-

бы поднести ее в подарок моему отечеству. Мы, невежды, были бы обречены на прозябание, если бы эта книга не извлекла нас из тьмы невежества, в которой мы погрязли. Благодаря его труду мы в настоящее время решаемся и говорить, и писать по-французски; даже дамы состязаются в этом с магистрами. Амио — это наш молитвенник. Если этому благодетелю суждено еще жить долгие годы, то я советовал бы ему перевести Ксенофонта[2] [broken link: #nb4_2]: это занятие более легкое и потому более подходящее его преклонному возрасту. И потом, мне почему-то кажется, что, хотя он очень легко и искусно справляется с трудными местами, все же его стиль более верен себе, когда мысль его течет плавно, без стеснения, не преодолевая препятствий.

Я только что перечел то место, где Плутарх рассказывает о себе следующее. Однажды Рустик, слушая в Риме его публичную речь, получил послание от императора, но не стал вскрывать его, пока речь не была окончена. Все присутствующие, сообщает Плутарх, очень хвалили выдержку Рустика[3] [broken link: #nb4_3]. Рассуждая о любопытстве и о том жадном и остром пристрастии к новостям, которое нередко побуждает нас нетерпеливо и бесцеремонно бросать все ради

того, чтобы побеседовать с новым лицом, или заставляет нас, пренебрегая долгом вежливости и приличием, тотчас же распечатывать, где бы мы ни находились, доставленные нам письма, Плутарх имел все основания одобрить выдержку Рустика; он мог бы кроме того похвалить еще его благовоспитанность и учтивость: ведь тот не пожелал прерывать течения его речи. Но я сомневаюсь, можно ли хвалить Рустика за благоразумие, ибо при неожиданном получении письма, да притом еще от самого императора, легко могло случиться, что, не распечатав и не прочитав его сразу, он тем самым навлек бы на себя крупную неприятность.

Прямо противоположен любопытству другой недостаток — беспечность, к которой я склонен по своему нраву. Я знал многих лиц, беспечность которых доходила до того, что у них можно было найти в карманах нераспечатанные письма, полученные за три или четыре дня до того.

Я никогда не распечатываю не только писем, порученных мне для передачи другим, но и тех, которые случайно попадают мне в руки; и мне бывает совестно, если, находясь возле какого-нибудь высокопоставленного лица, я ненароком бросаю взгляд на какую-нибудь строку из важ-

ного письма, которое он читает. Нет человека, который бы меньше, чем я, интересовался чужими делами и стремился за ними подглядывать.

На памяти наших отцов господин де Бутьер чуть было не потерял Турин из-за того, что, сидя за ужином в приятной компании, не стал тотчас читать полученное им донесение об изменах, замышлявшихся в городе, обороной которого он руководил. Из того же Плутарха[4] [broken link: #nb4_4] я узнал, что Юлий Цезарь избежал бы смерти, если бы, идучи в сенат в тот день, когда он был убит заговорщиками, прочел переданную ему записку. Плутарх еще рассказывает о фиванском тиране Архии, что накануне того дня, когда Пелопид привел в исполнение свой замысел убить его и вернуть свободу своему отечеству, некий другой Архий, афинянин, точнейшим образом изложил ему в письме все, что против него затевалось; но так как это сообщение было передано Архию во время ужина, то он отложил и не стал распечатывать письмо, произнеся слова, которые с тех пор вошли в Греции в пословицу: «Дела — до завтра!»[5] [broken link: #nb4_5].

Разумный человек может, на мой взгляд, в интересах других — ради, например, того, чтобы не нарушить нескромным образом компанию,

как это могло иметь место с Рустиком, или ради того, чтобы не расстроить какое-нибудь важное дело, — отложить на время ознакомление с сообщаемыми ему новостями; непростительно делать это ради самого себя или какого-нибудь своего удовольствия, в особенности если это человек, занимающий высокий пост, и когда отсрочка делается для того, чтобы не нарушить обед или сон. Ведь существовало же в древнем Риме за столом так называемое консульское место, которое считалось самым почетным и предназначалось главным образом для того, чтобы неожиданно зашедшим лицам было легче и доступнее поговорить с тем, кто сидел на нем. Это свидетельствует о том, что, находясь за столом, они не откладывали других дел на «потом» и сразу же узнавали о случившемся.

Однако — договаривая до конца — очень трудно, в особенности когда дело идет о человеческих поступках, предписать какие-нибудь точные, продиктованные разумом правила и исключить действие случайности, всегда сохраняющей свои права в этих делах.

## Глава V
## О совести

Однажды, во время наших гражданских войн, я, путешествуя вместе с моим братом, сиром де Ла Брусе, встретился с одним почтенным дворянином. Он был приверженцем противной нам партии, но я этого не знал, так как он подделывался под нашу. Хуже всего в этих войнах то, что карты в них до того перемешаны, что нет никакой определенной приметы, по которой можно было бы признать своего врага: он не отличается ни по языку, ни по внешнему виду, он дышит тем же воздухом, что и мы, вырос среди тех же законов и обычаев, так что трудно не ошибиться, не попасть впросак. Это заставляло меня самого опасаться, как бы мне не встретиться с нашим же отрядом в таких местах, где меня не знают и где мне пришлось бы назвать себя или натолкнуться на что-нибудь еще худшее, как это уже однажды со мной случилось. А именно, при одном их таких недоразумений я потерял своих лошадей и несколько людей, в том числе моего пажа, итальянского дворянина, которого я заботливо

воспитывал и который погиб в расцвете своих отроческих лет, не успев оправдать больших надежд, которые он подавал. Но тот дворянин, с которым мы на сей раз встретились, имел такой растерянный вид и так пугался при каждом появлении конных солдат или когда мы проезжали через города, стоявшие за короля, что под конец я догадался: то были муки его неспокойной совести. Этому бедняге казалось, что сквозь его маску и куртку для верховой езды можно прочесть тайные замыслы, которые он таил в душе. Вот какие удивительные вещи способна проделывать с нами совесть! Она заставляет нас изменять себе, предавать себя и самому же себе вредить. Даже когда нет свидетеля, она выдает нас против нашей воли —

> *Occultum*
> *quatiens animo tortore flagellum.[1] [broken link: #nb5_1]*

Всем, вплоть до малых детей, известен следующий рассказ. Финикиец Бессий, которого упрекали в том, что он без причины разорил воробьиное гнездо и убил воробьев, оправдывался тем, что эти птички без умолку зря обвиняли его в убийстве отца. До этого мгновения никто ниче-

го не знал об этом отцеубийстве, оно оставалось тайной, но мстящие фурии человеческой совести заставили раскрыть эту тайну именно того, кто должен был понести за нее наказание[2] [broken link: #nb5_2].

Гесиод, в отличие от Платона, заявлявшего, что наказание следует по пятам за преступлением, утверждал, что наказание совершается вместе с преступлением, в тот же миг[3] [broken link: #nb5_3]. Кто ждет наказания, несет его, а тот, кто его заслужил, ожидает его. Содеянное зло порождает терзания —

> *Malum consilium pessimum,[4] [broken link: #nb5_4]* —

подобно тому как пчела, жаля и причиняя боль другому, причиняет себе еще большее зло, ибо теряет жало и погибает:

> *vitasque in vulnere ponunt.[5] [broken link: #nb5_5]*

Шпанская муха носит в себе какое-то вещество, которое служит противоядием против ее собственного яда. Сходным образом одновременно с наслаждением, получаемым от порока, совесть начинает испытывать противоположное чувство, которое и во сне и наяву терзает нас

мучительными видениями:

> *Quippe ubi se multi, per somnia saepe loquentes*
>
> *Aut morbo delirantes, procraxe ferantur*
>
> *Et celata diu in medium peccata dedisse.[6] [broken link: #nb5_6]*

Аполлодору привиделось во сне, будто скифы сдирают с него кожу и варят его в котле, а сердце его при этом приговаривает: «это я причина всех этих зол»[7] [broken link: #nb5_7]. Эпикур говорил, что злодеям нигде нельзя укрыться, так как они не могут уйти от собственной совести[8] [broken link: #nb5_8].

> *… prima est haec ultio, quod se*
>
> *Iudice nemo nocens absolvitur.[9] [broken link: #nb5_9]*

Совесть может преисполнять нас страхом, так же как может преисполнять уверенностью и душевным спокойствием. О себе я могу сказать, что во многих случаях я шел гораздо более твердым шагом, ибо ощущал тайное согласие со своей волей и сознавал чистоту моих помыслов:

> *Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra*

*Pectora pro facto spemque metumque suo.[10] [broken link: #nb5_10]*

Такого рода примеров тысячи, я ограничусь, однако, только тремя, касающимися одного и того же лица.

Когда Сципиона[11] [broken link: #nb5_11] однажды обвинили пред лицом римского народа в важном преступлении, он вместо того, чтобы оправдываться перед своими судьями или заискивать перед ними, сказал им: «Очень вам это к лицу — затевать суд и требовать головы человека, благодаря которому вы наделены властью судить весь мир». Другой раз в ответ на обвинения, которые бросил ему в лицо один народный трибун, он вместо того, чтобы защищаться, сказал, обращаясь к своим согражданам: «Давайте пойдем и воздадим хвалу богам за победу, которую они мне даровали над карфагенянами в такой же день, как сегодня», и когда он двинулся по направлению к храму, вся толпа, и в том числе его обвинитель, последовали за ним[12] [broken link: #nb5_12]. Когда Петилий[13] [broken link: #nb5_13], по наущению Катона, потребовал у Сципиона дать отчет в деньгах, потраченных во время войны против Антиоха, Сципион, явившись по этому поводу в сенат, вынул принесенную им

под платьем книгу записей и заявил, что в ней содержится полный отчет всех приходов его и расходов; но когда ему предложили предъявить эту книгу для проверки, он наотрез отказался сделать это, заявив, что не желает подвергать себя такому позору, и собственноручно, перед лицом сенаторов, разорвал книгу в клочья. Я не думаю, чтобы человек с нечистой совестью мог изобразить подобную уверенность. Тит Ливий говорит[14] [broken link: #nb5_14], что Сципион обладал от природы благородным сердцем, всегда устремленным к слишком высоким целям, чтобы он мог быть преступником или унизиться до того, чтобы защищать свою невиновность.

Изобретение пыток — опасное изобретение, и мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины. Утаивает правду и тот, кто в состоянии их вынести, и тот, кто в состоянии сделать это. Действительно, почему боль заставит меня скорее признать то, что есть, чем то, чего нет? И, наоборот, если человек, не совершавший того, в чем его обвиняют, достаточно терпелив, чтобы вынести эти мучения, то почему человек, совершивший это дело, не будет столько же терпелив, зная, что его ждет такая щедрая награда, как жизнь. Я думаю, что это изобрете-

ние в основе своей покоится на сознании нашей совести. Ведь виновному кажется, что совесть помогает пытке, понуждая его признать свою вину, и что она делает его более слабым, невинному же она придает силы переносить пытку. Однако, говоря по правде, пытка — весьма ненадежное и опасное средство.

Чего только не наговорит человек на себя, чего он только не сделает, лишь бы избежать этих ужасных мук?

> *Etiam innocentes coget mentiri dolor.[15] [broken link: #nb5_15]*

Вот почему бывает, что тот, кого судья пытал, чтобы не погубить невинного, погибает и невинным и замученным пыткой. Сотни тысяч людей возводили на себя ложные обвинения. К числу их я отношу и Филоту[16] [broken link: #nb5_16], принимая во внимание условия суда, устроенного над ним Александром, и то, как его пытали.

И тем не менее говорят, что это наименьшее из зол, изобретенных человеческой слабостью! Я, однако, нахожу пытку средством крайне бесчеловечным и совершенно бесполезным. Многие народы, менее варварские в этом отношении, чем греки и римляне, называющие их варварами,

считают отвратительной жестокостью терзать и мучить человека, в преступлении которого вы еще не уверены. Чем он ответственен за ваше незнание? Разве это справедливо, что вы, не желая убивать его без основания, заставляете его испытывать то, что хуже смерти? Чтобы хорошенько вникнуть в это, заметьте только, как часто бывает, что испытуемый предпочитает лучше умереть без всяких оснований, лишь бы только не подвергаться этому испытанию, которое хуже казни и нередко своей жестокостью приводит к смерти, предвосхищая казнь. Не помню, откуда я взял этот рассказ[17] [broken link: #nb5_17], но он дает точное представление о совестливости нашего правосудия. Некая крестьянка обвинила перед полководцем и главным судьей армии одного солдата в том, что он отнял у ее маленьких детей ту малость вареного мяса, которая оставалась у нее для их пропитания, ибо эта армия разграбила все деревни кругом. И действительно, нигде не осталось ни зернышка. Полководец приказал женщине сначала хорошенько обдумать свои слова, ибо она должна будет отвечать за них, если окажется, что это ложное обвинение. Но так как женщина твердо стояла на своем, то он приказал распороть сол-

дату живот, чтобы удостовериться в истине. И тогда убедились, что женщина сказала правду. Поучительное наказание!

## Глава VI
## Об упражнении

Трудно надеяться, чтобы наш разум и наши знания, сколь бы усердно мы себя им ни вверяли, оказались настолько сильны, чтобы побудить нас к действию, если мы, кроме этого, не упражняем нашу душу и не приучаем ее к деятельности, предназначенной ей нами; в противном случае она может в надлежащий момент оказаться беспомощной. Вот почему те философы, которые стремились добиться более высокого совершенства, не довольствовались тем, чтобы, затаившись в каком-нибудь укрытии, ждать невзгод судьбы, а опасаясь, чтобы они не застали их неподготовленными и непривычными к борьбе, шли им навстречу и намеренно подвергали себя всяким трудным испытаниям. Одни отказывались от богатства и добровольно обрекали себя на бедность; другие стремились к тяжелой работе и суровым условиям жизни, чтобы закалиться и приучить себя к труду и нужде; некоторые же лишали себя самых ценных частей тела, как, например, глаз или половых органов, боясь, чтобы

пользование ими, дающее так много радости и наслаждения, не ослабило и не изнежило их души. Но упражнение не может приучить нас к самому большому делу, которое нам предстоит — к смерти, здесь оно бессильно. Можно путем упражнения и с помощью привычки закалить себя и приобрести стойкость в перенесении боли, стыда, бедности и других подобных горестей; но что касается смерти, то мы можем испытать ее только раз в жизни, и потому все мы являемся новичками, когда подходим к ней.

В древние времена были люди, так превосходно умевшие пользоваться своим временем, что они пытались даже получить наслаждение от самой смерти и заставить свой ум понять, что представляет собой этот переход к смерти; но они не вернулись обратно, чтобы поделиться с нами этими сведениями:

> *nemo expergitus extat*
>
> *Frigida quem semel est vitai pausa secuta.[1] [broken link: #nb6_1]*

Знатный римлянин Каний Юлий, отличавшийся добродетелью и исключительной твердостью, будучи осужден на смерть злодеем Калигулой[2] [broken link: #nb6_2], кроме многих других пора-

зительных доказательств своего мужества, дал еще следующее. Когда рука палача уже вот-вот должна была опуститься на его голову, один из его друзей, философ, спросил его: «Итак, Каний, как чувствует в эту минуту твоя душа? Что она делает? О чем ты думаешь?» «Я стараюсь, — ответил Каний, — быть наготове и напрячь все свои силы, чтобы постараться уловить в течение краткого мгновения смерти, произойдет ли какое-нибудь движение в моей душе и ощутит ли она свой уход из тела, с тем чтобы, если я что-нибудь подмечу, потом, по возможности, сообщить об этом моим друзьям». Вот человек, философствующий не только до самой смерти, но и в самый момент смерти. Какой стойкостью надо обладать, какой непоколебимостью духа, чтобы желать извлечь урок из самой смерти и быть в состоянии еще думать о чем-то постороннем в такой важный момент!

> *Ius hoc animi morientis habebat.[3] [broken link: #nb6_3]*

И все же мне кажется, что есть какой-то способ приучить себя к смерти и некоторым образом испробовать ее. Хотя наш опыт в этом деле не может быть ни совершенным, ни полным, он во

всяком случае может быть небесполезным для нас, придав нам сил и уверенности. Мы не можем погрузиться в смерть, но мы можем приблизиться к ней и рассмотреть ее; и хотя мы не в состоянии путем упражнения дойти в этом деле до конца, во всяком случае мы можем кое-что разглядеть и ознакомиться с подступами к смерти. Ведь не без основания нам предлагают приглядываться даже к нашему сну, ввиду того что он походит на смерть.

Как легко совершается переход от бодрствования ко сну! Как незаметно мы перестаем сознавать себя и окружающее!

Можно было бы, пожалуй, признать сон, лишающий нас возможности действовать и чувствовать, чем-то ненужным и противоестественным, если бы не то, что с его помощью природа показывает нам, что она предназначила нас в такой же степени для жизни, как и для смерти, и если бы не то, что посредством сна она еще при жизни приоткрывает нам ту вечность, которая ждет нас после этой нашей жизни, для того чтобы приучить нас к ней и освободить нас от страха перед ней.

Но те, кому довелось из-за какого-нибудь несчастного случая лишиться сознания или

упасть без чувств, те, по моему мнению, были весьма близки к тому, чтобы увидеть подлинный и неприкрашенный лик смерти; ибо, что касается самого момента перехода от жизни к смерти, то нечего опасаться, что он связан с каким-либо страданием или неприятным ощущением, если учесть, что для того, чтобы почувствовать что-нибудь, нужно какое-то время. Чтобы ощутить страдания, требуется время, а между тем момент смерти столь краток и стремителен, что он неизбежно должен быть безболезненным. У нас есть основания бояться только подготовительных мгновений к смерти, но они-то как раз и поддаются упражнению.

Многие вещи наше воображение рисует нам более ужасными, чем они есть в действительности. Большую часть моей жизни я наслаждался цветущим здоровьем, больше того, силы переполняли меня, они так и бурлили во мне. Это радостное, ликующее ощущение здоровья заставляло меня думать о болезнях с таким ужасом, что, когда мне довелось на деле их испытать, я обнаружил, что они гораздо менее мучительны, что это мне рисовалось под влиянием страха.

Вот что я постоянно испытываю: если ночью, хорошо укутанный, я нахожусь в уютной ком-

нате, в то время как за окнами бушует буря и непогода, я не могу без страха и содрогания думать о тех, кого они застигли в пути; но если в такую минуту я сам нахожусь в дороге, мне и в голову не придет пожелать находиться в каком-нибудь другом месте.

Уже одно то, что быть запертым в четырех стенах казалось мне нестерпимым; но вскоре я научился оставаться в таком положении неделю, даже месяц, изнемогая от боли, лишений и слабости, и тогда я понял, что, когда был здоров, я жалел больных в гораздо большей степени, чем сам заслуживаю сожаления теперь во время своей болезни, и что воображение заставляло меня почти вдвое преувеличивать истинное положение вещей. Надеюсь, что то же случится и тогда, когда я буду умирать, и что не стоит так много хлопотать, суетиться и готовиться к смерти, как это обычно делают люди. Но все же, на всякий случай, никакие меры предосторожности тут не могут быть лишними.

Во время нашей второй или третьей гражданской войны[4] [broken link: #nb6_4] (не могу в точности припомнить, какой именно) я вздумал однажды покататься на расстоянии одного лье от моего замка, расположенного в самом центре

происходивших смут.

Находясь поблизости от своего дома, я считал себя настолько в безопасности, что не взял с собой ничего, кроме удобного, но не очень выносливого коня. При возвращении случилось неожиданное происшествие, заставившее меня воспользоваться моим конем для дела, к которому он был непривычен. Один из моих людей, человек рослый и сильный, ехавший верхом на коренастом и тугоуздом жеребце, желая выказать отвагу и опередить своих спутников, пустил его во весь опор прямо по той дороге, по которой ехал я, и со всего размаха лавиной налетел на меня и мою лошадь, опрокинув нас своим напором и тяжестью. Оба мы полетели вверх ногами, моя лошадь свалилась и лежала совершенно оглушенная, я же оказался поодаль, в десятке шагов, бездыханный, распростертый навзничь; лицо мое было в сплошных ранах, моя шпага отлетела еще на десяток шагов, пояс разорвался в клочья, я лежал колодой, без движения, без чувств. Это был первый обморок в моей жизни. Мои спутники всеми силами тщетно пытались привести меня в чувство; и, наконец, решив, что я мертв, подняли меня и с огромным трудом на руках перенесли в мой дом, отстоявший примерно в полумиле от

места происшествия. По дороге, после того как в течение более двух часов меня считали мертвым, я стал слегка шевелиться и дышать; за это время столько крови попало в мой желудок, что мне необходимо было разгрузиться от нее. Меня поставили на ноги, и из меня вылилось целое ведро крови; и еще несколько раз, пока меня несли, мне пришлось повторить эту операцию. Благодаря этому я начал чуть-чуть оживать, но это происходило так медленно и с такими промежутками, что мои первые ощущения были скорее похожи на смерть, чем на жизнь:

> *Perche, dubbiosa anchor del suo ritorno,*
>
> *Non s'assecura attonita la mente.[5] [broken link: #nb6_5]*

Это воспоминание, так сильно врезавшееся мне в память и давшее мне возможность увидеть лицо смерти почти вплотную и без прикрас, как-то примирило меня с нею. Когда глаза мои стали что-то разбирать и я стал что-то видеть, я видел так смутно, слабо и как бы в тумане, что сначала я мог различать только свет —

> *come quel ch'or apre or chiude*
>
> *Gli occhi, mezzo tra'l sonno è l'esser desto.[6] [broken link: #nb6_6]*

Что касается моих душевных способностей, то они восстанавливались столь же медленно, как и физические. Я видел себя сплошь окровавленным, так как плащ мой весь был пропитан моей кровью. Первой моей мыслью было, что меня ранили из аркебузы в голову, так как в ту пору вокруг нас сильно постреливали. Мне казалось, что жизнь моя держится лишь на кончиках губ; я закрывал глаза, стараясь, как мне представлялось, помочь ей уйти от меня, и мне было приятно изнемогать и отдаваться течению. Это была мысль, еле брезжившая в моем сознании, такая же слабая и зыбкая, как и все остальные, но она не только не была мне неприятна, а напротив, к ней примешивалось то сладостное ощущение, которое бывает, когда мы погружаемся в сон.

Мне сдается, что это и есть то состояние, которое мы наблюдаем у выбившихся из сил и находящихся в агонии людей, и я думаю, что мы напрасно оплакиваем их, считая, что их мучат в это время жестокие боли или что душа их подавлена мрачными мыслями. Я всегда считал, расходясь во мнениях с другими и даже с Этьеном Ла Боэси[7] [broken link: #nb6_7], что те, кого мы видим лежащими, так же как и я, ничком и как бы отходящими ко сну в ожидании конца, или

те, кто изможденны долгими муками или разбиты апоплексическим ударом, или в припадке падучей, —

> *vi morbi saepe coactus*
>
> *Ante oculos aliquis nostros, ut fulminis ictu,*
>
> *Concidit, et spumas agit; ingemit, et fremit artus.*
>
> *Desipit, extentat nervos, torquetur, anhelat,*
>
> *Inconstanter et in iactando membra fatigat,[8] [broken link: #nb6_8]*

или те, что ранены в голову, — когда мы слышим, как они иногда вопят и отчаянно стонут, — я всегда считал, повторяю, что их душа и тело спят, окутанные саваном, хотя по некоторым признакам мы и можем уловить, что в них есть еще проблески сознания, и мы еще замечаем какие-то движения их тел:

> *Vivit, et est vitae nescius ipse suae.[9] [broken link: #nb6_9]*

Я не могу поверить, чтобы в этом состоянии, когда все тело так пострадало и чувства ослаблены донельзя, у души хватало еще сил сознавать себя; мне кажется поэтому, что у этих людей не

остается никакого проблеска мысли, которая бы мучила их и способна была ощутить и уяснить всю тяжесть их положения; из этого следует, что не к чему так уж сильно жалеть их.

Я не представляю для себя лично ничего более невыносимого и ужасного, чем, испытывая живое и острое страдание, не иметь возможности как-либо его выразить. Это можно было бы сказать про тех, кого отправляют на казнь, предварительно отрезав им язык, если бы не то, что для казнимого публично смерть без единого звука — наиболее пристойный исход, при условии, чтобы лицо при этом выражало твердость и достоинство. Вполне применимо сказанное мною к тем несчастным пленникам, которые попадают в руки мерзких палачей — солдат нашего времени, подвергающих их самым жестоким истязаниям с целью выжать из них какой-нибудь баснословный и необыкновенный выкуп, держа их в таких условиях и в таких местах, что они не имеют никакой возможности подать голос, заявить о постигшей их беде.

Поэты придумали некоторых богов, которые будто бы облегчают смерть людям, терпящим такие жестокие муки:

*hunc ego Diti*

*Sacrum iussa fero, teque isto corpore solvo.[10] [broken link: #nb6_10]*

Но если окружающие, всячески тормоша таких умирающих и крича им в самое ухо, и могут подчас исторгнуть у них какие-то краткие и бессвязные ответы или уловить какие-то движения, которые как бы выражают согласие на то, о чем их спрашивают, — это еще не доказывает, что такие люди живы, во всяком случае не доказывает, что они вполне живы. Ведь случается же с нами, когда нас клонит ко сну, хоть мы еще не вполне в его власти, что мы ощущаем, как во сне, все, что творится вокруг нас, и отвечаем спрашивающим нас смутным и неопределенным согласием, которое дается почти без сознания; мы даем эти ответы на последние долетевшие до нас слова, ответы случайные и часто бессмысленные.

Теперь, после того как я сам испытал это состояние, у меня нет никаких сомнений в том, что до сих пор я вполне правильно о нем судил! В самом деле, я прежде всего, еще не приходя в сознание, попытался разорвать свой камзол ногтями (ибо я был без оружия), а между тем я хорошо знаю, что вовсе не представлял себе, будто ранен. Ведь есть столько движений, которые совершаются без нашего ведома:

*Semianimesque micant digiti ferrumque retractant[11] [broken link: #nb6_11].*

Так, например, при падении люди часто выбрасывают вперед руки, повинуясь естественному побуждению, заставляющему части нашего тела оказывать друг другу помощь, не дожидаясь предписаний нашего разума:

*Falciferos memorant currus abscindere membra,*

*Ut tremere in terra videatur ab artubus id quod*

*Decidit abscissum, cum mens tamen atque hominis vis*

*Mobilitate mali non quit sentire dolorem.[12] [broken link: #nb6_12]*

Мой желудок переполнен был свернувшейся кровью, и мои пальцы сами устремились к нему, как это часто бывает против нашей воли с нашими руками, когда где-нибудь у нас зудит. У многих животных и даже у людей, когда они уже испустили дух, мышцы все еще продолжают сокращаться и распускаться. Всякий по опыту знает, что есть органы, которые приходят в движение, поднимаются и опускаются часто без

нашего ведома. Про эти влечения, которые затрагивают нас лишь чисто внешним образом, нельзя сказать, что это наши влечения, так как для того, чтобы они стали нашими, человек должен быть всецело охвачен ими; нельзя, например, сказать, что боль, ощущаемая рукой или ногой во сне, есть наша боль.

Когда мы уже подъезжали к моему дому, куда успело дойти известие о моем падении, и члены моей семьи с криками, как бывает в таких случаях, выбежали мне навстречу, я не только что-то ответил спрашивавшим, но рассказывают, будто я даже догадался приказать, чтобы подали лошадь моей жене, которая, как я смог заметить, выбивалась из сил, спеша ко мне по очень крутой и каменистой тропинке. Может показаться, что такой приказ должен был исходить от человека, уже совершенно пришедшего в сознание. Вовсе нет: то были лишь смутные и бессвязные мысли, исходившие от впечатлений, полученных от зрения и слуха, но не от меня. Я не соображал, ни откуда двигаюсь, ни куда направляюсь; я не в состоянии был разобрать и понять, о чем меня спрашивают; это были очень слабые движения, которые мои чувства производили как бы по привычке; мой разум участвовал в этом сквозь

дрему, подвергаясь легчайшему прикосновению, щекотанию со стороны чувств. Между тем мое самочувствие было поистине очень приятным и спокойным: я не испытывал тревоги ни за себя, ни за других, я ощущал какую-то истому и необычайную слабость, но никакой боли. Я видел свой дом, но не узнавал его. Когда меня уложили в постель, я почувствовал несказанное блаженство от этого покоя, так как меня порядком растрясло, пока эти славные люди несли меня на руках по такой плохой и длинной дороге, что им пришлось раза два или три сменить друг друга, чтобы передохнуть. Мне стали насильно давать разные лекарства, но я не принял ни одного из них, так как был убежден, что смертельно ранен в голову. Это была бы поистине очень легкая смерть, ибо из-за бесконечной слабости разум мой не в состоянии был ни о чем судить, а тело ничего не чувствовало. Я тихонько отдался течению, и мне было так легко и спокойно, что, казалось, ничего не могло быть приятнее. Когда, спустя два или три часа, я начал приходить в себя и силы мои стали восстанавливаться,

> *Ut tandem sensus convaluere mei,[13] [broken link: #nb6_13]*

я вдруг сразу почувствовал сильнейшие боли, ибо от падения все члены мои были расшиблены и изранены. В течение двух или трех ночей после этого мне было очень плохо, и мне казалось, что я еще раз умираю, но только более мучительной смертью; я еще и сейчас ощущаю страшный удар, полученный при падении. И вот что примечательно: последней мыслью, сохранившейся у меня в сознании, было воспоминание о том, что со мной случилось; но прежде, чем понять все как следует, я заставлял по нескольку раз повторять себе, куда я ехал, откуда возвращался, в котором часу со мной это произошло. Что касается обстоятельств моего падения, то от меня их скрывали, не желая, выдавать виновника катастрофы, и придумывали для меня все новые и новые объяснения. Некоторое время спустя, уже на следующий день, когда память моя начала восстанавливаться и рисовать мне, в каком состоянии я был в момент, когда заметил обрушивающуюся на меня лошадь (ибо я увидел ее у самых ног и подумал, что пришла моя смерть; но эта мысль была так мимолетна, что не успела даже вызвать во мне страх), мне показалось, что меня поразила молния и что я возвращаюсь с того света. Рассказ об этом малозначительном происшествии мог

бы показаться не заслуживающим внимания, если бы не то поучение, которое я извлек для себя из него. Я действительно убедился, что для того, чтобы свыкнуться со смертью, нужно только приблизиться к ней вплотную. Всякий из нас, по словам Плиния[14] [broken link: #nb6_14], может служить хорошим поучением для самого себя, лишь бы он обладал способностью пристально следить за собой. Рассказывая о случившемся со мной, я не поучаю других, а поучаюсь сам; это урок, извлеченный мною для себя, а не наставление для других.

И не следует ставить мне в укор, что я об этом рассказываю, ибо то, что полезно для меня, может при случае оказаться полезным и для другого. Как бы там ни было, я ничего ни у кого не отнимаю, а только извлекаю пользу из своего добра. А если я говорю глупости, то никто от этого не страдает, кроме разве меня самого; к тому же эти глупости со мной и кончаются, не имея дальнейшего продолжения. Так писали о себе всего лишь два или три древних автора, да и то, не зная о них ничего, кроме их имен, не берусь утверждать, что они писали совершенно в таком духе, как и я. С тех пор никто не шел по их стопам. И неудивительно, ибо прослеживать извилистые тропы

нашего духа, проникать в темные глубины его, подмечать те или иные из бесчисленных его малейших движений — дело весьма нелегкое, гораздо более трудное, чем может показаться с первого взгляда. Это занятие новое и необычное, отвлекающее нас от повседневных житейских занятий, от наиболее общепринятых дел. Вот уже несколько лет, как все мои мысли устремлены на меня самого, как я изучаю и проверяю только себя, а если я и изучаю что-нибудь другое, то лишь для того, чтобы неожиданно в какой-то момент приложить это к себе или, вернее, вложить в себя. И мне отнюдь не кажется ошибочным, если, подобно тому как это делается в других науках, несравненно менее полезных, чем эта, я сообщаю все добытое мною на этом поприще, хотя и не могу сказать, что доволен успехами, достигнутыми мною до этого времени. Нет описания более трудного, чем описание самого себя, но в то же время нет описания более полезного. Всегда надо хорошенько пообчиститься, приодеться, привести себя в порядок, прежде чем показаться на людях. Так вот и я постоянно привожу себя в порядок, ибо постоянно занят самоописанием. Говорить о себе считается дурной привычкой, решительно осуждаемой из-за оттенка хвастовства,

которое обычно кажется неизбежно связанным с рассказами о себе.

Но это значило бы выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка:

> *In vitium ducit culpae fuga.[15] [broken link: #nb6_15]*

Я нахожу, что такое средство скорее вредно, чем полезно. Но если бы даже было верно, что рассказывать людям о себе есть обязательно тщеславие, то я все же не должен, будучи верен своей основной задаче, подавлять в себе это злосчастное свойство, раз уж оно мне присуще, и утаивать этот порок, который является для меня не только привычкой, но и призванием. Как бы то ни было, говоря по правде, я должен сказать по поводу этого обыкновения, что неправильно осуждать вино за то, что многие напиваются им допьяна. Злоупотреблять можно только хорошими вещами. Осудительное отношение к этому обычаю, по-моему, направлено против широко распространенной слабости. Это узда для коров, которой не связывали себя ни святые, так красноречиво говорившие о себе, ни философы, ни теологи. Не делаю этого и я, хотя и не принадлежу к числу как тех, так и других. Хотя они прямо в

этом и не признаются, они никогда не упустят случая выставить себя напоказ. О чем больше всего рассуждает Сократ, как не о себе самом? К чему он постоянно направляет мысли своих учеников, как не к тому, чтобы они говорили о себе, но не на основании вычитанного ими из книг, а на основании движения их собственной души? Мы благоговейно исповедуемся перед богом и нашим духовником, а наши соседи исповедуются публично[16] [broken link: #nb6_16]. Но мне скажут, что мы исповедуемся только в прегрешениях; на это я отвечу, что мы исповедуемся во всем, ибо сама наша добродетель небезупречна и нуждается в покаянии. Жить — вот мое занятие и мое искусство. Тот, кто хочет запретить мне говорить об этом по моему разумению, опыту и привычке, пусть прикажет архитектору говорить о зданиях не своими мыслями, а чужими, на основании чужих знаний, а не своих собственных. Если говорить о своих качествах есть самомнение, то почему Цицерон не превозносит красноречия Гортензия, а Гортензий — красноречия Цицерона?[17] [broken link: #nb6_17] Пожалуй, кто-нибудь скажет, что лучше было бы, если бы я свидетельствовал о себе делами и творениями, а не одними только словами.

Но я изображаю главным образом мои размышления — вещь весьма неуловимую и никак не поддающуюся материальному воплощению. Лишь с величайшим трудом могу я облечь их в такую воздушную оболочку, как голос. Многие более мудрые и более благочестивые люди прожили жизнь, не совершив никаких выдающихся поступков. Поступки говорят больше о моих удачах, чем обо мне самом. Они свидетельствуют скорее о своей роли, чем о моей, позволяя судить о последней лишь гадательно и очень неточно: всякий раз с какой-либо одной стороны. А тут я выставляю целиком себя напоказ: нечто вроде скелета, в котором с одного взгляда можно увидеть все — вены, мускулы, связки, все в отдельности и на своем месте. А кашель показал бы лишь одну часть картины, внезапная бледность или сердцебиение — другую, да и то не вполне достоверным образом. Тут я описываю не свои движения, а себя, свою сущность. Я считаю, что следует быть осторожным в суждении о себе и равным образом точным в показаниях о себе, независимо от того, делаются ли они вслух или про себя. Если бы мне казалось, что я добр и умен или что-нибудь в этом роде, я сказал бы об этом во весь голос. Говорить о себе уничижительно, хуже,

чем ты есть на деле, — не скромность, а глупость. Расценивать себя ниже того, что ты стоишь, есть, по словам Аристотеля, трусость и малодушие[18] [broken link: #nb6_18]. Никакая добродетель не улучшается от искажения, а истина никогда не покоится на лжи. Говорить о себе, превознося себя, лучше, чем ты есть на деле, не только всегда — тщеславие, но также нередко и глупость. В основе этого порока лежит, по-моему, чрезмерное самодовольство и неразумное себялюбие. Лучшее средство для исцеления от этого порока — делать прямо противоположное тому, что предписывают те, кто, запрещая говорить о себе, тем самым еще строже запрещают о себе думать. Гордыня порождается мыслью, язык может принимать в этом лишь незначительное участие. Запрещающим говорить о себе кажется, что заниматься собой значит любоваться собой, что неотвязно следить за собой и изучать себя значит придавать себе слишком много цены. Это, конечно, бывает. Но такая крайность проявляется только у тех, кто изучает себя лишь поверхностно; у тех, кто обращается к себе, лишь покончив со всеми своими делами; кто считает занятие собой делом пустым и праздным; кто держится мнения, что развивать свой ум и совершенствовать свой характер — все

равно что строить воздушные замки; и кто полагает, что самопознание — дело постороннее и третьестепенное.

Если кто-нибудь, оглядываясь на нижестоящих, кичится своей ученостью, пусть он обратит взор к минувшим векам, тогда он сразу смирится, увидев, сколько было тысяч людей, стоявших неизмеримо выше его. А если он преувеличенного мнения о своей доблести, пусть припомнит жизнь обоих Сципионов и стольких армий и стольких народов, до которых ему бесконечно далеко. Никакое особое достоинство не преисполнит гордостью того, кто осознает все великое множество присущих ему несовершенств и слабостей, и вдобавок ко всему — все ничтожество человеческого существования.

Именно потому, что Сократ сумел искренне принять наставление своего бога: «Познай самого себя», и в результате этого самопознания проникся презрением к себе, он удостоился звания мудреца. Тот, кто сумеет таким же образом познать себя, может не бояться говорить о результатах своего познания[19] [broken link: #nb6_19].

# Глава VII
# О почетных наградах

Описывающие жизнь Цезаря Августа[1] [broken link: #nb7_1] отмечают, что в воинском деле он был поразительно щедр в раздаче даров всем тем, кто этого заслуживал, но вместе с тем был столь же скуп в раздаче чисто почетных наград. Между тем сам он получил множество воинских наград от своего дяди[2] [broken link: #nb7_2], еще не успев ни разу побывать на поле сражения. Хорошей выдумкой, утвердившейся в большинстве стран мира, было установление некоторых малозначительных и ничего не стоящих знаков отличия для награждения и почтения добродетели, к числу которых относятся лавровые, дубовые, миртовые венки, особые виды одежды, привилегия проезжать на колесницах по городу или ночные шествия с факелами, право занимать особое место в публичном собрании, прерогатива носить известные титулы и прозвища, иметь определенные знаки в гербе и тому подобные вещи. Этот обычай в различных формах был принят у многих народов и до сих пор остается в силе.

Что касается нас, французов, и некоторых соседних с нами народов, то у нас для этого введены рыцарские ордена. Это поистине очень хороший и полезный обычай отмечать заслуги выдающихся и исключительных людей, выделять и награждать их при помощи пожалований, нисколько не обременяющих общество и ничего не стоящих государству. Между тем из опыта древних и нашего собственного известно, что выдающиеся люди больше домогались таких наград, чем денежных и доходных пожалований; это вполне понятно и имеет веские основания. Действительно, если к награде, которая должна быть только почетной, примешиваются другие блага и богатства, то это сочетание вместо того, чтобы усилить почет, снижает и уменьшает его. Издавна прославленный у нас орден святого Михаила[3] [broken link: #nb7_3] имел то огромное преимущество, что он не связан был ни с какими другими благами. Поэтому не было такого чина и звания, которого дворянство домогалось бы с большим рвением и пылом, чем этого ордена; не было положения, которое приносило бы больше уважения и почета, ибо в этом случае добродетель стремилась получить и получала наиболее подходящую награду, в которой было больше славы,

нежели выгоды. Действительно, все остальные награды не связаны с таким почетом, так как они даются по самым различным поводам. Деньгами награждают слугу за его заботы, гонца за его усердие; ими награждают за обучение танцам, фехтованию, красноречию, а также за самые низменные услуги; оплачивается даже и порок, как, например, лесть, сводничество, измена; поэтому нет ничего удивительного в том, что добродетель менее охотно принимает эту избитую монету и стремится к получению той вполне благородной и почетной награды, которая ей лучше всего подходит. Август поэтому с полным основанием был более расчетлив и скуп при раздаче почетных наград, чем обычных, тем более что почет — это не заурядное явление, а исключительное, так же как и добродетель:

> *Cui malus est nemo, quis bonus esse potest?[4] [broken link: #nb7_4]*

Желая рекомендовать какого-нибудь человека, не отмечают, что он заботится о воспитании своих детей, ибо это явление обычное, как бы похвально оно ни было. Я не думаю, чтобы какой-нибудь спартанец хвастался своей доблестью, ибо это была добродетель, широко распространенная

среди этого народа; и столь же мало спартанцы склонны были хвастаться своей верностью и презрением к богатству. Как бы велика ни была добродетель, но если она вошла в привычку, то не стоит награды, и я даже не уверен, назовем ли мы ее великой, если она стала обычной.

Так как вся ценность и весь почет этих знаков отличия покоятся на том, что они присваиваются лишь небольшому числу людей, то широкая раздача их равносильна сведению их на нет. Если бы даже в наше время было больше людей, заслуживающих этот орден, чем в прошлые времена, то все же не следовало бы подрывать его ценность. Я вполне допускаю, что значительно большее число людей в настоящее время достойно этого ордена, ибо из всех добродетелей воинская доблесть распространяется с наибольшей быстротой. Существует другая доблесть — истинная, совершенная и философская, о которой я здесь не говорю (пользуясь словом «доблесть» в обычном, принятом у нас смысле); она более значительна, чем воинская доблесть, более полноценна и заключается в стойкости и силе нашей души, которая с одинаковым презрением относится ко всем враждебным ей обстоятельствам; эта доблесть всегда себе равна, неизменна и постоянна,

и обычная наша доблесть — лишь очень слабое отражение ее. Привычка, обычай, воспитание и пример играют огромную роль в укреплении воинской доблести и содействуют широкому распространению ее, в чем легко убедиться на опыте наших гражданских войн. И если бы кто-нибудь сумел объединить нас в настоящее время и направить весь наш народ на одно общее дело, то вновь могла бы расцвести наша древняя военная слава. Не подлежит сомнению, что награждение орденом в прежние времена имело в виду не только это соображение, оно предусматривало и более далекую цель. Присвоение ордена всегда было награждением не просто лишь доблестного воина, но прославленного военачальника. Умение повиноваться не заслуживало столь почетной награды. Для получения ордена в прежние времена требовался более всеобъемлющий военный опыт; военному человеку надо было обнаружить самые выдающиеся способности: Neque enim eaedem militares et imperatoriae artes sunt[5] [broken link: #nb7_5], и, кроме того, он должен был по своему положению подходить к этому званию. Но если бы даже оказалось, что в настоящее время найдется гораздо больше людей, заслуживающих этой награды, чем раньше,

то все же я считаю, что не следовало бы раздавать ее с большей легкостью, и было бы даже предпочтительней не давать ее всем тем, кто заслужил эту награду, чем навсегда свести на нет — как это делается у нас — столь полезный обычай. Ни один благородный человек не сочтет возможным хвалиться тем, что у него есть общего со многими другими, и те, кто в настоящее время менее заслужил эту награду, делают вид, будто относятся к ней с пренебрежением, чтобы таким образом стать в ряды тех, кого обижают слишком частой раздачей этой обесцениваемой таким путем награды, которая только этим последним и подобает.

Но трудно рассчитывать на то, чтобы, ослабив и уничтожив этот орден, можно было создать и сделать высоко почетной другую подобную ему награду. В тот смутный и испорченный век, в какой мы живем, новый, недавно учрежденный орден[6] [broken link: #nb7_6] с самого же начала будет подточен действием тех же причин, которые разрушили орден св. Михаила. Чтобы придать этому новому ордену авторитет, его следовало бы раздавать с величайшей осмотрительностью и в весьма редких случаях; а между тем в наше бурное время невозможно вести это

дело с большой строгостью, твердо держа его в руках. Кроме того, чтобы оно обрело популярность, нужно было бы вытравить память о первом ордене и о том пренебрежении, в которое он впал.

Этот вопрос мог бы послужить темой для рассуждения о доблести и ее отличии от других добродетелей; но так как Плутарх неоднократно возвращался к этой теме, я не стану ее касаться и приводить то, что он говорит по этому поводу. Но стоит отметить, что наш народ выделяет доблесть (vaillance) из других добродетелей и придает ей первостепенное значение, что явствует уже из самого ее названия, происходящего от слова «достоинство» (valeur). Равным образом, когда мы говорим, что такой-то весьма достойный или порядочный человек в стиле нашего двора или нашего дворянства, то это означает, что речь идет о храбром, доблестном человеке, то есть мы употребляем это название в том же смысле, как это принято было в древнем Риме. Действительно, у римлян самое название «добродетель» (virtus) проистекало от слова «сила» (то есть храбрость). Военное призвание — самое важное, самое подходящее и единственное призвание французского дворянства. Весьма возможно, что первой добродетелью, появившейся среди людей и давшей

одним из них превосходство над другими, и была именно эта самая добродетель, с помощью которой более сильные и более храбрые приобрели власть над более слабыми и заняли особое положение: с тех пор за ними сохранилась эта честь и название.

Однако возможно также, что эти народы, будучи весьма воинственными, особенно высоко оценили ту из добродетелей, которая была им наиболее близка и казалась наиболее достойной этого названия. Нечто подобное можно наблюдать у нас и в другой области: неусыпная забота о целомудрии наших женщин приводит к тому, что, когда мы говорим «хорошая женщина», «порядочная женщина», «почтенная и добродетельная женщина», то имеем при этом в виду не что иное, как «целомудренная женщина», и похоже на то, что, стремясь заставить женщин быть целомудренными, мы придаем мало значения всем прочим их добродетелям и готовы простить им любой порок, лишь бы они зато соблюдали целомудрие.

## Глава VIII
## О родительской любви

*Госпоже д'Этиссак[1] [broken link: #nb8_1]*

Сударыня, если меня не спасут новизна и необычность моей книги, нередко придающие цену вещам, то я никогда не выйду с честью из этой нелепой затеи; но она так своеобразна и столь непохожа на общепринятую манеру писать, что, может быть, именно это послужит ей пропускным листом. Первоначально фантазия приняться за писание пришла мне в голову под влиянием меланхолического настроения, совершенно не соответствующего моему природному нраву; оно было порождено тоской одиночества, в которое я погрузился несколько лет тому назад. И, так как у меня не было никакой другой темы, я обратился к себе и избрал предметом своих писаний самого себя. Это, вероятно, единственная в своем роде книга с таким странным и несуразным замыслом[2] [broken link: #nb8_2]. В ней нет ничего заслуживающего внимания, кроме этой особенности, ибо такую пустую и ничтожную

тему самый искусный мастер не смог бы обработать так, чтобы стоило о ней рассказывать. Однако, сударыня, задавшись целью изобразить в этой книге мой собственный портрет, я упустил бы в нем одну весьма важную черту, если бы не упомянул о том почтении, которое я всегда питал к вашим заслугам. Я хотел отметить это в посвящении этой главы тем более, что среди других ваших прекрасных качеств одно из первых мест занимает та привязанность, которую вы неизменно выказывали по отношению к вашим детям. Тот, кто знает, в каком молодом возрасте ваш муж, господин д'Этиссак, оставил вас вдовой; тот, кто знает, какие почетные и выгодные предложения делались с тех пор вам, как одной из знатнейших дам Франции; тот, кто знает твердость и постоянство, которое вы неизменно проявляли в течение всех этих лет в управлении имуществом и ведении дел ваших детей в самых различных уголках Франции, что бывало часто связано с огромными трудностями; тот, кто знает, как счастливо они разрешались только благодаря вашей предусмотрительности или удаче, — тот несомненно согласится со мной, что нет в наше время примера более глубокой материнской любви. Я благодарю бога, сударыня, за то, что

эта любовь принесла столь добрые плоды, ибо большие надежды, подаваемые вашим сыном, господином д'Этиссаком, сулят, что, выросши, он выкажет вам признательность и повиновение. Но так как из-за своего малолетства он до сих пор еще не был в состоянии оценить те неисчислимые услуги, которыми он вам обязан, я хотел бы, чтобы эти строки, если они когда-нибудь попадут ему в руки, когда меня уже не будет и я не смогу сказать ему этого, я хотел бы, повторяю, чтобы он воспринял их как чистую правду; она будет ему еще убедительнее доказана теми благими последствиями, которые он ощутит на себе. Правда эта состоит в том, что нет дворянина во Франции, который был бы больше обязан своей матери, чем он, и что он не может дать в будущем лучшего доказательства своей добродетели, чем признав, насколько он вам обязан.

Если существует действительно какой-либо естественный закон, то есть некое исконное и всеобщее влечение, свойственное и животным, и людям (что далеко, впрочем, не бесспорно), то, по-моему, на следующем месте после присущего всем животным стремления оберегать себя и избегать всего вредоносного стоит любовь родителей к своему потомству. И так как природа

как бы предписала ее нам с целью содействовать дальнейшему плодотворному развитию вселенной, то нет ничего удивительного в том, что обратная любовь детей к родителям не столь сильна.

К этому надо еще добавить наблюдение Аристотеля[3] [broken link: #nb8_3], что делающий кому-либо добро любит его сильнее, чем сам им любим; и что заимодавец любит своего должника больше, чем тот его, совершенно так же, как всякий мастер больше любит свое творение, чем любило бы его это творение, обладай оно способностью чувствовать. Мы ведь дорожим своим бытием, а бытие состоит в движении и действии, так что каждый из нас до известной степени вкладывает себя в свое творение. Кто делает добро, совершает прекрасный и благородный поступок, а тот, кто принимает добро, делает только нечто полезное; полезное же гораздо менее достойно любви, чем благородное. Благородное твердо и постоянно; оно доставляет тому, кто сделал его, прочное чувство удовлетворения. Полезное легко утрачивается и исчезает; оно не оставляет по себе столь живого и отрадного воспоминания. Мы больше ценим те вещи, которые достались нам дорогой ценой; и давать труднее, чем брать.

Так как богу угодно было наделить нас некоторой способностью суждения, чтобы мы не были рабски подчинены, как животные, общим законам и могли применять их по нашему разумению и доброй воле, то мы должны до известной степени подчиняться простым велениям природы, но не отдаваться полностью ее власти, ибо руководить нашими способностями призван только разум. Что касается меня, то я мало расположен к тем склонностям, которые возникают у нас без вмешательства разума. Я, например, не могу проникнуться той страстью, в силу которой мы целуем новорожденных детей, еще лишенных душевных или определенных физических качеств, которыми они способны были бы внушить нам любовь к себе. Я поэтому не особенно любил, чтобы их выхаживали около меня. Подлинная и разумная любовь должна была бы появляться и расти по мере того, как мы узнаем их, и тогда, если они этого заслуживают, естественная склонность развивается одновременно с разумной любовью и мы любим их настоящей родительской любовью; но точно так же и в том случае, если они не заслуживают любви, мы должны судить о них, всегда обращаясь к разуму и подавляя естественное влечение. Между тем очень

часто поступают наоборот, и чаще все мы больше радуемся детским шалостям, играм и проделкам наших детей, чем их вполне сознательным поступкам в зрелом возрасте, словно бы мы их любили для нашего развлечения, как мартышек, а не как людей. И нередко тот, кто щедро дарил им в детстве игрушки, оказывается очень скупым на малейший расход, необходимый им, когда они подросли. Похоже на то, что мы завидуем, видя, как они радуются жизни, между тем как нам необходимо уже расставаться с ней, и эта зависть заставляет нас быть по отношению к ним более скаредными и сдержанными: нас раздражает, что они идут за нами по пятам, как бы убеждая нас уйти поскорее. И если бы мы должны были этого бояться — ибо в силу извечного порядка вещей они действительно могут жить лишь за счет нашего существа и нашей жизни, — то нам не следовало бы становиться отцами.

Что касается меня, то я нахожу жестоким и несправедливым не уделять детям части нашего имущества, не делать их совладельцами наших благ и соучастниками в наших имущественных делах, когда они стали уже способными их вести; я нахожу, что мы обязаны урезывать наши блага в их пользу, ибо ведь для этого мы породили

их на свет. Это величайшая несправедливость — когда старый, больной и еле живой отец один пользуется, греясь у очага, доходами, которых хватило бы на содержание нескольких детей; когда он заставляет их, за недостатком средств, терять лучшие годы, не имея возможности продвинуться на государственной службе и узнать людей. Их приводят этим в отчаяние и побуждают стараться всякими путями, как бы дурны они ни были, обеспечить себя; и в самом деле, я видел на своем веку немало молодых людей из хороших семей, ставших такими закоренелыми ворами, что их ничем нельзя было уже вернуть на путь истинный. Я знаю одного такого человека из хорошей семьи, с которым я однажды говорил по этому поводу по просьбе его брата, весьма порядочного и почтенного дворянина. Бедняга прямо признался мне, что на этот злополучный и грязный путь его толкнули черствость и скупость его отца и что он теперь так привык к этому, что не может жить иначе; и действительно, вскоре после этого он был изобличен в том, что украл кольца у одной дамы, на утреннем приеме которой он находился вместе с другими людьми. Это напомнило мне рассказ, который мне довелось услышать от другого дворянина, так пристра-

стившегося с молодых лет к этому злосчастному занятию, что впоследствии, вступив во владение своим имуществом и решив избавиться от своего порока, он не в состоянии был удержаться и пройти мимо лавки, не украв какой-нибудь вещи, которая была ему нужна, с тем чтобы потом послать деньги за нее. Я видел людей, до того пристрастившихся к этому пороку и погрязших в нем, что даже у своих товарищей они крали вещи, которые потом возвращали. Я — гасконец, но не знаю порока, который был бы мне более непонятен. Я его еще больше ненавижу чувством, чем разумом. Даже в помысле моем я не мог бы ни у кого ничего похитить. Гасконцы пользуются в этом отношении более дурной славой, чем другие народы Франции, хотя мы не раз видели в наши дни, что в руки правосудия попадали родовитые люди из других частей страны, уличенные в гнусных кражах. Я подозреваю, что в этом беспутстве отчасти повинен названный порок отцов.

Быть может, мне приведут в виде возражения то, что сказал один разумный вельможа, заявивший, что он копит богатства лишь для того, чтобы быть почитаемым и ценимым своими близкими, и, так как старость отняла у него все другие возможности, это единственное остав-

шееся ему средство поддержать свою власть в семье и избежать всеобщего презрения (напомним, что, по словам Аристотеля[4] [broken link: #nb8_4], не только старость, но и всякая вообще умственная слабость порождает скупость). В этом есть некоторая доля истины, но ведь это лишь лекарство против болезни, самого возникновения которой не следует допускать. Жалок отец, если любовь детей к нему зависит лишь от того, что они нуждаются в его помощи. Да и можно ли вообще называть это любовью? Следует внушать уважение своими добродетелями и рассудительностью, а любовь — добротой и мягкостью. Даже прах благородного человека заслуживает уважения: мы привыкли воздавать почет и окружать поклонением даже останки выдающихся людей. У человека, достойно прожившего свою жизнь, не может быть настолько убогой и жалкой старости, чтобы она из-за этого не внушала уважения, в особенности его собственным детям, которых с малолетства надлежало приучить к исполнению своего долга убеждением, а не принуждением, грубостью, скупостью или суровостью:

*Et errat longe, mea quidem sententia,*
*Qui imperium credat esse gravius aut*

*stabilius*

*Vi quod fit, quam illud quod amicitia adiungitur.[5] [broken link: #nb8_5]*

Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что того, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и уменья, нельзя добиться и силой[6] [broken link: #nb8_6]. Такое воспитание получил я сам. Рассказывают, что в раннем детстве меня всего два раза высекли, и то лишь слегка. Своих детей я воспитывал в том же духе; к несчастью, все они умирали в младенческом возрасте; этой участи счастливо избежала лишь только дочь моя Леонор[7] [broken link: #nb8_7], к которой до шестилетнего возраста и позднее никогда не применялось никаких других наказаний за ее детские провинности, кроме словесных внушений, да и то всегда очень мягких (что вполне отвечало снисходительности ее матери). И если бы даже мои намерения в отношении воспитания и не оправдали себя на деле, это можно было бы объяснить многими причинами, не опорочивая моего метода воспитания, который правилен и естественен. С мальчика-

ми в этом отношении я рекомендовал бы быть особенно сдержанными, ибо они еще в меньшей мере созданы для подчинения и предназначены к известной независимости; я поэтому постарался бы развить в них пристрастие к прямоте и непосредственности. Между тем от розог я не видел никаких других результатов, кроме того, что дети становятся от них только более трусливыми и лукаво упрямыми.

Если мы хотим, чтобы наши дети любили нас, если мы хотим лишить их повода желать нашей смерти (хотя никакой вообще повод для такого ужасного положения нельзя считать законным и простительным — nullum scelus rationem habet[8] [broken link: #nb8_8]), то нам следует разумно сделать для них все, что в нашей власти. Поэтому нам не следует жениться очень рано, дабы не получалось, что наш возраст очень близок к возрасту наших детей, так как это обстоятельство создает для нас большие неудобства. Я особенно имею в виду наше дворянство, которое ведет праздную жизнь и живет, как выражаются, только своими рентами, ибо в тех семьях, где средства к существованию добываются трудом, наличие большого числа детей облегчает ведение хозяйства, так как оно означает наличие

дополнительного числа рабочих рук или орудий.

Я женился, когда мне было тридцать три года, и поддерживаю приписываемое Аристотелю мнение[9] [broken link: #nb8_9], что жениться следует в тридцать пять лет. Платон требует[10] [broken link: #nb8_10], чтобы женились не ранее тридцати лет, но он прав, когда смеется на теми, кто вступает в брак после пятидесяти лет, и считает, что потомство таких людей не пригодно к жизни.

Фалес[11] [broken link: #nb8_11] установил в этом вопросе наиболее правильные границы. Когда он был очень молод и мать убеждала его жениться, он отвечал ей, что еще не пришло время, а состарившись, заявлял, что уже поздно. Следует отказываться от всяких несвоевременных действий.

Древние галлы считали весьма предосудительным иметь сношения с женщиной, не достигнув двадцатилетнего возраста, и настойчиво советовали мужчинам, готовившимся к военному поприщу, по возможности дольше сохранять девственность, ибо близость с женщинами ослабляет мужество[12] [broken link: #nb8_12].

*Ma hor congiunto à giovinetta sposa,*
*Lieto homai de'figli, era invilito*

*Ne gli affetti di padre e di marito.[13] [broken link: #nb8_13]*

Из истории Греции мы знаем, что Икк Тарентский, Крисон, Астил, Диопомп и другие, желая сохранить свои силы нерастраченными для олимпийских игр, гимнастических и других состязаний, воздерживались во время подготовки к ним от всяких любовных дел[14] [broken link: #nb8_14].

Султан Туниса Мулей Гасан[15] [broken link: #nb8_15], которого император Карл V восстановил на троне, не смог простить своему отцу даже после его смерти его непрестанных похождений с женщинами и называл его бабой, плодящей детей.

В некоторых областях Америки, завоеванных испанцами, мужчинам запрещалось жениться ранее сорокалетнего возраста, женщинам же разрешалось уже в десять лет вступать в брак[16] [broken link: #nb8_16]. Тридцатипятилетнему дворянину еще не время уступать место своему двадцатилетнему сыну: это возраст, когда он еще сам может участвовать в военных походах и являться ко двору своего государя. Ему самому нужны для этого деньги; он, разумеется, должен уделять часть из них детям, но такую лишь, что-

бы это не стесняло его самого. Это положение правильно отражает тот ответ, который обычно на устах у отцов и который гласит: «Я не хочу раздеваться раньше, чем мне придется лечь спать».

Но отец, отягощенный годами и болезнями, лишенный из-за своих немощей и старости возможности занимать свое место в обществе, поступает несправедливо по отношению к своим детям, продолжая бесплодно оберегать свои богатства. Если он умен, то вполне уместно, чтобы у него явилось желание раздеться прежде, чем лечь спать, — раздеться не до рубашки, а вплоть до очень теплого халата; все же остальные роскошества, которые ему уже не по зубам, он должен с готовностью раздать тем, кому они должны по закону природы принадлежать. Вполне естественно, чтобы он предоставил детям пользоваться ими, поскольку природа лишает его самого этой возможности; иначе здесь проявится злая воля и зависть. Лучшим из поступков императора Карла V было умение признать (по примеру некоторых древних мужей под стать ему), что разум повелевает нам раздеться, если наше платье отягощает нас и мешает нам, и что следует лечь, если ноги нас больше не держат. Почувствовав, что он не в силах больше вести

дела с прежней твердостью и силой, он отказался от своих богатств, почестей и власти в пользу сына[17] [broken link: #nb8_17].

> *Solve senescentem mature sanus equum, ne Peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat.[18] [broken link: #nb8_18]*

Это неумение вовремя остановиться и ощутить ту разительную перемену, которая с возрастом естественно происходит в нашем теле и в нашей душе (причем, на мой взгляд, эта перемена в одинаковой мере относится и к телу, и к душе, а возможно, что к душе даже больше), погубило славу многих великих людей. Я видел на своем веку и близко знавал весьма выдающихся людей, у которых на моих глазах поразительным образом угасали былые качества, по слухам, отличавшие их в их лучшие годы. Я предпочел бы, чтобы они, ради их собственной чести, удалились на покой и отказались от тех государственных и военных постов, которые стали им не по плечу. Я когда-то, как свой человек, бывал в доме одного дворянина-вдовца, очень старого, но еще бодрого. У него было несколько дочерей на выданье и сын, которому пришло время показываться в свет, что было связано с множеством расходов

и с посещениями разных посторонних людей, бывавших в отеческом доме. Все это вызывало неудовольствие отца, не столько по причине лишних расходов, сколько потому, что ввиду своего преклонного возраста он усвоил образ жизни, глубоко отличный от нашего. Однажды я довольно смело, как обычно с ним говорил, заявил ему, что ему следовало бы освободить для нас место, что лучше ему было бы предоставить сыну главный дом (ибо только он один был хорошо расположен и обставлен), а самому устроиться в одном из соседних его поместий, где никто не будет нарушать его покоя, так как иначе он не сможет избавиться от тех неудобств, которые связаны с образом жизни его детей. Он последовал моему совету и остался доволен.

Я не хочу, однако, этим сказать, что нельзя взять назад уступленных детям прав. Я предоставил бы детям (и в ближайшем будущем намерен сам так поступить) возможность пользоваться моим домом и моими поместьями, но с правом отказать им в этом, если они дадут к тому повод. Я предоставил бы им пользование всем моим имуществом, когда это стало бы для меня обременительным; но общее управление им я сохранил бы за собой в той мере, в какой мне было бы это

желательно, так как я всегда считал, что для состарившегося отца должно быть большой радостью самому ввести своих детей в управление своими делами и иметь возможность, пока он жив, проверять их действия, давать им советы и наставления на основании своего опыта; большой радостью должно быть для него иметь возможность самому поддерживать благополучие своего дома, перешедшего в руки его преемников, и укрепиться таким образом в надеждах, которые он может возлагать на них в будущем. Поэтому я не стал бы сторониться их общества, а, наоборот, хотел бы находиться около них и наслаждаться — в той мере, в какой мне это позволил бы мой возраст, — их радостями и их увеселениями. Если бы даже я не жил общей с ними жизнью (так как в этом случае я омрачал бы их общество печалями моего возраста и моих болезней, а кроме того, меня это вынудило бы нарушить мой новый образ жизни), я бы, по крайней мере, постарался жить около них в какой-нибудь части моего дома, не в самой парадной, но в наиболее удобной. Я не хотел бы повторить того, что мне пришлось видеть несколько лет назад на примере декана монастыря св. Илария в Пуатье; подавленный тяжелой меланхолией, он жил таким отшельником, что

перед тем, как я вошел в его комнату, он двадцать два года ни разу не выходил из нее, и, несмотря на это, был в полном здравии, не считая того, что изредка страдал желудком. Очень неохотно разрешал он кому-нибудь хоть раз в неделю его проведать и всегда сидел взаперти, в полном одиночестве. Только раз в день к нему входил слуга, приносивший пищу, после чего сразу же уходил. Все его занятия состояли в том, что он расхаживал по комнате или читал какую-нибудь книгу — ибо он был не чужд литературе, — твердо решив так и окончить свою жизнь, что с ним в скором времени и случилось.

Я бы попытался в сердечных беседах внушить моим детям искреннюю дружбу и неподдельную любовь к себе, чего нетрудно добиться, когда имеешь дело с добрым существом; если же они подобны диким зверям (а таких детей в наш век тьма-тьмущая), их надо ненавидеть и бежать от них. Мне не нравится обычай некоторых отцов, запрещающих детям применять к ним обращение «отец» и вменяющих детям в обязанность называть их более уважительными именами, как если бы природа недостаточно позаботилась о соблюдении нашего авторитета. Называем же мы всемогущего бога отцом, так почему же мы

не хотим, чтобы наши дети так называли нас? Безрассудно и нелепо также со стороны отцов не желать поддерживать со своими взрослыми детьми непринужденно-близкие отношения и принимать в общении с ними надутый и важный вид, рассчитывая этим держать их в страхе и повиновении. Но на деле это бессмысленная комедия, делающая отцов в глазах детей скучными или — что еще хуже — потешными: ведь их дети молоды, полны сил, и им, следовательно, море по колено, а потому им смешны надменные и властные гримасы бессильного и дряхлого старца, напоминающего пугало на огороде. Если бы речь шла обо мне, я бы скорее предпочел, чтобы меня любили, чем боялись[19] [broken link: #nb8_19].

Старость связана с множеством слабостей, она так беспомощна, что легко может вызывать презрение; поэтому наилучшее приобретение, какое она может сделать, это любовь и привязанность близких. Приказывать и внушать страх — не ее оружие. Я знал одного человека, который в молодости был необычайно властным; а теперь, состарившись, он, сохраняя превосходное здоровье, стал бросаться на людей, дико ругаться, драться, словом, сделался величайшим буяном во Франции; денно и нощно его гнетут заботы о

хозяйстве, и он зорко следит за ним. Но все это сплошная комедия, так как все его домашние в заговоре против него: хотя он бережет как зеницу ока ключи от всех замков, другие широко пользуются его житницами, его кладовой и даже его кассой. В то время как он скаредничает и старается выгадать на своей пище, в его доме, в разных частях его, расшвыривают, проигрывают и растрачивают его добро, посмеиваясь над его бессильным гневом и бдительностью. Все в доме на страже против него. Стоит кому-нибудь из слуг проявить преданность к нему, как тотчас же домашние стараются вызвать в нем к этому слуге подозрительность, которая старикам весьма свойственна. Он неоднократно похвалялся мне, что держит своих домашних в узде, что они полностью повинуются ему и относятся к нему с почтением, хвастался тем, как проницательно ведет свои дела, —

> *Ille solus nescit omnia.[20] [broken link: #nb8_20]*

Я не знаю человека, который обладал бы более подходящими природными или приобретенными качествами, необходимыми для управления имуществом, чем этот дворянин, и при всем

том он беспомощен, как ребенок. Вот почему я и выбрал его как наиболее яркий пример среди многих других известных мне подобных же случаев.

Лишь предметом бесплодного школьного диспута мог бы явиться вопрос: что для этого старца лучше: знать ли правду или чтобы все обстояло так, как оно есть? С виду все ему повинуются. Мнимое признание его власти заключается в том, что ему никогда ни в чем не перечат: ему верят, его боятся, его всячески почитают. Если он выгоняет слугу, тот складывает свои пожитки и уходит, но в действительности только исчезает с его глаз. Старость так мало подвижна, зрение и прочие чувства у стариков так ослаблены, что слуга может целый год жить и исполнять свои обязанности в том же доме, оставаясь незамеченным. А когда наступает подходящий момент, то делают вид, будто откуда-то из дальних краев пришло жалобное, умоляющее письмо, полное обещаний исправиться, и слугу прощают и восстанавливают в должности. Если старик-хозяин совершает какое-нибудь действие или отдает письменное распоряжение, которые не угодны его домашним, то их не выполняют, а затем придумывают тысячу предлогов, оправдывающих

это. Письма со стороны никогда не передаются ему тотчас же по их получении, кроме тех, которые считают возможным довести до его сведения. Если же какое-нибудь нежелательное письмо случайно попадет ему в руки, то — так как он всегда поручает кому-нибудь читать ему вслух — немедленно устраивается так, что он получает то, что желательно окружающим: например, что такой-то просит у него прощения, между тем как в письме содержатся самые оскорбительные вещи. Не желая огорчать старика или вызывать его гнев, ему представляют его дела в извращенном и приукрашенном виде, лишь бы только он был доволен. Я встречал довольно много семей, где в течение долгого времени, а иногда даже постоянно, жизнь шла подобным же образом, лишь с небольшими различиями.

Жены всегда склонны перечить мужьям. Они используют любой повод, чтобы поступить наоборот, и малейшее извинение для них равносильно уже полнейшему оправданию. Я знал одну женщину, которая утаивала от своего мужа изрядные суммы, чтобы, как она призналась своему духовнику, иметь возможность более щедро раздавать милостыню. Верь, кто хочет, этому благочестивому предлогу! Всякое распоряжение деньгами

кажется им недостаточно почтенным, если оно совершается с согласия мужа; они должны обязательно захватить его в руки либо хитростью, либо упрямством, но всегда каким-нибудь способом: без этого они не почувствуют ни полноты своей власти, ни удовольствия от нее. И когда такие их действия — как в только что описанном случае — направлены против несчастного старика и в пользу детей, они хватаются за этот предлог и дают волю своей страсти, составляя заговор против господства главы дома. Если у него есть взрослые и полные сил сыновья, они быстро, лаской или таской, подчиняют себе домоправителя, казначея и всех прочих служащих. Если же у бедняги нет ни жены, ни сыновей, он не так легко попадает в эту беду, но зато, когда это случается, он страдает еще более жестоко и унизительно. Катон Старший говорил[21] [broken link: #nb8_21] в свое время, что сколько у человека слуг, столько у него и врагов. Не хотел ли он нас предупредить, что у нас будет столько же врагов, сколько жен, сыновей и слуг: ведь его время славилось большей чистотой нравов, нежели наше. При старческой немощи большим облегчением является благодетельная способность многого не замечать, не знать и легко поддаваться об-

ману. Но что сталось бы с нами, если бы мы все это сознавали, особенно в наше-то время, когда судьи, призванные решать наши тяжбы, обычно становятся на сторону детей и потому бывают пристрастны.

Допуская даже, что я не замечаю этого надувательства, я во всяком случае отлично вижу, что могу стать его жертвой. Найдется ли достаточно слов, чтобы выразить, сколь ценен — по сравнению с такими общественными связями — истинный друг? Один образ такой дружбы, которую я наблюдаю в самом чистом виде среди животных, преисполняет меня чувством почтительности и благоговения.

Если другие меня обманывают, то я во всяком случае не обманываюсь и сознаю, что неспособен уберечь себя от обмана. Однако я и не ломаю себе голову над тем, чтобы этого достигнуть. От подобных обманов я спасаюсь тем, что ухожу в себя, но побуждаемый к тому не смятением и тревожной любознательностью, а скорее по внутреннему решению и чтобы отвлечься. Когда мне рассказывают о делах какого-нибудь постороннего человека, я не смеюсь над ним, а обращаю тотчас же свой взор на себя и смотрю, как обстоит дело у меня самого. Все, что касается другого, относится

и ко мне. Приключившаяся с ним беда служит мне предупреждением и настораживает меня. Ежедневно и ежечасно мы говорим о других людях то, что мы скорее сказали бы о себе, если бы умели так же строго судить себя, как судим других.

Так поступают многие авторы: они вредят делу, которое защищают, безрассудно нападая сами на своих противников и бросая им такие упреки, которые должны были бы быть обращены против них же самих.

Покойный маршал де Монлюк[22] [broken link: #nb8_22], потеряв сына, смелого и подававшего большие надежды человека, погибшего на острове Мадейре, горько жаловался мне на то, что среди многих других сожалений его особенно мучит и угнетает то, что он никогда не был близок с сыном. В угоду личине важного и недоступного отца, которую он носил, он лишил себя радости узнать как следует своего сына, поведать ему о своей глубокой к нему привязанности и сказать ему, как высоко он ценил его доблесть. Таким образом, рассказывал Монлюк, бедный мальчик встречал с его стороны только хмурый, насупленный и пренебрежительный взгляд, сохранив до конца убеждение, что тот не смог ни полюбить,

ни оценить его по достоинству: «Кому же еще мог я открыть эту нежную любовь, которую я питал к нему в глубине души? Не он ли должен был испытать всю радость этого чувства и проявить признательность за него? А я сковывал себя и заставлял себя носить эту бессмысленную маску; из-за этого я лишен был удовольствия беседовать с ним, пользоваться его расположением, которое он мог выказывать мне лишь очень холодно, всегда встречая с моей стороны только суровость и деспотическое обращение». Я думаю, что эта жалоба была справедлива и основательна, ибо хорошо знаю по опыту, что когда умирают наши друзья, то нет для нас лучшего утешения, чем сознание, что мы ничего не забыли им сказать и находились с ними в полнейшей и совершенной близости.

Я открываюсь моим близким, насколько могу; с большой готовностью я выражаю им свое расположение и высказываю свое суждение о них, так же как я делаю это по отношению ко всякому человеку. Я спешу проявить и показать свое отношение, так как не хочу вводить на этот счет в заблуждение в каком бы то ни было смысле.

У наших древних галлов, по словам Цезаря[23] [broken link: #nb8_23], в числе других особенных

обычаев был следующий: сыновья могли появляться перед отцами и находиться при народе около них только после достижения воинского возраста; этим самым как бы хотели сказать, что наступил момент, когда отцы должны принять их в свой круг и сблизиться с ними.

Мне пришлось столкнуться и с другого рода несправедливостью некоторых отцов в мое время: не довольствуясь тем, что они в течение долгой своей жизни лишали своих детей причитавшейся им доли имущества, они еще завещали своим женам всю власть над всем своим имуществом и право распоряжаться им по своему усмотрению. Я знал одного сеньора, из числа виднейших служителей короны, который должен был получить в наследство ренту более чем в пятьдесят тысяч экю, а умер в нужде и обремененный долгами на шестом десятке, между тем как его совсем уже дряхлая мать пользовалась всем состоянием, ибо таково было распоряжение его отца, прожившего около восьмидесяти лет. Такое отношение к детям отнюдь не кажется мне разумным.

Я нахожу неразумным, когда человек, дела которого идут хорошо, ищет себе жену с большим приданым: деньги со стороны всегда приносят в

семью беду. Мои предки обычно придерживались этого правила и я со своей стороны также последовал ему. Но те, кто не советуют нам жениться на богатых невестах, ссылаясь на то, что с ними труднее иметь дело и что они менее признательны, ошибаются и упускают некое реальное благо ради сомнительной догадки. Взбалмошной женщине ничего не стоит менять свои намерения. Женщины больше всего довольны собой в тех случаях, когда они кругом неправы. Неправота привлекает их, подобно тому как хороших женщин подстрекает честь их добродетельных поступков; чем они богаче, тем они добрее, и, подобно этому, чем они красивее, тем более склонны к целомудрию.

Правильно оставлять управление всеми имущественными делами семьи в руках матери, пока дети не достигли требующегося по закону совершеннолетия; но плохо воспитал своих сыновей тот отец, который не питает уверенности, что, став взрослыми, они не смогут вести дела лучше и искуснее, чем его жена, представительница слабого пола. Однако было бы, разумеется, еще более противоестественно, если бы благополучие матери зависело от детей. Для матерей следует щедро выделять средства, чтобы они могли жить,

как того требует обстановка их дома и как им полагается по их возрасту, принимая во внимание, что они гораздо менее приспособлены к перенесению нужды и лишений, чем их мужское потомство; поэтому следует возложить это бремя скорее на детей, чем на мать.

Вообще, наиболее разумным разделом нашего имущества перед смертью является, по-моему, раздел его согласно принятому в стране обычаю. Существующие на этот счет законы тщательно продуманы, так что уж лучше пусть они иной раз в чем-нибудь погрешат, нежели погрешим мы сами, действуя наобум. Наши блага не вполне являются нашими, ибо, согласно установлениям, сложившимся без нашего участия, они предназначены для наших преемников. И хотя мы обладаем некоторой свободой распоряжаться ими и за пределами нашей жизни, я считаю, что должны быть очень веские и убедительные причины, чтобы заставить нас лишить человека состояния, которое ему предназначено и полагается по установленному закону; иначе это будет злоупотреблением нашей свободой вопреки разуму и в угоду нашим случайным и пустым прихотям. Судьба была милостива ко мне в этом отношении, избавив меня от поводов, которые

могли бы меня соблазнить и заставить нарушить общепринятый закон. Но я знаю немало людей, в отношении которых длительная служба и помощь оказалась впустую потраченным временем: одно неудачное и плохо воспринятое слово уничтожает иной раз заслуги десятка лет. Счастлив тот, кому удается загладить впечатление от такого слова в момент составления завещания! Обычно же последнее впечатление берет верх: не лучшие и обычные услуги, а самые последние, удержавшиеся в памяти жесты решают все. Такие люди играют своими завещаниями, словно кнутом и пряником, для наказания или награждения заинтересованных лиц за отдельные их поступки. Завещание — вещь слишком серьезная и имеющая слишком важные последствия, чтобы можно было позволить себе непрерывно менять его; вот почему люди умные составляют его раз и навсегда, сообразуясь с доводами разума и принятыми в стране установлениями.

Мы придаем чересчур большое значение наследованию по мужской линии и охвачены нелепым желанием увековечить наши имена. Мы возлагаем также слишком большие надежды на способности наших детей. В отношении меня могла быть ненароком учинена несправедливость и

меня могли передвинуть с занимаемого мною по старшинству места, так как я был самым вялым и самым несмышленым ребенком, самым медлительным и самым ленивым не только из всех своих братьев, но и из всех детей моей округи, как в умственных занятиях, так и в физических упражнениях. Глупо производить необычные разделы наследства на основании таких предзнаменований, которые потом часто оказываются ошибочными. Если уж можно нарушить обычный порядок и исправить выбор, который судьбе угодно было установить в отношении наших наследников, то с большим основанием можно это сделать при наличии какого-нибудь значительного и заметного физического уродства, то есть постоянного и неисправимого недостатка, являющегося для рьяных ценителей красоты важным изъяном.

Нижеследующий занятный диалог между законодателем Платоном и его согражданами окажется здесь уместным[24] [broken link: #nb8_24]. «Почему, — спрашивают они, чувствуя приближение смерти, — мы не можем распорядиться тем, что нам принадлежит, и отказать наше имущество тому, кому хотим? Какая жестокость, о боги, что мы не вправе отказать по

нашему усмотрению нашим близким, одному больше, другому меньше, в зависимости от того, насколько плохо или хорошо они относились к нам в старости, во время наших болезней и при разных наших делах?» На что законодатель отвечает так: «Друзья мои, вам, которым несомненно предстоит вскоре умереть, трудно разобраться в вашем нынешнем имуществе, да и в самих себе, как это предписывает дельфийская надпись[25] [broken link: #nb8_25]. Вот почему я, устанавливающий законы, говорю: вы не принадлежите себе, и это имущество, которым вы пользуетесь, не принадлежит вам; все нынешнее поколение и его имущество принадлежит всей совокупности предшествовавших и будущих поколений, а еще в большей мере государству. Поэтому я не позволю, чтобы какая-нибудь одолевшая вас страсть или какой-нибудь проныра, подольстившийся к вам в годы вашей старости или во время вашей болезни, внушали вам мысль составить несправедливое завещание. Но, относясь с уважением к тому, что наиболее полезно и государству в целом, и вашему роду, я установлю соответствующие законы и заставлю признать разумным, что частное благо отдельного гражданина должно подчиняться общему интересу. А вы шествуйте

смиренно и добровольно по пути, свойственному человеческой природе. Мне, который в меру сил охраняет общий интерес и для которого одна вещь не более важна, чем другая, надлежит позаботиться об оставляемом вами имуществе».

Возвращаясь к моему рассуждению, должен сказать следующее: мне представляется, что при всех условиях мужчины не должны находиться в подчинении у женщин — за исключением естественного подчинения материнской власти, — если только это не делается в наказание тем мужчинам, которые, поддавшись какому-то бурному порыву, сами добровольно подчинились женщинам. Но это не относится к старым женщинам, о которых здесь идет речь. Очевидность этого соображения побудила нас измыслить и начать применять тот самый закон[26] [broken link: #nb8_26], которого никто никогда не видел и на основании которого женщины лишаются права наследования французского престола. Нет в мире такой сеньории, где на этот закон не ссылались бы так же, как и у нас, в силу видимой его разумности, хотя в одних странах он получил случайно более широкое распространение, чем в других. Опасно представлять раздел нашего наследства на усмотрение женщин на основании

того выбора между детьми, который они сделают, ибо выбор этот всегда будет несправедливым и пристрастным. Те болезненные причуды и влечения, которые проявляются у женщин во время беременности, таятся в их душах всегда. Сплошь и рядом видишь, что они особенно привязываются к детям, более слабым и обиженным природой, или к тем, которые еще сидят у них на шее. Не обладая достаточной рассудительностью, чтобы выбрать того из детей, кто этого заслуживает, они легко отдаются природным влечениям и похожи в этом отношении на животных, которые знают своих детенышей лишь до тех пор, пока их кормят.

Между тем легко убедиться на опыте, что та естественная привязанность, которой мы придаем такое огромное значение, имеет очень слабые корни. Мы постоянно заставляем женщин за ничтожную плату бросать кормление своих детей, чтобы выкормить наших; мы заставляем их передавать своих детей какой-нибудь хилой кормилице, которой мы не хотим отдавать наших детей, или даже просто козе; мы запрещаем этим женщинам не только кормить грудью их собственных детей, как бы вредоносно это для них ни было, но и вообще сколько-нибудь заботиться о

них, чтобы это не мешало кормилице полностью отдаваться нашим детям. И в результате у многих из это их женщин в силу привычки появляется более сильная привязанность к выкормленным ими чужим детям, чем к своим собственным, и большая забота об их благополучии. Что же касается упомянутых мною коз, то это довольно распространенное явление в моих краях, где деревенские женщины, когда они сами лишены возможности кормить своих детей, пользуются для этой цели козами; у меня в настоящее время работают двое слуг, которые в младенчестве всего лишь неделю пробыли на женском молоке. Козы очень быстро приучаются давать вымя малышам, узнают их по голосу, когда они плачут, и спешат сами к ним. Если вместо их питомца им подкладывают другого, они отворачиваются от него, и так же поступает ребенок, когда к нему подводят другую козу. Я видел недавно ребенка, у которого отняли его козу, потому что его отец не мог больше получать ее от соседа; ребенок не смог привыкнуть к другой приставленной к нему козе и умер, несомненно, от голода. Животные с не меньшим успехом, чем люди, способны отклонить естественную привязанность от ее обычного пути.

Геродот рассказывает, что в одной из областей Ливии мужчины свободно сходятся с женщинами, но как только родившийся от такой связи ребенок начинает ходить, он отыскивает в толпе своего отца и узнает его в том мужчине, к которому по естественной склонности устремляются его первые шаги[27] [broken link: #nb8_27]. Но я думаю, что здесь часто бывали ошибки.

Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами, и называем их нашим вторым «я», а между тем существует другое наше порождение, всецело от нас исходящее и не меньшей ценности: ведь то, что порождено нашей душой, то, что является плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более благородным органам, чем наши органы размножения; эти создания еще более наши, чем дети; при этом творении мы являемся одновременно и матерью и отцом, они достаются нам гораздо труднее и приносят нам больше чести, если в них есть что-нибудь хорошее. Ведь достоинства наших детей являются в большей мере их достоинствами, чем нашими, и наше участие в них куда менее значительно, между тем как вся красота, все изящество и вся ценность наших духовных творений принадлежат всецело нам.

Поэтому они гораздо ярче представляют и отражают нас, чем физическое наше потомство.

Платон замечает по этому поводу, что наши духовные творения — это бессмертные дети, они приносят своим отцам бессмертие и даже обожествляют их, как, например, случилось с Ликургом, Солоном, Миносом[28] [broken link: #nb8_28].

Страницы истории пестрят примерами любви отцов к своим детям, и мне представляется уместным привести здесь некоторые из них.

Гелиодор, добрейший епископ города Трикки, предпочел лишиться своего почтенного сана, доходов и всего связанного с его высокой должностью, чем отречься от своей дочери, которая жива и хороша еще поныне, хотя для дочери церкви, для дочери священнослужителя она и несколько вольна, и чересчур занята любовными похождениями[29] [broken link: #nb8_29].

Жил в Риме некий Лабиен[30] [broken link: #nb8_30], человек больших достоинств и весьма влиятельный, отличавшийся, помимо других качеств, своими литературными дарованиями; он был, как я полагаю, сыном великого Лабиена, являвшегося при Цезаре во время его войн в Галлии одним из виднейших военачальников,

в дальнейшем же перешел на сторону великого Помпея и проявлял большую доблесть вплоть до момента, когда тот был разбит наголову Цезарем в Испании. Добродетели того Лабиена, о котором я веду здесь речь, создали ему большое число завистников, но особенно, по-видимому, ненавидели его императорские придворные и фавориты за его приверженность к свободе и унаследованную от отца враждебность тирании. Этот образ его мыслей, должно быть, сказался в его писаниях. Враги преследовали его и добились постановления римского сената о сожжении многих опубликованных им сочинений. Именно с Лабиена начался тот новый вид наказания — карать смертью сами произведения, — который с тех пор утвердился в Риме по отношению ко многим другим авторам. Еще не были использованы все средства и достигнуты все пределы жестокости, пока люди не придумали простирать ее на то, что по самой природе своей лишено чувствительности и способности испытывать страдания, как наша посмертная слава и создания человеческого духа, и пока не придумали физически увечить и истреблять человеческие мысли и творения муз. Лабиен не мог примириться с этой утратой и пережить свои, столь дорогие ему создания; он

велел отнести себя в гробницу предков и запереть там живым; так он зараз и покончил с собой и похоронил себя. Трудно найти пример более горячей родительской любви, чем эта. Кассий Север[31] [broken link: #nb8_31], выдающийся оратор и друг Лабиена, видя, как сжигают его книги, воскликнул, что в силу того же самого приговора следует и его самого сжечь живым, ибо он хранит в памяти содержание этих книг.

Подобное же произошло и с Кремуцием Кордом[32] [broken link: #nb8_32], обвиненным в том, что он в своих сочинениях отзывался с похвалой о Бруте и Кассии. Гнусный, пресмыкающийся и разложившийся сенат, достойный еще худшего повелителя, чем Тиберий, приговорил его писания к сожжению; Корд решил погибнуть вместе с ними и уморил себя голодом.

Славный Лукан, будучи осужден негодяем Нероном, приказал своему врачу вскрыть ему на руках вены, желая поскорее умереть. В последние минуты жизни, когда он совсем уже истекал кровью и тело его начало коченеть, объятое смертельным холодом, охватившим его жизненные органы, он принялся декламировать отрывок из своей поэмы о Фарсале[33] [broken link: #nb8_33]; так он и умер с созданными им

стихами на устах. Разве это не было нежным отцовским прощанием со своим детищем, подобным нашему прощанию и поцелую, какими мы обмениваемся с нашими детьми перед смертью? Разве это не было проявлением той естественной привязанности, вызывающей у нас в смертный час воспоминания о вещах, которые в жизни были нам дороже всего?

Когда Эпикур умирал, истерзанный, по его словам, невероятными страданиями, вызванными коликой, его единственным утешением было то, что он оставляет после себя свое учение. Но можно ли думать, что ему доставили бы такую же радость несколько одаренных и хорошо воспитанных детей — если бы они у него были, — как и создание его глубокомысленных творений? И что если бы он был поставлен перед выбором, оставить ли после себя уродливого и неудачного ребенка или же нелепое и глупое сочинение, то он — и не только он, но и всякий человек подобных дарований — не предпочел бы скорее первое, нежели второе? Если бы, например, святому Августину[34] [broken link: #nb8_34] предложили похоронить либо свои сочинения, имеющие такое важное значение для нашей религии, либо же своих детей — в случае, если бы они у него

были, — то было бы нечестивым с его стороны, если бы он не предпочел второе.

Я не уверен, не предпочел ли бы я породить совершенное создание от союза с музами, чем от союза с моей женой.

То, что я отдаю этому духовному созданию[35] [broken link: #nb8_35], я отдаю бескорыстно и безвозвратно, как отдают что-либо своим детям; та малость добра, которую я вложил в него, больше не принадлежит мне; оно может знать много вещей, которых я больше не знаю, и воспринять от меня то, чего я не сохранил, и что я, в случае надобности, должен буду, как совершенно постороннее лицо, заимствовать у него. Если я мудрее его, то оно богаче, чем я.

Немного найдется таких приверженцев к поэзии людей, которые не сочли бы для себя большим счастьем быть отцами «Энеиды», чем самого красивого юноши в Риме, и которые не примирились бы легче с утратой последнего, чем с утратой «Энеиды». Ибо, по словам Аристотеля[36] [broken link: #nb8_36], из всех творцов именно поэты больше всего влюблены в свои творения. Трудно поверить, чтобы Эпаминонд[37] [broken link: #nb8_37], хвалившийся, что он оставляет после себя всего лишь двух дочерей, но таких,

которые в будущем окружат почетом имя их отца (этими дочерьми были две славные его победы над спартанцами), согласился обменять их на самых красивых девушек во всей Греции; и так же трудно представить себе, чтобы Александр Македонский или Цезарь согласились когда-нибудь отказаться от величия своих славных военных подвигов ради того, чтобы иметь детей и наследников, сколь бы совершенными и замечательными они ни были. Я сильно сомневаюсь также, чтобы Фидий[38] [broken link: #nb8_38] или какой-нибудь другой выдающийся ваятель был более озабочен благополучием и долголетием своих детей, чем сохранностью какого-нибудь замечательного своего произведения, художественного совершенства которого он добился в результате длительного изучения и неустанных трудов. Даже если вспомнить о тех порочных и неистовых страстях, которые вспыхивают иногда у отцов к своим дочерям или же у матерей к сыновьям, то и такие страсти загораются иной раз по отношению к духовным созданиям; примером может служить то, что рассказывают о Пигмалионе[39] [broken link: #nb8_39], который, создав статую женщины поразительной красоты, столь страстно влюбился в свое творение, что, снисходя

к его безумию, боги оживили ее для него:

*Tentatum mollescit ebur, positoque rigore*
*Subsedit digitis.[40] [broken link: #nb8_40]*

## Глава IX
## О парфянском вооружении

Дурным обыкновением дворянства нашего времени, свидетельствующим об его изнеженности, является то, что оно облачается в доспехи лишь в момент крайней необходимости и снимает их тотчас же, как только появляются малейшие признаки того, что опасность миновала. Это ведет ко всякого рода непорядкам, ибо в результате того, что все бросаются к своему оружию лишь в момент боя, получается, что одни только еще облачаются в броню, когда их соратники уже разбиты. Наши отцы предоставляли оруженосцам нести только их шлем, копье и рукавицы, сохраняя на себе все остальное снаряжение до окончания военных действий. В наших войсках в настоящее время царит сильнейшая путаница из-за скопления боевого снаряжения и слуг, которые не могут отдаляться от своих господ, имея на руках их вооружение.

Тит Ливий писал про наших предков: «Intolerantissima laboris corpora vix arma humeris gerebant»[1] [broken link: #nb9_1].

Многие народы в старину шли в бой — а некоторые идут еще и сейчас — совсем без оборонительного оружия или очень легко прикрытыми.

> *Tegmina queis capitum raptus de subere cortex.[2] [broken link: #nb9_2]*

Александр Македонский, храбрейший из всех полководцев, облачался в броню лишь в очень редких случаях, и те из них, кто пренебрегает латами, ненамного ухудшают этим свое положение. Если и случается человеку погибнуть из-за того, что на нем не было брони, то чаще бывало, что она оказывалась помехой и человек погибал, не в силах высвободиться из нее, либо придушенный ее тяжестью, либо скованный ею в своих движениях, либо еще как-нибудь иначе. При виде тяжести и толщины наших лат может показаться, что мы только и думаем, как бы защитить себя, но в действительности они больше обременяют нас, чем защищают. Мы заняты тем, что тащим на себе этот груз, спутанные и стесненные, как если бы наша задача заключалась в том, чтобы бороться с нашим оружием, которое на деле должно было бы нас защищать.

Тацит забавно описывает наших древних галльских воинов[3] [broken link: #nb9_3], которые

были так тяжело вооружены, что только-только были в силах держаться на ногах, будучи не в состоянии ни защищаться, ни нападать, ни даже подняться, когда они бывали опрокинуты.

Лукулл, заметив, что некоторые воины-мидийцы, составлявшие передовую линию в армии Тиграна[4] [broken link: #nb9_4], были столь тяжело и неуклюже вооружены, что казались заключенными в железную тюрьму, решил, что будет нетрудно их опрокинуть, и начал с этого свое нападение, увенчавшееся победой.

Я полагаю, что в настоящее время, когда в большой славе наши мушкетеры, будет сделано какое-нибудь изобретение, чтобы прикрыть и обезопасить нас стенами, и мы будем отправляться на войну, запертые в крепостях, подобных тем, которые древние укрепляли на спинах своих слонов.

Такого рода пожелание очень далеко от того, чего требовал Сципион Младший[5] [broken link: #nb9_5]. Он сурово упрекал своих воинов за то, что они построили под водой западни в тех местах рва, через которые солдаты осажденного им города могли совершать вылазки. Осаждающие должны думать о нападении, а не бояться, заявлял Сципион, справедливо опасаясь, чтобы

эта предосторожность не усыпила бдительность его воинов.

Юноше, который однажды показывал Сципиону свой превосходный щит, он сказал: «Твой щит действительно хорош, сын мой, но римский воин должен больше полагаться на свою правую руку, чем на левую»[6] [broken link: #nb9_6].

Тяжесть военного снаряжения невыносима для нас лишь потому, что мы не привыкли к ней.

> *L'husbergo in dosso haveano, e l'elmo in testa,*
>
> *Dui di quelli guerrier, de i quali io canto.*
>
> *Ne notte o di, dopo ch'entraro in questa*
>
> *Stanza, gli haveano mai messi da canto,*
>
> *Che facile a portar comme la vesta*
>
> *Era lor, perche in uso l'avean tanto.[7] [broken link: #nb9_7]*

Император Каракалла[8] [broken link: #nb9_8] шел в походе впереди своего войска в полном вооружении.

Римские пехотинцы не только имели на себе каску, щит и меч, — ибо, по словам Цицерона, они так привыкли иметь у себя на плечах оружие, что оно столь же мало стесняло их, как

их собственные члены, — «arma enim membra militis esse dicunt»[9] [broken link: #nb9_9], но одновременно они еще несли двухнедельный запас продовольствия и несколько брусьев весом до шестидесяти фунтов, необходимых им для устройства укрытий. С таким грузом солдаты Мария[10] [broken link: #nb9_10] обязаны были за пять часов пройти шесть миль или, в случае спешки, даже семь. Военная дисциплина была у них куда строже, чем у нас, и потому давала совсем иные результаты. В этой связи поразителен следующий случай: одного спартанского воина упрекали в том, что во время похода его видели однажды под крышей дома. Они были до такой степени приучены к трудностям, что считалось позором находиться под иным кровом, чем под открытым небом, и в любую погоду. Сципион Младший, перестраивая свои войска в Испании, отдал приказ, чтобы воины его ели только стоя и притом только сырое. При таких порядках мы недалеко ушли бы с нашими солдатами.

Аммиан Марцеллин[11] [broken link: #nb9_11], воспитанный на войнах римлян, отмечает любопытную особенность вооружения у парфян, весьма отличную от системы римского вооружения. Они носили, сообщает он, броню, как бы

сотканную из перышков, не стеснявшую их движений и вместе с тем столь прочную, что, попадая в нее, наши копья отскакивали от нее (это были чешуйки, которыми постоянно пользовались наши предки). В другом месте[12] [broken link: #nb9_12] Марцеллин пишет: «Лошади у них были сильные и выносливые; сами всадники были защищены с головы до ног толстыми железными пластинами, так искусно прилаженными, что, когда надо было, они смещались. Можно было подумать, что это какие-то железные люди; на головах у них были надеты каски, в точности соответствовавшие форме и частям лица, настолько плотно пригнанные, что можно было поразить их только через маленькие круглые отверстия для глаз, пропускавшие свет, или через щели для ноздрей, через которые они с трудом дышали»:

> *Flexilis inductis animatur lamina membris*
> *Horribilis visu; credas simulacra moveri*
> *Ferrea, cognatoque viros spirare metallo,*
> *Par vestitus equis: ferrata fronte minantur*
> *Ferratosque movent, securi vulneris, armos.[13] [broken link: #nb9_13]*

Вот картина, которая очень напоминает опи-

сание снаряжения французского воина во всех доспехах.

Плутарх сообщает, что Деметрий[14] [broken link: #nb9_14] приказал изготовить для себя и для Алкина, первого состоявшего при нем оруженосца, по сплошной броне для каждого, весом в сто двадцать фунтов, между тем как обычная броня весила всего шестьдесят фунтов.

## Глава X
## О книгах

Нет сомнения, что нередко мне случается говорить о вещах, которые гораздо лучше и правильнее излагались знатоками этих вопросов. Эти опыты — только проба моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний; и тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо самодовольство мне чуждо. Кто хочет знания, пусть ищет его там, где оно находится, и я меньше всего вижу свое призвание в том, чтобы дать его. То, что я излагаю здесь, всего лишь мои фантазии, и с их помощью я стремлюсь дать представление не о вещах, а о себе самом; эти вещи я, может быть, когда-нибудь узнаю или знал их раньше, если случайно мне доводилось найти разъяснение их, но я уже не помню его.

Если я и могу иной раз кое-что усвоить, то уже совершенно не способен запомнить прочно. Поэтому я не могу поручиться за достоверность

моих познаний и в лучшем случае могу лишь определить, каковы их пределы в данный момент. Не следует обращать внимание на то, какие вопросы я излагаю здесь, а лишь на то, как я их рассматриваю.

Пусть судят на основании того, что я заимствую у других, сумел ли я выбрать то, что повышает ценность моего изложения. Ведь я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо либо по недостаточной выразительности моего языка, либо по слабости моего ума. Я не веду счета моим заимствованиям, а отбираю и взвешиваю их. Если бы я не хотел, чтобы о ценности этих цитат судили по их количеству, я мог бы вставить их в мои писания вдвое больше. Они все, за очень небольшими исключениями, принадлежат столь выдающимся и древним авторам, что сами говорят за себя. Я иногда намеренно не называю источник тех соображений и доводов, которые я переношу в мое изложение и смешиваю с моими мыслями, так как хочу умерить пылкость поспешных суждений, которые часто выносятся по отношению к недавно вышедшим произведениям еще здравствующих людей, написанным на французском языке, о которых всякий берется судить, воображая себя достаточно в этом деле

сведущим. Я хочу, чтобы они в моем лице поднимали на смех Плутарха или обрушивались на Сенеку. Я хочу прикрыть свою слабость этими громкими именами. Я приветствовал бы того, кто сумел бы меня разоблачить, то есть по одной лишь ясности суждения, по красоте и силе выражений сумел бы отличить мои заимствования от моих собственных мыслей. Ибо, хотя за отсутствием памяти мне самому зачастую не под силу различить их происхождение, я все же, зная мои возможности, очень хорошо понимаю, что роскошные цветы, рассеянные в разных местах моего изложения, отнюдь не принадлежат мне и неизмеримо превосходят мои собственные дарования.

Я обязан дать ответ, есть ли в моих писаниях такие недостатки, которых я не понимаю или неспособен понять, если мне их покажут. Ошибки часто ускользают от нашего взора, но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, то это свидетельствует о том, что неспособны рассуждать здраво. Мы можем, не обладая способностью суждения, обладать и знанием и истиной, но и суждение, со своей стороны, может обходиться без них; больше того: признаваться в незнании, на мой взгляд,

одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума. У меня нет другого связующего звена при изложении моих мыслей, кроме случайности. Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня появляются; иногда они теснятся гурьбой, иногда возникают по очереди, одна за другой. Я хочу, чтобы виден был естественный и обычный ход их, во всех зигзагах. Я излагаю их так, как они возникли; поэтому здесь нет таких вопросов, которых нельзя было бы не знать или о которых нельзя было бы говорить случайно и приблизительно.

Я, разумеется, хотел бы обладать более совершенным знанием вещей, чем обладаю, но я знаю, как дорого обходится знание, и не хочу покупать его такой ценой. Я хочу провести остаток своей жизни спокойно, а не в упорном труде. Я не хочу ломать голову ни над чем, даже ради науки, какую бы ценность она ни представляла. Я не ищу никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занимательности, и занят изучением только одной науки, науки самопознания, которая должна меня научить хорошо жить и хорошо умереть:

> *Has meus ad metas sudet oportet equus.[1] [broken link: #nb10_1]*

Если я при чтении натыкаюсь на какие-нибудь трудности, я не бьюсь над разрешением их, а, попытавшись разок-другой с ними справиться, прохожу мимо.

Если бы я углубился в них, то потерял бы только время и сам потонул бы в них, ибо голова моя устроена так, что я обычно усваиваю с первого же чтения, и то, чего я не воспринял сразу, я начинаю понимать еще хуже, если упорно бьюсь над этим. Я все делаю весело, упорство же и слишком большое напряжение действуют на мой ум удручающе, утомляют и омрачают его. При вчитывании я начинаю хуже видеть, и внимание мое рассеивается. Мне приходится отводить глаза от текста и опять внезапно взглядывать на него; совершенно так же, как для того, чтобы судить о красоте алого цвета, нам рекомендуют несколько раз скользнуть по нему глазами, неожиданно отворачиваясь и взглядывая опять. Если какая-нибудь книга меня раздражает, я выбираю другую и погружаюсь в чтение только в те часы, когда меня начинает охватывать тоска от безделья.

Я редко читаю новых авторов, ибо древние кажутся мне более содержательными и более тонкими, однако не берусь при этом за греческих

авторов, ибо мое знание греческого языка не превышает познаний ребенка или ученика.

К числу книг просто занимательных я отношу из новых — «Декамерон» Боккаччо, Рабле и «Поцелуи» Иоанна Секунда[2] [broken link: #nb10_2], если их можно поместить в эту рубрику. Что касается «Амадиса»[3] [broken link: #nb10_3] и сочинений в таком роде, то они привлекали мой интерес только в детстве. Скажу еще — может быть, смело, а может, безрассудно, — что моя состарившаяся и отяжелевшая душа нечувствительна больше не только к Ариосто, но и к доброму Овидию: его легкомыслие и прихоти фантазии, приводившие меня когда-то в восторг, сейчас не привлекают меня.

Я свободно высказываю свое мнение обо всем, даже о вещах, превосходящих иногда мое понимание и совершенно не относящихся к моему ведению. Мое мнение о них не есть мера самих вещей, оно лишь должно разъяснить, в какой мере я вижу эти вещи. Когда во мне вызывает отвращение, как произведение слабое, «Аксиох»[4] [broken link: #nb10_4] Платона, то, учитывая имя автора, мой ум не доверяет себе: он не настолько глуп, чтобы противопоставлять себя авторитету стольких выдающихся мужей древности,

которых он считает своими учителями и наставниками и вместе с которыми он готов ошибаться. Он ополчается на себя и осуждает себя либо за то, что останавливается на поверхности явления, не в силах проникнуть в самую его суть, либо за то, что рассматривает его в каком-то ложном свете. Мой ум довольствуется тем, чтобы только оградить себя от неясности и путаницы, что же касается его слабости, то он охотно признает ее. Он полагает, что дает правильное истолкование явлениям, вытекающим из его понимания, но они нелепы и неудовлетворительны. Большинство басен Эзопа многосмысленны и многообразны в своем значении. Те, кто истолковывает их мифологически, выбирают какой-нибудь образ, который хорошо вяжется с басней, но для многих это лишь первый попавшийся и поверхностный образ; есть другие более яркие, более существенные и глубокие образы, до которых они не смогли добраться: так же поступаю и я.

Однако, возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу: мне всегда казалось, что в поэзии издавна первое место занимают Вергилий, Лукреций, Катулл и Гораций, в особенности «Георгики» Вергилия, которые я считаю самым совершенным поэтическим произведением; при сравнении их

с «Энеидой» нетрудно убедиться, что в ней есть места, которые автор, несомненно, еще отделал бы, если бы у него был досуг. Наиболее совершенной мне представляется пятая книга «Энеиды». Люблю я также Лукана и охотно его читаю; я не так ценю его стиль, как его самого, правильность его мнений и суждений. Что касается любезного Теренция, нежной прелести и изящества его латинского языка, то я нахожу, что он превосходен в верном изображении душевных движений и состояния нравов; наши поступки то и дело заставляют меня возвращаться к нему. Сколько бы раз я его ни читал, я всегда нахожу в нем новую прелесть и изящество. Люди времен, близких к Вергилию, жаловались на то, что некоторые сравнивали его с Лукрецием. Я нахожу, что это действительно неравные величины, и особенно укрепляюсь в этом убеждении, когда вчитываюсь в какой-нибудь прекрасный стих Лукреция. Но если этих людей обижало сравнение Вергилия с Лукрецием, то что сказали бы они о варварской глупости тех, кто в настоящее время сравнивает Вергилия с Ариосто, и что сказал бы по этому поводу сам Ариосто?

> *O saeculum insipiens et infacetum![5] [broken link: #nb10_5]*

Я полагаю, что древние имели еще больше оснований обижаться на тех, кто равнял с Плавтом Теренция (ибо последний гораздо утонченнее), чем на тех, кто сравнивал Лукреция с Вергилием. Для истинной оценки Теренция и признания его превосходства важно отметить то, что только его — и никого другого из его сословия — постоянно цитирует отец римского красноречия[6] [broken link: #nb10_6], и большое значение имеет тот приговор, который вынес Теренцию первый судья среди римских поэтов[7] [broken link: #nb10_7]. Мне часто приходило на ум, что в наше время те, кто берется сочинять комедии, — как, например, итальянцы, у которых есть в этой области большие удачи, — заимствуют три-четыре сюжета из комедий Теренция или Плавта и пишут на этой основе свои произведения. В одной комедии они нагромождают пять-шесть новелл Боккаччо. Такой способ добычи материала для своих писаний объясняется тем, что они не доверяют своим собственным дарованиям; им необходимо нечто прочное, на что они могли бы опереться, и, не имея ничего своего, чем они могли бы нас привлечь, они хотят заинтересовать нас новеллой. Нечто обратное видим мы у Теренция: перед совершенством его литературной манеры бледнеет

интерес к сюжету его пьес; его изящество и остроумие все время приковывают наше внимание, он всегда так занимателен, — Liquidus puroque simillimus amni[8] [broken link: #nb10_8] — и так восхищает нашу душу своим талантом, что мы забываем о достоинствах разрабатываемой им фабулы.

Это мое соображение приводит меня к другому замечанию. Я вижу, что прекрасные античные поэты избегали не только напыщенности и причудливой выспренности испанцев или петраркистов, но даже тех умеренных изощренностей, которые являются украшением всех поэтических творений позднейшего времени. Всякий тонкий знаток сожалеет, встречая их у античного поэта, и несравненно больше восхищается цветущей красотой и неизменной гладкостью эпиграмм Катулла, чем теми едкими остротами, которыми Марциал уснащает концовки своих эпиграмм. Это и побудило меня высказать выше то же соображение, которое Марциал высказывал применительно к себе, а именно: minus illi ingenio laborandum fuit, in cuius locum materia successerat[9] [broken link: #nb10_9]. Поэты первого рода без всякого напряжения и усилий легко проявляют свой талант: у них всегда есть над чем

посмеяться, им не нужно щекотать себя, поэты же другого толка нуждаются в посторонней помощи. Чем у них меньше таланта, тем важнее для них сюжет. Они норовят ездить верхом на коне, потому что чувствуют себя недостаточно твердо на собственных ногах. Точно так же у нас на балах люди простого звания, не обладая хорошими манерами дворянства, стараются отличиться какими-нибудь рискованными прыжками или другими необычными движениями и фокусами. Подобно этому и дамы лучше умеют держаться при таких танцах, где есть различные фигуры и телодвижения, чем во время торжественных танцев, когда им приходится только двигаться естественным шагом, сохраняя свое обычное изящество и умение непринужденно держаться. Мне приходилось равным образом видеть, как превосходные шуты, оставаясь в своем обычном платье и ничем не отличаясь в своих манерах от прочих людей, доставляли нам все то удовольствие, какое только может давать их искусство, между тем как ученикам и тем, кто не имеет такой хорошей выучки, чтобы нас рассмешить, приходилось пудрить себе лицо, напяливать какой-нибудь наряд и корчить страшные рожи. В правильности высказанного мною выше сужде-

ния можно лучше всего убедиться, если сравнить «Энеиду» с «Неистовым Роландом». Стих Вергилия уверенно парит в высоте и неизменно следует своему пути; что же касается Тассо, то он перепархивает с одного сюжета на другой, точно с ветки на ветку, полагаясь на свои крылья лишь для очень короткого перелета, и делает остановки в конце каждого эпизода, боясь, что у него перехватит дыхание и иссякнут силы:

> *Excursusque breves tentat.[10] [broken link: #nb10_10]*

Вот авторы, которые мне больше всего нравятся в этих литературных жанрах.

Что же касается другого круга моего чтения, при котором удовольствие сочетается с несколько большей пользой, — так как с помощью этих книг я учусь развивать свои мысли и понятия, — то сюда относятся произведения Плутарха — с тех пор как он переведен на французский язык — и Сенеки. Оба эти автора обладают важнейшим для меня достоинством: та наука, которую я в них ищу, дана у них не в систематическом изложении, а в отдельных очерках, поэтому для одоления их не требуется упорного труда, к которому я неспособен. Таковы мелкие произведения

Плутарха и «Письма» Сенеки, составляющие лучшую и наиболее полезную часть их творений. Мне не надо делать никаких усилий, чтобы засесть за них, и я могу оборвать чтение, где мне захочется, ибо отдельные части этих произведений не связаны друг с другом. Оба эти автора сходятся в ряде своих полезных и правильных взглядов; сходна во многом и их судьба: оба они родились почти в одном веке, оба были наставниками двух римских императоров[11] [broken link: #nb10_11], оба были выходцами из иных стран, были богаты и могущественны. Их учение — это сливки философии, преподнесенной в простой и доступной форме. Плутарх более единообразен и постоянен, Сенека более изменчив и гибок. Сенека прилагает усилия, упорствует и стремится вооружить добродетель против слабости, страха и порочных склонностей, между тем как Плутарх не придает им такого значения, он не желает из-за этого торопиться и вооружаться. Плутарх придерживается взглядов Платона, терпимых и подходящих для гражданского общества. Сенека же — сторонник стоических и эпикурейских воззрений, значительно менее удобных для общества, но, по-моему, более пригодных для отдельного человека и более стойких. Похоже на

то, что Сенека до известной степени порицает тиранию императоров своего времени, ибо когда он осуждает дело благородных убийц Цезаря, то я убежден, что с его стороны это суждение вынужденное; Плутарх же всегда свободен в своих высказываниях. Писания Сенеки пленяют живостью и остроумием, писания Плутарха — содержательностью. Сенека вас больше возбуждает и волнует, Плутарх вас больше удовлетворяет и лучше вознаграждает. Плутарх ведет нас за собой, Сенека нас толкает.

Что касается Цицерона, то для моей цели могут служить те из его произведений, которые трактуют вопросы так называемой нравственной философии. Но, говоря прямо и откровенно (а ведь когда стыд преодолен, то больше себя не сдерживаешь), его писательская манера мне представляется скучной, как и всякие другие писания в таком же роде. Действительно, подразделения, предисловия, определения, всякого рода этимологические тонкости занимают большую часть его писаний, и та доля сердцевины и существенного, что в них имеется, теряется из-за этих длинных приготовлений. Когда я, потратив час на чтение его, — что для меня много, — начинаю перебирать, что я извлек из него путного, то в

большинстве случаев обнаруживаю, что ровным счетом ничего, ибо он еще не перешел к обоснованию своих положений и не добрался до того узлового пункта, который я ищу. Для меня, который хочет стать только более мудрым, а не более ученым или красноречивым, эти логические и аристотелевские подразделения совершенно ни к чему: я хочу, чтобы начинали с последнего, самого важного пункта; я достаточно понимаю, что такое наслаждение и что такое смерть, — пусть не тратят времени на копанье в этом: я ищу прежде всего убедительных веских доводов, которые научили бы меня справляться с этими вещами. Ни грамматические ухищрения, ни остроумные словосочетания и тонкости здесь ни к чему: я хочу суждений, которые затрагивали бы самую суть дела, между тем как Цицерон ходит вокруг да около. Его манера хороша для школы, для адвокатской речи, для проповеди, когда мы можем себе позволить вздремнуть немного и еще через четверть часа вполне успеем уловить нить изложения. Так следует разговаривать с судьями, которых не мытьем, так катаньем хотят склонить на свою сторону, с детьми и с простым народом, которому надо рассказывать обо всем, чтобы его пронять. Я не хочу, чтобы старались подстрекнуть

мое внимание и пятьдесят раз кричали мне по примеру наших глашатаев: «Слушайте!» Римляне провозглашали в своих молитвах: «Hoc age!»[12] [broken link: #nb10_12], что соответствует нашему «Sursum corda!»[13] [broken link: #nb10_13] — это тоже для меня совершенно излишние слова. Я приступаю к делу, будучи вполне готов: мне не нужно ни лакомой приманки, ни соуса, я охотно ем готовое мясо, а эти подготовки и вступления не только не возбуждают моего аппетита, а, наоборот, ослабляют и утомляют его.

Не послужит ли распущенность нашего века достаточным оправданием моего святотатства, если я позволю себе сказать, что нахожу также тягучими диалоги самого Платона? Ведь даже у него предмет исследования слишком заслонен формой изложения, и мне жаль, что этот человек, который мог сказать столько замечательных вещей, тратил свое время на эти длинные, ненужные подготовительные разговоры. Мое невежество послужит мне извинением в том, что я ничего не понимаю в красоте его языка.

Я вообще отдаю предпочтение книгам, которые используют достижения наук, а не тем, которые созидают сами эти науки.

Писания Плутарха и Сенеки, а также Плиния

и им подобных отнюдь не пестрят этими «Hoc age!»; они хотят иметь дело с людьми, которые сами себя предупредили, а в тех случаях, когда в них содержится такое «Hoc age!», оно относится к существу дела и имеет особое оправдание.

Я охотно читаю также «Письма к Аттику» Цицерона[14] [broken link: #nb10_14] и не только потому, что они содержат обширные сведения о делах и событиях его времени, но гораздо более потому, что в них раскрываются частные дела самого Цицерона. А я обладаю — как я указывал уже в другом месте[15] [broken link: #nb10_15] — особого рода любопытством: я стремлюсь узнать душу и сокровенные мысли моих авторов. По тем писаниям, которые они отдают на суд света, следует судить об их дарованиях, но не о них самих и их нравах. Тысячи раз сожалел я о том, что до нас не дошла книга Брута о добродетели[16] [broken link: #nb10_16]: ведь так интересно узнать теорию тех, кто силен в практике. Но поскольку одно дело проповедь, а другое — проповедник, то мне столь же приятно познакомиться с Брутом по рассказу Плутарха, как и по его собственной книге. Я скорее предпочел бы знать доподлинно разговоры, которые он вел в своей палатке с кем-нибудь из частных лиц накануне сражения, чем речь,

которую он держал перед армией на следующий день после него, и я больше хотел бы знать, что он делал в своем кабинете и в своей спальне, чем то, что он делал на площади и в сенате.

Что касается Цицерона, то я держусь того распространенного о нем мнения, что, кроме учености, в нем не было ничего особенно выдающегося; он был добрым и благонравным гражданином, какими часто бывают толстяки и говоруны, — каков он и был в действительности, — но что касается внутренней слабости и честолюбивого тщеславия, то, по правде признаться, этим он обладал в избытке. Я не знаю, чем можно извинить то, что он считал возможным опубликовать свои стихи. Нет большой беды в том, чтобы писать плохие стихи, но то, что он не понимал, насколько они недостойны славы его имени, свидетельствует о недостатке ума. Что касается его красноречия, то оно вне всякого сравнения; я думаю, что никто никогда в этом отношении ему не уподобится. Когда Цицерон Младший[17] [broken link: #nb10_17], походивший на своего отца только тем, что носил то же имя, служил в Азии, однажды к нему, среди многих других гостей, затесался Цестий[18] [broken link: #nb10_18], сидевший у самого края стола, как это

бывает на открытых пирах вельмож. Цицерон спросил, кто это, у одного из своих слуг, который сообщил ему, что это Цестий. Но когда Цицерон, который занят был другим и забыл, что ему ответили, еще два или три раза переспросил об этом слугу, тот, чтобы избавиться от необходимости повторять ему по нескольку раз одно и то же и желая указать какую-нибудь примету, сказал: «Это тот самый Цестий, о котором вам говорили, что он не очень-то ценит красноречие вашего отца по сравнению со своим собственным». Уязвленный этим, Цицерон приказал схватить несчастного Цестия и выпороть его в своем присутствии. Вот пример поистине неучтивого хозяина. Однако даже среди тех, кто в числе прочих вещей ценил несравненное цицероновское красноречие, были люди, отмечавшие в нем недостатки; так, например, друг Цицерона великий Брут[19] [broken link: #nb10_19] говорил, что это было «волочащееся и спотыкающееся» красноречие, fractam et elumbem. Ораторы, близкие к нему по времени, переняли у него манеру делать длинную паузу в конце отрывка и употреблять слова «esse videatur»[*] [broken link: #f5], которыми он так часто пользовался. Что касается меня, то я предпочитаю более короткие фразы с ямбиче-

ской каденцией. Иногда он примешивает и резче звучащие фразы, хотя и редко. Я обратил внимание на то, как звучит, например, следующее место: «Ego vero me minus diu senem esse mallem, quam esse senem, antequam essem»[20] [broken link: #nb10_20].

Историки составляют мое излюбленное чтение[21] [broken link: #nb10_21], занимательное и легкое; тем более, что человек вообще, к познанию которого я стремлюсь, выступает в их писаниях в более ярком и более цельном освещении, чем где бы то ни было; мы видим разнообразие и действительность его внутренних свойств как в целом, так и в подробностях, многообразие средств, которыми он пользуется, и бедствий, которые ему угрожают. Больше всего мне по душе авторы жизнеописаний: их прельщает не само событие, а его подоплека, они задерживаются на том, что происходит внутри, а не на том, что совершается снаружи. Вот почему Плутарх — историк во всех отношениях в моем вкусе. Мне очень жаль, что у нас нет десятка Диогенов Лаэрциев[22] [broken link: #nb10_22] или нет хотя бы одного более пространного и объемистого. Ибо меня не в меньшей степени интересует судьба и жизнь этих великих наставников человечества,

чем их различные учения и взгляды.

В области истории следует знакомиться со всякого рода авторами, и старыми и новыми, и французскими и иноземными, чтобы изучать вещи в различном освещении, которое каждый из них дает. Но особенно достойным изучения представляется мне Цезарь и не только ради знакомства с историей, но и ради него самого, настолько он превосходит всех других авторов, хотя Саллюстий[23] [broken link: #nb10_23] относится к тому же числу. Признаюсь, я читаю Цезаря с несколько большим благоговением и подчинением, чем обычно читаются человеческие произведения; иногда сквозь его действия я вижу его самого и постигаю тайну его величия; иногда я восхищаюсь чистотой и неподражаемой легкостью его слога, в чем он не только превзошел, как признает Цицерон, всех историков, но и самого Цицерона[24] [broken link: #nb10_24]. С большой искренностью судит Цезарь о своих врагах, и я думаю, что кроме прикрас, которыми он старается прикрыть неправое свое дело и свое пагубное честолюбие, его можно упрекнуть только в том, что он слишком скупо говорит о себе.

Ведь все эти великие дела не могли быть им выполнены без большей доли его участия, чем

он изображает.

Я люблю историков либо весьма простодушных, либо проницательных. Простодушные историки, которые не вносят в освещение событий ничего своего, а заняты лишь тем, чтобы тщательно собрать все дошедшие до них сведения и добросовестно записать все события без всякого отбора, всецело предоставляют познание истины нам самим. Таков, например, в числе прочих, добрейший Фруассар[25] [broken link: #nb10_25], который подходит к своему делу с такой откровенной наивностью, что, совершив ошибку, отнюдь не боится ее признать и исправить там, где ее заметил; он приводит подряд самые разнообразные слухи об одном и том же событии или противоречивые объяснения, которые до него доходили. История Фруассара — это сырой и необработанный материал, который всякий может использовать по-своему, в меру своего понимания. Проницательные историки умеют отобрать то, что достойно быть отмеченным; они способны выбрать из двух известий более правдоподобное; кроме того, они объясняют решения государей их характером и положением и приписывают им соответствующие речи. Они правы, ставя своей задачей склонять нас

к своим взглядам, но, разумеется, на это способны лишь немногие. Историки, занимающие промежуточную позицию (а это наиболее распространенная разновидность их), все портят: они стремятся разжевать нам отрывочные данные, они присваивают себе право судить и, следовательно, направлять ход истории по своему усмотрению[26] [broken link: #nb10_26], ибо, если суждение историка однобоко, то он не может предохранить свое повествование от извращения в том же направлении.

Такого рода историки занимаются отбором фактов, достойных быть отмеченными, и часто скрывают от нас то или иное слово или частное действие, которые могли бы объяснить нам значительно больше; они опускают, как вещи невероятные, то, чего не понимают, а иногда опускают кое-что, может быть, просто потому, что не умеют выразить этого на хорошем латинском или французском языке. Пусть они смело выставляют напоказ свое слабое красноречие и свои рассуждения, пусть высказывают какие угодно суждения, но пусть оставят и нам возможность судить после них, пусть они не искажают своими сокращениями и своим отбором исторический материал, ничего из него не изымают, а

предоставят нам его в полном объеме и в нетронутом виде.

Большей частью, в особенности в наше время, в качестве историков выбираются люди из простонародья единственно на том основании, что они хорошо владеют пером, как если бы мы стремились научиться у них грамматике! А они, заботясь лишь об этой стороне дела, по-своему правы, поскольку они продают только свое умение болтать и им платят деньги именно за это. Поэтому, жонглируя красивыми словами, они преподносят набор всяких слухов, собранных ими на городских перекрестках. Единственно доброкачественные исторические сочинения были написаны людьми, которые сами вершили эти дела, либо причастны были к руководству ими, или теми, на долю которых выпало по крайней мере вести другие подобного же рода дела. Таковы почти все исторические сочинения, написанные греческими и римскими авторами. И так как о тех же делах писали многие очевидцы (как водилось в те времена, когда и знания и высокое положение обычно сочеталось в одном лице), то если у них и встретится какая-нибудь ошибка, она должна быть очень незначительна и относиться к какому-нибудь весьма неясному случаю.

Но чего можно ждать от врача, пишущего о делах войны, или от ученика, излагающего планы государей? Достаточно привести один пример, чтобы убедиться, насколько щепетильны были в своих писаниях римские авторы. Азиний Поллион[27] [broken link: #nb10_27] обнаружил кое-какие неточности даже в исторических работах самого Цезаря; Цезарь допустил их либо потому, что не мог своими глазами уследить за всем, что происходило во всех частях его армии, и полагался на отдельных людей, нередко сообщавших ему недостаточно проверенные факты, либо потому, что его приближенные не вполне точно осведомляли его о делах, которые они вели в его отсутствие. На этом примере можно убедиться, до чего тонкое дело установление истины, раз при описании какого-нибудь сражения нельзя положиться на донесение того, кто им руководил, или на рассказ солдат о том, что происходило около них, а надо сопоставить — как это делается при судебном разбирательстве — показания свидетелей и учитывать возражения, даже по поводу мельчайших подробностей в каждом случае. Надо признать, что наши познания в нашей собственной истории весьма слабы. Но об этом достаточно писал Воден в том же духе, что и я.

Чтобы помочь делу с моей плохой памятью, которая так изменяла мне, что мне приходилось не раз брать в руки как совершенно новые и неизвестные мне книги, которые несколько лет тому назад я тщательно читал и испещрил своими замечаниями, я с недавнего времени завел себе привычку отмечать в конце всякой книги (я имею в виду книги, которые я хочу прочитывать только один раз) дату, когда я закончил ее читать, и в общих чертах суждение, которое я о ней вынес, чтобы иметь возможность на основании этого по крайней мере припомнить общее представление, которое я составил себе о данном авторе, читая его. Я хочу здесь привести некоторые из этих заметок.

Вот что я записал около десяти лет тому назад на моем экземпляре Гвиччардини[28] [broken link: #nb10_28] (ибо на каком бы языке книги ни говорили со мной, я всегда говорю с ним на моем языке): «Вот добросовестный историк, у которого, по-моему, с большей точностью, чем у кого бы то ни было, можно узнать истинную сущность событий его времени; к тому же в большинстве из них он сам принимал участие и состоял в высоких чинах. Совершенно непохоже на то, чтобы он из ненависти, лести или честолюбия

искажал факты: об этом свидетельствуют его независимые суждения о сильных мира сего, и в частности о тех, которые выдвигали и назначали его на высокие посты, как например о папе Клименте VII[29] [broken link: #nb10_29]. Что касается той его особенности, которую он как будто желал вменить себе в наибольшую заслугу, а именно его отступлений и речей, то среди них есть меткие и удачные, но он чересчур увлекался ими: действительно, стараясь ничего не упустить и имея дело с таким обширным и почти необъятным материалом, он становится многословным и несколько болтливым на школьный манер. Я обратил также внимание на то, что о каких бы людях и делах, о каких бы действиях и замыслах он ни судил, он никогда не выводит их ни из добродетели, ни из благочестия и совести — как если бы этих вещей вовсе не существовало — и объясняет все поступки, какими бы совершенными они ни казались сами по себе, либо какой-нибудь выгодой, либо порочными побуждениями. Однако нельзя себе представить, чтобы среди всех тех бесчисленных действий, о которых он судит, не было хоть каких-нибудь продиктованных разумом. Никакое разложение не может охватить настолько всех без исключения людей, чтобы не осталось ни

одного не затронутого им человека; это вызывает у меня опасение, нет ли у Гвиччардини какого-то порока в этом его пристрастии и не судит ли он о других по себе».

В моем Филиппе де Коммине[30] [broken link: #nb10_30] записано следующее: «Вы найдете у него изящный и приятный стиль, отличающийся простотой и непосредственностью; неприкрашенное повествование, сквозь которое явно просвечивает добросовестность автора, свободного от тщеславия, когда он говорит о себе, и от зависти и пристрастия, когда он говорит о других; его рассуждения и увещания проникнуты скорее искренностью и добрыми побуждениями, чем каким-нибудь выдающимся талантом; и на всем изложении лежит отпечаток авторитетности и значительности, свидетельствующих о высоком положении автора и его опыте в ведении больших дел».

В мемуарах братьев Дю Белле[31] [broken link: #nb10_31] я записал: «Всегда приятно читать изложение событий в описаниях тех, кто пытался ими руководить, но нельзя не признать, что обоим авторам мемуаров очень недостает той искренности и независимости в суждениях, присущих старым авторам подобного рода мемуаров,

как, например, сиру Жуанвилю, слуге Людовика Святого[32] [broken link: #nb10_32], или приближенному Карла Великого, Эгингарду[33] [broken link: #nb10_33], или же Филиппу де Коммину, если взять автора более близкого по времени. Мемуары Дю Белле — это не история, а скорее апология Франциска I, направленная против Карла V[34] [broken link: #nb10_34]. Я не хочу допустить, что они исказили самый смысл событий, но они весьма искусны в том, чтобы, нередко вопреки истине, истолковывать события в нашу пользу и скрывать все щекотливые моменты, касающиеся их повелителя; так, например, ни одним словом не упомянуты отступления Монморанси[35] [broken link: #nb10_35] и Бриона[36] [broken link: #nb10_36], отсутствует даже самое имя госпожи д'Этамп[37] [broken link: #nb10_37]. Можно умалчивать о тайных делах, но не говорить о том, что всем известно, и о вещах, которые повлекли за собой последствия большой государственной важности, — непростительный недостаток. Словом, чтобы составить себе полное представление о Франциске I и о событиях его времени, следует, по-моему, обратиться к какому-нибудь другому источнику; мемуары же братьев Дю Белле могут быть полезны вот в каком отношении: в них мож-

но найти любопытное описание тех сражений и военных походов, в которых оба эти сеньора принимали участие; сообщения о некоторых речах и частных поступках современных им государей и, наконец, известия о сношениях и переговорах, которые вел сеньор де Ланже[38] [broken link: #nb10_38]; в них содержится множество сведений, заслуживающих известности, и некоторые незаурядные суждения».

## Глава XI
## О жестокости

Мне кажется, что добродетель есть нечто иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру. Люди по природе своей добропорядочные и с хорошими задатками идут тем же путем и поступают так же, как люди добродетельные. Но добродетель есть нечто большее и более действенное, чем способность тихо и мирно, в силу счастливого нрава, подчиняться велениям разума. Тот, кто по природной кротости и обходительности простил бы нанесенные ему обиды, поступил бы прекрасно и заслуживал бы похвалы; но тот, кто, задетый за живое и разъяренный, сумел бы вооружиться разумом и после долгой борьбы одолеть неистовую жажду мести и выйти победителем, совершил бы несомненно нечто большее. Первый поступил бы хорошо, второй же — добродетельно; первый поступок можно назвать добрым, второй — добродетельным, ибо мне кажется, что понятие добродетели предполагает трудность и борьбу и что добродетель не может существовать без противодействия.

Ведь не случайно мы называем бога добрым, всемогущим, благим и справедливым, но мы не называем его добродетельным, ибо все его действия непринужденны и совершаются без всяких усилий. Многие философы — и не только стоики, но и эпикурейцы — близки к такому пониманию добродетели. Я объединяю тех и других[1] [broken link: #nb11_1] вопреки общераспространенному мнению, которое ложно, как бы ни расценивать остроумный ответ, данный Аркесилаем тому, кто упрекал его в том, что многие переходят из его школы к эпикурейцам, но никогда от эпикурейцев к стоикам. «Согласен! — ответил Аркесилай[2] [broken link: #nb11_2]. — Многие петухи превращаются в каплунов, но каплуны никогда не становятся петухами». И действительно, по части твердости взглядов и строгости наставлений эпикурейцы отнюдь не уступают стоикам, если быть в отношении их добросовестными и не подражать тем спорщикам, которые, стремясь одержать легкую победу над Эпикуром, приписывают ему то, чего он никогда и не думал, и выворачивают его слова наизнанку, злоупотребляя грамматикой и вкладывая в его фразы совсем другой смысл, чем тот, какой эти фразы (равно как и его дела, как им хорошо известно)

на самом деле имели. Недаром некий стоик заявляет, что он перестал быть эпикурейцем по той причине — в числе прочих, — что эпикурейцы идут слишком возвышенным, недоступным путем et il qui φιλήδονοι vocantur, sunt φιλόκαλοι omnesque virtutes et colunt et retinent[3] [broken link: #nb11_3]. Итак, повторяю: из философов многие стоики и эпикурейцы считали, что недостаточно обладать душой благонамеренной, уравновешенной и склонной к добродетели, что недостаточно быть способным высказывать суждения и принимать решения, ставящие нас выше всех жизненных невзгод и превратностей, но что необходимо, кроме того, самому искать случаев применить их на практике. Они хотели испытать боль, нужду, презрение, чтобы с ними бороться и сохранять душу в боевой готовности: multum sibi adiicit virtus lacessita[4] [broken link: #nb11_4]. Вот одна из причин, побудившая Эпаминонда, принадлежавшего к третьей школе[5] [broken link: #nb11_5], отказаться от богатства, которое судьба послала ему в руки самым законным путем, ибо он хотел, по его собственному выражению, сражаться с бедностью, и прожил в нужде до конца своих дней. Сократ подвергал себя еще более жестокому, на мой взгляд, испытанию, поскольку

ку таким испытанием являлась для него злоба жены; это, по-моему, равносильно упражнению с остро отточенным ножом. Метелл[6] [broken link: #nb11_6], единственный из римских сенаторов, решил подвергнуть испытанию свою добродетель, чтобы положить предел насилию народного трибуна Сатурнина[7] [broken link: #nb11_7], старавшегося всеми силами провести несправедливый закон в пользу плебеев. Приговоренный за это к изгнанию — каре, которую Сатурнин ввел против отказавшихся признать этот закон, — Метелл обратился к тем, кто сопровождал его в этот тяжкий для него час, со следующими словами: «Делать зло — вещь слишком легкая и слишком низкая; делать добро в тех случаях, когда с этим не сопряжено никакой опасности, — вещь обычная; но делать добро, когда это опасно, — таково истинное призвание добродетельного человека». Эти слова Метелла ясно подтверждают мою мысль о том, что добродетель не вяжется с отсутствием трудностей и что легкий, удобный и наклонный путь, по которому направляется хорошая природная склонность, это еще не есть путь истинной добродетели. Последняя требует трудного и тернистого пути, она, как в случае с Метеллом, должна преодолевать либо внешние

трудности, которыми судьба старается отвлечь ее от нелегкого пути; либо трудности внутренние, вызываемые нашими необузданными страстями и несовершенством.

Вплоть до этой минуты я чувствовал себя в своем изложении совершенно уверенным. Но, когда я дописывал последнюю фразу, мне пришло в голову, что, согласно моей мысли, душа Сократа, самая совершенная из всех мне известных, должна быть отнесена не к самым образцовым, ибо я не могу представить себе в нем борьбы с каким бы то ни было порочным стремлением. Я не могу вообразить себе, чтобы его добродетель испытывала какие бы то ни было трудности или какое-нибудь принуждение. Я знаю могущество и власть его разума, который никогда не дал бы зародиться какому-нибудь порочному стремлению. Такой возвышенной добродетели, как у Сократа, я не могу ничего противопоставить. Мне кажется, я вижу, как, свободная, она ступает победоносным и торжествующим шагом, не встречая никаких помех, никаких трудностей. Если добродетель ярче сияет благодаря борьбе противоположных стремлений, то значит ли это, что она не может обойтись без порока и что своей ценностью и почетом она обязана ему? Что

скажем мы также об этом честном и благородном эпикурейском наслаждении, которое мимоходом, словно играючи, воспитывает добродетель, подчиняя ей, в виде забавы, стыд, лихорадки, бедность, смерть и узилища? Если я предположу, что совершенная добродетель познается лишь путем умения подавлять и терпеливо сносить боль, не моргнув глазом выдерживать жестокие приступы подагры; если я предпишу ей в качестве обязательного условия трудности и препятствия, то что же сказать о добродетели, поднявшейся на такую высоту, что она не только презирает страдание, но даже наслаждается им, упивается до степени восторженного экстаза, подобно некоторым эпикурейцам, оставившим нам весьма достоверные свидетельства подобных, испытанных ими переживаний?

Есть немало случаев, когда люди на деле превзошли требования, предъявляемые их учением. Доказательством этого служит пример Катона Младшего[8] [broken link: #nb11_8]. Когда я представляю себе, как он умирал, вырывая из тела свои внутренности, я не могу допустить, что душа его в этот момент была лишь полностью свободна от страха и смятения, не могу поверить, чтобы, совершая этот поступок, он только выпол-

нял правила, предписываемые ему стоическим учением, иначе говоря, что душа его оставалась спокойной, невозмутимой и бесстрастной. Мне кажется, что в добродетели этого человека было слишком много пламенной силы, чтобы он мог удовольствоваться этим; я нисколько не сомневаюсь, что он испытывал радость и наслаждение, совершая свой благородный подвиг, и что он был им более удовлетворен, чем каким бы то ни было другим поступком в своей жизни. Sic abit e vita ut causam moriendi nactum se esse gauderet[9] [broken link: #nb11_9]. Я настолько убежден в этом, что сомневаюсь, пожелал ли бы он лишиться возможности совершить такое прекрасное деяние. Если бы меня не останавливала мысль о благородстве, побуждавшем его всегда ставить общественное благо выше личного, то я очень склонен был бы допустить, что он благодарен был судьбе за то, что она послала такое прекрасное испытание его добродетели, и за то, что она помогла «этому разбойнику»[10] [broken link: #nb11_10] растоптать исконную свободу его родины. Мне кажется, что при совершении этого поступка его душа испытывала несказанную радость и мужественное наслаждение, ибо она сознавала, что благородство и величие его —

*Deliberata morte ferocior[11] [broken link: #nb11_11] —*

вдохновлены не мыслью о грядущей славе (как это бывает у некоторых слабых и заурядных людей; но для души столь благородной, сильной и гордой это был бы слишком низменный стимул), а красотой самого поступка. Эту красоту он видел во всем ее совершенстве и яснее, чем мы, ибо владел ею так, как нам не дано.

К моему большому удовольствию, философы считают, что такой замечательный поступок был бы неуместен во всякой другой жизни, и только одному Катону можно было так закончить свою жизнь. Поэтому он с полным основанием рекомендовал своему сыну и окружавшим его сенаторам выйти из положения иначе. Catoni cum incredibilem natura tribuisset gravitatem, eamque ipse perpetua constantia roboravisset, semperque in proposito consilio permansisset, moriendus potius quam tyranni vultus aspiciendus erat[12] [broken link: #nb11_12].

Всякая смерть должна соответствовать жизни человека. Умирая, мы остаемся такими же, какими были в жизни. Я всегда нахожу объяснение смерти данного человека в его жизни. И, когда мне рассказывают о стойком по видимости конце

человека, проведшего вялую жизнь, я считаю, что он был вызван какой-либо незначительной причиной, соответствующей жизни этого человека. Можно ли сказать, что легкость, с которой шел к смерти Катон, и та непринужденность, которой он достиг силой своего духа, должны как-то умалить красоту его добродетели? Кто из людей, хоть в малейшей степени причастных к истинной философии, может себе представить, что Сократ, когда на него обрушились осуждение, оковы и темница, всего-навсего лишь не испытал страха и оставался невозмутим? Кто не согласится признать, что он проявил не только стойкость и уверенность в себе (таково было его обычное состояние), но что в его последних словах и действиях сказались какое-то радостное веселие и совершенно новая удовлетворенность? Не доказывает ли то содрогание от удовольствия, которое он испытал от возможности почесать себе ногу, когда с нее сняли оковы, что подобная же радость была в его душе при мысли, что он освобождается от всех злоключений прошлого и находится на пороге познания будущего? Да простит меня Катон: его смерть была более стремительной и более трагической, но в смерти Сократа есть нечто более невыразимо прекрасное.

Аристипп[13] [broken link: #nb11_13] говорил тем, кто сожалел о ней: «Да ниспошлют боги и мне такую смерть!»

На примере этих двух людей и их подражателей (ибо я сильно сомневаюсь, что существовали люди, им подобные) можно убедиться в такой необыкновенной привычке к добродетели, что она вошла в их плоть и кровь. Эта добродетель достигается у них не усилием, не предписаниями разума; им не нужно для соблюдения ее укреплять свою душу, ибо она составляет сущность их души, это ее обычное и естественное состояние. Они достигли этого путем длительного применения наставлений философии, семена которой пали на прекрасную и благодатную почву. Пробуждающиеся в нас порочные склонности не находят к ним доступа; силой и суровостью своей души они подавляют их в самом зародыше.

Я думаю, нет сомнений в том, что лучше по божьему изволению свыше подавлять искушения в зародыше и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушения были уже вырваны с корнем, чем, поддавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после этого насильно мешать их росту и бороться, стараясь приостановить их развитие и преодолеть их;

но я не сомневаюсь, что идти по этому второму пути лучше, чем обладать просто цельным и благодушным характером и питать от природы отвращение к пороку и распущенности. Ибо люди, относящиеся к этой третьей разновидности, люди невинные, но и не добродетельные, не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро. К тому же такой душевный склад так недалек от слабости и несовершенства, что я не в состоянии даже разграничить их. Именно по этой причине с самыми понятиями доброты и невинности связан некий оттенок пренебрежения. Я вижу, что некоторые добродетели, например целомудрие, воздержание и умеренность, могут быть обусловлены физическими недостатками. Стойкость в перенесении опасностей (если только ее можно назвать в данном случае стойкостью), презрение к смерти и терпение в бедствиях часто встречаются у людей, не умеющих разбираться в злоключениях и потому не воспринимающих их как таковые. Поэтому отсутствие достаточного понимания и глупость иногда можно принять за добродетели, и мне нередко приходилось видеть, как людей хвалили за то, за что их следовало бы бранить. Один итальянский вельможа, нелюбезно отзывавшийся о своей нации, однажды в

моем присутствии говорил следующее. Сообразительность и проницательность итальянцев — утверждал он — так велики, что они заранее способны предвидеть подстерегающие их опасности и бедствия, поэтому не следует удивляться тому, что на войне они часто спешат позаботиться о своем самосохранении еще до столкновения с опасностью, между тем, как французы и испанцы, которые не столь проницательны, идут напролом, и им нужно воочию увидеть опасность и ощутить ее, чтобы почувствовать страх, причем даже и тогда страх не удерживает их; немцы же и швейцарцы, более вялые и тупые, спохватываются только в тот момент, когда уже изнемогают под ударами. Он, может быть, говорил все это шутки ради; однако несомненно верно, что новички в военном деле часто бросаются навстречу опасности, но, побывав в переделках, уже не действуют столь опрометчиво:

> *haud ignarus quantum nova gloria in armis,*
>
> *Et praedulce decus primo certamine possit.[14] [broken link: #nb11_14]*

Вот почему, когда судят об отдельном поступке, то, прежде чем оценить его, надо учесть разные

обстоятельства и принять во внимание всю сущность человека, который совершил его.

Несколько слов о себе. Мои друзья нередко называли во мне осмотрительностью то, что в действительности было случайностью, и считали проявлением смелости и терпения то, что было проявлением рассудительности и определенного мнения; словом, мне часто приписывали одно качество вместо другого, и иногда к выгоде для меня, иногда мне в ущерб. На деле же я далек как от той первой и более высокой степени совершенства, когда добродетель превращается в привычку, так и от совершенства второй степени, доказательств которого я не смог дать. Мне не приходилось прилагать больших усилий, чтобы обуздать обуревавшие меня желания. Моя добродетель — это добродетель или, лучше сказать, невинность случайная и преходящая. Будь у меня от рождения более неуравновешенный характер, я представлял бы, наверное, жалкое зрелище, ибо мне не хватило бы твердости противостоять натиску страстей, даже не особенно бурных. Я совершенно не способен к внутреннему разладу и борьбе. Поэтому мне нечего особенно благодарить себя за то, что я лишен многих пороков:

*si vitiis mediocribus et mea paucis*

*Mendosa est natura, alioqui recta, velut si*

*Egregio inspersos reprehendas corpore naevos,[15] [broken link: #nb11_15]*

то я скорее обязан этим моей судьбе, чем моему разуму. Ей угодно было, чтобы я происходил из рода, прославившегося своей безупречной честностью, и был сыном замечательного отца; не знаю, унаследовал ли я от него некоторые его качества или на меня незаметно повлияли его примеры, которые я видел в семье, и хорошее воспитание, полученное мною в детстве, или что-нибудь иное —

*Seu Libra, seu me Scorpius aspicit*

*Formidolosus pars violentior*

*Natalis horae, seu tyrannus*

*Hesperiae Capricornus undae,[16] [broken link: #nb11_16] —*

но, как бы там ни было, я питаю отвращение к большинству пороков. Антисфен[17] [broken link: #nb11_17] ответил спросившему его, чему лучше всего научиться: «Отучиться от зла». Я питаю, говорю я, к порокам отвращение, столь естественное и глубоко мне присущее, что никакие обстоятельства не смогли заставить меня изме-

нить это усвоенное с младенческих лет чувство; не смогли заставить меня изменить ему даже собственные суждения, несмотря на то, что они, отклоняясь в некоторых отношениях от общепринятого пути, легко могли бы мне дозволить поступки, которые эта естественная склонность побуждает меня ненавидеть.

Не могу удержаться от весьма странного признания: я нахожу, что благодаря моему отвращению к порокам в моих нравах больше постоянства и уравновешенности, чем в моих суждениях, и что моя похоть менее разнузданна, чем мой разум.

Аристипп высказал такие смелые мысли в защиту наслаждения и богатства, что философы всех направлений ополчились против него. Но что до его собственных нравов, то когда тиран Дионисий[18] [broken link: #nb11_18] предоставил ему на выбор трех прекрасных женщин, Аристипп заявил, что выбирает всех трех и он не одобряет Париса за то, что тот отдал предпочтение одной из трех; но, приведя их к себе в дом, он отослал их обратно, не прикоснувшись к ним. Однажды, когда его слуга, который во время путешествия нес за ним деньги, выбился из сил из-за тяжести своей ноши, Аристипп приказал

ему бросить все лишнее и оставить только то, что он в состоянии нести[19] [broken link: #nb11_19].

И Эпикур, с его безбожным и утонченным учением в личной жизни был весьма благочестив и трудолюбив. Одному из своих друзей он пишет, что питается только черным хлебом с водой и просит прислать немного сыра на случай, если он захочет устроить роскошный обед[20] [broken link: #nb11_20]. Верно ли, что для того, чтобы быть добрым до конца, надо быть им в силу какого-то тайного, естественного и общего свойства, без всякого на то закона или основания, или примера?

Пороки, которым мне случалось поддаваться, слава богу, не из худших. Я по достоинству осуждал их в себе, ибо мой разум оставался незатронутым ими; напротив, он строже осуждал их во мне, чем осудил бы в ком-нибудь другом. Но этим дело и ограничивалось, ибо я способен оказывать лишь слабое сопротивление и легко даю себя увлечь; однако я не допускаю, чтобы к имеющимся у меня порокам присоединялись еще и другие, что случается с теми, кто этого не остерегается, ибо пороки большей частью переплетаются между собой. Что касается моих пороков, то я их в меру моих возможностей

ограничил, оставив себе очень немногие и самые простые,

*nec ultra*

*Errorem foveo.[21] [broken link: #nb11_21]*

Между тем стоики утверждают, что когда мудрец совершает благое дело, он делает его с помощью всех своих добродетелей, хотя одна из них в зависимости от характера действия и преобладает (доводом в пользу этого им могло служить до известной степени сходство с человеческим организмом, ибо действие гнева может происходить в нас лишь с помощью всех других чувств, хотя гнев и преобладает над ними); но если они отсюда хотят сделать вывод, что, когда порочный человек творит дурное дело, он совершает его при помощи всех своих пороков, то я им в этом не верю или не понимаю их в этом отношении, ибо в действительности я ощущаю прямо противоположное. Однако это несущественные тонкости, на которых иногда останавливаются философы.

Я поддаюсь кое-каким порокам, но других избегаю не менее усердно, чем святой.

Перипатетики также не признают такой неразрывной связи между пороками, и Аристотель считает[22] [broken link: #nb11_22], что человек

благоразумный и справедливый может быть и невоздержанным, и распутным.

Сократ охотно признавался перед теми, кто находил в чертах его лица некоторую склонность к пороку, что она действительно была ему свойственна от природы, но что благодаря самообладанию ему удалось обуздать ее[23] [broken link: #nb11_23].

Близкие к философу Стильпону люди утверждали[24] [broken link: #nb11_24], что он с ранних лет был привержен к вину и питал слабость к женщинам, но в результате упорных усилий стал весьма воздержан в том и в другом.

Тем, что есть во мне хорошего, я, напротив, обязан своему происхождению. Хорошие качества не воспитаны во мне ни законом, ни наставлением, ни путем какого-нибудь другого обучения. Мне присуща естественная доброта, в которой немного силы, но нет ничего искусственного. И по природе своей и по велению разума я жестоко ненавижу жестокость, наихудший из пороков. В этом отношении я до такой степени чувствителен, что не переношу, когда режут цыпленка или когда слышу, как верещит заяц в зубах моих собак, хотя и считаю охоту одним из самых больших удовольствий.

Те, кто осуждает наслаждение, желая доказать, что оно порочно и неразумно, охотно пользуются следующим доводом: когда оно достигает высшей точки, — говорят они, — но так безраздельно завладевает нами, что полностью вытесняет разум, и ссылаются на то, что мы испытываем при сношениях с женщинами:

*cum iam praesagit gaudia corpus*
*Atque in eo est Venus ut muliebria conserat arva.[25] [broken link: #nb11_25]*

Они находят, что в эти мгновения мы настолько бываем вне себя, что наш разум, полностью поглощенный наслаждением и потонув в нем, не в состоянии выполнять свое назначение. Я знаю, что бывает и иначе и что иногда, если захочешь, можно и в этот самый момент обратиться душой к другим мыслям, но для этого требуется душевное напряжение и предварительная подготовка. Я знаю, что можно обуздывать порыв этого наслаждения; я хорошо знаком с этим по опыту и не нахожу, что Венера, — столь требовательная богиня, как считают многие и более чистые, чем я, люди. Мне, например, не кажется, как королеве Наваррской[26] [broken link: #nb11_26] в одной из новелл ее «Гептамерона» (книге, прелестной по

содержанию), ни невероятным, ни слишком трудным проводить весело и непринужденно целые ночи напролет с давно желанной возлюбленной, выполняя данное ей обещание ограничиваться только поцелуями и легкими прикосновениями. Я полагаю, что для доказательства того, что при сильном волнении мы иной раз теряем разум, лучше подходит пример охоты (ибо в этом случае меньше наслаждения, но больше восхищения и неожиданности, которые не дают разуму возможности быть наготове и во всеоружии): когда после долгих преследований животное внезапно показывается там, где мы меньше всего ожидаем его увидеть, то испытываемое нами потрясение, еще усиленное яростным гиканием, бывает настолько велико, что тем, кто любит такого рода охоту, невозможно в этот момент отвлечься мыслями куда-нибудь в сторону. Недаром поэты изображают Диану победительницей над факелом и стрелами Купидона:

> *Quis non malarum, quas amor curas habet*
> *Haec inter obliviscitur?[27] [broken link: #nb11_27]*

Возвращаясь к сказанному, замечу, что я горячо сочувствую чужим печалям и плакал бы вместе

с горюющими, если бы умел плакать в каких бы то ни было случаях. Слезы, не только искренние, но и притворные, всегда вызывают у меня желание плакать. Я не жалею мертвецов, я скорее готов им завидовать, но от души жалею людей, находящихся при смерти. Меня возмущают не те дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, которые мучают и преследуют живых людей. Я не могу спокойно переносить казни, даже если они совершаются по закону и оправданны. Некто, желая подтвердить великодушие Юлия Цезаря, сообщает следующее[28] [broken link: #nb11_28]. Он был великодушен даже когда мстил: захватив тех пиратов, которые в свое время держали его в плену и заставили уплатить выкуп, Цезарь, ранее угрожавший распять их на кресте, все же приказал сначала удавить их, а потом уже распять. Своего секретаря, Филемона, который намеревался его отравить, Цезарь приказал просто умертвить, не наложив на него более тяжкого наказания. Кто бы ни был тот римский автор, который в доказательство великодушия Цезаря ссылается на то, что он осуждал своих обидчиков только на простую смерть, видно все же, что и он был потрясен гнусными и страшными примерами жестокости, свойственной римским тиранам.

Что касается меня, то всякое дополнительное наказание сверх обыкновенной смерти даже по закону есть, по-моему, чистейшая жестокость[29] [broken link: #nb11_29]; это особенно относится к нам, христианам, которые должны заботиться о том, чтобы души отправлялись на тот свет успокоенными, что невозможно, если их измучили и истерзали невыносимыми пытками.

В недавние дни некий пленный воин, заметив с высоты башни, в которую он был заточен, что на площади плотники начали уже свои приготовления и сюда же стал стекаться народ, решил, что все это готовится для него и пришел в отчаяние. Не имея под руками ничего другого, чем себя убить, он схватил попавшийся ему ржавый гвоздь от старой повозки и нанес себе им два сильных удара в шею, но чувствуя, что он еще жив, нанес себе еще третью рану в живот и потерял сознание. В таком состоянии его застал один из наведавшихся к нему надзирателей. Его привели в чувство и, чтобы не терять времени, пока он не умер, ему тут же прочитали приговор, на основании которого ему должны были отрубить голову. Он очень обрадовался этому приговору, согласился выпить вино, от которого раньше отказывался, и, поблагодарив судей за неожиданно

мягкое решение, заявил, что решил покончить с собой из страха перед более жестокой казнью и что страх его еще усилился, когда он увидел приготовления, из-за чего он и захотел избавиться от более жестокой смерти.

Я бы рекомендовал, чтобы суровые примерные наказания, с помощью которых хотят держать народ в повиновении, применялись к трупам уголовных преступников, ибо когда видят, что их лишают права погребения или бросают в кипящий котел, или четвертуют, то это должно производить не менее сильное действие, чем пытки, которым подвергают живых людей, хотя в действительности и этим достигают очень немногого, вернее сказать, ничего, ибо, как говорится в Евангелии: Qui corpus occidunt, et postea non habent quod faciant[30] [broken link: #nb11_30]. Недаром и поэты со своей стороны особенно подчеркивают страх перед этими картинами, перед дополнительными наказаниями, кроме смерти:

> *Heu reliquias semiassi regis, denudatis ossibus,*
>
> *Per*
> *terram sanie delibutas foede divexarier.[31] [broken link: #nb11_31]*

Я находился однажды в Риме в тот момент, когда расправлялись с известным вором, Катеной[32] [broken link: #nb11_32]. Его задушили при полном молчании присутствующих, но когда его стали четвертовать, то при каждом ударе топора слышались жалобные восклицания, как если бы каждый из собравшихся хотел выразить трупу свое сочувствие.

Эти бесчеловечные зверства можно позволять себе не по отношению к живому человеку, а к его мертвой оболочке. Так и поступил в сходном до известной степени случае Артаксеркс[33] [broken link: #nb11_33], смягчив суровость старинных персидских законов и издав указ, чтобы сановников, которые совершили должностные преступления, раздевали и секли их одежду вместо них самих, как это водилось встарь, и вместо того, чтобы вырывать им волосы с головы, с них снимали только их высокие колпаки.

Благочестивые египтяне считали, что они вполне угождают божественному правосудию, принося в жертву ему изображения свиней[34] [broken link: #nb11_34]: смелая выдумка — желать расплатиться с богом, высшим в мире существом, изображением или тенью предмета.

Мне приходится жить в такое время, когда

вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости[35] [broken link: #nb11_35], вызванных разложением, порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся сейчас у нас каждодневно. Однако это ни в какой степени не приучило меня к жестокости, не заставило с нею свыкнуться. Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют такие чудовища в образе людей, которые готовы убивать ради удовольствия, доставляемого им убийством, которые рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании необыкновенных пыток и смертей; при этом они не получают от этого никаких выгод и не питают вражды к своим жертвам, а поступают так только ради того, чтобы насладиться приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его жалобные стоны и вопли. Вот поистине вершина, которой может достигнуть жестокость:

> *Ut homo hominen non iratus, non timens, tantum spectaturus, occidat.[36] [broken link: #nb11_36]*

Что касается меня, то мне всегда было тягостно

наблюдать, как преследуют и убивают невинное животное, беззащитное и не причиняющее нам никакого зла[37] [broken link: #nb11_37]. Я никогда не мог спокойно видеть, как затравленный олень — что нередко бывает, — едва дыша и изнемогая, откидывается назад и сдается тем, кто его преследует, моля их своими слезами о пощаде,

> *quaestuque cruentus*
>
> *Atque imploranti similis.[38] [broken link: #nb11_38]*

Это всегда казалось мне невыносимым зрелищем.

Я никогда не держу у себя пойманных животных и всегда отпускаю их на свободу. Пифагор покупал у рыбаков рыб, а у птицеловов — птиц, чтобы сделать то же самое[39] [broken link: #nb11_39].

> *… primoque a caede ferarum*
>
> *Incaluisse puto maculatum sanguine ferrum.[40] [broken link: #nb11_40]*

Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной склонности к жестокости.

После того как в Риме привыкли к зрелищу

убийства животных, перешли к зрелищам с убийством и осужденных и гладиаторов. Боюсь сказать, но мне кажется, что сама природа наделяет нас неким инстинктом бесчеловечности. Никого не забавляет, когда животные ласкают друг друга или играют между собой, и между тем никто не упустит случая посмотреть, как они дерутся и грызутся.

Для того чтобы не смеялись над моим сочувствием к животным, напомню, что религия предписывает нам известное милосердие по отношению к ним, поскольку один и тот же владыка поселил нас в одном и том же мире, чтобы служить ему, и поскольку они, как и мы, суть его создания. Пифагор заимствовал идею метемпсихоза у египтян, но с тех пор она была воспринята многими народами, и в частности нашими друидами[41] [broken link: #nb11_41].

> *Morte carent animae; semperque priore relicta*
>
> *Sede, novis domibus vivunt, habitantque receptae.[42] [broken link: #nb11_42]*

Религия древних галлов исходит из того, что души, будучи бессмертными, все время пребывают в движении и переходят из одного тела в

другое. Они связывали, кроме того, с этой идеей известное представление о божественном правосудии: так, основываясь на переселениях душ, они утверждали, что когда душа находилась в Александре, то бог приказал ей переселиться в другое тело, более или менее соответствующее ее способностям:

> *multa ferarum*
>
> *Cogit vincla pati, truculentos ingerit ursis,*
>
> *Praedonesque lupis, fallaces vulpibus addit;*
>
> *Atque ubi per varios annos, per mille figuras*
>
> *Egit, lethaeo purgatos flumine, tandem*
>
> *Rursus ad humanae revocat primordia formae.[43] [broken link: #nb11_43]*

Если душа была храброй, то поселяли ее в тело льва, если сладострастной — то в тело свиньи, если трусливой — то в оленя или зайца, если хитрой — то в лису; и под конец душа, очистившись путем такого наказания, возвращалась в тело какого-нибудь другого человека:

> *Ipse ego nam memini, Troiani tempore bello*
>
> *Panthoides Euphorbus eram.[44] [broken*

*link: #nb11_44]*

Что касается нашего родства с животными, то я не придаю ему большого значения, как равно и тому, что многие народы — и в частности наиболее древние и благородные — не только допускали животных в свое общество, но и ставили их значительно выше себя; некоторые народы считали их друзьями и любимцами своих богов, которые будто бы почитают и любят их больше, чем людей; другие же не признавали никаких других божеств, кроме животных;

> *belluae a barbaris propter beneficium consecratae[45] [broken link: #nb11_45].*
>
> *Crocodilon adorat*
>
> *Pars haec, illa pavet saturam serpentibus ibin;*
>
> *Effigies sacri hic nitet aurea cercopitheci;*
>
> *… hic piscem fluminis, illic*
>
> *Oppida tota canem venerantur.[46] [broken link: #nb11_46]*

Для животных почетно и то истолкование этого явления, которое дано Плутархом[47] [broken link: #nb11_47] и получило широкое распространение. Действительно, Плутарх утверждал, что египтяне

почитали не кошку, например, или быка, а чтили в этих животных олицетворение некоторых божественных качеств: в быке — терпение и полезность, в кошке — живость или нежелание сидеть взаперти (вроде наших соседей бургундцев вместе со всей Германией); под этим они разумели свободу, которую любили и почитали превыше всех других божественных качеств. Так же истолковывали они и почитание других животных. Но когда я встречаю у представителей самых умеренных взглядов рассуждения о якобы близком сходстве между нами и животными и описания великих преимуществ, которыми они по сравнению с нами будто бы обладают, и утверждения правомерности приравнивания нас к ним, то цена нашего самомнения в моих глазах сильно снижается и я охотно отказываюсь от приписываемого нам мнимого владычества над всеми другими созданиями[48] [broken link: #nb11_48].

Но как бы то ни было, все же существует долг гуманности и известное обязательство щадить не только животных, наделенных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и растения. Мы обязаны быть справедливыми по отношению к другим людям и проявлять милосердие и

доброжелательность ко всем другим созданиям, достойным этого. Между нами и ими существует какая-то связь, какие-то взаимные обязательства. Мне не стыдно признаться в такой моей ребяческой слабости: я не в силах отказать моей собаке в прогулке, которую она мне некстати предлагает или которой она от меня требует. У турок существуют больницы и учреждения по оказанию помощи животным. Римляне заботились в общественном порядке о пище для гусей, бдительность которых спасла Капитолий[49] [broken link: #nb11_49]; афиняне приняли решение, чтобы мулы, работавшие на постройке храма под названием Гекатомпедон, были выпущены на волю и могли свободно пастись всюду.

У агригентцев существовал обычай[50] [broken link: #nb11_50] по-настоящему хоронить животных, которые были им дороги, например лошадей, отличившихся какими-нибудь редкими качествами, или собак, или полезных птиц, или даже животных, служивших для развлечения их детей. Пристрастие к роскоши, свойственное им и во всякого рода других вещах, особенно ярко проявилось в многочисленных пышных памятниках, воздвигнутых ими животным и сохранявшихся на протяжении многих веков.

Египтяне хоронили волков, медведей, крокодилов, собак и кошек в священных местах, бальзамировали их тела и носили по ним траур[51] [broken link: #nb11_51].

Кимон[52] [broken link: #nb11_52] устроил торжественные похороны кобылам, которые трижды доставили ему победу в беге колесниц на олимпийских состязаниях. Старый Ксантипп[53] [broken link: #nb11_53] похоронил свою собаку на утесе, высящемся на морском побережье и известном с тех пор под ее именем. Плутарх рассказывает[54] [broken link: #nb11_54], что ему было бы совестно продать за скромную сумму или послать на бойню вола, который ему долгое время служил.

## Глава XII
## Апология Раймунда Сабундского[1] [broken link: #nb12_1]

Наука — это поистине очень важное и очень полезное дело, и те, кто презирают ее, в достаточной мере обнаруживают свою глупость[2] [broken link: #nb12_2]. Но все же я не придаю ей такого исключительного значения, как некоторые другие, например философ Герилл[3] [broken link: #nb12_3], который видел в ней высшее благо и считал, что она может сделать нас мудрыми и счастливыми. Я этого не думаю; не считаю я также, как утверждают некоторые, что наука — мать всех добродетелей и что всякий порок есть следствие невежества. Необходимо тщательно выяснить, верно ли это. Мой дом с давних пор был радушно открыт для ученых людей и славился этим; ибо отец мой, управлявший им более полувека, охваченный тем самым новым пылом, который побудил короля Франциска I[4] [broken link: #nb12_4] покровительствовать наукам и поднять уважение к ним, искал, не щадя усилий и средств, знакомства с образованными людьми.

Он принимал их с благоговением, как людей святых и наделенных какой-то особой божественной мудростью; их высказывания и суждения он воспринимал как прорицания оракулов и относился к ним с тем большей верой и почтительностью, что сам не в состоянии был разобраться в них, так как был столь же мало сведущ в науках, как и его предки. Что касается меня, то я люблю науку, но не боготворю ее.

Одним из таких образованных людей был и Пьер Бюнель[5] [broken link: #nb12_5], славившийся в свое время ученостью. Он провел в замке Монтень несколько дней вместе с другими столь же образованными людьми в обществе моего отца и при отъезде подарил ему книгу под названием «Theologia naturalis, sive Liber creaturarum, magistri Raymondi de Sabonde»[6] [broken link: #nb12_6]. Так как отец мой владел итальянским и испанским, а книга эта была написана на ломаном испанском языке с латинскими окончаниями, то Бюнель рассчитывал, что отец мой, при старании, сумеет одолеть ее, и рекомендовал ее ему как книгу, весьма полезную и своевременную, принимая во внимание тогдашние обстоятельства. Это происходило как раз тогда, когда новшества Лютера[7] [broken link:

#nb12_7] стали находить последователей и когда наша старая вера во многих местах пошатнулась. Бюнель справедливо оценил значение этих событий: он правильно рассудил и предугадал по началу болезни, что она легко приведет к чудовищному атеизму. Ведь простой народ, не в силах судить о вещах на основании их самих, легко поддается случайным влияниям и видимости; пользуясь тем, что ему позволили дерзко презирать и проверять учения, к которым он раньше относился с величайшим почтением, а именно к тем, где дело идет о его спасении, он, раз некоторые пункты его религии были поставлены под сомнение и заколебались, легко может подвергнуть такому же испытанию и все остальные положения своей веры, ибо они не имеют для него большей убедительности и силы, чем те, которые были поколеблены; он теперь отвергает, как тираническое иго, все воззрения, которые раньше принимал, потому что они покоились на авторитете закона или на уважении к старинному обычаю:

> *Nam cupide conculcatur nimis ante metutum.[8] [broken link: #nb12_8]*

Отныне он желает признавать лишь то, что

принято по его собственному решению и с его согласия.

Мой отец незадолго до смерти, случайно наткнувшись на эту книгу, лежавшую в кипе заброшенных бумаг, попросил меня перевести ее для него на французский язык. Таких авторов, как Раймунд Сабундский, нетрудно переводить, ибо тут важно только существо дела; куда сложнее с теми, кто придавал большое значение изяществу и красоте языка, в особенности, когда приходится переводить на менее разработанный язык. Перевод оказался для меня делом новым и необычным, но, так как я, по счастью, имел тогда много свободного времени и был не в состоянии отказать в чем бы то ни было лучшему из отцов в мире, то, как мог, справился со своей задачей. Перевод мой доставил отцу огромное удовольствие, и он распорядился его напечатать, что и было выполнено после его смерти[9] [broken link: #nb12_9].

Мне понравились взгляды этого автора, весьма последовательное построение его работы и его замысел, исполненный благочестия. Так как эту книгу с удовольствием читают многие, и в особенности дамы, к которым мы должны быть сугубо внимательны, то мне часто хотелось

прийти им на помощь и снять с этой книги два основных обвинения, которые ей предъявляют. Цель книги весьма смелая и решительная: автор ставит себе задачей установить и доказать, вопреки атеистам, все положения христианской религии с помощью естественных доводов и доводов человеческого разума. Говоря по правде, я нахожу, что он делает это весьма убедительно и удачно; вряд ли это можно сделать лучше, и вряд ли кто-нибудь может сравниться с ним в этом отношении[10] [broken link: #nb12_10]. Книга эта представляется мне весьма содержательной и интересной; между тем имя ее автора мало известно: все, что мы знаем о нем, сводится к тому, что это был испанец, врач по профессии, живший в Тулузе около двух веков тому назад. Это побудило меня в свое время обратиться к всезнающему Адриану Турнебу[11] [broken link: #nb12_11] с вопросом, что ему известно об этой книге. Он мне ответил, что в этой книге дана, на его взгляд, самая суть учения Фомы Аквинского[12] [broken link: #nb12_12]; ибо, действительно, только этот человек, отличавшийся огромной эрудицией и замечательной тонкостью ума, способен был высказать подобные взгляды. Но кто бы ни был автором и творцом этой книги (а по-моему, нет

особых оснований лишать Раймунда Сабундского этого звания), приходится признать, что это был очень одаренный человек, обладавший множеством достоинств.

Первое возражение, которое делается книге Раймунда Сабундского, состоит в том, что христиане неправы, желая обосновать свою религию с помощью доводов человеческого разума, ибо она познается только верой и особым озарением божественной благодати. В этом возражении есть, по-видимому, некое благочестивое рвение, поэтому нам следует с тем большей мягкостью и обходительностью попытаться ответить тем, кто его выдвигает. Лучше было бы, если бы это сделал человек более опытный в вопросах богословия, чем я, который ничего в нем не смыслит.

И тем не менее я считаю, что в таком возвышенном и божественном вопросе, намного превосходящем человеческий разум, каким является религиозная истина, которою божьей благодати угодно было нас просветить, необходима божественная помощь и притом необычайная и исключительная, для того чтобы мы могли эту истину постичь и воспринять. Я не думаю, чтобы этого можно было достичь как-нибудь чисто человеческими средствами. Ведь если бы это было

возможно, то неужели столько необыкновенно одаренных и выдающихся мужей древности не смогли бы силами своего ума достигнуть этого познания? Разумеется, возвышенные тайны нашей религии познаются глубоко и подлинно только верой, но это отнюдь не значит, что не было бы делом весьма похвальным и прекрасным поставить на службу нашей религии естественные и человеческие орудия познания, которыми наделил нас бог. Можно не сомневаться, что это было бы самым почетным применением, какое только мы можем им дать, и что нет дела и намерения более достойного христианина, чем стараться всеми своими силами и знаниями украсить, расширить и углубить истину своей религии. Однако мы не довольствуемся тем, чтобы служить богу только умом и душой, мы обязаны воздавать и воздаем ему также и материальное поклонение; для почитания его мы пользуемся даже нашим телом, нашими движениями и внешними предметами. Точно так же и нашу веру следует подкреплять всеми силами нашего разума, но всегда памятуя при этом, что она зависит не от нас и что наши усилия и рассуждения не могут привести нас к этому сверхъестественному и божественному познанию.

Если вера не открывается нам сверхъестественным наитием, если она доходит до нас не только через разум, но с помощью других человеческих средств, то она не выступает во всем своем великолепии и достоинстве; но все же я полагаю, что мы овладеваем верой только таким путем. Если бы мы воспринимали бога путем глубокой веры, если бы мы познавали его через него самого, а не с помощью наших усилий[13] [broken link: #nb12_13], если бы мы имели божественную опору и поддержку, то человеческие случайности не в состоянии были бы нас потрясать, как они нас потрясают. Наша твердыня не рушилась бы от столь слабого натиска. Пристрастие к новшествам, насилие государей, успех той или иной партии, случайная и неожиданная перемена наших взглядов не могли бы заставить нас поколебать или изменить нашу веру, мы не решились бы вносить в нее раскол под влиянием какого-нибудь нового довода или уговоров, сколь бы красноречивыми они ни были. С непреклонной и неизменной твердостью мы сдерживали бы напор этих потоков:

*Illisos fluctus rupes ut vasta refundit,*
*Et varias circum latrantes dissipat undas*

*Mole sua.[14] [broken link: #nb12_14]*

Если бы этот луч божества как-нибудь касался нас, он проявлялся бы во всем: это сказалось бы не только на наших речах, но и на наших действиях, на которых лежал бы его отблеск; все исходящее от нас было бы озарено этим возвышенным светом. Нам должно быть стыдно, что среди последователей всех других религий никогда не было таких, которые не сообразовали бы так или иначе свое поведение и образ жизни со своими верованиями — как бы ни были эти верования нелепы и странны, — в то время как христиане, исповедующие столь божественное и небесное учение, являются таковыми лишь по названию.

Хотите убедиться в этом? Сравните наши нравы с нравами магометанина или язычника — вы увидите, что мы окажемся в этом отношении стоящими ниже. А между тем, судя по превосходству нашей религии, мы должны были бы сиять таким несравненным светом, что о нас следовало бы говорить: «Они справедливы, милосердны, добры. Значит, они христиане». Все остальные признаки одинаковы у всех религий: чаяния, вера, чудесные события, обряды, покаяния, мученичества. Отличительной чертой нашей истинной религии должна была бы быть христианская добродетель,

ибо она является наиболее возвышенным и небесным проявлением нашей религии, будучи самым достойным плодом божественной истины. Между тем прав был наш добрый святой Людовик[15] [broken link: #nb12_15], когда он решительно отклонил желание новообращенного татарского хана прибыть в Лион, чтобы поцеловать папскую туфлю и увидеть здесь воочию ту святость, которую он надеялся найти в наших нравах; ибо Людовик опасался, как бы наш распущенный образ жизни не отвратил новообращенного от святой веры. Правда, совсем иначе случилось потом с другим человеком, который отправился с той же целью в Рим и, увидев здесь разврат прелатов и народа того времени, еще более укрепился в нашей вере, решив, что очень уж она должна быть могущественна и божественна, если сохраняет свое величие и достоинство посреди такого распутства и находясь в столь порочных руках[16] [broken link: #nb12_16].

Если бы в нас была хоть капля веры, то мы, как говорится в Священном писании, способны были бы двигать горами[17] [broken link: #nb12_17]; наши действия, будучи направляемы и руководимы божеством, не были бы просто человеческими: в них было бы нечто чудесное, как и в нашей

вере. Brevis est institutio vitae honestae beataeque, si credas[18] [broken link: #nb12_18].

Одни уверяют, будто верят в то, во что на деле не верят; другие (и таких гораздо больше) внушают это самим себе, не зная по-настоящему, что такое вера.

И мы еще удивляемся тому, что среди войн, которые сейчас терзают наше отечество[19] [broken link: #nb12_19], все творится и вершится так, как мы это видим! Ведь мы сами, только мы сами в этом повинны. Если и есть истина на стороне одной из борющихся партий, то она служит ей лишь прикрытием и украшением; на нее ссылаются, но ее не чувствуют, не сознают, не проникаются ею; она подобна той истине, которая на устах у адвоката, но не внедрилась в сердце, в душу приверженцев этой партии. Бог оказывает свою чудодейственную помощь не нашим страстям, а вере и религии; но эта помощь оказывается через людей, которые используют религию в своих интересах, между тем как должно было бы быть наоборот.

Признаемся: ведь мы ее направляем куда нам заблагорассудится! Разве мы не лепим, как из воска, сколько угодно противоположных образов из столь единого и твердого вероучения? Где это

было видано больше, чем во Франции в наши дни? И те, кто направляет ее налево, и те, кто направляет ее направо, и те, кто говорит: «Это черное», и те, кто говорит: «Это белое», — все одинаково используют ее в своих честолюбивых и корыстных целях, совершенно одинаково творя бесчинства и беззакония, до такой степени, что трудно и прямо-таки невозможно поверить, что их взгляды, как они уверяют, резко расходятся в вопросе, от которого зависит наше поведение в жизни, наш моральный закон. Может ли какая-нибудь философская школа или система морали порождать более одинаковые, более сходные нравы?

Посмотрите, с каким потрясающим бесстыдством мы обращаемся с божественным промыслом: как святотатственно мы то отвергаем, то вновь принимаем его, в зависимости от позиции, которую нам случается занимать во времена теперешних общественных потрясений. Возьмем столь торжественный догмат, как тот, который гласит: «имеет ли подданный, ради защиты веры, право вооружиться и восстать против своего государя»[20] [broken link: #nb12_20]. Припомните: кто год тому назад отстаивал положительное решение этого вопроса, объявляя его основой основ

своей партии; и, наоборот, краеугольным камнем какой другой партии было отрицательное решение того же вопроса? Сопоставьте теперь это с тем, кто в настоящее время проповедует положительное решение этого вопроса, а кто отрицательное, и меньше ли бряцают оружием в одном лагере, чем в другом? А мы сжигаем на кострах людей, которые заявляют, что надо приспособить истину к нашим потребностям! Но насколько же Франция поступает на деле хуже, чем те, кто такие вещи лишь говорит!

Будем правдивы и признаемся[21] [broken link: #nb12_21], что если отобрать даже из законной и обычной армии тех, кто идет в бой только из религиозного рвения, а также тех, кто движим единственно желанием защитить законы своей страны или послужить своему государю, то из них едва ли можно будет составить полную роту солдат. Чем объясняется, что в наших междоусобных войнах так мало людей, объединенных единой волей и единым стремлением, и что они действуют то слишком вяло, то совсем разнузданно, и что эти же люди вредят нашему делу то своими насилиями и жестокостями, то своим равнодушием, апатией и медлительностью, — чем объясняется все это, как не тем, что участники

этих междоусобиц движимы своекорыстными побуждениями, подчиняя им все остальное?

Я вижу ясно, что мы охотно делаем для нашего благочестия лишь то, что удовлетворяет нашим страстям. Никакая вражда не может сравниться с христианской. Наше рвение творит чудеса, когда оно согласуется с нашей наклонностью к ненависти, жестокости, тщеславию, жадности, злословию и восстанию. Напротив, на путь доброты и умеренности его не заманить ни так, ни эдак, если только его что-либо не толкнет туда чудом.

Наша религия создана для искоренения пороков, а на деле она их покрывает, питает и возбуждает[22] [broken link: #nb12_22].

Не следует, как говорится, морочить господа бога. Если бы мы верили в него — я имею в виду не вероисповедание, а простую веру, — то есть (и это я говорю к великому нашему смущению) если бы мы верили в него, как в любой рассказ, если бы мы чувствовали его так, как одного из наших товарищей, то мы должны были бы любить его больше всего за его бесконечную благость и светлую красоту; мы любили бы его по крайней мере не меньше, чем мы любим богатство, удовольствия, славу и наших друзей.

Самый добропорядочный из нас не боится оскорбить его, как мы боимся оскорбить своего соседа, или своего родственника, или своего господина. Найдется ли такой глупец, который, имея перед собой возможность, с одной стороны, достигнуть одного из наших порочных удовольствий, а с другой — не меньшую уверенность в достижении бессмертной славы, согласился бы обменять второе на первое? А между тем мы часто отказываемся от второго только из презрения: и впрямь, что заставляет нар богохульствовать, как не самое желание иногда нанести оскорбление?

Философ Антисфен[23] [broken link: #nb12_23], когда его посвящали в орфические таинства, в ответ на слова жреца о том, что посвятившие себя новой религии получают после смерти совершеннейшие и вечные блага, сказал ему: «Почему же в таком случае ты сам не умираешь, если веришь в это!»

А Диоген[24] [broken link: #nb12_24], по своему обыкновению, еще более грубо сказал жрецу, убеждавшему его стать последователем проповедуемого им учения, чтобы добиться вечных благ на том свете: «Так ты хочешь, чтобы я поверил, что такие великие люди, как Агесилай или Эпаминонд, будут несчастны, а что такой

ничтожный тупица, как ты, получит небесное блаженство только на том основании, что ты жрец?»

Если бы мы относились к великим обещаниям вечного блаженства с таким же уважением, как к философским рассуждениям, то мы не испытывали бы того страха перед смертью, который владеет нами:

> *Non iam se moriens dissolvi conquereretur;*
>
> *Sed magis ire foras, vestemque relinquere, ut anguis,*
>
> *Gauderet, praelonga senex aut cornua cervus.[25] [broken link: #nb12_25]*

«Имею желание разрешиться, — говорили бы мы в таком случае, — и быть со Христом»[26] [broken link: #nb12_26]. Ведь убедительность рассуждений Платона о бессмертии души побуждала же некоторых его учеников кончать с собой, чтобы скорее насладиться благами, которые он сулил им[27] [broken link: #nb12_27].

Все это убедительнейшим образом доказывает[28] [broken link: #nb12_28], что мы воспринимаем нашу религию на наш лад, нашими средствами, совсем так, как воспринимаются и другие религии. Мы либо находим нашу религию

в стране, где она была принята, либо проникаемся уважением к ее древности и к авторитету людей, которые придерживались ее, либо страшимся угроз, предрекаемых ею неверующим, либо соблазняемся обещанными ею наградами. Наша религия должна использовать все эти соображения, но лишь как вспомогательные средства, ибо это средства чисто человеческие: другая область, другие свидетельства, сходные награды и угрозы могли бы таким же путем привести нас к противоположной религии.

Мы христиане в силу тех же причин, по каким мы являемся перигорцами или немцами.

Утверждение Платона[29] [broken link: #nb12_29], что мало таких убежденных атеистов, которые под влиянием опасности не могли бы быть доведены до признания божественного провидения, не применимо к истинному христианину: только смертные и человеческие религии признаются в силу тех или иных жизненных обстоятельств. Что это за вера[30] [broken link: #nb12_30], которою вселяют и устанавливают в нас трусость и малодушие? Нечего сказать, хороша вера, которая верит в то, во что верит, только потому, что у нее нет мужества не верить! Может ли такая порочная страсть, как непосто-

янство или страх, породить в нашей душе нечто незыблемое?

Опираясь на разум, люди приходят к выводу, — говорит Платон[31] [broken link: #nb12_31], — будто все, что рассказывают об аде и загробных муках, ложно; но когда им представляется возможность проверить это на опыте, когда старость или болезни приближают их к смертному часу, то страх при мысли о том, что их ожидает, преисполняет их новой верой. Ввиду того, что под давлением подобных представлений храбрые становятся боязливыми, Платон в своих законах восстает против всяких угроз такого рода[32] [broken link: #nb12_32], равно как и против уверения, будто боги способны причинить человеку какое бы то ни было зло, кроме тех случаев, когда оно направлено к еще большему благу человека или к целительному воздействию на него. Они рассказывают о Бионе[33] [broken link: #nb12_33], что, заразившись неверием от Феодора, он долгое время издевался над верующими людьми, но когда смерть неожиданно подкралась к нему, он предался самому крайнему суеверию, как если бы существование бога зависело от того, как обстояли дела у Биона.

Платон, а также указанные примеры при-

водят нас к заключению, что мы приходим к вере в бога либо с помощью разума, либо силой обстоятельств. Так как атеизм есть учение чудовищное и противоестественное, к тому же с трудом укладывающееся в человеческой голове в силу присущей ему наглости и разнузданности, то встречается немало таких людей, которые исповедуют его для вида из тщеславия или из чванства, желая показать, что они придерживаются не общепринятых, а бунтарских взглядов. Эти люди, хотя они и достаточно безумны, недостаточно, однако, сильны, чтобы укоренить безбожие в своем сознании. Они не преминут поднять руки к небу, если вы им нанесете хороший удар кинжалом в грудь, а когда страх и болезнь несколько утихомирят их разнузданный пыл и ослабят это преходящее умонастроение, они тотчас же опомнятся и покорно подчинятся установленным верованиям и обычаям. Одно дело — основательно усвоенная догма, и совсем другое — порожденные разгулом свихнувшегося ума поверхностные представления, которые, беспорядочно и постоянно сменяясь, теснятся в нашем воображении. О, несчастные люди с вывихнутыми мозгами, которые стараются быть хуже, чем они есть!

Заблуждения язычества и незнакомство с нашей святой верой привели к тому, что Платон, этот великий ум (наделенный, однако, только чисто человеческим величием), впал еще и в другую ошибку: он утверждал, что дети и старики более восприимчивы к религии, как если бы религия была порождением нашей глупости и на ней покоилась.

Узы, которые должны связывать наш разум и нашу волю и которые должны укреплять нашу душу и соединять ее с нашим творцом, такие узы должны покоиться не на человеческих суждениях, доводах и страстях, а на божественном и сверхъестественном основании; они должны покоиться на авторитете бога и его благодати: это их единственная форма, единственный облик, единственный свет. Так как вера управляет и руководит нашим сердцем и нашей душой, то естественно, что она заставляет служить себе и все другие наши способности, в зависимости от их важности. Поэтому нет ничего невероятного в том, что на всей вселенной лежит некий отпечаток руки этого великого ваятеля и что в земных вещах есть некий образ, до известной степени схожий с создавшим и сформировавшим их творцом. Он наложил на эти возвышенные

творения печать своей божественности, и только по неразумению нашему мы не в состоянии ее обнаружить. Он сам заявляет нам об этом, говоря, что «эти невидимые дела его раскрываются нам через дела видимые». Раймунд Сабундский потратил немало усилий на изучение этого важного вопроса, и он показывает нам, что нет такого существа на свете, которое отрицало бы своего творца. Было бы оскорблением божественной благости, если бы вселенная не была заодно с нашей верой. Небо, земля, стихии, наши душа и тело — все принимают в этом участие, надо лишь уметь найти способ использовать их. Они сами наставляют нас, когда мы оказываемся в состоянии их понять. В самом деле, наш мир — не что иное, как священный храм, открытый для человека, чтобы он мог созерцать в нем предметы, не созданные смертной рукой, а такие, как солнце, звезды, вода и земля, которые божественное провидение сотворило доступными чувствам для того, чтобы дать нам представление о вещах, доступным лишь высшему разуму. «Ибо невидимое Его, — как говорит апостол Павел, — вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны»[34] [broken link: #nb12_34].

*Atque adeo faciem coeli non invidet orbi*

*Ipse deus, vultusque suos corpusque recludit*

*Semper volvendo; seque ipsum inculcat et offert*

*Ut bene cognosci possit, doceatque vivendo*

*Qualis eat, doceatque suas attendere leges.[35] [broken link: #nb12_35]*

Наши человеческие доводы и рассуждения подобны косной и бесплодной материи; только благодать божья их образует: она придает им форму и ценность. Подобно тому как добродетельные поступки Сократа или Катона остаются незачтенными и бесполезными, поскольку они не были направлены к определенной цели, поскольку они не знали истинного бога и не были проникнуты любовью к творцу всех вещей и повиновением ему, — точно так же обстоит дело и с нашими взглядами и суждениями: они имеют некое содержание, но остаются неопределенной и бесформенной массой, не просветленной до тех пор, пока они не соединятся с верой и божьей благодатью. Так как доводы Раймунда Сабундского пронизаны и озарены верой, то она делает их несокрушимыми и убедительными;

они могут служить первым вожатым ученика на этом пути. Его рассуждения до известной степени подготовляют ученика к восприятию божьей благодати, с помощью которой достигается и в дальнейшем совершенствуется наша вера. Я знаю одного почтенного и весьма образованного человека, который признался мне, что он выбрался из заблуждений неверия с помощью доводов Раймунда Сабундского. Если даже лишить эти доводы той веры, которая является их украшением и подтверждением, и принять их просто в качестве чисто человеческих суждений для опровержения тех, кто склонился к чудовищному мраку неверия, то и в этом случае они остаются непоколебленными и настолько убедительными, что им нельзя противопоставить никаких других равноценных доводов. Таким образом, мы можем сказать нашим противникам:

> *Si melius quid habes, accerse, vel imperium fer,[36] [broken link: #nb12_36]*

либо признайте силу наших доказательств, либо покажите нам какие-нибудь другие более обоснованные и более несокрушимые доводы.

Развивая эти мысли, я незаметно перешел уже ко второму возражению, на которое я хотел отве-

тить за Раймунда Сабундского.

Некоторые утверждают, что его доводы слабы и не способны подтвердить то, что он хочет, и берутся легко их опровергнуть. Эти лица заслуживают более резкой отповеди, ибо они опаснее и зловреднее первых. Мы обычно охотно истолковываем высказывания других людей в пользу наших собственных, укоренившихся в нас, предрассудков; для атеиста, например, все произведения ведут к атеизму: самую невинную вещь он заражает своим собственным ядом. У этих людей есть некое умственное предубеждение, в силу которого доводы Раймунда Сабундского до них не доходят. А между тем им кажется, что им предоставляется благоприятный случай свободно опровергать своим чисто человеческим оружием нашу религию, на которую они иначе не решились бы нападать, памятуя о всем ее величии, о ее авторитете и предписаниях. Чтобы обуздать это безумие, вернейшим средством я считаю низвергнуть и растоптать ногами это высокомерие, эту человеческую гордыню, заставить человека почувствовать его ничтожество и суетность, вырвать из рук его жалкое оружие разума, заставить его склонить голову и грызть прах земной из уважения перед величием бога

и его авторитетом. Знание и мудрость являются уделом только бога, лишь он один может что-то о себе мнить, мы же крадем у него то, что мы себе приписываем, то, за что мы себя хвалим.

> *Ου γαρ εα φρονειν ο Θεος μέγα αλλον η εωυτον[37] [broken link: #nb12_37]*

Собьем с человека эту спесь, эту главную основу тирании зловредного человеческого разума. Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam[38] [broken link: #nb12_38]. Все боги обладают разумом, заявляет Платон, из людей же — очень немногие[39] [broken link: #nb12_39].

Разумеется, для христианина большое утешение видеть, что наше бренное оружие столь же применимо к нашей святой и божественной вере, как и к нашим человеческим и бренным делам; оно действует в обоих случаях одинаково и с той же силой. Посмотрим же, имеет ли человек в своем распоряжении другие аргументы, более сильные, чем доводы Раймунда Сабундского, и вообще, возможно ли для человека прийти путем доказательств и суждений к какой-нибудь достоверности.

Блаженный Августин[40] [broken link: #nb12_40], споря с неверующими, изобличает их в том, что

они не правы, утверждая, будто те части нашей веры, которые не могут быть доказаны нашим разумом, ложны; желая показать им, что существует — и существовало — много вещей, причины и природа которых не могут быть изъяснены нашим разумом, он ссылается на ряд известных и бесспорных примеров, относительно которых человек признает, что он ничего в них не понимает; с этой целью Августин приводит, как и во многих других местах, очень тонкие и остроумные доказательства. Но надо пойти дальше и показать, что для того, чтобы убедить их в слабости человеческого разума, незачем ссылаться на редкостные явления; что человеческий разум настолько недостаточен и слеп, что нет ни одной вещи, которая была бы ему достаточно ясна; что для него все равно — что трудное, что легкое; что все явления и вся природа вообще единодушно отвергают его компетенцию и притязания.

Чему учит нас вера, когда она проповедует остерегаться светской философии[41] [broken link: #nb12_41], когда она постоянно внушает нам, что наша мудрость — лишь безумие перед лицом бога[42] [broken link: #nb12_42], что человек — самое суетное существо на свете, и что человек, кичащийся своим знанием, даже не знает того,

что такое знание[43] [broken link: #nb12_43], и что человек, который почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, обольщает и обманывает сам себя[44] [broken link: #nb12_44]? — Эти наставления Священного писания так ясно и наглядно выражают то, что я хочу доказать, что для людей, которые беспрекословно и смиренно признавали бы авторитет Священного писания, мне ничего больше не требовалось бы. Но те, которым я возражаю, хотят быть побитыми их же оружием: они желают, чтобы борьба с разумом велась не иначе, как с помощью самого разума.

Рассмотрим же человека, взятого самого по себе, без всякой посторонней помощи, вооруженного лишь своими человеческими средствами и лишенного божественной милости и знания, составляющих в действительности всю его славу, его силу, основу его существа. Посмотрим, чего он стоит со всем этим великолепным, но чисто человеческим вооружением. Пусть он покажет мне с помощью своего разума, на чем покоятся те огромные преимущества над остальными созданиями, которые он приписывает себе. Кто уверил человека, что это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из величественно вращающихся над его головой

светил, этот грозный ропот безбрежного моря, — что все это сотворено и существует столько веков только для него, для его удобства и к его услугам[45] [broken link: #nb12_45]? Не смешно ли, что это ничтожное и жалкое создание, которое не в силах даже управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой вселенной, малейшей частицы которой оно даже не в силах познать, не то что повелевать ею! На чем основано то превосходство, которое он себе приписывает, полагая, что в этом великом мироздании только он один способен распознать его красоту и устройство, что только он один может воздавать хвалу его творцу и отдавать себе отчет в возникновении и распорядке вселенной? Кто дал ему эту привилегию? Пусть он покажет нам грамоты, которыми на него возложены эти сложные и великие обязанности.

Даны ли они только одним мудрецам? Относятся ли они только к немногим людям? Или безумцы и злодеи также стоят того, чтобы они, худшие существа вселенной, пользовались таким предпочтением перед всеми остальными?

Можно ли этому поверить? Quorum igitur causa quis dixerit effectum esse mundum? Eorum scilicet

animantium quae ratione utuntur. Hi sunt dii et homines, quibus profecto nihil est melius[46] [broken link: #nb12_46]. Нет слов, чтобы достаточно осмеять это бесстыдное приравнивание людей к богам.

Есть ли в этом жалком существе хоть что-нибудь достойное такого преимущества? Подумайте только о нетленной жизни небесных тел, их красоте, их величии, их непрерывном и столь правильном движении:

> *cum suspicimus magni caelestia mundi*
>
> *Templa super, stellisque micantibus aethera fixum,*
>
> *Et venit in mentem lunae solisque viarum.[47] [broken link: #nb12_47]*

Подумайте о том, какую огромную власть и силу имеют эти небесные тела не только над нашей жизнью и превратностями нашей судьбы,

> *Facta etenim et vitas hominum suspendit ab astris,[48] [broken link: #nb12_48]*

но, как учит нас наш разум, даже над нашими склонностями, над нашей волей, которой они управляют и движут по своему усмотрению:

> *speculataque longe*

*Deprendit tacitis dominantia legibus astra,*

*Et totum alterna mundum ratione moveri,*

*Fatorumque vices certis discernere signis.[49] [broken link: #nb12_49]*

Подумайте о том, что не только отдельный человек, будь то даже король, но и целые монархии, целые империи и весь этот подлунный мир изменяется под воздействием малейших небесных движений:

*Quantaque quam parvi faciant discrimina motus:*

*Tantum est hoc regnum, quod regibus imperat ipsis![50] [broken link: #nb12_50]*

А что сказать, если наши добродетели, наши пороки, наши способности, наши знания и даже само это рассуждение о силе небесных светил и само это сравнение их с нами проистекают — как полагает наш разум — с их помощью и по их милости;

*furit alter amore*

*Et pontum tranare potest et vertere Troiam;*

*Alterius sors est scribendis legibus apta;*

*Ecce patrem nati perimunt, natosque parentes;*

*Mutuaque armati coeunt in vulnera fratres:*

*Non nostrum hoc bellum est, coguntur tanta movere,*

*Inque suas ferri poenas, lacerandaque membra;*

*Hoc quoque fatale est, sic ipsum expendere fatum.[51] [broken link: #nb12_51]*

Если даже та доля разума, которой мы обладаем, уделена нам небом, как же может эта крупица разума равнять себя с ним? Как можно судить о его сущности и его способностях по нашему знанию! Все, что мы видим в небесных телах, поражает и потрясает нас. Quae molitio, quae ferramenta, quae vectes, qui machinae, qui ministri tanti operis fuerunt[52] [broken link: #nb12_52]? На каком же основании лишаем мы их души, жизни, разума? Убедились ли мы в их неподвижности, бесчувствии, неразумии, мы, не имеющие с ними никакого общения и вынужденные им лишь повиноваться? Сошлемся ли мы на то, что мы не видели ни одного существа, кроме человека, которое наделено было бы разумной душой? А видели ли мы нечто подобное солнцу? Перестает

ли оно быть солнцем от того, что мы не видели ничего подобного? Перестают ли существовать его движения на том основании, что нет подобных им? Если нет того, чего мы не видели, то наше знание становится необычайно куцым: Quae sunt tantae animi angustiae[53] [broken link: #nb12_53]! Не химеры ли это человеческого тщеславия — превращать луну в некую небесную землю и представлять себе на ней, подобно Анаксагору[54] [broken link: #nb12_54], горы и долины, находить на ней человеческие селения и жилища и даже устраивать на ней, ради нашего удобства, целые колонии, как это делают Платон и Плутарх, а нашу землю превращать в сверкающее и лучезарное светило? Inter cetera mortalitatis incommoda et hoc est, caligo mentium, nec tantum necessitas errandi sed errorum amor[55] [broken link: #nb12_55]. Corruptibile corpus aggravat animam, et deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem[56] [broken link: #nb12_56].

Самомнение — наша прирожденная и естественная болезнь. Человек самое злополучное и хрупкое создание и тем не менее самое высокомерное[57] [broken link: #nb12_57]. Человек видит и чувствует, что он помещен среди грязи и нечистот мира, он прикован к худшей, самой тленной

и испорченной части вселенной, находится на самой низкой ступени мироздания, наиболее удаленной от небосвода, вместе с животными наихудшего из трех видов[58] [broken link: #nb12_58], и, однако же, он мнит себя стоящим выше луны и попирающим небо. По суетности того же воображения он равняет себя с богом, приписывает себе божественные способности, отличает и выделяет себя из множества других созданий, преуменьшает возможности животных, своих собратьев и сотоварищей, наделяя их такой долей сил и способностей, какой ему заблагорассудится. Как он может познать усилием своего разума внутренние и скрытые движения животных? На основании какого сопоставления их с нами он приписывает им глупость[59] [broken link: #nb12_59]?

Когда я играю со своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею! Платон в своем изображении золотого века Сатурна[60] [broken link: #nb12_60] относит к важнейшим преимуществам человека тех времен его общение с животными, изучая и поучаясь у которых, он знал подлинные качества и особенности каждого из них; благодаря этому он совершенствовал свой разум и свою проницательность, и

в результате жизнь его была во много раз счастливее нашей. Нужно ли лучшее доказательство глупости обычных человеческих суждений о животных? Этот выдающийся автор полагал[61] [broken link: #nb12_61], что ту телесную форму, которую дала им природа, она в большинстве случаев назначила лишь для того, чтобы люди по ней могли предсказывать будущее, чем в его время и пользовались.

Тот недостаток, который препятствует общению животных с нами, — почему это не в такой же мере и наш недостаток, как их? Трудно сказать, кто виноват в том, что люди и животные не понимают друг друга, ибо ведь мы не понимаем их так же, как и они нас. На этом основании они так же вправе считать нас животными, как мы их. Нет ничего особенно удивительного в том, что мы не понимаем их: ведь точно так же мы не понимаем басков и троглодитов. Однако некоторые люди хвастались тем, что понимают их, например Аполлоний Тианский, Меламп, Тиресий, Фалес и другие[62] [broken link: #nb12_62]. И если есть народы, которые, как утверждают географы, выбирают себе в цари собаку[63] [broken link: #nb12_63], то они должны уметь истолковывать ее лай и движения. Нужно признать равенство

между нами и животными: у нас есть некоторое понимание их движений и чувств, и примерно в такой же степени животные понимают нас. Они ласкаются к нам, угрожают нам, требуют от нас; то же самое проделываем и мы с ними.

В то же время известно, что и между самими животными существует глубокое общение и полное взаимопонимание, причем не только между животными одного и того же вида, но и различных видов:

> *Et mutae pecudes et denique saecla ferarum*
>
> *Dissimiles soleant voces variasque cluere*
>
> *Cum metus aut dolor est, aut cum iam gaudia gliscunt.[64] [broken link: #nb12_64]*

Заслышав собачий лай, лошадь распознает, злобно ли лает собака, и нисколько не пугается, когда собака лает совсем по-иному. Но и относительно животных, лишенных голоса, мы без труда догадываемся по тем услугам, которые они оказывают друг другу, о каком-то существующем между ними способе общения; они рассуждают и говорят с помощью своих движений:

> *Non alia longe ratione atque ipsa videtur*

*Protrahere ad gestum pueros infantia linguae.[65] [broken link: #nb12_65]*

Почему бы и нет? Ведь видим же мы, как немые при помощи жестов спорят, доказывают и рассказывают разные вещи. Я видел таких искусников в этом деле, что их действительно можно было понимать полностью. Влюбленные ссорятся, мирятся, благодарят, просят друг друга, уславливаются и говорят друг другу все одними только глазами:

*E'l silenzio ancor suole*
*Aver prieghi e parole.[66] [broken link: #nb12_66]*

А чего только мы не выражаем руками? Мы требуем, обещаем, зовем и прогоняем, угрожаем, просим, умоляем, отрицаем, отказываем, спрашиваем, восхищаемся, считаем, признаемся, раскаиваемся, пугаемся, стыдимся, сомневаемся, поучаем, приказываем, подбадриваем, поощряем, клянемся, свидетельствуем, обвиняем, осуждаем, прощаем, браним, презираем, не доверяем, досадуем, мстим, рукоплещем, благословляем, унижаем, насмехаемся, примиряем, советуем, превозносим, чествуем, радуемся, сочувствуем, огорчаемся, отказываемся, отчаиваемся, удив-

ляемся, восклицаем, немеем. Многоразличию и многообразию этих выражений позавидует любой язык! Кивком головы мы соглашаемся, отказываем, признаемся, отрекаемся, отрицаем, приветствуем, чествуем, почитаем, презираем, спрашиваем, выпроваживаем, потешаемся, жалуемся, ласкаем, покоряемся, противодействуем, увещеваем, грозим, уверяем, осведомляем. А чего только не выражаем мы с помощью бровей или с помощью плеч! Нет движения, которое не говорило бы и притом на языке, понятном всем без всякого обучения ему, на общепризнанном языке. Таким образом, если учесть наличие множества других языков, каждый из которых принят лишь в определенных областях или государствах, то язык движений следует, пожалуй, признать наиболее пригодным для человеческого рода. Я уже не говорю о том, как под давлением необходимости ему сразу научаются те, кому это нужно; не говорю я ни об азбуке пальцев, ни о грамматике жестов, ни о науках, которые изъясняются и выражаются лишь с их помощью; ни о тех народах, которые, по словам Плиния[67] [broken link: #nb12_67], не имеют никакого другого языка.

Посол города Абдеры после длинной речи, произнесенной перед спартанским царем Аги-

сом, спросил его: «Итак, государь, какой ответ я должен передать моим согражданам?» — «Что я позволил тебе, — ответил Агис, — сказать все, что ты хотел и сколько ты хотел, не произнеся ни одного слова»[68] [broken link: #nb12_68]. Разве это не образец разговора без слов и притом совершенно понятного?

Наконец, каких только человеческих способностей не узнаем мы в действиях животных! Существует ли более благоустроенное общество, с более разнообразным распределением труда и обязанностей, с более твердым распорядком, чем у пчел? Можно ли представить себе, чтобы это столь налаженное распределение труда и обязанностей совершалось без участия разума, без понимания?

> *His quidam signis atque haec exempla secuti,*
>
> *Esse apibus partem divinae mentis et haustus*
>
> *Aethereos*
> *dixere[69] [broken link: #nb12_69].*

Разве ласточки, которые с наступлением весны исследуют все уголки наших домов с тем, чтобы из тысячи местечек выбрать наиболее удобное

для гнезда, делают это без всякого расчета, наугад? И разве могли бы птицы выбирать для своих замечательных по устройству гнезд скорее квадратную форму, чем круглую, предпочтительно тупой угол, а не прямой, если бы не знали преимуществ этого? Разве, смешивая глину с водой, они не понимают, что из твердого материала легче лепить, если он увлажнен? Разве, устилая свои гнезда мохом или пухом, не учитывают они того, что нежным тельцам птенцов так будет мягче и удобнее? Не потому ли защищаются они от ветра с дождем и вьют гнезда на восточной стороне, что разбираются в действии разных ветров и считают, что одни из этих ветров для них полезнее, чем другие? Почему паук, если он лишен способности суждения и умения делать выводы, в одном месте ткет густую паутину, в другом — редкую и пользуется в одних случаях сетью из толстых нитей, в других — из тонких? На большинстве творений животных мы убеждаемся, как слабо мы способны подражать им. Ведь знаем же мы, когда речь идет о наших более грубых творениях, какие способности участвуют в их создании, и видим, что душа наша напрягает при этом все свои силы; почему в таком случае не думать того же о животных? На каком основании приписыва-

ем мы творения животных какой-то врожденной слепой склонности, хотя эти творения превосходят все, на что мы способны по своим природным дарованиям и знаниям! Так, мы, не задумываясь, наделяем животных большим преимуществом по сравнению с нами самими, допускаем, что природа с материнской нежностью охраняет и как вы собственноручно направляет их при всех обстоятельствах их жизни, во всех их действиях, между тем как нас, людей, она предоставляет на волю судьбы и случая, заставляя с помощью знания отыскивать вещи, необходимые для нашего сохранения; при этом природа отказывает нам в средствах, с помощью которых мы могли бы путем какого-то обучения и совершенствования уравнять наши способности с природной сметливостью животных. Ввиду этого, несмотря на неразумие животных, они во всех отношениях превосходят все, что доступно нашему божественному разуму.

Мы вправе были бы на этом основании назвать природу несправедливой мачехой. Но дело обстоит вовсе не так, и мы отнюдь не в столь уж плохом и невыгодном положении. В действительности природа позаботилась о всех своих созданиях, и нет из них ни одного, которого бы она не наделила

всеми необходимыми средствами самозащиты. Жалобы, которые мы постоянно слышим от людей (ибо по присущему им высокомерию они склонны то заноситься выше облаков, то впадать в противоположную крайность), заключаются в том, что человек будто бы единственная, брошенная на произвол судьбы тварь, голый человек на голой земле, связанный по рукам и ногам, могущий вооружиться и защититься лишь чужим оружием, — между тем природа позаботилась снабдить все другие создания раковинами, стручками, корой, мехом, шерстью, шкурой, шипами, перьями, волосами, чешуей, щетиной, руном, в зависимости от потребностей того или иного существа; она вооружила их когтями, зубами, рогами для нападения и защиты, она сама научила их тому, что им свойственно, — плавать, бегать, летать, петь, между тем как человек без обучения не умеет ни ходить, ни говорить, ни есть, а только плакать.

*Tum porro puer, ut saevis proiectus ab undis*

*Navita nudus humi iacet, infans, indigus omni*

*Vitali auxilio, cum primum in luminis oras*

*Nexibus ex alvo matris natura profudit;*

*Vagituque locum lugubri complet, ut aequum est*

*Cui tantum in vita restet transire malorum.*

*At variae crescunt pecudes, armenta feraeque*

*Nec crepitacula eis opus est, nec cuiquam adhibenda est*

*Almae nutricis blanda atque infracta loquella;*

*Nec varias quaerunt vestes pro tempore caeli;*

*Denique non armis opus est, non moenibus altis,*

*Queis sua tutentur quando omnibus omnia large*

*Tellus ipsa parit, naturaque daedala rerum.[70] [broken link: #nb12_70]*

Эти жалобы человека необоснованны: мир устроен более справедливо и более единообразно. Наша кожа не менее, чем кожа животных, способна противостоять переменам погоды, как показывает пример народов, которые никогда не носили никакой одежды. Наши предки, древние

галлы, были одеты совсем легко, как легко одеты и наши соседи ирландцы, живущие в весьма холодном климате. Да мы можем убедиться в этом и по себе, ибо все части тела, которые мы, согласно принятому в тех или иных краях обычаю, оставляем открытыми для ветра и воздуха, быстро приспосабливаются к этому, как, например, наше лицо, руки, ноги, плечи, голова. Если у нас и есть слабое место, которое должно было бы бояться холода, то это желудок, где происходит пищеварение, а между тем наши отцы не прикрывали его; если взять наших дам, таких слабых и хрупких, то мы нередко видим, что они обнажаются до пупка. Пеленание и завязывание детей тоже необязательны, как показывает пример спартанских матерей, которые воспитывали детей, не завязывая и не пеленая их, предоставляя полную свободу их членам[71] [broken link: #nb12_71]. Плакать так же свойственно большинству других животных, как и человеку, и многие из них долгое время после появления своего на свет пищат и стонут, ибо этот плач есть следствие той слабости, которую они ощущают. Что касается привычки есть, то она есть и у нас, и у животных прирожденная и не требует обучения:

*Sentit enim vim quisque suam quam possit*

*abuti.[72] [broken link: #nb12_72]*

Кто же усомнится в том, что ребенок, уже набравшийся достаточно сил, чтобы питаться, не сумеет отыскать себе пищу? Земля производит достаточно и может дать сколько ему нужно, не требуя обработки и никакого применения искусства; а то обстоятельство, что она может прокормить не во всякое время, относится в одинаковой мере и к животным, как показывает пример муравьев и других животных, делающих запасы на голодное время. Пример недавно открытых народов, у которых мы видим столь обильные запасы пищи и естественных напитков, не требующих ни трудов, ни забот, учит нас, что хлеб — вовсе не единственный наш предмет питания и что без всякого земледелия наша природа-мать позаботилась о произрастании всего нам необходимого; и не исключено даже, что она делала это щедрее и богаче, чем в настоящее время, когда мы присоединили к этому наше искусство, —

*Praeterea nitidas fruges vinetaque laeta*
*Sponte sua primum mortalibus ipsa creavit;*
*Ipsa dedit dulces foetus et pabula laeta,*

*Quae nunc vix nostro grandescunt aucta labore,*

*Conterimusque*
*boves et vires agricolarum,[73] [broken link: #nb12_73] —*

но только чрезмерные наши желания, которые мы спешим удовлетворить, опережают все наши достижения.

Что касается вооружения, то мы вооружены природой лучше, чем большинство других животных; мы располагаем большим числом разнообразных движений наших членов и извлекаем из них большую пользу, притом без всякого обучения; те, кто вынуждены сражаться нагими, так же, как и мы, отдаются на волю случая. Если некоторые животные и имеют перед нами в этом отношении преимущество, мы зато превосходим многих других животных. Что же касается искусства укреплять тело и защищать его разными способами, то это делается инстинктивно, по внушению природы. Так, например, слон с этой целью точит и упражняет те зубы, которыми он пользуется в борьбе (ибо у слонов имеются для этой цели особые зубы, которые они берегут и не употребляют для других надобностей)[74]

[broken link: #nb12_74]. Когда быки идут на бой, они поднимают вокруг себя пыль в виде завесы; кабаны оттачивают свои клыки; когда ихневмон готовится к битве с крокодилом, он для предохранения обмазывает свое тело слоем ила наподобие брони. Разве это не так же естественно, как то, что мы вооружаемся деревянными или железными приспособлениями?

Что касается дара речи, то если он не дан природой, без него можно обойтись. Но все же я полагаю, что ребенок, которого вырастили бы в полном одиночестве, без всякого общения с другими людьми (это был бы весьма трудно осуществимый опыт), все же имел бы какие-то слова для выражения своих мыслей. Нет оснований думать, что природа отказала бы нам в этой способности, которою она наделила многих других животных, ибо их способность, пользуясь голосом, жаловаться, радоваться, призывать на помощь, склонять к любви разве не есть речь? Почему бы им не разговаривать друг с другом, раз они разговаривают с нами, как и мы говорим с ними? Разве мы не разговариваем на все лады с нашими собаками? И они нам отвечают! Мы разговариваем с ними другим языком, другими словами, чем с птицами или со свиньями, или с

волами, или с лошадьми; мы меняем свою речь в зависимости от вида животных, с которыми мы говорим.

*Cosi per entro lora schiera bruna*

*S'ammusa l'una con l'altra formica*

*Forse à spiar lor via, et lor fortuna.[75] [broken link: #nb12_75]*

Мне помнится, Лактанций[76] [broken link: #nb12_76] приписывает животным не только способность речи, но и способность смеяться. То же различие в языках, которое мы наблюдаем у людей разных стран, мы встречаем у животных одного и того же вида. Аристотель по этому поводу упоминает куропаток, голоса которых различаются в зависимости от мест, где они водятся[77] [broken link: #nb12_77]:

*variaeque volucres*

*Longe alias alio iaciunt in tempore voces,*

*Et partim mutant cum tempestatibus una*

*Raucisonos cantus.[78] [broken link: #nb12_78]*

Но хотелось бы знать, на каком языке будет говорить ребенок, выросший в полном одиночестве, ибо то, что говорится об этом наугад, не

очень-то убедительно. Если, желая мне возразить, сошлются на то, что глухие от природы не умеют говорить, то я отвечу, что это объясняется не только тем, что они не смогли обучиться говорить с помощью слуха, но происходит еще более оттого, что орган слуха, которого они лишены, связан с органом речи и что оба эти органа естественным образом связаны между собою; поэтому, прежде чем обратиться со словами к другим людям, нам нужно сначала сказать их себе, нужно, чтобы эти слова прозвучали в наших собственных ушах.

Все сказанное мною должно подтвердить сходство в положении всех живых существ, включая в их число человека. Человек не выше и не ниже других; все, что существует в подлунном мире, как утверждает мудрец[79] [broken link: #nb12_79], подчинено одному и тому же закону и имеет одинаковую судьбу:

> *Indupedita suis fatalibus omnia vinclis.[80] [broken link: #nb12_80]*

Разумеется, есть и известные различия — подразделения и степени разных свойств, но все это в пределах одной и той же природы:

> *res quaeque suo ritu procedit, et omnes*
> *Foedere*

*naturae certo discrimina servant.[81] [broken link: #nb12_81]*

Надо заставить человека признать этот порядок и подчиниться ему. Он не боится, жалкий, ставить себя выше его, между тем как в действительности он связан и подчинен тем же обязательствам, что и другие создания его рода; он не имеет никаких подлинных и существенных преимуществ или прерогатив. Те преимущества, которые он из самомнения произвольно приписывает себе, просто не существуют; и если он один из всех животных наделен свободой воображения и той ненормальностью умственных способностей, в силу которой он видит и то, что есть, и то, чего нет, и то, что он хочет, истинное и ложное вперемешку, то надо признать, что это преимущество достается ему дорогой ценой и что ему нечего им хвалиться, ибо отсюда ведет свое происхождение главный источник угнетающих его зол: пороки, болезни, нерешительность, смятение и отчаяние.

Итак, возвращаясь к прерванной нити изложения, я утверждаю, что нет никаких оснований считать, будто те действия, которые мы совершаем по своему выбору и умению, животные делают по естественной склонности и по при-

нуждению. На основании сходства действий мы должны заключить о сходстве способностей и признать, что животные обладают таким же разумом, что и мы, действуя одинаковым с нами образом. Почему мы предполагаем в животных природное принуждение, мы, не испытывающие ничего подобного? Тем более, что почетнее быть вынужденным действовать по естественной и неизбежной необходимости — и это ближе к божеству, — чем действовать по своей воле — случайной и безрассудной; да и гораздо спокойнее предоставлять бразды нашего поведения не нам, а природе. Из нашего тщеславного высокомерия мы предпочитаем приписывать наши способности не щедрости природы, а нашим собственным усилиям и, думая этим превознести и возвеличить себя, наделяем животных природными дарами, отказывая им в благоприобретенных. И я считаю это большой глупостью, ибо, на мой взгляд, качества, присущие мне от рождения, следует ценить ничуть не меньше, чем те, которые я собрал по крохам и выклянчил у обучения. Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, чем сказав, что он одарен от бога и от природы.

Возьмем, к примеру, лисицу[82] [broken link: #nb12_82], которую фракийцы, желая узнать,

можно ли безопасно пройти по тонкому речному льду, пускали вперед. Подойдя к краю воды, лиса приникает ухом ко льду, чтобы определить, слышен ли ей шум воды, текущей подо льдом, с далекого или близкого расстояния. И когда она, узнав таким образом, какова толщина льда, на этом основании решает, идти ли вперед или отступить, не должны ли мы заключить, что в уме лисицы совершается та же работа, что и в нашем, что она рассуждает совсем так же, как мы, и что ход ее мыслей примерно таков: то, что производит шум, движется; то, что движется, не замерзло; то, что не замерзло, находится в жидком состоянии; то, что жидко, не выдержит тяжести. Ибо думать, что действия лисицы являются лишь следствием остроты ее слуха и совершаются без рассуждения, значит допускать невероятное, не сообразное со здравым смыслом. И то же самое следует допустить относительно множества разных уловок и хитростей, с помощью которых животные защищаются от человека.

А если бы мы захотели усмотреть некоторое наше преимущество в том, что мы можем ловить животных, заставлять их служить нам и использовать их по нашему усмотрению, то ведь это лишь то самое преимущество, какое один из

нас имеет перед другим. На этом преимуществе основано существование у нас рабов. Разве не доказывает это пример сирийских климакид, которые, став на четвереньках, служили ступеньками или подножками для дам, садившихся в экипаж[83] [broken link: #nb12_83]? Разве не видим мы, как многие свободные люди за ничтожную плату вынуждены отдавать свою жизнь и свои силы в распоряжение господина? Жены и наложницы фракийцев спорили между собой о том, кому достанется честь быть убитой на могиле мужа[84] [broken link: #nb12_84]. У тиранов никогда не было недостатка в преданных им людях, многие из которых готовы были разделить с ними не только жизнь, но и смерть.

Целые армии давали такие клятвы своим предводителям[85] [broken link: #nb12_85]. Формула присяги, которую приносили бойцы в суровых гладиаторских школах, обязуясь сражаться до последнего вздоха, гласила: «Мы клянемся, что позволим заковать себя в цепи, жечь, бить, пронзать мечами и стерпим все, что настоящие гладиаторы терпят от своего господина, самоотверженно отдавая на службу ему свою душу и тело»[86] [broken link: #nb12_86]:

*Ure meum, si vis, flamma caput, et pete*

*ferro*

*Corpus, et intorto verbere terga seca.[87] [broken link: #nb12_87]*

Это — подлинное обязательство; и был год, когда таких бойцов оказалось десять тысяч, — и все они погибли.

У скифов был обычай: хороня своего царя, они душили у его трупа любимую его наложницу, его виночерпия, конюшего, сокольничего, ключника и повара; а по прошествии года убивали пятьдесят коней и пятьдесят посаженных на них юношей, в трупы которых вгонялся вдоль спинного хребта прямой кол, доходивший до самой шеи; таких всадников они выставляли напоказ вокруг могилы[88] [broken link: #nb12_88].

Люди, которые на нас работают, служат нам за более дешевую плату и пользуются менее бережным и обходительным обращением, чем то, какое мы оказываем птицам, лошадям и собакам.

Каких только забот не проявляем мы об их удобствах! Мне кажется, что самые жалкие слуги не делают с большей готовностью для своих господ того, что властелины почитают за честь сделать для своих животных.

Так, Диоген, узнав что его родные стараются

выкупить его из рабства, заявил[89] [broken link: #nb12_89]: «Они безумны! Ведь мой хозяин заботится обо мне, кормит и холит меня; те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные — им».

У животных есть та благородная особенность, что лев никогда не становится из малодушия рабом другого льва, а конь — рабом другого коня. Подобно тому, как мы охотимся на зверей, так и львы, и тигры охотятся на людей; и точно так же животные охотятся кто на кого: собака — на зайцев, щуки — на линей, ласточки — на сверчков, ястребы — на дроздов и жаворонков:

*serpente ciconia pullos*
*Nutrit, et inventa per devia rura lacerta,*
*Et leporem aut capream famulae Iovis, et generosae*
*In saltu venantur aves.[90] [broken link: #nb12_90]*

Мы делим добычу с нашими собаками и птицами, точно так же, как делим с ними во время самой охоты труды и усилия: например, выше Амфиполя[91] [broken link: #nb12_91] во Фракии охотники и неприрученные соколы делят добычу

пополам; подобно этому, если на побережье Меотийского озера рыболов не отдаст добровольно волкам ровно половину добычи, они тотчас же разорвут его сети.

Подобно тому как у нас существует охота, которая ведется больше с помощью хитрости, чем силы, например с применением силков или удочек и крючков, точно так же мы встречаемся с такими же видами охоты и у животных. Аристотель рассказывает[92] [broken link: #nb12_92], что каракатица выбрасывает из горла длинную кишку наподобие удочки; она вытягивает ее в длину и приманивает ею, а когда захочет, втягивает ее в себя обратно. Когда она замечает, что приближается маленькая рыбка, она дает ей возможность укусить кусочек этой кишки, а сама, зарывшись в песок или тину, постепенно втягивает кишку, пока рыбка не окажется так близко от нее, что она одним прыжком может ее поймать.

Что касается силы, которую способны применить животные, то никому не угрожает в этом отношении больше опасностей, чем человеку, причем для этого вовсе не требуется какой-нибудь кит или слон, или крокодил, или какое-нибудь подобное животное, каждое из которых может погубить множество людей; вши смогли поло-

жить конец диктатуре Суллы[93] [broken link: #nb12_93], ничтожного червя достаточно, чтобы подточить сердце и жизнь великого и увенчанного победами императора.

На каком основании мы считаем, что только человек обладает знанием и умением различать, какие вещи для него полезны и целебны, какие вредны, что только ему, человеку, известны свойства ревеня и папоротника? Почему не полагаем мы, что это тоже проявление разума и знаний, когда видим, например, что раненные стрелой критские козы разыскивают среди множества трав особую целебную траву — ясенец; или когда черепаха, проглотившая гадюку, тотчас же ищет душицу, чтобы прочистить желудок; или когда дракон трет и прочищает себе глаза укропом; или когда аисты ставят себе клизмы из морской воды; или когда слоны извлекают у себя из тела копья и стрелы, которыми они были ранены в сражении, причем проделывают это не только на себе и на других слонах, но и на своих хозяевах (примером чего может служить царь Пор, который был разбит Александром[94] [broken link: #nb12_94]), и притом с такой ловкостью, что мы не смогли бы сделать это так безболезненно. Если же с целью унизить животных мы станем

утверждать, что они все это делают благодаря полученному от природы умению разбираться в ней и пользоваться ею, то это не будет означать, что они лишены ума и знаний; напротив, это значит признать за ними ум и знания еще с большим основанием, чем за человеком, поскольку они приобретают их в такой великолепной школе, где наставницей — сама природа.

Хрисипп[95] [broken link: #nb12_95] был весьма низкого мнения о животных и судил о них, как и обо всем на свете, с таким презрением, как ни один другой философ. При всем том ему однажды довелось наблюдать движения собаки, которая встретилась ему на перекрестке трех дорог и которая то ли шла по следу своего хозяина, которого она потеряла, то ли разыскивала какую-то убежавшую вперед дичь. Она обнюхала сначала одну дорожку, потом другую и, не найдя на них следа того, что искала, она, ни минуты не колеблясь, устремилась по третьему пути. Видя это, Хрисипп вынужден был признать, что собака рассуждала следующим образом: «До этого перекрестка я шла по следу моего хозяина; затем он неминуемо должен был бы пойти по одному из трех открывшихся путей, но не пошел ни по первому, ни по второму, следовательно, он обязательно должен

был пойти по третьему». Убежденная этим умозаключением, собака уже больше не прибегает к своему обонянию и не обнюхивает третьего пути, а сразу устремляется по нему, движимая силой разума. Разве это диалектическое суждение и это умение пользоваться как отдельными частями силлогизма, так и силлогизмом в целом, которыми собака обладает от природы, не стоит выучки, полученной у Георгия Трапезундского[96] [broken link: #nb12_96]?

Разве животные не так же способны к обучению, как и мы? Мы учим говорить дроздов, ворон, сорок, попугаев; разве гибкость голоса и податливость дыхания, которую мы обнаруживаем у них при обучении их известному числу звуков и слогов, не свидетельствуют о присущем им разуме, который делает их способными к обучению и вселяет им охоту учиться? Я думаю, что все приходят в изумление при виде множества фокусов, которым дрессировщики научают своих собак, при виде того, как собаки танцуют, не ошибаясь ни в одном такте мелодии, которую они слышат, при виде разных движений и прыжков, которые собаки исполняют по приказу своих хозяев. С еще большим восхищением я наблюдаю другое, довольно распространенное явление — собак,

являющихся поводырями слепых, как в городе, так и в деревне; я замечаю, как собаки останавливаются у дверей определенных домов, где они привыкли получать подаяние, как они охраняют своих слепых хозяев от проезжающих повозок даже тогда, когда дорога, на их взгляд, достаточно широка; я видел собаку, шедшую вдоль городского рва, которая оставила широкую и удобную тропу и выбрала менее удобную, но с тем, чтобы ее хозяин был подальше от рва. Как можно было объяснить этой собаке, что ее обязанность заключается в том, чтобы заботиться только о безопасности ее хозяина и пренебрегать своими собственными удобствами?

И как могла собака знать, что такая-то дорога, которая достаточно широка для нее, будет недостаточно широка для слепого? Как можно все это объяснить, если мы отрицаем у животных разум и способность рассуждать?

Стоит вспомнить рассказ Плутарха о собаке[97] [broken link: #nb12_97], которую он видел в Риме в театре Марцелла вместе с императором Веспасианом-отцом[98] [broken link: #nb12_98]. Эта собака принадлежала одному фокуснику, который разыгрывал представление из нескольких пантомим с участием многих действующих лиц,

причем одна из ролей отводилась собаке. В числе прочего ей надо было изобразить в одном месте смерть от какого-то принятого ею лекарства. Проглотив кусок хлеба, который должен был изображать это лекарство, она начала дрожать и трепетать, как если бы лишилась чувств, и наконец распростерлась и вытянулась неподвижно, как мертвая; ее можно было волочить и перетаскивать с места на место, как требовалось по ходу действия; затем, когда наступил известный ей момент, она стала сперва чуть заметно шевелиться, как если бы просыпалась от глубокого сна, и приподняв голову, оглядывалась по сторонам с таким выражением, которое поразило всех присутствующих.

Для орошения царских садов в Сузах волы должны были вращать огромные колеса, к которым были прикреплены наполнявшиеся водой чаны наподобие тех, что часто встречаются в Лангедоке. В течение дня каждый вол должен был сделать до ста оборотов, и волы настолько привыкли к этому числу движений, что никакими силами нельзя было заставить их сделать лишний оборот; выполнив свою работу, они решительно останавливались. До отроческих лет мы не умеем считать до ста, а недавно были

открыты народы, не имеющие вообще никакого понятия о счете.

Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому. Демокрит полагал и доказывал, что мы научились многим ремеслам у животных; например, искусству ткать и шить — у паука, строить — у ласточки, музыке — у соловья и лебедя, а искусству лечить болезни — подражая многим животным. В свою очередь Аристотель считал, что соловьи обучают своих птенцов петь и тратят на это время и усилия; этим, по его мнению, объясняется, что пение соловьев, выросших в неволе и не имевших возможности получить выучку у своих родителей, далеко не столь сладостно. Из этого мы можем заключить, что их пение улучшается благодаря упражнению и выучке; ведь даже не все соловьи, живущие на свободе, поют одинаково, а каждый по своим способностям; они с таким рвением стремятся к обучению и так яростно соревнуются между собой, что нередко побежденный соловей падает замертво не потому, что у него прервался голос, а потому что прервалось дыхание. Самые юные птенцы молча слушают и пытаются повторить некоторые строфы песни; прослушав урок своего наставника, ученик тщательно исполняет

его; то один, то другой умолкает, слышно, как исправляются ошибки, и можно разобрать упреки наставника[99] [broken link: #nb12_99]. «Я видел однажды, — рассказывает Арриан[100] [broken link: #nb12_100], — слона, у которого к каждой ноге и к хоботу были подвешены цимбалы, под звуки которых все остальные слоны танцевали вокруг него, приподнимаясь и опускаясь в такт; слушать эту гармонию было удовольствием». На зрелищах в Риме[101] [broken link: #nb12_101] можно было зачастую видеть дрессированных слонов, которые под звук голоса двигались и исполняли танцы с разными, очень трудными фигурами. Встречались такие слоны, которые на досуге вспоминали выученное ими и упражнялись в нем, побуждаемые прилежанием и стремлением научиться, чтобы их учителя не бранили или не били их[102] [broken link: #nb12_102].

Поразительна история сороки, о которой сообщает Плутарх[103] [broken link: #nb12_103]. Она жила в лавке цирульника в Риме и удивительно умела подражать голосом всему, что слышала. Однажды случилось, что несколько трубачей остановились и долго трубили перед своей лавкой. С этого момента и на весь следующий день сорока впала в задумчивость, онемела и загру-

стила. Все удивлялись этому и полагали, что гром труб так оглушил и поразил ее, что она вместе со слухом утратила и голос. Но под конец обнаружилось, что это было глубокое изучение и уход в себя, во время которого она внутренне упражнялась и готовилась изобразить звук этих труб; прежний голос ушел на то, чтобы изобразить переходы трубачей от одной ноты к другой, их паузы и повторения, причем это новое обучение вытеснило все, что она умела делать до этого, и заставило ее отнестись к своему прошлому с презрением.

Не могу не привести также и другого примера, виденного и сообщаемого тем же Плутархом[104] [broken link: #nb12_104] (хотя я прекрасно сознаю, что нарушаю порядок изложения этих примеров, но забочусь только о том, чтобы они подтверждали выводы всего моего рассуждения). Находясь на корабле, Плутарх однажды наблюдал собаку, которая была в затруднительном положении, так как не могла добраться до растительного масла, находившегося на дне кружки и не могла дотянуться до него языком из-за слишком узкого горлышка кружки. И вдруг она принялась подбирать находившиеся на корабле камешки и кидать их в кружку до тех пор, пока масло не поднялось

до края кружки, который она могла достать. Разве это не действие достаточно изощренного ума? Говорят, что так же поступают берберийские вороны, когда хотят напиться воды, уровень которой слишком для них низок.

Эти действия весьма напоминают мне то, что рассказывает о слонах один из знатоков их, Юба[105] [broken link: #nb12_105]. Он сообщает, что когда какой-нибудь слон, поддавшись на хитрость охотника, попадает в одну из глубоких ям, которые специально роют для них и прикрывают сверху хворостом, чтобы их обмануть, то его товарищи заботливо притаскивают большие камни и деревья, чтобы он с их помощью мог выбраться. Это животное во множестве других поступков настолько не уступает по уму человеку, так что если бы я стал подробно прослеживать, чему учит в этом отношении опыт, то легко мог бы доказать свое мнение, что иной человек отличается от другого больше, чем животное от человека. Сторож слона, живший в одном частном доме в Сирии, крал половину каждой порции еды, которую ему приказано было выдавать животному. Однажды хозяин сам захотел накормить своего слона и высыпал ему в кормушку всю порцию ячменя, которая ему полагалась, но слон, с укором взгля-

нув на смотрителя, отделил хоботом половину и отодвинул ее в сторону, свидетельствуя тем самым об ущербе, который ему наносили[106] [broken link: #nb12_106]. Другой слон, смотритель которого добавлял в его пищу камней, чтобы увеличить размеры порции, подошел к котлу, в котором варилось для него мясо, и насыпал в него золы. Я привел здесь отдельные случаи, но многие видели и знают, что во всех армиях Востока одной из главных боевых сил были слоны; они приносили несравненно большую пользу, чем приносит в настоящее время артиллерия, играющая примерно ту же роль в регулярном сражении, что хорошо известно людям, знающим древнюю историю:

*si quidem Tyrio parere solebant*
*Hannibali, et nostris ducibus, regique Molosso,*
*Horum maiores, et dorso ferre cohortes*
*Partem aliquam belli et euntem in proelia turmam.[107] [broken link: #nb12_107]*

Надо было очень полагаться на ум и рассудительность этих животных, чтобы предоставлять им решающую роль в сражении, когда малейшего промедления, которое они могли допустить

из-за своей громоздкости и тяжести, или малейшего испуга, который побудил бы их обратиться против своего же войска, было бы достаточно, чтобы погубить все дело. Между тем известно очень мало случаев, чтобы они обращались против своих собственных солдат, что гораздо чаще случается с нашими войсками. Слонам давались сложные задания: им поручались не простые передвижения, а проведение различных операций в сражении. Такую же роль играли у испанцев, при завоевании ими Америки, собаки, которым платили жалованье и уделяли часть добычи[108] [broken link: #nb12_108]; эти животные обнаруживали наряду с рвением и воинственностью необычайную ловкость и рассудительность в умении добиваться победы, нападать или отступать смотря по обстоятельствам, различать друзей от врагов.

Мы больше восхищаемся вещами необычными, нежели повседневными, и больше ценим первые; не будь так, я не стал бы приводить такое множество примеров, ибо, по-моему, тот, кто захочет внимательно понаблюдать за обычным поведением живущих среди нас животных, убедится, что они совершают не менее поразительные действия, чем те, которые можно

встретить в давние времена и в далеких странах. Повсюду мы имеем дело с одной и той же природой. Кто достаточно разбирается в этом сейчас, сумеет сделать твердые выводы на этот счет для прошлого и будущего.

Мне как-то довелось видеть людей, привезенных к нам из дальних заморских стран. Кто из нас не называл их грубыми дикарями единственно лишь потому, что мы не понимали их языка и что по своему виду, поведению и одежде они были совершенно не похожи на нас? Кто из нас не считал их тупыми и глупыми по той причине, что они молчали, не зная французского языка, не будучи знакомы с нашей манерой здороваться и извиваться в поклонах, с нашей осанкой и поступью, которые, конечно же, должен взять себе за образец весь род людской.

Мы осуждаем все, что нам кажется странным и чего мы не понимаем; то же самое относится и к нашим суждениям о животных. Животные обладают некоторыми способностями, соответствующими нашим, и об этих способностях мы можем догадываться, сравнивая их с нашими, но мы ничего не знаем об их отличительных особенностях. Лошади, собаки, быки, овцы, птицы и наибольшая часть прирученных животных узна-

ют человеческий голос и повинуются ему. Так было еще с муреной Красса, которая выплывала на его зов, так же ведут себя угри в источнике Аретусы[109] [broken link: #nb12_109]. Мне пришлось видеть водоемы, где рыбы по зову смотрителей выплывали за кормом:

> *nomen habent, et ad magistri*
> *Vocem quisque sui venit citatus.[110] [broken link: #nb12_110]*

Мы способны понять это. Можно также утверждать, что у слонов есть нечто вроде религии[111] [broken link: #nb12_111]; так, мы видим, что в определенные часы дня они после разных омовений поднимают хобот, подобно тому, как мы воздеваем к небу руки, и, устремив взор к восходящему солнцу, надолго погружаются в созерцание и размышление. Все это они проделывают по собственному побуждению, без всякой выучки и наставления. Мы не можем утверждать, что у них нет религии, на том лишь основании, что мы не наблюдаем ничего подобного у других животных, ибо не можем судить о том, что от нас скрыто. Мы видим, например, нечто похожее на наши действия в том явлении, которое наблюдал философ Клеанф[112] [broken link: #nb12_112].

Он рассказывал, что видел муравьев, отправившихся из своего муравейника к другому, неся на себе мертвого муравья. Множество других муравьев вышло ему навстречу из того другого муравейника, как бы для переговоров с ними. Постояв некоторое время вместе, вторая партия муравьев вернулась к себе, чтобы посовещаться и обдумать положение вместе со своими товарищами; они проделали этот путь два или три раза, по-видимому, потому, что трудно было договориться. Наконец, вторая партия муравьев принесла первого червя из своего гнезда, как бы в виде выкупа за убитого; тогда первая партия муравьев взвалила на плечи червя и унесла его к себе, оставив второй партии труп муравья. Таково истолкование, которое дал этому явлению Клеанф, признав тем самым, что хотя животные и лишены речи, они все же способны к взаимному общению и сношениям. А мы, которые не в состоянии проникнуть в сущность этого общения, беремся — как это ни глупо — судить об их действиях.

Впрочем, они совершают еще множество других действий, во много раз превосходящих наши способности; мы не в состоянии ни воспроизвести их путем подражания, ни даже понять их

усилием нашего воображения. Многие считают, что в том великом последнем морском сражении, в котором Антоний был разбит Августом[113] [broken link: #nb12_113], корабль Антония был на полном ходу остановлен маленькой рыбкой, которую римляне называли remora по той причине, что она обладает способностью останавливать всякий корабль, присосавшись к нему. Когда император Калигула плыл с большим флотом вдоль побережья Романьи, именно его галера была внезапно остановлена этой же рыбкой. Несмотря на свои малые размеры, она способна была справляться с морем, с ветрами и гребцами любой силы, лишь присосавшись пастью к галере (это рыбка, живущая в раковине). Разгневанный император приказал достать ее со дна своего корабля и не без основания был весьма поражен, увидев — когда ему ее принесли, — что, находясь на корабле, она совсем не имела той силы, которой обладала в море. Некий житель Кизика[114] [broken link: #nb12_114] следующим образом приобрел славу хорошего математика. Наблюдая поведение ежа, нора которого с нескольких сторон была открыта для ветров различных направлений, он заметил, что, предвидя, какой подует ветер, еж принимался законопачивать

свою нору с соответствующей стороны. Сделав это наблюдение, житель Кизика стал давать своему городу верные предсказания об ожидаемом направлении ветра. Хамелеон принимает окраску того места, где он обитает; осьминог же сам придает себе нужную ему в зависимости от обстоятельств окраску, например, желая укрыться от того, кого он боится, или поймать то, что он ищет. Для хамелеона это пассивная перемена, между тем как у осьминога она активная. При испуге, гневе, стыде и в других состояниях мы меняемся в лице, но эта перемена происходит независимо от нас, пассивно, так же как и у хамелеона; во время желтухи мы желтеем, но эта желтизна отнюдь не зависит от нашей воли. Большие возможности по сравнению с человеком, которыми обладают некоторые животные, свидетельствуют о том, что им присуща некая высшая, скрытая от нас способность; весьма вероятно, что мы не знаем еще многих других их способностей и свойств, проявления которых нам недоступны.

Самыми древними и самыми верными из всех тех предсказаний, которые делались в прошлые времена, были предсказания по полету птиц. Есть ли в нас что-либо похожее или столь замечательное? Правильность и закономерность

взмахов их крыльев, по которым судят о предстоящих вещах, — эти замечательные действия должны направляться каким-то изумительным способом, ибо приписывать эту выдающуюся способность какому-то естественному велению, не связывая его ни с разумом, ни с пониманием, ни с волей того, кто производит эти движения, — точка зрения, лишенная смысла и несомненно ложная. Доказательством этого может служить пример ската[115] [broken link: #nb12_115], который обладает способностью усыплять не только части тела, прикасающиеся к нему непосредственно, но и приводить в какое-то оцепенение руки тех, кто тащит и направляет сети; более того, рассказывают, что если полить его сверху водой, то эта его усыпляющая сила, поднимаясь сквозь воду, достигает рук. Это — поразительная способность и весьма полезная для ската: он ощущает ее и пользуется ею; так, стремясь поймать выслеживаемую им добычу, он зарывается в ил, так, чтобы другие рыбы оказывались над ним, и тогда, пораженные этим оцепенением, они попадают ему в пасть. Журавли, ласточки и другие перелетные птицы отчетливо сознают свою способность угадывать будущее и применяют ее на деле. Охотники уверяют, что если из

нескольких щенят хотят выбрать самого лучшего, то следует предоставить выбор их матке; так, если вытащить щенят из их конуры, то тот, кого мать первым спрячет туда обратно, и есть самый лучший, или если сделать вид, что конура со всех сторон охвачена пламенем, то лучшим будет тот щенок, к которому матка прежде всего кинется на помощь. Отсюда следует, что у собак есть способность угадывать будущее, которою мы не обладаем, или что у них есть какая-то иная и более верная, чем у нас, способность судить о своих детенышах.

Животные производят на свет детенышей, кормят их, учат их двигаться и действовать совсем так же, как люди; они живут и умирают так же, как и мы; таким образом, то, что мы отказываем животным в некоторых движущих стимулах и приписываем себе высшие по сравнению с ними способности, никак не может основываться на превосходстве нашего разума. Для укрепления нашего здоровья врачи предлагают нам жить по образу и по примеру животных, недаром с давних пор в народе говорят: Ноги и голову теплей укрывай, А во всем остальном — зверям подражай.

Размножение есть главнейшее проявление нашей плотской природы, и известные особен-

ности в расположении наших органов делают нас более приспособленными для этого. Однако некоторые утверждают, что лучше для нас было бы подражать здесь позе зверей, как более соответствующей преследуемой цели:

*more ferarum*

*Quadrupedumque magis ritu, plerumque putantur*

*Concipere uxores, qui sic loca sumere possunt,*

*Pectoribus*
*positis, sublatis femina lumbis.[116] [broken link: #nb12_116]*

И они считают вредными те бесстыдные и распущенные движения, которые женщины сами уже добавили от себя, рекомендуя женщинам вернуться к образу действий и поведению самок животных, более умеренному и скромному:

*Nam mulier prohibet se concipere atque repugnat,*

*Clunibus ipsa viri Venerem si laeta retractat,*

*Atque exossato ciet omni pectore fluctus.*

*Eiicit enim sulcum recta regione viaque*

*Vomeris, atque locis avertit seminis ictum.[117] [broken link: #nb12_117]*

Если справедливость заключается в том, чтобы воздавать каждому по заслугам, то надо признать, что животные, которые служат своим добродетелям, любят и защищают их, а на чужих и на тех, кто обижает их хозяев, набрасываются, преследуя их, обладают чувством, похожим на наше чувство справедливости. Животные обнаруживают строжайшую справедливость и при распределении пищи между своими детенышами. Что касается дружбы, то в ней животные проявляют несравненно больше постоянства и глубины, чем люди. Собака царя Лисимаха[118] [broken link: #nb12_118], Гиркан, когда ее хозяин умер, упорно не отходила от его ложа, отказываясь от пищи и питья, а когда тело царя предавали сожжению, бросилась в огонь и сгорела. Так же поступила собака и некоего Пирра: с момента смерти своего хозяина она лежала неподвижно на его ложе, а когда тело унесли, она с трудом поднялась и бросилась в костер, на котором его сжигали. Есть некоторые сердечные склонности, иногда возникающие в нас без ведома разума в силу какого-то невольного порыва, именуемого некоторыми симпатией. Животные, как и мы,

способны на такие чувства. Так, например, лошади проникаются столь сильной привязанностью друг к другу, что нам бывает нелегко разлучить их и заставить служить врозь; нередко мы наблюдаем, что лошадей словно к определенному лицу, влечет к определенной масти их сотоварища, и всюду, где бы ни повстречалась им лошадь такой масти, они тотчас же дружески и с радостью к ней устремляются, а ко всякой другой масти относятся с ненавистью и отвращением. Животные, как и мы, разборчивы в любви и выбирают, подобно нам, себе самок; они также не чужды ревности или бурных и неутолимых желаний.

Вожделения бывают либо естественные и необходимые, как, например, голод или жажда; либо естественные, но не необходимые, как, например, половое общение; либо и не естественные и не необходимые: таковы почти все человеческие вожделения, которые и искусственны и излишни. В самом деле, поразительно, как немного человеку нужно для его подлинного удовлетворения и как мало природа оставила нам такого, чего еще можно пожелать. Обильные кушанья, изготовляемые в наших кухнях, не опровергают установленного ею порядка. Стоики утверждают, что человеку достаточно для пропитания одной маслины в

день. Изысканные вина, которые мы пьем, не имеют ничего общего с предписаниями природы, так же как и прихоти наших плотских желаний:

> *neque illa*
>
> *Magno prognatum deposcit consule cunnum.[119] [broken link: #nb12_119]*

У нас так много искусственных вожделений, порожденных нашим непониманием того, что есть благо, и нашими ложными понятиями, что они оттесняют почти все наши естественные вожделения; получается так, как если бы в каком-нибудь городе оказалось такое большое число иностранцев, что они совсем вытеснили туземцев или лишили их прежней власти, завладев ею полностью. Животные гораздо более умеренны, чем мы, и держатся в пределах, поставленных природой, но и у них иногда можно отметить некоторое сходство с нашей склонностью к излишествам. Подобно тому как неистовые вожделения толкали иногда людей к сожительству с животными, точно так же и животные иногда влюбляются в людей и бывают преисполнены неестественной нежности то к одному существу, то к другому. Примером может служить слон, соперник Аристофана Грамматика[120] [broken

link: #nb12_120], влюбившийся в юную цветочницу в городе Александрии; он расточал ей знаки внимания страстного поклонника, ни в чем не уступая Аристофану: так, прогуливаясь по рынку, где продавались фрукты, он хватал их своим хоботом и подносил ей; он старался не упускать ее из вида и иногда клал ей на грудь свой хобот, стараясь прикоснуться к ее соскам. Рассказывают также о драконе, влюбленном в молодую девушку, о гусе, пленившемся ребенком в городе Асопе, и об одном баране, поклоннике музыкантши Главки; а как часто можно видеть обезьян, страстно влюбленных в женщин. Встречаются также животные, предавшиеся однополой любви. Оппиан[121] [broken link: #nb12_121] и другие авторы приводят примеры, свидетельствующие об уважении животных к браку, о том, что они не сожительствуют со своими детьми; однако наблюдение показывает обратное:

*nec habetur turpe iuvencae*

*Ferre patrem tergo; fit equo sua filia conjux;*

*Quasque creavit init pecudes caper, ipsaque, cuius*

*Semine concepta est, ex illo concipit*

*ales.[122] [broken link: #nb12_122]*

Что касается хитрости, то можно ли найти более яркое проявление ее, чем случай с мулом философа Фалеса[123] [broken link: #nb12_123]? Переходя через реку и будучи нагружен солью, он случайно споткнулся, вследствие чего навьюченные на него мешки промокли насквозь. Заметив, что благодаря растворившейся соли поклажа его стала значительно легче, он с тех пор, как только на пути его попадался ручей, тотчас же погружался в него со своей ношей; он проделывал это до тех пор, пока его хозяин не обнаружил его хитрость и не приказал нагрузить его шерстью. Потерпев неудачу, мул перестал прибегать к своей хитрости. Многие животные простодушно подражают нашей жадности: действительно, мы видим, как они крайне озабочены тем, чтобы захватить все, что можно тщательно спрятать, хотя бы это были вещи, для них бесполезные.

Что касается хозяйственности, то животные превосходят нас не только в умении собирать и делать запасы на будущее, но им известны необходимые для этого сведения из области домоводства. Так, например, когда муравьи замечают, что хранимые ими зерна и семена начинают сыреть и отдавать затхлостью, они

раскладывают их на воздухе для проветривания, освежения и просушки, опасаясь, как бы они не испортились и не стали гнить. Но особенно замечательно, с какой предусмотрительностью и предосторожностью они обращаются с семенами пшеницы, далеко превосходя в этом отношении нашу заботливость. Ввиду того, что зерна пшеницы не остаются навсегда сухими и твердыми, с течением времени увлажняются и размягчаются, готовясь прорасти, муравьи из страха лишиться сделанных ими запасов отгрызают кончик зерна, из которого обычно выходят ростки[124] [broken link: #nb12_124].

Что касается войн, которые принято считать самым выдающимся и достославным человеческим деянием, то я хотел бы знать, должны ли они служить доказательством некоего превосходства человека, или наоборот, показателем нашей глупости и несовершенства? Животным поистине не приходится жалеть о том, что им неизвестна эта наука уничтожать и убивать друг друга и губить свой собственный род[125] [broken link: #nb12_125]:

*quando leoni*
*Fortior eripuit vitam leo? quo memore*

*unquam*

*Expiravit aper maioris dentibus apri?[126] [broken link: #nb12_126]*

Не всем, однако, животным неведомы войны: примером тому служат яростные сражения пчел и столкновения предводителей их армий:

*saepe duobus*

*Regibus incessit magno discordia motu*

*Continuoque animos vulgi et trepidantia bello*

*Corda licet longe praesciscere.[127] [broken link: #nb12_127]*

Всегда, когда я читаю это изумительное описание войны, я не могу отделаться от представления, что передо мною картина человеческой глупости и суетности[128] [broken link: #nb12_128]. И впрямь поразительно, какими ничтожными причинами вызываются жестокие войны, наполняющие нас страхом и ужасом, этот ураган звуков и криков, эта устрашающая лавина вооруженных полчищ, это воплощение ярости, пыла и отваги:

*Fulgur ibi ad caelum se tollit, totaque circum*

*Aere renidescit tellus, subterque virum vi*

*Excitur pedibus sonitus, clamoreque montes*

*Icti reiectant voces ad sidera mundi.[129] [broken link: #nb12_129]*

И улаживаются эти раздоры благодаря столь ничтожным случайностям:

*Paridis propter narratur amorem*

*Graecia barbariae diro collisa duello;[130] [broken link: #nb12_130]*

вся Азия, говорят, была разорена и опустошена в результате войн из-за распутства Париса. В основе того великого разрушения, каким является война, часто лежит прихоть одного человека; войны нередко ведутся из-за какой-нибудь причиненной ему обиды, либо ради его удовлетворения, либо из-за какой-нибудь семейной распри, то есть по причинам, не стоящим выеденного яйца. Послушаем, что говорят на этот счет те, кто сами являются главными зачинщиками и поджигателями их; выслушаем самого крупного, самого могущественного и самого победоносного из всех живших на земле императоров[131] [broken link: #nb12_131], который, словно играя, затевал множество опасных сражений на суше и на море, из-за которого лилась кровь и ставилась

на карту жизнь полумиллиона человек, связанных с его судьбой, и ради предприятий которого расточались силы и средства обеих частей света:

> *Quod futuit Glaphyran Antonius, hanc mihi poenam*
>
> *Fulvia constituit, se quoque uti futuam.*
>
> *Fulviam ego ut futuam? Quid, si me Manius oret*
>
> *Paedicem, faciam? Non puto, si sapiam.*
>
> *Aut futue, aut pugnemus, ait. Quid, quod mihi vita*
>
> *Carior est ipsa mentula? Signa canant.[132] [broken link: #nb12_132]*

(Пользуясь Вашим любезным разрешением, я злоупотребляю латинскими цитатами[133] [broken link: #nb12_133].) А между тем это многоликий великан, который как бы сотрясает небо и землю, —

> *Quam multi Libyco volvuntur marmore fluctus,*
>
> *Saevus ubi Orion hybernis conditur undis,*
>
> *Vel cum sole novo densae torrentur aristae,*
>
> *Aut Hermi campo, aut Lyciae flaventibus*

*arvis,*

*Scuta sonant, pulsuque pedum tremit excita tellus.[134] [broken link: #nb12_134]*

Это страшное чудовище о стольких головах и руках — всего лишь злополучный, слабый и жалкий человек. Это — всего лишь потревоженный и разворошенный муравейник:

*It nigrum campis agmen.[135] [broken link: #nb12_135]*

Достаточно одного порыва противного ветра, крика ворона, неверного шага лошади, случайного полета орла, какого-нибудь сна, знака или звука голоса, какого-нибудь утреннего тумана, чтобы сбить его с ног и свалить на землю. Одного солнечного луча достаточно, чтобы сжечь и уничтожить его; достаточно бросить ему немного пыли в глаза (или напустить пчел, как мы читаем у нашего поэта[136] [broken link: #nb12_136]) — и сразу все наши легионы даже с великим полководцем Помпеем во главе будут смяты и разбиты наголову. Ведь именно против Помпея, как мне помнится, Серторий применил эту проделку в Испании, чтобы разбить его прекрасную армию, и эта же военная хитрость впоследствии сослужила службу и другим, например Евмену против

Антигона или Сурене против Красса[137] [broken link: #nb12_137]:

> *Hi motus animorum atque haec certamina tanta*
>
> *Pulveris*
> *exigui iactu compressa quiescent.[138] [broken link: #nb12_138]*

Да и сейчас, если напустить на толпу людей рой пчел, он рассеет ее. В недавние времена, когда португальцы осаждали город Тамли в княжестве Шьятиме[139] [broken link: #nb12_139], жители города поставили на крепостных стенах множество ульев, которые у них имелись в изобилии. Приготовившись, они быстро выпустили пчел на неприятельскую армию, которая тотчас же обратилась в бегство, ибо солдаты не в состоянии были справиться с жалившими их пчелами. Так с помощью этого необычайного средства город одержал победу над португальцами и сохранил свою свободу.

Души императоров и сапожников скроены на один и тот же манер[140] [broken link: #nb12_140]. Наблюдая, с каким важным видом и торжественностью действуют государи, мы воображаем, что их действия вызываются столь же важными и

вескими причинами. Но мы ошибаемся, ибо на самом деле они руководствуются в своих действиях теми же побуждениями, что и мы. Тот же повод, который вызывает ссору между мной и моим соседом, вызывает войну между государями; та же причина, по которой кто-нибудь бьет слугу, может побудить государя опустошить целую область. Государи столь же непостоянны в своих желаниях, как и мы, но у них больше возможностей. У слона и у клеща одни и те же побуждения.

Что касается верности, то нет в мире такого животного, которое можно было бы упрекнуть в неверности по отношению к человеку. Из истории известно много случаев, когда собаки разумно выясняли причину смерти хозяев. Царь Пирр[141] [broken link: #nb12_141], увидев однажды собаку, сторожившую покойника, и узнав, что она выполняет эту обязанность уже три дня, приказал похоронить труп и насильно увести собаку. Однажды, когда он производил осмотр своих войск, эта собака, увидев убийц своего хозяина, с яростным лаем набросилась на них, чем способствовала раскрытию убийства, виновники которого понесли должное наказание. То же самое сделала собака мудрого Гесиода[142] [broken

link: #nb12_142], указавшая детям Ганистора из Навпакта на того, кто был виновником убийства ее господина. Другая собака, охранявшая храм в Афинах, заметила вора-святотатца, похитившего самые ценные его сокровища, и стала на него изо всех сил лаять. Так как сторожа храма не проснулись от ее лая, она по пятам пошла за вором, а когда рассвело, стала держаться от вора подальше, не теряя, однако, его из вида. Она отказывалась от пищи, если он предлагал ей, другим же прохожим приветливо махала хвостом и брала у них из рук еду, которую ей давали; если вор делал привал, чтобы поспать, она останавливалась в том же месте. Когда весть об этой собаке дошла до сторожей храма, они принялись ее разыскивать, расспрашивая о ее породе, и наконец, нашли ее в городе Кромионе вместе с вором; они препроводили последнего в Афины, где он и был наказан. Кроме того, судьи, желая наградить собаку за оказанную услугу, распорядились, чтобы ей отпускалась на общественный счет определенная порция хлеба, причем жрецы обязаны были следить за этим. Об этом случае, как о достоверном, происшедшем на его памяти, сообщает Плутарх[143] [broken link: #nb12_143].

Что касается благодарности животных (ибо

мне кажется, что это слово вполне применимо к ним), то достаточно привести один пример, о котором сообщает Апион и свидетелем которого он был[144] [broken link: #nb12_144]. Однажды, рассказывает он, когда в Риме для народного увеселения был устроен бой редких зверей, главным образом львов необыкновенной величины, среди них привлек общее внимание один лев, выделявшийся своим свирепым видом, силой, огромными размерами и грозным рычанием. Среди рабов, которые были выбраны для сражения с этими львами, находился некий Андрод, родом из Дакии, принадлежавший одному римскому вельможе, имевшему звание консула. Названный лев, издали увидев Андрода, внезапно остановился и словно замер от восторга. Потом он ласково, кротко и мирно приблизился к нему, как бы стараясь распознать его. Убедившись, что это был тот, кого он искал, он принялся вилять хвостом, как это делают собаки, приветствуя своих хозяев, целовать и лизать руки и ноги этого несчастного раба, который дрожал от страха и был сам не свой. Но через некоторое время, убедившись в доброжелательности льва, Андрод собрался с духом и открыл глаза, чтобы рассмотреть его, и тут произошло нечто необыкновенное. К неопи-

суемому удовольствию публики, лев и раб стали приветствовать и ласкать друг друга. При виде этого народ стал испускать радостные крики, приветствовать это зрелище. Тогда император велел позвать раба и приказал ему объяснить причину такого странного происшествия. В ответ на это раб рассказал следующую, дотоле неизвестную и примечательную историю.

«Когда мой хозяин, — сообщил раб, — был проконсулом в Африке, он ежедневно так нещадно бил меня и обращался со мной так жестоко, что я вынужден был скрыться и бежать от него. Желая спрятаться в надежном месте от такого могущественного человека, я задумал бежать в пустынную и необитаемую часть Африки, решив, что если не найду там пропитания, то уж как-нибудь сумею покончить с собой. Солнце в тех краях жгло необычайно, жара стояла невыносимая, и потому, увидев укромную и недоступную пещеру, я поспешил спрятаться в нее. Некоторое время спустя в пещеру явился этот самый лев с окровавленной лапой, стонавший и изнывавший от боли. Его появление сильно испугало меня, но он, увидев, что я забился в угол логова, кротко приблизился ко мне, протягивая мне свою раненую лапу и как бы моля о помощи.

Несколько освоившись с ним, я вытащил у него из раны большую занозу и, массируя рану, вынул попавшую в нее грязь и тщательно прочистил и вытер лапу. Почувствовав сразу облегчение от мучившей его боли, лев заснул, продолжая, однако, держать свою лапу в моих руках. С тех пор мы прожили с ним в этой пещере целых три года, питаясь одной и той же пищей: обычно он уходил на добычу и приносил мне лучшие куски от пойманных им зверей; за отсутствием огня, я жарил их на солнце и питался ими. Под конец эта грубая и дикая жизнь надоела мне, и однажды, когда лев, как обычно, отправился на охоту, я покинул пещеру и через три дня был схвачен воинами, которые доставили меня из Африки в этот город к моему господину. Он тотчас же приговорил меня к смерти и велел отдать меня на растерзание зверям. Очевидно, вскоре после того, как я был схвачен, пойман был и этот лев, который сейчас старался отблагодарить меня за оказанное ему благодеяние — за исцеление, которое я принес ему».

Такова история, рассказанная Андродом императору, приказавшему передать ее слово в слово народу. Вслед за тем, по просьбе присутствующих, Андрод был отпущен на волю со снятием с него

наказания, и сверх того, по решению народа, ему был подарен этот самый лев. С тех пор, сообщает Апион, Андрод водил на привязи своего льва, обходя с ним римские таверны и собирая монетки, которые им подавали; иногда льву бросали цветы, и он позволял украшать ими себя. Завидя их, все говорили: «Вот лев, который радушно приютил у себя в логове человека, а вот человек, вылечивший льва».

Мы часто оплакиваем смерть наших любимых животных, но и они оплакивают нас:

> *Post bellator equus, positis insignibus Aethon*
>
> *It lacrimans, guttisque humectat grandibus ora.[145] [broken link: #nb12_145]*

У некоторых народов существует общность жен, у других царит моногамия, то же самое наблюдается и у животных, у которых можно встретить браки, более прочные, чем у нас.

Животные также создают свои объединения для взаимопомощи, и нередко можно видеть, как быки, свиньи и другие животные всем стадом бегут на крик своего раненого товарища, спеша присоединиться к нему и защитить его. Если рыба-усач попалась на удочку рыболова, то ее

товарищи собираются вокруг нее и перегрызают леску; если же кто-нибудь из них попадет в сеть, то остальные вытаскивают наружу его хвост и, впившись в него зубами, вытягивают товарища и увлекают его с собой. Усачи, когда один из них оказывается пойман, поддевают леску спиной, которая у них имеет зазубрины, как пила, и с ее помощью перепиливают и перерезают леску.

Что касается отдельных оказываемых нами друг другу услуг, то подобные примеры можно встретить и у животных. Рассказывают, что кит никогда не плавает один, а всегда следует за похожей на пескаря и плывущей впереди него маленькой рыбкой, которую поэтому называют лоцманом. Кит плывет за ней и позволяет ей управлять собой, как руль управляет кораблем; в довершение всего кит, который сразу же проглатывает все, что попадает ему в пасть, — любое животное или даже целую лодку, — вбирает в свою пасть эту маленькую рыбку и держит там, не причиняя ей никакого вреда. Когда она спит у него в пасти, кит не шелохнется, а как только она выскальзывает оттуда, он тотчас же следует за ней; если же случайно она отплывет от него куда-нибудь в сторону, он начинает блуждать, натыкаясь на скалы, как корабль, потерявший

управление. Плутарх рассказывает, что наблюдал это на острове Антикире[146] [broken link: #nb12_146]. Такой же союз существует между маленькой птичкой, называемой корольком, и крокодилом. Она служит этому огромному животному сторожем, и если ихневмон, враг крокодила, приближается к нему, желая с ним сразиться, то, боясь, чтобы он не застал крокодила спящим, она начинает петь и клевать его, стараясь разбудить и предупредить об опасности. Она питается остатками пищи этого чудовища, которое охотно пропускает ее к себе в пасть и позволяет ей клевать и выискивать маленькие кусочки мяса, застрявшие у него между челюстями и зубами; если же крокодил хочет закрыть свою пасть, то он предупреждает ее об этом, смыкая челюсти мало-помалу и не причиняя ей вреда. Раковина, обычно называемая перламутром, живет таким же образом с небольшим животным вроде краба, который служит ей сторожем и привратником, ибо он помещается у входа в раковину и держит ее всегда приоткрытой до тех пор, пока в нее не заберется какая-нибудь рыбешка, годная им обоим в пищу. Тогда он залезает в раковину и, пощипывая ее, заставляет плотно закрыться, после чего они съедают свою добычу[147] [broken

link: #nb12_147].

Образ жизни тунцов свидетельствует о том, что они по-своему знакомы с тремя разделами математики. Что касается астрономии, то можно сказать, что они обучают ей людей: действительно, они останавливаются в том месте, где их застает зимнее солнцестояние, и остаются здесь до следующего равноденствия; вот почему даже Аристотель охотно признает за ними знакомство с этой наукой. Что касается геометрии и арифметики, то они всегда составляют косяк кубической формы, во всех направлениях квадратный, и образуют плотное тело, замкнутое и со всех сторон окруженное шестью равными гранями, после чего они плавают в таком квадратном распорядке, в виде косяка, имеющего одинаковую ширину сзади и спереди, так что завидевшему косяк и сосчитавшему число рыб в одном ряду, нетрудно установить численность всего косяка, ибо глубина его равна ширине, а ширина — длине[148] [broken link: #nb12_148].

Красноречивым проявлением гордости у животных может служить история, приключившаяся с огромным псом, присланным царю Александру из Индии[149] [broken link: #nb12_149]. Ему сначала предложили сразиться с оленем, потом с

кабаном, затем с медведем, но пес не удостоил их внимания и даже не двинулся с места. Лишь увидев перед собой льва, он тотчас же поднялся на ноги, ясно показывая этим, что его достоинство позволяет ему сразиться только со львом.

Что касается раскаяния и признания своих ошибок, то об одном слоне, убившем в пылу гнева своего сторожа, рассказывают, что от огорчения он перестал принимать пищу и этим уморил себя[150] [broken link: #nb12_150].

Не чуждо животным и великодушие. Об одном тигре — а тигр ведь самое свирепое животное — рассказывают, что когда ему дали в пищу молодую козочку, он целых два дня голодал, щадя ее. На третий день он разбил клетку, в которую был заключен, и отправился искать себе другую добычу, не желая трогать козочки, своего ближнего и гостя[151] [broken link: #nb12_151].

Что касается близости и согласия, которые устанавливаются между животными благодаря общению, то мы часто видим, что кошки, собаки и зайцы привыкают друг к другу и живут вместе. Но то, что приходится наблюдать мореплавателям, особенно плывущим вдоль берегов Сицилии, превосходит всякое человеческое воображение. Я говорю об алкионах. Какому еще виду

животных природа оказала столько внимания при родах и появлении на свет потомства? Поэты утверждают, что один из плавучих Делосских островов укрепился и стал неподвижным, чтобы Латона[152] [broken link: #nb12_152] могла на нем разрешиться от бремени. Но богу было угодно, чтобы все море было неподвижно и гладко, чтобы на нем царило безветрие и не было ни малейшего волнения и никакого дождя в день, когда алкион порождает свое потомство, что приходится как раз в зимнее солнцестояние, то есть в самый короткий день в году; благодаря этой милости, оказываемой алкионам, мы можем в разгар зимы в течение семи суток плавать в безопасности. Их самки не признают никаких других самцов, кроме своей же породы, они проводят с ними всю жизнь, никогда не покидая их; если же случается, что самец становится слабосильным и дряхлеет, они взваливают его себе на плечи, повсюду носят с собой и заботятся о нем до самой смерти. Никто еще до настоящего времени не в состоянии был ни постигнуть то изумительное искусство, с каким алкион устраивает гнездо для своего потомства, ни разгадать, из чего он его делает. Плутарх[153] [broken link: #nb12_153], который видел и обследовал собственными

руками многие из них, полагает, что это кости какой-то рыбы, которые алкион как-то соединяет и связывает между собой, располагая одни из них вдоль, другие — поперек и устраивая ложбинки и углубления, так что под конец образуется круглое, способное плавать суденышко; закончив это сооружение, алкион испытывает его с помощью морского прибоя; поместив его туда, где волны ударяют слабо, он узнает, что в этом суденышке необходимо еще починить и в каких местах его нужно еще лучше укрепить, чтобы оно не распалось от ударов волн. Во время этого испытания все части, которые в суденышке хорошо прилажены, от ударов морских волн пристают друг к другу еще тесней и смыкаются так плотно, что оно не может ни разломаться, ни распасться, и только в редких случаях может пострадать, наткнувшись на камень или кусок железа. Нельзя, кроме того, не восхищаться формой и пропорциями внутреннего устройства этого сооружения: действительно, оно сделано и рассчитано так, что в нем не может поместиться никакая другая птица, кроме той, которая его построила, ибо оно закрыто и никакое постороннее тело, за исключением морской воды, не в состоянии в него проникнуть. Вот к чему сводится очень ясное

описание этого сооружения, взятое из хорошего источника, и тем не менее мне все же представляется, что оно недостаточно разъясняет нам всю сложность этой постройки. Какого же безмерного самомнения должны мы быть преисполнены, чтобы отзываться с. презрением о действиях, которых мы не в состоянии ни понять, ни воспроизвести, и ставить их ниже наших?

Но продолжим это сопоставление ценности и соответствия наших способностей способностям животных и перейдем к той привилегии, которой особенно гордится наша душа, а именно к уменью мыслить бестелесно все то, что она постигает, и воспринимать все, что до нее доходит лишенным тленных и материальных качеств. Этим она освобождает предметы, которые считает достойными соприкосновения с нею, от их тленных свойств, отбрасывая их, как низменные и ненужные оболочки, — от таких свойств, как толщина, длина, глубина, вес, цвет, запах, шероховатость, гладкость, твердость, мягкость и все другие чувственные качества, — с тем, чтобы они соответствовали ее бессмертной и духовной сущности. Так, например, я мыслю в душе моей Рим или Париж, представляя их себе без их размеров и местоположения, без камней, известки и

дерева, из которых они построены.

Но ведь такая привилегия присуща и животным. В самом деле, когда мы видим, что конь, привыкший к звукам труб, к стрельбе и грохоту боя, лежа и дремля, вдруг вздрагивает и начинает трепетать во сне, словно бы он находился на поле сражения, ясно, что он мысленно представляет себе бой барабана, но бесшумный, и войско, но бесплотное и безоружное:

> *Quippe videbis equos fortes, cum membra iacebunt*
>
> *In somnis, sudare tamen spirareque saepe,*
>
> *Et quasi de palma summas contendere viris.[154] [broken link: #nb12_154]*

Заяц, которого борзая видит во сне, за которым она во сне гонится, распустив хвост по ветру, сгибая, как при беге, колени и выделывая безукоризненно все те движения, которые мы наблюдаем у нее при преследовании зайца, — это заяц без шерсти и без костей:

> *Venantumque canes in molli saepe quiete*
>
> *Iactant crura tamen subito, vocesque repente*
>
> *Mittunt, et crebras reducunt naribus auras,*

*Ut vestigia si teneant inventa ferarum.*

*Experge factique sequuntur inania saepe*

*Cervorum simulacra, fugae quasi dedita cernant:*

*Donec discussis redeant erroribus ad se.[155] [broken link: #nb12_155]*

Нередко приходится наблюдать, как сторожевые псы рычат во сне, потом вдруг, громко тявкнув, внезапно просыпаются и вскакивают, словно бы они заметили приближение кого-то чужого; этот чужак, который им привиделся, — человек бесплотный, неосязаемый, лишенный объема, цвета и плоти:

*At consueta domi catulorum blanda propago*

*Degere, saepe levem ex oculis volucremque saporem*

*Discutere, et corpus de terra corripere instant,*

*Proinde quasi ignotas facies atque ora tueantur.[156] [broken link: #nb12_156]*

Что касается телесной красоты, то, прежде чем перейти к дальнейшему, я хотел бы знать, есть ли между нами согласие в определении ее. Похо-

же на то, что мы не знаем, что такое природная красота и красота вообще, ибо приписываем человеческой красоте самые различные черты, а между тем, если бы существовало какое-нибудь естественное представление о ней, мы все узнавали бы ее так же, как мы узнаем жар, исходящий от огня. Но каждый из нас рисует себе красоту по-своему:

> *Turpis Romano Belgicus ore color.[157] [broken link: #nb12_157]*

Индийцы изображают красавиц[158] [broken link: #nb12_158] черными и смуглыми, с широкими и плоскими носами, пухлыми и оттопыренными губами, с толстыми золотыми кольцами, продетыми через нос и свисающими до рта, а также с широкими кольцами, украшенными камнями и продетыми через нижнюю губу и свешивающимися над подбородком; при этом особенно привлекательным у них считается оскалить зубы до самых десен. В Перу наиболее красивыми считаются самые длинные уши, и перуанцы искусственно вытягивают их до предела, а некий наш современник сообщает[159] [broken link: #nb12_159], что у одного восточного народа придается большое значение этому увеличению

размеров ушей и украшению их тяжелыми драгоценностями, что он мог продеть свою руку в перчатке через отверстие их ушной мочки.

Некоторые народы тщательно красят зубы в черный цвет и с презрением относятся к белым зубам[160] [broken link: #nb12_160], в других местах зубы красят в красный цвет. Не только в стране басков, но и во многих других местах красивыми считаются женщины с бритыми головами; поразительно, что такое мнение, как утверждает Плиний[161] [broken link: #nb12_161], распространено и в некоторых областях на крайнем севере. У мексиканок считается красивым низкий лоб, поэтому они отращивают волосы на лбу и прикрывают ими лоб, во бреют волосы на всех остальных частях тела; у них так ценятся большие груди, что они стараются кормить своих младенцев, забрасывая груди за плечи[162] [broken link: #nb12_162]. У нас, это считалось бы уродством. Итальянцы изображают — грудь крепкой и пышной, испанцы — тощей и дряблой; у нас же одни изображают ее белой, другие — смуглой, одни — мягкой и нежной, другие — крепкой и сильной, одни требуют от нее грации и нежности, другие — больших размеров и силы. Сходным образом Платон считал[163] [broken link: #nb12_163]

самой совершенной по красоте шаровидную форму, а эпикурейцы — пирамидальную или квадратную, и не могли представить себе бога в виде шара.

Как бы то ни было, природа не наделила нас большими преимуществами по сравнению с животными ни в отношении телесной красоты, ни в смысле подчинения ее общим законам. И если мы как следует понаблюдаем себя, то убедимся, что хотя и есть некоторые животные, обделенные по сравнению с нами телесной красотой, но зато есть немало и таких, которые наделены богаче, чем мы, — a multis animalibus decore vincimur[164] [broken link: #nb12_164], — даже среди живущих рядом с нами, наземных; ибо что касается морских животных, то (оставляя в стороне общую форму тела, которая не может идти ни в какое сравнение с нашей, настолько она отлична) мы значительно уступаем им и в окраске, и в правильности линий, и в гладкости, и в строении, точно так же мы по всем статьям значительно уступаем птицам и другим летающим животным. То преимущество, которое так прославляют поэты, а именно наше вертикальное положение и взгляд, устремленный к небу, нашей прародине, —

> *Pronaque cum spectant animalia cetera terram,*
>
> *Os homini sublime dedit, caelumque videre*
>
> *Iussit, et erectos ad sidera tollere vultus[165] [broken link: #nb12_165] —*

есть всего лишь поэтическая метафора; ибо имеется много животных с устремленным вверх взглядом, а если взять шеи верблюда или страуса, то они еще прямее, чем у нас, и более вытянуты.

У каких животных взгляд не обращен так же, как и у нас, вверх и вперед? А разве по положению своего тела животные не обращены так же, как и человек, и к небу и к земле?

Разве многие наши телесные свойства не присущи, как показывают Платон и Цицерон, тысячам других видов животных[166] [broken link: #nb12_166]?

На нас наиболее похожи самые некрасивые и противные животные: ведь как раз обезьяны наиболее походят на нас и головой и всем своим внешним видом:

> *Simia quam similis, turpissima bestia, nobis,[167] [broken link: #nb12_167]*

а по внутреннему строению и устройству органов — свиньи. Действительно, когда я мысленно

представляю себе человека совершенно нагим (и именно того пола, который считается наделенным большей красотой), когда представляю себе его недостатки и изъяны, его природные несовершенства, то нахожу, что у нас больше оснований, чем у любого другого животного, прикрывать свое тело. Нам простительно подражать тем, кого природа наделила щедрее, чем нас в этом отношении, украшая себя их красотой, прятаться под тем, что мы отняли у них, и одеваться в шерсть, перья, меха и шелка.

Заметим, кроме того, что мы являемся единственным видом животных, недостатки которого неприятно поражают наших собственных собратьев, мы единственные, которым приходится скрываться при удовлетворении наших естественных потребностей. Достойно внимания, что опытные люди рекомендуют для излечения от любовной страсти увидеть безвозбранно желанное тело нагим, полагая, что для охлаждения страсти достаточно увидеть то, что любишь, в неприкрытом виде:

> *Ille quod obscoenas in aperto corpore partes*
> *Viderat, in cursu qui fuit, haesit amor.*[168]

*[broken link: #nb12_168]*

И если даже допустить, что подобное изречение высказано человеком, чрезмерно утонченным и пресыщенным, все же то обстоятельство, что привычка вызывает у нас охлаждение между супругами, является неопровержимым доказательством нашего несовершенства. То, что наши дамы не разрешают нам входить к ним, пока они не будут одеты, причесаны и готовы показаться на люди, объясняется не столько их стыдливостью, сколько хитростью и предусмотрительностью.

> *Nec Veneres nostras hoc fallit; quo magis ipsae*
>
> *Omnia summo opere hos vitae postscaenia celant,*
>
> *Quos retinere volunt adstrictosque esse in amore.[169] [broken link: #nb12_169]*

Между тем у многих животных нет ничего такого, чего мы не любили бы, что нам не нравилось бы; ведь известно, что некоторые наши лакомые блюда, самые лучшие духи и дорогие украшения изготовляются из их выделений или даже из экскрементов.

Эти рассуждения относятся, однако, только к

обычному течению нашей жизни и не касаются — что было бы кощунством — тех божественных, сверхъестественных и необычайных красот, которые иногда, как звезды, сияют среди нас в земной и телесной оболочке.

Как бы то ни было, даже те блага природы, которыми мы, по нашему собственному признанию, наделяем животных, представляют большие преимущества. А самим себе мы либо приписываем воображаемые и фантастические блага, ожидаемые в будущем и пока что отсутствующие, блага, которые не зависят от человеческих способностей, либо же по самонадеянности нашей ложно приписываем себе такие блага, как разум, знание, честь; животным же мы отдаем в удел такие важные, реальные и ощутимые блага, как мир, покой, безопасность, простота и здоровье; подумайте, даже здоровье, которое является самым прекрасным и щедрым даром природы! Недаром философы, и даже стоики, утверждают, что если бы Гераклит и Ферекид[170] [broken link: #nb12_170] имели возможность променять свою мудрость на здоровье и избавиться путем этой сделки — один от водянки, другой от мучащей его ломоты в ногах, то они с радостью пошли бы на это. Из другого высказывания стоиков также

явствует, как они расценивают мудрость, сравнивая и противопоставляя ее здоровью. Так, они утверждают, что если бы Цирцея[171] [broken link: #nb12_171] предложила Улиссу на выбор два напитка: один — превращающий глупца в мудреца, другой — превращающий мудрого в глупца, то Улисс, наверное, предпочел бы напиток глупости, лишь бы не быть превращенным в животное, и что сама мудрость должна была сказать ему так: «Оставь меня! Лучше расстанься со мной, но не вселяй меня в тело осла». Как! Неужели же философы расстаются с великой и божественной мудростью ради того, чтобы сохранить свой земной и телесный облик? Значит, мы превосходим животных не разумом, не способностью суждения и наличием души, а нашей красотой, нашим приятным цветом лица и прекрасным сложением? И оказывается, что ради этого стоит отказаться и от нашего ума, и от нашей мудрости и всего прочего?

Что ж, я согласен с этим откровенным и искренним признанием! Они несомненно знали, что наши преимущества, с которыми мы так носимся, — чистая фантазия. Значит, если бы даже животные обладали всей добродетелью, знанием, мудростью и совершенством стоиков, они все

же оставались бы животными и их нельзя было бы сравнивать даже с жалким глупым и дурным человеком. Итак, все, что не похоже на нас, ничего не стоит. И сам бог, для того чтобы чтили его, должен, как мы сейчас покажем, походить на нас. Из этого явствует, что мы ставим себя выше других животных и исключаем себя из их числа не в силу истинного превосходства разума, а из пустого высокомерия и упрямства.

Но, возвращаясь к прерванной нити рассуждения, рассмотрим, какие блага приходятся на долю человека. Наш удел — это непостоянство, колебания, неуверенность, страдание, суеверие, забота о будущем — а значит, и об ожидающем нас после смерти, — честолюбие, жадность, ревность, зависть, необузданные, неукротимые и неистовые желания, война, ложь, вероломство, злословие и любопытство. Да, мы несомненно слишком дорого заплатили за этот пресловутый разум, которым мы так гордимся, за наше знание и способность суждения, если мы купили их ценою бесчисленных страстей, во власти которых мы постоянно находимся. Ведь нам нечего хвалиться, как справедливо указывает Сократ[172] [broken link: #nb12_172], тем замечательным преимуществом по сравнению с другими жи-

вотными, что в то время как животным природа отвела для любовных утех определенные сроки и границы, человеку она предоставила в этом отношении полную свободу.

Ut vinum aegrotis, quia prodest raro, nocet saepissime, melius est non adhibere omnino, quam, spe dubiae salutis, in apertam perniciem incurrere: sic haud scio an melius fuerit humano generi motum istum celerem cogitationis, acumen, solertiam, quam, rationem vocamus, quoniam pestifera sint multis, admodum paucis salutaria, non dari omnino, quam tam munifice et tam large dari.[173] [broken link: #nb12_173]

Какая польза была Аристотелю и Варрону[174] [broken link: #nb12_174] от того, что они обладали такими огромными познаниями? Избавило ли это их от человеческих бедствий? Были ли они благодаря этому свободны от припадков, которыми страдает какой-нибудь грузчик? Способно ли было их мышление доставить им какое-нибудь облегчение от подагры? Меньше ли были их страдания от того, что они знали, что эта болезнь гнездится в суставах? Примирились ли они со смертью, узнав, что некоторые народы встречают ее с радостью, или, например, с неверностью жен, узнав, что в некоторых странах существует

общность жен? И хотя оба они были перворазрядными учеными — один в Риме, а другой в Греции, — в пору наивысшего процветания наук в их странах, нам тем не менее неизвестно, чтобы они в своей жизни пользовались какими-нибудь особыми преимуществами; наоборот, Аристотелю, например, стоило немалых усилий освободиться от некоторых возведенных на него обвинений.

Было ли кем-нибудь установлено, что наслаждение и здоровье доставляют большую радость тому, кто сведущ в астрологии и грамматике —

> *Illiterati num minus nervi rigent?[175] [broken link: #nb12_175]*

или, что он легче переносит бедность и позор?

> *Scilicet et morbis et debilitate carebis*
>
> *Et luctum et curam effugies, et tempora vitae*
>
> *Longa*
> *tibi post haec fato meliore dabuntur.[176] [broken link: #nb12_176]*

Я видел на своем веку сотни ремесленников и пахарей, которые были более мудры и счастливы, чем ректоры университетов, и предпочел бы по-

ходить на этих простых людей[177] [broken link: #nb12_177]. Знание, по-моему, относится к вещам, столь же необходимым в жизни, как слава, доблесть, высокое звание или же — в лучшем случае — как красота, богатство и тому подобные качества, которые, конечно, имеют в жизни значение, но не решающее, а гораздо более отдаленное и скорее благодаря нашему воображению, чем сами по себе.

Для нашей обыденной жизни нам требуется гораздо больше правил, установлений и законов, чем журавлям и муравьям для их жизни, а между тем мы видим, что они живут по строго заведенному порядку, не имея никакого представления о науке. Если бы человек был мудр, он расценивал бы всякую вещь в зависимости от того, насколько она полезна и нужна ему в жизни.

Если судить о нас по нашим поступкам и поведению, то гораздо больше превосходных людей (имею в виду во всякого рода добродетелях) окажется среди лиц необразованных, чем среди ученых. Древний Рим, на мой взгляд, проявил больше доблести как в делах мира, так и в делах войны, чем тот ученый Рим, который сам себя погубил. Если бы во всех остальных отношениях оба этих Рима были совершенно сходны, то

во всяком случае в том, что касается чистоты и нравственности, преимущество было на стороне древнего Рима, ибо эти качества как нельзя лучше вяжутся с простотой.

Но я лучше прерву здесь это рассуждение, которое могло бы завести меня слишком далеко. Добавлю только еще, что смирение и послушание отличают добродетельного человека. Нельзя предоставлять каждому человеку судить о своих обязанностях: ему следует их предписать, а не давать возможность выбирать по своему усмотрению. В противном случае мы способны по неразумию и бесконечному многообразию наших мнений прийти под конец к заключению, что мы обязаны, как выражается Эпикур[178] [broken link: #nb12_178], поедать друг друга. Первейшей заповедью, которую бог дал человеку, было беспрекословное повиновение; это было простое и ясное предписание; человеку не надо было ни знать ничего, ни рассуждать, поскольку повиновение есть главная обязанность разумной души, признающей верховного небесного благодетеля. Из повиновения и смирения рождаются все другие добродетели, из умствования же — все греховные помыслы. Знание было первым искушением, которым дьявол соблазнил

человека, первым ядом, который мы впитали, поверив тому, что он обещал наделить нас высшим знанием и пониманием, сказав: Eritis sicut dei, scientes bonum et malum[179] [broken link: #nb12_179]. Ведь, согласно Гомеру[180] [broken link: #nb12_180], даже сирены, желая обмануть Улисса и завлечь его в свои гибельные и опасные воды, обещали ему в дар знание. Бич человека — это воображаемое знание. Вот почему христианская религия так настойчиво проповедует нам неведение, являющееся лучшей основой для веры и покорности: Cavete, ne quis vos decipiat per philosophiam et inanes seductiones secundum elementa mundi[181] [broken link: #nb12_181].

Философы всех школ согласны в том, что высшее благо состоит в спокойствии души и тела. Но где его найдешь?

> *Ad summum sapiens uno minor est Iove: dives*
>
> *Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum;*
>
> *Praecipue sanus, nisi cum pituita molesta est.[182] [broken link: #nb12_182]*

Право, похоже на то, что природа, видя нашу несчастную и жалкую долю, дала нам в утеше-

ние лишь одно высокомерие. Это и утверждает Эпиктет[183] [broken link: #nb12_183], говоря: «У человека нет ничего своего, кроме мнений». Наш удел — лишь дым и пепел. Философы утверждают, что боги обладают подлинным здоровьем и воображаемыми болезнями, человек же, наоборот, подвержен подлинным болезням, а все получаемые им блага — лишь мнимые. Мы вправе гордиться силою нашего воображения, ибо все наши блага являются плодом его. Послушаем, как это жалкое и злополучное создание прославляет свое состояние: «Нет ничего прекраснее, — заявляет Цицерон[184] [broken link: #nb12_184], — занятий науками: с их помощью мы познаем бесконечное множество окружающих нас предметов, необъятность природы; они раскрывают нам небо, моря и землю; наука внушила нам веру, скромность и величие духа, она вывела нашу душу из тьмы и показала ей всякие вещи — возвышенные и низменные, Первоначальные, конечные и промежуточные; наука учит нас жить хорошо и счастливо; руководясь ею, мы можем беспечально и безмятежно прожить свой век». Уж не говорит ли здесь наш автор о каком-то бессмертном и всемогущем боге? Ибо в действительности тысячи самых бесхитростных

деревенских женщин прожили жизнь более мирную, счастливую и спокойную, чем наш автор.

*Deus ille fuit, deus, inclute Memmi,*

*Qui princeps vitae rationem invenit eam, quae*

*Nunc appellatur sapientia, quique per artem*

*Fluctibus e tantis vitam tantisque tenebris*

*In tam tranquilla et tam clara luce locavit.[185] [broken link: #nb12_185]*

Таковы были возвышенные и прекрасные речи великого поэта, но, несмотря на эту божественную мудрость и божественные наставления, достаточно было ничтожной случайности, чтобы разум этого человека померк и стал слабее разума самого простого пастуха[186] [broken link: #nb12_186]. Тем же человеческим высокомерием проникнуто обещание, данное Демокритом в его работе[187] [broken link: #nb12_187]: «Я собираюсь судить обо всем», и чванный титул, которым наделяет нас Аристотель, именующий нас смертными божествами, а также суждение Хрисиппа, заявлявшего, что Дион был так же добродетелен, как бог. А мой Сенека признает, что бог даровал ему жизнь, но что уменье жить доб-

родетельно исходит от него самого. Это вполне соответствует утверждению другого автора: In virtute vere gloriamur; quod non contingeret, si id donum a deo, non a nobis haberemus[188] [broken link: #nb12_188]. А вот еще одно суждение Сенеки[189] [broken link: #nb12_189] в том же роде: мудрец обладает мужеством, не уступающим богу, но наряду с человеческой слабостью; в этом отношении человек превосходит бога. Подобные безрассудные утверждения весьма обычны. Все мы менее возмущаемся сравнением нас с богом, чем низведением нас на положение других животных: настолько более мы печемся о своей славе, чем о славе нашего создателя!

Но необходимо ниспровергнуть это безрассудное высокомерие и разрушить те нелепые основания, на которых покоятся такого рода вздорные притязания. Пока человек будет убежден, что сам обладает какой-то силой и средствами, он никогда не признает, чем он обязан своему владыке; он, как говорится, всегда будет раздуваться в вола, и следует его несколько развенчать.

Посмотрим на каком-нибудь наглядном примере, что дала человеку его философия.

Посидоний[190] [broken link: #nb12_190], страдавший от тяжкой болезни, которая заставляла

его корчиться от боли и скрежетать зубами, желая обмануть свою боль, кричал ей: «Можешь делать со мной все, что тебе угодно, но все же я не скажу, что ты — боль». Он испытывал такие же страдания, как и мой слуга, но старался, чтобы по крайней мере его язык оставался верен наставлениям его школы; однако разве это не пустые слова? Re succumbere non oportebat verbis gloriantem[191] [broken link: #nb12_191].

Аркесилай[192] [broken link: #nb12_192] был измучен подагрой. Однажды, когда Карнеад пришел его навестить и, весьма огорченный, уже собирался уходить, Аркесилай позвал его и, указывая на свои ноги и грудь, сказал: «Знай, что ничего из ног не поднялось сюда». Это, конечно, было неплохо сказано: хотя Аркесилай терзался болью и рад был бы от нее избавиться, все же эта боль не сломила его сердца, не обессилила его. Посидоний, боюсь, сохранял непреклонность скорее на словах, чем на деле. А Дионисий Гераклейский[193] [broken link: #nb12_193] под влиянием мучительной болезни глаз был вынужден совсем отречься от своих стоических принципов.

Но даже если наука действительно, как утверждают философы, сглаживает и притупляет остроту испытываемых нами страданий, то не

происходит ли это с еще большим успехом и более очевидным образом при отсутствии всяких знаний? Философ Пиррон[194] [broken link: #nb12_194], будучи застигнут разразившимся на море сильнейшим штормом, указал своим спутникам как на образец для подражания на спокойствие и невозмутимость находившейся с ним на корабле свиньи, которая переносила бурю без малейшего страха. Уроки, которые мы можем извлечь из философии, сводятся в конечном счете к примерам о каком-нибудь силаче или погонщике мулов, которые, как правило, несравненно меньше боятся смерти, боли и других бедствий и проявляют такую твердость, какой никогда не могла внушить наука человеку, который не был подготовлен к этому от рождения и в силу естественной привычки. Разве не благодаря своему неведению дети меньше страдают, когда делают надрезы на их нежной коже, чем взрослые? А разве лошадь по этой же причине не страдает меньше, чем человек? Сколько больных породила одна лишь сила воображения! Постоянно приходится видеть, как такие больные делают себе кровопускания, очищают желудок и пичкают себя лекарствами, стремясь исцелиться от воображаемых болезней. Когда у нас нет настоящих

болезней, наука награждает нас придуманными ею. На основании изменившегося цвета лица или кожи тела у вас находят катаральный процесс; жаркая погода сулит вам лихорадку; определенный завиток линии жизни на вашей левой руке предвещает вам в ближайшем времени некое серьезное заболевание или даже полное разрушение вашего здоровья. Нельзя оставить в покое даже веселую бодрость молодости, надо убавить у нее крови и сил, чтобы они на беду как-нибудь не обратились против нее же самой. Сравните жизнь человека, находящегося во власти таких выдумок, с жизнью крестьянина, который следует своим природным склонностям, который расценивает все вещи только с точки зрения того, чего они стоят в данный момент, которому неведомы ни наука, ни предвещания, который болен только тогда, когда он действительно болен, в отличие от первого, у которого камни иной раз возникают раньше в душе, чем в почках, и который своим воображением предвосхищает боль и сам бежит ей навстречу, словно боясь, что ему не хватит времени страдать от нее, когда она действительно на него обрушится.

То, что я говорю здесь о медицине, может быть применено ко всякой науке. Отсюда мнение тех

древних философов, которые считали высшим благом признание слабости нашего разума. В отношении моего здоровья мое невежество дает мне столько же оснований надеяться, как и опасаться, и потому, не располагая ничем, кроме примеров, которые я вижу вокруг себя, я выбираю из множества известных мне случаев наиболее меня обнадеживающие. Безукоризненное и крепкое здоровье я приветствую с распростертыми объятиями и тем полнее им наслаждаюсь, что в настоящее время оно для меня стало уже не обычным, а довольно редким явлением; я не хочу поэтому нарушать его сладостного покоя горечью какого-нибудь нового и стеснительного образа жизни. Мы можем видеть на примере животных, что душевные волнения вызывают у нас болезни.

Говорят, что туземцы Бразилии умирают только от старости[195] [broken link: #nb12_195], и объясняют это действием целительного и превосходного воздуха их страны, я же склонен скорее приписывать это их безмятежному душевному покою, тому, что душа их свободна от всяких волнующих страстей, неприятных мыслей и напряженных занятий, тому, что эти люди живут в удивительной простоте и неведении, без всяких

наук, без законов, без королей и религии.

И чем иным объясняется то, что мы наблюдаем повседневно, а именно, что люди совсем необразованные и неотесанные являются наиболее подходящими и пригодными для любовных утех, что любовь какого-нибудь погонщика мулов оказывается иногда гораздо более желанной, чем любовь светского человека, — как не тем, что у последнего душевное волнение подрывает его физическую силу, ослабляет и подтачивает ее?

Душевное волнение ослабляет и подрывает обычно и телесные силы, а вместе с тем также и саму душу. Что делает ее болезненной, что доводит ее так часто до маний, как не ее собственная порывистость, острота, пылкость и в конце концов ее собственная сила? Разве самая утонченная мудрость не превращается в самое явное безумие? Подобно тому, как самая глубокая дружба порождает самую ожесточенную вражду, а самое цветущее здоровье — смертельную болезнь, точно так же глубокие и необыкновенные душевные волнения порождают самые причудливые мании и помешательства; от здоровья до болезни лишь один шаг. На поступках душевнобольных мы убеждаемся, как непосредственно безумие порождается нашими самыми нормальными

душевными движениями. Кто не знает, как тесно безумие соприкасается с высокими порывами свободного духа и с проявлениями необычайной и несравненной добродетели? Платон утверждает, что меланхолики — люди, наиболее способные к наукам и выдающиеся. Не то же ли самое можно сказать и о людях, склонных к безумию? Глубочайшие умы бывают разрушены своей собственной силой и тонкостью. А какой внезапный оборот вдруг приняло жизнерадостное одушевление у одного из самых одаренных, вдохновенных и проникнутых чистейшей античной поэзией людей, у того великого итальянского поэта, подобного которому мир давно не видывал[196] [broken link: #nb12_196]? Не обязан ли был он своим безумием той живости, которая для него стала смертоносной, той зоркости, которая его ослепила, тому напряженному и страстному влечению к истине, которое лишило его разума, той упорной и неутолимой жажде знаний, которая довела его до слабоумия, той редкостной способности к глубоким чувствам, которая опустошила его душу и сразила его ум? Я ощутил скорее горечь, чем сострадание, когда, будучи в Ферраре, увидел его в столь жалком состоянии, пережившим самого себя, не узнающим ни себя,

ни своих творений, которые без его ведома были у него на глазах изданы в изуродованном и неряшливом виде.

Если вы хотите видеть человека здоровым и уравновешенным, в спокойном и нормальном расположении духа, позаботьтесь, чтобы он не был мрачным, ленивым и вялым. Нам следует поглупеть, чтобы умудриться, и ослепить себя, чтобы дать вести себя.

Если мне скажут, что преимущество иметь притупленную и пониженную чувствительность к боли и страданиям связано с той невыгодой, что сопровождается менее острым и менее ярким восприятием радостей и наслаждений, то это совершенно верно; но, к несчастью, мы так устроены, что нам приходится больше думать о том, как избегать страданий, чем о том, как лучше радоваться, и самая ничтожная боль ощущается нами острее, чем самое сильное наслаждение. Segnius homines bona quam mala sentiunt[197] [broken link: #nb12_197]. Мы ощущаем несравненно острее самое пустяковое заболевание, чем самое полное здоровье:

*pungit*
*In cute vix summa violatum plagula corpus*

*Quando valere nihil quemquam movet. Hoc iuvat unum*

*Quod me non torquet latus aut pes: cetera quisquam*

*Vix queat aut sanum sese, aut sentire valentem.[198] [broken link: #nb12_198]*

Наше хорошее самочувствие означает лишь отсутствие страдания. Вот почему та философская школа, которая особенно превозносила наслаждение, рассматривала его как отсутствие страдания. Не испытывать страдания значит располагать наибольшим благом, на какое человек может только надеяться; как сказал Энний,

*Nimium boni est, cui nihil est mali[199] [broken link: #nb12_199].*

Действительно, то острое и приятное ощущение, которое присуще некоторым наслаждениям и которое как будто выше простого ощущения здоровья и отсутствия боли, то действенное и бурное наслаждение, жгучее и жалящее, — ведь даже оно имеет целью лишь устранить страдание. Даже вожделение, испытываемое нами к женщине, направлено лишь к стремлению избавиться от мучения, порождаемого пылким и неистовым желанием; мы жаждем лишь утолить

его и успокоиться, освободившись от этой лихорадки. Так же обстоит и в других случаях.

Поэтому я и говорю, что если простота приближает нас к избавлению от боли, то она тем самым приближает нас к блаженному состоянию, учитывая то, как мы по природе своей устроены.

Однако отсутствие боли не следует представлять себе столь тупым, чтобы оно равносильно было полной бесчувственности. Крантор[200] [broken link: #nb12_200] справедливо оспаривал эпикуровскую бесчувственность, доказывая, что ее нельзя расширять настолько, чтобы в ней отсутствовал даже всякий намек на страдание. Я совсем не преклоняюсь перед такой бесчувственностью, которая и нежелательна и невозможна. Я рад, если я не болен, но если я болен, то хочу это знать; и если мне делают прижигание или разрез, я хочу ощущать их. В самом деле, уничтожая ощущение боли, одновременно уничтожают и ощущение наслаждения, и в конечном счете человек перестает быть человеком. Istud nihil dolere, non sine magna mercede contingit immanitatis in animo, stuporis in corpore[201] [broken link: #nb12_201].

Страдание тоже должно занимать свое место в жизни человека. Человек не всегда должен

избегать боли и не всегда должен стремиться к наслаждению.

Большая честь для неведения — то, что само знание бросает нас в его объятия в тех случаях, когда знание оказывается бессильным помочь нам облегчить наши страдания. В таких случаях знание вынуждено идти на эту уступку; оно принуждено предоставлять нам свободу и возможность укрыться в лоне неведения, спасаясь от ударов судьбы и ее напастей. Действительно, что иное означает проповедуемый знанием совет отвращаться мыслью от переживаемых злоключений и воспоминаний об утраченных благах и, в утешение от зол сегодняшнего дня, думать о прошедших радостях, призывать на помощь исчезнувшее душевное довольство в противовес тому, что нас сейчас удручает: Levationes aegritudinum in avocatione a cogitanda molestia et revocatione ad contemplandas voluptates ponit[202] [broken link: #nb12_202]? Разве это не значит, что там, где знание оказывается бессильным, оно пускается на хитрость и проявляет гибкость там, где ему недостает силы? В самом деле, что за утешение не только для философа, но и просто для разумного человека, если в тот момент, когда он страдает от мучительного приступа лихорадки,

предложить ему предаться воспоминаниям о превосходном греческом вине? Это означало бы скорее обострить его мучение:

> *Che ricordarsi il ben doppia la noia.[203] [broken link: #nb12_203]*

Такого же порядка и другой даваемый философами совет[204] [broken link: #nb12_204] — помнить только о радостных событиях прошлого и изглаживать воспоминание о пережитых злоключениях, как если бы искусство забвения было в нашей власти. А вот еще малоутешительный совет:

> *Suavis est laborum praeteritorum memoria.[205] [broken link: #nb12_205]*

Я не понимаю, как философия, которая обязана вооружить меня для борьбы с судьбой, внушить мне мужество и научить попирать ногами все человеческие бедствия, может дойти до такой слабости, чтобы с помощью этих нелепых и трусливых изворотов заставить меня сдаться? Ведь память рисует нам не то, что мы выбираем, а что ей угодно. Действительно, нет ничего, что так сильно врезывалось бы в память, как именно то, что мы желали бы забыть; вернейший способ сохранить и запечатлеть что-нибудь в нашей душе

— это стараться изгладить его из памяти. Неверно утверждение: Est situm in nobis, ut et adversa quasi perpetua oblivione obruamus, et secunda iucunde et suaviter meminerimus[206] [broken link: #nb12_206], но зато верно другое: Memini etiam quae nolo, oblivisci non possum, quae volo[207] [broken link: #nb12_207]. Кому принадлежит этот совет? Тому, qui se unus sapientem profiteri sit ausus[208] [broken link: #nb12_208].

> *Qui genus humanum ingenio superavit et omnis*
>
> *Praestrinxit stellas, exortus ut aetherius sol[209] [broken link: #nb12_209].*

Но разве вычеркнуть и изгладить из памяти не есть вернейший путь к неведению? Iners malorum remedium ignorantia est[210] [broken link: #nb12_210]. Мы встречаем немало подобных наставлений которые предлагают нам в тех случаях, когда разум бессилен, довольствоваться пустенькими и плоскими утешениями, лишь бы они давали нам душевное спокойствие. Там, где философы не в силах залечить рану, они стараются усыпить боль и прибегают к другим паллиативам. Мне думается, они не будут отрицать того, что если бы им удалось наладить

людям спокойную и счастливую жизнь, хотя бы и основанную на поверхностной оценке вещей, они не отказались бы от этого:

> *potare et spargere flores*
>
> *Incipiam, patiarque vel inconsultus haberi.[211] [broken link: #nb12_211]*

Многие философы согласились бы с Ликасом, который, ведя добродетельную жизнь, живя тихо и спокойно в своей семье, выполняя все свои обязанности по отношению к чужим и своим и умело охраняя себя от всяких бедствий, вдруг, впав в душевное расстройство, вообразил, что он все время находится в театре и смотрит там представления, пьесы и самые прекрасные спектакли. Едва лишь врачи исцелили его от этого недуга, как он стал требовать, чтобы они вернули его во власть этих чудесных видений:

> *Pol me occidistis amici,*
>
> *Non servastis, ait, cui sic extorta voluptas*
>
> *Et demptus per vim mentis gratissimus error.[212] [broken link: #nb12_212]*

Подобное же произошло с Трасилаем, сыном Пифодора, возомнившим, будто все корабли, приходящие в Пирей и бросающие якорь в его гавани,

состоят у него на службе: он радостно встречал их, поздравляя с благополучным прибытием. Когда же его брат Критон исцелил его от этой фантазии, Трасилай непрерывно сокрушался об утрате того блаженного состояния, в котором он пребывал, не зная никаких горестей[213] [broken link: #nb12_213]. Это самое утверждается в одном древнегреческом стихе, где говорится, что не в мудрости заключается сладость жизни[214] [broken link: #nb12_214]: Εν τω φρονειν γαρ μηδεν ηδιστος βίος.

Да и в «Екклезиасте» сказано: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания — умножает скорбь»[215] [broken link: #nb12_215].

И, наконец, к тому же самому сводится последнее наставление, разделяемое почти всеми философами и гласящее, что, если из-за изобилия бедствий жизнь делается невыносимой, надо положить ей конец: Placet? pare. Non placet? quacumque vis, exi[216] [broken link: #nb12_216]; Pungit dolor? Vel fodiat sane? Si nudus es, da iugulum; sin tectus armis Vulcaniis, id est fortitudine, resiste[217] [broken link: #nb12_217], а также девиз, который применяли в этом случае сотрапезники в древней Греции, — Aut bibat, aut abeat;[218]

[broken link: #nb12_218] (изречение, которое у гасконца, произносящего обычно «v» вместо «b», звучит еще лучше, чем у Цицерона):

> *Vivere si recte nescis, decede peritis;*
>
> *Lusisti satis, edisti satis atque bibisti;*
>
> *Tempus abire tibi est, ne potum largius aequo*
>
> *Rideat et pulset lasciva decentius aetas;[219] [broken link: #nb12_219]*

разве и то и другое не означает признания своего бессилия и попытку искать спасения даже не в неведении, а в самой глупости, в бесчувствии и в небытии?

> *Democritum postquam matura vetustas*
>
> *Admonuit memorem motus languescere mentis,*
>
> *Sponte sua letho caput obvius obtulit ipse.[220] [broken link: #nb12_220]*

В этом же смысле высказывался и Антисфен[221] [broken link: #nb12_221], заявлявший, что надо запастись либо умом, чтобы понимать, либо веревкой, чтобы повеситься. В этом же духе истолковывал Хрисипп следующие слова поэта Тиртея[222] [broken link: #nb12_222]: Приблизить-

ся либо к добродетели, либо к смерти.

Кратет[223] [broken link: #nb12_223], со своей стороны, утверждал, что если не время, то голод исцеляет от любви, а кому оба эти средства не по вкусу, пусть запасается веревкой.

Тот самый Секстий[224] [broken link: #nb12_224], о котором Сенека и Плутарх отзываются с таким глубоким почтением, отказался от всего и погрузился в изучение философии; увидев, что успехи его слишком медленны и требуют слишком длительных усилий, он пришел к выводу, что ему остается только броситься в море. Не будучи в состоянии овладеть наукой, он кинулся в объятия смерти.

Вот как гласит закон по этому поводу: если с кем-нибудь приключится большая и непоправимая беда, то прибежище к его услугам, и можно найти спасение, расставшись с телом, как с ладьей, которая дала течь, ибо лишь страх смерти, а вовсе не жажда жизни, привязывают глупца к телу.

Простота делает жизнь не только более приятной, но, как я только что сказал, и более чистой и прекрасной. Простые и бесхитростные мира сего, по словам апостола Павла, возвысятся и обретут небо, мы же, со всей нашей мудростью, обречены

бездне адовой[225] [broken link: #nb12_225]. Не буду распространяться ни о Валентиане[226] [broken link: #nb12_226], этом отъявленном враге науки и всякого образования, ни о Лициниии, двух римских императорах, называвших знание ядом и бичом всякого государства; не буду останавливаться и на Магомете, который, как мне довелось слышать, запретил своим приверженцам заниматься науками; сошлюсь только на пример великого Ликурга, огромный авторитет которого не подлежит сомнению, на стяжавший всеобщее уважение замечательный государственный строй Спарты, где долгое время Царили добродетель и благоденствие и где не существовало никакого обучения наукам. Люди, побывавшие в Новом Свете, который на памяти наших отцов открыт был испанцами, могут засвидетельствовать, насколько тамошние народы, не знающие ни властей, ни законов, ни способов управления, живут более примерно и честно, чем наши европейские народы, у которых больше чиновников и законов, чем других граждан и деяний:

*Di cittatorie piene e di libelli,*
*D'esamine e di carte, di procure*
*Hanno le mani e il seno, et gran fastelli*

*Di chiose, di consigli e di letture:*
*Per cui le faculta de poverelli*
*Non sono mal ne le citta sicure;*
*Hanno dietro e dinanzi, e d'ambi i lati,*
*Nota i procuratori e avvocati.[227] [broken link: #nb12_227]*

Некий сенатор времен упадка Рима[228] [broken link: #nb12_228] говаривал, что от его предков разило чесноком, но их нутро благоухало доблестью, между тем как его современники, наоборот, снаружи надушены духами, внутри же пропитаны вонью всяких пороков; это должно было означать, как мне кажется, что они были людьми больших познаний и способностей, но далеко не безукоризненной нравственности. Неотесанность, необразованность, невежество, простота нередко прикрывают невинность и чистоту, меж тем как любопытство, изощренность, знание порождают влечение к злу. Смирение, боязнь, покорность, благочестие (являющиеся важнейшим залогом сохранения человеческого общества) требуют души, ничем не отягченной, послушной и лишенной самомнения.

Христиане особенно хорошо знают, что любопытство есть первородный грех и исконное

зло в человеке. Стремление умножить свои познания, тяга к мудрости с самого начала были на пагубу человеческому роду; это и есть путь, который привел человека к вечному осуждению. Гордыня — вот источник гибели и развращения человека; она побуждает человека уклоняться от проторенных путей, увлекаться новшествами; она порождает стремление возглавлять людей заблудших, ставших на стезю гибели; она заставляет человека предпочитать быть учителем лжи и обмана, чем учеником в школе истины, который дает вести себя за руку другому по проложенному и праведному пути. Именно это имеет в виду древнегреческое изречение, гласящее, что суеверие следует за гордыней, повинуясь ей, как отцу[229] [broken link: #nb12_229]: η δεισιδαιμονία κατάπερ πατρι τω υφω πείτεται.

О, мышление, какая ты помеха для людей! Сократ был изумлен, узнав, что бог мудрости присвоил ему прозвание мудреца; разобравшись в себе, он не нашел никаких оснований для этого божественного постановления[230] [broken link: #nb12_230]. Он знал людей столь же справедливых, выдержанных, мужественных и ученых, как он сам, притом еще более красноречивых, более прекрасных и более полезных отечеству. В конце

концов он пришел к выводу, что он не лучше других и мудр только тем, что не считает себя мудрецом, и что его бог видит большую глупость в том, что человек так превозносит свое знание и мудрость, ибо наилучшей наукой для человека является наука незнания и величайшей мудростью — простота.

Священное Писание зовет жалкими тех людей, которые много мнят о себе. «Чем гордится земля и пепел? Чем ты» — говорит оно человеку[231] [broken link: #nb12_231]. А в другом месте Писания сказано: «Бог сделал человека подобным тени; И кто сможет судить о ней, когда с заходом солнца она исчезнет?»[232] [broken link: #nb12_232]. От нас действительно ничего не останется. Мы далеки еще от понимания божьего величия и меньше всего понимаем те творения нашего создателя, которые явственно носят на себе его печать и являются всецело делом его рук. Для христиан натолкнуться на вещь невероятную — повод к вере. И это тем разумнее, чем сильнее такая вещь противоречит человеческому разуму. Если бы она согласовалась с разумом, то не было бы чуда, и если бы она была на что-нибудь похожей, то в ней не было бы чего-то необыкновенного. Melius scitur deus nesciendo[233] [broken

link: #nb12_233], — говорит блаженный Августин; и Тацит заявляет: Sanctius est ac reverentius de actis deorum credere quam scire[234] [broken link: #nb12_234].

Платон полагает[235] [broken link: #nb12_235], что нечестиво слишком углубляться в исследование вопроса о боге, о мире и первопричине всего сущего.

Atque illum quidem quasi parentem huius universitatis invenire difficile; et cum iam inveneris, indicare in vulgus, nefas[236] [broken link: #nb12_236], — заявляет Цицерон.

Мы часто говорим: «могущество, истина, справедливость». Все это слова, означающие нечто великое, но мы не имеем представления об этом величии, не понимаем его. Мы говорим, что бог боится, гневается, любит, —

> *Immortalia mortali sermone notantes,[237] [broken link: #nb12_237] —*

но все это чувства и страсти, которые не могут быть у бога такими же, как у нас, и мы не в состоянии себе представить, каковы они у него. Только сам бог может познать себя и истолковать свои творения.

Желая приблизить бога к нам, свести его на

землю, где мы распростерты во прахе, мы неправильно применяем к нему наши слова. Возьмем, к примеру, слово «благоразумие», означающее способность различать добро и зло; может ли это слово иметь отношение к нему, которому чуждо всякое зло[238] [broken link: #nb12_238]? Или еще «разум» и «понимание», которыми мы пользуемся для уяснения непонятных нам вещей, — разве эти понятия применимы к богу, для которого нет ничего непонятного? Или еще: «справедливость», воздающая каждому должное и установленная для людей и человеческого общежития, — какова она в боге? Что представляет, далее, в применении к богу «умеренность», означающая ограничение телесных наслаждений, если им вообще нет места в боге? И столь же мало относится к нему «стойкость» в перенесении боли, опасностей и тяжелых трудов, поскольку все эти вещи ему чужды. Вот почему Аристотель утверждает, что бог одинаково свободен как от добродетели, так и от порока[239] [broken link: #nb12_239]. Neque gratia neque ira teneri potest, quod quae talia essent, imbecilla essent omnia[240] [broken link: #nb12_240].

Какова бы ни была наша доля познания истины, мы достигли ее не нашими собственными

усилиями. Бог достаточно открыл нам истину через апостолов, выбранных им из народа, из людей простых и темных, чтобы просветить нас в отношении его удивительных тайн: наша вера не есть приобретение, сделанное нами самими, она — дар щедрости другого. Нашу религию мы получили не путем размышления или усилий нашего разума, а по воле другого, его властью. В делах веры слабость нашего разума больше нам помогает, чем его сила, и наша слепота ценнее нашей прозорливости. Божественная истина открывается нам больше с помощью нашего неведения, чем наших познаний. Нет ничего удивительного в том, что мы не в состоянии постигнуть это сверхъестественное и небесное знание с помощью наших земных и естественных средств; поэтому отнесемся к нему со смирением и покорностью, ибо сказано в Писании: «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну»[241] [broken link: #nb12_241]. Где он, мудрец? Где писатель? Где спорщик века сего? Разве не сделал бог глупой мудрость мира сего? Так как мир не в состоянии был путем мудрости постигнуть бога, то богу угодно было спасти верующих с помощью проповеди.

Перейду теперь к рассмотрению вопроса, в

силах ли человек найти то, что он ищет, и обогатили ли его каким-нибудь новым знанием или установлением незыблемой истины те поиски, которые он вел на протяжении стольких веков.

Я полагаю, что, если говорить по совести, человек должен будет сознаться, что весь итог столь долгих исканий свелся к тому, что они заставили его понять и признать его слабость. В результате длительного изучения мы пришли лишь к подтверждению и оправданию того неведения, которое было присуще нам от природы. С подлинно учеными людьми случилось то же, что происходит с колосьями пшеницы: они гордо высятся, пока стоят пустые, но стоит им созреть и наполниться семенами, как они начинают клониться долу и никнуть. Точно так же и люди: после того как они все испробовали, исследовали и убедились, что нет ничего прочного и устойчивого во всем этом хаосе наук и ворохе разнородных накопленных знаний, что все это суета, — они отреклись от своей гордыни и оценили свое естественное состояние.

Именно в этом Веллей упрекает Котту и Цицерона; у Филона они научились — говорит он, — тому, что ничему не научились[242] [broken link: #nb12_242].

Один из семи мудрецов, Ферекид, перед смертью написал фалесу следующее[243] [broken link: #nb12_243]: «Я велел моим близким, когда меня не станет, передать тебе мои рукописи. Если ты и другие мудрецы сочтете их достойными внимания, можешь их обнародовать, в противном случае — уничтожь их; они лишены достоверности, которая удовлетворяла бы меня самого». Я тоже не утверждаю, что владею истиной или способен овладеть ею. Я не столько открываю вещи, сколько показываю их. Самый мудрый человек в мире на вопрос, что он знает, ответил, что знает только то, что ничего не знает[244] [broken link: #nb12_244]. Он подтвердил этим ту истину, которая гласит: «Большая часть того, что мы знаем, представляет собой лишь ничтожную долю того, чего мы не знаем»; иными словами: даже то, что мы знаем, есть лишь часть — и притом ничтожная часть — того, чего мы не знаем.

«Мы знаем вещи в сновидении, — говорит Платон, — а в действительности ничего не знаем»[245] [broken link: #nb12_245].

Omnes paene veteres nihil cognosci, nihil percipi, nihil sciri posse dixerunt; angustos sensus, imbecillos animos, brevia curricula vitae[246] [broken link: #nb12_246].

Даже Цицерон, который всем своим авторитетом обязан был своим познаниям, по словам Валерия, на старости лет стал проникаться презрением к науке[247] [broken link: #nb12_247]. А в те времена, когда он занимался ею, он не принадлежал ни к какому определенному направлению, но в зависимости от того, что ему казалось правильным, склонялся на сторону то одного течения, то другого, неизменно придерживаясь при этом сомнения, свойственного Академии[248] [broken link: #nb12_248].

Dicendum est sed ita ut nihil affirmem, quaeram omnia, dubitans plerumque et nihil diffidens[249] [broken link: #nb12_249].

Я слишком бы облегчил себе задачу, если бы для проверки того, что дало человеку знание, взял среднего человека и судил по большинству людей; между тем я мог бы поступить именно так, руководясь принятым правилом, гласящим, что судить об истине следует не по весу того или иного голоса, а по большинству голосов. Оставим в стороне обычных людей,

> *Qui vigilans stertit,*
>
> *Mortua cui vita est prope iam vivo atque videnti,[250] [broken link: #nb12_250]*

которые не анализируют себя, не разбираются в себе и природные способности которых дремлют. Я хочу взять для рассмотрения самую высокую разновидность людей. Посмотрим, что представляет собой человек из того небольшого круга выдающихся и избранных людей, которые, будучи наделены превосходными и исключительными природными способностями, еще развили их и усовершенствовали с помощью воспитания, науки и искусства, достигнув вершины мудрости. Они изощрили свою душу во всех отношениях, укрепили ее всякой посторонней помощью, какая только была ей на пользу, обогатили и украсили ее всем, что только можно было позаимствовать в мире для ее блага; в этих людях, таким образом, воплощены высшие достижения человеческой природы. Эти люди установили в обществе законы и порядки, обучили людей с помощью наук и искусств и вдобавок воспитали их примером своих замечательных нравов. Я приму в расчет при рассмотрении интересующего меня вопроса эту категорию людей, их показания и их опыт. Посмотрим же, к чему они пришли, каковы их достижения. Пороки и недостатки, которые мы найдем у такого рода людей, все остальные смело смогут признать присущими и им.

Всякий, ищущий решения какого-нибудь вопроса, в конце концов приходит к одному из следующих заключений: он либо утверждает, что нашел искомое решение, либо — что оно не может быть найдено, либо — что он все еще продолжает поиски. Вся философия делится на эти направления[251] [broken link: #nb12_251]. Ее задача состоит в искания истины, знания и достоверности. Перипатетики, эпикурейцы, стоики и представители других философских школ полагали, что им удалось найти истину. Они ввели существующие у нас науки и трактовали их как достоверные знания. Клитомах[252] [broken link: #nb12_252], Карнеад и академики отчаялись в своих поисках в пришли к мысли, что нашими средствами нельзя познать истину. Конечный вывод их — признание человеческой слабости и неведения; это течение имело наибольшее число приверженцев и самых выдающихся последователей.

Пиррон и другие скептики, или эпехисты (многие стороны учения которых восходят к глубокой древности, к Гомеру, семи мудрецам, Архилоху, Еврипиду, а также Зенону, Демокриту и Ксенофану[253] [broken link: #nb12_253]), утверждали, что они все еще находятся в поисках истины.

Они считали, что бесконечно ошибаются те, кто полагает, что открыли ее, и находили слишком смелым даже вышеуказанное утверждение, что человеческими средствами невозможно познать истину. Ибо, по их мнению, установить пределы наших возможностей, познать и судить о трудностях вещей уже само по себе — большая и сложная наука, которая вряд ли под силу человеку.

> *Nil sciri quisquis putat, id quoque nescit*
> *An sciri possit quo se nil scire fatetur.[254] [broken link: #nb12_254]*

Неведение, которое сознает себя, судит и осуждает себя, уже не есть полное неведение; чтобы быть таковым, оно не должно сознавать себя. Поэтому высший принцип пирронистов — это всегда колебаться, сомневаться, искать, ни в чем не быть уверенным и ни за что не ручаться. Из трех способностей души — воображения, желания и утверждения — они признают только первые две; что же касается третьей, то они высказываются о ней неопределенно, не принимая и не отвергая ее, — настолько они считают ее ненадежной.

Свое представление об этом разделении душевных способностей Зенон изобразил в жестах:

открытая и протянутая рука выражала вероятие; согнутая в локте, с несколько загнутыми пальцами, выражала согласие; сжатый кулак — понимание; если же при этом он сжимал в кулак еще и левую руку, это означало достоверное знание. Такая прямая и непреклонная манера суждения, принимающая все без утверждения и применения, приводила пирронистов к их атараксии[255] [broken link: #nb12_255], то есть к спокойному и размеренному образу жизни, свободному от волнений, проистекающих от нашего мнения о вещах и воображаемого знания их. Это предполагаемое знание вещей порождает страх, жадность, зависть, необузданные желания, честолюбие, надменность, суеверие, страсть к новизне, возмущение, неповиновение, упрямство и большинство физических зол. Придерживаясь своего учения, пирронисты были свободны от нетерпимости и довольно вяло спорили со своими противниками. Они не боялись возражений и опровержений. Когда они утверждали, что тяжелые тела падают вниз, они были недовольны, если с ними соглашались в этом, и хотели, чтобы им противоречили, дабы таким путем посеяно было сомнение, которое повлекло бы за собой воздержание от суждения, являвшееся их ко-

нечной целью. Они выдвигали свои положения лишь для того, чтобы опровергать те, в которых другие, по их мнению, были уверены. Если бы вы приняли их положения, они столь же охотно стали бы доказывать обратное, ибо им было все равно: ведь они не делали выбора между той и другой точкой зрения. Если бы вы вздумали утверждать, что снег черен, они, наоборот, стали бы доказывать, что он бел. Если вы стали бы говорить, что он и не черен и не бел, они стали бы утверждать, что он и черен и бел. Если бы вы начали уверенно отстаивать, что ничего не знаете о данном предмете, они стали бы доказывать, что вы его знаете. Если же, основываясь на утвердительном суждении, вы начали бы уверять, что вы в этом сомневаетесь, они стали бы спорить с вами и доказывать, что вы в этом не сомневаетесь. Этой чрезмерностью сомнения, которое само себя опровергает, пирронисты отличались от представителей других точек зрения и даже от тех, кто отстаивал разные другие виды сомнения и неведения.

Почему им нельзя сомневаться, спрашивали пирронисты, — ведь можно же одним догматикам уверять, что данная вещь зеленая, а другим — что она желтая. Существует ли такая вещь, от-

носительно которой можно высказываться только либо в утвердительном, либо в отрицательном смысле и относительно которой нельзя было бы высказываться двояким образом? Почему, если одним можно склоняться в пользу той или иной философской школы, либо следуя обычаю своей страны, либо наставлению родителей, либо же просто наобум и без всякого основания, даже в большинстве случаев не достигнув разумного возраста, становиться на сторону стоиков или эпикурейцев, за которыми они слепо следуют, как бы клюнув на удочку, от которой они не в состоянии освободиться, — ad quamcunque disciplinam velut tempestate delati, ad eam tanquam ad saxum adhaerescunt[256] [broken link: #nb12_256], — почему в таком случае и пирронистам нельзя сохранять полную свободу и рассматривать вещи без всякого принуждения и обязательства? Hoc liberiores et solutiores quod integra illis est iudicandi potestas[257] [broken link: #nb12_257]. Разве нет известного преимущества в свободе от необходимости делать выбор, так затрудняющий других? Не лучше ли вовсе воздержаться от суждения, чем выбирать среди множества заблуждений, порожденных человеческим воображением? Не лучше ли воздержаться от суждения, чем ввя-

зываться в нескончаемые распри и споры? Что мне выбрать? Что угодно, лишь бы был сделан выбор[258] [broken link: #nb12_258]. Вот глупый ответ, к которому, однако, приводит всякий догматизм, не разрешающий нам не знать того, чего мы в самом деле не знаем. Возьмите самую прославленную философскую систему — даже и она не прочна настолько, чтобы для укрепления ее положений нам не было бы необходимо оспаривать и опровергать сотни других систем. Не лучше ли оставаться в стороне от этой схватки? Почему, если вам разрешается защищать, словно вашу жизнь и честь, учение Аристотеля о бессмертии души, отвергая и опровергая мнение на этот счет Платона, — почему, говорю я, вашим противникам не дозволяется спорить с вами и сомневаться? Если Панэцию[259] [broken link: #nb12_259] дозволено было высказать свое собственное суждение относительно гадания по внутренностям животных, снов, оракулов, прорицаний — вещей, в которых стоики нисколько не сомневались, — то почему мудрецу нельзя, подобно Панэцию, высказываться о вещах, которые он усвоил у своих учителей и о которых существует установившееся мнение школы, последователем и приверженцем коей он является?

Если о чем-нибудь берется судить ребенок, то он не знает, о чем говорит, если же это ученый, то он судит предвзято. Пирронисты, избавив себя от необходимости защищаться, создали себе замечательное преимущество в борьбе. Им неважно, если их бьют, лишь бы они сами наносили удары, и они пользуются любым оружием. Если они побеждают, значит ваше положение хромает, и наоборот. Если они ошибаются, они подтверждают этим свое незнание; если же вы ошибаетесь, то вы подтверждаете его. Они будут удовлетворены, если сумеют доказать вам, что нельзя ничего познать, но они будут удовлетворены и в том случае, если не смогут этого доказать. Ut, cum in eadem re paria contrariis in partibus momenta inveniuntur, facilius ab utraque parte assertio sustineatur[260] [broken link: #nb12_260].

Для них важнее доказать вам, что данная вещь неверна, чем то, что она верна; или доказать, что она не является тем-то, чем то, что она является этим; они охотнее скажут вам, чего они не думают, чем то, что они думают.

Пирронисты обычно выражались так: «Я ничего не утверждаю; он ни то, ни другое; я не понимаю этого; и то и другое одинаково вероятно; можно с равным основанием говорить и за

и против любого утверждения. Нет ничего истинного, что не могло бы казаться ложным»[261] [broken link: #nb12_261]. Их излюбленное слово — это ἐπέχω[262] [broken link: #nb12_262], т. е. я воздерживаюсь, я не склоняюсь ни в ту, ни в другую сторону. Они постоянно повторяли его или что-нибудь в этом роде. Их целью являлся ясный, полный и совершенный отказ от суждения или воздержание от него. Они пользовались своим разумом для поисков истины и споров о ней, но не для того, чтобы что-нибудь решать и производить выбор. Тот, кто может представить себе постоянное признание неведения, кто может представить себе суждение, не склоняющееся ни в ту, ни в другую сторону, чего бы это ни касалось, тот поймет, что такое пирронизм. Я излагаю воззрения пирронистов, как умею; но многие находят, что взгляды их трудно понять и даже сами пирронисты излагают их не совсем ясно и по-разному.

В обыденной жизни пирронисты ведут себя, как все люди[263] [broken link: #nb12_263]. Они подчиняются естественным склонностям и влечениям, голосу страстей, велениям законов и обычаев, требованиям житейской деятельности. Non enim nos Deus ista scire, sed tantum modo uti

voluit[264] [broken link: #nb12_264]. Они руководствуются этими вещами в своем практическом поведении, не рассуждая о них, не критикуя их. Но я никак не могу согласовать с этим то, что рассказывают о Пирроне. Его изображают человеком тяжеловесным и упрямым, жившим нелюдимо и необщительно, легко переносившим все неудобства, любившим все дикое и сумрачное, отказывавшимся повиноваться законам. Это значило бы идти дальше его системы. Он не желал превратиться в камень или пень; он хотел быть живым человеком, думающим и рассуждающим, наслаждающимся всеми естественными благами и удовольствиями, правильно и по назначению применяющим и использующим все свои физические и духовные силы. А что касается ложных вымышленных и фантастических привилегий, присвоенных себе человеком, а именно предписывать, устанавливать истину и поучать ей, то он с легким сердцем отверг их и отрекся от них.

Да и нет такой философской школы, которая не была бы вынуждена разрешить своим приверженцам, если только они хотят участвовать в жизни, выполнять множество вещей, для них непонятных, необъяснимых и неприятных. Так, когда мудрец предпринимает морское путеше-

ствие, он следует этому принципу, не зная, пойдет ли он ему на пользу: он рассчитывает на то, что судно в порядке, что его ведет опытный кормчий, что погода благоприятна, то есть полагается на обстоятельства лишь возможные, но не обязательные; после чего он отдается на волю случая, если только нет явных признаков опасности. Он обладает телом и душой, чувства толкают его на те или иные действия, разум побуждает к тому или иному. Хотя он и не признает у себя наличия особой способности суждения и помнит, что не должен ничего утверждать, поскольку вместо безусловной истины может столкнуться с ложным ее подобием, тем не менее он целиком и полностью выполняет свои житейские обязанности. А сколько есть разных наук, которые в гораздо большей степени опираются на догадки, чем на знание, которые не судят о том, что истинно и что ложно, а следуют лишь тому, что представляется вероятным. Существует, говорят пирронисты, и истинное, и ложное, и мы обладаем способностью доискиваться, но не способностью в точности определять. Мы предпочитаем без размышления следовать установленному в мире порядку. Душе, свободной от всякой предвзятости, гораздо легче достичь спокойствия. Люди, которые судят и про-

веряют суждения других людей, никогда его не обретут. Насколько же простые и нелюбопытные умы более послушны политическим законам и установлениям религии и легче поддаются руководству, чем умы, кичащиеся знанием человеческих и божественных причин и поучающие им[265] [broken link: #nb12_265].

Среди человеческих измышлений нет ничего более истинного и полезного, чем пирронизм. Он рисует человека нагим и пустым; признающим свою природную слабость; готовым принять некую помощь свыше; лишенным человеческого знания и тем более способным вместить в себя божественное знание; отказывающимся от собственного суждения, чтобы уделить больше места вере; ни неверующим, ни устанавливающим какую-либо догму, противоречащую принятым взглядам; смиренным, послушным, уступчивым, усердным; заклятым врагом ереси; свободным, следовательно, от пустых и нечестивых взглядов, введенных ложными сектами; это — чистая доска, готовая принять от перста божия те письмена, которые ему угодно будет начертать на ней. Чем больше мы отдаемся на волю божию и поручаем себя ей, отказываясь от собственной воли, тем достойнее ее становимся. Принимай,

говорит Екклезиаст, за благо вещи такими, как они представляются тебе и видом и вкусом своим повседневно, все остальное выше твоих познаний[266] [broken link: #nb12_266]. Dominus novit cogitationes hominum, quoniam vanae sunt[267] [broken link: #nb12_267].

Таким образом, из трех основных философских школ две открыто исповедуют сомнение и неведение; что же касается приверженцев третьей школы — догматиков, то нетрудно убедиться, что большинство их прикрывалось уверенностью лишь из желания придать себе лучший вид. Они заняты были не столько тем, чтобы установить какую-то достоверность, сколько стремлением показать, как далеко они зашли в поисках истины: quam docti fingunt, magis quam norunt[268] [broken link: #nb12_268].

Тимей, желая поведать Сократу все то, что ему известно о богах, о мире и о людях, намерен говорить об этом как человек с человеком, полагая, что достаточно, если его мнения будут столь же достоверны, как и мнения всякого другого человека; ибо он не имеет точных доказательств, как не имеет их ни один смертный[269] [broken link: #nb12_269]. Подражая этому, один из последователей Платона[270] [broken link: #nb12_270],

касаясь вопроса о презрении к смерти, вопроса естественного и доступного всякому, формулировал эту мысль следующим образом: Ut potero, explicado; nec tamen, ut Pythius Apollo, certa ut sint et fixa, quae dixero; sed ut homunculus probabilia coniectura sequens[271] [broken link: #nb12_271].

В другом месте Цицерон даже перевел дословно мысль Платона по этому поводу: Si forte, de deorum natura ortuque mundi disserentes, minus id quod habemus animo consequimur, haud erit mirum, Aequum est enim meminisse et me qui disseram, hominem esse, et vos qui iudicetis; ut, si probabilia dicentur, nihil ultra requiratis[272] [broken link: #nb12_272].

Аристотель обычно приводит множество чужих мнений и взглядов для того, чтобы, сопоставив с ними свою точку зрения, показать нам, насколько он пошел дальше и в какой мере он приблизился к правдоподобию, — об истине нельзя судить на основании чужого свидетельства или полагаясь на авторитет другого человека. Поэтому Эпикур тщательнейшим образом избегал в своих сочинениях ссылаться на них. Аристотель — царь догматиков, и тем не менее мы узнаем от него, что чем больше знаешь, тем больше у тебя поводов к сомнению[273] [broken link: #nb12_273].

Он часто умышленно прикрывается до того темными и запутанными выражениями, что совершенно невозможно разобраться в его точке зрения. Его учение в действительности — пирронизм, только скрытый под видом утверждений.

Послушаем заявление Цицерона, который разъясняет нам чужие взгляды с помощью своей точки зрения: Qui requirunt quid de quaque re ipsi sentiamus, curiosius id faciunt quam necesse est. Haec in philosophia ratio contra omnia disserendi nullamque rem aperte iudicandi, profecta a Socrate, repetita ab Arcesila, confirmata a Carneade, usque ad nostram viget aetatem. Hi sumus qui omnibus veris falsa quaedam adiuncta esse dicamus, tanta similitudine ut in iis nulla insit certe iudicandi et assentiendi nota[274] [broken link: #nb12_274].

С какой целью не только Аристотель, но и большинство других философов прибегали к запутанным выражениям, как не для того, чтобы повысить интерес к бесплодному предмету и возбудить любопытство нашего ума, предоставив ему глодать эту сухую и голую кость? Клитомах утверждал, что он никогда не в состоянии был понять из сочинений Карнеада, каковы его взгляды[275] [broken link: #nb12_275]. Почему Эпикур избегал ясности в своих сочинениях, а

Гераклит был прозван за свою манеру изложения σκοτεινος[276] [broken link: #nb12_276]! Непонятное изложение, к которому прибегают ученые, это тот же прием, который применяют фокусники, чтобы скрыть ничтожество своего искусства, прием, на который легко попадается человеческая глупость:

> *Clarus, ob obscuram linguam, magis inter inanis,*
>
> *Omnia enim stolidi magis admirantur amantque*
>
> *Inversis*
> *quae sub verbis latitantia cernunt.[277] [broken link: #nb12_277]*

Цицерон упрекает некоторых своих друзей за то, что они уделяли астрономии, юриспруденции, диалектике и геометрии больше времени, чем эти науки заслуживают, и пренебрегали из-за этого более стоящими и более важными обязанностями в жизни[278] [broken link: #nb12_278]. Равным образом и философы-киренаики не придавали цены физике и диалектике[279] [broken link: #nb12_279]. Зенон в самом же начале своих книг «О государстве» объявлял бесполезными все свободные науки[280] [broken link: #nb12_280].

Хрисипп утверждал, что все написанное Платоном и Аристотелем о логике писалось ими в шутку и ради упражнения; он не мог поверить, чтобы они серьезно говорили о таких пустяках[281] [broken link: #nb12_281]. Плутарх утверждает то же самое относительно метафизики[282] [broken link: #nb12_282]. Эпикур сказал бы то же самое и о риторике, грамматике, поэзии, математике и всех прочих науках, кроме физики. Сократ со своей стороны признал бы это относительно всех наук, за исключением лишь той, которая занимается вопросами нашей жизни и нравов. О чем бы его ни спросили, он всегда заставлял спрашивающего прежде всего разобраться в обстоятельствах его прошлой и настоящей жизни; только эти обстоятельства он исследовал и по ним судил, считая всякое иное знание второстепенным по сравнению с этим и излишним. Parum mihi placeant eae litterae quae ad virtutem doctoribus nihil profuerunt[283] [broken link: #nb12_283].

Таким образом, большинство наук находилось в пренебрежении у самих ученых, но они не считали излишним изощрять свой ум и упражнять его хотя бы на вещах заведомо недостоверных и мало полезных.

Одни называли Платона догматиком, другие — сомневающимся скептиком, третьи считали, что он в некоторых вопросах догматик, в иных скептик[284] [broken link: #nb12_284].

Главное лицо в его диалогах, Сократ, всегда направляет беседу, ставя вопросы и возбуждая споры; он никогда не обрывает обсуждения, никогда не бывает удовлетворен и говорит, что не владеет никакой иной наукой, кроме науки противоречия. Их любимый автор, Гомер, в равной мере заложил основания всех философских школ, желая показать, что совершенно безразлично, каким путем мы пойдем[285] [broken link: #nb12_285]. Уверяют, что Платон был родоначальником десяти различных философских школ[286] [broken link: #nb12_286], и поэтому, на мой взгляд, ни одно учение не было в такой степени проникнуто колебаниями и сомнениями, как его. Сократ говорил[287] [broken link: #nb12_287], что повивальные бабки, избрав своим ремеслом принимать детей у других, сами перестают рожать; так и он, получив от богов звание знатока повивального искусства в делах мудрости, тоже, подобно повивальным бабкам, отказался сам рождать. Преисполнившись любовью, он принимает у мужчин, а не у женщин и присматривает

за рождением их душ. Он довольствуется тем, что оказывает рожающим поддержку и покровительство, помогает их естеству раскрыться, смазывает пути, по которым идет плод, и облегчает родовые муки; в дальнейшем он помогает судить о новорожденном, наладить его питание, рост, пеленание и обрезание; таким образом, он применяет свое искусство на пользу другому, ради его блага и устранения грозящих ему опасностей.

Точно так же обстоит дело и с сочинениями большинства философов третьего направления, как это отметили уже древние авторы относительно творений Анаксагора, Демокрита, Парменида, Ксенофана и других[288] [broken link: #nb12_288]. Их манера изложения по существу пронизана сомнением, они умышленно скорее спрашивают, чем поучают, хотя и перемежают свое изложение догматическими утверждениями. Это можно так же хорошо проследить на Сенеке, как и на Плутархе. Те, кто занимается ими вплотную, отлично знают, что они судят о вещах то с одной точки зрения, то с совершенно противоположной, и комментаторам следовало бы прежде всего примирить каждого из них с ним самим.

Мне кажется, что Платон умышленно любил философствовать в диалогической форме, ибо многообразие и противоречивость его взглядов не так бросались в глаза, когда их излагали разные собеседники.

Рассматривать предметы с разных точек зрения так же хорошо, как и рассматривать их под одним углом зрения, или даже еще лучше, ибо такое рассмотрение шире и полезнее. Возьмем пример из нашей практики: судебные решения составляют конечный пункт догматического обсуждения дела; однако те решения, которые наши парламенты представляют в качестве образцов, способных внушить народу то уважение, которое он обязан питать к этим высоким учреждениям, главным образом благодаря достоинству заседающих в них лиц, — хороши не своими заключениями, которые носят обычный характер и которые дает всякий судья, а тем, что они составляют итог прений и столкновения различных и противоположных мнений по поводу данного юридического случая.

Наиболее обширную область для взаимных упреков философов представляют те их расхождения и противоречия, в которых запутывается каждый из них либо умышленно, с целью пока-

зать шаткость человеческого ума в суждении о всяком предмете, либо, помимо их ведома, вследствие текучести и непонятности всякого явления.

Это выражено в следующем постоянно повторяемом изречении: «Если вопрос скользкий и зыбкий, воздержимся от суждения», ибо, как говорит Еврипид, «творения бога различным образом смущают нас»[289] [broken link: #nb12_289].

Это напоминает Эмпедокла[290] [broken link: #nb12_290], который, как бы охваченный божественным вдохновением и терзаемый истиной, постоянно твердит в своих писаниях: «Нет, нет, мы ничего не чувствуем и ничего не видим; все вещи сокрыты для нас, нет ни одной, о которой мы в состоянии были бы установить, что она такое». Ту же самую мысль выражают и следующие слова божественного Писания: Cogitationes mortalium timidae et incertae ad inventiones nostrae et providentiae[291] [broken link: #nb12_291]. Не следует удивляться тому, что люди, отчаявшиеся овладеть истиной, тем не менее находят удовольствие в погоне за ней, ибо изучение наук — весьма увлекательное занятие; оно столь приятно, что стоики, например, в числе различных наслаждений запрещают также и то, которое проистекает

от упражнения ума: они хотят обуздать его и считают невоздержанностью стремление слишком много знать[292] [broken link: #nb12_292].

Однажды, когда Демокрит ел во время обеда фиги, пахнувшие медом, он вдруг задумался над тем, откуда взялась у фиг эта необычная сладость, и, чтобы выяснить это, он встал из-за стола, желая осмотреть то место, где эти фиги были сорваны. Его служанка, узнав, почему он всполошился, смеясь, сказала ему, чтобы он не утруждал себя: она просто положила фиги в сосуд из-под меда. Демокрит был раздосадован тем, что она лишила его повода произвести расследование и отняла у него предмет, возбудивший его любознательность. «Уходи, — сказал он ей, — ты причинила мне неприятность; я все же буду искать причину этого явления так, как если бы оно было природным»[293] [broken link: #nb12_293]. И он не преминул найти какое-то истинное основание для объяснения этого явления, хотя оно было ложным и мнимым. Указанное происшествие с великим и прославленным философом служит ярким примером той страсти к знанию, которая заставляет нас пускаться в поиски, заведомо безнадежные. Плутарх рассказывает о сходном случае с одним человеком, который не желал

быть выведенным из сомнения, одолевавшего его по поводу некоторых вещей, так как это лишило бы его удовольствия доискиваться; другой человек точно так же не желал, чтобы врач исцелил его от перемежающейся лихорадки, чтобы не лишиться удовольствия получать облегчение от питья. Satius est supervacua discere quam nihil[294] [broken link: #nb12_294].

Подобно тому как всякая пища часто доставляет только удовольствие, между тем как далеко не все то приятное, что мы едим, бывает питательным и здоровым, — точно так же нам неизменно доставляет наслаждение все то, что наш ум извлекает из занятий науками, даже когда оно не бывает ни питательным, ни целебным.

Вот что говорят ученые: «Изучение природы служит пищей для нашего ума; оно возвышает и поднимает нас, оно заставляет нас презирать низменные и земные вещи по сравнению с возвышенными и небесными; само исследование вещей сокрытых и значительных — весьма увлекательное занятие даже для того, кто благодаря этому проникается лишь благоговением и боязнью судить о них»[295] [broken link: #nb12_295]. Эти слова выражают убеждение их авторов. Еще более ярким образцом такой болезненной

любознательности является другой пример, на который они постоянно с гордостью ссылаются. Евдокс[296] [broken link: #nb12_296] умолял богов дать ему возможность хоть один раз увидеть вблизи солнце и узнать, каковы его форма, величина и красота, даже ценою того, чтобы быть им тотчас же сожженным. Он жаждал ценою жизни приобрести знание, которым он не смог бы воспользоваться, и ради этого мгновенного и мимолетного познания готов был отказаться от всех имевшихся у него знаний и от тех, которые он мог бы еще приобрести в дальнейшем.

Меня нелегко убедить в том, что Эпикур, Платон и Пифагор принимали за чистую монету свои атомы, свои идеи, свои числа: они были слишком умны, чтобы верить в столь недостоверные и спорные вещи. Но каждый из этих великих мужей стремился внести какой-то луч света, желая рассеять нашу тьму и невежество; они тешились измышлениями, которые по крайней мере были увлекательными и остроумными, и если даже они оказывались ложными, то были не хуже противоположных убеждений: unicuique ista pro ingenio finguntur, non ex scientiae vi[297] [broken link: #nb12_297].

Некий древний мудрец, которого упрекали в

том, что он проповедует такую философию, о которой сам он в душе невысокого мнения, ответил: «Это и значит философствовать». Философы хотели все исследовать, все взвесить и считали, что это соответствует присущей нам природной любознательности. Некоторые вещи они писали ради пользы общества, как, например, о религии, и это было с их стороны благоразумно, ибо они не хотели разоблачать общепринятые мнения, опасаясь вызвать этим смуту и нарушить повиновение законам и обычаям своей страны.

Платон разрешает этот вопрос просто и ясно: когда он говорит от своего лица, то не предписывает ничего определенного, когда же выступает как законодатель, то начинает выражаться решительно и властно[298] [broken link: #nb12_298]. При этом он, не стесняясь, уснащает свое изложение самыми фантастическими измышлениями, весьма полезными для народа, но смешными в его собственных глазах, ибо он знает, до какой степени мы склонны поддаваться всяким внушениям, даже самым диким и нелепым.

Вот почему в своих «Законах» он тщательно предусматривает[299] [broken link: #nb12_299], что в общественных местах должны распеваться только такие гимны, баснословные вымыслы

которых могут послужить какой-нибудь полезной цели. Будучи убежден, что человеческий ум легко поддается внушению, он считал, что уж лучше питать его полезными вымыслами, чем бесполезными или даже вредными. В своем «Государстве» он прямо заявляет, что для пользы людей часто бывает необходимо их обманывать[300] [broken link: #nb12_300]. Нетрудно заметить, что одни философские школы больше стремились к истине, другие же — к пользе, благодаря чему последние и получили большее распространение. Беда наша в том, что нередко вещи, кажущиеся нам наиболее истинными, не являются наиболее полезными для нашей жизни. Даже эпикурейцы, пирронисты и приверженцы Новой Академии[301] [broken link: #nb12_301], то есть представители самых смелых философских школ, в конечном счете вынуждены склоняться перед гражданским законом.

Есть еще и другие вопросы, которые они тщательно обсуждали, выворачивая их так и этак, причем каждый старался сказать свое слово, удачное или неудачное. Так как они исходили из того, что нет ничего столь сокровенного, чего им нельзя было бы расследовать, то им часто приходилось строить несостоятельные и нелепые

догадки, которые они сами не считали основательными, и выдвигали их не для того, чтобы установить истину, а только чтобы поупражнять свой ум. Non tam id sensisse quod dicerent, quam exercere ingenia materiae difficultate videntur voluisse[302] [broken link: #nb12_302].

В противном случае было бы непонятно, как могли эти выдающиеся и замечательные люди обнаружить такое необычайное непостоянство, такую разноголосицу и легковесность в своих воззрениях? Так, например, что может быть нелепее, чем желать представить себе бога с помощью наших уподоблений и догадок; или пытаться подчинить его и мир нашим законам и мерить их нашими силами; или пользоваться в применении к божеству той крупицей способностей, которые ему угодно было уделить человеческой природе; или желать низвести его на землю и сделать столь же тленным и жалким, как мы сами, только потому, что мы не в состоянии простереть своих взоров до его славного престола?

Из всех человеческих — и притом самых древних — религиозных воззрений наиболее правдоподобным и находящим оправдание мне представляется то, которое признает бога непостижимой силой, источником и хранителем

всех вещей, считает, что бог — весь благо, весь совершенство и что он благосклонно принимает почести и поклонение людей, в какой бы форме, под каким бы именем и каким бы способом люди их ни выражали[303] [broken link: #nb12_303].

> *Iuppiter omnipotens rerum, regumque deumque*
>
> *Progenitor genitrixque.[304] [broken link: #nb12_304]*

Небо всегда благосклонно взирало на это рвение. Все правительства извлекали пользу из благочестия верующих[305] [broken link: #nb12_305]; нечестивые люди и их поступки повсюду получали соответствующее воздаяние. Писавшие о языческих народах признают достоинство, правопорядок, справедливость, истинность чудес и оракулов, служащих им на пользу, и наставления, которые заключены в их баснословных религиях, поскольку бог, по своему милосердию, пожелал с помощью этих благодеяний укрепить слабые ростки весьма грубого познания его, достигнутого их естественным разумом, хотя и сквозь оболочку лживых выдумок.

Но те выдумки, которые измышлял человек, были не только ложными, но и нечестивыми и

безнравственными.

Из всех святынь, почитавшихся в Афинах, святой Павел счел наиболее допустимой ту, где был жертвенник с надписью: «Неведомому и невидимому богу»[306] [broken link: #nb12_306].

Пифагор ближе всего подошел к истине, считая, что познание этой первопричины, этой сущности всего сущего, не подлежит никакому ограничению, никаким предписаниям и никакому внешнему выражению, ибо это познание есть не что иное, как крайнее усилие нашего воображения, стремящегося к совершенству, причем каждый по своим способностям составляет себе идею этого существа. Но когда Нума решил приспособить к такому пониманию религию своего народа[307] [broken link: #nb12_307] и привязать его к чисто духовной вере, не имеющей определенного предмета поклонения и лишенной всякой материальности, то это оказалось бесплодной попыткой, ибо человеческому уму не за что было ухватиться в этой безбрежности смутных мыслей, ему необходимо было уплотнить их в некий образ, созданный им по своему подобию. Божественное величие, таким образом, позволило до известной степени ограничить себя ради нас телесными границами. Его сверхъестествен-

ные и небесные таинства носят на себе печать земной природы человека, и почитание бога выражается в молитвах и звучащих словах, ибо при этом верует и молится человек. Я оставляю в стороне другие доводы, которые приводят в данном случае; но вряд ли меня можно убедить в том, что наши распятия и изображение жалостных крестных мук, вид церковных украшений и обрядов, пение, выражающее наши благочестивые помыслы, и общее связанное с этим возбуждение наших чувств не воспламеняют души народов религиозной страстью, оказывающей весьма полезное действие[308] [broken link: #nb12_308].

Из религий, в основе которых лежало поклонение телесному божеству, — что необходимо было при царившем в те времена всеобщем невежестве, — я бы, мне кажется, охотнее всего примкнул к тем, кто поклонялся солнцу.

*О солнце…… Всеобщий светоч,*

*Глаз мира; если бог с небес глядит на нас,*

*То солнца жаркий свет — сиянье божьих глаз:*

*Всему дарит он жизнь, и все он охраняет*

*И все дела людей в широком мире знает.*

*Да, солнце дивное, блюдя святой черед,*

*В двенадцати домах на небесах живет,*

*Для нас, живых людей, меняя лики года,*

*И тают облака в лучах его восхода.*

*Вселенной мощный дух, горячий, огневой,*

*Оно за краткий день, кочуя над землей.*

*Всю твердь небесную огромным плотным шаром*

*Сумеет обежать в своем стремленье яром.*

*Трудов не ведает — а счесть не может их, —*

*Природы старший сын, отец существ живых[309] [broken link: #nb12_309].*

Ибо, помимо своего величия и красоты, солнце представляет собой наиболее удаленную от нас и потому наименее известную нам часть вселенной, так что вполне простительно испытывать по отношению к нему чувство восхищения и благоговения.

Фалес, который первым исследовал такие вопросы, считал бога духом, который создал все из воды; Анаксимандр считал, что боги рождаются и умирают через известные промежутки времени и что миров и их богов существует бесконечное множество; Анаксимен признавал, что бог есть воздух, что он возникает, что он безмерен и всегда находится в движении; Анаксагор первый считал, что устройство и мера всех вещей определяются и совершаются силой и прозорливостью бесконечного разума[310] [broken link: #nb12_310]. Алкмеон[311] [broken link: #nb12_311] приписывал божественность солнцу, луне, звездам и душе. Пифагор учил, что бог есть дух, который пребывает в природе всех вещей и от которого исходят наши души; Парменид[312] [broken link: #nb12_312] считал, что горящий световой круг, опоясывающий небо и сохраняющий своей теплотой вселенную, и есть бог. Эмпедокл полагал, что богами являются четыре стихии, из которых созданы все вещи; Протагор[313] [broken link: #nb12_313] говорил, что о богах он ничего не знает, существуют они или нет и каковы они. Демокрит то утверждал, что боги — это «образы»[314] [broken link: #nb12_314] и их круговращения, то — что они представляют собой

природу, которая излучает эти образы, то, наконец, что боги — это наше знание и разум. Платон по-разному излагает свои воззрения; в «Тимее» он утверждает, что невозможно назвать отца мира; в «Законах» он говорит, что не следует допытываться, что такое бог; но в других местах тех же сочинений он называет богами мир, небо, звезды, землю и наши души, а кроме того, признает всех тех богов, которые приняты были в древности в каждом государстве. Ксенофонт, излагая учение Сократа, отмечает такую же путаницу: то Сократ утверждал, что не следует доискиваться, каков образ бога; то он считал богом солнце, то — душу; иногда он говорил, что существует единый бог, иногда же — что их много. Племянник Платона, Спевсипп[315] [broken link: #nb12_315], считал, что бог есть некая одушевленная сила, которая всем управляет. Аристотель иногда признавал, что бог — это дух, а иногда — что это вселенная, в некоторых же случаях он ставил над нашим миром другого владыку, а иногда полагал, что бог — это небесный огонь. Ксенократ[316] [broken link: #nb12_316] насчитывал восемь богов, из которых первые пять — это планеты, шестой бог — все неподвижные звезды, вместе взятые, а седьмым и восьмым богами являются солнце

и луна. Гераклид Понтийский[317] [broken link: #nb12_317] колеблется между различными точками зрения: он признает, что бог лишен чувств, и придает ему то один образ, то другой, а под конец заявляет, что боги — это небо и земля. Такое же непостоянство в своих взглядах обнаруживает и Феофраст[318] [broken link: #nb12_318]: он приписывает управление миром то разуму, то небу, то звездам.

Огратон[319] [broken link: #nb12_319] полагал, что бог — это бесформенная и бесчувственная природа, обладающая способностью порождать, увеличивать и уменьшать. Зенон полагал, что бог — это естественный закон, повелевающий творить добро и запрещающий делать зло; закон этот, по его мнению, — нечто одушевленное; Зенон не причисляет к богам Юпитера, Юнону, Весту, обычно называемых богами. Диоген Аполлонийский[320] [broken link: #nb12_320] полагал, что бог — это воздух. Ксенофан[321] [broken link: #nb12_321] считал, что бог шарообразен, видит и слышит, но неодушевлен и не имеет ничего общего с человеческой природой. Аристон[322] [broken link: #nb12_322] полагал, что образ бога непознаваем и что бог лишен чувств; он сомневался, есть ли бог нечто одушевленное или нет.

Клеанф[323] [broken link: #nb12_323] признавал богом иногда разум, иногда вселенную, иногда душу природы, иногда небесный жар, который окружает и охватывает все. Ученик Зенона, Персей[324] [broken link: #nb12_324], считал, что звания богов удостоились все те, кто сделал что-нибудь полезное для человеческого общежития. Хрисипп нагромоздил в одну кучу все предшествующие высказывания о богах и, наделив их тысячью различных образов, причислил к ним также людей, которые обессмертили себя. Диагор и Феодор[325] [broken link: #nb12_325] полностью отрицали существование богов. Эпикур полагал, что боги светоносны, прозрачны и воздушны; они обитают между небосводами, как бы между двумя укреплениями, обладают человеческим обликом и имеют такие же, как у нас, части тела, хотя телом своим никак не пользуются[326] [broken link: #nb12_326].

> *Ego deum genus esse semper dixi, et dicam caelitum;*
>
> *Sed eos non curare opinor, quid agat humanum genus.[327] [broken link: #nb12_327]*

И вот при виде этой полнейшей неразберихи

философских мнений попробуйте положиться на вашу философию, попробуйте уверить, что вы нашли изюминку в пироге! Убедившись в этом хаосе, я пришел к выводу, что нравы и мнения, отличающиеся от моих, не столько мне неприятны, сколько поучительны; сопоставление их дает мне основание не к тому, чтобы возгордиться, а к тому, чтобы почувствовать свое ничтожество: мне кажется, что ни одно мнение не имеет преимущества перед другим, за исключением тех, которые внушены мне божьей волей. Я оставляю в стороне образ жизни необычный и противоестественный. Наблюдаемые в мире политические порядки противоречат друг другу в не меньшей степени, чем философские школы: мы можем, таким образом, убедиться, что сама фортуна не более изменчива и многолика, чем наш разум, что она не более слепа и безрассудна.

То, что мы меньше всего знаем, лучше всего годится для обожествления[328] [broken link: #nb12_328]; вот почему делать из нас богов, как поступали древние, значит доказывать полнейшее ничтожество человеческого разума. Я бы скорее понял тех, кто поклоняется змее, собаке или быку, поскольку, меньше зная природу и свойства этих животных, мы можем с большим

основанием думать о них все, что нам хочется, и приписывать им необычайные способности. Но делать богов из существ, обладающих нашей природой, несовершенство которой нам должно быть известно; приписывать богам желания, гнев, мстительность; заставлять их заключать браки, иметь детей и вступать в родственные связи, испытывать любовь и ревность; наделять их частями нашего тела, нашими костями, нашими недугами и нашими наслаждениями, нашими смертями и нашими похоронами — все это можно объяснить лишь чрезмерным опьянением человеческого разума.

> *Quae procul usque adeo divino ab numine distant,*
>
> *Inque deum numero quae sint indigna videri.[329] [broken link: #nb12_329]*

Formae, aetates, vestitus, ornatus noti sunt: genera, coniugia, cognationes omniaque traducta ad similitudinem imbecillitatis humanae: nam et perturbatis animis inducuntur; accipimus enim deorum cupiditates, aegritudines, iracundias.[330] [broken link: #nb12_330]

Это все равно, что обожествлять не только веру, добродетель, честь, согласие, свободу, победу, бла-

гочестие, но и вожделение, обман, смертность, зависть, старость, страдания, страх, лихорадку, злополучие и другие напасти нашей изменчивой и бренной жизни.

> *Quid iuvat hoc, templis nostros inducere mores?*
>
> *O curvae in terris animae et caelestium inanes.[331] [broken link: #nb12_331]*

Египтяне без стеснения предусмотрительно запрещали под страхом смерти говорить о том, что их боги Серапис и Изида были когда-то людьми, хотя это было всем известно. Их изображали с прижатым к губам пальцем, что, по словам Варрона, означало таинственное приказание жрецам хранить молчание об их смертном происхождении, — иначе они неминуемо лишились бы всякого почитания[332] [broken link: #nb12_332].

Раз уж человек желает сравняться с богом, говорит Цицерон[333] [broken link: #nb12_333], он поступил бы лучше, наделив себя божественными свойствами и совлекши их на землю, вместо того чтобы воссылать на небо свою тленную и жалкую природу; но, говоря по правде, человек, побуждаемый тщеславием, делал на разные лады и то и другое.

Я не могу поверить, что философы говорят серьезно, когда устанавливают иерархию своих богов и вдаются в описание их союзов, их обязанностей и их могущества. Когда Платон говорит о жезле Плутона и о телесных наградах и наказаниях, которые ожидают нас после распада наших тел, сообразуя эти воздаяния с тем, что мы испытываем в этой жизни[334] [broken link: #nb12_334], —

> *Secreti celant calles, et myrtea circum*
>
> *Sylva tegit; curae non ipsa in morte relinquunt,[335] [broken link: #nb12_335]*

или когда Магомет обещает своим единоверцам рай, устланный коврами, украшенный золотом и драгоценными камнями, рай, в котором нас ждут девы необычайной красоты и изысканные вина и яства, то для меня ясно, что это говорят насмешники, приспособляющиеся к нашей глупости: они стремятся привлечь и соблазнить нас этими описаниями и обещаниями, доступными нашим земным вкусам. Ведь впадают же некоторые наши единоверцы в подобное заблуждение и надеются после воскресения вернуться к земной и телесной жизни со всеми мирскими благами и удовольствиями. Можно ли поверить,

чтобы Платон — с его возвышенными идеями и столь близкий к божеству, что за ним сохранилось прозвище божественного, допускал, что такое жалкое создание, как человек, имеет нечто общее с этой непостижимой силой? Можно ли представить себе, чтобы он считал наш разум и наши слабые силы способными участвовать в вечном блаженстве или терпеть вечные муки? От имени человеческого разума следовало бы сказать ему: если те радости, которые ты сулишь нам в будущей жизни, такого же порядка, как и те, которые я испытывал здесь на земле, то это не имеет ничего общего с бесконечностью. Даже если все мои пять чувств будут полны веселья и душа будет охвачена такой радостью, какой она только может пожелать и на какую может надеяться, это еще ничего не значит, ибо меру ее возможностей мы знаем. Если в этом есть хоть что-нибудь человеческое, значит в этом нет ничего божественного. Если оно не отличается от нашего земного существования, то оно ничего не стоит. Все радости смертных тоже смертны. Если нас еще может трогать и радовать в будущем мире то, что мы узнаем наших родителей, наших, детей и наших друзей, если мы еще ценим такие удовольствия, то это показывает, что мы

находимся еще во власти земных и преходящих радостей. Мы не в состоянии достойным образом оценить величие этих возвышенных и божественных обещаний, если способны их как-то понять; ибо для того, чтобы представить их себе надлежащим образом, их следует мыслить невообразимыми, невыразимыми, непостижимыми и глубоко отличными от нашего жалкого опыта. «Не видел того глаз, — говорит апостол Павел, — не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»[336] [broken link: #nb12_336]. И если для того, чтобы сделать нас к этому способными, потребуется преобразовать и изменить наше существо (как ты этому учишь, Платон, путем описанных тобой очищений), то это изменение должно быть таким коренным и всесторонним, что мы перестанем быть в физическом смысле тем, чем были:

> *Hector erat tunc cum bello certabat; at ille,*
>
> *Tractus ab Aemonio, non erat Hector, equo,[337] [broken link: #nb12_337]*

и эти награды на том свете получит уже какое-то другое существо:

> *quod mutatur, dissolvitur; interit ergo:*
>
> *Traiciuntur enim partes atque ordine*

*migrant.[338] [broken link: #nb12_338]*

Ибо когда мы говорим о метемпсихозе Пифагора и о том, как он представлял себе переселение душ, то разве мы думаем, что лев, в котором воплотилась душа Цезаря, испытывает те же страсти, которые волновали Цезаря, или что лев и есть Цезарь! Если бы это было так, то были бы правы те, кто, оспаривая это мнение Платона[339] [broken link: #nb12_339], упрекали его в том, что в таком случае могло бы оказаться, что превратившаяся в мула мать возила бы на себе сына, и приводили другие подобные нелепости. И разве новые существа, возникшие при этих превращениях одних животных в других того же вида, не будут иными, чем их предшественники? Говорят, что из пепла феникса рождается червь, а потом другой феникс[340] [broken link: #nb12_340]; можно ли думать, что этот второй феникс не будет отличаться от первого? Мы видим, что шелковичный червь умирает и засыхает и из него образуется бабочка, а из нее в свою очередь другой червь, которого нелепо было бы принимать за первого. То, что однажды прекратило существование, того больше нет[341] [broken link: #nb12_341]:

*Nec, si materiem nostram collegerit aetas*

*Post obitum, rursumque redegerit, ut sita nunc est,*

*Atque iterum nobis fuerint data lumina vitae,*

*Pertineat quidquam tamen ad nos id quoque factum,*

*Interrupta semel cum sit repetentia nostra.[342] [broken link: #nb12_342]*

И когда в другом месте, ты, Платон[343] [broken link: #nb12_343], говоришь, что этими воздаяниями в будущей жизни будет наслаждаться духовная часть человека, то ты говоришь нечто маловероятное.

*Scilicet, avolsis radicibus, ut nequit ullam*

*Dispicere ipse oculus rem, seorsum corpore toto.[344] [broken link: #nb12_344]*

Ибо тот, кто будет испытывать это наслаждение, не будет больше человеком, а следовательно, это будем не мы; ведь мы состоим из двух основных частей, разделение которых и есть смерть и разрушение нашего существа:

*Inter enim iacta est vitai pausa, vageque*

*Deerrarunt passim motus ab sensibus omnes.[345] [broken link: #nb12_345]*

Не говорим же мы, что человек страдает, когда черви точат части его бывшего тела или когда оно гниет в земле:

*Et nihil hoc ad nos, qui coitu coniugioque*
*Corporis atque animae consistimus uniter apti.[346] [broken link: #nb12_346]*

Далее, на каком основании боги могут вознаграждать человека после его смерти за его благие и добродетельные поступки, раз они сами побудили его к этому и совершили их через него? И почему они гневаются и мстят ему за его порочные деяния, раз они же сами наделили его этой несовершенной природой, между тем как самое ничтожное усилие их воли могло бы предохранить его от этого? Разве не это самое возражение Эпикур приводил с большей убедительностью против Платона, прикрываясь нередко следующим изречением: «Обладая лишь смертной природой, нельзя установить ничего достоверного о природе бессмертной. Она всегда сбивает нас с толку, в особенности, когда вмешивается в божественные дела». Кто яснее понимает это, чем мы? Ибо хотя мы и даем нашему разуму точные и

непогрешимые наставления, хотя мы и освещаем путь его святым светочем истины, которым богу угодно было наделить нас, однако мы каждодневно видим, что стоит ему хоть немного уклониться от обычной тропы, свернуть с пути, проторенного и проложенного церковью, как он тотчас же запутывается и начинает блуждать без руля и без ветрил в безбрежном море зыбких и смутных человеческих мнений. Как только разум теряет эту верную столбовую дорогу, он устремляется по тысяче различных путей.

Человек может быть только тем, что он есть, и представлять себе все только в меру своего понимания. Когда те, кто всего-навсего люди, — говорит Плутарх[347] [broken link: #nb12_347], — берутся судить и рассуждать о богах и полубогах, это еще большая самонадеянность, чем когда человек, ничего не смыслящий в музыке, берется судить о тех, кто поет; или когда человек, никогда не бывавший на поле боя, пробует рассуждать об оружии и способах ведения войны, полагая, что с помощью легковесных догадок можно разобраться в существе того искусства, которое выше его понимания. На мой взгляд, древние думали, что возвеличивают божество, приравнивая его к человеку, наделяя его человеческими способ-

ностями, самыми затейливыми прихотями и самыми низменными потребностями; предлагая ему в пищу наше мясо; забавляя его нашими плясками, шутками и фокусами; предлагая ему наши одеяния и наши дома; услаждая его запахом благовоний и звуками музыки, празднествами и цветами. Наделяя божество нашими порочными страстями, они льстиво приписывали его правосудию бесчеловечную мстительность и увеселяли его зрелищем разрушения и разорения того, что оно само создало и охраняло. Так поступил, например, Тиберий Семпроний[348] [broken link: #nb12_348], предав огню и принеся в жертву Вулкану богатую военную добычу и оружие, захваченное им у неприятеля в Сардинии. Павел Эмилий[349] [broken link: #nb12_349] принес в жертву Марсу и Минерве добычу, доставшуюся ему в Македонии. Александр, придя к Индийскому океану[350] [broken link: #nb12_350], бросил в его воды в честь Фетиды несколько больших золотых сосудов и устроил, кроме того, на своих алтарях бойню, принеся в жертву не только невинных животных, но и людей. Человеческие жертвоприношения были обычными у многих народов, в том числе и у нашего; я думаю, что ни один народ не представлял исключения в этом

отношении.

> *Sulmone creatos*
>
> *Quattuor hic iuvenes, totidem quos educat Ufens,*
>
> *Viventes rapit, inferias quos immolet umbris.[351] [broken link: #nb12_351]*

Геты[352] [broken link: #nb12_352] считали себя бессмертными; умереть значило для них отправиться к своему божеству Салмоксису. Каждые пять лет геты посылали к Салмоксису кого-либо из своих соплеменников, чтобы попросить его о самом необходимом. Посланца избирали по жребию, и обряд этот совершался таким образом: сначала ему устно передавали то или иное поручение, после чего трое воинов выстраивались в ряд с тремя копьями в руках, а другие со всего размаху бросали обреченного на них. Если он при этом получал смертельную рану и тотчас же умирал, это считалось верным признаком божественного благоволения. Если же вестник не умирал сразу, геты считали, что он порочный и недостойный человек, и избирали другого посланца вместо него.

Когда Аместрида, мать Ксеркса[353] [broken link: #nb12_353], состарилась, то, следуя религии

своей страны и желая умилостивить какого-то подземного бога, приказала однажды закопать в землю живыми четырнадцать персидских юношей знатного происхождения.

Еще и поныне идолы Темикститана обагряются кровью младенцев; им угодны жертвы только этих невинных детских душ: правосудие жаждет крови невинных!

> *Tantum*
> *religio potuit suadere malorum![354]*
> *[broken link: #nb12_354]*

Карфагеняне приносили в жертву Сатурну своих собственных детей; а бездетные покупали для этой цели чужих детей; отец и мать обязаны были присутствовать при обряде жертвоприношения с веселыми и довольными лицами[355] [broken link: #nb12_355]. Странной фантазией было платить за милость богов нашими страданиями; так поступали, например, лакедемоняне, услаждавшие свою Диану истязаниями юношей, которых они в угоду ей часто бичевали до смерти[356] [broken link: #nb12_356]. Дикой прихотью было благодарить зодчего разрушением его созданий и карать невинных, чтобы предотвратить наказание, заслуженное виновными. Дико было

думать, что заклание и смерть бедной Ифигении в Авлиде очистит греческое войско от обиды, нанесенной богам[357] [broken link: #nb12_357].

> *Sed casta inceste, nubendi tempore in ipso,*
> *Hostia concideret mactatu moesta parentis.[358] [broken link: #nb12_358]*

А что сказать о двух прекрасных и благородных Дециях[359] [broken link: #nb12_359], отце и сыне, которые, чтобы расположить богов в пользу римлян, бросились в самую гущу неприятельских войск!

Quae fuit tanta deorum iniquitas, ut placari populo Romano non possent, nisi tales viri occidissent[360] [broken link: #nb12_360]. Добавляю, что отнюдь не дело преступника определять меру и час своего наказания; только судья засчитывает в наказание ту кару, которую он назначает, но он не устанавливает наказание по выбору того, кто сам себя подвергает ему. Божественная кара предполагает наше полное несогласие как с нашим осуждением, так и с налагаемым на нас наказанием.

Нелепым было ухищрение Поликрата[361] [broken link: #nb12_361], тирана самосского, когда он, желая нарушить свое постоянное благоденствие и искупить его, бросил в море самое дорогое

и ценное сокровище, в надежде, что этой искупительной жертвой ему удастся предотвратить непостоянство фортуны, избежать ее превратностей; она же, насмехаясь над его глупостью, сделала так, что брошенная в море драгоценность снова вернулась в его руки, будучи найдена в желудке рыбы. А кому нужны были те мучения и терзания, которые причиняли себе корибанты и менады[362] [broken link: #nb12_362]? Или те шрамы на лице, животе и конечностях, которые еще в наше время наносят себе магометане, желая угодить своему пророку? Ведь оскорбление, наносимое богу, коренится в нашей воле, а вовсе не в груди, не в глазах, не в половых органах, не в плечах или гортани! Tantus est perturbatae mentis et sedibus suis pulsae furor, ut sic dii placentur, quemadmodum ne homines quidem saeviunt[363] [broken link: #nb12_363].

Наше тело призвано служить не только нам, но также и богу и другим людям; поэтому умышленно терзать его столь же недопустимо, как и лишать себя жизни под каким бы то ни было предлогом. Уродовать и калечить бессознательные и непроизвольные отправления нашего тела ради того, чтобы избавить душу от необходимости разумно руководить ими, значит проявлять

большую трусость и предательство.

Ubi iratos deos timent, que sic propitios habere merentur? In regiae libidinis voluptatem castrati sunt quidam; sed nemo sibi, ne vir esset, iubente, domino, manus intulit[364] [broken link: #nb12_364]. Так, религия приводила людей ко многим дурным поступкам:

> *saepius illa*
>
> *Religio peperit scelerosa atque impia facta.[365] [broken link: #nb12_365]*

Ничто, присущее нам, ни в каком отношении не может быть приравнено к божественной природе или отнесено к ней, ибо это накладывало бы на нее отпечаток несовершенства. Как может эта бесконечная красота, бесконечное могущество и бесконечная благость без ущерба для своего божественного величия допустить какое-либо соответствие или сходство с таким существом, как человек?

Infirmum dei fortius est hominibus, et stultum dei sapientius est hominibus[366] [broken link: #nb12_366].

Когда кто-то спросил философа Стильпона[367] [broken link: #nb12_367], радуют ли богов воздаваемые им почести и приносимые им жертвы, он

ответил: «Ты неразумен; давай уединимся, если ты хочешь поговорить об этом».

И тем не менее мы предписываем богу определенные пределы; мы ограничиваем его могущество доводами нашего разума (я называю разумом наши домыслы и фантазии и исключаю отсюда философию, которая утверждает, что даже безумный или злой вынуждены действовать по разумным основаниям; но это разум особого рода), хотим подчинить его, который создал нас и наше знание, пустым и ничтожным доводам нашего рассудка. Мы говорим: «Бог не мог создать мир без материи, ибо из ничего нельзя ничего создать». Как! Разве бог вручил нам ключи своего могущества и открыл нам тайны его? Разве он обязался не выходить за пределы, поставленные нашей наукой? Допустим, о человек, что ты сумел заметить здесь на земле некоторые следы его действий, — думаешь ли ты, что он применил при этом все свои силы и воплотил в этом творении все свои помыслы, что он исчерпал при этом все формы? Ты видишь в лучшем случае только устройство и порядки того крохотного мирка, в котором живешь; но божественное могущество простирается бесконечно дальше его пределов; эта частица — ничто по сравнению с целым:

*omnia cum caelo terraque marique*

*Nil sunt ad summam summai totius omnem.[368] [broken link: #nb12_368]*

Ты ссылаешься на местный закон, но не знаешь, каков закон всеобщий. Ты можешь связывать себя с тем, чему ты подчинен, но его ты не свяжешь; он тебе не собрат, не земляк или товарищ. Если он как-то вступает в общение с тобой, то не для того, чтобы сравняться с твоим ничтожеством или вручить тебе надзор над своей властью. Тело человека не может витать в облаках — таков закон для тебя. Солнце непрерывно движется по своему пути; моря и земли имеют свои границы; вода текуча и жидка; сплошная стена непроницаема для твердого тела; человек не может не сгореть в пламени; он не может физически одновременно находиться на небе, на земле и в тысяче других мест. Все эти правила бог установил для тебя; они связывают только тебя. Он показал христианам, что может нарушать все эти законы, когда ему заблагорассудится. Действительно, для чего ему, раз он всемогущ, ограничивать свои силы определенными пределами? В угоду кому будет он отказываться от своих преимуществ? Твой разум с полным основанием и величайшей

вероятностью доказывает тебе, что существует множество миров:

*Terramque, et solem, lunam, mare, cetera quae sunt,*

*Non esse unica, sed numero magis innumerali.[369] [broken link: #nb12_369]*

В это верили, побуждаемые доводами разума, самые выдающиеся умы прошлых веков и даже некоторые наши современники; тем более что в нашем мироздании нет ни одного предмета, который существовал бы в единственном числе:

*cum in summa res nulla sit una,*

*Unica quae gignatur, et unica solaque crescat,[370] [broken link: #nb12_370]*

и все вещи существуют во множественном числе; поэтому представляется невероятным, чтобы бог сотворил только один этот мир, не создав подобных ему, и чтобы вся материя была полностью истрачена на это единственное творение:

*Quare etiam atque etiam talis fateare necesse est*

*Esse alios alibi congressus material,*

*Qualis hic est avido complexu quem tenet*

*aether,[371] [broken link: #nb12_371]*

в особенности, если существо это одушевленное, как можно предполагать по его движениям и как уверяет Платон[372] [broken link: #nb12_372]; некоторые наши ученые[373] [broken link: #nb12_373] подтверждают это мнение, другие же не осмеливаются опровергать его. А может быть, правильно то старинное воззрение, согласно которому небо, звезды и другие части вселенной представляют собой создания, состоящие из тела и души, которые смертны по своему составу, но бессмертны по решению создателя. В случае же если существует множество миров, как полагали Демокрит, Эпикур и почти все философы, то откуда мы знаем, что принципы и законы нашего мира приложимы также и к другим мирам? Эти миры, может быть, имеют другой вид и другое устройство[374] [broken link: #nb12_374]? Эпикур представлял их себе то сходными между собой, то несходными[375] [broken link: #nb12_375]. Ведь даже в нашем мире мы наблюдаем бесконечное разнообразие и различия в зависимости от отдаленности той или иной страны. Так, например, в том Новом Свете, который открыт был нашими отцами, не известны ни хлеб, ни вино, ни одно из наших животных; все там иное. А в скольких

странах света в прежние времена не имели представления ни о Вакхе, ни о Церере[376] [broken link: #nb12_376]? Если верить Плинию и Геродоту[377] [broken link: #nb12_377], то в некоторых странах есть люди, очень мало на нас похожие.

Существуют смешанные породы людей, представляющие собой нечто среднее между человеческой природой и животной. Есть страны, где люди рождаются без головы, а глаза и рот помещаются у них на груди; где все люди — двуполые существа; где люди ходят на четвереньках; где у людей только один глаз во лбу, а голова более похожа голову собаки, чем человека; где люди наполовину — в нижней части тела — рыбы и живут в воде; где женщины рожают в пятилетнем возрасте и живут только до восьми лет; где у людей лоб так тверд и кожа на нем так толста, что железо не в состоянии пробить их и сгибается; где у мужчин не растет борода; есть народы, которые не знают употребления огня; и другие, у которых сперма черного цвета.

Существуют люди, которые с легкостью превращаются в волков или в кобыл, а затем снова становятся людьми. И если верно утверждение Плутарха[378] [broken link: #nb12_378], что в некоторых частях Индии имеются люди без рта,

питающиеся лишь запахами, то многие наши описания неправильны; такие люди отнюдь не смешнее, чем мы, их разум, может быть, нисколько не уступает нашему, и они в такой же мере, как мы, способны к общественной жизни, и тогда может оказаться, что наше внутреннее устройство и законы не применимы к большинству людей.

Далее, сколько мы знаем вещей, противоречащих тем прекрасным правилам, которые мы установили для природы и предписали ей! А мы еще хотим связать ими самого бога! Сколько явлений мы называем сверхъестественными и противоречащими природе! Каждый человек и каждый народ называет так вещи, недоступные его пониманию. А сколько мы наблюдаем таинственных свойств и квинтэссенций[379] [broken link: #nb12_379]? Ибо для нас «поступать согласно природе» значит «поступать согласно нашему разуму», насколько он в состоянии следовать за ней и насколько мы в состоянии распознать этот путь; все, что выходит за пределы разума, чудовищно и хаотично. Но с этой точки зрения наиболее проницательным и изощренным людям все должно представляться чудовищным, ибо человеческий разум убедил их, что нет никаких серьезных оснований утверждать даже

то, что снег бел (Анаксагор заявлял, что он черен)[380] [broken link: #nb12_380]. Все неясно: существует ли что-нибудь или ничего не существует? Знаем ли мы что-либо или ничего не знаем? (Метродор Хиосский отрицал за человеком возможность ответить на этот вопрос)[381] [broken link: #nb12_381]. Живем ли мы или нет? Ибо Еврипид сомневался, «является ли наша жизнь жизнью или же жизнь есть то, что мы называем смертью»:

> *Τις δ οιδεν ει ζην τουθ ο κέκληται θανειν,*
> *Το ζην δε θνέσκειν έστι.[382] [broken link: #nb12_382]*

Еврипид сомневался не без основания; действительно, почему называть жизнью тот миг, который является только просветом в бесконечном течении вечной ночи и очень кратким перерывом в нашем постоянном и естественном состоянии, ибо смерть занимает все будущее и все прошлое этого момента, да еще и немалую часть его самого? Другие уверяют, что нет никакого движения и что ничто не движется, как утверждают последователи Мелисса[383] [broken link: #nb12_383] (ибо, если существует только единое, то оно не может ни обладать сферическим

движением, ни передвигаться с места на место, как это доказывает Платон[384] [broken link: #nb12_384]), и что в природе нет ни рождения, ни истлевания.

Протагор утверждал, что в природе нет ничего, кроме сомнения, и что обо всех вещах можно спорить с одинаковым основанием и даже о том, можно ли спорить с одинаковым основанием обо всех вещах; Навсифан[385] [broken link: #nb12_385] заявлял, что из тех вещей, которые нам кажутся, ни одна не существует с большей вероятностью, чем другая, и что нет ничего достоверного, кроме недостоверности; Парменид утверждал, что ничто из того, что нам кажется, не существует вообще и что существует только единое[386] [broken link: #nb12_386]; Зенон утверждал, что даже единое не существует и что не существует ничего.

Если бы существовало нечто, то оно находилось бы либо в другом, либо в самом себе; если бы оно находилось в другом, в таком случае их было бы два, а если бы оно находилось в самом себе, то и в этом случае их было бы два: содержащий и содержимое. Природа вещей, согласно этим учениям, есть не что иное, как ложная или пустая тень[387] [broken link: #nb12_387].

Мне всегда казались безрассудными и непочтительными в устах христианина выражения вроде следующих: бог не может умереть, бог не может себе противоречить, бог не может делать того или этого. Я нахожу неправильным подчинять божественное всемогущество законам нашей речи. То предположение, которое мы вкладываем в эти слова, следовало бы выражать более почтительно и более благочестиво.

Наша речь, как и все другое, имеет свои слабости и свои недостатки. Поводами к большинству смут на свете являлись споры грамматического характера. Наши судебные процессы возникают только из споров об истолковании законов; большинство войн происходит из-за неумения ясно формулировать мирные договоры и соглашения государей. А сколько препирательств — и притом каких ожесточенных — было вызвано сомнением в истолковании слога «hoc»[388] [broken link: #nb12_388]. Возьмем формулу, которая со стороны логической представляется нам совершенно ясной. Если вы говорите «стоит хорошая погода» и если при этом вы говорите правду, значит погода действительно хорошая. Разве это не достоверное утверждение? И тем не менее оно способно нас обмануть, как это видно из следующего примера.

Если вы говорите «я лгу» и то, что вы при этом утверждаете, есть правда, значит вы лжете[389] [broken link: #nb12_389]. Логическое построение, основательность и сила этого умозаключения совершенно не схожи с предыдущими, и тем не менее мы запутались. Я убеждаюсь, что философы-пирронисты не в состоянии выразить свою основную мысль никакими средствами речи; им понадобился бы какой-то новый язык! Наш язык сплошь состоит из совершенно неприемлемых для них утвердительных предложений, вследствие чего, когда они говорят «я сомневаюсь», их сейчас же ловят на слове и заставляют признать, что они по крайней мере уверены и знают, что сомневаются[390] [broken link: #nb12_390]. Это побудило их искать спасения в следующем медицинском сравнении, без которого их способ мышления был бы необъясним: когда они произносят «я не знаю» или «я сомневаюсь», то они говорят, что это утверждение само себя уничтожает, подобно тому как ревень, выводя из организма дурные соки, выводит вместе с ним и самого себя[391] [broken link: #nb12_391].

Этот образ мыслей более правильно передается вопросительной формой: «Что знаю я?», как гласит девиз, начертанный у меня на коромысле

весов[392] [broken link: #nb12_392].

Посмотрите, как злоупотребляют этой насквозь неблагочестивой манерой выражаться! Если в происходящих у нас теперь религиозных спорах вы станете теснить своих противников, то они прямо скажут вам, что не во власти бога сделать так, чтобы его тело находилось одновременно и в раю, и на земле, и в нескольких разных местах[393] [broken link: #nb12_393]. А как ловко пользуется этим аргументом наш древний насмешник[394] [broken link: #nb12_394]! «Для человека, — говорит он, — немалое утешение видеть, что бог не все может: так, он не может покончить с собой, когда ему захочется, что является наибольшим благом в нашем положении; не может сделать смертных бессмертными; не может воскресить мертвого; не может сделать жившего нежившим, а того, кому воздавались почести, не получавшим их, — так как он не имеет никакой иной власти над прошлым, кроме забвения». Наконец, — чтобы довершить это сравнение человека с богом забавным примером — он добавляет, что бог не может сделать, чтобы дважды десять не было двадцатью. Вот что он говорит! Но всем этим не должен был бы осквернять свои уста христианин. А между

тем люди, наоборот, пользуются этой безумной дерзостью языка, с тем чтобы низвести бога до своего уровня:

*cras vel atra*
*Nube polum pater occupato,*
*Vel sole puro; non tamen irritum*
*Quodcumque retro est, efficiet, neque*
*Diffinget infectumque reddet*
*Quod fugiens semel hora vexit.[395] [broken link: #nb12_395]*

Когда мы говорим, что для бога бесчисленный ряд веков, как прошлых, так и будущих, только одно мгновение, что его благость, мудрость, могущество — то же самое, что и его сущность, то мы произносим слова, которых наш ум не понимает. И тем не менее наше самомнение побуждает нас мерить божество своим аршином. Отсюда проистекают все обманы и заблуждения, которыми охвачены люди, желающие свести к своим размерам и взвесить на своих весах существо, столь их превосходящее. Mirum quo procedat improbitas cordis humani, parvulo aliquo invitata successu[396] [broken link: #nb12_396].

Стоики сурово упрекали Эпикура за то, что он

только бога считал истинно благим и блаженным существом, а мудреца всего лишь тенью и подобием его[397] [broken link: #nb12_397]. Как кощунственно связали они бога с судьбой (я бы хотел, чтобы ни один христианин не последовал за ними в этом!) — а Фалес, Платон и Пифагор подчинили его необходимости! Это нескромное желание узреть бога нашими глазами побудило одного из наших великих христиан[398] [broken link: #nb12_398] приписать божеству телесную форму. По этой же причине мы постоянно приписываем божьей воле важные события, имеющие для нас особое значение; поскольку эти события много значат для нас, нам кажется, что они важны и для него и что он относится к ним серьезнее и внимательнее, чем к событиям, для нас мало значащим или обычным. Magna dii curant, parva negligunt[399] [broken link: #nb12_399]. Послушайте, какой пример Цицерон приводит, — это разъяснит вам ход его мыслей: Nec in regnis quidem reges omnia minima curant[400] [broken link: #nb12_400].

Как будто для бога имеет большее значение сокрушить империю, чем шелохнуть листок на дереве! Как будто его промысел осуществляется иначе, когда дело идет об исходе сражения,

чем когда дело идет о прыжке блохи! Его рука управляет всем с одинаковой твердостью и постоянством. Наши интересы не имеют при этом никакого значения; наши побуждения и наши оценки его не трогают.

Deus ita artifex magnus in magnis, ut minor non sit in parvis[401] [broken link: #nb12_401]. Наше высокомерие всегда склоняет нас кощунственно сравнивать себя с богом. Так как дела обременяют людей, то Стратон освободил богов от всяких обязанностей, как освобождены были от них и священнослужители[402] [broken link: #nb12_402]. Он заставляет природу творить и сохранять все вещи и из их масс и движений создает все части мира, освобождая человека от страха перед божьим судом. Quod beatum aeternumque sit, id nec habere negotii quicquam, nec exhibere Alteri[403] [broken link: #nb12_403]. Природе угодно, чтобы сходные вещи имели и сходные отношения; поэтому бесконечное число смертных заставляет заключать о таком же числе бессмертных; бесконечное число вещей, несущих смерть и разрушение, заставляет предполагать такое же число целебных и полезных вещей. Подобно тому как души богов, не имея дара речи, глаз, ушей, чувствуют все одинаково и знают о наших мыс-

лях, так и души людей, когда они свободны или оторваны от тела сном или состоянием экстаза, прорицают, предсказывают и предвидят такие вещи, которых они не могли бы увидеть, будучи соединены с телом[404] [broken link: #nb12_404].

Люди, говорит апостол Павел, «называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку…»[405] [broken link: #nb12_405]

Присмотритесь, каким шарлатанством было обставлено обожествление у древних[406] [broken link: #nb12_406]. После пышной и торжественной церемонии похорон, когда пламя касалось уже верхушки сооружения и охватывало ложе умершего, они выпускали орла, полет которого ввысь означал, что душа покойника отправилась в рай. У нас имеются тысячи медалей — в том числе и выбитая в память благонравной супруги Фаустины[407] [broken link: #nb12_407], — на которых изображен орел, возносящий к небу эти обожествленные души.

Жалкое зрелище! Мы сами себя обманываем нашими собственными измышлениями и притворством:

> *Quod finxere, timent,[408] [broken link: #nb12_408]*

словно дети, вымазавшие сажей лицо одного из своей ватаги и потом сами пугающиеся его. Quasi quicquam infelicius sit homine cui sua figmenta dominantur[409] [broken link: #nb12_409]. Почитать того, кто создал нас, далеко не одно и то же, что почитать того, кого создали мы сами. Августу было воздвигнуто более храмов, чем Юпитеру; ему поклонялись с таким же рвением и верили в совершаемые им чудеса. Жители Тасоса, желая отблагодарить Агесилая за оказанные им благодеяния, пришли однажды объявить, что они причислили его к сонму богов. «Разве во власти народа, — сказал он им, — делать богом кого вам заблагорассудится? В таком случае сделайте это для примера с одним из вас; а потом, когда я увижу что с ним приключится, я воздам вам великую благодарность за ваше предложение»[410] [broken link: #nb12_410].

Человек крайне неразумен; он не в состоянии создать клеща, а между тем десятками создает богов.

Послушайте, как восхваляет наши способности Трисмегист[411] [broken link: #nb12_411]: из всех удивительных вещей самая поразительная та, что человек сумел изобрести божественную природу и создать ее. Послушайте рассуждения

философов:

> *Nosse cui divos et caeli numina soli,*
>
> *Aut soli nescire, datum.[412] [broken link: #nb12_412]*

«Если бог есть, то он живое существо; если он живое существо, то обладает чувствами; если он обладает чувствами, то подвержен тлению. Если он не имеет тела, то не имеет и души, а следовательно, неспособен действовать; если же он имеет тело, то он тленен»[413] [broken link: #nb12_413]. Разве это не убедительное умозаключение? Мы неспособны создать мир; следовательно, существует более совершенная природа, которая создала его. Было бы глупым высокомерием с нашей стороны считать себя самыми совершенными существами во вселенной; следовательно, имеется некое существо, более совершенное, чем мы: это бог. Когда вы видите богатое и роскошное здание, то даже не зная, кто хозяин его, вы все же не скажете, что оно предназначено для вас. Не должны ли мы в таком случае думать, что это божественное сооружение, этот созерцаемый нами небесный дворец является жилищем существа более возвышенного, чем мы? Разве все находящееся вверху не является

всегда и более достойным? А ведь мы помещены внизу. Ничто, лишенное души и разума, не может породить что-либо одушевленное и обладающее разумом. Мир порождает нас; следовательно, он имеет душу и разум. Любая наша часть меньше, чем мы, мы — часть мира; следовательно, наделен мудростью и разумом в большей степени, чем мы. Прекрасная вещь — быть великим правителем, следовательно, управление миром принадлежит некоей блаженной природе. Светила не причиняют нам вреда; следовательно, они полны благости. Мы нуждаемся в пище; следовательно, боги тоже в ней нуждаются и питаются парами, поднимающимися ввысь. Мирские блага не являются благами для бога; следовательно, они не являются благами и для нас. Наносить оскорбление и быть оскорбленным в одинаковой мере свидетельствует о слабости; следовательно, безумие — бояться бога. Бог благ по своей природе; человек же благ в меру своих стараний, а это выше. Божественная мудрость отличается от человеческой лишь тем, что она вечна; но длительность ничего не прибавляет к мудрости, следовательно, мы сотоварищи. Мы обладаем жизнью, разумом и свободой, почитаем благость, милосердие и справедливость, следовательно,

эти качества присущи богу. Словом, когда человек приписывает божеству какие-либо свойства или отказывает ему в них, он делает это по собственной мерке. Хорош пример! Хорош образец! Сколько бы мы ни усиливали, ни возвеличивали, ни раздували человеческие качества, это бесполезно; жалкий человек может пыжиться сколько ему угодно:

> *Non, si te ruperis, inquit.[414] [broken link: #nb12_414]*

Profecto non Deum, quem cogitare non possunt, sed semet ipsos pro illo cogitantes, non illum sed se ipsos, non illi sed sibi comparant[415] [broken link: #nb12_415].

Даже в естественных случаях следствия лишь отчасти раскрывают причину; — что же сказать о данной причине, когда речь идет о божестве? Она выше естественного порядка вещей; она слишком возвышенна, слишком далека от нас и слишком могущественна, чтобы наши заключения могли связывать и сковывать ее. К пониманию божества можно прийти не через нас, это слишком низменный путь. Находясь на Монсенисе[416] [broken link: #nb12_416], мы не ближе к небу, чем находясь на дне морском. Можете убедиться в

этом с помощью астролябии. Люди низводят бога до того, что приписывают ему — как это делалось не раз — даже плотское соединение с женщинами: Паулина, жена Сатурнина, матрона, славившаяся в Риме своей добродетелью, полагая, что сочетается с богом Сераписом, очутилась в объятиях одного из ее поклонников, что было подстроено жрецами этого храма[417] [broken link: #nb12_417]. Варрон, самый проницательный и самый ученый из латинских авторов, в своих книгах о божествах сообщает[418] [broken link: #nb12_418], что служка храма Геркулеса играл в кости попеременно обеими руками — одной рукой за самого себя, а другой — за Геркулеса, с условием, что если выиграет он сам, то на доходы приготовит себе ужин и приведет любовницу, если же проиграет, то предложит за свой счет и то и другое Геркулесу. Он проиграл и расплатился своим ужином и молодой девушкой. Ее звали Лаурентиной; ночью она увидела во сне, будто очутилась в объятиях Геркулеса, который, между прочим, сказал ей, что первый же человек, которого она на следующий день встретит, щедро с нею расплатится за него. Им оказался богатый юноша Тарунций, который взял ее к себе и впоследствии сделал своей наследницей. Она же в

свою очередь, желая сделать угодное этому богу, завещала свое наследство римскому народу и за это ее удостоили божеских почестей.

Считалось, что Платон был божественного происхождения как по отцовской, так и по материнской линии, причем предком его в обоих случаях был Нептун, но мало того: в Афинах считалась достоверной следующая версия его происхождения. Аристон не знал, как овладеть прекрасной Периктионой; во сне бог Аполлон возвестил ему, чтобы он не прикасался к ней, пока она не разрешится от бремени: это и были отец и мать Платона[419] [broken link: #nb12_419].

Сколько существует подобных побасенок о том, как боги наставляли рога бедным смертным, и о мужьях, несправедливо оклеветанных ради детей[420] [broken link: #nb12_420]?

У магометан народ верит, что есть много таких Мерлинов[421] [broken link: #nb12_421], т. е. детей, не имеющих отцов, зачатых духовно и рожденных божественным образом из чрева девственниц; они носят имя, означающее это понятие на их языке[422] [broken link: #nb12_422].

Следует помнить, что для всякого существа нет ничего прекраснее и лучше его самого (лев, орел и дельфин выше его ценят себе подобных)[423]

[broken link: #nb12_423] и всякий сравнивает качества всех других существ со своими собственными. Эти качества можем усиливать или ослаблять, но мы не можем сделать ничего большего, ибо дальше этого сопоставления и; этого принципа наше воображение не способно пойти; оно не состоянии вообразить ничего иного, оно не может выйти за эти пределы и переступить их! Так возникли следующие древние умозаключения: «Самый прекрасный из всех обликов — это человеческий; следовательно, богу присущ этот облик. Никто не может быть блаженным без добродетели; не может быть добродетели без разума, а разум нигде, кроме человеческого тела, находиться не может; следовательно, бог имеет человеческий облик»[424] [broken link: #nb12_424].

> *Ita est informatum anticipatum mentibus nostris ut homini, cum de deo cogitet, forma occurrat humana.[425] [broken link: #nb12_425]*

Ксенофан[426] [broken link: #nb12_426], шутя, заявлял, что если животные создают себе богов (а это вполне правдоподобно!), то они, несомненно, создают их по своему подобию и так же пре-

возносят их, как и мы. Действительно, почему, например, гусенок не мог бы утверждать о себе следующее[427] [broken link: #nb12_427]: «Внимание вселенной устремлено на меня; земля служит мне, чтобы я мог ходить по ней; солнце — чтобы мне светить; звезды — чтобы оказывать на меня свое влияние; ветры приносят мне одни блага, воды — другие; небосвод ни на кого не взирает с большей благосклонностью, чем на меня; я любимец природы. Разве человек не ухаживает за мной, не дает мне убежище и не служит мне? Для меня сеет и мелет он зерно. Если он съедает меня, то ведь то же самое делает он и со своими сотоварищами — людьми, а я поедаю червей, которые точат и пожирают его». Сходным образом мог бы рассуждать о себе журавль и даже более красноречиво, ибо он свободно летает в этой прекрасной небесной выси и владеет ею: tam blanda conciliatrix et tam sui est lena ipsa natura[428] [broken link: #nb12_428].

Рассуждая подобным же образом, мы утверждаем, что все предназначено для нас: для нас существует вселенная, для нас — свет, для нас гремит гром, как творец, так и все твари существуют для нас. Мы — цель всего, мы — центр, к которому тяготеет все сущее. Посмотрите ле-

топись небесных дел, отмеченных философами на протяжении более двух тысячелетий; боги действовали и говорили, имея в виду только человека; у них не было никаких других забот и занятий. То они воевали против людей:

*domitosque Herculea manu*
*Telluris iuvenes, unde periculum*
*Fulgens contremuit domus*
*Saturni*
*veteris,[429] [broken link: #nb12_429]*

то участвовали в наших смутах, воздавая нам за то, что мы много раз бывали участниками в их распрях:

*Neptunus muros magnoque emota tridenti*
*Fundamenta quatit, totamque a sedibus urbem*
*Eruit. Hic Iuno Scaeas saevissima portas*
*Prima tenet.[430] [broken link: #nb12_430]*

Желая обеспечить поклонение одним лишь богам своих отцов, все кавнии, вооружившись до зубов, бегут по своей земле, ударяя мечами по воздуху, чтобы поразить и изгнать из своих пределов чужеземных богов[431] [broken link:

#nb12_431]. Боги наделяются теми способностями, которые нужны человеку: один исцеляет лошадей, другой — людей; один лечит чуму, другой — паршу, третий — кашель; один лечит такой-то вид чесотки, другой — такой-то (adeo minimis etiam rebus prava religio inserit deos[432] [broken link: #nb12_432]). Один бог содействует произрастанию винограда, другой — чеснока; один покровительствует разврату, другой — торговле; у ремесленников всякого рода — свой особенный бог; каждый бог имеет свою область: один чтится на востоке, другой — на западе:

> *hic illius arma*
>
> *Hic currus fuit.[433] [broken link: #nb12_433]*
>
> *O sancte Apollo, qui umbilicum certum terrarum obtines![434] [broken link: #nb12_434]*
>
> *Pallada Cecropidae, Minoia Creta Dianam,*
>
> *Vulcanum tellus Hipsipylea colit,*
>
> *Iunonem Sparte, Pelopeiadesque Mycenae,*
>
> *Pinigerum Fauni Moenalis ora caput;*
>
> *Mars Latio venerandus erat.[435] [broken link: #nb12_435]*

Некоторые боги имеют в своем распоряжении всего лишь какую-нибудь деревню или владеют всего-навсего одним семейством; некоторые боги живут в одиночестве, другие — в добровольном или вынужденном союзе друг с другом.

> *Iunctaque sunt magno templa nepotis avo.[436] [broken link: #nb12_436]*

Есть среди богов и столь захудалые (ибо число их было очень велико, достигая тридцати шести тысяч[437] [broken link: #nb12_437]), что для произрастания одного колоса пшеницы требовалось не менее пяти или шести богов, и все они имели разные имена. У каждой двери было три божества: один у порога, другой у петель, третий у косяка; четыре божества были при колыбели ребенка: один ведал его пеленками, другой — его питьем, третий — пищей, четвертый — сосанием. Были божества известные, неизвестные и сомнительные, а иные не допускались даже в рай:

> *Quos quoniam caeli nondum dignamur honore,*
>
> *Quas dedimus certe terras habitare sinamus.[438] [broken link: #nb12_438]*

Были божества, введенные поэтами, физиками,

гражданскими властями; некоторые божества, обладая наполовину божественной, наполовину человеческой природой, являлись посредниками между нами и богом, нашими заступниками перед ним. Им поклонялись с меньшим почтением, как божествам второго ранга; иные божества имели бесчисленное количество званий и обязанностей; иные почитались добрыми, иные — злыми. Были божества старые и дряхлые, были и смертные. Хрисипп полагал, что при последнем мировом пожаре все боги погибнут, кроме Юпитера[439] [broken link: #nb12_439]. Человек придумывает тысячу забавных связей между собой и богом: не бывает ли он иной раз его земляком?

> *Iovis incunabula Creten.[440] [broken link: #nb12_440]*

Вот как объясняли это дело великий понтифик Сцевола и великий теолог тех времен Варрон: народ не должен знать многого из того, что есть истина, и должен верить во многое такое, что есть ложь[441] [broken link: #nb12_441]: cum veritatem qua liberetur, inquirat; credatur ei expedire, quod fallitur.[442] [broken link: #nb12_442]

Человеческий глаз может воспринимать вещи

лишь в меру его способностей. Вспомним, какой прыжок совершил несчастный Фаэтон[443] [broken link: #nb12_443], когда захотел смертной рукой управлять конями своего отца. Наш разум рушится в такую же бездну и терпит крушение из-за своего безрассудства. Если вы спросите философов, из какого вещества состоят небо и солнце, то разве они не скажут вам, что из железа или (вместе с Анаксагором) из камня[444] [broken link: #nb12_444], или из какого-нибудь другого знакомого нам вещества? Если спросить у Зенона[445] [broken link: #nb12_445], что такое природа, он ответит, что она — изумительный огонь, способный порождать и действующий согласно твердым законам. Архимед[446] [broken link: #nb12_446], величайший знаток той науки, которая приписывала себе наибольшую истинность и достоверность по сравнению с другими, утверждает: «Солнце — это бог, состоящий из раскаленного железа». Неплохая выдумка, к которой приводит уверенность в красоте и неизбежной принудительности геометрических доказательств! Однако они не так уж неизбежны и полезны; недаром Сократ считал[447] [broken link: #nb12_447], что достаточно знать из геометрии лишь столько, чтобы уметь правильно

измерить участок земли, который отдают или получают; а превосходный и знаменитый в этой области ученый Полиэн стал пренебрежительно относиться к геометрическим доказательствам, считая их ложными и призрачными, после того как он вкусил сладких плодов из безмятежных садов Эпикура.

Как рассказывает Ксенофонт[448] [broken link: #nb12_448], Сократ утверждал по поводу вышеприведенного суждения Анаксагора о солнце и небе (последний в древности ценился выше всех философов своим знанием небесных и божественных явлений), что он помутился рассудком, как это случается со всеми теми, кто слишком глубоко вдается в исследование недоступных им вещей. Анаксагор, заявляя, что солнце есть раскаленный камень, не сообразил того, что камень в огне не светит и — что еще хуже — разрушается в пламени; далее, он считал, что солнце и огонь одно и то же, а между тем те, кто смотрит на огонь, не чернеют, и люди могут пристально смотреть на огонь, но не могут смотреть на солнце; не учел он и того, что растения и травы не могут расти без солнечных лучей, но погибают от огня. Вместе с Сократом я держусь того мнения, что самое мудрое суждение о небе — это отсутствие всякого

суждения о нем.

Платон заявляет в «Тимее» по поводу природы демонов следующее[449] [broken link: #nb12_449]: это дело превосходит наше понимание. Тут надо верить тем древним, которые сами, по их словам, произошли от богов. Неразумно не верить детям богов, хотя бы их рассказы и не опирались на убедительные и правдоподобные доказательства, ибо они повествуют нам о своих домашних и семейных делах.

Посмотрим, имеем ли мы более ясное представление о человеческих делах и делах, касающихся природы.

Разве не смешно приписывать вещам, которых наша наука, по нашему собственному признанию, не в состоянии постигнуть, другое тело и наделять их ложной, вымышленной нами формой. Так, поскольку наш ум не может представить себе движение небесных светил и их естественное поведение, мы наделяем их нашими материальными, грубыми и физическими двигателями:

> *temo aureus, aurea summae*
>
> *Curvatura rotae, radiorum argenteus ordo.[450] [broken link: #nb12_450]*

Похоже на то, как если бы у нас были возчики, плотники и маляры, которых мы отправили на небо, чтобы они там соорудили машины с различными движениями и наладили кругообращение небесных тел, отливающих разными цветами и вращающихся вокруг веретена необходимости, о коем писал Платон[451] [broken link: #nb12_451].

> *Mundus domus est maxima rerum,*
>
> *Quam quinque altitonae fragmine zonae*
>
> *Cingunt, per quam limbus pictus bis sex signis*
>
> *Stellimicantibus, altus in obliquo aethere, lunae*
>
> *Bigas*
> *acceptat.[452] [broken link: #nb12_452]*

Все это — грезы и безумные фантазии. Если бы в один прекрасный день природа захотела раскрыть нам свои тайны и мы увидели бы воочию, каковы те средства, которыми она пользуется для своих движений, то, боже правый, какие ошибки, какие заблуждения мы обнаружили бы в нашей жалкой науке! Берусь утверждать, что ни в одном из своих заявлений она не оказалась бы права. Поистине, единственное, что я сколько-нибудь знаю, — это то, что я полнейший

невежда во всем.

Разве не Платону принадлежит божественное изречение, что природа есть не что иное, как загадочная поэзия[453] [broken link: #nb12_453]! Она подобна прикрытой и затуманенной картине, просвечивающей бесконечным множеством обманчивых красок, над которой мы изощряемся в догадках.

Latent ista omnia crassis occultata et circumfusa tenebris, ut nulla acies humani ingenii tanta sit, quae penetrare in caelum, terram intrare possit[454] [broken link: #nb12_454].

Поистине, философия есть не что иное, как софистическая поэзия. Разве все авторитеты древних авторов не были поэтами? Да и сами древние философы были лишь поэтами, излагавшими философию поэтически. Платон — всегда лишь расплывчатый поэт. Тимон, насмехаясь над ним, называет его великим кудесником[455] [broken link: #nb12_455].

Подобно тому как женщины, потеряв зубы, вставляют себе зубы из слоновой кости и вместо естественного цвета лица придают себе с помощью красок искусственный, делают себе накладные груди и бедра из сукна, войлока или ваты и на глазах у всех создают себе поддельную

и мнимую красоту, не пытаясь никого ввести в заблуждение, — совершенно так же поступает наука (включая даже правоведение, ибо оно пользуется юридическими функциями, на которых зиждется истинность его правосудия); она выдает нам за истины и вероятные гипотезы вещи, которые она сама признает вымышленными. Действительно, все эти концентрические и эксцентрические эпициклы, которыми астрономия пользуется для объяснения движения светил, она выдает нам за лучшее, что она могла по этому поводу придумать; и точно так же философы рисуют нам не то, что есть, и не то, что они думают, а то, что они измышляют как наиболее правдоподобное и привлекательное. Так, Платон, объясняя строение тела у человека и у животных, говорит[456] [broken link: #nb12_456]: «Мы бы утверждали истинность того, что мы сейчас изложили, если бы получили на этот счет подтверждение оракула; поэтому мы заявляем, что это лишь наиболее правдоподобное из того, что мы могли сказать».

Философы не только наделяют небо своими канатами, колесами и двигателями. Послушаем, что они говорят о нас самих и о строении нашего тела. У планет и небесных тел не больше всяких

отклонений, сближений, противостояний, скачков и затмений, чем они приписывали жалкому крохотному человеческому телу. Они действительно с полным основанием могли назвать человеческое тело микрокосмом, поскольку употребили для создания его столько различных частей и форм. На сколько частей разделили они нашу душу, чтобы объяснить движения человека, различные функции и способности, которые мы ощущаем в себе, в скольких местах они поместили ее! А помимо естественных и ощутимых нами движений, на сколько разрядов и этажей разделили они несчастного человека! Сколько обязанностей и занятий придумали для него! Они превращают его в якобы общественное достояние: это предмет, которым они владеют и распоряжаются; им предоставляется полная свобода расчленять его, соединять и вновь составлять по своему усмотрению; и тем не менее они все еще не разобрались в нем. Они не в состоянии постигнуть его не только на деле, но даже и своей фантазией; какой-то штрих, какая-то черта всегда ускользает от них, как ни грандиозно придуманное ими сооружение, составленное из тысячи фиктивных и вымышленных частей. Но это не основание к тому, чтобы извинять их; в

самом деле, если живописцы рисуют небо, землю, моря, горы и отдаленные острова, то мы готовы удовлетвориться, чтобы они изображали нам лишь нечто слегка им подобное; поскольку это вещи нам неизвестные, мы довольствуемся неясными и обманчивыми очертаниями; но когда они берутся рисовать нам с натуры какой-нибудь близкий и знакомый нам предмет, мы требуем от них точного и правильного изображения линий и красок, и презираем их, если они не в состоянии этого сделать[457] [broken link: #nb12_457].

Я одобряю ту остроумную служанку-милетянку, которая, видя, что ее хозяин философ Фалес постоянно занят созерцанием небесного свода и взор его всегда устремлен ввысь, подбросила там, где он должен был проходить, какой-то предмет, чтобы он споткнулся[458] [broken link: #nb12_458]; она хотела дать ему понять, что он успеет насладиться заоблачными высями после того, как обратит внимание на то, что лежит у его ног. Она таким образом правильно посоветовала ему смотреть больше на себя, чем на небо, ибо, как говорит Демокрит устами Цицерона,

> *Quod est ante pedes, nemo spectat; caeli scrutantur plagas.[459] [broken link: #nb12_459]*

Но мы устроены так, что даже познание того, что лежит у нас в руках, не менее удалено от нас и не менее для нас недосягаемо, чем познание небесных светил. Как говорит Сократ у Платона[460] [broken link: #nb12_460], всякого, кто занимается философствованием, можно упрекнуть в том же, в чем эта женщина упрекнула Фалеса, а именно — что он не замечает того, что у него под носом. Такой философ действительно не знает ни того, что представляет собой его сосед, ни того, что он сам собой представляет; он не знает даже, являются ли они оба людьми или животными.

Не приходилось ли тем людям, которые находят доводы Раймунда Сабундского слишком слабыми[461] [broken link: #nb12_461], для которых нет ничего неизвестного, которые воображают, будто управляют миром и все понимают:

> *Quae mare compescant causae; quid temperet annum;*
>
> *Stellae sponte sua iussaeve vagentur et errent;*
>
> *Quid premat obscurum Lunae, qui proferat orbem;*
>
> *Quid velit et possit rerum concordia*

*discors,[462] [broken link: #nb12_462]*

сталкиваться в своих книгах с трудностями, встающими перед всяким, кто хочет познать свое собственное существо? Мы ясно видим, что палец двигается и что нога двигается; что некоторые наши органы двигаются сами собой, без нашего ведома, другие же, наоборот, приводятся в движение по нашему повелению; что одно представление заставляет нас краснеть, другое — бледнеть; что одно впечатление действует только на селезенку, другое — на мозг; что одно заставляет нас смеяться, другое — плакать, а бывает и такое, которое поражает все наши чувства и останавливает движение всех наших членов; что одно представление приводит в движение наш желудок, а другое — орган, находящийся пониже. Но для человека всегда оставалось неизвестным, каким образом умственное впечатление вызывает такие изменения в телесном и материальном предмете, какова природа этой связи и сочетания этих удивительных сил.

Omnia incerta ratione et in naturae maiestate abdita[463] [broken link: #nb12_463], — говорит Плиний. А блаженный Августин заявляет: Modus quo corporibus adhaerent spiritus, omnino mirum est, nec comprehendi ab homine potest: et hoc ipse

homo est[464] [broken link: #nb12_464].

И тем не менее эта связь никем не ставится под сомнение, ибо суждения людей покоятся на авторитете древних; их принимают на веру, как если бы это были религия или закон. То, что общепризнано, воспринимается как некий условный язык, непонятный непосвященным: такую истину принимают вместе со всей цепью ее доводов и доказательств, как нечто прочное и нерушимое, не подлежащее дальнейшему обсуждению. Всякий старается, наоборот, укрепить и приукрасить эту принятую истину в меру сил своего разума, являющегося гибким и подвижным орудием, прилаживающимся к любой вещи. Так мир переполняется нелепостью и ложью. Во многих вещах не сомневаются потому, что общепринятых мнений никогда не проверяют; никогда не добираются до основания, где коренится ошибка или слабое место; спорят не о корешках, а о вершках; задаются не вопросом, правильно ли что-нибудь, а лишь вопросом, понималось ли это таким или иным образом. Спрашивают не о том, сказал ли Гален[465] [broken link: #nb12_465] нечто ценное, а сказал ли он так или иначе. Вполне естественно поэтому, что это подавление свободы наших суждений, эта установившаяся по отношению

к нашим взглядам тирания широко распространилась, захватив наши философские школы и науку. Аристотель — это бог схоластической науки[466] [broken link: #nb12_466]; оспаривать его законы — такое же кощунство, как нарушать законы Ликурга в Спарте. Его учение является у нас незыблемым законом, а между тем оно, быть может, столь же ошибочно, как и всякое другое. Я не вижу оснований, почему бы мне не принять с такой же готовностью идеи Платона[467] [broken link: #nb12_467], атомы Эпикура, полное и пустое Левкиппа и Демокрита, воду Фалеса, бесконечную природу Анаксимандра, воздух Диогена, числа и симметрию Пифагора, бесконечное Парменида, единое Мусея, воду и огонь Аполлодора, сходные частицы Анаксагора, раздор и любовь Эмпедокла, огонь Гераклита или любое другое воззрение из бесконечного хаоса взглядов и суждений, порождаемых нашим хваленым человеческим разумом, его проницательностью и уверенностью во всем, во что он вмешивается. Я не вижу, почему я должен принимать учение Аристотеля об основах природных вещей; эти принципы, по мысли Аристотеля, сводятся к материи, форме и «лишенности» формы[468] [broken link: #nb12_468]. Может ли быть что-ни-

будь более нелепое, чем считать само отсутствие формы, «лишенность» ее, причиной происхождения вещей? Ведь «лишенность» есть нечто отрицательное; по какой же прихоти ее можно считать причиной и началом вещей, которые существуют? Но решиться оспаривать это можно только ради упражнения в логике, ибо об этом спорят не для того, чтобы что-нибудь поставить под сомнение, а лишь для того, чтобы защитить главу школы от возражений противников: его авторитет — это та цель, которая выше всяких сомнений.

Из общепризнанных положений нетрудно построить все, что угодно, так как остальная часть сооружения строится легко, без препятствий, по тому же закону, что и основание. Действуя таким путем, мы находим, что наши соображения твердо обоснованы, и рассуждаем уверенно; ибо наши учителя настолько завоевывают наперед наше доверие, что могут потом выводить все, что им угодно, по примеру геометров, исходящих из принятых ими постулатов. То, что мы согласны с нашими учителями и одобряем их, дает им возможность склонять нас то вправо, то влево и заставляет нас плясать под их дудку. Тот, чьим гипотезам верят, становится нашим учителем и

богом: он строит столь обширный и на вид ясный план своих сооружений, что по ним он может, если захочет, легко поднять нас до облаков.

Применяя такой подход к науке, мы приняли за чистую монету изречение Пифагора, что всякий знаток должен пользоваться доверием в своей науке. Диалектик обращается к знатоку грамматики по вопросу о значении слов; знаток риторики заимствует у диалектика его аргументы; поэт заимствует у музыканта его ритмы, геометр — у знатока арифметики его пропорции; метафизик же принимает за основу гипотезы физики. Всякая наука имеет свои признанные принципы, которыми человеческое суждение связано со всех сторон. Если вы захотите разрушить этот барьер — главную причину заблуждений, вы тотчас же услышите исходящее из их уст поучение, что не следует спорить с теми, кто отрицает принципы.

Но у людей не может быть принципов, если божество не открыло им их. А все остальное — начало, середина и конец — не что иное, как бесплодная фантазия. Те, кто спорит против предвзятых положений, явно исходят из таких же предвзятых положений, которые можно оспаривать. Ибо всякое положение, высказываемое человеком, имеет такую же опору в авторите-

те, как и любое другое, если только разум не сделает между ними различия. Поэтому необходимо все их взвешивать и в первую очередь наиболее распространенные и властвующие над нашими умами. Уверенность в несомненности есть вернейший показатель неразумия и крайней недостоверности; и нет людей более легкомысленных и менее философских, чем филодоксы[469] [broken link: #nb12_469] Платона. Надо исследовать все: горяч ли огонь, бел ли снег, можем ли мы признать что-либо твердым или мягким. Что же касается вздорных ответов, какие давались в древности, — вроде, например, того, что ставившему под сомнение тепло предлагали броситься в огонь, а не верившему, что снег холоден, советовали положить его себе на грудь, — то они совершенно недостойны истинных философов. Если бы нас оставили в нашем естественном состоянии, при котором мы воспринимали бы вещи так, как они представляются нашим чувствам, и если бы нам предоставили возможность следовать нашим простым потребностям, определяемым условиями нашего происхождения, то эти умники имели бы основание рассуждать таким образом; но у них мы научились считать себя судьями мира; от них мы восприняли представ-

ление, что человеческий разум является главным смотрителем всего, что находится вне и внутри небесного свода, что он способен все охватить, все может, что с помощью его все познается и постигается. Такой ответ годился бы для каннибалов, которые наслаждаются долгой, спокойной и мирной жизнью, не зная правил Аристотеля и даже самого названия физики. В этом случае такой ответ был бы лучше и убедительнее всех почерпнутых ими из разума или придуманных ими. Такой ответ могли бы дать вместе с нами все животные и все те, кто живет еще под властью простого и безыскусственного естественного закона; но философы отказались от этого. Мне не нужно, чтобы они говорили мне: «Это истинно потому, что вы так видите и чувствуете»; мне нужно, чтобы они мне сказали, чувствую ли я действительно то, что мне кажется; и если я действительно это чувствую, пусть они объяснят мне название, происхождение, все свойства и следствия тепла и холода, все качества действующего начала и начала, на которое воздействуют. В противном случае пусть они откажутся от своего звания философов, требующего принимать и одобрять только то, что доказано разумом; это их пробный камень при всех испытаниях; но он, ра-

зумеется, приводит к ошибкам и заблуждениям, ибо он слаб и недостаточен.

Чем мы можем лучше всего испытать разум как не посредством его же самого? Но если не следует верить его показаниям о самом себе, то как можно верить его суждениям о посторонних ему вещах? Если разум что-либо знает, то по крайней мере он знает, какова его собственная сущность и где его местонахождение. Он находится в душе и составляет часть ее или ее действие; ибо подлинный и главный разум, название которого мы неправильно присваивали нашему, находится в лоне бога: там его обиталище и убежище; оттуда он выходит, когда богу угодно дать нам узреть какой-нибудь луч его, подобно Палладе, вышедшей из головы своего отца, чтобы приобщиться к миру[470] [broken link: #nb12_470].

Посмотрим же, чему человеческий разум учит нас о самом себе и о душе: не о душе вообще, которою почти вся философия наделяет небесные тела и важнейшие элементы, и не о той душе, которую Фалес, ссылаясь на действие магнита, приписывал даже неодушевленным предметам; но о той душе, которая находится в нас и которую мы поэтому должны лучше всего знать:

*Ignoratur enim quae sit natura animai,*

*Nata sit, an contra nascentibus insinuetur,*

*Et simul intereat nobiscum morte dirempta,*

*An tenebras Orci visat, vastasque lacunas,*

*An pecudes alias divinitus insinuet se.[471] [broken link: #nb12_471]*

Опираясь на соображения разума, Кратет и Дикеарх[472] [broken link: #nb12_472] учили, что души вообще не существует и что тело приводится в движение естественным движением, Платон — что душа есть самодвижущаяся субстанция, Фалес — что она представляет собой естество, лишенное покоя, Асклепиад — что она есть упражнение чувств, Гесиод и Анаксимандр — что она есть вещество, состоящее из земли и воды, Парменид — что она состоит из земли и огня, Эмпедокл — что она из крови:

*Sanguineam vomit ille animam,[473] [broken link: #nb12_473]*

Посидоний, Клеант и Гален — что душа представляет собой тепло или теплородное тело:

*Igneus est ollis vigor, et caelestis origo,[474] [broken link: #nb12_474]*

Гиппократа человеческий разум учил тому, что душа — это дух, разлитый в теле; Варрона — что

она воздух, вдыхаемый ртом, согревающийся в легких, превращающийся в сердце в жидкость и распространяющийся по всему телу; Зенона — что она есть сущность четырех стихий; Гераклита Понтийского — что она есть свет; Ксенократа и египтян — что она переменное число; халдеян — что она есть сила, лишенная определенной формы:

> *habitum quendam vitalem corporis esse,*
>
> *Harmoniam Graeci quam dicunt.[475] [broken link: #nb12_475]*

Не забудем и Аристотеля, согласно которому душа есть то, что естественно заставляет тело двигаться и что он называет энтелехией[476] [broken link: #nb12_476]; но это название ничего не объясняет, ибо оно ничего не говорит ни о сущности, ни о происхождении, ни о природе души, а лишь о ее действии. Лактанций, Сенека и большинство догматиков признавали, что душа есть нечто для них непонятное. Изложив все эти взгляды, Цицерон заявляет: Harum sententiarum quae vera sit, deus aliquis viderit.[477] [broken link: #nb12_477] «Я знаю по себе, — говорит святой Бернард[478] [broken link: #nb12_478], — насколько бог непостижим, ибо я не в состоянии понять

даже, что представляют собой части моего собственного существа». Гераклит, полагавший, что все полно душ и демонов, утверждал[479] [broken link: #nb12_479], однако, что, как бы далеко мы ни подвинулись в познании души, мы все же никогда не узнаем ее до конца — так глубока ее сущность.

Не меньше разногласий и споров существует по вопросу о местопребывании души. Гиппократ и Герофил[480] [broken link: #nb12_480] помещают ее в желудочке мозга, Демокрит и Аристотель — во всем теле:

> *Ut bona saepe valetudo cum dicitur esse*
>
> *Corporis, et non est tamen haec pars ulla valentis,[481] [broken link: #nb12_481]*

Эпикур помещает ее в желудке:

> *Hic exultat enim pavor ac metus, haec loca circum*
>
> *Laetitiae mulcent.[482] [broken link: #nb12_482]*

Стоики помещают душу в сердце и вокруг него[483] [broken link: #nb12_483], Эрасистрат[484] [broken link: #nb12_484] — в черепной оболочке, Эмпедокл — в крови, так же как и Моисей, за-

противший поэтому употреблять в пищу кровь животных, с которою соединена их душа; Гален полагал, что всякая часть тела имеет свою душу; Стратон помещал ее между бровями! Qua facie quidem sit animus aut ubi habitet, ne quaerendum quidem est[485] [broken link: #nb12_485], — говорит Цицерон. Я охотно привожу его собственные слова, не желая искажать его манеру выражаться, тем более что мало смысла присваивать себе его мысли: они встречаются нередко, довольно тонки и небезызвестны. Не следует также забывать причину, по которой Хрисипп и другие его последователи помещают душу в области сердца. Это потому, говорит он, что, когда мы хотим сказать нечто утвердительное, мы кладем руку на сердце, а когда мы хотим произнести εγω, что по-гречески означает «я», наша нижняя челюсть опускается к сердцу. Нельзя не отметить нелепость этого рассуждения, хотя оно и принадлежит столь выдающемуся философу: ибо, помимо того, что приведенные доводы чрезвычайно легковесны, второй из них мог бы доказывать только, что у греков, а не у других народов, душа находится в этом месте. Даже самая неутомимая человеческая мысль впадает иногда в дремоту!

Что сказать обо всем этом? Мы видим, что да-

же стоики, эти родоначальники человеческой мудрости, считают, что душа, подавленная разрушением тела, долгое время томится и всячески старается вырваться из него, как мышь, попавшая в мышеловку[486] [broken link: #nb12_486].

Некоторые полагают, что мир был сотворен для того, чтобы в виде наказания наделить телами падших ангелов, лишившихся по своей вине той чистоты, в которой они были созданы, ибо первоначальные существа были бестелесными; и в зависимости от того, насколько они отдалились от своей духовности, они обретают более легкие или более грузные тела. Отсюда проистекает разнообразие созданной материи. Но тот ангел, который в виде наказания облечен был в тело солнца, должен был претерпеть чрезвычайно редкое и сильное изменение. Подобно тому, как это имеет место, по словам Плутарха (в предисловии к его жизнеописаниям[487] [broken link: #nb12_487]), на картах мира, где крайние границы известных нам земель окружены болотами, густыми лесами и пустынными и необитаемыми пространствами, — области, находящиеся у пределов нашего исследования, покрыты глубоким мраком. Вот почему самые грубые и вздорные выдумки возникают большей частью у тех, кто

занимается самыми возвышенными и трудными вопросами; любознательность и высокомерие заставляют их погружаться в глубокие бездны. Но и у истоков науки, и у конечных пределов ее мы одинаково встречаем глупость: вспомните, как устремляется ввысь мысль Платона в его поэтических мечтаниях; послушайте, как он говорит на языке богов. Однако о чем он думал, определяя человека как двуногое бесперое животное[488] [broken link: #nb12_488]! Ведь этим он доставил великолепный случай желающим посмеяться над ним: ощипав живого каплуна, они потом называли его «человеком Платона».

А что сказать об эпикурейцах? Сначала они наивно воображали, что мир создан из атомов, которые они считали телами, обладающими известным весом и естественным тяготением книзу. Но потом их противники указали им на то, что раз, согласно их описанию, атомы падают вниз прямо и перпендикулярно, образуя при этом параллельные линии, они не могут соединяться и связываться друг с другом. Чтобы исправить свою ошибку, им пришлось прибавить еще боковое, случайное движение и наделить, кроме того, свои атомы кривыми и изогнутыми концами, чтобы они могли соединяться и цепляться друг

за друга!

Но после этой поправки их противники высказали следующую мысль, которая ставит эпикурейцев в весьма затруднительное положение[489] [broken link: #nb12_489]. Если атомы могли составить такое множество различных фигур, то почему они никогда не расположились так, чтобы образовать дом или башмак? Почему точно так же нельзя себе представить, что достаточно высыпать бесчисленное множество букв греческого алфавита, чтобы получить текст Илиады? То, что имеет разум, говорит Зенон, лучше, чем то, что не имеет его; но нет ничего лучше мира, следовательно, он наделен разумом. Путем такого же рассуждения Котта делает мир математиком; затем, опираясь на другой аргумент того же Зенона, гласящий: «целое больше части; мы способны к мудрости и являемся частью мира, следовательно, мир мудр», делает мир музыкантом и органистом.

Можно было бы привести бесчисленное множество подобного рода доводов — не только ложных, но и нелепых, совершенно несостоятельных и говорящих не столько о невежестве, сколько о вздорности тех философов, которые выдвигали эти доводы в спорах между собой и представля-

емыми ими школами. Можно было бы сделать поразительный подбор таких несуразностей, именующих себя человеческой мудростью.

Я охотно собираю подобные образцы, изучать которые в некоторых отношениях не менее полезно, чем рассматривать высказывания здравые и умеренные. По ним можно судить, что мы должны думать о человеке, его чувствах и его разуме, если у таких выдающихся людей, поднявших дарования человека на огромную высоту, встречаются столь грубые ошибки. Что касается меня, то я склонен думать, что они занимались наукой между прочим и пользовались ею, как игрушкой, годной для всех; они забавлялись разумом как легким развлекательным инструментом, придумывая всякого рода малозначащие или совсем пустые измышления и фантазии. Тот самый Платон, который дал человеку определение, годящееся для каплуна, в другом месте[490] [broken link: #nb12_490] устами Сократа говорит, что он поистине не знает, что такое человек и что человек — одна из наиболее труднопознаваемых вещей в мире. Обнаруживая такое непостоянство и шаткость своих взглядов, они как бы за руку, невольно приводят нас к выводу об отсутствии у них всяких прочных выводов. Они стараются не

высказывать своих взглядов открыто и ясно; они прикрывают их то баснословными вымыслами поэзии, то какой-нибудь другой маской, ибо наша слабость проявляется в том, что сырое мясо не всегда годится для нашего желудка; его надо сначала прокоптить, просолить или как-то еще иначе приготовить. Именно так поступают и они. По большей части они затемняют и искажают свои подлинные взгляды и суждения, стремясь сделать их пригодными для общего пользования. Чтобы не пугать детей, они не хотят открыто признать слабости и безумия нашего разума; но они достаточно раскрывают нам это, показывая непостоянство и противоречивость науки.

Находясь в Италии, я дал одному человеку, плохо изъяснявшемуся по-итальянски, следующий совет: раз он хочет только, чтобы его понимали, а не стремится хорошо говорить на этом языке, пусть употребляет первые попавшиеся слова — латинские, французские, испанские или гасконские, — прибавляя к ним итальянские окончания; в таком случае его речь непременно совпадет с каким-нибудь наречием страны: тосканским, римским, венецианским, пьемонтским или неаполитанским, или с какой-нибудь из их разновидностей. То же самое я мог сказать и о фи-

лософии: она выступает в столь разнообразных обличиях и содержит столько разных положений, что в ней можно найти любые домыслы и бредни. Человеческое воображение не в состоянии придумать ничего хорошего или плохого, чего в ней уже не было бы кем-нибудь сказано. Nihil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum[491] [broken link: #nb12_491]. Я с тем большей готовностью выпускаю в свет плоды моих причуд, что, хотя они являются моим порождением и ни с кого не списаны, я все же убежден, что нечто подобное найдется у какого-нибудь древнего автора, и тогда наверное кто-нибудь скажет: «Вот откуда он почерпнул их!»

Мои правила жизни естественны, и для выработки их я никогда не прибегал к учению какой-либо школы. Но, так как они были очень просты, то, когда у меня явилось желание изложить их, я, стремясь выпустить их в свет в несколько более приличном виде, вменил себе в обязанность подкрепить их рассуждениями и примерами и сам был крайне удивлен, когда оказалось, что они случайно совпали со столькими философскими примерами и рассуждениями. Каков был строй моей жизни, я узнал только после того, как она

была прожита и близка к завершению; вот новая фигура непредвиденного и случайного философа! Но вернемся к вопросу о нашей душе. Когда Платон помещал[492] [broken link: #nb12_492] разум в мозгу, гнев в сердце, а вожделение в печени, он, по-видимому, скорее хотел дать истолкование наших душевных движений, нежели разгораживать и разделять душу, подобно телу, на множество частей. Наиболее правдоподобным из философских взглядов является тот, согласно которому существует только одна душа, которая с помощью различных частей тела рассуждает, вспоминает, понимает, судит, желает и совершает все другие свои действия, подобно тому, как кормчий управляет кораблем, применяя на деле весь свой опыт, — то натягивая или отпуская какой-нибудь канат, то ставя парус, то налегая на весло, причем все эти различные действия исходят только от него одного. Мне представляется также наиболее правдоподобным, что душа помещается в мозгу; это явствует из того, что ранения и несчастные случаи, поражающие мозг, тотчас же отражаются на душевных способностях; нет ничего невероятного в том, что из мозга душа проникает во все остальные части тела:

*medium non deserit unquam*

*Caeli Phoebus iter; radiis tamen omnia lustrat,[493] [broken link: #nb12_493]*

подобно солнцу, которое излучает свой свет и тепло, наполняя им вселенную:

*Cetera pars aminae per totum dessita corpus*

*Paret, et ad numen mentis nomenque movetur.[494] [broken link: #nb12_494]*

Некоторые утверждали, что первоначально существовала общая душа, подобная огромному телу, от которой отделились затем все отдельные души и в которую они возвращаются, постоянно смешиваясь с этой всеобщей материей:

*Deum namque ire per omnes*

*Terrasque tractusque maris caelumque profundum:*

*Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,*

*Quemque sibi tenues nascentem arcessere vitas;*

*Scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri*

*Omnia: nec morti esse locum.[495] [broken link: #nb12_495]*

Одни полагали, что души вновь возвращаются в эту общую душу и воссоединяются с ней; другие утверждали, будто души были созданы из божественной субстанции; третьи — что они созданы ангелами из огня и воздуха. Одни уверяли, что души существуют от века, другие — что только с того момента, как они воплотились в тело; третьи полагали, что души спускаются с луны и возвращаются туда же. Большинство древних считало, что души переходят от отца к сыну и что это совершается так же естественно, как и всякие другие явления в природе; они доказывали это сходством детей с отцами:

> *Instillata patris virtus tibi:[496] [broken link: #nb12_496]*
>
> *Fortes creantur fortibus et bonis[497] [broken link: #nb12_497]*

ссылаясь на то, что дети перенимают от отцов не только телесное сходство, но и одинаковый нрав и одинаковые душевные склонности:

> *Denique cur acris violentia triste leonum*
>
> *Seminium sequitur; dolus vulpibus, et fuga cervis*
>
> *A patribus datur, et patrius pavor incitat*

*artus;*

*Si non certa, sua quia semina semina seminioque*

*Vis animi pariter crescit cum corpore quoque?[498] [broken link: #nb12_498]*

Они указывали, что на этом покоится божественное правосудие, карающее детей за грехи отцов[499] [broken link: #nb12_499], ибо отцовские пороки как-то заражают души детей и накладывают на них свой отпечаток, вследствие чего испорченность воли отцов отражается на детях. Некоторые утверждали, что если бы души возникали не естественным путем, а как-то иначе и, находясь вне тела, были бы чем-то иным, то, обладая естественными способностями: мыслить, рассуждать и вспоминать, они должны были бы сохранить воспоминание о своем первоначальном существовании:

*si in corpus nascentibus insinuatur,*

*Cur superante actam aetatem meminisse nequimus,*

*Nec*
*vestigia gestarum rerum ulla tenemus?[500] [broken link: #nb12_500]*

Ведь для того чтобы оценить способности наших душ столь высоко, как нам хотелось бы, следует предположить, что, пребывая в своем естественном состоянии простоты и невинности, они были всеведущими. И такими они должны были быть, пока пребывали свободными от телесного плена, до того, как вошли в тело; и мы надеемся, что они опять станут такими после того, как покинут его. Но и находясь в теле, они должны были бы сохранять воспоминание об этом знании, как утверждал Платон, согласно которому то, чему мы научаемся, есть лишь воспоминание о том, что мы уже знали раньше. Однако всякий может по своему опыту доказать ложность этого положения; во-первых, потому, что мы вспоминаем только то, чему нас научили; и если бы сущность души сводилась только к памяти, то мы по крайней мере должны были бы узнать кое-что сверх того, чему нас научили; а во-вторых, то, что душа знала, пребывая в своей чистоте, было совершенным знанием, ибо благодаря своему божественному пониманию душа познавала вещи такими, каковы они в действительности, между тем как, обучая ее здесь, ей прививают ложь и порок! Поэтому она не может воспользоваться своей способностью воспоми-

нания, ибо эти образы и представления никогда не находились в ней раньше. Утверждать, что пребывание в теле до такой степени подавляет первоначальные способности души, что все они глохнут, прежде всего противоречит тому другому убеждению, а именно, что силы души столь велики и ее действия, которые люди испытывают в этой жизни, столь удивительны, что отсюда можно сделать вывод о ее божественном происхождении и существовании от века, а также о предстоящем ей бессмертии:

> *Nam si tanto opere est animi mutata potestas*
>
> *Omnis ut actarum ut exciderit retinentia rerum,*
>
> *Non, ut opinor, ea ab letho iam longior errat.[501] [broken link: #nb12_501]*

Кроме того, силы и действия души следует рассматривать здесь, у нас на земле, а не в другом месте, ибо все прочие ее совершенства тщетны и бесполезны: ее бессмертие должно признаваться на основании того, чем она является в настоящем, и на основании того, что она значит в жизни человека. Было бы несправедливо отнять у души ее силы и способности, обезоружить ее

тем, чтобы на основании того срока, когда она будет находиться в плену, будет заточена в теле, будет слаба и больна, будет вынуждена терпеть насилие и принуждение, — чтобы на основании ее действий за этот срок вынести приговор, обрекающий ее на вечные муки; было бы несправедливо принять в расчет этот краткий срок, который — длится ли он несколько часов или, самое большое, сотню лет — есть лишь один миг по сравнению с бесконечностью, и на основании того, что сделано в этот промежуток времени, вынести душе окончательное решение ее участи. Было бы большой несправедливостью получить вечное воздаяние за столь краткую жизнь.

Платон, желая устранить это несоответствие, считал[502] [broken link: #nb12_502], что посмертное воздаяние должно ограничиваться сроком в сто лет, ибо таков примерно срок человеческой жизни, и многие христианские авторы также ограничивали воздаяние определенным временем.

Вместе с Эпикуром и Демокритом, чьи взгляды на природу души были наиболее приняты, философы считали, что жизнь души разделяет общую судьбу вещей, в том числе и жизни человека; они считали, что душа рождается так же, как и

тело; что ее силы прибывают одновременно с телесными; что в детстве она слаба, а затем наступает период ее зрелости и силы, сменяющийся периодом упадка и старостью, и под конец душа впадает в дряхлость:

> *gigni pariter cum corpore, et una*
> *Crescere sentimus, pariterque senescere mentem.[503] [broken link: #nb12_503]*

Они считали, что душа способна испытывать различные страсти и переживать разные мучительные волнения, повергающие ее в усталость или причиняющие ей страдания; она способна испытывать превращения и изменения, чувствовать радость, впадать в дремоту и в апатию; она подвержена болезням и может быть поранена, подобно желудку или ноге:

> *mentem sanari, corpus ut aegrum*
> *Cernimus,*
> *et flecti medicina posse videmus.[504] [broken link: #nb12_504]*

Душа бывает возбуждена и омрачена под влиянием вина, теряет равновесие под влиянием лихорадки, засыпает под влиянием одних лекарств и пробуждается под влиянием других:

*corpoream naturam animi esse necesse est*

*Corporeis*
*quoniam telis ictuque laborat.[505] [broken link: #nb12_505]*

Достаточно укуса бешеной собаки, чтобы потрясти душу до основания и привести все ее способности в расстройство; от действия этих случайностей ее не может избавить никакая сила разума, никакие способности, никакая добродетель, никакая философская решимость или напряжение всех сил. Слюна паршивой дворняжки, забрызгав руку Сократа, может погубить всю его мудрость, все его великие и глубокомысленные идеи, уничтожить их дотла, не оставив и следа от всего его былого знания:

*vis animai*

*Conturbatur..... et divisa seorsum*

*Disiectatur,*
*eodem illo distracta veneno.[506] [broken link: #nb12_506]*

Его душа столь же бессильна перед этим ядом, как душа четырехлетнего ребенка; этот яд способен превратить всю воплотившуюся в человека философию в бешеную и безумную; он действует

так, что Катон, который смело бросал вызов судьбе и самой смерти, после того как он заразился от бешеной собаки и заболел тем, что врачи называют водобоязнью, не мог смотреть без страха и ужаса на зеркало или на воду:

> *vis morbi distracta per artus*
>
> *Turbat agens animam, spumantes aequore salso*
>
> *Ventorum validis fervescunt viribus undae.[507] [broken link: #nb12_507]*

Правда, раз уж мы завели об этом речь, надо признать, что философия хорошо научила человека переносить всякого рода несчастия, вооружив его либо терпением, либо если уж очень трудно вытерпеть, то самым верным средством: полнейшим бесчувствием. Однако все эти способы годятся лишь для души здоровой, которая владеет своими силами, способна рассуждать и решать, но они совершенно бессильны, когда душа — даже если это душа философа — впадает в безумие, когда она потрясена, надломлена. Так бывает во многих случаях, когда душа испытывает слишком бурное волнение, вызванное какой-нибудь сильной страстью, либо ранением какой-нибудь части тела, либо вздутием желудка, приводящим

к помрачению сознания и головокружению:

> *mordis in corporis, avius errat*
>
> *Saepe animus: dementit enim, deliraque fatur;*
>
> *Interdumque gravi lethargo fertur in altum*
>
> *Aeternumque soporem, oculis nutuque cadenti.[508] [broken link: #nb12_508]*

Философы, как мне кажется, никогда не касались этой темы, а равным образом и другой, имеющей не менее важное значение. Чтобы утешить нас перед лицом неминуемой смерти, у них всегда на устах следующая дилемма: душа либо смертна, либо бессмертна. Если она смертна, то избавлена от наказаний; если она бессмертна, то будет все более и более совершенствоваться. Они никогда не ставят себе вопроса: «А что, если она будет все время ухудшаться?», и предоставляют поэтам расписывать загробные кары. Но они слишком облегчают себе этим дело. Я постоянно замечаю в их рассуждениях два слабых пункта. Сначала скажу о первом.

Такая душа теряет влечение к высшему благу стоиков, столь, казалось бы, постоянное и незыблемое. В этом случае нашей хваленой мудрости приходится сдаться и сложить оружие. Впрочем,

философы, увлекаемые суетным человеческим разумом, считали, что нельзя представить себе смешения и сосуществования двух столь разных вещей, как смертное тело и бессмертная душа:

> *Quippe etenim mortale aeterno iungere, et una*
>
> *Consentire putare, et fungi mutua posse*
>
> *Desipere est. Quid enim diversius esse putandum est,*
>
> *Aut*
> *magis inter se disiunctum discrepitansque*
>
> *Quam mortale quod est, immortali atque perenni*
>
> *Iunctum, in concilio saevas tolerare procellas?[509] [broken link: #nb12_509]*

Поэтому они считали, что душа умирает подобно телу:

> *simul aevo fessa fatiscit,[510] [broken link: #nb12_510]*

что достаточно убедительно доказывается сном, который, согласно Зенону, является прообразом смерти, ибо Зенон полагал, что сон представляет собой изнеможение и угасание души, равно как и тела. Contrahi animum et quasi labi

putat atque concidere[511] [broken link: #nb12_511]. А то, что некоторые люди до конца своих дней сохраняют силу и бодрость души, философы связывали с теми или иными болезнями, которыми страдают люди. Так, мы замечаем, что у некоторых людей до конца жизни сохраняется без изменений одно чувство, у других — другое, у одного — слух, у другого — обоняние; но мы никогда не видим такого одновременного ослабления всех чувств, чтобы у человека не оставалось каких-нибудь здоровых и не затронутых болезнью органов:

> *Non alio pacto quam si, pes cum dolet aegri,*
>
> *In nullo caput interea sit forte dolore.[512] [broken link: #nb12_512]*

Как говорит Аристотель[513] [broken link: #nb12_513], наш разум так же не способен созерцать истину, как глаз совы не выносит сияния солнца. Наличие столь грубых заблуждений при таком ярком свете лучше убеждает нас в этом.

Противоположное мнение о бессмертии души, которое, по словам Цицерона, было впервые введено, по крайней мере по книжным свидетельствам, Ферекидом Сиросским в царствование

Тулла[514] [broken link: #nb12_514] (другие приписывают его Фалесу, а иные еще кому-то), является той проблемой, о которой обычно высказываются с наибольшей осторожностью и сомнениями. Даже самые закоренелые догматики вынуждены, рассматривая ее, укрываться под сенью Академии, Никому не известно, как же, в сущности, решил этот вопрос Аристотель, а равным образом и все древние авторы, рассуждавшие о бессмертии души с оговорками и колебаниями: rem gratissimam promittentium magis quam probantium[515] [broken link: #nb12_515]. Аристотель укрылся за туманом слов и темных, непонятных намеков, предоставив своим последователям спорить как относительно его мнения на этот счет, так и по поводу самого бессмертия души. Они считали бессмертие души правдоподобным по двум соображениям: во-первых, потому, что без бессмертия души утратила бы всякую опору та суетная надежда на славу, которая имеет такую огромную власть над людьми; во-вторых, потому, что это, как утверждает Платон[516] [broken link: #nb12_516], чрезвычайно полезное воззрение, ибо пороки, которые остаются скрытыми от несовершенного человеческого правосудия, могут получить возмездие от бо-

жественного правосудия, которое преследует виновных даже после их смерти.

Человек необычайно озабочен тем, чтобы продлить свое существование; он предусмотрел все в этом отношении: для сохранения тела должны служить гробницы, для увековечения имени — слава.

Заботясь о своей участи, он все свои помыслы направляет к тому, чтобы воссоздать себя, и старается подбодрить себя своими выдумками. Душа, не будучи в состоянии из-за своего смятения и своей слабости опереться на себя, ищет утешений, надежд и поддержки во внешних обстоятельствах. Какими бы легковесными и фантастическими ни были эти придуманные ею подспорья, она опирается на них увереннее и охотнее, чем на себя.

Но поразительно, что даже люди, наиболее убежденные в бессмертии души, которое кажется им столь справедливым и ясным, оказывались все же не в силах доказать его своими человеческими доводами: Somnia sunt non docentis, sed optantis[517] [broken link: #nb12_517], как выразился один древний автор. Человек может убедиться на основании этого свидетельства, что той истиной, которую он сам открывает, он

обязан только случаю; ибо, если даже она дается ему в руки, ему нечем схватить и удержать ее, и его разум не в состоянии воспользоваться ею. Все созданное нашим собственным умом и способностями, как истинное, так и ложное, недостоверно и спорно. Чтобы наказать нашу гордыню и показать нам наши ничтожество и слабость, бог произвел при постройке древней вавилонской башни столпотворение и смешение языков. Все, что мы делаем без его помощи, все что мы видим без светоча его благодати, суетно и безумно; даже когда счастливый случай помогает нам овладеть истиной, которая едина и постоянна, мы, по своей слабости, искажаем и портим ее. Какой бы путь человек ни избрал сам, бог всегда приводит его к тому самому смятению, незабываемым примером которого является справедливое наказание, которому он подверг дерзость Нимврода[518] [broken link: #nb12_518], расстроив все его попытки соорудить башню. Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo[519] [broken link: #nb12_519].

Чем пестрота языков и наречий, погубившая это предприятие, отличается от нескончаемых споров и разногласий, которые сопровождают и запутывают сооружение суетного здания челове-

ческой науки? И хорошо, что запутывают его, ибо кто мог бы нас сдержать, если бы мы обладали хоть каплей познания? Мне очень по душе следующее изречение святого Августина: Ipsa utilitatis occultatio aut humilitatis exercitatio est, aut elationis attritio[520] [broken link: #nb12_520]. Нет пределов высокомерию и заносчивости, до которых доводят нас наше ослепление и наша глупость.

Но возвращаюсь к моему рассуждению. Было бы безусловно правильно, если бы мы всего ожидали только от бога, от его благодати и истинности столь возвышенной веры, ибо только его щедрость дает нам бессмертие, которое состоит в обладании вечным блаженством.

Признаем чистосердечно, что бессмертие обещают нам только бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом. И тот, кто захочет испытать внутренние и внешние способности человека без этой божественной помощи, кто посмотрит на человека без лести, не найдет в нем ни одного качества, ни одного свойства, которые не отдавали бы тленом и смертью. Чем больше мы принимаем от бога, чем больше мы ему обязаны и чем больше воздаем ему, тем больше мы выказываем себя христианами.

Не лучше ли было бы в вопросе о бессмертии ду-

ши опираться на бога, чем, подобно стоическому философу, опираться на случайное согласие человеческих мнений? Cum de animarum aeternitate disserimus, non leve momentum apud nos habet consensus hominum aut timentium inferos, aut colentium. Utor hac publica persuasione[521] [broken link: #nb12_521].

Слабость человеческих доводов в этом вопросе особенно ясно видна из тех фантастических подробностей, которые они добавили в подкрепление своего мнения, желая установить, какова природа этого нашего бессмертия. Оставим в стороне стоиков — usuram nobis largiuntur tanquam cornicibus: diu mansuros aiunt animos; semper negant[522] [broken link: #nb12_522], — утверждающих, что и после смерти человека душа его продолжает жить, но лишь определенное время. Наиболее распространенным и общепринятым мнением, существующим во многих местах до наших дней, является то, создателем которого считался Пифагор, — не потому, что оно было впервые им высказано, а потому, что оно приобрело вес и популярность, получив его авторитетное одобрение; оно сводится к тому, что души, покинув нас, переселяются из одного тела в другое, из льва в лошадь, из лошади в ца-

ря, непрерывно кочуя таким образом из одного обиталища в другое.

О самом себе Пифагор говорил[523] [broken link: #nb12_523], будто он помнит, что раньше был Эталидом, потом Эвфорбом, потом Гермотимом и, наконец, от Пирра перешел в Пифагора, сохраняя таким образом память о себе на протяжении двухсот шести лет. Некоторые добавляли, что иногда души возносятся на небо, а затем снова спускаются на землю:

> *O pater, anne aliquas ad caelum hinc ire putandum est*
>
> *Sublimes animas iterumque ad tarda reverti Corpora?*
>
> *Quae lucis miseris tam dira cupido?[524] [broken link: #nb12_524]*

Согласно Оригену[525] [broken link: #nb12_525], души непрерывно переходят из лучшего состояния в худшее. Варрон высказал мнение[526] [broken link: #nb12_526], что души по истечении четырехсот сорока лет возвращаются в то же тело, с которым первоначально были соединены. Хрисипп считал, что это возвращение совершается по истечении какого-то неопределенного времени. Платон говорит[527] [broken

link: #nb12_527], что он заимствовал у Пиндара и у древних поэтов представление о бесконечных превращениях, предстоящих душе, поскольку наказания и награды, получаемые ею в другом мире, только временные, как и сама жизнь ее на земле была временной. Отсюда Платон делает вывод, что душа обладает превосходным знанием того, что совершается на небе, в аду и на земле, где она множество раз переселялась из одного тела в другое; на этом и основано его учение о воспоминаниях.

Вот как в другом месте он развивает свое учение[528] [broken link: #nb12_528]. Кто жил добродетельно, соединяется с предназначенной ему звездой, а кто жил во зле, превращается в женщину; но если он и после этого не исправляется, то затем он превращается в такое животное, характер которого наиболее соответствует его порочным наклонностям. Конец его карам наступает лишь тогда, когда он возвращается в свое первоначальное состояние, избавившись, благодаря разуму, от своих грубых и низменных земных свойств.

Но я не могу умолчать о возражении, выдвигаемом эпикурейцами против учения о переселении душ из одного тела в другое. Оно очень забавно.

Они спрашивают: каков будет порядок перехода душ, если число умирающих окажется больше, чем число новорожденных? Ведь души, покинувшие свои обиталища, начнут скопляться и теснить друг друга, ибо каждая захочет первой войти в новую оболочку. Эпикурейцы спрашивают далее: как будут души проводить то время, пока им придется ждать, чтобы для них приготовлено было новое обиталище? Или наоборот, если число рождающихся превысит число умерших, то, по их словам, тела окажутся в тяжелом положении, ибо они должны будут ждать, пока в них вселятся души, и может случиться, что некоторые из них умрут еще до того, как могли бы начать жить:

> *Denique connubia ad Veneris partusque ferarum*
>
> *Esse animas praesto deridiculum esse videtur,*
>
> *Et spectare immortalis mortalia membra*
>
> *Innumero*
> *numero, certareque praeproperanter*
>
> *Inter se, quae prima potissimaque insinuetur[529] [broken link: #nb12_529]*

Иные полагали, что души задерживаются в те-

лах умерших и вселяются потом в змей, червей и других животных, зарождающихся, как говорят, в нашем разлагающемся теле или даже возникающих из нашего пепла. Некоторые различают в душе смертную и бессмертную части. Другие считают, что она телесна и тем не менее бессмертна. Иные думают, что она бессмертна, но не обладает ни знанием, ни пониманием. Есть и такие писатели, которые полагают, что души осужденных превращаются в бесов (это мнение разделяют и некоторые из новейших писателей[530] [broken link: #nb12_530]), — вроде того, как Плутарх считает, что души праведников превращаются в богов. Этот последний автор лишь об очень немногих вещах говорит столь решительным тоном, как об этой, и во всех других случаях придерживается иной манеры выражаться — двусмысленной и таящей в себе сомнение. Следует считать, говорит он[531] [broken link: #nb12_531], и твердо верить, что души людей добродетельных, согласно природе и божественному правосудию, переходят в святых людей, затем из святых в полубогов, а из полубогов, после того как они подвергнутся, путем очистительных жертв, полному очищению, освободятся от всякой подверженности страданию и смерти, они делаются — не по

какому-нибудь судебному постановлению, а в действительности и на самых правдоподобных основаниях — полными и совершенными богами и получат преблаженный и преславный удел. Но Плутарх, который, как правило, является одним из наиболее сдержанных и умеренных авторов, становится, когда дело касается этого вопроса, необычайно решительным и неистощимым в сообщении различных чудес на эту тему. Тому, кто захотел бы удостовериться в этом, я могу указать на его рассуждения о луне или о демоне Сократа. На этих примерах легче всего убедиться в том, что тайны философии имеют много общего с фантастическими вымыслами поэзии. Человеческий разум, желающий до всего доискаться и все решительно проверить, под конец теряется и вынужден сдаться, подобно тому как и вообще человек, утомленный и измученный долгим жизненным путем, снова впадает в детство. Таковы достоверные и прочные выводы, которые можно извлечь из рассмотрения человеческой науки по вопросу о нашей душе!

Не меньше неразумия в том, чему она учит нас о нашем теле. Выберем один или два примера, иначе мы рискуем потеряться в бурном и безбрежном море медицинских заблуждений.

Установим, согласны ли медики по крайней мере в том, каково то вещество, из которого происходят люди, ибо что касается первого появления человека на земле, то нет ничего удивительного, что человеческий ум теряется перед таким возвышенным и исконным вопросом. Физик Архелай, учеником и любимцем которого был Сократ, утверждал, согласно Аристоксену, что люди и животные созданы из млечного сока, выступившего из земли под действием тепла[532] [broken link: #nb12_532]. Пифагор утверждал, что наше семя есть пена из лучшей части нашей крови; Платон — что оно представляет собой спинномозговую жидкость, в подтверждение чего он ссылался на то, что именно в спине мы прежде всего ощущаем усталость после полового акта; Алкмеон полагал, что семя является частью мозгового вещества, и в доказательство ссылался на то, что у тех, кто злоупотребляет этим делом, помрачается зрение; Демокрит считал семя веществом, выделяемым всем телом; Эпикур полагал, что оно выделяется и душой, и телом; Аристотель считал его выделением из вещества, питающего кровь, которая распространяется по всем нашим членам; другие считали его кровью, изменившейся под действием тепла половых органов; они доказывали это

тем, что при крайних усилиях выделяются капли чистой крови; последнее мнение представляется несколько более вероятным, если можно вообще говорить о вероятности при такой путанице. А сколько существует противоположных мнений по вопросу об оплодотворении этим семенем! Аристотель и Демокрит полагали, что у женщин нет семенной жидкости и что под влиянием тепла, вызываемого наслаждением и движениями, у них выступает испарина, не играющая никакой роли при оплодотворении. Гален и его последователи, напротив, полагали, что не может быть зачатия, если не происходит встречи мужского и женского семени. А сколько споров ведут медики, философы, юристы и теологи между собой и вперемешку с женщинами по вопросу о сроках беременности женщин! Я же, основываясь на примере из моей жизни, поддерживаю тех, кто считает, что беременность может продолжаться одиннадцать месяцев. Мир полон подобного рода примерами; и нет такой глупой бабенки, которая не готова была бы высказать свое твердое мнение по поводу всех этих споров, а между тем мы никак не можем прийти к единомыслию.

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, что человек знает о своем теле не больше,

чем о душе. Мы намеренно предложили ему высказаться о самом себе; мы предложили его разуму судить о самом себе, желая посмотреть, что он нам скажет по этому поводу. Мне кажется, я показал достаточно, как мало он себя знает. А как может понимать что-либо тот, кто не понимает самого себя? Quasi vero mensuram ullius rei possit agere, qui sui nesciat[533] [broken link: #nb12_533]. В хорошенькой небылице хотел уверить нас Протагор, утверждавший, будто мерой всех вещей является тот самый человек, который никогда не мог познать даже своей собственной меры. Если же не сам человек является этой мерой, то его достоинство не позволяет ему наделить этим преимуществом какое-нибудь другое создание. Но поскольку человек так противоречив и одно утверждение постоянно опровергается у него другим, приходится признать, что лестное для человека суждение Протагора является лишь насмешкой: оно неизбежно приводит нас к выводу о негодности как предлагаемой меры, так и того, кто производит измерение.

Когда Фалес утверждает, что человеку очень трудно познать самого себя, он тем самым учит его тому, что познание всякой другой вещи для человека невозможно[534] [broken link: #nb12_534].

Вы, для которой я, вопреки своему обыкновению, взялся написать столь пространное рассуждение[535] [broken link: #nb12_535], не должны отказываться защищать вашего Раймунда Сабундского с помощью обычных доказательств, которыми вы пользуетесь повседневно; упражняйте на этом ваш ум и ваши знания. Ибо тем приемом борьбы, к которому я прибегнул здесь, следует пользоваться только как крайним средством. Это отчаянный прием, заключающийся в том, что мы отказываемся от собственного оружия, лишь бы только выбить оружие из рук противника; это тонкая уловка, которой следует пользоваться лишь изредка и осторожно. Большая смелость — рисковать собой ради уничтожения другого.

Не следует идти на смерть, как сделал Гобрий, только для того, чтобы отомстить врагу; ибо когда Гобрий бился с одним персидским вельможей, а Дарий, устремившийся к нему на помощь с мечом в руках, стоял в нерешительности, боясь ударить, чтобы не ранить Гобрия, тот крикнул ему: «Рази мечом хотя бы по обоим»[536] [broken link: #nb12_536].

Мне известны случаи, когда отвергались такие вызовы на единоборство, условия которых

почти не оставляли надежды, что хотя бы один из противников останется в живых. Когда однажды португальцы в Индийском океане взяли в плен четырнадцать турок, последние, не желая мириться со своей участью, решили взорвать корабль, на котором они находились, и погубить таким образом и себя и захвативших их португальцев, и сам корабль; с этой целью они принялись тереть один о другой гвозди корабля, пока вылетевшая искра не попала в стоявшие рядом бочки с порохом[537] [broken link: #nb12_537].

Прибегая к таким средствам, мы преступаем границы знания, последние пределы его; а между тем крайности в этом отношении так же вредны, как и в добродетели. Придерживайтесь средней дороги; нехорошо быть столь утонченным и изысканным. Помните тосканскую пословицу, которая гласит: Chi troppo s'assotiglia si scavezza[538] [broken link: #nb12_538]. Придерживайтесь, советую вам, в ваших взглядах и суждениях, а также в нравах и во всем прочем умеренности и осмотрительности; избегайте новшеств и экстравагантности. Всякие крайние пути меня раздражают. Пользуясь своим высоким положением, а еще более теми преимуществами, которые дают вам ваши собственные

достоинства, вы можете одним взглядом приказывать кому угодно; вы должны были бы поэтому поручить это дело какому-нибудь опытному литератору, который гораздо лучше, чем я, развил бы и украсил бы эту мысль. Во всяком случае этого намека достаточно, чтобы вы поняли, как вам надлежит поступить.

Эпикур утверждал, что людям необходимы даже самые дурные законы, ибо, не будь их, люди пожрали бы друг друга[539] [broken link: #nb12_539]. Платон подтверждает это почти теми же словами, говоря, что без законов мы жили бы как дикие звери[540] [broken link: #nb12_540]. Наш разум — это подвижный, опасный, своенравный инструмент; его нелегко умерить и втиснуть в рамки. И в наше время мы замечаем, что те, кто выделяется каким-нибудь особым превосходством по сравнению с другими или необычайным умом, обнаруживают полнейшее своеволие как в своих мнениях, так и в поведении. Встретить степенный и рассудительный ум — просто чудо. Правильно делают, что ставят человеческому уму самые тесные пределы. Как в науке, так и во всем остальном, следует учитывать и направлять каждый его шаг; нужно умело ставить границы его исканиям. Его пытаются обуздать и связать

предписаниями религии, законами, обычаями, знанием, наставлениями, временными и вечными наказаниями и наградами; и все же он благодаря своей изворотливости и распущенности ускользает от всех этих пут. Разум — это такая скользкая вещь, что ее ни за что не ухватишь и никак не удержишь, он столь многолик и изменчив, что невозможно ни поймать его, ни связать. Поистине мало таких уравновешенных, сильных и благородных душ, которым можно было бы предоставить поступать по их собственному разумению и которые, благодаря своей умеренности и осмотрительности, могли бы свободно руководствоваться своими суждениями, не считаясь с общепринятыми мнениями. Но все же надежнее и их держать под опекой. Разум — оружие, опасное для самого его владельца, если только он не умеет пользоваться им благоразумно и осторожно. Нет такого животного, которому с большим основанием, чем человеку, надлежало бы ходить в шорах, чтобы глаза его вынуждены были смотреть только туда, куда он ступает, и чтобы он не уклонялся ни в ту, ни в другую сторону и не выходил из колеи, указанной ему законами и обычаем. Вот почему вам лучше держаться обычного пути, каков бы он ни был,

чем предаваться необузданному своеволию. Но если кто-нибудь из этих новых учителей[541] [broken link: #nb12_541] в ущерб спасению своей души и вашей захочет умничать в вашем присутствии, то это предохранительное средство в крайнем случае поможет вам избавиться от той чумы, которая все шире распространяется при ваших дворах, и предотвратить действие этого яда на вас и ваших приближенных.

Свобода мнений и вольность древних мыслителей привели к тому, что как в философии, так и в науках о человеке образовалось несколько школ и всякий судил и выбирал между ними. Но в настоящее время, когда люди идут одной дорогой — qui certis quibusdam destinatisque sententiis addicti et consecrati sunt, ut etiam quae non probant, cogantur defendere[542] [broken link: #nb12_542] — и когда изучение наук ведется по распоряжению властей, когда все школы сходны между собой и придерживаются одинакового способа воспитания и обучения, — уже не обращают внимания на вес и стоимость монеты, а всякий принимает их по общепринятой цене, по установленному курсу. Спорят не о качестве монеты, а о том, каков в отношении ее обычай; таким образом, у нас на все одна мерка. Медицину принимают так

же, как и геометрию; шарлатанство, колдовство, сношение с духами умерших, предсказания, астрологические таблицы — все, вплоть до нелепых поисков философского камня, принимается без возражений. Нужно только знать, что Марс помещается посередине треугольника на ладони, Венера — у большого пальца, а Меркурий — у мизинца и что когда поперечная линия пересекает бугорок указательного пальца, то это признак жестокости, когда же она проходит под средним пальцем, а средняя природная линия составляет угол с линией жизни в том же месте, то это указывает на смерть от несчастного случая, и, наконец, если у женщины природная линия видна и не образует угла с линией жизни, то это указывает на то, что она не будет отличаться целомудрием. Всякий подтвердит, что человек, обладающий подобными знаниями, пользуется уважением и хорошо принят во всех кругах общества.

Теофраст утверждал, что человеческий разум, руководясь показаниями чувств, может до известной степени судить о причинах вещей, но что когда дело доходит до самых основ или первопричин, ему необходимо остановиться и отступить, либо из-за его слабости, либо из-за трудности предмета. Мнение, что наш разум мо-

жет привести нас к познанию некоторых вещей, но что есть определенные рамки, за пределами которых безрассудно пользоваться им, нельзя не признать умеренным и осмотрительным. Это мнение вполне правдоподобно и выдвигалось выдающимися людьми. Однако нелегко установить границы нашему разуму: он любознателен, жаден и столь же мало склонен остановиться, пройдя тысячу шагов, как и пройдя пятьдесят. Я убедился на опыте, что то, чего не удалось достичь одному, удается другому, что то, что осталось неизвестным одному веку, разъясняется в следующем; что науки и искусства не отливаются сразу в готовую форму, но образуются и развиваются постепенно, путем повторной многократной обработки и отделки, подобно тому как медведицы, неустанно облизывая своих детенышей, придают им определенный облик. Так вот и я не перестаю исследовать и испытывать то, чего не в состоянии открыть собственными силами; вновь и вновь возвращаясь все к тому же предмету и поворачивая и испытывая его на все лады, я делаю этот предмет более гибким и податливым, создавая таким образом для других, которые последуют за мной, более благоприятные возможности овладеть им:

*ut Hymettia sole*

*Cera remollescit, tractataque pollice, multas*

*Vertitur in facies, ipsoque fit utilis usu.[543] [broken link: #nb12_543]*

То же самое сделает и мой преемник для того, кто последует за ним. Поэтому ни трудность преследования, ни мое бессилие не должны приводить меня в отчаяние, ибо это только мое бессилие. Человек столь же способен познать все, как и отдельные вещи; и если он, как уверяет Теофраст, признается в незнании первопричин и основ, то он должен решительно отказаться от всей остальной науки; ибо если он не знает основ, то его разум влачится по праху; ведь целью всех споров и всякого исследования является установление принципов, а если эта цель не достигнута, то человеческий разум никогда не может ничего решить[544] [broken link: #nb12_544]. Non potest aliud alio magis minusve comprehendi, quoniam omnium rerum una est definitio comprehendendi[545] [broken link: #nb12_545].

Весьма вероятно, что если бы душа что-нибудь знала, то она в первую очередь знала бы самое се-

бя; если же она знала бы что-либо помимо себя, то она прежде всего знала бы свое тело и оболочку, в которую она заключена. Однако мы видим, что светила медицины по сей день спорят по поводу нашей анатомии —

> *Mulciber in Troiam, pro Troia stabat Apollo,[546] [broken link: #nb12_546]*

и сколько нам придется ждать, пока они сговорятся? Вопрос о нас самих нам ближе, чем вопрос о белизне снега или тяжести камня; но если человек не знает самого себя, то как он может осознать свои силы и свое предназначение? Иногда нас осеняют некоторые проблески истинного познания, но это бывает только случайно, и так как наша душа тем же путем воспринимает заблуждения, то она не в состоянии отличить их и отделить истину от лжи.

Академики считали возможным приходить к некоторым суждениям и находили слишком решительным заявлять, будто утверждение, что снег бел, не более правдоподобно, чем то, что он черен; или что мы не можем быть более уверены в движении камня, брошенного нашей рукой, чем в движении восьмой сферы. Желая устранить эти заблуждения и избежать подобных странных

утверждений, не укладывающихся в нашей голове, академики хотя и считали, что мы не способны к познанию и что истина скрыта на дне глубокой пропасти[547] [broken link: #nb12_547], куда человеческий взор не в состоянии проникнуть, тем не менее признавали, что одни вещи более вероятны, чем другие. Поэтому они допускали способность человеческого разума склоняться скорее к одной видимости, чем к другой; они разрешали ему эту склонность, но запрещали какие бы то ни было категорические утверждения.

Точка зрения пирронистов более решительна и вместе с тем более правдоподобна. Действительно, разве эта признаваемая академиками склонность, это влечение к одному положению больше, чем к другому, не равносильны признанию, что в одном утверждении больше видимой истины, чем в другом? Если бы наш разум способен был воспринимать форму, очертания и облик истины, то он с таким же успехом способен был бы воспринимать всю ее целиком, как и половину ее, растущую и незавершенную. Увеличьте эту видимость правдоподобия, которая заставляет людей склоняться скорее вправо, чем влево; умножьте во сто или в тысячу раз эту унцию правдоподобия, которая заставляет весы скло-

няться в какую-либо сторону, и вы увидите, что в конце концов весы полностью склонятся в одну сторону, выбор будет произведен, и истина будет установлена полностью. Но как могут они судить о подобии, если им неизвестна сущность? Одно из двух: либо мы способны судить о вещах до конца, либо мы совершенно не способны судить о них. Если наши умственные и чувственные способности лишены опоры и основы, если они так неустойчивы, так колеблемы ветром из стороны в сторону, то ни к чему выносить суждение о какой-нибудь части их действий, какую бы видимость правдоподобия она ни представляла; в таком случае наиболее правильным и наилучшим для нашего разума было бы держаться спокойно и недвижимо, не колеблясь и не склоняясь ни в какую сторону: Inter visa vera aut falsa ad animi assensum nihil interest[548] [broken link: #nb12_548].

Всякому должно быть ясно, что воспринимаемые нами вещи не сохраняют свою форму и сущность их не входит в наше сознание сама, своей властью; ибо, если мы знали вещи, как они есть, мы воспринимали бы их одинаково: вино имело бы такой же вкус для больного, как и для здорового; тот, у кого пальцы потрескались и

окоченели от холода, должен был бы ощущать твердость дерева или куска железа, который он держит в руках, так же как и всякий другой человек. Восприятие сторонних предметов зависит от нашего усмотрения, мы воспринимаем их как нам угодно. Ведь если бы мы воспринимали вещи, не изменяя их, если бы человек способен был бы улавливать истину своими собственными средствами, то, поскольку эти средства присущи всем людям, истина переходила бы из рук в руки, от одного к другому. И нашлась бы по крайней мере хоть одна вещь на свете, которую все люди воспринимали бы одинаково. Но тот факт, что нет ни одного положения, которое не оспаривали бы или которого нельзя было бы оспаривать, как нельзя лучше доказывает, что наш природный разум познает вещи недостаточно ясно; ибо восприятие моего разума не обязательно для моего соседа — а это доказывает, что я воспринял данный предмет не с помощью естественной способности, которая присуща мне наравне со всеми прочими людьми, а каким-то другим способом.

Но оставим в стороне этот нескончаемый хаос мнений, который царит даже у философов, оставим этот нескончаемый всеобщий спор о познаваемости вещей. Ибо совершенно справед-

ливо признано, что нет такой вещи, относительно которой люди — а я имею в виду даже самых крупных и самых выдающихся ученых — были бы согласны между собой, даже относительно того, что небо находится над нашей головой; ибо те, кто сомневается во всем, сомневаются и в этом; а те, кто отрицает, что мы способны понять что бы то ни было, утверждают, что мы не знаем и того, находится ли небо над нашей головой; эти две точки зрения несомненно самые убедительные.

Но, кроме этих бесконечных расхождений и разногласий, нетрудно заметить по тому смятению, которое наш разум вызывает в нас самих, и по той неуверенности, которую каждый из нас в себе ощущает, что наш разум занимает далеко не прочную позицию. Как разно мы судим в разное время о вещах! Как часто меняем наши мнения! Я вкладываю всю свою веру в то, во что верю и чего придерживаюсь сегодня; все мои средства и способности удерживают это воззрение и отвечают мне с его помощью на все, что могут. Никакую другую истину я не в состоянии был бы постигнуть лучше и удерживать с большей силой, чем эту; я весь целиком на ее стороне. Но не случалось ли со мной — и не раз, а сотни, тысячи раз, чуть ли не ежедневно, — что я принимал с помощью

тех же средств и при тех же условиях какую-нибудь другую истину, которую потом признавал ложной? Следует по крайней мере учиться на своих ошибках. Если я неоднократно обманывался в этом отношении, если показания моего пробного камня обычно оказывались неверными, а мои весы неточными и неправильными, то как могу я быть в данном случае более уверен, чем в предыдущих? Не глупо ли с моей стороны давать себя столько раз обманывать одному и тому же руководителю? И, однако, сколько бы раз судьба ни бросала нас из стороны в сторону, сколько бы раз она ни заставляла нас, подобно непрерывно наполняемому и опустошаемому сосуду, менять наши мнения, вытесняя их все новыми и новыми, тем не менее то последнее мнение, которого мы держимся в данный момент, всегда представляется нам самым достоверным и безошибочным. Ради него следует жертвовать своим имуществом, жизнью и спасением, одним словом, всем:

> *posterior … res illa reperta*
> *Perdit, et immutat sensus ad pristina quaeque.[549] [broken link: #nb12_549]*

Следует всегда помнить — что бы нам ни про-

поведовали и чему бы нас ни учили, — что тот, кто открывает нам что-либо, как и тот, кто воспринимает это, всего лишь человек; рука, что дает нам истину, смертная, и смертная же рука принимает ее. Между тем только то, что исходит от неба, имеет право и силу быть убедительным; только оно отмечено печатью истины, хотя мы ее не видим наши ми глазами и не воспринимаем нашими чувствами. Мы не могли бы вместить в нашем бренном существе священный и великий образ этой истины, если бы бог не подготовил нас к этой цели, если бы он не преобразовал и не укрепил нас своей благодатью, своей особой и сверхъестественной милостью.

Наше несовершенное состояние должно было бы по крайней мере побудить нас быть настороже, когда мы меняем наши взгляды. Нам следовало бы помнить, что мы часто воспринимаем нашим умом ложные вещи, причем теми самыми средствами, которые часто изменяют себе и обманывают нас.

Впрочем, нет ничего удивительного, что они изменяют себе, поскольку так легко уклоняются и сворачивают с пути под действием самых ничтожных случайностей. Несомненно, что наши суждения, наш разум и наши душевные способ-

ности всегда зависят от телесных изменений, которые совершаются непрерывно. Разве мы не замечаем, что, когда мы здоровы, наш ум работает быстрее, память проворнее, а речь живее, чем когда мы больны? Разве, когда мы радостны и веселы, мы не воспринимаем вещи совсем по-иному, чем когда мы печальны и удручены? Разве стихи Катулла или Сапфо[550] [broken link: #nb12_550] доставляют такое же удовольствие скупому и хмурому старцу, как бодрому и пылкому юноше? Когда Клеомен[551] [broken link: #nb12_551], сын Анаксандрида, заболел, друзья стали упрекать его в том, что у него появились совсем новые и необычные желания и мысли. «Это, конечно, верно, — ответил он им, — но я и сам уже не тот, что прежде, когда был здоров; а когда я стал другим, то изменились и мои мысли и желания». В наших судах в ходу одно выражение, применяемое к преступнику, которому посчастливилось наткнуться на судью в благодушном и кротком настроении; про него говорят: Gaudeat te bona fortuna — «Пусть он радуется своей удаче»; ибо известно, что судьи в одних случаях склонны к осуждению и более суровым приговорам, а в других — к оправданию обвиняемого и более легким и мягким решениям. Судья, который, при-

дя из дому, принес с собой свои подагрические боли или свои муки ревности или душа которого пышет гневом против обокравшего его слуги, несомненно более склонен будет к вынесению сурового приговора. Почтенный афинский сенат — ареопаг — судил обычно ночью, чтобы вид обвиняемых не повлиял на его правосудие. На нас действуют даже солнце и ясное небо, как гласит известный греческий стих в переводе Цицерона:

> *Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse*
>
> *Iuppiter auctifera lustravit lampade terras.[552] [broken link: #nb12_552]*

Наши суждения изменяются не только под влиянием лихорадки, крепких напитков или каких-нибудь крупных нарушений в нашем организме — достаточно и самых незначительных, чтобы перевернуть их. Если непрерывная лихорадка способна сразить нашу душу, то нет сомнения, что и перемежающаяся производит на нас — хотя бы мы этого и не чувствовали — соответствующее действие. Если апоплексический удар вызывает полное помрачение или ослабление наших умственных способностей, то на них действует и простой насморк; и, следовательно,

вряд ли можно найти хотя бы час в нашей жизни, когда бы наше суждение не подвергалось тому или иному воздействию, поскольку наше тело подвержено непрерывным изменениям и имеет столь сложное устройство, что я согласен с врачами, утверждающими, будто трудно уловить мгновение, когда хоть какой-нибудь из его винтиков не был неисправен.

Впрочем, эту болезнь не так-то легко обнаружить, если она не доведена до крайности и не неизлечима; тем более что разум всегда идет нетвердой походкой, ковыляя и прихрамывая. Он всегда перемешан как с ложью, так и с истиной, поэтому нелегко обнаружить его неисправность, его расстройство. Разумом я всегда называю ту видимость логического рассуждения, которую каждый из нас считает себе присущей; этот разум, обладающий способностью иметь сто противоположных мнений об одном и том же предмете, представляет собой инструмент из свинца и воска, который можно удлинять, сгибать и приспособлять ко всем размерам: нужно только умение владеть им[553] [broken link: #nb12_553]. Какие бы благие намерения ни были у судьи, все же на него оказывают влияние дружеские отношения, родственные связи, красота, мсти-

тельность; но даже и не такие важные вещи, а просто случайное влечение побуждает нас иной раз отнестись более благоприятно к одному делу, чем к другому, и, без ведома разума, произвести выбор между двумя сходными вещами; бывает, что какое-нибудь совсем незначительное обстоятельство может незаметно повлиять на наш приговор в положительном или отрицательном смысле и склонить чашу весов в определенную сторону.

Я, следящий за собой самым пристальным образом, неустанно всматривающийся в себя самого, подобно тому, кто не имеет других забот,

> *quis sub Arcto*
> *Rex gelidae metuatur orae,*
> *Quid Tyridaten terreat, unice*
> *Securus,[554] [broken link: #nb12_554]*

едва ли в состоянии буду сознаться во всех тех слабостях и изъянах, которые мне присущи. Я столь нетверд на ногах и шаток и так плохо соображаю и разбираюсь в вещах, что натощак я ни на что не годен и чувствую себя лучше только когда поем; если у меня прекрасное самочувствие и надо мною ясное небо, то я обходительный человек; если меня мучит мозоль на ноге, я

становлюсь хмурым, нелюбезным и необщительным. Один и тот же аллюр лошади иногда кажется мне короче, другой раз длиннее; один и тот же вид кажется мне то более, то менее привлекательным. То я готов сделать все, что угодно, то не хочу делать ничего; вещь, которая в данный момент доставляет мне удовольствие, в другое время мне тягостна. Я обуреваем тысячью безрассудных и случайных волнений; то я нахожусь в подавленном состоянии, то в приподнятом; то печаль безраздельно владеет мной, то веселье. Читая книги, я иногда наталкиваюсь в некоторых местах на красоты, пленяющие мою душу; но в другие разы, когда я возвращаюсь к этим местам, они остаются для меня ничего не говорящими, тусклыми словами, сколько бы я на все лады ни читал и ни перечитывал их.

Даже в моих собственных писаниях я не всегда нахожу их первоначальный смысл: я не знаю, что я хотел сказать, и часто принимаюсь с жаром править и вкладывать в них новый смысл вместо первоначального, который я утратил и который был лучше. Я топчусь на месте; мой разум не всегда устремляется вперед; он блуждает и мечется,

*velut minuta magno*

*Deprensa navis in mari vesaniente vento.[555] [broken link: #nb12_555]*

Желая развлечь и поупражнять свой ум, я не раз (что мне случается делать с большой охотой) принимался поддерживать мнение, противоположное моему; применяясь к нему и рассматривая предмет с этой стороны, я так основательно проникался им, что не видел больше оснований для своего прежнего мнения и отказывался от него. Я как бы влекусь к тому, к чему склоняюсь, — что бы это ни было — и несусь, увлекаемый собственной тяжестью.

Всякий, кто, как я, присмотрится к себе, сможет сказать о себе примерно то же самое. Проповедники хорошо знают, что волнение, охватывающее их при произнесении проповеди, усиливает их веру, а по себе мы хорошо знаем, что, объятые гневом, мы лучше защищаем свои мнения, внушаем их себе и принимаем их горячее и с большим одобрением, чем находясь в спокойном и уравновешенном состоянии. Когда вы просто излагаете ваше дело адвокату и спрашиваете его совета, он отвечает вам, колеблясь и сомневаясь: вы чувствуете, что ему все равно, поддержать ли вас или противную сторону; но когда вы, желая подстрекнуть и расшевелить его, хорошо

ему заплатите, не заинтересуется ли он вашим делом, не подзадорит ли это его? Его разум и его опытность примутся все более усердствовать — и вот уму уже начнет представляться явная и несомненная истина; все дело представится ему в совершенно новом свете, он добросовестно уверует в вашу правоту и убедит себя в этом. Уж не знаю, происходит ли от строптивости и упорства, заставляющих противиться насилию властей, или же от стремления к славе тот пыл, который принуждает многих людей отстаивать вплоть до костра то мнение, за которое в дружеском кругу и на свободе им бы и в голову не пришло чем-либо пожертвовать.

На нашу душу сильно действуют потрясения и переживания, вызываемые телесными ощущениями, но еще больше действуют на нее ее собственные страсти, имеющие над ней такую власть, что можно без преувеличения сказать, что ими определяются все ее движения и что, не будь их, она оставалась бы недвижима, подобно кораблю в открытом море, не подгоняемому ветром. Не будет большой ошибкой, следуя за перипатетиками, защищать это утверждение; ибо известно, что многие самые благородные душевные суждения обусловлены страстями и

нуждаются в них. Так, храбрость, по их словам, не может проявиться без содействия ярости:

> *Semper Aiax fortis, fortissimus tamen in furore.[556] [broken link: #nb12_556]*

Человек никогда не нападает на злодеев или на врагов с большей силой, чем когда он в ярости; говорят, что даже адвокат должен разгорячить судей для того, чтобы они судили по справедливости. Страсти определяли поступки Фемистокла[557] [broken link: #nb12_557], так же как и Демосфена; страсти заставляли философов трудиться, проводить бессонные ночи и пускаться в странствия; они же толкают нас на достижение почестей, знаний, здоровья, всего полезного. Та самая душевная робость, которая заставляет нас терпеть тяготы и докуку, побуждая нашу совесть к раскаянию и покаянию, заставляет нас воспринимать бичи божьи как ниспосылаемые нам наказания, ведущие к исправлению нашего общественного устройства. Сострадание пробуждает в нас милосердие, а страх обостряет наше чувство самосохранения и самообладания. А сколько прекрасных поступков продиктовано честолюбием! Сколько — высокомерием? Всякая выдающаяся и смелая добродетель не обходится

в конечном счете без какого-нибудь отрицательного возбудителя. Не это ли одна из причин, заставившая эпикурейцев освободить бога от всякого вмешательства в наши дела, поскольку сами проявления его благости по отношению к нам не могут совершаться без нарушающих его покой страстей? Ведь страсти являются как бы стрекалами для души, толкающими ее на добродетельные поступки. Или, может быть, они смотрели иначе и считали их бурями, постыдно нарушающими душевный покой? Ut maris tranquillitas intelligitur, nulla ne minima quidem aura fluctus commovente; sic animi quietus et placatus status cernitur, cum perturbatio nulla est qua moveri queat[558] [broken link: #nb12_558].

Какие различные чувства и мысли вызывает в нас многообразие наших страстей! Каких только ни порождает оно противоречивых представлений! Какую уверенность можем мы почерпнуть в столь непостоянном и переменчивом явлении, как страсть, которая по самой своей природе подвластна волнению и никогда не развивается свободно и непринужденно? Какой достоверности можем мы ждать от нашего суждения, если оно зависит от потрясения и болезненного состояния, если оно вынуждено получать впе-

чатления от вещей под влиянием исступления и безрассудства?

Не дерзость ли со стороны философии утверждать, будто самые великие деяния людей, приближающие их к божеству, совершаются ими тогда, когда они выходят из себя и находятся в состоянии исступления и безумия? Лишившись разума или усыпив его, мы становимся лучше. Исступление и сон являются двумя естественными путями, которые вводят нас в обитель богов и позволяют предвидеть судьбы грядущего. Забавная вещь: из-за расстройства нашего разума, причиняемого страстями, мы становимся добродетельными; и благодаря тому, что исступление или прообраз смерти разрушают наш разум, мы становимся пророками и прорицателями! С величайшей охотой готов этому поверить. Благодаря подлинному вдохновению, которым святая истина осеняет философский ум, она заставляет его, вопреки его собственным утверждениям, признать, что спокойное и уравновешенное состояние нашей души, то есть самое здоровое состояние, предписываемое философией, не является ее наилучшим состоянием. Наше бодрствование более слепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. Наши фантазии стоят

больше, чем наши рассуждения. Самое худшее место, в котором мы можем находиться, это мы сами. Но не полагает ли философия, что мы можем заметить по этому поводу следующее: ведь голос, утверждающий, что разум безумного человека является ясновидящим, совершенным и могучим, а разум здорового человека низменным, невежественным и темным, есть голос, исходящий от разума, который является частью низменного, невежественного и темного человека, и по этой причине есть голос, которому нельзя доверять и на который нельзя полагаться.

Будучи от природы вялым и нескоропалительным, я не имею обширного опыта в тех бурных увлечениях, большинство которых внезапно овладевает нашей душой, не давая ей времени опомниться и разобраться. Но та страсть, которая, как говорят, порождается в сердцах молодых людей праздностью и развивается размеренно и не спеша, являет собой для тех, кто пытался противостоять ее натиску, поучительный пример полного переворота в наших суждениях, коренной перемены в них. Желая сдержать и покорить страсть (ибо я не принадлежу к тем, кто поощряет пороки, и поддаюсь им только тогда, когда они увлекают меня), я когда-то пытался держать

себя в узде; но я чувствовал, как она зарождается, растет и ширится, несмотря на мое сопротивление, и под конец, хотя я все видел и понимал, она захватила меня и овладела мною до такой степени, что, точно под влиянием опьянения, вещи стали представляться мне иными, чем обычно, и я ясно видел, как увеличиваются и вырастают достоинства существа, к которому устремлялись мои желания; я наблюдал, как раздувал их вихрь моего воображения, как уменьшались и сглаживались мои затруднения в этом деле, как мой разум и мое сознание отступали на задний план. Но лишь только погасло это любовное пламя, как в одно мгновение душа моя, словно при вспышке молнии, увидела все в ином свете, пришла в иное состояние и стала судить по-иному; трудности отступления стали казаться мне огромными, непреодолимыми, и те же самые вещи приобрели совсем иной вкус, иной вид, чем они имели под влиянием пыла моего желания. Какой из них более истинный, этого Пиррон не знает. В нас всегда таится какая-нибудь болезнь. При лихорадке жар перемежается с ознобом; после жара пламенной страсти нас кидает в ледяной холод.

Я с не меньшей силой бросаюсь вперед, чем подаюсь потом назад:

*Qualis ubi alterno procurrens gurgite pontus*

*Nunc ruit ad terras, scopulisque superiacit undam,*

*Spumeus, extremamque sinu perfundit arenam;*

*Nunc rapidus retro atque aestu revoluta resorbens*

*Saxa*
*fugit, litusque vado labente relinquit.[559] [broken link: #nb12_559]*

Познав эту изменчивость, я как-то выработал в себе известную устойчивость взглядов и старался не менять своих первых и безыскусственных мнений. Ибо, какую бы видимость истины ни имело новое мнение, я нелегко меняю свои старые взгляды из опасения, что потеряю на обмене; и так как я не умею сам выбирать, то принимаю выбор другого и держусь того, что мне определено богом. В противном случае я не мог бы остановиться и без конца менял бы свои взгляды. Благодаря этой устойчивости, я, не вступая в борьбу со своей совестью, сохранил, божьей милостью, верность старым формам нашей религии, вопреки множеству возникших в наше

время сект и религиозных учений. Творения древних авторов — я имею в виду первоклассные и значительные произведения — всегда пленяют меня и как бы влекут меня куда им вздумается; последний прочитанный мной автор всегда кажется мне наиболее убедительным; я нахожу, что каждый из них по очереди прав, хотя они и противоречат друг другу. Та легкость, с какой умные люди могут сделать правдоподобным все, что захотят, благодаря чему нет ничего столь необычного, чего они не сумели бы преобразить настолько, чтобы обмануть такого простака, как я, — лучше всего доказывает слабость их доводов. В течение трех тысячелетий небосвод со всеми светилами вращался вокруг нас; весь мир верил в это, пока Клеанф Самосский[560] [broken link: #nb12_560] — или, согласно Теофрасту, Никет Сиракузский — не вздумал уверять, что в действительности земля движется вокруг своей оси по эклиптике зодиака; а в наше время Коперник так хорошо обосновал это учение, что весьма убедительно объясняет с его помощью все астрономические явления. Какое иное заключение можем мы сделать отсюда, как не то, что не нам устанавливать, какая из этих двух точек зрения правильна? И кто знает, не появится ли через

тысячу лет какая-нибудь третья точка зрения, которая опровергнет обе предыдущие?

> *Sic volvenda aetas commutat tempora rerum:*
>
> *Quod fuit in pretio, fit nullo denique honore;*
>
> *Porro aliud succedit, et e contemptibus exit,*
>
> *Inque dies magis appetitur, floretque repertum*
>
> *Laudibus, et miro est mortales inter honore.[561] [broken link: #nb12_561]*

Поэтому, когда появляется какое-нибудь новое учение, у нас есть много оснований не доверять ему, памятуя, что до его появления процветало противоположное учение; и подобно тому, как оно было отвергнуто новой точкой зрения, точно так же в будущем может возникнуть еще какое-нибудь третье учение, которое отвергнет это второе. До того, как получили распространение принципы, введенные Аристотелем, человеческий разум довольствовался другими учениями, так же как нас теперь удовлетворяют его принципы. Почему мы обязаны больше им верить? Какой они обладают особой привилегией, гарантирующей им, что ничего другого не может быть

измышлено человеческим умом и потому отныне мы будем доверять им до конца веков? Ведь они могут быть вытеснены так же, как учения, им предшествовавшие. Когда мне навязывают какую-нибудь новую мысль, против которой я не нахожу возражений, то я считаю, что то, чего я не в состоянии опровергнуть, может быть опровергнуто другим; ведь надо быть большим простаком, чтобы верить всякой видимости истины, в которой мы не в состоянии разобраться. Иначе получится, что простые люди — а мы все принадлежим к их числу — будут постоянно менять свои взгляды, подобно флюгерам; ибо, будучи податливы и не способны к сопротивлению, они вынуждены будут непрерывно усваивать все новые и новые воззрения, причем последнее всегда будет уничтожать следы предшествовавшего. Кто сам слаб, должен, как водится, ответить, что будет судить о новом взгляде в меру своего понимания; либо же он должен обратиться к более знающим людям, у которых учился. Медицина существует на свете немало лет. И вот, говорят, появился некто, именуемый Парацельсом[562] [broken link: #nb12_562], который меняет и переворачивает вверх дном все установленные старые медицинские представления и утвержда-

ет, что до сих пор медицина только и делала, что морила людей. Я полагаю, что ему нетрудно будет доказать это; но считаю, что было бы не слишком благоразумно, если бы я рискнул своей жизнью ради подтверждения его новых опытов.

Не всякому верь, — говорит пословица, — ибо всякий может сказать все, что ему вздумается.

Один из таких новаторов и реформаторов в области физики недавно рассказывал мне, что все древние авторы явно ошибались в вопросе о природе ветров и их движения; он брался неопровержимо доказать мне это, если я захочу его выслушать. Набравшись немного терпения и выслушав его доводы, звучавшие очень правдоподобно, я сказал ему: «А как же те, кто плавал по закону Феофраста? Неужели они двигались на запад, когда направлялись на восток? Как они плыли — вперед или назад?» — «Случай им помогал, — ответил он мне; — но они безусловно ошибались». Я сказал ему, что в таком случае предпочитаю лучше полагаться на наш опыт, чем на наш разум. Однако эти две вещи нередко противоречат друг другу; мне говорили, что в геометрии (которая, по мнению геометров, достигла более высокой степени достоверности по сравнению с другими науками) имеются

несомненные доказательства, опровергающие истинность опыта. Так, будучи у меня, Жак Пелетье рассказывал мне, что он открыл две линии, которые непрерывно приближаются друг к другу, но тем не менее никогда, до бесконечности, не могут встретиться[563] [broken link: #nb12_563]. Или взять пирронистов, которые пользуются своими аргументами и своим разумом только для опровержения истинности опыта: поразительно, до какой логической изворотливости они дошли в своем стремлении опровергнуть очевидные факты! Так, с не меньшей убедительностью, чем мы доказываем самые несомненные вещи, они доказывают, что мы не двигаемся, не говорим, что нет ни тяжелого, ни теплого. Великий ученый Птолемей[564] [broken link: #nb12_564] установил границы нашего мира; все древние философы полагали, что знают размеры его, если не считать нескольких отдельных островов, которые могли остаться им неизвестными. Поставить под сомнение науку космографии и те взгляды, которые были в ней общеприняты, значило бы тысячу лет тому назад записаться в пирронисты. Считалось ересью признавать существование антиподов[565] [broken link: #nb12_565]: а между тем в наше время открыт огромный континент,

не какой-нибудь остров или отдельная страна, а часть света, почти равная по своим размерам той, что нам известна. Современные географы не перестают уверять, будто в настоящее время все открыто и все обследовано:

> *Nam quod adest praesto, placet, et pollere videtur.[566] [broken link: #nb12_566]*

Если Птолемей в свое время ошибся в расчетах, внушенных ему разумом, то не глупо ли было бы с моей стороны в настоящее время верить тому, что утверждают нынешние ученые? И не правдоподобнее ли, что то огромное тело, которое мы называем миром, совсем не таково, каким мы его считаем?

Платон считал, что мир меняет свой облик во всех смыслах[567] [broken link: #nb12_567], что небо, звезды и солнце по временам меняют свой путь, видимый нами, и движутся не с востока на запад, а наоборот. Египетские жрецы говорили Геродоту[568] [broken link: #nb12_568], что за одиннадцать с лишним тысяч лет, протекших со времени их первого царя (при этом они показали ему статуи всех своих царей, высеченные с них при жизни), солнце меняло свой путь четыре раза; они утверждали, что море

и суша попеременно менялись местами и что неизвестно, когда возник мир; так же думали Аристотель и Цицерон. Иные из христианских авторов считают[569] [broken link: #nb12_569], что мир существует от века, что он погибал и возрождался через известные промежутки времени; они ссылаются при этом на Соломона и Исайю, желая опровергнуть доводы тех, кто доказывал, будто бог некоторое время был творцом без творения и пребывал в праздности, но затем, отрекшись от своего бездействия, приступил к творению и что он, следовательно, способен меняться. Приверженцы самой знаменитой из греческих философских школ[570] [broken link: #nb12_570] считали, что мир — это бог, созданный другим, высшим богом и состоящий из тела и души, которая расположена в центре этого тела и посредством гармонических сочетаний распространяется на периферию; что он божественный, всеблаженный, превеликий, премудрый и вечный. В мире существуют и другие боги — суша, море, звезды, — которые общаются друг с другом путем гармонического и непрерывного движения и божественного танца, то встречаясь, то удаляясь друг от друга, то скрываясь, то показываясь, меняя строй, двигаясь то вперед, то назад.

Гераклит считал[571] [broken link: #nb12_571], что мир создан из огня и по воле судеб должен в какой-то момент воспламениться и распасться, а потом возродиться. Апулей говорит о людях: Sigillatim mortales, cunctim perpetui[572] [broken link: #nb12_572]. Александр в письме к своей матери[573] [broken link: #nb12_573] передал рассказ одного египетского жреца, почерпнутый из египетских памятников; рассказ этот свидетельствовал о глубочайшей древности египтян и содержал правдивую историю возникновения и развития других стран. Цицерон и Диодор сообщают, что в их времена халдеи имели летописи, охватывавшие свыше четырехсот тысяч лет[574] [broken link: #nb12_574]; Аристотель, Плиний и другие утверждают, что Зороастр[575] [broken link: #nb12_575] жил за шесть тысяч лет до Платона. Платон сообщает[576] [broken link: #nb12_576], что жрецы города Саиса хранили летописи, охватывающие восемь тысячелетий, и что город Афины был основан на тысячу лет раньше названного города Саиса. Эпикур утверждал, что вещи, какими мы их видим вокруг нас, существуют совершенно в таком же виде и во множестве других миров. Он говорил бы это с еще большей уверенностью, если бы ему сужде-

но было увидеть на самых странных примерах, какое сходство и какие совпадения существуют между недавно открытым миром Вест-Индии и нашим миром в его прошлом и настоящем.

Учитывая успехи, достигнутые нашей наукой в течение веков, я часто поражался, видя, что у народов, отделенных друг от друга огромными расстояниями и веками, существует множество одинаковых и широко распространенных чудовищных воззрений, диких нравов и верований, которые никак не вытекают из нашего природного разума. Поистине человеческий ум — большой мастер творить чудеса, но в этом сходстве есть нечто еще более поразительное; оно проявляется даже в совпадении имен, отдельных событий и в тысяче других вещей. Действительно существовали народы[577] [broken link: #nb12_577], ничего о нас, насколько нам известно, не знавшие, у которых широко распространено было обрезание; существовали целые цивилизации и государства, где управление находилось в руках женщин, а не мужчин; были народы, соблюдавшие такие же, как у нас, посты и правила, ограничивавшие сношения с женщинами; были и такие, которые различным образом поклонялись кресту; в одних местах кресты ставили на могилах, в других

— крестами пользовались (например, крестом святого Андрея[578] [broken link: #nb12_578]) для защиты от ночных призраков и при родах, чтобы охранить новорожденного от колдовских чар; а еще в одном месте, в глубине материка, нашли высокий деревянный крест, которому поклонялись как богу дождя. Встречались здесь также точные подобия наших духовников, ношение жрецами митр и соблюдение ими безбрачия, гадание по внутренностям жертвенных животных, воздержание от употребления в пищу мяса и рыбы; обнаружены были народы, у которых во время богослужения жрецы пользовались особым, а не народным языком, а также такие, у которых распространено было странное верование, будто первый бог был изгнан вторым, его младшим братом. Некоторые народы верили, что при своем сотворении они были наделены всеми качествами, но потом, из-за своей греховности, были лишены целого ряда своих первоначальных способностей, вынуждены были покинуть прежнее местопребывание, и их природные свойства ухудшились. Были найдены народы, полагавшие, что когда-то они были затоплены водами, хлынувшими из хлябей небесных, что от этого потопа спаслось только немного людей,

укрывшихся в высоких горных ущельях, которые они загородили так, чтобы вода не могла проникнуть туда, и взявших с собой в эти ущелья животных разных пород; когда они заметили, что ливень прекратился, они выпустили собак, которые вернулись обратно чистыми и мокрыми, на основании чего они сделали вывод, что уровень воды еще недостаточно снизился; некоторое время спустя они выпустили других животных, и когда те вернулись, покрытые грязью, то люди решили выйти из своих укрытий и вновь населить мир, в котором они нашли одних только змей. В некоторых местах народы верили в наступление Судного дня и были чрезвычайно возмущены, когда испанцы, при раскопке могил в поисках сокровищ, разбрасывали кости умерших; они убеждены были, что этим мертвым костям нелегко будет вновь соединиться. Они знали только меновую торговлю; для этой цели устраивались ярмарки и рынки. Карлики и уроды служили развлечением на княжеских пирах; у них был принят обычай соколиной охоты, сообразуясь с природой этих птиц; с покоренных племен деспотически взималась дань; они выращивали самые изысканные плоды; распространены были танцы, прыжки плясунов, музыкальные инстру-

менты; приняты были гербы, игра в мяч, игра в кости и в метание жребия, причем они часто приходили в такой азарт, что проигрывали себя и свою свободу; вся врачебная наука сводилась к заклинаниям; писали не буквами, а изображениями; верили в существование первого человека, являвшегося отцом всех народов; поклонялись богу, который некогда был человеком и жил в совершенном целомудрии, посте и покаянии, проповедуя закон природы и выполнение религиозных обрядов, а потом исчез из мира, не умерши естественной смертью; верили в гигантов; любили напиваться допьяна крепкими напитками, а иной раз пить в меру; в качестве религиозных украшений им служили разрисованные кости и черепа покойников; существовали духовные облачения, святая вода и кропила; жены охотно выражали желание взойти на костер и быть похороненными вместе с умершими мужьями, а равно и слуги со своим покойным господином; существовал закон, согласно которому все имущество наследовал старший сын, а младшему не выделялось никакой доли, причем он обязан был повиноваться старшему; был обычай, согласно которому тот, кто назначался на какую-либо высокую должность, принимал новое имя и

отказывался от прежнего; существовал обычай посыпать колени новорожденного известью, приговаривая при этом: «Из праха ты родился и в прах превратишься»; существовало искусство гадания по полету птиц. Эти примеры слабого подражания нашей религии свидетельствуют о ее достоинстве и божественности. Христианская религия не только сумела вызвать подражания и распространиться среди язычников Старого Света, но и по какому-то как бы сверхъестественному наитию передаться варварам Нового Света. Действительно, у них можно было встретить веру в чистилище, хотя и в другой форме; то, что мы приписываем огню, они приписывают холоду и воображают, что души очищаются и наказываются действием сильного холода. Этот пример расхождения во мнениях напоминает мне о другом, весьма забавном случае такого происхождения: наряду с найденными в Новом Свете народами, которые стремятся освободить кончик мужского детородного органа, совершая, подобно евреям и магометанам, обрезание крайней плоти, были обнаружены другие народы, которые, напротив, стараются всячески скрыть его и для этой цели тщательно завязывают тонкими тесемочками крайнюю плоть, чтобы только

она как-нибудь не выглянула наружу. Различие обычаев различается еще в следующем: в отличие от нашего обычая наряжаться на праздниках и при чествованиях государей в самые лучшие одежды, в некоторых краях подданные, желая показать владыке дистанцию, отделяющую их от него, и свою покорность, предстают пред ним в самых скверных одеждах и, входя во дворец, надевают поверх своего хорошего платья какое-нибудь другое, поношенное и изорванное, желая подчеркнуть, что весь блеск и вся роскошь принадлежат только властелину.

Но вернемся к прерванной нити изложения.

Если природа в своем непрерывном движении ограничивает определенными сроками, как и все другие вещи, также взгляды и суждения людей, если они также только известное время бывают в ходу и имеют, подобно овощам, свой сезон, свои сроки рождения и смерти, если на них влияют небесные светила, направляющие их по своей воле, то какое постоянное и неизменное значение можем мы им приписывать? Мы знаем по опыту, что на нас оказывает влияние воздух, климат, почва того места, где мы родились; причем они влияют не только на цвет нашей кожи, на наш рост, телосложение и осанку, но и наши

душевные качества: et plaga caeli non solum ad robur corporum, sed etiam animorum facit, — говорит Вегеций[579] [broken link: #nb12_579]: как рассказывали египетские жрецы Солону, богиня — основательница города Афин выбрала для закладки его место с таким климатом, который делает людей мудрыми: Athenis tenue caelum, ex quo etiam acutiores putantur Attici; crassum Thebis, itaque pingues Thebani et valentes[580] [broken link: #nb12_580]. Таким образом, подобно тому как плоды и животные бывают неодинаковыми от рождения, точно так же и люди, в зависимости от климата того места, где они живут, бывают либо менее воинственными, либо более, либо менее справедливыми, либо более, либо менее умеренными и послушными; в одном месте они склонны к вину, в другом — к воровству и распутству; в одних краях — к свободе, в других — к рабству; в одних местностях они бывают способны к наукам и искусствам; бывают невежественны или изобретательны; покорны или мятежны; добры или злы. Люди меняют свой нрав, если их переселить в другое место, совершенно так же, как и деревья; вот почему Кир не хотел разрешить персам покинуть свою суровую, гористую страну и переселиться в равнину с мягким климатом,

ссылаясь на то, что тучные нивы делают людей изнеженными, а плодородная земля делает умы бесплодными[581] [broken link: #nb12_581]. Если мы видим, что под влиянием какого-то действия небесных светил процветает то одно искусство, то другое; или что каждый век порождает определенных людей и наделяет их определенными склонностями; что люди бывают то способными, то бесплодными, как бывают поля, — во что в таком случае превращаются все те прекрасные преимущества, которыми мы якобы обладаем? Поскольку ошибаться может и один умный человек, и сто умных людей, и целые народы, иначе говоря, поскольку, по нашему мнению, человеческий род в течение многих веков ошибается в том или ином вопросе, какая может быть у нас уверенность, что он когда-нибудь перестанет ошибаться и что именно в этом веке он не ошибается?

Мне кажется, что среди показателей нашей слабости нельзя забывать и того, что даже при всем желании человек не умеет определить, что ему нужно. Мы не в состоянии прийти к соглашению, даже в нашем воображении и в наших пожеланиях, относительно того, что нам необходимо для нашего удовлетворения. Если даже предоставить

нашему уму полную свободу выбирать, что ему угодно, он и тогда не сможет пожелать того, что действительно нужно для его удовлетворения:

> *quid enim ratione timemus*
>
> *Aut cupimus? quid tam dextro pede concipis, ut te*
>
> *Conatus non poeniteat votique peracti?[582] [broken link: #nb12_582]*

Вот почему Сократ просил богов дать ему только то, что они сами считают полезным для него[583] [broken link: #nb12_583]. И точно так же лакедемоняне в своих общественных и домашних молитвах просили богов лишь о том, чтобы те даровали им все прекрасное и благое, а выбор и определение того, что является для них действительно прекрасным и благим, предоставляли самим богам[584] [broken link: #nb12_584]:

> *Coniugium petimus partumque uxoris; at illi*
>
> *Notum qui pueri qualisque futura sit uxor.[585] [broken link: #nb12_585]*

И христианин также молит бога: «да будет воля твоя», страшась того, как бы его не постигла беда, в которую, по уверению поэтов, впал царь

Мидас[586] [broken link: #nb12_586]. Он просил у богов, чтобы все, к чему бы он ни прикасался, превращалось в золото. Его молитва была услышана: и вот его хлеб, его вино, его рубашка, его одежды, все, вплоть до перьев в его подушке, превратилось в золото. Он был подавлен исполнением своего желания, получив в дар несносное богатство, и ему пришлось взять свои слова обратно:

> *Attonitus novitate mali, divesque miserque,*
> *Effugere optat opes, et quae modo voverat, odit.[587] [broken link: #nb12_587]*

Скажу о себе самом: в молодости я молил судьбу больше всего о том, чтобы мне был пожалован орден святого Михаила, ибо он считался тогда у французской знати высшим и весьма редким знаком почета. Судьба забавно удовлетворила мою просьбу: вместо того чтобы поднять и возвысить меня до него, она поступила со мной необычайно милостиво, снизив его и опустив до уровня моих плеч и даже ниже.

Клеобис и Битон просили у своей богини, а Трофоний и Агамед у своего бога[588] [broken link: #nb12_588], достойной награды за их благочестие: боги послали им смерть; вот до чего мнения небожителей о том, что нам нужно, отличны от

наших!

Когда бог дарует нам богатство, почести, жизнь и даже здоровье, то это иной раз бывает нам во вред; ибо не всегда то, что нам приятно, благотворно для нас. Если вместо исполнения бог посылает нам смерть или усиление наших страданий — Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt[589] [broken link: #nb12_589], — то в этом обнаруживается его премудрость, которая знает гораздо лучше нас, что нам нужно; мы же должны принимать это за благое, ибо оно исходит от существа всеведущего и весьма к нам благосклонного:

> *si consilium vis,*
>
> *Permittes ipsis expendere numinibus, quid*
>
> *Conveniat nobis, rebusque sit utile nostris;*
>
> *Carior est illis homo quam sibi.[590] [broken link: #nb12_590]*

Действительно, просить у богов почестей или высоких постов — значит молить их бросить тебя в бой или заставить тебя ввязаться в игру в кости или в какое-нибудь другое рискованное мероприятие, исход которого неизвестен и результаты сомнительны.

Философы ни о чем не спорят так страстно и так

ожесточенно, как по поводу того, в чем состоит высшее благо человека; по подсчетам Варрона, существовало двести восемьдесят восемь школ, занимавшихся этим вопросом[591] [broken link: #nb12_591].

Qul autem de summo bono dissentit, de tota philosophiae ratione dissentit.[592] [broken link: #nb12_592]

> *Tres mihi convivae prope dissentire videntur,*
>
> *Poscentes vario multum diversa palato;*
>
> *Quid dem? quid non dem? Renius tu quod iubet alter;*
>
> *Quod petis, id sane est invisum acidumque duobus.[593] [broken link: #nb12_593]*

Так должна была бы ответить природа философам по поводу их споров.

Одни говорят, что наше высшее благо состоит в добродетели; другие — что в наслаждении; третьи — в следовании природе; кто находит его в науке, кто в отсутствии страданий, а кто в том, чтобы не поддаваться видимостям; к этому последнему мнению как будто примыкает следующее правило древнего Пифагора:

*Nil admirari prope res una, Numici,*
*Solaque quae possit facere et servare beatum.*[594] [broken link: #nb12_594]

являющееся целью школы пирронистов. Аристотель считает проявлением величия души способность ничему не удивляться[595] [broken link: #nb12_595]. Аркесилай утверждал[596] [broken link: #nb12_596], что благом является стойкость и невозмутимость, объявляя уступчивость и податливость злом и пороком. Правда, выдвигая это положение в качестве бесспорной аксиомы, он отходил от пирронизма, ибо когда пирронисты заявляют, что высшее благо — это атараксия, то есть невозмутимость духа, то они не утверждают этого в положительном смысле; но та самая склонность, которая заставляет их избегать опасностей и укрываться в надежное место, побуждает их принять эту точку зрения и отвергнуть другие.

Как бы я хотел, чтобы кто-нибудь, например Юст Липсий — самый ученый человек нашего времени, обладающий остро отточенным умом, поистине родственным моему Турнебу[597] [broken link: #nb12_597], или кто-нибудь другой, еще при жизни моей обнаружил желание (имея

при этом достаточно сил и времени) свести воедино и со всей доступной нам тщательностью составить перечень взглядов всех древних философов по вопросу о нашем благе и нашем поведении, распределив этих авторов по школам и направлениям, к которым они принадлежали; описал бы нам их споры, распространенность этих школ и судьбы каждой из них; наконец, показал бы, как основатели школ и их последователи применяли свои правила на практике, на примере наиболее замечательных, памятных случаев из жизни! Какая это была бы прекрасная и полезная книга!

А пока что, поскольку мы сами устанавливаем правила — нашего поведения, мы обречены на чудовищный хаос. Действительно, правило, которое наш разум рекомендует нам, как наиболее в этом отношении надежное и правдоподобное, состоит в том, что каждый должен повиноваться законам своей страны; таково было воззрение Сократа, внушенное ему, по его словам, свыше. Но что это значит, как не то, что мы должны руководствоваться случайным правилом? Истина должна быть общепризнанной и повсюду одинаковой. Если бы человек способен был познать подлинную сущность справедливости и право-

судия, он не связывал бы их с обычаями той или иной страны: истина не зависела бы от того, как представляют ее себе персы или индийцы. Ничто так не подвержено постоянным изменениям, как законы. На протяжении моей жизни наши соседи англичане три или четыре раза меняли не только свою политику, которая считается наиболее неустойчивой областью, но и свои убеждения в самом важном деле — в вопросе о религии[598] [broken link: #nb12_598]. Мне это тем более досадно и стыдно, что англичане — народ, с которым мои земляки некогда состояли в столь тесном родстве, что в моем доме еще и по сей день имеется немало следов этого старого родства.

И у нас во Франции я замечал, что некоторые проступки, которые раньше карались смертью, некоторое время спустя объявлялись законными; и мы, которые обвиняем в этом других, можем сами, в зависимости от случайностей войны, оказаться в один прекрасный день виновными в оскорблении человеческого и божеского величия, поскольку наша справедливость по прошествии немногих лет превратится в свою противоположность, оказавшись несправедливостью.

Мог ли древний бог[599] [broken link: #nb12_599] яснее обличить людей в незнании бога и лучше

преподать им, что религия есть не что иное, как их собственное измышление, необходимое для поддержания человеческого общества, чем заявив — как он это сделал — тем, кто искал наставления у его треножника, что истинной религией для каждого является та, которая охраняется обычаем той страны, где он родился? О господи! Как мы должны благодарить милостивого нашего создателя за то, что он освободил нашу религию от случайных и произвольных верований и основал ее на нерушимом фундаменте его святого слова[600] [broken link: #nb12_600]!

Действительно, что может преподать нам в этом случае философия? Следовать законам своей страны, иначе говоря — вериться волнующемуся морю мнений каждого народа или государя, которые будут рисовать мне справедливость каждый по-своему и придавать ей разные обличил, в зависимости от того, как будут меняться их страсти? Такая изменчивость суждений не по мне. Что это за благо, которое я вчера видел в почете, но которое завтра уже не будет пользоваться им и которое переезд через какую-нибудь речку превращает в преступление? Что это за истина, которую ограничивают какие-нибудь горы и которая становится ложью для людей по

ту сторону этих гор[601] [broken link: #nb12_601]?

Но смешно, когда философы, желая придать законам какую-то достоверность, утверждают, что существуют некоторые незыблемые и постоянные, неизменные законы нравственности, которые они именуют естественными и которые в силу самой их сущности заложены в человеческом роде. Одни уверяют, что таких естественных законов три, другие — что четыре; кто считает, что их больше, а кто — меньше. Эти разногласия подтверждают только, что указанная разновидность законов столь же сомнительна, как и все остальные. Эти жалкие законы (ибо как назвать их иначе, если из бесконечного множества законов нет ни одного, который по милости судьбы или по случайно выпавшему жребию был бы повсеместно принят с общего согласия всех народов?) столь ничтожны, что даже из этих трех или четырех избранных законов нет ни одного, которого не отвергли бы не то что один какой-нибудь, а многие народы. Между тем всеобщее признание — это единственный показатель достоверности, который можно было бы привести в подтверждение некоторых естественных законов: ибо мы, несомненно, все беспрекословно следовали бы тому, что действительно было бы установлено

природой. И не только целый народ, но и каждый отдельный человек воспринял бы как насилие или принуждение, если бы кто-нибудь захотел толкнуть его на действия, противоречащие этому закону. Но пусть мне покажут воочию какой-нибудь закон, удовлетворяющий этому условию. Протагор и Аристон считали, что справедливость законов покоится единственно на авторитете и мнении законодателя, вследствие чего если отнять этот признак, то благое и почтенное потеряют свои качества и станут пустыми названиями безразличных вещей. Фрасимах[602] [broken link: #nb12_602] у Платона заявляет, что нет другого права, кроме интереса сильнейшего. Нет большей пестроты и различий, чем в области обычаев и законов. Какая-нибудь вещь, которая в одном месте считается гнусной и предосудительной, в другом одобряется, например умение воровать в Лакедемоне. У нас под страхом смерти запрещаются браки между близкими родственниками, в других же местах они, наоборот, в почете:

*gentes esse feruntur*
*In quibus et nato genitrix, et nata parenti*
*Iungitur, et pietas geminato crescit*

*amore.[603] [broken link: #nb12_603]*

Убийство детей, убийство родителей, общность жен, торговля краденым, всякого рода распутство — нет такого чудовищного обычая, который не был бы принят у какого-нибудь народа.

Весьма вероятно, что естественные законы существуют, как они имеются у некоторых других созданий; однако у нас они утрачены по милости этого замечательного человеческого разума, который во все вмешивается и повсюду хочет распоряжаться и приказывать, но вследствие нашей суетности и непостоянства лишь затемняет облик вещей: Nihil itaque amplius nostrum est: quod nostrum dico, artis est[604] [broken link: #nb12_604].

Вещи выглядят по-разному и могут восприниматься с различных точек зрения: отсюда главным образом и проистекает различие в мнениях. Один народ смотрит на какую-нибудь вещь с одной точки зрения и устанавливает себе о ней такое-то мнение, другой смотрит на нее иначе.

Нельзя представить себе ничего более ужасного, чем пожирание трупа собственного отца; и однако те народы, которые придерживались в древности этого обычая, видели в нем свидетельство благочестия и сыновней любви, ибо они

считали, что таким путем обеспечивают своим родителям наиболее достойное и почетное погребение. Ведь, пожирая останки своих отцов, они как бы хоронили их в самой сокровенной глубине своего тела и до какой-то степени оживляли и воскрешали своих отцов, превращая их путем пищеварения и питания в свою живую плоть. Нетрудно представить себе, каким жестоким и отвратительным показался бы людям, проникнутым этим суеверием, обычай предавать останки своих родителей земле, где трупы гниют и служат пищей животным и червям.

Ликург считал[605] [broken link: #nb12_605], что для того, чтобы украсть какую-нибудь вещь у своего соседа, нужно проявить сметливость, проворство, смелость и ловкость; с другой стороны, он полагал, что для общества будет полезно, если каждый будет тщательно охранять свое добро; поэтому он решил, что воспитание обоих этих качеств — умения нападать и умения защищаться — принесет богатые плоды при обучении военному делу (являвшемуся главной наукой и добродетелью, которые он хотел привить своему народу) и что это возместит тот ущерб и ту несправедливость, которые вызываются присвоением чужой вещи.

Тиран Дионисий[606] [broken link: #nb12_606] захотел подарить Платону сшитое по персидскому образцу, длинное, пестро окрашенное одеяние, пропитанное благовониями, но Платон отказался принять его, говоря, что, будучи мужчиной, он не хочет одеваться в женское платье. Аристипп же принял этот подарок, заявив, что никакой наряд не в состоянии затмить неподдельное мужество. Друзья Аристиппа упрекали его в трусости за то, что, когда Дионисий плюнул ему в лицо, он очень легко отнесся к этому. «Ведь терпят же рыбаки, — ответил он им, — и допускают, чтобы морские волны окатывали их с головы до ног, ради того, чтобы выловить какого-нибудь пескаря». Однажды, когда Диоген мыл для себя зелень к обеду, он увидел проходящего мимо Аристиппа и сказал ему: «Если бы ты умел довольствоваться зеленью, то не пресмыкался бы перед тираном», на что Аристипп ему ответил: «А если бы ты умел водиться с людьми, тебе не приходилось бы мыть себе зелень»[607] [broken link: #nb12_607]. Вот как разум оправдывает самые различные действия! Это — котелок с двумя ручками, который можно ухватить и с одной и с другой стороны:

*Bellum, o terra hospita, portas;*

*Bello armantur equi, bellum haec armenta minantur.*

*Sed tamen iidem olim curru succedere sueti*

*Quadrupedes, et frena iugo concordia ferre;*

*Spes*
*est pacis.[608] [broken link: #nb12_608]*

Солона уговаривали не проливать слез по поводу смерти его сына, ибо они бесполезны и бессильны помочь горю; на что он ответил: «Потому-то я и проливаю их, что они бесполезны и бессильны»[609] [broken link: #nb12_609]. Жена Сократа растравляла свою скорбь, восклицая: «О, как несправедливо эти злые судьи приговорили тебя к смерти!» — «А ты предпочла бы, чтобы они осудили меня заслуженно?», — ответил ей на это Сократ[610] [broken link: #nb12_610]. У нас прокалывают себе ушные мочки; греки же считали это признаком рабства. Мы таимся во время сношений с женщинами; индийцы же делают это открыто. Скифы приносили в жертву чужестранцев в своих храмах; в других же местах, наоборот, храмы служили местом убежища.

*Inde furor vulgi quod numina vicinorum*

*Odit uterque locus, cum solos credat habendos*

*Esse deos, quos ipse colit.[611] [broken link: #nb12_611]*

Мне рассказывали об одном судье, что когда он наталкивался на какой-нибудь вопрос, являвшийся предметом ожесточенных споров между Бартоло и Бальдом[612] [broken link: #nb12_612], или на какой-нибудь вопрос, по которому существует несколько различных мнений, то делал следующую пометку на полях своей книги: «по-приятельски». Это значило, что истина так темна и спорна, что в подобном случае он мог решить дело в пользу любой из спорящих сторон. Он считал, что только из-за недостатка остроумия и учености он не во всех случаях мог сделать свою пометку: «по-приятельски». Современные адвокаты и судьи во всех спорных случаях находят достаточно уверток, чтобы решить дело как им заблагорассудится. В такой запутанной науке, как юриспруденция, где сталкиваются столько авторитетов и столько мнений и где самый предмет исследования столь произволен, разнобой в суждениях совершенно неизбежен. Вот почему нет такого судебного дела, которое было бы настолько ясно, что не вызывало бы разногласий. Одна судебная инстанция решает дело в одном смысле, другая — в прямо противоположном, а бывает

и так, что одна и та же инстанция во второй раз принимает противоположное решение. Отсюда наблюдаемые нами повседневно примеры того произвола, когда один за другим выносятся разные приговоры и когда для решения одного и того же дела перебегают от одного судьи к другому. Все это сильно подрывает авторитет нашего правосудия и лишает его всякого блеска.

Что касается разброда философских мнений по вопросу о пороке и добродетели, то об этом нет нужды распространяться, ибо есть среди них немало таких взглядов, что лучше о них промолчать, чем делать их достоянием неискушенных умов. Аркесилай утверждал, что в делах сладострастия неважно, что именно и как делается: Et obscoenas voluptates, si natura requirit, non genere, aut loco, aut ordine, sed forma, aetate, figura metiendas Epicurus putat[613] [broken link: #nb12_613].

Ne amores quidem sanctos a sapiente alienos esse arbitrantur[614] [broken link: #nb12_614]. — Quaeramus ad quam usque aetatem iuvenes amandi sint[615] [broken link: #nb12_615]. Приведенные два положения стоиков и упрек, брошенный по этому поводу Дикеархом самому Платону, показывают, сколько вольностей и излишеств,

идущих вразрез с общепринятым обычаем, допускает самая здравая философия.

Законы приобретают тем большую силу, чем они древнее и дольше применяются. Опасно их ограничивать первоначальным их назначением. Они подобны рекам, которые становятся более мощными и величественными по мере своего движения вперед; если пройти вверх по течению до истоков, то можно убедиться, что вначале это едва заметный ручеек, который по мере своего роста набирается сил и становится полноводной рекой. Приглядитесь, каковы были первоначальные воззрения, положившие начало этому могучему потоку мнений, которые ныне внушают почтение и ужас; тогда вы убедитесь, что они были весьма шаткими и легковесными, и вы не удивитесь тому, что люди, которые все взвешивают и оценивают разумом, ничего не принимая на веру и не полагаясь на авторитет, придерживаются суждений, весьма далеких от общепринятых. Неудивительно, что взгляды людей, которые берут себе за образец природу, в большинстве случаев весьма уклоняются от общепризнанных; так, например, лишь очень немногие из них одобрили бы строгость нашего брака, а большинство из них разрешало общ-

ность жен и свободу от всяких ограничений. Они отвергали также наши приличия: так, Хрисипп утверждал, что за десяток маслин философ готов десять раз перекувырнуться перед зрителями, даже без штанов[616] [broken link: #nb12_616]. Он вряд ли посоветовал бы Клисфену отказаться выдать свою дочь, прекрасную Агаристу, за Гиппоклида, увидев однажды, как тот, вскочив на стол, встал на голову и растопырил в воздухе ноги[617] [broken link: #nb12_617].

Метрокл[618] [broken link: #nb12_618] однажды во время спора нечаянно выпустил газы в присутствии своих учеников. Он спрятался со стыда и не выходил из дому, пока его не навестил Кратет, который стал приводить ему в утешение разные доводы и наконец, желая показать ему пример своей полнейшей непринужденности, принялся наперебой с ним выпускать ветры. Ему удалось таким образом не только рассеять сомнения Метрокла, но и склонить его к стоическому учению, более свободному в вопросах о нравах, чем перипатетическое, которое Метрокл разделял раньше и которое больше придерживалось правил вежливости.

То, что мы называем непристойностью, а именно вещи, которые мы не решаемся делать явно, а

делаем тайно, люди раньше называли глупостью, считая пороком замалчивать и как бы осуждать то, чего от нас требуют природа, обычай и наши желания. Им казалось, что лишить таинства Венеры их священного убежища в ее храме и выставить их перед толпой, значило унизить их; что показать ее игры без занавеса значило осквернить их. Ведь всякая стыдливость, по их мнению, есть вещь относительная, и решение вопроса о том, следует ли такие вещи скрывать, утаивать и обходить молчанием, зависит от точки зрения. Они считали, что отличным примером этого может служить сладострастие под маской добродетели, которому выгоднее, чтобы его не выставляли напоказ толпе на улицах и площадях, подвергая публичному позору, а предлагали ему ютиться в укромных уголках. Вот почему некоторые утверждают, что уничтожить публичные дома значит не только повсеместно распространить разврат, который до этого сосредоточен был в определенных местах, но что это еще значит способствовать разжиганию у мужчин влечения к пороку с помощью создания на их пути препон:

> *Moechus es Aufidiae, qui vir, Scaevine, fuisti;*

*Rivalis fuerat qui tuus, ille vir est.*

*Cur aliena placet tibi, quae tua non placet uxor?*

*Numquid securus non potes arrigere?[619] [broken link: #nb12_619]*

Тысячи примеров подтверждают это:

*Nullus in urbe fuit tota qui tangere vellet*

*Uxorem gratis, Caeciliane, tuam,*

*Dum licuit; sed nunc, positis custodibus, ingens*

*Turba fututorum est: ingeniosus homo es.[620] [broken link: #nb12_620]*

Одного философа, который был застигнут в момент любовного акта, спросили, что он делает. «Порождаю человека», — ответил он весьма хладнокровно, нисколько не покраснев, как если бы его застали за посадкой чеснока[621] [broken link: #nb12_621].

Я полагаю, что великий писатель-богослов[622] [broken link: #nb12_622] одушевлен был весьма трогательными и почтенными чувствами, когда считал, что этот акт обязательно должен совершаться стыдливо и втайне и что разнузданные объятия циников не могут удовлетворить эту

потребность до конца; он полагал, что циники выставляли напоказ свои сладострастные движения лишь для того, чтобы подтвердить, что их школа не признает стыда, но что в действительности они удовлетворяли свою потребность в уединении.

Наш мыслитель, однако, недостаточно оценивал степень распутства циников. Ибо, например, Диоген, открыто предававшийся мастурбации, выражал перед присутствовавшими свою полную готовность, с помощью растирания живота, также удовлетворить и другую свою потребность[623] [broken link: #nb12_623]. А тем, кто его спрашивал, неужели он не может найти, чтобы поесть, более подходящего места, чем людная улица, он отвечал: «Я на улице почувствовал голод, потому и ем на улице»[624] [broken link: #nb12_624]. Женщины-философы, принадлежавшие к цинической школе, открыто, без стыда, отдавались философам; Гиппархия[625] [broken link: #nb12_625] была принята в кружок Кратета только с условием, что она во всем будет подчиняться его правилам. Эти философы выше всего ценили добродетель и отказывались признавать все другие дисциплины, кроме морали; вот почему они приписывали высший авторитет во

всех делах выбранному ими мудрецу, который считался стоящим выше законов. Они не ставили сладострастию никаких иных границ, кроме умеренности и соблюдения свободы другого.

На основании того, что вино кажется горьким больному и приятным здоровому, что весло кажется изогнутым в воде и прямым, когда оно вынуто из воды, и тому подобных видимых противоречий Гераклит и Протагор доказывали, что все вещи заключают в себе причины таких явлений; по их мнению, в вине содержится некая горечь, которая проявляется в ощущении больного, в весле — некое качество изогнутости, которое открывается тому, кто рассматривает его в воде, и так далее[626] [broken link: #nb12_626]. Но это означает, что все находится во всем, а следовательно, ничто — ни в чем; ибо ничто не может быть там, где есть все.

Это мнение напоминает мне то, в чем мы постоянно убеждаемся на опыте, а именно: что нет такого смысла и значения — прямого или косвенного, приятного или неприятного, — которых наш ум не обнаружил бы в читаемых нами произведениях. Сколько ошибок и заблуждений рождается из самого точного, ясного и совершенного слова! Какая только ересь ни находила в нем

достаточных оснований для своего возникновения и распространения! Вот почему виновники таких заблуждений ни за что не желают отказаться от этого способа доказательства, покоящегося на истолковании слов. Один почтенный человек, всецело погруженный в поиски философского камня, недавно хотел доказать мне законность этого занятия, ссылаясь на авторитет Библии; он привел мне пять или шесть мест из Библии, на которые он, по его словам, прежде всего опирался, чтобы успокоить свою совесть (ибо он был лицом духовного звания); и действительно, это не была просто смешная выдумка: приведенные им места были поистине весьма пригодны для защиты этой пресловутой науки.

Путем подобного же столкновения слов получают распространение разные пророческие вымыслы. Ведь всякого прорицателя, который пользуется таким влиянием, что к нему часто обращаются и старательно истолковывают все оттенки его слов и выражений, можно заставить говорить все, что угодно, как это и делают с сивиллами[627] [broken link: #nb12_627]. Ведь имеется такое множество способов толкования, что изобретательный ум всякими правдами и неправдами обязательно найдет в любом изрече-

нии тот смысл, который ему на руку.

Вот почему туманная и двусмысленная манера выражаться издавна приобрела широкое распространение. Пусть только автор сумеет привлечь к себе внимание потомства и заинтересовать его (что зависит не только от его дарования, но часто, или даже еще чаще, от интереса, вызываемого данным предметом), пусть он даже по простоте своей или из хитрости выражается несколько темно и двусмысленно — не беда! Найдется ряд истолкователей, которые, перелагая и переиначивая его сочинения, припишут ему множество воззрений — либо соответствующих, либо подобных, либо противоречащих его собственным, — которые окружат его имя почетом. Он обогатится за счет своих учеников, подобно учителям в день ярмарки Сен-Дени[628] [broken link: #nb12_628].

По этой причине стали ценить некоторые пустяковые вещи, приобрели популярность разные писания и во многие произведения стали вкладывать самое разнообразное содержание — кому какое вздумается, — вследствие чего одна и та же вещь приобрела тысячу смыслов и сколько угодно самых различных значений и толкований. Возможно ли, чтобы Гомер хотел сказать все

то, что ему приписывают, чтобы он придерживался всех тех разноречивых воззрений, какие вычитывают у него богословы, законодатели, полководцы, философы, люди самых различных профессий, причастных к самым различным областям знания и человеческой деятельности? Все они на него опираются и ссылаются на него! Он мастер на все руки, вдохновитель всех творений, всех создателей! Он главный советник во всех начинаниях! Всякий, кому нужны были оракулы и предсказания, находил у него все, что ему нужно. Один ученый человек из числа моих друзей нашел у Гомера столько поразительных совпадений и превосходных мест, говорящих в пользу нашей религии, что ему нелегко было отказаться от мысли, будто именно таково было намерение Гомера (тем более что Гомер был ему столь же близок, как и человек нашего времени). Беда только в том, что те доводы, которые, по его мнению, были свидетельством в пользу нашей религии, многими древними исследователями считались свидетельством в пользу их религий.

А посмотрите, что только выделывают с Платоном! Так как всякий почитает за честь иметь его на своей стороне, то и истолковывает его в желательном для себя смысле. Платону приписывают

и у него находят все новейшие взгляды, какие только существуют на свете, и, если потребуется, его противопоставляют ему же самому. Его заставляют отвергать нравы, принятые в его время, если только они неприемлемы в наши дни. Все эти истолкования тем убедительнее и ярче, чем изощреннее и острее ум толкователя.

Из того самого основания, из которого исходил Гераклит, утверждая, что каждая вещь содержит в себе все те свойства, какие в ней обнаруживают, Демокрит делал противоположное заключение, говоря, что вещи не содержат в себе ничего из того, что мы в них обнаруживаем; а из того факта, что мед сладок для одного и горек для другого, он делал вывод, что мед не сладок и не горек[629] [broken link: #nb12_629]. Пирронисты сказали бы, что они не знают, сладок ли мед или горек, или — что он ни то, ни другое, или — что он и то, и другое; ибо они всегда и во всем стоят на позициях крайнего сомнения.

Киренаики считали, что нельзя ничего познать извне и что мы можем познать только то, что постигается нами путем внутреннего ощущения, как, например, боль или наслаждение; по их мнению, мы не познаем ни звука, ни цвета, а лишь известные, вызываемые ими ощущения,

которые и служат единственным основанием для нашего суждения. Протагор считал, что для каждого истинно то, что ему кажется. Эпикурейцы полагали, что всякое суждение покоится на чувствах, на них покоится познание вещей и они же составляют основу наслаждения. Платон же утверждал, что как суждение об истине, так и сама истина, в отличие от мнений и чувств, принадлежат уму и мышлению.

Это приводит меня к рассмотрению вопроса о роли чувств, которые составляют главное основание и доказательство нашего неведения. Все, что познается, без сомнения познается благодаря способности познающего; ибо поскольку суждение получается в результате действия того, кто судит, то естественно, что он производит это действие своими средствами и по своей воле, а не по принуждению, как это происходило бы в том случае, если бы мы познавали вещи принудительно и согласно закону их сущности. Всякое познание пролагает себе путь в нас через чувства — они наши господа[630] [broken link: #nb12_630]:

> *via qua munita fidei*
>
> *Proxima fert humanum in pectus templaque mentis.[631] [broken link: #nb12_631]*

Знание начинается с них и ими же завершается. В конце концов мы знали бы не больше, чем какой-нибудь камень, если бы мы не знали, что существует звук, запах, свет, вкус, мера, вес, мягкость, твердость, шероховатость, цвет, гладкость, ширина и глубина. Такова основа, таков принцип всего здания нашей науки. По мнению некоторых философов, знание есть не что иное, как чувство[632] [broken link: #nb12_632]. Тот, кто смог бы меня заставить пойти наперекор чувствам, взял бы меня за горло, и я не мог бы сделать больше ни шагу. Чувства являются началом и венцом человеческого познания.

*Invenies primis ab sensibus esse creatam*
*Notitiam veri, neque sensus posse refelli…*
*Quid maiore fide porro quam sensus haberi*
*Debet?[633] [broken link: #nb12_633]*

Какую бы скромную роль ни отводить чувствам, необходимо признать, что все наше обучение происходит через них и при помощи их. Цицерон сообщает[634] [broken link: #nb12_634], что Хрисипп, пытаясь умалить роль чувств и их значение, приводил самому себе столь сокрушительные возражения, что сам не в состоянии был их опровергнуть. Карнеад, придерживавшийся

противоположной точки зрения, похвалялся тем, что он побивает Хрисиппа его же оружием и пользуется для его опровержения его собственными словами; по этому поводу он воскликнул: «О, несчастный, твоя собственная сила погубила тебя!»[635] [broken link: #nb12_635] Нет большей нелепости, с нашей точки зрения, чем утверждать, что огонь не греет, что свет не светит, что в железе нет ни тяжести, ни прочности; все это понятия, которые нам доставляются нашими чувствами, и никакое человеческое знание или представление не может сравниться с этим по своей достоверности.

Первое имеющееся у меня возражение по поводу чувств состоит в том, что я сомневаюсь, чтобы человек наделен был всеми естественными чувствами. Я вижу, что многие животные живут полной и совершенной жизнью, одни без зрения, другие без слуха. Кто знает, не лишены ли мы одного, двух, трех или даже многих чувств? Ибо, если у нас не хватает какого-либо чувства, наш разум не в состоянии заметить этот недостаток. Чувства обладают тем преимуществом, что являются крайней границей нашего знания, и за их пределами нет ничего, что бы помогло нам открыть их. Нельзя даже открыть с помощью

одного из чувств другое:

> *An poterunt oculos aures reprehendere, an aures*
>
> *Tactus, an hunc porro tactum sapor arguet oris,*
>
> *An*
> *confutabunt nares oculive revincent?[636] [broken link: #nb12_636]*

Все они являются крайней границей наших способностей:

> *seorsum cuique potestas*
>
> *Divisa est, sua vis cuique est.[637] [broken link: #nb12_637]*

Невозможно объяснить слепорожденному, что он не видит; невозможно заставить его желать видеть и жалеть о своем недостатке. Вот почему то обстоятельство, что наша душа довольствуется и удовлетворяется теми чувствами, которые у нас есть, ничего не доказывает; ибо она не в состоянии ощутить свою собственную болезнь и свое несовершенство, если они даже имеются. Невозможно привести слепорожденному какое-либо доказательство, довод или сравнение, которое вызвало бы в его воображении какое-то пред-

ставление о том, что такое свет, цвет или зрение. Нет ничего стоящего за чувствами, что в состоянии было бы сделать чувства очевидными. Если слепорожденный выражает желание видеть, то не потому, что он действительно понимает, чего он хочет; он только слышал от нас, что он должен желать чего-то такого, чем мы обладаем, такого, что по своему действию, а также по своим последствиям люди называют благом, — но что же это такое, он все же не знает и не имеет об этом ни малейшего представления.

Я знал одного дворянина почтенного происхождения, слепорожденного или во всяком случае ослепшего в таком возрасте, когда он не знал, что такое зрение. Он до такой степени не понимал, чего ему недоставало, что применял, как и мы, слова, относящиеся к зрению, но только в особенном, свойственном лишь ему одному смысле. Однажды к нему подвели мальчика, которому он приходился крестным; обняв ребенка, он сказал: «Боже, какой прелестный мальчик! Приятно посмотреть на него! Какое у него очаровательное личико!» Так же как и мы, он сказал бы: «Этот зал прекрасно выглядит», «Погода ясная», «Солнечно». Более того, узнав о таких наших развлечениях, как охота, игра в мяч, стрельба в цель,

он пристрастился к ним, стал ими заниматься и считал, что принимает в них такое же участие, как и мы; он гордился этим, находил в этом удовольствие, хотя обо всех этих играх знал только понаслышке. Когда он выезжал на открытое и просторное место, где мог пришпорить коня, ему кричали: «Вот заяц», а через некоторое время сообщали, что заяц пойман, и тогда он бывал так же горд своей добычей, как — согласно тому, что ему рассказывали, — это бывает с настоящими охотниками. При игре в мяч он брал его левой рукой и ударял по нему ракеткой; он стрелял наудачу из ружья и бывал доволен, когда его люди сообщали ему, что он попал выше мишени или рядом с ней.

Кто знает, не совершает ли человеческий род подобную же глупость? Может быть, из-за отсутствия какого-нибудь чувства сущность вещей большей частью скрыта от нас? Кто знает, не проистекают ли отсюда те трудности, на которые мы наталкиваемся при исследовании многих творений природы? Не объясняются ли многие действия животных, превосходящие наши возможности, тем, что они обладают каким-то чувством, которого у нас нет? Не живут ли некоторые из них, благодаря этому, более полной и

более совершенной жизнью, чем мы? Мы воспринимаем яблоко почти всеми нашими чувствами: мы находим в нем красноту, гладкость, аромат и сладость; но оно может, кроме того, иметь и другие еще свойства, как, например, способность сохнуть или сморщиваться, для восприятия которых мы не имеем соответствующих чувств. Наблюдая качества, которые мы называем во многих веществах скрытыми, — как, например, свойство магнита притягивать железо, — нельзя ли считать вероятным, что в природе имеются чувства, которые способны судить о них и воспринимать их, и что, из-за отсутствия этих способностей у нас, мы не в состоянии познать истинную сущность таких вещей? Какое-то особое чувство подсказывает петухам, что наступило утро или полночь, что и заставляет их петь; какое-то чувство учит кур, еще не имеющих никакого опыта, бояться ястреба; какое-то особое чувство предупреждает цыплят о враждебности к ним кошек, но не собак, и заставляет их настораживаться при вкрадчивых звуках мяуканья, но не бояться громкого и сварливого собачьего лая; оно учит ос, муравьев и крыс выбирать всегда самый лучший сыр и самую спелую грушу, еще не отведав их; учит оленя, слона и змею

узнавать определенные, целительные для них травы. Нет такого чувства, которое не имело бы большой власти и не являлось бы средством для приобретения бесконечного количества познаний. Если бы мы не воспринимали звуков, гармонии, голоса, это внесло бы невообразимую путаницу во все остальные наши знания. Ведь, кроме непосредственных показаний каждого чувства, мы извлекаем множество сведений, выводов и заключений о других предметах путем сравнения свидетельств одного чувства со свидетельствами другого. Стоит только разумному человеку вообразить себе человеческую природу созданной первоначально без зрения и осознать, сколько тревог и смятений повлек бы за собой такой недостаток, в какой мрак погрузилась бы наша ослепленная душа, — и мы убедимся, какое важное значение для познания истины имело бы отсутствие у нас одного, двух или трех чувств. Мы установили какую-нибудь истину, опираясь и сообразуясь с нашими пятью чувствами, но может быть, для достоверного познания ее, самой ее сущности, нужно было бы получить согласие и содействие не пяти, а восьми или десяти чувств?

Философские школы, которые отрицают возможность человеческого знания, ссылаются

главным образом на недостоверность и слабость наших чувств; ибо поскольку мы приобретаем все наши познания через чувства и благодаря их посредству, то если их показания, даваемые нам, ошибочны, если они искажают или изменяют то, что вносят в нас извне, если свет, излучаемый ими в нашу душу, затмевается при этом переходе, — тогда нам не на что опереться. Из этой трудности возникли все следующие призрачные представления: будто всякий предмет заключает в себе все то, что мы в нем находим; будто в нем нет ничего, что мы рассчитывали бы в нем найти; мнение эпикурейцев, будто солнце не больше размером, чем оно представляется нашему взору[638] [broken link: #nb12_638]:

> *Quidquid id est, nihilo fertur maiore figura*
>
> *Quam nostris oculis quam cernimus, esse videtur;*

и мнение, состоящее в том, что тело кажется нам больше, когда оно находится близко от нас, и меньше, когда оно далеко от нас, — и та и другая видимость одинаково истинны:

> *Nec tamen hic oculis falli concedimus hilum…*
>
> *Proinde animi vitium hoc oculis adfingere*

*noli;[639] [broken link: #nb12_639]*

и, наконец, решительное заявление, что нет никакого обмана в показаниях чувств, что следует сдаться на их милость и искать в чем-то другом объяснение тех разногласий и противоречий, которые мы в них встречаем; они готовы прибегнуть к любой выдумке (они доходят даже до этого!), лишь бы не обвинить чувства в неверном изображении предметов. Тимагор[640] [broken link: #nb12_640] клялся, что, если даже он прищуривал глаз или смотрел искоса, ему никогда не удавалось увидеть двойного изображения свечи, и потому эта иллюзия происходит скорее от нашего неправильного мнения, чем от неправильности нашего органа зрения. По мнению эпикурейцев, нет большей нелепости, чем не признавать силу и значение чувств.

*Proinde quod in quoque est his visum tempore, verum est.*

*Et, si non potuit ratio dissolvere causam,*

*Cur ea quae fuerint iuxtim quadrata, procul sint*

*Visa rotunda, tamen, praestat rationis egentem*

*Reddere mendose causa utriusque figurae,*

*Quam manibus manifesta suis emittere quoquam,*

*Et violare fidem primam, et convellere tota*

*Fundamenta quibus nixatur vita salusque.*

*Non malo enim ratio ruat omnis, vita quoque ipsa*

*Concidat extemplo, nisi credere sensibus ausis,*

*Praecipitesque locos vitare, et cetera quae sint*

*In genere hoc fugienda.[641] [broken link: #nb12_641]*

Этот отчаянный и совсем не философского порядка совет свидетельствует лишь о том, что человеческое знание может поддерживаться безрассудными, несообразными и вымышленными объяснениями, но человеку все же лучше воспользоваться ими или любым другим средством, каким бы несуразным оно не было, чем признаться в своей неизбежной слабости: чрезвычайно печальная истина! Человек не может уйти от того, что чувства являются верховными повелителями его знания; но они недостоверны, и показания их могут при всяких обстоятельствах оказаться ошибочными. Вот тут-то и надо бороть-

ся не на жизнь, а на смерть, и, если истинных сил нам не хватает, как это часто случается, надо пустить в ход упрямство, дерзость, бесстыдство.

Если правы эпикурейцы, утверждающие, что не существует знания, если чувства лгут, и если правы стоики, утверждающие, что чувства настолько ложны, что не могут дать нам никакого знания, то отсюда следует, в соответствии с положениями обеих великих догматических школ, что нет знания.

Что касается ошибочности и недостоверности показаний чувств, то это настолько обычное явление, что всякий может представить сколько угодно примеров ошибок и обманов, в которые они нас вводят. Когда, находясь в долине, мы слышим отраженный звук трубы, то нам кажется, что он раздается не сзади, а впереди.

*Extantesque procul medio de gurgite montes,*

*Iidem apparent longe diversi licet.*

*Et fugere ad puppim colles campique videntur*

*Quos agimus propter navim.*

*ubi in medio nobis equus acer obhaesit*

*Flumine, equi corpus transversum ferre*

*videtur*

*Vis, et in adversum flumen contrudere raptim.[642] [broken link: #nb12_642]*

Если на пулю аркебузы наложить указательный палец, наложив одновременно, поверх него, еще средний, то нам потребуется сделать усилие, чтобы признать, что налицо только одна пуля, — до такой степени нам будет казаться, что это не одна, а две пули. Действительно, на каждом шагу мы можем видеть, что чувства нередко господствуют над рассудком и заставляют его воспринимать такие впечатления, которые он считает ложными и знает, что они таковы. Я оставляю в стороне чувство осязания, которое сообщает нам свои весьма важные и непосредственные свидетельства и которое посредством боли, причиняемой нашему телу, так часто переворачивает вверх дном прекрасные наставления стоиков и заставляет истошным голосом вопить того, кто в душе решительно придерживается правила, что колика, как и всякая другая болезнь или страдание, для мудреца ничего не значит и ничего не может изменить в том высшем блаженстве, в котором он пребывает благодаря своей добродетели. Нет души столь равнодушной, ко-

торая не пришла бы в возбуждение при звуках наших барабанов и труб, а равно и столь суровой, которую не растрогали бы нежные звуки музыки. Нет души столь черствой, которая не ощутила бы некоторого благоговения при виде наших огромных и мрачных соборов, на которую не подействовали бы пышные церковные украшения и обряды, благочестивый звук органа, стройная и выдержанная гармония хора. Даже тех, кто входит в храм с некоторым пренебрежением[643] [broken link: #nb12_643], пронизывает некий трепет, заставляющий их усомниться в своей правоте.

Что касается меня, то я недостаточно тверд, чтобы оставаться равнодушным, слушая стихи Горация или Катулла, когда их читает красивый голос и произносят прекрасные и юные уста.

Зенон был прав, говоря, что голос — это цвет красоты[644] [broken link: #nb12_644]. Меня уверяли, что один человек, хорошо известный во Франции, просто обольстил меня, читая мне стихи своего сочинения, что в действительности они на бумаге совсем не так хороши, как при чтении, и что мои глаза оценили бы их совсем иначе, чем мои уши, настолько произношение придает очарование тем произведениям, которые от него

зависят. Нетрудно понять Филоксена[645] [broken link: #nb12_645], который, услышав, как некий чтец плохо читает одно из его произведений, разбил его горшки и стал топтать их ногами, приговаривая: «Я разбиваю то, что принадлежит тебе, подобно тому как ты портишь то, что принадлежит мне».

Если зрение не имеет никакого отношения к боли, то почему люди, твердо решившие покончить с собой, отворачивали голову, чтобы не видеть удара, который они готовились нанести себе? Или почему те, кто ради своего исцеления желают и требуют, чтобы их резали и делали им прижигания, не хотят видеть приготовлений к операции, инструментов и всего того, что делает хирург? Разве эти примеры не доказывают, какую власть над рассудком имеют чувства? Мы можем прекрасно знать, что эти локоны взяты у какого-нибудь пажа или лакея, эти румяна привезены из Испании, а белила и мази из-за Океана, — и все же это придает девушке такой вид, что, наперекор рассудку, она покажется нам милее и красивее. Рассудок здесь ни при чем.

*Auferimur cultu; gemmis auroque teguntur*
*Crimina: pars minima est ipsa puella sui.*

*Saepe, ubi sit quod ames inter tam multa requiras:*

*Decipit hac oculos Aegide, dives amor.[646] [broken link: #nb12_646]*

Поэты, рисующие нам Нарцисса, безумно влюбленного в свое отражение, показывают, какую власть имеют над нами чувства.

*Cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse;*

*Se cupit imprudens; et qui probat, ipse probatur;*

*Dumque petit, petitur; pariterque accendit et ardet.[647] [broken link: #nb12_647]*

А у Пигмалиона при виде сделанной им самим статуи из слоновой кости так помутился рассудок, что он влюбился в неё и стал поклоняться ей, словно живой!

*Oscula dat reddique putat, loquiturque tenetque,*

*Et credit tactis digitos insidere membris;*

*Et metuit pressos veniat ne livor in artus.[648] [broken link: #nb12_648]*

Если посадить какого-нибудь философа в клет-

ку с решеткой из мелких петель и подвесить ее к верхушке башни собора Парижской богоматери, то, хотя он ясно будет видеть, что ему не грозит опасность из нее выпасть, он не сможет не содрогнуться при виде этой огромной высоты (если только он не кровельщик). Действительно, нам приходится все время себя подбадривать, когда мы ходим по открытым галереям наших колоколен, хотя они сделаны из камня; но есть люди, для которых непереносима даже самая мысль о хождении по ним. Пусть перебросят между двумя башнями перекладину такой ширины, чтобы можно было свободно пройти по ней, — все же никакая философская мудрость не в состоянии будет внушить нам пройтись по ней с тем же спокойствием, как если бы эта перекладина лежала на земле. Я часто испытывал это, когда ходил по нашим здешним горам (а между тем я из тех людей, которые не особенно боятся подобных вещей), однако я не мог выносить вида пропасти, и у меня дрожали поджилки, хотя для того, чтобы очутиться на краю пропасти, мне нужно было бы растянуться во всю длину, и потому я мог бы свалиться в нее только в том случае, если бы намеренно подверг себя этой опасности. Я замечал также, что как бы значительна ни была

глубина, но если на склоне виднеются дерево или выступ скалы, на которых может задержаться наше зрение и которые делят это пространство, то это доставляет нам облегчение и вселяет в нас некоторую уверенность, как если бы эти предметы могли нам помочь в случае нашего падения; но мы не можем смотреть без головокружения на крутые и ничем не разделенные пропасти: ut despici sine vertigine simul oculorum animique non possit[649] [broken link: #nb12_649]. Но ведь это — явный обман зрения. Поэтому великий философ выколол себе глаза, чтобы освободить душу от соблазна чувств и иметь возможность размышлять более свободно[650] [broken link: #nb12_650].

Но в таком случае он должен был бы также заткнуть себе уши, — ибо, по словам Теофраста, это наиболее опасный орган, которым мы воспринимаем самые сильные впечатления, способные смутить и потрясти нашу душу[651] [broken link: #nb12_651], — и в конце концов лишить себя всех остальных чувств, иными словами, лишить себя жизни. Ибо все чувства обладают способностью повелевать нашим разумом и нашей душой: Fit etiam saepe specie quadam, saepe vocum gravitate et cantibus, ut pellantur animi vehementius; saepe etiam cura et timore[652] [broken link: #nb12_652].

Врачи утверждают, что есть люди такого склада, которых определенные звуки и инструменты могут привести не только в возбуждение, но даже в ярость. Мне приходилось встречать людей, которые, услышав, как собака грызет кость под столом, настолько страдали от этого звука, что выходили из себя; не много таких людей, которых не раздражал бы резкий и пронзительный звук напильника, скоблящего железо; некоторые не выносят, когда рядом с ними кто-нибудь чавкает; другие приходят в бешенство и готовы возненавидеть человека, который гнусавит или хрипит. Для чего понадобился бы Гракху тот флейтист-аккомпаниатор, который придавал различные оттенки его голосу, то снижая, то усиливая его, когда Гракх произносил свои речи в Риме, если бы эти переходы из одного тона в другой не были способны трогать слушателей и влиять на их мысли[653] [broken link: #nb12_653]. Можно поистине гордиться прекрасной устойчивостью человеческого суждения, которое способно меняться в зависимости от колебаний звука голоса!

Чувства обманывают наш разум, но и он в свою очередь обманывает их. Наша душа иногда мстит чувствам; они постоянно лгут и обманывают друг друга. Будучи охвачены гневом, мы видим и слы-

шим не совсем то, что есть в действительности:

*Et solem geminum, et duplices se ostendere Thebas.[654] [broken link: #nb12_654]*

Человек, которого мы любим, кажется нам прекраснее, чем он есть на самом деле:

*Multimodis igitur pravas turpisque videmus*

*Esse in delitiis, summoque in honore vigere,[655] [broken link: #nb12_655]*

а тот, к которому мы питаем отвращение, — более безобразным. Человеку огорченному и подавленному ясный день кажется облачным и мрачным. Страсти не только изменяют наши чувства, но часто приводят их в состояние полного отупения. Сколько есть вещей, которых мы совершенно не замечаем, когда ум наш занят чем-то другим!

*In rebus quoque apertis noscere possis.*

*Si non advertas animum, proinde esse, quasi omni*

*Tempore semotum fuerint, longeque remotum.[656] [broken link: #nb12_656]*

Кажется, будто душа уходит в себя и отвлекает

к себе все чувства. Таким образом, человек и снаружи и изнутри полон лжи и слабости.

Те, кто сравнивал нашу жизнь со сном[657] [broken link: #nb12_657], были более правы, чем им иногда казалось. Когда мы спим, наша душа живет, действует и проявляет все свои способности не в меньшей мере, чем когда она бодрствует. Правда, во сне она действует более вяло и смутно; однако разница между этими двумя состояниями не так велика, как между ночью и днем; она напоминает скорее разницу между ночью и сумерками: в первом случае она спит, во втором — дремлет более или менее крепко. Но и то и другое — потемки, киммерийские сумерки[658] [broken link: #nb12_658].

Мы бодрствуем во сне и спим, бодрствуя. Во сне я вижу все не очень ясно; но и когда я просыпаюсь, то не нахожу, чтобы все было достаточно ясно и безоблачно. Сон бывает так глубок, что мы иногда не видим даже снов; но наша явь никогда не бывает настолько полной, чтобы до конца рассеять фантазии, которые можно назвать снами бодрствующих и даже чем-то худшим, чем сны.

Так как наш разум и наша душа воспринимают те мысли и представления, которые возникают у человека во сне, и так же одобряют поступки,

совершаемые нами во сне, как и те, что мы совершаем наяву, то почему бы нам не предположить, что наше мышление и наши поступки являются своего рода сновидениями и наше бодрствование есть лишь особый вид сна?

Если чувства — это наши высшие судьи, то следует учесть показания не только наших чувств; ибо животные имеют в этом отношении такие же права, как и мы, или даже большие. Не подлежит сомнению, что некоторые животные имеют более острый слух, чем человек; другие — зрение, третьи — обоняние, четвертые — осязание или вкус. Демокрит утверждал, что боги и животные обладают значительно более совершенными чувствами, чем люди[659] [broken link: #nb12_659]. Но показания чувств животных сильно расходятся с показаниями наших чувств. Например, наша слюна очищает и сушит наши раны, но убивает змей:

> *Tantaque*
> *in his rebus distantia differitasque,*
> *Ut quod aliis cibus est, aliis fuat acre venenum.*
> *Saepe etenim serpens, hominis contacta saliva*

*Disperit, ac sese mandendo conficit ipsa.[660] [broken link: #nb12_660]*

Какое же свойство припишем мы слюне — благотворное, согласно опыту на людях, или зловредное, в соответствии с опытом на змеях? Каким из этих двух показаний проверим мы ее подлинную сущность, которую мы хотим установить? Плиний сообщает[661] [broken link: #nb12_661], что в Индии имеются морские зайцы, которые ядовиты для нас, как и мы в свою очередь для них, и что самое наше прикосновение для них смертельно. Возникает вопрос: кто же является действительно ядом — человек или рыба? Кому следует верить — рыбе, считаясь с ее действием на человека, или человеку, считаясь с его действием на рыбу? Некое качество воздуха опасно для человека и совершенно не вредит быку; другое качество опасно для быка, но совершенно не вредит человеку. Какое же из этих двух качеств в действительности является вредоносным? Больным желтухой все вещи кажутся желтоватыми и более бледными, чем нам:

*Lurida praeterea fiunt quaecunque tuentur Arquati.[662] [broken link: #nb12_662]*

Тем, кто страдает болезнью, которую врачи

называют гипосфрагмой и которая представляет собой подкожное кровоизлияние[663] [broken link: #nb12_663], все вещи кажутся кроваво-красными. Встречаются ли эти жидкости[664] [broken link: #nb12_664], которые так искажают показания нашего зрения, и у животных и представляют ли они и для них обычное явление? Ведь видим же мы, что у одних животных глаза желтые, совсем как у наших больных желтухой, а у других — кроваво-красные; весьма вероятно, что цвет предметов кажется им иным, чем нам. Какое же из этих двух суждений будет истинным? Где сказано, что сущность вещей открыта именно человеку? Твердость, белизна, глубина, кислота — все эти качества имеют такое же отношение к животным, как и к нам, и так же им известны: природа дала им возможность пользоваться этими качествами так же, как и нам. Если мы надавим пальцем на веко, то все предметы покажутся нам продолговатыми и вытянутыми. У некоторых животных зрачок сужен таким образом: значит, возможно, что продолговатость, которую видят животные, и есть подлинная форма тела, а вовсе не та форма, которую придает предметам наш глаз, находясь в нормальном состоянии. Если мы надавим на нижнее веко,

то предметы, находящиеся перед нами, станут двоиться:

*Bina lucernarum florentia lumina flammis,*

*Et duplices hominum facies, et corpora bina.[665] [broken link: #nb12_665]*

Если у нас заложены уши или закупорен слуховой проход, то мы воспринимаем звук иначе, чем обычно; следовательно, животные, у которых уши заросли шерстью или у которых вместо уха имеется лишь крохотное слуховое отверстие, слышат не то, что мы, и воспринимают звук иначе[666] [broken link: #nb12_666]. На празднествах и в театрах мы наблюдаем следующее: если поставить перед факелами стекла, окрашенные в определенный цвет, то все предметы в помещении будут казаться нам окрашенными в зеленый, желтый или фиолетовый цвет в зависимости от цвета стекол.

*Et vulgo faciunt id lutea russaque vela*

*Et ferrugina, cum magnis intenta theatris*

*Per malos volgata trabesque trementia pendent.*

*Namque ibi concessum caveai subter et omnem*

*Scenai speciem, patrum, matrumque deorumque*

*Inficiunt coguntque suo volitare colore.[667] [broken link: #nb12_667]*

Весьма возможно, что животные, у которых глаза иного цвета, чем у нас, видят предметы окрашенными в те же цвета, что и их глаза.

Таким образом, чтобы судить о роли чувств, надо было бы прежде всего добиться согласия между показаниями наших чувств и чувств животных, а затем также единогласия в показаниях чувств различных людей. Но в действительности этого нет, и мы постоянно затеваем споры о вещах, которые один человек слышит, видит или ощущает иначе, чем другой; мы спорим, как и о всякой другой вещи, по поводу различных показаний, которые дают нам чувства. Ребенок слышит, видит и осязает не так, как тридцатилетний человек, а тридцатилетний — не так, как шестидесятилетний; таков уж закон природы. У одних людей чувства более смутны и расплывчаты, у других — более ясны и остры. Мы по-разному воспринимаем вещи, в зависимости от того, каковы мы сами и какими вещи нам кажутся. Но так как то, что нам кажется, спорно и недостоверно,

то неудивительно, что мы можем согласиться с тем, что снег нам кажется белым, но никак не можем поручиться за то, что именно такова его истинная сущность; а между тем если это основание рушится, то вместе с ним неизбежно терпит крушение и вся наука. Не вступают ли сами наши чувства в противоречие друг с другом? Так, картина представляется нам на вид выпуклой, на ощупь же она плоская; что сказать о том, приятен или неприятен мускус, который приятен для нашего обоняния, но неприятен на вкус? Некоторые травы и мази полезны для одной части тела, но вредны для другой; мед сладок на вкус, но неприятен на вид. Есть перстни, сделанные в виде перьев и известные под названием «перья без конца»; невозможно на глаз установить их ширину, ибо всем кажется, что они расширяются с одной стороны и сужаются с другой, даже если вертеть их вокруг пальца; но на ощупь они имеют одинаковую ширину во всей окружности.

Не наделяют ли наши чувства различными качествами предметы, которые имеют на деле всего лишь одно качество? Так, если взять хлеб, который мы едим, то это всего лишь хлеб; однако, будучи употреблен нами в пищу, он превращается в кости, кровь, мясо, волосы и ногти:

*Ut cibus, in membra atque artus cum diditur omnis,*

*Disperit atque aliam naturam sufficit ex se.[668] [broken link: #nb12_668]*

Вода, которая питает корни дерева, становится стволом, листьями и плодами. Воздух един, но он превращается в тысячу различных звуков, если начать играть на трубе. Встает вопрос: придают ли наши чувства различные качества этим предметам или же они сами обладают ими? Как разрешить это сомнение? Что мы можем сказать о подлинной сущности вещей? Так как людям, находящимся в состоянии болезни, бреда или сна, вещи представляются иными, чем людям здоровым, рассудительным и бодрствующим, то нельзя ли допустить, что, будучи в нормальном состоянии, мы также наделяем вещи определенным бытием, соответствующим их качествам и вместе с тем сообразованным с нашим состоянием, подобно тому как мы это делаем, будучи больны? Нельзя ли допустить поэтому, что, будучи в здравом состоянии, мы так же придаем вещам определенный вид, как и будучи в болезненном состоянии? Нельзя ли допустить, что человек сдержанный придает вещам такой вид,

который соответствует его нраву, подобно тому как это делает человек несдержанный, накладывая на них отпечаток своего характера?

Так, пресыщенный находит вино безвкусным, испытывающий жажду чересчур сладким, а здоровый по-разному оценивает его аромат.

Так как мы приноравливаем вещи к себе и видоизменяем их, сообразуясь с собой, то мы в конце концов не знаем, каковы вещи в действительности, ибо до нас все доходит в измененном и искаженном нашими чувствами виде. Если неверны циркуль, наугольник и линейка, то все изменения, сделанные с их помощью, ошибочны, все сооружения, построенные на этих расчетах, неизбежно плохи. Недостоверность наших чувств делает недостоверным все, что они порождают:

*Denique ut in fabrica, si prava est regula prima,*

*Normaque si fallax rectis regionibus exit,*

*Et libella si ex parte claudicat hilim,*

*Omnia mendose fieri atque obstipa necesse est,*

*Prava, cubantia, prona, supina, atque absona tecta,*

*Iam ruere ut quaedam videantur velle,*

*ruantque*

*Prodita iudiciis fallacibus omnia primis.*

*Sic igitur ratio tibi rerum prava necesse est*

*Falsaque sit, falsis quaecumque a sensibus orta est.[669] [broken link: #nb12_669]*

Кто же будет судьей при решении этих разногласий? Подобно тому как при религиозных спорах нужно иметь судью, не принадлежащего ни к одной из борющихся партий, свободного от всякой односторонности и пристрастия, что для христианина невозможно, точно так же обстоит дело и с нашими чувствами: ибо, если судья стар, он не может судить о чувствах старика, являясь одной из сторон в этом споре; то же самое, если он молод, здоров или болен, если он спит или бодрствует. Нам нужен был бы судья, свободный от всех этих качеств, чтобы он без всякой предвзятости мог судить обо всех этих состояниях, совершенно ему безразличных; иными словами, нам нужен был бы судья, которого не существует.

Чтобы судить о представлениях, получаемых нами от вещей, нам нужно было бы обладать каким-то оценивающим инструментом; чтобы проверить этот инструмент, мы нуждаемся в

доказательствах, а чтобы проверить доказательство, мы нуждаемся в инструменте: и вот мы оказываемся в порочном круге. Так как чувства не в состоянии разрешить наш спор, поскольку они сами совершенно недостоверны, его должно решить рациональное доказательство; но всякое рациональное доказательство нуждается в другом доказательстве — и мы, таким образом, обречены на непрерывное движение вспять. Наша мысль не проникает в окружающие нас предметы, но возникает через посредство чувств; чувства же со своей стороны познают не окружающие предметы, а лишь свои собственные впечатления; таким образом, мысль и представление исходят не из предмета, а из впечатлений и ощущений наших чувств; но впечатления и самый предмет — вещи различные; поэтому тот, кто судит по представлению, судит, отправляясь не от предмета, а от чего-то другого. Нельзя утверждать, что впечатления наших чувств раскрывают душе сущность окружающих нас предметов по сходству; ибо как могут душа и разум убедиться в этом сходстве, если они не имеют никакого общения с окружающими нас предметами? Так, например, тот, кто не знает лица Сократа, не может, увидев его портрет,

сказать, похож ли он. Однако предположим, что кто-нибудь решил судить о вещах по представлениям о них; если он захочет отправляться от всех представлений, то это окажется невозможным, так как они противоречат друг другу и расходятся между собой, как мы убеждаемся в этом на опыте. Значит ли это, что некоторые избранные представления управляют всеми остальными? В таком случае этот отбор следовало бы проверить другим отбором, а этот другой — третьим, и так далее, а следовательно, наш отбор никогда не был бы закончен.

Итак, нет никакого неизменного бытия, и ни мы, ни окружающие нас предметы не обладают им. Мы сами, и наши суждения, и все смертные предметы непрерывно текут и движутся. Поэтому нельзя установить ничего достоверного ни в одном предмете на основании другого, поскольку и оценивающий, и то, что оценивается, находятся в непрерывном изменении и движении.

Мы не имеем никакого общения с бытием[670] [broken link: #nb12_670], так как человеческая природа всегда обретается посередине между рождением и смертью; мы имеем о себе лишь смутное и прозрачное, как тень, представление и шаткое, недостоверное мнение. Если вы сосре-

доточите все усилия своей мысли на том, чтобы уловить бытие, это будет равносильно желанию удержать в пригоршне зачерпнутую воду; чем больше вы будете сжимать и задерживать то, что текуче по своей природе, тем скорее вы потеряете то, что хотели удержать и зажать в кулаке. Так как все вещи претерпевают непрерывно одно изменение за другим, то наш разум, ищущий реального бытия, оказывается обманутым; он не может найти ничего постоянного и неизменного, ибо всякая вещь либо еще только возникает, но еще не существует, либо начинает умирать еще до своего рождения. Платон утверждал[671] [broken link: #nb12_671], что тела не имеют никакого бытия, но только рождаются; он опирался на Гомера, который сделал Океан отцом богов, а Фетиду — их матерью, желая показать нам, что все вещи находятся в непрерывном становлении и постоянно меняются. По его словам, это мнение разделялось всеми философами его времени, за исключением одного лишь Парменида, которого он высоко ценил и который утверждал, что вещи неподвижны. Пифагор заявлял, что всякая материя текуча и зыбка; стоики утверждали, что нет настоящего времени и что то, что мы называем настоящим, является лишь связью между про-

шедшим и будущим[672] [broken link: #nb12_672]. Гераклит говорил, что человек не может дважды войти в одну и ту же реку; Эпихарм[673] [broken link: #nb12_673] считал, что если кто-то когда-то занял деньги, то он не должен возвращать их в настоящее время, и что тот, кто был приглашен к обеду вчера, сегодня приходит уже не приглашенным, так как люди уже не те, они стали иными; он считал, что одна и та же смертная субстанция не может находиться дважды в том же состоянии; ибо, ввиду того что она быстро и неожиданно меняется, она то распадается, то воссоединяется, то появляется, то исчезает. Таким образом, то, что начинает рождаться, никогда не достигает совершенного бытия, ибо это рождение никогда не кончается и никогда не останавливается, так как оно не имеет конца; начиная с семени оно непрерывно изменяется и переходит из одного состояния в другое. Так, человеческое семя сперва превращается в утробе матери в бесформенный плод, потом становится ребенком, затем, выйдя из утробы матери, становится грудным младенцем, а позднее мальчиком, который последовательно становится юношей, взрослым человеком, потом пожилым человеком и наконец дряхлым старцем. Таким образом, время и непрерывное

рождение постоянно разрушают и претворяют все предшествующее.

> *Mutat enim mundi naturam totius aetas,*
>
> *Ex alioque alius status excipere omnia debet,*
>
> *Nec manet ulla sui similis res: omnia migrant,*
>
> *Omnia commutat natura et vertere cogit.[674] [broken link: #nb12_674]*

А мы по глупости боимся какой-то смерти, хотя уже прошли и проходим через ряд смертей. Ибо не только, как говорит Гераклит, смерть огня есть рождение воздуха, а смерть воздуха есть рождение воды, но мы можем наблюдать это еще более наглядным образом на себе. Цветущий возраст умирает и проходит, когда наступает старость; юность обретает конец в цветущем возрасте взрослого человека; детство умирает в юности, а младенчество — в детстве; вчерашний день умирает в сегодняшнем, а сегодняшний умрет в завтрашнем. Ничто не пребывает и не остается неизменным, ибо если бы мы оставались всегда одними и теми же, то как могло бы нас сегодня радовать одно, а завтра другое? Как могли бы мы любить противоположные вещи или ненавидеть

их? Как могли бы мы их хвалить или порицать? Как можем мы иметь различные привязанности и не сохранять того же чувства, когда мысль остается той же? Ибо неправдоподобно, чтобы, оставаясь неизменными, мы стали испытывать другие страсти; ведь то, что претерпевает изменения, не пребывает в том же состоянии, а если оно изменилось, значит оно больше не существует. Но так как все бытие едино, то и просто бытие меняется, становясь все время другим. Следовательно, наши чувства обманываются и лгут, принимая то, что кажется, за то, что есть, так как они не знают, что есть. Но в таком случае, что же действительно существует? То, что вечно, то есть то, что никогда не возникало и никогда не будет иметь конца, то, что не претерпевает никаких изменений во времени. Ибо время — вещь подвижная, которая появляется, подобно тени, вместе с вечно движущейся и текучей материей; оно никогда не остается неизменным и постоянным. Ко времени с полным основанием применяют слова: «раньше», «после», «было» или «будет», которые сразу наглядно показывают, что время не такая вещь, которая просто «есть»; ибо было бы большой глупостью и очевидной ложью утверждать, что есть то, чего еще не существует

или что уже перестало существовать. Что же касается понятий «настоящее», «мгновение», «теперь», на которых, по-видимому, главным образом покоится понимание времени, то разум, открывая эти понятия, тут же и уничтожает их; ибо он непрерывно расщепляет и делит время на прошлое и будущее, как бы желая видеть его непременно разделенным надвое. То же самое, что со временем, происходит и с природой, которая измеряется временем; ибо в ней тоже нет ничего такого, что пребывает или существует, но все вещи в ней или рождены, или рождаются, или умирают. Поэтому было бы грехом по отношению к богу, который является единственно сущим, утверждать, что он был или будет, ибо эти понятия означают изменение, становление или конец того, что лишено устойчивости и неизменного бытия. На основании этого следует заключить, что только бог есть подлинно сущее и существует он не во времени, а в неизменной и неподвижной вечности, не измеряемой временем и не подверженной никаким переменам; что раньше бога ничего нет, как и после него ничего не будет, ничего более нового, ничего более юного; что он есть единственное истинно сущее, которое одним только «ныне» наполняет «вовеки»; что,

кроме него, нет ничего подлинно сущего и нельзя сказать: «он был» или «он будет», ибо он не имеет ни начала, ни конца.

К этому столь благочестивому выводу писателя-язычника[675] [broken link: #nb12_675] я хочу — в заключение моего затянувшегося и скучного рассуждения, которое можно было бы еще продолжить до бесконечности, — добавить еще следующее замечание другого писателя, тоже язычника[676] [broken link: #nb12_676]: «Какое презренное и низменное существо человек, — говорит он, — если он не возвышается над человечеством!» Это хорошее изречение и полезное пожелание, но вместе с тем оно нелепо: ибо невозможно и бессмысленно желать, чтобы кулак был больше кисти руки, чтобы размах руки был больше ее самой или чтобы можно было шагнуть дальше, чем позволяет длина наших ног. Точно так же и человек не в состоянии подняться над собой и над человечеством, ибо он может видеть только своими глазами и постигать только своими способностями. Он может подняться только тогда, когда богу бывает угодно сверхъестественным образом протянуть ему руку помощи; и он поднимется, если откажется и отречется от своих собственных средств и предоставит поднять себя

и возвысить небесным силам.

Только наша христианская вера, а не стоическая добродетель может домогаться этого божественного и чудесного превращения, только она может поднять нас над человеческой слабостью.

## Глава XIII
## О том, как надо судить о поведении человека пред лицом смерти

Когда мы судим о твердости, проявленной человеком пред лицом смерти, каковая есть несомненно наиболее значительное событие нашей жизни, необходимо принять во внимание, что люди с трудом способны поверить, будто они и впрямь подошли уже к этой грани. Мало кто умирает, понимая, что минуты его сочтены; нет ничего, в чем нас в большей мере тешила бы обманчивая надежда; она непрестанно нашептывает нам: «Другие были больны еще тяжелее, а между тем не умерли. Дело обстоит совсем не так уже безнадежно, как это представляется; и в конце концов господь явил немало других чудес». Происходит же это оттого, что мы мним о себе слишком много; нам кажется, будто совокупность вещей испытает какое-то потрясение от того, что нас больше не будет, и что для нее вовсе не безразлично, существуем ли мы на свете; к тому же наше извращенное зрение воспринимает окружающие нас вещи неправильно, и мы считаем

их искаженными, тогда как в действительности оно само искажает их; в этом мы уподобляемся едущим по морю, которым кажется, будто горы, поля, города, земля и небо двигаются одновременно с ними:

> *Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt.[1] [broken link: #nb13_1]*

Видел ли кто когда-нибудь старых людей, которые не восхваляли бы доброе старое время, не поносили бы новые времена и не возлагали бы вину за свои невзгоды и горести на весь мир и людские нравы?

> *Iamque caput quassans, grandis suspirat arator,*
>
> *Et cum tempora temporibus praesentia confert*
>
> *Praeteritis, laudat fortunas saepe parentis,*
>
> *Et crepat antiquum genus ut pietate repletum.[2] [broken link: #nb13_2]*

Мы ко всему подходим с собственной меркой, и из-за этого наша смерть представляется нам событием большой важности; нам кажется, будто она не может пройти бесследно, без того чтобы ей не предшествовало торжественное

решение небесных светил: tot circa unum caput tumultuantes deos[3] [broken link: #nb13_3]. И чем большую цену мы себе придаем, тем более значительной кажется нам наша смерть: «Как! Неужели она решится погубить столько знаний, неужели причинит столько ущерба, если на то не будет особого волеизъявления судеб? Неужели она с тою же легкостью способна похитить столь редкостную и образцовую душу, с какою она похищает душу обыденную и бесполезную? И эта жизнь, обеспечивающая столько других, жизнь, от которой зависит такое множество других жизней, которая дает пропитание стольким людям, которой принадлежит столько места, должна будет освободить это место совершенно так же, как та, что держится на тоненькой ниточке?»

Всякий из нас считает себя в той или иной мере чем-то единственным, и в этом — смысл слов Цезаря, обращенных им к кормчему корабля, на котором он плыл, слов, еще более надменных, чем море, угрожавшее его жизни:

> *Italiam si, caelo auctore, recusas,*
>
> *Me pete: sola tibi causa haec est iusta timoris,*
>
> *Vectorem non nosse tuum; perrumpe*

*procellas,*

*Tutela secure mei;[4] [broken link: #nb13_4]*

или, например, этих:

*credit iam digna pericula Caesar*

*Fatis esse suis; tantusque evertere, dixit,*

*Me superis labor est, parva quem puppe sedentem*

*Tam magno petiere mari?[5] [broken link: #nb13_5]*

а также нелепого официального утверждения, будто солнце на протяжении года, последовавшего за его смертью, носило на своем челе траур по нем:

*Ille etiam extincto miseratus Caesare Romam,*

*Cum caput obscura nitidum ferrugine texit,[6] [broken link: #nb13_6]*

и тысячи подобных вещей, которыми мир с такой поразительной легкостью позволяет себя обманывать, считая, что небеса заботятся о наших нуждах и что их бескрайние просторы откликаются на малейшие поступки: Non tanta

caelo societas nobiscum est, ut nostro fato mortalis sit ille quoque siderum fulgor[7] [broken link: #nb13_7].

Итак, нельзя признавать решимость и твердость в том, кто, кем бы он ни был, еще не вполне уверен, что пребывает в опасности; и даже если он умер, обнаружив эти высокие качества, но не отдавая себе отчета, что умирает, то и этого недостаточно для такого признания: большинству людей свойственно выказывать стойкость и на лице и в речах; ведь они пекутся о доброй славе, которою хотят насладиться, оставшись в живых. Мне доводилось наблюдать умирающих, и обыкновенно не преднамеренное желание, а обстоятельства определяли их поведение. Если мы вспомним даже о тех, кто лишил себя жизни в древности, то и тут следует различать, была ли их смерть мгновенною или длительною. Некий известный своею жестокостью император древнего Рима говорил о своих узниках, что хочет заставить их почувствовать смерть; и если кто-нибудь из них кончал с собой в тюрьме, этот император говаривал: «Такой-то ускользнул от меня»; он хотел растянуть для них смерть и, обрекая их на мучения, заставить ее почувствовать[8] [broken link: #nb13_8]:

*Vidimus et toto quamvis in corpore caeso*

*Nil animae lethale datum, moremque nefandae*

*Durum saevitae pereuntis parcere morti.[9] [broken link: #nb13_9]*

И действительно, совсем не такое уж великое дело, пребывая в полном здравии и душевном спокойствии, принять решение о самоубийстве; совсем нетрудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла; это настолько нетрудно, что один из наиболее изнеженных людей, когда-либо живших на свете, Элагабал[10] [broken link: #nb13_10], среди прочих своих постыдных прихотей, возымел намерение покончить с собой — в случае если его принудят к этому обстоятельства — самым изысканным образом, так, чтобы не посрамить всей своей жизни. Он велел возвести роскошную башню, низ и фасад которой были облицованы деревом, изукрашенным драгоценными камнями и золотом, чтобы броситься с нее на землю; он заставил изготовить веревки из золотых нитей и алого шелка, чтобы удавиться; он велел выковать золотой меч, чтобы заколоться; он хранил в сосудах из топаза и изумруда различные яды, чтобы отравиться. Все это он держал наготове, чтобы выбрать по

своему желанию один из названных способов самоубийства:

> *Impiger et fortis virtute coacta.[11] [broken link: #nb13_11]*

И все же, что касается этого выдумщика, то изысканность всех перечисленных приготовлений побуждает предполагать, что если бы дошло до дела, и у него бы кишка оказалась тонка. Но, говоря даже о тех, кто, будучи более сильным, решился привести свой замысел в исполнение, нужно всякий раз, повторяю, принимать во внимание, был ли нанесенный ими удар таковым, что у них не было времени почувствовать его следствия; ибо еще неизвестно, сохраняли бы они твердость и упорство в столь роковом стремлении, если б видели, как медленно покидает их жизнь, если б телесные страдания сочетались в них со страданиями души, если б им представлялась возможность раскаяться.

Во время гражданских войн Цезаря Луций Домиций[12] [broken link: #nb13_12], будучи схвачен в Абруццах, принял яд, но тотчас же раскаялся в этом. И в наше время был такой случай, что некто, решив умереть, не смог поразить себя с первого раза насмерть, так как страстное жела-

ние, жить, обуявшее его естество, сковывало ему руку; все же он нанес себе еще два-три удара, но так и не сумел превозмочь себя и нанести себе смертельную рану. Когда стало известно, что против Плавция Сильвана[13] [broken link: #nb13_13] затевается судебный процесс, Ургулания, его бабка, прислала ему кинжал; не найдя в себе сил заколоться, он велел своим людям вскрыть ему вену. В царствование Тиберия Альбуцилла[14] [broken link: #nb13_14], приняв решение умереть, ранила себя настолько легко, что доставила своим врагам удовольствие бросить ее в тюрьму и расправиться с вей по своему усмотрению. То же произошло и с полководцем Демосфеном[15] [broken link: #nb13_15] после его похода в Сицилию. Гай Фимбрия[16] [broken link: #nb13_16], нанеся себе слишком слабый удар, принудил своего слугу прикончить его. Напротив, Осторий[17] [broken link: #nb13_17], не имея возможности действовать собственной рукой, не пожелал воспользоваться рукой своего слуги для чего-либо иного, кроме как для того, чтобы тот крепко держал перед собой кинжал; бросившись с разбегу на его острие, Осторий пронзил себе горло. Это поистине такое яство, которое, если не обладаешь луженым горлом, нужно глотать не жуя; тем не

менее император Адриан повелел своему врачу указать и очертить у него на груди то место возле соска, удар в которое был бы смертельным и куда надлежало метить тому, кому он поручит его убить. Вот почему, когда Цезаря спросили, какую смерть он находит наиболее легкой, он ответил: «Ту, которой меньше всего ожидаешь и которая наступает мгновенно»[18] [broken link: #nb13_18].

Если сам Цезарь решился высказать такое суждение, то и мне не зазорно признаться, что я думаю так же.

«Мгновенная смерть, — говорит Плиний, — есть высшее счастье человеческой жизни»[19] [broken link: #nb13_19]. Людям страшно сводить знакомство со смертью. Кто боится иметь дело с нею, кто не в силах смотреть ей прямо в глаза, тот не вправе сказать о себе, что он приготовился к смерти; что же до тех, которые, как это порою случается при совершении казней, сами стремятся навстречу своему концу, торопят и подталкивают палача, то они делают это не от решимости; они хотят сократить для себя срок пребывания с глазу на глаз со смертью. Им не страшно умереть, им страшно умирать,

> *Emori nolo, sed me esse mortuum nihil aestimo.[20] [broken link: #nb13_20]*

Это та степень твердости, которая, судя по моему опыту, может быть достигнута также и мною, как она достигается теми, кто бросается в гущу опасностей, словно в море, зажмурив глаза.

Во всей жизни Сократа нет, по-моему, более славной страницы, чем те тридцать дней, в течение которых ему пришлось жить с мыслью о приговоре, осуждавшем его на смерть, все это время сживаться с нею в полной уверенности, что приговор этот совершенно неотвратим, не выказывая при этом ни страха, ни душевного беспокойства и всем своим поведением и речами обнаруживая скорее, что он воспринимает его как нечто незначительное и безразличное, а не как существенное и единственно важное, занимающее собой все его мысли.

Помпоний Аттик[21] [broken link: #nb13_21], тот самый, с которым переписывался Цицерон, тяжело заболев, призвал к себе своего тестя Агриппу и еще двух-трех друзей и сказал им: так как он понял, что лечение ему не поможет и что все, что он делает, дабы продлить себе жизнь, продлевает вместе с тем и усиливает его страдания, он решил положить одновременно конец и тому и другому; он просил их одобрить его решение и уж во всяком случае избавить себя от труда разубеждать

его. Итак, он избрал для себя голодную смерть, но случилось так, что, воздерживаясь от пищи, он исцелился: средство, которое он применил, чтобы разделаться с жизнью, возвратило ему здоровье. Когда же врачи и друзья, обрадованные столь счастливым событием, явились к нему с поздравлениями, их надежды оказались жестоко обманутыми; ибо, несмотря на все уговоры, им так и не удалось заставить его изменить принятое решение: он заявил, что поскольку так или иначе ему придется переступить этот порог, то раз он зашел уже так далеко, он хочет освободить себя от труда начинать все сначала. И хотя человек, о котором идет речь, познакомился со смертью заранее, так сказать на досуге, он не только не потерял охоты встретиться с нею, но, напротив, всей душой продолжал жаждать ее, ибо, достигнув того, ради чего он вступил в это единоборство, он побуждал себя, подстегиваемый своим мужеством, довести начатое им до конца. Это нечто гораздо большее, чем бесстрашие перед лицом смерти, это неудержимое желание изведать ее и насладиться ею досыта.

История философа Клеанфа[22] [broken link: #nb13_22] очень похожа на только что рассказанную. У него распухли и стали гноиться десны;

врачи посоветовали ему воздержаться от пищи; он проголодал двое суток и настолько поправился, что они объявили ему о полном его исцелении и разрешили вернуться к обычному образу жизни. Он же, изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение не возвращаться вспять и переступил порог, к которому успел уже так близко придвинуться.

Туллий Марцеллин[23] [broken link: #nb13_23], молодой римлянин, стремясь избавиться от болезни, терзавшей его сверх того, что он соглашался вытерпеть, захотел предвосхитить предназначенный ему судьбой срок, хотя врачи и обещали если не скорое, то во всяком случае верное его исцеление. Он пригласил друзей, чтобы посовещаться с ними. Одни, как рассказывает Сенека, давали ему советы, которые из малодушия они подали бы и себе самим; другие из лести советовали ему сделать то-то и то-то, что, по их мнению, было бы для него всего приятнее. Но один стоик сказал ему следующее: «Не утруждай себя, Марцеллин, как если бы ты раздумывал над чем-либо стоящим. Жить — не такое уж великое дело; живут твои слуги, живут и дикие звери; великое дело — это умереть достойно, мудро и стойко. Подумай, сколько раз проделывал ты

одно и то же — ел, пил, спал, а потом снова ел; мы без конца вращаемся в том же кругу. Не только неприятности и несчастья, вынести которые не под силу, но и пресыщение жизнью порождает в нас желание умереть». Марцеллину не столько нужен был тот, кто снабдил бы его советом, сколько тот, кто помог бы ему в осуществлении его замысла, ибо слуги боялись быть замешанными в подобное дело. Этот философ, однако, дал им понять, что подозрения падают на домашних только тогда, когда осуществляются сомнения, была ли смерть господина вполне добровольной, а когда на этот счет сомнений не возникает, то препятствовать ему в его намерении столь же дурно, как и злодейски убить его, ибо

> *Invitum qui servat idem facit occidenti.[24] [broken link: #nb13_24]*

Он сказал, сверх того, Марцеллину, что было бы уместным распределить по завершении жизни кое-что между теми, кто окажет ему в этом услуги, напомнив, что после обеда гостям предлагают десерт. Марцеллин был человеком великодушным и щедрым: он оделил своих слуг деньгами и постарался утешить их. Впрочем, в данном случае не понадобилось ни стали, ни

крови. Он решил уйти из жизни, а не бежать от нее; не устремляться в объятия смерти, но предварительно познакомиться с нею. И чтобы дать себе время основательно рассмотреть ее, он стал отказываться от пищи и на третий день, велев обмыть себя теплой водой, стал медленно угасать, не без известного наслаждения, как он говорил окружающим. И действительно, пережившие такие замирания сердца, возникающие от слабости, говорят, что они не только не ощущали никакого страдания, но испытывали скорее некоторое удовольствие, как если бы их охватывал сон и глубокий покой.

Вот примеры заранее обдуманной и хорошо изученной смерти.

Но желая, чтобы только Катон[25] [broken link: #nb13_25], и никто другой, явил миру образец несравненной доблести, его благодетельная судьба расслабила, как кажется, руку, которой он нанес себе рану. Она сделала это затем, чтобы дать ему время сразиться со смертью и вцепиться ей в горло и чтобы пред лицом грозной опасности он мог укрепить в своем сердце решимость, а не ослабить ее. И если бы на мою долю выпало изобразить его в это самое возвышенное мгновение всей его жизни, я показал бы его окровавленным,

вырывающим свои внутренности, а не с мечом в руке, каким запечатлели его ваятели того времени: ведь для этого второго самоубийства потребовалось неизмеримо больше бесстрашия, чем для первого.

## Глава XIV
## О том, что наш дух препятствует себе самому

Забавно представить себе человеческий дух, колеблющийся между двумя равными по силе желаниями. Он несомненно никогда не сможет принять решение, ибо склонность и выбор предполагают неравенство в оценке предметов. И если бы кому-нибудь пришло в голову поместить нас между бутылкой и окороком, когда мы в одинаковой мере хотим и есть и пить, у нас не было бы, конечно, иного выхода, как только умереть от голода и от жажды. Чтобы справиться с этой трудностью, стоики, когда их спрашивают, что же побуждает нашу душу производить выбор в тех случаях, когда два предмета в наших глазах равноценны, или отбирать из большого числа монет именно эту, а не другую, хотя все они одинаковы и нет ничего, что заставляло бы нас отдать ей предпочтение, отвечают, что движения души такого рода произвольны и беспорядочны и вызываются посторонним, мгновенным и случайным воздействием. На мой взгляд, следовало

бы скорее сказать, что всякая вещь, с которой нам приходится иметь дело, неизменно отличается от подобной себе, сколь бы незначительным это различие ни было, и что при взгляде на нее или при прикосновении к ней мы ощущаем нечто такое, что соблазняет и привлекает нас, определяя наш выбор, даже если это и не осознано нами. Равным образом, если мы вообразим веревку, одинаково крепкую на всем ее протяжении, то решительно невозможно представить себе, что она может порваться, — ибо где же в таком случае, она окажется наименее крепкой? Порваться же целиком она также не может, ибо это противоречило бы всему наблюдаемому нами в природе. Если кто-нибудь добавит к этому еще теоремы, предлагаемые нам геометрией и неопровержимым образом доказывающие, что содержимое больше, нежели то, что содержит его, что центр равен окружности, что существуют две линии, которые, сближаясь друг с другом, все же никогда не смогут сойтись, а сверх того, еще философский камень, квадратуру круга и прочее, в чем причины и следствия столь же несовместимы, — он сможет извлечь, пожалуй, из всего этого кое-какие доводы в пользу смелого утверждения Плиния: solum certum nihil esse certi, et homine nihil miserius aut

superius[1] [broken link: #nb14_1].

## Глава XV
## О том, что трудности распаляют наши желания

Нет ни одного положения, которому не противостояло бы противоречащее ему, говорит наиболее мудрая часть философов[1] [broken link: #nb15_1]. Недавно я вспомнил замечательные слова одного древнего мыслителя[2] [broken link: #nb15_2], которые он приводит, дабы подчеркнуть свое презрение к смерти: «Никакое благо не может доставить нам столько же удовольствия, как то, к потере которого мы приготовились». In aequo est dolor amissae rei, et timor amittendae[3] [broken link: #nb15_3], — говорит тот же мыслитель, желая доказать, что наслаждение жизнью не может доставить нам истинной радости, если мы страшимся расстаться с нею. Мне кажется, что следовало бы сказать совершенно обратное, а именно: мы держимся за это благо с тем большей цепкостью и ценим его тем выше, чем мы неувереннее в нем и чем сильнее страшимся лишиться его. Ведь вполне очевидно, что подобно тому как огонь, войдя в соприкосновение с холодом,

становится ярче, так и наша воля, сталкиваясь с препятствиями, закаляется и оттачивается:

> *Si nunquam Danaen habuisset aenea turris,*
>
> *Non esset Danae de Iove facta parens,[4] [broken link: #nb15_4]*

и что нет, естественно, ничего столь противоположного нашему вкусу, как пресыщение удовольствиями, и ничего столь для него привлекательного, как то, что редко и малодоступно: omnium rerum voluptas ipso quo debet fugare periculo crescit[5] [broken link: #nb15_5].

> *Galla, nega; satiatur amor, nisi gaudia torquent.[6] [broken link: #nb15_6]*

Желая оградить супругов от охлаждения любовного пыла, Ликург повелел спартанцам посещать своих жен не иначе, как только тайком, и, найди их кто-нибудь вместе, это повлекло бы за собой такой же позор, как если бы то были люди, не связанные брачными узами[7] [broken link: #nb15_7]. Трудности в отыскании надежного места для встреч, опасность быть застигнутыми врасплох, страх перед ожидающим назавтра позором,

> *et languor, et silentium,*
>
> *Et latere petitus imo spiritus,[8] [broken*

*link: #nb15_8]*

это-то и создает острую приправу.

Сколько сладострастных забав порождается весьма скромными и пристойными рассуждениями о делах любви[9] [broken link: #nb15_9].

Сладострастие любит даже усиливать себя посредством боли; оно гораздо острее, когда обжигает и сдирает кожу. Куртизанка Флора рассказывала, что она никогда не спала с Помпеем без того, чтобы не оставить на его теле следов своих укусов[10] [broken link: #nb15_10]:

> *Quod petiere, premunt arcte, faciuntque dolorem*
>
> *Corporis, et dentes inlidunt saepe labellis:*
>
> *Et stimuli subsunt, qui instigant laedere id ipsum*
>
> *Quodcumque est, rabies unde illae germina surgunt.[11] [broken link: #nb15_11]*

Так же обстоит дело и со всем другим: трудность придает вещам цену. Тот, кто живет в провинции Анкона, охотнее дает обет совершить паломничество к святому Иакову Компостельскому, а жители Галисии — к богоматери Лоретской[12] [broken link: #nb15_12]; в Льеже высоко ценят

луккские целебные воды, а в Тоскане — целебные воды в Спа; в фехтовальной школе, находящейся в Риме, почти вовсе не увидишь жителей этого города, но зато там сколько угодно французов. И великий Катон, уподобляясь в этом всем нам, был пресыщен своею женою до полного отвращения к ней, пока она принадлежала ему, и начал жаждать ее, когда ею стал обладать другой[13] [broken link: #nb15_13].

Я удалил с конского завода и отправил в табун старого жеребца, который, даже ощущая близ себя запах кобыл, оставался бессильным; доступность удовлетворения похоти вызвала в нем пресыщение своими кобылами. Совсем иначе обстоит дело с чужими, и при виде любой из них, появляющейся близ его пастбища, он разражается неистовым ржанием и загорается столь же бешеным пылом, как прежде.

Наши желания презирают и отвергают все находящееся в нашем распоряжении; они гонятся лишь за тем, чего нет:

> *Transvolat in medio posita, et fugientia captat.[14] [broken link: #nb15_14]*

Запретить нам что-либо, значит придать ему в наших глазах заманчивость:

*nisi tu servare puellam*

*Incipis, incipiet desinere esse mea;[15] [broken link: #nb15_15]*

предоставить же его сразу, значит заронить в нас к нему презрение. И отсутствие, и обилие действуют на нас одинаково:

*Tibi quod superest, mihi quod delit, dolet.[16] [broken link: #nb15_16]*

И желание, и обладание в равной мере тягостны нам. Целомудрие любовниц несносно; но чрезмерная доступность и уступчивость их, говоря по правде, еще несноснее. Это оттого, что досада и раздражение возникают из высокой оценки того, что вызывает наше желание, ибо она обостряет и распаляет любовь; однако обладание вдосталь порождает в нас холодность, и страсть становится вялой, притупленной, усталой, дремлющей:

*Si qua volet regnare diu, contemnat amantem.[17] [broken link: #nb15_17]*

*… contemnite, amantes,*

*Sic hodie veniet si qua negavit heri.[18] [broken link: #nb15_18]*

Чего ради Поппея[19] [broken link: #nb15_19]

вздумала прятать под маской свою красоту, если не для того, чтобы придать ей в глазах любовников еще большую цену? Почему женщины скрывают до самых пят те прелести, которые каждая хотела бы показать и которые каждый желал бы увидеть? Почему под столькими покровами, наброшенными один на другой, таят они те части своего тела, которые главным образом и являются предметом наших желаний, а следовательно и их собственных? И для чего служат те бастионы, которые наши дамы начали с недавнего времени воздвигать на своих бедрах, если не для того, чтобы дразнить наши вожделения и, отдаляя нас от себя, привлекать к себе?

> *Et fugit ad salices, et se cupit ante videri.[20] [broken link: #nb15_20]*
>
> *Interdum tunica duxit opera moram.[21] [broken link: #nb15_21]*

К чему эти уловки девического стыда, эта неприступная холодность, это строгое выражение в глазах и на всем лице, это подчеркнутое неведение тех вещей, которые они знают лучше нас с вами, будто бы обучающих их всему этому, если не для того, чтобы разжечь в нас желание победить, преодолеть, разметать все эти цере-

монии и преграды, мешающие удовлетворению нашей страсти? Ибо не только наслаждение, но и гордое сознание, что ты соблазнил и заставил безумствовать эту робкую нежность и ребячливую стыдливость, обуздал и подчинил своему любовному экстазу холодную и чопорную бесстрастность, одержал верх над скромностью, целомудрием, сдержанностью, — в этом, по общему мнению, для мужчины и в самом деле великая слава; и тот, кто советует женщинам отказаться от всего этого, совершает предательство и по отношению к ним, и по отношению к себе самому. Нужно верить, что сердце женщины трепещет от ужаса, что наши слова оскорбляют ее чистый слух, что она ненавидит нас за то, что мы произносим их, и уступает лишь нашему грубому натиску, склоняясь перед насилием. Красота, сколь бы могущественной она ни была, не в состоянии без этого восполнения заставить поклоняться себе. Взгляните на Италию, где такое обилие ищущей покупателя красоты, и притом красоты исключительной; взгляните, к скольким уловкам и вспомогательным средствам приходится ей там прибегать, чтобы придать себе привлекательность! И все же, что бы она ни делала, — поскольку она продажна и доступна

для всех, — ей не удается воспламенять и захватывать. Вообще — и это относится также и к добродетели — из двух равноценных деяний мы считаем более прекрасным сопряженное с большими трудностями и большей опасностью.

Божественный промысел преднамеренно допустил, чтобы святая церковь его была раздираема столькими треволнениями и бурями. Он сделал это затем, чтобы разбудить этой встряскою благочестивые души и вывести их из той праздности и сонливости, в которые их погрузило столь длительное спокойствие. И если положить на одну из двух чаш весов потери, понесенные нами в лице многих заблудших, а на другую — выгоду от того, что мы вновь стали дышать полной грудью и, взбудораженные этой борьбой, обрели наше былое рвение и душевные силы, то, право, не знаю, не перевесит ли польза вреда.

Полностью устранив возможность развода, мы думали укрепить этим брачные узы; но, затянув узы, налагаемые на нас принуждением, мы в той же мере ослабили и обесценили узы, налагаемые доброй волей и чувством. В древнем Риме, напротив, средством, поддерживавшим устойчивость браков, долгое время пребывавших незыблемыми и глубоко почитаемыми, была

неограниченная свобода их расторжения для каждого выразившего такое желание; поскольку у римлян существовала опасность потерять своих жен, они окружали их большей заботой, нежели мы, и, несмотря на полнейшую возможность развода, за пятьсот с лишним лет здесь не нашлось никого, кто бы ею воспользовался: Quod licet, ingratum est; quod non licet acrius urit[22] [broken link: #nb15_22].

К вышесказанному можно добавить мнение одного древнего автора, считавшего, что смертные казни скорее обостряют пороки, чем пресекают их; что они не порождают стремления делать добро (ибо это есть задача разума и размышления), но лишь стремление не попадаться, творя злые дела: Latius excisae pestis contagia serpunt[23] [broken link: #nb15_23].

Не знаю, справедливо ли это суждение, но по личному опыту знаю, что меры подобного рода никогда не улучшают положения дел в государстве: порядок и чистота нравов достигаются совершенно иными средствами.

Древнегреческие историки упоминают об аргиппеях, обитавших по соседству со Скифией[24] [broken link: #nb15_24]. Они жили без розог и карающей палки; никто между ними не только

не помышлял о нападении на другие народы, но, больше того, если кто-нибудь спасался к ним бегством, он пользовался у них полной свободой — такова была чистота их жизни и их добродетель. И никто не осмеливался преследовать укрывшегося у них. К ним обращались за разрешением споров, возникавших между жителями окрестных земель.

Существуют народы, у которых охрана садов и полей, если они хотят их уберечь, осуществляется при помощи сетки из хлопчатой бумаги, и она оказывается более надежной и верной, чем наши изгороди и рвы[25] [broken link: #nb15_25]: Furem signata sollicitant. Aperta effractarius praeterit[26] [broken link: #nb15_26]. Среди всего прочего, ограждающего мой дом от насилий, порождаемых нашими гражданскими войнами, его оберегает, быть может, и легкость, с какою можно проникнуть в него. Попытки как-то защититься распаляют дух предприимчивости, недоверие — желание напасть. Я умерил пыл наших солдат, устранив из их подвигов этого рода какой бы то ни было риск и лишив их тем самым даже крупицы воинской славы, которая обычно оправдывает и покрывает такие дела: когда правосудия больше не существует, все, что сделано смело, то

и почетно. Я же превращаю захват моего дома в предприятие для трусов и негодяев. Он открыт всякому, кто постучится в него; весь его гарнизон состоит из одного-единственного привратника, как это установлено старинным обычаем и учтивостью, и привратник этот нужен не для того, чтобы охранять мои двери, но для того, чтобы пристойно и гостеприимно распахивать их. У меня нет никаких других стражей и часовых, кроме тех, которые мне даруют светила небесные. Дворянину не следует делать вид, будто он собирается защищаться, если он и впрямь не подготовлен к защите. Кто уязвим хоть с одной стороны, тот уязвим отовсюду: наши отцы не ставили своей целью строить пограничные крепости. Способы штурмовать — я имею в виду штурмовать без пушек и без большой армии — захватывать наши дома с каждым днем все умножаются, и они совершеннее способов обороны. Изобретательность, как правило, бывает направлена именно в эту сторону: над захватом ломают голову все, над обороной — только богатые. Мой замок был достаточно укреплен по тем временам, когда его возводили. В этом отношении я ничего к нему не добавил и всегда опасался, как бы крепость его не обернулась

против меня самого; к тому же, когда наступит мирное время, понадобится уничтожить некоторые из его укреплений. Опасно отказываться от них навсегда, но трудно вместе с тем и полагаться на них, ибо во время междоусобиц иной из числа ваших слуг может оказаться приверженцем партии, которой вы всего больше и опасаетесь, и где религия доставляет благовидный предлог, там нельзя доверять даже родственникам, поскольку у них есть возможность сослаться на высшую справедливость.

Государственная казна не в состоянии содержать наши домашние гарнизоны; это ее истощило бы. Не можем содержать их и мы, ибо это привело бы нас к разорению или — что еще более тягостно и более несправедливо — к разорению простого народа. Государство от моей гибели нисколько не ослабеет. В конце концов, если вы гибнете, то в этом повинны вы сами, и даже ваши друзья станут в большей мере винить вашу неосторожность и неосмотрительность, чем оплакивать вас, а также вашу неопытность и беспечность в делах, которые вам надлежало вести. И если столько хорошо охраняемых замков подверглось потоку и разграблению, тогда как мой все еще пребывает в полной сохранности, то

это наводит на мысль, уж не погубили ли они себя именно тем, что тщательно охранялись. Ведь это порождает стремление напасть и оправдывает действия нападающего: всякая охрана связана с представлением о войне. Если того пожелает господь, она обрушится, разумеется, и на меня, но я-то во всяком случае не стану ее призывать: дом мой — убежище, в котором я укрываюсь от войн. Я пытаюсь оградить этот уголок от общественных бурь, как пытаюсь оградить от них и другой уголок у себя в душе. Наша война может сколько угодно менять свои формы; пусть эти формы множатся, пусть возникают новые партии; что до меня, то я не пошевелюсь.

Во Франции немало укрепленных замков, но, насколько мне известно, из людей моего положения лишь я один всецело доверил небу охрану моего жилища. Я никогда не вывозил из него ни столового серебра, ни фамильных бумаг, ни ковров. Я не хочу ни наполовину бояться, ни наполовину спасаться. Если полное и искреннее доверие к воле господней может снискать ее благосклонность, то она пребудет со мной до конца дней моих, если же нет, то я пребывал под ее сенью достаточно долго, чтобы счесть длительность этого пребывания поразительной и

отметить ее. Неужели? Да, вот уже добрых тридцать лет[27] [broken link: #nb15_27]!

## Глава XVI
## О славе

Существует название вещи и сама вещь; название — это слово, которое указывает на вещь и обозначает ее. Название не есть ни часть вещи, ни часть ее сущности. Это нечто присоединенное к вещи и пребывающее вне ее. Бог, который в себе самом есть полная завершенность и верх совершенства, не может возвеличиваться и возрастать внутри себя самого, но имя его может возвеличиваться и возрастать через благословления и хвалы, воздаваемые нами явленным им делам. И поскольку мы не в состоянии вложить в него эти хвалы, ибо он не может расти во благе, мы обращаем их к его имени, которое есть нечто, хоть и пребывающее вне его сущности, но наиболее близкое к ней. Так обстоит дело лишь с одним богом, и ему одному принадлежат вся слава и весь почет. И нет ничего более бессмысленного, чем домогаться того же для нас, ибо, нищие и убогие духом, обладая несовершенной сущностью и постоянно нуждаясь в ее улучшении, мы должны прилагать все наши усилия только к этому и

ни к чему больше. Мы совсем полые и пустые, и не воздухом и словами должны мы заполнить себя: чтобы стать по-настоящему сильными, нам нужна более осязательная субстанция. Не много ума проявил бы тот голодающий, который занялся бы добыванием нарядного платья вместо того, чтобы постараться добыть себе сытную пищу. Как гласит ежедневная наша молитва: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus[1] [broken link: #nb16_1]. Нам недостает красоты, здоровья, добродетели и других столь же важных вещей; о внешних украшениях можно будет подумать позже, когда у нас будет самое насущное. Этот предмет более пространно и обстоятельно освещается теологией; я же осведомлен в нем недостаточно глубоко.

Хрисипп и Диоген[2] [broken link: #nb16_2] были первыми авторами — и притом наиболее последовательными и непреклонными, — выразившими презрение к славе. Среди всех наслаждений, говорили они, нет более гибельного, чем одобрение со стороны, нет никакого другого, от которого нужно было бы так бежать. И действительно, как показывает нам опыт, вред, проистекающий от подобного одобрения, необъятен: нет ничего, что в такой мере отравляло бы государей, как лесть,

ничего, что позволяло бы дурным людям с такой легкостью добиваться доверия окружающих; и никакое сводничество не способно так ловко и с таким неизменным успехом совращать целомудренных женщин, как расточаемые им и столь приятные для них похвалы. Первая приманка, использованная сиренами, чтобы завлечь Одиссея, была такого же рода:

> *К нам Одиссей богоравный, великая слава ахеян,*
>
> *К нам с кораблем подойди…[3] [broken link: #nb16_3]*

Эти философы говорили, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней хотя бы один палец:

> *Gloria quantalibet quid erit, si gloria tantum est?[4] [broken link: #nb16_4]*

Я говорю лишь о славе самой по себе, ибо нередко она приносит с собой кое-какие жизненные удобства, благодаря которым может стать желанной для нас: она снискивает нам всеобщее благоволение и ограждает хоть в некоторой мере от несправедливости и нападок со стороны других людей и так далее.

Такое отношение к славе было одним из главнейших положений учения Эпикура. Ведь предписание его школы: «Живи незаметно», воспрещающее людям брать на себя исполнение общественных должностей и обязанностей, необходимо предполагает презрение к славе, которая есть не что иное, как одобрение окружающими наших поступков, совершаемых у них на глазах. Кто велит нам таиться и не заботиться ни о чем, кроме как о себе, кто не хочет, чтобы мы были известны другим, тот еще меньше хочет, чтобы нас окружали почет и слава. И он советует Идоменею[5] [broken link: #nb16_5] не руководствоваться в своих поступках общепринятыми мнениями и взглядами, отступая от этого правила только затем, чтобы не навлекать на себя неприятностей, которые может доставить ему при случае людское презрение.

Эти рассуждения, на мой взгляд, поразительно правильны и разумны, но нам — я и сам не знаю почему — свойственна двойственность, и отсюда проистекает, что мы верим тому, чему вовсе не верим, и не в силах отделаться от того, что всячески осуждаем. Рассмотрим же последние слова Эпикура, сказанные им на смертном одре: они велики и достойны такого замечательно-

го философа, но на них все же заметна печать горделивого отношения к своему имени и того пристрастия к славе, которое он так порицал в своих поучениях. Вот письмо, продиктованное им незадолго перед тем, как от него отлетело дыхание.

«Эпикур шлет Гермарху[6] [broken link: #nb16_6] привет.

Я написал это в самый счастливый и вместе с тем последний день моей жизни, ощущая при этом такие боли в мочевом пузыре и в животе, что сильнее быть не может. И все же они возмещались наслаждением, которое я испытывал, вспоминая о своих сочинениях и речах. Ты же возьми под свое покровительство детей Метродора[7] [broken link: #nb16_7], как того требует от тебя твоя склонность к философии и ко мне, которую ты питаешь с раннего детства».

Вот это письмо. И если я считаю, что наслаждение, ощущаемое им в душе, как он говорит, при воспоминании о своих сочинениях, имеет касательство к славе, на которую он рассчитывал после смерти, то меня побуждает к этому распоряжение, содержащееся в его завещании. Этим распоряжением он предписывает, чтобы Аминомах и Тимократ, его наследники, предоставляли

для празднования его дня рождения в январе месяце суммы, какие укажет Гермарх, и равным образом оплачивали расходы на угощение близких ему философов, которые будут собираться в двадцатый день каждой луны в честь и в память его и Метродора.

Карнеад[8] [broken link: #nb16_8] был главой тех, кто держался противоположного мнения. Он утверждал, что слава желанна сама по себе, совершенно так же, как мы любим наших потомков исключительно ради них, не зная их и не извлекая из этого никакой выгоды для себя. Эти взгляды встретили всеобщее одобрение, ибо люди охотно принимают то, что наилучшим образом отвечает их склонностям. Аристотель предоставляет славе первое место среди остальных внешних благ. Он говорит: избегай, как порочных крайностей, неумеренности и в стремлении к славе, и в уклонении от нее[9] [broken link: #nb16_9]. Полагаю, что, имей мы перед собой книги, написанные на эту тему Цицероном, мы нашли бы в них вещи, воистину поразительные. Этот человек был до того поглощен страстной жаждой славы, что решился бы, как мне кажется, и притом очень охотно, впасть в ту же крайность, в которую впадали другие, полагая, что сама доб-

родетель желанна лишь ради почета, неизменно следующего за ней:

*Paulum sepultae distat inertiae*
*Celata virtus.[10] [broken link: #nb16_10]*

Это мнение до последней степени ложно, и мне просто обидно, что оно могло возникнуть в голове какого-нибудь человека, имевшего честь называться философом.

Если бы подобные взгляды были верны, то добродетельным нужно было бы быть лишь на глазах у других, а что касается движений души, в которых, собственно, и заключается добродетель, то нам не было бы никакой надобности подчинять их своей воле и налагать на них узы; это было бы необходимо только в тех случаях, когда они могли бы стать достоянием гласности.

Выходит, что обманывать допустимо, если это делается хитро и тонко! «Если ты знаешь, — говорит Карнеад[11] [broken link: #nb16_11], — что в таком-то месте притаилась змея и на это место, ничего не подозревая, собирается сесть человек, чья смерть, по твоим расчетам, принесет тебе выгоду, то, не предупредив его об опасности, ты совершишь злодеяние, и притом тем более великое, что твой поступок будет известен лишь

тебе одному». Если мы не вменим себе в закон поступать праведно, если мы приравняем безнаказанность к справедливости, то каких только злых дел не станем мы каждодневно творить. Я не считаю заслуживающим особой похвалы то, что сделал Секст Педуцей, честно возвратив вдове Гая Плоция[12] [broken link: #nb16_12] те его сокровища, которые Гай Плоций доверил ему без ведома кого-либо третьего (подобные вещи не раз делал также я сам), но я счел бы гнусным и омерзительным, если бы кто-нибудь не сделал этого. И я нахожу уместным и очень полезным вспомнить в наши дни о Секстилии Руфе[13] [broken link: #nb16_13], которого Цицерон осуждает за то, что он принял наследство против своей совести, хотя и пошел на это не только не вопреки законам, но и на основании их, а также о Марке Крассе и Квинте Гортензии, равно осуждаемых Цицероном. Будучи людьми влиятельными и чрезвычайно могущественными, они были как-то приглашены в долю одним посторонним для них человеком, собиравшимся завладеть наследством по подложному завещанию и надеявшимся таким способом обеспечить себе свою часть. Красе и Гортензий[14] [broken link: #nb16_14] удовольствовались сознанием, что

они не являются соучастниками подлога, но не отказались, однако, воспользоваться плодами его; они сочли, что, поскольку им не грозят ни обвинение по суду, ни свидетели, ни законы, они, стало быть, и не запятнали себя. Meminerint deum se habere testem, id est (ut ego arbitror) mentem suam[15] [broken link: #nb16_15].

Добродетель была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ценность ее основывалась только на славе. И бесплодными были бы в таком случае наши попытки предоставить ей особое, подобающее ей место, отделив ее от удачи, ибо есть ли еще что-нибудь столь же случайное, как известность? Profecto fortuna in omni re dominatur; ea res cunctas ex libidine magis, quam ex vero, celebrat, obscuratque[16] [broken link: #nb16_16]. Распространять молву о наших деяниях и выставлять их напоказ — это дело голой удачи: судьба дарует нам славу по своему произволу. Я не раз видел, что слава опережает заслуги, и не раз — что она безмерно превышает их. Кто первый заметил ее сходство с тенью, тот высказал нечто большее, чем хотел; и та и другая необычайно прихотливы: и тень также порою идет впереди тела, которое отбрасывает ее, порою и она также намного превосходит его

своею длиной. Те, которые поучают дворян быть доблестными только ради почета, — quasi non sit honestum, quod nobilitatum non sit[17] [broken link: #nb16_17], чему они учат, как не тому, чтобы человек никогда не подвергал себя опасности, если его не видят другие, и всегда заботился о том, чтобы были свидетели, которые могли бы потом рассказать о его храбрости — и это в таких случаях, когда представляется тысяча возможностей совершить нечто доблестное, оставаясь незамеченным? Сколько прекраснейших подвигов бесследно забывается в сумятице битвы! И кто предается наблюдению за другими в разгар такой схватки, тот, очевидно, остается в ней праздным и, свидетельствуя о поведении своих товарищей по оружию, свидетельствует тем самым против себя. Vera et sapiens animi magnitudo, honestum illud, quod maxime naturam sequitur, in factis positum non in gloria iudicat[18] [broken link: #nb16_18].

Вся слава, на которую я притязаю, это слава о том, что я прожил свою жизнь спокойно и притом прожил ее спокойно не по Метродору, Аркесилаю или Аристиппу[19] [broken link: #nb16_19], но по своему разумению. Ибо философия так и не смогла найти такой путь к спокойствию, который был

бы хорош для всех, и всякому приходится искать его на свой лад.

Чему обязаны Цезарь и Александр бесконечным величием своей славы, как не удаче? Скольких людей придавила фортуна в самом начале их жизненного пути! Сколько было таких, о которых мы ровно ничего не знаем, хотя они проявили бы не меньшую доблесть, если бы горестный жребий не пресек их деяний, можно сказать, при их зарождении? Пройдя через столько угрожавших его жизни опасностей, Цезарь, сколько я помню из того, что прочел о нем, ни разу не был ранен, а между тем тысячи людей погибли при гораздо меньшей опасности, нежели наименьшая, которую он преодолел. Бесчисленное множество прекраснейших подвигов не оставило по себе ни малейшего следа, и только редчайшие из них удостоились признания. Не всегда оказываешься первым в проломе крепостных стен или впереди армии на глазах у своего полководца, как если б ты был на подмостках. Смерть чаще настигает воина между изгородью и рвом; приходится искушать судьбу при осаде какого-нибудь курятника: нужно выбить из сарая каких-нибудь четырех жалких солдат с аркебузами; нужно отделиться от войск и действовать самостоятельно, руковод-

ствуясь обстоятельствами и случайностями. И если внимательно приглядеться ко всему этому, то нетрудно, как мне кажется, прийти к выводу, подсказываемому нам нашим опытом, а именно, что наименее прославленные события — самые опасные и что в войнах, происходивших в наше время, больше людей погибло при событиях незаметных и малозначительных, например при занятии или защите какой-нибудь жалкой лачуги, чем на полях почетных и знаменитых битв.

Кто считает, что напрасно загубит свою жизнь, если отдаст ее не при каких-либо выдающихся обстоятельствах, тот будет склонен скорее оставить свою жизнь в тени, чем принять славную смерть, и потому он пропустит немало достойных поводов подвергнуть себя опасности. А ведь всякий достойный повод поистине славен, и наша совесть не преминет возвеличить его в наших глазах. Gloria nostra est testimonium conscientiae nostrae[20] [broken link: #nb16_20].

Кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие, и, узнав, стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, — от того нельзя ожидать слишком многого.

*Credo che'l resto di quel verno cose*

*Facesse degne di tenerne conto;*
*Ma fur sin'à quel tempo si nascose,*
*Che non è colpa mia s'hor'non le conto:*
*Perche Orlando a far l'opre virtuose,*
*Piu ch'à narrarle poi, sempre era pronto;*
*Ne mal fu alcun'de li auoi fatti espresso,*
*Se non quando ebbe i testimoni appresso.[21] [broken link: #nb16_21]*

Нужно идти на войну ради исполнения своего долга и терпеливо дожидаться той награды, которая всегда следует за каждым добрым делом, сколь бы оно ни было скрыто от людских взоров, и даже за всякой добродетельной мыслью: эта награда заключается в чувстве удовлетворения, доставляемого нам чистой совестью, сознанием, что мы поступили хорошо. Нужно быть доблестным ради себя самого и ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы:

*Virtus, repulsae nescia sordidae,*
*Intaminatis fulget honoribus,*
*Nec sumit aut ponit secures*
*Arbitrio popularis aurae.[22] [broken link: #nb16_22]*

Совсем не для того, чтобы выставлять себя напоказ, наша душа должна быть стойкой и добродетельной; нет, она должна быть такою для нас, в нас самих, куда не проникает ничей взор, кроме нашего собственного. Это она научает нас не бояться смерти, страданий и даже позора; она дает нам силы переносить потерю наших детей, друзей и нашего состояния; и, когда представляется случай, она же побуждает нас дерзать среди опасностей боя, non emolumento aliquo, sed ipsius honestatis decore[23] [broken link: #nb16_23]. Это — выгода гораздо большая, и жаждать, и чаять ее гораздо достойнее, чем тянуться к почету и славе, которые в конце концов не что иное, как благосклонное суждение других людей о нас.

Чтобы решить спор о каком-нибудь клочке земли, нужно выбрать из целого народа десяток подходящих людей; а наши склонности и наши поступки, то есть наиболее трудное и наиболее важное из всех дел, какие только возможны, мы выносим на суд черни, матери невежества, несправедливости и непостоянства! Не бессмысленно ли жизнь мудреца ставить в зависимость от суда глупцов и невежд? An quidquam stultius, quam, quos singulos contemnas, eos aliquid putare esse uiniversos[24] [broken link: #nb16_24]. Кто

стремится угодить им, тот никогда ничего не достигнет; в эту мишень как ни целься, все равно не попадешь. Nil tam inaestimabile est, quam animi multitudinis[25] [broken link: #nb16_25]. Деметрий[26] [broken link: #nb16_26] сказал в шутку о гласе народном, что он не больше считается с тем, который исходит у толпы верхом, чем с тем, который исходит у нее низом. А другой автор высказывается еще решительнее: Ego hoc iudico, si quando turpe non sit, tamen non esse non turpe, cum id a multitudine laudetur[27] [broken link: #nb16_27].

Никакая изворотливость, никакая гибкость ума не могли бы направить наши шаги, вздумай мы следовать за столь беспорядочным и бестолковым вожатым; среди всей этой сумятицы слухов, болтовни и легковесных суждений, которые сбивают нас с толку, невозможно избрать себе мало-мальски правильный путь. Не будем же ставить себе такой переменчивой и неустойчивой цели; давайте неуклонно идти за разумом, и пусть общественное одобрение, если ему будет угодно, последует за нами на этом пути. И так как оно зависит исключительно от удачи, то у нас нет решительно никаких оснований считать, что мы обретем его скорее на каком-либо другом пути,

чем на этом. И если бы случилось, что я не пошел по прямой дороге, не отдав ей предпочтения потому, что она прямая, я все равно вынужден буду пойти по ней, убедившись на опыте, что в конце концов она наиболее безопасная и удобная: Dedit hoc providentia hominibus munus, ut honesta magis iuvarent[28] [broken link: #nb16_28]. В древности некий моряк во время сильной бури обратился к Нептуну со следующими словами: «О, бог, ты спасешь меня, если захочешь, а если захочешь, то, напротив, погубишь меня; но я по-прежнему буду твердо держать мой руль»[29] [broken link: #nb16_29]. В свое время я перевидал множество изворотливых, ловких, двуличных людей, и никто не сомневался, что они превосходят меня житейскою мудростью, — и все же они погибли, тогда как я выжил:

> *Risi successu posse carere dolos.[30] [broken link: #nb16_30]*

Павел Эмилий[31] [broken link: #nb16_31], отправляясь в свой знаменитый македонский поход, с особой настойчивостью предупреждал римлян, «чтобы в его отсутствие они попридержали языки насчет его действий». И в самом деле, необузданность людских толков и пере-

судов — огромная помеха в великих делах. Не всякий может противостоять противоречивой и оскорбительной народной молве, не всякий обладает твердостью Фабия[32] [broken link: #nb16_32], который предпочел допустить, чтобы праздные вымыслы трепали его доброе имя, чем хуже выполнить принятую им на себя задачу ради того, чтобы снискать себе славу и всеобщее одобрение.

Есть какое-то особенное удовольствие в том, чтобы слушать расточаемые тебе похвалы; но мы придаем ему слишком большое значение.

> *Laudari haud metuam, neque enim mihi cornea fibra est;*
>
> *Sed recti finemque extremumque esse recuso,*
>
> *Euge tuum et belle.[33] [broken link: #nb16_33]*

Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе. Я хочу быть богат собственным, а не заемным богатством. Посторонние видят лишь внешнюю сторону событий и вещей; между тем всякий имеет возможность изображать невозмутимость и стойкость даже в тех случаях, когда внутри он

во власти страха и весь в лихорадке; таким образом, люди не видят моего сердца, они видят лишь надетую мною маску. И правы те, кто обличает процветающее на войне лицемерие, ибо что же может быть для ловкого человека проще, чем избегать опасностей и одновременно выдавать себя за первого смельчака, несмотря на то что в сердце он трус? Есть столько способов уклоняться от положений, связанных с личным риском, что мы тысячу раз успеем обмануть целый мир, прежде чем ввяжемся в какое-нибудь по-настоящему смелое дело. Но и тут, обнаружив, что нам больше не отвертеться, мы сумеем и на этот раз прикрыть нашу игру соответствующею личиною и решительными словами, хотя душа наша и уходит при этом в пятки. И многие, располагай они платоновским перстнем[34] [broken link: #nb16_34], делающим невидимым каждого, у кого он на пальце и кто обернет его камнем к ладони, частенько скрывались бы с его помощью от людских взоров — и именно там, где им больше всего подобало бы быть на виду, — горестно сожалея о том, что они занимают столь почетное место, заставляющее их быть храбрыми поневоле.

> *Falsus honor iuvat, et mendax infamia terret*

*Quem, nisi mendosum et mendacem?[35] [broken link: #nb16_35]*

Вот почему суждения, составленные на основании одного лишь внешнего облика той или иной вещи, крайне поверхностны и сомнительны: и нет свидетеля более верного, чем каждый в отношении себя самого. И скольких только обозников не насчитывается среди сотоварищей нашей славы! Разве тот, кто крепко засел в вырытом другими окопе, совершает больший подвиг, нежели побывавшие тут до него, нежели те полсотни горемык-землекопов, которые проложили ему дорогу и за пять су в день прикрывают его своими телами?

*Non, quidquid turbida Roma*

*Elevet, accedas, examenque improbum in illa*

*Castiges trutina: nec tu quaesiveris extra.[36] [broken link: #nb16_36]*

Мы говорим, что, делая наше имя известным всюду и влагая его в уста столь многих людей, мы тем самым возвеличиваем его; мы хотим, чтобы оно произносилось с благоговением и чтобы это окружающее его сияние пошло ему на пользу — и это все, что можно привести в оправдание

нашего стремления к славе. Но в исключительных случаях эта болезнь приводит к тому, что иные не останавливаются ни перед чем, только бы о них говорили. Трог Помпеи сообщает о Герострате, а Тит Ливий о Манлии Капитолийском, что они жаждали скорее громкого, чем доброго имени[37] [broken link: #nb16_37]. Этот порок, впрочем, обычен: мы заботимся больше о том, чтобы о нас говорили, чем о том, что именно о нас говорят; с нас довольно того, что наше имя у всех на устах, а почему — это нас отнюдь не заботит. Нам кажется, что если мы пользуемся известностью, то это значит, что и наша жизнь, и сроки ее находятся под охраною знающих нас. Что до меня, то я крепко держусь за себя самого. И если вспомнить о другой моей жизни, той, которая существует в представлении моих добрых друзей, то, рассматривая ее как нечто совершенно самостоятельное и замкнутое в себе, я сознаю, что не вижу от нее никаких плодов и никакой радости, кроме, быть может, тщеславного удовольствия, связанного со столь фантастическим мнением обо мне. Когда я умру, я лишусь даже этого удовольствия и начисто утрачу возможность пользоваться той осязательной выгодой, которую приносят порой подобные мнения, и,

не соприкасаясь больше со славою, я не смогу удержать ее, как и она не сможет затронуть или осенить меня. Ибо я не могу рассчитывать, чтобы мое имя приобрело ее, хотя бы уже потому, что у меня нет имени, принадлежащего исключительно мне. Из двух присвоенных мне имен одно принадлежит всему моему роду и, больше того, даже другим родам; есть семья в Париже и Монпелье, именующая себя Монтень, другая — в Бретани и Сентонже — де Ла Монтень; утрата одного только слога поведет к смешению наших гербов и к тому, что я стану наследником принадлежащей им славы, а они, быть может, моего позора; и если мои предки звались некогда Эйкем, то это же имя носит один известный род в Англии[38] [broken link: #nb16_38]. Что до второго присвоенного мне имени, то оно принадлежит всякому, кто бы ни пожелал им назваться; таким образом, и я, быть может, окажу в свою очередь честь какому-нибудь портовому крючнику. И даже имей я свой опознавательный знак, что, собственно, мог бы он обозначать, когда меня больше не будет? Мог ли бы он отметить пустоту и заставить полюбить ее?

*Nunc levior cippus non imprimit ossa?*

*Laudat posteritas; nunc non e manibus illis,*
*Nunc non e tumulo, fortunataque favilla,*
*Nascuntur violae.[39] [broken link: #nb16_39]*

Но об этом я говорил уже в другом месте[40] [broken link: #nb16_40]. Итак, после битвы, в которой было убито и изувечено десять тысяч человек, говорят лишь о каких-нибудь пятнадцати видных ее участниках. Отдельный подвиг, даже если он совершен не простым стрелком, а кем-нибудь из военачальников, может обратить на себя внимание только в том случае, если это деяние действительно выдающейся доблести или счастливо повлекшее за собой значительные последствия. И хотя убить одного врага или двоих, или десятерых для каждого из нас и впрямь не безделица, ибо тут ставишь на карту все до последнего, — для мира, однако, все эти вещи настолько привычны и он наблюдает их изо дня в день в таком несметном количестве, что их нужно по крайней мере еще столько же, чтобы произвести на него заметное впечатление. Вот почему мы не можем рассчитывать на особую славу,

*casus multis hic cognitus ac iam*

*Tritus, et e medio fortunae ductus acervo.[41] [broken link: #nb16_41]*

Среди множества отважных людей, с оружием в руках павших за пятнадцать столетий во Франции, едва ли найдется сотня таких, о ком мы хоть что-нибудь знаем. В нашей памяти изгладились не только имена полководцев, но и самые сражения и победы; судьбы большей половины мира из-за отсутствия поименного списка его обитателей остаются безвестными и не оставляют по себе никакого следа.

Если бы я располагал знанием неведомых доселе событий, то, какой бы пример мне ни потребовался, я мог бы заменить ими известные нам. Да что тут говорить! Ведь даже о римлянах и о греках, хотя у них и было столько писателей и свидетелей, до нас дошло так немного!

*Ad nos vix tenuis famae perlabitur aura.[42] [broken link: #nb16_42]*

И еще хорошо, если через какое-нибудь столетие будут помнить, хотя бы смутно, о том, что в наше время во Франции бушевали гражданские войны.

Лакедемоняне имели обыкновение устраивать перед битвой жертвоприношения музам с тем,

чтобы деяния, совершаемые ими на поле брани, могли быть достойным образом и красноречиво описаны; они считали, что если их подвиги находят свидетелей, умеющих даровать им жизнь и бессмертие, то это — величайшая и редкостная милость богов.

Неужели же мы и в самом деле станем надеяться, что при всяком произведенном в нас выстреле из аркебузы и всякой опасности, которой мы подвергаемся, вдруг неведомо откуда возьмется писец, дабы занести эти происшествия в свой протокол? И пусть таких писцов оказалась бы целая сотня, все равно их протоколам жить не дольше трех дней, и никто никогда их не увидит. Мы не располагаем и тысячной долей сочинений, написанных древними; судьба определяет им жизнь — одним покороче, другим подольше, в зависимости от своих склонностей и пристрастий; и, не зная всего остального, мы вправе задаться вопросом: уж не худшее ли то, что находится в нашем распоряжении? Из таких пустяков, как наши дела, историй не составляют. Нужно было возглавлять завоевание какой-нибудь империи или царства; нужно было, подобно Цезарю, выиграть пятьдесят два крупных сражения, неизменно имея дело с более сильным противником. Десять

тысяч его соратников и несколько выдающихся полководцев, сопровождавших его в походах, храбро и доблестно отдали свою жизнь, а между тем имена их сохранялись в памяти лишь столько времени, сколько прожили их жены и дети:

> *quos fama obscura recondit.[43] [broken link: #nb16_43]*

И даже о тех, большие дела которых мы сами видели, даже о них, спустя три месяца или три года после их ухода от нас, говорят не больше, чем если бы они никогда не существовали на свете. Всякий, кто, пользуясь правильной меркой и подобающими соотношениями, призадумается над тем, о каких делах и о каких людях сохраняются в книгах слава и память, тот найдет, что в наш век слишком мало деяний и слишком мало людей, которые имели бы право на них притязать. Мало ли знали мы доблестных и достойных мужей, которым пришлось пережить собственную известность, которые видели — и должны были это стерпеть, — как на их глазах угасли почет и слава, справедливо завоеванные ими в юные годы? А ради каких-то трех лет этой призрачной и воображаемой жизни расстаемся мы с живой, не воображаемой, но действительной жизнью и

ввергаем себя в вечную смерть! Мудрецы ставят перед этим столь важным шагом другую, более высокую и более справедливую цель:

> *Recte facti fecisse merces est.[44] [broken link: #nb16_44]*
>
> *Officii fructus, ipsum officium est.[45] [broken link: #nb16_45]*

Для живописца или другого художника, или также ритора, или грамматика извинительно стремиться к тому, чтобы завоевать известность своими творениями; но деяния доблести и добродетели слишком благородны по своей сущности, чтобы домогаться другой награды, кроме заключенной в них самих ценности, и в особенности — чтобы домогаться этой награды в тщете людских приговоров.

И все же это заблуждение человеческого ума имеет заслуги перед обществом. Это оно побуждает людей быть верными своему долгу; оно пробуждает в народе доблесть; оно дает возможность властителям видеть, как весь мир благословляет память Траяна и с омерзением отворачивается от Нерона[46] [broken link: #nb16_46]; оно заставляет их содрогаться, видя, как имя этого знаменитого изверга, некогда столь

грозное и внушавшее ужас, ныне безнаказанно и свободно проклинается и подвергается поношению любым школьником, которому взбредет это в голову; так пусть же это заблуждение укореняется все глубже и глубже; и пусть его насаждают в нас, насколько это возможно.

Платон, применявший решительно все, лишь бы заставить своих граждан быть добродетельными, советует[47] [broken link: #nb16_47] им не пренебрегать добрым именем и уважением прочих народов и говорит, что благодаря некоему божественному внушению даже плохие люди часто умеют как на словах, так и в мыслях своих отчетливо различать, что хорошо и что дурно. Этот муж и его наставник — поразительно ловкие мастера добавлять повсюду, где им не хватает человеческих доводов, божественные наставления и откровения, — ut tragici poetae confugiunt ad deum, cum explicare argumenti exitum non possunt[48] [broken link: #nb16_48]. Возможно, что именно по этой причине Тимон[49] [broken link: #nb16_49] называет его в насмешку «великим чудотворцем».

Поскольку люди в силу несовершенства своей природы не могут довольствоваться доброкачественной монетой, пусть между ними обращается

и фальшивая. Это средство применялось решительно всеми законодателями, и нет ни одного государственного устройства, свободного от примеси какой-нибудь напыщенной чепухи или лжи, необходимых, чтобы налагать узду на народ и держать его в подчинении. Вот почему эти государственные устройства приписывают себе, как правило, легендарное происхождение и начала их полны сверхъестественных тайн. Именно это и придавало вес даже порочным религиям и побуждало разумных людей делаться их приверженцами. Вот почему, стремясь укрепить верность своих подданных, Нума и Серторий[50] [broken link: #nb16_50] пичкали их несусветным вздором, первый — будто нимфа Эгерия, второй — будто его белая лань сообщали им внушения богов, которым они и следовали.

И если Нума поднял авторитет своего свода законов, ссылаясь на покровительство этой богини, то то же сделали и Зороастр, законодатель бактрийцев и персов, ссылаясь на бога Ормузда, и Трисмегист египтян — на Меркурия, и Залмоксис скифов — на Весту, и Харонд халкидян — на Сатурна, и Минос критян — на Юпитера, и Ликург лакедемонян — на Аполлона, и Драконт и Солон афинян — на Минерву; и вообще любой

свод законов обязан своим происхождением кому-нибудь из богов, что ложно во всех случаях, за исключением лишь тех законов, которые Моисей дал иудеям по выходе из Египта[51] [broken link: #nb16_51].

Религия бедуинов, как рассказывает Жуанвиль[52] [broken link: #nb16_52], учит среди всего прочего и тому, что душа павшего за своего владыку вселяется в новую, телесную оболочку — более удобную, более красивую и более прочную, чем предыдущая, и он говорит, что из-за этого представления они с большей готовностью подвергают свою жизнь опасностям:

> *In ferrum mens prona viris, animaeque capaces*
>
> *Mortis, et ignavum est rediturae parcere vitae.[53] [broken link: #nb16_53]*

Вот весьма полезное верование, сколь бы вздорным оно ни было. У каждого народа можно встретить похожие вещи; этот предмет, впрочем, заслуживает отдельного рассуждения.

Чтобы добавить еще словечко к сказанному вначале — я не советую женщинам именовать своей честью то, что в действительности является их прямым долгом: ut enim consuetudo loquitur,

id solum dicitur honestum quod est populari fama gloriosum[54] [broken link: #nb16_54]; их долг — это, так сказать, сердцевина, их честь — лишь внешний покров. И я также не советую им оправдывать свой отказ пойти нам навстречу ссылкою на нее, ибо я наперед допускаю, что их склонности, их желания и их воля, к которым, пока они не обнаружат себя, честь не имеет ни малейшего отношения, еще более скромны, нежели их поступки:

> *Quae, quia non liceat, non facit, illa facit.[55] [broken link: #nb16_55]*

Желать этого — не меньшее оскорбление бога и собственной совести, чем совершить самый поступок. И поскольку дела такого рода прячутся ото всех и творятся тайно, то, не чти женщины своего долга и не уважай они целомудрия, для них не составило бы большого труда начисто скрыть какое-нибудь из них от постороннего взора и сохранить, таким образом, свою честь незапятнанной. Честный человек предпочтет скорее расстаться со своей честью, чем с чистой совестью.

## Глава XVII
## О самомнении

Существует и другой вид стремления к славе, состоящий в том, что мы создаем себе преувеличенное мнение о наших достоинствах. Основа его — безотчетная любовь, которую мы питаем к себе и которая изображает нас в наших глазах иными, чем мы есть в действительности. Тут происходит то же, что бывает с влюбленным, страсть которого наделяет предмет его обожания красотой и прелестью, приводя к тому, что, охваченный ею, он под воздействием обманчивого и смутного чувства видит того, кого любит, другим и более совершенным, чем тот является на самом деле.

Я вовсе не требую, чтобы из страха перед самовозвеличением люди принижали себя и видели в себе нечто меньшее, чем они есть; приговор во всех случаях должен быть равно справедливым. Подобает, чтобы каждый находил в себе только то, что соответствует истине; если это Цезарь, то пусть он смело считает себя величайшим полководцем в мире. Наша жизнь — это сплошная забота о приличиях; они опутали нас и заслонили

собой самую сущность вещей. Цепляясь за ветви, мы забываем о существовании ствола и корней. Мы научили женщин краснеть при малейшем упоминании о всех тех вещах, делать которые им ни в какой мере не зазорно; мы не смеем называть своим именем некоторые из наших органов, но не постыдимся пользоваться ими, предаваясь худшим видам распутства. Приличия запрещают нам обозначать соответствующими словами вещи дозволенные и совершенно естественные — и мы беспрекословно подчиняемся этому; разум запрещает нам творить недозволенное и то, что дурно, — и никто этому запрету не подчиняется. Я очень явственно ощущаю, насколько стеснительны для меня в данном случае законы, налагаемые приличиями, ибо они не дозволяют нам говорить о себе ни что-либо хорошее, ни что-либо дурное. Но довольно об этом.

Те, кому их судьба (назовем ее доброю или злою, как вам будет угодно) предоставила прожить жизнь, возвышающуюся над общим уровнем, те имеют возможность показать своими поступками, которые у всех на виду, что же они представляют собой. Те, однако, кому она назначила толкаться в безликой толпе и о ком ни одна душа не обмолвится ни словечком, если они сами

не сделают этого, — тем извинительно набраться смелости и рассказать о себе, обращаясь ко всякому, кому будет интересно послушать, и следуя в этом примеру Луцилия[1] [broken link: #nb17_1]:

> *Ille velut fidis arcana sodalibus olim*
>
> *Credebat libris, neque, si male cesserat, usquam*
>
> *Decurrens alio, neque si bene: quo fit, ut omnis*
>
> *Votiva pateat veluti descripta tabella*
>
> *Vita senis.[2] [broken link: #nb17_2]*

Как видим, он отмечал в своих записях и дела, и мысли свои, рисуя себя в них таким, каким представлялся себе самому: Nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtrectationi fuit[3] [broken link: #nb17_3].

Вот и я припоминаю, что еще в дни моего раннего детства во мне отмечали какие-то особые, сам не знаю какие, повадки и замашки, говорившие о пустой и нелепой надменности. По этому поводу я прежде всего хотел бы сказать следующее: нет ничего удивительного, что нам присущи известные свойства и наклонности, вложенные в нас при рождении и настолько укоренившиеся, что мы не можем уже ни ощущать, ни распознавать их

в себе; под влиянием таких естественных склонностей мы, сами того не замечая, непроизвольно усваиваем какую-нибудь привычку. Сознание своей красоты и связанное с этим некоторое жеманство явились причиной того, что Александр стал склонять голову несколько набок; они же придали речи Алкивиада картавость и шепелявость; Юлий Цезарь почесывал голову пальцем, а это, как правило, жест человека, одолеваемого тяжкими думами и заботами; Цицерон, кажется, имел обыкновение морщить нос, что является признаком врожденной насмешливости. Все эти движения могут совершаться неприметно для нас самих. Но наряду с ними есть другие, которые мы производим совершенно сознательно и о которых излишне распространяться; таковы, например, приветствия и поклоны, с помощью которых нередко добиваются чести, обычно незаслуженной, почитаться человеком учтивым и скромным, причем многих побуждает к этому честолюбие. Я очень охотно, особенно летом, снимаю в знак приветствия шляпу и всякому, кроме находящихся у меня в услужении, кто подобным образом поздоровается со мной, неизменно, независимо от его звания, отвечаю тем же. И все же я хотел бы высказать пожелание, обращенное к

некоторым известным мне принцам, чтобы они были в этом отношении более бережливыми и расточали свои поклоны с большим разбором, ибо, снимая шляпу перед каждым, они не достигают того, чего могли бы достигнуть. Если это приветствие не выражает особого благоволения, оно не производит должного действия. Говоря о манере держаться, сознательно усваиваемой иными людьми, вспомним о величавой осанке, которой отличался император Констанций[4] [broken link: #nb17_4]. Появляясь перед народом, он держал голову все время в одном положении: закинув ее немного назад, он не разрешал себе ни повернуть ее, ни наклонить, чтобы посмотреть на людей, стоявших на его пути и приветствовавших его с обеих сторон; тело его при этом также сохраняло полнейшую неподвижность, несмотря на толчки от движения колесницы; он не решался ни плюнуть, ни высморкаться, ни отереть пот с лица. Не знаю, были ли те замашки, которые когда-то отмечали во мне, вложены в меня самой природой и была ли мне действительно свойственна некая тайная склонность к указанному выше пороку, что, конечно, возможно, так как за движения своего тела я отвечать не могу. Но что касается движений души, то я хочу рассказать

здесь с полной откровенностью обо всем, что на этот счет думаю.

Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других. Что до первого из этих слагаемых, то, поскольку речь идет обо мне, необходимо, по-моему, прежде всего принять во внимание следующее: я постоянно чувствую на себе гнет некоего душевного заблуждения, которое немало огорчает меня отчасти потому, что оно совершенно необоснованно, а еще больше потому, что бесконечно навязчиво. Я пытаюсь смягчить его, но полностью избавиться от него я не могу. Ведь я неизменно преуменьшаю истинную ценность всего принадлежащего мне и, напротив, преувеличиваю ценность всего чужого, отсутствующего и не моего, поскольку оно мне недоступно. Это чувство уводит меня весьма далеко. Подобно тому как сознание собственной власти порождает в мужьях, а порой и в отцах достойное порицания пренебрежительное отношение к женам и детям, так и я, если передо мной два приблизительно равноценных творения, всегда более строг к своему. И это происходит не столько от стремления к совершенству и желания создать нечто лучшее, не позволяющих мне судить беспристрастно, сколько в силу того, что

обладание чем бы то ни было само по себе вызывает в нас презрение ко всему, чем владеешь и что находится в твоей власти. Меня прельщают и государственное устройство, и нравы дальних народов, и их языки. И я заметил, что латынь, при всех ее несомненных достоинствах, внушает мне почтение большее, чем заслуживает, в чем я уподобляюсь детям и простолюдинам. Поместье, дом, лошадь моего соседа, стоящие столько же, сколько мои, стоят в моих глазах дороже моих именно потому, что они не мои. Больше того, я совершенно не представляю себе, на что я способен, и восхищаюсь самонадеянностью и самоуверенностью, присущими в той или иной мере каждому, кроме меня. Это приводит к тому, что мне кажется, будто я почти ничего толком не знаю и что нет ничего такого, за выполнение чего я мог бы осмелиться взяться. Я не отдаю себе отчета в моих возможностях ни заранее, ни уже приступив к делу и познаю их только по результату. Мои собственные силы известны мне столь же мало, как силы первого встречного. Отсюда проистекает, что если мне случится справиться с каким-нибудь делом, я отношу это скорее за счет удачи, чем за счет собственного умения. И это тем более, что за все, за что бы я ни взялся, я

берусь со страхом душевным и с надеждой, что мне повезет. Равным образом мне свойственно, вообще говоря, также и то, что из всех суждений, высказанных древними о человеке как таковом, я охотнее всего принимаю те — и их-то я крепче всего и держусь, — которые наиболее непримиримы к нам и презирают, унижают и оскорбляют нас. Мне кажется, что философия никогда в такой мере не отвечает своему назначению, как тогда, когда она обличает в нас наше самомнение и тщеславие, когда она искренне признается в своей нерешительности, своем бессилии и своем невежестве. И мне кажется, что корень самых разительных заблуждений, как общественных, так и личных, это — чрезмерно высокое мнение людей о себе. Те, кто усаживается верхом на эпицикл[5] [broken link: #nb17_5] Меркурия, чтобы заглянуть в глубины неба, ненавистны мне не меньше, чем зубодеры. Ибо, занимаясь изучением человека и сталкиваясь с таким бесконечным разнообразием взглядов на этот предмет, с таким неодолимым лабиринтом встающих одна за другой трудностей, с такой неуверенностью и противоречивостью в самой школе мудрости, могу ли я верить — поскольку этим людям так и не удалось постигнуть самих себя и познать

свое естество, неизменно пребывающее у них на глазах и заключенное в них самих, раз они не знают даже, каким образом движется то, чему они сами сообщили движение, или описать и изъяснить действие тех пружин, которыми они располагают и пользуются, — могу ли я верить их мнениям о причинах приливов и отливов на реке Нил? Стремление познать сущность вещей дано человеку, согласно Писанию, как бич наказующий[6] [broken link: #nb17_6].

Но возвращаюсь к себе. С великим трудом, мне кажется, можно было бы найти кого-нибудь, кто ценил бы себя меньше — или, если угодно, кто ценил бы меня меньше, — чем я сам ценю себя. Я считаю себя самым что ни на есть посредственным человеком, и единственное мое отличие от других — это то, что я отдаю себе полный отчет в своих недостатках, еще более низменных, чем общераспространенные, и нисколько не отрицаю их и не стараюсь придумать для них оправдания. И я ценю себя только за то, что знаю истинную цену себе. Если во мне и можно обнаружить высокомерие, то лишь самое поверхностное, и происходит оно лишь от порывистости моего характера. Но этого высокомерия во мне такая безделица, что оно неприметно даже для мое-

го разума. Оно, так сказать, слегка окропляет меня, но отнюдь не окрашивает[7] [broken link: #nb17_7].

И действительно, что касается порождений моего ума, то, в чем бы они ни состояли, от меня никогда не исходило чего-либо такого, что могло бы доставить мне истинное удовольствие; одобрение же других нисколько не радует меня. Суждения мои робки и прихотливы, особенно когда касаются меня самого. Я без конца порицаю себя, и меня всегда преследует ощущение, будто я пошатываюсь и сгибаюсь от слабости. Во мне нет ничего, способного доставить удовлетворение моему разуму. Я обладаю достаточно острым и точным зрением, но, когда я сам принимаюсь за дело, оно начинает мне изменять в том, что я делаю. То же самое происходит со мной и тогда, когда я предпринимаю самостоятельные попытки в поэзии. Я бесконечно люблю ее и достаточно хорошо разбираюсь в произведениях, созданных кем-либо другим, но я становлюсь сущим ребенком, когда меня охватывает желание приложить к ней свою руку; в этих случаях я бываю несносен себе самому. Простительно быть глупцом в чем угодно, но только не в поэзии,

*mediocribus esse poetis*

*Non dii, non homines, non concessere columnae.[8] [broken link: #nb17_8]*

Хорошо было бы прибить это мудрое изречение на дверях лавок наших издателей, дабы преградить в них доступ такой тьме стихоплетов!

*verum*

*Nil securius est malo poeta.[9] [broken link: #nb17_9]*

Почему нет больше народов, понимающих это так, как тот, о котором будет рассказано ниже? Дионисий-отец[10] [broken link: #nb17_10] ценил в себе больше всего поэта. Однажды он отправил на Олимпийские игры вместе с колесницами, превосходившими своим великолепием все остальные, также певцов и поэтов, повелев им исполнять там его поэтические произведения; отправляя их, он дал им с собой по-царски роскошные, раззолоченные и увешанные коврами шатры и палатки. Когда дошла очередь до его стихов, изысканность и красота декламации поначалу привлекли к себе внимание слушателей, но, раскусив, насколько беспомощны и бездарны эти стихи, народ исполнился к ним презрения, а затем, проникаясь все больше и больше досадой, устремился в ярости на шатры и сорвал свою

злость, разметав их и изодрав в клочья. И то, что его колесницы также не показали на состязаниях ничего стоящего, и то, что корабль, на котором возвращались домой его люди, не достиг Сицилии и был выброшен на берег и разбит бурей близ Тарента, тот же народ счел достовернейшим знаком гнева богов, разъяренных, так же как он, плохими стихами. И даже моряки, избежавшие при кораблекрушении гибели, и те держались того же мнения, которое, как казалось, подтверждалось также и оракулом, предсказавшим Дионисию близкую смерть в таких выражениях: «Дионисий приблизится к своему концу, победив тех, кто лучше его». Сам Дионисий эти слова истолковал таким образом, будто тут подразумеваются карфагеняне, которые превосходили его своей мощью, и, ведя с ними войны, он нередко умышленно упускал из рук победу и останавливался на полпути, дабы не попасть в положение, на которое намекал оракул. Но он неправильно истолковал предсказанное, ибо бог имел в виду особые обстоятельства, а именно ту победу, которую он впоследствии несправедливо и при помощи подкупа одержал над более одаренными, нежели он, трагическими поэтами, поставив свою трагедию «Ленейцы» на драматическом

состязании, происходившем в Афинах. Тотчас же после этой победы он умер, и это произошло отчасти от охватившей его безмерной радости.

То, что я нахожу в себе извинительным, не является таковым само по себе и не заслуживает, говоря по справедливости, оправдания; оно извинительно лишь в сравнении с еще худшим, что я вижу перед собой и что принимается всеми с одобрением. Я завидую счастью тех, кто умеет радоваться делам рук своих и испытывать от этого приятное удовлетворение. Ведь это весьма легкий способ доставлять себе удовольствие, ибо его извлекаешь из себя самого, в особенности если обладаешь известным упорством в своих оценках. Мне знаком некий поэт, которому и стар и млад, все вместе и каждый в отдельности, словом, и небо и земля, в один голос кричат, что он ровно ничего не смыслит в поэзии. А он тем не менее продолжает мерить себя той же меркой, которую себе назначил. Он все снова и снова берется за старое, перекраивает и перерабатывает, и трудится, и упорствует, тем более неколебимый в своих суждениях, тем более несгибаемый, что твердостью их он обязан лишь себе самому.

Мои произведения не только не улыбаются мне, но всякий раз, как я прикасаюсь к ним, вы-

зывают у меня досаду:

> *Cum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno,*
>
> *Me quoque, qui feci, iudice, digna lini.[11] [broken link: #nb17_11]*

Пред моим мысленным взором постоянно витает идея, некий неотчетливый, как во сне, образ формы, неизмеримо превосходящий ту, которую я применяю. Я не могу, однако, уловить ее и использовать. Да и сама эта идея не поднимается, в сущности, над посредственностью. И это дает мне возможность увидеть воочию, до чего же далеки от наиболее возвышенных взлетов моего воображения и от моих чаяний творения, созданные столь великими и щедрыми душами древности. Их писания не только удовлетворяют и заполняют меня; они поражают и пронизывают меня восхищением; я явственно ощущаю их красоту, я вижу ее, если не полностью, не до конца, то во всяком случае в такой мере, что мне невозможно и думать о достижении чего-либо похожего. За что бы я ни брался, мне нужно предварительно принести жертвы грациям, как говорит Плутарх об одном человеке[12] [broken link: #nb17_12], дабы снискать их благосклонность:

*si quid enim placet,*
*Si quid dulce hominum sensibus influit,*
*Debentur lepidis omnia Gratiis.[13] [broken link: #nb17_13]*

Они ни в чем не сопутствуют мне; все у меня топорно и грубо; всему недостает изящества и красоты. Я не умею придавать вещам ценность свыше той, какой они обладают на деле: моя обработка не идет на пользу моему материалу. Вот почему он должен быть у меня лучшего качества; он должен производить впечатление и блестеть сам по себе. И если я берусь за сюжет попроще и позанимательнее, то делаю это ради себя, ибо мне вовсе не по нутру чопорное и унылое мудрствование, которому предается весь свет. Я делаю это, чтобы доставить отраду себе самому, а не моему стилю, который предпочел бы сюжеты более возвышенные и строгие, если только заслуживает названия стиля беспорядочная и бессвязная речь или, правильнее сказать, бесхитростное просторечие и изложение, не признающее ни полагающейся дефиниции, ни правильного членения, ни заключения, путаное и нескладное, вроде речей Амафания и Рабирия[14] [broken link: #nb17_14]. Я не умею ни угождать, ни веселить,

ни подстрекать воображение. Лучший в мире рассказ становится под моим пером сухим, выжатым и безнадежно тускнеет. Я умею говорить только о том, что продумано мною заранее, и начисто лишен той способности, которую замечаю у многих моих собратьев по ремеслу и которая состоит в уменье заводить разговор с первым встречным, держать в напряжении целую толпу людей или развлекать без устали слух государя, болтая о всякой всячине, и при этом не испытывать недостатка в темах для разглагольствования — поскольку люди этого сорта хватаются за первую подвернувшуюся им, — приспосабливая эти темы к настроениям и уровню тех, с кем приходится иметь дело. Принцы не любят серьезных бесед, а я не люблю побасенок. Я не умею приводить первые пришедшие в голову и наиболее доступные доводы, которые и бывают обычно самыми убедительными; о каком бы предмете я ни высказывался, я охотнее всего вспоминаю наиболее сложное из всего, что знаю о нем. Цицерон считает, что в философских трактатах наиболее трудная часть — вступление[15] [broken link: #nb17_15]. Прав он или нет, для меня лично самое трудное — заключение. И вообще говоря, нужно уметь отпускать струны до любого

потребного тона. Наиболее высокий — это как раз тот, который реже всего употребляется при игре. Чтобы поднять легковесный предмет, требуется по меньшей мере столько же ловкости, сколько необходимо, чтобы не уронить тяжелый. Иногда следует лишь поверхностно касаться вещей, а иной раз, наоборот, надлежит углубляться в них. Мне хорошо известно, что большинству свойственно копошиться у самой земли, поскольку люди, как правило, познают вещи по их внешнему облику, по коре, покрывающей их, но я знаю также и то, что величайшие мастера, и среди них Ксенофонт и Платон, снисходили нередко к низменной и простонародной манере говорить и обсуждать самые разнообразные вещи, украшая ее изяществом, которое свойственно им во всем.

Впрочем, язык мой не отличается ни простотой, ни плавностью; он шероховат и небрежен, у него есть свои прихоти, которые не в ладу с правилами; но каков бы он ни был, он все же нравится мне, если и не по убеждению моего разума, то по душевной склонности. Однако я хорошо чувствую, что иной раз захожу, пожалуй, чересчур далеко и, желая избегнуть ходульности и искусственности, впадаю в другую крайность;

*brevis esse laboro,*

*Obscurus fio.[16] [broken link: #nb17_16]*

Платон говорит[17] [broken link: #nb17_17], что многословие или краткость не являются свойствами, повышающими или снижающими достоинства языка. Отмечу, что всякий раз, когда я пробовал держаться чуждого мне стиля, а именно ровного, единообразного и упорядоченного, я всегда терпел неудачу. И добавлю, что хотя каденции и цезуры Саллюстия[18] [broken link: #nb17_18] мне более по душе, я все же считаю Цезаря и более великим и менее доступным для подражания. И если мои склонности влекут меня скорее к воспроизведению стиля Сенеки, то это не препятствует мне гораздо выше ценить стиль Плутарха. Как в поступках, так и в речах я следую, не мудрствуя, своим естественным побуждениям, откуда и происходит, быть может, то, что я говорю лучше, чем пишу. Деятельность и движение воодушевляют слова, в особенности у тех, кто подвержен внезапным порывам, что свойственно мне, и с легкостью воспламеняется; поза, лицо, голос, одежда и настроение духа могут придать значительность тем вещам, которые сами по себе лишены ее, — и даже пустой болтовне. Мессала у Тацита[19] [broken link: #nb17_19] жалуется на то, что узкие одеяния, принятые в его время, а

также устройство помоста, с которого выступали ораторы, немало вредили его красноречию.

Мой французский язык сильно испорчен и в смысле произношения и во всех других отношениях варварством той области, где я вырос; я не знаю в наших краях ни одного человека, который не чувствовал бы сам своего косноязычия и не продолжал бы тем не менее оскорблять им чисто французские уши. И это не оттого, что я так уж силен в своем перигорском наречии, ибо я сведущ в нем не более, чем в немецком языке, о чем нисколько не сожалею. Это наречие, как и другие, распространенные вокруг в той или иной области, — как, например, пуатвинское, сентонжское, ангулемское, лимузинское, овернское — тягучее, вялое, путаное; впрочем, повыше нас, ближе к горам, существует еще гасконская речь, на мой взгляд, выразительная, точная, краткая, поистине прекрасная; это язык действительно мужественный и воинственный в большей мере, чем какой-либо другой из доступных моему пониманию, язык настолько же складный, могучий и точный, насколько изящен, тонок и богат французский язык.

Что до латыни, которая в детстве была для меня родным языком[20] [broken link: #nb17_20], то,

отвыкнув употреблять ее в живой речи, я утратил беглость, с какою некогда говорил на ней; больше того, я отвык и писать по-латыни, а ведь в былое время я владел ею с таким совершенством, что меня прозвали «учителем Жаном». Вот как мало стою я и в этом отношении.

Красота — великая сила в общении между людьми; это она прежде всего остального привлекает людей друг к другу, и нет человека, сколь бы диким и хмурым он ни был, который не почувствовал бы себя в той или иной мере задетым ее прелестью. Тело составляет значительную часть нашего существа, и ему принадлежит в нем важное место[21] [broken link: #nb17_21]. Вот почему его сложение и особенности заслуживают самого пристального внимания. Кто хочет разъединить главнейшие составляющие нас части и отделить одну из них от другой, те глубоко неправы; напротив, их нужно связать тесными узами и объединить в одно целое; необходимо повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в себе самом, не презирал и не оставлял в одиночестве нашу плоть (а он и не мог бы сделать это иначе, как из смешного притворства), но сливался с нею в тесном объятии, пекся о ней, помогал ей во всем, наблюдал за нею, направлял ее своими со-

ветами, поддерживал, возвращал на правильный путь, когда она с него уклоняется, короче говоря, вступил с нею в брак и был ей верным супругом, так чтобы в их действиях не было разнобоя, но напротив, чтобы они были неизменно едиными и согласными.

Христиане имеют особое наставление относительно этой связи, ибо они знают, что правосудие господне предполагает это единение и сплетение тела и души настолько тесным, что и тело, вместе с душой, обрекает на вечные муки или вечное блаженство; они знают также, что бог видит все дела каждого человека и хочет, чтобы он во всей своей цельности получал по заслугам своим либо кару, либо награду.

Школа перипатетиков, из всех философских школ наиболее человечная, приписывала мудрости одну-единственную заботу, а именно — печься об общем благе этих обеих живущих совместною жизнью частей нашего существа и обеспечивать им это благо. Перипатетики полагали, что прочие школы, недостаточно углубленно занимаясь рассмотрением вопроса об этом совместном существовании, в равной мере впадали в ошибку, уделяя все свое внимание, одни — телу, другие — душе, и упуская из виду свой

предмет, человека, и ту, кого они, вообще говоря, признают своей наставницей, то есть природу. Весьма возможно, что преимущество, даруемое нам природой в виде красоты, и повело к первым отличиям между людьми и к тому неравенству среди них, из которого и выросло преобладание одних над другими:

> *agros divisere atque dedere*
>
> *Pro facie cuiusque, et viribus ingenioque:*
>
> *Nam facies multum valuit viresque virebant.[22] [broken link: #nb17_22]*

Что до меня, то я немного ниже среднего роста. Этот недостаток не только вредит красоте человека, но и создает неудобство для всех тех, кому суждено быть военачальниками и вообще занимать высокие должности, ибо авторитетность, придаваемая красивой внешностью и телесной величавостью, — далеко не последняя вещь. Гай Марий[23] [broken link: #nb17_23] с большой неохотой принимал в армию солдат ростом менее шести футов. «Придворный»[24] [broken link: #nb17_24] имеет все основания высказывать пожелание, чтобы дворянин, которого он воспитывает, был скорее обычного роста, чем какого-либо иного; он прав также и в том, что не

хочет видеть в нем ничего из ряда вон выходящего, что подавало бы повод указывать на него пальцем. Но если и нужна золотая середина, то в случае необходимости выбора между отклонениями в ту или другую сторону я предпочел бы — если бы речь шла о человеке военном, — чтобы он был скорее выше, чем ниже среднего роста. Люди низкого роста, говорит Аристотель[25] [broken link: #nb17_25], могут быть очень миловидными, но красивыми они никогда не бывают; в человеке большого роста мы видим большую душу, как в большом, рослом теле — настоящую красоту. Индийцы и эфиопы, говорит тот же автор[26] [broken link: #nb17_26], избирая своих царей и правителей, обращали внимание на красоту и высокий рост избираемых. И они были правы, ибо, если во главе войска находится вождь могучего и прекрасного телосложения, его почитают те, кто идет за ним, и страшатся враги:

> *Ipse inter primos praestanti corpore Turnus*
>
> *Vertitur, arma tenens, et toto vertice supra est.[27] [broken link: #nb17_27]*

Наш великий, божественный и небесный царь, каждая мысль которого должна быть тщательно,

благочестиво и благоговейно принимаема нами, не пренебрег телесной красотой: speciosus forma prae filiis hominum[28] [broken link: #nb17_28].

Также и Платон наряду с умеренностью и твердостью требует, чтобы правители его государства обладали красивой наружностью[29] [broken link: #nb17_29]. Чрезвычайно досадно, если, видя вас среди ваших людей, к вам обращают вопрос: «А где же ваш господин?», и если на вашу долю приходятся лишь остатки поклонов, расточаемых вашему цирюльнику или секретарю, как это случилось с беднягой Филопеменом[30] [broken link: #nb17_30]. Однажды он прибыл раньше сопровождавших его в тот дом, где его ожидали, и хозяйка, не зная его в лицо и видя, до чего он невзрачен собой, велела ему помочь служанкам натаскать воду и разжечь огонь, чтобы услужить Филопемену. Лица, состоявшие в его свите, прибыв туда и застав его за этим приятным занятием, — ибо он счел необходимым повиноваться полученному им приказанию, — спросили его, что он делает. «Я расплачиваюсь, — сказал он в ответ, — за мое уродство». Красота всех частей тела нужна женщине, но красота стана — единственная, необходимая мужчине. Там, где налицо малый рост, там ни ширина и выпуклость лба, ни

белизна глазного белка и приветливость взгляда, ни изящная форма носа, ни небольшие размеры рта и ушей, ни ровные и белые зубы, ни равномерная густота каштановой бороды, ни красота ее и усов, ни округлая голова, ни свежий цвет лица, ни благообразие черт его, ни отсутствие дурного запаха, исходящего от тела, ни пропорциональность частей его не в состоянии сделать мужчину красивым.

В остальном я сложения крепкого и, что называется, ладно скроен; лицо у меня не то чтобы жирное, но достаточно полное; темперамент — нечто среднее между жизнерадостным и меланхолическим, я наполовину сангвиник, наполовину холерик:

> *Unde rigent setis mihi crura, et pectora villis;[31] [broken link: #nb17_31]*

здоровье у меня крепкое, и я неизменно чувствую себя бодрым и, хотя я уже в годах, меня редко мучили болезни. Таким, впрочем, я был до сих пор, ибо теперь, когда перейдя порог сорока лет, я ступил уже на тропу, ведущую к старости, я больше не считаю себя таковым:

> *minutatim vires et robur adultum*
> *Frangit, et in partem peiorem liquitur*

*aetas.[32] [broken link: #nb17_32]*

То, что ожидает меня в дальнейшем, будет не более чем существованием наполовину; это буду уже не я: что ни день, я все дальше и дальше ухожу от себя и обкрадываю себя самого:

> *Singula de nobis anni praedantur euntes.[33] [broken link: #nb17_33]*

Что до ловкости и до живости, то их я никогда не знал за собой. Я — сын отца, поразительно живого и сохранявшего бодрость вплоть до глубокой старости. И не было человека его круга и положения, который мог бы сравняться с ним в телесных упражнениях разного рода, в чем бы они ни состояли; точно так же не было человека, который не превзошел бы меня в этом деле. Исключение составляет, пожалуй, лишь один бег: тут я был в числе средних. Что касается музыки, то ни пению, к которому я оказался совершенно неспособен, ни игре на каком-либо инструменте меня так и не смогли обучить. В танцах, игре в мяч, борьбе я никогда не достигал ничего большего, чем самой что ни на есть заурядной посредственности. Ну а в плаванье, искусстве верховой езды и прыжках я и вовсе ничего не достиг. Руки мои до того неловки, неуклюжи, что я не в состоянии сколь-

ко-нибудь прилично писать даже для себя самого, и случается, что, нацарапав кое-как что-нибудь, я предпочитаю написать то же самое заново, чем разбирать и исправлять свою мазню. Да и читаю вслух я нисколько не лучше: я чувствую, что усыпляю слушателей. Словом, я великий грамотей! Я не умею правильно запечатать письмо и никогда не умел чинить перья; не умел я также ни подобающим образом пользоваться ножом за едой, ни взнуздывать и седлать лошадь, ни носить на руке и спускать сокола, ни разговаривать с собаками, ловчими птицами и лошадьми. Моим телесным свойствам соответствуют в общем и свойства моей души. Моим чувствам также неведома настоящая живость, они также отличаются лишь силой и стойкостью. Я выносли и легко переношу всякого рода тяготы, но выносли я только тогда, когда считаю это необходимым, и только до тех пор, пока меня побуждает к этому мое собственное желание,

> *Molliter*
> *austerum studio fallente laborem.[34] [broken link: #nb17_34]*

Иначе говоря, если меня не манит предвкушаемое мной удовольствие и если мной руководит

нечто другое, а не моя собственная свободная воля, я ничего не стою, ибо я таков, что, кроме здоровья и жизни, нет ни одной вещи на свете, ради которой я стал бы грызть себе ногти и которую готов был бы купить ценою душевных мук и насилия над собой,

> *tanti mihi non sit opaci*
>
> *Omnis arena Tagi, quodque in mare volvitur aurum.[35] [broken link: #nb17_35]*

До крайности ленивый, до крайности любящий свободу и по своему характеру и по убеждению, я охотнее отдам свою кровь, чем лишний раз ударю пальцем о палец. Душа моя жаждет свободы и принадлежит лишь себе и никому больше; она привыкла распоряжаться собой по собственному усмотрению. Не зная над собой до этого часа ни начальства, ни навязанного мне господина, я беспрепятственно шел по избранному мной пути, и притом тем шагом, который мне нравился. Это меня изнежило и сделало непригодным к службе другому.

У меня не было никакой нужды насиловать мой характер — мою тяжеловесность, любовь к праздности и безделью, — ибо, оказавшись со дня рождения на такой ступени благополучия, что я

счел возможным остановиться на ней, и на такой ступени здравомыслия, что это оказалось возможным, я ничего не искал и ничего не обрел:

> *Non agimur tumidis velis Aquilone secundo,*
>
> *Non tamen adversis aetatem ducimus Austris:*
>
> *Viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re,*
>
> *Extremi primorum extremis usque priores.[36] [broken link: #nb17_36]*

Я нуждался для этого лишь в одном — в способности довольствоваться своей судьбой, то есть в таком душевном состоянии, которое, говоря по правде, вещь одинаково редкая среди людей всякого состояния и положения, но на практике чаще встречающаяся среди бедняков, чем среди людей состоятельных. И причина этого, надо полагать, заключается в том, что жажда обогащения, подобно всем другим страстям, владеющим человеком, становится более жгучей, когда человек уже испробовал, что такое богатство, чем тогда, когда он вовсе не знал его; а, кроме того, добродетель умеренности встречается много реже, чем добродетель терпения. Я не нуждаюсь ни в чем, кроме того, чтобы мирно наслаждать-

ся благами, дарованными мне господом богом от неисповедимых щедрот его. Мне никогда не случалось нести какого-нибудь тягостного труда. Мне почти всегда приходилось заниматься лишь собственными делами; а если порою и доводилось брать на себя чужие дела, то соглашался я на это только с тем условием, что буду вести их в удобное для меня время и по-своему. Так оно и бывало в действительности, поскольку дела эти поручали мне люди, исполненные ко мне доверия, знавшие, что я представляю собой, и не толкавшие меня в спину. Ведь люди умелые извлекают кое-какую пользу даже из строптивой и норовистой лошади.

Мое детство протекало в условиях весьма благоприятных и нестеснительных; мне было совершенно неведомо строгое подчинение чужой воле. Все это, вместе взятое, воспитало во мне мягкость характера и сделало меня неустойчивым пред лицом неприятностей, и я неизменно бываю рад, когда от меня скрывают мои убытки и неполадки в хозяйстве, способные задеть меня за живое. В графу моих расходов я вношу также и то, что, по моей нерадивости, было истрачено лишнего на прокорм и содержание моих слуг:

*haec nempe supersunt,*

*Quae dominum fallant, quae prosint furibus.[37] [broken link: #nb17_37]*

Я предпочитаю не вести счет тому, что имею, лишь бы не быть в точности осведомленным о понесенных мною убытках; и прошу тех, кто живет вместе со мной, чтобы в тех случаях, когда они не испытывают ко мне чувства признательности и обманывают меня, они делали это, хороня концы в воду. Не располагая достаточной твердостью, чтобы выносить докучливую возню с различными, обступающими нас со всех сторон заботами, не умея постоянно напрягать свою волю, чтобы устраивать и улаживать мои дела так, как мне бы хотелось, я, полагаясь во всем на судьбу, следую, насколько это для меня достижимо, такому правилу: «Ожидать всего самого худшего и, в случае если это худшее грянет, мужественно переносить его с кротостью и терпением». Только к этому я и стремлюсь, именно к этому клонятся все мои рассуждения.

Когда мне угрожает опасность, я думаю не столько о том, как избегнуть ее, сколько о том, до чего, в сущности, не важно, удастся ли мне ее избежать. Ну а если она настигнет меня, что из этого? Не имея возможности воздействовать на события, я воздействую на себя самого и покорно

следую за ними, раз не могу заставить их идти за собой. Я никогда не был искусен в том, чтобы отводить от себя удары судьбы, уклоняться от них или заставлять ее силой делать угодное мне, как никогда не умел также устраивать свои дела подобающим образом, руководствуясь голосом благоразумия. Еще в меньшей мере я обладаю выносливостью, чтобы смиряться с мучительными и тягостными заботами, которые необходимы для этого. И наиболее мучительное для меня состояние — это пребывать в обстоятельствах, которые нависают надо мной и теснят меня, а также метаться между надеждой и страхом.

Долго раздумывать над каким-либо делом, хотя бы самым пустячным, — занятие, для меня совершенно несносное, и я ощущаю, что мой ум подавлен неизмеримо сильнее, когда ему приходится претерпевать шатания и толчки, порождаемые неуверенностью и сомнениями, чем когда, свободный от колебаний, он принимает, полагаясь на счастье, то или иное окончательное решение, в чем бы оно ни состояло. Лишь немногие страсти нарушали мой сон, но что до раздумий, то даже самое легкое безнадежно расстраивает его. Точно так же я не люблю покатых и скользких обочин дороги, а охотнее всего

пользуюсь ее самой наезженной частью, хотя она в наиболее грязная и наиболее вязкая, ибо, стремясь к безопасности, я могу быть уверен, что отсюда я уже никуда не свалюсь. Равным образом я предпочитаю явные бедствия, ибо тут по крайней мере меня не томит неизвестность — пройдут ли они стороной или нет; лучше уж пусть судьба одним ударом ввергнет меня в страдание:

> *dubia plus torquent mala.[38] [broken link: #nb17_38]*

Когда приходит беда, я встречаю ее, как подобает мужчине, но во всех иных обстоятельствах веду себя как сущий младенец. Страх перед возможным падением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которую может причинить самый ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу его страсть доставляет мучения, которых не знает бедняк, а ревнивцу его страсть — муки, неизвестные рогоносцу. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде.

Самая низкая ступенька — самая прочная: она — основа устойчивости всей лестницы. Стоя на ней, можно ни о чем не тревожиться; будучи вделана накрепко, она служит опорой всему остальному. Не содержит ли в себе нечто фи-

лософское следующий пример, явленный нам одним дворянином, пользовавшимся в свое время широкой известностью. Он женился уже в летах, проведя молодость изрядным повесой. Это был мастак поболтать и большой насмешник. Вспоминая, сколь удобной мишенью были для него рогоносцы и как часто он потешался над ними, этот дворянин, дабы оградить себя от того, же, взял в жены женщину, которую подцепил в таком месте, где каждый мог иметь ее за деньги, и они начали совместную жизнь, обменявшись такими приветствиями: «Добрый день, потаскушка», «Добрый день, рогоносец». И ни о чем он чаще и откровеннее не беседовал со своими гостями, как о причинах, побудивших его жениться на этой особе. Благодаря этому он обуздывал шедшие за его спиной пересуды и отводил от себя острие попреков этого рода.

Что касается честолюбия, которое — ближайший сосед самомнению или, скорее, дитя его, то для того, чтобы распалить во мне эту страсть, пришлось бы, пожалуй, самому счастью схватить меня за руку. Ибо навязать ради зыбкой надежды заботу на шею и подвергать себя бесчисленным тяготам, неизбежным вначале для всякого, кто жаждет возвыситься над другими, — нет, это

отнюдь не по мне: spem pretio non emo[39] [broken link: #nb17_39].

Я держусь того, что ясно вижу и чем обладаю, и никогда не удаляюсь от моей гавани,

> *Alter remus aquas, alter tibi radat arenas.[40] [broken link: #nb17_40]*

И к тому же, мало кому удается достигнуть чего-нибудь, не рискуя предварительно своим кровным добром; и я считаю, что если его достаточно, чтобы поддерживать свое существование в тех же условиях, в каких ты родился и вырос, то совершеннейшее безумие терять то, что имеешь, в шатком расчете на возможность приобрести большее. Тому, кому судьба отказала в местечке, где он мог бы обосноваться и обеспечить себе спокойную и беззаботную жизнь, тому простительно рисковать тем, чем он владеет, поскольку так ли, иначе ли, а нужда все равно заставит его пуститься в погоню за счастьем. Capienda rebus in malis praeceps via est[41] [broken link: #nb17_41].

И я скорее готов оправдать младшего сына, бросающего на ветер свою законную долю[42] [broken link: #nb17_42], чем старшего, который, являясь блюстителем чести своего рода, сам доводит себя до разорения.

Руководствуясь советами моих добрых друзей минувших времен, я нашел самый прямой и легкий путь, чтобы избавиться от подобных желаний и оставаться невозмутимо спокойным, —

> *Cui sit conditio dulcis sine pulvere palmae,[43] [broken link: #nb17_43]* —

имея достаточно трезвое представление о своих силах, понимая, что на большие дела их не хватит, и храня в памяти слова покойного канцлера Оливье, говорившего, «что французы похожи на обезьян, которые взбираются по деревьям, перескакивая с ветки на ветку, и успокаиваются только тогда, когда, добравшись до самой верхушки, показывают оттуда свои зады».

> *Turpe est, quod nequeas, capiti commitere pondus,*
>
> *Et pressum infiexo mox dare terga genu.[44] [broken link: #nb17_44]*

Далее те черты моего характера, которые, вообще говоря, нельзя назвать плохими, в наш век, по-моему, ни к чему. Свойственные мне уступчивость и покладистость назовут, разумеется, слабостью и малодушием; честность и совестливость найдут нелепой щепетильностью

и предрассудком; искренность и свободолюбие будут сочтены несносными, неразумными, дерзкими. Но нет худа без добра! Неплохо родиться в испорченный век, ибо по сравнению с другими вы без больших затрат сможете сойти за воплощение добродетели. Кто не прикончил отца и не грабил церквей, тот уже человек порядочный и отменной честности[45] [broken link: #nb17_45]:

> *Nunc si depositum non infitiatur amicus,*
> *Si reddat veterem cum tota aerugine follem,*
> *Prodigiosa fides et Tuscis digna libellis,*
> *Quaeque coronata lustrari debeat agna.[46] [broken link: #nb17_46]*

Не было еще такой страны и такого века, когда бы властители могли рассчитывать на столь несомненную и столь глубокую признательность в оплату за их милости и их справедливость. Первый из них, кто догадается искать народной любви и славы на этом пути, тот — или я сильно ошибаюсь — намного опередит своих державных товарищей. Сила и непринуждение кое-что значат, однако не всегда и отнюдь не во всем.

Купцы, сельские судьи, ремесленники, как мы легко можем убедиться, нисколько не уступают дворянам ни в доблести, ни в знании военного

дела[47] [broken link: #nb17_47]: они славно бьются как на полях сражений, так и на поединках; они отстаивают города в наших нынешних гражданских войнах. Среди этой сумятицы государь лишается своего ореола славы.

Так пусть же он возблистает своей человечностью, правдивостью, прямотой, умеренностью и прежде всего справедливостью — достоинствами, в наши дни редкими, неведомыми, гонимыми. Лишь добрые чувства народов могут доставить ему возможность свершать значительные деяния, и никакие другие качества не в состоянии снискать ему эти добрые чувства, ибо именно эти качества наиболее полезны для подданных.

> *Nihil est tam populare, quam bonitas.[48] [broken link: #nb17_48]*

Сопоставляя себя с людьми моего времени, я готов находить в себе нечто значительное и редкостное, подобно тому как я кажусь себе пигмеем и самой обыденной личностью, сопоставляя себя с людьми неких минувших веков, когда было вещью самою что ни на есть обычною — если к этому не присоединялись другие более похвальные качества — видеть людей умеренных в жажде мести, снисходительных

по отношению к тем, кто нанес им оскорбление, неукоснительных в соблюдении данного ими слова, не двуличных, не податливых, не приспособляющих своих взглядов к воле другого и к изменчивым обстоятельствам. Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех возможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса — скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности. Этим путем наши современники приучают себя к вероломству. Когда их вынуждают к лживым посулам и обещаниям, они не испытывают ни малейших укоров совести, пренебрегая их исполнением. Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его видели до самых глубин; в нем все хорошо или, по меньшей мере, все человечно.

Аристотель считает[49] [broken link: #nb17_49], что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть,

и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, ценя истину превыше всего, не обращать внимания на одобрение и порицание, исходящие от других. Аполлоний сказал[50] [broken link: #nb17_50], что ложь — это удел раба, свободным же людям подобает говорить чистую правду.

Первое и основное правило добродетели: ее нужно любить ради нее самой. Тот, кто говорит правду потому, что в силу каких-то посторонних причин вынужден к этому, или потому, что так для него полезнее, и кто не боится лгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком правдивым. Моя душа, по своему складу, чуждается лжи и испытывает отвращение при одной мысли о ней; я сгораю от внутреннего стыда, и меня точит совесть, если порой у меня вырывается ложь, а это иногда все же бывает, когда меня неожиданно принуждают к этому обстоятельства, не дающие мне опомниться и осмотреться.

Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь, — это было бы глупостью, но все, что бы ты ни сказал, должно отвечать твоим мыслям; в противном случае это — злостный обман. Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто без

конца лжет и притворяется; на мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что, если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи можно обмануть людей разок-другой, но превращать в ремесло свое притворство и похваляться им, как это делают иные из наших властителей, утверждавшие, что «швырнули б свою рубаху в огонь, если б она была осведомлена об их истинных помыслах и намерениях»[51] [broken link: #nb17_51] (что было сказано одним древним, а именно Метеллом Македонским[52] [broken link: #nb17_52]), или утверждать во всеуслышание, что «кто не умеет как следует притворяться, тот не умеет и царствовать»[53] [broken link: #nb17_53], — это значит заранее предупреждать тех, кому предстоит иметь с ними дело, что всякое слово, слетевшее с уст подобных властителей, не что иное, как ложь и обман. Quo quis versutior et callidior est, hoc invisior et suspectior, detracta opinione probitatis.[54] [broken link: #nb17_54] Человек, который, подобно Тиберию[55] [broken link: #nb17_55], взял себе за правило думать одно, а говорить другое, может одурачить своей болтовней и притворной миной разве что настоящего болвана; и я не знаю, на что, собственно, могут рассчитывать такие люди

в отношениях с другими людьми, раз все, что бы ни исходило от них, не принимается за чистую монету. Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи.

Те, кто уже в наше время в своих рассуждениях об обязанностях монарха толкуют лишь о способах извлечения выгоды при ведении им своих дел и пренебрегают при этом заботой о сохранении им добропорядочности и незапятнанной совести[56] [broken link: #nb17_56], быть может, и говорят кое-что дельное, но их советы пригодны лишь тому из монархов, дела которого устроены таким образом, что он может одним махом, раз и навсегда уладить их путем коварного нарушения своего слова. Но в действительности этого не бывает, ибо к уловкам такого рода государи прибегают постоянно: ведь не раз приходится заключать мир или какой-нибудь договор. Выгода — вот что толкает их на первую нечестность, — та выгода, которая манит людей на всякого рода злодейства, как, например, святотатство, убийства, мятежи и предательства, всегда предпринимаемые в каких-либо коварных целях. Но эта первая выгода влечет за собой бесчисленные невыгоды, поскольку, показав образец своего вероломства, такой монарх сразу нарушает добрые отношения

с другими монархами и теряет возможность вступать с ними в какие бы то ни было соглашения. Сулейман[57] [broken link: #nb17_57], государь оттоманской династии, не очень-то щепетильный в соблюдении обещаний и договоров, вступив в дни моего детства[58] [broken link: #nb17_58] со своим войском в Отранто и узнав, что Меркурии де Гратинаро и обитатели Кастро, сдав эту крепость, задерживаются, вопреки условиям сдачи, заключенным с ними его людьми, в качестве пленных, повелел возвратить им свободу, ибо, задумав предпринять в этой стране другие значительные дела, он полагал, что эта бесчестность, хотя на первый взгляд она и казалась полезной, может навлечь на него дурную славу и недоверие, чреватые неисчислимыми бедами[59] [broken link: #nb17_59].

Я со своей стороны предпочитаю быть скорее докучным и нескромным, чем льстецом и притворщиком. Готов признать, что, когда держишься с такою искренностью и прямотой, не взирая на лица, как это свойственно мне, то тут, быть может, примешивается также немножко гордости и упрямства, и мне кажется, что я веду себя с большей непринужденностью именно там, где это меньше всего подобает, и что путы, налагаемые

на меня необходимостью быть почтительным, горячат мою кровь. Впрочем, возможно и то, что я по своей простоте следую в этих случаях за своею природой. Позволяя себе в общении с власть имущими такую же вольность в речах и жестах, как если бы я имел дело с моими домашними, я очень хорошо понимаю, до чего это похоже на нескромность и неучтивость. Но, кроме того, что я создан таким, я не обладаю достаточно гибким умом, чтобы вилять при поставленном мне прямо вопросе и уклоняться от него с помощью какого-нибудь ловкого хода или искажать истину, как не обладаю также и достаточной памятью, чтобы удерживать в голове искаженную мною истину, или уверенностью, чтобы упорно стоять на своем: короче говоря, я храбр от слабости. Вот почему я решаюсь уж лучше быть непосредственным и почитаю необходимым неизменно говорить то, что думаю, и поступаю таким образом как в силу моего душевного склада, так и на основании здравого размышления, предоставляя судьбе делать со мной все, что ей будет угодно. Аристипп говорил, что главная польза, извлеченная им из философии, это то, что благодаря ей он научился говорить свободно и откровенно со всяким[60] [broken link: #nb17_60].

Поразительные и бесценные услуги оказывает нам память, и без нее наш ум почти бессилен. Я, однако, лишен ее начисто. Если мне хотят что-нибудь рассказать, необходимо, чтобы это делали по частям, ибо ответить на речь, в которой содержится много различных разделов, — это мне не по силам, и я не сумел бы выполнить ни одного поручения, не располагая записной дощечкой[61] [broken link: #nb17_61]. И если мне требуется произнести сколько-нибудь значительную и длинную речь, я вынужден прибегать к убогой и жалкой необходимости выучивать наизусть, слово за словом, все, что я должен сказать; в противном случае я не смогу держаться подобающим образом и не буду обладать должной уверенностью в себе, испытывая все время страх, как бы моя слабая память не подвела меня. Но этот способ для меня нисколько не легче; три стиха я учу три часа, и затем, когда имеешь дело с собственным сочинением, то свойственная автору свобода, с какой можешь делать перестановки, заменять те или иные слова, вносить новое в содержание, приводят к тому, что вещи этого рода укладываются в памяти хуже. И чем большим недоверием я к ней проникаюсь, тем больше она мне изменяет; она служит мне гораз-

до лучше, когда я о ней вовсе не думаю. Нужно, чтобы я увещевал ее без нажима, ибо, когда я на нее наседаю, она начинает сдавать, а если уж она начала спотыкаться, то чем больше я понукаю ее, тем больше она хромает и путается; она служит мне в свой час, а не в тот, когда нужна мне.

Все, что я замечаю в себе по части памяти, я замечаю и относительно многого другого: я не выношу подчинения, обязательств и насилия над собой. То, что я делаю легко и естественно, того мне больше не сделать, начни я побуждать себя к этому настойчивыми и властными понуканиями. То же самое могу я сказать и о моем теле, члены которого, если они обладают хоть малейшей свободой и возможностью распоряжаться собой, отказывают мне порою в повиновении, когда я заранее предписываю им послужить мне в определенных обстоятельствах и в определенный час. Это наперед отданное им приказание, твердое и властное, внушает им отвращение: они сжимаются от страха или неудовольствия и цепенеют.

Однажды, находясь в таком месте, где считалось варварской неучтивостью не отвечать согласием всякому приглашающему вас выпить, я попытался — хотя мне и была предоставлена свобода поступать по своему усмотрению — вести

себя в угоду дамам согласно тамошним обычаям, присутствовавшим при этом, как подобает доброму собутыльнику, но тут со мной случилось нечто весьма забавное: эта угроза и приготовления к тому, чтобы пить сверх моей обычной и естественной меры, сжали мне горло, да так туго, что я так и не смог проглотить ни капли, лишив себя даже того, что привык выпивать за обедом: я чувствовал себя пьяным и пресыщенным той выпивкой, которой было полно мое воображение. Это явление отчетливее всего наблюдается у людей, наделенных могучим и необузданным воображением, но оно все же естественно, и нет ни одного человека, который не был бы в той или иной мере подвержен ему. Один превосходный лучник был приговорен к смерти; ему предложили помилование с условием, что он должен сделать какой-то особенно ловкий выстрел и тем самым дать доказательство своего замечательного искусства. Он не пожелал, однако, подвергнуться этому испытанию, опасаясь, что от чрезмерного напряжения воли рука его дрогнет и, вместо того чтобы спасти себя, он утратит славу, завоеванную им меткой стрельбой. Человек, который часто прогуливается в одном и том же месте, углубившись в свои мысли, обязательно

покроет одинаковое расстояние в точности одним и тем же количеством шагов всякий раз того же размера; но если бы он стал отсчитывать и отмеривать свои шаги, оказалось бы, что он, прилагая все свои старания, никогда не проделает того, что ему удавалось проделывать естественно и без всяких усилий.

Моя библиотека, которая среди деревенских библиотек может считаться одной из лучших, расположена в дальнем конце моего дома. Когда мне приходит в голову навести в ней какую-нибудь справку или сделать выписку, то, опасаясь, как бы, пересекая двор, я не забыл того, за чем отправился, я бываю вынужден сообщить о своих намерениях кому-нибудь из домашних. Если я отважусь, выступая с речью, отклониться хоть на самую малость от моей путеводной нити, я непременно утрачу ее; вот почему в своих речах я крайне сух, сдержан и краток. И даже людей, находящихся у меня в услужении, мне приходится называть либо по занимаемой ими должности, либо по месту, откуда они родом, ибо мне чрезвычайно трудно запомнить их имена; я скорее скажу, что в таком-то имени три слога, что оно неблагозвучно, что оно начинается или заканчивается такой-то буквой. И если мне суж-

дено еще пожить на свете, то я отнюдь не уверен, что не забуду своего имени, как это случалось с другими. Мессала Корвин на целых два года полностью утратил память; то же самое рассказывают и о Георгии Трапезундском[62] [broken link: #nb17_62]. И я нередко прикидываю, какова же была жизнь этих людей, а также располагал ли бы я хоть чем-нибудь для поддержания мало-мальски сносного существования, если бы также потерял память; и задумываясь над этим, начинаю побаиваться, что этот изъян, дойдя до крайних своих пределов, может сгубить все проявления духовной жизни: Memoria certe non modo philosophiam, sed omnis vitae usum omnesque artes una maxime continet[63] [broken link: #nb17_63].

> *Plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo.[64] [broken link: #nb17_64]*

Мне случалось не раз и не два забывать пароль, за три часа до того данный мною самим или полученный от кого-либо другого; случалось забывать и о том, куда я спрятал свой кошелек, что бы ни говорил на этот счет Цицерон[65] [broken link: #nb17_65]. Я помогаю себе терять то, за что держусь особенно цепко. Память есть склад и вместилище знаний, и, поскольку она у меня

крайне слаба, я не имею никакого права сетовать на то, что решительно ничего, можно сказать, не знаю. Вообще говоря, я знаю названия всех наук и чем они занимаются, но дальше этого ничего не знаю. Я листаю книги, но вовсе не изучаю их; если что и остается в моей голове, то я больше уже не помню, что это чужое; и единственная польза, извлекаемая моим умом из таких занятий, это мысли и рассуждения, которые он при этом впитывает. Что же касается автора, места, слов и всего прочего, то все это я сразу же забываю.

Я достиг такого совершенства в искусстве забывать все на свете, что даже собственные писания и сочинения забываю не хуже, чем все остальное; мне постоянно цитируют меня самого, а я этого не замечаю. Кто пожелал бы узнать, откуда взяты стихи и примеры, которые я нагромоздил здесь целыми ворохами, тот привел бы меня в немалое замешательство, так как я не смог бы ответить ему. А между тем я собирал подаяние лишь у дверей хорошо известных и знаменитых, не довольствуясь тем, чтобы оно было щедрым, но стремясь к тому, чтобы оно исходило от руки неоскудевающей и почтенной, ибо мудрость тут сочетается с авторитетностью. И нет ничего удивительного, что моя книга разделяет судьбу всех

других прочитанных мною книг и что в моей памяти с одинаковой легкостью изглаживается как то, что написано мной, так и то, что мною прочитано, как то, что мной дано, так и то, что получено мной.

Кроме того, что у меня никуда негодная память, мне свойствен еще ряд других недостатков, усугубляющих мое невежество. Мой ум неповоротлив и вял; малейшее облачко снижает его проницательность, так что, к примеру сказать, не было случая, чтобы я предложил ему какую-нибудь загадку, сколь бы несложной она ни была, и он разгадал бы ее; какая-нибудь замысловатая пустяковина ставит его в тупик. В играх, требующих сообразительности, как, например, шахматы, карты, шашки и тому подобное, я способен усвоить лишь самое основное. Я воспринимаю медленно и неотчетливо, но если мне все же удалось что-нибудь уловить, я удерживаю воспринятое во всей его полноте, постигнув его всесторонне, точно и глубоко, пока оно удерживается во мне. Зрение у меня острое, отчетливое и без недостатков, но при работе оно легко утомляется и начинает сдавать. По этой причине я не могу поддерживать длительное общение с книгами и вынужден прибегать к посторонней

помощи. Плиний Младший мог бы поведать тем, кто не знаком с этим на опыте, насколько велика эта помеха для всякого, предающегося подобным занятиям[66] [broken link: #nb17_66].

Не существует на свете души, сколь бы убогой и низменной она ни была, в которой не сквозил бы проблеск какой-нибудь особой способности; и нет столь глубоко погребенной способности, чтобы она так или иначе не проявила себя. Каким образом получается, что душа, слепая и сонная во всем остальном, становится живой, прозорливой и возвышенной в каком-то частном своем проявлении, — за разъяснением этого надлежит обратиться к нашим учителям. Но истинно прекрасные души всеобъемлющи, открыты и готовы к познанию всего, что бы то ни было, и если они порой недостаточно просвещенны, то для них во всяком случае не закрыта возможность стать просвещенными. Все это я говорю в укор моей собственной душе, ибо — то ли по своей немощности, то ли по нерадивости (а нерадивое отношение к тому, что у нас под ногами, что в наших руках, что непосредственно касается нашего повседневного обихода, — это то, что я всегда осуждал в себе), — но она такова, что не найти другой столь же бездарной и столь же

невежественной в вещах самых обыденных и привычных, не знать которые просто стыд. Я хочу привести несколько примеров в подтверждение сказанного.

Я родился и вырос в деревне, среди земледельческих работ разного рода. У меня на руках дела и хозяйство, которые я веду с того дня, когда те, кто владел до меня всем тем, что теперь — моя собственность, уступили мне свое место. И все же я не умею считать ни в уме, ни на бумаге, не знаю большинства наших монет, и мне не под силу отличить один злак от другого ни в поле, ни в закроме, если различия между ними не так уж разительны; то же я должен сказать о капусте и салате в моем огороде. Я не разбираюсь в названиях наиболее необходимых в сельском хозяйстве орудий, и мне неведомы основы основ земледелия, известные даже детям. Еще меньше смыслю я в искусстве механики, в торговле, в различных товарах, в свойствах и сортах разнообразных плодов, вин, мяса, в натаскивании ловчих птиц, в лечении лошадей и собак. И чтобы окончательно посрамить себя, признаюсь, что не далее как месяц назад я был уличен в незнании, зачем нужны дрожжи при хлебопечении, и что означает, когда говорят, что вину нужно перебро-

дить. В древних Афинах считали, что кто ловко укладывает и связывает вязанки валежника, тому свойственны математические способности[67] [broken link: #nb17_67]; обо мне, конечно, вынесли бы суждение прямо противоположное этому. Будь у меня полная кухня припасов, я все равно голодал бы. По тем недостаткам, в которых я признался, нетрудно представить себе и другие, столь же нелестные для меня. Но каким бы я ни был в собственном изображении, если это изображение отвечает действительности, я могу считать мою цель достигнутой. И если я не приношу извинений, осмелившись изложить письменно вещи столь ничтожные и легковесные, то единственная причина, удерживающая меня от этого шага, — ничтожность предмета, которым я занимаюсь. Пусть меня порицают, если угодно, за этот мой замысел, но не за то, как он выполнен. Как бы то ни было, я и без указаний со стороны отчетливо вижу незначительность и малоценность всего сказанного мною по этому поводу, равно как и нелепость моих намерений, и это доказывает, что мой ум, опыты которого — эти писания, еще не окончательно обессилен:

*Nasutus sis usque licet, sis denique nasus,*

*Quantum noluerit ferre rogatus Atlas,*

*Et possis ipsum tu deridere Latinum,*

*Non potes in nugas dicere plura meas,*

*Ipse ego quam dixi: quid dentem dente iuvabit*

*Rodere? carne opus est, si satur esse velis.*

*Ne perdas operam: qui se mirantur, in illos*

*Virus habe; nos haec novimus esse nihil.[68] [broken link: #nb17_68]*

Мне отнюдь не запрещено говорить глупости, лишь бы я не обманывался насчет их настоящей цены; и впадать в ошибки сознательно — вещь для меня столь обычная, что я только так и впадаю в них; но я никогда не впадаю в них по вине случая. Сваливать вину за поступки нелепые, но маловажные, на безрассудство моего нрава — это сущие пустяки, раз я не могу, как правило, запретить себе сваливать на него вину и за поступки явно порочные.

Как-то в Бар-ле-Дюке в моем присутствии королю Франциску II поднесли портрет, присланный ему на память Рене, королем сицилийским, и исполненный им самим[69] [broken link: #nb17_69]. Почему же нельзя позволить и каждому рисовать себя самого пером и чернилами, подобно тому как

этот король нарисовал себя карандашом? Не хочу умолчать здесь и о гадком пятне, которое безобразит меня и в котором неловко признаваться во всеуслышание, а именно о нерешительности, представляющей собой недостаток, крайне обременительный в наших мирских делах. Мне трудно принять решение относительно той или иной вещи, если она, на мой взгляд, сомнительна:

> *Ne si, ne no, nel cor mi suona intero[70] [broken link: #nb17_70].*

Я умею отстаивать определенные взгляды, но выбирать их — к этому я не пригоден. Ведь в делах человеческих, к чему бы мы ни склонялись, мы найдем множество доводов в пользу всякого мнения. Да и философ Хрисипп говорил[71] [broken link: #nb17_71], что он не хотел ничего перенимать у Зенона и Клеанфа, своих учителей, кроме самых общих положений; что же касается оснований и доказательств, то он и сам мог бы их найти в нужном количестве. Поэтому, в какую бы сторону я ни обратил свой взор, я всегда нахожу достаточно причин и весьма убедительных оснований, чтобы туда и устремиться. Таким образом, я пребываю в сомнении и сохраняю за

собой свободу выбора, пока необходимость решиться не начинает теснить меня; тогда, должен признаться, я чаще всего отдаюсь, как говорят, на волю течения и поручаю себя произволу судьбы; малейшая склонность и обстоятельства подхватывают и увлекают меня:

> *Dum in dubio est animus, paulo momento huc atque illuc impellitur.[72] [broken link: #nb17_72]*

Колебания моего разума в большинстве случаев настолько уравновешивают друг друга, что я был бы не прочь представлять решение жребию или костям, и я отмечаю себе, в оправдание нашей человеческой слабости, оставленные нам самой Священной историей примеры того же обычая отдавать на волю судьбы и случайности определение нашего выбора в том, что сомнительно: sors cecidit super Matthiam[73] [broken link: #nb17_73]. Разум человеческий — меч обоюдоострый и опасный. Взгляните-ка сами, о скольких концах эта палка даже в руках Сократа, ее наиболее близкого и верного друга! Итак, я пригоден только к тому, чтобы следовать за другими, и легко даю толпе увлечь меня за собой. Мое доверие к своим силам вовсе не таково, чтобы я мог решить-

ся брать на себя командование и руководство, и мне больше по сердцу, чтобы тропа для моих шагов была проложена другими. Если нужно идти на риск, производя гадательный выбор, я предпочитаю следовать тому, кто более уверен в своих суждениях, нежели я, и чьим суждениям я верю больше, нежели своим собственным, основания и корни которых я нахожу весьма шаткими.

И все же я не очень люблю менять раз принятые мнения, поскольку в противных мнениях я обнаруживаю подобные же слабые места. Ipsa consuetudo assentiendi periculosa esse videtur et lubrica[74] [broken link: #nb17_74]. Особенно дела политические предоставляют широкий простор для всяких столкновений и раздоров:

> *Iusta pari premitur veluti cum pondere libra*
>
> *Prona, nec hac plus parte sedet, nec surgit ab illa.[75] [broken link: #nb17_75]*

Рассуждения Маккиавелли[76] [broken link: #nb17_76], к примеру, были весьма обоснованны в отношении их предмета, и все же опровергнуть их не составляет большого труда; а рассуждения тех, кто сделали это, могут быть в свою очередь опровергнуты с не меньшей легкостью[77]

[broken link: #nb17_77]. На тот или иной довод всегда найдется где почерпнуть ответный довод, на возражение — новое возражение, на ответ — новый ответ, и так далее и так далее, до бесконечности; и отсюда — нескончаемые словопрения, затягиваемые нашими кляузниками и крючкотворами до пределов возможного,

> *Caedimur, et totidem plagis consumimus hostem.[78] [broken link: #nb17_78]*

ибо всякое доказательство не имеет других оснований, кроме опыта, а многообразие дел человеческих снабжает нас бесчисленными примерами всякого рода. Один очень ученый человек нашего времени утверждает, что в наших календарях, можно было бы свободно заменить все предсказания противоположными, вместо «зной» поставить «морозы», а вместо «великая сушь» — «дожди», и что любители биться об заклад могут с одинаковым успехом, не утруждая свой ум, делать ставку как на то, так и на другое, остерегаясь только утверждать вещи, заведомо невозможные, например, что будет зной на Рождество или что будут морозы в Иванову ночь. То же самое думаю я и о наших политических спорах; чью бы сторону вы ни взяли, ваша игра, если

вы не нарушите первейших и очевидных основ, не хуже игры ваших противников; и все же, по моему разумению, в делах общественных нет ни одного столь дурного обыкновения, которое не было бы лучше, нежели перемены и новшества. Наши нравы до крайности испорчены, и они поразительным образом клонятся к дальнейшему ухудшению; среди наших обычаев и законов много варварских и просто чудовищных; и тем не менее, учитывая трудности, сопряженные с приведением нас в лучшее состояние, и опасности, связанные с подобными потрясениями, — если бы только я мог задержать колесо нашей жизни и остановить его на той точке, где мы сейчас находимся, я бы сделал это очень охотно:

> *numquam adeo foedis adeoque pudendis*
> *Utimur*
> *exemplis, ut non peiora supersint.[79]*
> *[broken link: #nb17_79]*

Худшее, на мой взгляд, в нашем нынешнем положении — это неустойчивость, это то, что наши законы, так же как наше платье, не могут закрепиться на чем-либо определенном. Чрезвычайно легко порицать пороки любого государственного устройства, ибо все, что бревно,

кишмя кишит ими; чрезвычайно легко зародить в народе презрение к старым нравам и правилам, и всякий, кто поставит перед собой эту цель, неизменно будет иметь успех; но установить вместо старого, уничтоженного государственного устройства новое и притом лучшее — на этом многие из числа предпринимавших такие попытки не раз обламывали зубы. В своем поведении я не руководствуюсь соображениями благоразумия; я просто с готовностью подчиняюсь установленному в нашем мире общественному порядку. Счастлив народ, который, не тревожа себя размышлениями о причинах получаемых им приказаний, выполняет их лучше, чем те, кто приказывают ему, и который кротко отдается на волю небесного круговращения. Кто мудрствует и спорит, тот никогда не оказывает безусловного и неукоснительного повиновения.

Короче говоря, если уж снова вернуться ко мне, единственное, за что я хоть сколько-нибудь ценю себя, так это только за то, в недостатке чего никогда не признался бы ни один человек: мое суждение о себе обыденно, свойственно решительно всем и старо, как мир, ибо кто же когда-нибудь думал, что ему не хватает ума? Такая мысль заключала бы в себе непримири-

мое противоречие. Глупость — болезнь, которой никогда не страдает тот, кто ее видит в себе: она очень упорна и, как правило, неизлечима, но достаточно одного проницательного взгляда больного, обращенного им на себя самого, чтобы пробить ее толщу и избавиться от нее, как достаточно одного луча солнца, чтобы рассеять густой туман. Обвинять себя в этом случае значит отводить от себя всякое обвинение, осуждать себя значит выносить себе оправдательный приговор. Не бывало еще на свете такого крючника или девки, которые не считали бы, что их ума для них достаточно. Мы готовы признать за другими превосходство в отваге, телесной силе, опытности, ловкости, красоте, но превосходства в уме мы никому не уступим. Что же касается доводов, исходящих у любого другого человека от простого здравого смысла, то нам кажется, что, взгляни мы на вещь с того же самого боку, и мы также не преминули б наткнуться на них. Знания, стиль и прочие качества, обнаруживаемые нами в чужих сочинениях, мы легко замечаем, если они превосходят наши. Другое дело — проявление самой человеческой мысли: тут каждый думает, будто и он способен на то же, и ему нелегко понять их значительность и каких трудов они стоят, если

между ними и им нет огромного, скажем прямо — гигантского расстояния. Но и в последнем случае он постигает это с большой неохотой. Кто ясно видит величие чужой мысли, тот и сам поднимается до того же уровня и возносит свою мысль на ту же самую высоту. Итак, это такого рода занятие, от которого нельзя ждать много чести и славы, и такой вид сочинительства, который не приносит громкого имени.

И наконец, для кого вы пишете? Ученые, которым подсудна всякая книга, не ценят ничего, кроме учености, и не признают никаких иных проявлений нашей умственной деятельности, кроме тех, которые свидетельствуют о начитанности и обширности всякого рода познаний. Если вы смешаете одного Сципиона с другим, то что стоящее внимания можете вы еще высказать? Кто не знаком с Аристотелем, тот, по их мнению, не знаком и с собой самим. Души обыденные и грубые не видят ни изящества, ни значительности в тонком и возвышенном рассуждении. Но ведь два этих разряда заполняют собой наш мир. Третий разряд, тот, которому вы, в сущности, и отдаете себя, — души чистые и сильные собственной силой, — настолько немногочислен, что не пользуется у нас, и вполне заслуженно, ни

влиянием, ни известностью, так что стремиться ему угодить — значит попусту терять время.

Обычно можно услышать, что, оделяя нас своими благами, природа справедливее всего поступила при распределении между нами ума, ибо нет никого, кто бы не довольствовался доставшейся ему долею. Но разумно ли это? Кто пожелал бы заглянуть дальше отведенного ему, тому пришлось бы преступить пределы возможностей своего зрения. Я считаю свои взгляды правильными и здравыми, но кто же не считает такими и свои собственные? Одно из лучших доказательств этого — невысокая цена, которой я оцениваю себя. Ведь, если бы мои взгляды не были достаточно твердыми, их могло бы ввести в заблуждение то чувство любви и привязанности, которое я испытываю к себе, чувство, и впрямь, исключительное, ибо я обращаю его почти целиком на себя и не растрачиваю на сторону. Все, что другие делят между множеством друзей и знакомых и отдают заботам о своей славе и своем возвеличении, я обращаю только на то, чтобы обеспечить спокойствие моему духу и мне, и если кое-что от меня все же уделяется посторонним, то это происходит отнюдь не по велению моего разума,

*mihi nempe valere et vivere doctus.[80] [broken link: #nb17_80]*

Итак, что касается моих мыслей насчет себя, то они с бесконечной решительностью и столь же бесконечным упорством обвиняют меня в невежестве. Это и впрямь один из предметов, на котором я упражняю мой ум и чаще, и охотнее, чем на чем-либо другом. Люди обычно разглядывают друг друга, я же устремляю мой взгляд внутрь себя; я его погружаю туда, там я всячески тешу его. Всякий всматривается в то, что пред ним; я же всматриваюсь в себя. Я имею дело только с собой: я беспрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю,

*nemo in sese temptat descendere,[81] [broken link: #nb17_81]*

а я — я верчусь внутри себя самого.

Этой способностью докапываться до истины — в сколь бы малой мере я такой способностью ни обладал, — равно как вольнолюбивым нежеланием отказываться от своих убеждений в угоду другим людям, я обязан главным образом себе самому, ибо наиболее устойчивые и общие мои взгляды родились, так сказать, вместе со мной: они у меня природные, они целиком мои. Я произ-

вел их на свет сырыми и немудреными, и то, что я породил, было смелым и сильным, но несколько смутным и несовершенным; впоследствии я обосновал и укрепил эти взгляды, опираясь на тех, кто пользовался моим уважением, а также на безупречные образцы, оставленные нам древними, с которыми я сошелся в мнениях. Они-то и убедили меня в моей правоте, и благодаря им я придерживаюсь моих воззрений более сознательно и с большей твердостью[82] [broken link: #nb17_82].

Если всякий ждет похвалы за быстроту и живость ума, то я притязаю на нее за его строгость, если — за какое-нибудь достойное быть отмеченным и выдающееся деяние или какую-либо исключительную способность, то я — за упорядоченность, согласованность и уравновешенность моих мнений и нравов. Omnino si quidquam est decorum, nihil est profecto magis quam aequabilitas universae vitae, tum singularum actionum, quam conservare non possis, si, aliorum naturam imitans, omittas tuam[83] [broken link: #nb17_83].

Итак, вот до каких пределов я чувствую за собой вину в том, что, как я сказал выше, есть первое слагаемое порока, носящего название самомнения. Что до второго слагаемого, состоящего в

чрезмерно низком мнении о других, то я, право, не знаю, удастся ли мне привести столь же убедительные доводы в свое оправдание. Впрочем, чего бы это ни стоило, решусь выложить все, каким оно мне представляется.

Возможно, что непрерывно поддерживаемое мной общение с мудростью древних и сложившийся во мне образ этих беспредельно богатых душ прошлого отвращают меня и от других, и от себя самого; быть может, мы и впрямь живем в век, не способный создать что-либо возвышающееся над самой что ни на есть посредственностью, но так ли, иначе ли, а я не знаю ничего заслуживающего подлинного восхищения. Правда, я не знаю людей с такой доскональностью, которая необходима, чтобы иметь право судить о них; но те, с кем мое положение чаще всего сталкивает меня, в большинстве своем, не утруждают себя чрезмерной заботой о просвещении своих душ; в их глазах наивысшее счастье — почести, и наивысшее совершенство — мужество.

Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее и очень охотно хвалю его.

Нередко я даже преувеличиваю его ценность и говорю не совсем то, что думаю, позволяя себе небольшую ложь; однако выдумывать то, чего я

не вижу в действительности, этого я решительно не умею. Я охотно сообщаю моим друзьям, что, по-моему, подлежит в них одобрению, и их достоинства в один фут длиной с готовностью растягиваю до полутора футов; но приписывать им те качества, которых у них нет, этого я не могу, как не могу с пеной у рта защищать их недостатки.

Даже моим врагам — и им я воздаю сполна то, что должен, по чести, воздать. Мои чувства могут меняться, но мои суждения — никогда; и я не примешиваю своей личной неприязни к тому, что не имеет прямого касательства к ней. Я так ревниво оберегаю свободу своего ума, что мне не так-то просто пожертвовать ею ради страсти, сколь бы неудержимой она ни была.

Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком я солгал.

Рассказывают о следующем похвальном обычае у персов: они неизменно говорили о своих смертельных врагах, с которыми вели беспощадные войны, уважительно и соблюдая полную справедливость, так, как того заслуживала их доблесть.

Я знаю немало людей, обладающих различными замечательными чертами: кто остроумием,

кто сердечностью, кто отвагой, кто чуткой совестью, кто красноречием, кто еще чем-либо другим, но человека великого в целом, совмещающего в себе столько отличных свойств или обладающего хотя бы одним из них, но в такой исключительной степени, чтобы он вызывал в нас восхищение и его должно было бы сравнивать с теми, кого мы чтим среди людей, обитавших некогда на земле, — нет, с таким человеком моя судьба не дала мне встретиться. Самым великим из тех, кого я хорошо знал, — я говорю о природных дарованиях и способностях — и самым благородным был Этьен де Ла Боэси; это была душа, до краев полная достоинств, прекрасная, с какой стороны на нее ни взглянуть, душа, скроенная на древний лад; и он совершил бы великие и памятные дела, когда б того захотела судьба его, ибо к своим богатым природным данным он многое добавил с помощью размышлений и занятий науками.

Не знаю, как это так получилось, — а что так получается, это бесспорно, — но только в тех, кто ставит своей неизменной целью домогаться возможно большей учености, кто берется за писание ученых трудов и за другие дела, требующие постоянного общения с книгами, — в тех

обнаруживается столько чванства и умственного бессилия, как ни в какой другой породе людей. Быть может, это получается оттого, что в них ищут и от них ожидают большего, чем от других людей, и им не прощаются обычные недостатки; или, может быть, сознание собственной учености придает им смелость выставлять себя напоказ и важничать, чем они выдают себя и сами себе причиняют ущерб. Так и ремесленник обнаруживает свою неумелость гораздо явственнее тогда, когда в его руки попадает ценный материал, который он портит своей бестолковой и грубой работой, чем когда ему приходится иметь дело с простым материалом: недостатки в золотом изваянии раздражают нас гораздо сильнее, нежели в гипсовом. Точно так же поступают и те, кто, тыча всем в глаза вещи, которые сами по себе и на своем месте весьма хороши, пользуется ими безо всякого толку и меры и, оказывая честь своей памяти за счет разума, оказывая честь Цицерону, Галену, Ульпиану и святому Иерониму[84] [broken link: #nb17_84], выставляет себя самого в смешном виде.

Я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте нашего образования. Оно поставило себе целью сделать нас не то чтобы добропорядочными и

мудрыми, а учеными, и оно добилось своего: оно так и не научило нас постигать добродетель и мудрость и следовать их предписаниям, но зато мы навсегда запомнили происхождение и этимологию этих слов; мы умеем склонять самое слово, служащее для обозначения добродетели, но любить ее мы не умеем. И если мы ни из наблюдения, ни на основании личного опыта не знаем того, что есть добродетель, то мы хорошо знаем ее на словах и постоянно твердим о ней. Когда речь идет о наших соседях, нам недостаточно знать, какого они роду-племени, кто их ближайшие родичи и какими связями они обладают; мы хотим, чтобы они подружились с нами, хотим установить с ними близость и добрые отношения. А наше образование между тем забивает нам головы описаниями, определениями и подразделениями разных видов добродетели, как если бы то были фамильные прозвища и ветви генеалогического древа, нисколько не заботясь о том, чтобы установить между добродетелью и нами хоть какие-нибудь знакомство и близость. К тому же, для нашего обучения отобраны не те книги, в которых высказываются здравые и близкие к истине взгляды, но написанные на отменном греческом языке или на лучшей латыни, и за-

ставляя нас затверживать эти красиво звучащие слова, нас принуждают загромождать память нелепейшими представлениями древности.

Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы, вроде того, как это произошло с Полемоном, распутным юношей-греком, который, отправившись случайно послушать один из уроков Ксенократа, не только оценил полностью красноречие и ученость философа и не только принес домой много полезных знаний, но и вынес оттуда плоды еще более ощутительные и более ценные, а именно то, что характер его внезапно изменился и нрав исправился [85] [broken link: #nb17_85]. А кто из нас когда-нибудь почувствовал на себе подобное воздействие нашего обучения?

*faciasne, quod olim*
*Mutatus Polemon? Ponas insignia morbi,*
*Fasciolas, cubital, focalia, potus ut ille*
*Dicitur ex collo furtim carpsisse coronas,*
*Postquam est impransi correptus voce magistri?[86] [broken link: #nb17_86]*

Наименее недостойным представляется мне то сословие, которое по причине своей простоты занимает последнее место; больше того, его

жизнь кажется мне наиболее упорядоченной: нравы и речи крестьян я, как правило, нахожу более отвечающими предписаниям истинной философии, чем нравы и речи наших присяжных философов[87] [broken link: #nb17_87]. Plus sapit vulgus, quia tantum, quantum opus est, sapit[88] [broken link: #nb17_88].

Самыми замечательными людьми, насколько я мог судить, наблюдая их издали (ибо, чтобы судить о них на мой лад, надо было бы к ним подойти ближе), были, если иметь в виду военные подвиги и познания в военной науке, герцог Гиз, скончавшийся в Орлеане, и покойный маршал Строцци[89] [broken link: #nb17_89]. Если же говорить о людях ученых и отличавшихся выдающейся добродетелью, то я назову Оливье и Л'Опиталя, двух канцлеров Франции[90] [broken link: #nb17_90]. Мне кажется, что наш век принес с собой расцвет поэзии, что у нас множество искуснейших знатоков своего дела в лице Дора, Беза, Бьюкенена, Лопиталя, Мондоре и Турнеба[91] [broken link: #nb17_91]; что до пишущих по-французски, то я полагаю, что они подняли это искусство на такую ступень, на какой оно еще никогда у нас не было и, если вспомнить тот род его, в котором блистают Ронсар с Дю Белле[92]

[broken link: #nb17_92], то я никоим образом не считаю, что им далеко до совершенства древних поэтов. Адриан Турнеб знал больше — и если уж что-либо знал, то знал лучше, — чем кто бы то ни было из людей его века, да и не одного его века. Жизнь недавно умершего герцога Альбы, равно как и нашего коннетабля Монморанси, была благородной жизнью, причем судьба их во многом поразительно схожа[93] [broken link: #nb17_93]. Впрочем, красота и величие смерти последнего, скончавшегося на глазах у Парижа и своего короля, служа им в борьбе против ближайшей своей родни во главе войск, обязанных своей победой его водительству и нанесенному им решительному удару, в столь преклонном возрасте, заслуживают, на мой взгляд, быть отмеченными в ряду наиболее достопамятных событий нашего времени. Достойны нашей памяти и неизменные добросердечие, мягкость нрава и разумная снисходительность господина Ла Ну[94] [broken link: #nb17_94], выдающегося и весьма опытного военачальника, хотя он, можно сказать, вырос и прошел воспитание в самой гуще бесчисленных беззаконий, творимых обоими взявшимися за оружие станами (этой подлинной школе предательства, бесчеловечности и разбоя)[95] [broken

link: #nb17_95].

Прочие[96] [broken link: #nb17_96] добродетели в наш век очень редко или совсем не встречаются, но мужество стало, по причине наших гражданских войн, вещью весьма обычной, и в этом отношении нетрудно найти среди нас души, почти совершенные по своей твердости, и притом в столь большом количестве, что сделать выбор здесь крайне затруднительно.

Вот и все о выдающемся и незаурядном душевном величии, с каким я сталкивался вплоть до этого часа.

## Глава XVIII
## Об изобличении во лжи

Мне скажут, пожалуй, что намерение избрать себя предметом своего описания простительно людям незаурядным и знаменитым, которые благодаря своей славе могут вызвать у других желание познакомиться с ними поближе. Конечно, я это отлично знаю и не собираюсь этого оспаривать. Знаю также, что не всякий ремесленник удостоит поднять глаза от своей работы, чтобы взглянуть на человека, вылепленного из обыкновенного теста, хотя, чтобы поглазеть на въезд в город личности великой и примечательной, все они, как один, покидают свои лавки и мастерские. Лишь тем, в ком есть нечто достойное подражания и чья жизнь и взгляды могут служить образцом, подобает выставлять себя напоказ. У Цезаря или Ксенофонта было достаточно прочное основание, дававшее им право занимать других рассказом о себе: это было величие свершенного ими. Равным образом всякому было бы любопытно прочесть дневники великого Александра, записки Августа, Катона, Суллы, Брута и

прочих, повествующие об их деяниях, если бы такие записки остались после них. Образы подобных людей любят и изучают, даже когда они отлиты из меди или высечены из камня.

Это предостережение вполне справедливо, но меня оно, в сущности, едва ли касается:

> *Non recito cuiquam, nisi amicis, idque rogatus,*
>
> *Non ubivis, coramve quibuslibet. In medio qui*
>
> *Scripta foro recitent, sunt multi, quique lavantes.[1] [broken link: #nb18_1]*

Я не высекаю здесь изваяния, чтобы установить его на городском перекрестке, в церкви или в каком-нибудь другом общественном месте:

> *Non equidem hoc studeo, bullatis ut mihi nugis*
>
> *Pagina turgescat.*
>
> *Secreti loquimur.[2] [broken link: #nb18_2]*

Нет, это изваяние предназначается для укромного уголка библиотеки и для того, чтобы развлечь соседа, родственника или друга, которому будет приятно снова увидеть мои черты и узнать меня в этом изображении. Другие решаются го-

ворить о себе, потому что находят этот предмет заслуживающим внимания и благодарным; я же, напротив, делаю это лишь потому, что, находя его пустым и неблагодарным, могу не опасаться обвинения в похвальбе.

Я охотно обсуждаю дела, совершаемые другими; что до моих, то я подаю мало поводов к их обсуждению по причине ничтожности их. Я не нахожу в себе столько похвального, что мог бы позволить себе говорить о нем без краски стыда на лице. Каким удовольствием было бы для меня послушать кого-нибудь, кто рассказал бы мне о нравах, наружности, душевном складе, наиболее привычных речах и превратностях судьбы моих предков! С каким вниманием ловил бы я каждое его слово! И в самом деле, только безнадежно дурной человек может относиться с презрением к портретам своих друзей и предшественников, к покрою их платья, к их оружию. Что до меня, то я сохраняю бумаги, печать, часослов и особого вида шпагу, которая в свое время служила им. Я не убрал из моего кабинета и длинной трости, которую не выпускал из рук мой отец. Paterna vestis et annulus, tanto carior est posteris, quanto erga parentes maior affectus[3] [broken link: #nb18_3].

Если мои потомки не обнаружат в отноше-

нии меня охоты к чему-либо подобному, у меня найдется, чем отплатить им за это; ведь сколь бы мало они ни считались со мною, я к тому времени буду считаться с ними еще меньше. Все мои взаимоотношения с обществом сводятся в данном случае к тому, что я заимствую у него более удобные и быстродействующие орудия воспроизведения моих мыслей; в возмещение я предохраню, быть может, когда-нибудь кусок масла на рыночной стойке от таяния на солнцепеке[4] [broken link: #nb18_4].

> *Ne toga cordyllis, ne penula desit olivis,[5] [broken link: #nb18_5]*
>
> *Et laxas scombris saepe dabo tunicas.[6] [broken link: #nb18_6]*

И если даже случится, что ни одна душа так и не прочитает моих писаний, потратил ли я понапрасну время, употребив так много свободных часов на столь полезные и приятные размышления? Пока я снимал с себя слепок, мне пришлось не раз и не два ощупать и измерить себя в поисках правильных соотношений, вследствие чего и самый образец приобрел большую четкость и некоторым образом усовершенствовался. Рисуя свой портрет для других, я вместе с тем рисовал

себя и в своем воображении, и притом красками более точными, нежели те, которые я применял для того же ранее. Моя книга в такой же мере создана мной, в какой я сам создан моей книгой. Это — книга, неотделимая от своего автора, книга, составлявшая мое основное занятие, неотъемлемую часть моей жизни, а не занятие, имевшее какие-то особые, посторонние цели, как бывает обычно с другими книгами. Потерял ли я даром мое время, с такой настойчивостью и тщательностью отдавая себе отчет в том, что я такое? Ведь те, кто лишь изредка и случайно оглядывают себя мысленно, не записывая своих наблюдений, те не исследуют себя так обстоятельно и не проникают в себя так глубоко, как тот, кто делает это предметом своего постоянного изучения, своим жизненным делом, своим ремеслом, как тот, кто ставит перед собой задачу начертать исчерпывающее свое описание и отдается ее выполнению со всей искренностью, со всем жаром своей души; ведь даже сладчайшие удовольствия, если переживаешь их лишь наедине с собою, уносятся, не оставляя никакого следа и ускользая от взгляда не только всего народа, но и окружающих нас людей.

Сколько раз отвлекала меня эта работа от до-

кучных размышлений, — а докучными нужно считать все те размышления, которые бесплодны! Природа наделила нас драгоценной способностью беседовать с самим собой, и она часто приглашает нас воспользоваться этим, чтобы показать нам, что, хотя мы чем-то и обязаны окружающим, все же гораздо большим мы обязаны самим себе. Для того чтобы приучить мое воображение к некоторому порядку и плану даже тогда, когда оно предается фантазиям, и оградить его от беспорядочных блужданий и расточения сил попусту, нет лучшего способа, как закрепить на бумаге и зарегистрировать все даже самые ничтожные мысли, возникающие в уме. Я прислушиваюсь к своим мечтаниям потому, что мне надлежит занести их в мой протокол. Сколько раз, будучи огорчен чьим-либо поступком, порицать который во всеуслышание было бы и неучтиво и неразумно, я облегчал свою душу на этих страницах не без тайной мысли о поучительности всего этого для других[7] [broken link: #nb18_7]. И эти поэтические шлепки,

*Трах под глаз, трах по уху,*

*Трах в спину грязнуху[8] [broken link: #nb18_8],*

оставляют более длительный след на бумаге, нежели на живом теле.

Что же в том, что я стал немного внимательнее просматривать книги, выискивая, нельзя ли стянуть что-либо такое, чем я мог бы подпереть и принарядить мою собственную? Я ничего не изучал ради написания моей книги, но, написав ее, я все же кое-что изучил, если можно назвать хоть сколько-нибудь похожими на изучение выщипывание и выдергивание каких-то клочков то отсюда, то оттуда у различных авторов, — конечно, не для того, чтобы создать себе какие-то взгляды, но для того, чтобы помочь выработанным мной уже ранее, чтобы поддержать и подкрепить их.

Но кому в наше развращенное время можем мы верить, когда он говорит о себе, если вспомнить, что мало найдется таких людей, которым можно верить, даже когда они говорят о других, хотя в этом случае ложь куда менее выгодна? Первый признак порчи общественных нравов — это исчезновение правды, ибо правдивость лежит в основе всякой добродетели, как говорил Пиндар[9] [broken link: #nb18_9], и является первым требованием, какое предъявлял Платон к правителю его государства[10] [broken link:

#nb18_10]. Правда, которая ныне в ходу среди нас, это не то, что есть в действительности, а то, в чем мы убеждаем других, — совершенно так же, как и с обращающейся между нами монетой: ведь мы называем этим словом не только полноценную монету, но и фальшивую. Наш народ издавно упрекают в этом пороке. Еще Сальвиан Марсельский, живший при императоре Валентиниане, указывал, что лгать и постоянно нарушать слово у французов отнюдь не порок; для них это то же, что манера разговаривать[11] [broken link: #nb18_11]. Можно было бы выразиться об этом еще резче, сказав, что в глазах французов наших дней это — подлинная добродетель; ее выращивают и лелеют в себе, как нечто почетное, ибо двуличие — одна из главнейших черт нашего века.

Вот почему я часто задумываюсь над тем, откуда мог возникнуть обычай, соблюдаемый нами с таким рвением и состоящий в том, что мы считаем себя задетыми гораздо сильнее обвинением в этом столь распространенном среди нас пороке, чем когда нас винят в чем-либо другом, и что тягчайшее оскорбление словом, какое только можно нанести нам, — это упрек во лживости. Ведь это так естественно — сильнее всего отри-

цать наличие у нас тех недостатков, в которых мы более всего повинны. Нам кажется, что, негодуя по поводу этого обвинения и отклоняя его, мы некоторым образом сбрасываем с себя самую вину: если мы и впрямь повинны в этом, мы по крайней мере осуждаем ее на словах. Не происходит ли это также и потому, что подобный упрек — это одновременно упрек в трусости и малодушии? Существует ли более явственное проявление малодушия, чем отказ от своих собственных слов, отрицание того, что слишком хорошо за собой знаешь?

Лживость — гнуснейший порок, и один древний писатель изображает ее как нечто крайне постыдное[12] [broken link: #nb18_12], говоря, что она свидетельствует как о презрении к богу, так и о страхе перед людьми. Нельзя выразительнее обрисовать мерзость, низость и противоестественность этого порока, ибо можно ли представить себе что-либо более гадкое, чем быть трусом перед людьми и дерзким перед богом? Наше взаимопонимание осуществляется лишь единственно возможным для нас путем, а именно через слово; тот, кто извращает его, тот предатель по отношению к обществу: слово — единственное орудие, с помощью которого мы

оповещаем друг друга о наших желаниях и мыслях, оно — толмач нашей души; если мы лишимся его, то не сможем держаться вместе, не сможем достигать взаимопознания; если оно обманывает нас, оно делает невозможным всякое общение человека с себе подобными, оно разбивает все скрепы государственного устройства.

Некоторые народы, обитавшие в Новой Индии (упоминать их имена излишне: ведь никто их больше не знает, ибо опустошения, произведенные завоеванием, привели к полному забвению и названий и былого местонахождения их поселений — вещь поразительная и доселе неслыханная!), так вот, эти народы предлагали своим богам жертвоприношения из человеческой крови, и притом только такой, которая извлекалась ими из языков и ушей жертв, ибо они делали это во искупление греха лжи, оскверняющей нас и тогда, когда мы ее слышим, и тогда, когда произносим ее[13] [broken link: #nb18_13].

Один древний грек остроумно заметил, что если дети тешатся бабками, то взрослые люди забавляются словами[14] [broken link: #nb18_14].

Что до различных принятых у нас способов изобличать друг друга во лжи, а также законов чести, соблюдаемых в делах этого рода, и изме-

нений, которые они претерпели, то рассказ обо всем известном мне по этому поводу я отложу до другого раза. А пока что я хотел бы уточнить, с какого именно времени возникло обыкновение тщательно взвешивать и отмеривать наши слова, сообразуя их с понятием о чести. Нетрудно установить, что в древности, у греков и римлян, этого не было; и мне нередко казалось странным и непонятным, как это они уличали друг друга во лжи и отказывались от собственных слов, не вступая при этом в ссору. Законы, которыми определялось их поведение, сильно в этом отличались от наших. Цезаря нередко честили, называя прямо в лицо то вором, то пьяницей[15] [broken link: #nb18_15]. Мы дивимся той свободе, с какой они обрушивали друг на друга потоки брани, — я имею в виду величайших полководцев обоих народов, — причем за слова у них расплачивались только словами, и словесная перепалка не влекла за собой иных последствий.

## Глава XIX
## О свободе совести[1] [broken link: #nb19_1]

Дело обычное, что добрые намерения, если их приводят в исполнение не в меру усердно, толкают людей на весьма дурные дела. В той распре, из-за которой Францию наших дней терзают гражданские войны, лучшая и наиболее здравая партия несомненно та, что отстаивает и древнюю веру и древнее государственное устройство этой страны[2] [broken link: #nb19_2]. И все же между честными и добропорядочными людьми, взявшими ее сторону (ибо я никоим образом не говорю о тех, кто пользуется удобным случаем, чтобы свести личные счеты, насытить свою алчность или снискать благоволение принцев; я говорю лишь о тех, кто идет за ней, движимый искренней приверженностью к своей вере и стремлением к мирному существованию и благоденствию родины), так вот, говорю я, среди этих последних можно встретить довольно много таких, кого страсть увлекает за пределы разумного и заставляет принимать порою решения

несправедливые, жестокие и вдобавок еще и безрассудные.

Известно, что в те далекие времена, когда впервые утверждалась наша религия и с нею начинали считаться законы, рвение к ней вооружило многих против языческих книг, от чего ученые люди понесли ни с чем не сравнимый ущерб; полагаю, что эти бесчинства причинили науке гораздо больше вреда, нежели все пожары, произведенные варварами[3] [broken link: #nb19_3]. И Корнелий Тацит — достоверный свидетель этому, ибо хотя император Тацит, его потомок, и заполнил благодаря особым указам его «Анналами» все книгохранилища мира, все же ни один полный экземпляр их так и не уцелел после старательных поисков тех, кто жаждет расправиться с ними из-за пяти или шести ничтожных замечаний, враждебных нашей вере[4] [broken link: #nb19_4]. Эти люди повинны также и в том, что, не колеблясь, расточали лживые похвалы всем без исключения императорам, стоявшим за нас, и огульно осуждали действия и поступки тех из них, которые были против нас, как это нетрудно увидеть на примере императора Юлиана, прозванного Отступником[5] [broken link: #nb19_5].

А между тем это был человек и впрямь великий и редкостный, запечатлевший в своей душе наставления философии и почитавший обязанностью руководствоваться ими во всей своей деятельности. И поистине нет ни одной добродетели, замечательные образцы которой он не оставил бы по себе. Что касается целомудрия (а о нем ясно свидетельствует вся его жизнь), то тут мы можем прочесть о нем нечто такое, что роднит его с Александром и Сципионом: имея в своей власти множество пленниц поразительной красоты, он не пожелал взглянуть ни на одну, и это произошло тогда, когда он был в полном расцвете сил: ведь ему минул всего лишь тридцать один год, когда он был убит парфянами[6] [broken link: #nb19_6]. Что касается его правосудия, то он не гнушался брать на себя труд лично выслушивать тяжущихся и, хотя из любознательности расспрашивал всех представших перед ним, какой они веры, все же, несмотря на враждебность, которую он испытывал к нашей, признание в принадлежности к ней нисколько не отягощало чаши его весов. Он сам придумал несколько хороших законов и отменил немало податей и налогов, введенных его предшественниками.

Мы располагаем показаниями двух превосход-

ных историков, очевидцев его деяний. Один из них, Марцеллин, сетует[7] [broken link: #nb19_7] во многих местах составленной им истории на тот из его указов, который запрещал христианам иметь свои школы и строжайше возбранял христианским риторам и грамматикам всякое преподавание. Марцеллин говорит, что было бы хорошо, если бы этот его поступок остался неизвестным. Весьма вероятно, что если бы Юлиан принимал против нас какие-нибудь более жестокие меры, Марцеллин не забыл бы упомянуть об этом, ибо он был очень привержен нашей религии. Юлиан был суров по отношению к нам, это верно, но он не был нашим беспощадным врагом, ибо даже люди нашей веры рассказывают о нем следующую историю[8] [broken link: #nb19_8]. Однажды, когда он прогуливался в окрестностях города Халкедона, Марис, епископ этого места, осмелился назвать его негодяем и христопродавцем. Юлиан ограничился тем, что сказал ему на это: «Поди прочь, несчастный, и оплакивай слепоту свою!» Епископ бросил ему в ответ: «Возношу благодарение Иисусу Христу, ибо он лишил меня зрения, дабы я не видел бесстыдной рожи твоей». Юлиан и тут проявил терпение истинного философа. Как бы там ни было, а этот случай не

очень-то совместим с теми рассказами о жестокостях, которые он якобы творил по отношению к нам. «Он был, — говорит Евтропий[9] [broken link: #nb19_9], второй из моих свидетелей, — врагом христианского учения, но он не проливал крови христиан».

Возвращаясь к вопросу об отличавшей его справедливости, скажу, что нет ничего, пожалуй, такого, что можно было бы поставить ему в вину, кроме строгостей, применявшихся им в начале его правления, против тех, кто примыкал к партии, поддерживавшей его предшественника Констанция[10] [broken link: #nb19_10]. Что касается присущей ему умеренности, то он неизменно вел солдатский образ жизни, как тот, кто готовится и приучает себя к тяготам и невзгодам войны[11] [broken link: #nb19_11]. Его способность бодрствовать была такова, что, деля ночь на три или, порой, на четыре части, он отдавал отдыху лишь самую меньшую; остальное время он тратил на то, чтобы лично проверять состояние своих войск и несение службы дозорами, или на чтение, ибо наряду с прочими редкостными своими качествами он был к тому же превосходно осведомлен в любом роде литературы. Передают, что Александр Великий, ложась в постель, из

опасения, как бы сон не помешал ему заниматься и думать, приказывал ставить у изголовья своего ложа чашу, над которой держал руку с зажатым в ней медным шариком; он делал это для того, чтобы, в случае если дремота одолеет его и пальцы, ослабев, разожмутся, этот шарик, упав в чашу, разбудит его своим стуком[12] [broken link: #nb19_12]. Душа Юлиана, однако, бывала настолько поглощена тем, к чему он стремился, и винные пары, благодаря поразительной умеренности его образа жизни, так мало омрачали ее, что он отлично обходился и без этого ухищрения. Что касается его дарований в военном деле, то он блистал всеми качествами великого полководца. Почти всю свою жизнь он провел в непрерывных походах, и по большей части в союзе с нами[13] [broken link: #nb19_13], во Франции, против алеманнов и франков, и мы не находим упоминания о человеке, который повидал бы на своем веку столько опасностей, сколько пришлось изведать ему, и который чаще его выказывал бы личную доблесть.

Смерть его имеет черты сходства со смертью Эпаминонда, ибо он также был поражен стрелой и пытался вырвать ее, — и он достиг бы этого, если бы стрела, оказавшись по краям режущей,

не поранила ему руку и не отняла у нее силу. Он настойчиво требовал, чтобы несмотря на состояние, в котором он находился, его снова отнесли в гущу сражения, и он мог бы одобрять своих воинов, хотя они и без него дрались на этот раз весьма храбро вплоть до того мгновения, когда ночь разъединила противников[14] [broken link: #nb19_14]. Благодаря философии он усвоил себе презрение к жизни и к делам человеческим. Он твердо верил в бессмертие души.

В делах религии он был кругом неправ и заслуживает порицания. Его прозвали Отступником потому, что он отрекся от нашей религии. Впрочем, мне кажется более правдоподобным, что она никогда и не была ему по сердцу, но что, подчиняясь законам, он притворялся, будто почитает ее, пока не захватил власть над всей империей. Он был настолько привержен своей религии, что современники, даже из числа его единоверцев, посмеивались над ним, утверждая, что, если бы ему удалось одолеть парфян, он истребил бы всех быков, какие только водятся на свете, беспрерывно принося их в жертву своим богам. Он был, к тому же, неравнодушен к искусству гадания и доверял всякого рода прорицаниям. Умирая, он, среди прочего, говорил, что испытывает к богам

чувство великой признательности и благодарит их за то, что они не возымели желания убить его неожиданно, но заблаговременно оповестили о часе и месте кончины, причем послали ему не легкую и презренную смерть, подобающую лентяям и неженкам, и не томительную и медленную, полную страданий, но сочли его достойным умереть столь благородным образом, посреди его победоносного шествия и в разгар его славы. Ему явился призрак, совсем так же, как Марку Бруту[15] [broken link: #nb19_15]. В первый раз грозное видение предстало ему, когда он находился в Галлии; затем призрак снова явился ему в Персии, перед самой его смертью. Слова, которые Юлиан будто бы произнес, почувствовав, что поражен насмерть: «Ты победил, Назареянин!» или, как утверждают другие: «Радуйся, Назареянин!», — едва ли были бы забыты моими свидетелями, если бы они знали о них[16] [broken link: #nb19_16], а между тем они оба находились при войске и отметили все, даже ничтожнейшие поступки и слова Юлиана перед его смертью; то же можно сказать и о других чудесных явлениях, будто бы связанных с нею.

Но возвращаюсь к основной моей теме. Как говорит Марцеллин[17] [broken link: #nb19_17],

Юлиан давно уже таил в своем сердце склонность к язычеству, но, так как его войско состояло почти сплошь из христиан, он не решался открыто признаться в этом. Наконец, когда он увидел себя достаточно сильным, чтобы открыто выразить свою волю, он велел — открыть храмы древних богов и сделал все от него зависящее, чтобы идолопоклонство взяло верх над христианством. Обнаружив в Константинополе, что простой народ и христианские первосвященники плохо ладят между собой в вопросах веры, Юлиан, чтобы достигнуть желаемой цели, призвал обе стороны к себе во дворец и обратился к ним с настоятельным увещанием пресечь эти разногласия и предоставить каждому беспрепятственно и вполне свободно служить своей вере[18] [broken link: #nb19_18]. Он убеждал их в этом очень горячо, рассчитывая, что такая неограниченная свобода умножит среди них число партий и сект и помешает народу объединиться, а следовательно, и укрепиться при помощи доброго согласия и единомыслия, чтобы оказать ему сопротивление. Он действовал так, убедившись, на основании примеров жестокости некоторых христиан, что «нет зверя на свете страшнее для человека, чем человек». Таковы примерно его собственные

слова.

Тут заслуживает внимания то обстоятельство, что Юлиан пользовался для разжигания гражданских раздоров тем же самым средством, а именно свободой совести, какое было совсем недавно применено нашими королями, чтобы успокоить раздоры. Таким образом, с одной стороны, можно сказать, что снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов значит сеять и распространять между ними распри, значит способствовать умножению этих распрей, поскольку нет больше преград в виде законов, способных обуздывать и останавливать их. Но, с другой стороны, снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов означает вместе с тем и усыпление и расслабление их из-за легкости и удобства, с какими они могут отныне домогаться своего, означает притупление острия их воли, которая оттачивается в борьбе за что-либо необычное и труднодостижимое. И я склонен думать, воздавая честь добрым намерениям наших властителей, что, не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого[19] [broken link: #nb19_19].

## Глава XX
## Мы неспособны к беспримесному наслаждению

От слабости нашей природы проистекает, что нам не дано пользоваться вещами в их простом и естественном состоянии. Все, что бы мы ни употребляли, подверглось тем или иным изменениям. Это относится и к металлам: даже золото — и к нему приходится что-нибудь примешивать, чтобы сделать его пригодным для наших нужд. Ни столь простая и ясная добродетель, с какой мы сталкивались у Аристона, Пиррона и затем стоиков, провозгласивших ее целью жизни, ни наслаждение киренаиков и Аристиппа в чистом виде не достижимы для нас. Среди доступных нам удовольствий и благ не существует ни одного, которое было бы свободно от примеси неприятного и стеснительного,

> *medio de fonte leporum*
>
> *Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat.[1] [broken link: #nb20_1]*

Наше высшее наслаждение проявляется в та-

ких формах, что становится похожим на жалобы и стенания. Разве мы не могли бы сказать, что это — предсмертные муки? И когда мы тщимся изобразить это наслаждение во всей его полноте, то приукрашаем его эпитетами и свойствами, связанными со страданием и болезнью, каковы, например, такие слова, как: истома, спазмы, изнеможение, обмирание, morbidezza[2] [broken link: #nb20_2]. Не есть ли это вернейшее свидетельство кровной близости и единства наслаждения и боли? Глубокая радость заключает в себе больше суровости, чем веселья, крайнее и полное удовлетворение — больше успокоения, чем удовольствия. Ipsa felicitas, se nisi temperat, premit[3] [broken link: #nb20_3]. Блаженство истощает человека. Это то, о чем говорит один небольшой древнегреческий стих[4] [broken link: #nb20_4], содержание которого сводится к следующему: «боги продают всякое ниспосылаемое нам ими благо», что означает: они не даруют нам ни одного совершенного и чистого блага, и мы покупаем его ценой содержащегося в нем зла.

Тяготы и удовольствия — вещи крайне различные по природе — каким-то образом соединяются природными узами. Сократ говорит, что некий бог сделал попытку сплотить в нечто целое и

слить воедино страдание и наслаждение, но, так как ему не удалось осуществить этот замысел, он придумал связать их друг с другом хотя бы хвостами[5] [broken link: #nb20_5]. Метродор говорил, что не бывает печали без примеси удовольствия[6] [broken link: #nb20_6]. Не знаю, что именно имел он в виду, но я с легкостью представляю себе, что можно намеренно, добровольно и с охотой лелеять свою грусть, и настаиваю на том, что, кроме честолюбия, — а оно также может сюда примешиваться — во всем этом сквозит еще нечто приятное и заманчивое, которое тешит нас и льстит нашему самолюбию посреди самой безысходной и тягостной грусти. Разве не существует душ, которые, можно сказать, питаются ею?

> *est quaedam flere voluptas.[7] [broken link: #nb20_7]*

И некий Аттал заявляет у Сенеки[8] [broken link: #nb20_8], что воспоминание о потерянных нами друзьях нам столь же приятно, как горечь в очень старом вине, —

> *Minister vetuli, puer, Falerni*
> *Ingere mi calices amariores[9] [broken link: #nb20_9] —*

или как яблоко с легкой кислинкой. Природа раскрывает перед нами это смешение: живописцы показывают, что одни и те же движения и морщинки наблюдаются на лице человека и когда он плачет, и когда он смеется. И в самом деле, проследите за работой живописца, пока он не закончил изображения того или другого из этих двух состояний — и вы так и не сможете установить, какое из них перед вами. Вспомним также, что безудержный смех порождает слезы. Nullum sine auctoramento malum est[10] [broken link: #nb20_10].

Мысленно представляя себе человека, испытывающего все желанные для него радости, — вообразим такой случай, когда все тело этого человека навеки охвачено наслаждением, подобным тому, какое бывает при акте оплодотворения, в момент наибольшей остроты ощущений, — я явственно вижу, как он изнемогает под бременем своего блаженства, и чувствую, что ему не под силу выдерживать столь беспримесное и столь всеобъемлющее непрерывное наслаждение. И действительно, едва насытившись им, он уже бежит от него и, побуждаемый естественным чувством, торопится спрыгнуть сам со ступеньки, на которой ему никоим образом не устоять и с

которой он боится сверзиться вниз.

Когда я с предельной откровенностью исповедуюсь себе самому, я обнаруживаю, что даже лучшее, что только есть во мне, даже оно окрашено известным оттенком порочности. И я опасаюсь, как бы Платон, прислушайся он повнимательнее — что, несомненно, он делал не раз — к самой безупречной из своих добродетелей (а ведь я — искреннейший и преданнейший поклонник, какого только можно сыскать, как этой его добродетели, так и других, скроенных по такому же образцу), так вот, как бы Платон не уловил в этой своей добродетели некоего фальшивого тона, неизбежного в той совокупности, какую представляет собой человек, правда тона глухого и ощутимого лишь собственным слухом. Человек во всем и везде — ворох пестрых лоскутьев. И даже законы, блюстители справедливости, не могли бы существовать, если б к ним не примешивалась несправедливость; Платон замечает[11] [broken link: #nb20_11], что кто притязает очистить их от непоследовательностей и неудобств, тот пытается отрубить голову гидре. Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod contra singulos utilitate publica rependitur, — говорит Тацит[12] [broken link: #nb20_12].

Равным образом верно и то, что наши умы бывают иногда слишком светлыми и прозорливыми в делах как частной, так и общественной жизни; ясности и проницательности подобных умов присуща чрезмерная утонченность и любознательность. Чтобы принудить их покоряться общепринятым правилам и обычаям, нужно отнять у них излишнюю пытливость и остроту; чтобы приспособить их к нашему смутному земному существованию, нужно придать им некоторую тяжеловесность и заставить их потускнеть. Но бывают также умы обыденные и менее яркие, которые более пригодны для ведения дел и лучше справляются с ними. Возвышенные и утонченные воззрения философии бесплодны в приложении к повседневной действительности. Эта повышенная живость души, эта беспокойная подвижность и гибкость ее препятствует нам в житейских занятиях. Нужно вести предприятия человеческие проще, не мудрствуя, и добрую долю в них оставлять на усмотрение и произвол судьбы. Освещать дела слишком тонко и глубоко нет никакой надобности: наблюдая столь противоречивое освещение и многообразие форм, теряешься: volutantibus res inter se pugnantes, obtorpuerant animi[13] [broken link: #nb20_13].

Вот что древние рассказывают о Симониде[14] [broken link: #nb20_14]: так как его воображение, пытаясь ответить на предложенный царем Гиероном вопрос, — а на обдумывание ответа ему было дано несколько дней — предлагало ему множество все новых и новых остроумных и тонких решений, он, колеблясь, какое же из них счесть наиболее правильным, отчаялся в конце концов отыскать истину.

Кто пристально разглядывает и старается охватить все до одного обстоятельства и все следствия, тот сам себе затрудняет выбор: обычная смекалка с таким же успехом делает свое дело и достаточна для разрешения как малых, так и больших вопросов. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что лучшие хозяева — это те, кто меньше всего мог бы ответить, каким образом они добиваются этого, и что велеречивые говоруны чаще всего не достигают ничего путного. Я знаю одного такого великого болтуна и превосходного мастера расписывать все, относящееся к любому виду хозяйственных дел; но он глупейшим образом пропустил сквозь пальцы сто тысяч ливров годового дохода. Знаю я и другого: этот уверяет, что разбирается в делах лучше, чем кто-либо другой; притом же на свете не сыщешь более бла-

городной души и другого такого кладезя всяких знаний. А между тем слуги его утверждают, что, когда доходит до дела, он оказывается совсем не таким. При этом я отнюдь не ставлю этим господам в счет случайные бедствия разного рода.

## Глава XXI
## Против безделья

Император Веспасиан[1] [broken link: #nb21_1], страдая болезнью, которая и явилась причиною его смерти, не переставал выражать настойчивое желание, чтобы его осведомляли о состоянии государства. Больше того, даже лежа в постели, он непрерывно занимался наиболее значительными делами, и когда его врач, попеняв ему за это, заметил, что такие вещи губительны для здоровья, он бросил ему в ответ: «Император должен умирать стоя». Бот изречение, по-моему, воистину замечательное и достойное великого государя! Позднее, при подобных же обстоятельствах, оно было повторено императором Адрианом[2] [broken link: #nb21_2], и его надлежало бы почаще напоминать государям, дабы заставить их прочувствовать, что великая возложенная на них обязанность, а именно управлять столькими людьми, не есть обязанность тунеядца, а также что ничто, по справедливости, не может в такой же мере отбить у подданного охоту принимать на себя, ради служения своему государю, тяготы

и невзгоды и подвергаться опасностям, чем возможность видеть его в это самое время трусливо забившимся в угол за занятиями малодушными и ничтожными, и заботиться о его благополучии, в то время как он так равнодушен к нашему[3] [broken link: #nb21_3].

Если бы кто-нибудь вздумал доказывать, будто гораздо лучше, чтобы государь вел войны не сам, а поручал ведение их другим лицам, он нашел бы среди многообразия человеческих судеб немало примеров, когда назначенные государями полководцы успешно завершали за них великие предприятия; он натолкнулся бы и на таких государей, чье присутствие в войске приносило скорее вред, нежели пользу. Но ни один решительный и смелый монарх не потерпит, чтобы ему приводили столь постыдные доводы! Под предлогом желания уберечь свою жизнь ради блага всего государства — точно дело идет об изваянии какого-нибудь святого — иные из государей уклоняются от выполнения своего долга, который главным образом и состоит в военных деяниях, и тем самым уличают себя в неспособности к ним. Я же знаю одного государя[4] [broken link: #nb21_4], который, напротив, предпочитает быть битым, чем спать, пока за него бьются

другие, и он даже не может смотреть без зависти на своих подчиненных, если те совершают в его отсутствие что-либо выдающееся. Селим I[5] [broken link: #nb21_5] говаривал — и, как мне кажется, с достаточным основанием, — что победы, одержанные без участия повелителя, не бывают полными и окончательными. И он сказал бы еще охотнее, что повелителю, который дрался в таком сражении лишь словами и мыслями, надлежит краснеть от стыда в том случае, если он домогается своей доли славы за достигнутую победу; и это тем более, что в подобных обстоятельствах советы и приказания могут доставлять честь только тогда, когда они подаются и отдаются на самом поле боя и в зависимости от положения дел. Ни один кормчий не выполняет своих обязанностей, сидя на берегу. Государи оттоманской династии, первой по военному счастью династии в мире, глубоко восприняли эту истину, и Баязид II, равно как и его сын[6] [broken link: #nb21_6], отошедшие от нее, развлекаясь науками и другими домашними занятиями, надавали тем самым здоровенных пощечин своей империи; да и тот, что царствует в настоящее время, Мурад III, следуя их примеру, начинает поступать точно так же. Не английский ли король Эдуард III сказал о нашем Карле V[7]

[broken link: #nb21_7]: «Не было короля, который брал бы в руки оружие реже, чем он, и не было короля, который причинил бы мне столько хлопот». И он был прав, находя это странным и видя тут скорее прихоть судьбы, чем следствие разумного порядка вещей.

И пусть ищут сочувствия у других, но только не у меня, те, кому хочется видеть в числе воинственных и великих завоевателей королей Кастилии и Португалии лишь на том основании, что, сидя в своих покойных дворцах, за тысячу двести лье, они трудом своих подначальных сделались властителями обеих Индий и других стран, — а ведь большой еще вопрос, хватило ли бы у них храбрости даже съездить туда самолично, чтобы вступить во владение этими землями.

Император Юлиан настаивал на еще большем[8] [broken link: #nb21_8]: он говорил, что «философу и честному человеку перевести дух и то возбраняется», то есть что им подобает отдавать дань потребностям нашего естества лишь настолько, насколько это безусловно необходимо, занимая всегда и душу и тело делами прекрасными, великими и добродетельными. Он испытывал стыд, если ему доводилось сплюнуть или вспотеть на виду у народа (то же самое рассказывают

о молодежи лакедемонян, а Ксенофонт[9] [broken link: #nb21_9] — и о персидской), ибо он полагал, что телесные упражнения, неустанный труд и умеренность должны выпарить и иссушить все эти излишние жидкости. То, о чем говорит Сенека[10] [broken link: #nb21_10], также не окажется здесь неуместным; а он говорит, что древние римляне держали свою молодежь всегда на ногах: они не обучали своих детей, сообщает он, ничему такому, что нужно было бы изучать сидя.

Жажда умереть с пользой и мужественно весьма благородна, но утолить ее зависит не столько от наших благих решений, сколько от благости нашей судьбы. Тысячи людей ставили себе целью или победить или пасть в сражении, но им не удавалось достигнуть ни того ни другого. Ранения и темницы пересекали на полпути их намерения и вынуждали жить насильственной жизнью. Существуют, кроме того, болезни, которые обрушиваются на нас с такой яростью, что подавляют и наши желания, и нашу память[11] [broken link: #nb21_11]. Молей Молук, властитель Феса, тот самый, который недавно разгромил Себастьяна, короля португальского, в битве, ставшей знаменитой по причине гибели трех королей и объединения великой португальской

короны с кастильскою[12] [broken link: #nb21_12], этот Молей Молук тяжело заболел сразу после того, как португальцы вторглись в его страну. С каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже, и так продолжалось до самой его смерти, близость которой он ясно видел. Еще не было на свете человека, который вел бы себя столь же мужественно и благородно в подобных обстоятельствах. Слишком слабый, чтобы вынести тяготы торжественного прибытия в лагерь, что, согласно принятому у них обычаю, происходит с великой пышностью и обставляется множеством утомительных церемоний, он уступил эту честь своему брату. И это была единственная обязанность военачальника, которую он уступил кому-либо другому; что до всех остальных, необходимых для пользы дела и весьма важных, то он выполнял их сам, и притом поразительно усердно и тщательно; хотя тело его было простерто на ложе, свой разум и свое мужество он принудил твердо стоять на ногах и не сдаваться вплоть до последнего вздоха, а в некотором смысле и после него. Он мог взять неприятельское войско измором, поскольку португальцы безрассудно углубились в его владения, но ему было весьма тягостно, что из-за краткости срока, который ему

оставалось жить, из-за отсутствия подходящего человека, который мог бы заменить его в ведении этой войны, и, наконец, из-за смут в государстве он вынужден искать победы кровавой и чреватой опасностями, хотя в его руках был и другой способ одолеть врагов, простой и вполне бесспорный. Все же он очень искусно использовал предоставленную ему болезнью отсрочку, всячески изматывая силы противника и завлекая его подальше от гаваней на побережье Африки и от его кораблей; и он делал это вплоть до последнего дня своей жизни, который приберег и предназначил для решительного сражения.

Свои войска он расположил в форме кольца, со всех сторон окружавшего армию португальцев. Сжимая и суживая это кольцо так, что врагам приходилось отбивать атаки одновременно со всех сторон, он не только затруднил им этим ведение боя — который был крайне жестоким, ибо юный португальский король непрерывно и доблестно пытался вырваться из кольца, — но и не дал им возможности спастись бегством, вернувшись назад тем же путем, каким они пришли. Так как все дороги оказались для них перехвачены и крепко заперты, португальцам пришлось топтаться на месте, тесня друг дру-

га, — coacervanturque non solum caede, sed etiam fuga[*] [broken link: #f6] — и, сбившись в кучу, уступить победителям, учинившим кровавую бойню, полную и окончательную победу. Уже умирающий, Молей приказал отнести себя на носилках к войску и переносить с места на место, туда, где его присутствие могло быть полезным; и когда его проносили вдоль рядов воинов, он воодушевлял на битву одного за другим своих военачальников и солдат. И так как на одном из участков его боевой порядок начал приходить в расстройство, он, как приближенные его ни удерживали от этого, сел на коня и пожелал ринуться с обнаженным мечом в самую гущу сражения. Окружающие, однако, не допустили его до этого, ухватившись кто за повод его коня, кто за платье, кто за стремена. Это усилие окончательно погасило еще тлевшую в нем искру жизни; его снова уложили на носилки. Он же, внезапно преодолев свое обморочное состояние и ввиду своей слабости не располагая никаким другим способом, чтобы отдать важнейшее в тот момент приказание — скрыть от всех его смерть, известие о которой могло бы вызвать смятение в рядах его войск, — приложил ко рту палец (как известно, общепринятый знак, приглашающий хранить

молчание) и через мгновение испустил дух. Кто дольше его жил в самом преддверии смерти? И кто умер до такой степени стоя, как он?

Высшее проявление мужества пред лицом смерти, и самое к тому же естественное, — это смотреть на нее не только без страха, но и без тревоги, продолжая даже в цепких ее объятиях твердо придерживаться обычного образа жизни. Именно так и сделал Катон, продолжавший заниматься и не отказывавшийся от сна, когда голова и сердце его были уже полны смертью, которую он держал в своей руке.

## Глава XXII
## О почтовой гоньбе

Я был когда-то не из последних в делах этого рода, самых что ни на есть подходящих для людей моего сложения и моего роста — крепкого и невысокого. Но я больше не занимаюсь ими: слишком уж они изнурительны, чтобы предаваться им долгое время.

Я только что прочитал о том, что царь Кир, дабы с большей легкостью получать известия со всех концов своего царства — а оно было весьма обширным, — повелел выяснить, какое расстояние за день может покрыть без отдыха лошадь, и, исходя из этого, поместить на соответствующей дистанции друг от друга особых людей, у которых были бы всегда наготове кони, чтобы поставлять их прибывающим к ним гонцам[1] [broken link: #nb22_1]. Некоторые передают, что быстрота передвижения этих гонцов достигала быстроты, с какой летят журавлиные стаи.

Цезарь рассказывает[2] [broken link: #nb22_2], что Луций Вибуллий Руф, торопясь доставить Помпею важное сообщение, мчался к нему день

и ночь, меняя для скорости лошадей. Да и сам Цезарь, по словам Светония[3] [broken link: #nb22_3], делал по сто миль ежедневно, пользуясь наемной повозкой; впрочем, это был бешеный ездок, ибо там, где ему преграждали дорогу реки, он переправлялся через них вплавь, никогда не сворачивая с прямого пути ради поисков моста или брода. Тиберий Нерон[4] [broken link: #nb22_4], отправившись повидаться со своим братом Друзом, заболевшим в Германии, трижды сменив повозку, проделал за двадцать четыре часа целые двести миль. Во время войны, которую римляне вели с Антиохом[5] [broken link: #nb22_5], Тиберий Семпроний Гракх, как сообщает Тит Ливий, per dispositos equos prope incredibili celeritate ab Amphissa tertio die Pellam pervenit[6] [broken link: #nb22_6], причем, если вчитаться внимательно в это место, то становится ясным, что речь идет о постоянных подставах, а не об учрежденных ради этой поездки.

Способ подавать весть о себе, который придумал Цецина[7] [broken link: #nb22_7], обеспечивал еще большую быстроту: покидая дом, он брал с собой ласточек и когда хотел что-либо сообщить домой, отпускал их лететь в свои гнезда, причем метил их краской того цвета, который обозначал

то-то и то-то, в соответствии с тем, как он заранее уславливался с домашними.

Римские патриции, находясь в театре, держали за пазухой голубей и, когда им приходило в голову переслать домой какое-нибудь приказание своим людям, они выпускали этих голубей на свободу, прикрепив к ним записку. Эти голуби были также обучены возвращаться с ответом; ими пользовался и Децим Брут, осажденный в Мутине[8] [broken link: #nb22_8], и другие в иных местах.

В Перу вестники для своих разъездов употребляли людей, которые взваливали их на свои плечи вместе с особым сиденьем, проделывая это до того ловко, что один носильщик, не останавливаясь и даже не замедляя бега, перебрасывал свою ношу другому[9] [broken link: #nb22_9].

Я слыхал, что валахи, гонцы султана, достигают изумительной скорости, и это происходит по той причине, что им дано право ссаживать первого встречного с приглянувшейся им лошади, отдавая взамен свою притомившуюся, и еще потому, что они, дабы предохранить себя от усталости, накрепко стягивают себе тело широким ремнем[10] [broken link: #nb22_10].

## Глава XXIII
## О дурных средствах, служащих благой цели

Разительные подобия и соответствия сокрыты в той совокупности творений природы, которая есть мироздание, и это ясно показывает, что оно не случайно и никоим образом не подвластно многим хозяевам. Болезни и различные состояния, которым подвержено наше тело, наблюдаются также у государств и их общественного устройства: монархии и республики рождаются, переживают пору расцвета и увядают от старости совсем так же, как мы. Мы склонны к чрезмерному изобилию соков, которое бесполезно и скорее вредит. Это может быть либо излишек благодетельных соков (но и они пугают врачей, утверждающих, что поскольку в нас нет ничего устойчивого, нам подобает умерять и ограничивать наше здоровье, если оно слишком уж выпирает из нас, ибо существует опасность, как бы наша природа, не умея прочно удерживаться на одном месте и лишенная возможности в таких случаях подняться ради своего улучшения на сту-

пень выше, не подалась беспорядочно и внезапно назад, и ради предупреждения этого зла они предписывают людям атлетического сложения слабительные и кровопускания с целью избавить их от этого избытка здоровья[1] [broken link: #nb23_1]), либо изобилие соков дурных, которое и является обычной причиной болезней. Такое же полнокровие наблюдается часто и у больных государств, причем и тут имеют обыкновение пользоваться послабляющими разного рода. То, дабы разгрузить страну, отправляют за ее рубежи большое число семейств, которые уходят отсюда в поисках мест, где они могли бы обосноваться за счет кого-либо другого: этот способ был использован древними франками, вышедшими из самого сердца Германии, чтобы захватить Галлию и изгнать исконных ее обитателей. Так же слагались и бесчисленные людские потоки, хлынувшие в Италию под предводительством Бренна[2] [broken link: #nb23_2], и еще некоторые другие. Точно так же и готы и вандалы, равно как и народы, владеющие в настоящее время Грецией, покинули некогда свою родину, чтобы осесть где-нибудь в другом месте, которое было бы попросторнее. И едва ли найдется на целом свете два-три угла, не испытавших на себе воз-

действия подобных переселений.

Применяя эти же средства, римляне учреждали свои колонии, ибо, понимая, что их город разрастается сверх всякой меры, они разгружали его от наименее нужных людей, отправляя их заселять и обрабатывать покоренные ими земли; иногда они даже сознательно затевали войны со своими врагами и притом не только ради того, чтобы не давать закисать своим людям или из опасения, как бы праздность, мать всех пороков, не доставила им неприятностей еще худшего свойства[3] [broken link: #nb23_3], —

> *Et patimur longae pacis mala; saevior armis*
>
> *Luxuria*
> *incumbit,[4] [broken link: #nb23_4] —*

но и для того, чтобы устроить кровопускание своему государству и охладить слишком уж ярый пыл своей молодежи, обрезав и проредив побеги этого непомерно буйно разрастающегося ствола; некогда в тех же целях они использовали и войну с Карфагеном.

При переговорах в Бретиньи Эдуард III[5] [broken link: #nb23_5], король английский, не пожелал уступить нашему королю — хотя на этот

раз они заключали общий мир — захваченные им земли герцогства Бретонского, руководствуясь при этом теми соображениями, что ему хотелось иметь, где бы разместить своих воинов, дабы та тьма англичан, услугами которых он пользовался в своих заморских делах, не хлынула, чего доброго, снова в Англию. Такова же была одна из причин, побудивших нашего короля Филиппа отпустить своего сына Жана на войну за морем; он считал желательным и полезным, чтобы тот взял с собой сильных и пылких юношей, служивших в его конном отряде[6] [broken link: #nb23_6].

И в наши дни находится немало таких, кто рассуждает подобным же образом и жаждет обратить охватившее нас чересчур пылкое возбуждение в войну с кем-либо из наших соседей, опасаясь, как бы вредоносные соки, овладевшие в настоящее время всем нашим телом, не поддержали нашей горячки, сохраняя ее в прежней силе, и не привели в конце концов к нашей полной гибели[7] [broken link: #nb23_7]. И впрямь война внешняя — меньшее зло, чем война внутренняя, но я не думаю, чтобы бог благоприятствовал столь несправедливому делу — оскорблять и задирать войной другого ради нашей собственной выгоды:

*Nil mihi tam valde placeat, Rhamnusia virgo,*

*Quod temere invitis suscipiatur heris.[8] [broken link: #nb23_8]*

И все же слабость нашего естества нередко толкает нас к необходимости пользоваться дурными средствами для достижения благой цели. Так, например, Ликург, этот добродетельнейший и совершеннейший законодатель из всех, какие когда-либо жили на свете, придумал крайне безнравственный способ приучать свой народ к трезвости: он насильственно заставлял илотов, которые были рабами спартанцев, напиваться до полного отупения; и делал он это ради того, чтобы при виде этих погибших, погрязших в вине существ, спартанцев охватывал ужас перед крайними проявлениями этого столь омерзительного порока[9] [broken link: #nb23_9]. Еще более жестоко — ибо если уж приходится поступать неправедно, то гораздо извинительнее делать это для нашей души, нежели для спасения нашего тела, — поступали в древности те, кто дозволял врачам кромсать заживо приговоренных к казни преступников, независимо от того, к какому роду смерти их присудили, с тем, чтобы

эти врачи, наблюдая в естественном состоянии наши внутренности, совершенствовались в своем искусстве. То же самое нужно сказать и о римлянах, воспитывавших в народе мужество, а также презрение к опасностям и к самой смерти посредством потрясающих зрелищ бьющихся не на живот, а на смерть гладиаторов и фехтовальщиков, которые резали и убивали друг друга у него на глазах,

*Quid vesani aliud sibi vult ars impia ludi,*

*Quid mortes iuvemun, quid sanguine pasta voluptas?[10] [broken link: #nb23_10]*

И этот обычай держался вплоть до императора Феодосия[11] [broken link: #nb23_11].

*Arripe dilatam tua, dux, in tempora famam,*

*Quodque patris superest, successor laudis habeto,*

*Nullus in urbe cadat, cuius sit poena voluptas.*

*Iam solis contenta feris, infamus arena*

*Nulla cruentatis homicidia ludat in armis.[12] [broken link: #nb23_12]*

Это и впрямь был пример поразительной силы воздействия и чрезвычайно полезный для воспи-

тания в народе упомянутых качеств, ибо чуть ли не ежедневно у него на глазах сотня, две сотни, даже тысячи пар, выходивших с оружием в руках друг против друга, давали рубить себя на куски с таким непоколебимым мужеством, что никто никогда не слышал от них ни одного малодушного слова и ни одной жалобы, не видел ни одного, кто обратился бы вспять или даже позволил себе какое-нибудь трусливое движение в сторону, чтобы избежать удара противника; больше того, со многими из них случалось даже такое, что, прежде чем рухнуть наземь и тут же на месте испустить дух, они посылали спросить у народа, доволен ли он их поведением. Им подобало не только стойко сражаться и так же принимать смерть, но и делать, сверх того, и то и другое весело и легко; им свистали и их поносили, если видели, что им не хочется умирать; даже девушки — и те побуждали их к этому:

consurgit ad ictus;

> *Et, quoties victor ferrum iugulo inserit, illa*
> *Delicias ait esse suas, pectusque iacentis*
> *Virgo modesta iubet converso pollice rumpi.[13] [broken link: #nb23_13]*

Первоначально римляне пользовались для этих

поучительных зрелищ только преступниками, но впоследствии стали выпускать на арену и ни в чем не повинных рабов, и свободных граждан, продававших себя для этого, и сенаторов, и римских всадников, и, больше того, даже женщин:

> *Nunc caput in mortem vendunt, et funus arenae*
>
> *Atque hostem sibi quisque parat, cum bella quiescant.[14] [broken link: #nb23_14]*
>
> *Hos inter fremitus novosque lusus,*
>
> *Stat sexus rudis insciusque ferri,*
>
> *Et pugnas capit improbus viriles.[15] [broken link: #nb23_15]*

Все это я счел бы крайне странным и непонятным, если бы мы не привыкли постоянно видеть в качестве участников наших войн многие тысячи чужеземцев, отдающих за деньги и свою кровь, и самую жизнь в распрях, до которых им нет ни малейшего дела.

## Глава XXIV
## О величии римлян

Этому поистине неисчерпаемому предмету я намерен уделить всего несколько слов; моя цель — показать недомыслие тех, кто пытается сравнивать с величием римлян жалкое величие нашего времени. В седьмой книге «Дружеских писем» Цицерона (пусть филологи, если того пожелают, лишат их названия «Дружеских», ибо оно и в самом деле не очень-то подходит, и те, кто вместо «Дружеские» именует их письмами ad familiares[1] [broken link: #nb24_1], могут извлечь кое-какие доводы в свою пользу из того, что в своем «Жизнеописании Цезаря» сообщает Светоний[2] [broken link: #nb24_2], а именно, что и у Цезаря был целый том писем, написанных им ad familiares) — так вот в этой седьмой книге есть одно письмо Цицерона к Цезарю, находившемуся в то время в Галлии. В этом письме Цицерон воспроизводит слова, содержавшиеся в конце письма, полученного им перед тем от Цезаря. Вот они: «Что касается Марка Фурия, о котором ты отзываешься с такой похвалой, то я сделаю его, если

такова твоя воля, царем Галлии. И вообще, если ты хочешь выдвинуть кого-нибудь из своих друзей, присылай этого человека ко мне»[3] [broken link: #nb24_3]. Для простого римского гражданина, каким был тогда Цезарь, было уже не внове располагать по своему усмотрению целыми царствами, ибо к тому времени он успел отнять у Дейотара[4] [broken link: #nb24_4] его престол, чтобы отдать его некоему знатному пергамцу по имени Митридат. И те, кто описывает нам жизнь Цезаря, перечисляют еще несколько проданных им государств; да и Светоний рассказывает[5] [broken link: #nb24_5], что Цезарь вытянул с одного раза из царя Птолемея три миллиона шестьсот тысяч экю, то есть почти столько же, за сколько тот мог бы продать свое царство:

> *Tot Galatae, tot Pontus eat, tot Lydia nummis.[6] [broken link: #nb24_6]*

Марк Антоний говаривал, что величие римского народа проявляется не столько в том, что он взял, сколько в том, что он роздал[7] [broken link: #nb24_7]; и все же за несколько веков до Антония этот народ отнял нечто настолько значительное, что во всей истории Рима я не знаю никакого другого события, которое сообщало бы его имени

большую славу и большее уважение. Антиох[8] [broken link: #nb24_8] владел в те времена всем Египтом и готовился предпринять захват Кипра и прочих зависимых от него областей. В самый разгар одерживаемых этим царем побед к нему прибыл с поручением от сената Гай Попилий; он начал с того, что отказался коснуться царской руки, пока царь не прочтет врученного им послания. Антиох, прочитав это послание, заявил Попилию, что ему потребуется время на размышление. Тогда Попилий очертил находившимся у него прутиком место, на котором стоял Антиох, и сказал, обращаясь к нему: «Сообщи, не выходя из этого круга, ответ, который я мог бы доставить сенату». Антиох, пораженный решительностью столь безоговорочно предъявленного ему повеления, подумав немного, ответил: «Я выполню все, что приказывает сенат».

После этого Попилий обратился к нему с приветствием, какое отныне подобало ему, как «другу римского народа». Отказаться от столь беспредельной власти, и притом тогда, когда судьба так благоприятствовала ему, — и все это под впечатлением каких-то трех строк послания! И он был, разумеется, прав, приказав, как он сделал, сообщить через своих послов сенату римской рес-

публики, что он принял его приказания с таким же благоговением, как если бы они исходили от бессмертных богов.

Все царства, завоеванные Августом по праву войны, он возвратил тем, кто владел ими прежде, или раздарил чужеземцам. И по этому поводу Тацит, рассказывая о Когидуне, короле бриттов, одной замечательно удачной черточкой дает нам почувствовать всю бесконечность могущества римлян. Римляне, говорит он, имели обыкновение еще с древнейших времен оставлять во владении побежденных царей, под их властью, принадлежавшие им ранее царства, «дабы располагать даже царями в качестве орудий порабощения» — ut haberent instrumenta servitutis et reges[9] [broken link: #nb24_9]. Весьма вероятно, что Сулейман[10] [broken link: #nb24_10], который, как мы видели, весьма милостиво отнесся к венгерскому королевству и некоторым другим государствам, руководствовался при этом скорее указанными выше соображениями, а не тем, какое имел обыкновение приводить в объяснение своих действий, а именно — что «он пресыщен и обременен таким множеством монархий и владений».

## Глава XXV
## О том, что не следует прикидываться больным

У Марциала есть удачная эпиграмма (ибо не все его эпиграммы одинакового достоинства), в которой он рассказывает забавную историю о Целии. Последний, не желая быть на ролях придворного у некоторых римских вельмож — присутствовать при церемонии их вставания, находиться при них и сопровождать их — притворился страдающим подагрой. Стремясь отвести всякие сомнения в подлинности своей болезни, он стал лечиться от подагры: ему смазывали и закутывали ноги, и он до того естественно подделывался своим внешним видом и манерой держаться под подагрика, что под конец судьба ниспослала ему это счастье на деле:

> *Tantum cura potest et ars doloris!*
>
> *Desiit fingere Caelius podagram.[1] [broken link: #nb25_1]*

Где-то у Аппиана[2] [broken link: #nb25_2], насколько мне помнится, я прочитал о подобном

же случае с одним римлянином, который, чтобы не попасть в проскрипционные списки, составлявшиеся триумвирами, и желая ускользнуть от бдительности своих гонителей, не только скрывался переодетым, но еще и притворялся одноглазым. Когда он обрел большую свободу действий и решил снять пластырь, которым долгое время был заклеен один его глаз, то обнаружил, что действительно потерял зрение на этот глаз. Возможно, что в связи с длительным бездействием этого глаза зрение в нем ослабело, но зато увеличилась зоркость другого глаза. Ибо нередко мы наблюдаем, что закрытый глаз передает работающему часть своих функций, благодаря ему глаз, принявший весь труд на себя одного, как бы увеличивается и расширяется за этот счет. Нечто подобное могло произойти и в случае, приводимом Марциалом: отвычка Целия от ходьбы, укутывания ног и другие лечебные средства могли вызвать у его мнимого подагрика первые признаки этой болезни.

Читая у Фруассара[3] [broken link: #nb25_3] об одном отряде молодых английских рыцарей, которые, до переправы во Францию и до совершения каких-то там подвигов в войне с нами, все носили повязку на левом глазу, я часто весело

смеялся при мысли, что с ними должно было приключиться то же, что и в приведенных случаях, и при возвращении в Англию они все предстали кривыми перед своими возлюбленными, ради которых пустились в это предприятие.

Матери правы, когда бранят детей за то, что они подражают слепым, хромым, косоглазым, людям с какими-либо другими физическими недостатками, ибо, кроме того, что это может причинить вред не сложившемуся еще организму ребенка, получается так, как будто судьба нас подстерегает, чтобы поймать на этом; мне довелось слышать о многих случаях, когда люди, изображавшие какую-нибудь болезнь, потом и в самом деле заболевали ею.

С давних пор я до того привык — хожу ли пешком, езжу ли верхом — держать в руках трость или палку, что даже нахожу в этом известное изящество и мне нравится опираться на палку. Многие пугали меня тем, что когда-нибудь судьба обратит мое щегольство в печальную необходимость. Я льщу себя поэтому надеждой, что буду в таком случае первым подагриком во всем моем роде.

Однако вернемся к затронутой теме и поговорим еще о слепоте. Плиний сообщает[4] [broken

link: #nb25_4] о случае, когда человек, вообразив себя во сне слепым, на другой день действительно ослеп, совершенно не болев до этого. Сила воображения, как я утверждал в другом месте[5] [broken link: #nb25_5], могла при этом сыграть свою роль, и кажется, что это мнение разделяет и Плиний; но более вероятно, что внутренние ощущения потери зрения, которые испытывал организм и причину которых установят, если им угодно будет, врачи, явились поводом для такого сна.

Приведем еще один близкий к этому случай, о котором рассказывает в одном из своих писем Сенека. «Ты знаешь, — пишет Сенека Луцилию[6] [broken link: #nb25_6], — что Гарпаста, шутиха моей жены, осталась у меня в доме в этой должности, перешедшей к ней по наследству, ибо что касается меня, то я не выношу подобных уродов, и если мне хочется посмеяться над шутом, мне незачем для этого далеко ходить: я смеюсь над собой. И вдруг Гарпаста ослепла. Я рассказываю тебе о странном, но истинном происшествии; эта несчастная не сознает, что она ослепла и непрерывно требует от своего слуги, чтобы он увел ее из моего дома, ссылаясь на то, что у меня слишком темно. Поверь мне: тот самый недостаток, который вызывает в нас улыбку по ее

адресу, присущ каждому из нас; никто не сознает, что он скуп или жаден. Слепые нуждаются в поводыре, мы же обязаны заботиться о себе сами. Я не тщеславен, — говорим мы, — но в Риме нельзя жить иначе; я не мот, но такой город обязывает к большим тратам; не моя вина, если я вспыльчив и еще не выработал себе твердого уклада жизни; в этом повинна молодость. Не будем искать причину зла вне нас, оно сидит в нас, в самом нашем нутре. И именно потому, что мы не сознаем своей болезни, нам так трудно исцелиться. Если не начать лечиться при первых признаках заболевания, то как справиться с таким количеством язв и недугов? Но у нас есть такое прекрасное лекарство, как философия: в отличие от других средств, радующих нас только после выздоровления, философия одновременно и радует и исцеляет нас».

Таковы слова Сенеки, который увел меня далеко от темы, но и в перемене есть польза.

## Глава XXVI
## О большом пальце руки

Тацит сообщает[1] [broken link: #nb26_1], что у некоторых варварских королей был такой обычай: два короля, чтобы скрепить заключаемый между ними договор, плотно прикладывали одну к другой ладони своих правых рук, переплетая вместе узлом большие пальцы; затем, когда кровь сильно приливала к кончикам туго стянутых пальцев, они делали на них надрез и слизывали друг у друга брызнувшую кровь.

Врачи утверждают, что большой палец руки — властелин остальных пальцев и что латинское название большого пальца происходит от глагола pollere[2] [broken link: #nb26_2]. Греки называли большой палец αντίχειρ, как если бы это была еще одна самостоятельная рука. Мне сдается, что и в латинском языке это слово иногда тоже обозначает всю руку:

> *Sed nec vocibus excitata blandis*
>
> *Molli pollice nec rogata surgit.[3] [broken link: #nb26_3]*

В Риме считалось знаком одобрения прижать

один к другому оба больших пальца и опустить их:

> *Fautor utroque tuum laudabit pollice ludum,[4] [broken link: #nb26_4]*

напротив, признаком же немилости — поднять их и наставить на кого-нибудь:

> *converso pollice vulgi*
>
> *Quemlibet occidunt populariter.[5] [broken link: #nb26_5]*

Римляне освобождали от военной службы раненных в большой палец на том основании, что они не могли уже достаточно крепко держать в руке оружие. Август конфисковал все имущество одного римского всадника, который отрубил обоим своим молодым сыновьям большие пальцы с целью избавить их от военной службы[6] [broken link: #nb26_6]; а еще до Августа, во время италийской войны, сенат осудил Гая Ватиена на пожизненное заточение с конфискацией имущества за то, что он умышленно отрубил себе большой палец левой руки, чтобы избавиться от этого похода[7] [broken link: #nb26_7].

Какой-то полководец — не могу припомнить, кто именно, — выигравший морское сражение,

приказал отрубить побежденным врагам большие пальцы, дабы они не могли больше воевать и грести[8] [broken link: #nb26_8].

Афиняне отрубили эгинянам большие пальцы, чтобы лишить их превосходства в морском деле[9] [broken link: #nb26_9].

В Спарте учитель наказывал детей, кусая у них большой палец[10] [broken link: #nb26_10].

## Глава XXVII
## Трусость — мать жестокости

Я часто слышал пословицу: трусость — мать жестокости. Мне действительно приходилось наблюдать на опыте, что чудовищная, бесчеловечная жестокость нередко сочетается с женской чувствительностью. Я встречал необычайно жестоких людей, у которых легко было вызвать слезы и которые плакали по пустякам. Тиран города Феры Александр не мог спокойно сидеть в театре и смотреть трагедию из опасения, как бы его сограждане не услышали его вздохов по поводу страданий Гекубы или Андромахи, в то время, как сам он, не зная жалости, казнил ежедневно множество людей[1] [broken link: #nb27_1]. Не душевная ли слабость заставляла таких людей бросаться из одной крайности в другую?

Доблесть, свойство которой — проявляться лишь тогда, когда она встречает сопротивление:

> *Nec nisi bellantis gaudet cervice iuvence,[2] [broken link: #nb27_2]*

бездействует при виде врага, отданного ей во власть, тогда как малодушие, которое не решает-

ся принять участие в опасном бою, но хотело бы присвоить себе долю славы, даруемую победой, берет на себя подсобную роль — избиений и кровопролития. Побоища, следующие за победами, обычно совершаются солдатами и командирами обоза; неслыханные жестокости, чинимые во время народных войн, творятся этой кучкой черни[3] [broken link: #nb27_3], которая, не ведая никакой другой доблести, жаждет обагрить по локоть свои руки в крови и рвать на части человеческое тело:

> *Et lupus et turpes instant morientibus ursi,*
> *Et quaecunque minor nobilitate fera est.[4] [broken link: #nb27_4]*

Эти негодяи подобны трусливым псам, кусающим попавших в неволю диких зверей, которых они не осмеливались тронуть, пока те были на свободе. А что в настоящее время превращает наши споры в смертельную вражду, и почему там, где у наших отцов было какое-то основание для мести, мы в наши дни начинаем с нее и с первого же шага принимаемся убивать? Что это, как не трусость? Всякий отлично знает, что больше храбрости и гордости в том, чтобы разбить своего врага и не прикончить его, чтобы разъярить

его, а не умертвить; тем более, что жажда мести таким образом больше утоляется, ибо с нее достаточно — дать себя почувствовать врагу. Ведь мы не мстим ни животным, ни свалившемуся на нас камню, ибо они неспособны ощутить нашу месть. А убить человека — значит охранить его от действия нашей обиды.

Биант[5] [broken link: #nb27_5] как-то бросил одному негодяю: «Я знаю, что рано или поздно ты будешь наказан за это, но боюсь не увидеть этого»; и он жалел, что не осталось в живых никого из тех жителей города Орхомена, которых могло бы порадовать раскаяние Ликиска в совершенном по отношению к ним предательстве. Точно так же можно пожалеть о мести в том случае, когда тот, против кого она направлена, не может ее почувствовать, ибо, поскольку мститель хочет порадоваться, увидев себя отмщенным, необходимо, чтобы налицо был и обидчик, который ощутил бы при этом унижение и раскаяние.

«Он раскается в этом», — говорим мы. Но можно ли надеяться, что он раскается, если мы пустим ему пулю в лоб? Наоборот, если мы присмотримся повнимательнее, мы убедимся, что он скорчит нам презрительную гримасу. Он даже не успеет на нас разгневаться и будет за тысячу миль от

того, чтобы раскаяться. Мы окажем ему величайшую услугу, дав ему возможность умереть внезапно, без всяких мучений. Нам придется бежать, скрываться и таиться от преследования судебных властей, а он будет мирно покоиться. Убийство годится в том случае, когда ты хочешь избежать предстоящей обиды, но не тогда, когда хочешь отметить за совершенный уже проступок; это скорее действие, продиктованное страхом, чем храбростью, предосторожностью, а не мужеством, обороной, а не нападением. Не подлежит сомнению, что мы отклоняемся в этом случае и от подлинной цели мести и перестаем заботиться о нашем добром имени; мы боимся, чтобы враг не отплатил нам тем же, если останется в живых. Ты избавляешься от него ради себя, а не борясь с ним.

В Нарсингском царстве[6] [broken link: #nb27_6] такой способ борьбы был бы невозможен. Там не только воины, но и ремесленники решают возникающие среди них раздоры мечом. Царь предоставляет место для состязания тому, кто хочет сразиться, и присутствует сам, если это знатные лица, награждая победителя золотой цепью. Первый попавшийся, которому захочется завоевать такую цепь, может вступить в бой с ее

обладателем, и случается, что тому приходится выдерживать несколько таких поединков.

Если бы мы хотели превзойти нашего врага доблестью и иметь возможность рассчитаться с ним, то мы огорчились бы, если бы он избежал этого, в случае, например, смерти; ведь мы хотим победить и добиваемся не столько почетной, сколько верной победы, мы стремимся не столько к славе, сколько к тому, чтобы положить конец ссоре. Подобную ошибку совершил по своей порядочности Азиний Поллион[7] [broken link: #nb27_7]: написав множество инвектив против Планка, он стал дожидаться его смерти, чтобы выпустить их в свет. Это походило на то, как если бы показать кукиш слепому и обрушиться с бранью на глухого, и меньше всего можно было рассчитывать оскорбить этим Планка. Поэтому в адрес Поллиона и было сказано, что только червям дано точить мертвецов. О чем свидетельствует поведение того, кто дожидается смерти автора, с писаниями которого он хочет бороться, как не о том, что он сварлив и бессилен?

Аристотелю рассказали, что кто-то клевещет на него. «Пусть он отважится на большее, — ответил Аристотель, — пусть бичует меня, лишь бы меня там не было»[8] [broken link: #nb27_8].

Наши предки довольствовались тем, что отвечали на оскорбительные слова обвинением во лжи, на обвинение во лжи — ударом, и так далее, все усиливая оскорбления. Они были достаточно храбры и не боялись встретиться лицом к лицу с оскорбленным ими врагом. Мы же трепещем от страха, пока видим, что враг жив и здоров. Не свидетельствует ли о том, что это именно так, наше великолепное нынешнее обыкновение преследовать насмерть как того, кто нас обидел, так и того, кого мы обидели сами?

Свидетельством трусости является также введенный у нас обычай приводить с собой на поединок секунданта, а не то даже двух или трех. В прежние времена бывали единоборства, а сейчас у нас — это стычки или маленькие сражения[9] [broken link: #nb27_9]. Тех, кто их выдумал, страшило одиночество: cum in se cuique minimum fiduciae esset[10] [broken link: #nb27_10]. Ведь вполне понятно, что, когда в момент опасности с тобой находятся еще несколько человек, то, кем бы они ни были, уж само их присутствие всегда приносит облегчение и подбадривает. В прежние времена в обязанности третьих лиц входило следить за тем, чтобы не было нарушений порядка или какого-нибудь подвоха, и они же должны

были являться очевидцами исхода сражения; но с тех пор, как повелось, что они должны сами принимать участие в этих сражениях, всякий такой человек уже не может без ущерба для своей чести оставаться зрителем из опасения быть обвиненным в трусости или недостатке дружбы. Я нахожу, что это несправедливо, ибо гнусно для защиты своей чести привлекать кого бы то ни было, кроме самого себя; а кроме того, я еще считаю, что для порядочного человека, целиком полагающегося на себя, недопустимо заставлять другого разделять его судьбу. Всякий человек достаточно подвергает себя опасности ради самого себя, и не следует, чтобы он подвергал себя ей еще ради кого-нибудь другого; и с него хватает заботы о том, как бы отстоять свою жизнь собственными силами, не отдавая столь драгоценную вещь в чужие руки. А между тем, если в условиях поединка не оговорено противное, он неизбежно превращается в сражение по меньшей мере четырех бойцов. Если ваш секундант повержен на землю, вам предстоит, по правилам, биться одновременно с двумя. Да разве это не плутовство? Ведь это все равно, как если бы человек хорошо вооруженный нападал на имеющего в руках лишь рукоять без клинка

или целый и невредимый — на раненого.

Но если подобных преимуществ вы добились сами, сражаясь, вы вправе ими воспользоваться, не боясь упреков. Неравенство в вооружении и состоянии сражающихся учитывается лишь в момент начала боя, а дальше уже вы должны положиться на собственную удачу. Если на поединке два ваших секунданта будут убиты и вам придется одному сражаться против троих, поведение ваших противников будет столь же безупречным, как и мое в том случае, если бы на войне я пронзил шпагой врага, имеющего против себя одного троих наших.

Всегда там, где рать стоит против рати (как это было, например, когда наш герцог Орлеанский вызвал на бой короля Генриха английского, с сотней своих бойцов против ста англичан с их королем, или во время битвы аргивян со спартанцами, где решено было сражаться тремстам воинам против трехсот, или когда трое бились против троих, как было в битве Горациев против Куриациев[11] [broken link: #nb27_11]), множество воинов, выставляемое каждой стороной, рассматривается как один человек. Всюду там, где налицо несколько сражающихся человек, битва полна превратностей и исход ее смутен.

У меня есть свои личные основания интересоваться этой темой: мой брат, сьер де Матекулон[12] [broken link: #nb27_12], был приглашен в Риме одним мало знакомым ему дворянином в качестве секунданта на дуэль между ним и другим дворянином, который вызвал его. В этом поединке моему брату пришлось скрестить шпагу с человеком, который был ему более знаком и близок, чем дворянин, ради которого он принял участие в этой дуэли (хотел бы я, чтобы мне когда-нибудь разъяснили смысл этих законов чести, которые так часто идут вразрез с разумом и здравым смыслом!). Разделавшись со своим противником и видя, что оба главных дуэлянта еще целы и невредимы, мой брат напал на секунданта. Мог ли он поступить иначе? Или ему следовало отойти в сторону и спокойно наблюдать, как тот, кто пригласил его секундантом, быть может, будет убит на его глазах? Ибо то, что он до сих пор сделал, не подвигало дела ни на шаг и спор оставался все еще неразрешенным! То великодушие, которое вы вполне можете и обязаны проявить по отношению к вашему личному врагу, если вы прижали его к стене или причинили уже ему какой-то огромный ущерб, — я не представляю себе, как вы могли бы его проявить, когда дело идет не

о ваших собственных интересах, а об интересах третьего лица, которому вы вызвались помогать. Мой брат не имел права быть справедливым и великодушным, подвергая риску успех лица, в распоряжение которого он себя предоставил. Вот почему, по незамедлительному и официальному требованию нашего короля, он был освобожден из тюремного заключения в Италии.

Мы, французы, — ужасные люди: не довольствуясь тем, что весь мир знает о наших пороках и безумствах понаслышке, мы еще ездим к другим народам, чтобы показать их воочию. Поселите троих французов вместе в ливийской пустыне — они и месяца не проживут, не поцапавшись друг с другом. Можно подумать, что эти путешествия предпринимаются нарочно для того, чтобы доставить иноземцам удовольствие полюбоваться нашими драмами, и главным образом тем из них, которые смеются над нашими бедами и злорадствуют по этому поводу.

Мы ездим в Италию учиться фехтованию и, рискуя жизнью, практикуем это искусство, еще не научившись ему. Ведь по правилам обучения следовало бы сначала изучить теорию, а потом практику этого дела. Между тем наше обучение ведется в обратном порядке:

*Primitiae iuvenum miserae, bellique futuri*
*Dura rudimenta.[13] [broken link: #nb27_13]*

Я знаю, что фехтовальное искусство преследует полезные цели (в Испании, например, по словам Тита Ливия[14] [broken link: #nb27_14], однажды на поединке двух двоюродных братьев знатного происхождения старший благодаря опытности в военном деле и хитрости легко одолел самонадеянного младшего брата), и убедился на опыте, что умелое пользование этим искусством придавало некоторым необычайную храбрость; но это не мужество в истинном смысле слова, ибо оно происходит не от природной смелости, а от ловкости. Доблесть в сражении состоит в соревновании храбрости, а эта последняя не приобретается путем обучения. Так, один мой приятель, считавшийся большим знатоком фехтовального искусства, выбирал для своих поединков такого рода оружие, которое лишало бы его возможности воспользоваться своим преимуществом и при котором все целиком и полностью зависело бы от удачи и уверенного поведения; он не желал, чтобы его успех приписывали не его мужеству, а искусству в фехтовании. В годы моего детства

дворяне избегали приобретать репутацию искусных фехтовальщиков, ибо она считалась унизительной, и уклонялись от обучения этому искусству, которое основывается на ловкости и не требует подлинной и неподдельной доблести:

*Non schivar, non parar, non ritirarsi*

*Voglion costor, ne qui destrezza ha parte.*

*Non danno i colpi finti, hor pieni, hor scarsi;*

*Toglie l'ira e'il furor l'uso del arte.*

*Odi le spade horribilmente urtarsi*

*A mezzo il ferro; il pie d'orma non parte;*

*Sempre è'il pie fermo, è la man sempre in moto;*

*Ne scende taglio in van ne punta à voto.[15] [broken link: #nb27_15]*

Военными упражнениями наших отцов были такие подобия битв, как турниры, стрельба в цель, стычки у барьера; а наши поединки считались тем не менее почтенными, что они преследуют лишь частные наши цели: на них мы только уничтожаем друг друга, вопреки существующим законам и правосудию, и они всегда приносят лишь вред и ущерб. Гораздо более достойное и

подходящее дело — заниматься такими вещами, которые не портят, а укрепляют наши нравы и направлены к обеспечению общественной безопасности и славы.

Консул Публий Рутилий[16] [broken link: #nb27_16] впервые ввел военное обучение для воинов, установив, что при обращении с оружием искусство должно сочетаться с доблестью, но не в интересах частных лиц, а в интересах римского народа, для разрешения его военных споров. Уменье вести войну должно быть всеобщим и общегражданским делом. Кроме Цезаря, отдавшего во время битвы при Фарсале приказ своим воинам целиться воинам Помпея прямо в лицо[17] [broken link: #nb27_17], многие другие полководцы изобретали особые способы борьбы, новые виды обороны и нападения в зависимости от требований момента. Но Филопемен осудил кулачный бой[18] [broken link: #nb27_18], в котором он не имел себе равных, поскольку подготовка к нему была совершенно отлична от военного обучения, ибо он считал, что только почтенные люди должны упражняться в нем. Подобно этому и я считаю, что та ловкость, которую с помощью новейших способов обучения стремятся привить молодежи, те особые выпады и парады, в которых

ей советуют упражняться, не только совершенно бесполезны, но скорее даже вредны, если их применять в настоящем сражении.

Вот почему военные люди в наше время пользуются в бою совсем особыми видами оружия, лучше всего для этой цели приспособленными. И не раз при мне выражали неодобрение дворянину, который, будучи вызван на поединок на шпагах и кинжалах, являлся на место боя в полном военном вооружении. Следует отметить, что платоновский Лахес[19] [broken link: #nb27_19], говоря о военном обучении, подобно нашему, заявляет, что никогда не видел, чтобы такая военная школа дала какого-нибудь видного полководца или хотя бы знатока военного дела. Наш опыт подтверждает это; но тут по крайней мере можно сказать, что это таланты, не имеющие отношения к обычному военному обучению. Платон запрещает при воспитании детей в своем государстве способы ведения кулачного боя, установленные Амиком и Эпеем, а также приемы борьбы, введенные Антеем и Керкионом, так как их цель отнюдь не в том, чтобы усовершенствовать военную подготовку молодежи или содействовать ей[20] [broken link: #nb27_20].

Но я несколько отклонился от моей темы.

Император Маврикий[21] [broken link: #nb27_21], будучи предупрежден некоторыми предсказаниями и сновидениями о том, что он будет убит неким безвестным до этого времени солдатом Фокой, обратился к своему зятю Филиппу с вопросом, что представляет собой этот Фока, каков его характер, его душевные качества, нрав. И когда Филипп при перечислении его качеств упомянул о том, что он труслив и робок, Маврикий тотчас же на основании этого заключил, что он, следовательно, жесток и склонен к убийствам. Почему тираны так кровожадны? Не потому ли, что они заботятся о своей безопасности? Не потому ли, что их трусость видит лучшее средство избавиться от опасности в том, чтобы истребить всех, вплоть до женщин, кто только способен встать против них, кто может нанести им хотя бы малейший ущерб?

> *Cuncta ferit, dum cuncta timet.[22] [broken link: #nb27_22]*

Первые жестокости совершаются ради них самих, но они порождают страх перед справедливым возмездием, который влечет за собой полосу новых жестокостей с целью затмить одни зверства другими. Македонский царь Филипп,

у которого было столько свар с римским народом, напуганный тем, что совершенные по его приказанию убийства вызвали общий ужас и величайшее волнение, и не зная, как обезопасить себя от такой массы потерпевших от него в разное время людей, решил арестовать детей всех убитых и день за днем приканчивать их, чтобы таким путем добиться успокоения[23] [broken link: #nb27_23]. Благородные поступки всегда хороши, где бы они ни совершались. Я всегда более озабочен тем, чтобы трактуемые мною сюжеты были важны и полезны, чем желанием добиться последовательности и стройности моего повествования, и потому не боюсь привести здесь одно замечательное происшествие, несколько отклоняющееся от нити моего изложения[24] [broken link: #nb27_24]. В числе осужденных Филиппом был фессалийский князь Геродик. Вслед за ним Филипп умертвил еще и двух его зятьев, каждый из которых оставил после себя малолетнего сына. Теоксена и Архо — так звали двух оставшихся вдов. Теоксену никак не удавалось уговорить вторично выйти замуж, несмотря на самые настойчивые ухаживания. Архо вышла замуж за самого знатного человека среди энийцев, Пориса, и имела от него много детей, которые после ее

смерти остались малолетними. Охваченная материнской жалостью к несчастным детям своей сестры, Теоксена, желая взять их под свое попечение и воспитать их, вышла замуж за Пориса. К этому времени был издан упомянутый выше указ Филиппа об аресте детей. Отважная Теоксена, опасаясь жестокости Филиппа и его разнузданных приближенных, способных на все по отношению к этим юным и прелестным детям, осмелилась заявить, что она лучше убьет их собственными руками, чем отдаст палачам. Испуганный ее словами, Порис обещал спрятать их и затем увезти в Афины, чтобы там отдать на попечение преданным друзьям. Они воспользовались ежегодным праздником, который справлялся в Эносе в честь Энея, и отправились туда всей семьей. Днем они присутствовали на праздничных обрядах и на общем пиру, а ночью сели в приготовленную заранее лодку, чтобы добраться морем до Афин. Противный ветер помешал им, и наутро, очутившись неподалеку от того места, откуда они вчера отплыли, они были замечены портовой стражей. Когда их вот-вот должны были схватить, Порис попытался убедить гребцов удвоить свои усилия, чтобы ускользнуть от преследователей, а Теоксена, потеряв голову от любви к своим детям и

жажды мести, вернулась к своему первоначальному намерению и стала готовить оружие и яд. Затем, показав все это детям, она сказала: «Дети, у меня осталось только одно средство защитить вас и сохранить вам свободу — это заставить вас умереть. Боги, внемля священному правосудию, рассудят это дело. В случае, если мечи изменят вам, эти чаши откроют вам двери в тот мир. Будьте мужественны! Ты же, сын мой, так как ты старше всех, сам вонзи себе этот кинжал себе в грудь, чтобы умереть смертью храбрых». Дети, видя перед собой мать, бесстрашно призывавшую их скорее покончить с собой, и имея позади себя настигавших их врагов, бросились грудью на те лезвия, которые были к ним ближе всего, и полумертвыми были сброшены в море. Теоксена, счастливая тем, что ей удалось так геройски спасти всех своих детей, горячо обняла своего мужа и сказала: «Последуем, друг мой, за нашими детьми! Пусть будет у нас с тобой та радость, что мы окажемся с ними в одной могиле». И, обнявшись, они бросились в море, так что когда лодку подтащили к берегу, она была пуста.

Тираны, стремясь чинить две жестокости одновременно — убивать и вымещать свой гнев, — прилагают все усилия к тому, чтобы по

возможности продлить казнь. Они жаждут гибели своих врагов, но не хотят их скорой смерти; им нужно не упустить возможности насладиться местью[25] [broken link: #nb27_25]. Из-за этого они оказываются в затруднительном положении, ибо, если мучения нестерпимы, они коротки, если же они продолжительны, то тираны их считают недостаточно сильными; и вот они начинают разнообразить орудия пытки. Тысячи подобных примеров мы встречаем в древности, и я не уверен, не сохраняем ли мы в себе, сами того не сознавая, некоторых следов этого варварства.

Все, что выходит за пределы обычной смерти, я считаю неоправданной жестокостью[26] [broken link: #nb27_26]; наше правосудие не может рассчитывать на то, что тот, кого не удерживает от преступления страх смерти — боязнь быть повешенным или обезглавленным, — не совершит его из страха перед смертью на медленном огне или посредством колесования или из боязни колодок. И все же я не уверен, доводим ли мы таким путем осужденных до полного отчаяния. Действительно, каково должно быть душевное состояние человека, ожидающего смерти, подвергнутого колесованию или, по старинному обычаю, пригвожденному к кресту? Иосиф[27]

[broken link: #nb27_27] рассказывает, что во время иудейской войны, проходя мимо одного места, где за три дня до того распяли нескольких евреев, он узнал среди них троих своих друзей, и ему удалось добиться того, что их сняли с крестов; двое из них, сообщает он, умерли, третий же прожил после этого еще несколько лет.

Халкондил[28] [broken link: #nb27_28], автор, заслуживающий доверия, в записках, оставленных им о событиях, происшедших на его памяти и часто на его глазах, описывает как самую чудовищную ту казнь, которую нередко применял султан Мехмед: он приказывал одним ударом кривой турецкой сабли рассечь человека пополам по линии диафрагмы, так что люди умирали как бы двумя смертями одновременно; можно было видеть, рассказывает он, как обе части тела, полные жизни, продолжали еще некоторое время трепетать в муках. Не думаю, чтобы это было придумано им очень умно. Не всегда те казни, которые выглядят самыми страшными, являются самыми мучительными.

Я нахожу несравненно более жестокой ту казнь, которую тот же Мехмед, по словам некоторых историков[29] [broken link: #nb27_29], применял к эпирским князьям: он приказывал сдирать с них

заживо кожу частями, и таким коварно придуманным способом, что они мучились в течение двух недель.

А вот еще два примера. Когда Крез захватил одного вельможу, любимца своего брата, Панталеонта, он велел отвести пленника в мастерскую валяльщика, где приказал до тех пор скрести его скребками и чесать чесальными орудиями, пока тот не скончался[30] [broken link: #nb27_30].

Георгии Секей, вождь тех польских крестьян, которые под предлогом крестового похода причинили массу бедствий, был разбит трансильванским воеводой и захвачен в плен[31] [broken link: #nb27_31]. Целых три дня, раздетый донага, он был привязан к особым козлам для пыток, и всякий мог терзать его и издеваться над ним, как ему вздумается; за все это время остальным пленникам не давали ни есть, ни пить. Наконец, когда в нем теплилась еще жизнь, на его глазах его собственной кровью напоили его любимого брата Луку, о спасении которого он молил, принимая на себя одного вину за все совершенные ими дела. Его тело, изрубленное на мелкие куски, были вынуждены съесть двадцать его ближайших помощников; а то, что еще оставалось, и его внутренности сварили в котле и скормили

остальным членам его отряда.

## Глава XXVIII
## Всякому овощу свое время

Те, кто сопоставляют Катона Цензора с умертвившим себя Катоном Младшим[1] [broken link: #nb28_1], сравнивают двух замечательных людей, у которых есть много общего.

Катон Цензор проявил себя в более разнообразных областях и превосходит Катона Младшего своими военными подвигами и более плодотворной государственной деятельностью. Но доблесть Катона Младшего — не говоря уже о том, что кощунственно сравнивать с ним кого бы то ни было в этом отношении, — куда более безупречна. Действительно, кто решится утверждать, что Катон Цензор был свободен от зависти и честолюбия, когда он отважился посягнуть на честь Сципиона, самого выдающегося по своим достоинствам человека своего времени? Мне не кажется особенно лестным для Катона Цензора то, что он, как сообщают[2] [broken link: #nb28_2], на старости лет принялся с величайшим усердием изучать греческий язык, словно стремясь утолить давнишнюю жажду. Это скорее говорит

о том, что он стал впадать в детство. Все вещи — и похвальные, и обыденные — хороши в свое время; даже молитва может быть несвоевременной: ведь обвиняли же Тита Квинкция Фламинина в том, что в бытность его командующим армией его застали в разгар боя в укромном месте молящимся богу о сражении, в котором он одержал победу[3] [broken link: #nb28_3]:

> *Imponit finem sapiens et rebus honestis.[4] [broken link: #nb28_4]*

Евдамид[5] [broken link: #nb28_5], глядя на то, как совсем уже дряхлый Ксенократ спешил на занятия в школу, с удивлением спросил: «Когда же он будет знать, если до сих пор все еще учится?»

Точно так же и Филопемен, обращаясь к тем, кто превозносил царя Птолемея за то, что он закалял себя ежедневно военными упражнениями, сказал: «Не похвально, чтобы царь в его возрасте упражнялся в военном искусстве; он должен был бы уже применять его на деле»[6] [broken link: #nb28_6].

По утверждению мудрецов, учиться надо смолоду, на старости же лет — наслаждаться знаниями[7] [broken link: #nb28_7]. Самым большим пороком человеческой природы мудрецы

считают непрерывное появление у нас все новых и новых желаний. Мы постоянно начинаем жить сызнова. Надо было бы, чтобы наше стремление учиться и наши желания с годами дряхлели, а между тем, когда мы уже одной ногой стоим в могиле, у нас все еще пробуждаются новые стремления:

> *Tu secanda marmora*
>
> *Locas sub ipsum funus, et sepulchri*
>
> *Immemor, struis domos.[8] [broken link: #nb28_8]*

Я никогда не загадываю больше, чем на год вперед, и думаю тогда только о том, как бы закончить свои дни; я гоню от себя всякие новые надежды, не затеваю никаких новых дел, прощаюсь со всеми покидаемыми мною местами и ежедневно расстаюсь с тем, что имею: Olim iam nec perit quicquam mihi nec acquiritur. Plus superest viatici quam viae[9] [broken link: #nb28_9].

> *Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi.[10] [broken link: #nb28_10]*

В конце концов единственное облегчение, даваемое мне старостью, состоит в том, что она убивает во мне многие желания и стремления, ко-

торыми полна жизнь: заботу о делах этого мира, о накоплении богатств, о величии, о расширении познаний, о здоровье, о себе. Бывает, что человек начинает обучаться красноречию, когда ему впору учиться, как сомкнуть свои уста навеки.

Можно продолжать учиться всю жизнь, но не начаткам школьного обучения: нелепо, когда старец садится за букварь[11] [broken link: #nb28_11].

> *Diversos diversa iuvant, non omnibus annis*
> *Omnia conveniunt.[12] [broken link: #nb28_12]*

Если надо учиться, будем изучать то, что под стать нашему возрасту; тогда мы сможем сказать, как тот, кто на вопрос, к чему ему эти занятия при его дряхлости, ответил: «Чтобы я мог лучше и легче уйти отсюда»[13] [broken link: #nb28_13]. Таков был смысл занятий Катона Младшего, когда он, почувствовав приближение смерти, углубился в диалог Платона о бессмертии души. Он обратился к Платону не потому, что не был уже с давних пор подготовлен к уходу из жизни: непоколебимости, твердой воли и умения у него было не меньше, чем он мог почерпнуть из писаний Платона; его самообладание и его знания в

этой области были выше всех требований, предъявляемых философией. Он погрузился в Платона не с целью получить наставление, как умирать, а как тот, кто, приняв столь важное решение, не желает ради него отказываться даже от сна; не меняя ничего в заведенном укладе жизни, он продолжал свои занятия наряду с другими своими привычными делами.

Ту самую ночь, когда его лишили претуры, он провел в игре, а ночь перед смертью провел за книгами. Утрата жизни и утрата должности равно казались ему чем-то незначительным.

## Глава XXIX
## О добродетели

Я знаю по опыту, что следует отличать душевный порыв человека от твердой и постоянной привычки. Знаю я также прекрасно, что для человека нет ничего невозможного, вплоть до того, что мы способны иногда, как выразился некий автор[1] [broken link: #nb29_1], превзойти даже божество, — и это потому, что гораздо больше заслуги в том, чтобы, преодолев себя, приобрести свободу от страстей, нежели в том, чтобы быть безмятежным от природы, и особенно замечательна способность сочетать человеческую слабость с твердостью и непоколебимостью бога. Но это бывает только порывами. В жизни выдающихся героев древности мы нередко наталкиваемся на поразительные деяния, которые, казалось бы, значительно превосходят наши природные способности. Но в действительности это лишь отдельные проявления. Трудно себе представить, чтобы эти возвышенные устремления так глубоко вошли в нашу плоть и кровь, что стали обычной и как бы естественной при-

надлежностью нашей души. Ведь даже нам, заурядным людям, удается иногда подняться душой, если мы вдохновлены чьими-нибудь словами или примером, превосходящими обычный уровень; но это бывает похоже на какой-то порыв, выводящий нас из самих себя; а как только этот вихрь уляжется, душа съеживается, опадает и спускается если не до самых низин, то во всяком случае до такого уровня, где она уже не та, какой только что была; и тогда по любому поводу — будь то разбитый стакан или упущенный сокол — наша душа приходит в ярость, подобно всякой самой грубой душе.

Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок; но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, что судить о человеке надо, основываясь главным образом на его обыденных поступках, наблюдая его повседневное существование.

Пиррон, который из нашего неведения сделал такую веселую науку, старался, как всякий подлинный философ, сообразовать свою жизнь со своим учением[2] [broken link: #nb29_2]. Он настаивал на том, что из-за крайней слабости

человеческого суждения человек не может произвести выбора и склониться на определенную сторону, и потому требовал, чтобы суждение всегда находилось в равновесии, чтобы все вещи были человеку безразличны. Поэтому он, как передают, держался всегда одинаково и невозмутимо: если он начинал что-то говорить кому-нибудь, то непременно доводил свою речь до конца, даже если тот, к кому он обращался, уже ушел; он не сворачивал с пути, если встречал какие-нибудь препятствия, так что друзья оберегали его от ям или каких-нибудь других неожиданных случайностей. Бояться или избегать чего-нибудь значило бы для него отступиться от своих убеждений, согласно которым даже чувства лишены достоверности и не способны производить выбор. Он, не моргнув глазом, с поразительной выдержкой переносил боль, когда ему делали прижигания или какой-нибудь надрез. Немалое дело — усвоить себе подобные взгляды, и еще труднее — хотя все же это в силах человеческих — добиться, чтобы слова не расходились с делами; но сообразовать их с такой твердостью и постоянством, чтобы они вошли в плоть и кровь (разумеется, когда речь идет о вещах необыденных), кажется невероятным.

Вот почему, когда Пиррона однажды застали ссорящимся с сестрой и упрекнули в том, что он изменяет своей невозмутимости, он ответил: «Как! Разве еще и эта ничтожная бабенка должна служить подтверждением моих правил?» В другой раз, когда Пиррона заставили отбиваться от злой собаки, он сказал: «Очень трудно освободиться от всего человеческого; приходится быть настороже и бороться с обстоятельствами прежде всего делами, а на худой конец — с помощью разума и размышлений»[3] [broken link: #nb29_3].

Около семи или восьми лет тому назад один крестьянин, проживающий в каких-нибудь двух лье отсюда и здравствующий еще и поныне, жестоко страдал от своей жены, изводящей его своей ревностью. Однажды, когда он вернулся с работы и она стала угощать его своими обычными причитаниями, он разъярился до того, что отсек себе начисто косарем те части, которые так тревожили ее, бросив их ей в лицо.

Рассказывают также, что один молодой дворянин, весельчак и повеса, которому после упорного натиска удалось наконец покорить сердце своей возлюбленной, пришел в отчаяние из-за того, что в самый решительный момент его мужское естество отказалось служить ему и что

*non viriliter*

*Iners senile penis extulerat caput.[4] [broken link: #nb29_4]*

Тогда он бросился к себе домой и через некоторое время послал своей красавице кровавое свидетельство жестокого жертвоприношения, которое он свершил, дабы загладить причиненную обиду. Интересно, как судили бы мы о столь героическом поступке, будь он совершен по философским убеждениям или во имя религии, как то делали жрецы Кибелы?

Недавно в Бражераке, в пяти лье от моего дома, вверх по реке Дордони, одна женщина, которую накануне избил и истерзал муж, пришла в такое отчаяние от его несносного характера, что решила ценой жизни избавиться от его жестокостей. На другой день с утра она, поздоровавшись, как обычно, со своими соседками и промолвив несколько бодрых слов о своих делах, взяла за руку свою сестру и отправилась с ней на мост; здесь она, как бы в шутку, простилась с сестрой и без всяких колебаний бросилась с моста в реку, где и погибла. В этом происшествии достойно внимания то, что женщина обдумывала свой план самоубийства в течение всей ночи.

Другое дело индийские женщины: согласно обычаю, мужья имеют не по одной, а по нескольку жен и самая любимая из них лишает себя жизни после смерти мужа. Поэтому каждая из жен всю жизнь стремится завоевать это место и приобрести это преимущество перед остальными женами. За все заботы о своих мужьях они не ждут никакой другой награды, кроме как умереть вместе с ним:

> *… ubi mortifero iacta est fax ultima lecto,*
>
> *Uxorum fusis stat pia turba comis;*
>
> *Et certamen habent lethi, quae viva sequatur*
>
> *Coniugium; pudor est non licuisse mori.*
>
> *Ardent victrices, et flammae pectora praebent,*
>
> *Imponuntque suis ora perusta viris.[5] [broken link: #nb29_5]*

Один современный нам автор пишет[6] [broken link: #nb29_6], что у некоторых восточных народов существует обычай, согласно которому не только жены хоронят себя после смерти мужа, но и рабыни, являвшиеся его возлюбленными. Делается это вот каким образом. После смерти мужа жена

может потребовать, если ей угодно (но лишь очень немногие пользуются этим), три-четыре месяца на устройство своих дел. В назначенный день она садится на коня, празднично разодетая и веселая, и отправляется, по ее словам, почивать со своим мужем; в левой руке она держит зеркало, в правой — стрелу. Торжественно прокатившись таким образом в сопровождении родных, друзей и большой толпы праздных людей, она направляется к определенному месту, предназначенному для таких зрелищ. Это огромная площадь, посередине которой находится заваленная дровами яма, а рядом с ямой возвышение, на которое она поднимается по четырем-пяти ступеням, и ей туда подают роскошный обед. Насытившись, она танцует и поет, затем, когда ей захочется, приказывает зажечь костер. Сделав это, она спускается и, взяв за руку самого близкого родственника мужа, отправляется вместе с ним к ближайшей речке, где раздевается донага и раздает друзьям свои драгоценности и одежды, после чего погружается в воду, как бы для того, чтобы смыть с себя грехи. Выйдя из воды, она заворачивается в кусок желтого полотна длиной в четырнадцать локтей и, подав руку тому же родственнику мужа, возвращается вместе с ним к возвышению, с

которого она обращается с речью к народу и дает наставления своим детям, если они у нее есть. Между ямой и возвышением часто протягивают занавеску, чтобы избавить женщину от вида этой горящей печи; но некоторые, желая подчеркнуть свою храбрость, запрещают всякие завешивания. Когда все речи окончены, одна из женщин подносит ей сосуд с благовонным маслом, которым она смазывает голову и тело, после чего бросает сосуд в огонь и сама кидается туда же. Толпа тотчас же забрасывает ее горящими поленьями, чтобы сократить ее мучения, и веселое празднество превращается в мрачный траур. Если же муж и жена — люди малосостоятельные, то труп покойника приносят туда, где его хотят похоронить, и здесь усаживают его, а вдова его становится перед ним на колени, тесно прильнув к нему, и стоит до тех пор, пока вокруг них не начнут возводить ограду; когда ограда достигает уровня плеч женщины, кто-нибудь из ее близких сзади берет ее за голову и сворачивает ей шею; к тому времени, когда она испустит дух, ограда бывает закончена, и супруги лежат за ней, похороненные вместе.

Нечто подобное имело место в этой же стране с так называемыми гимнософистами[7] [broken link: #nb29_7], которые без всякого принуждения

с чьей бы то ни было стороны и не под влиянием какого-то внезапного порыва, а лишь в силу усвоенного ими обыкновения, достигнув определенного возраста или почувствовав приближение какой-нибудь болезни, приказывали приготовить костер, а над ним роскошное ложе; весело попировав с друзьями и знакомыми, они укладывались на это ложе с такой непоколебимостью, что даже когда под ними занимался огонь, они и пальцем не шевелили; так умер один из них, Калан, на глазах у всего войска Александра Великого[8] [broken link: #nb29_8].

Они считали святыми и блаженными лишь тех, кто умер подобной смертью и отдал свою душу, предварительно очистив ее огнем и избавившись от всего земного и тленного.

Самым поразительным в этом обычае является предумышленность всех действий, то, что весь замысел остается неизменным в течение всей жизни.

Среди разных ведущихся нами споров есть спор о фатуме; когда мы хотим подчеркнуть неизбежность каких-нибудь вещей и даже наших желаний, то до сих пор пользуемся старинным рассуждением: раз бог знает наперед, что события произойдут именно так, а не иначе, то они

и произойти должны в точности так, как он это предвидел. Но наши учителя отвечают на это, видеть, что данная вещь происходит, как видим мы и как видит сам бог (ибо, поскольку бог видит все, он, следовательно, не предвидит, а видит), еще не значит заставить ее совершиться, иначе говоря, мы видим потому, что данные вещи происходят, но это вовсе не значит, что они происходят потому, что мы их видим. Совершившееся обусловливает знание, но не знание предопределяет свершение тех или иных вещей. То, что мы видим происходящим, происходит, но оно могло совершиться и по-иному; в цепи причин, которые бог предвидит, имеются и так называемые случайные причины, и добровольные причины, зависящие от той свободы, которую он предоставил нашему выбору; он знает, что мы ошибаемся потому, что мы захотим ошибиться.

Мне приходилось видеть, что многие военачальники вселяли бодрость в своих солдат верой в эту фатальную необходимость, ибо если даже нашей погибели предназначен определенный час, то никакие вражеские пули, ни наша храбрость, ни наше бегство или трусость не в состоянии ни приблизить, ни отсрочить его. Это легко сказать, но попробуйте, как это сделать!

Если верно, что сильная и пылкая вера влечет за собой решительные действия, приходится признать, что вера в наши дни стала очень слаба, — если только не допустить, что из презрения к каким-либо делам она склоняется к полному бездействию.

Именно об этом говорит сир Жуанвиль[9] [broken link: #nb29_9], очевидец, заслуживающий не меньшего доверия, чем другие, по поводу бедуинов, народа, смешавшегося с сарацинами, с которыми Людовик IX столкнулся во время пребывания своего в Святой земле. По его словам, бедуины твердо верили, что день смерти каждого из них по какому-то предопределению предустановлен от века и потому шли в бой, не имея в руках ничего, кроме турецкой сабли, и совершенно нагими, не считая легкого полотняного покрывала. Самым свирепым проклятием, когда они ссорились между собой, были в их устах следующие слова: «Будь ты проклят, как тот, кто вооружается из страха смерти!» Вот пример совсем иной веры, чем наша.

Сходна с нею и та вера, пример которой был явлен в дни наших дедов двумя флорентийскими монахами. Поспорив о каком-то научном вопросе, они договорились, что оба взойдут на костер

на городской площади в присутствии всего честного народа, чтобы таким образом окончательно выяснить, кто из них прав. И когда все было уже готово для испытания, которое вот-вот должно было совершиться, только неожиданная случайность помешала этому[10] [broken link: #nb29_10].

Один молодой турецкий вельможа совершил геройский воинский подвиг пред лицом двух сошедшихся для боя армий Мурада и Гуньади. Когда Мурад[11] [broken link: #nb29_11] спросил турка, кто в него, столь еще молодого и неопытного — ибо он в первый раз участвовал в сражении, — вселил такую беззаветную отвагу, — турок ответил, что его главным наставником в доблести был заяц, и рассказал следующее: «Однажды, охотясь, я наткнулся на заячью нору, и, хотя со мной были две великолепные борзые, я решил, во избежание неудачи, что вернее будет прибегнуть к луку, которым я хорошо владел. Я выпустил одну за другой все сорок стрел, которые были у меня в колчане, но без всякого успеха: я не только не попал в зайца, но даже не смог выгнать его из норы. После этого я натравил на него обеих моих борзых, но столь же безуспешно. Тогда я понял, что зайца охраняла сама судьба и что стрелы и меч опасны лишь с благослове-

ния судьбы, и не в нашей власти ускорить или задержать ее решение». Этот рассказ показывает, между прочим, насколько ум наш подвержен действию воображения.

Один очень пожилой человек, славившийся своим происхождением, достоинствами и ученостью, хвалился мне, что какое-то необыкновенное внушение побудило его переменить веру, причем внушение это было до такой степени странным и невразумительным, что я истолковывал его прямо в противоположном смысле: и он, и я называли его чудом, но каждый понимал это слово по-разному. Турецкие историки утверждают, что широко распространенное среди турок убеждение в том, что сроки их жизни раз и навсегда предопределены, придает им необычайную уверенность в опасных случаях[12] [broken link: #nb29_12].

Я знаю одного великого государя, который умеет искусно пользоваться тем, что судьба к нему благосклонна[13] [broken link: #nb29_13].

Не было на нашей памяти более замечательного примера отваги, чем проявленная теми двумя лицами, которые покушались на принца Оранского[14] [broken link: #nb29_14]. Поразительно, как мог решиться на это дело осуществивший его

второй из покушавшихся после того, как первого, сделавшего все, от него зависящее, постигла полнейшая неудача! Как мог он решиться, действуя тем же оружием и на том же месте, напасть на человека, бдительность которого после недавнего урока была на страже и который находился в окружении целой свиты друзей у себя в зале, среди своих телохранителей, в преданном ему городе! Кинжал — вернейшее орудие смерти, но, поскольку он требует большей гибкости и силы в руке, чем пистолет, он легко может отклониться и изменить. Я не сомневаюсь в том, что второй заговорщик шел уверенно на смерть, так как ни один здравомыслящий человек не мог бы в таком положении тешить себя надеждами; и все поведение его в этом деле показывает, что у него не было недостатка ни в ясности мысли, ни в мужестве. Причины такой твердой убежденности могут быть разные, ибо наше воображение проделывает с самим собой и с нами все что угодно.

Покушение, которое осуществлено было около Орлеана[15] [broken link: #nb29_15], не имеет себе равных: решающую роль здесь сыграла удача, а вовсе не храбрость, и нанесенный удар не был бы смертельным, если бы не помогла случайность. Самая мысль стрелять издалека и сидя верхом на

лошади в человека, который тоже сидит на коне и находится в движении, говорит о том, что покушающийся предпочитал лучше погибнуть, чем не достигнуть своей цели. Это подтверждается тем, что последовало. Стрелявший был до такой степени опьянен мыслью о своем блестящем подвиге, что совершенно потерял голову и не способен был думать ни о бегстве, ни о предстоящем допросе. Ему следовало просто-напросто присоединиться к своим, перебравшись через реку. Это средство, к которому я всегда прибегал при малейшей опасности и которое я считаю не сопряженным почти ни с каким риском, как бы широка ни была река, лишь бы только лошади было легко сойти в воду и на другой стороне виднелся бы удобный берег. Убийца принца Оранского, когда ему вынесли жестокий приговор, заявил: «Я был к этому готов; вы изумитесь моему терпению».

Ассасины[16] [broken link: #nb29_16], одно из финикийских племен, славятся среди магометан своим исключительным благочестием и чистотой нравов. Самым верным способом попасть в рай у них считается убить какого-нибудь иноверца. Нередко случалось поэтому, что один или два из них, ради столь важного дела презрев все

опасности и обрекши себя на верную смерть, отправлялись убивать (слово assassiner «убивать» происходит от названия этого народа) своего врага на глазах его соратников. Так был убит на улице своего города граф Раймунд Триполитанский[17] [broken link: #nb29_17].

## Глава XXX
## Об одном уродце[1] [broken link: #nb30_1]

Рассказ мой будет очень простодушен, ибо судить о таких вещах я предоставляю врачам. Позавчера я видел ребенка, которого вели двое мужчин и кормилица, называвшие себя отцом, дядей и теткой ребенка. Они собирали подаяние, показывая всем его уродство. Ребенок имел обычный человеческий вид, стоял на ногах, мог ходить и что-то лопотал, так же примерно, как и все дети его возраста; он не хотел принимать никакой другой пищи, кроме молока своей кормилицы, а то, что в моем присутствии ему клали в рот, он немного жевал, а затем выплевывал, не проглотив; в его крике было что-то необычное, ему было еще только четырнадцать месяцев. Пониже линии сосков он был соединен с другим безголовым ребенком, у которого задний проход был закрыт, а все остальное в порядке; одна рука была у него короче другой, но это оттого, что она была у него сломана при рождении. Оба тела были соединены между собой лицом к лицу в

такой позе, как если бы ребенок поменьше хотел обнять большего. Соединявшая их перепонка была шириной не больше чем в четыре пальца, так что, если приподнять этого безголового ребенка, то можно было увидеть пупок второго; спайка проходила, таким образом, от сосков и до пупка. Пупка безголового ребенка не было видно в отличие от всей остальной видневшейся части его живота. Подвижные части тела безголового ребенка — руки, бедра, ягодицы, ноги — болтались вокруг второго ребенка, которому безголовый доходил до колен. Кормилица сообщала, что он мочится через оба мочевых канала; таким образом, органы безголового ребенка исправно действовали, и находились на тех же местах, что и у того, другого, но только отличались меньшими размерами.

Это двойное тело, имевшее отдельные члены и заканчивавшееся одной головой, могло служить для нашего короля благоприятным предзнаменованием того, что под эгидой его законов могут объединяться различные части нашей страны, но, дабы не впасть в ошибку, пусть лучше вещи идут своим путем, ибо предпочтительно гадать о том, что уже произошло: Ut cum facta sunt, tum ad coniecturam aliqua interpretatione revocantur[2]

[broken link: #nb30_2]. Так и об Эпимениде говорили, что он угадывает задним числом[3] [broken link: #nb30_3].

Я видел недавно в Медоке одного пастуха лет тридцати, у которого не было ни малейшего намека на детородные органы; у него есть три отверстия, из которых у него беспрестанно выделяется моча; у него растет густая борода, и он любит касаться женского тела.

Те, кого мы называем уродами, вовсе не уроды для господа бога, который в сотворенной им вселенной взирает на неисчислимое множество созданных им форм; можно поэтому полагать, что удивляющая нас форма относится к какой-то другой породе существ, неизвестной человеку. Премудрость божия порождает только благое, натуральное и правильное, но нам не дано видеть порядка и соотношения всех вещей.

Quod crebro videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit. Quod ante non vidit, id, si evenerit, ostentum esse censet.[4] [broken link: #nb30_4]

Мы называем противоестественным то, что отклоняется от обычного; однако все, каково бы оно ни было, соответствует природе. Пусть же этот естественный и всеобщий миропорядок устранит растерянность и изумление, порождаемые в нас

новшествами.

## Глава XXXI
## О гневе

О чем бы ни писал Плутарх, он всегда восхитителен, но особенно в своих суждениях о человеческих поступках. Взять, например, его замечательные суждения, высказанные в его сравнении Ликурга с Нумой по поводу того, как нелепо оставлять детей на попечении и воспитании родителей. В большинстве государств, как указывает Аристотель[1] [broken link: #nb31_1], всякому отцу семейства предоставляется — все равно как у циклопов — воспитывать жен и детей как им вздумается, и только в Спарте и на Крите воспитание детей ведется по установленным законам. Кому не ясно, какое важнейшее значение имеет для государства воспитание детей? И тем не менее, без долгих размышлений, детей оставляют на произвол родителей, какими бы взбалмошными и дурными людьми они ни были.

Сколько раз, проходя по улицам, я испытывал желание устроить скандал, заступившись за какого-нибудь малыша, которого потерявшие от

гнева голову отец или мать колошматят, дубасят, избивают чуть ли не до смерти! Поглядите, как они вращают глазами от ярости:

*rabie iecur incendente, feruntur*

*Praecipites, ut saxa iugis abrupta, quibus mons*

*Subtrahitur, clivoque latus pendente recedit.[2] [broken link: #nb31_2]*

А ведь, согласно Гиппократу[3] [broken link: #nb31_3], самые опасные болезни — это те, что искажают лица. Послушайте только, как неистово они орут на малютку, недавно, может быть, вышедшего из пеленок. В результате дети бывают покалечены или навсегда оглушены ударами; а наше законодательство не обращает на это ни малейшего внимания, словно эти вывихнутые суставы не принадлежат членам нашего общества:

*Gratum est quod patriae civem populoque dedisti,*

*Si facis ut patriae sit idoneus, utilis agris,*

*Utilis et bellorum et pacis rebus agendis.[4] [broken link: #nb31_4]*

Ни одна страсть не помрачает в такой мере ясность суждения, как гнев. Никто не усомнится в

том, что судья, вынесший обвиняемому приговор в припадке гнева, сам заслуживает смертного приговора. Почему же в таком случае отцам и школьным учителям разрешается сечь и наказывать детей, когда они обуреваемы гневом? Ведь это не обучение, а месть. Наказание должно служить для детей — лечением, но ведь не призвали бы мы к больному врача, который пылал бы к нему яростью и гневом.

Мы сами, желая быть на высоте, никогда не должны были бы давать волю рукам по отношению к нашим слугам, пока мы обуреваемы гневом. До тех пор, пока пульс наш бьется учащенно и мы охвачены волнением, отложим решение вопроса; когда мы успокоимся и остынем, вещи предстанут нам в ином свете, а сейчас нами владеет страсть, это она подсказывает нам решение, а не наш ум.

Рассматриваемый сквозь призму этой страсти проступок приобретает увеличенные размеры, подобно очертаниям предметов, скрытых туманом. Голодный набрасывается на мясо, но желающий применить наказание не должен испытывать ни голода, ни жажды.

Кроме того, наказания, продуманные и взвешенные, воспринимаются наказуемыми как

заслуженные и приносят ему большую пользу. В противном случае он не считает, что был справедливо наказан человеком, охваченным гневом и яростью; наказуемый ссылается в свое оправдание на взвинченность своего хозяина, на его горящие щеки, необычные бранные слова, на его возбуждение и неистовую стремительность:

> *Ora tument ira, nigrescunt sanguine venae,*
>
> *Lumina Gorgoneo saevius igne micant.[5] [broken link: #nb31_5]*

Светоний сообщает, что, когда Луций Сатурнин осужден был Цезарем, ему удалось путем апелляции к народному собранию добиться пересмотра приговора, так как он ссылался на вражду и неприязнь Цезаря, которыми продиктовано было его решение[6] [broken link: #nb31_6].

Слово и дело — разные вещи, и надо уметь отличать проповедника от его проповеди. Те, кто в настоящее время старается подорвать основы нашей религии, ссылаясь на пороки служителей церкви, бьют мимо цели; истинность нашей религии зиждется не на этом; такой способ доказательства нелеп и способен лишь все запутать. У добропорядочного человека могут быть ложные убеждения, а с другой стороны, заведомо дурной

человек может проповедовать истину, сам в нее не веря. Разумеется, это прекрасно, когда слово не расходится с делом, и я не буду отрицать, что, когда словам соответствуют дела, слова более вески и убедительны; вспомним ответ Евдамида, который, услышав философа, рассуждавшего о военном деле, сказал: «Эти рассуждения превосходны. Плохо только то, что нельзя положиться на человека, который их высказывает, ибо его уши не привыкли к звуку военной трубы»[7] [broken link: #nb31_7]. Клеомен же, услышав ритора, разглагольствовавшего о храбрости, громко расхохотался и в ответ ритору, возмутившемуся его поведением, сказал: «Я повел бы себя так же, если бы о храбрости щебетала ласточка; но если бы это был орел, я с удовольствием послушал бы его»[8] [broken link: #nb31_8]. Мне кажется, что в писаниях древних авторов можно ясно различить следующее: автор, высказывающий то, что он думает, выражает свои мысли более убедительно, чем тот, кто подделывается. Прислушайтесь к тому, как о любви и свободе говорит Цицерон и как о том же говорит Брут; сами писания Брута неопровержимо доказывают, что это был человек, готовый заплатить за свободу ценою жизни. Послушайте отца красноречия,

Цицерона, рассуждающего о презрении к смерти, и Сенеку, рассуждающего о том же: Цицерон говорит об этом длинно и тягуче, вы чувствуете, что он хочет убедить вас в том, в чем сам не уверен, он не придает вам духу, ибо ему и самому его не хватает; Сенека же вдохновляет и зажигает вас. Я всегда стараюсь узнать, что за человек был автор, в особенности когда дело касается пишущих о доблести и об обязанностях.

Если в Спарте какому-нибудь человеку, известному распутным образом жизни, приходило в голову подать народу полезный совет, эфоры приказывали ему молчать и просили какого-нибудь почтенного человека приписать себе эту мысль и предложить ее[9] [broken link: #nb31_9].

Писания Плутарха, если внимательно вчитаться в них, раскрывают нам его с самых разных сторон, поэтому мне кажется, что я знаю его насквозь; и тем не менее я хотел бы, чтобы до нас дошли какие-нибудь воспоминания о его жизни; горя этим желанием, я с жадностью набросился на тот стоящий особняком рассказ о нем, за который я необычайно благодарен Авлу Геллию[10] [broken link: #nb31_10], оставившему нам закрепленное на бумаге сообщение о нравах Плутарха, как раз относящееся к трактуемой

мной здесь теме о гневе. Один из рабов Плутарха, человек дурной и порочный, имевший, однако, понаслышке кой-какое понятие о наставлениях философии, должен был за какой-то совершенный им проступок понести, по повелению Плутарха, наказание плетьми. Когда его стали бить, он сначала завопил, что его избивают зря, ибо он не виноват, но под конец пустился ругать и поносить своего хозяина, крича, что в нем нет ни на грош от философа, каковым он мнит себя; ведь твердил же он постоянно, что гневаться дурно, и даже написал об этом целую книгу, но то, что он сейчас, обуреваемый гневом, заставляет так свирепо избивать его, полностью опровергает его писания. Па это Плутарх с полнейшим спокойствием ответил ему: «На основании чего, негодяй, ты решил, что я сейчас охвачен гневом? Разве на моем лице, в моем голосе, в моих словах есть какие-нибудь признаки возбуждения? Глаза мои не мечут молний, лицо не дергается, и я не воплю. Разве я покраснел? Или говорю с пеной у рта? Сказал ли я хоть что-нибудь, в чем мог бы раскаяться? Трепещу ли я, дрожу ли от ярости? Ибо именно таковы, да будет тебе известно, подлинные признаки гнева». И, повернувшись к тому, кто хлестал провинившегося, Плутарх

приказал: «Продолжай свое дело, пока мы с ним рассуждаем». Таков рассказ Авла Геллия.

Архит Тарентский[11] [broken link: #nb31_11], вернувшись домой из похода, где был главным военачальником, нашел свое хозяйство в полном расстройстве: земли оставались не обработанными из-за нераспорядительности управляющего: «Убирайся с глаз моих, — сказал он ему. — Если бы я не был охвачен гневом, я бы отделал тебя, как следует». Сам Платон, распалившись против одного из своих рабов, поручил Спевсиппу наказать его, не желая сам и пальцем тронуть раба, поскольку он был сердит на него. Спартанец Харилл[12] [broken link: #nb31_12], обращаясь к илоту, который слишком непочтительно, даже нагло, разговарил с ним, сказал ему:

«Клянусь богами, не будь я разъярен, я бы убил тебя, не сходя с места».

Гнев — это страсть, которая любуется и упивается собой. Нередко, будучи выведены из себя по какому-нибудь ложному поводу, мы, несмотря на представленные нам убедительные оправдания и разъяснения, продолжаем упираться вопреки отсутствию вины. У меня удержался в памяти поразительный пример подобного поведения, относящийся к древности. Пизон[13] [broken link:

#nb31_13], человек во всех отношениях отменно добродетельный, прогневался на одного своего воина за то, что он, вернувшись с фуражировки, не смог дать ему ясного ответа, куда девался второй бывший с ним солдат. Пизон решил, что вернувшийся солдат убил своего товарища, и на этом основании, долго не раздумывая, приговорил его к смерти. Когда осужденного привели к виселице, вдруг, откуда ни возьмись, появился потерявшийся солдат. Все войско необычайно обрадовалось его появлению, и после того, как оба приятеля крепко обнялись и по-братски расцеловались, палач повел их к Пизону, рассчитывая, что такой исход события доставит Пизону большое удовольствие. Но вышло как раз наоборот: со стыда и досады его еще не рассеявшийся гнев лишь еще более распалился и с молниеносной быстротой, внушенной яростью, Пизон решил, что ввиду невиновности одного виноваты все трое, и отправил всех на тот свет, первого солдата во исполнение того смертного приговора, который был ему вынесен, второго за то, что он своей отлучкой явился причиной присуждения к смерти его товарища, а палача за то, что он ослушался и не выполнил отданного ему приказа.

Те, кому приходится иметь дело с упрямыми

женщинами, знают по опыту, в какое бешенство они приходят, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием, не разделяя их возбуждения. Оратор Целий[14] [broken link: #nb31_14] был по природе необычайно раздражителен. Однажды, когда он ужинал с одним знакомым, человеком мягким и кротким, тот, не желая волновать его, решил одобрять все, что бы он ни говорил, и во всем с ним соглашаться. Целий, не выдержав отсутствия всякого повода для гнева, под конец взмолился: «Во имя богов! Будь хоть в чем-нибудь несогласен со мной, чтобы нас было двое!» Точно так же и женщины: они гневаются только с целью вызвать ответный гнев — это вроде взаимности в любви. Однажды, когда один из присутствующих прервал речь Фокиона и обрушился на него с резкой бранью, Фокион замолчал и дал ему полностью излить свою ярость. После этого, ни словом не упомянув о происшедшем столкновении, продолжал свою речь с того самого места, на котором его прервали[15] [broken link: #nb31_15]. Нет ответа более уничтожающего, чем подобное презрительное молчание.

По поводу самого вспыльчивого человека во всей Франции (гневливость — всегда недостаток,

но более извинительный для военного, ибо в военном деле бывают такие случаи, где без нее не обойдешься) я часто говорю, что это самый терпеливый из всех известных мне людей, умеющий обуздывать свой гнев: ибо гнев охватывает его с таким яростным неистовством —

*magno veluti cum flamma sonore*
*Virgea suggeritur costis undantis aheni,*
*Exultantque aestu latices; furit intus aquai*
*Fumidus atque alte spumis exuberat amnis;*
*Nec iam se capit unda; volat vapor ater ad auras,[16] [broken link: #nb31_16] —*

что ему приходится делать невероятные усилия, чтобы умерить его. Что касается меня, то я не знаю страсти, для подавления которой я способен был бы сделать подобное усилие. Столь дорогой ценой я не хотел бы обрести даже мудрость. Говоря об этом военном, я обращаю внимание не на то, что он делает, а на то, каких усилий ему стоит не поступать еще похуже.

Другой мой знакомый хвалился передо мной своим ровным и мягким нравом, и впрямь поразительным. В ответ я сказал ему, что в особенности для людей, занимающих, как он, высокое положение и находящихся у всех на виду, чрезвы-

чайно важно всегда проявлять выдержку, но что главное все же в том, чтобы ощущать ее в себе, в глубине души; а потому, на мой взгляд, плохо поступает тот, кто тайком непрерывно гложет себя: можно опасаться, что он желает поддержать эту видимость сдержанности, сохранить эту надетую на себя личину.

Пытаясь скрыть гнев, его загоняют внутрь; это напоминает мне следующий случай: однажды Диоген крикнул Демосфену, который, опасаясь, как бы его не заметили в кабачке, поспешил забиться в глубь помещения: «Чем больше ты пятишься назад, тем глубже влезаешь в кабачок»[17] [broken link: #nb31_17]. Я рекомендую лучше даже некстати влепить оплеуху своему слуге, чем корчить из себя мудреца, поражающего своей выдержкой; я предпочитаю обнаруживать свои страсти, чем скрывать их в ущерб самому себе: проявившись, они рассеиваются и улетучиваются, и лучше, чтобы жало их вышло наружу, чем отравляло нас изнутри. Omnia vitia in aperto leviora sunt; et tunc perniciosissima, cum simulata sanitate subsidunt[18] [broken link: #nb31_18].

Я предупреждаю тех моих домашних, которые имеют право раздражаться, о следующем. Во-первых, чтобы они сдерживали свой гнев и

не впадали в него по всякому поводу, ибо он не производит впечатления и не оказывает никакого действия, если проявляется слишком часто. К бессмысленному и постоянному крику привыкают и начинают презирать его. Крик, который слышит от вас слуга, укравший что-нибудь, совершенно бесполезен; слуга знает, что это тот же крик, который он сотни раз слышал от вас, когда ему случалось плохо вымыть стакан или неловко подставить вам скамеечку под ноги. Во-вторых, я предупреждаю их, чтобы они не гневались на ветер, то есть чтобы их попреки доходили до того, кому они предназначены, ибо обычно они начинают браниться еще до появления виновника и продолжают кричать часами, когда его уже и след простыл;

> *et secum petulans amentia certat.[19] [broken link: #nb31_19]*

Они воюют уже не с ним, а с тенью его, и эти громы разражаются уже там, где нет тех, против кого они направлены, где никто больше ничем не интересуется, кроме того, чтобы кончилась эта суматоха. Я также против тех, кто спорит и возмущается, не имея перед собой противника; следует обращать свои филиппики против тех, к

кому они относятся:

> *Mugitus veluti cum prima in proelia taurus*
> *Terrificos ciet atque irasci in cornua tentat,*
> *Arboris obnixus trunco, ventosque lacessit*
> *Ictibus, et sparsa ad pugnam proludit arena.[20] [broken link: #nb31_20]*

Когда на меня находит гнев, он охватывает меня со страшной силой, но вместе с тем мои вспышки носят весьма кратковременный и потаенный характер. Сила и внезапность порыва не доводят меня все же до такого помрачения рассудка, при котором я стал бы извергать без разбора всякие оскорбительные слова, совершенно не заботясь о том, чтобы мои стрелы попадали в самые уязвимые места, — ибо я обычно прибегаю только к словесной расправе. Мои слуги легче расплачиваются за крупные проступки, чем за мелкие, ибо мелкие проступки застают меня врасплох, и со мной в таких случаях происходит то же, что с человеком, находящимся на краю глубокого обрыва: стоит ему сорваться — и он сразу же покатится и, какова бы ни была причина его падения, будет продолжать катиться вниз со всевозрастающей скоростью, пока не достигнет дна оврага. В случае серьезных проступков я

получаю то удовлетворение, что каждый считает оправданным вызываемый им гнев; в таких случаях я горжусь тем, что действую вопреки его ожиданиям: я беру себя в руки и накладываю на себя узду, ибо в противном случае, если я поддамся приступам гнева, они могут увлечь меня слишком далеко. Я стараюсь поэтому не поддаваться им, и у меня хватает силы, если я слежу за этим, отбросить довод к гневу, каким бы значительным он ни был; но если мне не удалось предупредить вспышку и я поддался ей, она увлекает меня, каким бы пустячным поводом она ни была вызвана. Ввиду этого я сговариваюсь с теми, кто может вступить со мной в пререкания, о следующем: «Если вы заметите, — говорю я им, — что я вскипел первым, предоставьте мне нестись, закусив удила, а когда настанет ваша очередь, я поступлю так же». Буря разражается только из столкновения вспышек с двух сторон. Но это может произойти лишь добровольно с обеих сторон, ибо сами по себе вспышки эти возникают не в один и тот же момент. Поэтому, если одна сторона охвачена гневом, дадим ей разрядиться, и тогда мир всегда будет обеспечен. Полезный совет, но как трудно его выполнить! Мне случается иногда разыгрывать гнев ради

наведения порядка в моем доме, не испытывая на деле никакого раздражения. По мере того, как с годами я становлюсь более вспыльчивым, я учусь преодолевать такого рода настроения и буду стараться, если хватит сил, впредь быть тем более мягким и уступчивым, чем больше будет у меня законных оснований раздражаться и чем простительнее мне это будет; до настоящего же времени я был в числе тех, кому это наименее простительно.

В заключение еще несколько слов. Аристотель утверждает, что иногда гнев служит оружием для добродетели и доблести[21] [broken link: #nb31_21]. Это правдоподобно; но все же те, кто с этим не согласны[22] [broken link: #nb31_22], остроумно указывают, что это — необычное оружие: ведь обычно оружием владеем мы, а этот род оружия сам владеет нами; не наша рука направляет его, а оно направляет нашу руку, не мы держим его, а оно нас.

## Глава XXXII
## В защиту Сенеки и Плутарха

И Сенека, и Плутарх — настолько близкие мне авторы, такая незаменимая поддержка в моей старости и при писании этой книги, целиком созданной из взятых у них трофеев, что это обязывает меня вступиться за их честь[1] [broken link: #nb32_1].

Что касается Сенеки, то среди неисчислимого множества книжонок, выпускаемых приверженцами так называемой реформированной религии в защиту своего дела, — книжонок, иной раз выходивших из-под пера вполне почтенных авторов (приходится горько жалеть, что они не посвящены более достойным сюжетам), мне пришлось натолкнуться на следующий памфлет[2] [broken link: #nb32_2]. Автор его, стремясь провести подробное сопоставление между правлением нашего покойного и злополучного короля Карла IX и правлением Нерона, сравнивает покойного кардинала Лотарингского с Сенекой[3] [broken link: #nb32_3]. Он сопоставляет судьбы их обоих, каждый из которых был первым лицом

при своем государе, сравнивает характер обоих, их поведение и образ действий. Проводя это сравнение, он оказывает, на мой взгляд, слишком много чести названному кардиналу, ибо, хоть я и принадлежу к тем, кто высоко ценит его ум, красноречие, преданность своей религии и верную службу королю, а также признает, насколько удачно для себя он родился в такой век, когда человек, подобный ему, оказался явлением совершенно новым и необычным, а вместе с тем и весьма необходимым для общественного блага, — ибо чрезвычайно важно было появление духовного лица столь глубокого благородства и достоинства, богато одаренного и отвечающего своему высокому назначению, — несмотря на все это, если уж говорить начистоту, я считаю, что ему далеко до Сенеки, что его духовному облику недостает той цельности, твердости и законченности, которые присущи Сенеке.

Итак, возвращаясь к упомянутой книге, отмечу, что она содержит весьма оскорбительный отзыв о Сенеке, основанный на упреках, почерпнутых у Диона[4] [broken link: #nb32_4] — историка, показаниям которого я совершенно не доверяю. Ибо прежде всего Дион крайне непостоянен: то он называет Сенеку мудрецом и смертельным

врагом пороков Нерона, то, в других местах, изображает его человеком скупым, жадным, низким, честолюбивым, распутным и только прикидывавшимся настоящим философом. Однако же добродетель Сенеки так ярко и убедительно проступает в его писаниях, а опровержение некоторых обвинений, выдвигаемых Дионом против него, как, например, в чрезмерном богатстве или в слишком больших тратах, так и напрашивается само собой, что я не поверю ни одному свидетелю, пытающемуся убедить меня в обратном. Кроме того, гораздо разумнее полагаться в таких вещах на римских историков, чем на греческих или каких-либо других иноземных. Но Тацит и другие римские историки с глубоким почтением отзываются о жизни и смерти Сенеки и изображают его нам человеком весьма достойным и весьма добродетельным во всех отношениях. Против отзыва Диона о Сенеке я приведу лишь один неопровержимый довод: он настолько искаженно судит о римских делах, что решается защищать дело Юлия Цезаря против Помпея и Антония против Цицерона.

Перейдем к Плутарху.

Жан Воден[5] [broken link: #nb32_5], выдающийся современный писатель, выделяющийся из

толпы писак нашего времени своим большим здравомыслием, заслуживает всяческого внимания и уважения. Я нахожу излишне резким одно из мест его сочинения «Метод легкого изучения истории», где он обвиняет Плутарха не только в незнании (тут я спорить не берусь, так как это не по моей части!), но также и в том, что этот автор часто пишет о вещах невероятных, от начала до конца выдуманных (таковы подлинные слова Бодена). Если бы Боден просто сказал, что Плутарх изображает вещи не такими, каковы они в действительности, это было бы не очень серьезным упреком, ибо то, чего мы не видели своими глазами, мы берем из вторых рук и принимаем на веру, и я действительно замечаю, что Плутарх иногда сознательно рассказывает один и тот же эпизод различным образом; возьмем, например, его суждение о трех величайших полководцах, когда либо живших на свете: в жизнеописании Ганнибала оно звучит совсем иначе, чем в жизнеописании Фламиния, и совершенно по-новому, на третий лад, в жизнеописании Пирра. Но обвинять Плутарха в том, что он принимал за чистую монету вещи невероятные и невозможные, это значит обвинять самого рассудительного автора на свете в неумении судить о вещах. В доказательство

Воден приводит следующий пример. Плутарх рассказывает об одном спартанском мальчике, который, спрятав у себя под платьем украденную лисичку, предпочел, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не сознаться в краже[6] [broken link: #nb32_6]. Я нахожу прежде всего пример этот неудачным, ибо трудно установить предел наших душевных сил, между тем как о физических силах нам судить легче; поэтому если бы выбор надлежало сделать мне, я скорее выбрал бы пример из этой второй области. И тут можно найти примеры еще менее правдоподобные, вроде описанного Плутархом случая с Пирром[7] [broken link: #nb32_7]: будто последний, несмотря на то что он был весь изранен, с такой силой ударил мечом по вооруженному до зубов врагу, что рассек его надвое с головы до пят, так что тело его разлетелось пополам. Я не вижу никакого особого чуда в примере, сообщаемом Плутархом, и не признаю извинения, которым Боден пытается защитить Плутарха, предваряющего свой рассказ словами: «говорят, будто», как это делают в тех случаях, когда хотят набросить на рассказ тень сомнения. Плутарх и впрямь не хотел ни сам признавать невероятных вещей, ни побудить нас верить в них, за исключением тех случаев, когда

дело касается вещей, принимаемых из уважения к древней традиции или из почтения к религии. Что же касается слов «говорят, будто», то нетрудно убедиться, что Плутарх употребляет их здесь не с целью заронить в нас сомнение, так как сам же он в другом месте[8] [broken link: #nb32_8], касаясь вопроса о выдержке спартанских детей, приводит примеры событий, случавшихся в его время, в которые еще труднее поверить; так, если взять пример, о котором Цицерон сообщил[9] [broken link: #nb32_9] еще до Плутарха, а именно, что в их времена можно было встретить юношей, которых для доказательства их выдержки испытывали перед алтарем Дианы: их бичевали до крови, а они не только не кричали, но даже не разрешали себе издать стон, некоторые же добровольно позволяли засечь себя насмерть. А вот еще пример, о котором также сообщает Плутарх[10] [broken link: #nb32_10] наряду с сотней других упоминающих об этом случае свидетелей: во время жертвоприношения в рукав одного спартанского юноши попал горящий уголь; рукав воспламенился и рука юноши стала гореть, но он терпел до тех пор, пока запах паленого мяса не ударил в нос присутствующим. Согласно понятиям спартанцев, ничто не могло в такой

мере затронуть их честь и в их глазах не было ничего более ужасного и позорного, как быть пойманным в момент кражи. Я до такой степени проникнут верой в величие этих людей, что рассказ Плутарха, вопреки Бодену, не только не кажется мне невероятным, но я не нахожу в нем даже ничего необычного и поразительного.

В истории Спарты можно найти тысячи гораздо более потрясающих и исключительных примеров, ее история полна таких чудес.

Марцеллин собщает[11] [broken link: #nb32_11] по поводу воровства, что в его времена нельзя было придумать такой пытки, которая способна была бы заставить уличенных в этом весьма распространенном среди египтян преступлении хотя бы раскрыть свое имя.

Одного испанского крестьянина подвергли пытке, добиваясь, чтобы он выдал своих сообщников в убийстве претора Луция Пизона. В разгар своих мучении он завопил, что друзьям его нечего опасаться: пусть спокойно стоят на месте и смотрят на него; они тогда убедятся, что нет такой боли, которая могла бы вырвать у него хоть слово признания. В течение всего этого дня от него не могли добиться ничего другого. На следующий день, когда его привели, чтобы

возобновить пытки, он с силой вырвался из рук стражи и, ударившись с размаху головой о стену, размозжил себе череп и пал мертвый[12] [broken link: #nb32_12].

Эпихарида, презрев жестокость приспешников Нерона — и выдержав кандалы, бичевание и истязание колодками, не сказала в течение первого дня ни одного слова о заговоре, раскрытия которого от нее добивались. На другой день, когда ее несли в кресле (ибо она не могла держаться на переломанных ногах), чтобы возобновить пытки, она продела шнур от своего платья через ручку кресла и, сделав петлю, просунула в нее голову и, навалившись на шнур всей тяжестью тела, удавилась. Найдя в себе достаточно мужества, чтобы умереть подобной смертью, избежав продолжения пыток и дав такое удивительное доказательство своей выдержки, не посмеялась ли она тем самым над тираном и не подала ли она и другим пример противодействовать ему[13] [broken link: #nb32_13]?

Порасспросите-ка наших конных стрелков о том, что им пришлось перевидать во время происходивших у нас гражданских войн, и они приведут вам замечательные примеры выдержки, упорства и сопротивления, проявленных в

наш злосчастный век нашими современниками, гораздо более расслабленными и изнеженными, чем египтяне, — примеры, достойные сравнения с теми, какие мы сейчас привели относительно доблести спартанцев. Мне известно, что встречались простые крестьяне, которые шли на то, чтобы им поджаривали пятки, отрубали затвором ружья концы пальцев или так туго стягивали голову толстой веревкой, что глаза у них вылезали на лоб, лишь бы не платить требуемого от них выкупа.

Я видел крестьянина, которого признали мертвым и оставили лежать голым во рву, шея у него совсем посинела и вздулась от веревки, которая все еще болталась на ней; накануне он был привязан ею к хвосту лошади, которая всю ночь волочила его за собой; на его теле было множество колотых ран, нанесенных кинжалом — не для того, чтобы убить, а чтобы причинить ему боль и напугать; он все это вытерпел вплоть до того, что лишился чувств и способности речи, ибо решил, как он потом рассказывал мне, лучше претерпеть тысячу смертей (и в самом деле, его страдания были не легче смерти!), чем согласиться на уплату выкупа: а ведь это был один из самых богатых крестьян в наших местах. А

сколько было людей, которые мужественно шли на костер умирать за чужие идеи, непонятные и неизвестные им!

Я знал сотни женщин — говорят, что в этом отношении жительницы Гаскони занимают особо почетное место, — которые скорее согласились бы, чтобы их жгли раскаленным железом, чем отказались от своих слов, брошенных в пылу гнева. От ударов или всякого иного принуждения их упорство лишь возрастает. Автор, сочинивший рассказ о женщине[14] [broken link: #nb32_14], которая, несмотря ни на какие угрозы и избиения, продолжала обзывать своего мужа вшивым, а когда, под конец, ее бросили в реку, она, идя ко дну, все еще поднимала кверху руки, делая вид, будто щелкает вшей у себя на голове, — этот автор, повторяю, сочинил рассказ, который каждый день подтверждается примерами упорства женщин. А упорство — родная сестра выдержки, по крайней мере в отношении твердости и настойчивости.

Как я уже говорил в другом месте[15] [broken link: #nb32_15], не следует судить о том, что возможно и что невозможно, на основании того, что представляется вероятным или невероятным нашим чувствам, и грубая ошибка, в которую впадает большинство людей (в чем я однако, не

упрекаю Бодена), состоит в том, что они не хотят верить тому, чего не смогли бы сделать сами или не захотели бы сделать. Всякому кажется, что он совершеннейший образец природы, что он — пробный камень и мерило для всех других. Черты, не согласующиеся с его собственными, уродливы и фальшивы. Какая непроходимая глупость! Что касается меня, то я считаю множество людей стоящими значительно выше меня, особенно мужей древности; и, хотя ясно сознаю свою неспособность следовать их примеру, стараюсь все же не упускать их из виду, пытаюсь разобраться в причинах, поднимающих их на такую высоту, и иногда мне удается найти у себя слабые зачатки таких же свойств. Точно так же я веду себя и по отношению к самым низменным душам: я не удивляюсь им и не считаю их чем-то невероятным. Я прекрасно вижу, какой дорогой ценой великие мужи древности платили за свое возвышение, и восхищаюсь их величием; я перенимаю те стремления, которые, на мой взгляд, прекрасны, и если у меня не хватает сил следовать им, то во всяком случае мое внимание пристально обращено к ним.

Другой пример, приводимый Боденом из области невероятных и полностью вымышленных

вещей, сообщаемых Плутархом, касается Агесилая, который был приговорен эфорами к штрафу за то, что снискал себе расположение и любовь своих сограждан. Я не понимаю, что неверного усматривает Боден в этом сообщении Плутарха, но во всяком случае Плутарх сообщает здесь о вещах, которые ему были значительно лучше известны, чем нам; ведь в Греции было вполне обычным делом наказывать или изгонять людей только за то, что они чересчур потакали своим согражданам, доказательством чего служат остракизм и петализм[16] [broken link: #nb32_16].

У Бодена есть еще одно обвинение, которое я воспринимаю как не заслуженную Плутархом обиду; а именно, Боден утверждает, что Плутарх добросовестен, когда сравнивает римлян с римлянами и греков с греками, но не в своих параллельных жизнеописаниях греков и римлян; доказательством могут служить, говорит он, сравнения Демосфена с Цицероном, Катона с Аристидом, Суллы с Лисандром, Марцелла с Пелопидом, Помпея с Агесилаем. Боден считает, что Плутарх обнаружил свое пристрастие к грекам, сопоставив их с лицами, которые были им совсем не под стать. Бросать Плутарху такое обвинение значит порицать в нем самое прекрасное, самое

достойное похвалы: ибо в этих сопоставлениях (которые являются наилучшей частью творений Плутарха и которые, на мой взгляд, и сам он больше всего любил) верность и искренность его суждений не уступают их глубине и значительности. Здесь перед нами философ, наставляющий нас в добродетели. Посмотрим, сумеем ли мы снять с него приведенный выше упрек в предвзятости и искажении.

Поводом к такому суждению о Плутархе могло, мне кажется, послужить то великое преклонение перед именами римлян, которое тяготеет над нашими умами. Так, нам представляется, что Демосфен отнюдь не мог сравняться в славе с каким-нибудь консулом, проконсулом или квестором великой римской державы. Но кто захочет разобраться в истинном положении дел и в самих этих людях — к чему и стремился Плутарх, — кто захочет сопоставить нрав этих людей, их характеры и способности, а не их судьбы, тот согласится, думаю, со мной и, в отличие от Бодена, признает, что Цицерон и Катон Старший во многом уступают тем людям, с которыми Плутарх их сравнивает. На месте Плутарха я скорее выбрал бы для осуществления его замысла параллель между Катоном Младшим и Фокионом,

ибо при таком сопоставлении различие между сравниваемыми было бы более убедительным и преимущество было бы на стороне римлянина. Что касается Марцелла, Суллы и Помпея, то я охотно признаю, что их военные подвиги более доблестны, блестящи и значительны, чем подвиги тех греков, которых Плутарх сравнивает с ними. Однако в военном деле, как и во всяком ином, самые необычайные и выдающиеся подвиги отнюдь не являются самыми замечательными. Я нередко вижу, как имена полководцев меркнут перед именами людей с меньшими заслугами; примером могут служить имена Лабиена, Вентидия, Телесина и многих других[17] [broken link: #nb32_17]. Если бы я с этой точки зрения захотел вступиться за греков, то разве не мог бы я сказать, что Камилл[18] [broken link: #nb32_18] куда менее годится для сравнения с Фемистоклом, братья Гракхи для параллели с Агисом и Клеоменом, Нума для сопоставления с Ликургом. Но ведь нелепо желать судить о столь многообразных вещах, сравнивая их лишь в одном отношении.

Когда Плутарх проводит сопоставление между ними, он не ставит между ними знака равенства. Кто в состоянии был бы с большей тщательностью и добросовестностью установить черты

различия между ними? Сравнивая победы, воинские подвиги и мощь армий, возглавлявшихся Помпеем, с победами, подвигами и военной мощью Агесилая, Плутарх заявляет[19] [broken link: #nb32_19]: «Я не думаю, чтобы даже Ксенофонт, если бы он был жив и если бы даже ему разрешили писать все, что угодно, в пользу Агесилая, отважился сравнить его с Помпеем». Сопоставляя Лисандра с Суллой, Плутарх пишет[20] [broken link: #nb32_20]: «Между ними не может быть никакого сравнения: ни по числу одержанных побед, ни по числу сражений, ибо Лисандр выиграл лишь две морские битвы», и т. д. Такие замечания Плутарха доказывают, что он ничего не отнимает у римлян; тем, что он просто сопоставляет их с греками, он нисколько не умаляет их, как бы ни велико было различие между ними. К тому же Плутарх не сравнивает их в целом и никому не отдает предпочтения: он сопоставляет события и подробности одно за другим и судит о каждом из них в отдельности. Поэтому, кто хочет упрекнуть его в пристрастии, тот должен разобрать какое-нибудь отдельное его суждение, или сказать вообще, что он неудачно выбрал для сравнения такого-то грека с таким-то римлянином, так как есть другие, более подходящие для сравнения, и

более соизмеримые фигуры.

## Глава XXXIII
## История Спурины

Философия неплохо распорядилась своим достоянием, предоставив разуму верховное руководство нашей душой и возложив на него обуздание наших страстей. Кто считает самыми неистовыми страсти, порождаемые любовью, ссылаясь на подкрепление своей точки зрения на то, что они завладевают и душой и телом, заполняя человека целиком, так что даже здоровье его начинает зависеть от них и медицина иной раз вынуждена выступать здесь в роли посредницы.

Однако можно было бы возразить против этого, что вмешательство тела в наши страсти до известной степени снижает и ослабляет их, ибо такого рода желания утоляются, их можно удовлетворить материальным путем. Многие, стремясь избавиться от постоянных докук чувственных вожделений, отсекали и отрезали томившие и мучившие их части тела. Другие подавляли пыл чувственных желаний, применяя холодные компрессы из снега или уксуса. Таково же было и назначение власяниц, вытканных из

конского волоса, которые носили наши предки, одни в виде сорочек, другие в виде поясов, терзавших их чресла. Один вельможа рассказывал мне недавно, что в дни его молодости ему однажды взбрело в голову предстать на торжественном празднестве при дворе Франциска I[1] [broken link: #nb33_1], на которое все явились разряженными, одетым во власяницу, доставшуюся ему от отца; но при всем его благочестии у него едва хватило терпения дождаться ночи, чтобы поскорее сбросить ее с себя, и он долго болел после этого; нет такого юношеского пыла, — заявил в заключение мой знакомый, — которого применение этого средства не способно было бы убить. Но ему, по-видимому, неведомы были самые неистовые приступы этих вожделений, ибо опыт показывает, что нередко такие чувства скрываются под грубой и убогой одеждой, и власяницы не всегда приносят успокоение тем, кто надевает их на себя. Ксенократ поступил более решительно; когда его ученики, желая испытать его выдержку, положили ему в постель прекрасную и прославленную куртизанку Лаису, полуобнаженную, у которой прикрыты были лишь ее прелести, он, чувствуя, что, вопреки его речам и правилам, тело его готово взбунтоваться, приказал при-

жечь возмутившиеся части тела[2] [broken link: #nb33_2]. Между тем душевные страсти, вроде честолюбия, скупости и тому подобных, больше зависят от нашего разума, ибо только он способен справиться с ними; эти желания к тому же неукротимы, ибо, утоляя, только усиливаешь и обостряешь их.

Достаточно привести в пример хотя бы Юлия Цезаря, чтобы убедиться в несходстве душевных и плотских страстей, ибо не было человека, который предавался бы любовным наслаждениям с большей яростью, чем Цезарь[3] [broken link: #nb33_3]. Доказательством его приверженности к ним может служить его необычайно тщательный уход за своим телом; он доходил до того, что прибегал к самым утонченным средствам, применявшимся в его время, например ему выщипывали волосы на всем теле и умащивали самыми изысканными благовониями. Если верить Светонию, он был хорош собой: белокурый, высокий, статный, лицо полное, глаза черные и живые; однако сохранившиеся в Риме статуи Цезаря не подтверждают этого описания его наружности. Не считая его законных жен — а он был женат четыре раза, не говоря о его увлечении в ранней молодости царем Вифинии Никомедом, — ему

отдала свою девственность прославленная египетская царица Клеопатра, родившая ему сына — Цезариона; у него была связь с мавританской царицей Евноей, а в Риме — с Постумией, женой Сервия Сульпиция, с Лоллией, женой Габиния, с Тертуллой, женой Красса, и даже с Муцией, женой Помпея Великого, который по этой причине, как утверждают римские историки, развелся с нею[4] [broken link: #nb33_4] (впрочем, Плутарх заявляет, что ему на этот счет ничего не известно). Когда же Помпеи женился на дочери Цезаря, то оба Куриона, отец и сын, упрекали Помпея в том, что он сделался зятем человека, который наставил ему рога и которого он сам часто называл Эгисфом[5] [broken link: #nb33_5]. Кроме всех перечисленных связей, Цезарь был близок с Сервилией, сестрой Катона и матерью Марка Брута, и, по единодушному мнению всех, этим объясняется чрезмерная любовь Цезаря к Бруту, так как, судя по времени его рождения, Брут мог быть его сыном. Я имею поэтому, как мне кажется, право считать Цезаря человеком весьма распутным и необычайно склонным к любовным утехам. Но когда другая страсть, честолюбие, которое было у него не менее уязвимым местом, столкнулась с его пристрастием к женщинам, оно тотчас же

отодвинуло его любовные дела на задний план.

Мне припоминается в этой связи завоеватель Константинополя Мехмед, не оставивший в Греции камня на камне. Я не знаю человека, у которого обе эти страсти находились бы в таком совершеннейшем равновесии: он был такой же неутомимый распутник, как и вояка. Но когда случалось в его жизни, что обе эти страсти сталкивались, воинский пыл неизменно брал верх над любовным. Сластолюбие полностью поглотило его — хотя это было уже совсем не ко времени — лишь в глубокой старости, когда бремя войны стало уже не по нем. Противоположностью Мехмеду может служить неаполитанский король Владислав[6] [broken link: #nb33_6]. Достойно внимания то, что сообщают о нем: прекрасный полководец, смелый и честолюбивый, он ставил, однако, превыше всего свое сластолюбие и обладание какой-нибудь редкой красавицей. Его смерть была под стать этому. Доведя длительной осадой город Флоренцию до такой крайности, что жители ее уже готовы были признать себя побежденными, он согласился снять осаду при условии, чтобы они выдали ему девушку необыкновенной красоты, о которой до него дошли слухи. Пришлось пойти на это и ценою попрания чести одной

семьи избежать общественного бедствия. Красавица эта была дочерью славившегося в те времена врача, который, очутившись в таком тяжелом положении, решился на крайность. Так как все наряжали его дочь и дарили ей украшения и драгоценности, которые должны были сделать ее еще более привлекательной для ее будущего возлюбленного, то и отец со своей стороны подарил ей платок замечательной работы и надушенный необыкновенными духами; этим платком, который является у них обычной принадлежностью туалета, она должна была воспользоваться при первом же сближении с ним. Но, применив свое врачебное искусство, отец напитал этот платок ядом, который, быстро проникнув в открытые поры разгоряченных тел обоих возлюбленных, внезапно превратил их жаркие объятия в ледяные, и они скончались в объятиях друг у друга. Вернусь, однако, к Цезарю.

Он не жертвовал ради своих любовных похождений ни одной минутой, ни одним случаем, которые могли бы содействовать его возвеличению. Честолюбие властвовало так безраздельно над всеми другими его страстями и до того заполняло его душу, что способно было увлечь его куда угодно. Меня охватывает досада при мысли о ве-

личии этого человека и замечательных задатках, которые таились в нем, о его обширнейших и разнообразных познаниях, благодаря которым не было почти ни одной науки, о которой бы он не писал. Он был такой несравненный оратор, что многие ставили его красноречие выше цицероновского, и сам Цезарь, по-моему, был убежден, что ненамного уступает в этом Цицерону; оба антикатоновских памфлета были написаны Цезарем главным образом с целью парировать ораторское красноречие, обнаруженное Цицероном в его «Катоне». Кто мог сравняться с Цезарем в бдительности, неустанной деятельности и трудолюбии? Он несомненно обладал, кроме этого, еще многими другими исключительными и незаурядными задатками. Он был очень воздержан и поразительно непривередлив в еде: Оппий сообщает, что однажды, когда Цезарю было подано за столом в виде приправы консервированное оливковое масло вместо свежего, он ел его большими порциями, не желая ставить в неловкое положение хозяина дома[7] [broken link: #nb33_7]. В другой раз Цезарь велел наказать плетьми своего пекаря, подавшего ему другой хлеб, нежели всем остальным[8] [broken link: #nb33_8]. Сам Катон говаривал о Цезаре, что он единственный из всех

трезвым приступил к разрушению своего отечества[9] [broken link: #nb33_9]. Правда, был случай, когда тот же Катон назвал Цезаря пьянчугой. Произошло это вот как. Когда оба они находились в сенате, где обсуждалось дело о заговоре Катилины[10] [broken link: #nb33_10], причастным к которому многие считали Цезаря, Цезарю подали принесенную откуда-то секретную записку. Катон, решив, что этой запиской остальные заговорщики о чем-то предупреждают Цезаря, потребовал, чтобы Цезарь дал ему ее прочесть, на что Цезарь вынужден был согласиться, чтобы не быть заподозренным в худшем. Это была любовная записка сестры Катона Сервилии к Цезарю. Прочтя записку, Катон швырнул ее Цезарю со словами: «На, пьянчуга!» Но ведь этим бранным словом Катон хотел выразить Цезарю свой гнев и презрение, а вовсе не обвинить его всерьез в этом пороке, — совсем так, как мы часто ругаем тех, на кого сердимся, первыми же сорвавшимися с языка словами, совершенно неуместными по отношению к тем, к кому мы их применяем. К тому же порок, который Катон приписал в данном случае Цезарю, необычайно сродни той слабости, в которой Катон изобличил Цезаря, ибо, как гласит пословица, Венеру и Вакха водой не разольешь.

Но для меня лично Венера в союзе с трезвостью гораздо сладостнее.

Существует бесчисленное количество примеров снисхождения и великодушия Цезаря по отношению к своим противникам. Я имею в виду далеко не одни лишь случаи из времен гражданских войн: об относящихся к ним случаях Цезарь сам дает понять в своих писаниях, что проявлял мягкость с целью успокоить своих врагов и побудить их меньше опасаться его будущего владычества и победы. По поводу этих примеров надо признать, что если они не могут убедить нас в его природной мягкости, то они во всяком случае свидетельствуют о его поразительном мужестве и доверчивости. Ему не раз случалось после победы над врагами отпускать целые армии, не требуя от них даже клятвенного обещания, что они будут — не говоря уже о какой бы то ни было помощи ему — просто воздерживаться от войны с ним. Ему приходилось по три-четыре раза захватывать в плен некоторых полководцев Помпея и каждый раз отпускать их на свободу. Помпей объявлял врагами всех тех, кто не явится воевать вместе с ним, Цезарь же приказал объявить, что будет считать друзьями всех тех, кто не примкнет ни к той, ни к другой

из борющихся сторон и фактически не выступит против него[11] [broken link: #nb33_11]. Тем из своих военачальников, которым случалось уходить от него ради более выгодных условий, он отсылал еще их оружие, лошадей и снаряжение[12] [broken link: #nb33_12]. Захватив тот или иной город, Цезарь предоставлял ему право примкнуть к какой угодно партии и оставлял в качестве гарнизона только память о своем милосердии и человечности. В решающий для него день Фарсальской битвы он приказал щадить римских граждан, за исключением только самых крайних случаев[13] [broken link: #nb33_13].

Таковы рискованные, на мой взгляд, приемы Цезаря, и неудивительно поэтому, что во время нынешних гражданских войн те, кто, подобно ему, борются против старых порядков, не следуют его примеру, ибо это средства чрезвычайные, которые мог себе позволить только Цезарь с его необыкновенным счастьем и изумительной проницательностью. Когда я думаю о подавляющем величии этого человека, я оправдываю богиню победы, которая ни разу не пожелала разлучиться с ним, даже в названном мною весьма несправедливом и беззаконном деле[14] [broken link: #nb33_14].

Возвращаясь к милосердию Цезаря, заметим, что есть много убедительных примеров его, относящихся ко времени господства Цезаря, когда он обладал всей полнотой власти и ему незачем было притворяться. Гай Меммий[15] [broken link: #nb33_15] выступил против Цезаря с весьма острыми обличениями, на которые Цезарь отвечал с не меньшей запальчивостью, но это не помешало Цезарю вскоре после того поддержать кандидатуру Меммия в консулы. Когда Гай Кальв[16] [broken link: #nb33_16], сочинивший против Цезаря множество оскорбительных эпиграмм, изъявил через друзей желание примириться с ним, Цезарь с готовностью согласился первым написать ему. А когда наш славный Катулл, который так отделал его под именем Мамурры, явился к нему с повинной, он в тот же день пригласил его к обеду. Узнав, что кое-кто злословит о нем, он ограничился заявлением в одной из своих публичных речей, что ему это известно. Как ни мало он ненавидел своих врагов, он еще меньше боялся их. Когда его предупредили о некоторых замышлявшихся покушениях на его жизнь, он удовольствовался опубликованием указа, в котором сообщал, что знает о них, и не применил к виновным никаких других мер. Достойна вни-

мания заботливость Цезаря по отношению к друзьям: однажды, когда разъезжавший вместе с ним Гай Оппий плохо себя почувствовал, Цезарь уступил ему единственное имевшееся пристанище, а сам провел ночь на голой земле и под открытым небом. Что касается его правосудия, то однажды он приговорил к казни своего любимого слугу за прелюбодеяние с женой одного римского всадника, хотя никто не принес ему на это жалобы. Ни один человек не проявлял большей умеренности после победы и большей стойкости в превратностях судьбы.

Но все эти отличные качества были омрачены и изуродованы его неистовым честолюбием, которое увлекло его так далеко, что — как это нетрудно доказать — все его поступки и действия целиком определялись этой страстью. Обуреваемый ею, он для того, чтобы иметь возможность раздавать щедрые дары, превратился в расхитителя государственной собственности; ослепленный ею, он не постеснялся такой гнусности, как заявить, что самых отпетых и мерзких негодяев, помогавших ему возвыситься, он будет ценить и всячески поощрять ничуть не меньше, нежели самых достойных людей. Опьяненный безмерным тщеславием, он не постеснялся хва-

статься перед своими согражданами тем, что ему удалось превратить великую римскую республику в пустой звук, а также заявить, что слова его должны считаться законом; он дошел до того, что сидя принимал весь состав сената и допускал, чтобы ему поклонялись и оказывали божеские почести. Словом, на мой взгляд, одни этот порок загубил в нем самые блестящие и необыкновенные дарования, которыми наделила его природа; этот порок сделал его имя ненавистным для всех порядочных людей тем, что он стремился утвердить свою славу на обломках своего отечества, на разрушении самой цветущей и мощной державы в мире.

Можно было бы, наоборот, привести немало случаев, когда выдающиеся люди жертвовали делами государства ради своего сластолюбия: взять, к примеру, Марка Антония и других; но я не сомневаюсь, что там, где любовь и честолюбие одинаково сильны и приходят в противоборство между собой, честолюбие неминуемо возобладает.

Возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу, что великое дело — уметь обуздать свои страсти доводами разума или сдержать неистовые порывы своего тела. Однако, чтобы

кто-нибудь подвергал себя бичеванию ради другого или чтобы кто-нибудь не только пожелал лишиться сладкой радости нравиться другому, вызывать к себе влечение, нежную страсть в этом другом, но и — больше того — возненавидел бы свою привлекательность, повинную в этом, осудил бы свою красоту за то, что она воспламеняет другого, — примеров тому я не наблюдал. А между тем примеры тому бывали. Молодой тосканец Спурина —

> *Qualis gemma micat, fulvum quae dividit aurum,*
>
> *Aut collo decus aut capiti; vel quale, per artem*
>
> *Inclusum buxo aut Oricia terebintho,*
>
> *Lucet ebur[17] [broken link: #nb33_17] —*

наделен был такой редкостной и неописуемой красотой, что самые сдержанные люди не могли устоять против нее. Однако жар и пламя, все пуще разгоравшиеся от его чар, не только оставляли его холодным, но возбудили в нем лютую ярость против самого себя, против щедрых даров, отпущенных ему природой, как если бы он ответственен был за то, что другие оказались обделенными в этом отношении. Он дошел до

того, что изуродовал свое лицо, нанеся себе множество ран и шрамов и полностью обезобразив ту гармонию и благообразие, которые природа так заботливо запечатлела в его чертах[18] [broken link: #nb33_18].

Сказать по чистой совести, подобные поступки больше изумляют меня, чем восхищают: такие крайности противны моим правилам. Цель этого поступка прекрасна и высоконравственна, и, однако, он кажется мне безрассудным. А что если бы его безобразие ввело людей в грех презрения или ненависти, или зависти к такой неслыханной славе, или, наконец, побудило к клевете, приписав его поступок бешеному честолюбию? Есть ли хоть какая-нибудь форма, которую порок не пожелал бы использовать, ища возможность проявиться? Было бы более правильно и честно, если бы он обратил эти дары неба в образец добродетели, в пример, достойный подражания. Те, кто уклоняются от исполнения общественного долга и от бесчисленного количества разнообразных обременительных правил, связывающих в общественной жизни безукоризненно честного человека, по-моему, сильно облегчают себе жизнь, с какими бы частными неудобствами для них это ни было связано. Это похоже на то,

как если бы человек решил умереть с целью избавиться от жизненных тягот. Такие люди могут обладать разными достоинствами, но мне всегда казалось, что они лишены способности противостоять трудностям и что в беде нет ничего более высокого, чем стойко держаться среди разбушевавшихся волн, честно выполняя все то, что требует от нас долг. Иногда легче обходиться вовсе без женщин, чем вести себя во всех отношениях должным образом со своей женой, в бедности можно жить более беззаботно, чем при хорошо распределяемом достатке. Ведь разумное пользование доставляет больше хлопот, нежели воздержание. Умеренность — добродетель более требовательная, чем нужда. Доблестная жизнь Сципиона Младшего имеет тысячу разных проявлений, доблестная жизнь Диогена — только одно.

Жизнь Диогена настолько же превосходит своей чистотой обычную жизнь, насколько жизнь, заполненная выдающимися делами и подвигами, превосходит ее силой и большей пользой.

## Глава XXXIV
## Замечания о способах ведения войны Юлия Цезаря

О многих полководцах рассказывают, что у них были свои настольные книги; так, например, у Александра Великого — Гомер, у Сципиона Африканского — Ксенофонт, у Марка Брута — Полибий, у Карла V — Филипп де Коммин; говорят, что в наше время таким же успехом пользуется у многих Маккиавелли. Однако несомненно наилучший выбор в этом отношении сделал покойный маршал Строцци[1] [broken link: #nb34_1], избравший «Записки» Юлия Цезаря, ибо это сочинение, являясь подлинным и высшим образцом военного искусства, поистине должно быть молитвенником всякого воина. К тому же Цезарь сумел облечь свой богатейший сюжет в столь изящную и прекрасную литературную форму и довести ее до такой ясности и совершенства, что, на мой взгляд, нет сочинения, которое могло бы с ним в этом отношении сравниться.

Я хочу отметить здесь некоторые примечательные особенности Цезаря в деле ведения войны,

которые врезались мне в память.

Когда на солдат Цезаря напал страх из-за распространившихся в его войске слухов об огромной армии, которую Юба ведет против Цезаря, последний, вместо того чтобы опровергнуть составившееся у его солдат представление и преуменьшить силы врага, собрал их на сходку с целью ободрить их и придать им мужества. Но он выбрал для этого совсем другой способ, противоположный обычно применяемому, а именно: он посоветовал солдатам прекратить расспросы о численности направляющихся против них неприятельских войск, ибо он имеет на этот счет весьма точные сведения, и тут он назвал им цифру, намного превосходившую ту, о которой шли слухи среди его солдат. Цезарь последовал в данном случае совету, который у Ксенофонта дает Кир; ибо обман не так страшен, когда враг оказывается на деле более слабым, чем ожидали, нежели тогда, когда враг оказывается более сильным, чем по слухам предполагали[2] [broken link: #nb34_2].

Цезарь прежде всего приучал своих солдат к беспрекословному повиновению, требуя, чтобы они не интересовались планами своего полководца и не обсуждали их; для этого он сообщал

им свои планы лишь в момент их выполнения. Ему доставляло удовольствие в тех случаях, когда солдаты угадывали его планы, сразу же менять их с целью обмануть солдат; он нередко так и делал: например, наметив стоянку в определенном месте он, достигнув ее, продолжал идти вперед, удлиняя переход; такие вещи он особенно любил проделывать в ненастную погоду[3] [broken link: #nb34_3].

Когда гельветы, в самом начале его похода в Галлию, отправили к Цезарю послов, прося у него разрешения пройти через римские владения, то, хотя он и решил им помешать в этом силой, однако притворился сговорчивым и попросил у них несколько дней якобы для размышлений, в действительности же чтобы выиграть время и собрать свою армию[4] [broken link: #nb34_4]. Несчастные гельветы и не подозревали, как искусно он умел использовать время. Цезарь неоднократно повторял, что умение вовремя воспользоваться случаем — одно из важнейших качеств полководца; быстрота, характерная для его военных действий, поистине неслыханна и невероятна.

Беззастенчиво используя преимущество, которое он получал над врагом, заключая с ним

временное соглашение, Цезарь был беззастенчив и в том отношении, что от своих солдат не требовал никаких других качеств, кроме доблести, и налагал наказания только за неповиновение и бунт[5] [broken link: #nb34_5]. Нередко после одержанной победы он давал солдатам полную волю, предоставляя им делать что угодно и освобождая их на некоторое время от правил воинской дисциплины; при этом он говорил, что солдаты его так хорошо вышколены, что, даже надушенные и напомаженные, они яростно кидаются в бой[6] [broken link: #nb34_6]. Цезарь действительно любил, чтобы солдаты его имели богатое вооружение; он давал им позолоченные, посеребренные и разукрашенные латы, считая, что боязнь потерять в сражении свои роскошные доспехи заставит их биться с еще большим ожесточением. Обращаясь к солдатам, он называл их «друзья мои», как это делаем мы еще до сих пор; однако преемник Цезаря Август, отменил этот обычай, считая, что Цезарь ввел его лишь по необходимости, находясь в трудном положении, чтобы польстить солдатам, которые шли за ним по собственной доброй воле;

*Rheni mihi Caesar in undis*

*Dux erat, hic socius: facinus quos inquinat, aequat.[7] [broken link: #nb34_7]*

Считая, что это несовместимо с достоинством императора и вождя армии, Август восстановил прежний обычай называть их просто воинами[8] [broken link: #nb34_8].

Однако наряду с этим вниманием к солдатам Цезарь проявлял большую суровость при наказании их. Взбунтовавшийся у Плаценции девятый легион Цезарь без всякого колебания распустил с позором, несмотря на то что Помпей еще не был побежден, и принял этих солдат обратно лишь после их долгих и усиленных просьб[9] [broken link: #nb34_9]. Он приводил их к повиновению не мягкостью, а скорее своим авторитетом и храбростью.

Говоря о его решении переправиться через Рейн в Германию, Цезарь заявляет[10] [broken link: #nb34_10], что считал несовместимым с достоинством римского народа, чтобы переправа его армии происходила на судах, и потому приказал построить мост, по которому должны были пройти его войска. Именно при таких обстоятельствах был воздвигнут этот великолепный мост, устройство которого он столь подробно рисует; нигде при изложении своих предприятий Цезарь

не обнаруживает такой словоохотливости, как при описании своих изобретательных выдумок, осуществление которых требовало умелого применения рук.

Я обратил также внимание на то, что Цезарь придавал большое значение своим речам к солдатам перед боем, ибо в тех случаях, когда он хочет показать, что спешил или был застигнут врасплох, он всегда указывает на то, что не имел даже возможности обратиться со словами ободрения к своим солдатам. Так было, например, перед крупным сражением с жителями Турне. Отдав необходимые распоряжения, сообщает Цезарь[11] [broken link: #nb34_11], он поспешил со словами ободрения к солдатам, там, где их заставал; попав к десятому легиону, он успел только кратко сказать воинам, чтобы они твердо помнили о своей прежней доблести, не падали духом и смело отражали натиск неприятельской армии. Так как враги подошли уже на расстояние полета стрелы, Цезарь дал сигнал к бою. Быстро направившись в другое место для осмотра других отрядов, он застал солдат уже в самом разгаре сражения. Вот все, что сам Цезарь рассказывает об этом в приводимом месте. И надо признать, что во многих случаях эти речи Цезаря оказали

ему огромные услуги. Речи Цезаря перед солдатами даже в его время пользовались такой популярностью, что многие его соратники собирали и хранили их; благодаря этому составились целые тома его речей, надолго его пережившие. Он говорил всегда так своеобразно, что близко знавшие его люди — и в том числе Август, — слушая чтение тех речей, которые были собраны, могли отличить в них отдельные фразы и даже слова, ему явно не принадлежавшие[12] [broken link: #nb34_12].

Когда Цезарь впервые отправился из Рима с государственным поручением, он за неделю достиг реки Роны, причем рядом с ним в повозке находились один или два непрерывно записывавших за ним писца, а сзади воин, который держал его меч[13] [broken link: #nb34_13]. И правда, мало кто, даже непрерывно двигаясь, мог бы соперничать с Цезарем в быстроте. Благодаря ей он, всегда победоносный, оставив Галлию и преследуя Помпея, направился в Бриндизи; за девятнадцать дней он покорил Италию и вернулся из Бриндизи в Рим. Из Рима он отправился в самые отдаленные области Испании, где преодолел величайшие трудности в войне против Афрания и Петрея[14] [broken link: #nb34_14] и во время

долгой осады Марселя. Отсюда он двинулся в Македонию, разбил римскую армию при Фарсале, а затем, преследуя Помпея, переправился в Египет и покорил его. Из Египта он прибыл в Сирию и Понтийское царство, где нанес поражение Фарнаку[15] [broken link: #nb34_15]. После этого он отправился в Африку, где разбил Сципиона и Юбу, и, вернувшись через Италию в Испанию, одержал победу над сыновьями Помпея[16] [broken link: #nb34_16].

> *Ocior et caeli flammis et tigride foeta.[17] [broken link: #nb34_17]*
>
> *Ac veluti montis saxum de vertice praeceps*
> *Cum ruit avuisum vento, seu turbidus imber*
> *Proluit, aut annis solvit sublapsa vetustas,*
> *Fertur in abruptum magno mons improbus actu,*
> *Exultatque solo, silvas armenta virosque*
> *Involvens secum.[18] [broken link: #nb34_18]*

Говоря об осаде Аварика, Цезарь сообщает[19] [broken link: #nb34_19], что он, по своему обыкновению, день и ночь находился при работавших

солдатах. Во всех важных военных операциях он всегда производил разведку сам и никогда не направлял своей армии в такое место, которое не было бы предварительно обследовано. Если верить Светонию, то Цезарь, решив переправиться в Британию, сначала сам обследовал, где и как лучше высадиться[20] [broken link: #nb34_20].

Он неоднократно повторял, что победу, одержанную с помощью ума, он предпочитает победе, одержанной мечом. Во время войны против Петрея и Афрания Цезарь не пожелал воспользоваться одним явно благоприятным для него обстоятельством, заявив, что надеется доконать своих врагов с несколько большей затратой времени, но зато с меньшим риском[21] [broken link: #nb34_21].

Во время той же операции Цезарь придумал замечательную штуку, приказав всему своему войску без всякой к тому необходимости переправиться вплавь через реку:

> *rapuitque ruens in proelia miles,*
>
> *Quod fugiens timuisset, iter; mox uda receptis*
>
> *Membra fovent armis, gelidosque a gurgite, cursu*

*Restituunt*
*artus.[22] [broken link: #nb34_22]*

Я нахожу, что Цезарь при проведении своих предприятий был более сдержан и рассудителен, чем Александр Македонский; тот как бы искал опасностей и бежал им навстречу, подобно бурному потоку, который без разбора крушит и сметает все на своем пути:

*Sic tauriformis volvitur Aufidus,*
*Qui regna Dauni perfluit Appuli,*
*Dum saevit, horrendamque cultis*
*Diluviem meditatur agris.[23] [broken link: #nb34_23]*

Дело в том, что Александр начал свое поприще еще будучи очень молод, находясь в самом пылком возрасте, между тем как Цезарь вступил в игру уже будучи зрелым и опытным человеком. Кроме того, Александр обладал более горячим, вспыльчивым и необузданным характером, а пристрастие к вину еще усугубило его буйный нрав, Цезарь же был необычайно воздержан в употреблении вина. Однако в случае необходимости, если того требовали обстоятельства, не было человека, который щадил бы себя меньше,

чем Цезарь.

Что касается меня, то во многих его подвигах я усматриваю готовность лучше погибнуть, чем снести позор поражения. Во время упомянутой битвы против обитателей Турне Цезарь, видя, что весь головной отряд его армии дрогнул, спешно пробрался в первые ряды своих солдат, представ перед врагом, как был, без щита[24] [broken link: #nb34_24]; и такое случалось с ним не раз. Услышав, что солдаты его осаждены, он, переодетый, пробрался через передовые посты неприятельской армии, чтобы ободрить их своим присутствием[25] [broken link: #nb34_25]. Переправившись в Диррахий с очень незначительным войском и видя, что остальная часть его армии, которую он поручил привести Антонию, замешкалась, он решил переплыть обратно и еще раз пересечь море, несмотря на неистовую бурю; он тайно направился в обратный путь с целью привести самому застрявшие войска, не считаясь с тем, что все тамошние порты и все участки моря контролировались флотом Помпея[26] [broken link: #nb34_26].

Что же касается подвигов Цезаря, совершенных с оружием в руках, то многие из них по своей дерзости превосходят все, что предписывается

военной наукой: например, с какими ничтожными силами он двинулся, чтобы покорить Египет, а вслед за тем напал на армии Сципиона и Юбы, в десять раз превышавшие численность его войск. Такие люди, как Цезарь, должны были обладать какой-то сверхчеловеческой верой в свою судьбу.

Говорил же он, что великие дела надо совершать, а не обдумывать бесконечно.

После битвы при Фарсале, отправив свои войска вперед в Азию и переправляясь на единственном судне через Геллеспонт, он встретил Луция Кассия с десятью большими военными кораблями. У Цезаря хватило духу не только не отступить перед ним, но пойти прямо на врага и потребовать у него сдачи; и Цезарь добился своего[27] [broken link: #nb34_27]. Предприняв пресловутую жестокую осаду Алесии, где сосредоточено было 80000 защитников, Цезарь фактически имел против себя всю Галлию, ибо галлы, все как один, поднялись против него, решив заставить его снять осаду и выставив армию из 18000 человек конницы и 240000 человек пехоты[28] [broken link: #nb34_28]. Какой же надо было обладать беззаветной храбростью и безрассудной верой в себя, чтобы не отказаться от своего замысла

и решиться идти на преодоление двух таких гигантских трудностей одновременно. И все же он справился с обеими этими задачами: выиграв сначала крупнейшее сражение и сокрушив врага, находившегося вне Алесии, он вслед за тем заставил сдаться и осажденных. Так же поступил и Лукулл при осаде Тигранокерты в войне с Тиграном; разница, однако, заключалась в том, что Лукуллу пришлось иметь дело с неприятелем, гораздо менее мужественным[29] [broken link: #nb34_29].

Говоря об осаде Алесии, я хотел бы отметить две поразительные особенности, связанные с этим делом. Первая состояла в том, что галлы, собрав все, что они могли, против Цезаря, и произведя смотр своих сил, на своем совете решили не вводить в бой часть этой массы людей, опасаясь, как бы при таком множестве воинов не произошло замешательства в их рядах. Этот страх перед чересчур многочисленным войском был явлением совершенно новым. Оценивая его по существу, следует признать правильным, что основной костяк армии должен быть не слишком велик: надо, чтобы он был ограничен сравнительно умеренными пределами, как принимая во внимание трудность организации снабжения такого

огромного войска, так и учитывая сложность руководства им и поддержания порядка. Во всяком случае нетрудно доказать на примерах, что такие гигантские армии не совершали ничего значительного.

Надо признать правильным изречение Кира, приводимое у Ксенофонта[30] [broken link: #nb34_30], что перевес в сражении дает не общее число бойцов, а количество смелых воинов, — все же остальные — скорее помеха, чем подспорье.

Баязид, решив, вопреки мнению всех своих военачальников, дать сражение Тамерлану, построил весь свой расчет на том, что надеялся на замешательство в чересчур многочисленной неприятельской армии[31] [broken link: #nb34_31]. Весьма опытный воин и знаток своего дела Скандербег любил повторять, что десяти-двенадцати тысяч преданных воинов достаточно, чтобы обеспечить полководцу славу во всяком военном деле[32] [broken link: #nb34_32].

Вторая особенность, которая противоречила принятому обычаю и способу ведения войны, состояла в том, что Верцингеториг, стоявший во главе объединенных сил всех частей восставшей Галлии, решил направиться к Алесии и подвергнуться там осаде[33] [broken link: #nb34_33]. Ведь

вождь целой страны никогда не должен ставить себя в безвыходное положение, разве что в крайнем случае, когда речь идет о его последней крепости и единственной оставшейся надежде, — защищать ее до конца; во всех остальных случаях он должен быть свободен и иметь возможность приходить на помощь всем частям своей армии.

Возвращаясь к Цезарю, следует отметить, что, как сообщает близкий Цезарю человек — Оппий, с годами он стал более осмотрителен и не столь поспешен в своих действиях, полагая, что не должен рисковать славой, которую принесли ему его многочисленные победы, ибо достаточно одного поражения, чтобы погубить ее[34] [broken link: #nb34_34].

Именно эту сторону дела имеют в виду итальянцы, когда, порицая безрассудную смелость, нередко наблюдаемую у молодых людей, называют их «жаждущими славы» (bisognosi d'onore) и полагают, что они правы, если, страстно желая прославиться, добиваются этого любой ценой, но что так не должны поступать те, кто уже прославлен в достаточной мере. В стремлении к славе, как и во многом другом, должна соблюдаться какая-то мера, равно как и в утолении жажды; немало людей именно так себя и ведет.

Цезарю было очень далеко до щепетильности тех древних римлян, которые стремились достичь военной победы лишь своей простой и безыскусственной доблестью; но и он руководствовался в этом деле более возвышенными представлениями, чем это делается в наше время, и не все средства были для него хороши, лишь бы одержать победу. Во время войны с Ариовистом[35] [broken link: #nb34_35], в тот момент, когда Цезарь вел переговоры с ним, произошло столкновение между обеими армиями по вине всадников Ариовиста. Эта стычка была весьма на руку Цезарю, но он не пожелал ею воспользоваться из опасения, как бы его не стали упрекать в вероломстве.

Он имел обыкновение одеваться во время сражения в богатое платье яркого цвета, чтобы быть заметным.

Он был требователен по отношению к солдатам, но проявлял особую строгость к ним пред лицом врага.

Когда древние греки хотели изобличить кого-нибудь в полной бесталанности, они, по принятому изречению, говорили о таком человеке, что он не умеет ни читать, ни плавать. Цезарь тоже считал, что умение плавать весьма важно в

военном деле, и извлекал из этого умения много преимуществ. Если ему нужно было спешить, он обычно переправлялся через встречавшиеся ему на пути реки вплавь; в походе же любил шествовать пешком, как Александр Великий. Во время войны в Египте Цезарь принужден был, чтобы спастись, прыгнуть в небольшую лодку, но, когда он увидел, что в нее же устремились многие его солдаты и лодка рискует пойти ко дну, он предпочел броситься в море и вплавь достиг своего флота, переплыв расстояние в двести с лишним футов, держа в поднятой над водой левой руке таблички, а в зубах свое воинское снаряжение, чтобы оно не досталось врагу; и все это Цезарь проделал, будучи отнюдь не юношей[36] [broken link: #nb34_36].

Ни один полководец не мог похвалиться большей преданностью своих Солдат. В начале гражданской войны центурионы всех легионов предложили ему выставить каждый по одному всаднику за свой счет, а все пехотинцы предложили служить ему бесплатно, причем солдаты побогаче брали на себя содержание менее достаточных[37] [broken link: #nb34_37]. Покойный адмирал Шатийон[38] [broken link: #nb34_38] явил нам подобный же пример во время наших граж-

данских войн: французские солдаты из его армии оплачивали из своих средств находившихся в их рядах иностранных наемников; подобных примеров горячей преданности и самоотверженности нельзя было встретить в лагере католической партии, среди сторонников старой веры.

Чувство диктует нам более повелительно, чем разум.

Во время войны с Ганнибалом солдаты и военачальники, следуя примеру щедрости римского народа, отказались от жалованья, так что в лагере Марцелла[39] [broken link: #nb34_39] тех, кто не отказывался от жалованья, называли наемниками.

Когда солдаты Цезаря в битве под Диррахием понесли поражение, они сами потребовали для себя наказания, и Цезарю пришлось скорее утешать их, чем наказывать[40] [broken link: #nb34_40]. Одна-единственная его когорта в течение четырех часов выдерживала натиск четырех легионов Помпея и почти до последнего человека была истреблена неприятельскими лучниками, так что под конец во рву было найдено 130000 стрел[41] [broken link: #nb34_41]. Один из его воинов, Сцева, защищавший ворота укрепления, держался неколебимо, несмотря на то, что у него

был выбит глаз, а бедро и одно плечо пронзены насквозь и щит пробит ста двадцатью ударами[42] [broken link: #nb34_42]. Многие его солдаты, попав в плен, предпочитали умереть, чем согласиться перейти на сторону врага. Граний Петроний[43] [broken link: #nb34_43] был захвачен в Африке Сципионом; тот приговорил к смерти всех находившихся с Петронием, а ему самому обещал помилование, ввиду того что он человек знатный и квестор. В ответ на это Петроний заявил, что воины Цезаря привыкли давать пощаду, но не получать ее от других, и с этими словами тут же покончил с собой.

Можно привести бесчисленное количество примеров преданности, выказанной Цезарю его солдатами. Нельзя забыть поведение тех, кто были осаждены в Салонах[44] [broken link: #nb34_44] (городе, стоявшем на стороне Цезаря против Помпея), ввиду исключительности происшедшего здесь случая. Марк Октавий подверг Салоны блокаде; осажденные терпели нужду во всем до такой степени, что для того, чтобы пополнить недостаток в людях — ибо большинство их было либо перебито, либо ранено, — они отпустили на свободу всех своих рабов и, обрезав волосы у всех женщин, свили из них веревки для своих

метательных орудий. Кроме всего этого, они терпели ужасные муки из-за полного отсутствия продовольствия, но тем не менее были полны решимости ни в коем случае не сдаваться. Затянув таким образом осаду надолго и добившись того, что Октавий стал более небрежен и менее внимателен, осажденные однажды в полдень улучили удобный момент. Они расставили на стенах своих укреплений жен и детей, чтобы отвлечь внимание неприятеля, а сами с такой яростью набросились на осаждавших, что захватили один за другим первые четыре их лагеря, а потом и остальные, вытеснив их полностью из укреплений и заставив бежать на корабли. Сам Октавий спасся бегством в Диррахий, где находился Помпеи. Я не могу припомнить другого подобного примера, чтобы осажденные наголову разбили осаждающих и взяли инициативу в свои руки; не помню я также случая, чтобы простая вылазка привела к столь полной и решительной победе.

## Глава XXXV
## О трех истинно хороших женщинах

Всем известно, что хороших женщин не так-то много, не по тринадцать на дюжину, а в особенности мало примерных жен. Ведь брак таит в себе столько шипов, что женщине трудно сохранить свою привязанность неизменной в течение долгих лет. Хотя мужчины в этом отношении и стоят намного выше, однако и им это не легко дается.

Показателем счастливого брака, убедительнейшим доказательством его, является долгая совместная жизнь в мире, согласии, без измен. В наше время — увы! — жены большей частью выказывают свои неустанные заботы и всю силу своей привязанности к мужьям, когда тех уже нет в живых; по крайней мере именно тогда жены стараются доказать свою любовь. Что и говорить — запоздалые, несвоевременные доказательства! Жены скорее, пожалуй, доказывают этим, что любят своих мужей мертвыми. Жизнь была наполнена пламенем раздоров, а смерть — любовью и уважением. Подобно тому как родители нередко таят любовь к детям, так и

жены часто скрывают свою любовь к мужьям, соблюдая светскую пристойность. Эта скрытность не в моем вкусе: такие жены могут сколько угодно неистовствовать и рвать на себе волосы, я же в таком случае спрашиваю какую-нибудь горничную или секретаря: «Как они относились друг к другу? Как они жили друг с другом?» Я всегда припоминаю по этому поводу чудесное изречение: iactantius maerent, quae minus dolent[1] [broken link: #nb35_1]. Их отчаяние противно живым и не нужно мертвым. Мы не против того, чтобы они радовались после нас, лишь бы они радовались вместе с нами при нашей жизни. Можно просто воскреснуть от досады, если та, кому наплевать было на меня при жизни, готова чесать мне пятки, когда я только-только испустил дух. Если, оплакивая мужей, жены проявляют благородство, то право на него принадлежит только тем, которые улыбались им при жизни; но жены, которые, живя с нами, грустили, пусть радуются после нашей смерти, пусть будет у них на лице то же, что и в душе. Поэтому не обращайте внимания на их полные слез глаза и жалобный голос: смотрите лучше на горделивую поступь, на цвет лица и округлившиеся щеки под траурным покрывалом: эти вещи раскроют

вам гораздо больше, чем любые слова. Многие из них, овдовев, начинают расцветать, — разве это не безошибочный показатель их самочувствия? Они блюдут установленные для вдов приличия не из уважения к прошлому, а в расчете на то, что их ждет: это — не уплата долга, а накопление для будущего. В дни моего детства некая почтенная и очень красивая дама, которая и сейчас еще жива, вдова одного принца, носила больше драгоценностей, чем положено по нашим обычаям для вдов. Когда ее упрекнули в этом, она ответила: «По ведь я не завожу больше новых привязанностей и не собираюсь вновь выходить замуж».

Не желая идти вразрез с принятым у нас обычаем, я расскажу здесь лишь о трех женах, вся глубина любви и доброты которых по отношению к их мужьям тоже проявилась в момент смерти последних; однако эти примеры несколько отличны от приведенных: здесь имели место крайние обстоятельства и женщины пожертвовали своей жизнью.

У Плиния Младшего[2] [broken link: #nb35_2], около одной его усадьбы в Италии, был сосед, который невероятно страдал от гнойных язв, покрывавших его половые органы. Жена его, видя долгие и непрестанные мучения своего мужа,

попросила, чтобы он позволил ей самой осмотреть его, говоря, что никто откровеннее ее не скажет ему, есть ли надежда. Получив согласие мужа и внимательно осмотрев его, она нашла, что надежды на выздоровление нет и что ему предстоит еще долго влачить мучительное существование. Во избежание этого она посоветовала ему вернейшее и лучшее средство — покончить с собой. Но, видя, что у него не хватает духу для такого решительного поступка, она прибавила: «Не думай, друг мой, что твои страдания терзают меня меньше, чем тебя; чтобы избавиться от них, я хочу испытать на себе то самое лекарство, которое я тебе предлагаю. Я хочу быть вместе с тобой при твоем выздоровлении, так же как была вместе с тобой в течение всей твоей болезни. Отрешись от страха смерти и думай о том, каким благом будет для нас этот переход, который избавит нас от нестерпимых страданий: мы уйдем вместе, счастливые, из этой жизни». Сказав это и подбодрив своего мужа, она решила, что они выбросятся в море из окна своего дома, расположенного у самого берега. И желая, чтобы муж ее до последней минуты был окружен той преданной и страстной любовью, какою она дарила его в течение всей жизни, она захотела, чтобы он

умер в ее объятиях. Однако боясь, чтобы руки его при падении и от страха не ослабели и не разомкнулись, она плотно привязала себя к нему и рассталась с жизнью ради того, чтобы положить конец страданиям своего мужа.

Это была женщина совсем простого звания, но именно среди простых людей нередко можно встретить проявления необыкновенного благородства:

> *extrema per illos*
>
> *Iustitia excedens terris vestigia fecit.[3] [broken link: #nb35_3]*

Две другие женщины, о которых я собираюсь рассказать, были богатые и знатного происхождения, а среди таких людей примеры доблести — редчайшее явление.

Аррия, жена консула Цецины Пета, была матерью Аррии младшей, жены того самого Тразеи Пета, что прославился своей добродетелью во времена Перона, а через этого своего зятя Аррия старшая была бабкой Фаннии (одинаковые имена у этих двух жен и двух мужей, а также сходная их судьба привели к тому, что многие потом их смешивали)[4] [broken link: #nb35_4]. Аррия старшая, когда ее муж, Цецина Пет, был

захвачен солдатами императора Клавдия после гибели Скрибониана[5] [broken link: #nb35_5] (сторонником которого он был), стала умолять тех, кто увозил его в Рим, позволить ей ехать вместе с ним. Она будет стоить им дешевле — убеждала Аррия солдат — и будет меньшей помехой, чем рабы, которые понадобятся им для обслуживания ее мужа, ибо она одна будет убирать его комнату, стряпать и исполнять все другие обязанности. Но ей было отказано. Тогда она, не медля, наняла рыбачье суденышко и на нем последовала за мужем от самой Иллирии. Однажды, когда они были уже в Риме, в присутствии императора Клавдия, Юния, вдова Скрибониана, приблизилась к ней с выражением дружеского участия ввиду общности их судеб, но Аррия резко отстранила ее от себя со словами: «И ты хочешь, — сказала она, — чтобы я говорила с тобой или стала тебя слушать? У тебя на груди убили Скрибониана, а ты все еще живешь?» Из этих слов Аррии, так же как из многих других признаков, родные ее заключили, что она замышляет самоубийство и стремится разделить судьбу своего мужа. Ее зять, Тразея, умоляя ее не губить себя, сказал ей: «Если бы меня постигла такая же участь, как и Цецину, то разве ты захотела бы, чтобы моя жена

— твоя дочь — покончила с собой?» — «Что ты сказал! — воскликнула Аррия. — Захотела ли бы я? Да, да, безусловно захотела бы, если бы она прожила с тобой такую же долгую жизнь и в таком же согласии, как я со своим мужем». Ответ этот усилил бдительность ее близких, которые стали внимательно следить за каждым ее шагом. Однажды она сказала тем, кто ее стерег: «Это ни к чему: вы добьетесь лишь того, что я умру более мучительной смертью, но добиться, чтобы я не умерла, вы не сможете». С этими словами она вскочила со стула, на котором сидела, и со всего размаху ударилась головой о противоположную стену. Когда после долгого обморока ее, тяжело раненную, с величайшим трудом привели в чувство, она сказала: «Я говорила вам, что если вы лишите меня возможности легко уйти из жизни, я выберу любой другой путь, каким бы трудным он ни оказался».

Смерть этой благородной женщины была такова. У ее мужа Пета не хватало мужества самому лишить себя жизни, как того требовал приговор, вынесенный ему жестоким императором. Однажды Аррия, убеждая своего мужа покончить с собой, сначала обратилась к нему с разными увещаниями, затем выхватила кинжал, который

носил при себе ее муж и, держа его обнаженным в руке, в заключение своих уговоров промолвила: «Сделай, Пет, вот так». В тот же миг она нанесла себе смертельный удар в живот и, выдернув кинжал из раны, подала его мужу, закончив свою жизнь следующими благороднейшими и бессмертными словами: Paete, non dolet[6] [broken link: #nb35_6]. Она успела произнести только эти три коротких, но бесценных по своему значению слова: «Пет, это вовсе не больно»[7] [broken link: #nb35_7]:

> *Casta suo gladium cum traderet Arria Paeto*
>
> *Quem de visceribus traxerat ipsa suis:*
>
> *Si qua fides, vulnus quod feci, non dolet, inquit;*
>
> *Sed quod tu facies, id mihi, Paete, dolet.[8] [broken link: #nb35_8]*

Слова Аррии в тексте Плиния производят еще более глубокое впечатление и еще более значительны. И правда, нужно было обладать беззаветным мужеством, чтобы нанести смертельную рану себе и побудить сделать то же самое мужа, но, чего бы это ей ни стоило, тут она была и побудителем и советчиком; однако самое

замечательное в другом. Совершив этот высокий и смелый подвиг единственно ради блага своего мужа, она до последнего своего вздоха была преисполнена заботы о нем и, умирая, жаждала избавить его от страха последовать за ней. Пет, не раздумывая, убил себя тем же кинжалом; мне кажется, он устыдился того, что ему понадобился такой дорогой, такой невознаградимый урок.

Помпея Паулина, молодая и весьма знатная римская матрона, вышла замуж за Сенеку, когда тот был уже очень стар[9] [broken link: #nb35_9]. В один прекрасный день воспитанник Сенеки, Нерон, послал своих приспешников объявить ему, что он осужден на смерть; делалось это так: когда римские императоры того времени приговаривали к смерти какого-нибудь знатного человека, они предлагали ему через своих посланцев выбрать по своему усмотрению ту или иную смерть и предоставляли для этого определенный срок, иногда очень короткий, а иной раз более длительный, сообразно степени их немилости. Осужденный имел таким образом иногда возможность привести за это время в порядок свои дела, но иной раз за краткостью срока не в состоянии был этого сделать; если же приговоренный не повиновался приказу, императорские

слуги присылали для выполнения его своих людей, которые перерезали осужденному вены на руках и на ногах или же насильно заставляли его принять яд; однако люди благородные не дожидались такой крайности и прибегали к услугам своих собственных врачей и хирургов. Сенека спокойно и уверенно выслушал сообщенный ему приказ и попросил бумаги, чтобы составить завещание. Когда центурион отказал ему в этом, Сенека обратился к своим друзьям со следующими словами: «Так как я лишен возможности отблагодарить вас по заслугам, то оставляю вам единственное, но лучшее что у меня есть, — память о моей жизни и нравах; если вы исполните мою просьбу и сохраните воспоминание о них, вы приобретете славу настоящих и преданных друзей». Вместе с тем, стараясь облегчить страдания, которые он читал на их лицах, он обращался к ним то с ласковой речью, то со строгостью, чтобы придать им твердость, и спрашивал у них: «Где же те прекрасные философские правила, которых мы придерживались? Где решимость бороться с превратностями судьбы, которые мы столько лет сносили? Разве мы не знали о жестокости Нерона? Чего можно было ждать от того, кто убил родную мать и брата? Разве ему не остава-

лось только прибавить к этому насильственную смерть своего наставника и воспитателя?» Сказав это, он обратился к жене и, крепко обняв ее, — так как, подавленная горем, она теряла и душевные, и телесные силы — стал умолять ее, чтобы она из любви к нему стойко перенесла удар. «Настал час, — сказал он, — когда надо показать не на словах, а на деле, какое поучение я извлек из моих философских занятий: не может быть сомнений, что я без малейшей горечи, а наоборот, с радостью встречу смерть». «Поэтому, друг мой, — утешал он жену, — не омрачай ее своими слезами, чтобы не сказали о тебе, что ты больше думаешь о себе, чем о моей доброй славе. Победи свою скорбь и найди утешение в том, что ты знала меня и мои дела; постарайся провести остаток своих дней в благородных занятиях, к которым ты так склонна». В ответ на это Паулина, собравшись немного с силами и укрепив свой дух благороднейшей любовью к мужу, сказала: «Нет, Сенека, я не могу оставить тебя в смертный час, я не хочу, чтобы ты подумал, что доблестные примеры, которые ты показал мне в своей жизни, не научили меня умереть как подобает; как смогу я доказать это лучше, чистосердечнее и добровольнее, чем окончив жизнь вместе с тобой?» Тогда Сенека,

не противясь столь благородному и мужественному решению своей жены и опасаясь оставить ее после своей смерти на произвол жестокости своих врагов, сказал: «Я дал тебе, Паулина, совет, как тебе провести более счастливо твои дни, но ты предпочитаешь доблестную кончину; я не стану оспаривать этой чести. Пусть твердость и мужество перед лицом смерти у нас одинаковы, но у тебя больше величия славы». Вслед за тем им обоим одновременно вскрыли вены на руках, но так как у Сенеки они были сужены и из-за возраста его, и из-за общего истощения, то он, очень медленно и долго истекая кровью, приказал, чтобы ему еще перерезали вены на ногах. Опасаясь, чтобы его муки не ослабили дух его жены, а также желая избавить самого себя от необходимости видеть ее в таком ужасном состоянии, он, с величайшей нежностью простившись с ней, попросил, чтобы она позволила перенести ее в соседнюю комнату, что и было исполнено. Но так как и вскрытие вен на ногах не принесло ему немедленной смерти, то Сенека попросил своего врача Стачия Аннея дать ему яд. Однако тело его до такой степени окоченело, что яд не подействовал. Поэтому пришлось еще приготовить ему горячую ванну, погрузившись в

которую он почувствовал, что конец его близок. Но до последнего своего вздоха он продолжал излагать исполненные глубочайшего значения мысли о своем предсмертном часе. Находившиеся при нем секретари старались записать все, что в состоянии были расслышать, и долгое время после смерти Сенеки эти записи сказанных им в последний час слов ходили по рукам и пользовались величайшим почетом среди его современников. (Какая огромная потеря, что они не дошли до нас!) Почувствовав приближение кончины, Сенека, зачерпнув ладонью смешавшейся с кровью воды и оросив ею голову, сказал, что совершает этой водой возлияние Юпитеру Избавителю. Нерон, узнав обо всем этом и опасаясь, чтобы ему не поставили в вину смерть Паулины, которая принадлежала к именитейшему римскому роду и к которой он не питал особой вражды, приказал срочно перевязать ей раны, что и было исполнено его посланцами без ее ведома, ибо она была без чувств и наполовину мертвая. Оставшись, вопреки своему намерению, в живых, она вела жизнь похвальную, вполне достойную ее добродетели, а навсегда сохранившаяся бледность ее лица доказывала, как много жизненных сил она потеряла, истекая кровью.

Вот три истинных происшествия, которые я хотел рассказать и которые я нахожу не менее увлекательными и трагическими, чем все то, что мы по обязанности измышляем для развлечения публики. Меня удивляет, что те, кто занимается этим, не предпочитают черпать тысячи таких замечательных происшествий из книг: это стоило бы им меньших усилий и приносило бы больше пользы и удовольствия. Тот, кто захотел бы создать из них единое и долговечное произведение, должен был бы со своей стороны только связать и скрепить их, как спаивают один металл с помощью другого. Подобным образом можно было бы соединить воедино множество истинных событий, разнообразя их и располагая так, чтобы от этого красота всего произведения в целом только выиграла, как, например, поступил Овидий, использовавший в своих «Метаморфозах» множество прекрасных сказаний.

В истории этой четы — Сенеки и Паулины — достойно внимания еще и то, что Паулина охотно готова была расстаться с жизнью из любви к мужу, подобно тому как Сенека в свое время из любви к ней отверг мысль о смерти. Нам может показаться, что расплата со стороны Сенеки была не так уж велика, но, верный своим стоическим

принципам, он, я думаю, полагал, что сделал для нее не меньше, оставшись в живых, чем если бы умер ради нее. В одном из своих писем к Луцилию[10] [broken link: #nb35_10] Сенека сообщает, что, находясь в Риме и почувствовав приступ лихорадки, он тотчас же сел на колесницу и направился в один из своих загородных домов, вопреки настояниям жены, пытавшейся удержать его. Сенека постарался уверить ее, что лихорадка гнездится не в его теле, а в Риме. Вслед за тем Сенека пишет в упомянутом письме: «Она отпустила меня, строжайше наказав мне заботиться о моем здоровье. И вот, так как я знаю, что ее жизнь зависит от моей, я начинаю заботиться о себе, заботясь тем самым о ней. Я отказываюсь от преимущества, которое дает мне моя старость, закалившая меня и научившая переносить многое, всякий раз, когда вспоминаю, что с этим старцем связана молодая жизнь, предоставленная моим заботам. Так как я не могу заставить ее любить меня более мужественно, то мне приходится заботиться о себе как можно лучше: ведь надо же расплачиваться за глубокие привязанности, и, хотя в некоторых случаях обстоятельства внушают нам совсем иное, приходится призывать к себе жизнь, как она ни мучительна, приходится

принимать ее, стиснув зубы, ибо закон велит порядочным людям жить не так, как хочется, а повинуясь долгу. Кто не настолько любит свою жену или друга, чтобы быть готовым ради них продлить свою жизнь, и упорствует в стремлении умереть, тот слишком изнежен и слаб. Наше сердце должно уметь принуждать себя к жизни, если это необходимо для блага наших близких, нужно иногда полностью отдаваться друзьям и ради них отказываться от смерти, которой мы хотели бы для себя. Оставаться в живых ради других — это доказательство великой силы духа, как об этом свидетельствует пример многих выдающихся людей; исключительное великодушие в том, чтобы стараться продлить свою старость (величайшее преимущество которой в том, что можно не заботиться о продлении своего существования и жить, ничего не боясь и ничего не щадя), если знаешь, что это является радостью, счастьем и необходимостью для того, кто глубоко тебя любит. И как же велика награда за это, — ибо есть ли на свете большее счастье, чем представлять для своей жены такую ценность, что тебе приходится дорожить и собой. Наказав мне заботиться о себе, моя Паулина не только передала мне свой страх за меня, но и усугубила мой соб-

ственный. Я не мог больше думать о том, чтобы умереть с твердостью, а должен был думать о том, как невыносимо будет для нее это страдание. И я подчинился необходимости жить, ибо величие души иногда в том, чтобы предпочесть жизнь». Таковы слова Сенеки, столь же замечательные, как и его деяния.

## Глава XXXVI
## О трех самых выдающихся людях

Если бы меня попросили произвести выбор среди всех известных мне людей, я, мне кажется, счел бы наиболее выдающимися следующих трех человек.

Первый из них — Гомер; и не потому, чтобы Аристотель или, к примеру, Варрон были менее знающими, чем он, или чтобы с его искусством нельзя было сравнить, скажем, искусство Вергилия. Я не берусь этого решать и предоставляю судить тем, кто знает и того, и другого. Мне доступен только один из них, и я, в меру отпущенного мне понимания в этом деле, могу лишь сказать, что, по-моему, вряд ли даже сами музы превзошли бы римского поэта:

> *Tale facit carmen docta testudine quale*
> *Cynthius impositis temperat articulis.[1] [broken link: #nb36_1]*

Однако же при этом сопоставлении, следует помнить, что своим совершенством Вергилий больше всего обязан Гомеру; именно Гомер является его руководителем и наставником, и самый

замысел «Илиады» послужил образцом, давшим жизнь и бытие непревзойденной и божественной «Энеиде». Но для меня в Гомере важно не это, мне Гомер представляется существом исключительным, каким-то сверхчеловеком по другим причинам. По правде говоря, я нередко удивляюсь, как этот человек, который сумел своим авторитетом создать такое множество богов и обеспечить им признание, не сделался богом сам. Слепой бедняк, живший во времена, когда не существовало еще правил науки и точных наблюдений, он в такой мере владел всем этим, что был с тех пор для всех законодателей, полководцев и писателей — чего бы они ни касались: религии, философии со всеми ее течениями или искусства, — неисчерпаемым кладезем познаний, а его книги — источником вдохновения для всех:

> *Quidquid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,*
>
> *Plenius ac melius Chrisippo ac Crantore dicit;[2] [broken link: #nb36_2]*

или, как утверждает другой поэт:

> *A quo, ceu fonte perenni*
>
> *Vatum Pieriis labra rigantur aquis;[3] [broken link: #nb36_3]*

или, как выражается третий:

> *Adde Heliconiadum comites, quorum unus Homerus*
>
> *Astra potitus;[4] [broken link: #nb36_4]*

или, как заявляет четвертый:

> *cuiusque ex ore profuso*
>
> *Omnis posteritas latices in carmina duxit,*
>
> *Amnemque in tenues ausa est deducere rivos,*
>
> *Unius foecunda bonis.[5] [broken link: #nb36_5]*

Созданные им самые замечательные в мире произведения не укладываются ни в какие привычные рамки и почти противоестественны; ибо, как правило, вещи в момент их возникновения несовершенны, они улучшаются и крепнут по мере роста, Гомер же сделал поэзию и многие другие науки зрелыми, совершенными и законченными с самого их появления. На этом основании его следует назвать первым и последним поэтом, так как, согласно справедливому, сложившемуся о нем в древности изречению, у Гомера не было предшественников, которым он мог бы подражать, но не было зато и таких

преемников, которые оказались бы в силах подражать ему. По мнению Аристотеля[6] [broken link: #nb36_6], слова Гомера — единственные слова, наделенные движением и действием, исключительные по значительности слова. Александр Великий, найдя среди оставленных Дарием вещей драгоценный ларец, взял этот ларец и приказал положить в него принадлежавший ему лично список поэм Гомера, говоря, что это его лучший и вернейший советчик во всех военных предприятиях[7] [broken link: #nb36_7]. На том же основании сын Александрида, Клеомен, утверждал, что Гомер — поэт лакедемонян, так как он наилучший наставник в военном деле[8] [broken link: #nb36_8]. По мнению Плутарха, Гомеру принадлежит та редчайшая и исключительная заслуга, что он единственный в мире автор, который никогда не приедался и не надоедал людям, а всегда поворачивался к ним неожиданной стороной, всегда очаровывая их новой прелестью. Беспутный Алкивиад попросил некогда у одного писателя какое-то из сочинений Гомера и влепил ему оплеуху, узнав, что у писателя его нет[9] [broken link: #nb36_9]; это все равно, как если бы у какого-нибудь нашего священника не оказалось молитвенника. Ксенофан однажды пожаловался

сиракузскому тирану Гиерону на свою бедность, которая доходила до того, что он не в состоянии был прокормить двух своих слуг. «А ты посмотри, — ответил ему Гиерон, — на Гомера, который, хоть и был во много раз беднее тебя, однако же и по сей день, лежа в могиле, питает десятки тысяч людей»[10] [broken link: #nb36_10].

А что иное означали слова Панэция, когда он назвал Платона Гомером философов[11] [broken link: #nb36_11]? Какая слава может сравниться со славой Гомера? Ничто не живет в устах людей такой полной жизнью, как его имя и его произведения, ничего не любят они так и не знают так, как Трою, прекрасную Елену и войны из-за нее, которых, может быть, на самом деле и не было. До сих пор мы даем своим детям имена, сочиненные им свыше трех тысяч лет назад. Кто не знает Гектора и Ахилла? Не отдельные только нации, а большинство народов старается вывести свое происхождение, опираясь на его вымыслы. Разве не писал турецкий султан Мехмед II папе Пию II[12] [broken link: #nb36_12]: «Я поражаюсь, почему сговариваются и объединяются против меня итальянцы? Разве мы не происходим от одних и тех же троянцев и не у меня ли та же цель, что и у них, — отомстить за кровь Гектора

грекам, которых они натравливают на меня?» Разве не грандиозен спектакль, в котором цари, республиканские деятели и императоры в течение стольких веков стараются играть гомеровские роли? И не является ли ареной этого представления весь мир? Семь греческих городов оспаривали друг у друга право считаться местом его рождения; так, даже самая невыясненность его биографии служит к вящей славе его.

> *Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athenae.[13] [broken link: #nb36_13]*

Вторым наиболее выдающимся человеком является, на мой взгляд, Александр Македонский. Если учесть, в каком раннем возрасте он начал совершать свои подвиги, с какими скромными средствами он осуществил свой грандиозный план, каким авторитетом он с отроческих лет пользовался у крупнейших и опытнейших полководцев всего мира, старавшихся подражать ему; если вспомнить необычайную удачу, сопутствовавшую стольким его рискованным — чтобы не сказать безрассудным — походам, —

> *impellens quicquid sibi summa petenti*
> *Obstaret, gaudensque viam fecisse ruina;[14]*

*[broken link: #nb36_14]* —

если принять во внимание, что в возрасте тридцати трех лет он прошел победителем по всей обитаемой вселенной и за полжизни достиг такого полного расцвета своих дарований, что в дальнейшие годы ему нечего было прибавить ни в смысле доблести, ни в смысле удач, — то нельзя не признать, что в нем было нечто сверхчеловеческое. Его воины положили начало многим царским династиям, а сам он оставил после себя мир поделенным между четырьмя своими преемниками, простыми военачальниками его армии, потомки которых на протяжении многих лет удерживали затем под своей властью эту огромную империю. А сколько было в нем выдающихся качеств: справедливости, выдержки, щедрости, верности данному им слову, любви к ближним, человеколюбия по отношению к побежденным. Его поступки и впрямь кажутся безупречными, если не считать некоторых, очень немногих из них, необычных и исключительных. Но ведь невозможно творить столь великие дела, придерживаясь обычных рамок справедливости! О таких людях приходится судить по всей совокупности их дел, по той высшей цели, которую они себе поставили. Разрушение Фив, убийство

Менандра и врача Гефестиона, одновременное истребление множества персидских пленников и целого отряда индийских солдат в нарушение данного им слова, поголовное уничтожение жителей Коссы вплоть до малых детей — все это, разумеется, вещи непростительные. В случае же с Клитом[15] [broken link: #nb36_15] поступок Александра был искуплен — и даже в большей мере, чем это было необходимо, — что, как и многое другое, свидетельствует о благодушном нраве Александра, о том, что это была натура, глубоко склонная к добру, и потому как нельзя более верно было о нем сказано, что добродетели его коренились в его природе, а пороки зависели от случая. Что же касается его небольшой слабости к хвастовству или нетерпимости к отрицательным отзывам о себе, или убийств, хищений, опустошений, которые он производил в Индии, то все это, на мой взгляд, следует объяснять его молодостью и головокружительными успехами. Нельзя не признать его поразительных военных талантов, быстроты, предусмотрительности, дисциплинированности, проницательности, великодушия, решимости, удачливости и везения. Даже если бы мы не знали авторитетного мнения Ганнибала на этот счет, то должны были бы признать, что

во всем этом Александру принадлежит первое место. Нельзя не отметить его редчайших способностей и одаренности, почти граничащей с чудом; его горделивой осанки и всей его благороднейшей повадки при столь юном, румяном и бросающемся в глаза лице:

> *Qualis, ubi Oceani perfusus lucifer unda,*
>
> *Quem Venus ante alios astrorum diligit ignes,*
>
> *Extulit os sacrum caelo, tenebrasque resolvit.[16] [broken link: #nb36_16]*

Нельзя не оценить его огромных познаний, его незабываемой в веках славы, чистой, без единого пятнышка, безупречной, недоступной для зависти, славы, в силу которой еще много лет спустя после его смерти люди благоговейно верили, что медали с его изображением приносят счастье тем, кто их носит. Ни об одном государе историки не написали столько, сколько сами государи написали о его подвигах. Еще до настоящего времени магометане, с презрением отвергающие историю других народов, в виде особого исключения принимают и почитают единственно историю его жизни и деяний[17] [broken link: #nb36_17]. Кто вспомнит обо всем этом, должен будет со-

гласиться, что я был прав, поставив Александра Македонского даже выше Цезаря, единственного человека, относительно которого я мог на минуту заколебаться при выборе. Нельзя отрицать, что в деяния Цезаря вложено больше личных дарований, но удачливости было несомненно больше в подвигах Александра. Во многих отношениях они не уступали друг другу, а в некоторых Цезарь даже превосходил Александра.

Оба они были подобно пламени или двум бурным потокам, с разных сторон ринувшимся на вселенную:

> *Et velut immissi diversis partibus ignes*
>
> *Arentem in silvam et virgulta sonantia lauro;*
>
> *Aut ubi decursu rapido de montibus altis*
>
> *Dant sonitum spumosi amnes et in aequora currunt,*
>
> *Quisque suum populatus iter.[18] [broken link: #nb36_18]*

И хотя честолюбие Цезаря было более умеренным, но оно являлось роковым в том смысле, что совпало с развалом его родины и общим ухудшением тогдашнего мирового положения; таким образом, собрав все воедино и взвесив, я не могу

не отдать пальмы первенства Александру.

Третьим и наиболее, на мой взгляд, выдающимся человеком является Эпаминонд[19] [broken link: #nb36_19].

Он далеко не пользовался той славой, которая выпала на долю многим другим (но слава и не является решающим обстоятельством в этом деле); что же касается отваги и решимости — не тех, которые подстрекаются честолюбием, а порождаемых в добропорядочном человеке знанием и умом, — то нельзя представить себе, чтобы кто-либо обладал ими в более полной мере. Эпаминонд выказал, на мой взгляд, не меньше отваги и решимости, чем Александр и Цезарь, ибо, хотя его военные подвиги и не столь многочисленны и не так расписаны, как подвиги Александра и Цезаря, однако, если вникнуть во все обстоятельства, они были не менее сложны и трудны и требовали не меньшей смелости и военных талантов. Греки воздали ему должное, единодушно признав, что ему принадлежит первое место среди его соотечественников[20] [broken link: #nb36_20]; но быть первым среди греков без преувеличения значит занимать первое место в мире. Что касается его знаний и способностей, то до нас дошло древнее суждение, гласящее, что

ни один человек не знал больше и не говорил меньше его, ибо он был по убеждениям своим пифагорейцем[21] [broken link: #nb36_21].

Но то, что Эпаминонд говорил, никто не мог сказать лучше его. Он был выдающийся оратор, умевший убеждать своих слушателей.

По части морали он далеко превосходил всех государственных деятелей. Именно в этом отношении, которое должно считаться важнейшим и первостепенным, — ибо только по нему мы можем судить, каков человек (и потому эта сторона перевешивает, по-моему, все остальные достоинства, вместе взятые) — Эпаминонд не уступает ни одному философу, даже самому Сократу.

Нравственная чистота — основное, наивысшее качество Эпаминонда, оно постоянно, неизменно, нерушимо, между тем как в Александре оно играет подчиненную роль, изменчиво, многолико, неустойчиво и податливо.

Древние считали[22] [broken link: #nb36_22], что если подробно разобрать деяния всех великих полководцев, то у каждого из них можно найти какое-нибудь особое достоинство, дающее ему право на известность. И только у Эпаминонда все его достоинства и совершенства являют некую полноту и единство во всех отношениях, в об-

щественных или частных делах, на войне или в мирное время, в житейском его поведении или в славной, героической смерти. Я не знаю никаких проявлений человеческой личности и никакой судьбы человеческой, к которым относился бы с большим уважением и преклонением. Правда, я нахожу чрезмерным его пристрастие к бедности, как оно было обрисовано нам его лучшими друзьями[23] [broken link: #nb36_23]. И лишь это его свойство, каким бы благородным и достойным восхищения оно ни было, представляется мне слишком суровым, чтобы я — хотя бы только мысленно — мог стремиться подражать ему. Единственно между кем я затруднился бы произвести выбор, это между Эпаминондом и Сципионом Эмилианом, если бы последний ставил себе столь же возвышенную цель, как Эпаминонд, и обладал бы такими же разносторонними и глубокими познаниями. Какая досада, что из числа интереснейших параллельных биографий, написанных Плутархом, до нас не дошло сопоставление между Эпаминондом и Сципионом Эмилианом, которые, по единодушному признанию всех, занимают первое место — один у греков, другой у римлян. Какая благодарная тема и какое мастерское перо! Если же брать не

праведника, а человека просто порядочного и вообще и как гражданина, по величию души не выходившего из ряда вон, то, на мой взгляд, самая яркая, богатая и достойная зависти жизнь выпала на долю Алкивиада. Но что касается Эпаминонда, то в качестве примера его непревзойденного благородства я приведу здесь некоторые его высказывания.

Он заявлял, что наибольшее удовлетворение, пережитое им в жизни, дала ему та радость, которую он доставил отцу и матери своей победой при Левктрах[24] [broken link: #nb36_24]; их радость он ставил гораздо выше удовлетворения, полученного от столь славного подвига им самим.

Он не считал возможным допустить убийство хотя бы одного невинного человека, даже если бы дело шло о восстановлении свободы родины[25] [broken link: #nb36_25]; вот почему он так холодно отнесся к замыслу своего соратника Пелопида, затеявшего освободить Фивы. Он считал также, что следует избегать в сражении столкновения с другом, находящимся в стане врагов, и что друг заслуживает пощады.

Человечность Эпаминонда даже по отношению к врагам была столь велика, что он был заподозрен беотийцами в измене на следую-

щем основании[26] [broken link: #nb36_26]. После блестящей, почти чудесной победы, принудив спартанцев открыть ему проход около Коринфа, через который можно было проникнуть в Морею, он ограничился тем, что разбил их, но не стал преследовать до конца. За это он был смещен с поста главнокомандующего, что было для него весьма почетной отставкой, принимая во внимание причину ее, для соотечественников же его — весьма позорным делом, ибо им пришлось вскоре же восстановить его в прежнем звании и признать, что от него зависит их спасение и слава, поскольку победа тенью шла за ним повсюду, куда бы он их ни вел. Благоденствие его родины кончилось с ним так же, как с него началось.

## Глава XXXVII
## О сходстве детей с родителями

Нагромождение множества рассуждений на самые различные темы в моих «Опытах» объясняется тем, что я берусь за перо только тогда, когда меня начинает томить слишком гнетущее безделье, и пишу только находясь у себя дома. Между тем обстоятельства вынуждают меня месяцами отлучаться из дому, и потому я пишу лишь время от времени, с большими перерывами. Однако я никогда не исправляю написанного и не ввожу в него позже явившихся мыслей, а только иногда изменяю какое-нибудь выражение, и то, чтобы придать ему другой оттенок, а не вовсе изъять его[1] [broken link: #nb37_1]. Я хочу, чтобы по моим писаниям можно было проследить развитие моих мыслей и чтобы каждую из них можно было увидеть в том виде, в каком она вышла из-под моего пера. Мне будет приятно проследить, с чего я начал и как именно изменялся. Один слуга, писавший под мою диктовку, рассчитывал поживиться богатой добычей, украв у меня несколько полюбившихся ему отрывков. Но я утешаюсь тем,

что его выгода от этого дела будет столь же мала, как и понесенный мною ущерб.

То обстоятельство, что я постарел на семь или восемь лет с того дня, когда впервые приступил к писанию своих «Опытов»[2] [broken link: #nb37_2], тоже было мне до известной степени на руку. За это время годы успели наградить меня камнями в почках. Продолжительная дружба с временем не обходится без какого-нибудь подарка в таком роде. Я хотел бы, чтобы из множества подарков, которые годы могут сделать тем, кто с ними сжился, они выбрали для меня какой-нибудь более приемлемый, ибо нет дара, которого бы я больше страшился с детских лет, чем этот; из всех докук старости, говоря откровенно, это был для меня самый страшный. Я не раз думал о себе, что слишком долго живу и что, пустившись в такой долгий путь, должен быть готов к какой-нибудь малоприятной встрече. Я прекрасно сознавал это и считал, что пора мне отправляться восвояси, что надо резать сразу, по живому телу, действуя, как хирург, когда он удаляет больному тот или иной орган. Я знал, что того, кто не сделает этого вовремя, природа, по обыкновению, заставит платить очень тяжкие проценты. Однако мои ожидания не сбылись. Мне совсем недолго при-

шлось готовиться. Прошло всего около полутора лет, как я оказался в этом незавидном положении, и вот уже сумел к нему приспособиться. Я уже примирился со своей болезнью и принял, как должное, ее приступы. Я нахожу себе и утешения и даже какие-то надежды в этой жизни. Столько людей свыкается со своими бедами, и нет столь тяжкой участи, с которой человек не примирился бы ради того, чтобы остаться в живых!

Послушайте, что говорит по этому поводу Меценат[3] [broken link: #nb37_3]:

> *Debilem facito manu,*
>
> *Debilem pede, coxa,*
>
> *Lubricos quate dentes:*
>
> *Vita dum superest, bene est.[4] [broken link: #nb37_4]*

Нелепой была попытка Тамерлана прикрыть свою чудовищную жестокость, когда он под предлогом человеколюбия приказал прикончить всех прокаженных, о которых ему стало известно, для того чтобы, как он выразился, избавить их от мучительного существования[5] [broken link: #nb37_5]. Ибо всякий из них предпочел бы быть трижды прокаженным, чем умереть.

Когда стоик Антисфен тяжело заболел, он вос-

кликнул: «Кто избавит меня от этих болей?» Диоген, пришедший его навестить, сказал ему, указав на нож: «Вот он может тотчас же избавить тебя». «Я ведь имел в виду — от болей, а не от жизни», — ответил Антисфен[6] [broken link: #nb37_6].

Чисто душевные страдания удручают меня значительно меньше, чем большинство других людей: отчасти по складу моего ума (ведь столько людей считает, что многие вещи ужасны и что от них следует избавляться ценой жизни, между тем как мне они почти безразличны), отчасти же по причине моей замкнутости и моего бесчувствия к вещам, которые не задевают меня непосредственно. Это свойство я считаю одной из лучших черт моего характера. Но подлинные физические страдания я переживаю очень остро. Это, возможно, объясняется тем, что некогда, отдаленно и смутно предвидя их, я благодаря цветущему состоянию здоровья и покою, дарованным мне милостью неба на протяжении большей части моей жизни, мысленно представлял себе физические муки до того невыносимыми, что, говоря по правде, мой страх превосходил те страдания, которые я впоследствии ощутил. Вот почему во мне все более крепнет убеждение, что большинство

наших душевных способностей, по крайней мере при том, как мы их применяем, скорее нарушают наш жизненный покой, чем способствуют ему.

Я борюсь с наихудшей болезнью, самой неожиданной по своим приступам, самой мучительной, смертельно опасной и не поддающейся лечению. Я испытал уже пять или шесть долгих и мучительных припадков ее и должен, однако, сказать, что либо я обольщаюсь, — либо и в этом состоянии все же стоит жить тому, кто сумел избавиться от страха смерти и от тех угроз, выводов и последствий, которыми морочит нас медицина. Во всяком случае самая боль не настолько остра и невыносима, чтобы человек с выдержкой должен был впасть в отчаяние и обезуметь. Меня по крайней мере мои припадки убедили в том, что им удастся — раньше мне это не давалось — полностью примирить меня со смертью и заставить с ней свыкнуться: ведь чем больше они будут меня терзать и мучить, тем меньше буду я бояться смерти. Я уже добился того, что держусь за жизнь лишь ради самой жизни, но мои припадки могут подточить и это желание; если в конце концов боли мои станут столь нестерпимыми, что окажутся не по моим силам, то, бог знает, не приведут ли они меня к противоположной,

не менее ошибочной крайности, заставив меня полюбить смерть и призывать ее к себе!

> *Summum nec metuas diem, nec optes.[7] [broken link: #nb37_7]*

Обоих этих желаний следует опасаться, но одно из них утолить гораздо легче, чем другое.

Я всегда считал неуместным предписание, повелевающее строго и непоколебимо сохранять при перенесении боли присутствие духа и держаться спокойно, презирая ее. Почему философия, которая должна заботиться о духе, а не о букве своих наставлений, занимается подобными чисто внешними вещами? Пусть она предоставит эту заботу лицедеям и тем учителям красноречия, для которых важнее всего наши жесты. Пусть она безбоязненно позволит тому, кому больно, вопить, лишь бы это не было трусостью его сердца, его нутра. Пусть эти вынужденные стоны будут для нее чем-то вроде вздохов, рыданий, вздрагиваний, бледности, которые природа сделала независимыми от нашей воли. Лишь бы не было поколеблено наше мужество, лишь бы не было отчаяния в наших речах! Пусть философия удовольствуется этим: что из того, что мы ломаем руки, если дух наш остается несломленным? Ведь

философия наставляет нас ради нас же самих, а не ради показных целей; она учит нас не казаться, а быть. Пусть она заботится о руководстве нашим разумом, который взялась обучить; пусть во время припадка она поможет нашей душе сохранить свой обычный строй, поможет ей бороться и выносить боль, не падая постыдным образом перед нею ниц; пусть заботится она о том, чтобы душа наша была возбуждена и разгорячена борьбой, а не беспомощно раздавлена болью, чтобы она оставалась способной до известной степени к общению с другими. При таких крайних обстоятельствах, как припадок, жестоко предъявлять нам столь суровые требования. При хорошей игре можно строить плохую мину. Если человеку стон приносит облегчение, пусть он стонет; если у него есть потребность двигаться, путь вертится и мечется, как ему угодно; если ему кажется, что боль как бы улетучивается (некоторые врачи утверждают, что это помогает беременным женщинам при родах) вместе с сильными воплями, или, если вопли как-то заглушают его боль, пусть кричит благим матом; незачем понуждать его к крикам, но разрешить ему это надо. Эпикур не только позволяет, но даже советует мудрецу кричать во время припадка: Pugiles etiam, cum

feriunt in iactandis caestibus, ingemiscunt, quia profundenda voce omne corpus intenditur, venitque plaga vehementior[8] [broken link: #nb37_8]. С нас хватит забот о том, как бы справиться с болью, и нечего заботиться об этих излишних предписаниях. Все это я говорю в оправдание тех, кто обычно неистовствует во время припадков этой болезни; ибо что касается меня самого, то до сего дня я переносил их с довольно большой выдержкой, и не потому, что я силюсь соблюсти какие-то внешние приличия, — я ведь не придаю им никакого значения и предоставляю себе полную свободу; но либо мои боли не были такими невыносимыми, либо у меня больше внутренней твердости, чем у многих других. Я позволяю себе и стонать и жаловаться, когда меня допекают острые, колющие боли, но не теряю самообладания, как тот, кто

> *Eiulatu, questu, gemitu, fremitibus*
> *Resonando multum flebiles voces refert.[9] [broken link: #nb37_9]*

Я испытывал себя в самый разгар боли и всегда убеждался, что способен говорить, думать и отвечать не менее здраво, чем в другие минуты, хотя и не столь последовательно, а с перерывами, поскольку меня мучает и все во мне перевора-

чивает боль. Когда окружающие считают меня совершенно сраженным и хотят меня щадить, я нередко испытываю свою выдержку и начинаю говорить о предметах, не имеющих никакого отношения к моему состоянию. Внезапным усилием воли я оказываюсь способным на все, но лишь очень ненадолго.

О, почему я не в силах уподобиться тому цицероновскому фантазеру, который, воображая, что ласкает распутницу, сумел в это время освободиться от камня, очутившегося у него на простыне[10] [broken link: #nb37_10]! Мои же камни делают меня каменно равнодушным ко всякому распутству!

В промежутках между приступами этих острейших болей, когда мой мочевой канал дает мне небольшую передышку, я сразу же оправляюсь и принимаю свой обычный вид, ибо мое душевное смятение вызвано чисто физической, телесной болью. Я, несомненно, потому так быстро прихожу в нормальное состояние, что долгими размышлениями приучил себя к перенесению подобных страданий:

*laborum*

*Nulla mihi nova nunc facies inopinaque*

*surgit;*

*Omnia praecepi atque animo mecum ante peregi.[11] [broken link: #nb37_11]*

Между тем я испытал слишком внезапный и ошеломляющий для новичка переход от совершенно безмятежного и ничем не омрачаемого состояния к самому болезненному и мучительному, какое только мог себе представить. Ведь кроме того, что это весьма опасная болезнь, ее начальная стадия протекала у меня гораздо острее и томительнее, чем обычно. Приступы повторяются у меня так часто, что вполне здоровым я себя уже никогда не чувствую. Но во всяком случае я до настоящей минуты сохраняю такое присутствие духа, что, если мне удастся удержать его надолго, я буду в гораздо лучшем положении, чем тысячи тех, кто страдает от лихорадки или от боли лишь потому, что сами себе часто внушают, будто их муки невыносимы.

Бывает ложное смирение, порождаемое высокомерием. Мы сознаемся, например, в незнании многих вещей и скромно готовы согласиться с тем, что творения природы обладают некоторыми непостижимыми для нас качествами и свойствами, причин и механизма которых мы не

в состоянии познать; но, делая это честное и добросовестное признание, мы стремимся добиться того, чтобы нам поверили тогда, когда мы скажем, что вот такие-то вещи мы понимаем. Нам не нужно вовсе далеко ходить в поисках необычайных явлений и чудес: по-моему, среди вещей, наблюдаемых нами повседневно, встречаются настолько непонятные, что они не уступят никаким чудесам. Разве не чудо, что в капле семенной жидкости, из которой мы возникли, содержатся зачатки не только нашего телесного облика, но и склонностей и задатков наших родителей? Где в этой капле жидкости умещается такое бесчисленное количество явлений?

И каков стремительный и беспорядочный ход развития этих признаков сходства, в силу которого правнук будет походить на прадеда, племянник на дядю? В Риме были трое представителей рода Лепидов, родившихся не один за другим, а в разное время, у которых один и тот же глаз был прикрыт хрящом[12] [broken link: #nb37_12]. В Фивах существовал род, у всех представителей которого была родинка в виде наконечника копья, и если у кого такой родинки не было, он считался незаконнорожденным[13] [broken link: #nb37_13]. Аристотель сообщает[14]

[broken link: #nb37_14], что у одного народа, где существовала общность жен, детей узнавали по сходству с отцами.

Возможно, что предрасположение к каменной болезни унаследовано мной от отца, так как он умер в ужасных мучениях от большого камня в мочевом пузыре. Это несчастье свалилось на него на 67-м году жизни, а до этого у него не было никаких признаков, никаких предвестий ни со стороны почек, ни со стороны каких-либо других органов. Пока с ним не стряслась эта беда, он пользовался цветущим здоровьем и болел очень редко; да и заболев, он промучился целых семь лет. Я родился за двадцать пять с лишним лет до его заболевания, когда он был в расцвете сил, и был третьим по счету из его детей. Где же таилась в течение всего этого времени склонность к этой болезни? И как могло случиться, что, когда отец мой был еще так далек от этой беды, в той ничтожной капле жидкости, в которой он меня создал, уже содержалось такое роковое свойство? Как могло оно оставаться столь скрытым, что я стал ощущать его лишь сорок пять лет спустя, и проявилось оно до сих пор только у меня, одного из всех моих братьев и сестер, родившихся от одной матери? Кто возьмется разъяснить мне

эту загадку, тому я поверю, какое бы количество чудес он ни пожелал мне растолковать, лишь бы только он не предложил мне — как это нередко делают — какое-нибудь объяснение настолько надуманное и замысловатое, что оно оказалось бы еще более странным и невероятным, чем само это явление.

Да простят мне врачи мою дерзость, но из той же роковой капли зародились и воспринятые мной ненависть и презрение к их науке; антипатия, которую я питаю к их искусству, несомненно мной унаследована. Мой отец прожил семьдесят четыре года, мой дед — шестьдесят девять, а мой прадед около восьмидесяти лет, не прибегая ни к каким медицинским средствам. Должен пояснить: все то, что не употребляется в повседневной жизни, ими считалось лекарством. Медицина складывается из примеров и из опыта, но таким же образом составилось и мое мнение о ней. Разве это не вполне достоверный и весьма убедительный опыт? Я не уверен, сумеют ли они наскрести в своих анналах троих таких же людей, как мой отец, дед и прадед, родившихся, выросших и умерших в одной и той же семье, под одним и тем же кровом, которые прожили бы столько же лет, подчиняясь их правилам. Они должны

признать, что в этом вопросе если не научные соображения, то удача — на моей стороне, а для врачей удача важнее научных соображений. Пусть не ссылаются они в доказательство своей правоты на меня, каков я сейчас; пусть не грозят мне, находящемуся в когтях болезни; это был бы чистейший обман. Бесспорно, что приведенные мной примеры из истории моей семьи красноречиво говорят в мою пользу, и врачи становятся перед ними в тупик. В человеческих делах такое постоянство редко. Прадед мой родился в 1402 году, так что все это длится в нашей семье почти двести лет (недостает лишь восемнадцати). Нет поэтому ничего удивительного, что опыт начинает нам изменять. Пусть не ссылаются на боли, во власти которых я нахожусь: разве мало тех сорока семи лет, в течение которых я не знал болезней? Если даже я стою у своего жизненного предела, все же путь мой был достаточно долог.

Мои предки не любили медицину по какому-то непонятному и бессознательному чувству. Уже один вид лекарств внушал моему отцу отвращение. Мой дядя по отцовской линии, духовное лицо, господин де Гожак, с детства отличался болезненностью, но умудрился все же при своем слабом здоровье прожить шестьдесят семь лет;

и вот, когда однажды он заболел тяжелой и длительной лихорадкой, врачи велели объявить ему, что если он не прибегнет к медицинской помощи (они называют помощью то, что часто оказывается помехой), то неминуемо умрет. Как ни напуган был этот милейший человек объявленным ему суровым приговором, но ответил: «Значит, я уже могу считать себя мертвым». Однако, по милости божьей, предсказание врачей оказалось ложным, что выяснилось весьма скоро.

Из братьев моего отца — а их было трое — только самый младший, господин де Бюссаге, который был немного моложе других, признавал врачебное искусство, думаю, потому, что ему приходилось иметь дело и с другими искусствами, — ведь он состоял советником парламента. Но результат этого признания был весьма неутешительный, ибо, будучи на вид самым крепким по сложению из братьев, он умер значительно раньше их, за исключением лишь одного брата, господина де Сен-Мишеля.

Возможно, что это врожденное отвращение к медицине я воспринял от них, но если бы это была единственная причина моего отрицательного отношения к ней, я попытался бы побороть его. Ибо все такого рода склонности, возника-

ющие в нас без участия разума, оказываются ошибочными: своего рода болезнь, с которой следует бороться. Не исключено, что у меня была эта склонность, но я еще углубил и упрочил ее своими размышлениями, которые привели меня к сложившемуся у меня мнению о ней. Я не выношу, когда отказываются принимать лекарство лишь на том основании, что вкус его неприятен; это не в моем духе, ибо я считаю, что ради здоровья стоит претерпеть всякие надрезы и прижигания, как бы мучительны они ни были.

Вместе с Эпикуром я полагаю, что надо избегать таких наслаждений, которые влекут за собой еще большие страдания, и принимать с готовностью страдания, несущие за собой несравненно большие наслаждения.

Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной. Без здоровья меркнут и гибнут радость, мудрость, знания и добродетели; достаточно противопоставить всем самым убедительным направлениям, которыми философы пытаются нас уверить в обратном,

образ, скажем, Платона: предположим, что он поражен падучей или апоплексией, и посоветуем ему призвать в данном случае на помощь свои благородные и возвышенные душевные качества. Всякий путь, ведущий к здоровью, я не решался бы назвать ни чересчур трудным, ни слишком дорого стоящим. Но у меня есть кой-какие другие соображения, побуждающие меня относиться весьма недоверчиво к товару, который нам хочет всучить медицина.

Я вовсе не утверждаю, что не существует никакого врачебного искусства. Не может быть никакого сомнения в том, что среди неисчислимого множества существующих в природе вещей есть и благотворные для нашего здоровья. Я прекрасно знаю, что есть некие целебные травы, которые увлажняют, и другие, которые сушат; что хрен обладает ветрогонным свойством, а листья кассии действуют как слабительное. Я знаю еще много разных других средств и не сомневаюсь в их действии, так же как и в том, что согреваюсь от вина или насыщаюсь бараниной: говорил же Солон[15] [broken link: #nb37_15], что, подобно другим лекарствам, еда является средством, излечивающим болезнь голода. Я не отрицаю пользы, извлекаемой нами из богатств природы,

и не сомневаюсь ни в ее могуществе, ни в том, что мы имеем полную возможность применить ее средства для наших целей. Я вижу, как щуки и ласточки прекрасно используют их. Но я не верю в измышления нашего разума, нашей науки и искусства, в которых мы не знаем ни границ, ни меры и в угоду которым поступились природой и ее предписаниями.

Подобно тому как мы называем правосудием груду первых подвернувшихся нам под руку законов, применяемых часто весьма нелепо и несправедливо, и подобно тому как те, кто смеется над этим и изобличает эту глупость, отнюдь не стремятся изобличить само это благородное занятие, а лишь хотят указать на злоупотребление священным именем правосудия и на профанацию его, — точно так же и в медицине я глубоко чту ее славное название, цели, которые она себе ставит, и те столь полезные вещи, которые она сулит человечеству, но у меня нет ни почтения, ни доверия к тому, что слывет у нас медициной.

Прежде всего опыт повелевает мне опасаться медицины, ибо на основании всего того, что мне приходилось наблюдать, я не знаю ни одного разряда людей, который так рано заболевал бы и так поздно излечивался, как тот, что находится

под врачебным присмотром. Само здоровье этих людей уродуется принудительным, предписываемым им режимом. Врачи не довольствуются тем, что прописывают нам средства лечения, но и делают здоровых людей больными для того, чтобы мы во всякое время не могли обходиться без них. Разве не видят они в неизменном и цветущем здоровье залога серьезной болезни в будущем? Я довольно часто болел и, не прибегая ни к какой врачебной помощи, убедился, что мои болезни легко переносимы (я испытал это при всякого рода болезнях) и быстротечны; я не омрачал их течения горечью врачебных предписаний. Своим здоровьем я пользовался свободно и невозбранно, не стесняя себя никакими правилами или наставлениями и руководствуясь только своими привычками и своими желаниями. Я могу болеть где бы то ни было, ибо во время болезни мне не нужно никаких других удобств, кроме тех, которыми я пользуюсь, когда здоров. Я не боюсь оставаться без врача, без аптекаря и всякой иной медицинской помощи, хотя других эти вещи пугают больше, чем сама болезнь. Увы, не могу сказать, что сами врачи показывали нам, что их наука дает им хоть какое-нибудь заметное преимущество перед нами, что они благоденствуют

не в пример нам или что они более долговечны.

Нет такого народа, который на протяжении веков не обходился бы без медицины, особенно в раннюю, то есть в самую лучшую и счастливую пору своего существования. Но и в наше время одна десятая мира живет без медицины; многие народы, не зная ее, более здоровы и более долговечны по сравнению с ними; а если взять французов, то простой народ благополучнейшим образом обходится без нее. Медицина появилась у римлян шестьсот лет спустя после основания Рима, но после того как они испытали ее действие, она была изгнана из их города по почину Катона Цензора, показавшего пример, как легко можно жить без нее: он сам прожил восемьдесят пять лет, и жена его прожила до глубокой старости — не то чтобы без «лекарств», а без врачей[16] [broken link: #nb37_16]; ибо всякое благотворно действующее на нас средство может быть названо «лекарством». По словам Плутарха[17] [broken link: #nb37_17], он поддерживал здоровье своих близких, кормя их (насколько помню) зайчатиной, подобно тому как аркадцы, по утверждению Плиния[18] [broken link: #nb37_18], излечивали все болезни коровьим молоком. А ливийцы, по словам Геродота[19] [broken link: #nb37_19], как

правило, пользовались на редкость хорошим здоровьем благодаря особому их обычаю, а именно: когда ребенку исполнялось четыре года, они прижигали ему жилки на темени и на висках, чтобы он в дальнейшем не страдал от каких-либо простуд и воспалений. А разве наши деревенские жители не употребляют при всякой болезни снадобье из самого крепкого вина, сваренного с шафраном и пряностями, которое действует с не меньшим успехом?

И говоря начистоту, разве все эти разнообразные и противоречивые предписания не клонятся в конечном счете к одной и той же цели — к тому, чтобы очистить желудок? И разве простой слуга не в состоянии применить эти средства?

Но я далее не уверен в полезности этого всеми рекомендуемого средства и не знаю, не нуждается ли наш организм в том, чтобы эти отбросы некоторое время оставались в нем, подобно тому как вино, чтобы не портиться, должно выделять осадок. Ведь нередко у здоровых людей по непонятной причине начинается рвота или понос, сопровождающиеся усиленным выведением из организма отбросов пищеварения, причем эта чистка вовсе не бывала необходимой с самого начала и не приносила никакой пользы в даль-

нейшем, а оказывалась, наоборот, вредной. Недавно я вычитал у великого Платона[20] [broken link: #nb37_20], что из трех видов движения, свойственных человеку, опаснейшими являются те, что связаны с облегчением кишечника, и потому ни один разумный человек не должен прибегать к лечению слабительными без крайней необходимости, ибо такими противодействующими средствами можно только вызвать и усилить боль. Болезни следует смягчать и излечивать разумным образом жизни; напряженная борьба между лекарствами и болезнью всегда причиняет вред, так как эта схватка происходит в нашем организме, на лекарство же нельзя полагаться, ибо оно по природе своей враждебно нашему здоровью и применение его вызвано только теми нарушениями, которые совершаются в нас. Предоставим же организм самому себе: природа, помогающая блохам и кротам, помогает и тем людям, которые терпеливо вверяются ей подобно блохам и кротам. Мы можем до хрипоты понукать нашу болезнь, — это ни на йоту не подвинет нас вперед. Таков неумолимый ход вещей в природе. Наши страхи, наше отчаяние не ускоряют, а лишь задерживают помощь природы. Болезнь должна иметь свои сроки, как и здоровье. Природа не

нарушит установленного ею порядка ради одного человека и в ущерб другим, ибо тогда воцарится беспорядок. Будем следовать ей, ради бога, будем ей подчиняться. Она ведет тех, кто следует за ней, тех же, кто сопротивляется, она тащит силком вместе с их безумием и лекарствами. Прочистите лучше мозги: это будет полезнее, чем прочистить желудок.

Одного спартанца спросили, каким образом он прожил здоровым столь долгую жизнь. «Не прибегая к медицине», — ответил он[21] [broken link: #nb37_21]. А император Адриан, умирая, неустанно повторял, что обилие лечивших его врачей погубило его[22] [broken link: #nb37_22].

Некий незадачливый борец заделался врачом. «Вот здорово! — сказал ему Диоген. — Ты прав; теперь ты будешь загонять в гроб тех, кто раньше клал тебя на обе лопатки»[23] [broken link: #nb37_23].

Счастье врачей в том, что, по выражению Никокла[24] [broken link: #nb37_24], их удача у всех на виду, а ошибки скрыты под землей, но, кроме того, они обычно искусно используют все, что только можно; если в нас есть крепкая и здоровая основа от природы или по воле случая, или еще по какой-нибудь неизвестной причине (а таких

причин несметное множество), то они вменяют это в заслугу именно себе. Если пациенту, находящемуся под присмотром врача, повезет в смысле излечения какого-нибудь недуга, врач обязательно отнесет это за счет медицины. Случайности, которые помогли излечиться мне и тысяче других людей, не прибегающих к помощи врачей, они обязательно припишут себе и будут похваляться ими перед своими больными; но, когда дело идет о плохом исходе болезни, они полностью отрицают свою вину и сваливают ее целиком на пациентов, ссылаясь на такие пустяковые причины, каких всегда можно найти великое множество: такой-то заболел из-за того, что оголил руку, такого-то погубил стук колес

*rhedarum transitus arcto*
*Vicorum*
*inflexu[25] [broken link: #nb37_25] —*

в таком-то случае всему виной открытое окно, в другом — что больной лежал на левом боку, в третьем — что больной подумал о чем-то тягостном. Словом, какого-нибудь слова, сновидения или мелька брошенного взгляда вполне достаточно, чтобы они полностью сняли с себя всякую вину. В иных случаях врачи, если им вздумается, поль-

зуются даже ухудшением в состоянии больного, действуя способами, в которых у них никогда не может быть недостатка: если болезнь от применения прописанного ими лечения обостряется, они уверяют, что без их лекарств было бы еще хуже. Выходит, что тот, чью простуду они обратили в ежедневную лихорадку, без их помощи страдал бы непрерывными приступами ее. Они не боятся плохо делать свое дело, так как и плачевный исход умеют обратить себе на пользу. У врачей несомненно есть основания требовать от больного веры в прописываемые ими средства, ибо надо действительно быть очень простодушным и податливым, чтобы довериться столь сомнительным фантазиям.

Платон вполне справедливо говорил[26] [broken link: #nb37_26], что врачам позволительно лгать сколько угодно, ибо наше выздоровление зависит от их щедрых и обманчивых посулов.

Эзоп, писатель редкого дарования, всю глубину мастерства которого способны оценить лишь немногие, бесподобно рисует нам, как деспотически врачи властвуют над своими несчастными пациентами, подавленными болезнью и страхом. Так, например, он рассказывает[27] [broken link: #nb37_27]: однажды врач спросил больного, как

подействовало на него лекарство, которое он ему прописал. «Я сильно потел от него», — ответил больной. «Это очень хорошо», — сказал по этому поводу врач. Когда некоторое время спустя врач снова спросил больного о том же, больной заявил: «У меня был сильнейший озноб, меня всего трясло». — «Это хорошо», — промолвил врач. Когда же врач в третий раз спросил больного, как он себя чувствует, последний ответил: «Я чувствую, что весь распух, как от водянки». — «Вот и прекрасно», — заявил врач. Вслед за тем к больному зашел проведать его один из близких и осведомился, как он себя чувствует. «Так хорошо, друг мой, — сказал больной, — что просто помираю от этого».

В Египте существовал более справедливый закон, по которому врач брался за лечение больного с условием, что в течение первых трех дней болезни сам больной отвечал за все, что могло с ним приключиться, по прошествии же трех дней за все отвечал уже врач; и в самом деле, какой иной смысл имело то, что покровитель врачей, Эскулап, был поражен молнией за то, что воскресил к жизни Ипполита?

*Nam pater omnipotens, aliquem indignatus ab umbris*

*Mortalem infernis ad lumina surgere vitae,*
*Ipse repertorem medicinae talis et artis*
*Fulmine Phoebigenam stygias detrusit ad undas;[28] [broken link: #nb37_28]*

а его преемники, отправляющие столько душ на тот свет, освобождены от ответственности!

Какой-то врач выхвалял перед Никоклом огромную важность врачебного искусства: «Это бесспорно, — ответил Никокл, — ведь оно может безнаказанно губить столько людей»[29] [broken link: #nb37_29].

Если бы я был на месте врачей, я окружил бы медицину священным и таинственным ореолом: врачи в свое время положили хорошее начало этому делу, но не довели его до конца. Врачи умно поступили, объявив богов и демонов родоначальниками медицины, создав особый язык и особую письменность, невзирая на философское наставление, гласящее, что безумно давать человеку благие советы на непонятном ему наречии — Ut si quis medicus imperet ut sumat:

*Terrigenam, herbigradam, domiportam, sanguine cassam.[30] [broken link: #nb37_30]*

Под стать их искусству было правило — его

придерживаются все пустые и мнимые науки, толкующие о сверхъестественном, — которое требовало, чтобы больной заранее верил им и был убежден в правильности их действий. Они твердо держатся этого правила и считают, что самый невежественный и несмышленый лекарь более полезен больному, который верит в него, чем самый опытный, но незнакомый больному врач. Даже выбор большинства их лекарств загадочен и таинствен; вроде, например, левой ноги черепахи, мочи ящерицы, испражнений слона, печени крота, крови, взятой из-под правого крыла белого голубя, а для нас, злополучных почечных больных (до того глубоко их презрение к нашей болезни!), истолченный в порошок крысиный помет; можно перечислить еще много подобных нелепостей, которые скорее смахивают на колдовские чары, чем на серьезную науку. Я не стану распространяться о приписывании несчетного количества пилюль, о выделении особых дней и праздников в году для лечебных целей, об установленных часах для сбора целебных трав и, наконец, об их противных и высокомерных манерах в обхождении с больным, над чем издевался даже Плиний. Но я хочу сказать, что они просчитались, положив врачебному искусству столь

блестящее начало и не присовокупив правила, в силу которого их совещания и консультации должны быть окружены ореолом святости и таинственности; никто из простых смертных не должен был бы иметь к ним доступа, так же как и к таинственным обрядам, посвященным Эскулапу[31] [broken link: #nb37_31]. Действительно, ввиду отсутствия такого правила их колебания, несостоятельность их доводов и предсказаний, резкость их споров между собой, проникнутых ненавистью и завистью другу к другу, — у всех на виду, и надо быть слепым, чтобы не понимать, как рискованно очутиться у них в лапах. Видел ли кто-нибудь врача, который согласился бы с назначением своего коллеги, ничего не вычеркнув или не прибавив? Они предают этим свою науку и выдают себя с головой, показывая, что больше заботятся о своей репутации и, следовательно, о своей выгоде, чем об интересах больного. Наиболее мудрым из сословия врачей был тот из них, кто в давние времена предписал, чтобы больного лечил только один врач, ибо если он не преуспеет в этом, то ущерб для врачебного искусства будет невелик, так как вина падет всего лишь на одного врача, и наоборот, если ему посчастливится, то это будет к вящей славе медицины; если же вра-

чей, лечащих больного, много, то они все роняют свою профессию, поскольку большей частью их постигают неудачи. Врачи должны были бы не увеличивать и без того огромный разброд мнений, существующий у виднейших античных представителей медицинской науки, ибо об этой разноголосице знают только книжники, и не выставлять напоказ перед народом своих нескончаемых споров и сомнений.

Приведем образчик старинных споров, которые ведутся в медицинской науке. Гиерофил считает исконной причиной болезней соки; Эрасистрат — артериальную кровь; Асклепиад — невидимые атомы, проникающие в поры нашего организма; Алкмеон усматривает причину их в избытке или, наоборот, в истощении физических сил; Диоклес — в неодинаковом значении различных элементов нашего организма и в качестве воздуха, которым мы дышим; Стратон — в нашей пище, которая слишком обильна, недоброкачественна и плохо переваривается; наконец, Гиппократ считает источником болезней населяющих тело духов. Один из доброжелателей медицины, которого врачи знают лучше, чем я[32] [broken link: #nb37_32], воскликнул по этому поводу, что медицина самая важная из наших наук, поскольку

она печется о нашем здоровье и долголетии, но, к несчастью, она же и самая недостоверная, ибо в ней множество невыясненных вопросов и все постоянно меняется. Не будет большой беды, если мы ошибемся, измеряя высоту солнца над горизонтом или напутав в дробях при каком-нибудь астрономическом подсчете; но в медицине, где речь идет о нашей жизни, неразумно отдаваться на волю борющихся между собой стихий.

До Пелопоннесской войны медицина находилась в зачаточном состоянии[33] [broken link: #nb37_33]. Гиппократ создал ей популярность. Но все установленное Гиппократом было отвергнуто Хрисиппом, а вслед за тем внук Аристотеля, Эрасистрат, опроверг все, что писал Хрисипп. На смену им пришли эмпирики, которые в отличие от древнейших врачей стали на совершенно новый путь в применении врачебного, искусства. Когда популярность эмпириков стала сходить на нет, Гиерофил ввел новый вид этого искусства, который в свою очередь раскритиковал и уничтожил Асклепиад. Вслед за тем приобрели силу медицинские воззрения Фемисона, после него — Мусы, а еще позднее — Вексия Валента, врача, известного своими услугами Мессалине[34] [broken link: #nb37_34]. Во времена Нерона зако-

нодателем в области медицины сделался Фессал, развенчавший и отменивший все, что принято было в медицине до него. Учение Фессала было опровергнуто Крином из Марселя, который вновь установил, что все медицинские предписания должны сообразоваться с движением светил, что следует есть, пить и спать в часы, угодные Луне и Меркурию. Вслед за тем очередным авторитетом в медицине стал Харин, врач из того же города Марселя. Последний отрицал не только всю старинную медицину, но и выступил против принятых на протяжении многих веков теплых ванн. Он предписывал людям купаться в холодной воде, даже зимой, и назначал им окунаться в источники при той температуре воды, которая была им свойственна. Вплоть до времен Плиния ни один римлянин еще не отваживался заниматься медицинской практикой; этим делом занимались только иностранцы и греки, подобно тому как у нас, французов, ею занимаются «латинисты», ибо, как утверждает один выдающийся врач, мы не доверяем лечению, которое нам понятно, так же как и лекарственным травам, которые мы сами собираем. Если народы отдаленных стран, из которых мы ввозили гваяковое дерево, сальсапарель и хинное дерево, имеют

лечебные средства, то мы полагаем, что они намного превосходят капусту или петрушку, так как они дороги, редки и необычны, — ибо кто посмеет отнестись с недоверием к вещам, которые прибывают из-за моря, подвергаясь опасностям столь далекого путешествия?

Все перевороты, о которых я говорил, произошли в медицине в давние времена, но с тех пор в ней произошло еще бесчисленное множество других, большей частью очень решительных и всеобъемлющих. Они продолжаются и по сей день; примером могут служить реформы, произведенные в наше время Парацельсом, Фьораванти и Аржантье[35] [broken link: #nb37_35]. Эти врачи дают больным не только иные предписания, но, как мне сообщали, совершенно меняют самую основу и принципы медицины, обвиняя в невежестве и обмане тех, кто занимался ею до них. Предоставляю вам самим решить, как должен себя чувствовать при этом несчастный пациент!

Если бы в тех случаях, когда врачи ошибаются, мы могли быть уверены, что их назначения, не помогая нам, по крайней мере не приносят нам вреда, нас утешала бы мысль, что, стремясь к лучшему, мы по крайней мере ничем не рискуем.

В одной из своих басен Эзоп рассказывает[36] [broken link: #nb37_36]: некий хозяин, купивший раба-мавра, решил, что его чернота случайного происхождения и вызвана дурным обращением прежнего хозяина. Поэтому он принялся усиленно лечить его непрерывным отмыванием и различными снадобьями, но добился только того, что мавр, нисколько не побелев, утратил свое первоначальное здоровье.

А сколько раз случается нам быть свидетелями того, как врачи обвиняют друг друга в смерти их пациентов! Мне припоминается эпидемия очень опасной болезни со смертельным исходом, которая несколько лет тому назад свирепствовала в городах моей области; когда эта буря, унесшая множество людей, улеглась, один из самых прославленных наших врачей выпустил брошюру[37] [broken link: #nb37_37], касающуюся этой болезни. В ней он пересмотрел свое отношение к кровопусканию и пришел к выводу, что применение его при этой болезни было ошибочным; он признает, что это была одна из главных причин гибели множества людей. Более того, врачи считают, что нет такого лекарства, которое не было бы в какой-то мере вредным для организма. Но если даже помогавшие нам лекар-

ства причиняют известный вред, то что сказать о тех средствах, которые нам прописываются совершенно ошибочно?

Я же считаю, что не следует заставлять глотать лекарства тех, кому оно противно, ибо в трудную минуту болезни подобное усилие опасно и вредно; я полагаю, что это слишком большое испытание для больного в момент, когда он особенно нуждается в покое. Кроме того, расценивая обстоятельства, в которых врачи обычно усматривают причину наших болезней, я нахожу их предположения весьма легковесными и неубедительными, — из чего я делаю вывод, что небольшая ошибка в прописанном ими лечении может причинить нам серьезный вред.

Но если ошибка врача — вещь опасная, то наше дело совсем дрянь, ибо врачу нелегко не впадать постоянно в ошибки. Врач должен знать очень много о самом больном, учитывая множество обстоятельств и соображений, чтобы правильно назначить лечение. Он должен знать физический склад больного, его темперамент и нрав, его склонности, его действия, даже его мысли и представления. Врач должен учитывать внешние обстоятельства, характер местности, состояние атмосферы и погоды, местоположение светил и

их влияние; он должен знать причины болезни, ее симптомы, каково было начало заболевания, как протекали критические дни болезни; в отношении лекарства он должен знать его вес, силу, происхождение, вид, способ приготовления, срок действия, и все эти элементы он должен уметь дозировать и сочетать между собой так, чтобы получилось соответствие всех частей. Как бы ни была мала его ошибка в этом деле, но если только из этого множества винтиков хотя бы один неисправен, этого достаточно, чтобы погубить нас. Одному богу известно, как трудно врачу разобраться в большинстве этих вещей! Взять хотя бы вопрос о симптомах: как ему установить главный симптом болезни, раз у каждой из них неисчислимое множество симптомов! А сколько споров ведется между врачами по поводу истолкования анализа мочи, сколько сомнений высказывается на этот счет! В противном случае были бы непонятны постоянно происходящие у нас на глазах пререкания между врачами о причинах болезни. Чем могли бы мы иначе извинить постоянные ошибки врачей, принимающих петуха за сокола? Как ни легки были перенесенные мной в жизни болезни, я не помню случая, чтобы трое врачей были согласны между собой относительно них. Я

уделяю больше внимания примерам, в какой-то мере касающимся меня. В недавнее время в Париже по решению врачей оперировали одного дворянина, у которого не оказалось никакого камня в пузыре; равным образом многие врачи, с которыми советовался один мой друг, епископ, настоятельно рекомендовали ему оперироваться, и я сам, полагаясь на врачей, со своей стороны убеждал его в этом, но когда он скончался, то при вскрытии обнаружилось, что у него были только больные почки. Врачам менее простительно ошибаться относительно этой болезни, ибо она до известной степени распознается на ощупь. Именно по этой причине хирургия представляется мне гораздо более достоверной областью медицины: она по крайней мере видит, с чем имеет дело; несравненно меньше простора для гипотез и догадок там, где у врачей нет speculum matricis[38] [broken link: #nb37_38], чтобы заглянуть в наш мозг, в наши легкие, в нашу печень.

Нельзя не относиться с недоверием к результатам, ожидаемым от того или иного лекарства: нередко лекарство должно оказать свое действие сразу на несколько угнетающих нас болезней, которые имеют какую-то необходимую связь между собой, но требуют различного лечения,

например, когда налицо жар в печени и холод в желудке. Врачи в таких случаях уверяют нас, что одни из составных частей их лекарства будут оказывать согревающее действие на желудок, другие же, наоборот, охлаждать печень, одни снадобья должны следовать прямо в почки или даже до мочевого пузыря, не оказывая своего действия нигде в другом месте, но сохраняя в целости свою силу на всем протяжении этого длинного и полного помех пути, пока они достигнут того органа, которому они в силу своих таинственных свойств призваны помочь; такое-то снадобие увлажняет легкие, другое — сушит мозг. Разве не фантазия ожидать, что, когда все эти средства будут смешаны в микстуру, каждое из них направится выполнять свои различные функции безо всякой путаницы и недоразумений? Я бы очень опасался, что они изменят или потеряют свои свойства и не окажут ожидаемого действия. Можно ли себе представить, чтобы при таком соединении в одну жидкость свойства отдельных составных частей не вступали в борьбу и не уничтожали друг друга? Уж не должны ли мы предположить, что правильное действие лекарства в конце концов зависит от некоего внешнего распорядителя, промыслу и милосердию коего вручаем мы нашу

жизнь[39] [broken link: #nb37_39]?

Подобно тому как у нас есть мастера и по шитью курток и по шитью штанов, причем заказчики только выигрывают от того, что каждый такой мастер занимается только своим делом и обучается ему в более короткий срок, чем портной, умеющий шить все решительно; и подобно тому как богатые люди, желая особенно хорошо питаться, заводят поваров, особо искусных в изготовлении овощных блюд или жаркого, ибо обычный повар не сумел бы проявить подлинной утонченности в столь разнообразных областях, — точно так же надлежит нам поступать и при нашем лечении. Правы были египтяне, заменившие врача, лечившего все болезни, врачами по разным специальностям: для каждой болезни, для каждой части тела существовали свои специалисты, и лечение от этой специализации только выигрывало, ибо было более продуманным, более изощренным[40] [broken link: #nb37_40].

Наши врачи не хотят считаться с тем, что тот, кто помогает всем, на деле не помогает никому, что они не в состоянии справляться со всем организмом в целом. Так, опасаясь прервать приступ дизентерии, чтобы не вызвать лихорадку, врачи погубили мне такого друга, который стоил всех

их, вместе взятых[41] [broken link: #nb37_41]. При лечении болезней они пользуются своими гаданиями на кофейной гуще, и, чтобы не излечить насморк в ущерб желудку, они своими смешанными, но не вяжущимися друг с другом лекарствами причиняют вред желудку и усиливают насморк.

Что касается разноречивости медицинских предписаний и их шаткости, то эти качества во врачебном искусстве проявляются еще сильней, чем в какой бы то ни было другой науке. Так, врачи говорят, что всякого рода слабительные полезны для людей, страдающих почечными коликами, так как, расширяя выводные пути, они проталкивают вперед те вещества, из которых образуются песок и камни, и несут вниз то, что начинает затвердевать и скопляться в почках. Вместе с теми они же утверждают, что всякого рода слабительные опасны для тех же больных, так как, расширяя выводные пути, они проталкивают в почки вещества, образующие песок, каковые, пользуясь этим, начинают усиленно осаждаться, так что в результате почки не в состоянии полностью освободиться от всего в них осевшего. Мало того, врачи говорят, что если случайно при этом выведении из организма

встретится какое-нибудь тело больших размеров, чем то, которое способно пройти по всем этим узким путям, чтобы выйти наружу, то это тело, приведенное в движение слабительным и оказавшись в этих узких каналах, закупоривает их, неминуемо вызывая очень мучительную смерть.

Подобная же сомнительность характерна и для указаний, которые они дают нам относительно режима. Полезно, говорят они, часто мочиться, ибо мы знаем по опыту, что в противном случае, задерживая в организме разложившиеся вещества, мы перегружаем его отбросами и элементами брожения, которые содействуют образованию камней в мочевом пузыре. Вредно, говорят они же, часто мочиться, потому что плотные осадки могут быть выведены вместе с мочой только при большом напоре, подобно тому как бурный поток чище сметает все со своего пути, нежели ручеек, медленно и тихо текущий. Они рекомендуют нам часто иметь дело с женщинами, ибо это открывает выводные пути и проталкивает песок и его осадок. Однако они же уверяют, что это вредно, так как возбуждает почки, утомляет и ослабляет их. Хорошо, говорят они, купаться в теплых источниках, так как это размягчает те места, где застаивается песок и скопляются камни,

но это же и вредно, — заявляют они, — потому что внешнее тепло содействует затвердению и окаменению скопившихся в почках веществ. Лицам, лечащимся на водах, говорят врачи, полезно мало есть вечером, чтобы вода, которую им предстоит выпить утром, оказала лучшее действие на пустой и неперегруженный желудок, но они же утверждают, что лучше мало есть за обедом, чтобы не пресекать незакончившегося еще действия выпитой воды и не обременять желудок сразу же после этой работы, перенося переваривание пищи на ночь, когда это совершается лучше, чем днем, ибо днем тело и душа заняты кипучей деятельностью[42] [broken link: #nb37_42].

Такие коленца и фокусы выкидывают врачи, колеблясь во всех своих суждениях, и все это за счет нашего здоровья.

Пусть поэтому не осуждают тех, кто при виде хаоса, царящего в медицине, предпочитает послушно следовать голосу природы и собственных влечений, сообразуясь с участью большинства людей.

Я имел возможность познакомиться во время своих путешествий почти со всеми прославленными лечебными источниками Европы и в течение последних лет стал прибегать к водо-

лечению[43] [broken link: #nb37_43], ибо считаю, что ванны оказывают целебное действие, и мы, я думаю, немало теряем от того, что перестаем пользоваться ими, как это практиковалось в старину почти у всех народов. Добавлю, что у многих и по сей день сохранился обычай ежедневно принимать ванны. Я не могу себе представить, чтобы для нас было полезно, когда поры наши закупорены и на теле образуется корка. Что же касается питья минеральной воды, то, к счастью, оно, во-первых, мне по вкусу, а во-вторых, это простой и естественный напиток, который если и не полезен, то во всяком случае не вреден, доказательством чего служит то, что минеральную воду пьет множество людей самого разного физического склада. Мне не приходилось видеть каких-либо чудодейственных и разительных последствий от водолечения, и, на основании более тщательных расспросов, чем обычно, я убедился в несостоятельности и необоснованности россказней на этот счет, распространяемых в лечебных местах и обычно принимаемых на веру (ибо люди легко обманываются, когда хотят быть обманутыми)[44] [broken link: #nb37_44]. Но во всяком случае я не видел лиц, которым водолечение повредило бы. Нельзя отрицать

— если только не быть предубежденно настроенным, — что водолечение возбуждает аппетит, содействует пищеварению и придает нам известную бодрость, если только лечащийся не приезжает на воды в слишком плохом состоянии, чего я не рекомендую делать. Водолечение не в состоянии помочь при очень тяжелом недуге, но оно может доставить облегчение при небольших нарушениях или устранить угрозу какого-нибудь неблагоприятного отклонения. Кто не приезжает на воды достаточно бодро настроенным, с желанием наслаждаться обществом людей, здесь находящихся, участвовать в прогулках, к которым весьма располагает красота мест, где обычно находятся целебные источники, тот несомненно сильно понижает полезное действие водолечения. По этой причине я до настоящего времени выбирал места с наиболее красивыми окрестностями, с наибольшими удобствами по части жилья, питания и общества; к числу их принадлежат во Франции — баньерские воды, на границе Германии и Лотарингии — пломбьерские воды, в Швейцарии — баденские источники, в Тоскане — луккские источники, в особенности так называемые «делла Вилла», которыми я пользовался чаще всего и в разное время.

Каждый народ имеет свои особые мнения насчет пользования водами, устанавливает свои законы и правила лечения ими, отличные от принятых у других народов, и все же, на мой взгляд, результаты водолечения всюду примерно одни и те же. В Германии, например, не принято пить минеральную воду, но ванны из нее принимают от всех болезней и от зари до зари плещутся в воде. В Италии девять дней пьют минеральную воду, но купаются в ней не менее месяца; при этом к питьевой минеральной воде обычно прибавляют еще другие прописанные лекарства, чтобы усилить их действие. В Италии после питья минеральной воды рекомендуют гулять для того, чтобы она лучше усвоилась, а в других местах, наоборот, предписывают лежать в постели, пока больные не выделят соответствующего количества жидкости, причем им все время прикладывают грелки к желудку и к ногам. Немцы, сидя в ванне при водолечении, ставят себе кровососные банки и делают надрезы на коже для кровопускания, между тем как у итальянцев принято обливаться из душа, то есть проведенной по узким трубочкам теплой минеральной водой в течение часа по утрам и еще раз под вечер, в течение целого месяца, причем поливается либо

голова, либо желудок, либо другая часть тела, в зависимости от того, что у них болит. Таких особенностей при водолечении несчетное множество в каждой стране; иначе говоря, оно всюду проводится на особый лад. Вот как даже в этом способе лечения — единственном, к которому я прибегаю, — царит та же разноголосица и неразбериха, что и в других областях медицины, хотя он и наименее искусственен.

Поэты высказывают то же самое мнение о медицине, облекая его в более возвышенную и изящную форму, доказательством чего могут служить следующие две эпиграммы.

Вот одна из них:

> *Alcon hesterno signum Iovis attigit. Ille,*
>
> *Quamvis marmoreus, vim patitur medici.*
>
> *Ecce hodie, iussus transferri ex aede vetusta*
>
> *Effertur, quamvis sit deus atque lapis.[45] [broken link: #nb37_45]*

А вот другая:

> *Lotus nobiscum est hilaris, coenavit et idem,*
>
> *Inventus mane est mortuus Andragoras.*

*Tam subitae mortis causam, Faustine, requiris?*

*In*
*somnis medicum viderat Hermocratem.[46]* [broken link: #nb37_46]

По этому поводу я хочу рассказать два случая.

Барон де Копен из Шалосса[47] [broken link: #nb37_47] и я имеем совместное право патроната над обширным владением у подножья наших гор, которое носит название Лаонтан. О жителях этого захолустья можно сказать то же, что и о жителях долины Ангрунь: они живут своей особой жизнью, у них свои обычаи, нравы, манера одеваться; их общественный уклад регулируется некоторыми особыми установлениями и порядками, унаследованными ими от отцов, и они подчиняются этим порядкам из уважения к их древности. Эта небольшая область с давних времен находилась в таком благоприятном положении, что ни один соседний судья не вмешивался в ее дела, ни один адвокат не призывался для совета, никогда не приглашали ни одного чужестранца для улаживания споров и никогда не видели в этой местности ни одного нищего. Не желая нарушать своего покоя, они

избегали связей и сношений с остальным миром; но все это продолжалось, по их словам, до тех пор, пока — еще на памяти отцов — один из обитателей этой области, душа которого была уязвлена благородным честолюбием, не решил для прославления своего имени вывести одного из своих детей в люди и дать ему образование. Обучив его в каком-то соседнем городке грамоте, он сделал из него в конце концов недурного сельского нотариуса. Этот нотариус, возвысившись, проникся презрением к старинным обычаям своей местности и стал внушать своим односельчанам преклонение перед соседними краями. Одному из своих земляков, которого околпачили односельчане, он посоветовал искать правосудия у судей из соседней области, затем подал подобный же совет другому, пока не совратил всех. За этой порчей нравов, рассказывают они, вскоре последовала другая, еще более роковая по своим последствиям беда, приключившаяся из-за некоего врача, который вздумал жениться на одной из их девушек и поселиться среди них. Врач этот стал прежде всего просвещать их насчет названий разных лихорадок, катаров и нарывов, насчет местоположения сердца, печени и кишок — до того времени они имели о подобных вещах

смутное представление — и вместо чеснока, с помощью которого они привыкли излечивать все болезни, даже самые серьезные и опасные, он приучил их принимать от кашля или озноба иноземные микстуры, сделав предметом торговли не только их здоровье, но и самую смерть. Они уверяют, будто лишь с этого времени стали замечать, что от вечерней сырости в голове у них появляется тяжесть, что, разгорячившись, пить воду вредно или что осенние ветры чаще вызывают простуду, чем весенние; они клянутся, что с того времени, как стали лечиться, у них открылась уйма дотоле неизвестных болезней, и они замечают, что их крепкое здоровье стало сдавать и век их стал вдвое короче. Таков первый случай, о котором я хотел рассказать.

Другой случай относится к тому периоду моей жизни, когда моя болезнь почек еще не сказалась. Прослышав, какое чудесное действие оказывает на многих козлиная кровь, которую прославляют как манну небесную, ниспосланную нам в недавние времена для сохранения человеческой жизни, и узнав, что компетентные люди говорят о ней, как о замечательном лекарстве, действующем безошибочно, я, который всегда допускал, что на меня могут свалиться те

же болезни, что и на всякого другого человека, почел за благо, находясь в полном здравии, обзавестись подобным чудом и приказал, чтобы мне вырастили козла по всем правилам этого лечения. Дело в том, что козленка надо отлучить от матери в самые знойные летние месяцы и кормить его только целебными травами и поить одним только белым вином. Я случайно вернулся домой как раз в тот день, когда его зарезали; мне пришли доложить, что мой повар нащупал у него в брюхе среди остатков пищи два или три плотных образования, ударявшихся друг о друга. Меня это заинтересовало, я решил осмотреть всю требуху и велел при себе вскрыть козлиную тушу. Когда это было сделано, то обнаружились три объемистых тела, легкие, как губки, по виду как будто полые, снаружи плотные и твердые, окрашенные в различные темные цвета; одно из них было совершенно круглое, размером с кегельный шар, остальные два были несколько меньше, еще не совсем круглые, но близкие к этому. Опросив сведущих лиц, которым приходится часто вскрывать этих животных, я узнал, что явление это было редкое и необычное. Возможно, что то были камни сродни нашим, и если это так, то мало надежды, чтобы человек, страдающий

камнями, излечился кровью животного, которое само должно было погибнуть от этой болезни. Ибо нельзя согласиться с тем, что подобная зараза не проникает в кровь и не изменяет ее обычного состава. Скорее есть основания полагать, что все, образующееся в теле, возникает при совместном участии всех его частей; действие это совокупное, хотя та или иная часть может принимать большее или меньшее участие, в зависимости от различных обстоятельств. Поэтому очень похоже на то, что все органы этого козла обладали каким-то предрасположением к образованию камней. Я заинтересовался этим опытом не из страха перед ожидающим меня будущим и не столько из-за себя самого, сколько из-за принятого в моем доме обычая — впрочем, не только у меня в доме, но и во многих других, — в силу которого женщины собирают всякого рода лекарства для оказания помощи народу; они пользуются при этом одним и тем же средством против сотни болезней, средством, не испытанным на них самих и тем не менее при благоприятном стечении обстоятельств хорошо действующим на других.

Впрочем, я уважаю врачей не в силу библейского предписания, повелевающего чтить врача по мере надобности в нем[48] [broken link: #nb37_48],

ибо этому завету противостоит изречение другого пророка, порицающее царя Асу за то, что он прибегнул к помощи врача[49] [broken link: #nb37_49]; я могу питать к ним личное уважение, так как мне приходилось встречать среди них многих почтенных людей, заслуживающих дружеского расположения. Я имею зуб не против них, а против их науки, и не особенно корю их за то, что они пользуются нашей глупостью, ибо так поступают все на свете. Многие профессии, и менее важные и более достойные, основаны исключительно на злоупотреблении доверием. Когда я заболеваю, я приглашаю врачей, если они есть под рукой, и прошу их лечить меня, и плачу им за это, как другие люди. Я предоставляю им предписывать мне тепло одеваться, если мне это более по душе, чем обратное; я предоставляю им назначать мне по их усмотрению бульон из порея или латука и пить белое вино или красное; я даю им полную свободу во всем, что не задевает моих желаний и привычек.

Я вполне согласен, что неприятные свойства лекарств — горечь и необычный вкус — вытекают из самой их сущности и врачи тут ни при чем. Ликург предписывал больным спартанцам пить вино. Почему? Потому что в здоровом состоянии

они его терпеть не могли. Точно так же некий дворянин, сосед мой, лечится вином, считая его вернейшим средством против лихорадки, но в нормальном состоянии не выносит его вкуса.

А сколько мы встречаем врачей, которые разделяют мое отношение к лекарствам, врачей, которые пренебрегают лекарствами, когда дело идет о них самих, и которые придерживаются свободного режима, совершенно обратного тому, какой они предписывают другим! Но разве это не значит открыто злоупотреблять нашей доверчивостью? Ведь их собственная жизнь и здоровье им не менее дороги, чем нам наши, и потому они не стали бы действовать вопреки своей науке, если бы сами не были убеждены в полнейшей ее несостоятельности.

Страх смерти и страх перед страданием, боязнь боли, неистовое и неодолимое желание выздороветь во что бы то ни стало — вот что полностью ослепляет нас; только явная трусость побуждает нас к доверчивости столь кроткой и податливой.

Однако страдания большинства людей значительно сильнее их веры в лекарства. Я часто слышу, как они жалуются и говорят то же, что я сейчас, но в конце концов они не выдерживают и заявляют: «Что мне остается делать?» Точно

нетерпение — более верное средство, чем терпение!

Из числа поддавшихся этой жалкой слабости найдется ли хоть один, кто не согласился бы на любой обман, кто не доверился бы первому попавшемуся шарлатану, который бесстыдно посулил бы излечить его? Вавилоняне выносили своих больных на площадь, и врачом был весь народ, всякий прохожий, который из сострадания и учтивости осведомлялся об их состоянии и давал им, смотря по своему опыту, тот или иной полезный совет[50] [broken link: #nb37_50]. Мы поступаем примерно так же. Нет такой ничтожной бабенки, знахарством и наговорами которой кто-нибудь не воспользовался бы; что до меня, то, если бы это оказалось нужным, я предпочел бы такое лекарство любому другому, потому что оно по крайней мере безвредно.

Гомер и Платон говорили о египтянах[51] [broken link: #nb37_51], что все они врачи, и то же самое следовало бы сказать о всех народах: нет человека, который не знал бы какого-нибудь верного средства и который не рискнул бы испытать его на своем ближнем, если бы тот захотел ему поверить.

Недавно, когда я находился в одном обществе,

кто-то из моих близких сообщил о неких новых пилюлях, состоящих из ста с лишним составных частей. Известие это было встречено с необычайным ликованием и надеждой: в самом деле, какая скала устоит против такой мощной батареи? Однако от почечных больных, которые испытали на себе эти пилюли, я узнал, что ни малейшая песчинка не поддалась их воздействию.

Я не могу поставить точки на моем рассуждении, пока не выскажусь по поводу уверения врачей, ссылающихся в качестве гарантии действенности прописываемых ими лекарств на имеющийся у них в этом отношении опыт. Большинство лечебных свойств — более двух третей их, как мне кажется, — зависит от неизвестных нам качеств целебных трав, от квинтэссенции, познать которую мы можем лишь путем применения их, ибо квинтэссенция есть всего-навсего лишь такое свойство, объяснения которого наш разум не в состоянии дать. Я готов согласиться с врачами, когда они утверждают, что целебные свойства того или иного снадобья для них открылись по какому-то наитию свыше (ибо чудес я никогда не оспариваю). Готов я принять и те доказательства, которые обнаруживаются благодаря частому пользованию данными вещами; так, на-

пример, мы наблюдаем, что в шерсти, в которую мы обычно одеваемся, имеется, видимо, какое-то свойство, излечивающее отмороженные места на пятках, или, например, что употребляемый нами в пищу хрен оказывает на нас послабляющее действие. Гален сообщает, что одному прокаженному удалось излечиться с помощью выпитого им вина, так как случайно в его стакан заползла гадюка.

Мы видим на этом примере правдоподобное объяснение данного случая, как и тогда, когда врачи в подтверждение действенности того или иного лекарства ссылаются на свои наблюдения над некоторыми животными. Но когда большей частью врачи заявляют, что удачно натолкнулись на тот или иной опыт, руководствуясь только случайностью, полезность таких указаний кажется мне весьма сомнительной. Я представляю себе человека, видящего вокруг себя несметное количество вещей, растений, животных, металлов. С чего ему начать свой опыт? Если по какому-нибудь поводу ему взбредет в голову обратить внимание, скажем, на рог лося — что очень мало вероятно, — то не меньше затруднений ожидает его при втором шаге на этом пути. Ему надлежит произвести выбор между столькими болезнями

и столькими различными обстоятельствами, что разум его окажется бессильным еще до того, как даже в одном случае он сможет признать свой опыт безукоризненным, еще до того, как из бесконечного множества вещей он должен будет остановить свой выбор на этом роге, из нескончаемого числа болезней — на эпилепсии, из различных темпераментов — на меланхолическом, из различных времен года — на зиме, из множества народов — на французах, из всех возрастов — на старости, из разнообразных положений небесных тел — на сочетании Сатурна и Венеры, из всех частей тела — на пальце. И так как при установлении всего этого ему пришлось бы руководствоваться не догадкой, не примерами, не божественным вдохновением, а только чистой случайностью, то это должна была бы быть какая-то особая случайность — искусственно возникшая, упорядоченная и подчиненная правилам.

И затем, когда болезнь наконец излечена, как врач может убедиться в том, что это произошло не потому, что сроки данной болезни истекли или в силу какой-нибудь случайности, или из-за чего-нибудь съеденного или выпитого больным, или из-за вещи, к которой он прикоснулся в этот

день, или же потому, что ему просто помогли бабушкины молитвы? Далее, сколько раз нужно повторить этот опыт, чтобы он мог считаться безукоризненным? Сколько раз нужно испытать цепь этих случайностей и совпадений, чтобы вывести из них закономерность?

А когда эта закономерность будет установлена, кому приписать ее? Из миллиона людей найдется не более трех, которые пожелают закрепить свой опыт. Угодно ли будет случаю натолкнуться именно на одного из них? И что, если кто-нибудь другой — и не один он, а сотни других людей — проделали прямо противоположный опыт? Может быть, вопрос до известной степени разъяснился бы для нас, если бы мы знали суждения и соображения всех людей. Но не дело, чтобы трое наблюдателей и трое ученых мужей направляли судьбы человеческого рода; для этого надо было бы, чтобы именно их человеческая природа выделила и избрала для этой цели, особым актом назначив их своими уполномоченными.

**Госпоже де Дюра[52] [broken link: #nb37_52].**

Сударыня, Вы застали меня за писанием этих строк, когда недавно явились меня проведать. Может статься, что эти мои благоглупости попа-

дут когда-нибудь в Ваши руки, и поэтому я хотел бы здесь же засвидетельствовать Вам, сколь глубоко польщенным чувствует себя их автор вниманием, которое Вы ему окажете. Вы узнаете в его писаниях тот же характер и тот же образ мыслей, с которым Вам приходилось иметь дело в беседах с ним. Если бы я смог усвоить себе в этих моих писаниях какую-нибудь другую манеру, несвойственную мне вообще, и придать им какой-то другой, более благообразный и почтенный вид, я тем не менее не пошел бы на это; ибо я требую от этих писаний только одного — чтобы они напомнили и изобразили Вам меня таким, каков я на деле. Те самые мои способности и свойства, которые Вы, сударыня, знали во мне и отмечали с гораздо большей благосклонностью, чем они того заслуживали, я хочу запечатлеть (но без всяких искажений и прикрас) в чем-то вещественном, в книге, которая может пережить меня на несколько лет или всего лишь на несколько дней и в которой Вы вновь найдете их, если захотите освежить в своей памяти, не напрягая ее: да они этого и не стоят. Я хочу, чтобы Ваши дружеские чувства ко мне питались теми же свойствами моей натуры, которые их породили. Я не желаю, чтобы мертвого меня больше любили и уважали,

чем живого.

Желание Тиберия нелепо, но тем не менее оно присуще многим: он не столько заботился о расположении современников, сколько о том, чтобы завоевать себе славу в потомстве.

Если бы я принадлежал к числу тех, кому люди могут пожелать воздать славу, то я избавил бы их от этого и попросил бы, чтобы они мне выдали ее авансом; пусть она поскорее придет ко мне и обовьется вокруг меня; пусть она даже будет покороче, но зато поплотнее; не очень долговечной, но зато ощутимой, и пусть она безвозвратно канет в вечность, когда я уже не смогу ощущать ее и внимать ее сладостному голосу.

Было бы глупо с моей стороны сейчас, когда я готовлюсь навсегда расстаться с людьми, стремиться предстать перед ними с какими-то новыми достоинствами. Я не коплю никаких таких благ, которых не смогу использовать в своей жизни. Каков бы я ни был, я хочу быть таким в жизни, а не в моих писаниях. Все мое уменье и труды были направлены на то, чтобы проявить себя в делах, и все мое обучение клонилось к тому, чтобы действовать, а не писать. Я употребил все отпущенные мне силы на то, чтобы устроить свою жизнь. Это было моим основным

занятием, моим делом. Я меньше всего являюсь сочинителем книг. Я хотел обладать достатком, чтобы удовлетворять свои насущные и основные потребности, а не для того, чтобы накоплять богатства и оставить их моим наследникам.

Кто обладает достоинствами, пусть выкажет это в своем поведении, в своих повседневных словах, в любви, в ссорах, в игре, в постели, за столом, в ведении своих дел и в своем домашнем хозяйстве. Но тем, кто сочиняет хорошие книги и ходит в рваных штанах, я бы посоветовал — если бы они пожелали меня выслушать — сначала обзавестись приличными штанами. Спросите у спартанца, предпочитает ли он быть хорошим оратором или хорошим воином. Что касается меня, то я предпочел бы быть не хорошим оратором, а хорошим поваром, если бы мне пришлось самому о себе заботиться.

О, как претило бы мне, если бы обо мне распространена была слава, что я искусный писатель, но ничтожество и глупец в других отношениях. Правда, я предпочел бы быть совершенным глупцом во всех областях, чем избрать такое жалкое применение моих способностей. Поэтому я не стремлюсь снискать себе никакого нового почета этими досужими писаниями и буду доволен уже

в том случае, если из-за них не потеряю той доброй славы, которую успел приобрести, ибо, кроме того, что это немое и мертвое мое отражение обедняло бы мой естественный облик, оно показывало бы меня не в лучшую мою пору, но когда я утратил уже свою былую жизнерадостность и безупречное здоровье и клонюсь к упадку. Я подобен остаткам вина, которые нередко отдают бочкой и имеют привкус брожения.

Разумеется, сударыня, я не решился бы так смело ворошить тайны медицины, зная, с каким уважением Вы и многие другие к ней относитесь, если бы меня не побудили к тому сами писавшие о ней. Под ними я разумею только двух латинских авторов — Плиния и Цельса. Если Вам придется когда-нибудь заглянуть в них, Вы убедитесь, что они отзываются о медицине куда резче, чем я: я лишь слегка сбиваю с нее спесь, другие же расправляются с ней совсем безжалостно. Плиний, издеваясь над измышлениями врачей[53] [broken link: #nb37_53], указывает, между прочим, на то, что, исчерпав все средства, они придумали великолепную уловку — отсылать больных, которых они зря мучили своими лекарствами и разными режимами, одних испытать на себе чудеса и обеты, других — на воды. Не

обижайтесь, сударыня, Плиний не имел в виду наших здешних источников, которые находятся под покровительством Вашего дома и насквозь «грамонтуазны»[54] [broken link: #nb37_54]. Это для них лишняя уловка, чтобы сплавить нас куда-нибудь подальше и избавиться от упреков в том, что они так мало помогли нам в исцелении наших недугов, которые они так долго лечили. Им ничего больше не остается, как попытаться нас развлечь, и с этой целью они отправляют нас для перемены климата в другие страны. На этом, сударыня, я ставлю точку. Вы мне, надеюсь, позволите вернуться к нити изложения, прерванной ради беседы с Вами.

Если не ошибаюсь, был с Периклом такой случай[55] [broken link: #nb37_55]: когда его спросили, как он себя чувствует, он ответил: «Вы можете судить по этим вещам», — и указал на амулеты, висевшие у него на шее и на руках. Этим он хотел сказать, что серьезно болен, раз дошел до того, что прибегнул к таким безнадежным средствам, позволив нацепить на себя эти штуки. Я не зарекаюсь, что могу когда-нибудь прийти к нелепому решению вверить свою жизнь и здоровье врачам; я могу поддаться такой безумной мысли и не поручусь за свою стойкость на будущее время.

Однако и тогда, если кто-нибудь спросит меня о моем самочувствии, я отвечу ему как Перикл: «Можете судить по этому», — и покажу зажатые у меня в кулаке шесть драхм опия; это будет бесспорным доказательством серьезности моей болезни. К этому времени я успею основательно свихнуться; если страх и нетерпение смогли довести меня до подобных вещей, то можно вообразить всю глубину моего душевного смятения.

Я взял на себя смелость выступить в защиту моих взглядов на медицину, в которой довольно слабо разбираюсь, чтобы до известной степени оправдать и подкрепить мое естественное отвращение к лечебным средствам нашей медицины, унаследованное мной от моих предков. Я хотел, чтобы это отвращение не казалось просто неразумной и бессмысленной антипатией, чтобы оно было несколько более обосновано. Мне хотелось также, чтобы те, кому приходится наблюдать, как я бываю непреклонен, когда меня упрашивают и убеждают во время моих болезней, знали, что дело здесь не в моем упрямстве. Равным образом мне хотелось бы исключить чье бы то ни было досадное предположение, будто я поступаю так из какого-то тщеславия; было бы весьма нелепо желать прославиться этим, ибо так же точно

поступают в случае болезни мой садовник или мой погонщик мулов. И не такой уж я спесивец и бахвал, чтобы стремиться обменять весомое, полнокровное и сладостное ощущение здоровья на такое эфемерное, воздушное и чисто духовное наслаждение, как слава. Для такого человека, как я, слава — хотя бы даже столь великая, как выпавшая на долю четырех сыновей Эмона[56] [broken link: #nb37_56], — вещь слишком дорогая, если за нее нужно заплатить тремя основательными припадками боли. Здоровье, здоровье — вот чего я хотел бы!

Я признаю, что и у защитников нашей медицины могут быть весьма серьезные, убедительные и веские соображения, и я отнюдь не отвергаю мнений, расходящихся с моими. Меня нисколько не пугает, если мои суждения противоречат суждениям других людей; и то, что эти люди придерживаются точек зрения, отличных от моей, нисколько не мешает моему общению с ними. Наоборот, в силу того что наиболее распространенным принципом в природе является разнообразие и что оно еще более свойственно человеческому духу, чем телу, — поскольку дух есть нечто более гибкое и многоликое, — мне гораздо реже приходится наталкиваться на совпадение

моих воззрений и склонностей с воззрениями и склонностями других людей. Никогда не существовало двух совершенно одинаковых мнений, точно так же как один волос не бывает вполне похож на другой и одно зерно на другое. Наиболее устойчивым свойством всех человеческих мнений является их несходство.

# КНИГА III



# Глава I
# О полезном и честном

Кому не случается сказать глупость? Беда, когда ее высказывают обдуманно.

> *Ne iste magno conatu magnas nugas dixerit.[1] [broken link: #nc1_1]*

Но в этом я не повинен. Выпаливая свои, я трачу на них не больше усилий, чем они стоят. И это их счастье. Потребуй они от меня хоть чуточку напряжения — я бы тотчас же распрощался с ними. Я покупаю и продаю их только на вес. С бумагой я беседую, как с первым встречным. Лишь бы говорилась правда. Это важнее всего. Кому не отвратительно вероломство, раз даже Тиберий[2] [broken link: #nc1_2] отказался прибегнуть к нему, хоть оно и могло доставить ему великую выгоду? Ему дали знать из Германии, что если он пожелает, то с помощью яда его избавят от Арминия[3] [broken link: #nc1_3] (из всех врагов, какие были у римлян, он был самым могущественным; это он нанес войску Вара[4] [broken link: #nc1_4] столь постыдное поражение, и он один препятствовал распространению их владычества в тех краях).

Тиберий ответил, что римский народ привык расправляться с врагами в открытую, с оружием в руках, а не тайком, прибегая к обману. Он отверг полезное ради честного. Это был, скажут мне, лицемер. Полагаю, что так: среди людей его ремесла не диво. Но признание добродетели не обесценивается в устах ее ненавистника. Тем более, что оно вынуждено у него самой истиной, и если даже он отвергает его в своем сердце, то все же прикрывается им, чтобы приукрасить себя.

Наше устройство — и общественное и личное — полно несовершенств. Но ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность. И нет во вселенной вещи, которая не занимала бы подобающего ей места. Наша сущность складывается из пагубных свойств: честолюбие, ревность, пресыщение, суеверие и отчаяние обитают в нас, и власть над нами настолько естественна, что подобие всего этого мы видим и в животных: к ним добавляется и столь противоестественный порок, как жестокость, ибо, жалея кого-нибудь, мы при виде его страданий одновременно ощущаем в себе и некое мучительно-сладостное щекотание злорадного удовольствия; его ощущают и дети;

> *Suave mari magno, turbantibus aequora ventis,*

*E terra magnum alterius spectare laborem;[5] [broken link: #nc1_5]*

и кто бы истребил бы в человеке зачатки этих качеств, тот уничтожил бы основания, на которых зиждется наша жизнь. Так и во всяком государстве существуют необходимые ему должности, не только презренные, но и порочные; порокам в нем отводится свое место, и их используют для придания прочности нашему объединению, как используют яды, чтобы сохранить наше здоровье. И если эти должности становятся извинительными, поскольку они нужны, и общественная необходимость побуждает забыть об их подлинной сущности, то поручать их следует все же более стойким и менее щепетильным гражданам, готовым пожертвовать своей честью и своей совестью, подобно тем мужам древности, которые жертвовали для блага отечества своей жизнью; нам же, более слабым, подобает брать на себя и более легкие и менее опасные роли. Общее благо требует, чтобы во имя его шли на предательство, ложь и беспощадное истребление: предоставим же эту долю людям более послушным и более гибким.

Конечно, меня часто охватывала досада, когда я видел, как судьи, стараясь вынудить у обвиняемо-

го признание, морочили его ложными надеждами на снисхождение или помилование, прибегая при этом к бесстыдному надувательству. И правосудие и Платон, поощрявший приемы этого рода, немало выиграли бы в моих глазах, предложи они способы, которые пришлись бы мне более по душе. Злобой и коварством своим такое правосудие, по-моему, подрывает себя не меньше, чем его подрывают другие. Не так давно я ответил, что едва ли мог бы предать государя ради простого смертного, ибо и простого смертного предать ради государя мне было бы крайне прискорбно. Мало того, что мне противно обманывать, — мне противно и тогда, когда обманываются во мне. Я не хочу подавать к этому ни оснований, ни повода.

В немногих случаях, когда мне доводилось в крупных и мелких разногласиях, разрывающих нас ныне на части, посредничать между нашими государями[6] [broken link: #nc1_6], я всегда старательно избегал надевать на себя маску и вводить кого бы то ни было в заблуждение. Кто набил в этом ремесле руку, тот держится возможно более скрытно и всячески притворяется, что исключительно доброжелателен и уступчив. Что до меня, то я выкладываю мое мнение сразу, без

околичностей, на свой собственный лад. Совестливый посредник и новичок, предпочитающий скорее отступиться от дела, чем от самого себя! Так бывало со мной до последнего времени, и мне настолько везло (а ведь удача здесь безусловно самое главное), что мало кто, имея сношения с враждебными станами, вызывал меньше моего подозрений и снискивал столько ласки и дружелюбия. Я всегда откровенен, а это производит благоприятное впечатление и с первого взгляда внушает доверие. Непосредственность и правдивость своевременны и уместны в любой век, каким бы он ни был. К тому же независимость тех, кто действует бескорыстно, не порождает ни особых подозрений, ни ненависти; ведь они с полным правом могут повторить ответ Гиперида[7] [broken link: #nc1_7] афинянам, жаловавшимся на резкость его речей: «Господа, незачем обсуждать, стесняюсь ли я в выражениях, но следует выяснить, говорю ли я, преследуя свою пользу и извлекая для себя выгоду». Моя независимость легко ограждала меня и от подозрений в притворстве; во-первых, я всегда проявляю твердость и не стесняюсь высказать все до конца, сколь бы дерзкими и обидными мои слова ни были, так что и за глаза я не мог бы высказать ничего худшего;

во-вторых, независимость моя всегда выступает в обличье безыскусственности и простоты. Действуя, я не добиваюсь чего-либо сверх того, ради чего я действую; я не загадываю вперед и не строю далеко идущих предположений; всякое действие преследует какую-то определенную цель, — так пусть же, если возможно, оно достигнет ее.

Кроме того, меня не обуревает ни страстная ненависть, ни страстная любовь к великим мира сего, и воля моя не зажата в тиски ни нанесенным ей оскорблением, ни чувством особой признательности. Что касается наших государей, то я почитаю их лишь как подданный и гражданин, и мое чувство к ним свободно от всякой корысти. За это я приношу себе великую благодарность. Даже общему и правому делу я привержен не более чем умеренно, и оно не порождает во мне особого пыла. Я не склонен к всепоглощающим и самозабвенным привязанностям, а также к самопожертвованию: долг справедливости отнюдь не требует от нас гнева и ненависти; это страсти, пригодные только для тех, кто не способен придерживаться своего долга, следуя велениям разума; все законные и праведные намерения по своей сущности справедливы и умеренны, в противном случае они мятежны и незаконны. Это

и позволяет мне ходить везде и всюду с высоко поднятой головой, открытым лицом и открытым сердцем.

Говоря по правде, — и я нисколько не боюсь в этом признаться, — я, не смущаясь, поставил бы при нужде одну свечу архангелу Михаилу, а другую — его дракону, как собиралась сделать одна старая женщина. За партией, отстаивающей правое дело, я пойду хоть в огонь, но только в том случае, если смогу. Пусть Монтень, если в этом будет необходимость, провалится вместе со всем остальным, но если в этом не будет необходимости и он уцелеет, я буду бесконечно благодарен судьбе, и поскольку мой долг вкладывает мне в руку веревку, я пользуюсь ею, помогая Монтеню выстоять. Разве Аттик[8] [broken link: #nc1_8], принадлежа к благонамеренной, но побежденной партии, не спасся при всеобщем крушении, среди стольких потрясений и перемен лишь благодаря своей умеренности?

Для частных лиц, каким он был, это легче, и в таком положении можно с достаточным основанием отбросить честолюбивые помыслы и не вмешиваться по собственной воле не в свое дело. Но колебаться и пребывать в нерешимости, сохранять полнейшую безучастность и безразли-

чие к смутам и междусобицам в твоем отечестве — нет, этого я не нахожу ни похвальным, ни честным. Ea non media, sed nulla via est, velut eventum exspectantium quo fortunae consilia sua applicent[9] [broken link: #nc1_9].

Такая вещь позволительна только по отношению к делам соседей: во время войны варваров с греками Гелон[10] [broken link: #nc1_10], тиран сиракузский, скрывая, кому он сочувствует, держал наготове посольство с подарками, которому повелел быть начеку и, установив, на чью сторону склоняется счастье, без промедления сойтись с победителем. Поступать так же по отношению к собственным и домашним делам, к которым невозможно отнестись безучастно и о которых нельзя не иметь суждения, было бы своего рода изменой. Но не вмешиваться в эти дела человеку, не занимающему никакой должности и не взявшему на себя поручений, которые побуждали бы его действовать, я нахожу более извинительным (и все же не прибегаю к этому извинению), чем в случае войн с чужеземцами, хотя в них по нашим законам принимают участие только желающие. Однако и те, кто полностью отдается междусобицам, могут вести себя настолько благоразумно и с такою умеренностью, что грозе придется проне-

стись над их головой, не причинив им вреда. Не было ли у нас оснований предполагать то же и в отношении покойного епископа Орлеанского, сьера де Морвилье[11] [broken link: #nc1_11]? И среди тех, кто доблестно занимается этим делом и ныне, я знаю людей, чье поведение настолько безупречно и благородно, что они должны устоять на ногах, какие бы бедствия и превратности ни обрушило на нас небо. Я считаю, что лишь королям пристало распаляться гневом на королей, и потешаюсь над теми умниками, которые с готовностью устремляются в столь неравную борьбу; с государем не затевают личной ссоры, когда открыто и смело идут против него ради своей чести и в соответствии со своим долгом; если он не любит подобного человека, он поступает лучше, он уважает его. И в особенности отстаивание законов и защита установившегося порядка содержит в себе нечто такое, что побуждает даже посягающих на него в своих целях извинять, если не чтить, его защитников.

Но не следует называть долгом — а мы это постоянно делаем — внутреннюю досаду и недовольство, порождаемые корыстью и страстями личного свойства, как нельзя называть смелостью предательское и злобное поведение. Такие

люди зовут рвением свою склонность к злобе и насилию; не сознание правоты своего дела движет ими, а корысть: они разжигают войну не потому, что она справедлива, но потому, что это — война.

Ничто не мешает поддерживать хорошие отношения с теми, кто враждует между собой, и вести себя при этом вполне порядочно; выказывайте к тому и другому дружеское расположение, пусть не совсем одинаковое, ибо оно допускает различную меру, и уж во всяком случае достаточно сдержанное и не влекущее вас в одну сторону так сильно, чтобы она могла располагать вами по своему усмотрению; и еще: довольствуйтесь скромною мерою их благосклонности и, оказавшись в мутной воде, не норовите ловить в ней рыбку.

Другой способ, а именно: предлагать всего себя и тому и другому, — столь же неразумен, сколь и бессовестен. Уверен ли тот, кому вы предаете другого, равным образом благоволящего к вам, что вы не проделаете в свою очередь того же самого с ним? Он считает вас дурным человеком и, пока слушает ваши речи, использует вас в своих видах и с помощью вашей бесчестности обделывает свои дела, ибо двуличные люди полезны тем,

что они могут дать, но надо стараться при этом, чтобы сами они получили как можно меньше.

Я не говорю одному того, чего не мог бы в свое время сказать другому, лишь слегка изменив ударение, и я сообщаю ему вещи либо несущественные, либо общеизвестные, либо такие, которые могут пойти на пользу обоим. Нет такой выгоды, ради которой я позволил бы себе обманывать их. Доверенное моему молчанию я свято храню про себя, но на хранение беру лишь самую малость; ведь беречь тайны государя, которые тебе ни к чему, докучное и тяжелое бремя. Я охотно иду на то, чтобы они доверяли мне только немногое, но безоговорочно верили всему, что бы я им ни принес. Я всегда знал больше, чем мне хотелось.

Откровенная речь, подобно вину и любви, вызывает в ответ такую же откровенность.

Филиппид, по-моему, мудро ответил царю Лисимаху[12] [broken link: #nc1_12], который спросил его: «Что из моего добра желал бы ты получить?» — «Все, что тебе будет угодно, лишь бы то не были твои тайны». Я вижу, что всякий досадует, если от него утаивают самую сущность дела, которое ему поручено, и скрывают какую-нибудь заднюю мысль. Что до меня, то я бываю

доволен, когда мне сообщают не больше того, что поручают сделать, и вовсе не жажду, чтобы моя осведомленность лишала меня права говорить и затыкала мне рот. Если я предназначен служить орудием обмана, пусть это будет, по крайней мере, без моего ведома. Я не хочу, чтобы меня принимали за усердного и исполнительного слугу, готового предать все и всех. Кто недостаточно верен себе самому, тому простительно не соблюдать верности и своему господину.

Но ведь именно государи-то и не довольствуются преданностью наполовину и пренебрегают услугами, оказываемыми в определенных границах и на определенных условиях. Этой беде ничем не поможешь; я искренно объявляю им, до каких пределов я с ними, ибо я могу быть только рабом разума, да и то это не всегда мне удается. Что до них самих, то они неправы, требуя от свободного человека такого же подчинения и такой же покорности, как от того, кого они создали и купили и чья судьба теснейшим и неразрывным образом связана с их судьбой. Законы сняли с меня тягостную заботу: они сами избрали для меня партию и дали мне господина; любая другая власть и прочие обязательства не более чем относительны и должны отступить на второй

план. Само собой разумеется, что если чувства увлекут меня в противоположную сторону, я вовсе не должен за ними последовать; воля и желания создают себе собственные законы, но наши поступки должны подчиняться общественным установлениям.

Этот мой образ действия несколько расходится с общепринятым; он не может повести к далеко идущим последствиям и непригоден на длительный срок: даже сама невинность не сумела бы, живя среди нас, обойтись без притворства и вести дела, не прибегая ко *лжи*. Вот почему общественные обязанности мне не по нраву; все, что требуется от меня моим положением, я неукоснительно выполняю, стараясь делать это по возможности неприметнее. Еще в детстве меня приневолили заниматься делами этого рода, и я неплохо справлялся с ними, постаравшись, однако, избавиться от них как можно скорее. Впоследствии я не раз избегал браться за них, соглашаясь на это лишь изредка, и никогда не стремился к ним, повернувшись спиной к честолюбию; и если я повернул спину не совсем так, как гребцы, продвигающиеся к цели своего плаванья задом, то все же я сделал это настолько, что не погряз в них, хотя обязан этим в меньшей

степени своей воле, чем благосклонной судьбе. Но существуют пути служения обществу, менее претящие мне и более соразмерные с моими возможностями, и я знаю, что, если бы судьба в свое время открыла мне эти пути ко всеобщему уважению, я пренебрег бы доводами рассудка и последовал ее зову.

Те, кто вопреки моему мнению о себе имеют обыкновение утверждать, будто то, что я в своей натуре называю искренностью, простотою и непосредственностью, на самом деле — ловкость и тонкая хитрость и что мне свойственны скорее благоразумие, чем доброта, скорее притворство, чем естественность, скорее умение удачно рассчитывать, чем удачливость, — не столько бесчестят меня, сколько оказывают мне честь. Но они, разумеется, считают меня чересчур уж хитрым, и того, кто понаблюдал бы за мной вблизи, я охотно признаю победителем, если он не вынужден будет признать, что вся их мудрость не может предложить ни одного правила, которое научило бы воссоздавать такую же естественную походку и сохранять такую же непринужденность и беспечную внешность — всегда одинаковую и невозмутимую — на дорогах столь разнообразных и извилистых; если он не

признает также, что все их старания и уловки не сумеют научить их тому же. Путь истины — единственный, и он прост; путь заботящихся о своей выгоде или делах, которые находятся на их попечении, — раздвоен, неровен, случаен. Я нередко сталкивался с поддельной, искусственной непосредственностью, силившейся — чаще всего безуспешно — выдать себя за настоящую. Уж очень напоминает она осла Эзоповой басни[13] [broken link: #nc1_13], который, подражая собаке, положил от полноты чувств передние ноги на плечи своего хозяина, но в то время как собаку вознаградили за это приветствие ласками, бедному ослу досталось в награду двойное количество палок. Id maxime quemque decet quod est cuiusque suum maxime.[14] [broken link: #nc1_14] Я не пытаюсь отказывать обману в его правах — это означало бы плохо понимать жизнь: я знаю, что он часто приносил пользу и что большинство дел человеческих существует за его счет и держится на нем. Бывают пороки, почитаемые законными; бывают хорошие или извинительные поступки, которые тем не менее незаконны.

Правосудие как таковое, естественное и всеобщее, покоится на других, более благородных основах, чем правосудие частное, национальное,

приспособленное к потребностям государственной власти: Veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus; umbra et imaginibus utimur[15] [broken link: #nc1_15], — так что мудрец Дандамис, выслушав прочитанные при нем жизнеописания Сократа, Пифагора и Диогена[16] [broken link: #nc1_16], счел их людьми великими во всех отношениях, но порабощенными своим чрезмерным преклонением перед законами; одобряя законы и следуя им, истинная добродетель утрачивает немалую долю своей изначальной твердости и неколебимости, и много дурного творится не только с их разрешения, но и по их настоянию. Ex senatusconsultis plebisque scitis scelera exercentur[17] [broken link: #nc1_17]. Я следую общепринятому между людьми языку, а он проводит различие между полезным и честным, называя иные естественные поступки, не только полезные, но и насущно необходимые, грязными и бесчестными.

Но остановимся на одном примере предательства. Два претендента на фракийское царство затеяли спор о своих правах на него. Император помешал им прибегнуть к оружию. Тогда один из них, делая вид, будто жаждет дружеского соглашения с соперником, которое может быть

достигнуто при личном свидании, пригласил его к себе на пир и, когда тот прибыл к нему, повелел схватить его и убить. Справедливость требовала от римлян, чтобы они покарали столь гнусное злодеяние, но сделать это обычным путем им мешали препятствия всякого рода, и так как тут нельзя было обойтись без войны и без риска, они не побрезговали предательством. Ради полезного они пошли на нечестное. Подходящим человеком для этого оказался некий Помпоний Флакк; прикрываясь лживыми речами и увериниями, он завлек преступника в расставленные ему силки и, вместо обещанного почета и милостей, заковал его в цепи и отослал в Рим[18] [broken link: #nc1_18]. Один предатель предал другого, что случается не так уже часто, ибо они настолько исполнены недоверия ко всему и ко всем, что поймать их при помощи применяемых ими же уловок — дело нелегкое, и мы это испытали на печальном опыте недавнего прошлого.

Пусть, кто хочет, делается Помпонием Флакком — таких, кто захотел бы сделаться им, сколько угодно. Что до меня, то и моя речь и моя честность и все остальное во мне составляют единое целое; их высшее стремление — служить обществу; я считаю это непреложным законом. Но если бы

мне приказали взять на себя обязанности судьи и заниматься разбором тяжб, я бы ответил: «Я ничего в этом не смыслю»; или обязанности начальника землекопов, роющих траншеи для войска, я бы сказал: «Я призван к более достойной роли»; равным образом, и тому, кто пожелал бы воспользоваться мною для лжи, предательства и вероломства, ожидая от меня какой-нибудь важной услуги, или для убийства и отравления неугодных ему людей, я бы сказал: «Если я кого-нибудь обокрал или ограбил, отправьте меня немедленно на галеры». Ибо честному человеку позволительно говорить в том же духе, в каком говорили лакедемоняне с нанесшим им поражение Антипатром, когда обсуждали с ним условия мира: «Ты можешь навязать нам любые, какие только ни пожелаешь, тяжелые и разорительные повинности, но навязывать постыдные и бесчестные — и не пытайся: ты зря потеряешь время»[19] [broken link: #nc1_19]. Всякий должен дать себе самому такую же клятву, какую египетским царям торжественно давали назначаемые ими судьи, а именно, что они не пойдут наперекор своей совести даже по царскому повелению[20] [broken link: #nc1_20]. Мы откровенно презираем и осуждаем поручения известного рода; кто возлагает на нас

подобные поручения, тот тем самым выносит нам приговор и, если мы способны это понять, налагает на нас тяжкий груз и оковы. Насколько общественные дела улучшаются в таких случаях благодаря вашему участию в них, настолько же ухудшаются ваши; чем лучше вы выполняете подобное поручение, тем больший ущерб наносите самому себе. И вовсе не будет внове, а порой, пожалуй, в какой-то мере и справедливо, если вас покарает за ваши услуги тот же, кто использовал вас в своих целях. Вероломство может быть иногда извинительным; но извинительно оно только тогда, когда его применяют, чтобы наказать и предать вероломство.

Известно сколько угодно предательств, которые были не только отвергнуты, но и наказаны теми, в чьих интересах они предпринимались. Кто не знает приговора Фабриция врачу Пирра[21] [broken link: #nc1_21]? Но бывало и так, что повелевший совершить предательство сам же и расправлялся с тем, кого он использовал, ибо он перестал доверять предателю и не хотел оставлять за ним столь непомерной власти и ему становились омерзительны раболепие и покорность, столь безграничные и столь подлые.

Ярополк, великий князь Русский, подкупил

одного венгерского дворянина, поручив ему предательски умертвить польского короля Болеслава или, по меньшей мере, предоставить русским возможность причинить ему какой-нибудь существенный вред. Этот дворянин, ведя себя, как подобает честному человеку, стал с еще большим усердием служить польскому королю и сделался членом его совета и одним из самых близких к нему людей. Добившись этого высокого положения, он дождался удобного случая и в отсутствие своего государя впустил русских в Вислицу, большой и богатый город, который они разграбили и сожгли дотла, перебив при этом без различия пола и возраста не только всех его обитателей, но и большое число окрестных дворян, вызванных в город предателем именно ради этого. Ярополк, утолив жажду мщения и удовлетворив гнев, который не был, впрочем, безосновательным (ибо и Болеслав нанес ему тяжкое оскорбление, сделав с ним приблизительно то же), и пресытившись плодами упомянутого предательства, увидел его ничем не прикрытую гнусность; рассмотрев его холодным и трезвым, не смущенным больше страстями взглядом, он почувствовал такие угрызения совести и такое раскаяние, что приказал выколоть глаза и отрезать язык и срамные части

тому, кто был непосредственным виновником происшедшего[22] [broken link: #nc1_22].

Антигон убедил воинов аргираспидов предать в его руки Евмена, их верховного военачальника и его противника; но едва они его выдали и он повелел его умертвить, как ему вздумалось стать вершителем божественного возмездия и покарать столь подлое преступление; отослав предателей к правителю этой провинции, он строго-настрого наказал ему погубить и истребить их любыми способами. И вышло так, что из большого числа этих воинов ни один не ступил больше на македонскую землю[23] [broken link: #nc1_23]. Чем лучше они ему послужили, тем отвратительнее в его глазах был их поступок и тем строже надлежало их наказать.

Раб, открывший убежище, где скрывался его господин Публий Сульпиций, немедленно получил свободу, как было предусмотрено в проскрипциях Суллы, но, став свободным, был тотчас же сброшен с Тарпейской скалы, что было предусмотрено законами государства[24] [broken link: #nc1_24]. Таких предателей вешали с кошельком на шее, в котором была их плата. Воздав должное частной и ограниченной справедливости, воздавали вслед за тем должное и справедливости

как таковой.

Махмуд Второй, видя в своем младшем брате возможного соперника и желая по этой причине избавиться от него — дело в их роду обычное, — воспользовался услугами одного из своих приближенных военачальников, который и удушил Махмудова брата, заставив его проглотить сразу слишком много воды. После того как с этим было покончено, Махмуд во искупление столь предательского убийства выдал убийцу матери покойного (они были братьями только по отцу); она же, в его присутствии, собственными руками вспорола убийце живот и, нащупав сердце, вырвала его еще дымящимся и трепещущим и бросила на съедение псам[25] [broken link: #nc1_25].

И наш король Хлодвиг приказал повесить троих слуг Канакра, предавших ему своего господина и ради этого подкупленных им[26] [broken link: #nc1_26].

Да и отъявленным злодеям, после того как они извлекли выгоду из какого-нибудь бесчестного поступка, бывает очень приятно пристегнуть к нему с полной уверенностью в успехе что-нибудь свидетельствующее об их справедливости и доброте и о том, что их якобы мучит совесть и они

хотят ее облегчить.

К этому нужно добавить, что сильные мира сего смотрят на исполнителей столь отвратительных злодеяний как на людей, изобличающих их в преступлении. И они стараются уничтожить их, чтобы устранить свидетелей против себя и замести, таким образом, следы своих происков.

Если при случае они все же вознаграждают вас за совершенное вами предательство, дабы общественная необходимость не была лишена этого отчаянного и крайнего средства, тот, кто делает это, не перестает считать вас — если только он сам не таков — законченным мерзавцем и висельником, и в его глазах вы еще больший предатель, чем в глазах вашей жертвы, ибо он измеряет низость вашей души по вашим рукам, а они беспрекословно ему повинуются и ни в чем не отказывают. Использует же он вас совсем так же, как пользуются отпетыми негодяями при совершении казней, — их обязанности столь же полезны, сколь малопочтенны. Подобные поручения, не говоря уже об их гнусности, растлевают и развращают совесть. Дочь Сеяна, которую римские судьи не могли наказать смертью, так как она была девственница, сначала была обесчещена палачом, дабы законы не потерпели ущерба,

и лишь после этого удавлена им[27] [broken link: #nc1_27]; не только руки его, но и его душа — рабы государственной власти, располагающей ими по своему усмотрению.

Когда Мурад Первый, желая усугубить тяжесть наказания тех из своих подданных, которые оказали поддержку его мятежному сыну, — а тот задумал не что иное, как отцеубийство, — повелел их ближайшим родственникам собственноручно совершить над ними казнь, некоторые предпочли быть несправедливо обвиненными в содействии чужому отцеубийству, чем стать орудиями убийства своих родичей[28] [broken link: #nc1_28], и я нахожу, что они поступили в высшей степени честно. И когда уже в мое время в кое-каких взятых приступом городишках мне доводилось встречать негодяев, которые, чтобы спасти свою жизнь, соглашались вешать своих друзей и товарищей, я неизменно считал, что судьба их — еще более жалкая, тех судьба тех, кого они вешали.

Рассказывают про Витовта, князя Литовского, что им некогда был издан закон, согласно которому осужденные на смерть преступники должны были самолично исполнять над собой приговор, ибо он не постигал, как это ни в чем не повинные

третьи лица могут привлекаться и понуждаться к человекоубийству[29] [broken link: #nc1_29].

Если крайние обстоятельства или какое-нибудь чрезвычайное и непредвиденное событие, угрожающее существованию государства, заставляют государя изменить своему слову и обещаниям или как-нибудь по-иному нарушить свой долг, он должен рассматривать подобную необходимость как удар бича божьего; порока тут нет, ибо он отступается от своих принципов ради общеобязательного и высшего принципа, но это, конечно, несчастье, и столь большое несчастье, что тому, кто меня спрашивал: «Что же тут поделаешь?» — я ответил: «Ничего поделать нельзя. Если он и вправду оказался зажатым в тиски этими двумя крайностями (sed videat ne quaeratur latebra periurio[30] [broken link: #nc1_30]), следовало поступить именно так, как он поступил; если он сделал это без горечи, если ему не был тягостен шаг, это верный признак того, что он не в ладах со своей совестью».

Найдись среди государей кто-нибудь с такой щепетильной совестью, что даже полное исцеление от всех зол не бы примирить его со столь отчаянным средством, то и в этом случае я не стал бы его порицать. Он не мог бы погибнуть

более извинительным и пристойным образом. Мы не всесильны; ведь так или иначе нам часто приходится препоручать наш корабль божественному промыслу, видя в нем якорь спасения. Что же более насущно необходимое может совершить государь?[31] [broken link: #nc1_31]. Разве не наименее возможное для него то, что он может сделать лишь ценою утраты доверия к его слову и за счет своей чести — а слово и честь должны быть ему, пожалуй, дороже его собственного благополучия, больше того — благополучия его подданных? И если, пребывая в полном бездействии, он попросту взовет к помощи бога, не будет ли у него оснований надеяться, что благость господня не откажется поддержать своей милостивой рукой руку праведную и чистую?

Случаи, когда государям приходится нарушать свой долг, — дурные и гибельные примеры; они представляют собою редкие и печальные исключения из наших естественных правил. Здесь надо уступать обстоятельствам, но возможно умереннее и с оглядкою; никакая личная выгода не оправдывает насилия, совершаемого нами над нашей совестью; общественная — дело другое, но и то лишь тогда, когда она вполне очевидна и очень существенна.

Тимолеон[32] [broken link: #nc1_32] смыл чудовищность совершенного им слезами, которые пролил, вспоминая о том, что убитый его рукою тиран — родной брат ему; и его совесть была справедливо смущена тем, что общественная польза могла быть достигнута лишь ценою его бесчестия. Даже сенат, освобожденный Тимолеоном от рабства, и тот не осмелился вынести окончательное решение относительно этого высокого подвига и разделился в этом вопросе на два несогласных между собой и противостоящих друг другу стана. Случилось, однако, что как раз в это время прибыли послы от сиракузцев к коринфянам с мольбой о защите и покровительстве и с просьбой направить к ним полководца, способного возвратить их городу былое величие и очистить Сицилию от различных угнетавших ее мелких тиранов, и сенат отправил туда Тимолеона. Воспользовавшись этим новым предлогом, сенат заявил, что приговор по делу Тимолеона будет вынесен в соответствии с тем, хорошо или дурно он будет вести себя, выполняя свое поручение, и что его ждет либо милость, подобающая освободителю родины, либо немилость, подобающая братоубийце. При всей несообразности такого решения его можно в известной степени

извинить ввиду опасности показанного Тимолеоном примера и важности возложенного на него дела. И сенат поступил правильно, отложив свой приговор и стремясь найти для него опору со стороны, в соображениях, не имеющих прямого касательства к самому делу. И что же! поведение Тимолеона во время этого путешествия вскоре пролило дополнительный свет на сущность его деяния — так достойно и доблестно вел он себя в любых обстоятельствах; да и удача, сопутствовавшая ему во всем, несмотря на трудности, которые ему пришлось преодолеть при выполнении своего благородного дела, была ниспослана, казалось, самими богами, сговорившимися споспешествовать его оправданию.

Цель Тимолеона, убившего брата-тирана, оправдывает его, если вообще такое деяние может быть оправдано. Но стремление увеличить государственные доходы, толкнувшее римский сенат принять то бессовестное решение, о котором я намерен сейчас рассказать, не настолько возвышенно, чтобы оправдать явную несправедливость.

Несколько городов, внеся денежный выкуп, с разрешения и по указу сената получили от Суллы свободу. Этот вопрос был подвергнут новому

обсуждению, и сенат объявил, что они должны вносить налоги по-прежнему, деньги же, выплаченные ими в качестве выкупа, не подлежат возвращению[33] [broken link: #nc1_33]. Гражданские войны преподносят нам на каждом шагу столь же отвратительные примеры коварства, ибо мы наказываем ни в чем не повинных людей только за то, что они верили нам, когда мы сами были иными, и должностное лицо налагает наказание за перемену в своих взглядах на тех, кто в этом нисколько не виноват: учитель порет ученика за его покорность, поводырь — следующего за ним по пятам слепца. Гнуснейшее подобие правосудия! И философия также не свободна от правил ложных и уязвимых. Пример, который нам приводят в доказательство того, что личная выгода может брать порой верх над данным нами словом, не кажется мне достаточно веским, несмотря на примешивающиеся сюда обстоятельства. Вас схватили разбойники и затем отпустили на волю, связав предварительно клятвою, что вы заплатите им определенную мзду; глубоко неправ тот, кто утверждает, будто порядочный человек, вырвавшись из их рук, свободен от своего слова и может не платить обещанных денег. Он никоим образом от него не свободен. То, что я пожелал

сделать, побуждаемый страхом, я обязан сделать и избавившись от него, и даже если он принудил к подобному обещанию мой язык, а не волю, я все равно должен соблюсти в точности мое слово. Что до меня, то я всегда совестился отрекаться от своего слова даже тогда, когда оно неосторожно слетало у меня с уст, опередив мысль. Иначе мы мало-помалу сведем на нет права тех, кому мы даем клятвы и обещания. Quasi vero forti viro vis possit adhiberi[34] [broken link: #nc1_34]. Личные соображения могут считаться законными и извинять нас при нарушении нами обещанного лишь в одном-единственном случае, а именно, если мы обещали что-нибудь само по себе несправедливое и постыдное, ибо права добродетели должны стоять выше прав, вытекающих из обязательств, которыми мы связали себя.

Я поместил когда-то Эпаминонда[35] [broken link: #nc1_35] в первом ряду лучших людей и не отступаюсь от этого. До чего же возвышенно понимал он свой долг, он, который ни разу не убил ни одного побежденного и обезоруженного им в схватке; который не позволял себе даже ради бесценного блага — возвращения свободы отчизне — предать смерти без соблюдения всех форм правосудия какого-нибудь тирана

или его приспешника; который считал дурным человеком того, кто, будучи даже безупречным гражданином, не щадил в пылу битвы, среди врагов, своего друга или того, с кем его связывали узы гостеприимства! Вот душа, и впрямь отлитая из драгоценного сплава! Он вносил в самые жестокие и необузданные человеческие деяния доброту и человечность, притом доведенную до такой степени утонченности, какая известна лишь самым человечным из философских учений. От природы ли была так чувствительна его душа, суровая, гордая и несгибаемая в борьбе со страданием, смертью и бедностью, или ее смягчило самовоспитание, но она стала на редкость нежною и отзывчивой. Грозный, с мечом в руке и залитый кровью, он идет в бой, сокрушая и уничтожая мощь народа, непобедимого в схватке со всеми, кроме него[36] [broken link: #nc1_36], но старательно уклоняется в сумятице и гуще жестокой битвы от встречи с другом или с тем, с кем его связывали узы гостеприимства. И он был поистине достоин повелевать на войне, ибо в самом пылу ее, в самом яром пламени, в неистовстве кровопролития способен был ощущать укоры доброго сердца. Ведь это чудо — уметь вкладывать в такие дела хотя бы малую толику справедливости, и только

самообладание Эпаминонда могло примешивать к ним кротость и снисходительность самых мягких нравов и душевную чистоту. И в то время как один полководец сказал мамертинцам[37] [broken link: #nc1_37], что статуты ни в какой мере не распространяются на вооруженных людей, а другой в разговоре с народным трибуном — что одно время для правосудия, а другое для войны[38] [broken link: #nc1_38], а третий — что звон оружия мешает ему слышать голос законов[39] [broken link: #nc1_39], Эпаминонду ничто никогда не мешало слышать голоса учтивости и безупречной любезности. Не позаимствовал ли он у своих врагов обычай совершать, идя на войну, жертвоприношения музам, дабы их прелесть и жизнерадостность смягчали присущую воину ярость и беспощадную жестокость?

Так не будем же, следуя в этом столь великому учителю и наставнику, опасаться отстаивать мысль, что есть кое-какие вещи, непозволительные даже в отношении наших врагов, и что общественные интересы отнюдь не должны требовать всего от всех в ущерб интересам частным,

> *manente memoria etiam in dissidio publicorum foederum privati iuris:[40] [broken link: #nc1_40]*

*et nulla potentia vires*

*Praestandi ne quid peccet amicus, habet;[41] [broken link: #nc1_41]*

а также, что вовсе не все может позволить себе порядочный человек, служа своему государю, или общему благу, или законам. Non enim patria praestat omnibus officiis, et ipsi conducit pios habere cives in parentes[42] [broken link: #nc1_42]. Это самое что ни на есть подходящее наставление для нашего времени; нам незачем прикрывать наши души стальными пластинами — довольно того, что ими прикрыты наши плечи, и достаточно обмакивать наши перья в чернила, незачем макать их в кровь. И если презирать дружбу, личные обстоятельства, данное тобой слово и узы родства, принося все это в жертву общественному благу и повиновению власти, означает выказывать величие души и проявлять редкостную и исключительную доблесть, то, весьма вероятно, — скажем это себе в извинение — такое величие не могло бы ужиться с душевным величием Эпаминонда.

Мне внушают глубокое отвращение яростные призывы, исходящие от некой совсем иной, лишенной всяких нравственных устоев души:

*dum tela micant, non vos pietatis imago*
*Ulla, nec adversa conspecti fronte parentes*
*Commoveant; vultus gladio turbate verendos.[43] [broken link: #nc1_43]*

Не дадим же душам от природы злобным, коварным и кровожадным прикрываться личиной разума; забудем о таком правосудии, неистовом, одержимом, и будем подражать в своих действиях тому, что более свойственно человеку. Но как, однако, различны являемые нами в разное время примеры! В одной из битв гражданской войны против Цинны некий воин Помпея[44] [broken link: #nc1_44] убил своего брата, не узнав его между врагами, и тут же от стыда и отчаяния наложил на себя руки[45] [broken link: #nc1_45]; а спустя несколько лет, во время новой гражданской войны, которую вел тот же народ, другой солдат, убив брата, потребовал от своих начальников награду за это[46] [broken link: #nc1_46].

Мерилом честности и красоты того или иного поступка мы ошибочно считаем его полезность и отсюда делаем неправильный вывод, будто всякий обязан совершать такие поступки и что полезный поступок честен для всякого:

*Omnia non pariter terum sunt omnibus*

*apta.[47] [broken link: #nc1_47]*

Обратимся к самому насущному и полезному из всего, что известно в человеческом обществе, — я имею в виду вступление в брак; но вот собор святых отцов находит, что не вступать в брак более честно, и запрещает его по этой причине наиболее почитаемому нами сословию; да и мы отдаем в табун только тех лошадей, которых считаем менее ценными.

## Глава II
## О раскаянии

Другие творят человека; я же только рассказываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлом творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по правде, совсем иною. Но дело сделано, и теперь поздно думать об этом. Штрихи моего наброска нисколько не искажают истины, хотя они все время меняются, и эти изменения необычайно разнообразны. Весь мир — это вечные качели. Все, что он в себе заключает, непрерывно качается: земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды, — и качается все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость — и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание. Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет наугад и пошатываясь, хмельной от рождения, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, каков он предо мной в то мгновение, когда занимает меня. И я не рисую его пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении, и не в движении

от возраста к возрасту или, как говорят в народе, от семилетия к семилетию, но от одного дня к другому, от минуты к минуте. Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу. Я могу вскоре перемениться, и не только непроизвольно, но и намеренно. Эти мои писания — не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а иногда и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому, но истине, как говорил Демад[1] [broken link: #nc2_1], я не противоречу никогда. Если б моя душа могла обрести устойчивость, попытки мои не были бы столь робкими и я был бы решительнее, но она все еще пребывает в учении и еще не прошла положенного ей искуса.

Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишенную всякого блеска, что, впрочем, одно и то же. Вся моральная философия может быть с таким же успехом приложена к жизни повседневной и простой, как и к жизни более содержательной и богатой событиями: у каждого человека есть все,

что свойственно всему роду людскому.

Авторы, говоря о себе, сообщают читателям только о том, что отмечает их печатью особенности и необычности; что до меня, то я первый повествую о своей сущности в целом, как о Мишеле де Монтене, а не как о филологе, поэте или юристе.

Если людям не нравится, что я слишком много говорю о себе, то мне не нравится, что они занимаются не только собой.

Но разумно ли, что при сугубо частном образе жизни я притязаю на общественную известность? И разумно ли преподносить миру, где форма и мастерство так почитаемы и всесильны, сырые и нехитрые продукты природы, и природы к тому же изрядно хилой? Сочинять книги без знаний и мастерства не означает ли то же самое, что класть крепостную стену без камней, или что-либо в этом же роде? Воображение музыканта направляется предписаниями искусства, мое — прихотью случая. Но применительно к науке, которая меня занимает, за мной, по крайней мере, то преимущество, что никогда ни один человек, знающий и понимающий свой предмет, не рассматривал его досконально, чем я — свой и в этом смысле я самый ученый человек изо всех живущих на

свете; во-вторых, никто никогда не проникал так глубоко в свою тему, никто так подробно и тщательно не исследовал всех ее частностей и существующих между ними связей и никто не достигал с большей полнотой и завершенностью цели, которую ставил себе, работая. Чтобы справиться с нею, мне потребна только правдивость; а она налицо, и притом самая искренняя и полная, какая только возможна. Я говорю правду не всегда до конца, но настолько, насколько осмеливаюсь, а с возрастом я становлюсь смелее, ибо обычай, кажется, предоставляет старикам большую свободу болтать и, не впадая в нескромность, говорить о себе. Здесь не может произойти то, что происходит, как я вижу, довольно часто, а именно, что сочинитель и его труд несоразмерны друг другу: как это человек, столь разумный в речах, написал столь нелепое сочинение? Или каким образом столь ученые сочинения вышли из-под пера человека, столь немощного в речах?

Если у кого-нибудь речь обыденна, а сочинения примечательны — это значит, что дарования его там, откуда он их заимствует, а не в нем самом. Сведущий человек не бывает равно сведущ во всем, но способный — способен во всем, даже пребывая в невежестве.

Здесь мы идем вровень и всегда в ногу — моя книга и я. В других случаях можно хвалить или, наоборот, порицать работу независимо от работника; здесь — это исключено: кто касается одной, тот касается и другого. Кто возьмется судить о работе, не зная работника, тот причинит больше ущерба себе, нежели мне; кто предварительно узнает его, тот сполна удовлетворит меня. Но я буду сверх меры счастлив, если получу общественное одобрение хотя бы только за то, что дал почувствовать мыслящим людям свое умение с толком употреблять мои знания — если таковые у меня есть, — доказал им, что я стою того, чтобы память служила мне лучше.

Прошу меня извинить за слишком частые упоминания о том, что я редко раскаиваюсь в чем бы то ни было и что моя совесть в общем довольна собой, не так, как совесть ангела или, скажем, лошади, но так, как может быть довольна собой человеческая совесть; я постоянно повторяю нижеследующие слова не как пустую формулу вежливости, а как нечто, идущее от непосредственного ощущения мною своей ничтожности: все, что я говорю, я говорю как ищущий и не ведающий, бесхитростно и с чистой душой опираясь на общераспространенные и законные верова-

ния. Я отнюдь не поучаю, я только рассказываю.

Настоящим пороком нужно считать только такой, который оскорбляет сознание человека и безоговорочно осуждается человеческим разумом, ибо его уродство и вредоносность до того очевидны, что правы, пожалуй, те, кто утверждает, будто он является порождением, в первую очередь, глупости и невежества. Трудно представить себе, чтобы, познакомившись с ним, можно было бы не возненавидеть его. Злоба чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им. Подобно тому, как язва на теле оставляет после себя рубец, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое, постоянно кровоточа, не дает нам покоя. Ибо рассудок, успокаивая другие печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего, так как она точит нас изнутри; ведь жар и озноб, порожденные лихорадкой, более ощутительны, чем действующие на нас снаружи. Я считаю пороками (впрочем, каждый из них измеряется своей меркой) не только то, что осуждается разумом и природой, но и то, что признается пороком в соответствии с представлениями людей, пусть даже ложными и ошибочными, если законы и обычай подтверждают такую оценку.

Нет, равным образом, ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу. Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующие чистой совести. Прочная, но смелая и решительная душа может, при случае, обеспечить себе спокойствие, но познать удовлетворение и удовольствие этого рода ей не дано. А это немалое наслаждение — чувствовать себя огражденным от заразы, распространяемой столь порочным веком, и говорить себе самому: «Кто заглянул бы мне в самую душу, тот и тогда не обвинил бы меня ни в несчастии и разорении кого бы то ни было, ни в мстительности и в зависти, ни в преступлении против законов, ни в жажде перемен или смуты, ни в нарушении слова; и хотя разнузданность нашего времени разрешает все это и учит этому каждого, я никогда не накладывал руку на имущество или на кошелек какого-либо француза, но всегда жил за счет своего собственного, как на войне, так и в мирное время, и никогда не пользовался ничьим трудом без должной его оплаты». Подобные свидетельства совести чрезвычайно приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, — великое

благодеяние для души.

Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, значит опираться на то, что крайне шатко и непрочно. А в наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Упаси меня бог быть порядочным человеком в духе тех описаний, которые, как я вижу, что ни день каждый сочиняет во славу самому себе. Quae fuerant vitia, mores sunt[2] [broken link: #nc2_2].

Иные мои друзья по личному ли побуждению, или вызванные на это мною, не раз принимались с полною откровенностью журить и бранить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая благородной душе кажется не только полезнее, но и приятнее прочих обязанностей, возлагаемых на нас дружбою. Я всегда встречал эти упреки с величайшей терпимостью и искреннейшей признательностью. Но, говоря по совести, я частенько обнаруживал и в их порицаниях и в их восхвалениях такое отсутствие меры, что не допустил бы, полагаю, ошибки, предпочитая впадать в ошибки, чем проявлять благоразумие на

их лад. Нашему брату, живущему частною жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках и, сопоставляя их с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя наказание. Для суда над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь мерою, предуказанной мне другими, но, давая себе волю, руководствуюсь лишь своей мерою. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим. Tuo tibi iudicio est utendum[3] [broken link: #nc2_3]. Virtutis et vitiorum grave ipsius conscientiae pondus est: qua sublata, iacent omnia[4] [broken link: #nc2_4].

Хотя и говорят, что раскаяние следует по пятам за грехом, мне кажется, что это не относится к такому греху, который предстает перед нами в гордом величии и обитает в нас, как в собствен-

ном доме. Можно отринуть и побороть пороки, которые иногда охватывают нас и к которым нас влекут страсти, но пороки, укоренившиеся и закосневшие вследствие долгой привычки в душе человека с сильной, несгибаемой волей, не допускают противодействия. Раскаяние представляет собой не что иное, как отречение от нашей собственной воли и подавление наших желаний, и оно проявляется самым различным образом. Так, оно может заставить человека сожалеть о своей былой добродетели и стойкости:

> *Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit?*
>
> *Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?[5] [broken link: #nc2_5]*

Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всем безупречна.

Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека; но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, — вот поистине вершина возможного. Ближайшая ступень к этому — быть таким же у себя дома, в своих обыденных делах и поступках, в которых мы не обязаны давать

кому-либо отчет и где свободны от искусственности и притворства. И вот Биант[6] [broken link: #nc2_6], изображая идеальный семейный уклад, говорит, что глава семьи должен быть в лоне ее по своему личному побуждению таким же, каков он вне ее из страха перед законами и людскими толками. А Юлий Друз[7] [broken link: #nc2_7] весьма достойно ответил работникам, предлагавшим за три тысячи экю переделать его дом таким образом, чтобы соседи не могли видеть, как прежде, что происходит за его стенами; он сказал: «Я не пожалею и шести тысяч, но сделайте так, чтобы всякий со всех сторон видел его насквозь». С уважением отмечают обыкновение Агесилая останавливаться во время разъездов по стране в храмах с тем, чтобы люди и самые боги наблюдали его частную жизнь[8] [broken link: #nc2_8]. Бывали люди, казавшиеся миру редкостным чудом, а между тем ни жены их, ни слуги не видели в них ничего замечательного. Лишь немногие вызывали восхищение своих близких.

Как подсказывает опыт истории, никогда не бывало пророка не только у себя дома, но и в своем отечестве. То же и в мелочах. Нижеследующий ничтожный пример воспроизводит все то, что можно было бы показать и на примерах великих.

Под небом моей Гаскони я слыву чудаком, так как сочиняю и печатаю книги. Чем дальше от своих родных мест, тем больше я значу в глазах знающих обо мне. В Гиени я покупаю у книгоиздателей, в других местах — они покупают меня. На подобных вещах и основано поведение тех, кто, живя и пребывая среди своих современников, таится от них, чтобы после своей смерти и исчезновения завоевать себе славу. Что до меня, то я не гонюсь за ней. Я жду от мира не больше того, что он мне уделил. Таким образом, мы с ним в расчете.

Иного восхищенный народ провожает с собрания до дверей его дома; но вместе с парадной одеждой он расстается и с ролью, которую только что исполнял, и падает тем ниже, чем выше был вознесен: в глубине его души все нелепо и отвратительно, и даже если в нем господствует внутренний лад, нужно обладать быстрым и трезвым умом, чтобы подметить это в его привычных и ничем не примечательных поступках, в его обыденной жизни. Добавим к тому же, что сдержанность — мрачная и угрюмая добродетель. Устремляться при осаде крепости в брешь, стоять во главе посольства, править народом — все эти поступки окружены блеском и обращают

на себя внимание всех. Но бранить, смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть и беседовать с близкими и с собою самим мягко и всегда соблюдая справедливость, не поддаваться слабости, неизменно оставаться самим собой — это вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. Жизни, протекающей в уединении, что бы ни говорили на этот счет, ведомы такие же, если только не более сложные и тягостные обязанности, какие ведомы жизни, не замыкающейся в себе. И частные лица, говорит Аристотель[9] [broken link: #nc2_9], служат добродетели с большими трудностями и более возвышенным образом, нежели те, кто занимает высокие должности. Мы готовимся к выдающимся подвигам, побуждаемые больше жаждою славы, чем своей совестью. Самый краткий путь к завоеванию славы — это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы. И доблесть Александра, явленная им на его поприще, намного уступает, по-моему, доблести, которую проявил Сократ, чье существование было скромным и неприметным. Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я представить себе не могу. Если бы кто-нибудь спросил Александра, что он

умеет делать, тот бы ответил: подчинять мир своей власти; если бы кто-нибудь обратился с тем же к Сократу, он несомненно сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с предписаниями природы, а для этого требуются более обширные, более глубокие и более полезные познания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем. Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном.

Как те, кто судит о нас, проникая в глубины нашей души, не придают слишком большого значения блеску наших поступков на общественном поприще, понимая, что это не более чем струйки и капли чистой воды, пробивающиеся наружу из топкой и илистой почвы, так и те, кто судит о нас по нашему внешнему великолепию, заключают, исходя из него, и о нашей внутренней сущности, ибо в их сознании никак не укладывается, что обычные людские свойства, такие же, как их собственные, совмещаются в нас с теми другими качествами, которые вызывают их удивление и так недостижимы для них. По этой причине мы и придаем бесам звериный облик. Кто же способен представить себе Тамерлана[10] [broken link:

#nc2_10] иначе, как с нахмуренными бровями, раздувающимися ноздрями, грозным лицом и неправдоподобно могучим станом, таким станом, каким наделяет его наше потрясенное славою этого имени воображение. И если бы кто-нибудь доставил мне в прошлом случай увидеть Эразма[11] [broken link: #nc2_11], мне было бы трудно не счесть афоризмом и апофтегмой любую фразу, с которой он обратился бы к своему лакею или экономке.

Мы гораздо легче можем представить себе восседающим на стульчаке или взгромоздившимся на жену какого-нибудь ремесленника, нежели вельможу, внушающего почтение своею осанкой и неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не снисходят до прозы обыденной жизни.

Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь побуждения извне творят добро, тогда как души глубоко добродетельные — по той же причине — зло. Таким образом, судить о них следует лишь тогда, когда они в устойчивом состоянии, когда они в ладу сами с собой, если это порой с ними случается, или, по крайней мере, когда они относительно спокойны и ближе к своей естественной непосредственности. Природ-

ные склонности развиваются и укрепляются при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя. Тысячи характеров в мое время обратились к добродетели или к пороку, хоть и были наставлены в противоположных правилах:

> *Sic ubi desuetae silvis in carcere clausae*
>
> *Mansuevere ferae, et vultus posuere minaces,*
>
> *Atque hominem didicere pati, si torrida parvus*
>
> *Venit in ora cruor, redeunt rabiesque furorque,*
>
> *Admonitaeque tument gustato sanguine fauces;*
>
> *Fervet, et a trepido vix abstinet ira magistro.[12] [broken link: #nc2_12]*

Эти врожденные свойства искоренить невозможно; их прикрывают, их прячут, но не больше. Латинский язык для меня как родной; я понимаю его лучше, чем французский, но вот уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два-три за

мою жизнь и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание, первые вырвавшиеся из глубин памяти и произнесенные мною слова были латинскими: природа сама собой пробивается наружу и выражает себя, вопреки долгой привычке. И этот пример может быть подкреплен множеством других.

Те, кто пытался с помощью новых воззрений преобразовать в мое время нравы людей, искореняют лишь чисто внешние недостатки; что же касается настоящих пороков, они их не затрагивают, если только не усиливают и не умножают, и этого усиления и умножения нужно бояться; они охотно останавливаются на достигнутом и отказываются от других улучшений, ограничиваясь упомянутыми внешними и произвольными преобразованиями, которые не многого стоят, а между тем приносят им славу; таким образом, они за сходную плату оставляют в покое другие, подлинные, врожденные, глубоко укоренившиеся пороки. Обратитесь на миг к показаниям вашего опыта; нет человека, который, если только он всматривается в себя, не открыл бы в себе некоей собственной сущности, сущности, определяющей его поведение и противоборствующей

воспитанию, а так же буре враждебных ему страстей. Что до меня, то я не ощущаю никакого сотрясения от толчка; я почти всегда пребываю на своем месте, как это свойственно громоздким и тяжеловесным телам. Если я и оказываюсь порой вне себя самого, то все же нахожусь всегда где-то поблизости. Мои порывы не уносят меня чересчур далеко. В них нет ничего чрезмерного и причудливого, и мои увлечения, таким образом, нужно считать здоровыми и полноценными.

Но что действительно заслуживает настоящего осуждения — а это касается повседневного существования всех людей, — это то, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении — шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же болезненно и преступно, как и их грех. Иные, связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки, уже не видят в нем никакого уродства. Других (я сам из их числа) порок тяготит, но это уравновешивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценою того, что грешат пакостно и трусливо. И все же можно представить себе такую несоизмеримость удовольствия и греха, что первое — это

можно сказать и относительно пользы — с полным основанием извиняет второй, и не только в том случае, когда удовольствие примешивается случайно и не имеет прямой связи с грехом, как при краже, но даже если оно неотделимо от греховного деяния, как при сближении с женщиной, когда вожделение безгранично, а порою, как говорят, и вовсе неодолимо.

Побывав недавно в Арманьяке и посетив поместье одного моего родственника, я видел там крестьянина, которого никто не называет иначе, как «вор». Он рассказывает о своей жизни следующее: родившись нищим и считая, что зарабатывать хлеб трудом своих рук — значит никогда не вырваться из нужды, он решил сделаться вором и всю молодость безнаказанно занимался этим своим ремеслом, чему немало способствовала его огромная телесная сила; он жал хлеб и срезал виноград на чужих участках, проделывая это где-нибудь вдалеке от своего дома и перетаскивая на себе такое количество краденого, что никому в голову не приходило, будто один человек способен унести на плечах все это в течение одной ночи; к тому же он старался распределять причиняемый им ущерб равномерно, так чтобы каждый в отдельности не испытывал слишком

чувствительного урона. Сейчас он уже стар и для человека его сословия весьма состоятелен, чем обязан своему прошлому промыслу, в котором признается с полною откровенностью. Чтобы вымолить у бога прощения за подобный способ наживы, он, по его словам, что ни день оказывает всевозможные благодеяния потомкам некогда обворованных им людей, дабы возместить свои былые хищения; и если он не успеет закончить эти расчеты (ибо наделить разом всех он не в силах), то возложит эту обязанность на наследников, принимая во внимание то зло, которое он причинил каждому и размеры которого известны лишь ему одному. Если судить по его рассказу, правдивому или лживому — безразлично, он сам смотрит на воровство как на дело весьма бесчестное и даже ненавидит его, однако менее, чем нужду; он раскаивается в нем как таковом, но раз уж оно было уравновешено и возмещено описанным образом, он в нем отнюдь не раскаивается. В данном случае нет той привычки, что заставляет нас слиться с пороком и приноровлять к нему даже наше мышление; здесь нет и того буйного ветра, который время от времени проносится в нашей душе, смущая и ослепляя ее и подчиняя в это мгновение власти порока.

Всему, что я делаю, я, как правило, предаюсь всем своим существом и, пустившись в путь, прохожу его до конца: у меня не бывает ни одного душевного побуждения, которое таилось бы и укрывалось от моего разума; они протекают почти всегда с согласия всех составных частей моего «я», без раздоров, без внутренних возмущений, и если они бывают достойны порицания или похвалы, то этим обязаны только моему рассудку, ибо если он был достоин порицания хоть однажды, это значит, что он достоин его всегда, так как, можно сказать, от рождения он неизменно все тот же: те же склонности, то же направление, та же сила. А что касается моих воззрений, я и теперь пребываю в той же точке, держаться которой положил себе еще в детстве.

Существуют грехи, которые увлекают нас стремительно, неодолимо, внезапно. Оставим их в стороне. Но что до других грехов, тех, в которые мы беспрестанно впадаем, о которых столько думали и говорили с другими, или грехов, связанных с особенностями нашего душевного склада, нашими занятиями и обязанностями, то я не в силах постигнуть, как это они могут столь долгое время гнездиться в чьем-либо сердце без ведома и согласия со стороны совести и разума познавшего

их человека; и мне трудно понять и представить себе раскаяние, охватывающее его, как он похваляется, в заранее предписанный для этого час[13] [broken link: #nc2_13].

Я не разделяю взгляда приверженцев Пифагора, будто люди, приближаясь к изваяниям богов, чтобы выслушать их прорицания, обретают новую душу[14] [broken link: #nc2_14], разве только он хотел этим сказать, что она неизбежно должна быть какой-то иной, новой, на время обретенной, поскольку в собственной их душе не заметно того очищения и ничем не нарушаемого покоя, которые обязательны для совершающих священнодействие.

В этом случае учение пифагорейцев утверждает нечто прямо противоположное наставлениям стоиков, требующих решительно исправлять познанные нами в себе пороки и недостатки, но запрещающих огорчаться и печалиться из-за них. Пифагорийцы — те заставляют нас думать, что они в глубине души ощущают по той же причине сильную скорбь и угрызения совести, но что касается пресечения и исправления упомянутых пороков и недостатков, а также самоусовершенствования, то об этом они не упоминают ни словом. Однако нельзя исцелиться, не избавив-

шись от болезни. Раскаяние только тогда возьмет верх над грехом, если перевесит его на чаше весов. Я считаю, что нет ни одного душевного качества, которое можно подделать с такою же легкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним: сущность его непознаваема и таинственна, внешние проявления — общепонятны и облачены в пышный наряд.

Что до меня, то, вообще говоря, я могу хотеть быть другим, могу осуждать себя в целом и не нравиться сам себе и умолять бога о полном моем преображении и о том, чтобы он простил мне природную слабость. Но все это, по-моему, я могу называть раскаянием не более, чем мое огорчение, что я не ангел и не Катон[15] [broken link: #nc2_15]. Мои поступки по-своему упорядочены и находятся в соответствии с тем, что я есть, и с моими возможностями. Делать лучше я не могу. Раскаянье, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам; тут следует говорить только о сожалении. Я могу представить себе бесчисленное множество различных характеров, более возвышенных и упорядоченных, нежели мой, однако я не исправляю благодаря этому своих прирожденных свойств, как моя рука и мой ум не становятся более мощными

оттого, что я рисую в своем воображении другую руку и другой ум, какими бы они ни были. Если бы, представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и стремясь к нему всей душой, мы ощущали раскаянье, нам пришлось бы раскаиваться в самых невинных делах и поступках, — ведь мы хорошо понимаем, что человек с более выдающимися природными данными сделал бы то же самое лучше и благороднее, и мы постоянно желали бы поступить так же. И теперь, когда я на старости лет размышляю над своим разгульным поведением в молодости, я нахожу, что, принимая во внимание свойства моей натуры, оно было, в общем, вполне упорядоченным; на большее самообуздание я не был способен. Я нисколько не льщу себе: при сходных обстоятельствах я всегда был бы таким же самым. Это отнюдь не пятно, скорее это присущий мне особый оттенок. Мне незнакомо поверхностное, умеренное и чисто внешнее раскаяние. Нужно, чтобы оно захватило меня целиком, и лишь тогда я назову его этим словом, нужно, чтобы оно переворачивало мое нутро, проникало в меня так же глубоко и пронизывало насквозь, как божье око.

Что касается переговоров, которые мне приходилось вести[16] [broken link: #nc2_16], то из-за

своего незадачливого поведения я не раз упускал благоприятные случаи. Мои советы, однако, бывали тщательно взвешены и отвечали потребностям обстоятельств: главная их черта — нужно избирать самый легкий и подходящий для себя путь. Полагаю, что на совещаниях, в которых я принимал когда-то участие, мои суждения о предметах, подвергавшихся рассмотрению, были, в соответствии с отмеченным правилом, неизменно благоразумными, — в подобных случаях я поступал бы в точности так же еще тысячу лет. Я имею в виду не нынешнее положение дел, а то, каким оно было тогда, когда я их обсуждал.

Всякий совет обладает действенностью лишь в течение определенного времени: обстоятельства и самая сущность вещей непрерывно в движении и бесконечно изменчивы. За свою жизнь я допустил несколько грубых и значительных промахов, и не потому, что у меня не хватило ума, но вследствие невезения. В предметах, которыми приходится заниматься, таятся самые невероятные неожиданности — особенно изобилует ими человеческая природа, — немые, никак не проявляющиеся черты, порою неведомые даже самим носителям их, и все это обнаруживается и пробуждается от случайных причин. Если

мой разум не смог предвосхитить и заметить их, то я нисколько не виню его в этом; круг его обязанностей строго определен; меня одолевает случай, и если он покровительствует тому образу действий, от которого я отказался, то тут ничем не поможешь; я себя не корю за это, я обвиняю мою судьбу, но не свое поведение, а это вовсе не то, что зовется раскаяньем.

Однажды Фокион подал афинянам некий совет, которому те не последовали. Между тем, вопреки его мнению, дело протекало весьма успешно для них, и кто-то сказал ему: «Ну что, Фокион, доволен ли ты, что все идет так хорошо?» «Конечно, доволен, — ответил тот, — доволен, что это случилось так, а не иначе, но я ни чуточки не раскаиваюсь в том, что советовал поступить так-то и так-то»[17] [broken link: #nc2_17]. Когда мои друзья обращаются ко мне за советом, я излагаю его свободно и четко, не останавливаясь на полуслове, как поступают в рискованных случаях почти все, дабы оградить себя от возможных упреков, если дела обернутся наперекор их рассудку; меня это нисколько не беспокоит. Ведь упрекающие будут кругом неправы, мне же не подобало отказывать им в этой услуге.

Я никоим образом не стремлюсь возлагать

вину за мои ошибки или несчастья на кого-либо, кроме себя. Ибо, по правде говоря, я редко прислушиваюсь к чужим советам — разве что подчиняясь правилам вежливости или тогда, когда я могу почерпнуть из них недостающие мне познания, а также сведения о том или ином факте. Но где требуется лишь поразмыслить, доводы со стороны могут лишь подкрепить мои собственные суждения, но чтобы они опровергли их — такого никогда не бывает. Все, что мне говорят, я выслушиваю благожелательно и учтиво, но, сколько мне помнится, вплоть до этого часа я верил только себе самому. На мой взгляд, эти высказывания — не более чем мушки и крапинки, скользящие по поверхности моей воли. Я не очень-то ценю свои мнения, но так же мало ценю и чужие. Судьба воздает мне за это полною мерой. Если я не гонюсь за советами, то еще меньше я их расточаю. Их у меня почти и не спрашивают и еще реже им доверяют, и я не знаю ни одного общественного или частного дела, которое было бы начато или доведено до конца по моему настоянию. Даже те, чьими судьбами я в некоторой мере распоряжаюсь, — и они охотнее подчиняются чьей-нибудь чужой воле, нежели моей. И поскольку о влиянии своем я пекусь

менее ревностно, чем о душевном покое, мне это гораздо приятнее: не обращая на меня внимания, люди предоставляют мне возможность жить в соответствии с моими желаниями, которые состоят в том, чтобы сосредоточиться и замкнуться в себе, и для меня великая радость пребывать в полном неведении относительно чужих дел и не чувствовать на себе обязанности устраивать их.

По своем завершении всякое дело, чем бы оно ни окончилось, перестает занимать мои мысли. Если его исход оказался печальным, меня примиряет с этим следующее соображение: он не мог быть иным, ибо таково его место в великом круговороте всего сущего и в цепи причин и следствий, о которых говорят стоики; ваше воображение, как бы вы ни старались и ни жаждали этого, не в состоянии сдвинуть с места ни одной точки, не нарушив при этом установленного порядка вещей, и это касается как прошлого, так и будущего.

И вообще, я не выношу тех приступов раскаяния, которые находят на человека с возрастом. Тот, кто заявил в древности[18] [broken link: #nc2_18], что он бесконечно благодарен годам, ибо они избавили его от сладострастия, держался на этот счет совсем иных взглядов, чем я: нико-

гда я не стану превозносить бессилие за все его мнимые благодеяния. Nec tam aversa unquam videbitur ab opere suo providentia, ut debilitas inter optima inventa sit.[19] [broken link: #nc2_19] В старости мы лишь изредка предаемся любовным утехам, и после них нас охватывает глубокое пресыщение; тут совесть, по-моему, ни при чем; горести и слабость навязывают нам трусливую и хлипкую добродетель. Мы не должны позволить естественным изменениям брать верх над нами до такой степени, чтобы от этого страдали наши умственные способности. Молодость и ее радости не могли в свое время скрыть от меня печати порока на сладострастии; так и ныне пришедшая ко мне с годами пресыщенность не может скрыть от меня печати сладострастия на пороке. И теперь, когда оно больше не властвует надо мной, я сужу о нем точно так же, как тогда, когда пребывал в его власти. Энергично и тщательно стряхивая его с себя, я нахожу, что мой разум остался таким же, каким был в беспутные дни моей юности, — разве что ослабел и померк с приближением старости; и еще я нахожу, что, если он запрещает мне предаваться чувственным наслаждениям, заботясь о моем телесном здоровье, то и прежде он делал то же, заботясь о здоровье моего духа. Зная, что

теперь он больше не борется за него, я не могу считать его более доблестным. Мои вожделения настолько немощны и безжизненны, что ему, в сущности, и не нужно обуздывать их. Чтобы справиться с ними, мне достаточно, так сказать, протянуть руку. И случись ему столкнуться с былым моим вожделением, он, опасаюсь, справился бы с ним не в пример хуже, чем раньше. Я не вижу, чтобы он занимался чем-либо таким, чем не занимался тогда, как не вижу и того, чтобы он стал проницательнее. И если это — выздоровление разума, то как же оно для нас бедственно!

До чего ничтожно лекарство, исцеляющее посредством болезни!

Эту услугу должно было бы оказывать нам не несчастье, но наш собственный ум в пору своего расцвета. Напасти и огорчения не могут принудить меня ни к чему, кроме проклятий. Они полезны лишь тем, кто не просыпается иначе, как от ударов бича. Мой разум чувствует себя гораздо непринужденнее в обстановке благополучия. Переваривать несчастья ему гораздо труднее, чем радости: в этом случае его охватывает тревога и он начинает разбрасываться. При безоблачном небе я вижу много отчетливее. Здоровье подает мне советы и более радостные и более полезные,

чем те, которые мне может подать болезнь. Я очистил и упорядочил мою жизнь, как только мог, еще в те времена, когда наслаждался всеми ее дарами. И мне было бы досадно и стыдно, если бы оказалось, что убожество и печали моего заката имеют право предпочесть себя тем замечательным дням, когда я был здоров, жизнерадостен, полон сил, и что меня нужно ценить не такого, каким я был, но такого, каким я сделался, перестав быть собой. Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, как говорит Антисфен[20] [broken link: #nc2_20], а в том, по-моему, чтобы хорошо жить. Я никогда не вынашивал в себе чудовищной мысли напялить на голову и тело того, кто, в сущности, уже мертв, — а что иное я представляю собой? — колпак и халат философа и никогда не стремился к тому, чтобы это жалкое рубище осудило и унизило самую яркую, лучшую и продолжительную часть моей жизни. Я хочу показать — и притом так, чтобы все это видели, — что всегда и везде я все тот же. Если бы мне довелось прожить еще одну жизнь, я жил бы так же, как прожил; я не жалею о прошлом и не страшусь будущего. И если я не обманываюсь, то как внутри, так и снаружи дело обстояло приблизительно одинаково. Больше

всего я благодарен своей судьбе, пожалуй, за то, что всякое изменение в состоянии моего тела происходило в подобающее для моих лет время. Я видел себя в пору первых побегов, затем цветов и плодов, теперь наступила пора увядания. И это прекрасно, ибо естественно. Я гораздо легче переношу свои боли именно потому, что в мои годы они в порядке вещей, и потому, что, страдая от них, я с еще большей признательностью вспоминаю о долгом счастье прожитой мною жизни. И моя житейская мудрость равным образом остается, возможно, на том же уровне, что и прежде; впрочем, она была гораздо решительнее, изящнее, свежее, жизнерадостнее и непосредственнее, чем нынешняя, — закоснелая, брюзгливая, тяжеловесная.

Итак, я отказываюсь от всех улучшений, зависящих от столь печальных обстоятельств и от возможных случайностей. Нужно, чтобы бог пребывал в нашем сердце.

Нужно, чтобы совесть совершенствовалась сама собой благодаря укреплению нашего разума, а не вследствие угасания наших желаний. Сладострастие как таковое не становится бесцветным и бледным, сколь бы воспаленными и затуманенными ни были созерцающие его глаза.

Следует любить воздержание само по себе и из уважения к богу, который нам заповедал его, следует любить целомудрие. Что же касается воздержания, на которое нас обрекают наши катары и которым я обязан не чему иному, как моим коликам, то это не целомудрие и не воздержание. Нельзя похваляться презрением к сладострастию и победой над ним, если не испытываешь его, если не знаешь его, и его обольщений, и его мощи, и его бесконечно завлекательной красоты. Я знал и то и другое, и кому, как не мне, говорить об этом. Но в старости, как мне кажется, наши души подвержены недугам и несовершенствам более докучным, чем в молодости. Я говорил об этом совсем молодым, но тогда меня неизменно осаживали на том основании, что я безбородый юнец. Я говорю то же самое и сейчас, когда моя сивая борода придает моим словам вес. Мы зовем мудростью беспорядочный ворох наших причуд, наше недовольство существующими порядками. Но в действительности мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие — и, как я думаю, худшие. Кроме глупой и жалкой спеси, нудной болтливости, несносных и непостижимых причуд, суеверий, смехотворной жажды богатств, когда пользоваться ими уже

невозможно, я замечаю у стариков также зависть, несправедливость и коварную злобу. Старость налагает морщины не только на наши лица, но в еще большей мере на наши умы, и что-то не видно душ — или они встречаются крайне редко, — которые, старясь, не отдавали бы плесенью и кислятиной. Все в человеке идет вместе с ним в гору и под гору.

Принимая во внимание мудрость Сократа и кое-какие обстоятельства его осуждения[21] [broken link: #nc2_21], я решаюсь предполагать, что он сам некоторым образом способствовал совершившемуся, намеренно предоставляя всему идти своим чередом, — ведь он достиг семидесяти лет и знал, что его блестящему и деятельному уму предстоит в близком будущем ослабеть, а свойственной ему проницательности — померкнуть.

Каким только метаморфозам не подвергает каждодневно старость — можно сказать, у меня на глазах — многих моих знакомых! Она — могущественная болезнь, настигающая естественно и незаметно. Нужно обладать большим запасом знаний и большою предусмотрительностью, чтобы избегнуть изъянов, которыми она нас награждает, или, по крайней мере, чтобы замедлить развитие их. Я чувствую, что, несмотря на все мои

оборонительные сооружения, она пядь за пядью оттесняет меня. Я держусь сколько могу. Но я не знаю, куда, в конце концов, она меня заведет. Во всех случаях я хочу, чтобы знали, откуда именно я упал.

## Глава III
## О трех видах общения

Негоже всегда и во всем держаться своих нравов и склонностей. Наиважнейшая из наших способностей — это умение приспосабливаться к самым различным обычаям. Неуклонно придерживаться по собственной воле или в силу необходимости одного и того же образа жизни — означает существовать, но не жить. Лучшие души — те, в которых больше гибкости и разнообразия.

Вот поистине лестный отзыв о Катоне Старшем: Huic versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut natum ad id unum diceres, quodcumque ageret[1] [broken link: #nc3_1].

Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы, — как бы прекрасна она ни была, — в которую я желал бы втиснуться, с тем чтобы никогда уже с нею не расставаться. Жизнь — это неровное, неправильное и многообразное движение. Неукоснительно следовать своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступаться от них или подчинять

их своей воле, означает не быть самому себе другом, а тем более господином; это значит быть рабом самого себя. Я сейчас вспомнил об этом, потому что мне не так-то легко отделаться от одного несносного свойства моей души: обыкновенно ее захватывает только то, что для нее трудно и хлопотно, и лишь этому она предается с горячностью и целиком. Сколь бы несложен ни был предмет, которым ей предстоит заниматься, она охотно усложняет его и придает ему такое значение, что ей приходится тратить на него все свои силы. По этой причине ее незанятость для меня крайне мучительна и вредно отзывается на моем здоровье. Большинству умов, чтобы встрепенуться и ожить, нужны новые впечатления; моему, однако, они больше нужны для того, чтобы прийти в себя и успокоиться, vitia otii negotio discutienda sunt[2] [broken link: #nc3_2], ибо его главнейшее и наиболее ревностное занятие — самопознание. Книги для него своего рода отдых, отвлекающий его от этого всепоглощающего дела. Первые же явившиеся ему мысли сразу возбуждают его, он стремится самым различным образом проявить свою мощь: он старается блеснуть то остротой, то строгостью, то изяществом; он сдерживает, соразмеряет и укрепляет себя. В себе самом обретает

он побуждения к деятельности. Природа дала ему, как и всем, достаточно поводов к полезным раздумьям и широкий простор для открытий и рассуждений.

Для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный способ самопознания; я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром.

Нет занятия более пустого и, вместе с тем, более сложного, чем беседовать со своими мыслями, — все зависит от того, какова беседующая душа. Самые великие души делают это занятие своим ремеслом — quibus vivere est cogitare[3] [broken link: #nc3_3]. Природа настолько покровительствует этой нашей особенности, что нет ничего, чем могли бы мы заниматься более длительно, и нет дела, которому отдавались бы с большим постоянством и большей готовностью. «В этом, — говорит Аристотель[4] [broken link: #nc3_4], — и состоит труд богов, созидающий и их счастье и наше». Чтение служит мне лишь для того, чтобы, расширяя мой кругозор, будить мою мысль, чтобы загружать мой ум, а не память.

Лишь немногие беседы увлекают меня и не

требуют от меня напряжения и усилий. Правда, прелесть и красота захватывают и занимают меня не меньше, если не больше, чем значительность и глубина. И поскольку все прочие разговоры нагоняют на меня сон и я уделяю им лишь оболочку моего внимания, со мной нередко случается, что, присутствуя при подобном обмене словами, тягучем и вялом, поддерживаемом только ради приличия, я говорю или выпаливаю в ответ такой вздор и такие смешные глупости, которые не пристали бы даже детям, или упорно храню молчание, обнаруживая еще большую неловкость и нелюбезность. Часто я погружаюсь в мечтательность и углубляюсь в свои мысли; кроме того, мне свойственно непроходимое и совершенно ребяческое невежество во многих обыденных и общеизвестных вещах. По причине этих двух моих качеств я добился того, что обо мне могут рассказывать по меньшей мере пять или шесть забавных историй, выставляющих меня самым нелепым дурнем на свете.

Итак, возвращаясь к избранной мною теме, должен сказать, что эта неподатливость и негибкость моего душевного склада заставляет меня быть разборчивым по отношению к людям — мне приходится как бы просеивать их через

сито — и делает меня малопригодным для дел, выполняемых сообща. Мы живем среди людей и вступаем с ними в разные отношения; если их повадки несносны для нас, если мы гнушаемся соприкасаться с душами низменными и пошлыми — а низменные и пошлые души часто бывают такими же упорядоченными, как самые утонченные (никчемна мудрость, не умеющая приноровиться к всеобщей глупости), — то нам нечего вмешиваться ни в наши собственные, ни в чужие дела: ведь и частные и общественные дела вершатся именно такими людьми. Самые прекрасные движения нашей души — это наименее напряженные и наиболее естественные ее движения. Господи боже! Сколь драгоценна помощь благоразумия для того, чьи желания и возможности оно приводит в соответствие между собой! Нет науки полезнее этой! «По мере сил» было излюбленным выражением и присловьем Сократа[5] [broken link: #nc3_5], и это его выражение исполнено глубочайшего смысла. Нужно устремлять наши желания на вещи легко доступные и находящиеся у нас под рукой и нужно уметь останавливаться на этом. Разве не глупая блажь с моей стороны чуждаться тысячи людей, с которыми меня связала судьба, без которых

я не могу обойтись, и тянуться к одному, двум, пребывающим вне моего круга, или, больше того, упрямо жаждать какой-нибудь вещи, заведомо для меня недосягаемой. От природы я мягок, чужд всякой резкости и заносчивости, и это легко может избавить меня от зависти и враждебности окружающих — ведь никто никогда не заслуживал в большей мере, чем я, не скажу быть любимым, но хотя бы не быть ненавидимым. Однако свойственная мне холодность в обращении не без основания лишила меня благосклонности некоторых, превратно и в худшую сторону истолковавших эту мою черту, что, впрочем, для них извинительно.

А между тем я бесспорно обладаю способностью завязывать и поддерживать на редкость возвышенную и чистую дружбу. Так как я жадно хватаюсь за пришедшиеся мне по вкусу знакомства, оживляюсь, горячо набрасываюсь на них, мне легко удается сближаться с привлекательными для меня людьми и производить на них впечатление, если я того захочу. Я не раз испытывал эту свою способность и добивался успеха. Что касается обыкновенных приятельских отношений, то тут я несколько сух и холоден, ибо я утрачиваю естественность и сникаю, когда не

лечу на всех парусах; к тому же судьба, обласкав меня в молодости дружбой неповторимой и совершенной и избаловав ее сладостью[6] [broken link: #nc3_6], и в самом деле отбила у меня вкус ко всем остальным ее разновидностям, прочно запечатлев в сознании, что настоящая дружба, как сказал один древний[7] [broken link: #nc3_7], — это «животное одинокое, вроде вепря, но отнюдь не стадное». Кроме того, мне по натуре претит общаться с кем бы то ни было, все время сдерживая себя, как претит и рабское, вечно настороженное благоразумие, которое нам велят соблюдать в разговорах с нашими полудрузьями или приятелями, и велят нам это особенно настоятельно в наше время, когда об иных вещах можно говорить не иначе, как с опасностью для себя или неискренне.

При всем том я очень хорошо понимаю, что каждому, считающему, подобно мне, своею конечною целью наслаждение жизненными благами (я разумею лишь основные жизненные блага), нужно бежать, как от чумы, от всех этих сложностей и тонкостей своенравной души. Я готов всячески превозносить того, чья душа состоит как бы из нескольких этажей, способна напрягаться и расслабляться, чувствует себя одинаково

хорошо, куда бы судьба ее ни забросила, того, кто умеет поддерживать разговор с соседом о его постройке, охоте или тяжбе, оживленно беседовать с плотником и садовником; я завидую тем, кто умеет подойти к последнему из своих подчиненных и должным образом разговаривать с ним.

И я никоим образом не одобряю совета Платона[8] [broken link: #nc3_8], предписывающего нам обращаться к слугам неизменно повелительным тоном, не разрешая себе ни шутки, ни непринужденности в обращении, как с мужчинами, так и с женщинами.

Ибо, кроме того, о чем я говорил выше, бесчеловечно и крайне несправедливо придавать столь большое значение несущественному, даруемому судьбой преимуществу, и порядки, установленные в домах, где различие между господами и слугами ощущается наименее резко, кажутся мне наилучшими.

Иные стараются подстегнуть и взбудоражить свой ум; я — сдержать и успокоить его. Он заблуждается лишь тогда, когда напряжен.

*Narras et genus Aeaci,*
*Et pugnata sacro bella sub Ilio:*
*Quo Chium pretio cadum*

*Mercemur, quis aquam temperet ignibus,*
*Quo praebente domum, et quota*
*Pelignis caream frigoribus taces.[9] [broken link: #nc3_9]*

Как известно, доблесть лакедемонян нуждалась в обуздывании и в нежном и сладостном звучании флейт[10] [broken link: #nc3_10], укрощавших ее во время сражения, поскольку существовала опасность, как бы она не превратилась в безрассудство и бешенство, — а ведь другие народы используют пронзительные звуки и громкие выкрики, чтобы подстрекнуть и распалить храбрость солдат. Так и мы, как мне кажется вопреки общераспространенному мнению, большей частью нуждаемся при нашей умственной деятельности скорее в свинце, чем в крыльях, скорее в холодности и невозмутимом спокойствии, чем в горячности и возбуждении. И самое главное: изображать из себя высокоученого мужа, находясь среди тех, кто не блещет ученостью, и непрерывно произносить высокопарные речи — favellar in punta di forchetta[11] [broken link: #nc3_11] — означает, по-моему, изображать из себя глупца. Нужно приспособляться к уровню тех, с кем находишься, и порой притворяться невеж-

дой. Забудьте о выразительности и тонкостях; в повседневном обиходе достаточно толкового изложения мысли. Если от вас этого желают, ползайте по земле.

Ученым свойственно спотыкаться об этот камень. Они любят выставлять напоказ свою образованность и повсюду суют свои книги. В последнее время их писания настолько прочно обосновались в спальнях и ушах наших дам, что если последние и не усвоили их содержания, то, по крайней мере, делают вид, будто изучили его; о чем бы ни зашла речь, сколь бы ни был предмет ее низменным и обыденным, они пользуются в разговорах и в своих писаниях новыми и учеными выражениями,

> *Hoc sermone pavent, hoc iram, gaudia, curas,*
>
> *Hoc cuncta effundunt animi secreta; quid ultra?*
>
> *Concumbunt docte;[12] [broken link: #nc3_12]*

и ссылаются на Платона и святого Фому[13] [broken link: #nc3_13], говоря о вещах, которые мог бы столь же хорошо подтвердить первый встречный и поперечный. Наука, которая не

смогла проникнуть к ним в душу, осталась на кончике их языка. Если бы высокородные дамы соблаговолили поверить мне, им было бы совершенно достаточно заставить нас оценить их собственные и вложенные в них самою природой богатства. Они прячут свою красоту под покровом чужой красоты. А ведь это великое недомыслие — гасить свое собственное сияние, чтобы излучать свет, заимствованный извне; они погребли и скрыли себя под грудами ухищрений. De capsula totae[14] [broken link: #nc3_14]. Причина тут в том, что они недостаточно знают самих себя; в мире нет ничего прекраснее их; это они украшают собою искусства и румянят румяна. Что им нужно, чтобы быть любимыми и почитаемыми? Им дано и они знают больше, чем необходимо для этого. Нужно только немного расшевелить и оживить таящиеся в них способности. Когда я вижу, как они углубляются в риторику, юриспруденцию, логику и прочую дребедень, столь никчемную, столь бесполезную и ненужную им, во мне рождается опасение, что мужчины, побуждающие их к занятиям ею, делают это с намерением заполучить власть над ними и на этом основании держать их в своей власти.

Ибо какое другое оправдание этому мог бы я

подыскать? Хватит с милых дам и того, что они умеют без нашей помощи придавать своим глазам прелесть веселости, нежности и суровости, вкладывать в свое «нет» строгость, колебание и благосклонность и понимают без толмача страстные речи, обращенные к ним их поклонниками. Владея этой наукой, они повелевают всем миром, и выходит, что ученицы властвуют над своими учителями со всей их ученостью. Если им неприятно уступать нам хоть в чем-нибудь и любопытство толкает их к книгам, то самое подходящее для себя развлечение они могут найти в поэзии: это искусство лукавое и проказливое, многоликое, говорливое, все в нем тянется к наслаждению, все показное, короче говоря, оно такое же, как они. Наши дамы извлекут много полезного и из истории. В философии, в том разделе ее, где рассматриваются различные стороны жизни, они найдут рассуждения, которые научат их разбираться в наших нравах и душевных склонностях, препятствовать нашим изменам, умерять дерзость своих желаний, оберегать свою свободу от посягательств, продлевать радость жизни, с достоинством переносить непостоянство поклонника, грубость мужа и докучное бремя лет и морщин и многим другим тому по-

добным вещам.

Бывают характеры в высшей степени своеобразные, нелюдимые, ушедшие целиком в себя. Если говорить обо мне, то мое истинное призвание — общаться с людьми и созидать. Я весь обращен к внешнему миру, весь на виду и рожден для общества и для дружбы. Уединение, которое я люблю и которое проповедую, состоит, главным образом, в переносе моих привязанностей и мыслей на себя самого и в ограничении и сокращении не только моих усилий, но и моих забот и желаний; достигается это тем, что я слагаю с себя попечение о ком-либо, кроме как о себе, и бегу, словно от смерти, от порабощения и обязательств, и не столько от сонма людей, сколько от сонма обступающих меня дел. Что же касается физического уединения, то есть пребывания в одиночестве, то оно, должен признаться, скорее раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводя меня за пределы моего «я», и никогда я с большей охотой не погружаюсь в рассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наедине сам с собой. В Лувре и среди толпы[15] [broken link: #nc3_15] я внутренне съеживаюсь и забиваюсь в свою скорлупу; толпа заставляет меня замыкаться в

себе, и нигде я не беседую сам с собой так безудержно и откровенно, с таким увлечением, как в местах, требующих от нас сугубой почтительности и церемонного благоразумия. Наши глупости не вызывают у меня смеха, его вызывает наше высокомудрие. По своему нраву я не враг придворной сумятицы; я провел в самой гуще ее часть моей жизни и, можно сказать, создан для веселого времяпровождения в многолюдных собраниях, но при условии, чтобы они не были непрерывными и происходили в угодный для меня час. Однако повышенная раздражимость ума, которую я в себе отмечаю, обрекает меня на вечное уединение даже в кругу семьи и среди многочисленных слуг и навещающих меня посетителей, ибо мой дом принадлежит к числу весьма посещаемых. Я вижу вокруг себя достаточно много народа, но лишь изредка тех, с кем мне приятно общаться; вопреки принятому обыкновению я предоставляю как себе самому, так и всем остальным неограниченную свободу. Я не терплю церемоний — постоянной опеки гостя, проводов и прочих правил, налагаемых на нас нашей обременительной учтивостью (о подлый и несносный обычай!); всякий волен располагать собой по своему усмотрению, и кто пожелает, тот

углубляется в свои мысли; я нем, задумчив и замкнут, и это нисколько не обижает моих гостей.

Люди, общества и дружбы которых я постоянно ищу, — это так называемые порядочные и неглупые люди; их душевный склад настолько мне по душе, что отвращает от всех остальных. Среди всего многообразия характеров такой, в сущности говоря, наиболее редок; это — характер, созданный в основном, природой. Для подобных людей цель общения — быть между собой на короткой ноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями; это — соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. В наших беседах любые темы для меня равно хороши; мне безразлично, насколько они глубоки и важны; ведь в них всегда есть изящество и приятность; на всем заметна печать зрелых и твердых суждений, все дышит добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах о новых законах наш дух раскрывает свою силу и красоту и не только тогда, когда речь идет о делах государей; он раскрывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.

Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке и успешнее нахожу их за пиршественным столом, чем в зале совета.

Гиппомах утверждал, что, встречая на улице хороших борцов, он узнавал их по одной походке[16] [broken link: #nc3_16]. Если ученость изъявляет желание принять участие в наших дружеских разговорах, мы отнюдь не отвергаем ее — разумеется, при условии, что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает, а проявит стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошо провести время — большего мы не ищем; когда же настанет наш час выслушать ее поучения и наставления, мы благоговейно припадем к ее трону. А пока пусть она снизойдет до нашего уровня, если захочет, ибо сколь бы полезной и желательной она ни была, я заранее убежден, что мы сможем при случае отлично обойтись без нее и сделаем свое дело, не прибегая к ее услугам. Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука — не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами.

Сладостно мне общаться также с красивыми благонравными женщинами. Nam nos quoque oculos eruditos habemus[17] [broken link: #nc3_17]. Если душа в этом случае наслаждается много меньше, чем в предыдущем, удовольствия наших органов чувств, которые при втором виде

общения гораздо острее, делают его почти таким же приятным, как и первый, хотя, по-моему, все же не уравнивают с ним. Но это общение таково, что тут всегда нужно быть несколько настороже, и особенно людям вроде меня, над которыми плоть имеет большую власть. В ранней юности я пылал от этого, как в огне, и мне хорошо знакомы приступы неистовой страсти, которые, как рассказывают поэты, нападают порою на тех, кто не желает налагать на себя узду и не слушается велений рассудка. Правда, эти удары бича послужили мне впоследствии хорошим уроком,

> *Quicunque Argolica de classe Capharea fugit,*
>
> *Semper ab Euboicis vela retorquet aquis.[18] [broken link: #nc3_18]*

Безрассудно отдавать этому все свои помыслы и вкладывать в отношения с женщинами безудержное и безграничное чувство. Но с другой стороны, домогаться их без влюбленности и влечения сердца, уподобляясь актерам на сцене, исключительно для того, чтобы играть модную в наше время и закрепленную обычаем роль, и не вносить в нее ничего своего, кроме слов, означает предусмотрительно оберегать свою безопасность,

делая это, однако, крайне трусливо, как тот, кто готов отказаться от своей чести, своей выгоды или своего удовольствия из страха перед опасностью; ведь давно установлено, что подобное поведение не может дать человеку ничего, что бы тронуло или усладило благородную душу. Нужно по-настоящему жаждать тех удовольствий, которыми хочешь по-настоящему наслаждаться: я имею в виду тот случай, когда судьба, вопреки справедливости, благоприятствует мужскому лицемерию, а это бывает достаточно часто, ибо нет такой женщины, сколь бы нескладной она ни была, которая не мнила бы себя достойной любви и не обладала бы обаянием юности, или улыбки, или телодвижений, ибо совершенных дурнушек между ними не больше, чем безупречных красавиц, и дочери брахманов, если они начисто лишены привлекательности, выходят на площадь к народу, собранному для этого криками городского глашатая, и выставляют напоказ свои детородные части, дабы попытаться хотя бы таким путем добыть себе мужа.

По этой причине нет такой женщины, которая не поверила бы с легкостью первой же клятве своего поклонника.

За этим общераспространенным и привыч-

ным для нашего века мужским вероломством не может не следовать то, что уже ощущается нами на опыте, а именно, что женщины теснее сплачиваются между собой и замыкаются в себе или в своем кругу, дабы избегать общения с нами, или, подражая примеру, который мы им подаем, в свою очередь лицедействуют и идут на такую сделку без страсти, без колебаний и без любви — neque affectui suo aut alieno obnoxiae[19] [broken link: #nc3_19], — считая, согласно утверждению Лисия у Платона[20] [broken link: #nc3_20], что они могут отдаваться нам с тем большей легкостью и выгодой для себя, чем меньше мы в них влюблены.

И все тут пойдет, как в комедии, причем зрители будут испытывать столько же удовольствия, — а то и немного побольше, — сколько сами актеры.

Что до меня, то на мой взгляд Венера без Купидона[21] [broken link: #nc3_21] так же невозможна, как материнство без деторождения, — это вещи взаимоопределяющие и дополняющие друг друга. Таким образом, этот обман бьет в конечном итоге того, кто прибегает к нему. Правда, он ему ничего не стоит, но и не дает ничего стоящего. Те, кто сотворил из Венеры богиню, немало пеклись о том, чтобы главное и основное в ее красоте было

бестелесное и духовное; но любовь, за которой гоняются люди, не только не может быть названа человеческой, ее нельзя назвать даже скотскою. Животных, и тех не влечет такая низменная и земная любовь! Мы видим, что воображение и желание зачастую распаляют и захватывают их прежде, чем разгорячится их тело; мы видим, как особи обоих полов отыскивают и выбирают в сумятице стада предметы своей привязанности и что знаются между собою те, кто проявлял друг к другу длительную склонность. Даже те из них, у кого старость отняла их былую телесную силу, и они также все еще продолжают дрожать, ржать и трепетать от любви. Мы видим, что перед совокуплением они полны упований и пыла, а когда их плоть сделает свое дело, они горячат себя сладостными воспоминаниями; и мы видим, что иных с той поры распирает гордость, а другие — усталые и насытившиеся — распевают песни победы и ликования. Кому требуется освободить свое тело от бремени естественной надобности и ничего больше не нужно, тому незачем угощать другого столь изысканными приправами: это не пища для утоления лютого и не знающего удержу голода.

Нисколько не заботясь о том, чтобы обо мне

думали лучше, чем каков я в действительности, я расскажу нижеследующее о заблуждениях моей юности. Не только по причине существующей здесь опасности для здоровья (все же я не сумел уберечь себя от двух легких и, так сказать, предварительных приступов), но и вследствие своего рода брезгливости я никогда не имел охоты сближаться с доступными и продажными женщинами. Я стремился усилить остроту этого наслаждения, а ее придают ему трудности, неугасающее желание и немножко удовлетворенного мужского тщеславия; и мне нравилось вести себя подобно императору Тиберию[22] [broken link: #nc3_22], которого в его любовных делах в такой же мере воспламеняли скромность и знатность, как и все остальное, привлекающее нас в женщинах, и я одобрял разборчивость куртизанки Флоры[23] [broken link: #nc3_23], отдававшейся лишь тем, кто был никак не ниже, чем в ранге диктатора, консула или цензора, и черпавшей для себя усладу в высоком звании своих возлюбленных. Здесь, разумеется, кое-что значат и жемчуга, и парча, и титулы, и весь образ жизни. Впрочем, я отнюдь не пренебрегал духовными качествами, однако ж при том условии, чтобы и тело было, каким ему следует быть, ибо, по

совести говоря, если бы оказалось, что надо обязательно выбирать между духовной и телесной красотой, я предпочел бы скорее пренебречь красотою духовной: она нужна для других, лучших вещей; но если дело идет о любви, той самой любви, которая теснее всего связана со зрением и осязанием, то можно достигнуть кое-чего и без духовных прелестей, но ничего — без телесных.

Красота — и впрямь могучая сила женщин. Она в такой же мере присуща им, как и нам; и хотя наша красота требует несколько иных черт, все же в пору своего цветения она мало чем отличается от их красоты: такая же отроческая — нежная и безбородая.

Говорят, что наложницы турецкого султана, услужающие ему своей красотой, — а их у него несметное множество — получают отставку самое большее в двадцать два года[24] [broken link: #nc3_24].

Разум, мудрость и дружеские привязанности чаще встречаются среди мужчин; вот почему последние и вершат делами нашего мира.

Эти оба вида общения зависят от случая и от воли других. Общение первого вида до того редко, что не может спасти от скуки; что же касается общения с женщинами, то оно с годами сходит

на нет; таким образом, ни то, ни другое не смогло полностью удовлетворить потребности моей жизни. Общение с книгами — третье по счету — гораздо устойчивее и вполне в нашей власти. Оно уступает двум первым видам общения в ряде других преимуществ, но за него говорит его постоянство и легкость, с которой можно его поддерживать.

Книги сопровождают меня на протяжении всего моего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы и в моем уединенном существовании. Они снимают с меня бремя докучной праздности и в любой час дают мне возможность избавляться от неприятного общества. Они смягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов и не подчиняет себе все остальное.

Чтобы стряхнуть с себя назойливые и несносные мысли, мне достаточно взяться за чтение; оно легко завладевает моим вниманием и прогоняет их прочь. К тому же книги неизменно повинуются мне и не возмущаются тем, что я прибегаю к ним лишь тогда, когда не могу найти других развлечений — более существенных, живых и естественных; они всегда встречают меня с той же приветливостью.

Принято говорить, что кто ведет под уздцы свою лошадь, тому идти пешком — одно удовольствие, и наш Иаков, король Неаполя и Сицилии, — красивый, молодой и здоровый, — заставлявший носить себя по стране на носилках, в которых он лежал на жалкой перине, облаченный в серый суконный плащ и такую же шляпу, тогда как за ним следовала пышная королевская свита, состоявшая из дворян и придворных, конными носилками и верховыми лошадьми всевозможных пород, являл собою пример половинчатого и еще неустойчивого самоуничижения[25] [broken link: #nc3_25]: незачем жалеть хворого, если у него под рукой целительное лекарство. Проверка на опыте справедливости этого поразительно мудрого изречения — вот, в сущности, и вся польза, извлекаемая мною из книг. Я и впрямь обращаюсь к ним почти так же часто, как те, кто их вовсе не знает. Я наслаждаюсь книгами, как скупцы своими сокровищами, уверенный, что смогу насладиться ими, когда пожелаю; моя душа насыщается и довольствуется таким правом на обладание. Я никогда не пускаюсь в путь, не захватив с собой книг, — ни в мирное время, ни на войне. И все же бывает, что я не заглядываю в них по нескольку дней, а то и месяцев. «Вот, возь-

мусь сейчас, — говорю я себе, — или завтра, или когда я того пожелаю». Между тем, время бежит и несется, и я не замечаю его. Ибо нет слов, чтобы высказать, насколько я отдыхаю и успокаиваюсь при мысли о том, что книги всегда рядом со мной, чтобы доставить мне удовольствие, когда наступит мой час, и ясно сознавая, насколько они помогают мне жить. Они — наилучшее снаряжение, каким только я мог бы обзавестись для моего земного похода, и я крайне жалею людей, наделенных способностью мыслить и не запасшихся им. И развлечениям любого другого рода, сколь бы незначительны они ни были, я предаюсь с тем большей охотой, что мои книги никуда от меня не уйдут.

Когда я дома, я немного чаще обращаюсь к моей библиотеке, в которой, к тому же, я отдаю распоряжения по хозяйству. Здесь я у самого въезда в мой замок и вижу внизу под собой сад, птичник, двор и большую часть моего дома. Тут я листаю когда одну книгу, когда другую, без всякой последовательности и определенных намерений, вразброд, как придется; то я предаюсь размышлениям, то заношу на бумагу или диктую, прохаживаясь взад и вперед, мои фантазии вроде этих.

Моя библиотека на третьем этаже башни. В первом — часовня, во втором — комната с примыкающей к ней каморкой, в которую я часто уединяюсь прилечь среди дня. Наверху — просторная гардеробная. Помещение, в котором я держу книги, было в прошлом самым бесполезным во всем моем доме. Теперь я провожу в нем большую часть дней в году и большую часть часов на протяжении дня. Ночью, однако, я тут никогда не бываю. Рядом с библиотекой есть довольно приличный и удобно устроенный нужник, который в зимнее время можно отапливать. И если бы я не страшился хлопот еще больше, чем трат, я мог бы легко добавить с обеих сторон на одном уровне с библиотекой по галерее длиной в сто и шириной в двенадцать шагов, ибо стены для них, возведенные до меня в других целях, поднимаются до потребной мне высоты. Всякому пребывающему в уединении нужно располагать местом, где бы он мог прохаживаться.

Если я даю моим мыслям роздых, они сразу же погружаются в сон. Мой ум цепенеет, если мои ноги его не взбадривают. Кто познает не только по книгам, те всегда таковы. Моя библиотека размещена в круглой комнате, и свободного пространства в ней ровно столько, сколько требуется

для стола и кресла; у ее изогнутых дугой стен расставлены пятиярусные книжные полки, и куда бы я ни взглянул, отовсюду смотрят на меня мои книги. В ней три окна, из которых открываются прекрасные и далекие виды, и она имеет шестнадцать шагов в диаметре. Зимой я посещаю ее менее регулярно, ибо мой дом, как подсказывает его название, стоит на юру[26] [broken link: #nc3_26], и в нем не найти другой комнаты, столь же открытой ветрам, как эта; но мне нравится в ней и то, что она не очень удобна и находится на отлете, так как первое некоторым образом закаляет меня, а второе дает мне возможность ускользать от домашней сутолоки и суеты.

Это — мое пристанище. Я стремлюсь обеспечить за собой безраздельное владение им и оградить его от каких бы то ни было посягательств со стороны тех, кто может притязать на него в силу супружеских, семейных или общественных отношений. Повсюду, кроме как в нем, власть моя в сущности номинальна и стоит немногого. Жалок, по-моему, тот, кто не имеет у себя дома местечка, где бы он был и впрямь у себя, где мог бы отдаться личным заботам о себе или укрыться от чужих взглядов! За тщеславие нужно расплачиваться немалыми жертвами, ибо тех, кто одержим этой

страстью, она заставляет быть всегда на виду, точно они — статуя на рыночной площади: Magna servitus est magna fortuna[27] [broken link: #nc3_27]. Даже уединение не приносит им одиночества. В том суровом образе жизни, которому предаются наши монахи, нет, на мой взгляд, ничего более тягостного, чем порядок, ставший, как видно, правилом в некоторых орденах, — я имею в виду постоянное сожительство всех в одном месте и присутствие многих при любом действии каждого из них. И я нахожу более предпочтительным пребывать всегда в одиночестве, чем не иметь возможности иногда остаться наедине с собою самим.

Кто заявляет, что видеть в музах только игрушку и прибегать к ним ради забавы означает унижать их достоинство, тот, в отличие от меня, очевидно, не знает действительной ценности удовольствия, игры и забавы. Я едва не сказал, что преследовать какие-либо другие цели при обращении к музам смешно. Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу лишь для себя; мои намерения дальше этого не идут. В юности я учился, чтобы похваляться своей ученостью; затем — короткое время — чтобы набраться благоразумия; теперь — чтобы тешить себя хоть чем-нибудь; и

никогда — ради прямой корысти. Пустое и разорительное влечение к домашней утвари этого рода — я говорю о книгах, — направленное не только на удовлетворение потребности в знаниях, но на три четверти и на то, чтобы принарядиться и приукраситься в глазах окружающих — такое влечение я уже давно поборол.

Книги (для умеющих их выбирать) обладают многими приятными качествами; но не бывает добра без худа; этому удовольствию столь же не свойственны чистота и беспримесность, как и всем остальным; у книг есть свои недостатки, и притом очень существенные; читая, мы упражняем душу, но тело, которое я также не должен оставлять своими заботами, пребывает в это время в бездействии, расслабляется и поникает. Я не знаю излишеств, которые были бы для меня губительнее и которых на склоне лет мне следует избегать с большей старательностью.

Вот три моих излюбленных и предпочитаемых всему остальному занятия. Я не упоминаю о тех, которыми я служу обществу во исполнение моего гражданского долга.

## Глава IV
## Об отвлечении

Однажды мне пришлось утешать одну и впрямь огорченную даму — ведь в большинстве случаев их горести искусственны и наигранны

> *Uberibus semper lacrimis, semperque paratis*
>
> *In statione sua, atque expectantibus illam,*
>
> *Quo iubeat manare modo.[1] [broken link: #nc4_1]*

Кто противодействует этой страсти, тот поступает весьма неразумно, ибо противодействие лишь раздражает их и усиливает их печаль; заводя спор, только обостряешь их горе. Мы замечаем на примере наших повседневных разговоров, что вздумай кто-нибудь возражать сказанному мной походя, тому, чему я сам не придавал никакого значения, я тотчас же становлюсь на дыбы и принимаюсь пылко отстаивать каждое мое слово; и я делаю это еще более горячо, когда речь идет о вещах, которые для меня и в самом деле важны. И потом, действуя подобным образом, вы начинае-

те рубить с плеча, с грубой неловкостью, а между тем врач, впервые приступая к лечению своего пациента, должен делать это изящно, весело и с приятностью для больного; и никогда безобразный и хмурый врач не преуспевает в своем ремесле. Итак, напротив, сначала нужно помочь страждущим излить свои жалобы, ласково выслушать их и выразить им свое сочувствие и полное понимание. С помощью этой уловки вы завоюете их доверие и сможете пойти дальше и, легко и неприметно отклоняясь в сторону, перейти затем к речам и более твердым и более пригодным для исцеления тех, кто удручен своим горем.

Если вернуться ко мне, то, стремясь преимущественно к тому, чтобы не ударить лицом в грязь перед присутствующими, которые смотрели на меня в оба, я задумал немного прикрыть скорбь упомянутой дамы тонким слоем румян и белил. Ведь я хорошо знаю на опыте, насколько тяжела и неуклюжа у меня рука и как я беспомощен в увещаниях. Или мои доводы бывают слишком замысловатыми и слишком сухими, или я обрушиваю их слишком внезапно, или делаю это слишком небрежно. Разобравшись по истечении какого-то времени в сути ее страданий, я не предпринял попытки избавить ее от них при помощи

веских и убедительных доводов, то ли потому, что у меня их не было, то ли потому, что рассчитывал на больший успех, действуя по-иному; при этом я не остановил своего выбора ни на одном из тех способов, которые предписывает нам философия, когда требуется доставить кому-нибудь утешение; я не утверждал, как Клеанф[2] [broken link: #nc4_2], что горе, на которое она жалуется, совсем не несчастье, или, как перипатетики[3] [broken link: #nc4_3], что это не такая уж большая беда, или, как Хрисипп[4] [broken link: #nc4_4], что жаловаться на это и несправедливо и отнюдь не похвально; я не советовал, как Эпикур, — хотя его способ крайне близок моему, — перенестись мыслью с вещей тягостных на приятные; я не следовал также Цицерону, полагавшему, что все эти доводы нужно свалить в одну кучу и пользоваться ими по мере надобности; но, отклоняя мало-помалу нашу беседу от ее основной темы и переводя постепенно на предметы сначала близкие, а затем, по мере того как я овладевал вниманием моей собеседницы, и на более отдаленные, я незаметно отвлек в сторону грустные мысли моей дамы, и она взяла себя в руки и оставалась спокойной, пока я был возле нее. Те, кто после меня приняли на себя те же заботы,

не смогли обнаружить в ее состоянии никаких улучшений, и причина этого в том, что топор не добрался до корней ее скорби.

Я уже касался, пожалуй, одного вида отвлечений в общественной жизни. Что до использования отвлечений в борьбе с врагами, применявшихся Периклом в Пелопоннесской войне[5] [broken link: #nc4_5], а многими другими в иное время и при иных обстоятельствах, то в истории различных народов это вещь слишком частая.

Поистине хитроумной была уловка, с помощью которой сьер д’ Эмберкур спас себя и других в Льеже, куда его послал державший льежцев в осаде герцог Бургундский, чтобы он принял город на уже заключенных условиях капитуляции[6] [broken link: #nc4_6]. А льежцы, собравшись ночью для обсуждения этих условий, принялись роптать, недовольные достигнутым соглашением, и многие задумали расправиться с парламентерами, находившимися в их власти. Сьер д’ Эмберкур, почуяв угрозу по первой волне людского потока, подступившей к дверям его дома и готовой обрушиться на него, тотчас же выслал к народу двух местных жителей (ибо при нем их было несколько), поручив им огласить в народном собрании новые и более мягкие пред-

ложения, придуманные им тут же на месте ввиду грозившей опасности. Эти двое остановили первый шквал бури и повели за собой возбужденную толпу в ратушу, где бы их могли выслушать и обсудить принесенные ими вести. Обсуждение было кратким, и вот разражается второй шквал, столь же бешеный, как первый, и сьер д' Эмберкур опять шлет навстречу ему четырех новых столь же мнимых посредников, утверждавших, что на этот раз им поручено сообщить о более выгодных для льежцев условиях, которые им несомненно придутся по вкусу и которыми они будут довольны; благодаря этим посулам народ снова был завлечен на собрание. Короче говоря, теша горожан такими забавами, отвлекая их гнев и понуждая их расточать его в бесплодных спорах и обсуждениях, он, в конце концов, усыпил его и благополучно дождался наступления дня, что и было его главной задачей.

Нижеследующий вымысел повествует примерно о том же. Аталанта, дева выдающейся красоты и редких дарований, желая отделаться от множества поклонников, домогавшихся вступить с нею в брак, объявила, что возьмет в мужья только того, кто сравняется с нею в скорости бега, причем потерпевшие неудачу заплатят жизнью.

Несмотря на рискованность столь жестокого договора, нашлось немало таких, которые сочли подобную цену соразмерной с обещанною наградой. Иппомен, которому предстояло испытать свои силы последним, обратился к богине — покровительнице любовной страсти — и воззвал к ее помощи, и она, вняв его просьбе, дала ему три золотых яблока и научила, как их использовать. Состязание началось, и Иппомен, почувствовав, что владычица его сердца, следующая за ним по пятам, вот-вот нагонит его, как бы нечаянно роняет одно из упомянутых яблок. Девушка, восхищенная красотой яблока, не может превозмочь искушение и задерживается, чтобы поднять его,

> *Obstupuit virgo nitidique cupidine pomi*
>
> *Declinat cursus, aurumque volubile tollit.[7] [broken link: #nc4_7]*

То же самое сделал он в нужный момент и во второй раз и в третий, пока не добился, при помощи этого обмана и отвлечения, преимущества в беге.

Когда врачи не могут справиться с воспалением, они отвлекают его и отводят в какую-нибудь другую, менее опасную область нашего тела. Я заметил, что этот прием чаще всего применяется

и при болезнях души.

Abducendus etiam nonnumquam animus est ad alia studia, solicitudines, curas, negotia; loci denique mutatione, tanquam aegroti non convalescentes, saepe curandus est[8] [broken link: #nc4_8]. По ее недугам мало кто бьет сплеча; приступы их не поддерживают и не пресекают, их стараются отвести и сгладить.

Противоположный способ — слишком возвышенный и трудный. Только люди высшей породы способны постигать вещь во всей ее наготе, отчетливо видеть ее и исчерпывающе судить о ней. Лишь Сократу дано лицезреть смерть, не меняясь в лице, одному ему — приручить ее, шутить с нею. Он не ищет утешения вне самой смерти; она для него естественное и обычное явление; он останавливает свой взгляд прямо на ней и решается на нее, не озираясь по сторонам. Ученики Гегесия, вдохновляясь красивыми речами своего учителя, побуждали себя умирать голодною смертью, и они делали это так часто, что царь Птолемей запретил ему услаждать свою школу этими человекоубийственными речами[9] [broken link: #nc4_9], — так вот, эти ученики Гегесия жаждали смерти не самой по себе и нисколько не задумывались над ее сущностью; не на ней оста-

навливали они свою мысль; они торопились, они стремились к иному, новому существованию. А бедняги, которых мы иногда видим на эшафоте! Эти полны пылкой набожности; они отдают ей, по мере возможности, все свои чувства; превратившись в слух, они жадно ловят обращенные к ним напутствия, и, воздев к небу глаза и руки, возвысив голос в громких молитвах, охваченные суровым и неослабным волнением, они, конечно, являют пример отменно похвальный и подобающий их горькой участи. Их следует хвалить за религиозное рвение, но отнюдь не за твердость духа. Они бегут от борьбы; они не хотят думать о смерти и во многом напоминают детей, которых всячески забавляют, чтобы тем временем вскрыть им нарыв. Я наблюдал осужденных на казнь и видел, как их взгляд, опускавшийся порою на расставленные рядом ужасные орудия смерти, тотчас же отвращался от них, и они в исступлении заставляли себя перенестись мыслью на любые другие предметы. Переправляющимся через грозную пропасть велят зажмуриваться или отводить от нее глаза.

Субрий Флав был осужден Нероном на смерть, и умертвить его должен был своей рукою Нигер — и тот и другой были римскими военачальниками.

Когда Флава привели к месту казни, то, увидев безобразную яму с кривыми краями, вырытую для него по приказанию Нигера, он, повернувшись к присутствующим тут воинам, произнес: «Даже это сделано не по уставу», а — Нигеру, обратившемуся к нему с увещанием держать голову твердо, сказал: «Обо мне не заботься. Лишь бы ты поразил меня с такой же твердостью!» И он предугадал правильно, потому что у Нигера тряслись руки, и он отрубил Флаву голову лишь после нескольких повторных ударов[10] [broken link: #nc4_10]. Вот человек, который, как видно, и впрямь сосредоточенно думал о своей смерти и ни о чем больше.

Кто умирает в схватке, не выпуская из рук оружия, тот не присматривается заранее к смерти, не ощущает ее и не помышляет о ней: его увлекает боевой пыл. Один из моих знакомых, человек порядочный и правдивый, упав однажды во время поединка, зная, что его противник, пока он лежал на земле, нанес ему девять или десять ударов кинжалом, и слыша, как он сам впоследствии мне рассказывал, голоса окружающих, наперебой умолявших его позаботиться о своей душе, не придавал этим крикам никакого значения и думал только о том, как бы вскочить на ноги и

отомстить за себя. И он убил своего противника в этом же поединке.

Большую услугу оказал Луцию Силану[11] [broken link: #nc4_11] тот, через кого ему была объявлена весть о его осуждении: услышав ответ Силана, что он готов умереть, но только не от преступной руки, этот глашатай императорской воли вместе со своими воинами устремился к Силану, чтобы схватить его, и так как тот упорно сопротивлялся, пустив в ход кулаки и ноги, убил его в этой борьбе; вызвав в нем внезапно вспыхнувший бурный гнев, он избавил его, таким образом, от тягостной мысли об уготовленной ему медленной и мучительной смерти.

В таких обстоятельствах мы всегда думаем о чем угодно, но не о ней: нас тешат и поддерживают надежды на иную, лучшую жизнь, или надежды, возлагаемые нами на наших детей, или предвкушение будущей славы нашего имени, или мысль о том, что мир, который мы покидаем, — не более как юдоль скорби, или мечты о возмездии, угрожающем тем, кто причиняет нам смерть,

> *Spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,*

*Supplicia hausurum scopulis, et nomine Dido*

*Saepe vocaturum…*

*Audiam, et haec manes veniet mihi fama sub imos.[12] [broken link: #nc4_12]*

Когда Ксенофонту сообщили о гибели в битве при Мантинее[13] [broken link: #nc4_13] его сына Грилла, он, с венком на голове, приносил жертвы богам. Ошеломленный этим известием, он швырнул венок наземь, но затем, слушая повествование о происшедшем и постигнув, что эта смерть была поистине героической, поднял его и снова надел на голову.

Даже Эпикур — и он также — утешал себя перед своей кончиною мыслями о вечности и полезности написанных им сочинений[14] [broken link: #nc4_14]. Omnes clari et nobilitati labores fiunt tolerabiles[15] [broken link: #nc4_15]. И Ксенофонт говорит, что точно такая же рана и такие же трудности и лишения тяготят полководца не в пример меньше, чем воина[16] [broken link: #nc4_16]. Узнав, что победа осталась за ним, Эпаминонд воспрянул духом и принял смерть с поразительной твердостью[17] [broken link: #nc4_17]. Haec sunt solatia, haec fomenta summorum dolorum[18]

[broken link: #nc4_18]. И бесчисленные схожие с этими обстоятельства уводят, отвлекают и избавляют нас от размышлений о смерти как таковой.

Даже доводы философии лишь слегка прикасаются к ней, не добираясь до ее сущности и едва скользя по ее оболочке. Первейший мыслитель первейшей из всех философских школ, главенствующей над всеми другими, великий Зенон, понося смерть, сказал следующее: «Ни одно зло не заслуживает уважения; смерть заслуживает его; стало быть, она вовсе не зло»; а понося пьянство — следующее: «Никто не вздумает доверять свою тайну пьянице; всякий доверяет ее лишь разумному человеку; стало быть, разумный человек не может быть пьяницей»[19] [broken link: #nc4_19]. Бьют ли подобные доводы в цель? Мне приятно видеть, что эти образцовые души не могут отделаться от иных свойств, роднящих их с нами.

Сколь бы совершенными людьми они ни были, это, однако ж, всего-навсего люди и ничего больше.

Жажда мщения — страсть в высшей степени сладостная; ей свойственно некоторое величие, и она вполне естественна; я очень хорошо это вижу, хотя личного знакомства мы с нею и не свели. Чтобы отвлечь от нее одного юного государ-

ря, — это случилось совсем недавно, — я не стал распространяться о том, что ударившему вас по одной щеке следует смирения ради подставить другую; не стал я ему пересказывать и всевозможные трагические события, изображаемые поэтами, как следствия этой страсти. Обо всем этом я не обмолвился ни словечком и стремился только к тому, чтобы научить его чувствовать красоту совершенно иной картины, рисуя ему почет, любовь и благожелательность, которых он может достигнуть, проявляя снисходительность и доброту; и я отвратил его от тщеславия[20] [broken link: #nc4_20]. Вот как делаются такие дела.

Если вас охватывает чрезмерно пламенная влюбленность, вам советуют рассеять ее; и советуют вполне правильно, в чем я не раз и с пользою для себя убеждался на опыте; распределите ее между несколькими желаньями, одно из которых, если вы того захотите, может быть главным и основным, но из опасения, как бы оно не заслонило все остальные и безраздельно не властвовало над вами, ослабляйте и сдерживайте это желание, деля и отвлекая его все снова и снова:

*Cum morosa vago singultiet inguine vena,*

*Coniicito humorem collectum in corpora quaeque.[21] [broken link: #nc4_21]*

И подумайте об этом заранее, чтобы не оказаться в беде, если оно еще раз нахлынет на вас,

*Si non prima novis conturbes vulnera plagis,*
*Volgivagaque vagus venere ante recentia cures.[22] [broken link: #nc4_22]*

Однажды в дни молодости мне пришлось пережить сильное, чрезмерное для моей души огорчение, и оно было не только сильным, но — что важнее всего — и глубоко обоснованным; положись я тогда попросту на свои силы, я бы, пожалуй, не выдержал. Нуждаясь, чтобы рассеяться, в каком-нибудь способном захватить меня отвлечении, я заставил себя, призвав на помощь рассудок и волю, влюбиться, чему немало помог мой возраст. Любовь облегчила меня и развеяла скорбь, причиненную дружбой. И повсюду мы наблюдаем все то же: меня одолевает какое-нибудь неприятное представление; я нахожу, что заменить его новым много проще, чем его побороть; и если я не могу заместить его представлением противоположного свойства, я все же замещаю его каким-либо другим. Разнообразие всегда об-

легчает, раскрепощает и отвлекает.

Если я не могу одолеть засевшее во мне неприятное представление, я стараюсь улизнуть от него и, убегая, петляю из стороны в сторону, пускаюсь на всевозможные хитрости; переезжая с места на место, меняя занятия, общество, я спасаюсь в сумятице иных развлечений и мыслей, и так несносное представление теряет мой след, и я окончательно ухожу от него.

Корни этого — во вложенном в нас самою природой благодетельном непостоянстве, ибо время, приставленное к нам ею в качестве врача-исцелителя наших страстей, достигает успеха в их лечении главным образом тем, что, давая нашему воображению все новую и новую пищу, расчленяет и нарушает наше первоначальное восприятие, сколь бы острым оно в свое время ни было. Мудрец по прошествии двадцати пяти лет столь же явственно видит своего друга в момент его смерти, как и в течение первого года после его кончины; и, согласно объяснению Эпикура[23] [broken link: #nc4_23], он видит его не менее явственно именно потому, что нисколько не смягчал горестности этой утраты ни тогда, когда предвидел ее, ни по прошествии многих лет после нее. Но столько прочих раздумий наслоилось

на это воспоминание, что оно потускнело и, в конце концов, отошло вдаль.

Стремясь отвести от себя сплетни и пересуды, Алкивиад отсек своей великолепной собаке уши и хвост[24] [broken link: #nc4_24] и в таком виде выпустил ее на городской рынок, с тем чтобы народ, получив отличную тему для болтовни, оставил в покое прочие его действия и поступки. И я также видел, как некоторые женщины, с той же целью — отвести от себя всевозможные домыслы и догадки и сбить с толку судачащих на их счет, прикрывали свои истинные любовные чувства чувствами поддельными и наигранными. Но я знал среди них и такую, которая в притворстве своем зашла так далеко, что искренне увлеклась вымышленною страстью и забыла о своей истинной и изначальной любви ради притворной; и пример этой дамы воочию убедил меня, что когда те, кому повезло в любовных делах, соглашаются на подобную маскировку, они ведут себя не лучше отъявленных простаков. Неужели вы думаете, что после того, как встречи и разговоры на людях становятся исключительным правом такого мнимого воздыхателя, он окажется настолько неловким, что не займет, в конце концов, вашего места и не оттеснит вас на свое? Это не

что иное, как кроить и тачать башмаки, чтобы их обул кто-то другой.

Любая безделица отвлекает и уводит в сторону наши мысли, ибо задерживает их на себе тоже безделица. Мы никогда не видим предмета полностью и в отдельности; наше внимание останавливают на себе окружающая его обстановка или его несущественные, приметные с первого взгляда особенности и та тончайшая оболочка, в которую он заключен и которую сбрасывает с себя точно так же,

*Folliculos ut nunc teretes aestate cicadae*
*Linquunt.[25] [broken link: #nc4_25]*

Даже Плутарх, — и он, — оплакивая умершую дочь, распространяется о ее детских проказах[26] [broken link: #nc4_26]. Нас печалят воспоминания о прощании, о каком-нибудь поступке умершего, поразительной его примиренности перед кончиной, о последнем его поручении. Тога Цезаря взволновала весь Рим, чего не сделала его смерть[27] [broken link: #nc4_27]. То же самое можно сказать и о горестных восклицаниях, которыми прожужжали нам уши: «О мой бедный учитель!», или «О бесценный друг мой!», или «Увы! мой любимый отец!», или «Моя ми-

лая дочь!», и когда моего слуха касаются все эти извечные повторения и я приглядываюсь к ним ближе, я прихожу к выводу, что это — стенания, можно сказать, грамматические и чисто словесные. Меня задевает слово и тон, которым оно произносится. И все это — совсем как те выкрики, которыми проповедники часто пронимают свою паству гораздо сильнее, нежели увещаниями и доводами, или как жалобный вой и визг убиваемого нам в пищу животного; во всех этих случаях я не оцениваю по-настоящему и не постигаю истинной сущности предмета или явления:

> *His se stimulis dolor ipse lacessit[28] [broken link: #nc4_28].*

Таковы основания наших горестей и печалей.

Упорство моих камней, особенно при их прохождении по детородному члену, не раз причиняло мне длительную задержку мочи на три, на четыре дня, и я бывал так близок к смерти, что надеяться улизнуть от нее или даже попросту желать этого было чистым безумием — настолько невыносимы боли, вызываемые этим недугом. До чего же великим докой в искусстве мучительства и истязаний был добрый тот император, который приказывал туго-натуго

перевязывать детородный член осужденным на смерть, дабы они умирали от невозможности помочиться[29] [broken link: #nc4_29]. Пребывая в таком состоянии, я имел случай отметить, сколь легковесными доводами и какой чепухой пичкало меня мое воображение, побуждая сожалеть о расставании с жизнью; из каких мельчайших крупиц складывалось в моей душе представление о значительности и трудности этого переселения; сколькими вздорными мыслями занимаем мы наше внимание, готовясь к столь важному делу: собака, лошадь, книга, кубок — и чего, чего тут только не было! — включались мною в список моих потерь. Другие вносят в него свои честолюбивые чаянья, свой кошелек, свои знания, что, на мой взгляд, не менее глупо. Пока я рассматривал смерть отвлеченно, как конец жизни, я смотрел на нее довольно беспечно; в целом я не даю ей спуску, но в мелочах — она положительно подавляет меня. Слезы слуги, распределение остающихся после меня носильных вещей, прикосновение знакомой руки, всеобщие утешения расслабляют меня и приводят в отчаяние.

Вот почему волнуют нам душу и жалобы вымышленных героев, а стенания Дидоны и Ариадны трогают даже тех, кто, читая о них у

Вергилия и Катулла, не верит тому, что они и вправду существовали на свете. Если мы вспомним даже о Полемоне, о котором рассказывают как о своего рода чуде и которого называют в качестве примера полнейшей бесчувственности и душевной неуязвимости, то не побледнел ли также и Полемон, когда его всего-навсего укусила злая собака, вырвавшая у него на ноге кусок мяса[30] [broken link: #nc4_30]. И никакая мудрость не простирается так далеко, чтобы постигнуть рассудком причину столь живой и глубокой скорби, возрастающей в еще большей мере при непосредственном наблюдении того или иного горестного события: ведь наблюдают наши глаза и уши — органы, способные отзываться лишь на внешнее и, стало быть, наименее существенное в явлении.

Справедливо ли, что даже искусства используют вложенные в нас самою природою легковерие и слабоумие и извлекают из них свои выгоды? Оратор, как утверждает риторика, лицедействуя в фарсе, именуемом его судебною речью, будет тронут звучанием своего голоса и своим притворным волнением и, в конце концов, даст обмануть себя страсти, которую старается изобразить. Он проникнется подлинной и нешуточною печа-

лью, порожденною в нем фиглярством, нужным ему, чтобы заразить ею и судей, которым до нее еще меньше дела, чем ему самому. Подобное творится и с теми, кого нанимают для участия в похоронах с целью усугубить горестность этой торжественной церемонии и кто продает свои слезы и скорбь мерой и весом; ведь несмотря на то, что в выражении своего горя эти люди ограничиваются простым подражанием установленным образцам, все же, как достоверно известно, приноравливаясь и понуждая себя к определенному поведению, они нередко с таким усердием предаются этому занятию, что впадают в неподдельную скорбь.

Мне пришлось в числе нескольких друзей господина де Граммона[31] [broken link: #nc4_31], убитого при осаде Ла-Фер, сопровождать его тело из лагеря осаждающих в Суассон. Во время этой поездки я заметил, что, где бы ни проходила наша процессия, народ повсюду встречал ее с причитаниями и плачем и что их вызывало лишь впечатление, производимое нашим печальным шествием, ибо в толпе не знали покойного даже по имени.

Квинтилиан говорит, что ему доводилось видеть актеров, настолько сживавшихся со своей

ролью людей, охваченных безысходною скорбью, что они продолжали рыдать и возвратившись к себе домой; и о себе самом он рассказывает, что, задавшись целью заразить кого-нибудь сильным чувством, он не только заливался слезами, но и лицо его покрывала бледность, и весь его облик становился обликом человека, отягощенного настоящим страданием[32] [broken link: #nc4_32].

В одной местности у подножия наших гор деревенские женщины уподобляются тем священникам, которые одновременно исполняют свои обязанности и сами себе отвечают за певчего, ибо, бередя в себе тоску об умершем муже перечислением всех его добрых и приятных им качеств, они, вместе с тем, вспоминают и оглашают во всеуслышание и его пороки и недостатки, делая это как бы ради того, чтобы уравновесить вторыми первые и отвлечь себя от скорби к презрению; и они поступают не в пример лучше нас, когда мы стараемся изо всех сил в случае смерти едва известного нам человека воздать ему впервые пришедшие нам на ум и притом фальшивые похвалы: не видя его больше среди живых, мы превращаем его в совершенно иное существо по сравнению с тем, каким он нам представлялся, когда мы его видели среди нас, как если бы сожа-

ление открыло нам в нем нечто такое, чего мы прежде не знали, и слезы, омыв наш рассудок, просветили его. Я наперед отказываюсь от любых похвал, которыми пожелают осыпать меня не потому, что я их заслужил, но потому, что я буду мертв.

Если спросить кого-либо из осаждающих крепость: «Что вам в этой осаде?» — он, конечно, ответит: «Решительно ничего, но я должен подавать пример остальным и повиноваться, как все, моему государю. Я не ищу никакой личной выгоды; что же до славы, то я очень хорошо понимаю, сколь ничтожная крупица ее может выпасть на долю столь ничтожной особы, как я; и я не ощущаю в себе ни страсти, ни озлобления». Но взгляните на него следующим утром, и вы обнаружите, что перед вами совсем другой человек, что он весь кипит, бурлит и багровеет от гнева, стоя в своем ряду и готовый идти на приступ; это блеск повсюду сверкающей стали, и огонь, и грохот наших пушек и барабанов вселили в него такую непримиримость и ненависть. «Нелепейшая причина!» — скажете вы на это. Какая уж там причина! Чтобы возбудить нашу душу, и не требуется никаких причин: бесплотные и беспредметные образы безраздельно владеют

ею и возбуждают ее. Едва я принимаюсь строить воздушные замки, как мое воображение преподносит мне радости и удовольствия, которые по-настоящему задевают и веселят мою душу. До чего же часто заволакивается наш ум гневом или печалью, которые насылает на нас какая-нибудь тень, и мы предаемся выдуманным страстям, действительно будоражащим нам и душу и тело! Какие только гримасы — удивления, смеха, смущения — не вызывают грезы на наших лицах! Какие судорожные движения в наших членах и какое волнение в голосе! Не кажется ли вам, что этот пребывающий в одиночестве человек видит перед собою призрачную толпу людей и ведет с ними какие-то разговоры, или что он одержим внутренним демоном, не оставляющим его ни на мгновенье в покое? Задайте себе вопрос, где же, собственно, то, что вызвало в нем эти изменения, и есть ли в природе еще что-нибудь, кроме нас, что питалось бы пустотой и над чем она была бы всесильна?

Камбиз велел умертвить своего брата лишь потому, что ему приснилось, будто тот должен стать персидским царем, — а это был брат, которого он любил и которому всегда доверял![33] [broken link: #nc4_33] Аристодем, царь мессен-

цев, наложил на себя руки из-за сущего вздора, который он считал роковым предзнаменованием, — он совершил это лишь из-за того, что по какой-то невыясненной причине выли его псы. А царь Мидас сделал то же, встревоженный и испуганный неким тягостным сном, который ему привиделся[34] [broken link: #nc4_34]. Лишить себя жизни из-за сновидения — значит и вправду ценить ее ровно во столько, сколько она стоит в действительности!

А теперь выслушайте, пожалуй, как издевается наша душа над беспомощностью тела, над его немощностью, над тем, что оно подвержено всевозможным напастям и изменениям: она и впрямь имеет основание говорить обо всем этом!

> *O prima infelix fingenti terra Prometheo!*
>
> *Ille parum cauti pectoris egit opus.*
>
> *Corpora disponens, mentem non vidit in arte;*
>
> *Recta animi primum debuit esse via.[35] [broken link: #nc4_35]*

## Глава V
## О стихах Вергилия

Чем отчетливее и обоснованней душеполезные размышления, тем они докучнее и обременительней. Порок, смерть, нищета, болезни — темы серьезные и нагоняющие уныние. Нужно приучить душу не поддаваться несчастьям и брать верх над ними, преподать ей правила добропорядочной жизни и добропорядочной веры, нужно как можно чаще тормошить ее и натаскивать в этой прекрасной науке; но душе заурядной необходимо, чтобы все это делалось с роздыхом и умеренностью, ибо от непрерывного и непосильного напряжения она теряется и шалеет.

В молодости, чтобы не распускаться, я нуждался в предостережениях и увещаниях; жизнерадостность и здоровье, как говорят, не слишком охочи до этих мудрых и глубокомысленных рассуждений. В настоящее время я, однако, совсем не таков. Старость со всеми своими неизбежными следствиями только и делает, что на каждом шагу предостерегает, умудряет и вразумляет меня. Из одной крайности я впал в другую: вместо избытка

веселости во мне теперь избыток суровости, а это гораздо прискорбнее. Вот почему я теперь намеренно позволяю себе малую толику чувственных удовольствий и занимаю порой душу шаловливыми и юными мыслями, на которых она отдыхает. Ныне я чересчур рассудителен, чересчур тяжел на подъем, чересчур зрел. Мои годы всякий день учат меня холодности и воздержности. Мое тело избегает чувственных утех и боится их. Пришла его очередь побуждать разум исправиться. И тело, в свою очередь, одергивает его, и притом так грубо и властно, как он никогда не одергивал тело. Оно ни на час не оставляет меня в покое — ни во сне, ни наяву, — непрерывно напоминая о смерти и призывая к терпению и покаянию. И я обороняюсь от воздержности, как когда-то от любострастия. Она тянет меня назад, и притом так далеко, что доводит до отупения. Но я хочу быть сам себе господином, в полном и неограниченном смысле слова. Благоразумию также свойственны крайности, и оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие. И вот, опасаясь, как бы вконец не засохнуть, не иссякнуть и не закоснеть от рассудительности и благонравия, в перерывы между приступами болей,

*Mens intenta suis ne siet usque malis,[1]*

*[broken link: #nc5_1]*

я чуть-чуть отворачиваюсь и отвожу взгляд от грозового и покрытого тучами неба, которое я вижу перед собой и на которое смотрю, благодарение богу, без страха, хоть и не без самоуглубленной задумчивости, и забавляю себя воспоминаниями о минувших днях моей молодости,

> *animus quod perdidit optat;*
> *Atque in praeterita se totus imagine versat.[2] [broken link: #nc5_2]*

Пусть детство смотрит вперед, старость — назад: не это ли обозначали два лица Януса? Пусть годы тащат меня за собой, если им этого хочется, но отступать я наметил не иначе, как пятясь. И пока мои глаза в состоянии различать картины этой чудесной, безвозвратно ушедшей поры, я то и дело устремляю их в ее сторону. И если молодость покинула мою кровь и мои жилы, все же, на худой конец, я не хочу вытравлять ее образ из моей памяти,

> *hoc est*
> *Vivere bis, vita posse priore frui.[3] [broken link: #nc5_3]*

Платон велит старикам присутствовать при телесных упражнениях, плясках и играх юношества, с тем чтобы они могли радоваться гибкости и красоте тела других, утраченных ими самими, и оживлять в памяти благодать и прелесть этого цветущего возраста; хочет он также, чтобы честь победы в этих забавах они присуждали тому из юношей, который больше всего возвеселит и обрадует их сердца и наберет среди них большинство голосов[4] [broken link: #nc5_4].

Некогда я отмечал дни мрачности и уныния как необычные, теперь они у меня, пожалуй, вошли в обычай, а необычны хорошие и безоблачные. И если ничто не печалит меня, я готов ликовать всей душой, видя в этом вновь ниспосланную мне милость. Сколько бы ни щекотал я себя, мне не извлечь из этого жалкого тела даже подобия смеха. Я тешу себя лишь в выдумках и мечтах, чтобы с помощью этой уловки увильнуть от горестей старости. Но, разумеется, тут требуются другие лекарства, а не призрачные мечты: ведь они — бессильное ухищрение в борьбе с самою природой.

Большое недомыслие — продлевать и упреждать человеческие невзгоды, как поступает каждый; уж лучше я буду менее продолжитель-

ное время стариком, чем стану им до того, как меня в действительности постигнет старость[5] [broken link: #nc5_5]. Я хватаюсь за всякие, самые ничтожные возможности удовольствия, какие только мне представляются. Понаслышке я очень хорошо знаю, что существуют различные наслаждения — разумные, захватывающие и приносящие славу; но общераспространенные взгляды не имеют надо мной такой силы, чтобы я возжаждал вкусить наслаждения этого рода. Я ищу в них не столько величия, возвышенности и пышности, сколько приятности, доступности и бесхитростности. A natura discedimus; populo nos damus, nullius rei bono auctori[6] [broken link: #nc5_6].

Моя философия в действии, в естественном и безотлагательном пользовании благами жизни и гораздо меньше — в фантазии. Я и сейчас с увлечением играл бы орешками и волчком!

> *Non ponebat enim rumores ante salutem.[7] [broken link: #nc5_7]*

Наслаждению не знакомо тщеславие; оно ценит себя слишком высоко, чтобы считаться с молвой, и охотнее всего пребывает в тени. Розог бы тому юноше, который вздумал бы искать

наслаждение во вкусе вина или подливок. Нет ничего, что в дни моей юности было бы мне столь же мало известно и чему я придавал бы столь же малую цену. А теперь я постигаю эту науку. Мне очень стыдно от этого, но ничего не поделаешь. Еще постыднее и досаднее обстоятельства, толкающие меня на подобные вещи. Это нам пристало грезить и лоботрясничать, а молодежи подобает думать о своей доброй славе и о том, чтобы завоевать себе положение; она идет в мир, к тому, чтобы вершить делами его, тогда как мы уходим от всего этого. Sibi arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clavam, sibi pilam, sibi natationes et cursus habeant; nobis senibus, ex lusionibus multis, talos relinquant et tesseras[8] [broken link: #nc5_8]. Законы — и те отсылают нас по домам. И принимая в расчет жалкое состояние, в которое ввергают меня мои годы, мне только и остается, что доставлять им игрушки и всяческие забавы, как в детстве; ведь в него-то мы и впадаем. И благоразумие и легкомыслие — и то и другое извлекут для себя немалую выгоду, попеременно подпирая и поддерживая меня в этом бедственном возрасте своими услугами:

> *Misce stultitiam consiliis brevem.[9] [broken link: #nc5_9]*

Я избегаю даже наилегчайших уколов, и те, что когда-то не оставили бы на мне и царапины, теперь пронзают меня насквозь; и я привыкаю безропотно сживаться с несчастьями. In fragili corpore odiosa omnis offensio est[10] [broken link: #nc5_10].

> *Mensque pati durum sustinet aegra nihil.[11] [broken link: #nc5_11]*

Я всегда был необычайно восприимчив и очень чувствителен к напастям любого рода; теперь я стал еще менее стоек, и я уязвим отовсюду,

> *Et minimae vires frangere quassa valent.[12] [broken link: #nc5_12]*

Мой разум не дозволяет мне огрызаться и рычать на неприятности, насылаемые на нас самою природой, но чувствовать их — воспрепятствовать этому он не может. Я бы обегал весь свет — с одного конца до другого, — чтобы найти для себя хоть один сладостный год приятного и заполненного радостями покоя, ибо нет у меня иной цели, как жить и радоваться. Унылого и тупого покоя вокруг меня сверхдостаточно, но он усыпляет и одурманивает меня и довольствоваться им не по мне. Найдись какой-нибудь человек или какое-нибудь приятное общество в деревенской глуши,

в городе, во Франции или в иных краях, живущие оседло или кочующие с места на место, которые мне бы пришлись по вкусу и которым я сам был бы по нраву, — им стоило бы лишь свистнуть, и я полетел бы к ним, и перед ними предстали бы эти самые «Опыты» во плоти и крови.

Так как нашему духу дарована привилегия обретать на старости лет новую силу, я всячески поощряю его к этому возрождению; пусть он зеленеет, пусть цветет, если может, в эти последние дни — омела на стволе мертвого дерева. Опасаюсь, однако, что он ненадежен и способен предать; он до того побратался с телом, что не колеблясь покинет меня, дабы устремиться за ним, едва оно попадет в какую-нибудь беду. Я всячески подольщаюсь к моему духу, но мои старания тщетны. Я напрасно пытаюсь отвратить его от этого сообщества и содружества, напрасно занимаю его Сенекой и Катуллом, дамами и придворными танцами; если у его сотоварища рези, то ему кажется, что они также и у него. И он тогда не справляется даже с той деятельностью, которая для него — дело привычное, и более того, свойственна лишь ему одному. В таких случаях от него веет ледяным холодом. В его творениях не остается и следа жизнерадостности, если она

покинула тело.

Наши учителя допускают ошибку, когда, исследуя причины поразительных взлетов нашего духа и приписывая их божественному наитию, любви, военным невзгодам, поэзии или вину, забывают о телесном здоровье и не воздают ему должного, — здоровье пышущем, неодолимом, безупречном, беззаботном, таком, каким некогда наделяли меня по временам мои весенние дни и ничем не нарушаемая беспечность. Этот огонь веселья воспламеняет дух, и он вспыхивает порой с ослепительной яркостью, намного превосходящей обычную меру его возможностей и порождающей в нем безудержный, если не безграничный восторг. Вот и выходит, что нет ни малейшего чуда, если противоположное состояние, угнетая мой дух, заставляет его поникнуть, сковывает, словом оказывает на него противоположное действие.

> *Ad nullum consurgit opus, cum corpore languet.[13] [broken link: #nc5_13]*

А между тем он требует от меня, чтобы я был ему благодарен за то, что он якобы уделяет гораздо меньше внимания своему сотоварищу — телу, чем это принято у людей. Но пока между нами

установлено перемирие, давайте устраним из нашего общения всяческие раздоры и несогласия:

> *Dum licet, obducta solvatur fronte senectus[14] [broken link: #nc5_14]:*
>
> *tetrica sunt amoenanda iocularibus.[15] [broken link: #nc5_15]*

Я люблю мудрость веселую и любезную и бегу от грубости и суровости нравов; всякая отталкивающая черта в лице вызывает во мне подозрение:

> *Tristemque vultus tetrici arrogantiam[16] [broken link: #nc5_16].*
>
> *Et habet tristis quoque turba cynaedos.[17] [broken link: #nc5_17]*

И я всем сердцем верю Платону, который считает, что простота или надменность в обхождении — вернейший признак душевной простоты или злобности[18] [broken link: #nc5_18].

У Сократа было всегда одно и то же лицо — как бы застывшее, но ясное и улыбающееся, а не такое, как у старшего Красса, которого никто не видел с улыбкой на устах[19] [broken link: #nc5_19].

Добродетель — вещь приятная и веселая.

Я очень хорошо знаю, что среди тех, кого возму-

тят иные непристойности в этих моих писаниях, найдутся лишь очень немногие, которым не подобало бы возмущаться непристойностью своих мыслей.

Я потрафляю их вкусу, но оскорбляю их зрение.

Принято придираться к Платону за то или иное в его сочинениях и умалчивать о приписываемых ему предосудительных отношениях с Федоном, Дионом, Стеллой и Археанассой[20] [broken link: #nc5_20]. Non pudeat dicere quod non pudet sentire[21] [broken link: #nc5_21].

Я ненавижу умы, всегда и всем недовольные и угрюмые, — они проходят мимо радостей жизни и цепляются лишь за несчастья, питаясь ими одними; они похожи на мух, которые не могут держаться на гладких и скользких телах и садятся отдыхать в местах шероховатых и испещренных неровностями, и еще похожи они на кровососные банки, отсасывающие и вбирающие в себя только дурную кровь.

Впрочем, я поставил себе за правило безбоязненно говорить обо всем, чего не боюсь делать; и не подлежащие оглашению мысли мне глубоко неприятны. Наихудший из моих поступков и наихудшее из моих качеств кажутся мне не столь

мерзкими, как мерзко, по-моему, и трусливо не сметь в них признаться. Всякий скромен в признаниях; так пусть же он будет скромен в поступках; готовность впасть в прегрешения некоторым образом сдерживается и возмещается готовностью к признанию в них. Кто обяжет себя говорить все без утайки, тот обяжет себя и не делать того, о чем необходимо молчать. Да будет господу богу угодно, чтобы избыток моей откровенности позволил мне повести моих соотечественников к свободе, поставить их выше трусливых и мелочных добродетелей, порожденных нашими несовершенствами; и пусть ценой моей неумеренности мне будет дано повести их к разуму! Нужно увидеть и постигнуть свои недостатки, чтобы уметь рассказать о них. Кто таит их от другого, тот таит их и от себя.

А если он видит их, то они представляются ему недостаточно скрытыми, и он старается убрать и упрятать их от собственной совести. Quare vitia sua nemo confitetur? Quia etiam nunc in illis est; somnium narrare vigilantis est[22] [broken link: #nc5_22]. Усиливаясь, телесные недуги становятся явными. И мы убеждаемся, что почитавшееся нами прострелом или ушибом — на самом деле подагра. Недуги души, набираясь сил, напротив,

делаются все более темными и непонятными. И больной, охваченный тягчайшим из них, менее всего чувствует это. Вот почему следует почаще вытаскивать их на свет божий и ворошить беспощадной рукой, выискивать их и извлекать из глубин нашего сердца. Удовлетворение как в добрых, так и в дурных делах — это порою только признание в них.

Существует ли прегрешение до такой степени мерзкое, чтобы это освобождало нас от нашего долга признаться в нем?

Притворство для меня мучительно, и, не имея расположения отрицать то, что в действительности мне достоверно известно, я избегаю брать на себя сохранение чужих тайн. Я могу молчать о них, но отпираться и изворачиваться без насилия над собой и крайне неприятного чувства я не могу. Чтобы быть по-настоящему скрытным, необходимо обладать соответствующей природной способностью, но сделаться скрытным по обязанности нельзя. Служа государям, мало быть скрытным, нужно быть, ко всему, еще и лжецом. Если бы спросивший Фалеса Милетского, должен ли он торжественно отрицать, что предавался распутству, обратился с тем же ко мне, я бы ответил ему, что он не должен этого делать, ибо

ложь, на мой взгляд, хуже распутства. Фалес посоветовал ему совершенно иное, а именно, чтобы он подтвердил свои слова клятвой, дабы скрыть больший порок при помощи меньшего[23] [broken link: #nc5_23]. Этот совет, однако, был не столько выбором того или иного порока, сколько умножением первого на второй.

По этому поводу заметим себе, что человеку с чуткою совестью предоставляется приемлемый выход только в том случае, если в противовес порочному ему предлагается нечто для него трудное; но когда порочно и то и другое, он оказывается перед жестокой необходимостью, как это произошло с Оригеном, выбирать из того, что в одинаковой мере гадко: а Оригену было сказано: либо пусть переходит в язычество, либо допустит, чтобы от него вкусил плотское наслаждение огромный и отвратительный эфиоп, которого ему показали. Он принял первое из этих условий и, как утверждают, поступил дурно[24] [broken link: #nc5_24]. Таким образом получается, что были бы правы те решительные дамы нашего времени, которые, будучи верны своим заблуждениям, заявляют, что они предпочли бы обременить свою совесть целым десятком насладившихся ими мужчин, чем одной-единственной мессой[25]

[broken link: #nc5_25].

Если оповещать таким способом о своих прегрешениях и проступках — нескромность, то нет все же большой опасности, что она найдет многочисленных подражателей, — ведь еще Аристон говорил, что люди больше всего боятся тех ветров, которые их выдают и разоблачают[26] [broken link: #nc5_26]. Нужно отбросить прочь нелепые тряпки, под которыми прячутся наши нравы. Люди отправляют свою совесть в дома терпимости, но блюдут внешнюю добропорядочность. Все до последнего человека — вплоть до предателей и убийц — свято придерживаются приличий и почитают своею обязанностью неуклонно следовать им; так что ни неправедность не имеет оснований жаловаться на нелюбезность, ни злоба — на назойливость и нескромность. До чего же прискорбно, когда дурной человек не бывает к тому же глупцом и когда напускная благопристойность прикрывает собой таящийся под нею порок. Подобная штукатурка впору лишь добротной и крепкой стене, которую стоит либо сохранить в прежнем виде, либо побелить заново.

На удовольствие гугенотам, осуждающим нашу исповедь с глазу на глаз и на ухо, я исповедуюсь

во всеуслышание, до конца искренне и с чистой душой. Св. Августин, Ориген и Гиппократ[27] [broken link: #nc5_27] открыто сообщали о своих заблуждениях; что до меня, то я делаю то же применительно к моим нравам. Я жажду, чтобы люди знали меня; мне безразлично, каким образом это будет мною достигнуто, лишь бы все было чистою правдой; или, говоря точнее, я решительно ничего не жажду, но я смертельно боюсь быть в глазах тех, кому довелось знать мое имя, не таким, каков я в действительности, но чем-то иным, на меня не похожим.

На какие выгоды для себя надеется тот, кто помышляет лишь о почестях и о славе, если он появляется перед всем светом в личине, скрывает свое настоящее «я» и не дает познакомиться с ним честному народу. Попробуйте похвалить горбатого за его стан, и он вынужден будет счесть ваши слова оскорблением. Если вы трусливы, а вас превозносят за храбрость, то о вас ли в таком случае говорят? Нисколько, вас принимают за кого-то другого. Столь же забавным было бы для меня, если б кто-нибудь вздумал гордиться поклонами, расточаемыми ему по ошибке, как тому, о ком думают, что он начальник отряда, тогда как на самом деле он — последний из рядо-

вых. Однажды, когда Архелай, царь македонский, проходил по улице, кто-то вылил на него воду; спутники царя сказали ему, что виновного надлежит наказать, на что он ответил им следующим образом: «Но ведь он лил воду не на меня, а на того, кого он признал во мне»[28] [broken link: #nc5_28]. И Сократ заметил тому, кто предупредил его о кривотолках, ходивших на его счет: «Тут нет никакой клеветы, ибо я не вижу в себе и крупицы того, о чем они говорят»[29] [broken link: #nc5_29]. Что до меня, то, если бы кто-нибудь стал восхвалять меня как искусного кормчего, или за то, что я якобы крайне скромен, или за мое мнимое целомудрие, то я никоим образом не проникся бы к нему благодарностью. Равным образом я не счел бы себя оскорбленным, если бы кто-нибудь окрестил меня предателем, вором или пьянчужкой. Кто не знает себя, те могут кичиться незаслуженным одобрением, но со мной такого случиться не может, ибо я вижу себя насквозь, проникаю в себя, можно сказать, до самого нутра и очень хорошо знаю, что мне свойственно, а что нет. Я был бы более рад, если бы люди расточали мне меньше похвал, но знали меня лучше и основательнее. Ведь я мог бы быть признан мудрым в таком роде мудрости, который я сам считаю не

чем иным, как отъявленной глупостью.

Меня злит, что мои «Опыты» служат дамам своего рода предметом обстановки, и притом для гостиной. Эта глава сделает мой труд предметом, подходящим для их личной комнаты. Я предпочитаю общение с дамами наедине. На глазах у всего света оно менее радостно и менее сладостно. При расставании с теми или иными вещами наши чувства к ним становятся более пылкими, чем обычно. Мне предстоит расстаться с утехами мирской жизни, и я посылаю им мои последние поцелуи. Но вернемся к моему предмету.

В чем повинен перед людьми половой акт — столь естественный, столь насущный и столь оправданный, — что все как один не решаются говорить о нем без краски стыда на лице и не позволяют себе затрагивать эту тему в серьезной и благопристойной беседе? Мы не боимся произносить: убить, ограбить, предать, — но это запретное слово застревает у нас на языке… Нельзя ли отсюда вывести, что чем меньше мы упоминаем его в наших речах, тем больше останавливаем на нем наши мысли. И очень, по-моему, хорошо, что слова наименее употребительные, реже всего встречающиеся в написанном виде и лучше всего сохраняемые нами под спудом, вместе с

тем и лучше всего известны решительно всем. Любой возраст, любые нравы знают их нисколько не хуже, чем название хлеба. Не звучащие и лишенные начертаний, они запечатлеваются в каждом, хотя их не печатают и не произносят во всеуслышание. Хорошо также и то, что этот акт скрыт нами под покровом молчания и извлечь его оттуда даже затем, чтобы учинить над ним суд и расправу, — наитягчайшее преступление. Даже поносить его мы решаемся не иначе, как с помощью всевозможных описательных оборотов и словесных прикрас. Быть до того мерзким и отвратительным, что само правосудие считает предосудительным касаться и видеть его, — величайшее благодеяние для преступника; и он продолжает пребывать на свободе и наслаждаться безнаказанностью из-за того, что даже вынести ему приговор — противно.

Не обстоит ли тут дело положительно так же, как с запрещенными книгами, которые идут нарасхват и получают широчайшее распространение именно потому, что они под запретом? Что до меня, то я полностью разделяю мнение Аристотеля, который сказал, что стыдливость украшает юношу и пятнает старца[30] [broken link: #nc5_30].

Нижеследующими стихами древние наставляли свою молодежь, а их школа, по-моему, не в пример лучше нашей (ее достоинства мне представляются большими, ее недостатки — меньшими):

*И от Венеры кто бежит стремглав*
*И кто за ней бежит — равно неправ[31] [broken link: #nc5_31].*

*Tu, dea, tu rerum naturam sola gubernas,*
*Nec sine te quicquam dias in luminis oras*
*Exoritur, neque fit laetum nec amabile quicquam.[32] [broken link: #nc5_32]*

Не знаю, задавался ли кто-нибудь целью разлучить Палладу[33] [broken link: #nc5_33] и муз с Венерою и отдалить их от бога любви; что до меня, то я не вижу других божеств, которые были бы настолько под стать друг другу и столь многим друг другу обязаны. Кто отнимет у муз любовные вымыслы, тот похитит у них драгоценнейшее из их сокровищ; а кто заставит любовь отказаться от общения с поэзией и от ее помощи и услуг, тот лишит ее наиболее действенного оружия; и сделавший это обвинил бы тем самым бога близости и влечения и богинь, покровительниц человечно-

сти и справедливости, в черной неблагодарности и в отсутствии чувства признательности.

Я не настолько давно уволен в отставку из штата и свиты этого бога, чтобы не помнить о его мощи и доблести,

> *agnosco veteris vestigia flammae.[34] [broken link: #nc5_34]*

После лихорадки всегда остается немного жара и возбуждения.

> *Nec mihi deficit calor hic, hiemantibus annis.[35] [broken link: #nc5_35]*

Сколь бы я ни увял и ни высох, я все еще ощущаю кое-какое тепло — остатки былого пыла:

> *Qual l'alto Aegeo, per che Aquilone o Noto*
>
> *Cessi, che tutto prima il vuolse e scosse,*
>
> *Non s'accheta ei pero: ma'l sono e'l moto,*
>
> *Ritien de l'onde anco agitate e grosse.[36] [broken link: #nc5_36]*

Но, насколько я в таких вещах разбираюсь, мощь и доблесть этого бога в поэтическом изображении живее и деятельнее, нежели в своей сущности,

> *Et versus digitos habet.[37] [broken link:*

*#nc5_37]*

Поэзии как-то удается рисовать образы более страстные, чем сама страсть. И живая Венера — нагая и жаждущая объятий — не так хороша, как Венера здесь, у Вергилия:

> *Dixerat, et niveis hinc atque hinc diva lacertis*
>
> *Cunctantem amplexu molli fovet. Ille repente*
>
> *Accepit solitam flammam, notusque medullas*
>
> *Intravit calor, et labefacta per ossa cucurrit.*
>
> *Non secus atque olim tonitru cum rupta corusco*
>
> *Ignea rima micans percurrit lumine nimbos.*
>
> *Ea verba locutus,*
>
> *Optatos dedit amplexus, placidumque petivit*
>
> *Coniugis infusus gremio per membra soporem.[38] [broken link: #nc5_38]*

Но особо отмечено должно быть, по-моему, то,

что он рисует ее, пожалуй, чрезмерно пылкой для Венеры в замужестве. В этой благоразумной сделке желания не бывают столь неистовы; они пасмурны и намного слабее. Любовь не терпит, чтобы руководствовались чем-либо, кроме нее, и она с большой неохотой примешивается к союзам, которые установлены и поддерживаются в других видах и под другим наименованием; именно таков брак: при его заключении родственные связи и богатство оказывают влияние — и вполне правильно — нисколько не меньшее, если не большее, чем привлекательность и красота. Что бы ни говорили, женятся не для себя; женятся нисколько не меньше, если не больше, ради потомства, ради семьи. От полезности и выгодности нашего брака будет зависеть благоденствие наших потомков долгое время после того, как нас больше не станет. Потому-то мне нравится, что браки устраиваются скорее чужими руками, чем собственными, и скорее разумением третьих лиц, чем своим. До чего же все это далеко от любовного сговора! Вот и выходит, что допускать, состоя в этом почтенном и священном родстве, безумства и крайности ненасытных любовных восторгов — своего рода кровосмешение, о чем я, кажется, уже где-то говорил. Нужно,

учит Аристотель, сближаться с женой осторожно и сдержанно и постоянно помнить о том, что, если мы станем чрезмерно распалять в ней желания, наслаждение может заставить ее потерять голову и забыть о границах дозволенного. И то, что он говорит, имея в виду нравственные устои, подтверждается и врачами, толкующими о телесном здоровье, а они говорят следующее: слишком бурное наслаждение, жгучее и постоянно возобновляемое, портит мужское семя и тем самым затрудняет зачатие; с другой стороны, они указывают также на то, что при сближении, полном ласки и нежности, — а только такое и отвечает природе женщины, — чтобы вызвать в ней подлинную и плодоносную пылкость, нужно посещать ее редко и с изрядными перерывами,

> *Quo rapiat sitiens venerem interiusque recondat.[39] [broken link: #nc5_39]*

Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, нежели заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности. В этом деле требуются более устойчивые и прочные основания, и действовать тут нужно с неизменною осторожностью; горяч-

ность и поспешность здесь ни к чему.

Считающие, что вкладывать в брак любовь значит оказывать ему честь, поступают, по-моему, не иначе, чем те, кто, желая похвалить добродетель, твердят, будто благородное происхождение не что иное, как добродетель. Это — вещи и в самом деле некоторым образом соприкасающиеся, но они, вместе с тем, и значительно отличаются друг от друга; дело, однако, не ограничивается смешением их названий и сущностей; валя их в одну кучу, наносят ущерб им обеим. Благородное происхождение — великолепное качество, и отличие по этому признаку было установлено вполне правильно; но поскольку оно представляет собой качество, зависящее от воли другого и которое может достаться человеку порочному и ничтожному, его надлежит ценить много ниже, чем добродетель. Если знатность и впрямь добродетель, то это — добродетель искусственная и чисто внешняя, зависящая от века и от удачи, принимающая в разных странах различные формы, живая и смертная, без истоков, так же как река Нил[40] [broken link: #nc5_40], родовая и общая для всех принадлежащих к данному роду, покоящаяся на преемственности и уподоблении, выводимая в качестве следствия, и следствия

явно необоснованного. Образованность, телесная сила, доброта, красота, богатство, все прочие качества общаются между собой и вступают друг с другом в сношения; что же касается знатности, то она печется лишь о себе, не оказывая ни малейших услуг чему-либо другому. Одному из наших королей предложили на выбор двух притязавших на некую должность, из которых один был дворянином, а другой им не был. Король приказал оставить без внимания это качество и назначить на должность того, кто больше подходит к ней, но если достоинства обоих окажутся в точности равными, то в этом случае подобало отдать предпочтение знатности; и это было справедливым воздаянием должного ей уважения. Антигон ответил одному неизвестному юноше, просившему о предоставлении ему должности, занятой прежде его недавно умершим отцом, мужем великой доблести: «Друг мой, в раздаче подобных милостей я руководствуюсь не столько знатностью моих воинов, сколько их личной отвагой»[41] [broken link: #nc5_41].

И в самом деле, негоже поступать по примеру спартанцев, у которых должности царских служителей — трубачей, флейтистов, кухарей — наследовали их дети, сколь бы несведущими

они в этих ремеслах ни были и сколь бы ни уступали в умелости более опытным[42] [broken link: #nc5_42].

В Калькутте к людям знатным относятся как к своего рода неземным существам; вступать в брак им воспрещается, и из всех поприщ для них открыто только военное. Наложниц они могут иметь сколько пожелают, а женщины их — сколько угодно любовников, причем дело обходится без ревности со стороны тех и других; однако вступать в связь с женщинами другого сословия, кроме их собственного, — преступление непростительное, и оно карается смертью. Они почитают себя осквернеными, если кто-нибудь, проходя мимо, случайно притронется к ним, и так как их знатность подвергается в таких случаях тягчайшему оскорблению, — а они ее свято блюдут, — они убивают всякого, кто подойдет к ним слишком близко, так что незнатные вынуждены, идя по улице, предупреждать о себе криком, совсем как гондольеры в Венеции на перекрестках каналов, дабы не столкнуться друг с другом; и знатные по своему усмотрению велят им держаться определенных кварталов. Первые благодаря этому избегают упомянутого бесчестия, которое считается у них несмываемым,

вторые же — верной смерти. Ни время, сколь бы продолжительным оно ни было, ни благоволение государя, ни заслуги, ни добродетели, ни богатство не могут превратить простолюдина в знатного человека. Этому способствует также и принятый здесь обычай, решительно воспрещающий браки между представителями родов, занимающихся неодинаковым ремеслом; никто из семьи сапожника не может сочетаться браком с кем-либо из семьи плотника, и родители обязаны обучать детей ремеслу, которым занимаются сами, и только ему и никакому другому, что приводит к сохранению между ними различий и к поддержанию на одном уровне их достатка[43] [broken link: #nc5_43].

Удачный брак, если он вообще существует, отвергает любовь и все ей сопутствующее; он старается возместить ее дружбой. Это — не что иное, как приятное совместное проживание в течение всей жизни, полное устойчивости, доверия и бесконечного множества весьма осязательных взаимных услуг и обязанностей. Ни одна женщина, которой брак пришелся по вкусу,

> *optato quam iunxit lumine taeda,[44] [broken link: #nc5_44]*

не пожелала бы поменяться местами с любовницей или подругою своего мужа. Если он привязан к ней как к жене, то чувство это и гораздо почетнее и гораздо прочнее. Когда ему случится пылать и настойчиво увиваться возле какой-нибудь другой женщины, пусть тогда его спросят, предпочел бы он, чтобы позор пал на его жену или же на любовницу, чье несчастье опечалило бы его сильнее, кому он больше желает высокого положения; ответы, если его брак покоится на здоровой основе, не вызывают ни малейших сомнений. А то, что мы видим так мало удачных браков, как раз и свидетельствует о ценности и важности брака. Если вступать в него обдуманно и соответственно относиться к нему, то в нашем обществе не найдется, пожалуй, лучшего установления. Мы не можем обойтись без него и вместе с тем мы его принижаем. Здесь происходит то же, что наблюдается возле клеток: птицы, находящиеся на воле, отчаянно стремятся проникнуть в них; те же, которые сидят взаперти, так же отчаянно стремятся выйти наружу. Сократ на вопрос, что, по его мнению, лучше — взять ли жену или вовсе не брать ее, — ответил следующим образом: «Что бы ты ни избрал, все равно придется раскаиваться»[45] [broken link: #nc5_45].

Это — сговор, к которому точка в точку подходит известное изречение: homo homini или deus или lupus[46] [broken link: #nc5_46]. Для прочного брака необходимо сочетание многих качеств. В наши дни он приносит больше отрады людям простым и обыкновенным, которых меньше, чем нас, волнуют удовольствия, любопытство и праздность. Вольнолюбивые души, вроде моей, ненавидящие всякого рода путы и обязательства, мало пригодны для жизни в браке,

> *Et mihi dulce magis resoluto vivere collo.[47] [broken link: #nc5_47]*

Руководствуйся я своей волей, я бы отказался жениться даже на самой мудрости, если бы она меня пожелала. Но мы можем сколько угодно твердить свое, а обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за собой. Большинство совершаемых мною поступков вызвано примером со стороны и не вытекает из моего выбора. Я никоим образом не жаждал этого шага; меня взяли и повели, и я был подхвачен случайными и посторонними обстоятельствами. Ибо не только вещи сами по себе стеснительные, но и любая вещь, какой бы отвратительной, мерзкой и отнюдь не неизбежной для нас она ни была,

не может не стать в конце концов приемлемой в силу известных случайностей и условий, — вот до чего шатки человеческие устои! И, разумеется, я был подготовлен к браку гораздо хуже и менее пригоден к нему, чем теперь, когда испытал его на себе. И сколь бы развращенным меня ни считали, я в действительности соблюдал законы супружества много строже, чем обещал или надеялся в свое время. Поздно брыкаться, раз дал стреножить себя. Свою свободу следует ревниво оберегать, но, связав себя обязательствами, нужно подчиняться законам долга, общим для всех, или, во всяком случае, прилагать усилия к этому. Кто заключает подобную сделку с тем, чтобы привнести в нее ненависть и презрение, тот поступает несправедливо и недостойно. И пресловутое правило, которое, как я вижу, переходит из рук в руки от одних женщин к другим, словно некий священный девиз:

*О муже как рабыня пекись*
*И как врага его берегись,*

что означает: оказывай ему, вопреки своей воле, почтение, однако враждебное и полное недоверия, — правило, похожее на боевой клич и вызов на поединок, — равным образом и оскор-

бительно и прискорбно.

Я слишком ленив, чтобы вынашивать в себе столь злостные умыслы. По правде говоря, я все еще не достиг той поистине совершенной ловкости и изворотливости ума, которая позволяет наводить тень на правое и неправое и насмехаться над любыми порядками и правилами, если они мне не по нраву. Какую бы ненависть ни возбуждали во мне суеверия, я не впадаю из-за этого тотчас в безверие. Если не всегда выполняешь свой долг, то нужно, по крайней мере, всегда помнить о нем и стремиться блюсти его. Жениться, ничем не связывая себя, — предательство. Однако продолжим.

Наш поэт изображает супружество, полное согласия и взаимной привязанности, в котором, впрочем, не очень-то много обоюдного уважения. Хотел ли он этим сказать, что вполне возможно предаваться неистовым утехам любви и, несмотря на это, сохранять должное почтение к браку и что можно наносить ему некоторый ущерб и все же не разрушить его? Иной слуга обкрадывает своего господина, хоть и не питает к нему ни малейшей ненависти. Красота, стечение обстоятельств, судьба (ибо и судьба прикладывает здесь руку),

*fatum est in partibus illis*

*Quas sinus abscondit: nam, si tibi sidera cessent,*

*Nil faciet longi mensura incognita nervi,[48] [broken link: #nc5_48]*

сблизили женщину с посторонним мужчиной, быть может, и не так прочно, чтобы в ней не оставалось кое-какой привязанности к законному мужу, которая и удерживает ее подле него. Это два совершенно различных чувства, пути которых расходятся и нигде не совпадают. Женщина может отдаться мужчине, за которого она не пожелала бы выйти замуж, и притом не в силу соображений, связанных с имущественной стороной дела, а просто потому, что он не вполне пришелся ей по душе. Лишь немногие из женившихся на своих прежних подругах не раскаивались в содеянном ими. И то же можно сказать об обитателях надзвездного мира. До чего же скверная пара вышла из Юпитера и его жены[49] [broken link: #nc5_49], которую он соблазнил до брака и которой досыта насладился, забавляясь с нею любовными шалостями!

Это, согласно пословице, не что иное, как сперва нагадить в корзину, а вслед за тем водрузить

ее себе на голову.

В свое время я видел, — и, надо сказать, среди высокопоставленных лиц, — как бесстыднейшим и бесчестнейшим образом прибегали к браку ради исцеления от любви; однако сущность их слишком разная. Мы можем любить, не испытывая от этого никаких неудобств, две различные и друг другу противоположные вещи. Исократ говорил, что город Афины нравился посещавшим его подобно тому, как нравятся женщины, с готовностью расточающие свою любовь; всякий приезжал сюда, чтобы прогуляться по этому городу и проводить здесь с приятностью время, но никто не любил его настолько, чтобы сочетаться с ним браком, то есть обосноваться в нем и избрать его местом своего жительства[50] [broken link: #nc5_50]. Я с чувством досады смотрел на мужей, которые ненавидят жен только лишь потому, что сами грешны перед ними; а их, по-моему, не следует меньше любить из-за нашей вины; хотя бы вследствие нашего раскаяния и сострадания они должны сделаться нам дороже, чем были.

Цели, преследуемые любовью и браком, различны, и все же, как говорит Исократ, они некоторым образом совместимы друг с другом. За браком остаются его полезность, оправданность, по-

чтенность и устойчивость; наслаждение в браке вялое, но более всеохватывающее. Что до любви, то она зиждется исключительно на одном наслаждении, и в ее лоне оно и впрямь более возбуждающее, более пылкое и более острое, — наслаждение, распаляемое стоящими перед ним преградами. А в наслаждении и нужна пряность и жгучесть. И в чем нет ранящих стрел и огня, то совсем не любовь. Щедрость женщин в замужестве чересчур расточительна, и она притупляет жало влечения и желаний. Поглядите, какие старания приложили в своих законах Ликург[51] [broken link: #nc5_51] и Платон, чтобы избежать этой помехи.

Женщины нисколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом, — ведь эти правила сочинили мужчины, и притом безо всякого участия женщин. Вот почему у них с нами естественны и неминуемы раздоры и распри, и даже самое совершенное согласие между ними и нами — в сущности говоря, чисто внешнее, тогда как внутри все бурлит и клокочет. По мнению нашего автора[52] [broken link: #nc5_52], мы ведем себя по отношению к женщинам до последней степени неразумно. Ведь мы хорошо

знаем по личному опыту, до чего они ненасытней и пламенней нас в любовных утехах, — тут и сравнивать нечего! — Ведь мы располагаем свидетельством того жреца древности, который бывал поочередно то мужчиной, то женщиной,

> *Venus huic erat utraque nota.[53] [broken link: #nc5_53]*

Ведь мы слышали, кроме того, из их собственных уст одобрительные отзывы об императоре, а также императрице римских, живших в разное время, но равно прославленных своими великими достижениями в этом деле (он в течение ночи лишил девственности десяток сарматских пленниц, а она за одну ночь двадцать пять раз насладилась любовью, меняя мужчин соответственно своим нуждам и своему вкусу)[54] [broken link: #nc5_54],

> *adhuc ardens rigidae tentigine vulvae,*
>
> *Et lassata viris, nondum satiata, recessit.[55] [broken link: #nc5_55]*

Ведь в связи с процессом, начатым в Каталонии одной женщиной, — она жаловалась на чрезмерное супружеское усердие своего мужа, к чему ее побудило, по моему разумению, не столько то, что

оно было и вправду ей в тягость (я верую лишь в те чудеса, которые признает наша религия), сколько жажда свергнуть и обуздать под этим предлогом власть мужей над их женами даже в том, что есть первейшее и важнейшее в браке, и показать, что женской злобности и сварливости нипочем даже брачное ложе и они попирают все, что угодно, вплоть до радостей и услад Венеры; на каковую жалобу муж этой женщины (человек и впрямь распутный и похотливый) ответил, что даже в постные дни он не может обойтись самое малое без десятка сближений со своей женой, — ведь в связи с этим процессом последовал знаменательный приговор, вынесенный королевой Арагонской и гласивший, что после обстоятельного обсуждения этого вопроса Советом славная королева, дабы преподать четкие правила и показать впредь и навеки образец сдержанности и скромности, требующихся во всяком честном брачном союзе, повелела, имея в виду установить законный и необходимый предел, чтобы число ежедневных сближений между супругами ограничивалось шестью, ибо, значительно преуменьшая и урезывая истинные потребности и желания своего пола, она, по ее словам, тем не менее решилась навести в этом

деле порядок и ясность, а стало быть, и достигнуть в нем устойчивости и неизменности[56] [broken link: #nc5_56]. Ведь о том же толкуют в своих сочинениях и ученые, обсуждая, каким должно быть влечение и любострастие женщин, поскольку их разум, нравственное самоусовершенствование и добродетели кроятся по той же мерке, и приводя разнообразнейшие суждения касательно их и нашего любострастия. И, наконец, нам также отлично известно, что глава законоведов Солон допускал самое большее три сближения в месяц, да и то, чтобы не последовало окончательного разрыва между супругами[57] [broken link: #nc5_57].

Лично удостоверившись в этом и прочитав все эти и подобные им наставления, мы все же назначили в удел женщинам какое-то особо строгое воздержание и к тому же под страхом наитягчайшего и беспощадного наказания.

Нет страсти более неистовой и неотвязной, чем эта; а мы хотим, чтобы они одни сопротивлялись ей не попросту как пороку, для которого существует своя определенная мера, но видели в ней предельную гнусность и святотатство, нечто еще более отвратительное, чем безверие или смертоубийство, тогда как мы сами предаемся ей, не

впадая в грех и не заслуживая даже упрека. Иные из нашего брата пытались справиться с нею, и из их признаний достаточно ясно, насколько трудно или, правильнее сказать, невозможно, даже прибегая к различным вспомогательным средствам, смирить, ослабить и охладить плоть. Мы же, напротив, хотим, чтобы наши женщины были здоровыми, крепкими, всегда наготове нам услужить, упитанными и вместе с тем целомудренными, то есть, чтобы они были одновременно и горячими и холодными; а между тем, хотя мы утверждаем, что назначение брака — препятствовать женщинам пылать, он, вследствие принятых у нас нравов, дает им не очень-то много возможностей охладиться. Если они выходят замуж за человека, в котором еще кипят силы молодости, он пустится добывать себе славу, растрачивая их в другом месте:

> *Sit tandem pudor, aut eamus in ius:*
> *Multis mentula millibus redempta,*
> *Non est haec tua, Basse; vendidisti.[58] [broken link: #nc5_58]*

Жена философа Полемона справедливо подала на него в суд за то, что он принялся засевать бесплодную ниву тем семенем, которым ему над-

лежало засевать плодоносную. Если же супруг — человек пожилой и расслабленный, то жена, пребывая в замужестве, оказывается в положении не в пример худшем, чем девица или вдова. Мы считаем ее полностью обеспеченной всем, что ей нужно, раз возле нее — законный супруг, подобно тому как римляне сочли весталку Клодию Лету осквернённой и обесчещенной только лишь потому, что к ней приблизился Калигула, хотя и было доказано, что он к ней даже не прикасался[59] [broken link: #nc5_59]; между тем в действительности это лишь распаляет желания женщины, ибо прикосновение и постоянное присутствие рядом с нею мужчины, кем бы он ни был, возбуждает в ней чувственность, которая была бы спокойнее, оставайся она в одиночестве. Весьма возможно, что, стремясь возвысить посредством этого обстоятельства и всего сопряженного с ним заслугу жить в воздержании, польский король Болеслав и его жена Кинга и дали на брачном ложе в день своей свадьбы по обоюдному согласию обет целомудрия и ни разу его не нарушили вплоть до того времени, пока в них не угасло супружеское влечение[60] [broken link: #nc5_60].

Мы воспитываем наших девиц, можно сказать,

с младенчества исключительно для любви: их привлекательность, наряды, знания, речь, все, чему их учат, преследует только эту цель и ничего больше. Их наставницы не запечатлевают в их душах ничего, кроме лика любви, хотя бы уже потому, что без устали твердят поучения, рассчитанные на то, чтобы внушить им отвращение к ней. Моя дочь (она у меня единственная) в таком возрасте, в каком законы допускают замужество для наиболее пылких из них; но она, что называется, развития запоздалого, тоненькая и хрупкая, и к тому же взращена матерью в полном уединении и под неослабным надзором, так что только-только начинает освобождаться от детской бесхитростности и непосредственности. Так вот, как-то при мне она читала вслух французскую книгу. В ней встретилось некое слово, которым называют широко известное дерево. Так как это слово похоже на одно непристойное, женщина, приставленная наблюдать за поведением моей дочери, внезапно и чересчур резко оборвала ее и заставила пропустить это опасное место. Я предоставил ей действовать по своему усмотрению, чтобы не нарушать принятых у них правил, — я никогда не вмешиваюсь в дела по их ведомству: женскому царству присущи свои

таинственные особенности, которых нам лучше не касаться. Но, если не ошибаюсь, общение с двадцатью слугами в течение полугода не могло бы с такой четкостью запечатлеть в ее воображении и самое слово и понимание, что именно обозначают эти преступные слоги и какие следствия оно влечет за собой, как это сделала славная старая женщина своим окриком и запрещением.

> *Motus doceri gaudet Ionicos*
> *Matura virgo, et frangitur artubus*
> *Iam nunc, et incestos amores,*
> *De tenero meditatur ungui.[61] [broken link: #nc5_61]*

Пусть они отбросят стеснение и развяжут свои язычки, и сразу же нам станет ясно, что в познаниях этого рода мы по сравнению с ними сущие дети. Послушайте, как они судачат о наших ухаживаниях и о разговорах, которые мы с ними ведем, и вы поймете, что мы не открываем им ничего такого, чего бы они не знали и не переварили в себе без нас. Уж не потому ли, что они были в прежнем существовании, как объясняет Платон, развращенными юношами?[62] [broken link: #nc5_62] Моим ушам случилось однажды оказаться в таком укромном местечке, в котором

они могли не пропустить ни одного слова из того, что говорили между собою наши девицы, не подозревал, что их кто-то подслушивает; но разве я могу это пересказать? Матерь божья! — подумал я, — если мы теперь начнем изучать похвальбу Амадиса и иные описания Боккаччо и Аретино[63] [broken link: #nc5_63], чтобы казаться людьми понаторевшими в подобных делах, это будет просто потеря времени! Нет таких слов, примеров, уловок, которых они не знали бы лучше, чем все наши книги: это — наука, рождающаяся у них прямо в крови,

> *Et mentem Venus ipsa dedit,[64] [broken link: #nc5_64]*

и ее непрерывно нашептывают им и вкладывают в их душу такие искусные учителя, как природа, молодость и здоровье; им не приходится даже изучать, они сами ее творят.

> *Nec tantum niveo gavisa est ulla columbo*
> *Compar, vel si quid dicitur improbius,*
> *Oscula mordenti semper decerpere rostro.*
> *Quantum praecipue multivola est mulier.[65] [broken link: #nc5_65]*

Если бы это вложенное в них природой

неистовство страсти не сдерживалось страхом и сознанием своей чести, которые им постарались внушить, то мы были бы опозорены ими. Всякое побуждение в нашем мире направлено только к спариванию и только в нем находит себе оправдание: этим влечением пронизано решительно все, это средоточие, вокруг которого все вращается. И посейчас еще мы можем ознакомиться с распоряжениями древнего мудрого Рима, составленными на потребу любви, а также с предписаниями Сократа касательно обучения куртизанок:

> *Nec non libelli Stoici inter sericos*
>
> *Iacere pulvillos amant.[66] [broken link: #nc5_66]*

Зенон в составленных им законах поместил правила о положении ног и необходимых телодвижениях при лишении девственности. А что содержала в себе книга философа Стратона «О плотском соединении»? А о чем толковал Теофраст в своих сочинениях, озаглавленных им: одно — «Влюбленный», второе — «О любви»? А о чем Аристипп в своем «О наслаждениях древности»? А на что иное притязает Платон в своих пространных и столь живых описаниях самых

изощренных любовных утех его времени? А книга «О влюбленном» Деметрия Фалерского? А «Клиний, или Поневоле влюбленный» Гераклида Понтийского? А сочинение Антисфена «О том, как зачинать детей, или О свадьбе» или еще «О повелителе или любовнике»? А Аристона «О любовных усилиях»? А Клеанфа: одно — «О любви» и другое — «Об искусстве любить»? А «Диалоги влюбленных» Сфера и «Сказка о Юпитере и Юноне» Хрисиппа, бесстыдная до невозможности, равно как и его «Пятьдесят писем», сплошь заполненных непристойностями? Не стану называть сочинения философов-эпикурейцев, о которых и говорить нечего. В былые времена насчитывалось до полусотни божеств, покровительствовавших этому делу и обязанных всячески его пестовать; а был и такой народ, который, чтобы смирять похоть тех, кто приходил помолиться, содержал при своих храмах девок и мальчиков, дабы ими мог насладиться всякий и всем вменялось в обязанность сначала сблизиться с ними и лишь после этого можно было присутствовать при обряде богослужения[67] [broken link: #nc5_67]. Nimirum propter continentiam incontinentia necessaria est; incendium ignibus extinguitur[68] [broken link: #nc5_68]. В большинстве стран мира эта часть

тела обожествлялась. В одной и той же области одни изрезывали ее, чтобы предложить богам в качестве посвятительной жертвы кусочек от ее плоти, другие в качестве такой же посвятительной жертвы предлагали им свое семя. А в другом краю молодые мужчины на глазах у всех протыкали ее и, проделав в разных местах отверстие между кожей и мясом, продевали в эти отверстия такие длинные и толстые прутья, какие только были в состоянии вытерпеть; позднее они складывали из этих прутьев костер, посвящая его своим божествам, и те юноши, которых подавляла эта невероятно жестокая боль, почитались малосильными и недостаточно целомудренными. В других местах верховного жреца чтили и узнавали по этим частям и при совершении многих религиозных обрядов с превеликой торжественностью несли в честь различных божеств изображение детородного члена.

Египтянки на празднике вакханалий также носили на шее его деревянное изображение, сделанное весьма искусно, большое и тяжелое, каждая по своим силам, и, кроме того, на статуе их главного бога он был настолько большим, что превосходил своими размерами его тело.

В нашей округе замужние женщины соору-

жают из своей головной повязки нечто весьма похожее на него, и эта вещь свисает у них на лбы; делают они это затем, чтобы прославить его за наслаждения, которые он им доставляет; овдовев, они помещают эту вещицу сзади и прячут ее под прической.

Честь подносить богу Приапу цветы и венки предоставлялась тем из римских матрон, которые отличались чистотой нравов и безупречным образом жизни, а на его срамные части сажали обыкновенно девственниц при их вступлении в брак. Не знаю, не довелось ли и мне в свое время наблюдать нечто похожее на этот благочестивый обряд. А каково назначение той презабавной шишки на штанах наших отцов, которую мы еще и теперь видим у наших швейцарцев? И к чему нам штаны — а такие мы носим ныне, — под которыми отчетливо выделяются наши срамные части, частенько, что еще хуже, при помощи лжи и обмана превышающие свою истинную величину?

Мне хочется верить, что этот покрой одежды был придуман в лучшие и более совестливые века, с тем, чтобы не вводить в заблуждение людей и чтобы каждый у всех на глазах честно показывал, чем именно он владеет. Более бесхит-

ростные народы и посейчас еще в этом случае точно воспроизводят действительность. Тогда это было попросту меркою для портных, подобно тому как теперь им нужны размеры руки и ноги.

Тот простак[69] [broken link: #nc5_69], который в дни моей юности оскопил в своем великом и славном городе множество великолепнейших древних статуй, чтобы они не вводили в соблазн наши глаза, разделяй он полностью мнение другого простака, на этот раз древнего, —

> *Flagitii principium est nudare inter cives corpora[70] [broken link: #nc5_70] —*

должен был сообразить, — ведь на таинствах Доброй богини[71] [broken link: #nc5_71] все, даже отдаленно напоминавшее мужское начало, решительно устранялось, — что незачем было и браться за это дело, раз он не повелел оскопить также и жеребцов, и ослов, и, наконец, самое природу:

> *Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque,*
>
> *Et genus aequoreum, pecudes, pictaeque volucres,*
>
> *In furias ignemque ruunt.[72] [broken link: #nc5_72]*

Боги, как говорит Платон, снабдили нас членом непокорным и самовластным, который, подобно дикому зверю, норовит, побуждаемый ненасытною жадностью, подмять под себя все и вся. Точно так же одарили они и женщин животным прожорливым и вечно голодным, которое, если ему не дать в положенный срок потребной для него пищи, приходит в ярость и, сгорая от нетерпения, а также заражая своим бешенством их тела, препятствует правильному движению соков, приостанавливает дыхание и вызывает тысячи всевозможных недугов, пока не проглотит плод, являющийся предметом общего им всем вожделения, и он, обильно оросив дно их матки, не оставит в ней семени.

Моему законодателю подобало бы догадаться, что было бы, пожалуй, более целомудренным и полезным знакомить женщин с тем, что у нас есть на деле, чем допускать их строить на этот счет всяческие догадки в меру смелости и живости их воображения. Не имея точного представления об этих вещах, они, подстрекаемые желанием и мечтами, рисуют себе нечто чудовищное, втрое большее против действительности. Один мой знакомый погубил себя тем, что позволил рассмотреть некую часть своего тела

при таких обстоятельствах, которые не допускали ни малейшей возможности использовать ее настоящим и более существенным образом.

А мало ли зла приносят изображения, оставляемые мальчишками, снующими в проходах и на лестницах общественных зданий? Они-то и порождают то убийственное презрение, которое питают наши девицы к этой мужской принадлежности, если она обычной величины. Кто знает, не имел ли в виду Платон именно это, когда предписал, по примеру других благоустроенных государств, чтобы мужчины и женщины, старые и молодые, присутствовали в его гимнасиях на виду друг у друга совершенно нагими[73] [broken link: #nc5_73]. Индианок, которые всегда видят мужчин, что называется, в чем мать родила, это зрелище нисколько не распаляет и оставляет спокойными. Женщины великого царства Пегу спереди прикрываются лишь ниспадающим с пояса крошечным лоскутком, к тому же настолько узким, что, как ни стараются они ходить возможно пристойнее, их на каждом шагу видят такими, как если бы на них ничего не было. Они утверждают, что это придумано с тем, чтобы привлекать мужчин к женскому полу и отвлекать от их собственного, к чему этот народ чрезвычайно

привержен. Но, по-моему, можно решительно утверждать, что женщины от этого остаются скорее в проигрыше, нежели в выигрыше, поскольку вовсе не утоленный голод ощущается острее, чем утоленный наполовину, хотя бы одними глазами[74] [broken link: #nc5_74]. Говорила же Ливия[75] [broken link: #nc5_75], что нагой мужчина для порядочной женщины не что иное, как статуя. Спартанские женщины, более целомудренные, чем наши девицы, каждодневно видели молодых людей своего города обнаженными, когда те проделывали телесные упражнения, да и сами не очень-то следили за тем, чтобы их бедра при ходьбе были надежно прикрыты, находя, как говорит Платон[76] [broken link: #nc5_76], что они достаточно прикрыты своей добродетелью и поэтому ни в чем другом не нуждаются. Но те, о которых говорит св. Августин[77] [broken link: #nc5_77], те и впрямь считали искушение, исходящее от наготы, наделенным поистине колдовской силой и выражали в связи с этим сомнение, воскреснут ли женщины, чтобы предстать на Страшном суде, сохраняя свой собственный пол, или же сменят его на наш, дабы не искушать нас в этом царстве блаженных.

Короче говоря, женщин соблазняют, их рас-

паляют всеми возможными средствами: мы без конца горячим и будоражим их воображение, а потом жалуемся на их ненасытность. Так давайте признаемся в истине: каждый из нас без исключения сильней страшится позора, который навлекают на него пороки его жены, чем того, что ложится на него из-за его собственных; в большей мере заботится (поразительная самоотверженность!) о совести своей драгоценной супруги, чем о своей собственной; предпочитает стать вором и святотатцем, видеть свою жену убийцей и еретичкой, чем допустить, чтобы она не была скромней и чище своего мужа.

Да и они сами охотнее пошли бы в суд, чтобы заработать на жизнь, и на войну — за славою, чем, живя в праздности и посреди наслаждений, с превеликим трудом оберегать самих себя от соблазнов. Разве им невдомек, что нет такого купца, прокурора, солдата, который не бросил бы своего дела, чтобы погнаться за тем, другим, и что так же поступает и крючник, и чеботарь, как бы они ни были изнурены и истощены работой и голодом?

*Num tu, quae tenuit dives Achoemenes,*
*Aut pinguis Phrygiae Mygdonias opes,*

*Permutare velis crine Licinniae*
*Plenas aut Arabum domos,*
*Dum flagrantia detorquet ad oscula*
*Cervicem, aut facili saevitia negat,*
*Quae poscente magis gaudeat eripi,*
*Interdum rapere occupet?[78] [broken link: #nc5_78]*

До чего же несправедлива оценка пороков! И мы сами и женщины способны на тысячи проступков, которые куда гаже и гнуснее, чем любострастие; но мы рассматриваем и оцениваем пороки не соответственно их природе, а руководствуясь собственной выгодой, от чего и проистекает такая предвзятость в нашем отношении к ним. Суровость наших понятий приводит к тому, что приверженность женщин к названному пороку становится в наших глазах отвратительнее и гаже, чем того заслуживает его сущность, и ведет к последствиям еще худшим, чем причина, его породившая. Не знаю, превосходят ли подвиги Цезаря и Александра по части проявленной ими стойкости и решительности незаметный подвиг прелестной молодой женщины, воспитанной на наш лад, живущей посреди блеска и суеты света, подавляемой столькими

примерами противоположного свойства и все же не поддающейся натиску тысячи непрерывно и неотступно преследующих ее молодцов. Нет дела более трудного и хлопотливого, чем это ничегонеделанье. Я считаю, что легче носить, не снимая, всю жизнь доспехи, чем тяжкое бремя девственности, а обет безбрачия, на мой взгляд, — самый благородный из всех, ибо он самый тягостный: diaboli virtus in lumbis est[79] [broken link: #nc5_79], говорит св. Иероним.

Итак, наиболее мучительный и суровый долг, какой только можно придумать для человека, мы возложили на дам и честь выполнять его предоставили им одним. Это может служить им дополнительным побуждением упорно держаться его и достаточно веским основанием для пренебрежительного отношения к нам и для сведения на нет того преимущества в доблести и добродетели, которое мы, по нашему мнению, над ними имеем. Если они хорошенько поразмыслят над этим, то без труда обнаружат, что из-за этого мы не только их почитаем, но и гораздо сильнее любим. Порядочный человек, встретив отказ, не прекратит своих домогательств, если причина отказа — целомудрие, а не иной выбор. Мы можем сколько угодно клясться, и угрожать, и

жаловаться — все ложь; мы любим их из-за этого пуще прежнего: нет приманки неотразимее, чем женская скромность, когда она не резка и не мрачна. Упорствовать, столкнувшись с ненавистью или презрением, — тупость и подлость; но упорствовать, столкнувшись с решительностью, исполненной добродетели и постоянства, к которым присоединяется немного благосклонности и признательности, — дело вполне подходящее для души открытой и благородной. Женщины могут допускать наши ухаживания лишь до определенных пределов и вместе с тем, нисколько не унижая своего достоинства, дать нам почувствовать, что отнюдь не гнушаются нами.

Ведь закон, требующий от них, чтобы они питали к нам отвращение за то, что мы поклоняемся им, и ненавидели нас за то, что мы любим их, разумеется, чрезмерно жесток, хотя бы уже потому, что его трудно придерживаться. Почему бы им не выслушивать наши предложения и мольбы, раз они не повинны в нарушении долга скромности? Зачем обязательно выискивать в наших словах якобы скрытый в них злонамеренный умысел? Одна королева, наша современница, заметила, что пресекать эти искательства — не что иное, как свидетельство слабости и призна-

ние собственной неустойчивости, и что дама, не испытавшая искушений, не вправе похваляться своим целомудрием.

Границы чести не так уж тесны: ей есть куда отступить, она может кое-чем поступиться, нисколько не умаляя себя. На окраине ее царства существует кое-какое пространство, на деле от нее независимое, для нее маловажное и предоставленное себе самому. Кто смог ее потеснить и принудить укрыться в ее убежище и твердыне и не удовлетворен своею удачей, тот поистине не блещет умом. Величие победы измеряется степенью ее трудности. Вы хотите знать, какое впечатление оставили в сердце женщины ваши ухаживания и ваши достоинства? Соразмеряйте свой успех с ее нравственностью. Иная, давая очень немного, дает очень много. Значительность благодеяний определяется только усилиями, которые требуются от воли того, кто их оказывает. Остальные сопутствующие благодеянию обстоятельства немы, мертвы и случайны. Дать это немногое стоит ей больше, чем ее подруге отдать все. Если редкость вообще способствует ценности чего бы то ни было, то больше всего в данном случае; думайте не о том, как это немного, а о том, сколь немногие это имеют. Стоимость мо-

неты меняется сообразно чекану и доверию или недоверию к месту, в котором она отчеканена.

Хотя досада и нескромное легкомыслие могут побуждать некоторых крайне неуважительно отзываться о той или иной женщине, все же добродетель и истина всегда берут верх над подобными толками. И я знаю таких, чье доброе имя в течение долгого времени подвергалось несправедливым нападкам, но в конце концов они без всяких стараний и хитростей восстановили его и снискали всеобщее одобрение мужчин исключительно за свое постоянство; ныне всякий убеждается в том, что поверил лжи, и сожалеет об этом; в девичестве поведения несколько подозрительного, они стоят теперь в первом ряду наших наиболее почтенных и порядочных женщин. Некто сказал Платону: «Все поносят тебя». — «Пусть себе, — ответил Платон, — я буду жить таким образом, что заставлю их изменить свои речи»[80] [broken link: #nc5_80]. Кроме страха господня и награды, обретаемой в доброй славе, которые должны побуждать женщин блюсти себя в чистоте, их приневоливает к тому же и испорченность нашего века, и будь я на их месте, я скорее предпочел бы все, что угодно, чем отдавать свое доброе имя в столь опасные руки. В мое вре-

мя удовольствие поверять свои любовные тайны (удовольствие, нимало не уступающее отрадам самой любви) мог позволить себе только тот, кто располагал верным и единственным другом; ныне же обычные разговоры в больших собраниях и за столом — это похвальба милостями, вырванными у дам, и тайными их щедротами. Поистине, эти неблагодарные, нескромные и до крайности ветреные люди проявляют величайшую гнусность и низость, позволяя себе так беспощадно терзать, топтать и разбрасывать столь нежные дары женской благосклонности.

Наша чрезмерная и несправедливая нетерпимость к разбираемому пороку вызывается самой глупой и беспокойной болезнью, какие только поражают людские души, а именно ревностью.

> *Quis vetat apposito lumen de lumine sumi?*
>
> *Dent licet assidue, nil tamen inde perit[81] [broken link: #nc5_81]*

Она, равно как и зависть, ее сестра, кажутся мне самыми нелепыми из всех пороков. О последней мне сказать нечего: эта страсть, которую изображают такой неотвязной и мощной, не соблаговолила коснуться меня. Что же касается первой, то она мне знакома, хотя бы с виду. Ощу-

щают ее и животные: пастух Крастис воспылал любовью к одной из коз своего стада, и что же! ее козел, когда Крастис спал, боднул его в голову и размозжил ее[82] [broken link: #nc5_82]. Подобно некоторым диким народам, мы достигли крайних степеней этой горячки; более просвященные затронуты ею, — что правда, то правда, — но она их не захватывает и не подчиняет:

*Ense maritali nemo confossus adulter*

*Purpureo Stygias sanguine tinxit aquas.[83] [broken link: #nc5_83]*

Лукулл, Цезарь, Помпеи, Антоний, Катон и другие доблестные мужи были рогаты и, зная об этом, не поднимали особого шума. В те времена нашелся лишь один дурень — Лепид, — умерший от огорчения, которое ему причинила эта напасть[84] [broken link: #nc5_84].

*Ahi tum te miserum malique fati,*

*Quem attractis pedibus, patente porta,*

*Percurrent mugilesque raphanique.[85] [broken link: #nc5_85]*

И бог в рассказе нашего поэта, застав со своею супругой одного из ее дружков, ограничился тем, что пристыдил их обоих,

*atque aliquis de diis non tristibus optat*
*Sic fieri turpis;[86] [broken link: #nc5_86]*

и он не преминул воспылать от предложенных ею сладостных ласк, сетуя только на то, что она, видимо, перестала доверять горячности его чувства:

*Quid causas petis ex alto, fiducie cessit*
*Quo tibi, diva, mei?[87] [broken link: #nc5_87]*

Больше того, она обращается с просьбой, касающейся ее внебрачного сына,

*Arma rogo genitrix nato,[88] [broken link: #nc5_88]*

и он охотно выполняет ее; и об Энее Вулкан говорит с уважением:

*Arma acri facienda viro.[89] [broken link: #nc5_89]*

Все это полно человечности, превышающей человеческую. Впрочем, это сверхъизобилие доброты я согласен оставить богам:

*nec divis homines componier aequum est.[90] [broken link: #nc5_90]*

Хотя вопрос о брачном или внебрачном зачатии прижитых совместно детей и не затрагивает, в сущности, женщин, — не говорю уж о том, что самые суровые законодатели, умалчивая о нем в своих сводах, тем самым решают его, — все же они, неведомо почему, подвержены ревности больше мужчин, и она обитает в них, как у себя дома:

> *Saepe etiam Juno, maxima caelicolum,*
> *Coniugis in culpa flagravit quotidiana.[91] [broken link: #nc5_91]*

И когда эти бедные души, слабые и неспособные сопротивляться, попадают в ее цепкие лапы, просто жалость смотреть, до чего беспощадно она завлекает их в свои сети и как помыкает ими; сначала она пробирается в них тихой сапой под личиною дружбы, но едва они окажутся в ее власти, те же причины, которые служили основанием для благосклонности, становятся основанием и для лютой ненависти. Для этой болезни души большинство вещей служит пищею и лишь очень немногие — целебным лекарством. Добродетель, здоровье, заслуги и добрая слава мужа — фитили, разжигающие их гнев и бешенство:

*Nullae sunt inimicitiae, nisi amoris, acerbae.[92] [broken link: #nc5_92]*

Кроме того, эта горячка уродует и искажает все, что в них есть красивого и хорошего, и все поведение ревнивой женщины, будь она хоть воплощением целомудрия и домовитости, неизменно бывает раздражающе несносным. Неукротимое возбуждение увлекает ревнивцев к крайностям, прямо противоположным тому, что их породило. Прелюбопытная вещь произошла с одним римлянином — Октавием: предаваясь любовным утехам с Понтией Постумией, он до того распалился страстью от обладания ею, что стал настойчиво домогаться ее согласия сочетаться с ним браком, и так как она не поддалась на его уговоры, возросшая в нем до последних пределов любовь толкнула его на действия, свойственные жесточайшей и смертельной вражде, — он убил ее[93] [broken link: #nc5_93]. И вообще обычные признаки этой разновидности любовной болезни, — укоренившаяся в сердце ненависть, жажда безраздельно владеть, мольбы и заклинания,

*notumque furens quid femina possit,[94] [broken link: #nc5_94]*

и непрерывное бешенство, тем более мучи-

тельное, что считается, будто единственное возможное для него оправдание — это любовное чувство.

Итак, долг целомудрия весьма многогранен и многолик. Хотим ли мы, чтобы женщины держали в узде свою волю? Она — вещь очень гибкая и подвижная и слишком стремительная, чтобы ее можно было остановить. Да и как это сделать, если грезы уносят женщин порою так далеко, что они не в силах от них отступиться? Как в них, так, пожалуй, и в целомудренной чистоте, — и в ней тоже, — поскольку она женского рода, — нет ничего, что могло бы их защитить от вожделений и желаний. Если мы посягаем лишь на их волю, то многого ли мы этим достигнем? Представьте себе сонмы таких желаний, наделенных способностью лететь, как оперенные стрелы, не глядя перед собой и ни о чем не спрашивая, и готовых вонзиться во всякую, кого только настигнут.

Скифские женщины выкалывали глаза своим рабам и военнопленным, чтобы свободнее и бесстыднее предаваться с ними наслаждениям[95] [broken link: #nc5_95].

Просто ужас, какое великое преимущество — действовать в подходящее время! Всякому, кто спросит меня, что всего важнее в любви, я отвечу:

уметь выбрать мгновение; второе по степени важности — то же, и то же самое — третье. Ибо в этом случае все возможно. Мне часто недоставало удачи, но порою и предприимчивости; сохрани боже от беды тех, кто вздумает посмеяться над этим. В наш век нужно побольше напористости, которую молодые люди нашего времени извиняют свойственной им горячностью чувств, но если женщины ближе присмотрятся к ней, они обнаружат, что она проистекает скорей из презрения. Я суеверно боялся нанести им оскорбление, и я всей душой уважаю то, что люблю. Не говорю уж о том, что это такой товар, который теряет свой блеск и тускнеет, если не относиться к нему с должным почтением. Я люблю, чтобы сюда вносилось кое-что от юношеской застенчивости, от робкой и преданной влюбленности. Впрочем, не только в этом, я и в другом знаю за собой кое-какие проявления нелепой застенчивости, о которой вспоминает Плутарх[96] [broken link: #nc5_96] и которая омрачала и портила мне жизнь на всем ее протяжении. В общем свойство это не очень подходит к моему душевному складу, но разве внутри нас не сплошные мятежи и раздоры?[97] [broken link: #nc5_97]

Итак, величайшая глупость пытаться обуз-

дать в женщинах то желание, которое в них так могущественно и так естественно. И когда мне доводится слышать, как они похваляются тем, что их сердце исполнено девственной чистоты и холодности, я только посмеиваюсь над ними; они заходят, пожалуй, чересчур далеко. Если это беззубая и одряхлевшая женщина или молодая, но высохшая и чахоточного вида девица, то хотя им не очень-то веришь, их слова все же до некоторой степени правдоподобны. Но кто из них продолжает дышать и двигаться, те таким отпирательством немало вредят себе, ибо неразумные оправдания на пользу лишь обвинению. Так, например, один дворянин, мой сосед, которого подозревали в мужском бессилии,

> *Languidior tenera cui pendens sicula beta*
> *Nunquam*
> *se mediam sustulit ad tunicam.[98] [broken link: #nc5_98]*

по истечении трех или четырех дней после своей свадьбы, желая снять с себя давнее подозрение, пустился повсюду напропалую божиться, будто бы в минувшую ночь он двадцать раз насладился со своею супругой, что и послужило в дальнейшем к уличению его в полнейшем

невежестве по мужской части и к расторжению его брака. Я не говорю уж о том, что кичиться своим целомудрием, как упомянутые мной дамы, в сущности, нечего, ибо где же воздержанность и добродетель, если нет побуждений обратного свойства? В таких случаях нужно сказать: «Да, мне этого очень хочется, но, тем не менее, я не собираюсь сдаваться». Даже святые, и те говорят не иначе. Само собой разумеется, я имею в виду лишь таких женщин, которые намеренно похваляются своей бесчувственностью и холодностью и, сообщая об этом с серьезным лицом, хотят, чтобы им безоговорочно верили. Ибо, когда на их лицах, вы без труда читаете, что они притворяются, когда произносимые ими слова опровергаются их глазами, когда они изъясняются на своем милом тарабарском наречии, где все шиворот-навыворот и шито белыми нитками, это мне и впрямь по душе. Я верный поклонник вольности в обращении и непосредственности; но тут не может быть серединки наполовинку: если в них нет настоящего простодушия и ребячливости, они просто нелепы, и дамам неуместно к ним прибегать: в такого рода общении они немедля переходят в бесстыдство. Уловки и хитрости способны обмануть только глупцов. Лжи в этих

делах принадлежит почетное место — это окольный путь, ведущий нас к истине через заднюю дверь. Но если мы не можем сдержать женское воображение, чего же мы добиваемся? Внешне целомудренного поведения? Но бывают и такие поступки, которые совершаются без свидетелей, а между тем несут пагубу целомудрию,

> *Illud saepe facit quod sine teste facit.[99] [broken link: #nc5_99]*

И те, которых мы меньше всего опасаемся, больше всего, пожалуй, и должны внушать нам опасение:

> *Offendor moecha simpliciore minus.[100] [broken link: #nc5_100]*

Бывают вещи, которые, не являясь порочными, могут погубить беспорочность женщины, и притом даже без ее ведома и соучастия: Obstetrix, virginis cuiusdam integritatem manu velut explorans, sive malevolentia, sive inscitia, sive casu, dum inspicit, perdidit[101] [broken link: #nc5_101]. Иная лишила себя девственности нечаянно, желая в ней убедиться, иная потеряла ее, резвясь.

Мы не сумели бы дать нашим женщинам точного списка поступков, которые должны быть для них запретными. Наш закон пришлось бы

изложить в общих и достаточно неопределенных выражениях и словах. Созданное нами самими представление об их целомудрии просто смешно, ибо наиболее совершенные его образцы, какими я только располагаю, это Фатуа, жена Фавна, которая, выйдя замуж, ни разу не дала взглянуть на себя ни одному мужчине[102] [broken link: #nc5_102], и жена Гиерона, не ощущавшая зловония, исходившего от ее мужа, считая, что это общее для всех мужчин свойство[103] [broken link: #nc5_103]. Чтобы удовлетворять нас и нравиться нам, нужно, чтобы женщины не видели и не чувствовали.

Итак, давайте признаем, что основа понимания этого долга заложена главным образом в нашей воле. Были мужья, которые претерпели неверность жен не только без единого обращенного к ним упрека и оскорбления, но с чувством глубочайшей признательности и глубочайшего уважения к их добродетели. Иная, дорожа своей честью больше, чем жизнью, отдала ее на поругание бешеной похоти смертельного врага ее мужа, дабы спасти ему жизнь, и сделала для него то, чего бы никогда не сделала для себя. Здесь не место умножать эти примеры: они слишком возвышенны и слишком прекрасны, чтобы попасть

в этот перечень; сохраним их до рассуждений на более благородные темы.

Но что до примеров, подходящих для нашего перечня вещей более низменных, то не видим ли мы всякий день женщин, которые отдаются другим только ради выгоды, извлекаемой из этого их мужьями, по прямому их приказанию и при их посредничестве? В древности аргосец Фавлий предложил царю Филиппу свою жену из тщеславия; из любезности то же сделал и Гальба, пригласивший Мецената отужинать у него в доме; заметив, что гость и его жена принялись тайком переглядываться и объясняться знаками, он откинулся на подушки и сделал вид, будто его одолела дремота, дабы не мешать им столковаться друг с другом. И сам себя невольно разоблачил, ибо, увидев в это мгновение, что один из рабов осмелился запустить руку в стоявшее на столе блюдо, он крикнул ему: «Неужели ты не видишь, мошенник, что я сплю только для Мецената?»[104] [broken link: #nc5_104]

У одной нрав распутный, а воля благонамереннее, чем у другой, внешне придерживающейся правил приличия. И как мы встречаем таких, которые жалуются, что их обрекли на безбрачие прежде чем они вступили в сознательный воз-

раст, точно так же я встречал и немало таких, кто жалуется, и вполне искренне, что, еще не достигнув сознательного возраста, они уже были обречены на разврат; причиною этого может быть порочность родителей, или насилие, или нужда, а она — злая советчица. В Восточных Индиях, где целомудрие чтут, как нигде, обычай, однако же, допускает, чтобы замужняя женщина отдалась всякому, кто подарит ей за это слона, — и она делает это даже не без некоторой гордости, что ее оценили так дорого[105] [broken link: #nc5_105].

Философ Федон, происходивший из хорошего рода, после захвата Элиды — его отечества — неприятелем, дабы прокормить себя, занялся тем, что стал за деньги продавать свою юность и красоту всякому, кто желал насладиться ими, и делал это, пока враги не ушли[106] [broken link: #nc5_106]. Солон, как говорят, был в Греции первым законодателем, предоставившим женщинам право открыто добывать для себя средства к существованию в ущерб своему целомудрию[107] [broken link: #nc5_107], — обыкновение, по словам Геродота[108] [broken link: #nc5_108], принятое и до Солона во многих других государствах.

Спрашивается к тому же, каковы плоды этой из-

нурительной заботы о целомудрии женщин? Ибо, сколь бы справедливой ни была наша страсть уберечь его, нужно выяснить, приносит ли она нам хоть чуточку пользы? Найдется ли среди нас хоть один, кто рассчитывал бы, что при любых стараниях ему удастся связать женщин по рукам и ногам?

> *Pone seram, cohibe; sed quis custodiet ipsos*
>
> *Custodes? Cauta est, et ab illis incipit uxor.[109] [broken link: #nc5_109]*

Какими только возможностями не располагают они в наш просвещенный век!

Излишнее любопытство вредит повсюду, но тут оно просто пагубно. Не безумие ли жаждать узнать про беду, если против нее нет лекарства, которое не усугубляло бы и не усиливало ее; если связанный с нею позор увеличивается и разглашается главным образом из-за ревности; если отмщение больше задевает наших детей, чем способствует нашему исцелению? Да вы иссохнете и умрете, пытаясь докопаться до столь темной истины! До чего же жалким был удел тех мужей моего времени, которым удавалось распутать этот клубок до конца! Если осведомляющий

об этом несчастье не предлагает одновременно лекарства и своей помощи, то его сообщение оскорбительно и не столько разоблачает обман, сколько заслуживает удара кинжалом. Над домогающимся улик смеются не меньше, чем над пребывающим в полнейшем неведении. Быть рогоносцем — пятно несмываемое: к кому оно пристало хоть раз, на том оно остается навеки; отмщение запечатлевает его прочнее, чем самый проступок. Забавно смотреть, как мы извлекаем из тьмы и области неопределенных догадок наши личные горести, дабы с трагических подмостков трубить о них, и притом горести, которые удручают нас лишь потому, что о них повсюду судачат. Ибо хорошей женой и хорошим браком называют не ту жену и тот брак, которые и впрямь таковы, но о которых молчат. Нужно как можно искуснее уклоняться от этой докучной и бесполезной осведомленности. И римляне, возвращаясь из путешествия, имели обыкновение посылать домой нарочного, чтобы предупредить о своем прибытии жен и не застать их врасплох; а один народ завел у себя обычай, состоящий в том, что в день свадьбы жрец лишает новобрачную девственности, и делает это затем, чтобы муж, познавая впервые жену, не испытывал никаких

сомнений и не доискивался, досталась ли она ему девственной или же осквернённой какой-либо прежней любовью[110] [broken link: #nc5_110].

Но все только и делают, что толкуют о вашей напасти! Я знаю добрую сотню весьма почтенных людей, которых украшают рога и которые, тем не менее, с достоинством и без особого позора носят их на себе. Порядочного человека жалеют за это, а не поносят и не лишают уважения. Добейтесь того, чтобы ваша добродетель затмевала постигшую вас беду, чтобы честные люди проклинали случившееся, чтобы ваш оскорбитель содрогался при одной мысли о том, что он наделал. И затем, — о ком только не говорят того же, начиная с наиничтожнейшего и кончая самым великим?

*Tot qui legionibus imperitavit*

*Et melior quam tu multis fuit, improbe, rebus.[111] [broken link: #nc5_111]*

Не видишь ли ты, на скольких честных людей выливают в твоем присутствии ушаты помоев, не задевая тебя? Неужели ты думаешь, что где-нибудь в другом месте тебя щадят больше, чем их? Но дамы, уж те не пожалеют насмешек! А что они в наши дни охотнее подвергают насмешкам, чем мирное и хорошо налаженное течение

супружеской жизни? Каждый из нас сделал кого-нибудь рогоносцем, но природа только на том и держится, что уподобляет, уравновешивает и чередует. Широчайшее распространение случаев этого рода должно ослабить в дальнейшем их горечь — ведь они, можно сказать, стали почти обыденны.

Жалкая, однако же, страсть, носящая название ревности, и вдобавок ко всему остальному ею ни с кем не поделишься,

> *Fors etiam nostris invidit questibus aures.[112] [broken link: #nc5_112]*

Ибо какому другу решитесь вы доверить свои печали? Ведь если он не посмеется над ними, то воспользуется проторенною дорожкой и своею осведомленностью, чтобы урвать дичины и на свою долю.

Как горести, так и услады супружества благоразумные люди таят про себя.

Среди прочих несносных докук, связанных с положением рогоносца, для людей говорливых, вроде меня, одна из главнейших состоит в том, что обычай считает мало пристойным и вредным рассказывать в таких случаях кому бы то ни было обо всем, что знаешь и чувствуешь.

Советовать женщинам то же, чтобы отбить у них вкус к ревности, было бы напрасной потерей времени: их существо настолько пропитано подозрительностью, тщеславием и любопытством, чтобы исцелить их обычными средствами — на это нечего и надеяться. Нередко они все же справляются с этим недугом и обретают здоровье, но это здоровье такого рода, что его следует бояться пуще самой болезни. Ибо подобно тому, как иные заговоры и заклинания не могут помочь беде иначе, как переложив ее на другого, так и они, освободившись от этой горячки, нередко заражают ею своих мужей. Как бы там ни было, по совести говоря, я не знаю, можно ли натерпеться от женщин чего-либо горшего, нежели ревность: это самое опасное из их качеств, подобно тому как в их естестве самое опасное — голова. Питтак говорил, что у всякого найдется своя напасть, а у него — дурная голова его женушки; не будь этого, он почитал бы себя счастливым во всех отношениях[113] [broken link: #nc5_113]. Это очень тяжелое бремя, и если столь справедливый, мудрый и доблестный человек находил, что оно ему портит жизнь, то что же тут делать нашему брату — мелким и жалким людишкам?

Сенат Марселя был вполне прав, удовлетворив

ходатайство того горемыки, который просил разрешить ему покончить с собой, чтобы избавиться от грома и молний, извергаемых на него женою[114] [broken link: #nc5_114]; с этим злом и впрямь не разделаться, пока не разделаешься с тем, в чем оно коренится, — и тут не найти другого решения, кроме бегства или многострадального существования, хотя и первое и второе — вещи весьма тягостные.

Тот, кто сказал, что удачные браки заключаются только между слепою женой и глухим мужем, поистине знал толк в этих делах[115] [broken link: #nc5_115].

Подумаем над тем, не порождают ли крайне стеснительные и суровые обстоятельства, насильственно возлагаемые нами на женщин, последствия двоякого рода, равно противоположные нашей цели, а именно: не распаляют ли они любителей прекрасного пола и не толкают ли женщин сдаваться с большею легкостью на их домогательства; ибо, что касается первого, то чем выше мы ценим крепость, тем сильнее жаждем овладеть ею и тем выше оцениваем победу. И не сама ли Венера хитроумно набила цену на свой товар, столкнувшись с законами, чтобы они объявили его запретным, хорошо

зная, до чего пресны наслаждения тех, кто не умеет сдабривать их фантазией и придавать им пряность? В конце концов, лишь подливка разнообразит все ту же свинину, как говорил хозяин Фламиния[116] [broken link: #nc5_116]. Купидон — вероломный бог: он забавляется, совращая благочестие и справедливость; его слава на том и основывается, что его могущество сокрушает любое другое могущество и что никто не смеет противиться его законам.

> *Materiam culpae prosequiturque suae.[117] [broken link: #nc5_117]*

Что до второго, то не носили ли бы мы меньше рогов, если бы меньше страшились их, раз уж женщины устроены таким образом, что запретное лишь разжигает и манит их?

> *Ubi velis, nolunt; ubi nolis, volunt ultro;[118] [broken link: #nc5_118]*

> *Concessa pudet ire via.[119] [broken link: #nc5_119]*

Какое лучшее истолкование могли бы мы дать поведению Мессалины?[120] [broken link: #nc5_120] Вначале она наставляла своему супругу рога тишком и тайком, как это обычно проде-

лывается. Но, заводя свои связи, вследствие его тупости, с чрезмерной легкостью и простотой, она вскоре прониклась презрением к своему образу действий. И вот она стала расточать свою любовь безо всякой опаски, не скрывать имена любовников, содержать их и оказывать им благосклонность на глазах всех и каждого. Ей хотелось расшевелить своего мужа. Но это животное, несмотря ни на что, не могло пробудиться от своей спячки, и когда ее наслаждения на стороне сделались вялыми и потускнели из-за той постыдной беспечности, с какою, казалось, он им попустительствовал и узаконивал их, как же она поступила? Жена императора, при живом и здоровом муже, и притом в Риме, перед всем светом, во время торжеств по случаю народного празднества, она среди бела дня, в полуденный час, когда ее муж был вне города, сочеталась браком, и притом с Силием, с которым у нее давно была близость. Нельзя ли предположить, что из-за равнодушия мужа она в конце концов стала бы целомудренной или нашла бы другого мужа, который своей ревностью распалил бы в ней страсть к нему и, донимая ее, возбуждал? Но первое препятствие, которое она встретила, оказалось и последним. Это животное внезапно

проснулось. Шутки с такими тугоухими бывают нередко плохими. Мне самому довелось видеть, как доведенное до столь крайних пределов терпение, когда оно лопается, сменяется необузданной мстительностью, ибо, вспыхивая в мгновенье ока, гнев и бешенство, сплетаясь в один клубок, обрушиваются всеми своими силами на первое, что попадается на их пути,

> *irarumque omnes effundit habenas.[121] [broken link: #nc5_121]*

Он приказал ее умертвить, а вместе с нею и всех тех, с кем она зналась, и среди них даже такого, который перестал быть мужчиной и которого она загоняла к себе на ложе только хлыстом.

Рассказанное Вергилием о Венере и Вулкане рассказал в более благопристойных словах и Лукреций, повествующий о ее тайных любовных утехах с Марсом:

> *belli fera moenera Mavors*
>
> *Armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se*
>
> *Reiicit, aeterno devinctus vulnere amoris:*
>
> *Pascit amore avidos inhians in te, dea, visus,*

*Eque tuo pendet resupini spiritus ore.*

*Hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto*

*Circumfusa super, suaves ex ore loquelas*

*Funde.[122] [broken link: #nc5_122]*

Когда я перебираю в памяти эти reiicit, pascit, inhians, molli, fovet, medullas, labefacta, pendet, percurrit и это благородное circumfusa, мать прелестнейшего infusus[123] [broken link: #nc5_123], я испытываю презрение к тем мелочным выкрутасам и словесным намекам, которые появились позднее. Этим славным людям минувших времен не требовалось острых и изысканных выдумок; их язык полнится и переливается через край естественной и неиссякаемой мощью; все у них — эпиграмма; все, а не только хвост, — и голова, и желудок, и ноги. Ничто здесь не притянуто за волосы, ничто не волочится, — все выступает размеренным шагом. Contextus totus virilis est; non sunt circa flosculos occupati[124] [broken link: #nc5_124]. Это не вялое красноречие, которое всего лишь терпимо, но могучее и убедительное, — оно не столько нас услаждает, сколько воодушевляет и увлекает, и больше всего увлекает умы наиболее сильные. Когда я присматриваюсь к столь

примечательным способам выражаться так живо и глубоко, я не называю это «хорошо говорить», но называю «хорошо мыслить». Неукротимость воображения — вот что возвышает и украшает речь. Pectus est quod disertum facit[125] [broken link: #nc5_125]. Наши люди зовут голое суждение — речью и остроумием — плоские измышления. Но картины древних обязаны своей силой не столько ловкой и искусной руке, сколько тому, что изображаемые ими предметы глубоко запечатлелись в их душах. Галл говорит просто, потому что и мыслит просто[126] [broken link: #nc5_126]. Гораций никоим образом не довольствуется поверхностными, внешне красивыми выражениями; они предали бы его. Его взгляд яснее и проникает вещи насквозь; его ум обыскивает и перерывает весь запас слов и образов, чтобы облечься в них; и они ему нужны не обыденные, потому что не обыденны и творения его мысли. Плутарх говорил, что он видит латинский язык через вещи; здесь то же самое: разум освещает и порождает слова — не подбитые ветром, но облеченные плотью. Они обозначают больше того, что высказывают. Даже самые заурядные люди имеют об этом кое-какое смутное представление: так, например, в Италии я говорил все, что мне

вздумается, в обычных беседах по-итальянски; но что касается предметов глубокомысленных, тут я не решался довериться тому языку, которым я владел не настолько, чтобы выворачивать и сгибать его больше, чем нужно в обычном разговоре. Я хочу располагать возможностью вносить в свою речь кое-что и от себя.

Использование и применение языка великими умами придает ему силу и ценность; они не столько обновляют язык, сколько, вынуждая его нести более трудную и многообразную службу, раздвигают его пределы, сообщают ему гибкость. Отнюдь не внося в него новых слов, они обогащают свои, придают им весомость, закрепляют за ними значение и устанавливают, как и когда их следует применять, приучают его к непривычным для него оборотам, но действуя мудро и проницательно. Как редок подобный дар, можно убедиться на примере многих французских писателей нашего века. Они достаточно спесивы и дерзки, чтобы идти общей со всеми дорогой, но недостаток изобретательности и скромности безнадежно их губит. У них мы замечаем лишь жалкие потуги на вычурность и напыщенность, холодную и нелепую, которые, вместо того чтобы возвысить их тему, только снижают ее. Гоняясь

за новизной, они и не помышляют о выразительности и ради того, чтобы пустить в оборот новое слово, забрасывают обычное, порою более мужественное и хлесткое[127] [broken link: #nc5_127].

Я нахожу, что сырья у нашего языка вдосталь, хотя оно и не блещет отделкой; ведь чего только ни нахватали мы из обиходных выражений охоты и войны — этого обширного поля, откуда было что позаимствовать; к тому же, при пересадке на новую почву формы речи, подобно растениям, улучшаются и набираются сил. Итак, я нахожу наш язык достаточно обильным, но недостаточно послушливым и могучим. Под бременем сильной мысли, он, как правило, спотыкается. Когда, оседлав его, вы несетесь во весь опор, то все время ощущаете, что он изнемогает и засекается, и тогда на помощь вам приходит латынь, а иным — греческий. Среди слов, только что подобранных мной ради изложения этой мысли, найдутся такие, которые покажутся вялыми и бесцветными, так как привычка и частое обращение некоторым образом принизили и опошлили заложенную в них прелесть. Точно так же и в нашем обыденном просторечии попадаются великолепные метафоры и обороты, красота которых начинает блекнуть от старости,

а краски тускнеть от слишком частого употребления. Но это не отбивает к ним вкуса у каждого, кто наделен острым чутьем, как не умаляет славу старинных писателей, которые, надо полагать, и придали этим словам их былой блеск.

Науки рассматривают изучаемые ими предметы чересчур хитроумно, и подход у них к этим предметам чересчур искусственный и резко отличающийся от общепринятого и естественного. Мой паж отлично знаком с любовью и кое-что разумеет в ней. Но почитайте ему Леона Еврея или Фичино[128] [broken link: #nc5_128]; у них говорится о нем, его мыслях, его поступках, но тут он решительно ничего не уразумеет. У Аристотеля я обычно не узнаю большинства свойственных мне душевных движений — их скрыли, перерядив применительно к потребностям школы. Да поможет им в этом бог! Но, занимайся я их ремеслом, я бы оприродил науку, как они онаучивают природу. Так оставим же в покое Бембо и Эквиколу[129] [broken link: #nc5_129]! Когда я пишу, то стараюсь обойтись без книг и воспоминаний о них, опасаясь, что они могут нарушить мой стиль изложения. Признаюсь к тому же, что хорошие авторы, можно сказать, отвлекают меня и отнимают у меня смелость. Я бы охотно

последовал примеру того живописца, который, нарисовав как-то крайне неумело и беспомощно петухов, наказал затем своим подмастерьям не впускать в мастерскую ни одного живого представителя петушиного племени. И чтобы придать себе немного блеску, мне надлежало бы прибегнуть к уловке музыканта Антинонида, который, когда ему доводилось исполнять свою музыку, устраивал так, чтобы до него или после него собравшихся вдосталь потчевали пением скверных певцов[130] [broken link: #nc5_130].

Но отделаться от Плутарха мне гораздо труднее. Он до того всеобъемлющ и так необъятен, что в любом случае, за какой бы невероятный предмет вы ни взялись, вам не обойтись без него, и он всегда тут как тут и протягивает вам свою неоскудевающую и щедрую руку, полную сокровищ и украшений. Меня злит, что всякий обращающийся к нему бесстыдно его обворовывает, да и я сам, когда бы его ни навестил, не могу удержаться, чтобы не стянуть хотя бы крылышка или ножки.

Исходя из этих моих намерений, мне легче всего писать у себя, в моем диком краю, где ни одна душа не оказывает мне помощи и не поддерживает меня, где я обычно не вижусь ни с кем, кто понимал бы латынь своего молитвенника,

а тем более по-французски. В другом месте я мог бы написать лучше, но мой труд был бы меньше моим, а его главнейшая цель и его совершенство в том именно и состоят, чтобы быть моим, и только моим. Я с готовностью исправляю случайно вкравшуюся ошибку, которых у меня великое множество, так как я несусь вперед, не раздумывая; но что касается несовершенств, для меня обычных и постоянных, то отказываться от них было бы просто предательством. Допустим, что мне сказали бы или я сам себе сказал: «Ты слишком насыщен образами. Вот словечко, от которого так и разит Гасконью. Вот опасное выражение (я никоим образом не избегаю тех выражений, которые в ходу на французских улицах: силящиеся побороть с помощью грамматики принятое обычаем занимаются пустым и бесплодным делом). Вот невежественное суждение. А вот суждение, противоречащее себе самому. А вот слишком шалое (ты частенько дурачишься; сочтут, что ты говоришь в прямом смысле, тогда как ты шутишь)». На это я бы ответил: «Все это верно, но я исправляю лишь те ошибки, в которых повинна небрежность, но не те, что свойственны мне, так сказать, от природы. Разве я говорю тут иначе, чем всюду? Разве я изображаю себя недостаточно

живо? Я сделал то, чего добивался: все узнали меня в моей книге и мою книгу — во мне».

Но у меня есть склонность обезьянничать и подражать: когда я силился писать стихи (а я никогда не писал других, кроме латинских), от них ясно отдавало последним поэтом, которого я читал, и кое-какие из моих первых опытов изрядно попахивают чужим. В Париже я говорю на несколько ином языке, чем в Монтене. Кого бы я пристально ни рассматривал, я неизбежно запечатлеваю в себе кое-что от него. Все, что я наблюдаю, то и усваиваю: нелепую осанку, уродливую гримасу, смешные способы выражаться. Так же пороки: и поскольку они, приставая ко мне, цепляются за меня, я бываю вынужден стряхивать их. И клятвенные выражения я употребляю чаще из подражания, чем по склонности.

Итак, мне свойственна эта пагубная черта, такая же, как у тех страшных своею величиной и силою обезьян, с которыми царь Александр столкнулся в одной из областей Индии. Избавиться от них было бы крайне трудно, если бы своей страстью перенимать все, что делалось перед ними, они сами не доставили удобного средства к этому. Открыв его, охотники принялись надевать у них на виду свою обувь, стягивая ее изо

всей силы и завязывая ремешки глухими узлами, закреплять свои головные уборы множеством скользящих завязок и притворно мазать себе глаза клеем, который употребляют для ловли птиц. И вот обезьяньи повадки обрекли этих неразумных и несчастных тварей на гибель. Они сами себя заклеили, сами себя взнуздали и сами себя удушили[131] [broken link: #nc5_131]. Что до способности намеренно воспроизводить чужие движения и чужой голос, — а это нередко доставляет удовольствие окружающим и вызывает их восхищение, — то ее во мне не больше, чем в любом полене.

Когда я клянусь на свой собственный лад, то не употребляю ничего, кроме «ей-богу», что, по-моему, самая сильная клятва изо всех существующих. Говорят, что Сократ клялся псом, а Зенон прибегал к тому самому выражению, которое и посейчас принято у итальянцев, — я имею в виду «Cappari!»; Пифагор клялся водою и воздухом[132] [broken link: #nc5_132].

Я до того восприимчив, совершенно не отдавая себе в этом отчета, к внешним и поверхностным впечатлениям, что если три дня подряд у меня не сходило с уст «ваше величество» или «ваше высочество», то еще с добрую неделю они будут

срываться с них вместо «вашей светлости» или «вашей милости». И что я примусь говорить в шутку или ради забавы, то на следующий день я скажу совершенно всерьез. Вот почему я с большой неохотой пользуюсь в моих сочинениях простыми доводами и доказательствами — я страшусь, как бы они не были позаимствованы мной у других. Всякий довод для меня одинаково плодотворен. Я извлекаю их из любой безделицы — и да пожелает господь, чтобы и те, которыми я сейчас пользуюсь, не были подхвачены мною по внушению столь своенравной воли. И что из того, что я начинаю с тех доводов, которые мне почему-либо понравились; ведь все, о чем бы я ни говорил, связано друг с другом неразрывными узами.

Но я недоволен моею душой, потому что все свои наиболее глубокие мысли, наиболее дерзкие и больше всего захватывающие меня, она порождает, как правило, неожиданно и тогда, когда я меньше всего гоняюсь за ними; эти мысли приходят внезапно и в таких местах, где я не могу их закрепить; они настигают меня, когда я на коне, за столом, в постели, но больше всего, когда я еду верхом и веду сам с собой наиболее продолжительные беседы. Моя речь несколько

щепетильна и нуждается во внимании и тишине, если я говорю о чем-либо важном: кто прерывает меня, тот вынуждает замолчать. В путешествии необходимость следить за дорогой пресекает беседу; к тому же я чаще всего путешествую без попутчиков, способных поддержать связные разговоры; вот почему у меня в пути бывает сколько угодно досуга беседовать с собою самим. И тут происходит то же, что и с моими снами; видя сны, я препоручаю их моей памяти (я то и дело вижу во сне, что мне снится сон), но назавтра я могу представить себе не более, чем их краски — веселые, или грустные, или какие-то странные; но в чем, собственно, состояло содержание моих снов, сколько бы я ни силился установить, я все глубже погружаюсь в забвение. Так же обстоит дело и с этими случайными, западающими в мою фантазию мыслями; у меня в памяти запечатлевается лишь их расплывчатый образ, который только побуждает меня к тщетным попыткам восстановить забытое и бессильно досадовать на самого себя.

Итак, оставив в стороне книги и переходя к вещам более осязательным и простым, я нахожу, что любовь, в конце концов, не что иное, как жажда вкусить наслаждение от предмета желаний,

а радость обладания — не что иное, как удовольствие разгрузить свои семенные вместилища, и что оно делается порочным только в случае неумеренности или нескромности.

Для Сократа любовь — это стремление к продолжению рода при посредстве и с помощью красоты. Но если обдумать все: забавные содрогания, неотделимые от этого удовольствия, нелепые, дикие и легкомысленные телодвижения, на которые оно толкает даже Зенона или Кратиппа[133] [broken link: #nc5_133], непристойную одержимость, нашу ярость и жестокость, искажающие лицо человека в самые сладостные мгновения любви, и затем какую-то непреклонную, суровую, исступленную важность при выполнении столь пустых действий, а также то, что здесь вперемешку свалены и наши восторги и отбросы нашего тела и что высшее наслаждение связано с обмиранием и стонами, как при страдании, — я считаю, что Платон прав, утверждая, что человек — игрушка богов[134] [broken link: #nc5_134],

*[quaenam] ista iocandi*
*Saevitia![135] [broken link: #nc5_135]*

и что природа, насмешки ради, оставила нам это самое шалое и самое пошлое из наших за-

нятий, дабы таким способом сгладить различия между нами и уравнять глупого с мудрым и нас с животными. И когда я представляю себе за таким делом самого вдумчивого и благонравного человека, он начинает казаться мне наглым обманщиком, выдающим себя за вдумчивого и благонравного; это ноги павлина, принижающие его величие:

*ridentem dicere verum*
*Quid vetat?[136] [broken link: #nc5_136]*

Кто, предаваясь забавам, отметает от себя серьезные мысли, те, как сказал кто-то, похожи на боящихся приложиться к фигуре святого, если она не прикрыта набедренною повязкой.

Мы едим и пьем совсем как животные, однако это такие занятия, которые не препятствуют деятельности нашей души. В этом мы сохраняем преимущество перед ними; но что до занятия, являющегося предметом нашего рассмотрения, то оно сковывает всякую мысль, затемняет и грязнит данной ему над нами безграничною властью все высокоумное и возвышенное, что только ни есть у Платона в его теологии и философии, и тот все же ничуть на это не жалуется. Во всем другом вы можете соблюдать известную благо-

пристойность; все прочие ваши занятия готовы подчиниться правилам добропорядочности, но это — его и представить себе нельзя иначе, как распутным или смешным. Попытайтесь-ка, ради проверки, найти в нем хоть что-нибудь разумное или скромное! Александр говаривал, что оно-то, главным образом, да еще потребность во сне побуждают его признавать себя смертным; сон гасит и подавляет способности нашей души; половое сближение также рассеивает и поглощает их. И оно, разумеется, — свидетельство не только нашей врожденной испорченности, но и нашей суетности и нашего несовершенства.

С одной стороны, природа, связав с этим желанием самое благородное, полезное и приятное изо всех своих дел, толкает нас на сближение с женщинами; однако, с другой стороны, она же заставляет нас поносить его, и бежать от него, и видеть в нем нечто постыдное и бесчестное, и краснеть, и проповедовать воздержание.

Ессеи[137] [broken link: #nc5_137], как сообщает Плиний[138] [broken link: #nc5_138], обходились на протяжении многих столетий без кормилиц и без пеленок, что было, впрочем, возможно благодаря притоку к ним чужестранцев, которых привлекали их простые и благочестивые нравы

и которые постоянно пополняли их численность. То был целый народ, предпочитавший скорее исчезнуть с лица земли, чем осквернить в объятиях женщин, и скорее потерять сонмы людей, чем зачать хоть одного человека. Передают, что Зенон лишь один-единственный раз имел дело с женщиной, да и то, можно сказать, из вежливости, дабы о нем не подумали, что он упорный ненавистник этого пола[139] [broken link: #nc5_139]. Всякий избегает присутствовать при рождении человека, и всякий торопится посмотреть на его смерть. Чтобы уничтожить его, ищут просторное поле и дневной свет; чтобы создать его — таятся в темных и тесных углах. Почитается долгом прятаться и краснеть, чтобы создать его, и почитается славой — и отсюда возникает множество добродетелей — умение разделаться с ним. Одно приносит позор, другое — честь, и получается совсем как в том выражении, которое, как говорит Аристотель, существовало в его стране и согласно которому оказать кому-нибудь благодеяние означало убить его.

Афиняне, дабы подчеркнуть, что они испытывают равную неприязнь как к первому, так и к второму, и стремясь освятить остров Делос и оправдаться пред Аполлоном, воспретили в

пределах этого острова и роды и погребения[140] [broken link: #nc5_140].

*Nostri nosmet poenitet.[141] [broken link: #nc5_141]*

Наше существование мы считаем порочным.

Известны народы, у которых принято есть, накрывшись[142] [broken link: #nc5_142]. Я знаю одну даму — и из самого высшего круга, — которая уверяет, что смотреть на жующих малоприятно и что при этом они очень теряют в привлекательности и красоте, так что на людях она крайне неохотно притрагивается к пище. И я знаю одного человека, который не выносит ни вида едящих, ни того, чтобы кто-нибудь видел его за едой, и он больше избегает чьего-либо присутствия, когда наполняет себя, чем когда облегчается.

В империи Султана можно встретить множество людей, которые, дабы возвыситься над остальными, насыщаются так, чтобы никто их при этом не видел, и они делают это всего раз в неделю; которые раздирают и надрезывают себе лицо и другие части своего тела; которые никогда ни с кем не перемолвятся ни единым словом, — все это люди, считающие, что они воздают честь своему естеству, лишая его естественности, воз-

выщаются, уничижаясь, и улучшаются, портя себе жизнь[143] [broken link: #nc5_143].

Но до чего же чудовищно животное, которое внушает ужас самому себе, которому его удовольствия тягостны и которое по собственной воле обрекает себя несчастьям!

Есть и такие, которые таят свою жизнь,

> *Exilioque*
> *domos et dulcia limina mutant,[144] [broken link: #nc5_144]*

и прячут ее от других, которые бегут от здоровья и веселости, как от качеств злостных и пагубных. И не только немало сект, но и немало народов проклинает свое рождение и осыпает благословеньями смерть. Есть и такой народ, которому солнце представляется отвратительным и который поклоняется мраку[145] [broken link: #nc5_145].

Мы щедры на выдумки лишь в одном, а именно, как бы причинить себе зло, и оно, поистине, дичь, гонясь за которой, мы растрачиваем силы своего ума, этого опасного орудия нашей беспутности!

> *O*
> *miseri! quorum gaudia crimen habent.[146] [broken link: #nc5_146]*

О несчастный человек! У тебя и так достаточно неотвратимых невзгод, а ты еще умножаешь их надуманными; ты и так достаточно жалок, незачем тебе умышленно делать свою участь еще более жалкой. У тебя более чем довольно ощутительных и самых что ни на есть настоящих уродств, чтобы создавать вдобавок и воображаемые. Ужели ты мнишь, что слишком благоденствуешь, если к твоему благоденствию не примешивается неудовольствие? Ужели ты мнишь, что выполнил все обязанности, которые на тебя возложила природа, и что она покинет тебя или перестанет тебя направлять, если ты не возьмешь на себя новых? Ты ничуть не страшишься преступать ее бесспорные и всеобъемлющие законы и цепляешься за свои собственные, фантастические и личные, и чем причудливее, туманнее и противоречивей эти законы, тем больше ты силишься следовать им. Непреклонные правила, которые ты сам изобрел, и правила, принятые в твоем приходе, владеют тобой и связывают тебя, но божественные установления и законы всего мироздания нисколько тебя не трогают. Окинь взглядом примеры, подтверждающие эти мои слова: в них — вся твоя жизнь.

Стихи двух поэтов, повествующих о любострастии со свойственной им сдержанностью и скромностью[147] [broken link: #nc5_147], раскрывают, как мне кажется, и освещают его с возможною полнотой. Дамы прикрывают грудь кружевами, священники набрасывают покровы на многие предметы священной утвари, художник накладывает тени на произведения, созданные его искусством, чтобы тем ярче заиграл на них свет, и, как говорят, лучи солнца и дуновения ветра наделены большей силою не тогда, когда они прямые, как нитка, но когда они преломляются. Один египтянин мудро ответил тому, кто спросил его: «Что ты прячешь там под плащом?!» — «Потому-то оно и спрятано под плащом, чтобы ты не знал, что там такое»[148] [broken link: #nc5_148]. Но существуют иные вещи, которые только затем и прячут, чтобы их показать. Послушайте-ка вот этого: он не в пример откровеннее,

> *Et nudam pressi corpus adusque meum[149] [broken link: #nc5_149].*

да я читаю эти слова, точно бесполое существо. Сколько бы Марциал ни задирал Венере подол, ему все равно не показать ее в такой наготе. Кто говорит все без утайки, тот насыщает нас

до отвала и отбивает у нас аппетит; кто, однако, боится высказать все до конца, тот побуждает нас присочинять то, чего нет и не было. В скромности этого рода таится подвох, и он-то выводит нас, как эти двое[150] [broken link: #nc5_150], на упоительную дорогу воображения. И в делах любви и в изображении их должна быть легкая примесь мошенничества.

Мне нравится любовь у испанцев и итальянцев; она у них более почтительная и робкая, более чопорная и скрытная. Не знаю, кто именно заявил в древности, что ему хочется иметь глотку такую же длинную, как журавлиная шея, дабы он мог подольше наслаждаться тем, что глотает. Подобное желание, по-моему, еще уместнее, когда дело идет о столь бурном и быстротечном наслаждении, как любовное, и особенно у людей вроде меня, склонных к поспешности. Чтобы задержать и продлить удовольствие в предвкушении главного, испанцы и итальянцы используют все, что усиливает взаимную благосклонность и взаимное влечение любящих: взгляд, кивок головой, слово, украдкой поданный знак. Кто обедает запахом жаркого и ничем больше, не сберегает ли груду добра? Ведь это такая страсть, в которой существенного и осязательного самая малость, а

все остальное — суетность и лихорадочный бред; отплачивать и служить ей следует тем же. Так давайте научим дам набивать себе цену, относиться к себе самим с уважением, доставлять нам развлечение и плутовать с нами. Мы начинаем с того, чему подобает быть завершением, и здесь, как повсюду, — причина в нашей французской стремительности. Затягивая милости дам и смакуя каждую такую милость в подробностях, любой из нас, вплоть до печальной и жалкой старости, будет располагать, в меру своих сил и достоинств, хоть каким-нибудь их лоскутком. Но кто не знает других наслаждений, кроме этого наслаждения, кто жаждет лишь сорвать банк, кто любит охоту лишь ради добычи, тому незачем идти в нашу школу. Чем больше пролетов и ступеней на лестнице, тем выше и почетнее место, которого вы достигаете, поднявшись по ней. Нам должно нравиться, когда нас ведут, как это бывает в великолепных дворцах, через всевозможные портики и переходы, длинные и роскошные галереи, делая множество поворотов. Это отвлечение идет нам на пользу; мы задерживаемся и любим дольше; без надежд и желаний мы не доберемся ни до чего стоящего. Нет для женщины ничего опаснее и страшнее,

чем наше господство и безраздельное обладание ею: едва они отдают себя во власть нашей честности и нашего постоянства, как их доля делается сомнительной и незавидной. Это — добродетели редкие, и соблюдать их до крайности трудно; как только женщина становится нашей, мы перестаем ей принадлежать.

> *Postquam cupidae mentis satiata libido est*
> *Verba nihil metuere, nihil periuria curant.[151] [broken link: #nc5_151]*

И юноша-грек Фрасонид был настолько влюблен в свою собственную любовь, что, завоевав сердце возлюбленной, не пожелал насладиться ею из опасения убить, насытить и угасить наслаждением то беспокойное горение страсти, которым он так гордился и которое питало его[152] [broken link: #nc5_152].

Лакомствам придает вкус их цена. Заметьте, насколько ныне принятый способ здороваться, особенно распространенный в нашем народе, снизил, ввиду их доступности, значение и очарование поцелуев, о которых Сократ говорит, что они так всесильны и так легко похищают наши сердца[153] [broken link: #nc5_153]. Пренеприятный и наносящий оскорбление дамам обычай

— подставлять свои губы всякому, кого сопровождает трое лакеев, как бы противен он ни был,

*Cuius livida naribus caninis*
*Dependet glacies rigetque barba:*
*Centum occurrere malo culilingis.[154] [broken link: #nc5_154]*

Да и мы, мужчины, ничего от него не выигрываем, ибо, — так уже устроен мир, — чтобы поцеловать трех красавиц, надо проделать то же самое с полусотней дурнушек. А для желудка нежного и чувствительного, каков он у людей моего возраста, невкусный поцелуй обходится много дороже вкусного.

В Италии находятся поклонники и воздыхатели даже у тех, кто торгует собою, и эти влюбленные в свое оправдание говорят следующее: в наслаждении может быть несколько степеней, и своими ухаживаниями они жаждут добиться той, где оно наиболее самозабвенно и целостно. Женщины эти торгуют только своим телом; волю их невозможно пустить в продажу, она для этого слишком независима и своенравна. Таким образом, их поклонники заявляют, что хотят завоевать волю, и их желание вполне обоснованно. Именно за волей нужно ухаживать, именно ее нужно пленять.

Я не могу представить себе без содрогания свое тело свободным от всякого чувства влюбленности, и мне кажется, что подобное исступленное и голое вожделение мало чем отличается от вожделения юноши, набросившегося в любовном чаду на чудесное изваяние Венеры, созданное Праксителем[155] [broken link: #nc5_155], или от вожделения того бешеного египтянина, который воспылал страстью к трупу, отданному ему для бальзамирования и облачения в погребальное одеяние, — последнее и дало повод к обнародованию закона, введенного позднее в Египте и содержавшего в себе предписание выдерживать трое суток трупы молодых и красивых женщин, а также женщин знатного рода и лишь после этого доверять их тем, кому будет поручено приготовить их к погребению[156] [broken link: #nc5_156]. А Периандр — его поступок еще чудовищнее, ибо, охваченный супружеским влечением (более упорядочным и правомерным), он наслаждался и со своей покойной женою Мелиссой[157] [broken link: #nc5_157].

Не является ли подлинно лунатической причудой Луны то, что она, не имея возможности наслаждаться с Эндимионом, своим милым, усыпила его на несколько месяцев, чтобы трепетать

от счастья с юношей, содрогавшимся только во сне?[158] [broken link: #nc5_158].

Равным образом, я утверждаю, что любить тело без его согласия и желания — то же самое, что любить тело без души или без чувств. Наслаждение никоим образом не одинаково: бывают наслаждения, так сказать, чахоточные и чахлые: тысячи других причин, кроме благоволения, могут доставить нам эту снисходительность женщин. Она не может быть сочтена достаточным свидетельством их влечения; в ней может таиться предательство, как и во всем остальном; порою они участвуют в любовном соитии только своими бедрами и ничем больше,

*tanquam thura merumque parent:*

*Absentem marmoreamve putes.[159] [broken link: #nc5_159]*

Я знаю таких, которые предоставляют вам это охотнее, чем свою карету, и которые не знают других видов общения, кроме этого. Нужно выяснить, нравится ли им ваше общество еще чем-нибудь, или вы нужны им только для этого, как какой-нибудь здоровенный конюх, и как они к вам относятся, и насколько вас ценят,

*tibi si datur uni,*

*Quo lapide illa diem candidiore notet.[160]*
*[broken link: #nc5_160]*

А что, если она насыщается вашим хлебом, сдабривая его вкусной подливкой, изготовленной ее воображением?

*Te*
*tenet, absentes alios suspirat amores.[161]*
*[broken link: #nc5_161]*

Не видели ли мы в наши дни кое-кого, кто использовал любовные ласки, чтобы свершить ужасную месть, чтобы отравить и убить в эти мгновения, как он и сделал, честную и ни в чем не повинную женщину?

Кто знает Италию, те никогда не сочтут странным, если я не стану отыскивать для своей темы примеры в каком-нибудь ином месте, ибо в делах этого рода она ведет, можно сказать, за собою весь мир. Женщины Италии чаще всего хороши собою, и безобразных там меньше, чем среди нас; но что касается редкостных и совершенных красавиц, в этом отношении, по-моему, у нас с нею полное равенство. То же я думаю и об уме итальянцев. Умов, скроенных на обычный лад, у них много больше, да и грубости у них несомненно не в пример меньше нашего; но что касается

душ необыденных и вознесенных высоко над всеми другими, то в этом мы им не уступим. Если б мне нужно было распространить это сравнение и на все остальное, я мог бы сказать, кажется, что доблесть, напротив, по их же оценке, у нас повсеместна и дана нам от природы; зато у них ее видишь порою такой законченной и неодолимой, что она превосходит все те примеры, которые мы могли бы найти у себя. Браки в этой стране, однако, прихрамывают, и вот в чем их слабость: итальянские нравы обычно предписывают женщинам законы такие суровые и до того рабские, что даже самое далекое знакомство с кем-нибудь посторонним карается у них так же строго, как и самое близкое. От этого проистекает, что всякое сближение поневоле становится у них любовною связью, и так как за все в равной мере нужно держать ответ, они не очень-то колеблются в выборе. И если такая-то преступила эти границы, то знайте, что она вся в огне: luxuria ipsis vinculis, sicut fera bestia, irritata, deinde emissa[162] [broken link: #nc5_162]. Нужно немножко ослабить поводья, на которых их держат:

> *Vidi ego nuper equum, contra sua frena tenacem,*

*Ore reluctanti fulminis ire modo.[163] [broken link: #nc5_163]*

Жажда общения заметно ослабевает, если ей предоставить хоть некоторую свободу.

Мы подвергаемся почти такой же опасности, как итальянцы. Они доходят до крайностей в стеснении своих женщин, мы — в предоставлении им свободы. У нашего народа есть хороший обычай, состоящий в том, что наших детей принимают в богатые и знатные семьи пажами, дабы растить их там и воспитывать в своего рода школе знатности и благородства. И отказать дворянину в этом — как говорят, вопиющая нелюбезность и оскорбление. Я заметил (ибо в каждом доме свои порядки и нравы), что дамы, пожелавшие предписать состоящим в их свите девицам наиболее строгие правила, добились этим не очень-то многого. Здесь требуется умеренность; определяя, как им подобает себя вести, нужно во многом полагаться на их собственную скромность, ибо, как ни старайся, нет такой дисциплины, которая могла бы обуздать их во всем. Но верно и то, что девица, которой посчастливилось, пройдя свободное воспитание, ускользнуть от соблазнов и сохранить целомудрие, внушает гораздо больше доверия, нежели та, которую такая же школа

сделала суровой и неприступной.

Наши отцы стремились добиться благопристойного поведения своих дочерей, вселяя в них стыдливость и страх (впрочем, их сердца и желания были такими же), а мы — дерзость, ибо в этих вещах мы решительно ничего не смыслим. Это пристало каким-нибудь савроматам, у которых женщине дозволялось лечь вместе с мужчиною лишь после того, как она своими руками убьет на войне мужчину[164] [broken link: #nc5_164]. Что до меня, чьи права покоятся только на их добром желании выслушивать мое мнение, то я буду доволен, если женщины станут обращаться ко мне как к советчику, принимая во внимание привилегии моего возраста. И я посоветую им (как и нам) воздержность; но поскольку наш век с нею в таких неладах, пусть женщины не нарушают, по крайней мере, благопристойности и приличий. Ибо, как повествуется в рассказе об Аристиппе, он ответил тем юношам, которым стало за него стыдно, когда они увидели его входящим к гетере: «порок в том, чтобы не выходить отсюда, а не в том, чтобы сюда войти»[165] [broken link: #nc5_165]. Кто не хочет сохранять в чистоте свою совесть, пусть сохранит незапятнанным хотя бы имя: если сущность не заслуживает доброго

слова, пусть стоит его хотя бы внешность.

Я одобряю тех женщин, которые жалуют нам свои милости постепенно и растягивая их на длительный срок. Платон говорит, что во всяком виде любви доступность и готовность не приличествуют тем, кого домогаются[166] [broken link: #nc5_166]. Если женщины сдаются с легкостью и поспешностью, не оказывая сопротивления, — это свидетельствует об их жадности к наслаждению, а им подобает скрывать ее со всем их искусством и ловкостью. Распределяя свои дары умеренно и последовательно, они гораздо успешнее распаляют наши желания и прячут свои. Пусть они всегда убегают от нас, и даже те среди них, кто не прочь позволить себя поймать, — они верней побеждают нас, убегая, как делали скифы. И действительно, в соответствии с теми особенностями, которыми их наделила природа, им не дано выражать свои чаянья и желания, — их доля терпеть, подчиняться и уступать; вот почему природа вложила в них никогда не угасающее влечение, у нас сравнительно редкое и достаточно смутное; их час бьет в любое мгновение, дабы они были неизменно готовы, когда бы ни пробил наш, — pati natae[167] [broken link: #nc5_167]. И пожелав, чтобы наше вожделение выказывало и

явно выражало себя, природа сделала так, чтобы у них оно таилось внутри, и снабдила их ради этого органами, неспособными его обнаруживать и пригодными лишь к обороне.

Настойчивость в делах подобного рода подобает лишь свободе, царившей в племени амазонок. Александр, проходя по Гиркании, встретился с царицею амазонок Фалестрис, поспешившей к нему с тремястами воинов своего пола — на отличных конях и отлично вооруженных, — опередив все свое сильное войско, которое следовало за ней и находилось по ту сторону ближних гор. Она прямо и открыто сказала, что слух о его победах и доблести привел ее в эти места, чтобы увидеть его и предложить ему все, в чем он нуждается, а также свое могущество, и оказать ему таким образом помощь в его предприятиях; и что, увидев его столь прекрасным, юным и мощным, она, столь же совершенная, советует ему разделить с нею ложе, дабы от самой доблестной в мире женщины и самого доблестного из всех ныне живущих мужчин родилось для будущего нечто великое и поистине редкостное. Александр поблагодарил ее за все остальное и, согласившись исполнить последнюю из ее просьб, остановился тут на тринадцать дней, и пировал в течение

этого срока так весело и беззаботно, как только мог, в честь столь смелой властительницы[168] [broken link: #nc5_168].

Мы почти во всем — несправедливые судьи совершаемых женщинами поступков, как они — наших. Я признаюсь в истине, когда она мне во вред, ничуть не меньше, чем когда она мне на пользу. Отвратительное распутство — вот что так часто заставляет женщин менять возлюбленных и мешает им сосредоточить свое чувство на комлибо одном, кем бы он ни был, как мы это видим на примере той самой богини, которой приписывается столько измен и дружков[169] [broken link: #nc5_169]; но, с другой стороны, верно и то, что природа любви не терпит, чтобы она была лишена пылкости, а природа пылкости — чтобы любовь была прочной. И те, кто удивляется этому, сокрушается по этому поводу и выискивает причины этой болезни в женщинах, считая ее чем-то противоестественным и поразительным, почему-то не видят, до чего часто они сами заражаются ею, нисколько не пугаясь ее и не находя в ней ничего необычного! Было бы, пожалуй, более странным, если бы любовь могла оставаться неизменною: ведь это не просто телесная страсть; если нет предела алчности и честолюбию, то

точно так же нет предела и распутству. Оно не прекращается с пресыщением, и ему нельзя предписать, чтобы оно удовлетворилось раз навсегда, как нельзя положить ему навеки предел: оно неизменно влечется к тому, что вне его власти, и, пожалуй, женщинам оно в некоторой мере простительнее, чем нам. Они могут ссылаться в свое оправдание, наравне с нами, на свои склонности, такие же, как у нас, на потребности в разнообразии и новизне, но, кроме того, и на то, на что мы ссылаться не можем, а именно, что они, как говорится, покупают кота в мешке (Иоанна, неаполитанская королева, повелела удавить своего первого мужа Андреаццо на решетке окна своей спальни изготовленным ею собственноручно шнурком из золотых и шелковых нитей, и все из-за того, что не обнаружила в нем на супружеском ложе ни силы, ни усердия, которые отвечали бы упованиям, возникшим в ней при виде его прекрасного стана, красоты, молодости и прочих особенностей телосложения — всего того, что пленило и обмануло ее[170] [broken link: #nc5_170]). Наконец, они могут сказать, что действовать всегда много труднее, чем терпеть я оставаться в бездействии, и если их не пугают трудности, то это, по крайней мере, вызвано

необходимостью, тогда как у нас дело может обстоять совсем по-иному. Именно по этой причине Платоновы законы мудро повелевают, чтобы судьи, заботясь о прочности браков, подвергали осмотру собирающихся жениться юношей раздетыми донага, а девушек обнаженными только до пояса[171] [broken link: #nc5_171].

Испытав наши объятия, женщины порой находят, что мы недостойны быть их избранниками,

> *Experta latus, madidoque simillima loro*
>
> *Inguina, nec lassa stare coacta manu,*
>
> *Deserit imbelles thalamos.[172] [broken link: #nc5_172]*

Не все зависит от воли, сколь бы добропорядочной она ни была. Мужское бессилие и недостаточность служат законными поводами к разводу:

> *Et quaerendum aliunde foret nervosius illud,*
>
> *Quod posset zonam solvere virgineam,[173] [broken link: #nc5_173]*

а почему бы и нет? Почему бы в соответствии со своими потребностями женщине не искать возлюбленного более проницательного, жадного

и неутомимого,

*si blando nequeat superesse labori.[174] [broken link: #nc5_174]*

Но не величайшее ли бесстыдство приносить наши слабости и недостатки туда, где мы жаждем понравиться и оставить по себе хорошее мнение и добрые воспоминания? Несмотря на ничтожность того, что мне ныне нужно,

*ad unum*

*Mollis opus,[175] [broken link: #nc5_175]*

я не хотел бы вызвать досаду в той, перед кем мне полагается благоговеть и чьего неудовольствия я должен страшиться:

*Fuge suspicari,*

*Cuius undenum trepidavit aetas*

*Claudere lustrum.[176] [broken link: #nc5_176]*

Природе надлежало бы ограничиться тем, что она сделала пожилой возраст достаточно горестным, и не делать его к тому же еще и смешным. Мне противно смотреть на того, кто, обретая трижды в неделю жалкую крупицу любовного жару, суетится и петушится в этих случаях с такою

горячностью, как если бы ему предстоял целый день доблестных и великих трудов, — настоящий пороховой шнур, да и только. И я дивлюсь на его горение, столь бурное и стремительное, которое, однако, мгновенно сникает и гаснет. Этому безудержному влечению подобало бы быть принадлежностью лишь цветущей поры нашей неповторимой юности. Попытайтесь-ка ради проверки поддержать этот пылающий в вас неутомимый, яркий, ровный и жгучий огонь, и вы убедитесь, что он изменит вам посередине дороги и в самую решительную минуту! Лучше дерзко несите его к какой-нибудь хрупкой юной девице-полуребенку, испуганной и неопытной в этих делах и все еще дрожащей и краснеющей, лежа в ваших объятиях,

*Indum sanguineo veluti violaverit ostro*
*Si quis ebur, vel mista rubent ubi lilia multa*
*Alba rosa.[177] [broken link: #nc5_177]*

Но кто сможет дождаться рассвета и не умереть от стыда, прочитав презрение в этих прекрасных глазах — свидетелях вашей подлости и наглой самоуверенности.

*Et taciti fecere tamen convitia vultus,[178] [broken link: #nc5_178]*

тот никогда не ощущал удовлетворения и гордости собою самим от того, что его усердие и неутомимое рвение в минувшую ночь заставило их померкнуть и потускнеть. Когда я замечал, что та или иная моя подруга начинает мной тяготиться, я не торопился обвинять ее в легкомыслии; я принимался раздумывать, нет ли у меня оснований обижаться скорей на природу. Это, конечно, она обошлась со мной несправедливо и нелюбезно,

> *Si non longa satis, si non bene mentula crassa:*
>
> *Nimirum sapiunt, videntque parvam*
>
> *Matronae quoque mentulam illibenter[179] [broken link: #nc5_179],*

и нанесла мне величайший ущерб.

Любая моя принадлежность в такой же мере является частичкою моего «я», как и все остальное. И никакая другая не делает меня мужчиною в подлинном смысле слова больше, чем эта.

Я должен нарисовать для читателей мой портрет во всех частностях и подробностях. Вся мудрость моих наставлений — в их правдивости, независимости, существенности; презирая мелочные, надуманные, обиходные и никчемные

правила, она не находит их для себя обязательными; она целиком естественна, неизменна, всеобъемлюща; учтивость и церемонность — лишь побочные ее дочери. Мы легко одолеем внешние недостатки, если победим внутренние. А разделавшись с ними, примемся за какие-нибудь другие, если решим, что от них нужно избавиться. Ведь существует опасность, что, стремясь извинить наше пренебрежение своими естественными обязанностями, мы измыслим для себя новые и постараемся свалить те и другие в общую кучу. А что дело обстоит именно так, подтверждается тем, что в местах, где проступки считаются преступлениями, преступления считаются не более чем проступками и что народы, у которых законы благоприличия менее многочисленны и более снисходительны, нежели принятые у нас, не в пример лучше нашего соблюдают законы естественные и всеобщие, ибо бесчисленное множество обременяющих нас обязанностей подавляет, изматывает и сводит на нет наше старание. Приверженность к малым делам отвлекает нас от насущно необходимых. До чего же путь, избранный этими безмятежными и бесхитростными людьми, легче и похвальнее нашего! Ведь все, чем мы прикрываемся и чем

платим друг другу дань, — бесплотные тени. А ведь судье, великому и всесильному, срывающему с наших срамных мест тряпье и лохмотья и не брезгающему смотреть на нас в чем мать родила, как и на наши испражнения, мы не платим никакой дани и тем самым умножаем свой долг перед ним. Это проявление благопристойности, внушенной нам поистине девическою стыдливостью, могло бы быть очень полезным, если бы препятствовало ему обнаруживать наши мерзости. Короче говоря, отучив людей от излишней щепетильности в выборе выражений, мы не причиним миру большого вреда. Наша жизнь складывается частью из безрассудных, частью из благоразумных поступков. Кто пишет о ней почтительно и по всем правилам, тот умалчивает о большей ее половине. Я ни в чем сам перед собою не извиняюсь; если бы я когда-нибудь это делал, то извинялся бы скорее за свои извинения, чем за что-либо другое. Но извиняюсь я перед теми, кого, как мне сдается, больше, чем тех, кто на моей стороне. Имея в виду именно их, я еще скажу следующее (ибо мне хочется угодить всем и каждому, а это дело исключительно трудное, esse unum hominem accommodatum ad tantam morum ac sermonum et voluntatum varietatem)[180]

[broken link: #nc5_180], чтобы они не бранили меня за приводимые мной на этих страницах слова общепризнанных и одобряемых всеми авторитетов; и еще я хочу добавить, что несправедливо лишать меня, только из-за того, что в моих сочинениях отсутствует рифма, той снисходительности, которою пользуется в наш век столько моих соотечественников, и среди них лица духовные, и притом занимающие очень высокое положение. Вот два примера:

> *Rimula, dispeream, ni monogramma tua est.*
>
> *Un vit d'ami la contente et bien traitte.[181] [broken link: #nc5_181]*

А сколько других? Я люблю скромность и отнюдь не умышленно избрал этот рискованный способ изложения своих мыслей; он избран для меня самою природой. Я не восхваляю его, как не восхваляю и других форм обхождения, противоречащих общепринятым, но я его извиняю и, исходя как из общих, так и из частных соображений, нахожу для него целый ряд смягчающих обстоятельств. Но продолжим. Равным образом, откуда может проистекать то присвоение нами верховной власти, которое мы позволяем себе

по отношению к женщинам, расточающим нам милости за свой собственный счет? И почему,

> *Si furtiva dedit nigra munuscula nocte,[182] [broken link: #nc5_182]*

мы тотчас же принимаемся проявлять по отношению к такой женщине своекорыстие, супружескую власть и супружеский холодок? Это ведь свободное соглашение; так на каком основании мы не считаем для себя обязательным выполнять его так же, как хотим, чтобы его выполняли женщины? Где все покоится на добровольных началах, там нет места для приказаний.

Хотя это и противоречит общему правилу, но, вступая в свое время в подобные сделки, я и вправду соблюдал, насколько это можно совместить с их природою, все вытекающие из них обязательства с честностью и добросовестностью, которой придерживался в других сделках, и притом не забывая о справедливости; и при таких отношениях с женщинами я всегда изображал им свою страсть такою, какою она представлялась мне самому, сообщая со всей искренностью и непосредственностью о ее ослаблении, ее пылкости, ее зарождении, ее приливах и ее отливах.

Ведь не всегда идешь одной и той же походкой. Я был настолько скуп на обещания, что неизменно давал, как мне кажется, сверх того, что было мною обещано и что я должен был дать. И я был настолько верен моим возлюбленным, что порою даже содействовал их изменам. Я говорю об изменах, в которых они мне признавались и которые, случалось, совершали неоднократно. И никогда я с этими женщинами не рвал, если меня привязывала к ним хотя бы тончайшая ниточка; а в тех немногочисленных случаях, когда они вынуждали меня пойти на разрыв, я порывал с ними так, что не уносил с собой ни презрения к ним, ни ненависти, ибо близость этого рода, даже тогда, когда она даруется нам на самых постыдных для женщин условиях, заслуживает хотя бы крупицы признательности. Что касается гнева и нетерпения, хватавших у меня иногда несколько через край, то от них я не всегда мог удержаться; это бывало, когда меня донимали женские хитрости и отговорки и когда у нас разгорались ссоры, ибо по своему душевному складу я подвержен внезапным вспышкам, которые мне часто вредят в отношениях с людьми и в делах, хотя они кратковременны и не очень яростны. Если мои приятельницы выражали желание, чтобы я гово-

рил о них со всей откровенностью, я никогда не вилял, не уклонялся от отеческих и нелицеприятных советов и пощипывал их там, где им было от этого больно. И если они впоследствии вспоминали обо мне с теплым чувством и сожалением, то это происходило главным образом потому, что они находили во мне — и особенно по сравнению с современными нравами — любовь на редкость и до нелепости совестливую. Я свято соблюдал свое слово и в таких случаях, когда меня от него легко могли бы освободить; в те времена женщины порою сдавались, не заботясь о своем добром имени и условиях, которые они легко позволяли нарушать победителю. Что до меня, то, заботясь об их чести, я не раз отказывался от наслаждения в самый разгар его; и когда меня побуждало к этому благоразумие, я сам вкладывал в руки женщин оружие против меня, и если они со всей искренностью следовали преподанным мною правилам, то вели себя и более рассудительно и более строго, чем если бы руководствовались своими собственными.

Я всегда принимал риск, связанный с нашими встречами, по возможности на себя одного, дабы полностью снять его с них. И я всегда устраивал наши свидания в местах, казалось бы, непригод-

ных для этого и неожиданных, потому что это подает меньше поводов к подозрениям и, сверх того, по-моему, гораздо спокойнее и безопаснее. Чаще всего любовников накрывают именно там, где, по их мнению, им всего безопаснее. Чего меньше боятся, против того меньше принимают меры предосторожности и за тем меньше следят; и с большей решимостью можно отважиться на то, на что, по общему мнению, вы не отважитесь и что становится легким вследствие своей трудности.

Никто никогда не занимался любовью так несуразно, как я. Этот способ любить более добропорядочен, но кому, как не мне, знать, насколько он смешон для моих соотечественников и как малоуспешен. И все же я нисколько и ни в чем не раскаиваюсь; да и терять мне теперь больше нечего:

*me tabula sacer*
*Votiva paries indicat uvida*
*Suspendisse potenti*
*Vestimenta maris deo.[183] [broken link: #nc5_183]*

Пришла пора сказать об этом открыто. Но совсем так же, как я сказал бы при случае всякому:

«Друг мой, ты бредишь; в твое время любовь имеет мало общего с искренностью и честностью».

> *haec si tu postules*
>
> *Ratione certa facere, nihilo plus agas,*
>
> *Quam si des operam, ut cum ratione insanias;[184] [broken link: #nc5_184]*

если бы мне пришлось начинать сызнова, я бы пошел, наперекор всему, той же походкой и по той же дороге, сколь бы бесплодным это для меня ни было. Бездарность и глупость в том, что непохвально, — похвальны. Чем дальше я отхожу от общего взгляда на эти вещи, тем ближе я подхожу к своему.

И все же я не позволял себе погружаться в подобные дела с головой; я получал удовольствие, но не забывался; я полностью сохранял в себе ту малую толику здравого смысла и рассудительности, которыми меня наделила природа, чтобы они всегда могли быть к услугам как женщин, так и моим; я бывал немного взволнован, но не впадал в беспамятство. Бывало, что я поступал вопреки своей совести и доходил до излишеств и до распутства, но что касается неблагодарности, предательства, злобы и жестокости — нет, в этом я неповинен. Я не покупал наслаждения

любой ценой; я платил за него не больше, чем оно действительно стоило. Nullum intra se vitium est[185] [broken link: #nc5_185]. В почти равной мере мне ненавистны как сонная и оцепеневшая праздность, так и усеянная шипами, докучная занятость. Одна меня усыпляет, другая держит в тисках. По мне все равно — что раны, что побои; что порезы, что синяки. Когда я был пригоднее к этим делам, я умел держаться должной умеренности, пребывающей посередине между обеими крайностями. Любовь — бодрое, оживленное, веселое возбуждение; она никогда не вселяла в меня тревогу, и я никогда от нее не терзался; я бывал ею разгорячен, и она вызывала у меня жажду: на этой черте и следует останавливаться; любовь вредна лишь глупцам.

Один юноша спросил у философа Панэция, пристойно ли мудрецу влюбляться. Тот ответил: «Оставим мудреца; а вот ты да я, отнюдь не мудрецы, давай-ка лучше остережемся столь беспокойной и буйной страсти, порабощающей нас другому и внушающей нам презрение к себе»[186] [broken link: #nc5_186]. Он был прав, утверждая, что столь неукротимую по своей сущности страсть нельзя доверять душе, бессильной устоять перед ее натиском и лишенной

средств опровергнуть на деле мнение Агесилая, считавшего, что благоразумие и любовь несовместимы[187] [broken link: #nc5_187]. Любовь — и вправду занятие непристойное, постыдное и недозволенное; но если не выходить из указанных мною рамок, она, по-моему, делается целительною, способной расшевелить отяжелевшие ум и тело; и будь я врачом, я бы с такой же готовностью, как и всякие другие лекарства, прописывал ее людям моего сложения и образа жизни, дабы возбуждать и поддерживать их в пожилом возрасте и тем самым замедлить наступление старости. И пока мы еще на окраине, пока у нас бьется пульс,

> *Dum nova canities, dum prima et recta senectus,*
>
> *Dum superest Lachesi quod torqueat, et pedibus me*
>
> *Porto meis, nullo dextram subeunte bacillo,[188] [broken link: #nc5_188]*

необходимо, чтобы нас будоражило и подстегивало какое-нибудь сильное возбуждение, а его-то и приносит с собою любовь. Взгляните-ка, сколько молодости, мощи и бодрости вернула она мудрому Анакреонту![189] [broken link: #nc5_189]

А Сократ, когда он был старше меня, говоря о том, к кому его влекло любовное чувство, рассказывает: «Опершись плечом о его плечо и приблизив голову к его голове так, чтобы нам обоим можно было смотреть в ту же книгу, я внезапно почувствовал — ив этом нет ни капельки лжи, — как в мое плечо вонзилось острое жало, точно меня укусил какой-нибудь зверь; после этого я в течение пяти дней ощущал в том же месте резкое жжение, вливавшее в мое сердце непрерывно мучившее меня желание»[190] [broken link: #nc5_190]. Прикосновение, и к тому же случайное, и не более чем плечом, разгорячило и опалило душу, успевшую с годами охладеть и увянуть, и притом душу, намного опередившую все остальные на стезе самоусовершенствования! А почему бы и нет? Сократ был человек и не хотел ни быть, ни казаться чем-либо иным.

Философия нисколько не ополчается против страстей естественных, лишь бы они знали меру, и она проповедует умеренность в них, а не бегство от них; ее усилие в борьбе с ними направлены лишь против тех страстей, которые чужды нашей природе и привносимы извне. Она говорит, что побуждения нашего тела не должно усиливать измышлениями ума, и мудро предо-

стерегает нас от желания возбуждать в себе голод пресыщением, от желания набить свой живот вместо того, чтобы его наполнить; она увещевает избегать всякого наслаждения, заставляющего нас алкать еще больше, избегать еды и питья, обостряющих наши голод и жажду; так и в любви она предписывает нам избирать для себя предмет, утоляющий потребность нашей плоти, но не задевающий нашей души, которая должна оставаться невозмутимой, и единственное, что ей надлежит делать, это — следовать по пятам за плотью и ей соприсутствовать[191] [broken link: #nc5_191].

Но разве у меня нет достаточных оснований считать, что эти предписания философии, — к тому же, по-моему, слишком суровые, — относятся лишь к такой плоти, которая безотказно выполняет свои обязанности, и что, следовательно, изнуренную плоть, так же как и вялый желудок, извинительно согревать и поддерживать искусственно, усилием воображения возвращая ей бодрость и чувственное влечение, раз она их утратила? Не можем ли мы сказать, что в нас, пока мы пребываем в этой земной темнице, нет ничего ни чисто плотского, ни чисто духовного и что мы беспощадно разрываем на части живого

человека; и разве, как мне кажется, не было бы гораздо справедливее, если бы мы относились к принятым среди нас любовным утехам по крайней мере с таким же сочувствием, какое испытываем к страданию? Оно, например, доходило в душе у святых, всем своим существом предававшихся покаянию, можно сказать, до крайних пределов; и вследствие тесных уз, связывающих плоть с душою, плоть, разумеется, тоже несла при этом свою долю страдания, хотя могла быть и непричастной к причине, его породившей; и все же этим святым было мало, чтобы плоть лишь следовала за скорбящей душой и ей соприсутствовала; они подвергали ее жестоким и только ей одной предназначенным истязаниям, дабы и душа и плоть, соревнуясь друг с другом, погружали человека в страдание, тем более благотворное, чем оно было мучительней.

Подобным же образом справедливо ли отвращать нашу душу от плотских утех и говорить, что она должна вовлекаться в них как бы по обязанности, в силу неизбежной и рабской необходимости? Но ведь именно душе и подобает вынашивать их и пестовать, влечься к ним и управлять ими, ибо всем руководит только она; ведь как раз она и присущие ей наслаждения и

должны, по-моему, внушать и передавать плоти все свойственные их сущности ощущения и заботиться о том, чтобы они были для нее сладостными и благодетельными. Ибо если разумно утверждение тех, кто говорит, что плоть не должна удовлетворять свои желания и стремления в ущерб духу, то почему не разумно и обратное утверждение, то есть что дух не должен удовлетворять свои желания и стремления в ущерб плоти?

У меня нет другой страсти, которая могла бы меня захватить. То, что людям, не имеющим, как и я, постоянных занятий, дают алчность, честолюбие, ссоры, судебные тяжбы, — все это — и с большей приятностью — дала бы мне любовь; она вернула бы мне проницательность, трезвость, любезность, стремление заботиться о своей особе; она придала бы уверенность моей внешности, так что ее не искажали бы гримасы старости, жалкие и отвратительные черты; она побудила бы меня к занятиям здравым и мудрым, и я стал бы и более уважаемым и более любезным; она избавила бы мой дух от отчаянья в себе и своем одиночестве и примирила бы его с самим собою; она отвлекла бы меня от тысячи тягостных мыслей и тысячи печалей и огорчений, насылаемых на нас в

пожилом возрасте праздностью и плохим здоровьем; она согрела бы по крайней мере во сне эту кровь, уже забываемую природой, она заставила бы меня выше держать голову и продлила бы хоть немного силу, и крепость, и бодрость души в том несчастном, который стремительно идет навстречу своему концу. Но я хорошо знаю, что вновь обрести подобное счастье — редкостная удача. Из-за немощности и чрезмерной опытности наш вкус стал более нежным и изысканным; мы требуем большего, тогда как сами приносим меньше, чем прежде; мы становимся прихотливее, тогда как возможностей для завоевания благосклонности у нас меньше, чем когда бы то ни было; зная за собой слабости, мы делаемся менее смелыми и более недоверчивыми: никто не в состоянии убедить нас, что мы, и в самом деле, любимы, — ведь нам отлично известно, каковы мы и каковы женщины. Я стыжусь бывать в обществе зеленой и кипучей молодежи,

> *Cuius in indomito constantior inguine nervus,*
>
> *Quam nova collibus arbor inhaeret[192] [broken link: #nc5_192].*

К чему среди такой жизнерадостности выстав-

лять наше убожество?

*Possint ut iuvenes visere fervidi,*
*Multo non sine risu*
*Dilapsam in cineres facem?[193] [broken link: #nc5_193]*

На их стороне сила и справедливость; им честь и место; нам же только и остается, что потесниться.

К тому же этот росток расцветающей красоты не терпит прикосновения наших закоченевших рук; да и обладание им не достигается при помощи одних материальных средств. Ибо, как ответил некий древний философ насмешнику, подтрунивавшему над ним за то, что он не сумел пленить сердце юной девицы, которую преследовал своими ухаживаниями: «За столь свежий сыр, друг мой, крючок не цепляется»[194] [broken link: #nc5_194].

Ведь это отношения, требующие взаимной приязни и сродства; все прочие доступные нам удовольствия можно испытывать за то или иное вознаграждение. Но это — оплачивается только той же монетой. И в самом деле, когда я предаюсь любовным восторгам, наслаждение, которое я дарю, представляется моему воображению бо-

лее сладостным, нежели испытываемое мною самим. Таким образом, кто может срывать цветы удовольствия, ничего не давая взамен, в том нет ни капли благородства: это возможно только для человека с низкой душой, всегда берущего в долг, никогда не отдавая; ему нравится поддерживать отношения с теми, кому он в тягость. Нет такой чарующей и совершенной красоты, прелести, близости, которых порядочный человек домогался бы подобной ценой. Если женщины не могут оказывать нам благоволение иначе, как только из жалости, то, по мне, лучше вовсе не жить, чем жить подаянием. Я хотел бы иметь право требовать их любви, делая это, скажем, по образцу нищих в Италии: «Fate ben per voi»[195] [broken link: #nc5_195]; или так, как делал Кир, обращавшийся к своим воинам со словами: «Кто хочет себе добра, пусть идет за мной»[196] [broken link: #nc5_196].

— Раз так, — могут мне на это сказать, — сходитесь с женщинами вашего возраста; благодаря общности их и вашей судьбы вы с ними скорее поладите. О нелепая и жалкая связь!

*Nolo*

*Barbam vellere mortuo leoni;[197] [broken*

*link: #nc5_197]*

Ксенофонт, понося и обвиняя Менона, выставляет в качестве довода и его исключительное пристрастие к перезревшим возлюбленным[198] [broken link: #nc5_198].

Я нахожу несравненно большее наслаждение в том, чтобы присутствовать как простой свидетель при естественном сближении двух юных и прекрасных существ или даже представлять себе его в моем воображении, нежели быть участником сближения грустного и безобразного. Я уступаю эту причудливую и дикую склонность императору Гальбе, который признавал только жесткое и старое мясо[199] [broken link: #nc5_199], и еще этому несчастному горемыке,

> *O ego di faciant talem te cernere possim*
>
> *Caraque mutatis oscula ferre comis,*
>
> *Amplectique meis corpus non pingue lacertis.[200] [broken link: #nc5_200]*

Но самое большое уродство в моих глазах — это красота поддельная и достигнутая насилием над природой. Эмон, юноша с Хиоса, считая, что ловкими ухищрениями ему удалось заменить природную красоту, которой он был обделен, пришел к философу Аркесилаю и спросил его, может

ли мудрец ощутить в своем сердце влюбленность. «Почему же, — ответил Аркесилай, — лишь бы его не пленила красота искусственная и лживая, вроде твоей»[201] [broken link: #nc5_201]. Откровенное уродство, по-моему, не так уродливо и откровенная старость не так стара, как они же, нарумяненные и молодящиеся.

Могу ли я сказать то, что хочу, не боясь, что меня огреют за это по голове? Естественная истинная пора любви, как мне кажется, — это возраст, непосредственно следующий за детством.

> *Quem si puellarum insereres choro*
>
> *Mille sagaces falleret hospites*
>
> *Discrimen obscurum, solutis*
>
> *Crinibus ambiguoque vultu.[202] [broken link: #nc5_202]*

И то же самое относится к красоте.

Если Гомер удлиняет время ее цветения вплоть до того момента, когда на подбородке начинает проступать первый пушок, то зато сам Платон находил, что об эту пору она — величайшая редкость.

Хорошо известна причина, по которой софист Дион остроумно прозвал непокорные вихры отрочества Аристогитонами и Гармодиями[203]

[broken link: #nc5_203]. В зрелом возрасте любовь, по-моему, уже не та; ну, а про старость и говорить нечего:

*Importunus enim transvolat aridas*
*Quercus.[204] [broken link: #nc5_204]*

И Маргарита, королева Наваррская, сама женщина, намного преувеличивает к выгоде своего пола продолжительность женского века, заявляя, что только после тридцати лет им пора менять свой эпитет «прекрасная» на эпитет «добрая»[205] [broken link: #nc5_205].

Чем короче срок, отводимый нами владычеству любви над нашею жизнью, тем лучше для нас. Взгляните-ка на отличительную черту ее облика: это мальчишеский подбородок. Кто не знает, до чего же все в ее школе идет кувырком? Наше усердие в любовных делах, наш опыт, наша привычка — все это пути, ведущие нас к бессилию; властители любви — новички. Amor ordinem nescit[206] [broken link: #nc5_206]. Конечно, она для нас более обольстительна, когда к ней примешиваются волнения и неожиданности; наши промахи и неудачи придают ей остроту и прелесть; лишь бы она была горячей и жадной, а благоразумна ли она, это неважно. Взгляните на ее поступь,

взгляните, как она пошатывается, спотыкается и проказничает; наставлять ее уму-разуму и во всяческих ухищрениях — означает налагать на нее оковы; отдать ее в эти волосатые и грубые руки — значит стеснить ее божественную свободу.

Кстати, мне частенько приходится слышать, как женщины расписывают на все лады духовную связь, забывая при этом о чувствах и их доле участия в отношениях этого рода. Ведь здесь все идет в дело. Однако я могу засвидетельствовать, что нередко видел, как мы прощали женщинам немощность духа ради телесной их красоты; но я еще ни разу не видел, чтобы ради красоты духа, сколь бы возвышенным и совершенным он ни был, они пожелали снизойти к телу, которое хотя бы немного начало увядать. Почему ни одну из них не охватывает желание совершить тот благородный обмен тела на дух, который так превозносил Сократ, и купить ценой своих бедер, самой высокой ценой, какую они могут за них получить, философскую и духовную связь, а заодно и наделенное теми же качествами потомство? Платон в своих законах велит[207] [broken link: #nc5_207], чтобы, пока длится война, совершивший выдающийся и полезный подвиг, независимо от внешности этого человека и от

его возраста, не получал отказа в поцелуе или какой-либо другой любовной усладе, от кого бы он ни захотел их вкусить. Почему бы то, что Платон считает столь справедливой наградой за воинские заслуги, не стало также наградою и за заслуги другого рода? И почему ни одной из женщин не вознестись над своими товарками этой целомудренной славой? Да, я умышленно говорю — целомудренной,

*nam si quando ad proelia ventum est,*
*Ut quondam in stipulis magnus sine viribus ignis*
*Incassum*
*furit.[208] [broken link: #nc5_208]*

Пороки, которые не идут дальше мыслей, — не из числа наихудших.

Чтобы заключить эти пространные рассуждения, схожие с потоком болтовни, потоком стремительным и порой вредоносным,

*Ut missum sponsi furtivo munere malum*
*Procurrit casto virginis e gremio,*
*Quod miserae oblitae molli sub veste locatum,*
*Dum adventu matris prosilit, excutitur,*

*Atque illud prono praeceps agitur decursu;*

*Huic manat tristi conscius ore rubor,[209] [broken link: #nc5_209]*

я скажу, что мужчины и женщины вылеплены из одного теста; если отбросить воспитание и обычаи, то разница между ними невелика.

Платон в своем «Государстве»[210] [broken link: #nc5_210] призывает безо всякого различия и тех и других к занятиям всеми науками, всеми телесными упражнениями, ко всем видам деятельности на военном и мирном поприщах, к отправлению всех должностей и обязанностей.

А философ Антисфен не делает различия между добродетелями женщин и нашими[211] [broken link: #nc5_211].

Гораздо легче обвинить один пол, нежели извинить другой. Вот и получается, как говорится в пословице: потешается кочерга над сковородой, что та закоптилась.

## Глава VI
## О средствах передвижения

Нетрудно удостовериться, что большие писатели, перечисляя причины того или иного явления, не ограничиваются теми из них, которые они сами считают подлинными, но наряду с ними приводят также причины, не внушающие доверия и им самим, лишь бы они привлекали внимание и казались правдоподобными. Они говорят достаточно правдиво и с пользою, если говорят умно. Мы не имеем возможности установить главную и основную причину; мы сваливаем их в одну кучу в надежде, что, быть может, случайно в их числе окажется и она,

> *namque unam dicere causam*
>
> *Non satis est, verum plures, unde una tamen sit.[1] [broken link: #nc6_1]*

Вы спросите меня, откуда берет начало обычай желать здоровья чихающим? Мы производим три вида ветров: тот, который исходит низом, слишком непристоен; исходящий из нашего рта навлекает на нас некоторый упрек в чревоугодии; третий вид — это чихание; и так как оно

исходит из головы и ничем не запятнано, мы и оказываем ему столь почетную встречу. Не потешайтесь над этими тонкостями; говорят, что они принадлежат Аристотелю[2] [broken link: #nc6_2].

Кажется, я прочел у Плутарха[3] [broken link: #nc6_3] (а он лучше всех известных мне авторов умеет сочетать искусство с природою и рассуждение с знанием), там, где он разъясняет причину тошноты, возникающей у путешествующих по морю, что она вызывается у них якобы страхом, ибо, опираясь на некоторые доводы, Плутарх доказывает, что страх может производить подобные действия. Что до меня, то, весьма подверженный ей, я хорошо знаю, что это объяснение на меня отнюдь не распространяется, и я знаю это не умозрительно, а по своему личному опыту. Не стану приводить здесь того, о чем мне рассказывали, а именно, что морскою болезнью так же часто страдают животные, и особенно свиньи, хотя они, разумеется, не имеют ни малейшего представления об опасности, не стану передавать и рассказ одного из моих знакомых, также очень подверженного этой болезни, о том, как у него раза два или три бесследно проходили позывы ко рвоте, подавленные обуявшим его во время разыгравшейся бури ужасом, совсем как у некоего

древнего автора: Peius vexabar quam ut periculum mihi succurreret[4] [broken link: #nc6_4], укажу лишь на то, что, находясь на воде, как, впрочем, и в любых других обстоятельствах, я никогда не испытывал страха (а у меня было немало случаев, когда он был бы вполне оправдан, если грозящая тебе гибель — достаточное для него оправдание), который хотя бы немного меня смутил или заставил потерять голову.

Иногда он рождается столько же от недостатка благоразумия, сколько от недостатка мужества. Всем опасностям, с которыми я сталкивался лицом к лицу, я всегда открыто смотрел в глаза взглядом ясным, зорким и ничем не стесненным; чтобы бояться, тоже потребна храбрость. И однажды это мне очень помогло, когда я бежал, ведя за собой моих людей и сохраняя во время бегства порядок, не в пример лучший, чем у других; бежали мы, не то чтобы не зная боязни, но во всяком случае не объятые ужасом и не сломя голову; мы были, конечно, встревожены, но не ошалели от страха и не утратили способности соображать.

Люди великой души идут в этом гораздо дальше, и если им приходится обращаться в бегство, они проявляют при этом не только сдержанность и уравновешенность, но, сверх того, даже гор-

дость. Приведем рассказ Алкивиада о бегстве Сократа, его товарища по оружию[5] [broken link: #nc6_5]: «Я увидел его, — говорит Алкивиад, — после поражения нашего войска, его и Лахеса, среди последних в толпе беглецов; я мог рассмотреть его спокойно и неторопливо, потому что был на хорошем коне, а он пешим, как мы и сражались в бою. Прежде всего я заметил, насколько в нем, по сравнению с Лахесом, больше рассудительности и решимости; затем я обратил внимание на непринужденность его походки, нисколько не отличавшейся от обычной, на его взор, твердый и сосредоточенный, на то, как он непрерывно наблюдал за происходившим вокруг и оценивал положение, обращая взгляд то на одних, то на других, на друзей и врагов, и ободряя им первых и предупреждая вторых, что он дорого продаст свою кровь и свою жизнь, если кому-нибудь вздумается на них посягнуть; так они и спаслись, ибо никто не жаждет напасть на подобного беглеца; гонятся только за обезумевшими от страха». Таково свидетельство этого великого полководца, и от него мы слышим о том же, в чем убеждаемся на каждом шагу, а именно, что наибольшие опасности навлекает на нас именно неразумное стремление поскорее от них уйти.

Quo timoris minus est, eo minus ferme periculi est[6] [broken link: #nc6_6]. Наш народ неправ, когда говорит, что такой-то боится смерти, в то время как хочет выразить в этих словах, что такой-то размышляет о ней и ее предвидит. Предвидение может равно относиться и к тому, что для нас зло, и к тому, что благо. Рассматривать и оценивать угрожающую опасность означает до некоторой степени не бояться ее.

Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы выдержать удары и натиск страсти, именуемой страхом, или какой-либо другой, столь же могущественной, как эта. Если бы она одолела меня и повергла наземь, я бы уже никогда не встал как следует на ноги. Кто сдвинул бы мою душу с того основания, на которое она опирается, тот никогда бы не смог водворить ее на прежнее место; она слишком рьяно исследует себя и в себе копается и никогда бы не дала зарубцеваться и зажить нанесенной ей ране. Какое счастье, что пока еще ни одна болезнь не проделала этого с моей душой! При всяком совершаемом на меня нападении я встречаю его и сопротивляюсь ему, облаченный во все доспехи; это значит, что, окажись я побитым, у меня не останется никаких средств к обороне. Я ничего не держу про запас, и в каком

бы месте наводнение ни прорвало мою плотину, я окажусь беззащитным и утону окончательно и бесповоротно. Эпикур говорит, что мудрый не может превратиться в безмозглого[7] [broken link: #nc6_7]. Что до меня, то я считаю справедливой и изнанку этого изречения, а именно: кто хоть раз был по-настоящему глупым, тот никогда не станет по-настоящему мудрым.

Господь дает каждому крест по силам его, — а мне он дал страсти по моим возможностям справиться с ними. Природа, обнажив меня с одной стороны, прикрыла с другой; лишив меня оружия силы, она вооружила меня нечувствительностью и ограниченной или притупленной восприимчивостью.

Так вот, я плохо переношу (а в молодости переносил еще хуже) длительную поездку в карете, конных носилках или на судне; я ненавижу всякий другой способ передвижения, кроме езды верхом, как в городе, так и среди полей. Впрочем, носилки для меня еще несноснее, чем карета, и по той же причине я легче переношу сильное волнение на воде, вселяющее в нас страх, чем небольшое покачивание, ощущаемое нами при тихой погоде. От легких толчков, производимых веслами и словно бы вырывающих из-под нас

лодку, я начинаю ощущать какое-то замешательство в голове и желудке, и я не выношу этого так же, как когда подо мной шаткое кресло. Но если судно, на котором я нахожусь, плавно уносят паруса или течение, или его ведут на буксире, однообразное покачивание этого рода на меня совершенно не действует; раздражает меня только прерывистое движение, и тем больше, чем оно медленнее. Лучше и обстоятельнее обрисовать его я не могу. Врачи велели мне стягивать тугой перевязкой низ живота, уверяя, что в таких случаях это хорошее средство; однако я ни разу не воспользовался этим их указанием, так как привык бороться с присущими мне недостатками и справляться с ними, ни к кому не обращаясь за помощью.

Будь моя память не такой немощной, я бы не пожалел времени, чтобы пересказать здесь все то, что сообщает история о бесконечно разнообразном использовании боевых колесниц, у всякого народа и во всякий век имевших свои особенности в устройстве, и насколько они были полезны и, как мне кажется, даже необходимы; так что просто диву даешься, что мы утратили о них всякое представление. Я опишу только ту их разновидность, что совсем недавно, на

памяти наших отцов, была с большим успехом применена венграми против турок; в каждой из таких колесниц помещались один щитоносец и один стрелок, и в ней было известное количество установленных, изготовленных к стрельбе и заряженных аркебуз; вся она со всех сторон была покрыта щитами, как это делается на галиотах. Венгры выстраивали на поле сражения лицом к неприятелю тысячи таких колесниц и по пушечному сигналу высылали вперед, чтобы они обрушили на противника, прежде чем начнут действовать в его гуще, залп своих аркебуз, что бывало для него не очень-то приятным задатком; или бросали эти свои колесницы на эскадроны врага, чтобы прорвать их и сделать в них брешь, не говоря уже о той помощи, которую извлекали из них, прикрывая с флангов в уязвимых местах войска, передвигавшиеся по открытому полю, или обороняя и спешно укрепляя полевой лагерь[8] [broken link: #nc6_8]. В мое время некий дворянин, проживавший поблизости от одной из наших границ, калека и до того тучный, что для него нельзя было подобрать лошадь, способную выдержать его вес, опасался мести со стороны человека, с которым у него произошла ссора, и потому разъезжал по округе в повозке, похожей

на колесницы описанного устройства, и находил ее очень удобной. Но довольно об этих боевых колесницах. Короли нашей первой династии ездили по стране в колымаге, которую тащили две пары быков.

Марк Антоний первым пожелал прокатиться по Риму вместе с сопровождавшей его флейтисткой в колеснице, влекомой четырьмя львами. Впоследствии то же повторил и Элагабал[9] [broken link: #nc6_9], утверждая, что он — Сивилла, праматерь богов, а в другой раз, когда в колесницу были впряжены тигры, он изображал бога Вакха; иногда он также запрягал в свою колесницу пару оленей; однажды его везли четыре собаки, а еще как-то раз он приказал, чтобы его, совсем голого, торжественно провезли четыре обнаженные женщины. Император Фирм[10] [broken link: #nc6_10] повелел впрячь в его колесницу страусов поразительной величины, так что казалось, будто она скорее летит по воздуху, чем катится по земле. Причудливость этих выдумок внушает мне следующую, не менее причудливую мысль: стремление монархов возвеличиться в глазах окружающих, постоянно приковывать к себе внимание непомерными тратами есть род малодушия и свидетельствует о том, что эти го-

судари не ощущают по-настоящему, что именно они собой представляют. Это — вещь простительная для государя, пребывающего в чужих краях, но поступать таким образом, когда он среди своих подданных, где ему все подвластно и все позволено, — значит низводить свое достоинство с наивысшей ступени почестей, какая только ему доступна. Точно так же и дворянину незачем, по-моему, особенно тщательно одеваться, когда он в своем кругу; его дом, образ жизни, кухня достаточно говорят за него.

Мне кажется не лишенным основания тот совет, который Исократ преподал своему государю. А сказал он ему вот что: пусть у него будет великолепная домашняя утварь и соответствующая посуда, ибо потраченные на это средства не вылетают на ветер, — все эти вещи останутся в наследство его преемникам; но пусть он, вместе с тем, избегает расходов на такие роскошества, которые тотчас выходят из употребления и улетучиваются из памяти[11] [broken link: #nc6_11].

Пока я жил на положении младшего сына, я любил щегольнуть своими нарядами за невозможностью щеголять чем-либо другим, и это мне было на пользу: это бывает на пользу всем тем, кому идет красивое платье. Нам известны

рассказы о поразительной бережливости наших королей в расходовании средств на себя и на подарки, — королей, великих своею славой, доблестью и удачливостью в делах. Демосфен с крайним ожесточением нападает[12] [broken link: #nc6_12] на тот закон своего города, которым предусматривалось использование общественных денег на устройство торжественных игр и празднеств; он хотел бы, чтобы величие его города находило свое выражение в многочисленности хорошо снаряженного флота и в сильном, хорошо вооруженном войске.

И Феофраста не без оснований порицают за то, что в своем сочинении о богатстве он выдвигает противоположное мнение и утверждает, что траты подобного рода — естественный и неизбежный плод изобилия[13] [broken link: #nc6_13]. Но эти удовольствия, говорит Аристотель, нравятся только самой низменной черни, и ни один положительный и здравомыслящий человек не придает им ни малейшей цены[14] [broken link: #nc6_14]. Расходование всех этих средств, как мне кажется, было бы более под стать королям и более полезным, действенным и оправданным, если бы они шли на постройку портов, гаваней, укреплений и городских стен, на роскошные зда-

ния, церкви, госпитали, учебные заведения, на благоустройство улиц и дорог; именно благодаря всему этому папа Григорий XIII[15] [broken link: #nc6_15] в мое время оставил по себе благодарную память, и на все это наша королева Екатерина[16] [broken link: #nc6_16] распространяла бы в течение долгих лет свою врожденную щедрость и свое стремление благотворительствовать, если бы ее средства были достаточны для удовлетворения ее пожеланий. Судьба преподнесла мне сильное огорчение, прервав работы над сооружением в нашей великой столице замечательного Нового моста[17] [broken link: #nc6_17] и отняв у меня надежду дожить до того времени, когда его откроют для общего пользования.

Кроме того, подданным, зрителям всех этих торжеств, кажется, что перед ними выставляют напоказ их же собственные богатства и что их потчуют празднествами за их собственный счет. Ибо народы смотрят в этом отношении на своих королей совсем так же, как мы — на услужающих нам, а именно: они должны взять на себя заботу о том, чтобы доставлять нам в изобилии все, что нам нужно, но никоим образом не должны уделять себе хотя бы крупицу изо всего этого. И император Гальба, получив во время ужина, удо-

вольствие от игры одного музыканта и повелев принести свой ларец, дал ему целую пригоршню извлеченных им оттуда золотых монет и сказал: «Это не государственное, это лично мое»[18] [broken link: #nc6_18]. Как бы там ни было, но чаще случается, что народ прав и что его глаза насыщают тем, чем ему полагалось бы насыщать свое брюхо. Щедрость в руках королей — не такое уж блестящее качество; частные лица имеют на нее больше права, ибо, в сущности, у короля нет ничего своего: он сам принадлежит своим подданным.

Судье вручается судебная власть не ради его блага, а ради блага того, кто ему подсуден. Высшего назначают не ради его выгоды, а ради выгоды низшего; врач нужен больному, а не себе. Цели, преследуемые как всякою властью, так равно и всяким искусством, пребывают не в них, а вне их: nulla ars in se versatur[19] [broken link: #nc6_19].

Вот почему наставники будущих государей, стараясь вложить в них с раннего детства пресловутую добродетель щедрости и внушая им, чтобы они никогда не отказывали в денежных просьбах и считали, что нет расходов полезнее, чем расходы на дары и раздачи (наставление, в мое время считавшееся чрезвычайно разумным),

или думают больше о своей выгоде, чем о выгоде своего господина, или не понимают того, о чем говорят. Очень легко приучить к щедрости того, кто может проявлять ее за чужой счет, сколько бы ему ни заблагорассудилось. И поскольку ее ценность определяется не размерами дара, а размерами доходов дарителя, щедроты, расточаемые столь могущественными руками, стоят немногого. Юные принцы превращаются в расточителей прежде, чем становятся щедрыми. По сравнению с другими королевскими добродетелями от щедрости мало проку, и она, как говорил тиран Дионисий, — единственная из них, которая хорошо уживается с тиранией[20] [broken link: #nc6_20].

Я бы с большей охотой научил этих принцев следующему присловью земледельца:

> *Τη Χειρι δει σπείρειν, αλλα μη ολω τω θυλακω[21] [broken link: #nc6_21],*

означающему, что кто хочет собрать урожай, тому нужно сеять руками, а не сыпать семена из мешка (нужно зерно разбрасывать, а не бросать), и еще я бы им прибавил, что, будучи в необходимости дарить или, правильнее сказать, платить и воздавать стольким людям по их заслугам,

они должны беспристрастно и вдумчиво распределять эти блага. Если щедрость властителя прихотлива и чрезмерна, я предпочитаю, чтобы он был скупым.

Из всех добродетелей королям всего нужнее, по-моему, справедливость; а из всех частных ее проявлений — справедливость в пожаловании щедрот, ибо осуществление справедливости в этих случаях они полностью оставили за собой, тогда как во всем остальном охотно осуществляют ее с помощью других. Чрезмерная щедрость — плохое средство добиться расположения; она чаще отталкивает людей, чем их привлекает: Quo in plures usus sis, minus in multos uti possis. Quid autem est stultius quam quod libenter facias, curare ut id diutius facere non possis?[22] [broken link: #nc6_22]. И если кого-нибудь незаслуженно осыпают щедротами, тому становится от этого стыдно и они не порождают в нем благодарности. Сколько тиранов было отдано в жертву народной ненависти руками тех, кого они несправедливо возвысили! Ведь люди этой породы считают, что они закрепляют за собой владение неправедно нажитым, выказывая свое презрение и свою ненависть к тому, кому они им обязаны, и присоединяясь к негодующей и выносящей приговор

толпе.

Подданные государя, не знающего меры в щедротах, теряют меру в своих требованиях к нему: они руководствуются не разумом, а примером. И нам полагалось бы частенько краснеть за наше бесстыдство; нас оплачивают более чем справедливо, когда вознаграждают соответственно нашей службе, ибо ужели мы все-таки ничего не должны государю в силу наших естественных обязательств пред ним? Если он покрывает наши расходы, он делает для нас больше, чем нужно; вполне достаточно, если он нам помогает; ну, а если мы получаем от него сверх наших трат, то очевидно, что это — благодеяние, которого нельзя требовать: ведь в нашем языке слова для обозначения щедрости и свободы образованы от одного корня[23] [broken link: #nc6_23]. У нас, однако, повелось совсем по-другому: полученное в счет не идет; любят лишь будущие щедроты. Вот почему, чем более тощей делается мошна государева из-за его щедрых раздач, тем беднее он становится и по части друзей.

Как же ему удовлетворить желания своих подданных, если эти желания возрастают по мере того, как они выполняются? Кто думает только о том, как бы побольше ухватить для себя, тот не

думает об уже ухваченном. Неотъемлемая черта жадности — неблагодарность. Здесь, пожалуй, уместно вспомнить о том, что некогда сделал Кир; его пример мог бы послужить пробным камнем и для королей нашего времени, чтобы выяснить, с пользой или без пользы осыпали они дарами своих приближенных, и они убедятся, что названный властелин раздавал их не в пример удачнее, чем они. А им из-за этого приходится обращаться за займами к своим подданным, которых они вовсе не знают и которым причинили скорее зло, чем добро. И в помощи, которую те им оказывают, нет ничего добровольного, кроме ее названия. А история с Киром заключается в следующем: однажды Крез упрекал его в расточительности и тут же прикинул, какой была бы его казна, если бы у того были бережливые руки. Кир пожелал доказать, что его щедрость вполне оправданна; разослав во все стороны гонцов к тем вельможам своей страны, которых он особенно облагодетельствовал, он попросил их помочь ему, кто сколько сможет, деньгами, так как у него в них большая нужда, и сообщить, на что он может рассчитывать. Когда их письма были доставлены, выяснилось, что друзья Кира, все как один, сочтя недостаточным предложить

ему только то, что получили из его рук, добавили к этому крупные суммы из своих собственных средств и что общая сумма значительно превышает итог, подведенный Крезом. И тогда Кир сказал: «Я люблю богатства не меньше других государей, но распоряжаюсь ими разумнее, чем они. Ты видишь, при каких ничтожных затратах я собрал с помощью столь многих друзей казну поистине баснословной ценности и насколько они более верные и надежные казначеи, нежели люди наемные, ничем мне не обязанные и не питающие ко мне ни малейшей любви; вот и получается, что мое добро помещено у них много лучше, чем если бы оно лежало в моих сундуках, навлекая на меня ненависть, зависть и презрение других государей»[24] [broken link: #nc6_24].

Римские императоры оправдывали излишества своих общественных пиров и представлений тем, что их власть в некоторой мере зависит (по крайней мере, формально) от воли римского народа, с незапамятных пор привыкшего к тому, что его привлекали на свою сторону подобными зрелищами и другими роскошными увеселениями. Ввели и закрепили этот обычай частные лица, чтобы ублажать сограждан и приближенных всем этим великолепием и изобилием, причем

делали это главным образом за свой собственный счет; но когда им стали подражать в этом их повелители, дело обернулось совсем по-другому.

Pecuniarum translatio a iustis dominis ad alienos non debet liberalis videri[25] [broken link: #nc6_25]. Филипп, узнав о том, что его сын пытается подарками снискать благоволение македонян, отправил ему письмо, в котором следующим образом попенял ему: «Вот как! Тебе, стало быть, хочется, чтобы твои подданные считали тебя не своим царем, а своим казначеем. Если ты стремишься привлечь к себе благосклонность, привлекай ее благодеяниями твоих добродетелей, а не благодеяниями твоего сундука»[26] [broken link: #nc6_26].

И все же это было великолепно — доставить и посадить на арене множество взрослых деревьев, раскидистых и зеленых, изображавших огромный тенистый лес, разбитый с необычайным искусством, и в первый день выпустить в него тысячу страусов, тысячу оленей, тысячу вепрей и тысячу ланей, предоставив народу охотиться на этих животных и воспользоваться дичиной; назавтра перебить в его присутствии сто крупных львов, сто леопардов и триста медведей и на третий день заставить биться насмерть триста

пар гладиаторов, как это было устроено императором Пробом[27] [broken link: #nc6_27]. А что за наслаждение было видеть этот громадный амфитеатр, снаружи облицованный мрамором и украшенный изваяниями и статуями, а внутри сверкающий редким по богатству убранством;

> *Balteus en gemmis, en illita porticus auro;[28] [broken link: #nc6_28]*

и со всех сторон этого огромного пустого пространства заполняющие и окружающие его снизу доверху не то шестьдесят, не то восемьдесят рядов сидений, тоже из мрамора, покрытых подушками,

> *exeat, inquit,*
>
> *Si pudor est, et de pulvino surgat equestri,*
>
> *Cuius res legi non sufficit;[29] [broken link: #nc6_29]*

где могло разместиться со всеми удобствами сто тысяч человек, видеть, как сначала при помощи искусных приспособлений расступается самое дно амфитеатра, — где и даются игры, — и на нем образуются глубокие трещины и расщелины, изображающие пещеры, откуда появлялись дикие звери, назначенные к участию в представ-

лении; как затем это же место заливают водой и оно превращается в глубокое море, которое бороздят бесчисленные морские чудовища, по которому плавают и вступают в сражения боевые суда; как после этого оттуда спускают воду, арена выравнивается и снова осушается для сражения гладиаторов и как напоследок ее вместо песка посыпают киноварью в росным ладаном, чтобы устроить на ней торжественное пиршество для этого бесконечного сонма людей; и это четвертая и последняя перемена в течение одного дня[30] [broken link: #nc6_30];

*quoties nos descendentis arenae*

*Vidimus in partes, ruptaque voragine terrae*

*Emersisse feras, et iisdem saepe latebris*

*Aurea cum croceo creverunt arbuta libro.*

*Nec solum nobis silvestria cernere monstra*

*Contigit, aequoreos ego cum certantibus ursis*

*Spectavi vitulos, et equorum nomine dignum,*

*Sed deforme pecus.[31] [broken link: #nc6_31]*

Иногда на той же арене вырастала высокая гора с посаженными на ней плодовыми и всевозможными другими деревьями, из чащи которых на самой вершине изливался ручей, как если б там было начало естественного источника. Иногда тут передвигался взад и вперед большой корабль, который сам собой раскрывался и разверзал свое чрево и, исторгнув из него четыреста или пятьсот диких зверей, назначенных к травле, так же самостоятельно, без чьей-либо помощи, закрывался и исчезал. Иногда снизу, с самого дна арены, начинали бить мощные фонтаны или тоненькие струйки воды, вздымавшиеся высоко вверх, чтобы, вознесясь на эту невероятную высоту, рассыпаться там мельчайшими благовонными капельками, освежающими несметную людскую толпу. Чтобы укрыться от палящего солнца или от непогоды, над всем этим огромным пространством растягивали то навесы из пурпурной ткани с богатою вышивкой, то навесы из шелка того или иного цвета и по своему усмотрению ставили их или снимали в одно мгновение:

*Quamvis non modico caleant spectacula sole,*

*Vela reducuntur, cum venit Hermogenes.[32]*

*[broken link: #nc6_32]*

Сетка, отделявшая амфитеатр от арены, чтобы оградить зрителей от ярости выпущенных на волю зверей, была выткана из чистого золота:

*auro quoque torta refulgent*
*Retia.[33] [broken link: #nc6_33]*

И если что во всех этих излишествах извинительно, так это вызывавшие всеобщее восхищение изобретательность и новизна, но отнюдь не издержки на них.

Даже на примере этих суетных и пустых забав мы видим, как много было в те времена умов, ничуть не похожих на современные. Подобное изобилие создается природой точно так же, как порою она создает изобилие во всем, что порождается ею. Я отнюдь не хочу сказать, что эти умы были наивысшим ее достижением. Мы не идем в одном направлении, мы скорее бродим взад и вперед, сворачивая то туда, то сюда. Мы топчем свои собственные следы. Боюсь, что наши познания крайне слабы во всех отношениях; мы ничего не видим ни перед собой, ни позади себя; наше познание обнимает очень немногое и видит очень немногое, оно крайне ограничено и во времени и в охвате явлений:

*Vixere fortes ante Agamemnona*
*Multi, sed omnes illacrimabiles*
*Urgentur ignotique longa*
*Nocte.[34] [broken link: #nc6_34]*

*Et supera bellum Troianum et funera Troiae*
*Multi alias alii quoque res cecinere poetae.[35] [broken link: #nc6_35]*

И рассказ Солона о том, что ему сообщили египетские жрецы из истории длительного существования их государства и об их способе изучать и запечатлевать истории чужеземных народов, не кажется мне свидетельством, опровергающим только что высказанное мной мнение[36] [broken link: #nc6_36]. Si interminatam in omnes partes magnitudinem regionum videremus et temporum, in quam se iniiciens animus et intendens ita late longeque peregrinatur, ut nullam oram ultimi videat in qua possit insistere: in hac immensitate infinita vis innumerabilium appareret formarum[37] [broken link: #nc6_37].

Если бы все дошедшие до нас сведения о минувшем были действительно достоверными и какой-нибудь человек держал их все в своей го-

лове, то и тогда это было бы меньше чем ничто по сравнению с тем, что нам не известно. До чего же ничтожно даже у людей наиболее любознательных знание того мира, который движется перед нами, пока мы проходим свой жизненный путь! От нас ускользает во сто раз больше, нежели та малость, которую мы постигаем, и это относится не только к отдельным событиям, становящимся порой по воле судьбы первостепенными и важными по последствиям, но и к положению целых государств и народов. Мы кричим, словно о чуде, о таких изобретениях, как артиллерия или книгопечатание; а между тем другие люди в другом конце света, в Китае, пользовались ими уже за тысячу лет до нас. Если бы мы видели такую же часть нашего мира, какой не видим, мы бы, надо полагать, поняли, насколько бесконечно разнообразие и многоразличие форм. И если взглянуть на сущее глазами природы, то окажется, что на свете нет ничего редкого и неповторимого; оно существует только для нашего знания, которое является весьма ненадежной отправной точкой наших суждений и которое то и дело внушает нам крайне ложное представление о вещах. И подобно тому, как мы ныне приходим к нелепым выводам о дряхлости и близком конце мира, опи-

раясь на доводы, которые извлекаем из картины нашей собственной слабости и нашего собственного упадка,

> *Iamque adeo affecta est aetas, affectaque tellus;[38] [broken link: #nc6_38]*

точно так же к нелепым выводам о его недавнем рождении и его юности пришел и древний поэт, видевший столько мощи и живости в умах своего времени, щедрых на новшества и изобретения разного рода:

> *Verum, ut opinor, habet novitatem summa, recensque*
>
> *Natura est mundi, neque pridem exordia coepit;*
>
> *Quare*
> *etiam quaedam nunc artes expoliuntur,*
>
> *Nunc etiam augescunt, nunc addita navigiis sunt*
>
> *Multa.[39] [broken link: #nc6_39]*

Наш мир только что отыскал еще один мир (а кто поручится, что это последний из его братьев, раз демоны, сивиллы и, наконец, мы сами до сих пор не имели понятия о существовании этого нового мира?), мир не меньший размерами, не ме-

нее плодородный, чем наш, и настолько свежий и в таком нежном возрасте, что его еще обучают азбуке; меньше пятидесяти лет назад он не знал ни букв, ни веса, ни мер, ни одежды, ни злаков, ни виноградной лозы. Он был наг с головы до пят и жил лишь тем, что дарила ему мать-кормилица, попечительная природа. Если мы пришли к правильным выводам о конце нашего века и не менее правильны выводы цитированного поэта о юности того века, в который он жил, то вновь открытый мир только-только выйдет на свет, когда наш погрузится во тьму. Вселенная впадет в паралич; один из ее членов станет безжизненным, другой — полным силы. Я очень боюсь, как бы мы не ускорили упадка и гибели этого юного мира, продавая ему по чрезмерно высокой цене и наши воззрения и наши познания. Это был мир-дитя. И все же нам до сих пор не удалось, всыпав ему порцию розог, подчинить его нашим порядкам, хотя мы и располагаем перед ним преимуществом в доблести и природной силе, не удалось покорить справедливостью и добротой, не удалось привлечь к себе великодушием. Большая часть ответов тамошних жителей и их речи во время переговоров, которые с ними велись, свидетельствуют о том, что они нисколько

не уступают нам в ясности природного ума и в сообразительности[40] [broken link: #nc6_40]. Потрясающее великолепие городов Куско и Мехико и среди прочих диковинок сад их короля, где все деревья, все плоды и все травы, расположенные так же, как они обычно произрастают в садах, и с соблюдением их натуральной величины, были поразительно искусно выполнены из золота, каковыми были в его приемной и все животные, которые водились на его землях и в водах его морей, и, наконец, красота их изделий из камня, перьев и хлопка, а также произведения их живописи наглядно показывают, что они нисколько не ниже нас и в ремеслах. Но что касается благочестия, соблюдения законов, доброты, щедрости, честности, искренности, то нам оказалось весьма и весьма кстати, что всего этого у нас не в пример меньше, чем у них; из-за этого преимущества перед нами они сами себя погубили, продали и предали. Что до смелости и отваги, до твердости, стойкости, решительности перед лицом страданий, голода, смерти, то я не побоюсь сопоставить находимые мной среди них образцы с наиболее прославленными образцами античности, все еще бережно хранимыми памятью нашего мира по эту сторону океана. Но что касается тех, кто под-

чинил их своей власти, то пусть они примут во внимание хитрости и фиглярство, которые были ими использованы для обмана обитателей вновь открытых земель, и естественное изумление этих народов при виде нежданно-негаданно явившихся к ним бородатых существ, отличавшихся от них языком, верованиями, телосложением, всем своим обликом, явившихся к тому же из столь отдаленных мест, что они никогда и представить себе не могли, будто и там могут существовать какие-нибудь поселения, и притом верхом на огромных, неведомых им чудовищах, к ним, не только никогда не видевшим лошади, но и не знавшим никакого иного животного, приученного носить на себе человека или другие тяжести; так вот, повторяю, пусть они примут во внимание их изумление при виде людей, облаченных в блестящую кожу и вооруженных сверкающим и разящим оружием и действующих им против тех, кто, потрясенный таким невиданным чудом, как зеркало или блестящий нож, отдавал за них целое богатство в золоте и жемчугах, против тех, кто не имел ни знаний, ни средств, чтобы пробивать по своему желанию нашу сталь; добавьте сюда также громы и молнии наших пушек и аркебуз, которые нагнали бы ужас на

самого Цезаря, если бы он столкнулся с ними, так же не имея о них понятия и так же врасплох, как эти народы, и которые были пущены в ход против них, ходящих совсем нагишом, если не считать, что к этому времени они уже научились ткать кое-что из хлопковой пряжи, и к тому же не располагавших никаким другим вооружением, кроме лука, камней, копьев и деревянных щитов; к тому же народы эти были введены в заблуждение притворным простодушием и дружелюбием белых пришельцев и охвачены любопытством и жаждой увидеть вещи, для них чуждые и неизвестные. Так вот, говорю я, отнимите у победителей все эти благоприятствующие им обстоятельства, и вы лишите их всякой возможности одерживать столько побед.

Наблюдая неукротимый пыл, с каким тысячи мужчин, женщин и детей столько раз выходили и устремлялись навстречу неизбежным опасностям, отстаивая своих богов и свою свободу; наблюдая их благородную стойкость в претерпевании всевозможных бедствий и трудностей и даже смерти, лишь бы не подпасть владычеству тех, кем они были так бесстыдно обмануты, причем некоторые, будучи захвачены в плен, предпочитали скорее умереть от голода и исто-

щения, чем принять жизнь из рук врага, столь подлым образом добившегося над ними победы, я предвижу, что любому, кто пойдет на них при равных условиях — в смысле вооружения, боевой опытности и численности, — придется испытать все те же опасности, которыми, как мы видим, чревата всякая другая война.

Какая жалость, что это столь благородное приобретение не было сделано при Александре или при древних греках и римлянах и столь великие преобразования и перемены в судьбе стольких царств и народов не произошли при тех, кто мог бы бережно смягчить и сгладить все, что тут было дикого, и вместе с тем поддержать и вырастить добрые семена, брошенные здесь самою природой, не только привнося в обработку земли и украшение городов искусство Старого Света, но также привнося в добродетели туземцев добродетели греческие и римские! Каким это было бы улучшением и каким усовершенствованием нашей планеты, если бы первые образцы нашего поведения за океаном вызвали в этих народах восхищение добродетелью и подражание ей и установили между ними и нами братское единение и взаимопонимание! До чего же легко было бы ей завоевать души столь девственные,

столь жадные к восприятию всего нового, в большинстве своем с прекраснейшими задатками, вложенными в них природою! Мы же поступили совсем по-иному, воспользовались их неведеньем и неопытностью, чтобы тем легче склонить их к предательствам, роскоши, алчности и ко всякого рода бесчеловечности и жестокости по образу и подобию наших собственных нравов. Кто когда-нибудь покупал такою ценой услуги, доставляемые торговлей и обменом товарами? Столько городов разрушено до основания, столько народов истреблено до последнего человека, столько миллионов людей перебито беспощадными завоевателями, и богатейшая и прекраснейшая часть света перевернута вверх дном ради торговли перцем и жемчугом: бессмысленная победа! Никогда честолюбие, никогда гражданские распри, толкавшие людей друг на друга, не приводили их к столь непримиримой вражде и не причиняли им столь ужасающих бедствий.

Плывя вдоль побережья в поисках золотых копей и серебряных рудников, несколько испанцев высадились на сушу в области плодородной и приятной. Здесь они представились местным жителям, как это делают обычно, а именно, заявляя, что они люди мирные, прибывшие из

дальних стран, посланные по повелению и от имени короля кастильского, самого могущественного государя обитаемой земли, которому папа, наместник бога на земле, отдал во владение всю Индию, и что если местные жители пожелают стать его данниками, с ними будут хорошо обращаться. Затем испанцы попросили съестных припасов и золота, якобы необходимого им для некоторых лекарств; они рассказали также о вере в единого бога и говорили об истинности нашей религии, которую советовали поскорее принять; ко всему этому они присовокупили и кое-какие угрозы. Выслушанный ими ответ был таков: что касается их заявления о том, что они люди мирные, то, если бы они и впрямь были такими, то выглядели бы совсем по-другому; что до их короля, то раз он обращается с просьбами, значит он беден и терпит нужду; что до сделавшего ему этот подарок, то это человек, любящий сеять раздоры, ибо, отдавая третьему лицу то, что ему отнюдь не принадлежит, он вовлекает его в ссоры с давними собственниками; что до съестных припасов, то их они предоставят; золота у них очень мало, и это вещь совсем не ценимая ими, так как она бесполезна и не нужна им для жизни, ибо вся их забота заключается в том, чтобы прожить счастливо и

приятно; тем не менее все, что пришельцы смогут найти, кроме того, что требуется им самим для служения их богам, пусть смело забирают с собой; что до единого бога, то речи о нем пришлись им по душе, но они не желают менять религию, поскольку она столь долгое время служила им с такою пользою; ну, а что до угроз, то угрожать тем, чей характер и чьи средства защиты неведомы, — признак нерассудительности; итак, пусть пришельцы поторопятся очистить их землю, ибо они не привыкли доверять любезности и посулам людей вооруженных и им неизвестных; в противном случае с ними обойдутся так же, как со всеми другими. И пришельцам показали несколько человеческих голов, объяснив, что это — головы казненных в их городе. Вот образец их якобы детского лепета. Но как бы там ни было, ни здесь, ни в других местах, где испанцы не находили того, что искали, их не задержали и на них не напали, какие бы возможности к их истреблению ни представлялись, и свидетели этому — мои каннибалы[41] [broken link: #nc6_41].

Из двух наиболее могущественных монархов Нового Света, а может быть и Старого, двух владык над владыками, двух последних государей из многих свергнутых испанцами с тронов, госу-

дарь Перу был захвачен ими в плен в одном из сражений, и за него был назначен настолько несоразмерный выкуп, что даже трудно поверить, который все же был полностью и честно внесен, и этот государь обнаружил в беседах и разговорах прямодушное, снисходительное и стойкое мужество и ум ясный и здравый. Однако, получив с него один миллион триста двадцать пять тысяч пятьсот золотых безамов[42] [broken link: #nc6_42], кроме серебра и других вещей, стоивших самое малое столько же, так что после этого испанцы подковали своих лошадей тяжелыми золотыми подковами, победители возымели желание выяснить, не останавливаясь ни перед какими бесчестными средствами, каковы же оставшиеся у этого государя сокровища, и получить в свое распоряжение все, что ему удалось сохранить. Ради этого против него было выдвинуто лживое обвинение и собраны лжесвидетельства, якобы уличавшие его в том, что он собирается возмутить свои земли и вырваться на свободу. На этом основании по справедливому и нелицеприятному приговору тех же самых, кто состряпал этот поклеп, его присудили к публичному повешению и удавлению, заставив сожжение заживо на костре купить ценою крещения, которое и было

совершено над ним на месте казни. Ужасный, неслыханный случай, но он вытерпел все эти муки, не унизив себя ни выражением лица, ни единым словом, и держался все время с поистине королевским достоинством. По совершении этой казни испанцы, чтобы успокоить оцепеневший от столь небывалой вещи и потрясенный народ, притворились, будто глубоко скорбят о его смерти, и устроили ему пышные похороны.

Другой государь, король Мексики, после того как долго защищал свой осажденный город и выказал во время этой осады упорство и твердость, какие едва ли были когда-нибудь выказаны другими государями и другими народами, на свое несчастье живым отдался в руки врагов при условии, что с ним будут обращаться по-королевски (и, пребывая в тюрьме, он не сделал ничего не достойного этого титула); не обнаружив после этой победы всего того золота, которое они сами себе обещали в мечтах, и перерыв и перекопав все на свете, испанцы принялись добывать желательные им сведения при помощи жесточайших пыток, какие только могли придумать, над томившимися у них узниками. Но, ничего от них не добившись, так как их мужество оказалось сильнее пыток, они впали в такую ярость, что в

нарушение своего слова и международного права порешили подвергнуть пытке на глазах друг у друга самого короля и одного из его виднейших придворных.

Этот придворный, чувствуя, что ему не устоять перед болью, окруженный со всех сторон жаровнями с раскаленным углем, обратил на своего господина опечаленный взор, как бы прося у него прощения за то, что больше не может терпеть. Король, вперив в него надменный и строгий взгляд, чтобы бросить ему упрек в трусости и малодушии, сказал всего несколько слов, произнеся их жестким и твердым голосом: «А я? или, быть может, я в бане? Или мне легче, чем тебе?» Этот придворный вскоре после этого был сломлен болью и умер тут же на месте. Короля же, наполовину изжаренного, унесли оттуда — не из сострадания (ибо какое сострадание трогало когда-нибудь души людей, способных смотреть, как поджаривается у них на глазах человек, больше того — король, в сомнительной надежде выведать от него, где находится золотая ваза, которую они жаждут присвоить), но потому, что его стойкость все больше и больше вгоняла в стыд их жестокость. Впоследствии они его все же повесили, так как он предпринял отчаянную попытку

с оружием в руках освободиться от длительного плена и рабства; он умер, как подобает умереть государю со столь возвышенною душой.

В другой раз они решили сжечь заживо на огромном костре четыреста шестьдесят человек — четыреста из простого народа и шестьдесят из наиболее знатных сановников той области, где это произошло, — самых обыкновенных военнопленных. Мы знаем об этом от самих испанцев, ибо они не только признаются во всех этих зверствах, но и похваляются ими и всячески их превозносят. Было ли это свершением правосудия или проявлением религиозного рвения? Разумеется, подобный путь совершенно не совместим со столь священной целью и, больше того, уводит от нее в прямо противоположную сторону. Если бы они действительно стремились распространить нашу веру, они бы сообразили, что способствует этому не завоевание новых земель, а завоевание душ человеческих; они бы довольствовались теми убийствами, которые по необходимости приносит война, и не добавляли к ним истребления всех без разбора, словно перед ними — дикие звери. Они уничтожили столько людей, сколько можно было уничтожить огнем и мечом, намеренно сохраняя в живых только

тех, кого они хотели превратить в своих жалких рабов для работы на рудниках. В конце концов дело дошло до того, что несколько испанских военачальников, справедливо возмущенных и пришедших в ужас от чинимых ими насилий по повелению королей Кастилии были преданы смерти в местах, где они одерживали победы[43] [broken link: #nc6_43], и почти все другие военачальники подверглись немилости и опале. И, воздавая им по заслугам, господь попустил, чтобы эти награбленные ими сокровища неисчислимой ценности при перевозке были поглощены океанской пучиной и погибли в междоусобных войнах, в которых завоеватели безжалостно истребляли друг друга; и большая часть испанцев полегла в этих заморских землях, так и не вкусив плодов от своих побед.

Что же касается поступлений оттуда, то даже в руках столь бережливого и благоразумного государя[44] [broken link: #nc6_44], как нынешний, они не отвечают надеждам, которые обольщали его предшественников и основывались на первоначальном изобилии всевозможных богатств, сразу же обнаруженных на этих вновь найденных землях (ибо, хотя и сейчас из них извлекается достаточно много, все же это так

ничтожно по сравнению с тем, чего можно было ожидать). Причина же в том, что народам Нового Света были совершенно неизвестны употребление и чеканка денег и вследствие этого все их золото собиралось где-нибудь в одном месте — ведь оно использовалось лишь для того, чтобы выставляться напоказ, как утварь, наследуемая от отца к сыну на протяжении многих поколений могущественных государей, опустошавших свои рудники исключительно с целью накапливать всю эту груду сосудов и статуй для украшения дворцов и храмов, тогда как наше золото находится в обращении и в торговле. Мы его расточаем и портим в тысячах изделий, мы его разбрасываем и рассеиваем. Попробуем же представить себе, что получилось бы, если бы и наши короли так же в течение многих веков занимались накоплением золота, где бы они его ни находили, и так же сохраняли его без всякого употребления.

Жители мексиканского королевства были в некоторой мере цивилизованнее и искуснее, чем все остальные народы за океаном. Вот и они, подобно нам, полагали, что вселенная близится к своей гибели, и видели предзнаменование этого в опустошениях, которые мы им принесли. Они верили, что существование мира подразделяется

на пять периодов и это связано с жизнью пяти последовательно сменявших друг друга солнц, из которых четыре уже прожили свои сроки, а то, что их освещает, — пятое. Первое погибло вместе со всем сущим при всеобщем потопе; второе — из-за падения на нас неба, раздавившего все живое, и этот век они отводят гигантам, чьи кости они показывали испанцам (исходя из пропорций нашего тела, можно предполагать, что рост этих людей достигал двадцати пядей); третье — от огня, охватившего и пожравшего все; четвертое — от движения воздуха и от ветра, опрокинувшего даже многие горы, — на этот раз люди не умерли, а превратились в обезьян (каких только нелепостей не принимает за истину человеческое легковерие!); после гибели этого четвертого солнца мир в течение двадцати пяти лет был погружен в непрерывную тьму, причем на пятнадцатый год были созданы мужчина и женщина, восстановившие род человеческий, а спустя десять лет, в определенный по их счету день, появилось вновь сотворенное солнце, и с этого дня они и ведут свое летосчисление. На третий день по его сотворении умерли древние боги; новые появились позднее, рождаясь каждый день один за другим. Каким образом, по их

мнению, погибнет последнее солнце, этого мой автор не выяснил. Но принятая у них дата гибели четвертого солнца совпадает по времени с тем сочетанием небесных светил, которое, как полагают наши астрологи, приблизительно восемьсот лет назад принесло миру великие и многочисленные новшества и изменения.

Что касается пышности и роскоши, с чего я и начал рассмотрение моего предмета, то ни Греция, ни Рим, ни Египет не могут сравнить ни одно из своих творений — ни в смысле полезности, ни в отношении трудности выполнения, ни в благородстве — с большой дорогой, которую можно увидеть в Перу и которую проложили прежние владыки этой страны от города Кито до города Куско (ее протяженность — триста лье), прямою, гладкой, мощеной, огражденной с обеих сторон прекрасными и высокими стенами, с текущими вдоль них с внутренней стороны двумя никогда не иссякающими ручьями, обсаженными красивыми деревьями, которые на их языке называются «молли».

Где они встречали на своем пути горы и скалы, они пробивали их и выравнивали, а где им попадались ямы, они закладывали их камнями, скрепленными известью. В начале каждого древ-

него перегона у них были большие дворцы, где хранились съестные припасы, одежда и оружие как для нужд путешественников, так и для проходящего войска. Воздавая должное этой работе, я принимаю в расчет трудности ее исполнения, которых в этих местах было особенно много. Они строили из камней размером не менее десяти квадратных футов; и у них не было других средств перемещения строительных материалов, кроме их собственных рук, и они тащили свои грузы волоком; и не было у них также способов поднимать тяжести, кроме единственного приема, состоявшего в том, чтобы возле возводимого ими строения по мере его возрастания насыпать землю, а затем убирать ее прочь.

Коснемся вопроса об их средствах передвижения. Вместо всяких колесниц и повозок они пользовались для своих переездов людьми, которые и носили путешественников на плечах. Упомянутого выше короля Перу в тот день, когда он был захвачен испанцами, носили на золотых носилках, и, находясь в гуще сражения, он сидел на золотом кресле. По мере того как убивали его носильщиков, чтобы он упал наземь, — ибо его хотели захватить живым, — их место по собственному желанию занимали другие, так что

его никак не могли ссадить с кресла, пока один всадник-испанец не схватил его и не опустил на землю.

## Глава VII
## О стеснительности высокого положения

Не имея возможности достичь высокого положения, давайте в отместку его очерним. Впрочем, найти в чем-либо известные недостатки не значит очернить; их можно найти в любой вещи, как бы хороша и вожделенна она ни была, тем более что у высокого положения есть то преимущество, что с ним можно по собственному желанию расстаться, и почти всегда есть возможность выбора более высокой или более низкой ступени: ведь не со всякой высоты непременно падаешь, гораздо чаще можно благополучно опуститься. Сдается мне, что мы вообще склонны переоценивать высокое положение, равно как и давать непомерную оценку решимости тех, кто на наших глазах презрел его, или же уверяет, что полон к нему презрения, или же добровольно от него отказался. Само по себе оно вовсе не так приятно, чтобы всякий отказ от него рассматривать как чудо.

Я считаю тягостными усилия, необходимые для того, чтобы перенести страдание, но не

усматриваю никакой доблести в удовлетворенности скромной долей и в бегстве от величия. По-моему, это добродетель, которой и я, не бог весть кто, достиг без особого напряжения. Что же сказать о тех, кто примет во внимание и славу, сопутствующую такому отказу, с которым может быть связано больше честолюбивых помыслов, чем со стремлением к высокому положению и с радостью от того, что оно достигнуто? Ведь честолюбие для удовлетворения своего часто избирает пути обходные и необычные.

Мужеством я вооружаюсь преимущественно для терпения, а не для достижения каких-либо желаний. Их у меня не меньше, чем у кого-либо другого, и предоставляю я им не меньше свободы и самостоятельности. Однако же мне и в голову не приходило мечтать ни о державе и престоле, ни о величии, которое обретаешь в столь высоком положении. Я на это не зарюсь, ибо слишком люблю себя. Если я и стремлюсь к росту, то не в высоту, и применяюсь ко всему, что ему препятствует: я хочу расти в том, что мне доступно, достигая большей решимости, рассудительности, привлекательности и даже богатства. Но всеобщий почет, но могущество власти подавляющим образом действуют на мое воображение. И, в про-

тивоположность одному великому человеку[1] [broken link: #nc7_1], я предпочту быть вторым или третьим в Периге, чем первым в Париже, или, во всяком случае, не кривя душой, — занимать в Париже скорее третье, чем самое первое место. Я не хочу быть ни таким жалким и никому не известным существом, чтобы мне приходилось вступать в споры с привратниками, ни с трудом пробивать себе дорогу среди обступившей меня с великим обожанием толпы. Я и самой судьбой и личными склонностями предназначен к некоему среднему положению. И всем своим жизненным поведением и начинаниями своими я показал, что всегда скорее отступлюсь, чем стану перепрыгивать через ступень, определенную мне господом богом от рождения.

Всякое естественное состояние есть тем самым и справедливое и наиболее удобное.

Будучи от природы осмотрительным, я, в погоне за счастьем, ищу не столько высоты, сколько легкости достижения.

Но если сердцу моему недостает мужества, то зато оно искренно, что и заставляет меня прямо говорить о его слабости. Если бы мне пришлось провести следующее сравнение: с одной стороны, жизнь Луция Тория Бальба[2] [broken link: #nc7_2],

человека благородного, красивого, образованного, здорового, который мог и умел пользоваться всеми радостями и наслаждениями жизни, вел существование спокойное и независимое, укрепив душу против страха смерти, суеверия, страдания и всех забот, неизбежно выпадающих на долю человека, и в конце концов встретил смерть в бою, с оружием в руках защищая отечество; с другой — жизнь Марка Регула[3] [broken link: #nc7_3], всем известная своим величием и доблестью, — и ее достославный конец; одна — не отмеченная людской молвой и хвалами; другая — озаренный славой пример людям. Я без сомнения сказал бы о них так же, как Цицерон, если бы обладал в той же степени искусством слова. Но, мерь я их по своей мерке, я добавил бы также, что первая настолько же подходит мне и моим стремлениям, которые я соразмеряю со своей природой, насколько вторая от них далека, что ко второй я могу отнестись лишь с величайшим восхищением, а первой охотно подражал бы на деле. Примем же ту свою величину, которая нам дана в жизни и из которой мы исходим.

Противны мне и владычество и покорность.

Отан, один из семи, имевших право притязать на трон Персии, принял решение, которое

и мне было бы по сердцу: он передал сотоварищам свое право достичь верховной власти путем избрания или же волей судьбы с тем лишь условием, что ему и его близким предоставлена будет возможность жить в персидской державе, не пользуясь властью, но и не подчиняясь ничему, кроме древних обычаев, и обладая всею той свободой, которая не нарушает их, — так, чтобы и не повелевать, и не выполнять никаких повелений[4] [broken link: #nc7_4]. Самое, на мой взгляд, тягостное и трудное на свете дело — это достойно царствовать. Ошибки, совершаемые королями, я сужу более снисходительно, чем это вообще принято, ибо со страхом думаю о тяжком бремени, лежащем на властителях. Трудно соблюдать меру в могуществе столь безмерном. И надо сказать, что для добродетели тех из них, кто от природы менее благороден, величайшее испытание — занимать место, где нельзя сделать ничего хорошего так, чтобы это сразу же не было учтено и взвешено, где малейшее доброе дело, совершенное вами, касается стольких людей зараз и где своим поведением вы воздействуете прежде всего на народ, судью недостаточно справедливого, которого легко и обморочить и ублажить.

Мало есть на свете вещей, о которых мы спо-

собны высказать нелицемерное суждение, ибо среди них мало таких, которые так или иначе не вызывали бы в нас корысти. Более высокое или более низкое положение, владычество или подчиненность естественным образом вынуждаются к соперничеству и спору, неизбежно и неизменно противостоят друг другу. Ни тому ни другому не могу я верить, когда они судят о правах соперника: пусть же говорит разум, ибо он непоколебим и беспристрастен, когда мы ему доверяемся. Без малого месяц назад я просмотрел две книги шотландских авторов, споривших по этому поводу. Сторонник народовластия считает, что король — ниже ломового извозчика; поклонник монархической власти возносит его по могуществу власти на несколько саженей над самим господом богом[5] [broken link: #nc7_5].

Между тем тягостность высокого положения, в которой я мог убедиться воочию, так как недавно мне представился для этого случай, состоит в следующем. В отношениях между людьми нет, может быть, ничего увлекательнее, чем то соревнование в чести и доблести, в которое мы вступаем друг с другом, упражняя свои физические и духовные силы, и в котором никогда не могут по-настоящему принять участие носители

верховной власти. По правде сказать, мне часто казалось, что при этом именно от великого почтения к ним относятся с обидным пренебрежением. Ибо в детстве, например, мне было всего оскорбительнее, если соревнующиеся со мною в чем-либо делали это вполсилы, считая меня не достойным их соперником; нечто подобное постоянно происходит с королями — никто не осмеливается вступать с ними в настоящее соревнование. Если становится заметным, что своей победе они придают большое значение, каждый старается им поддаться и, чтобы не нанести ущерба их славе, всегда готов поступиться своей, прилагая лишь столько усилий, сколько нужно для того, чтобы оказать им честь. Какое же участие принимают они в борьбе, где все — за них? Это напоминает мне паладинов былых времен, которые на состязания и битвы являлись наделенные волшебной силой или вооруженные заколдованным мечом. Брисон, состязавшийся в беге с Александром, поддался; Александр выбранил его за это, а следовало всыпать ему плетей[6] [broken link: #nc7_6]. Карнеад говорил, что дети царей лишь верховой езде учатся по-настоящему, ибо в любых других упражнениях им все уступают, чтобы они могли быть первыми, а конь, не будучи придворным

льстецом, сбросит с себя царского сына так же просто, как сына какого-нибудь грузчика[7] [broken link: #nc7_7]. Для того, чтобы столь нежной богине, как Венера, придать черты мужества и храбрости, свойств, которые присущи лишь тем, кто может подвергнуться опасности, Гомер вынужден был изобразить, как в битве за Трою она была ранена[8] [broken link: #nc7_8]. Богов заставляют испытывать гнев, страх, заставляют их обращаться в бегство, жаловаться, подпадать человеческим страстям, чтобы можно было наделить их доблестью, которую порождают в нас все эти несовершенства. Тот, кто не подвержен случайностям и трудностям, не может также притязать на честь и радость, вознаграждающие за смелый поступок. Жалостная участь — обладать такой властью, что все перед вами склоняется. Высокая доля слишком далеко отбрасывает от вас других людей, препятствует их общению с вами, и вы оказываетесь в стороне от всех. Легкая, безо всяких усилий дающаяся возможность все себе подчинять враждебна какому бы то ни было удовольствию: это означает скользить, а не ходить, дремать, а не жить. Представьте себе человека, наделенного всемогуществом: оно бы умалило его; ведь он должен был бы, как милости, про-

сить у вас, чтобы вы ставили ему препятствия и оказывали сопротивление; он обделен — и всем существом своим и благами жизни.

Добрые качества земных владык мертвы, не могут проявиться: ведь о них можно судить лишь по сравнению с чем-либо, а сравнение-то как раз и делают невозможным. Подлинного одобрения они почти вовсе не знают, постоянно осыпаемые одними и теми же неизменными хвалами. Даже имея дело с самым глупым из своих подданных, они не имеют возможности по-настоящему превзойти его в чем-либо. Тот скажет: «Ведь это же мой государь», — и, по его мнению, всем уже ясно, что он дал себя одолеть. Верховная власть — качество, которое подавляет все прочие, существенные и подлинные качества: они в ней растворяются, и им дано проявляться лишь в действиях, с ней непосредственно связанных и ей служащих, — в делах царствования и правления. Так велико королевское достоинство, что облеченный им — только государь. Окружающее его, извне идущее сияние скрывает от нас человека: взор наш ничего не различает, — наполненный и отягощенный этим слишком ярким светом, он оказывается как бы отброшенным назад. Римский сенат присудил Тиберию первую награду

за красноречие; тот отказался от нее, полагая, что, даже если она им заслужена, присуждение не было сделано по свободному волеизъявлению и никакой чести оно ему не принесет[9] [broken link: #nc7_9].

Уступая государям во всем, что касается чести и славы, утверждают и укрепляют также их недостатки и пороки не только простым одобрением, но и подражанием. Каждый из свиты Александра старался держать, подобно ему, голову склоненной на сторону. А льстецы Дионисия в его присутствии натыкались друг на друга, толкали и опрокидывали все, что попадалось им под ноги, чтобы показать, будто они так же близоруки, как он. Иногда рекомендацией и средством войти в милость служила грыжа. Я наблюдал, как люди из лести изображали глухоту, а Плутарх рассказывает, что у властителя, возненавидевшего жену, придворные разводились со своими женами, хотя и любили их[10] [broken link: #nc7_10]. Более того, по временам в моду входили разврат и всяческая распущенность, а также вероломство, кощунство, жестокость, а также ересь, а также суеверие, безверие, изнеженность и еще худшие пороки, если такие имеются. Можно привести пример гораздо более пагубный, чем тот, что яви-

ли льстецы Митридата, которые давали своему владыке, притязавшему на честь считаться хорошим врачом, резать и прижигать их члены[11] [broken link: #nc7_11]: я имею в виду тех, кто позволяет калечить себе душу, орган гораздо более благородный и нежный.

Но, дабы кончить тем же, с чего начал, приведу еще кое-что. Когда император Адриан спорил с философом Фаворином о значении некоторых слов, тот очень скоро с ним во всем согласился. Друзья его вознегодовали по этому поводу, но он ответил: «Смеетесь вы надо мной, что ли? Как может он, начальствуя над тридцатью легионами, не быть ученее меня?»[12] [broken link: #nc7_12] Август писал эпиграммы на Азиния Поллиона: «А я, — сказал Поллион, — буду молчать. Неблагоразумно писать против того, кто может предписать мне отправиться в ссылку»[13] [broken link: #nc7_13]. И оба они были правы. Ибо Дионисий, не будучи в состоянии сравняться в искусстве поэзии с Филоксеном и в красноречии с Платоном, одного приговорил к работам в каменоломнях, а другого велел продать в рабство на остров Эгину[14] [broken link: #nc7_14].

## Глава VIII
## Об искусстве беседы

У нашего правосудия существует обычай осуждать одних в пример другим.

Осуждать их за то, что они провинились, было бы, как говорит Платон, нелепым[1] [broken link: #nc8_1], ибо того, что сделано, переделать нельзя. Но осуждают затем, чтобы они больше не совершали тех же провинностей, или же затем, чтобы другим неповадно было делать то же самое.

Когда человека вешают, его этим не исправишь, но другие на этом примере исправляются. Так же поступаю и я. Заблуждения мои порою свойственны самой природе моей и неисправимы. Но как люди достойные представляют всем другим пример для подражания, так и я окажу им известную услугу, показав, чего следует избегать.

*Nonne vides Albi ut male vivat filius, utque*
*Barrus inops? magnum documentum, ne patriam rem*
*Perdere quis velit.[2] [broken link: #nc8_2]*

Выставив напоказ и осудив свои собственные

недостатки, я научу кого-нибудь опасаться их. По свойствам своей натуры, на мой взгляд наиболее ценным, я склонен скорее себя обвинять, чем превозносить. Вот почему я постоянно возвращаюсь к этому и останавливаюсь на этом. Но, рассказывая про себя, поступаешь в ущерб себе: самообвинениям твоим всегда охотно верят, самовосхвалениям — никогда.

Есть, может быть, и другие люди, вроде меня, которые полезный урок извлекут скорее из вещей неблаговидных, чем из примеров, достойных подражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. Этот род науки имел в виду Катон Старший, когда говорил, что мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца[3] [broken link: #nc8_3], а также упоминаемый Павсанием древний лирик, у которого в обычае было заставлять своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, чтобы на его примере учились они избегать неблагозвучия и фальши. Отвращение к жестокости увлечет меня по пути милосердия гораздо дальше, чем удалось бы любому образцу мягкосердечия. Отличнейший наездник не так искусно научит меня хорошо сидеть в седле, как судейский чиновник или моряк-венецианец

верхом на коне. А чтобы блюсти чистоту языка, неправильную речь мне слушать полезнее, чем правильную. Нелепое поведение глупца постоянно служит мне предупреждением и советом. То, что вызывает возмущение, больше волнует и будоражит, чем то, что нравится. Нашему времени гораздо свойственнее исправлять людей дурными примерами, разладом больше, чем слаженностью, противоположным больше, чем сходным. Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными, ибо их сколько угодно. Наблюдая людей докучных, я старался быть тем приятнее, наблюдая слабых, воспитывал в себе большую твердость и у резких учился быть как можно снисходительнее. Однако той же меры, что они, я достичь не мог.

Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума — по-моему, беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня наиболее приятный. Вот почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я наверно предпочел бы скорее потерять зрение, чем слух или дар речи. Афиняне, а вслед за ними и римляне придавали в своих Академиях высокое значение этому искусству. В наше время итальянцы сохранили в нем некоторые навыки к большой для себя выгоде,

если сравнить их способность суждения с нашей. Учась чему-либо по книгам, движешься вперед медлительно, слабо, безо всякого пыла; живое же слово и учит и упражняет. Если я веду беседу с человеком сильной души, смелым соперником, он нападает на меня со всех сторон, колет и справа и слева, его воображение разжигает мое. Дух соревнования, стремление к победе, боевой пыл увлекают меня вперед и возвышают над самим собой. Полное согласие — свойство для беседы весьма скучное.

Так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами низменными и ущербными. Это самая гибельная зараза. По опыту своему я знаю, чего это стоит. Я люблю беседы и споры, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо выставлять себя напоказ перед сильными мира сего, щеголять своим умом и красноречием я считаю делом, недостойным порядочного человека.

Глупость — свойство пагубное, но неспособность переносить ее, терзаясь раздражением, как это со мною случается, — тоже недуг, не менее докучный, чем глупость, и я готов признать за

собою этот недостаток.

В беседу и спор я вступаю с легкостью, тем более что общепринятые мнения не находят во мне благоприятной почвы, где они могли бы укорениться. Никакое суждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они ни были мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я не счел бы вполне допустимым порождением человеческого ума. Мы, не признающие за суждением своим права выносить приговоры, должны снисходительно относиться к самым различным мнениям, и если мы с ними не согласны, будем их все же спокойно выслушивать. Если одна чаша весов совсем пуста, пусть на другую, колебля ее, лягут хотя бы сонные грезы какой-нибудь старушки. Полагаю также вполне извинительным предпочитать нечетные числа, четверг, а не пятницу, стараться быть за столом не тринадцатым, а двенадцатым или четырнадцатым, охотнее наблюдать, как заяц бежит вдоль дороги, по которой путешествуешь, чем как он перебегает ее, и при обувании протягивать слуге сперва правую ногу. Все эти выдумки, которым верят окружающие, заслуживают хотя бы того, чтобы их выслушивать: по мне, это бабьи сказки, но и бабьи сказки уже кое-что. Народные

приметы и гадания все же не ничто, а нечто. Тот же, кто думает иначе, стремясь избежать суеверия, впадает в порок бессмысленного упрямства.

Противные моим взглядам суждения не оскорбляют и не угнетают меня, а только возбуждают и дают толчок моим умственным силам. Мы не любим поучений и наставлений; однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда они преподносятся в виде беседы, а не какой-нибудь нотации. При малейшем возражении мы стараемся обдумать не основательность или неосновательность его, а каким образом, всеми правдами или неправдами, его опровергнуть. Вместо того, чтобы раскрыть объятия, мы сжимаем кулаки. Я же готов выслушать от друзей самую резкую отповедь: ты дурак, ты городишь вздор. Я люблю, чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом и слова у них не расходились с мыслями. Нам следует иметь уши более стойкие и выносливые и не изнеживать их, слушая одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных, я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов, так же как любовь, которая может кусаться и царапаться до крови.

Ей не хватает пыла и великодушия, если она не задириста, если она так благовоспитанна и изысканна, что боится резких толчков и все время старается сдерживаться.

> *Neque enim disputari sine reprehensione potest.[4] [broken link: #nc8_4]*

Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание: я предпочитаю того, кто противоречит мне и тем самым учит меня. Общим делом и его и моим должна быть истина. Что сможет он ответить, если ярость уже помутила ему рассудок, а раздражение вытеснило разум? Было бы полезно биться в наших спорах об заклад, чтобы за ошибки мы платились бы чем-то вещественным, вели им счет и чтобы слуга мог сказать нам: в прошлом году вы потеряли сотню экю на том, что двадцать раз проявили невежество и упрямство. Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягиваю ей свое опущенное оружие, даже издалека видя ее приближение. Если, критикуя мои писания, принимают не слишком высокомерный и наставительный тон, я охотно прислушиваюсь и многое меняю в написанном мною скорее из соображений учтивости, чем для

того, чтобы действительно произвести какие-то улучшения. Даже в ущерб себе я готов легко уступать критикам, чтобы поддерживать и поощрять в них желание свободно выражать свои мнения. Однако современников моих крайне трудно вовлечь в такой спор: у них нет мужества указывать собеседнику на его ошибки; не хватает у них духу и на то, чтобы самим принимать его замечания, и друг с другом они всегда говорят неискренно. Я настолько люблю, чтобы люди обо мне судили и узнавали мою подлинную сущность, что мне почти безразлично, идет ли речь о том или о другом. В воображении своем я так склонен противоречить самому себе и осуждать самого себя, что мне все равно, если это делает кто другой: главное ведь то, что я придаю его мнению не больше значения, чем это мне в данный момент угодно. Но я прекращаю спор с тем, кто уж слишком заносится: я знавал одного человека, который обижается за свое мнение, если ему недостаточно верят, и считает оскорблением, если собеседник колеблется, последовать ли его совету. То, что Сократ весело принимал все возражения, которые ему делали, может быть, происходило потому, что он хорошо сознавал свою силу и, будучи уверен, что окажется прав, усматривал в этих возражениях

лишнюю возможность утвердить свою славу. Напротив, мы видим, что больше всего задевает нас сознание превосходства нашего противника и его презрение, а между тем именно слабому следует, по справедливости, со всей готовностью стать на правильный путь. И я, действительно, больше ищу общества тех, кто меня поучает, чем тех, кто меня побаивается. Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают, — удовольствие весьма пресное и даже вредное для нас. Антисфен наставлял своих детей никогда не выражать ни малейшей благодарности тому, кто их хвалит[5] [broken link: #nc8_5]. Я гораздо больше горжусь победой, которую одерживаю над самим собою, когда в самом пылу спора заставляю себя склониться перед доводами противника, чем радуюсь, одолевая противника из-за его слабости. Одним словом, я готов принимать и парировать все удары, которые наносят мне по правилам поединка, даже самые неумелые, но не переношу ударов неправильных. Суть дела меня трогает мало, высказываемые мнения безразличны, и я более или менее равнодушен к исходу спора. Я готов хоть целый день спокойно вести спор, если в нем соблюдается порядок. Я требую не столько силы и тонкости аргументов, сколько порядка,

того порядка, который всегда соблюдают в своих словесных распрях пастухи или молодцы, стоящие за прилавками, но никогда не соблюдаем мы. Если беспорядок и возникает, то потому, что спор переходит в перебранку, а это случается и у нас. Но пыл и раздражение не уводят их от сути спора: речь идет все о том же. Если они перебивают друг друга, не выслушивают до конца, то во всяком случае все время понимают, о чем идет речь. По-моему, любой ответ хорош, если он к месту. Но когда спор превращается в беспорядочную свару, я отхожу от сути дела и увлекаюсь формой, злюсь, раздражаюсь и начинаю проявлять в споре упрямство, недобросовестность, высокомерие, а потом мне приходится за все это краснеть.

Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.

Воздействие такого неистового советчика, как раздражение, губительно не только для нашего разума, но и для совести. Брань во время споров должна запрещаться и караться, как другие словесные преступления. Какого только вреда не причиняет и не нагромождает она, неизменно порождаемая злобным раздражением!

Враждебное чувство вызывают в нас сперва доводы противников, а затем и сами люди. Мы

учимся в споре лишь возражать, а так как каждый только возражает и выслушивает возражения, это приводит к тому, что теряется, уничтожается истина. Вот почему Платон в своем государстве лишал права на спор людей с умом ущербным и неразвитым[6] [broken link: #nc8_6].

Зачем отправляться на поиски истины со спутником, не умеющим идти так ровно и быстро, как надо? Предмету не наносится никакого ущерба, если от него отступают, чтобы найти правильный способ рассуждать о нем. Я имею в виду не приемы схоластических силлогизмов, а естественный путь здравого человеческого разумения. К чему это все может привести? Один из спорщиков устремляется на запад, другой — на восток, оба они теряют из виду самое главное, плутая в дебрях несущественных частностей. После часа бурного обсуждения они уже сами не знают, чего ищут: один погрузился на дно, другой залез слишком высоко, третий метнулся в сторону. Тот цепляется за одно какое-нибудь слово или сравнение; этот настолько увлекся своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдается лишь ходу своих мыслей, не обращая внимания на ваши. А третий, сознавая свою слабость, всего боится, все отвергает, с самого начала путает

слова и мысли или же в разгаре спора вдруг раздраженно умолкает, напуская на себя горделивое презрение от досады на свое невежество либо из глупой ложной скромности уклоняясь от возражений. Одному важно только наносить удары и все равно, что при этом он открывает свои слабые места. Другой считает каждое свое слово, и они заменяют ему доводы. Один действует только силой своего голоса и легких. Другой делает выводы, противоречащие его же собственным положениям. Этот забивает вам уши пустословием всяческих предисловий и отступлений в сторону. Тот вооружен лишь бранными словами и ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и тем самым уклониться от беседы с человеком, с которым он не может тягаться умом. И, наконец, еще один меньше всего озабочен разумностью доводов, зато он забивает вас в угол диалектикой своих силлогизмов и донимает формулами своего ораторского искусства.

Кто же, видя, какое употребление мы делаем из наук, этих nihil sanantibus litteris[7] [broken link: #nc8_7], не усомнится в них и в том, что они могут принести какую-нибудь пользу в жизни? Кого логика научила разумению? Где все ее прекрасные посулы? Nec ad melius vivendum nec ad

commodius disserendum[8] [broken link: #nc8_8]. Разве рыночные торговки сельдью городят в своих перебранках меньше вздора, чем ученые на своих публичных диспутах? Я предпочел бы, чтобы мой сын учился говорить в каких-нибудь кабачках, чем в этих школах для говорения. Наймите магистра свободных искусств, побеседуйте с ним. Пусть бы он дал нам почувствовать весь блеск своего искусства, пусть бы он восхитил женщин и жалких невежд вроде нас основательностью своих доводов и стройной логичностью рассуждений, пусть бы он покорил нас, убедил, как ему будет угодно! Для чего человеку, обладающему такими преимуществами как в предмете своей науки, так и в умении рассуждать, пользоваться в словесной распре оскорблениями, нескромными, гневными выпадами? Сбрось он с себя свою ермолку, мантию, свою латинскую ученость, не забивай он вам слух самыми чистыми, беспримесными цитатами из Аристотеля, и вы найдете, что он не лучше любого из нас грешных, а пожалуй и хуже. Мне кажется, что с их витиеватыми и путаными речами, которыми они нас морочат, обстоит так же, как с искусством фокусников; их ловкость действует на наши ощущения, завладевает ими, но убедить нас ни

в чем не может; кроме этого фиглярства, все у них пошло и жалко. Учености у них больше, а глупости ничуть не меньше.

Я люблю и почитаю науку, равно как и тех, кто ею владеет. И когда наукой пользуются, как должно, это самое благородное и великое из достижений рода человеческого. Но в тех (а таких бесчисленное множество), для кого она — главный источник самодовольства и уверенности в собственном значении, чьи познания основаны лишь на хорошей памяти (sub aliena umbra latentes)[9] [broken link: #nc8_9], кто все черпает только из книг, в тех, осмелюсь сказать, я ненавижу ученость даже несколько больше, чем полное невежество. В нашей стране и в наше время ученость может быть полезной для кармана, но душе она редко что-либо дает. Для слабой души она является тяжелым и трудноперевариимым материалом, отягощает и губит ее. Души возвышенные она еще больше очищает, просветляя и утончая их до того, что в них уже как бы ничего не остается. Ученость как таковая сама по себе, есть нечто безразличное. Для благородной души она может быть добавлением очень полезным, для какой-нибудь иной — вредоносным и пагубным. Вернее было бы сказать, что она вещь

драгоценная для того, кто умеет ею пользоваться, но за нее надо платить настоящую цену: в одной руке это скипетр, в другой — побрякушка. Но пойдем дальше.

Какой еще можно желать победы, когда вы убедили противника, что ему нет смысла продолжать с вами борьбу? Если побеждает то положение, которое вы защищали, в выигрыше истина. Если побеждает ясность и стройность вашего рассуждения, в выигрыше вы сами. Мне сдается, что у Платона и Ксенофонта Сократ ведет спор скорее ради пользы своих противников, чем ради самого предмета спора, скорее ради того, чтобы Эвридем и Протагор[10] [broken link: #nc8_10] прониклись сознанием своего собственного ничтожества, чем порочности своего учения. Он обращается с предметом так, словно ставит себе более важную цель, чем истолкование такового, то есть стремится просветить умы тех, с кем беседует и кого учит. Во время охоты ловкость и целесообразность наших действий и является в сущности той дичью, за которой мы охотимся: если мы ведем охоту плохо, неумело — для нас нет извинения. А уж поймаем ли мы дичь или не поймаем — дело совсем другое. Ибо мы рождены для поисков истины. Обладание же ею дано лишь

более высокому и мощному духу. Истина вовсе не скрыта, как это утверждал Демокрит[11] [broken link: #nc8_11], в глубочайших безднах, — вернее будет считать, что она царит высоко над нами и владеет ею мысль божества. Мир наш — только школа, где мы учимся познавать. Самое важное не взять приз, а проявить больше всего искусства в состязании. Тот, кто вещает истину, может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор: ибо дело у нас не столько в том, что именно сказано, сколько в том, как сказано. Я склонен уделять форме не меньше внимания, чем сути, защитнику дела не меньше, чем самому делу, как считал нужным Алкивиад.

Мне всегда доставляет удовольствие читать произведения различных писателей, не заботясь о том, много ли они знают: меня занимает не самый предмет их, а то, как они его трактуют. Точно так же стараюсь я завязать знакомство с тем или иным из прославленных умов не для того, чтобы он меня учил, но для того, чтобы узнать его самого.

Любой человек может сказать нечто, соответствующее истине, но выразить это красиво, разумно, немногословно смогут не столь уж многие. Вот почему меня раздражает не сказанное

неверно по незнанию, а неумение сказать это хорошо. Я прервал многие полезные для меня связи из-за того, что те, с кем я был связан, проявляли полную неспособность к беседе. Даже раз в год я не выскажу возмущения ошибками тех, кто от меня зависит, но ежедневно у нас происходит стычки из-за глупости и упрямства, которые они проявляют в своих тупых, ослиных объяснениях, извинениях и оправданиях. Они не понимают, что и почему им говоришь, и точно так же отвечают, доводя меня прямо до отчаяния. Самый для меня болезненный удар по голове — тот, который мне наносит другая голова, я готов скорее примириться с пороками моих людей, чем с их нахальством, докучностью и глупостью. Пусть уж лучше они меньше делают, лишь бы проявили способность что-то делать. Живешь в надежде пробудить их добрую волю, но от чурбана не на что надеяться и нечего ждать.

Но что если я считаю вещи не тем, чем они на самом деле являются? Это вполне возможно. И потому я готов осудить свое нетерпение и сразу же сказать, что оно так же порочно в правом, как и в неправом; кто не выносит несвойственных самому себе повадок, тот не в меру раздражителен. И, кроме того, сказать по правде, нет глупости

больше, назойливее и диковиннее, чем возмущаться и оскорбляться глупостями, творящимися вокруг. Ибо эта глупость обращается против нас же. И у некоего философа древности никогда не было недостатка в поводах для слез, коль скоро он приглядывался бы к самому себе. Мисон, один из семи мудрецов, во многом сходный с Тимоном и Демокритом, на вопрос, над чем это он смеется, сидя в одиночестве, ответил: «Да как раз над тем, что смеюсь про себя»[12] [broken link: #nc8_12].

Сколько глупостей, что ни день, говорю я сам в ответ на другие и насколько же этих глупостей больше по мнению других! Если из-за этого я сам себе кусаю губы, что же делают другие? Одним словом, надо жить среди живых людей и не заботиться о том, а тем паче не вмешиваться в то, как вода течет под мостом. И правда, почему мы без всякого раздражения видим человека кривобокого, косолапого — и не можем не прийти в ярость, встретившись с человеком, у которого ум вкривь и вкось? Источник этого неправедного гнева — не столько провинность, сколько сам судья. Будем всегда помнить изречение Платона: «Если что-нибудь по-моему не здорово, то не потому ли, что это я не здоров? Не сам ли я в этом виноват? Нельзя ли мой упрек обратить против

меня самого?»[13] [broken link: #nc8_13] Слова божественно мудрые, бичующие самое общераспространенное из человеческих заблуждений. Не только упреки, которые мы делаем друг другу, но и наши доводы, и наши аргументы в спорах большей частью можно обратить против нас же и поразить нас нашим же оружием. У древних я нахожу этому достаточно яркие примеры. Очень удачно и весьма к месту сказал нижеследующее словцо тот, кто его придумал:

> *Stercus cuique suum bene olet.[14] [broken link: #nc8_14]*

На затылке у нас нет глаз. Сто раз на день смеемся мы над самими собой по поводу того, что подмечаем у соседа, в другом осуждаем те недостатки, которые еще нагляднее в нас самих, где мы ими же восхищаемся с удивительным бесстыдством и непоследовательностью.

Еще вчера я был свидетелем того, как один человек, рассудительный и любезный, весьма забавно и справедливо высмеивал глупость другого, который всем надоедает разговорами о своей родословной и аристократических родственных связях, — притом и то и другое в достаточной мере не подлинно (охотнее всего

пускаются в подобные разговоры как раз те, чей аристократизм всего сомнительнее). Но если бы насмешник взглянул на себя со стороны, он заметил бы, что и он сам не менее назойливо и докучно выставляет всем напоказ знатность и родовитость своей супруги. О докучное самомнение, которым жену вооружает ее собственный муж! Если бы они понимали латынь, им бы следовало процитировать:

> *Age! si haec non insanit satis sua sponte, instiga.[15] [broken link: #nc8_15]*

Я не утверждаю, что осуждать может только человек безупречный, ибо тогда никто никого не осуждал бы. Не считаю я даже, что осуждающий должен быть обязательно непричастен к тому же греху. Я имею в виду, что, осуждая недостатки другого человека, о котором сейчас идет речь, мы тем самым отнюдь не избавляем самих себя от внутреннего суда. Со стороны того, кто не в силах справиться со своим собственным пороком, я считаю человеколюбивым стремление излечить от него другого человека, в котором дурное семя, может быть, не так глубоко и зловредно укоренилось. Не считаю я также правильным в ответ на упреки обвинять собеседника в том же грехе. Не

все ли это равно? Упрек остается справедливым и полезным. Если бы у нас было хорошее обоняние, наши собственные нечистоты должны были бы казаться нам еще зловоннее. Сократ полагал, что когда какой-нибудь человек, его сын и кто-то ему посторонний оказываются одинаково повинны в каком-то насилии или оскорблении, виновный должен требовать у правосудия справедливой кары прежде всего самому себе, затем своему сыну и, наконец, третьему, постороннему для него человеку[16] [broken link: #nc8_16]. Если это предписание, пожалуй, уж чересчур сурово, то во всяком случае каждый, кто в чем-либо виновен, должен судить судом личной совести в первую очередь себя самого.

Ощущения наши являются для нас непосредственными, первоначальными судьями, воспринимающими все окружающие вещи по внешнему впечатлению. Нечего и дивиться тому, что во всех областях общественной жизни наблюдается такое непрерывное многообразное смешение всевозможных церемоний и чисто внешних форм поведения и что именно в них наиболее полным и действенным образом проявляется всякий общественный порядок. Ведь мы всегда имеем дело с человеком, а всего при-

мечательнее, что природа человеческая в основе своей — телесна. Пусть те, кто за последние годы стремились утвердить религию созерцательную и безобрядную[17] [broken link: #nc8_17], не удивляются, что есть люди, считающие, что эта религия растаяла бы и растеклась у них между пальцев, если бы она не держалась среди нас больше потому, что стала знаком, именем и орудием общественного разлада и разделения на партии, чем по своим внутренним качествам. То же самое и в наших диспутах: важный вид, облачение и высокое положение говорящего часто заставляют верить словам пустым и нелепым. Никому и в голову не придет, что у человека столь уважаемого и почитаемого нет за душой ничего, кроме этого уважения толпы, и что человек, которому поручается столько дел и должностей, такой высокомерный и надменный, не более искусен, чем какой-то другой, издали низко кланяющийся ему и ничьим доверием не облеченный. Не только слова, но и ужимки таких людей принимают во внимание, считаясь с ними, и каждый старается истолковать их самым лучшим и основательным образом. Если они снисходят до собеседования с обыкновенными людьми и им приходится выслушать что-либо,

кроме выражений почтительного одобрения, они сокрушают вас авторитетом своего личного опыта: они, мол, слышали, видели, делали то-то и то-то. Вы просто раздавлены количеством примеров. Я охотно возразил бы им, что, например, ценность опыта, вынесенного врачом, состоит вовсе не в удачной практике, не в простом учете четырех излеченных чумных и трех подагриков, и что опыт его ничего не доказывает, если он не сумел извлечь из него никакой общей мысли и не может убедить нас в том, что стал лучше разуметь свое дело. Так, в концерте мы слышим не лютню, спинет[18] [broken link: #nc8_18] или флейту, а созвучие этих инструментов вместе взятых, то, что создается их взаимодействием. Если путешествия, совершенные важными лицами, и отправление ими должностей пошли им на пользу, пусть они докажут это нам развитием своей способности суждения. Недостаточно накопить опыт, надо его взвесить и обсудить, надо его переварить и обдумать, чтобы извлечь из него все возможные доводы и выводы. Никогда не было столько историков, как в наше время. Слушать их всегда хорошо и полезно, так как в складе их памяти мы найдем для себя много прекрасных и нужных сведений, поучений. В жизни

это, конечно, большая нам подмога. Но не к тому мы сейчас стремимся, — мы хотим убедиться, достойны ли похвалы сами по себе эти рассказчики и летописцы событий.

Мне ненавистна всякая тирания — и в речах и в поступках. Я всегда восстаю против суетности, против того, чтобы внешние впечатления затуманивали нам рассудок, а так как необыкновенное величие некоторых людей всегда вызывает у меня известные сомнения, я обычно убеждаюсь, что они в сущности такие же, как все.

*Rarus enim ferme sensus communis in illa Fortuna.[19] [broken link: #nc8_19]*

Случается, что их уважают и ценят даже меньше, чем они того на самом деле заслуживают, именно потому, что они за слишком многое берутся и слишком выставляют себя напоказ, без достаточных оснований. В человеке, взваливающем на себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем требует его груз. У того, кто не использовал своих сил до предела, можно еще предполагать любые возможности. Тот же, кто пал под непосильным бременем, всем показывает, как слабы его плечи. Вот почему именно среди ученых мы так часто видим умственно

убогих людей, из которых вышли бы отличные земледельцы, торговцы, ремесленники: такой род деятельности вполне соответствовал бы их природным силам. Наука — дело очень нелегкое, оно их сокрушает. Механизм, которым они являются, и недостаточно мощен и недостаточно тонок, чтобы обрабатывать и перерабатывать столь сложное и благородное вещество. Наука пригодна лишь для сильных умов; а они весьма редки. Слабые же умы, по словам Сократа[20] [broken link: #nc8_20], берясь за философию, наносят только ущерб ее достоинству. Оружие это в худых ножнах кажется и никчемным и даже опасным. Вот как они сами себе портят дело и вызывают смех.

> *Humani qualis simulator simius oris,*
>
> *Quem puer arridens pretioso stamine serum*
>
> *Velavit, nudasque nates ac terga reliquit,*
>
> *Ludibrium mensis.[21] [broken link: #nc8_21]*

Точно так же и тем, кто нами повелевает и правит, кто держит в руках своих судьбы мира, недостаточно обладать разумением среднего человека, мочь столько же, сколько можем мы; и

если они не превосходят нас в достаточной мере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня. От них ожидаешь большего, они и должны делать больше. Молчаливость приносит им зачастую большую пользу не только тем, что придает внушающую почтение важность, но и тем, что порою является для них весьма выгодной и удобной. Так, Мегабиз, посетив Апеллеса в его мастерской, долгое время пребывал в безмолвии, а затем принялся рассуждать о его творениях, на что получил следующую резкую отповедь: «Пока ты молчал, ты в своем роскошном наряде и золотых украшениях казался нам чем-то весьма значительным. Теперь же, после того, как мы тебя послушали, над тобой потешается мой самый последний подмастерье»[22] [broken link: #nc8_22]. Из-за своего высокого положения, из-за окружавшего его великолепия он не имел права проявлять невежество простолюдина и нести вздор о живописи: ему следовало, не нарушая молчания, сохранять такой вид, будто он в этой области знаток. А скольким из моих нищих духом современников напускная холодная молчаливость помогла прослыть мудрыми и понимающими людьми!

Чины и должности, — так уж повелось — да-

ются человеку чаще по счастливой случайности, чем по заслугам. И большей частью за это совершенно напрасно упрекают королей. Напротив, надо изумляться, как часто удается им сделать удачный выбор при недостаточном уменье разбираться в людях.

*Principis est virtus maxima nosse suos.[23] [broken link: #nc8_23]*

Ибо природа отнюдь не наделила их ни способностью обнять взором столь большое количество людей, чтобы остановиться на достойнейших, ни даром заглядывать в душу, дабы получить представление о нашем взгляде на вещи и наших качествах. Им приходится выбирать нас как бы наугад, в зависимости от обстоятельств, от нашей родовитости, богатства, учености, репутации — оснований весьма слабых. Тот, кто сумел бы найти способ всегда судить о людях по достоинству и выбирать их согласно доводам разума, уже одним этим установил бы самую совершенную форму государственности.

Отлично! Допустим, что ему удалось совершить это великое дело. Это уже нечто, но еще не все. Ибо справедливо изречение, что о данном совете нельзя судить только по исходу предприятия.

Карфагеняне взыскивали со своих полководцев за неправильные решения, даже если по счастливой случайности дело обернулось хорошо. А народ римский нередко отказывал в триумфе полководцам, одержавшим крупные и очень выгодные государству победы, только за то, что успех достигнут был не благодаря их искусству, а лишь потому, что им повезло. Обычно приходится наблюдать, что во всех жизненных делах судьба, которая всегда стремится показать нам свое могущество и унизить нашу самонадеянность, но не может сделать неспособных людей мудрецами, дарует им вместо разума и доблести — удачу. И благосклоннее всего она к тем именно предприятиям, где успех зависит исключительно от нее. Вот почему мы постоянно видим, что самые ограниченные люди доводят до благополучного разрешения важнейшие дела, как общественные, так и частные. Недаром перс Сирам, отвечая людям, удивившимся, почему это его дела так плохи, когда он рассуждает так умно, сказал, что рассуждения зависят только от него самого, а успех в делах — от судьбы[24] [broken link: #nc8_24]; удачливые простаки могут сказать то же самое, только в обратном смысле. В нашей жизни почти все совершается как-то

само по себе:

> *Fata viam inveniunt.[25] [broken link: #nc8_25]*

Успехом может зачастую увенчаться самое неосмысленное поведение. Наше участие в каком-либо предприятии — почти всегда дело навыка, и руководствуемся мы гораздо чаще обычаем и примером, чем разумными соображениями. Пораженный в свое время важностью одного дела, я узнал о тех, кто привел его к удачному концу, как они действовали и на каком основании, и обнаружил во всем этом лишь самую обычную посредственность. Может быть, действовать наиболее обычным и общепринятым образом в жизненных делах всего полезнее и удобнее, хотя это и производит несравненно меньшее впечатление.

Как! Самые пошлые побуждения — наиболее основательны? Самые низменные и жалкие, самые избитые — больше всего приносят пользы делу? Для того, чтобы поддерживать уважение к королевским предначертаниям, нет необходимости, чтобы к ним были причастны простые смертные, которые при этом стали бы слишком далеко заглядывать. Кто хочет сохранить к ним

должное почтение, пусть доверится полностью и безоговорочно. Мое рассуждение о том или ином деле лишь слегка затрагивает его, поверхностно касается на основании первого впечатления. Что же до главного и основного, то в этом я привык полагаться на провидение:

> *Permitte divis cetera.[26] [broken link: #nc8_26]*

Две величайшие, на мой взгляд, силы — счастье и несчастье. Неразумно считать, будто разум человеческий может заменить судьбу. Тщетны намерения того, кто притязает обнять причины и следствия и за руку вести свое предприятие к вожделенному концу. Особенно же тщетны они при обсуждении операций на военном совете. Никогда еще люди не проявляли столько предусмотрительности и осмотрительности в делах военных, как зачастую проявляем теперь мы. Не из страха ли сбиться с пути, не из стремления ли благополучно прийти к развязке?

Скажу даже больше: и сама наша мудрость, наша рассудительность большей частью подчиняется воле случая. Мои воля и рассудок покоряются то одному дуновению, то другому, и многие из их движений совершаются помимо

меня. Разум мой подвержен воздействиям, зависящим от случайных, временных обстоятельств:

> *Vertuntur species animorum, et pectora motus*
>
> *Nunc alios, alios dum nubila ventus agebat,*
>
> *Concipiunt.[27] [broken link: #nc8_27]*

Посмотрите, кто в наших городах наиболее могуществен и лучше всего делает свое дело, — и вы найдете, что обычно это бывают наименее способные люди. Случалось, что женщины, дети и безумцы управляли великими государствами не хуже, чем самые одаренные властители. И обычно, отмечает Фукидид, грубым умам дело управления давалось лучше, чем утонченным[28] [broken link: #nc8_28]. Мы же удачу их приписываем разумению.

> *Ut quisque fortuna utitur*
>
> *Ita praecellet, atque exinde sapere illum omnes dicimus.[29] [broken link: #nc8_29]*

Вот почему я всегда прав, утверждая, что ход событий — плохое доказательство нашей ценности и наших способностей.

Говорил я также, что нам надо только обратить внимание на какое-нибудь лицо, достигшее

высокого положения: если за три дня до этого мы знали его как человека незначительного, в нашем представлении возникает образ величественный, полный благородных свойств, и вот мы уверены, что человек этот, возвысившийся в общественном положении и во мнении людей, возвысился также и по своим заслугам. Мы судим о нем не по его подлинным качествам, для нас он — как игральная фишка, ценность которой зависит от того, куда она ляжет. Если переменится счастье, если он падет и вновь смешается с толпой, каждый станет выражать удивление: как это удалось ему сперва так высоко забраться. «Тот ли это человек? — скажут все. — Неужто он ни о чем понятия не имел, когда занимал свой пост? Неужто короли так плохо выбирают себе слуг? В хороших же руках мы находились!» Сколько раз приходилось мне это видеть. Ведь и личины великих людей, изображенных на сцене, могут нас взволновать и обморочить. Больше всего заставляют меня преклоняться перед королями толпы преклоненных перед ними людей. Все должно подчиняться и покоряться им, кроме рассудка. Не разуму моему подобает сгибаться, а лишь коленям.

Когда Мелантия спросили, что он думает о

трагедии, сочиненной Дионисием, он ответил: «Я ее даже и не видел, так она затуманена велеречием»[30] [broken link: #nc8_30]. Точно так же большинство из тех, кто судит о речах властителей, могут сказать: «Я не слышал того, что он сказал, так это все было затуманено превыспренностью, важностью и величием».

Антисфен, посоветовав однажды афинянам распорядиться, чтобы их ослов применяли для пахоты так же, как лошадей, получил ответ, что эти животные для такой работы не годятся. «Все равно, — возразил он, — достаточно вам распорядиться. Ведь даже самые невежественные и неспособные люди, которые у вас командуют на войне, сразу же становятся подходящими для этого дела, как только вы их назначили»[31] [broken link: #nc8_31].

Сюда же относится обычай многих народов обожествлять избранного ими властителя: им мало почитать его, они хотят ему поклоняться. Жители Мексики после коронования своего владыки уже не смеют смотреть ему в лицо. Он же, раз они его обожествили, наделив царской властью, клянется им не только защищать их веру, законы, свободу, быть доблестным, справедливым и милостивым, но также заставлять

солнце светить и совершать свой путь в небе, тучи — изливать в должное время дождь, реки — струиться по течению, землю — приносить все нужные народу плоды[32] [broken link: #nc8_32].

Я не придерживаюсь этого общепринятого взгляда на вещи, и высокие достоинства человека вызывают у меня подозрение, если им сопутствуют величие, удача и всеобщий почет. Надо всегда иметь в виду, какое значение имеет возможность сказать то-то и то-то в подходящий момент, выбрать отправную точку, прервать свою речь или властным решением изменить предмет ее, отвергнуть возражение собеседника одним лишь движением головы, улыбкой или просто своим молчанием перед аудиторией, трепещущей от благоговейного почтения.

Некий человек, обладатель неслыханного богатства, вмешавшись в легкую, ни к чему не обязывающую беседу, которая велась за его столом, начал буквально так: «Только лжец или невежда могут не согласиться с тем, что…» и т. д. Острый зачин столь философического свойства можно развивать и с кинжалом в руках.

Вот и другое соображение, которое я считаю весьма полезным: во время бесед и споров нельзя сразу же соглашаться с каждым словом, которое

кажется нам верным. Люди большей частью богаты чужой мудростью. Каждый может употребить ловкое выражение, удачно изречь что-нибудь или удачно ответить и, выступив со всем этим, даже не отдавать себе отчета в подлинном значении своих слов. Я и на своем личном примере мог бы показать, что не всегда полностью владеешь тем, что заимствовано у другого. Какой бы верной и красивой ни казалась чужая мысль, не всегда следует ей поддаваться. Надо или разумно противопоставить ей другую или же отступить и, сделав вид, что не расслышал собеседника, основательно, со всех сторон прощупать, что он в сущности имел в виду. Может случиться также, что мы слишком остро отзовемся на удар, которым нас вовсе не собираются сильно затронуть. В свое время мне случалось в пылу спора давать такие ответы, которые попадали гораздо дальше, чем я намечал. Я старался, чтобы они были только числом побольше, а давили на собеседников они всем своим весом. Когда я спорю с сильным противником, то стараюсь предугадать его выводы, освобождаю его от необходимости давать мне разъяснения, силюсь досказать за него то, что в речах его лишь зарождается и потому не вполне выражено (ведь он так ладно и правильно

рассуждает, что я уже заранее чувствую его силу и готовлюсь к обороне). С противниками слабыми я поступаю совершенно противоположным образом: их слова надо понимать именно так, как они сказаны, я ничего дальнейшего не предугадывать. Если они употребляют общие слова: то хорошо, это плохо, — а суждение их получается верным, надо посмотреть, не случайно ли они оказались правы. Пусть они приведут более обстоятельные доводы и объяснят, почему именно, каким образом это так, а не иначе. Общепринятые мнения, с которыми постоянно сталкиваешься, ничего мне не говорят. Высказывающие их люди как бы приветствуют целую толпу народа, не различая в ней никого. Тот же, кому она хорошо знакома, обращается к каждому в отдельности, называя его по имени. Но дело это нелегкое.

По нескольку раз в день приходилось мне замечать, что умы неосновательные, желая сделать вид, будто они хорошо разбираются в красотах какого-нибудь литературного произведения, выражают свое восхищение по столь неудачному поводу, что убеждают нас не в достоинствах автора, а в своем собственном невежестве. Прослушав страницу из Вергилия, можно безошибочно воскликнуть: «Как прекрасно!» Этим обычно и от-

делываются хитрецы. Но обстоятельно разобрать данный отрывок, подробно и обоснованно отметить, в чем выдающийся писатель превзошел сам себя, как он достиг высшего мастерства, взвесить отдельные слова, фразы, образы, одно за другим — от этого лучшего откажитесь. Videndum est non modo quid quisque loquatur, sed etiam quid quisque sentiat, atque etiam qua de causa quisque sentiat[33] [broken link: #nc8_33]. Постоянно слышу я, как глупцы держат речи вовсе не глупые. Говорят они верные вещи.

Но посмотрим, насколько хорошо они их знают, откуда идет их разуменье. Мы помогаем им воспользоваться умным словом, правильным доводом, которые не им принадлежат, которыми они только завладели. Они привели их нам случайно, на ощупь, мы же относим все это на их личный счет. Вы им оказываете помощь. А зачем? Они нисколько не благодарны и становятся лишь невежественнее. Не помогайте им, предоставьте их самим себе. Они станут обращаться с предметом, о котором идет речь, как люди, опасающиеся обжечься; они не решатся подойти к нему с какой-то другой стороны, углубить его. Вы же повертите его туда и сюда, и он сразу выпадет у них из рук, они уступят вам его,

как бы прекрасен и достоин он ни был. Оружие это хорошее, но с неудобной для них рукоятью. Сколько раз бывал я тому свидетелем! Но если вы начнете учить их и просвещать, они тотчас же присвоят себе все преимущества, которые можно получить от ваших разъяснений: «Это я и хотел сказать, так я именно и думал, только не нашел сразу подходящих слов». Подскажите им, как поступить. Чтобы справиться с их чванливой глупостью, нередко приходится поступать круто. Гегесий говорил, что никого не следует ненавидеть и осуждать, надо лишь учить[34] [broken link: #nc8_34], — это правило хорошо и разумно в других случаях. Здесь же несправедливо и даже бесчеловечно давать помощь и совет тому, кому они не нужны и кто от них становится только хуже. Пусть они запутаются еще крепче, завязнут еще глубже, — так, по возможности, глубоко, чтобы их положение стало им, наконец, понятно.

Глупость и разброд в чувствах — не такая вещь, которую можно исправить одним добрым советом. О такого рода исцелении можно сказать то же, что царь Кир ответил человеку, советовавшему ему обратиться к войскам с речью перед самой битвой: что людям не проникнуться воинственностью и мужеством на поле боя от одной

хорошей речи, так же как нельзя сразу стать музыкантом, прослушав одну хорошую песню[35] [broken link: #nc8_35]. Этим можно овладеть только после длительного и основательного обучения.

Близким своим мы обязаны оказывать такую помощь, прилежно учить их и наставлять. Но проповедовать любому прохожему, исправлять невежество и тупость первого встречного — вот обычай, которого я никак не одобряю. Редко соглашаюсь я заниматься подобным делом, даже когда случайная беседа меня на это вызывает, и скорее готов стушеваться в споре, чем выступать в скучной роли учителя и наставника. Нет у меня также ни малейшей склонности писать или говорить для начинающих. Какие бы неверные и нелепые, на мой взгляд, вещи ни говорились публично или в присутствии посторонних, я не стану опровергать их ни словами, ни знаками нетерпения. Вообще же ничто в глупости не раздражает меня так, как то, что она проявляет куда больше самодовольства, чем это с полным основанием мог бы делать разум.

Беда в том, что разум-то и не дает вам проявлять самоудовлетворенность и самоуверенность, и вы всегда бываете охвачены сомнением и тревогой

там, где упрямство и самонадеянность преисполняют тех, кому они свойственны, радостью и верой в себя. Самым несмышленым людям удается иногда взглянуть на других сверху вниз, с победой и славой выйти из любой схватки. А еще чаще их похвальбы и горделивая внешность производят самое благоприятное впечатление на окружающих, которые обычно недалеки и неспособны разбираться в подлинных качествах человека. Упрямство и чрезмерный пыл в споре — вернейший признак глупости. Есть ли на свете существо более упорное, решительное, презрительное, самоуглубленное, важное и серьезное, чем осел?

Разве не можем мы приправлять взаимное общение и беседу краткими остроумными замечаниями, которые сами собою рождаются в веселом и тесном кругу друзей, с полным взаимным удовольствием перебрасывающихся живыми и забавными шутками? По природной своей вялости я весьма склонен к такому времяпрепровождению. И если в нем нет значительности и серьезности того другого времяпрепровождения, о котором я только что говорил, то в нем можно проявить не меньше изобретательности и остроты и оно не менее полезно, как это полагал и

Ликург[36] [broken link: #nc8_36]. Что до меня, то в нем я проявляю больше непосредственности, чем остроумия, и я более удачлив, чем искусен. Зато я безукоризнен в терпении, ибо без малейшей досады встречаю отпор не только резкий, но даже обидный. И если мне не удается тут же на месте найти удачный ответ на выпад противника, я не стану долго топтаться на одном месте, проявляя ненужное упрямство в скучных и неубедительных возражениях: я умолкаю, с веселой покорностью склоняя голову, и дожидаюсь более благоприятного случая доказать свою правоту. Тот, кто всегда в выигрыше, не настоящий игрок. У большинства людей, чувствующих свою слабость, изменяются выражение лица и голос, и, распаляясь бесполезным гневом, вместо того чтобы дать настоящий отпор, они только доказывают свое бессилие и нетерпение. В подобных схватках мы невзначай касаемся наиболее потаенных струн, самых скрытых своих недостатков, которые в спокойном состоянии не могли бы обнажить без мучительного чувства. И таким образом мы в самих себе получаем полезный урок и предупреждение.

Есть у нас и другие игры, на французский манер, когда дают волю рукам, — их я до смерти

ненавижу. За свою жизнь я дважды видел, как в таком деле погибли два принца нашего королевского дома[37] [broken link: #nc8_37]. Гнусное дело — настоящая драка во время игры.

Вообще, когда я хочу составить себе о ком-либо мнение, я спрашиваю его, насколько он доволен собою, по нраву ли ему то, что он делает и говорит. Я не желаю слышать такого рода оправданий, как «я сделал это играючи»,

> *Ablatum mediis opus est incudibus istud,[38] [broken link: #nc8_38]*

«я на это и часа не потратил; этого я с тех пор и в глаза не видел». — «Хорошо, — говорю я в таких случаях, — оставим все эти вещи, покажите мне то, что вас целиком представляет, то, по чему, как вы сами считаете, о вас можно справедливо судить!» И еще: «Что вы считаете в своем произведении самым лучшим? Вот это или, может быть, то? Изящество исполнения, или самый предмет, изобретательность вашу, или уменье рассуждать, или познания?» Ибо, как я замечаю, люди обычно так же ошибаются в оценке своего труда, как и чужого. И не только из-за пристрастности, которая сюда примешивается, но и по неуменью хорошо разобраться в своем же деле. Творение челове-

ка, имея собственное значение и судьбу, может оказаться для него удачей большей, чем он имел оснований на то рассчитывать по своим знаниям и способностям, может оказаться значительней, чем он сам. Что до меня, то о ценности чужого труда мне гораздо легче высказать определенное мнение, чем о ценности моего собственного. И эти свои «Опыты» я расцениваю то низко, то высоко, проявляя непоследовательность и неуверенность.

Существует много книг, полезных по своему содержанию, но ничего не говорящих об искусстве автора, и много хорошо написанных книг, как и других хорошо выполненных работ, которых создателю их следовало бы стыдиться.

Я могу написать об обычаях нашего общества, о нашем способе одеваться, но я сделаю это коряво и неумело; я могу опубликовать указы, изданные в мое время, письма государей, ставшие всем известными; я могу сделать сокращенное изложение хорошей книги (а всякое сокращенное изложение хорошей книги — вздор), а затем сама книга будет утеряна, и тому подобное. Потомство извлечет из подобных сочинений немалую пользу. Но мне-то какая выпадет честь, кроме случайной удачи? Значительная часть самых

прославленных книг — именно такого рода.

Когда, несколько лет назад, я прочитал Филиппа де Коммина — писателя, разумеется, превосходного, — меня поразила у него одна не совсем обычная мысль: надо остерегаться оказывать своему повелителю столько услуг, что он уже не может вознаградить за них подобающим образом. Я должен был хвалить самую мысль, а не писателя, ибо недавно обнаружил ее у Тацита: Beneficia eo usque laeta sunt dum videntur exsolvi posse; ubi multum antevenere, pro gratia odium redditur[39] [broken link: #nc8_39]. Также и у Сенеки — выраженную с большей силой: Nam qui putat esse turpe non reddere, non vult esse cui reddat[40] [broken link: #nc8_40].

Квинт Цицерон говорит о том же, хотя и менее выразительно: Qui se non putat satisfacere, amicus esse nullo modo potest[41] [broken link: #nc8_41].

Человек, обладающий знаниями и памятью, может изложить любой подходящий для него предмет. Но для того, чтобы судить, что именно в данной книге принадлежит автору, что в ней наиболее примечательно, как проявились здесь красота и сила его души, нужно распознать, что вложено им самим, а что заимствовано, и рассмотреть также, как в заимствованном сказалось

его умение выбрать, составить план, проявить изящество в стиле и языке. А что, если содержание он заимствовал, а форму ухудшил, как это часто бывает? Мы, мало занимающиеся книгами, попадаем в затруднительное положение, ибо, найдя у какого-нибудь нового поэта яркий образ, у проповедника — сильный довод, не решаемся хвалить их, не узнав сперва у сведущего человека, им ли все это принадлежит или у кого-нибудь заимствовано. Я лично всегда проявляю должную осмотрительность.

Я недавно прочел от доски до доски все сочинения Тацита (а это со мной редко случается: вот уже лет двадцать, как я не могу читать подряд одну и ту же книгу даже в течение какого-нибудь часа) и прочел по совету одного дворянина, весьма уважаемого во Франции как за свои личные достоинства, так и за свойственные ему и всем его братьям ум и добросердечие. Я не знаю писателя, который, излагая исторические факты, уделял бы при этом столько внимания нравам и склонностям отдельных личностей. И мне кажется, в противоположность его собственному мнению, что, изучая с особенным вниманием судьбы императоров своего времени, столь разнообразные и по всем своим проявлениям необычные, а так-

же те благородные деяния, к которым побуждала многих их подданных именно их жестокость, он имел дело с предметом гораздо более волнующим и привлекательным для обсуждения и повествования, чем если бы рассказывал о битвах и общественных неурядицах. Я даже нередко находил его способ изложения чрезмерно скупым, когда он так бегло говорил о многих примерах доблестной кончины, словно боялся наскучить нам их обилием и длительным о них рассказом.

Такой способ писать историю является наиболее полезным. Движение общественной жизни в большей мере зависит от судьбы, частной — от нашего собственного поведения. Сочинения Тацита скорее рассуждение, чем повествование о событиях: они больше поучают нас, чем осведомляют. Это книга не для развлекательного чтения, а для того, чтобы изучать жизнь и черпать полезные уроки. В ней столько изречений, что их находишь повсюду, куда ни бросишь взгляд: это какой-то питомник рассуждений по вопросам этики и политики на потребу и в поучение тем, кто держит в руках своих судьбы мира. Тацит неизменно орудует сильными и обоснованными доводами, остро и тонко пользуясь ученым стилем своего времени. Римляне так любили тогда

приподнятость, что если в самом предмете они не находили возможности проявить остроумие и изысканность, то прибегали для этого к слову как таковому. Манера Тацита в немалой степени напоминает манеру Сенеки: только у него преобладает насыщенность, а у Сенеки — острота. Он более подходит для того состояния — смятенного и недужного, — в каком мы сейчас пребываем: часто кажется, что это нас он изображает и обличает. Те, кто сомневается в его добросовестности, тем самым выдают свою досаду и раздражение на него. Но воззрения его — здравые, а в римских делах он на стороне блага. Не очень нравится мне только то, что он судил о Помпее строже, чем следовало бы, исходя из мнения достойных людей, живших во времена Помпея и общавшихся с ним, что он во всем уподоблял Помпея Марию и Сулле, считая, впрочем, его более скрытным. Общепризнанно, что стремление Помпея стать у кормила власти не было свободно от честолюбивых и мстительных расчетов, и даже друзья его опасались, что победа может вскружить ему голову, однако не настолько, чтобы он стал прибегать к таким же необузданным мерам, как Марий и Сулла: он не совершил в своей жизни ничего, что давало бы повод опасаться такой же предельно

жестокой тирании. К тому же, подозрению нельзя придавать такого же веса, как очевидности. Вот почему я не верю оценке, которую Тацит дает Помпею. Если в повествованиях его мы находим естественность и правдивость, то, может быть, объясняется это именно тем, что они не всегда точно соответствуют выводам из его же положений, развиваемых им согласно заранее установленному плану и часто вне всякой зависимости от предмета, который он изображает, ни в малейшей степени не стараясь подогнать под свое задание. Ему незачем оправдываться в том, что, повинуясь законам своего времени, он защищал языческую религию и понятия не имел об истинной. Это беда его, а не порок.

Я особенно пристально вникал в суждения Тацита, и не все в них мне вполне ясно. Так, например, я не понимаю, почему письмо, которое старый и больной Тиберий отправил сенату («Что мне написать вам, господа, и как вам писать, и чего бы я мог не написать вам в эти дни? Да нашлют на меня боги и богини еще худшие страдания, чем те, что я каждодневно испытываю, если я смогу ответить на этот вопрос»), он так уверенно связывает с какими-то жестоко терзающими Тиберия угрызениями совести?[42]

[broken link: #nc8_42] Во всяком случае, читая Тацита, я не мог уразуметь его оснований. Довольно мелким представляется мне Тацит и в том месте, где, упоминая о высокой должности в Риме, которую он одно время занимал, он считает нужным присовокупить в порядке извинения, что говорит об этом отнюдь не из тщеславия[43] [broken link: #nc8_43]. Черта эта для столь высокой души, по-моему, неподобающая. Ибо тот, кто не осмеливается говорить о себе прямо, проявляет малодушие. Если он судит о вещах решительно и независимо, здраво и уверенно, то, не раздумывая, станет приводить примеры из своей личной жизни, как нечто постороннее, и о себе самом говорить так же беспристрастно, как о любом другом человеке. Нужно во имя истины и свободы быть выше всех этих общепринятых правил учтивости. Я же осмеливаюсь говорить не просто о себе, но даже исключительно о себе. Писать о других вещах означает для меня сбиваться с пути и уклоняться от своего предмета. Я не настолько неразумно люблю себя и не так уж крепко к себе привязан, чтобы не быть в состоянии бросить на себя взгляд со стороны: как на соседа, как на дерево. Пороком является также неспособность правильно оценить собственные возможности и

говорить о себе больше, чем сам видишь. Бога мы должны любить больше, чем самих себя, и хотя мы знаем его гораздо меньше, но говорим о нем сколько нашей душе угодно.

Если творения Тацита дают о нем правильное представление, он, по всей видимости, был большой человек, благородный и мужественный, обладающий разумом, чуждый суеверия, философическим и великодушным. Свидетельства его кажутся порою слишком уж смелыми, как, например, рассказ о солдате, который нес вязанку дров: руки солдата якобы настолько окоченели от холода, что кости их примерзли к ноше да так и остались на ней, оторвавшись от конечностей[44] [broken link: #nc8_44]. Однако в подобных вещах я имею обыкновение доверять столь авторитетному свидетельству. Такого же рода и рассказ его о том, что Веспасиан по милости бога Сераписа исцелил в Александрии слепую, помазав ей глаза своей слюной[45] [broken link: #nc8_45]. Сообщает он и о других чудесах, но делает это по примеру и по долгу всех добросовестных историков: они ведь летописцы всех значительных событий, а ко всему происходящему в обществе относятся также толки и мнения людей. Историки должны рассказывать, чему верили окружающие их

люди, но это отнюдь не означает одобрения этих верований. Оценкой по праву занимаются теологи и философы — наши духовные руководители. Между тем один из сотоварищей его, человек не менее великий, мудро говорит: Equidem plura transcribo quam credo; nam nec affirmare sustineo, de quibus dubito, nec subducere quae accepi[46] [broken link: #nc8_46], другой ему вторит: Haec neque affirmare, neque refellere operae pretium est; famae rerum standum est[47] [broken link: #nc8_47]. Тацит творил в эпоху, когда вера в чудеса начала ослабевать, однако же он пишет, что не может не дать в своих «Анналах» места вещам, которые с верою принимали многие достойные люди и столь благоговейно почитали предки. Отлично сказано. Пусть историки будут щедрее на рассказы о том, что они слышали, чем на свои собственные соображения об этом. Да и я сам, полновластный владыка предмета, о котором веду речь, никому не обязанный отчетом, вовсе не считаю себя непогрешимым. Часто я позволяю себе различные выходки, которых отнюдь не принимаю всерьез, и словесные выверты, после которых сам покачиваю головой. Тем не менее я даю им волю, ибо вижу, что они нередко приносят славу. Я ведь не единственный судья в этом деле.

Я предстаю перед читателем стоя и лежа, спереди и сзади, поворачиваясь то правым, то левым боком, во всех своих естественных положениях. Умы одинаковой силы не всегда сходны по склонностям и вкусам. Вот все, что в целом и довольно неопределенно подсказывает мне память. Все наши общие суждения неясны и несовершенны.

## Глава IX
## О суетности

Пожалуй, нет суетности более явной, чем так суетно о ней писать. Люди разумные должны были бы усердно и тщательно размышлять надо всем, что так божественно было высказано об этом самим божеством[1] [broken link: #nc9_1].

Кто же не видит, что я избрал себе путь, двигаясь по которому безостановочно и без устали, я буду идти и идти, пока на свете хватит чернил и бумаги? Я не могу вести летопись моей жизни, опираясь на свершенные мною дела: судьба назначила мне деятельность слишком ничтожную; я занимаюсь ею, опираясь на вымыслы моего воображения. Знавал я одного дворянина, который оповещал о своей жизни не иначе, как отправлениями своего желудка; у него вы видели выставленные напоказ горшки за последние семь-восемь дней; в этом состояли его занятия, только об этом он говорил; любая другая тема казалась ему зловонной. И здесь (лишь чуточку попристойнее) — такие же испражнения стареющего ума, страдающего то запорами, то поносом

и всегда несварением. Где же смогу я остановиться, воспроизводя непрерывную сумятицу и смену моих мыслей, чего бы они ни касались, раз Диомед заполнил целых шесть тысяч книг только одним предметом — грамматикой?[2] [broken link: #nc9_2] И чего только не породит болтливость, если даже лепет и едва заметные движения языка придавили мир столь ужасающей грудой томов? Столько слов ради самих слов! О Пифагор, что же ты не заклял эту бурю![3] [broken link: #nc9_3]

Некогда Гальбу осуждали за то, что он живет в полной праздности. Он ответил, что каждый обязан отчитываться в своих поступках, а не в своем бездействии[4] [broken link: #nc9_4]. Он заблуждался: правосудие преследует и карает также и тех, кто бездельничает.

Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчемных писак, как это делается в отношении праздношатающихся и тунеядцев. В этом случае наш народ прогнал бы взашей и меня и сотни других. Я не шучу. Страсть к бумагомаранию является, очевидно, признаком развращенности века. Писали ли мы когда-нибудь столько же до того, как начались наши

беды?[5] [broken link: #nc9_5] А римляне до того, как начался их закат? Помимо того, что в любом государстве утонченность умов никоим образом не равнозначна их умудренности, пустое это занятие становится возможным лишь потому, что всякий начинает нерадиво отправлять свою должность и отбивается по этой причине от рук. В развращении своего века каждый из нас принимает то или иное участие: одни вносят свою долю предательством, другие — бесчестностью, безбожием, насилием, алчностью, жестокостью; короче говоря, каждый тем, в чем он сильнее всего; самые слабые добавляют к этому глупость, суетность, праздность, — и я принадлежу к числу этих последних. И когда нас гнетет нависшая над нами опасность, тогда, видимо, и наступают сроки для вещей суетных и пустых. В дни, когда злонамеренность в действиях становится, делом обыденным, бездеятельность превращается в нечто похвальное. Я тешу себя надеждой, что окажусь одним из последних, против кого понадобится применить силу. И пока будут принимать меры против наиболее злокозненных и опасных, у меня хватит времени, чтобы исправиться. Ибо мне представляется, что было бы безрассудным обрушиваться на меньшие

недостатки, когда нас одолевает столько больших. И прав был врач Филотим, сказавший тому больному, который протянул ему палец, чтобы он сделал ему перевязку, и у которого он по лицу и дыханию распознал язву в легких: «Сейчас не время, дружок, заниматься твоими ногтями»[6] [broken link: #nc9_6].

И все же я знал одного человека, чью память я высоко чту, который, несмотря ни на что, посреди величайших наших несчастий, когда у нас так же, как ныне, не было ни законности, ни правосудия, ни должностных лиц, честно выполняющих свои обязанности, носился с мыслью обнародовать некоторые свои предложения касательно пустячных нововведений в одежде, на кухне и в ходе судебного разбирательства. Все это — не более как забавы, которыми пичкают дурно руководимый народ, чтобы показать, что о нем не совсем забыли. Ничем иным не занимаются также и те, которые на каждом шагу запрещают погрязшему в гнуснейших пороках народу те или иные выражения, танцы и игры. Не время мыться и чиститься, когда тебя треплет беспощадная лихорадка. И одним спартанцам было по плечу причесываться и прихорашиваться перед тем, как броситься навстречу угрожающим жизни

опасностям[7] [broken link: #nc9_7].

Что до меня, то мне свойственно противоположное и дурное обыкновение: если у меня искривилась туфля, то я так же криво застегиваю и рубашку и плащ; я ненавижу приводить себя в порядок наполовину. Когда я оказываюсь в плохом положении, то ухожу с головой в мои горести, предаюсь отчаянию и, даже не пытаясь устоять на ногах, падаю, согласно пословице, как топорище за топором; я убеждаю себя, что все идет как нельзя хуже и что бороться бессмысленно: все должно быть хорошо или все — дурно.

Мое счастье, что опустошение нашего государства совпадает по времени с опустошениями, производимыми во мне моим возрастом; если бы общественные несчастья омрачали радости моей юности, они были бы мне не в пример тягостнее, чем теперь, когда они только усугубляют мои печали. Вопли, которыми я разражаюсь в беде, — это вопли, внушенные мне досадой; мое мужество вместо того, чтобы съежиться, становится на дыбы. В противоположность всем остальным, я гораздо благочестивее в хороших, чем в дурных обстоятельствах, следуя в этом наставлениям Ксенофонта[8] [broken link: #nc9_8], хотя и не разделяя его оснований; и я охотнее обращаю умиленные

взоры к небу, чтобы воздать ему благодарность, чем для того, чтобы выпросить себе его милости. Я больше забочусь об укреплении здоровья, когда оно мне улыбается, чем о том, чтобы его вернуть, когда оно мною утрачено. Меня дисциплинирует и научает благополучие, подобно тому как других — невзгоды и розги. Люди обычно обретают честность в несчастье, словно счастье не совместимо с чистой совестью. Удача — вот что сильнее всего побуждает меня к умеренности и скромности. Просьба меня завоевывает, угроза отталкивает; благосклонность вьет из меня веревки, страх делает меня непреклонным. Среди человеческих черт широко распространена следующая: нам больше нравится непривычное и чужое, чем свое, и мы обожаем движение и перемены.

> *Ipsa dies ideo nos grato perluit haustu*
>
> *Quod permutatis hora recurrit equis.[9] [broken link: #nc9_9]*

Эту склонность разделяю и я. Кто придерживается противоположной крайности, а именно — довольствоваться самим собой, превыше всего ценить то, чем владеешь, и не признавать ничего прекрасного сверх того, что видишь собственными глазами, те если не прозорливее нас, то

бесспорно счастливее. Я ничуть не завидую их премудрости, но что касается безмятежности их души, то тут, признаюсь, меня берет зависть.

Эта жажда нового и неведомого немало способствует поддержанию во мне страсти к путешествиям; впрочем, здесь действуют на меня и другие причины. Я очень охотно отвлекаюсь от управления моими хозяйственными делами. Конечно, есть известное преимущество в том, чтобы распоряжаться, будь то даже на риге, и держать в повиновении всех домашних, но такого рода удовольствие слишком однообразно и утомительно. И, кроме того, с ним непрерывно связаны многочисленные и тягостные заботы: то вас гнетет нищета и забитость ваших крестьян, то ссора между соседями, то посягательства с их стороны на ваши права:

> *Aut verberatae grandine vineae,*
> *Fundusque mendax, arbore nunc aquas*
> *Culpante, nunc torrentia agros*
> *Sidera, nunc hiemes iniquas;[10] [broken link: #nc9_10]*

и к тому же, едва ли в полгода раз господь ниспошлет погоду, которая вполне бы устраивала вашего земледельца, и притом, если она

благоприятна для виноградников, то как бы не повредила лугам:

> *Aut nimiis torret fervoribus aetherius sol,*
>
> *Aut subiti perimunt imbres, gelidaeque pruinae,*
>
> *Flabraque ventorum violento turbine vexant.[11] [broken link: #nc9_11]*

Добавьте к этому «новый и красивый башмак» человека минувших времен, немилосердно жмущий вам ногу[12] [broken link: #nc9_12], и еще то, что посторонний не понимает, чего вам стоит и до чего хлопотно поддерживать, хотя бы внешне, порядок, наблюдаемый всеми в ваших домашних делах и покупаемый вами слишком дорогой ценой.

Я поздно принялся за хозяйство. Те, кого природа сочла нужным произвести на свет передо мной, долгое время избавляли меня от этой заботы. Я уже успел привыкнуть к другой деятельности, более подходившей к моему душевному складу. И все же на основании личного опыта я могу заявить, что это занятие — скорее докучное, нежели трудное: всякий, способный к другим делам, легко справится также и с этим. Если бы я стремился разбогатеть, такой путь мне показался

бы чересчур долгим; я предпочел бы служить королям, ибо это ремесло прибыльнее любого другого. Так как единственное, чего я хочу, — это приобрести репутацию человека, хотя и не сделавшего никаких приобретений, но вместе с тем и ничего не расточившего, и так как в оставшиеся мне немногие дни я не в состоянии совершить ни чего-либо очень хорошего, ни чего-либо очень дурного и стремлюсь лишь к тому, чтобы как-нибудь их прожить, я могу, благодарение богу, достигнуть этого без особого напряжения сил.

На худой конец, ускользайте от разорения, урезывая свои расходы. Я это и делаю, одновременно стараясь поправить свои дела, прежде чем они заставят меня взяться за них. А пока я установил для себя различные ступени самоограничения, имея в виду довольствоваться меньшим, чем то, что у меня есть; и хотя я говорю «довольствоваться», это вовсе не означает, что я обрекаю себя на лишения. Non aestimatione census, verum victu atque cultu, terminatur pecuniae modus[13] [broken link: #nc9_13]. Мои действительные потребности не таковы, чтобы поглотить без остатка мое состояние, и судьба — разве что она подомнет меня под себя — не найдет на мне такого местечка, где бы ей удалось меня укусить.

Мое присутствие, сколь бы несведущ и небрежен я ни был, все же немало способствует благополучному течению моих хозяйственных дел: я занимаюсь ими, хотя и не без досады. К тому же в моем доме так уж заведено, что, когда я расходую деньги где-нибудь на стороне, траты моих домашних от этого нисколько не уменьшаются.

Путешествия обременительны для меня лишь по причине связанных с ними издержек, которые велики и для меня непосильны. И так как я привык путешествовать не только с удобствами, но и с известной роскошью, мне приходится сокращать сроки своих поездок и предпринимать их не так уж часто, употребляя для этого только излишки и сбережения, выжидая и откладывая отъезд, пока не накопятся нужные средства. Я не хочу, чтобы удовольствие от путешествий отравляло мне душевный покой дома; напротив, я забочусь о том, чтобы они взаимно поддерживали и питали друг друга. Судьба мне в этом благоприятствовала, и так как мое главнейшее житейское правило состояло в том, чтобы жить спокойно и беспечно и скорее в лености, чем в трудах, она избавила меня от нужды приумножать богатство ради обеспечения кучи наследников. А если моей единственной наследнице кажется недостаточ-

ным то, чего мне было достаточно сверх головы, то тем хуже для нее: ее безрассудство не заслуживает того, чтобы я сгорал от желания оставить ей побольше.

И кто по примеру Фокиона обеспечивает своих детей так, чтобы они жили не хуже его, тот обеспечивает их вполне достаточно[14] [broken link: #nc9_14].

Я никоим образом не одобряю поступка Кратеса. Он оставил свои деньги на сохранение ростовщику, оговорив следующие условия: если его дети окажутся дураками, пусть он им отдаст его вклад; если они окажутся рассудительными и деловыми, пусть распределит эти деньги среди самых несмышленых в народе[15] [broken link: #nc9_15]. Словно дураки, меньше других умеющие обходиться без денег, лучше других сумеют ими распорядиться.

Как бы то ни было, пока я в состоянии выдержать проистекающий от моего отсутствия ущерб, он, по-моему, не стоит того, чтобы не воспользоваться возможностью отвлечься на время от докучных хлопот по хозяйству, где всегда найдется что-нибудь идущее вкривь и вкось. Постоянно вас треплют заботы то об одном из ваших домов, то о другом. Все, что вы видите, — слишком

близко от вас; ваша зоркость в таких случаях вам только вредит, как, впрочем, она вредит и во многом другом. Я закрываю глаза на многие вещи, которые могут меня рассердить, и не хочу знать о том, что обстоит дурно; и все же я не в силах устроить свои дела таким образом, чтобы не натыкаться на каждом шагу на то, что мне явно не нравится. Плутни, которые от меня утаиваются особо усердно, я понимаю лучше, чем любые другие, и вижу их насквозь. И получается, что я сам должен помогать прятать их концы в воду, если хочу, чтобы они меня меньше раздражали. Все это — ничтожные уколы, подчас сущие пустяки, но это все же всегда уколы. Мельчайшие и ничтожнейшие помехи — чувствительнее всего; и как мелкий шрифт больше, чем всякий другой, режет и утомляет глаза, так и любое дело: чем оно незначительней, тем назойливее и хлопотнее. Тьма крошечных неприятностей досаждает сильнее, чем если бы на вас навалилась какая-нибудь одна, сколь бы большой она ни оказалась. И чем многочисленнее и тоньше эти подстерегающие нас в нашем доме шипы, тем болезненнее и неожиданнее их уколы, застающие нас чаще всего врасплох.

Я не философ: несчастья меня подавляют, каж-

дое в зависимости от своей тяжести, а она зависит как от их формы, так и от их сущности и часто представляется мне больше действительной; я это знаю лучше других и поэтому терпеливее, чем они. Наконец, если иные несчастья не затрагивают меня за живое, все же они так или иначе меня задевают. Жизнь — хрупкая штука, и нарушить ее покой — дело нетрудное. Лишь только я поддался огорчению (nemo enim resistit sibi cum coeperit impelli[16] [broken link: #nc9_16]), как бы нелепа ни была вызвавшая его причина, я принимаюсь всячески сгущать краски и бередить себя, и в дальнейшем мое мрачное настроение начинает питаться за свой собственный счет, хватаясь за все, что придется, и громоздя одно на другое, лишь бы найти себе пищу.

> *Stillicidii casus lapidem cavat.[17] [broken link: #nc9_17]*

Эти непрестанно падающие капли точат меня.

Повседневные неприятности никогда не бывают мелкими. Они нескончаемы, и с ними не справиться, в особенности если их источник — ваши домашние, неизменно все те же, от которых никуда не уйдешь.

Когда я рассматриваю положение моих дел

издали и в целом, то нахожу — возможно, из-за моей не слишком точной памяти, — что до сих пор они процветали сверх моих расчетов и ожиданий. Впрочем, я вижу в таких случаях, как кажется, больше существующего на деле: их успешность вводит меня в заблуждение. Но когда я погружен в свои хлопоты, когда наблюдаю в моем хозяйстве каждую мелочь,

> *Tum vero in curas animum diducimur omnes,[18] [broken link: #nc9_18]*

тысяча вещей вызывает во мне неудовольствие и тревогу. Отстраниться от них очень легко, но взяться за них, не испытывая досады, очень трудно. Сущая беда находиться там, где все, что вы видите, не может не занимать ваших мыслей и вас не касаться. И мне представляется, что в чужом доме я вкушаю больше радостей и удовольствий, чем у себя, и смакую их не в пример непосредственнее. И когда Диогена спросили, какой сорт вина, по его мнению, наилучший, он ответил совсем в моем духе: «Чужой»[19] [broken link: #nc9_19].

Страстью моего отца было отстаивать Монтень, где он родился, и во всем ходе моих хозяйственных дел я люблю следовать его примеру и

правилам и, насколько смогу, приучу к тому же моих преемников. И я сделал бы для него много больше, располагай я такою возможностью. Я горжусь, что его воля и посейчас оказывает через меня воздействие и неукоснительно выполняется. Да не дозволит господь, чтобы в Монтене, пока он в моих руках, я по нерадивости упустил хоть что-нибудь из того, чем мог бы возвратить подобие жизни столь замечательному отцу. И если я взял на себя труд достроить какой-нибудь кусок старой стены или привести в порядок часть плохо отделанного фасада, то это было предпринято мной скорее из уважения к его замыслам, чем ради собственного удовольствия. Я виню себя за бездеятельность, за то, что не осуществил большего, не завершил прекрасных его начинании в доме, и я тем более виню себя в этом, что, вернее всего, я последний из моего рода владею им и должен был бы закончить начатое. А что касается моих личных склонностей, то ни удовольствие строиться, которое считают таким завлекательным, ни охота, ни разведение плодовых садов, ни все остальные удовольствия уединенной жизни не имеют для меня притягательной силы. За это я зол на себя, как и за те из моих воззрений, которые мешают мне жить. Я забочусь не столько

о том, чтобы они были у меня выдающимися и основанными на глубокой учености, сколько о том, чтобы они были необременительными и удобными в жизни: если они полезны и приятны, они в достаточной мере истинны и здравы.

Кто в ответ на мои сетования о полной моей неспособности заниматься хозяйственными делами нашептывает мне, что дело не в этом, а в моем пренебрежении к ним и что я и поныне не знаю сельскохозяйственных орудий, сроков полевых работ, их последовательности, не знаю, как делают мои вина, как прививают деревья, не знаю названий и вида трав и злаков, не имею понятия о приготовлении кушаний, которыми я питаюсь, о названиях и цене тканей, идущих мне на одежду, лишь потому, что у меня в сердце некая более возвышенная наука, — те просто меня убивают. Нет, это — глупость моя, вернее тупость, а не нечто достойное прославления. И я скорее предпочел бы видеть себя порядочным конюхом, чем знатоком логики:

> *Quin tu aliquid saltem potius quorum indiget usus,*
>
> *Viminibus mollique paras detexere iunco?[20] [broken link: #nc9_20]*

Мы забиваем себе голову отвлеченностями и рассуждениями о всеобщих причинах и следствиях, отлично обходящихся и без нас, и оставляем в стороне наши дела и самого Мишеля, который нам как-никак ближе, чем всякий другой. Теперь я чаще всего сижу безвыездно у себя дома, и я был бы доволен, если бы тут мне нравилось больше, чем где бы то ни было.

*Sit meae sedes utinam senectae,*
*Sit modus lasso maris, et viarum*
*Militiaeque.[21] [broken link: #nc9_21]*

Не знаю, выпадет ли это на мою долю. Я был бы доволен, если бы покойный отец взамен какой-нибудь части наследства оставил мне после себя такую же страстную любовь к своему хозяйству, какую на старости лет питал к нему сам. Он был по-настоящему счастлив, ибо соразмерял свои желания с дарованными ему судьбою возможностями и умел радоваться тому, что имел. Сколько бы философия, занимающаяся общественными вопросами, ни обвиняла мое занятие в низости и бесплодности, может статься, и мне оно когда-нибудь так же полюбится, как ему. Я держусь того мнения, что наиболее достойная деятельность — это служить обществу

и приносить пользу многим. Fructus enim ingenii et virtutis omnisque praestantiae tum maximus accipitur, cum in proximum quemque confertur[22] [broken link: #nc9_22]. Что до меня, то я отступаю от этого, частью сознательно (ибо, хорошо понимая, сколь великое бремя возлагает деятельность подобного рода, я так же хорошо понимаю, сколь ничтожные силы я мог бы к ней приложить; ведь даже Платон, величайший мастер во всем, касающемся политического устройства, — в он не преминул от нее уклониться[23] [broken link: #nc9_23]), частью по трусости. Я довольствуюсь тем, что наслаждаюсь окружающим миром, не утруждая себя заботой о нем; я живу жизнью, которая всего-навсего лишь извинительна и лишь не в тягость ни мне, ни другим.

Никто с большей охотой не подчинился бы воле какого-нибудь постороннего человека и не вручил бы себя его попечению, чем это сделал бы я, когда располагал бы таким человеком. И одно из моих теперешних чаяний состоит в том, чтобы отыскать себе зятя, который смог бы покоить мои старые годы и убаюкивать их и которому я передал бы полную власть над моим имуществом, чтобы он им управлял, и им пользовался, и делал то, что я делаю, и извлекал из него, без

моего участия, доходы, какие я извлекаю, при условии, что он приложит ко всему этому душу поистине признательную и дружественную. Но о чем толковать? Мы живем в мире где честность, даже в собственных детях — вещь неслыханная.

Слуга, ведающий в путешествиях моею казной, распоряжается ею по своему усмотрению и бесконтрольно: он мог бы плутовать, и отчитываясь передо мной; и если это не сам сатана, мое неограниченное доверие обязывает его к добросовестности. Multi fallere docuerunt, dum timent falli, et aliis ius peccandi suspicando fecerunt[24] [broken link: #nc9_24]. Свойственная мне уверенность в моих людях основывается на том, что я их не знаю. Я ни в ком не подозреваю пороков, пока не увижу их своими глазами, и я больше полагаюсь на людей молодых, так как считаю, что их еще не успели развратить дурные примеры. Мне приятнее раз в два месяца услышать о том, что мною издержано Четыре сотни экю[25] [broken link: #nc9_25], чем каждый вечер услаждать свой слух докучными сообщениями о каких-нибудь трех, пяти или семи экю. При всем этом я потерял от хищений такого рода не больше, чем всякий другой. Правда, я сам способствую своему неведению: я в некоторой мере сознательно поддерживаю в

себе беспокойство и неизвестность относительно моих денег, и в какой-то степени я даже доволен, что у меня есть простор для сомнений. Следует оставлять немного места и нечестности и неразумию вашего слуги. Если нам, в общем, хватает на удовлетворение наших нужд, то не будем мешать ему подбирать эти разбросанные после жатвы колосья, этот излишек от щедрот нашей фортуны. В конце концов, я не столько рассчитываю на преданность моих людей, сколько не считаюсь с причиняемым ими уроном. О гнусное или бессмысленное занятие — без конца заниматься своими деньгами, находя удовольствие в их перебирании, взвешивании и пересчитывании! Вот, поистине, путь, которым в нас тихой сапой вползает жадность.

На протяжении восемнадцати лет я управляю моим имуществом и за все это время не смог заставить себя ознакомиться ни с документами на владение им, ни с важнейшими из моих дел, знать которые и позаботиться о которых мне крайне необходимо. И причина этого не в философском презрении к благам земным и преходящим; я вовсе не отличаюсь настолько возвышенным вкусом и ценю их, самое малое, по их действительной стоимости; нет, причина

тут в лени и нерадивости, непростительных и ребяческих. Чего бы я только не сделал, лишь бы уклониться от чтения какого-нибудь контракта, лишь бы не рыться в пыльных бумагах, я, раб своего ремесла, или, еще того хуже, в чужих бумагах, чем занимается столько людей, получая за это вознаграждение. Единственное, что я нахожу поистине дорого стоящим, — это заботы и труд, и я жажду лишь одного: окончательно обленившись и проникнуться ко всему равнодушием.

Я думаю, что мне было бы куда приятнее жить на иждивении кого-либо другого, если бы это не налагало на меня обязательств и ярма рабства. Впрочем, рассматривая этот вопрос основательнее и учитывая мои склонности, выпавший на мою долю жребий, а также огорчения, доставляемые мне моими делами, слугами и домашними, я, право, не знаю, что унизительнее, мучительнее и несноснее, — все это вместе взятое или подневольное положение при человеке, который был бы выше меня по рождению и располагал бы мной, не слишком насилуя мою волю. Servitus oboedientia est fracti animi et abiecti, arbitrio carentis suo[26] [broken link: #nc9_26]. Кратес поступил гораздо решительнее: чтобы избавиться от пакостных хозяйственных мелочей и хлопот, он

избрал для себя убежищем бедность. На это я никогда бы не пошел (я ненавижу бедность не меньше, чем физическое страдание), но изменить мой нынешний образ жизни на более скромный и менее занятой — этого я страстно желаю.

Пребывая в отъезде, я сбрасываю с себя все мысли о моем доме; и случись в мое отсутствие рухнуть одной из моих башен, я бы это переживал не в пример меньше, чем, находясь у себя, падение какой-нибудь черепицы. Вне дома моя душа быстро и легко распрямляется, но когда я дома, она у меня в беспрерывной тревоге, как у какого-нибудь крестьянина-виноградаря. Перекосившийся у моей лошади повод или плохо закрепленный стремянной ремень, кончик которого бьет меня по ноге, на целый день портят мне настроение. Перед лицом неприятностей я умею укреплять мою душу, но с глазами это у меня не выходит.

> *Sensus, o superi, sensus.[27] [broken link: #nc9_27]*

Когда я у себя дома, я отвечаю за все, что у меня не ладится. Лишь немногие землевладельцы (говорю о людях средней руки вроде меня; и если эти немногие действительно существуют, они гораз-

до счастливее остальных) могут позволить себе отдых хотя бы на одну-единственную секунду, чтобы их не обременяла добрая доля лежащего на них груза обязанностей. Это в некоторой мере уменьшает мое радушие (если мне иногда и случается удержать у себя кого-нибудь несколько дольше, то, в отличие от назойливо любезных хозяев, я бываю этим обязан скорее моему столу, нежели обходительности), лишая одновременно и большей части того удовольствия, которое я должен был бы испытывать в их кругу. Самое глупое положение, в какое может поставить себя дворянин в своем доме, — это, когда он явно дает понять, что нарушает установленный у него порядок, когда он шепчет на ухо одному из слуг, грозит глазами другому; все должно идти плавно и неприметно, так, чтобы казалось, будто все обстоит, как всегда. И я нахожу отвратительным, когда к гостям пристают с разговорами о приеме, который им оказывают, независимо от того, извиняются ли при этом или же хвалятся. Я люблю порядок и чистоту.

*et cantharus et lanx*

*Ostendunt mihi me[28] [broken link: #nc9_28]*

больше чрезмерного изобилия; а у себя я забочусь лишь о самом необходимом, пренебрегая пышностью. Если вам приходится видеть, как чей-нибудь слуга мечется взад и вперед или как кто-нибудь из них вывернет блюдо, это вызывает у вас улыбку; и вы мирно дремлете, пока ваш гостеприимный хозяин совещается со своим дворецким относительно угощения, которым он вас попотчует на следующий день.

Я говорю лишь о моих вкусах; вместе с тем я очень хорошо знаю, сколько развлечений и удовольствий доставляет иным натурам мирное, преуспевающее, отлично налаженное хозяйство; я вовсе не хочу объяснять мои промахи и неприятности в деятельности этого рода существом самого дела, как не хочу и спорить с Платоном, полагающим, что самое счастливое занятие человека — это праведно делать свои дела[29] [broken link: #nc9_29].

Когда я путешествую, мне остается думать лишь о себе и о том, как употребить мои деньги; а это легко устраивается по вашему усмотрению. Чтобы накапливать деньги, нужны самые разнообразные качества, а в этом я ничего не смыслю. Но в том, чтобы их тратить, — в этом я кое-что смыслю, как смыслю и в том, чтобы тратить их

с толком, а это, поистине, и есть важнейшее их назначение. Впрочем, я вкладываю в это занятие слишком много тщеславия, из-за чего мои расходы очень неровны и несообразны и выходят, сверх того, за пределы разумного, как в ту, так и в другую сторону. Если они придают мне блеску и служат для достижения моих целей, я, не задумываясь, иду на любые траты — и, так же не задумываясь, сокращаю себя, если они мне не светят, не улыбаются.

Ухищрения ли человеческого ума или сама природа заставляют нас жить с оглядкою на других, но это приносит нам больше зла, чем добра. Мы лишаем себя известных удобств, лишь бы не провиниться перед общественным мнением. Нас не столько заботит, какова наша настоящая сущность, что мы такое в действительности, сколько то, какова эта сущность в глазах окружающих. Даже собственная одаренность и мудрость кажутся нам бесплодными, если ощущаются только нами самими, не проявляясь перед другими и не заслуживая их одобрения. Есть люди, чьи подземелья истекают целыми реками золота, и никто об этом не знает; есть и такие, которые превращают все свое достояние в блестки и побрякушки; таким образом, у последних лиар[30]

[broken link: #nc9_30] представляется ценностью в целый экю, тогда как у первых — наоборот, ибо свет определяет издержки и состояние, исходя из того, что именно выставляется ему напоказ. От всякой возни с богатством отдает алчностью; ею отдает даже от его расточения, от чрезмерно упорядоченной и нарочитой щедрости; оно не стоит такого внимания и столь докучной озабоченности. Кто хочет расходовать свои средства разумно, тот постоянно должен себя останавливать и урезывать. Бережливость и расточительность сами по себе — ни благо, ни зло; они приобретают окраску либо того, либо другого в зависимости от применения, которое им дает наша воля.

Другая причина, толкающая меня к путешествиям, — отвращение к царящим в нашей стране нравам. Я легко бы смирился с их порчей, если бы они наносили ущерб только общественным интересам,

> *peioraque saecula ferri*
>
> *Temporibus, quorum sceleri non invenit ipsa*
>
> *Nomen et a nullo posuit natura metallo,[31] [broken link: #nc9_31]*

но так как они затрагивают и мои интере-

сы, смириться с ними я не могу. Уж очень они меня угнетают. Вследствие необузданности длящихся уже долгие годы гражданских войн мы мало-помалу скатились в наших краях к такой извращенной форме государственной власти,

> *Quippe ubi fas versum atque nefas,[32] [broken link: #nc9_32]*

что, поистине, просто чудо, что она смогла удержаться.

> *Armati terram exercent, semperque recentes*
>
> *Convectare iuvat praedas et vivere rapto.[33] [broken link: #nc9_33]*

Короче говоря, я вижу на нашем примере, что человеческие сообщества складываются и держатся, чего бы это ни стоило. Куда бы людей ни загнать, они, теснясь и толкаясь, в конце концов как-то устраиваются и размещаются, подобно тому, как разрозненные предметы, сунутые кое-как, без всякого порядка, в карман, сами собой находят способ соединиться и уложиться друг возле друга, и притом иногда лучше, чем если бы их уложили туда даже наиболее искусные руки. Царь Филипп собрал однажды толпу самых

дурных и неисправимых людей, каких только смог разыскать, и поселил их в построенном для них городе, которому присвоил соответствующее название[34] [broken link: #nc9_34]. Полагаю, что и они из самих своих пороков создали политическое объединение, а также целесообразно устроенное и справедливое общество.

Предо мной не какое-нибудь единичное злодеяние, не три и не сотня, предо мной повсеместно распространенные, находящие всеобщее одобрение нравы, настолько чудовищные по своей бесчеловечности и в особенности бесчестности, — а для меня это наихудший из всех пороков, — что я не могу думать о них без содрогания, и все же я любуюсь ими, пожалуй, не меньше, чем ненавижу их. Эти из ряда вон выходящие злодеяния в такой же мере отмечены печатью душевной мощи и непреклонности, как и печатью развращенности и заблуждений. Нужда обтесывает людей и сгоняет их вместе. Эта случайно собравшаяся орда сплачивается в дальнейшем законами; ведь бывали среди подобных орд и такие свирепые, что никакое человеческое воображение не в силах измыслить что-либо похожее, и тем не менее иным из них удавалось обеспечить себе здоровое и длительное существование, так что потягаться

с ними было бы впору разве что государствам, которые были бы созданы гением Платона и Аристотеля.

И, конечно, все описания придуманных из головы государств — не более чем смехотворная блажь, непригодная для практического осуществления. Ожесточенные и бесконечные споры о наилучшей форме общественного устройства и о началах, способных нас спаять воедино, являются спорами, полезными только в качестве упражнения нашей мысли; они служат тому же, чему служат многие темы, используемые в различных науках; приобретая существенность и значительность в пылу диспута, они вне него лишаются всякой жизненности. Такое идеальное государство можно было бы основать в Новом Свете, но мы и там имели бы дело с людьми, уже связанными и сформированными теми или иными обычаями; ведь мы не творим людей, как Пирра или как Кадм[35] [broken link: #nc9_35]. И если бы мы добились каким-либо способом права исправлять и перевоспитывать этих людей, все равно мы не могли бы вывернуть их наизнанку так, чтобы не разрушить всего. Солона как-то спросили, наилучшие ли законы он установил для афинян. «Да, — сказал он в от-

вет, — наилучшие из тех, каким они согласились бы подчиняться»[36] [broken link: #nc9_36].

Варрон приводит в свое извинение следующее: если бы он первым писал о религии, он высказал бы о ней все, что думает; но раз она принята всеми и ей присущи определенные формы, он будет говорить о ней скорее согласно обычаю, чем следуя своим естественным побуждениям[37] [broken link: #nc9_37].

Не только предположительно, но и на деле лучшее государственное устройство для любого народа — это то, которое сохранило его как целое. Особенности и основные достоинства этого государственного устройства зависят от породивших его обычаев. Мы всегда с большой охотой сетуем на условия, в которых живем. И все же я держусь того мнения, что жаждать власти немногих в государстве, где правит народ, или стремиться в монархическом государстве к иному виду правления — это преступление и безумие.

*Уклад своей страны обязан ты любить:*

*Чти короля, когда он у кормила,*

*Республику, когда в народе сила,*

*Раз выпало тебе под ними жить.*

Это сказано нашим славным господином Пибраком[38] [broken link: #nc9_38], которого мы только что потеряли, человеком высокого духа, здравых воззрений, безупречного образа жизни. Эта утрата, как и одновременно постигшая нас утрата господина де Фуа[39] [broken link: #nc9_39], весьма чувствительны для нашей короны. Не знаю, можно ли найти в целой Франции еще такую же пару, способную заменить в Королевском Совете двух этих гасконцев, наделенных столь многочисленными талантами и столь преданных трону. Это были разные, но одинаково высокие души, и для нашего века особенно редкие и прекрасные, скроенные каждая на свой лад. Но кто же дал их нашему времени, их, столь чуждых нашей испорченности и столь не приспособленных к нашим бурям?

Ничто не порождает в государстве такой неразберихи, как вводимые новшества; всякие перемены выгодны лишь бесправию и тирании. Когда какая-нибудь часть займет неподобающее ей место, это дело легко поправимое; можно принимать меры и к тому, чтобы повреждения или порча, естественные для любой вещи, не увели нас слишком далеко от наших начал и основ. Но браться за переплавку такой громады

и менять фундамент такого огромного здания — значит уподобляться тем, кто, чтобы подчистить, начисто стирает написанное, кто хочет устранить отдельные недостатки, перевернув все на свете вверх тормашками, кто исцеляет болезни посредством смерти, non tam commutandarum quam evertendarum rerum cupidi[40] [broken link: #nc9_40]. Мир сам себя не умеет лечить; он настолько нетерпелив ко всему, что его мучает, что помышляет только о том, как бы поскорее отделаться от недуга, не считаясь с ценой, которую необходимо за это платить. Мы убедились на тысяче примеров, что средства, применяемые им самим, обычно идут ему же во вред; избавиться от терзающей в данное мгновение боли вовсе не значит окончательно выздороветь, если при этом общее состояние не улучшилось.

Цель хирурга не в том, чтобы удалить дикое мясо; это только способ лечения. Он стремится к тому, чтобы на том же месте возродилась здоровая ткань и чтобы тот же участок тела снова зажил нормальной жизнью. Всякий, кто хочет устранить только то, что причиняет ему страдание, недостаточно дальновиден, ибо благо не обязательно идет следом за злом; за ним может последовать и новое зло, и притом еще

худшее, как это случилось с убийцами Цезаря[41] [broken link: #nc9_41], которые ввергли республику в столь великие бедствия, что им пришлось раскаиваться в своем вмешательстве в государственные дела. С того времени и вплоть до нашего века со многими произошло то же самое. Мои современники французы могли бы на этот счет многое порассказать. Все крупные перемены расшатывают государство и вносят в него сумятицу. Кто, затевая исцелить его одним махом, предварительно задумался бы над тем, что из этого воспоследует, тот, конечно, охладел бы к подобному предприятию и не пожелал бы приложить к нему руку. Пакувий Колавий покончил с порочными попытками этого рода[42] [broken link: #nc9_42] весьма примечательным способом. Его сограждане поднялись против своих правителей. Ему же, человеку весьма могущественному в городе Капуе, удалось запереть во дворце собравшийся туда в полном составе сенат, и, созвав на площадь народ, он сообщил ему, что пришел день, когда они без всякой помехи могут отмстить тиранам, которые так долго их угнетали и которые теперь в его власти, безоружные и лишенные всякой охраны. Он предложил, чтобы их выводили по жребию одного за другим,

и народ принимал решение о каждом из них в отдельности, исполняя на месте вынесенный им приговор, — с тем, однако, чтобы на должность, которую занимал осужденный, они тут же назначали кого-нибудь из добропорядочных граждан, дабы она не оставалась незамещенной. Едва был вызван первый сенатор, как поднялись крики, выражавшие всеобщую ненависть к этому человеку. «Вижу, — сказал Пакувий, — этого необходимо сместить, он бесспорный злодей; давайте заменим его кем-нибудь более подходящим». Внезапно воцарилась полнейшая тишина: всякий затруднялся, кого же назвать. Наконец, кто-то осмелился выдвинуть своего кандидата, но в ответ на это последовали еще более громкие и единодушные крики, отказывавшие ему в избрании. Было перечислено множество присущих ему недостатков и были приведены сотни веских причин, по которым его следовало отвергнуть. Между тем, страсти разгорались все сильнее и неукротимее, и дело пошло еще того хуже при появлении второго сенатора, а затем и третьего: столько же было разногласий при выборах, сколько согласия при отстранении от обязанностей. В конце концов, устав от этой бесплодной распри, народ стал мало-помалу — кто сюда, кто туда

— разбегаться с собрания, унося в душе убеждение, что застарелое и хорошо знакомое зло всегда предпочтительнее зла нового и неизведанного. Чего мы только не делали, чтобы дойти до столь прискорбного положения?

*Eheu cicatricum et sceleris pudet,*
*Fratrumque: quid nos dura refugimus*
*Aetas? quid intactum nefasti*
*Liquimus? unde manus iuventus*
*Metu deorum continuit? quibus*
*Pepercit aris?[43] [broken link: #nc9_43]*

И все же я не решаюсь сказать:

*ipsa si velit Salus*
*Servare*
*prorsus non potest hanc familiam.[44] [broken link: #nc9_44]*

Мы, пожалуй, еще не дошли до последней черты. Сохранность государств — это нечто такое, что находится за пределами нашего разумения. Государственное устройство, как утверждает Платон, — это нечто чрезвычайно могущественное и с трудом поддающееся распаду[45] [broken link: #nc9_45]. Нередко оно продолжает существовать,

несмотря на смертельные, подтачивающие его изнутри недуги, несмотря на несообразность несправедливых законов, несмотря на тиранию, несмотря на развращенность и невежество должностных лиц, разнузданность и мятежность народа.

Во всех наших превратностях мы обращаем взоры к тому, что над нами, и смотрим на тех, кому лучше, чем нам; давайте же сравним себя с тем, что под нами; нет такого горемычного человека, который не нашел бы тысячи примеров, способных доставить ему утешение. Наша вина, что мы больше думаем о грядущей беде, чем о минувшей. «Если бы, — говорил Солон, — все несчастья были собраны в одну груду, то не нашлось бы ни одного человека, который не предпочел бы остаться при своих горестях, лишь бы не принимать участия в законном разделе этой груды несчастий и не получить своей доли»[46] [broken link: #nc9_46]. Наше государство занемогло; но ведь другие государства болели, бывало, еще серьезнее и тем не менее не погибли. Боги тешатся нами словно мячом и швыряют нас во все стороны:

> *Enimvero dii nos homines quasi pilas habent.[47] [broken link: #nc9_47]*

Светила роковым образом избрали римское государство, дабы показать на его примере свое всемогущество. Оно познало самые различные формы, прошло через все испытания, каким только может подвергнуться государство, через все, что приносит лад и разлад, счастье и несчастье. Кто же может отчаиваться в своем положении, зная о потрясениях и ударах, которые оно претерпело и которые все-таки выдержало? Если господство на огромных пространствах есть признак здоровья и крепости государства (с чем я никоим образом не могу согласиться, и мне нравятся слова Исократа, советовавшего Никоклу не завидовать государям, владеющим обширными царствами, но завидовать тем из них, которые сумели сохранить за собой то, что выпало им в удел[48] [broken link: #nc9_48]), то Рим никогда не был здоровее, чем в то время, когда он был наиболее хворым. Худшая из его форм была для него самой благоприятною. При первых императорах в нем с трудом прослеживаются какие-либо признаки государственного устройства: это самая ужасающая и нелепая мешанина, какую только можно себе представить. И все же он сохранил и закрепил это свое устройство, остался не какой-нибудь крошечной монархией с

ограниченными пределами, но стал властителем многих народов, столь различных, столь удаленных, столь враждебно к нему настроенных, столь неправедно управляемых, столь коварным образом покоренных:

*nec gentibus ullis*

*Commodat in populum terrae pelagique potentem*

*Invidiam fortuna suam.[49] [broken link: #nc9_49]*

Не все, что колеблется, падает. Остов столь огромного образования держится не на одном гвозде, а на великом множестве их. Он держится уже благодаря своей древности; он подобен старым строениям, из-за своего возраста потерявшим опору, на которой они покоились, без штукатурки, без связи, и все же не рушащимся и поддерживающим себя своим весом,

*nec iam validis radicibus haerens,*

*Pondere tuta suo est.[50] [broken link: #nc9_50]*

К тому же никак нельзя одобрить поведение тех, кто обследует лишь внешние стены крепости и рвы перед ними; чтобы судить о ее надежности,

нужно взглянуть, кроме того, откуда могут прийти осаждающие и каковы их силы и средства. Лишь немногие корабли тонут от своего веса и без насилия над ними со стороны. Давайте оглядимся вокруг: все распадается и разваливается; и это во всех известных нам государствах, как христианского мира, так и в любом другом месте; присмотритесь к ним, и вы обнаружите явную угрозу ожидающих их изменений и гибели:

> *Et sua sunt illis incommoda, parque per omnes*
>
> *Tempestas.[51] [broken link: #nc9_51]*

Астрологи ведут беспроигрышную игру, предвещая, по своему обыкновению, великие перемены и потрясения; их предсказания толкуют о том, что и без того очевидно и осязаемо; за ними незачем отправляться на небеса.

И если это сочетание бедствий и вечной угрозы наблюдается повсеместно, то отсюда мы можем извлечь для себя не только известное утешение, но и некоторую надежду на то, что и наше государство устоит, как другие; ибо где падает все, там в действительности ничто не падает. Болезнь, присущая всем, для каждого в отдельности есть здоровье; единообразие — качество, противобор-

ствующее распаду. Что до меня, то я отнюдь не впадаю в отчаянье, и мне кажется, что я вижу перед нами пути к спасению;

> *deus haec fortasse benigna*
>
> *Reducet in sedem vice.[52] [broken link: #nc9_52]*

Кому ведомо, не будет ли господу богу угодно, чтобы и с нами произошло то же самое, что порою случается с иным человеческим телом, которое очищается и укрепляется благодаря длительным и тяжелым болезням, возвращающим ему более полное и устойчивое здоровье, нежели то, какое было ими у него отнято?

Но больше всего меня угнетает то, что, изучая симптомы нашей болезни, я нахожу среди них столько же естественных и ниспосланных самим небом и только им, сколько тех, которые привносятся нашей распущенностью и человеческим безумием. Кажется, что даже светила небесные — и они считают, что мы просуществовали достаточно долго и уже перешли положенный нам предел. Меня угнетает также и то, что наиболее вероятное из нависших над нами несчастий — это не преобразование всей совокупности нашего еще целостного бытия, а ее распадение

и распыление, — и из всего, чего мы боимся, это самое страшное.

Предаваясь этим раздумьям, я опасаюсь также предательства со стороны моей памяти: не заставляет ли она меня дважды говорить по рассеянности об одном и том же. Я не люблю себя перечитывать и никогда не копаюсь по доброй воле в том, что мною написано. Я не вношу сюда ничего такого, чему научился позднее. Высказанные здесь мысли обыденны: они приходили мне в голову, может быть, сотню раз, и я боюсь, что уже останавливался на них. Повторение всегда докучает, даже у самого Гомера; но оно просто губительно, когда дело идет о вещах малосущественных и преходящих. Меня раздражает всякое вдалбливание даже в тех случаях, когда оно касается вещей безусловно полезных, например у Сенеки, как раздражает и обыкновение его стоической школы повторять по всякому поводу, и притом от доски до доски, все те же общие положения и предпосылки и приводить снова и снова общеизвестные, привычные доводы и основания. Моя память что ни день ужасающим образом ухудшается,

*Pocula Lethaeos ut si ducentia somnos*

*Arente fauce traxerim.[53] [broken link: #nc9_53]*

И впредь — ибо до настоящего времени, слава богу, больших неприятностей от нее не было — мне, в отличие от других, стремящихся высказывать свои мысли в подходящее время и хорошо их обдумав, придется избегать какой бы то ни было подготовки из страха обременить себя известными обязательствами, от которых я буду всецело зависеть. Я путаюсь и сбиваюсь, когда меня что-нибудь связывает и ограничивает и когда я завишу от такого ненадежного и немощного орудия, как моя память.

Я не могу читать следующую историю, не возмущаясь и не переживая ее всею душой. Когда некоего Линкеста, обвиненного в злокозненном умысле на Александра, поставили по обычаю перед войском, чтобы оно могло выслушать его оправдания, он, припоминая заранее составленную им речь, невнятно и запинаясь, пробормотал из нее лишь несколько слов. Пока он бился со своей памятью, стараясь собраться с мыслями, его волнение все возрастало, и воины, стоявшие поблизости от него, сочтя, что он полностью себя уличил своим поведением, бросились на него и убили его ударами копий. Его оцепенение и без-

молвие были восприняты ими как признание в предъявленном ему обвинении: ведь в темнице у него было довольно досуга, чтобы подготовиться к этому дню, и, на их взгляд, дело тут не в том, что ему изменила память, а в том, что совесть сковала ему язык и отняла у него последнее мужество[54] [broken link: #nc9_54]. Вот поистине замечательный вывод! А между тем, самое место, скопление стольких людей, ожидание вселяют в душу смятение, особенно если помыслы направлены только на то, чтобы говорить красноречиво и убедительно. Что тут поделаешь, если от этой речи зависит жизнь твоя или смерть?

Что до меня, то у меня земля уходит из-под ног при мысли о том, что на мне путы и я могу говорить только о том-то и о том-то. Когда я вверяю и препоручаю себя моей памяти, я цепляюсь за нее с такой силой, что чрезмерно отягощаю ее, и она пугается своего груза. Пока я неотступно следую за нею, я выхожу из себя, и настолько, что едва не теряю самообладание, и мне не раз приходилось превеликим трудом скрывать, что я раб моей памяти, причем это случалось со мной именно там, где для меня было необычайно важно произвести впечатление, что я говорю с полной непринужденностью, что выражения мо-

их чувств случайны и заранее не продуманы, но порождены нынешними обстоятельствами. По-моему, не высказать ничего стоящего нисколько не хуже, чем обнаружить перед всеми, что явился сюда, подготовившись красно говорить, — вещь совершенно неподобающая, и тем более для людей моего ремесла, да и вообще возлагающая чрезмерные обязательства, непосильные для того, кто не в состоянии на себя положиться: от подготовки ждут большего, чем она может дать. Часто по глупости надевают на себя короткий камзол, чтобы прыгнуть не лучше, чем в обычном плаще.

Nihil est his qui placere volunt tam adversarium quam expectatio.[55] [broken link: #nc9_55] Существует письменное свидетельство об ораторе Курионе, что, хотя он и разбивал свою речь на три или четыре части и определял количество своих основных положений и доводов, с ним все же нередко случалось, что он что-нибудь забывал или добавлял новое[56] [broken link: #nc9_56]. Я всегда остерегался стеснений этого рода, ненавидя всяческие ограничения и предписания, и не только из недоверия к моей памяти, но также и потому, что все это слишком надуманно и искусственно. Simpliciora militares decent[57] [broken

link: #nc9_57]. Хватит с меня и того, что я дал себе обещание никогда больше не выступать в почтенных собраниях. Если же читать свою речь по написанному, то помимо того, что этот способ просто чудовищен, он вдобавок крайне невыгоден всякому, кто благодаря своим данным мог бы кое-чего достигнуть и при помощи жестов. Еще меньше могу я рассчитывать в настоящее время на собственную находчивость: моя мысль тяжела на подъем и лишена гибкости, и мне не найтись в обстоятельствах сложных и значительных.

Прими же, читатель, и эти мои писания, и это третье восполнение к написанной мною картине. Я добавляю, но никоим образом не исправляю. Во-первых, потому, что тот, кто отдал в заклад всему свету свое сочинение, по-моему, начисто потерял на него права. Пусть, если может, говорит более складно где-нибудь в другом месте, но не искажает работы, которую продал. Покупать у таких людей нужно только после их смерти. Пусть они прежде хорошенько подумают и лишь потом берутся за дело. Кто их торопит?

Моя книга неизменно все та же. И если ее печатают заново, я разве что позволяю себе вставить в нее лишний кусочек, дабы покупатель не ушел с пустыми руками: ведь она не более

чем беспорядочный набор всякой всячины. Это всего лишь довески, нисколько не нарушающие ее первоначального облика, но придающие с помощью какой-нибудь существенной мелочи дополнительную и особую ценность всему последующему. Отсюда легко может возникнуть кое-какое нарушение хронологии, но мои побасенки размещаются как придется и не всегда в зависимости от своего возраста.

Во-вторых, если дело идет обо мне, я боюсь потерять при обмене; мой ум не всегда шагает вперед, иногда он бредет и вспять. Я ничуть не меньше доверяю своим измышлениям от того, что они первые, а не вторые или третьи, или потому, что они прежние, а не нынешние. Нередко мы исправляем себя столь же нелепо, как исправляем других. Впервые мое сочинение увидело свет в 1580 г. За этот длительный промежуток времени я успел постареть, но мудрости во мне, разумеется, не прибавилось даже на самую малость. Я тогдашний и я теперешний — совершенно разные люди, и какой из нас лучше, я, право, не взялся бы ответить. Если бы мы шли прямым путем к совершенству, старость была бы и лучшей порой человеческой жизни. Но наше движение — скорее движение пьяницы: шаткое,

валкое, несуразное, как раскачивание тростинки, колеблемой по прихоти ветра.

Антиох с великой горячностью превозносил Академию[58] [broken link: #nc9_58]; однако он же на старости лет примкнул к стану ее врагов; за каким из этих двух Антиохов я бы ни последовал, разве это не означало бы, что в любом случае я все же последовал за Антиохом? Внести во взгляды людей сомнение и затем пытаться внести в них же определенность — не означает ли, в конце концов, все же внести сомнение, а не определенность, и не предвещает ли также, что, буде этому человеку было бы предоставлено прожить еще один век, он и тогда бы неизменно проявлял склонность к какому-нибудь новому увлечению, не столько лучшему, сколько другому.

Благосклонность читателей придала мне несколько больше смелости, чем я от себя ожидал. Но ничего я так не боюсь, как наскучить; я предпочел бы скорее навлечь на себя гнев, но только, упаси боже, не опостылеть, как сделал один ученый моего времени. Похвала всегда и везде приятна, откуда б она ни исходила и что бы ее ни вызывало, но чтобы по-настоящему насладиться ею, нужно знать, чем она вызвана. Даже недостатки находят себе поклонников.

Признание со стороны невежественной толпы редко бывает обоснованным, и я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что писания, превыше всего поднятые в мое время на щит народной молвой, — наихудшие. Конечно, я глубоко благодарен почтенным и порядочным людям, отметившим своей благосклонностью мои немощные усилия. Погрешности в отделке никогда не сказываются так явственно, как тогда, когда материал не может сам за себя постоять. Не вини же меня, читатель, за те из них, которые сюда просочились по прихоти и по небрежности кого-либо другого: каждый, кто прикасался к моему сочинению, вносил сюда свои собственные. Я не вмешиваюсь ни в орфографию — единственное мое желание, чтобы не отступали от общепринятой, — ни в пунктуацию: я мало сведущ как в той, так и в другой. Когда меня лишают всякого смысла, я не очень-то об этом печалюсь, ибо тут с меня снимается, по крайней мере, ответственность; но где его искажают или выворачивают на свой собственный лад, как это часто случается, там меня, можно сказать, окончательно губят. Во всяком случае, если то или иное суждение скроено не по моей мерке, порядочный человек должен считать его не моим. Узнав, до чего я ленив и

своенравен, всякий легко поверит, что я охотнее продиктую еще столько же опытов, лишь бы не закабалять себя пересмотром этих ради внесения в них мелочных исправлений.

Я уже говорил, что, сойдя в глубочайший рудник, чтобы добывать этот новый металл, я не только лишен близкого общения с людьми другого склада, нежели мой собственный, и других взглядов, сплачивающих их в особую группу и отделяющих от всех остальных, но и подвергаюсь также опасности со стороны тех, кому решительно все позволено и кто в таких дурных отношениях с правосудием, хуже которых и представить себе невозможно, что и делает их до последней степени наглыми и распущенными. Если иметь в виду все касающиеся меня особые обстоятельства, я не вижу никого среди нас, кому бы отстаивание законности обходилось дороже, чем мне, принимая во внимание и потерю возможных выгод и прямые убытки, как говорят наши юристы. И хотя иные делают в этом смысле несомненно гораздо меньше моего, они все же корчат из себя храбрецов, похваляясь своей резкостью и горячностью.

Являясь домом, сохранившим во все времена независимость, широко посещаемым и откры-

тым для всех (ибо я не позволил себя совратить и поставить его на службу войне, в которую я охотнее всего вмешиваюсь тогда, когда она дальше всего от меня), дом мой заслужил общую любовь и признательность, и было бы трудно поносить меня на моей же навозной куче; и все же я считаю подлинным и редкостным чудом, что он все еще сохраняет, так сказать, свою девственность, — ведь в нем ни разу не лилась кровь и он ни разу не был отдан на поток и разорение, несмотря на столь продолжительную грозу, столькие перемены и волнения по соседству со мной. Говоря по правде, человек моего душевного склада мог бы изменить своей твердости и непреклонности, какими бы они ни были; но набеги, и вражеские вторжения, и перемены, и превратности военного счастья рядом со мною больше ожесточали до последнего времени, чем смягчали нравы моих земляков, и они по-прежнему угрожают мне всяческими опасностями и неодолимыми трудностями. Я изворачиваюсь, но мне не по нраву, что это удается скорее по счастливой случайности или даже благодаря моему собственному благоразумению, а не благодаря защите со стороны правосудия, и мне не по нраву, что я живу не под сенью законов, и под иною

охраной, чем та, которую они должны обеспечивать. Положение во всяком случае таково, что я на добрую половину, если не больше, существую благодаря чужой благосклонности, а это для меня тягостная зависимость. Я не хочу быть обязанным своей безопасностью ни доброте и благодеяниям сильных мира сего, которым угодно ограждать меня от насилий и предоставить мне свободу действий, ни простоте нравов моих предшественников или лично моих. Ну, а будь я другим? Если мои поступки и безупречность моего поведения налагают на моих соседей и родичей в отношении меня известные обязательства, то просто ужасно, что они вправе считать себя в расчете со мной, сохраняя мне жизнь, и вправе сказать: «Мы оставляем ему возможность свободно отправлять богослужение в его домашней часовне, хотя все остальные церкви' в округе мы разорили или разрушили; мы оставляем ему возможность распоряжаться его имуществом и его жизнью, раз и он, когда это необходимо, оберегает наших жен и наших быков». В нашем доме так повелось уже издавна, и похвалы, расточавшиеся когда-то Ликургу, который был у своих сограждан чем-то вроде главного казначея и хранителя их кошельков[59] [broken link: #nc9_59], в некоторой мере

распространяются и на нас.

Между тем, по-моему, нужно, чтобы мы жили под защитою права и власти, а не благодаря чьей-то признательности или милости. Сколько смелых людей предпочло распрощаться с жизнью, чем быть ею кому-то обязанными. Я избегаю брать на себя какие бы то ни было обязательства, и особенно те, которые связывают меня долгом чести. Для меня нет ничего драгоценнее, чем полученное мною как дар; вот почему моя воля попадает в заклад ко всякому, кто располагает моей благодарностью, и вот почему я охотнее пользуюсь такими услугами, которые можно купить. Мой расчет вполне правилен; за последние я отдаю только деньги, за все остальное — самого себя. Узы, налагаемые на меня честностью, кажутся мне намного стеснительнее и тяжелее, чем судебное принуждение. Мне не в пример легче, когда меня душат при посредстве нотариуса, чем при моем собственном. Разве не справедливо, что моя совесть чувствует себя более скованной в тех случаях, когда мне оказывается безоговорочное доверие? В других условиях моя добропорядочность никому ничего не должна, потому что никто ей ничего не одалживал; пусть обращаются ко всевозможным обеспечениям и гарантиям,

предоставляемым помимо меня. Мне было бы значительно проще вырваться из плена казематов и законов, чем из того плена, в котором держит меня мое слово. В отношении своих обещаний я щепетилен до педантизма и поэтому, чего бы то ни касалось, стараюсь, чтобы они были, насколько возможно, неопределенными и условными. Даже тем из них, которые сами по себе не важны, я придаю несвойственную им важность из ревностного стремления неизменно следовать моему правилу; оно мне мешает и обременяет меня, и притом ради себя самого, а не во имя чего-либо иного. Больше того, если, затевая те или иные дела, даже сугубо личные, в которых я волен действовать всецело по своему усмотрению, я рассказываю кому-нибудь о моем замысле, то мне начинает казаться, что отныне я уже не вправе от него отступиться и что сообщить о нем кому-либо другому — означает сделать его своим непреложным законом; мне кажется, что, говоря, я тем самым даю обещание. Вот почему я редко делюсь моими намерениями.

Приговор, выносимый мною самому себе, гораздо строже и жестче судебного приговора, ибо судья применяет ко мне ту же мерку, что и ко всем, тогда как тиски моей совести крепче и

беспощаднее. Я не очень-то рьяно исполняю обязанности, к которым меня бы принудили, если бы я их не нес. Hoc ipsum ita iustum est quod recte fit, si est voluntarium[60] [broken link: #nc9_60]. Поступки, которых не озаряет отблеск свободы, не доставляют ни чести, ни удовольствия.

> *Quod*
> *me ius cogit, vix voluntate impetrent.[61]*
> *[broken link: #nc9_61]*

К чему меня побуждает необходимость, того мне не хочется, quia quicquid imperio cogitur, exigenti magis quam praestanti acceptum refertur[62] [broken link: #nc9_62]. И я знаю таких, которые доходят в этом до явной несправедливости: они охотнее дарят, чем возвращают, охотнее ссужают, чем платят, и всего расчетливее по отношению к тем, с кем связаны теснее всего. Я не иду этим путем, но не слишком далек от этого.

Я настолько люблю сбрасывать с себя бремя каких бы то ни было обязательств, что порою почитал прибылью различные проявления неблагодарности, нападки и недостойные выходки со стороны тех, к кому, по склонности или в силу случайного стечения обстоятельств, испытывал кое-какое дружеское расположение, ибо

я рассматриваю их враждебные действия и их промахи как нечто такое, что целиком погашает мой долг и позволяет мне считать себя в полном расчете с ними. И хотя я продолжаю платить им дань внешнего уважения, возлагаемую на нас общественною благопристойностью, все же я немало сберегаю на этом, так как, делая по принуждению то же самое, что делал и раньше, движимый чувством, я тем самым несколько ослабляю напряженность и озабоченность моей внутренней воли (est prudentis sustinere ut cursum, sic impetum benevolentiae[63] [broken link: #nc9_63]), которая у меня чрезмерно настойчива и беспокойна, во всяком случае для человека, не желающего, чтобы его беспокоили; и эта экономия до некоторой степени возмещает ущерб, причиняемый мне несовершенствами тех, с кем мне приходится соприкасаться. Мне, разумеется, неприятно, что они теряют в моих глазах, но зато и я не очень внакладе, так как уже не считаю себя обязанным расточать им в такой мере свою внимательность и преданность. Я не порицаю того, кто меньше любит своего ребенка, потому что он покрыт паршою и горбат, и не только тогда, когда тот коварен и злобен, но и тогда, когда он попросту несчастлив и жалок (сам господь

этим способом обесценил его и определил ему место ниже естественного), лишь бы при этом охлаждении чувств соблюдалась мера и должная справедливость. По мне, кровная близость не сглаживает недостатков, напротив, она их, скорее, подчеркивает.

Итак, насколько я знаю толк в искусстве оказывать благодеяния и платить признательностью за те, что тебе оказаны, — а это искусство тонкое и требующее большого опыта, — я не вижу вокруг себя никого, кто до последнего времени был бы независимее, чем я, и менее моего в долгу перед кем бы то ни было. Да и вообще, нет никого, кто был бы в этом отношении так же чист перед людьми, как я.

*nec sunt mihi nota potentum*
*Munera.[64] [broken link: #nc9_64]*

Государи с избытком одаряют меня, если не отнимают моего, и благоволят ко мне, когда не причиняют мне зла; вот и все, чего я от них хочу. О сколь признателен я господу богу за то, что ему было угодно, чтобы всем моим достоянием я был обязан исключительно его милости, и также еще за то, что он удержал все мои долги целиком за собой. Как усердно молю я святое его милосердие,

чтобы и впредь я не был обязан кому-нибудь чрезмерно большой благодарностью!

Благодатная свобода, так долго ведшая меня по моему пути! Пусть же она доведет меня до конца!

Я стремлюсь не иметь ни в ком настоятельной надобности.

In me omnis spes est mihi[65] [broken link: #nc9_65]. Это вещь, доступная всякому, но она легче достижима для тех, кого господь избавил от необходимости бороться с естественными и насущными нуждами.

Тяжело и чревато всевозможными неожиданностями зависеть от чужой воли. Мы сами — а это наиболее надежное и безопасное наше прибежище — не слишком в себе уверены. У меня нет ничего, кроме моего «я», но и этой собственностью я как следует не владею, и она, к тому же, мною частично призанята. Я стараюсь воспитать в себе крепость духа, что важнее всего, и равнодушие к ударам судьбы, чтобы у меня было на что опереться, если бы все остальное меня покинуло.

Гиппий из Эллиды, водя дружбу с музами, запасся не только ученостью, чтобы, в случае необходимости, с радостью прекратить общение со всеми другими, и не только знанием философии,

чтобы приучить свою душу довольствоваться собой и, если так повелит ее участь, мужественно обходиться без радостей, привносимых извне; он, кроме того, был настолько предусмотрителен, что научился стряпать для себя пищу, стричь свою бороду, шить себе одежду и обувь и изготовлять все необходимые ему вещи, дабы, насколько это возможно, рассчитывать лишь на себя и избавиться от посторонней помощи[66] [broken link: #nc9_66]. Гораздо свободнее и охотнее пользуешься благами, предоставленными тебе другим, в том случае, если пользование ими не вызывается горестною и настоятельною необходимостью и если в твоей воле и в твоих возможностях достаточно средств и способов обойтись и без них.

Я хорошо себя знаю. И все же мне трудно себе представить, чтобы где-нибудь на свете существовали щедрость столь благородная, гостеприимство столь искреннее и бескорыстное, которые не показались бы мне исполненными чванства и самодурства и были бы свободными от налета упрека, если бы судьба заставила меня к ним обратиться. Если давать — удел властвующего и гордого, то принимать — удел подчиненного. Свидетельство тому — выраженный в оскорбительном и глумливом тоне отказ Баязида от

присланных ему Тимуром подарков[67] [broken link: #nc9_67].

А те подарки, которые были предложены от имени султана Сулеймана султану Калькутты, породили в последнем столь великую ярость, что он не только решительно от них отказался, заявив, что ни он, ни его предшественники не имели обычая принимать чьи-либо дары, а, напротив, почитали своею обязанностью щедро их раздавать, но и бросил в подземную темницу послов, направленных к нему с упомянутой целью[68] [broken link: #nc9_68].

Когда Фетида, говорит Аристотель, заискивает перед Юпитером, когда лакедемоняне заискивают перед афинянами, они не освежают в их памяти то хорошее, что они для них сделали, напоминание о чем всегда неприятно, но вспоминают благодеяния, которые те оказали им самим[69] [broken link: #nc9_69]. Люди, которые, как я вижу, пользуются без зазрения совести услугами всех и каждого, оставаясь тем самым в долгу перед ними, этого бы, конечно, не делали, если бы понимали, как все, кто не лишен рассудка, что значит связывать себя обязательством: его, пожалуй, можно иногда оплатить, но рассчитаться по нему невозможно. Это — мучительные оковы для

каждого, кто любит всегда и везде класть локти так, как ему удобно. Моим знакомым — тем, кто выше меня по своему положению, и тем, кто ниже, — отлично известно, что они еще не видели человека менее назойливого, чем я. Если я не подхожу под современную мерку, то это — не великое чудо, так как его основа — многочисленные свойства моего характера: немножко природной гордости, боязнь столкнуться с отказом, ограниченность желаний и намерений, неприспособленность к ведению каких бы то ни было дел и, наконец, излюбленные мои качества: приверженность к праздности и к свободе. Из-за всего этого я питаю смертельную ненависть и к тому, чтобы от кого-либо зависеть, и к тому, чтобы искать у кого-либо поддержки, если этот кто-либо не я сам. Прежде чем я позволю себе прибегнуть к чужой благосклонности, я прилагаю усилия, на какие только способен, чтобы обойтись без нее — ив пустяках и в чем-либо важном. Мои друзья нестерпимо докучают мне, когда просят, чтобы я попросил за них кого-либо третьего. И для меня не менее затруднительно использовать и таким образом освободить от обязательств того, кто мне должен, чем обязаться ради них перед тем, кто у меня ни с какой сто-

роны не в долгу. Если пренебречь этим — и еще при одном условии, а именно, чтобы от меня не хотели чего-нибудь слишком хлопотного и сложного (ибо я объявил беспощадную войну всяким заботам), — я, в общем, охотно готов помочь в нужде каждому. Впрочем, я всегда в большей мере избегал брать, чем старался давать, — ведь, по Аристотелю, это гораздо приятнее[70] [broken link: #nc9_70]. Моя судьба не очень-то позволяла мне благодетельствовать другим, но и то малое, что она мне позволила, пало на неблагодарную почву. Если бы она назначила меня родиться с тем, чтобы занять среди людей высокое положение, я бы стремился к тому, чтобы заставить себя полюбить, а не к тому, чтобы внушать страх и поражать воображение. Позволительно ли мне выразить это с еще большей самонадеянностью? Я бы столько же проявлял заботу о том, чтобы нравиться, как и о том, чтобы приносить пользу. Кир устами своего превосходного полководца и еще более выдающегося философа весьма мудро оценивает свою доброту и свои благодеяния не в пример выше, нежели свою доблесть и свои обширные завоевания[71] [broken link: #nc9_71]. И Сципион Старший всюду, где хочет возвысить себя в людском мнении, ставит свою мягкость

и человечность выше своей храбрости и побед, и у него всегда на устах прославленные слова о том, что он принудил своих врагов полюбить его так же, как его любят друзья[72] [broken link: #nc9_72].

Итак, я хочу сказать, что если уж нужно быть всегда связанным каким-то долгом, то это должно иметь более твердые основания, нежели та зависимость, о которой я сейчас говорю и в которую меня ставят обстоятельства этой ужасной войны, а также, что мои обязательства не должны быть настолько тягостны, чтобы от них зависели моя жизнь и моя смерть: такая зависимость меня подавляет. Я тысячу раз ложился спать у себя дома с мыслью о том, что именно этой ночью меня схватят и убьют, и единственное, о чем я молил судьбу, так это о том, чтобы все произошло быстро и без мучений. И после своей вечерней молитвы я не раз восклицал:

> *Impius haec tam culta novalia miles habebit?[73] [broken link: #nc9_73]*

Ну а где против этого средство? Здесь — место, где родился и я и большинство моих предков; они ему отдали и свою любовь и свое имя. Мы лепимся к тому, с чем мы свыклись. И в столь

жалком положении, как наше, привычка — благословеннейший дар природы, притупляющий нашу чувствительность и помогающий нам претерпевать всевозможные бедствия. Гражданские войны хуже всяких других именно потому, что каждый из нас у себя дома должен быть постоянно настороже,

> *Quam miserum porta vitam muroque tueri,*
>
> *Vixque suae tutum viribus esse domus.[74] [broken link: #nc9_74]*

Величайшее несчастье ощущать вечный гнет даже у себя дома, в лоне своей семьи. Местность, в которой я обитаю, — постоянная арена наших смут и волнений; тут они раньше всего разражаются и позже всего затихают, и настоящего мира тут никогда не видно,

> *Tum quoque cum pax est, trepidant formidine belli,[75] [broken link: #nc9_75]*
>
> *quoties pacem fortuna lacessit*
>
> *Hac iter est bellis. Melius, fortuna, dedisses*
>
> *Orbe sub Eoo sedem, gelidaque sub Arcto*
>
> *Errantesque domos.[76] [broken link: #nc9_76]*

Чтобы уйти от этих горестных размышлений, я впадаю порой в безразличие и малодушие; ведь и они некоторым образом прививают человеку решительность. Мне нередко случается, и притом не без известного удовольствия, представлять себе со всею наглядностью свою гибель и ждать своего смертного часа; опустив голову, в полном оцепенении, погружаюсь я в смерть, не рассматривая и не узнавая ее, словно в мрачную и немую пучину, которая тотчас смыкается надо мной и сковывает меня неодолимым, беспробудным, бесчувственным сном. И то, что последует, как я предвижу, за быстрой и насильственной смертью, утешает меня в большей мере, чем страшат обстоятельства, при которых она постигнет меня. Говорят, что если не всякая долгая жизнь — хорошая жизнь, то всякая быстрая смерть — хорошая смерть. Я не столько боюсь умереть, сколько свожу знакомство с тем, что предшествует смерти, — с умиранием. Я таюсь и съеживаюсь посреди этой грозы, — она должна меня ослепить и похитить стремительным и внезапным порывом, которого я даже не почувствую.

Если розы и фиалки, как утверждают некоторые садовники, произрастая поблизости от лука и чеснока, и вправду пахнут приятнее и сильнее,

потому что те извлекают из земли и всасывают в себя все, что ни есть в ней зловонного[77] [broken link: #nc9_77], то почему бы и закоснелым в преступлениях людям моей округи также не всосать в себя всего яда из моего воздуха и моего неба и своим соседством со мной не сделать меня настолько чище и лучше, чтобы я не погиб окончательно и бесповоротно? В целом это не так, но кое-что в этом роде все же возможно: например, доброта прекраснее и привлекательнее, когда она — редкость, а враждебность и несхожесть всего окружающего усиливает и укрепляет стремление делать добро, воспламеняя душу и необходимостью бороться с препятствиями, и жаждою славы.

Грабители сами по себе не проявляют ко мне особой враждебности. А разве я не отвечаю им тем же? Вздумай я взяться за них, и мне бы пришлось иметь дело со множеством людей. Те, у кого одинаково злая воля, каково бы ни было различие в их положении, таят в себе одинаковую жестокость, бесчестность, грабительские наклонности, и все это в каждом из них тем отвратительнее, чем он трусливее, чем увереннее в себе и чем ловчее умеет прикрываться законами. Я в меньшей степени ненавижу преступление

явное, совершенное в пылу борьбы, чем содеянное предательски, тихой сапой. Наша лихорадка напала на тело, которому она нисколько не повредила; в нем тлел огонь, и вот вспыхнуло пламя; больше шуму, чем настоящей беды.

Обращающимся ко мне с вопросом, что именно побуждает меня к путешествиям, я имею обыкновение отвечать: «Я очень хорошо знаю, от чего бегу, но не знаю, чего ищу». Если мне говорят, что и среди чужестранцев, быть может, так же мало истинного здоровья, как среди нас, и что их нравы не стоят большего, нежели наши, я отвечаю: во-первых, маловероятно, чтобы существовали

> *Tam multae scelerum facies,[78] [broken link: #nc9_78]*

и во-вторых, что изменить дурное положение на положение неопределенное — как-никак выигрыш и что чужие беды никогда не задевают нас так же, как наши.

Я никогда не забываю о том, что сколько бы я ни ополчался на Францию, Париж мне по-прежнему мил; я отдал ему свое сердце еще в дни моего детства. И с ним произошло то, что всегда происходит с замечательными вещами: чем больше прекрасных городов я с той поры видел,

тем больше красоты этого города властвуют надо мной и овладевают моей любовью. Я люблю его самого по себе, и больше в его естественном виде, чем приукрашенным чужеземною пышностью[79] [broken link: #nc9_79]. Я люблю его со всей нежностью, даже его бородавки и родимые пятна. Ведь я француз только благодаря этому великому городу: великому — численностью своих обитателей, великому — своим на редкость удачным местоположением, но сверх всего великому и несравненному своими бесчисленными и разнообразнейшими достоинствами: это слава Франции, одно из благороднейших украшений мира. Да отвратит от него господь наши раздоры! Целостный и единый, он огражден, по-моему, от всяких других напастей. Я убежден, что из всех наших партий наихудшей окажется именно та, которая ввергнет его в наши распри. И никакой враг, на мой взгляд, ему не опасен, кроме него самого. И я боюсь за него столько же, сколько за всякую другую часть нашего государства. Пока он стоит, я не буду иметь недостатка в убежище, где бы я мог испустить последний мой вздох, убежище, способном вознаградить меня с лихвою за потерю любого другого. Не потому, что так когда-то сказал Сократ, но потому, что и вправду

таковы мои чувства, в чем я дохожу, пожалуй, иногда до чрезмерности, все люди, по мне, мои соотечественники, и я обнимаю поляка столь же искренне, как француза, отдавая предпочтение перед национальными связями связям всечеловеческим и всеобщим. Я не нахожу мой родной воздух самым живительным на всем свете. Знакомства, завязываемые впервые и чисто личные, стоят, по-моему, нисколько не меньше, чем случайные и обыденные, поддерживаемые мною с моими соседями. Бескорыстная дружба, возникающая по нашему побуждению, обычно на голову выше дружеских отношений, которыми связывают нас соседство или общность крови. Природа произвела нас на свет свободными и независимыми; это мы сами запираем себя в тех или иных тесных пределах, уподобляясь в известном смысле персидским царям, давшим обет не пить никакой воды, кроме, как из реки Хоасп: отказавшись, по неразумению, от своего права употреблять любую другую воду, они обезводили для себя весь мир[80] [broken link: #nc9_80].

Что же касается совершенного Сократом под конец его жизни, когда приговор об изгнании он счел более тягостным, чем смертный, то я, как кажется, никогда не дойду до такой расслаблен-

ности и никогда не буду настолько привязан к моему отечеству, чтобы поступить так же, как он. В житиях высоких духом людей много такого, что я скорее ценю, чем люблю.

И среди них бывают до того возвышенные и беспримерные, что я не могу как следует оценить их, ибо они для меня совершенно непостижимы.

Для человека, считавшего весь мир своим родным городом, отмеченные выше соображения были проявлением слабости. Правда, он презирал странствия, и его нога ни разу не переступила пределов Аттики. Как же рассматривать то, что он пожалел денег своих друзей, чтобы спасти себе жизнь, и отказался выйти с чужой помощью из темницы, чтобы не преступить законы, и притом в то время, когда эти законы были так чудовищно извращены[81] [broken link: #nc9_81]? Эти образцы для меня превыше всего. Есть и другие, которые я помещаю на втором месте, и их я также могу отыскать в жизни и деяниях этого человека. Многие из этих редкостных образцов превосходят мои возможности, и подражать им я был бы не в силах, но иные из них превосходят и возможности моего понимания.

Кроме этих причин, путешествия, как мне кажется, — дело очень полезное. Душа непрерывно

упражняется в наблюдении вещей для нее новых и доселе неведомых, и я не знаю, — о чем уже не раз говорил, — ничего более поучительного для человеческой жизни, как непрестанно показывать ей во всей их многоликости столько других человеческих жизней и наглядно знакомить ее с бесконечным разнообразием форм нашей природы. При этом тело не остается праздным, но вместе с тем и не напрягается через силу, и это легкое возбуждение оказывает на него бодрящее действие. Несмотря на мои колики, я не схожу с лошади по восемь-десять часов сряду и все же не ощущаю чрезмерной усталости,

> *Vires ultra sortemque senectae.[82] [broken link: #nc9_82]*

Никакое время года не бывает мне в тягость; только палящий зной отвесно стоящего солнца невыносим для меня, ибо зонтики, которыми со времен древних римлян пользуется Италия, больше мучают руку, чем облегчают мучения головы. Хотел бы я знать, с помощью каких ухищрений в столь давнюю пору, когда роскошь только начала зарождаться, персы умели поднимать по желанию свежий ветер и создавать тень, о чем рассказывает Ксенофонт[83] [broken link: #nc9_83].

Я люблю дождь и грязь, как утка. Перемена воздуха и климата на мне совершенно не отражается; любое небо для меня равно хорошо. Меня тревожат лишь те перемены, что происходят внутри меня, да и они в путешествиях приключаются со мной много реже.

Я тяжел на подъем, но, пустившись в дорогу, могу ехать сколько угодно. Мелкие дела утомляют меня столько же, сколько большие, и собраться в непродолжительную поездку, чтобы побывать у соседа, составляет для меня не меньше труда, чем приготовиться к настоящему путешествию. Я привык совершать мои дневные прогоны на испанский лад, одним махом: это длительные и вполне оправдывающие себя прогоны; если днем слишком жарко, я проделываю их по ночам, от захода до восхода солнца. Принятое некоторыми обыкновение останавливаться в пути, чтобы покормить лошадей и пообедать в спешке и суете, никуда не годится, особенно когда стоят короткие дни. Моим лошадям это идет только впрок. Меня ни разу не подвела ни одна лошадь, коль скоро она выдерживала первый из подобных прогонов. Зато я пою моих лошадей повсюду, где только возможно, и слежу лишь за тем, чтобы между двумя водопоями они прошли достаточный отре-

зок пути и выпитая ими вода вышла мочой. Моя нелюбовь вставать слишком рано доставляет возможность сопровождающим меня слугам пообедать, не торопясь, перед выездом. Что до меня, то я с едой не спешу: аппетит приходит ко мне во время еды и никак не иначе; я испытываю голод лишь за столом.

Некоторые упрекают меня за то, что я все еще не утрачиваю охоты к упражнениям этого рода, хотя женат и уже в летах. Они неправы. Ведь наилучшая пора для отлучек из дому тогда только и наступает, когда домашние могут обойтись и без вас, ибо в доме установлен твердый порядок, который ни в чем не будет нарушен. Гораздо легкомысленнее уезжать из дому, оставляя его на менее надежные руки, которые не станут особенно себя утруждать, чтобы заботиться о ваших делах.

Самая полезная и почетная наука для женщины — это наука, носящая название домоводства. Мне приходилось видеть женщин скупых и жадных, но хозяйственных — очень редко. А между тем этому качеству подобает быть у них основным, и его следует искать в женщине прежде других, видя в нем единственное приданое, которое может как разорить, так и сохранить наши дома. Пусть

и не пытаются мне возражать; в соответствии с тем, чему меня научил опыт, я требую от замужней женщины, кроме всех других добродетелей, и хозяйственности, которая тоже есть добродетель. Я устраиваю ей испытание, оставляя на ее руки, пока нахожусь в отсутствии, управление всей моей собственностью. С досадой наблюдаю я во многих домах, как муж, угрюмый и измученный целой кучей дел, возвращается около полудня к себе, в то время как жена все еще причесывается и прихорашивается на своей половине. Вести себя так позволительно лишь королеве, да и то как сказать. Нелепо и несправедливо, что праздность наших жен оплачивается нашим трудом и потом. И я никогда не позволю, чтобы кто-нибудь пользовался моими средствами с большей свободой, чем я сам, более беспечно и бесконтрольно. Если муж занят существом дела, то сама природа велит, чтобы жены взяли на себя его форму.

Что же касается супружеских отношений, то, хотя и считается, что они страдают от этих отлучек, я с этим решительно не согласен. Напротив, эта близость такого рода, что непрерывное общение лишь охлаждает чувства и привычка их убивает. Всякая женщина, которая с нами не связана, кажется нам безупречной. И каждый познал на

опыте, что постоянное пребывание вместе не доставляет того удовольствия, какое испытываешь, то разлучаясь, то снова встречаясь. Эти перерывы наполняют меня обновленной любовью к моим домашним и делают для меня пребывание дома более сладостным и заманчивым; чередование усиливает мое влечение как к одному, так и к другому. Я знаю, что руки у дружбы достаточно длинные, чтобы касаться друг друга и сплетаться друг с другом, протягиваясь с одного конца света в другой; и это в особенности относится к супружеской дружбе, в которой имеет место непрестанный обмен услугами, порождающими привязанность и признательные воспоминания. По меткому слову стоиков, между мудрецами существует настолько тесная связь и такая родственность, что если один из них закусывает во Франции, то тем самым насыщает своего собрата в Египте, и что если кто-нибудь, где бы он ни был, протянет хотя бы палец, то все мудрецы, какие только не существуют в обитаемом мире, ощущают от этого помощь[84] [broken link: #nc9_84]. Наслаждение и обладание опираются главным образом на воображение. А оно с большим пылом влечется к тому, чего жаждет, чем к тому, что находится в наших руках. Припомните, как вы

провели время в течение дня, и вы увидите, что дальше всего вы были от вашего друга, когда он был возле вас; его присутствие расслабляет ваше внимание и предоставляет вашим мыслям неограниченную свободу отвлекаться по каждому поводу и в любое мгновение.

Находясь в Риме, я не теряю власти над моим домом и управляю им и своим имуществом, которое в нем оставил: я вижу, как растут мои стены, мои деревья, мои доходы или как они понизились приблизительно на два пальца с тех пор, как я уехал:

> *Ante oculos errat domus, errat forma locorum.[85] [broken link: #nc9_85]*

Если бы мы наслаждались лишь тем, что находится в наших руках, то прощай наши экю, как только мы заперли их в шкатулку, и прощай наши дети, если они на охоте. Мы хотим, чтобы они были поближе. А если они в саду, это далеко или нет? А на расстоянии полудневного перегона? А десять лье — это далеко или близко? Если близко, то как же обстоит дело с одиннадцатью, двенадцатью или тринадцатью? И так шаг за шагом. Поистине, я полагаю, что та жена, которая вздумала бы предписать своему мужу:

«на таком-то шагу кончается «близко», а вот на этом начинается «далеко», — должна была бы остановить его как раз посередине,

> *excludat iurgia finis.*
>
> *Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae*
>
> *Paulatim vello, et demo unum, demo etiam unum,*
>
> *Dum cadat elusus ratione ruentis acervi;[86] [broken link: #nc9_86]*

и пусть эта женщина смело обратится за помощью к философии, если кто-нибудь пожелает бросить ей упрек в том, что, не видя ни того ни другого кончика связующей нити между чрезмерным и малым, между длинным и коротким, легким и тяжелым, близким и далеким, не умея распознавать, где начало и где конец, она крайне неопределенно судит и о середине: Rerum natura nullam nobis dedit cognitionem finium[87] [broken link: #nc9_87]. А разве нет женщин, остающихся женами и подругами своих покойных мужей и возлюбленных, которые не где-нибудь на другом конце света, а в ином мире? Мы можем любить и тех, кого уже нет, и тех, кого еще нет, а не то что отсутствующих. Вступая в брак, мы не брали на себя обязательства быть такими же нераз-

лучными, как некоторые букашки, которых нам случается видеть, или как бесноватые из Карентии, сцепившиеся друг с другом в совокуплении, подобно собакам[88] [broken link: #nc9_88].

Если жены и любят созерцать своих мужей спереди, то не должны ли они, если потребуется, столь же охотно смотреть им и в спину?

И не будет ли здесь уместно, чтобы показать истинную причину их жалоб, привести следующие слова поэта, так великолепно изображающего женские чувства и мысли:

> *Uxor, si cesses, aut te amare cogitat,*
>
> *Aut tete amari, aut potare, aut animo obsequi,*
>
> *Et tibi bene esse soli, cum sibi sit male.[89] [broken link: #nc9_89]*

Разве не похоже на истину, что сопротивление и противоречие сами по себе их поддерживают и занимают и что они бывают довольны, когда вызывают ваше неудовольствие?

В истинной дружбе — а она мне известна до тонкостей[90] [broken link: #nc9_90] — я отдаю моему другу больше, чем беру у него. Мне больше по душе, когда я сам делаю ему добро, чем когда он делает его мне; и больше всего добра он де-

лает мне тогда, когда делает его самому себе. И если ему приятно или полезно куда-нибудь отлучиться, его отсутствие для меня еще сладостней, чем присутствие. Да и какое же это отсутствие, если располагаешь средствами с ним сноситься? Порою наша разлука бывала для меня не без приятности и не без пользы. Разлучаясь, каждый из нас жил более заполненной жизнью и видел ее шире и глубже: он жил, он наслаждался, он наблюдал для меня, я наблюдал для него, делая это с такой полнотой, как если бы он был со мною. Когда мы бывали вместе, какая-то наша часть оставалась праздной: мы сливались в единое целое. Разъединение в пространстве обогащало нашу духовную связь. Жажда непосредственной близости говорит о недостатке способности к духовному общению.

Что касается моего пожилого возраста, на который мне также указывают, то я думаю об этом совершенно иначе; это юности подобает считаться с общественным мнением и ограничивать себя ради другого. Ее хватает на все: и на людей и на себя; а у нас полно хлопот и забот и о самих себе. По мере того, как мы лишаемся естественных удовольствий, мы возмещаем их удовольствиями искусственными. Несправедливо прощать

молодости ее погоню за наслаждениями и мешать старости искать в них отраду. В юности я сдерживал свои бурные страсти благоразумием; в старости я добавляю к моим печальным утехам чуточку озорства. Да и законы Платона запрещают отлучаться за пределы страны до сорока или пятидесяти лет, дабы эти отлучки были полезнее и поучительнее; и еще больше сочувствия вызывает у меня второй пункт тех же законов, воспрещающий их после шестидесяти лет.

«Но в ваши лета вам не вернуться из дальнего путешествия». — «А что мне до этого?» Я предпринимаю его не для того, чтобы непременно вернуться, и не для того, чтобы его завершить; я предпринимаю его лишь затем, чтобы встряхнуться, пока это встряхивание мне нравится. И я езжу для того, чтобы ездить. Кто бегает за доходным местом или за зайцем, тот, можно сказать, не бегает; бегает только тот, кто бегает взапуски и для того, чтобы поупражняться в беге.

Мои желания таковы, что их можно считать осуществившимися в любое мгновение и в любом месте; они не сопряжены с особенными надеждами. Да и мое путешествие через жизнь происходит точно так же. Впрочем, я видел на чужбине достаточно мест, в которых был бы не

прочь остаться. А почему бы и нет, если Хризипп, Клеанф, Диоген, Зенон, Антипатр и столько других мудрецов того же наиболее сурового философского направления покинули свою родину, не имея никаких оснований на нее жаловаться и единственно из желания подышать другим воздухом[91] [broken link: #nc9_91]. И, конечно, самое большое неудовольствие, какое мне приносят мои поездки, — это невозможность принять решение поселиться навсегда там, где мне это было бы по сердцу, ибо, приспособляясь к общепринятым нравам, я всегда должен думать о возвращении.

Если бы я боялся умереть где-нибудь в другом месте, чем место моего рождения, если б я думал, что умирать вдали от домашних мне будет труднее, я бы едва отважился выезжать за пределы Франции, я бы не выезжал без душевного содрогания и за пределы моего прихода. Смерть всечасно дает мне о себе знать; она непрерывно сжимает мне грудь или почки. Но я скроен на иной лад; она для меня одна и та же повсюду. И если бы мне предоставили выбор, я бы, надо полагать, предпочел умереть скорее в седле, чем в постели, вне дома и вдалеке от домашних. В прощании с друзьями гораздо больше муки, чем утешения.

Я охотно забываю об этом требовании наших приличий, ибо из всех обязанностей, налагаемых на нас дружбой, эта единственная для меня неприятна, и я так же охотно забыл бы произнести напоследок величавое «прощай навсегда». Если присутствие близких людей и доставляет умирающему кое-какие удобства, то оно же причиняет ему тьму неприятностей. Мне пришлось видеть умирающих, безжалостно осаждаемых всей этой толпой; множество присутствующих было им невмоготу. Считается нарушением долга и свидетельством недостаточной любви и заботы предоставить вам спокойно испустить дух; один терзает и мучает ваши глаза, другой — уши, третий — рот; нет такого чувства или такой части тела, которую нам бы при этом не теребили. Ваше сердце переполняет жалость к себе самому, когда вы слышите горестные стенания ваших друзей, и досада, когда вам доводится порою услышать другие стенания, лживые и лицемерные. Кто всегда был изнеженным и чувствительным, для того это еще мучительнее. В столь решительный час ему нужна ласковая, приноровившаяся к его чувствительности рука, чтобы почесать ему именно там, где у него зудит, или даже вовсе его не касаться. Если для того, чтобы мы появились

на свет, нужно содействие повитухи, то для того, чтобы его покинуть, мы нуждаемся в человеке еще более умелом, чем она. Вот такого-то человека, и вдобавок ко всему расположенного к вам, и следует, не считаясь с расходами, нанимать для услуг этого рода.

Я отнюдь не дорос до той горделивой и презрительной твердости, которая, черпая силы сама в себе, обходится без чьей-либо помощи и которую ничто не может поколебать; я стою ступенькою ниже. Я попытаюсь улизнуть, словно кролик, и уклониться от этой публичной сцены — не из безотчетного страха перед ней, а совершенно сознательно. Я вовсе не намерен делать из этого акта испытание или доказательство моей стойкости. К чему? Ведь, перейдя этот порог я утрачу и права на добрую славу и всякую заинтересованность в ней. Я удовольствуюсь смертью сосредоточенной, одинокой, спокойной, полностью моей, и только моей, соответствующей образу жизни, уединенному и обособленному, которого я придерживаюсь. Вопреки предрассудкам римлян, почитавших того, кто умирал, не произнеся речи, и у кого не было близких, которые закрыли б ему глаза, у меня хватит чем занять мое время, утешая себя и без того, чтобы заниматься

еще утешением других, хватит мыслей в моей голове и без того, чтобы обстоятельства внушали мне новые, хватит тем для беседы с собой и без того, чтобы заимствовать их извне. Обществу здесь не уготовлено никакой роли; в этом акте лишь одно действующее лицо. Давайте жить и смеяться перед своими, умирать и хмуриться перед посторонними. Всегда можно сыскать за плату кого-нибудь, кто поправит вам голову или разотрет ваши ноги, но кто, вместе с тем, не станет беспокоить вас, когда вам не до этого, и с равнодушно-спокойным лицом предоставит вам беседовать с самим собою и жаловаться на свой собственный лад.

Побуждаемый доводами рассудка, я упорно стараюсь отделаться от ребяческой и бесчеловечной прихоти, в силу которой мы стремимся вызвать своими страданиями сочувствие и скорбь у наших друзей. Мы сверх всякой меры расписываем свои недуги, чтобы заставить наших друзей проливать о нас слезы. И ту самую сдержанность, которая так восхваляется в каждом, кто стойко переносит свое несчастье, мы поносим и осуждаем и ставим в упрек нашим близким, когда они проявляют ее по отношению к нам. Нам недостаточно, что они попросту соболезнуют

нашим бедам, если при этом они по-настоящему не удручены ими. Нужно преувеличивать свою радость и по возможности преуменьшать свои огорчения. Кто без причины жалуется, тот не встретит отклика на свои жалобы и тогда, когда они не будут беспричинными. Жаловаться всегда — значит никогда не встречать отклика на свои жалобы; часто изображать страдание — значит ни в ком не пробуждать сострадания. Кто, полный жизни, изображает из себя умирающего, тому угрожает, что его сочтут полным жизни и тогда, когда он и впрямь будет при смерти. Я видел таких, которым словно вожжа под хвост попадала, если кто-нибудь находил, что у них недурной цвет лица и размеренный пульс, и таких, что сдерживали улыбку, потому что она указывала бы, что они выздоравливают, и таких, кто лютой ненавистью ненавидел здоровье, так как здоровье не может вызывать жалость. Но всего любопытнее, что это не были женщины.

Я изображаю мои болезни, самое большее, такими, каковы они есть, и избегаю выражать озабоченность своим состоянием и сетовать на него. Если не веселость, то, на худой конец, спокойная сдержанность окружающих — вот что требуется рассудительному больному. Видя себя

занемогшим, он не объявляет войны здоровым: ему приятно смотреть на того, кто пышет здоровьем и в ком оно нисколько не пошатнулось, и наслаждаться хотя бы его лицезрением. Чувствуя, что движется под уклон, он не отбрасывает начисто мыслей о жизни и не избегает привычных разговоров. Я хочу изучать болезнь пока здоров, но когда я болен, она полностью завладевает мною и без помощи моего воображения. Мы заранее приготовляемся к путешествию, которое задумали предпринять и решили осуществить; но последний час перед тем, как сесть на коня, мы предназначаем для окружающих, а порой ради них и удлиняем его.

Из этого предаваемого гласности повествования о моих нравах я неожиданно для себя извлекаю некоторым образом выгоду, так как обретаю в нем своего рода правило. Я нередко подумываю о том, что мне никоим образом не подобает приукрашивать историю моей жизни. Этот публичный рассказ обязывает меня не сходить с прямого пути и не искажать своей натуры и своих мыслей, как правило, менее извращенных и сбивчивых, чем это свойственно злобным и болезненным суждениям нашего времени. Устойчивость и простота моих нравов должны,

казалось бы, ограждать их от толкования вкривь и вкось, но поскольку они немного по-новому скроены и необычны, здесь открывается широкий простор для злословия. Пожелай кто-нибудь под личиной внешнего беспристрастия смешать меня с грязью, у него было бы более чем достаточно поводов куснуть меня за сознаваемые и признаваемые мною самим недостатки, он мог бы вдосталь натешиться, попадая, что называется, в самую точку. Если бы, однако, ему показалось, что, обличая и обвиняя самого себя, я лишаю жала его укусы, то ему было бы проще простого воспользоваться своим правом преувеличения и сгущения (право нападающего — пренебрегать справедливостью). Корни пороков, которые я открываю в себе, пусть он превратит в раскидистые деревья; пусть обрушится не только на те пороки, которые держат меня в своей власти, но и на угрожающие мне в будущем — пороки постыдные и сами по себе, и потому, что их великое множество; этим оружием пусть он меня и побьет.

Я бы охотно последовал примеру философа Диона. Антигон хотел его уколоть низким происхождением; тот, однако, дал ему сдачи: «Я, — сказал он, — сын раба, мясника, заклейменного, и потаскухи, которую мой отец смог

взять себе в жены только благодаря гнусности ее промысла. И отец и мать были наказаны за какое-то преступление. Один оратор, которому я понравился, купил меня малым ребенком; умирая, он завещал мне все свое состояние, которое я переправил в Афины, где и посвятил себя изучению философии. Пусть историки не трудятся выискивать обо мне сведения; я сообщу им все, как есть»[92] [broken link: #nc9_92].

Благородно и независимо высказанное признание ослабляет силу упрека и выбивает оружие из рук оскорбителя.

Так или иначе, но, взвесив все, я склонен считать, что нередко меня хвалят и порицают сверх меры. Мне также кажется, что с самого детства я занимаю положение — и в отношении знатности, и в отношении оказываемых мне почестей — скорее выше того, которое мне причитается.

Я бы чувствовал себя лучше в тех странах, в которых эти различия были бы упорядочены или ничего бы не значили. Лишь только спор о праве первенства в какой-либо процессии или при рассаживании по местам затягивается сверх троекратного обмена разъяснениями и замечаниями, он становится неприличным. Я не боюсь ни уступать, ни преступать существующие на

этот счет правила, лишь бы избегнуть столь недостойного препирательства; и всякому, выражавшему желание выказать передо мной свое превосходство, я всегда тотчас же уступал.

Кроме пользы, которую я для себя извлекаю, описывая самого себя, я также ласкаю себя надеждой, что, если моим нравам и взглядам еще при моей жизни доведется прийтись по душе какому-нибудь порядочному и достойному человеку, он не преминет меня разыскать, и мы с ним сойдемся, чтобы больше не расставаться; я даю ему немалую фору, так как то, что он смог бы узнать обо мне лишь после длительного знакомства и близости в течение многих лет, станет ему известно из этих моих протокольных записей за какие-нибудь три дня, и к тому же с большею достоверностью и большей точностью. Забавная причуда: многие вещи, которые я не захотел бы сказать ни одному человеку, я сообщаю всему честному народу и за всеми моими самыми сокровенными тайнами и мыслями даже своих ближайших друзей отсылаю в книжную лавку.

> *Excutienda damus praecordia.[93] [broken link: #nc9_93]*

Знай я так же досконально кого-нибудь, кто

был бы мне близок по духу, я бы непременно отправился на его розыски, будь то хоть на край света, ибо удовольствие от подходящего и приятного общества ни за какие деньги, по-моему, не купить. Ах, друг! До чего же справедливо древнее изречение, гласящее, что дружба еще насущнее и еще сладостнее, чем вода и огонь[94] [broken link: #nc9_94]!

Возвращаюсь к моему рассуждению. Итак, не такое уж страшное зло умирать вдали от своих и наедине с собой.

Считаем же мы совершенно необходимым уединяться для отправления наших естественных нужд, куда менее неприятных, чем эта, и менее отвратительных. Да и тем, кто значительную часть своей жизни проводит в медленном угасании, также, пожалуй, не подобает, чтобы их несчастье мешало жить целой семье. И индусы в одной из своих провинций считали вполне справедливым умерщвлять всякого, кому досталась столь печальная доля; а в другой — они же оставляли его в одиночестве, предоставляя ему спасаться, как может[95] [broken link: #nc9_95]. Кому эти несчастные под конец не наскучивают и кому они не становятся нестерпимыми? Обычно наши обязанности не простираются так далеко. В

своих лучших друзьях вы насильственно воспитываете жестокость, вы прививаете черствость и вашей жене и детям, привыкающим не замечать ваших страданий и не сочувствовать им. Стоны, которые я издаю во время одолевающих меня колик, никого больше не трогают. И если порой мы испытываем известное удовольствие от общения с нашими близкими, что, впрочем, бывает далеко не всегда, так как различие в условиях существования вызывает в нас досаду и зависть к любому человеку, то допустимо ли злоупотреблять этим удовольствием целый век? Чем больше я вижу, как ради меня они, по своей доброте, стесняют себя во всем, тем больше меня должны огорчать их мучения. Мы имеем право опираться иногда на другого, но вовсе не наваливаться на него всей своей тяжестью и поддерживать себя ценой его гибели, как тот, кто велел зарезать младенцев, чтобы исцелиться от своей болезни их кровью[96] [broken link: #nc9_96]. Или как тот другой, к которому приводили молодых девушек, чтобы они согревали по ночам его стынущее старое тело и смешивали свое сладостное дыхание с его зловонным и прерывистым[97] [broken link: #nc9_97]. И если бы я оказался в положении такого расслабленного, я бы скорее всего удалился в

Венецию, которую и избрал бы своим убежищем до конца дней.

Преклонному возрасту под стать одиночество. Я общителен до крайности. И тем не менее я считаю для себя обязательным избавить отныне мир от лицезрения моей немощи, таить ее про себя, съежиться и укрыться в своей скорлупе, как черепаха под своим панцирем. Я учусь видеть людей, удалившись от них; соваться к ним, когда твоя жизнь на волоске, означало бы оскорблять их чувство. Пришла пора повернуться спиною к обществу.

«Но в таком длительном путешествии вы можете на свою беду застрять в какой-нибудь жалкой лачуге, где будете лишены всяких удобств». Большая часть того, что мне может понадобиться, всегда со мной; и потом, нам все равно не уйти от судьбы, если она задумала нас настигнуть; когда я болею, мне не требуется ничего сверх обычного; и раз сама природа бессильна прийти мне на помощь, я не хочу, чтобы это сделала какая-нибудь пилюля. В самом начале моих недомоганий или болезней, которые на меня накидываются, еще не осиленный ими и, можно сказать, почти здоровый, я примиряюсь с господом, исполняя последний долг христианина, и чувствую себя после

этого легко и свободно, точно с меня свалилось тяжелое бремя, так что мне начинает казаться, что теперь я уж справлюсь с моим недугом. Нотариус и стряпчий мне нужны еще меньше врачей. Пусть от меня не ждут, чтобы я больной занимался теми делами, которые не наладил, находясь в полном здравии. Все распоряжения, которые я наметил сделать на случай смерти, уже давно сделаны, — я бы не посмел отложить их хотя бы на один день; ну, а если что мной и не сделано, то причина этого или в том, что колебания задержали мое решение, — ведь иногда лучшее решение не принимать никакого решения, — или в том, что я и вовсе не хотел этого делать.

Я пишу свою книгу для немногих и на немногие годы. Будь ее содержание долговечнее, его нужно было бы изложить более твердым и четким языком. Принимая во внимание непрерывные изменения, которым наш язык подвергался до самого последнего времени, может ли кто рассчитывать, что и через полсотни лет его будут употреблять в том же виде, в каком употребляют сейчас? Он безостановочно течет через наши руки и уже при моей жизни стал наполовину другим. Мы говорим, что ныне он достиг совершенства. Но ведь каждый век говорил о

своем языке то же самое. Я отнюдь не склонен находить его совершенным, пока он продолжает нестись без оглядки вперед и сам себя искажает. Закрепить язык бывает дано лишь полезным и выдающимся сочинениям, которые становятся для него образцами; ну, а его значение среди других языков зависит от судеб нашего государства.

И все же я, не обинуясь, привношу сюда кое-какие отдельные выражения, исчезающие из обихода моих современников и вполне понятные только тем из них, кому они хорошо известны. Постоянно наблюдая, как тревожат память покойников, я решительно не хочу, чтобы после меня предавались спорам: он думал и жил так-то и так-то; он хотел того-то; если бы он говорил об этом под конец своей жизни, он сказал бы то-то и то-то, он дал бы то и то; ведь я знал его лучше, чем всякий другой.

Итак, я здесь откровенно рассказываю, насколько позволяет благопристойность, о моих склонностях и пристрастиях, хотя свободнее и охотнее делаю это в беседах с теми, кто изъявляет желание узнать об этом подробнее. Как бы там ни было, заглянув в мои записи, каждый сможет удостовериться, что я сказал обо всем или, по крайней мере, всего коснулся. А чего я не мог про-

изнести во весь голос, на то я указал пальцем:

> *Verum animo satis haec vestigia parva sagaci*
>
> *Sunt, per quae possis cognoscere cetera tute.[98] [broken link: #nc9_98]*

В том, что я написал о себе, нет никаких недомолвок и ничего загадочного. Но если обо мне все-таки найдут нужным поговорить, я хочу, чтобы говорили только голую правду. Я охотно возвратился бы из потустороннего мира, чтобы изобличить во лжи всякого, кто стал бы изображать меня иным, чем я был, хотя бы он делал это с намерением воздать мне хвалу. Ведь даже живых, как я вижу, рисуют совсем иными, чем они есть. И если бы я не отстаивал изо всех сил одного моего умершего друга, его бы растерзали на тысячу совершенно несхожих образов[99] [broken link: #nc9_99].

Дабы покончить с перечнем моих слабостей, признаюсь, что я никогда не останавливаюсь в гостинице без того, чтобы не обратиться к себе с вопросом, а такое ли это место, где я мог бы болеть и умирать в приемлемых для меня условиях. Я стремлюсь располагаться в помещении, которое было бы отведено мне одному, было бы

не шумным, не грязным, не дымным и не душным. Заботясь об этом, я стремлюсь облегчить себе смерть или, лучше сказать, избавиться от дополнительных неприятностей и сосредоточиться в ожидании ее часа, а это, надо думать, ляжет на меня достаточным грузом и безо всяких довесков. Пусть и ей достанется ее доля от удобств и приятностей моей жизни. Она — большая и важная часть нашего бытия, и я надеюсь, что не посрамлю ею всего остального.

Бывают разновидности смерти, которые легче других; впрочем, степень их легкости определяется каждым по-своему. Между естественными смертями наиболее милостивой и беспечальной кажется мне наступающая от слабости и изнурения. Из насильственных смертей — упасть в пропасть, по-моему, более страшно, чем остаться под развалинами рухнувшего строения, и погибнуть от разящего удара меча страшнее, чем от выстрела из аркебузы. Я скорее проглотил бы питье Сократа, чем закололся бы так, как это сделал Катон[100] [broken link: #nc9_100]. И хотя, в конце концов, все едино, моему воображению представляется, что между тем, брошусь ли я в пещь огненную или в воды спокойной реки, различие нисколько не меньшее, чем между

жизнью и смертью. Вот до чего нелепа основа нашего страха, обращающего внимание не столько на результат, сколько на способ. Это всего лишь мгновение, но оно так существенно, что я бы охотно отдал немало дней моей жизни, лишь бы провести его по своему усмотрению.

Поскольку воображению каждого та или иная смерть рисуется более или менее тягостной и каждый в некоторой мере располагает свободой выбора определенной ее разновидности, давайте и мы приищем себе такую, которая была бы для нас наименее неприятной. Можно ли причинить себе смерть более сладостную, нежели та, которую приняли приближенные Антония и Клеопатры, пожелавшие умереть вместе с ними[101] [broken link: #nc9_101]? Величавых и мужественных примеров, явленных нам философией и религией, я не касаюсь. Но, оказывается, и среди людей среднего уровня можно указать еще на одну такую же замечательную, как уже упомянутая, — я имею в виду смерть Петрония и Тигеллина во времена древнего Рима. Вынужденные покончить с собой, они приняли смерть, как бы предварительно усыпленную роскошью и изяществом, с какими они приготовились ее встретить. И они принудили ее неприметно

подкрасться к ним в самый разгар привычного для них разгульного пира, окруженные девками и добрыми своими приятелями; тут не было никаких утешений, никаких упоминаний о завещании, никаких суетных разглагольствований о том, что ожидает их в будущем; тут были только забавы, веселье, острословие, общий и ничем не отличающийся от обычного разговор, и музыка, и стихи, прославляющие любовь[102] [broken link: #nc9_102]. Почему бы и нам не проникнуться такой же решительностью, придав ей более благопристойную внешность? Если бывают смерти, которые хороши для глупцов и которые хороши для мудрых, давайте найдем и такие, что были бы хороши для находящихся посередине между первыми и вторыми. Мое воображение рисует мне облик легкой и, раз все равно предстоит умереть, то, стало быть, и желанной смерти.

Римские тираны, предоставляя осужденным избирать для себя род смерти, считали, что тем самым как бы даруют им жизнь. Но не решился ли Феофраст, философ столь тонкий, скромный и мудрый, сказать по внушению разума нижеследующие слова, сохраненные нам в латинском стихе Цицероном:

*Vitam regit fortuna, non sapientia.[103]*

*[broken link: #nc9_103]*

И насколько же судьба облегчает мне расставание с жизнью, доведя ее до черты, у которой она становится никому не нужной и никому не мешает! Такого же положения дел я хотел бы для любого возраста моей жизни, но когда пора сворачиваться и убираться отсюда, испытываешь особое удовлетворение при мысли, что никому своей смертью не доставляешь ни радости, ни печали. Поддерживая безупречное равновесие везде и всюду, судьба установила его и здесь, и те, кто извлечет из моей смерти известную материальную выгоду, с другой стороны, понесут вместе со всеми и материальный ущерб.

Подыскивая себе удобное помещение, я нисколько не думаю о пышности и роскоши меблировки; больше того, я их, можно сказать, ненавижу; нет, я забочусь только о простой чистоте, чаще всего встречающейся в местах, где все бесхитростно, и которые природа отмечает своей особенной, неповторимою прелестью: Non ampliter sed munditer convivium[104] [broken link: #nc9_104]. Plus salis quam sumptus[105] [broken link: #nc9_105].

И, наконец, всякие дорожные затруднения и опасности постигают лишь тех, кто, побужда-

емый своими делами, пускается в разгар зимы через швейцарские горы. Что до меня, то я чаще всего путешествую ради своего удовольствия и неплохо справляюсь с обязанностями проводника. Если небезопасно двигаться вправо, я забираю влево; если мне трудно держаться в седле, я останавливаюсь. И, поступая подобным образом, я, по правде говоря, никогда не сталкиваюсь с чем-либо таким, что казалось бы мне менее приятным и менее привлекательным, чем мой собственный дом. Правда, излишества я неизменно считаю излишними и что в изысканности такое, на что следовало взглянуть? Прекрасно, я туда возвращаюсь: ведь и тут проходит моя дорога. Я не провожу для себя никакой точно обозначенной линии, ни прямой, ни кривой. А что, если там, куда я направился, я не обнаруживаю того, о чем мне говорили? Ну что ж! Очень часто случается, что мнения других не совпадают с моими, и чаще всего я находил их ошибочными; но я никогда не жалею потраченных мною трудов, — я узнал, что того, о чем мне говорили, в действительности там нет.

Мое тело выносливо, и мои вкусы неприхотливы, как ни у кого другого на свете. Различия в образе жизни народов не вызывают во мне

никаких других чувств, кроме удовольствия, доставляемого разнообразием. Всякий обычай имеет свое основание. Будут ли тарелки оловянными, деревянными или глиняными, будут ли меня потчевать жареным или вареным, будет ли масло сливочным, оливковым или ореховым, мне безразлично, и до того безразлично, что, старея, я поругиваю это благородное свойство, и для меня было бы, пожалуй, полезнее, если бы разборчивость и прихотливость пресекали нескромность моего аппетита, предохраняя желудок от переполнения. Когда я бываю за пределами Франции и у меня спрашивают, желая оказать мне любезность, не хочу ли я, чтобы мне подали французские блюда, я неизменно отшучиваюсь и усаживаюсь за стол, уставленный исключительно чужеземными кушаньями.

Мне стыдно за моих соотечественников, охваченных глупой привычкой пугаться всего, что им непривычно; едва они выберутся за пределы своей деревни, как им начинает казаться, что они перенеслись в другой мир. Всюду, куда бы они ни попали, они держатся на свой собственный лад и гнушаются чужестранцев. Наткнись они на француза где-нибудь в Венгрии, это радостное событие тотчас же отмечается пиршеством; они с

ним тут же сходятся и, дружески облобызавшись, совместно принимаются поносить варварские нравы, наблюдаемые ими вокруг себя. А почему бы им и не быть варварскими, раз они не французские? И это еще самые смышленые между ними, ибо они все же познакомились с этими нравами, хотя бы чтобы позлословить о них. Большинство же французов предпринимают поездку, чтобы вернуться с тем, с чем уехали. Они путешествуют, прикрытые и зажатые в тиски непроницаемым и молчаливым благоразумием, оберегаясь от заразы, носящейся в незнакомом им воздухе.

Только что сказанное о моих соотечественниках напоминает мне еще об одной черте, которую я нередко подмечал в молодых людях из числа наших придворных. Они считают людьми только тех, кто принадлежит к их узкому кругу, смотря на нас, всех остальных, как на существа из совершенно другого мира, с презрением или со снисходительной жалостью. Отнимите у них их придворные сплетни, и они окажутся ни при чем, с пустыми руками, такие же неловкие и невежественные, какими представляемся им мы сами. Правильно говорят, что порядочный человек — человек разносторонний.

Что до меня, то, отправляясь в странствия, сытый по горло нашим образом жизни, и, конечно, не для того, чтобы искать гасконцев в Сицилии (их довольно у меня дома), я ищу скорее, если угодно, греков или же персов; я с ними знакомлюсь, я их изучаю; вот к кому стараюсь я приспособиться и примениться. И что самое любопытное: я, кажется, ни разу не сталкивался с обычаями, которые хоть в чем-нибудь уступали бы нашим. Впрочем, я на своем не настаиваю, ведь, можно сказать, я не терял из виду флюгера на моей крыше.

Впрочем, случайные компании, образующиеся в пути, чаще всего доставляют скорее неудобства, чем удовольствие; я никогда к ним не тянулся и еще меньше льну к ним теперь, когда старость обособляет меня от всех остальных и дарует мне кое-какие льготы по части следования общепринятым правилам вежливости. Вы страдаете из-за другого, или из-за вас страдает другой; и то и это стеснительно и тягостно, но последнее, по-моему, более неприятно. Редкая удача, но и необыкновенное облегчение — иметь возле себя порядочного во всех отношениях человека, с ясным умом и нравами, сходными с вашими, и с охотою вам сопутствующего. Во всех моих

путешествиях мне этого крайне недоставало. Но такого спутника надо подыскивать и подбирать, еще не выезжая из дому. И всякий раз, как мне приходит в голову какая-нибудь славная мысль, а поделиться ею мне не с кем, меня охватывает сожаление, что я породил ее в одиночестве. Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam teneam nec enuntiem, reiiciam[106] [broken link: #nc9_106]. А этому подавай еще выше: si contigerit ea vita sapienti ut, omnium rerum affluentibus copiis, quamvis omnia quae cognitione digna sunt summo otio secum ipse consideret et contempletur, tamen si solitudo tanta sit ut hominem videre non possit, excedat e vita[107] [broken link: #nc9_107]. Я одобряю мнение, высказанное Архитом, утверждавшим, что ему было бы не по душе даже на небе и на великих и божественных небесных телах, попади он туда без спутника[108] [broken link: #nc9_108].

Но лучше быть одному, чем среди докучных и глупых людей. Аристипп любил жить, чувствуя себя всегда и везде чужим[109] [broken link: #nc9_109].

*Me si fata meis paterentur ducere vitam*
*Auspiciis,[110] [broken link: #nc9_110]*

то я бы избрал для себя следующее: провести ее с задницею в седле;

> *visere gestiens*
>
> *Qua parte debacchantur ignes,*
>
> *Qua nebulae pluviique rores.[111] [broken link: #nc9_111]*

«Неужели у вас нет менее утомительных развлечений? Не стоит ли ваш дом в прелестной, здоровой местности? Не достаточно ли он обставлен и не более ли чем достаточно просторен? Ведь не раз пышность его обстановки вполне удовлетворяла его величество короля[112] [broken link: #nc9_112]? Не занимает ли ваш род почетного положения, и не больше ли тех, кто ниже его, нежели тех, кто выше? Или вас гложет какая-нибудь чрезвычайная и неустранимая забота о домашних делах?

> *Quae te nunc coquat et vexet sub pectore fixa?[113] [broken link: #nc9_113]*

Или вы предполагали прожить без помех и волнений? Nunquam simpliciter fortuna indulget[114] [broken link: #nc9_114]. Присмотритесь — и вы увидите, что единственно кто вам мешает — это вы сами, а куда бы вы ни отправились, вы всюду

последуете за собою и всюду будете жаловаться на свою участь. Ведь на нашей бренной земле нет удовлетворения никому, кроме душ низменных или божественных. Кто не довольствуется столь благоприятными обстоятельствами, где же он думает найти лучшие? Тысячи и тысячи людей считали бы пределом своих мечтаний благосостояние, равное вашему. Изменитесь сами, ибо это вполне в вашей власти, а что до всего остального, то там вы обладаете единственным правом — терпеливо склоняться перед судьбой. Nulla placida quies est, nisi quam ratio composuit»[115] [broken link: #nc9_115].

Я сознаю всю справедливость этого увещания, и сознаю весьма хорошо; впрочем, было бы и короче и проще сказать то же самое в двух словах: «Будьте благоразумны». Но та душевная твердость, которой от меня требуют, ступенью выше благоразумия: она им порождается и выковывается. Точно так же поступает и врач, который докучает несчастному угасающему больному, требуя, чтобы он был веселым и бодрым; его совет был бы не намного разумнее, говори он ему: «Будьте здоровым». Ну, а я из обыкновенного теста. Вот благодетельное, ясное и понятное изречение: «Будьте довольны своим», то есть тем, что

в пределах ваших возможностей. Но и для более мудрых, чем я, это так же невыполнимо, как для меня. Это — общераспространенное изречение, но оно обнимает воистину необъятное. К чему только оно не относится. Все на свете переживает себя и подвержено изменениям.

Я очень хорошо знаю, что если подойти к делу с формальной меркой, то страсть к путешествиям говорит о внутреннем беспокойстве и нерешительности. Ничего не скажешь, таковы наши важнейшие качества и к тому же главенствующие. Да, признаюсь, я не вижу вокруг себя ничего такого — разве что во сне и в мечтах, — к чему бы я мог прилепиться душой; меня занимает только разнообразие и постижение его бесчисленных форм, если вообще меня что-нибудь может занять. В путешествиях меня именно то и влечет, что я могу останавливаться повсюду, где мне вздумается, не руководясь никакими заранее определенными целями, и так же свободно отступать от только что принятого решения. Я люблю частную жизнь потому, что устраиваю ее по своему усмотрению, а не потому, что общественная жизнь не по мне; и к ней я был бы, пожалуй, не меньше пригоден. Я с большей охотой служу своему государю из-за того, что делаю это по соб-

ственному избранию и убеждению моего разума, а не в силу каких-то особых, лежащих на мне обязательств или потому, что, нежелательный ни в какой другой партии и всеми отвергнутый, я был вынужден примкнуть к его стану. Так и со всем остальным. Я ненавижу куски, которые мне выкраивает необходимость. И любое преимущество комом стало бы у меня в горле, если бы я зависел исключительно от него:

> *Alter remus aquas, alter mihi radat arenas.[116] [broken link: #nc9_116]*

Чтобы связать меня накрепко, нужна не одна веревка, а несколько. Вы скажете, что к такому развлечению, как путешествия, примешалась суетность. А почему бы ей и не быть? Ведь и прославленные и превосходные наставления — суетность, и суетность — всякое мудрствование. Dominus novit cogitationes sapientium, quoniam vanae sunt[117] [broken link: #nc9_117]. Эти едва ощутимые тонкости годны лишь для проповедей; это все — речи, которые тщатся переправить нас в иной мир совсем готовенькими к нему. Жизнь — движение телесное и вещественное, всякая деятельность — несовершенна и беспорядочна по самой своей сущности; и я стремлюсь служить

жизни в соответствии с ее требованиями.

> *Quisque suos patimur manes.[118] [broken link: #nc9_118]*

Sic est faciendum ut contra naturam universam nihil contendamus; ea tamen conservata, propriam sequamur.[119] [broken link: #nc9_119] К чему эти высоко взнесенные вершины философии, если ни одному человеческому существу все равно до них не добраться, и к чему эти правила, которым не подчиняются наши обычаи и которые людям не по плечу? Я часто вижу, как нам предлагают такие образцы жизни, следовать которым не имеют ни малейшей надежды — и, что еще хуже, охоты — ни тот, кто их предлагает, ни его слушатели. От того же листа бумаги, на котором он только что начертал обвинительный приговор по делу о прелюбодеянии, судья отрывает клочок, чтобы написать любовное письмецо жене своего сотоварища, и та, к кому вы придете, чтобы насладиться с нею запретной любовью, вскоре затем, в вашем же присутствии, обрушится на точно такие же прегрешения какой-нибудь из своих товарок, да еще с таким возмущением, что куда до нее самой Порции[120] [broken link: #nc9_120]. И такой-то осуждает на смерть за преступления, которые

считает в душе не более чем проступками. В моей юности мне довелось видеть, как некий дворянин в одно и то же мгновение протянул народу одной рукой стихи, выдающиеся как своей прелестью, так и распущенностью, а другою — самое горячее обличение в безбожии и разврате, какого уже давно не доводилось выслушивать миру[121] [broken link: #nc9_121].

Таковы люди. Законам и заповедям предоставляется жить своей жизнью, мы же живем своею; в не только вследствие развращенности нравов, но зачастую и потому, что придерживаемся других взглядов и смотрим на вещи иными глазами. Послушайте какое-нибудь философское рассуждение — богатство мысли, красноречие, точность высказываний потрясают ваш ум и захватывают вас, но в нем вы не обнаружите ничего такого, что бы всколыхнуло или хотя бы затронуло вашу совесть, — ведь обращаются не к ней. Разве не так? Аристон говорил, что и баня и урок — бесполезны, если они не смывают грязи и после них человек не становится чище[122] [broken link: #nc9_122]. Отчего же! Можно грызть и самую кость, но сначала из нее следует высосать мозг: ведь и мы, лишь влив в себя доброе вино из превосходного кубка, принимаемся рассматривать

вычеканенный на нем рисунок и судить о работе мастера.

Во всех философских сообществах древности всегда можно найти такого работника, который в поучении всем оглашает свои правила воздержности и умеренности и вместе с тем предает гласности свои сочинения, воспевающие любовь и распутство. И Ксенофонт, предаваясь любовным утехам с Клинием, написал против Аристиппова учения о наслаждении[123] [broken link: #nc9_123]. Это происходило с упомянутыми философами не потому, что они переживали какие-то чудесные превращения, находящие на них волнами. Нет, это то самое, из-за чего Солон предстает перед нами то самим собой, то в облике законодателя; то он говорит для толпы, то для себя; и для себя он избирает правила естественные и не стеснительные, ибо уверен в крепости и незыблемости заложенных в нем добрых начал.

> *Curentur*
> *dubii medicis maioribus aegri.[124] [broken link: #nc9_124]*

Антисфен разрешает мудрому любить, как он того пожелает, и делать все, что бы он ни счел полезным, не связывая себя законами; ведь он

прозорливее, чем они, и ему лучше ведомо, что есть настоящая добродетель[125] [broken link: #nc9_125]. Его ученик Диоген говорил, что страстям следует противопоставлять разум, судьбе — твердость, законам — природу[126] [broken link: #nc9_126].

Желудки, подверженные расстройству, нуждаются в искусственных ограничениях и предписаниях. Что до здоровых желудков, то они попросту следуют предписаниям своего естественного влечения. Так и поступают наши врачи, которые едят дыню, запивая ее молодым вином, между тем как держат своих пациентов на сахарной водице и хлебном супе.

«Я не знаю, какие они пишут книги, — говорила куртизанка Лаиса, — в чем их мудрость, какие философские взгляды они проповедуют, но эти молодцы столь же часто стучатся ко мне, как и все остальные»[127] [broken link: #nc9_127]. Так как наша распущенность постепенно уводит нас за пределы дозволенного и допустимого, нашим житейским правилам и законам была придана, и во многих случаях без достаточных оснований, излишняя жестокость.

> *Nemo satis credit tantum delinquere quantum*

*Permittas.[128] [broken link: #nc9_128]*

Было бы желательно установить более разумное соотношение между требуемым и выполнимым; ведь цель, достигнуть которой невозможно, и поставлена, очевидно, неправильно. Нет ни одного честного человека, который, сопоставив свои поступки и мысли с велениями законов, не пришел бы к выводу, что на протяжении своей жизни он добрый десяток раз заслуживал виселицы, и это относится даже к тем, карать и казнить которых было бы и очень жалко, принимая во внимание приносимую ими пользу, и крайне несправедливо.

*Olle, quid ad te*

*De cute quit faciat ille, vel illa sua?[129] [broken link: #nc9_129]*

А иной, может статься, и не нарушает законов, и все же недостоин похвалы за свои добродетели, и философия поступила бы вполне справедливо, если бы его как следует высекла. Взаимоотношения тут крайне сложные и запутанные. Мы не можем и помышлять о том, чтобы считать себя порядочными людьми, если станем исходить из законов, установленных для нас господом богом; мы не можем притязать на это и исходя

из наших законов. Человеческое благоразумие еще никогда не поднималось до такой высоты, которую оно себе предписало; а если бы оно ее и достигло, то предписало бы себе нечто высшее, к чему бы всегда тянулось и чего жаждало; вот до чего наша сущность враждебна всякой устойчивости. Человек сам себя заставляет впадать в прегрешения. Отнюдь не умно выкраивать для себя обязанности не по своей мерке, а по мерке кого-то другого. Кому же предписывает он то, что по его же собственному разумению никому не под силу? И неужели он творит нечто неправое, если не совершает того, чего не в состоянии совершить?

Законы обрекают нас на невозможность выполнять их веления, и они же судят нас за невыполнение этих велений.

Если безобразная наша свобода выказывать себя с разных сторон — действовать по-одному, рассуждать по-другому — и простительна, на худой конец, тем, кто говорит о чем угодно, но только не о себе, то для тех, кто говорит исключительно о себе, как я, она решительно недопустима; моему перу подобает быть столь же твердым, как тверда моя поступь. Общественная жизнь должна отражать жизнь отдельных

людей. Добродетели Катона были для его века чрезмерно суровыми, и, берясь наставлять других, как человек, предназначенный для служения обществу, он мог бы сказать себе, что его справедливость если и не окончательно несправедлива, то по меньшей мере слишком суетна и несвоевременна. И мои нравы, которые отличаются от общепринятых всего на какой-нибудь волосок, нередко восстанавливают меня против моего века и препятствуют моему сближению с ним. Не знаю, обоснованна ли моя неприязнь к обществу, в котором я должен вращаться, но зато я очень хорошо знаю, насколько с моей стороны было бы необоснованно жаловаться на то, что оно относится ко мне неприязненнее, чем я к нему.

Добродетель, потребная для руководства мирскими делами, есть добродетель с выпуклостями, выемками и изгибами, чтобы ее можно было прикладывать и пригонять к человеческим слабостям, добродетель не беспримесная и не безыскусственная, не прямая, не беспорочная, не устойчивая, не незапятнанная. Одного из наших королей упрекают за то, что он слишком бесхитростно следовал добрым и праведным увещаниям своего исповедника[130] [broken link: #nc9_130]. Государственные дела требуют более

смелой морали:

> *exeat aula*
>
> *Qui vult esse pius.[131] [broken link: #nc9_131]*

Как-то раз я попытался руководствоваться при исполнении моих служебных обязанностей воззрениями и набором жизненных правил — строгих, необычных, жестких и беспорочных, придуманных мною в моем углу или привитых мне моим воспитанием, которые я применяю в моей частной жизни если не без некоторых затруднений, то все же уверенно; короче говоря, я попытался руководствоваться добродетелью отвлеченной и весьма ревностной. И что же! Я обнаружил, что мои правила совершенно неприемлемы и, больше того, даже опасны. Кто затесывается в толпу, тому бывает необходимо пригнуться, прижать к своему телу локти, податься назад или, напротив, вперед, даже уклониться от прямого пути в зависимости от того, с чем он столкнется; и ему приходится жить не столько по своему вкусу, сколько по вкусу других, не столько в соответствии со своими намерениями, сколько в соответствии с намерениями других, в зависимости от времени, от воли людей, в зависимости

от положения дел.

Платон говорит, что кому удается отойти от общественных дел, не замарав себя самым отвратительным образом, тот, можно сказать, чудом спасается[132] [broken link: #nc9_132]. И он же говорит, что, веля своему философу стать во главе государства, он имеет в виду не какое-нибудь развращенное государство вроде Афин[133] [broken link: #nc9_133] — и тем более вроде нашего, в котором сама мудрость, и та потеряла бы голову. Ведь и растение, пересаженное в совершенно непривычную и непригодную для него почву, скорее само приспособляется к ней, чем приспособляет ее к себе.

Я чувствую, что если бы мне пришлось полностью отдаться подобным занятиям, я был бы вынужден во многом изменить себя и ко многому примениться. Даже если бы я смог это сделать (а почему бы и нет, будь только у меня достаточно времени и старания), я бы ни за что этого не захотел; небольшого опыта, который я имею в этих делах, оказалось достаточно, чтобы я проникся к ним отвращением. Правда, я ощущаю, как в душе у меня копошатся смутные искушения, порождаемые во мне честолюбием, но я одергиваю себя и не даю им над собой воли:

*At tu, Catulle, obstinatus obdura.[134] [broken link: #nc9_134]*

Меня не призывают к подобной деятельности, и я нисколько этим не огорчаюсь. Свободолюбие и приверженность к праздности — мои основные свойства, а эти свойства совершенно несовместимы с упомянутым занятием.

Мы не умеем распознавать человеческие способности; их оттенки и их границы с трудом поддаются определению и едва уловимы. На основании пригодности кого-либо к частной жизни заключать о его пригодности к исполнению служебных обязанностей — значит делать ошибочное заключение: такой-то прекрасно себя ведет, но он не умеет вести за собой других, такой-то творит «Опыты», но не очень-то горазд на дела; такой-то отлично руководит осадой, но не мог бы руководить сражением в поле; такой-то превосходно рассуждает в частной беседе, но он плохо говорил бы перед народом или перед лицом государя. И если кто-нибудь отлично справляется с тем-то и тем-то, то это говорит скорее всего о том, что с чем-либо другим ему, пожалуй, не справиться. Я нахожу, что души возвышенные не меньше способны на низменные дела, чем низкие — на возвышенные.

Можно ли поверить, что Сократ неизменно подавал афинянам повод к насмешкам на его счет из-за того, что никогда не умел правильно сосчитать черепки при голосовании своей филы и соответствующим образом доложить о результатах Совету[135] [broken link: #nc9_135]?

Восхищение, с каким я отношусь к совершенствам Сократа, заслуживает того, чтобы судьба этого человека явила столь великолепный пример, извиняющий главнейшие мои недостатки.

Способности наши раздроблены, и каждая из них приурочена к чему-либо строго определенному. Мои отнюдь не многообразны и ничтожны числом. Сатурнин заявил передававшим ему верховное начальствование над войском: «Друзья, вы лишились хорошего полководца и приобрели дурного главнокомандующего»[136] [broken link: #nc9_136]. Кто похваляется, что в наше занемогшее столь тяжким недугом время он отдает на служение обществу добродетель бескорыстную и искреннюю, тот или вовсе ее не знает, так как воззрения извращаются вместе с нравами (и в самом деле, послушайте, какою они рисуют свою добродетель, послушайте, как большинство из них хвастается своим мерзостным неведением и как они определяют свои житейские прави-

ла: вместо того, чтобы изобразить добродетель, они рисуют самую очевидную неправедность, а также явный порок, и в таком искаженном виде преподносят в поучение государям), или, если он все же имеет о ней понятие, то похваляется ею безо всяких к тому оснований и, что бы он об этом ни говорил, делает тысячи вещей, за которые его укоряет совесть.

Я охотно поверил бы Сенеке, обладавшему большой опытностью в делах этого рода, если бы он пожелал говорить со мною вполне чистосердечно и искренне. Наивысшая степень добропорядочности в таком сложном и затруднительном положении — это смело обнаружить как свои собственные ошибки, так и ошибки другого; противодействовать, используя свое влияние и могущество, дурным наклонностям государя и сдерживать их, насколько это возможно; уступать им лишь скрепя сердце; уповать на лучшее и желать лучшего. Я замечаю, что среди раздирающих Францию междоусобиц и распрей, в которые мы себя ввергли, каждый хлопочет только о том, чтобы отстоять свое дело, и что при этом даже самые лучшие лицемерят и лгут. И тот, кто стал бы писать о нем с полною откровенностью, написал бы что-нибудь дерзкое и

безрассудное. Но и наиболее чистая наша партия — не что иное как часть некоего тела, насквозь изъеденного червями и кишмя кишащего ими. Впрочем, наименее больную часть подобного тела называют здоровой — и с достаточным правом, ибо о наших качествах можно судить лишь путем сравнения с другими. Гражданская безупречность определяется в зависимости от места и времени. Я считал бы вполне справедливым, если бы Ксенофонт похвалил Агесилая за следующее: некий соседний царь, с которым Агесилай прежде сражался, попросил его позволить ему пройти на свои земли; Агесилай ответил на это согласием и предоставил ему свободный проход через Пелопоннес; и он не только не бросил его в темницу и не поднес ему яду, хотя тот и был в его власти, но оказал ему любезный прием и ничем его не обидел[137] [broken link: #nc9_137]. При воззрениях того времени в этом не было ничего особенного; но в другие времена и в другом месте на благородство и великодушие такого поступка обратили бы несомненно больше внимания. А наши прожженные молодцы без чести и совести подняли бы его насмех — вот до чего далеко спартанское простодушие от французских нравов!

И у нас не перевелись добродетельные мужи

— правда, по нашей мерке. Если чья-нибудь нравственность подчинена правилам, возвышающимся над общим уровнем века, то пусть такой человек либо в чем-нибудь урежет и смягчит эти правила, либо, и это я бы ему скорее всего посоветовал, забьется в свою конуру и не толчется среди нас. Что он мог бы от этого выиграть?

> *Egregium sanctumque virum si cerno, bimembri*
>
> *Hoc monstrum puero, et miranti iam sub aratro*
>
> *Piscibus inventis, et foetae comparo mulae.[138] [broken link: #nc9_138]*

Можно сожалеть о лучших временах, но нельзя уйти от своего времени; можно мечтать о других правителях, но повиноваться, несмотря ни на что, приходится существующим. И, пожалуй, большая заслуга повиноваться дурным, чем хорошим. Пусть хоть какой-нибудь уголок нашего королевства озарится светом своих исконных и привычных законов, и я тотчас же устремлюсь туда. Но если эти законы начнут на беду противоречить себе самим и мешать друг другу и на этой почве возникнут две враждебные партии, выбор между которыми затруднителен и внуша-

ет сомнения, мое решение, вернее всего, будет состоять в том, чтобы как-нибудь улизнуть и укрыться от этой бури; а тем временем за мною, быть может, протянут руку сама природа или превратности гражданской войны. Я мог бы без околичностей высказаться, за кого я, за Цезаря или Помпея. Но при тех трех мошенниках[139] [broken link: #nc9_139], которые пришли вслед за ними, только и оставалось, что скрыться или отдаться на волю волн; и я это считаю вполне позволительным, если разум больше не в состоянии руководить государством,

> *Quo diversus abis?[140] [broken link: #nc9_140]*

Начинка, которую я сюда напихал, отвлекла меня от моей темы. Я блуждаю из стороны в сторону, но скорее по собственной прихоти, чем по неумелости. Мои мысли следуют одна за другой, — правда, иногда не в затылок друг другу, а на некотором расстоянии, — но они все же всегда видят друг друга хотя бы краешком глаза. Я пробегаю взглядом некий диалог Платона, представляющий собой причудливую и пеструю смесь: начало его о любви, конец посвящен риторике. Древние ничуть не боялись

такого переплетения и с невыразимым изяществом позволяли увлекать себя дуновениям ветра или, что тоже возможно, притворялись, будто дело обстоит именно так. Названия моих глав не всегда полностью охватывают их содержание; часто они только слегка его намечают, служа как бы вехами, вроде следующих заглавий, данных своим произведениям древними: «Девушка с Андроса», «Евнух»[141] [broken link: #nc9_141], — или таких заглавий-имен, как «Сулла», «Цицерон», «Торкват».

Я люблю бег поэзии, изобилующий прыжками и всякого рода курбетами. Это — искусство, как говорит Платон[142] [broken link: #nc9_142], легкокрылое, стремительное, лукавое. У Плутарха есть сочинения, в которых он забывает о своей теме, где предмет его рассуждения, погребенный под целой грудой побочного материала, появляется на поверхности лишь от случая к случаю; посмотрите, как он рассказывает о Сократовом «демоне»[143] [broken link: #nc9_143]! О боже, до чего пленительны эти внезапные отклонения в сторону, это неиссякаемое разнообразие, и они тем больше поражают нас своей красотой, чем более случайной и непредумышленной она представляется. И если кто теряет нить моих

мыслей, так это нерадивый читатель, но вовсе не я; он всегда сможет найти где-нибудь в уголке какое-нибудь словечко, которого совершенно достаточно, чтобы все стало на свое место, хотя такое словечко и не сразу разыщешь. Всегда и везде я домогаюсь разнообразия, притом шумно и навязчиво. Мой стиль и мой ум одинаково склонны к бродяжничеству. Лучше немного безумия, чем тьма глупости, говорят наставления наших учителей и еще убедительнее — оставленные ими примеры.

Тысячи поэтов проходят свой путь, уныло плетясь, и их поэзия насквозь прозаична: зато лучшая античная проза (а я рассыпаю ее здесь наравне со стихами) блещет поэтической силой и смелостью и проникнута той же вдохновенною одержимостью, которая отличает поэзию. Поэзии, и только поэзии, должно принадлежать в искусстве речи первенство и главенство.

Это — исконный язык богов. Поэт, по словам Платона[144] [broken link: #nc9_144], восседая на треножнике муз, охваченный вдохновением, изливает из себя все, что ни придет к нему на уста, словно струя родника; он не обдумывает и не взвешивает своих слов, и они истекают из него в бесконечном разнообразии красок, противоре-

чивые по своей сущности, и не плавно и ровно, а порывами. Сам он с головы до пят поэтичен, и, как утверждают ученые, древняя теогоническая поэзия — это и есть первая философия.

Я считаю, что предмет изложения сам за себя говорит: хорошо видно, где начинается его рассмотрение, где заканчивается, где оно изменяется или возобновляется, и вовсе не нужно переплетать излагаемое всевозможными вставками, швами и связками, включенными в него только затем, чтобы помочь слабому и небрежному слуху, как не нужно и на каждом шагу пояснять себя самого. Кто бы не предпочел, чтобы его лучше совсем не читали, чем читали, засыпая над ним или бегло проглядывая? Nihil est tam utile, quod in transitu prosit[145] [broken link: #nc9_145].

Если бы подержать книги в руках означало удержать их в голове, если бы взглянуть на них означало рассмотреть все, что в них заключается, если бы поверхностно ознакомиться с ними означало бы охватить их во всей полноте, то мне бы действительно не следовало выставлять себя, как я это делаю, круглым невеждой.

Раз я не могу привлечь внимания читателя своими достоинствами, manco male[146] [broken link: #nc9_146], если его привлекут мои запутан-

ность и неясность. — Вот как! А если он потом пожалеет о потраченном времени? — Возможно, но время на меня он все же потратит. И потом встречаются души, глубоко презирающие все, что доступно их разумению; и они оценят меня тем выше, чем непонятнее для них будут мои слова; они заключат о глубине моих мыслей, исходя из их смутности, которую, по совести говоря, я ненавижу всем сердцем и которой я бы с радостью избегал, если бы умел ее избежать. Аристотель где-то похваляется тем, что питает к ней слабость; вот уж, поистине, порочная слабость[147] [broken link: #nc9_147]!

Так как дробление текста на чересчур короткие главы — чем я поначалу широко пользовался — отвлекает внимание, как мне кажется, прежде, чем оно успевает сосредоточиться, и оно рассеивается, не желая себя утруждать и задерживаться ради такой безделицы, я решил нарастить им длины с тем, чтобы за них принимались, лишь настроясь на чтение и отводя ему известное время. Если какому-нибудь занятию не хотят уделить и часа, это значит, что ему вообще ничего не хотят уделить. Если для кого-либо делают что-нибудь попутно и между прочим, это значит, что для него вообще ничего не делают.

Кроме того, в силу особых причин иногда я бываю вынужден говорить только наполовину, говорить только обиняками, говорить сбивчиво.

Я хотел сказать, что проклинаю тот разум, который убивает всякую радость, и что сумасбродные выдумки, которые усложняют жизнь, и необыкновенно тонкие мысли, даже если в них есть зерно истины, обходятся, на мой взгляд, слишком дорого и причиняют слишком много хлопот. Что до меня, то я, например, стараюсь извлечь пользу даже из суетности и ослиной глупости, если они доставляют мне удовольствие, и следую вложенным в меня природою склонностям, не очень-то их стесняя и не придираясь к ним по мелочам.

И в других местах я видел развалины зданий, и статуи, и землю, и небо, и везде и всюду — людей. Все это так, но, тем не менее, как бы часто я ни посещал гробницу некогда столь великого и могучего города, я неизменно в восхищении от него и благоговею пред ним. Не забывать мертвых похвально. А с этими мертвыми я знаком с детства, вырос бок о бок с ними; я познакомился с историей Рима намного раньше, чем с историей моего рода. Я знал Капитолий и его план прежде, чем узнал Лувр, и Тибр — прежде, чем Сену. У меня в голове было больше сведений об образе

жизни и богатствах Лукулла, Метелла и Сципиона[148] [broken link: #nc9_148], чем о ком-либо из моих соотечественников. Это покойники. Но ведь покойник и мой отец, и точно такой же, как эти. За восемнадцать лет[149] [broken link: #nc9_149] он удалился от меня и от жизни на точно такое же расстояние, как они за шестнадцать столетий. А между тем, чтя его память и постоянно вспоминая о нем, я продолжаю пользоваться его дружбой и обществом, и у меня с ним на редкость близкие отношения и исключительное единомыслие.

Что до моих личных склонностей, то я охотнее всего оказываю услуги умершим: они не могут себе помочь и тем больше, мне кажется, нуждаются в моей помощи. Это проявление благодарности, и притом в ее наиболее чистом виде. В благодеянии тем меньше истинного великодушия и благородства, чем больше вероятность, что оно будет возмещено. Аркесилай, посетив больного Ктесибия и застав его в крайней бедности, незаметно сунул под его изголовье деньги; сделав это украдкой, он, сверх того, как бы выдал ему расписку, подтверждающую, что они в полном расчете[150] [broken link: #nc9_150]. Люди, заслужившие с моей стороны дружеское расположение и признательность, никогда не бывали внакладе от

того, что их больше нет возле меня; с ними, отсутствующими и ничего не подозревающими, я всегда расплачивался и с большей щедростью и с большей тщательностью, чем со всеми другими. И о своих друзьях я говорю с особой теплотою и любовью лишь тогда, когда у них больше нет ни малейшей возможности узнать об этом.

Я сотни раз затевал жаркие споры, защищая Помпея и вступаясь за Брута[151] [broken link: #nc9_151]. Наши близкие отношения продолжаются и посейчас; ведь даже события современности мы представляем себе не иначе как при посредстве нашего воображения. Считая, что моему веку я совершенно не нужен, я мысленно переношусь в далекое прошлое, и я настолько им покорен и пленен, что меня увлекает и страстно интересует решительно все, относящееся к древнему городу Риму — свободному, справедливому и находящемуся в расцвете сил (ибо я не люблю ни его младенчества, ни его старости). Вот почему, как бы часто мне ни доводилось смотреть на места, где были проложены его улицы и где стояли его дома, и на эти развалины, уходящие так глубоко в землю, точно они простираются до антиподов, я неизменно испытываю все то же волнение. И внушено ли это нам самою природой

или, быть может, прихотью нашего воображения, но только вид площадей, на которых собирались и где обитали те, чьи славные имена сохраняются в нашей памяти, волнует нас значительно больше, чем если бы нам рассказывали об их деяниях или мы сами читали их собственные творения. Tanta vis admonitionis inest in locis. Et id quidem in hac urbe infinitum; quacunque enim ingredimur, in aliquam historiam vestigium ponimus[152] [broken link: #nc9_152]. Мне нравится всматриваться в их лица, изучать их манеру держаться, их одежду. Я снова и снова твержу про себя их великие имена, и они непрерывно отдаются в моих ушах. Ego illos veneror et tantis nominibus semper assurgo[153] [broken link: #nc9_153]. И если что-либо хоть какой-нибудь частичкой своей величественно и замечательно, я восхищаюсь в нем всем, даже тем, что не представляет собой ничего выдающегося. С каким наслаждением наблюдал бы я этих людей за беседой, за трапезой, на прогулке! Было бы черной неблагодарностью относиться с пренебрежением к останкам и теням стольких доблестных и достойных мужей, которые жили и умирали, можно сказать, у меня на глазах и которые всей своей жизнью могли бы преподать нам столько полезного и поучительного, если бы

мы умели следовать их примеру.

И потом тот Рим, который мы теперь видим, заслуживает нашей любви также и потому, что он в течение столь долгого времени и столькими узами связан с нашей державою. Это единственный город, общий для всех и всесветный. Правящий им верховный владыка в одинаковой мере почитаем повсюду; этот город — столица всех христианских народов; испанец и француз — всякий в нем у себя дома. Чтобы быть подданным его государя, достаточно быть христианином, независимо от того, откуда ты родом и где находится твое государство. На нашей бренной земле нет другого такого места, которому небо дарило бы с таким постоянством свою благосклонность. Даже развалины этого города величавы и овеяны славой,

> *Laudandis pretiosior ruinis.[154] [broken link: #nc9_154]*

Даже в гробнице он сохраняет отличительные черты и облик времен империи. Ut palam sit uno in loco gaudentis opus esse naturae[155] [broken link: #nc9_155]. Иной мог бы себя обругать и возмутиться собой самим, заметив, что и он не остается бесчувственным к столь суетным удовольствиям.

Но наши склонности, если они даруют нам приятные ощущения, не так уже суетны. И какими бы они ни были, если они доставляют удовлетворение человеку, не лишенному здравого смысла, я не стану его жалеть.

Я бесконечно обязан судьбе, до последнего времени не причинившей мне особенно больших горестей, по крайней мере таких, вынести которые мне было бы не под силу. Не значит ли это, что она оставляет в покое тех, кто ничем ей не досаждает?

*Quanto quisque sibi plura negaverit*
*A diis plura feret. Nil cupientium*
*Nudus castra peto…*
*…multa petentibus*
*Desunt multa.[156] [broken link: #nc9_156]*

Если и впредь она будет вести себя не иначе, я уйду из этого мира вполне довольным и удовлетворенным,

*nihil supra*
*Deos lacesso.[157] [broken link: #nc9_157]*

Но берегись толчка у причала! Тысячи людей погибают уже по прибытии в гавань.

Я заранее мирюсь со всем, что свершится, когда

меня больше не будет; мне хватает забот, причиняемых событиями нашего времени,

*fortunae cetera mando.[158] [broken link: #nc9_158]*

И к тому же я свободен от тех прочных уз, которыми, как говорят, человека связывают с будущим дети, наследующие его имя и его честь; ну что ж! Значит, мне тем более не к чему их желать, если они вообще так уж желательны. Я и через себя самого слишком крепко привязан к этому миру и к этой жизни. С меня совершенно достаточно, что я в руках у судьбы и мое существование всецело зависит от обстоятельств, находящихся в ее воле; а раз так, то я не хочу, чтобы она властвовала надо мной и в другом; и я никогда не считал бездетность несчастьем, обязательно лишающим человека радости и полноты жизни. Бесплодие также имеет свои преимущества. Дети — из числа тех вещей, которых не приходится так уж пламенно жаждать, и особенно в наши дни, когда столь трудно воспитать их добропорядочными. Bona iam nec nasci licet, ita corrupta sunt semina[159] [broken link: #nc9_159]; а вот оплакивать их потерю тем, у кого они были, приходится, и даже очень приходится.

Тот, кто оставил на мое попечение дом и поместье, неоднократно предсказывал, что я доведу их до полного разорения; он исходил из того, что во мне нет хозяйственной жилки. Он ошибся. Я такой же, каким вступил во владение ими, если только не стал чуточку побогаче; и это — без государственной должности и без сторонних доходов от бенефиция.

Если судьба не обрушила на меня никаких из ряда вон выходящих и особо сильных ударов, то вместе с тем она меня и не баловала. У меня нет ничего по-настоящему значительного и стоящего, за что я должен был бы благодарить ее щедрость. Если я и мои домашние и обласканы иными ее дарами, то все это приобретено более чем за век до меня. Впрочем, она мне подарила кое-какие легковесные милости, каковы, например, титулы и почет, не представляющие собой ничего существенного; да в их, по правде говоря, она мне не пожаловала, а всего-навсего предложила; господи боже! — и это мне, человеку с головы до пят земному и телесному, находящему для себя удовольствие только в вещественном и осязаемом, и притом лишь весомом и основательном, и считающему, если позволительно в этом признаться, жадность не менее извинительной, чем

честолюбие, страх перед физической болью не менее уважительным, чем страх перед позором, здоровье не менее драгоценным, чем ученость, и богатство не менее желанным, чем знатность.

Среди ее суетных милостей я могу назвать единственную, которая и впрямь тешит одну из моих нелепых причуд; я говорю о грамоте, жалующей меня римским гражданством и выданной мне в мое последнее посещение этого города; нарядная, с золотыми печатями и выведенными золотом буквами, она была пожалована мне с милостивейшей щедростью. И так как подобные грамоты составляются в разном стиле, с выражением большей или меньшей благосклонности, и так как я сам был очень непрочь ознакомиться с ее текстом прежде, чем она будет мне вручена, я хочу привести ее здесь слово в слово, чтобы удовлетворить любопытство тех, кто — если такие найдутся — страдает этой болезнью не меньше моего:

> Quod Horatius Maximus, Martius Cecius, Alexander Mutus, almae urbis conservatores, de Illustrissimo viro Michaele Montano, equite sancti Michaelis et a Cubiculo Regis Christianissimi, Romana civitate donando,

ad senatum retulerunt, S. P. Q. R. de ea re ita fieri censuit:[*] [broken link: #f8]

Cum veteri more et instituto cupide illi semper studioseque suscepti sint, qui, virtute ac nobilitate praestantes, magno Reip. nostrae usui atque ornamento fuissent vel esse aliquando possent. Nos, maiorum nostrorum exemplo atque auctoritate permoti, praeclaram hanc Consuetudinem nobis imitandam ac servandam fore censemus. Quamobrem, cum Illustrissimus Michael Montanus, Eques sancti Michaelis et a Cubiculo Regis Christianissimi, Romani nominis studiosissimus, et familiae laude atque splendore et propriis virtutum meritis dignissimus sit, qui summo Senatus Populique Romani iudicio ac studio in Romanam Civitatem adsciscatur, placere Senatui P. Q. R. Illustrissimum Michaelem Montanum, rebus omnibus ornatissimum atque huic inclyto populo carissimum, ipsum posterosque in Romanam Civitatem adscribi ornarique omnibus et praemiis et honoribus quibus illi fruuntur qui Cives Patriciique Romani nati aut iure optimo facti sunt. In quo censere Senatum P. Q. R.

> se non tam illi Ius Civitatis largiri quam debitum tribuere, neque magis beneficium dare quam ab ipso accipere qui, hoc Civitatis munere accipiendo, singulari Civitatem ipsam ornamento atque honore affecerit. Quam quidem S. C. auctoritatem iidem Conservatores per Senatus P. Q. R. scribas in acta referri atque in Capitolii curia servari, privilegiumque huiusmodi fieri, solitoque urbis sigillo communiri curarunt. Anno ab urbe condita MMCCCXXXI, post Christum natum MDLXXX, III Idus Martii. Horatius Fuscus, sacri S. P. Q. R. scriba. Vincen. Martholus, sacri S. P. Q. R. scriba.[*] [broken link: #f9]

Не являясь гражданином ни одного города, я был весьма рад сделаться гражданином самого благородного из всех, какие когда-либо были или когда-либо будут. Если бы и другие всматривались в себя так же пристально, как это делаю я, то и они нашли бы себя такими же, каков я, то есть заполненными всякой тщетой и всяким вздором. Избавиться от этого я не могу иначе, как избавившись от себя самого. Все мы проникнуты суетой, но кто это чувствует, тот все же менее

заблуждается; впрочем, может быть, я и неправ.

Всеобщее обыкновение и стремление всматриваться во что угодно, но только не в самих себя, в высшей степени благодетельно для нашего брата. Ведь мы представляем собой не очень-то приятное зрелище: суетность и убожество — вот и вся наша сущность. Чтобы не отнять у нас бодрости духа, природа направила — и, надо сказать, весьма кстати — деятельность нашего органа зрения лишь на пребывающее вне нас. Мы плывем по течению, а повернуть в обратную сторону и возвратиться к себе — дело исключительно трудное; ведь и море злится и препятствует себе самому, когда, встретив преграду, отходит назад. Посмотрите, говорит каждый, как разыгрывается ненастье, посмотрите на окружающих, посмотрите на иск, предъявленный тем-то, посмотрите на цвет лица того-то, на завещание, оставленное таким-то; короче говоря, посмотрите вверх или вниз, или вбок, или перед собой, или оглянитесь назад. Но повеление дельфийского бога, полученное нами от него в стародавние времена, предъявляет нам требования, идущие наперекор всем нашим повадкам: «Всмотритесь в себя, познайте себя, ограничьтесь самими собой; ваш разум и вашу волю, растрачиваемые вами вовне,

направьте, наконец, на себя; вы растекаетесь, вы разбрасываетесь; сожмитесь, сосредоточьтесь в себе; вас предают, вас отвлекают, вас похищают у вас самих. Разве ты не видишь, что этот мир устремляет свои взоры внутрь себя и его глаза созерцают лишь себя самого? Суетность — вот твой удел и в тебе самом и вне тебя, но, заключенная в тесных границах, она все-таки менее суетна. О, человек, кроме тебя одного, — говорит этот бог, — все сущее прежде всего познает самого себя и в соответствии со своими потребностями устанавливает пределы своим трудам и своим желаниям. И нет ни одного существа, которое было бы столь же нищим и одолеваемым нуждами, как ты, человек, жаждущий объять всю вселенную. Ты — исследователь без знаний, повелитель без прав и, в конце концов, всего-навсего шут из фарса».

## Глава X
## О том, что нужно владеть своей волей

По сравнению с другими людьми меня задевают или, правильнее сказать, захватывают только немногие вещи; что задевают, это вполне естественно, лишь бы они не держали нас в своей власти. Я прилагаю всяческие старания, чтобы с помощью упражнения и размышления усилить в себе душевную неуязвимость, к чему я в немалой мере приуготовлен самой природой и что является большим преимуществом для человека. Меня увлекает и, стало быть, волнует очень немногое. Взгляд у меня острый, но я останавливаю его лишь на немногих предметах; чувства у меня тонкие и сильные. Но что касается восприимчивости и внимательности, то тут я глух и туп: меня трудно пронять. Насколько это у меня получается, я занимаюсь только собой; но и любовь к себе я бы охотно обуздывал и укрощал, чтобы она не поглотила меня целиком и полностью, потому что и она направлена на предмет, которым я владею по чужой милости и на который судьба имеет больше прав, нежели я. Таким образом, да-

же здоровья, которое я так высоко ценю, — и его я не должен желать и отдаваться заботам о нем с таким пылом, чтобы болезни стали казаться мне чем-то совершенно невыносимым. Следует держаться между ненавистью к страданию и любовью к наслаждению; и Платон советует избирать средний жизненный путь между этими двумя чувствами[1] [broken link: #nc10_1].

Но чувствам, отвлекающим меня от себя и привязывающим к чему-либо другому, — им я противлюсь изо всех сил. Я считаю, что хотя и следует одалживать себя посторонним, отдавать себя нужно только себе самому. Если бы моя воля с легкостью предоставляла себя в распоряжение кого-то другого, я бы не выдержал этого, — слишком уж я изнежен и от природы и вследствие давних моих привычек,

> *fugax rerum, securaque in otia natus.[2] [broken link: #nc10_2]*

Ожесточенные и упорные прения, в которых мой противник, в конце концов, взял бы надо мной верх, их исход, делающий постыдной мою горячность в отстаивании своей правоты, нанесли бы мне, по всей вероятности, очень жестокий удар. Если бы я уходил в мои дела с головой, как

это бывает с другими, моя душа никогда бы не смогла справиться с тревогами и треволнениями, неотступно следующими за теми, кто всегда и везде увлекается и горит: этим внутренним возбуждением она была бы немедленно подавлена и разбита. В тех случаях, когда меня все-таки заставляют браться за чужие дела, я обещаю, что возьму их в свои руки, но не в легкие и не в печень; что возложу их на себя; что буду о них радеть — это так, — но не стану ради них расшибаться в лепешку; я за ними присматриваю, но я их не высиживаю, как курица яйца. У меня достаточно забот с налаживанием и приведением в порядок моих собственных дел, которые сидят у меня в печенках и тянут из меня жилы, чтобы принимать и взваливать на себя еще и чужие, и я достаточно поглощен моими делами — существенными, сугубо личными и навязанными мне самою природой, чтобы обременять себя, вдобавок, и посторонними. Кто хорошо видит, в каком он долгу пред собою и сколько обязан для себя сделать, тот понимает, что природа возложила на него достаточно сложное и отнюдь не допускающее праздности поручение. У тебя сколько угодно дела с самим собой; так не отдаляйся же от себя.

Люди предоставляют себя внаймы. Их способ-

ности служат не им, но тем, к кому они идут в кабалу; в них обитают их наниматели, но не они сами. Это всеобщее поветрие не по мне; нужно оберегать свободу нашей души и ущемлять ее только в тех случаях, когда это безусловно необходимо; а таких случаев, если рассудить здраво, очень немного. Взгляните на людей, которым свойственно вечно гореть и вмешиваться во все на свете; они делают это всегда и везде, как в малом, так и в большом, как в том, что их касается, так и в том, что их ни с какой стороны не касается; и они суются во все, что им сулит хлопоты и обязанности, и не чувствуют, что живут, если не исполнены тревоги и возбуждения. In negotiis sunt negotii causa[3] [broken link: #nc10_3]. Они ищут себе занятий лишь для того, чтобы себя занять.

И это вовсе не потому, что им хочется двигаться, а потому, что они не в состоянии остаться на месте; ни дать ни взять, как падающий с высоты камень, которому никак не остановиться, пока он не шлепнется на землю. Занятость для известного сорта людей — доказательство их собственных дарований и их достоинств. Их дух успокаивает встряхивание, подобно тому как младенцев — люлька. Они могли бы себе сказать, что столь же услужливы для других, как несносны самим

себе. Никто не раздает всех своих денег другим, а вот свое время и свою жизнь раздает каждый; и нет ничего, в чем бы мы были настолько же расточительны и в чем скупость была бы полезнее и похвальнее.

Что до меня, то я совершенно другого склада. Я цепко держусь за себя и обычно вяло желаю того, чего желаю, а желаю я малого; то же относится и к моим занятиям и трудам; я предаюсь им редко и не теряя спокойствия. А рвутся к этому всеми своими помыслами и изо всех сил. Но ведь бывает столько ложных шагов, что для большей уверенности и безопасности следовало бы ступать по этому миру полегче и едва касаясь его поверхности. Следовало бы скользить по нему, а не углубляться в него. Даже наслаждение в глубинах своих мучительно.

> *incedis per ignes*
>
> *Suppositos cineri doloso.[4] [broken link: #nc10_4]*

Горожане Бордо избрали меня мэром их города, когда я был далеко от Франции и еще дальше от мысли об этом[5] [broken link: #nc10_5]. Я отнекивался, но мне принялись доказывать, что я поступаю неправильно, и к тому же дело было ре-

шено повелением короля. Эта должность должна казаться тем привлекательнее, что она никак не оплачивается и не приносит никаких иных выгод, кроме почета, связанного с ее исполнением. Срок пребывания в ней — два года; впрочем, он может быть удлинен повторным избранием, что случается чрезвычайно редко. Это произошло и со мной; а до меня происходило лишь дважды: несколько лет тому назад с господином де Ланса-ком, а совсем недавно с господином де Бироном[6] [broken link: #nc10_6], маршалом Франции, место которого я и занял, освободив свое для господина де Матиньона[7] [broken link: #nc10_7], также маршала Франции. Я горжусь столь знатными сотоварищами,

> *uterque bonus pacis bellique minister.[8] [broken link: #nc10_8]*

Судьба захотела особо отметить мое возвышение, привнеся от себя это частное обстоятельство. Однако оно вовсе не маловажно. Александр с пренебрежением выслушал коринфских послов, предложивших ему звание гражданина их города; когда же они сослались на то, что Вакх и Геракл также были гражданами Коринфа, он с благодарностью принял их предложение[9]

[broken link: #nc10_9].

По возвращении я честно и добросовестно рассказал городским советникам, каков я на мой собственный взгляд: у меня нет ни памяти, ни усердия, ни опыта, ни настойчивости, но вместе с тем нет и ненависти к кому бы то ни было, нет честолюбия, жадности, жажды насилия; я это сделал ради того, чтобы они были полностью обо мне осведомлены и знали, чего могут ожидать от меня в этой должности. И так как к моему избранию их побудило исключительно то, что им был хорошо известен мой покойный отец и они продолжали высоко чтить его память, я добавил с полною откровенностью, что мне было бы крайне прискорбно, если бы что-нибудь поглотило меня так же сильно, как его поглощали дела их города в те времена, когда он управлял ими, занимая ту самую должность, на которую они меня призывают[10] [broken link: #nc10_10]. Мне вспомнилось, как в дни моего детства я видел его, уже старика, постоянно в жестоких волнениях и тревогах, связанных с этими многотрудными общественными обязанностями; он забывал о том, что дышит сладостным воздухом своего дома, к которому его за много лет перед тем приковали естественные для его возраста недуги и слабость,

о своем хозяйстве, своем здоровье; и, ставя под угрозу самую жизнь, — он считал, что все это для него гибельно, — пускался, побуждаемый городскими делами, в дальние и утомительные поездки. Таков он был; и эта свойственная ему черта объясняется бесконечной его добротой, вложенной в него самою природой; никогда еще не бывало души более благожелательной и милосердной. И хотя я не склонен придерживаться схожего образа жизни, на что у меня найдутся свои оправдания, все же я считаю его достойным всяческой похвалы. От кого-то мой отец слышал, что ради ближнего нужно забывать о себе и что личное не идет ни в какое сравнение с общим.

Большинство распространенных в мире правил и наставлений ставит себе задачей извлечь нас из нашего уединения и выгнать на площадь, дабы мы трудились на благо обществу. Они задуманы с тем, чтобы, оказав на людей благотворное действие, принудить их отвернуться и отвлечься от своего «я»; при этом они исходят из представления, что мы слишком за себя держимся и что в этом повинна чрезмерная, хотя и естественная привязанность к самому себе; в них не упущено ничего, что может быть сказано с этой целью. Ведь мудрецам вовсе не внове изображать вещи

не такими, каковы они в действительности, а такими, чтобы они могли сослужить известную службу. Истина иногда бывает для нас затруднительна, неудобна и непригодна. Нам нередко необходимо обманывать, чтобы не обмануться, щуриться и забивать себе мозги, чтобы научиться отчетливее видеть и донимать. Imperiti enim iudicant, et qui frequenter in hoc ipsum fallendi sunt, ne errent[11] [broken link: #nc10_11]. Когда правила эти велят нам любить три, четыре, пятьдесят разрядов вещей сильнее, чем самих себя, они идут по стопам искусного лучника, который целит, чтобы попасть в нужную ему точку, намного выше своей мишени. Чтобы выпрямить изогнутый кусок дерева, нужно гнуть его в противоположную сторону.

Думаю, что в храме Афины-Паллады, как и в остальных известных нам культах, были таинства явные, предназначенные для всех, и таинства более возвышенные и более сокровенные, предназначенные только для посвященных. Весьма вероятно, что именно здесь закладывались корни учения о той дружбе к себе, которой подобает жить в каждом из нас. Это — не та мнимая дружба, что заставляет нас любить славу, науку, богатство и тому подобные вещи такой

же всеохватывающей и безграничной любовью, какую мы питаем к членам нашего тела; это — и не та расслабленная и неразумная дружба, с которой случается то же, что бывает, как мы наблюдаем, с плющом, портящим и разрушающим обвиваемую им стену; нет, речь идет о дружбе благодетельной и упорядоченной, как полезной, так равно и приятной. Кто знает ее обязанности и исправно их выполняет, тот, поистине, в обиталище муз: он достиг вершин человеческой мудрости и доступного для нас счастья. Зная в точности, в чем его долг пред собой, он находит в списке предъявленных к нему требований, что ему надлежит придерживаться обыкновения, принятого другими людьми и всем миром, и в силу этого — служить обществу, выполняя обязанности, которые оно на него возлагает. Кто в некоторой мере не живет для других, тот совершенно не живет для себя. Qui sibi amicus est, scito hunc amicum omnibus esse[12] [broken link: #nc10_12]. Главнейшая обязанность каждого — это вести себя подобающим образом; и только благодаря этому мы существуем. Кто забывает о том, что ему следует жить свято и праведно, и думает, что, подталкивая и направляя других, тем самым рассчитывается по лежащему на нем

долгу, тот — глупец и тупица; а кто отказывает себе в удовольствии жить здраво и весело и полностью отдается служению на благо другим, тот, по-моему, также избирает себе плохой и противоестественный путь.

Этим я отнюдь не хочу сказать, что, взяв на себя должность, кто-нибудь вправе затем отказывать ей во внимании, заботе, словах и поте и крови, если это понадобится:

> *non ipse pro caris amicis*
>
> *Aut patria timidus perire.[13] [broken link: #nc10_13]*

Последнее, однако, не правило, а исключение: нужно, чтобы дух был неизменно уравновешенным и спокойным; чтобы он не был бездеятелен, но вместе с тем и не чувствовал гнета и оставался бесстрастным. Обычная деятельность ему нипочем; он деятелен даже у спящего. Но встряхивать его нужно с умом, ибо, в то время как тело ощущает возложенный на него груз в полном соответствии с его действительным весом, дух, нередко в ущерб самому себе, усугубляет и преувеличивает его тяжесть, определяя ее, как ему заблагорассудится. Одно и то же совершается нами с неодинаковыми усилиями и неодинаковым

напряжением воли. Прямой связи тут нет. Какое множество людей ежедневно рискуют жизнью, участвуя в войнах, до которых им, в сущности говоря, нет ни малейшего дела, сколь многие бросаются в самую гущу опасностей на полях битв, а случись им понести поражение, они и не подумают спать от этого хоть чуточку хуже. А иной, сидя у себя дома, вдали от всякой опасности, на которую не решился бы даже взглянуть, с большим нетерпением ожидает исхода войны и переживает ее гораздо сильнее, чем солдат, отдающий ей свою кровь и самую жизнь. Я умел выполнять общественные обязанности, не отдаляясь от себя ни на одну пядь, и отдавать себя на службу другим, ничего не отнимая от самого себя.

Напряженность и неукротимость желаний скорее препятствуют, чем способствуют достижению поставленной цели: они вселяют в нас нетерпение, если события развиваются медленнее, чем мы рассчитывали, и вопреки нашим предположениям, а также недоверие и подозрительность в отношении тех, с кем нам приходится иметь дело. Мы никогда не руководим тем, что безраздельно над нами властвует и само нами руководит;

*male cuncta ministrat*

*Impetus.[14] [broken link: #nc10_14]*

Кто прибегает только к расчету и своей ловкости, тот достигает большего; он притворяется, изворачивается, в зависимости от обстоятельств откладывает и отступает; если он обманулся в своих ожиданиях, это его не огорчает и не волнует; он неизменно готов к новой попытке и неизменно во всеоружии; и он всегда держит себя в узде. Но кто поглощен своим тираническим и неукротимым стремлением, в том неизбежно бывает много безрассудства и несправедливости; неудержимость его желания берет над ним верх и подчиняет его себе; он несется вперед, закусив удила, и если ему не улыбнется удача, плоды его стараний ничтожны. Философия хочет, чтобы, собираясь отметить за понесенные нами обиды, мы предварительно побороли свой гнев, и не для того, чтобы наша месть была мягче, а напротив, для того, чтобы она была лучше нами обдумана и стала тем чувствительней для обидчика; а этому, как представляется философия, неудержимость наших порывов только препятствует. Мало того, что гнев вносит в душу смятение; он, сверх того, сковывает руки карающего. Это пламя их расслабляет, и они делаются бессильными. Во всем, что бы ни взять, festinatio tarda

est[15] [broken link: #nc10_15], и торопливость сама себе ставит подножку, сама на себя надевает путы и сама себя останавливает. Ipsa se velocitas implicat[16] [broken link: #nc10_16]. Так, например, для алчности, судя по моим наблюдениям над повседневною жизнью, нет большей помехи, чем сама алчность: чем она беспредельнее и ненасытнее, тем меньшего достигает. И обычно она гораздо быстрее скапливает богатства, когда прикрывается личиною щедрости.

Некий дворянин, весьма порядочный человек и мой добрый знакомый, опасался, что может повредиться в рассудке из-за того, что, занимаясь с чрезмерным вниманием делами одного государя, своего господина, вносил в это излишнюю страстность. А этот его господин сам себя обрисовал следующим образом: он видит значение того или иного события совершенно так же, как всякий другой, но в отношении тех из них, против которых нет средств, он тут же на месте решает, что нужно смириться; в остальном же, отдав необходимые распоряжения, — а он это делает поразительно быстро благодаря живости своего ума, — он спокойно ждет, что затем последует. И действительно, мне приходилось видеть его в такие моменты, когда у него на руках были

дела исключительной важности и к тому же весьма щекотливые, но он тем не менее сохранял полную невозмутимость и в своих действиях, и в своем облике. Я нахожу, что он более велик и более находчив в несчастье, чем при благоприятствовании судьбы: поражения приносят ему больше славы, чем победы, и скорбь — больше, чем торжество.

Заметьте, что даже в таких пустячных и легковесных делах, как игра в шахматы, в мяч и другие, подобные им, всепоглощающее пылкое увлечение, пробуждаемое в нас неукротимым желанием, тотчас приводит в смятение и расстройство и наш разум, и наше тело: человек забывает все, даже самого себя. Но в ком ни выигрыш, ни проигрыш не порождают горячки, тот всегда остается самим собой; чем меньше волнений и страсти он вкладывает в игру, тем увереннее и успешнее он играет.

И вообще, перегружая душу множеством впечатлений, мы мешаем ей познавать и запечатлевать в себе познанное. Есть вещи, с которыми ее нужно лишь поверхностно познакомить; с другими — связать; третьи в нее вложить. Она обладает способностью видеть и ощущать все, что угодно, но пищу для себя ей должно черпать

только в себе; и она должна быть осведомлена обо всем том, что имеет к ней прямое касательство и что так или иначе является ее достоянием и частицею ее сущности. Законы природы определяют наши истинные потребности. Мудрецы говорят, что бедняков, если исходить из этих потребностей, нет и не может быть и что всякий, считающий себя таковым, исходит лишь из собственного суждения; основываясь на этом, они весьма тонко подразделяют наши желания на внушенные природой и на те, что внушены нам нашим необузданным воображением; те, конечная цель которых ясна, — от природы; те, которые опережают нас и за которыми нам не угнаться, — от нас. Нищете материальной нетрудно помочь, нищете души — невозможно.

> *Nam si, quod satis est homini, id satis esse potesset,*
>
> *Hoc sat erat: nunc, cum hoc non est, qui credimus porro*
>
> *Divitias*
> *ullias animum mi explere potesse?[17] [broken link: #nc10_17]*

Сократ, видя, как торжественно проносят по городу бесчисленные сокровища, драгоценно-

сти и богатую домашнюю утварь, воскликнул: «Сколько вещей, которых я совсем не желаю!»[18] [broken link: #nc10_18]. Ежедневный паек Метродора весил двенадцать унций, Эпикура — еще того меньше[19] [broken link: #nc10_19]; Метрокл зимой ночевал вместе с овцами, летом — во дворах храмов[20] [broken link: #nc10_20]. Sufficit ad id natura, quod poscit[21] [broken link: #nc10_21].

Клеанф жил трудом своих рук и хвалился, что, если того пожелает, Клеанф сможет прокормить еще одного Клеанфа[22] [broken link: #nc10_22].

Если то, что требуется от нас природой (речь идет лишь о безусловно необходимом и ни о чем большем), — сущий пустяк (сколько же это в действительности и как немного нужно для сохранения нашей жизни, лучше всего может быть доказано следующим соображением: это такой пустяк, что, неприметный судьбе, он ускользает от ее ударов по причине своей ничтожности), то давайте тратить кое-что и сверх этого, давайте назовем природою наши привычки и условия, в которых каждый из нас живет; давайте ограничим себя, будем держаться этого уровня; пусть наше достояние и наше корыстолюбие не переступают этих пределов. В таких границах они, как мне представляется, извинительны. Привычка

— вторая природа и равна ей в могуществе. Если я чего-либо лишен, я считаю, что испытываю лишения. И для меня, пожалуй, невелика разница, отнимут ли у меня жизнь или только ограбят и тем самым ухудшат мое положение, к которому я успел за долгие годы привыкнуть.

Я не в том возрасте, когда нам нипочем резкие перемены, и мне не сжиться с новым и неизведанным образом жизни. Даже если он дал бы мне больше свободы и всяких возможностей, у меня нет времени становиться другим, и как любая большая удача, свались она сейчас в мои руки, вызвала бы во мне сожаление, что пришла с опозданием, а не тогда, когда бы я мог насладиться ею по-настоящему,

> *Quo mihi fortuna si non conceditur uti,[23] [broken link: #nc10_23]*

— так его вызвало бы во мне и любое душевное приобретение. В некотором смысле лучше так и не стать порядочным человеком и не научиться праведно жить, чем постигнуть это тогда, когда жизни уже не осталось. Собираясь уйти из этого мира, я бы с радостью отдал всякому, кто в него только вступает, все то из мудрости, что я накопил, общаясь с людьми. Горчица после обеда. Мне

нечего делать с добром, с которым я уже ничего не в состоянии сделать. К чему наука тому, у кого больше нет головы? Предлагать нам подарки, наполняющие нас справедливой досадой, почему они не были предложены нам в свое время, — это не что иное, как издевательство злобной судьбы. Меня больше не нужно поддерживать: я больше не в силах идти. Из достаточно большого количества человеческих свойств нам теперь достаточно лишь одного — терпения. Подарите замечательный тенор певчему, у которого поражены легкие, а красноречие — отшельнику, удалившемуся в пустыни Аравии. Чтобы упасть, не нужно искусства; по завершении всякого дела сам собою приходит конец. Мой мир от меня отдаляется; моя оболочка стала пустой; я полностью в прошлом; мне следует принять это как должное и сообразно с этим убраться отсюда. Я хочу привести следующий пример: недавнее исчезновение десяти дней, исключенных из календаря повелением папы[24] [broken link: #nc10_24], застало меня в таких летах, что я к нему никак не привыкну. Я принадлежу тем годам, когда их считали совсем по-иному. Столь давняя и устойчивая привычка до того в меня въелась, что мне от нее не отделаться. Вследствие этого я

принужден быть в некотором отношении еретиком, неспособным воспринять новшество, даже если оно исправляет ошибку; мое воображение, вопреки моим добрым намерениям, неизменно убегает на десять дней вперед или назад, и его воркотня постоянно звучит у меня в ушах. Это преобразование касается только тех, у кого вся жизнь в будущем. И если здоровье, которое для меня так сладостно и заманчиво, навещает меня с перерывами, то оно скорее приносит мне огорчение, чем хорошее самочувствие. Я больше не знаю, куда мне его девать. Время покидает меня, а без него и радость не в радость. До чего же ничтожна в моих глазах ценность тех высоких должностей, которые у нас приняты и которые обычно дают только тем, кто накануне ухода из этого мира, и, давая их, думают не о том, сможет ли такой-то подобающим образом отправлять свою должность, а о том, как долго он будет ее отправлять; с часа ее замещения начинают загадывать, когда же она снова освободится.

Короче говоря, я здесь для того, чтобы покончить с тем человеком, который не кто иной, как я сам, а не для того, чтобы его переделать. Вследствие давней привычки моя оболочка сделалась моей сущностью, а моя судьба — моей природой.

Итак, я говорю, что поскольку мы существа слабые, каждому из нас извинительно тянуться к тому, что не превышает названной меры. Ну, а тянуться к находящемуся за ее пределами — чистейшее безумие. Это — самое большее, что мы вправе себе позволить. Чем больше наши потребности и наше имущество, тем больше опасность подставить себя под удары судьбы и подвергнуться всевозможным невзгодам. Область наших желаний должна быть строго очерчена; пределом их должно быть некоторое, весьма незначительное количество жизненных благ, обеспечивающих нам насущно необходимое; эти желания должны к тому же располагаться не по прямой, конец которой был бы где-то вне нас, а по кругу, смыкаясь крайними точками внутри нас и образуя фигуру небольшого размера. Поступки, совершаемые вопреки этому соображению, крайне важному и существенному, как например поступки скупцов, честолюбцев и многих других, которые, сломя голову, бегут вперед и вперед и которых их бег увлекает все дальше и дальше, — поступки порочные и ошибочные.

Большинство наших занятий — лицедейство. Mundus universus exercet histrioniam[25] [broken link: #nc10_25]. Нужно добросовестно играть

свою роль, но при этом не забывать, что это всего-навсего роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать сущностью, чужое — своим. Мы не умеем отличать рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукою лицо, не посыпая ею одновременно и сердца. Я знаю людей, которые, получив повышение в должности, тотчас изменяют и преобразуют себя в столь новые обличия и столь новые существа, что становятся важными господами вплоть до печенки и до кишок и продолжают отправлять свою должность, даже сидя на стульчаке. Я не могу их научить отличать поклоны, отвешиваемые их положению, свите, мулу, на котором они восседают, от тех поклонов, что предназначены непосредственно им. Tantum se fortunae permittunt, etiam ut naturam dediscant[26] [broken link: #nc10_26]. Они чванятся и пыжатся и тщатся вытянуть свою душу и данный им от природы ум до высоты своего служебного кресла. Господин мэр и Мишель Монтень никогда не были одним и тем же лицом, и между ними всегда пролегала отчетливо обозначенная граница. Будучи адвокатом или банкиром, нельзя закрывать глаза и не видеть плутней, которые весьма часто свойственны этим профессиям. Порядочный человек

не может отвечать за пороки или нелепости своего ремесла и из-за них не должен его бросать; так принято у него в стране, и он имеет от этого выгоду. Приходится извлекать средства к жизни из окружающего нас мира, приходится добывать из него свое пропитание, каков бы он ни был. Но мысль императора должна витать над подвластной ему империей. Смотря на нее, он должен в ней видеть явление, пребывающее вне его сущности; и должен уметь отличать себя одного от себя другого, беседуя с собою самим, как какой-нибудь Жак с каким-нибудь Пьером.

Я не умею увлекаться ни особенно глубоко, ни безраздельно. Когда мои чувства привлекают меня к какой-нибудь партии, это вовсе не означает, что моя привязанность к ней настолько сильна, чтобы захватить также и мой рассудок. В нынешних раздорах, терзающих нашу страну, мои взгляды не затмевают в моих глазах ни похвальных качеств наших противников, ни того, что заслуживает порицания в тех, за кем я последовал. Люди обычно бывают восхищены всем, что находится по их сторону; я же отнюдь не склонен снисходительно относиться к большей части того, что я вижу в избранном мною стане.

Хорошее сочинение не утрачивает для меня

присущих ему достоинств и в том случае, если оно нападает на дело, которое я защищаю. Вне существа спора я сохраняю душевное равновесие и полную беспристрастность. Neque extra necessitates belli praecipuum odium gero[27] [broken link: #nc10_27], с чем я себя и поздравляю, тем более что обычно, как я постоянно вижу, люди впадают в противоположную крайность. Utatur motu animi qui uti ratione non potest[28] [broken link: #nc10_28].Кто выносит свой гнев и свою ненависть за пределы деловых разногласий, — а это свойственно большинству, — тот сам себя обличает в том, что они у него из какого-то другого источника и вызваны какой-то особой причиной; тут все обстоит совсем так же, как у того, кто, излечившись от язвы, не избавился тем не менее от горячки, и это доказывает, что его горячка коренится где-то гораздо глубже. Происходит же это из-за того, что люди, как правило, не питают вражды ко всему делу в целом и им непонятно, что оно затрагивает интересы всех вместе взятых и всего государства, а видят в нем только то, что ущемляет их частные интересы. Вот почему они, вопреки справедливости и общественной целесообразности, так упорно мстят за свои личные обиды. Non tam omnia universi quam ea quae ad

quemque pertinent singuli carpebant[29] [broken link: #nc10_29]. Я хочу, чтобы победа осталась за нами, но я не безумствую, если выходит иначе. Я крепко держусь за наиболее здравую из существующих у нас партий, но я нисколько не жажду прослыть заклятым врагом всех остальных и в том, в чем разум на их стороне. Я решительно порицаю порочные выводы вроде следующего: он восхищается любезностью герцога Гиза — значит он приверженец Лиги; неутомимость короля Наваррского его поражает — стало быть, он гугенот; он позволил себе осудить нравы нашего короля — значит в душе он мятежник. И я никоим образом не стал бы оправдывать действия наших властей, если бы они осудили целую книгу только из-за того, что среди лучших поэтов нашего века в ней оказался один еретик. Неужели мы не посмеем сказать о ловком грабителе, что у него хорошая хватка?

И неужели распутная женщина всенепременно должна быть уличной девкой?

Если адвоката встретили неприязненно, то на следующий день людям начинает казаться, что он утратил свое красноречие. Я уже упоминал в другом месте о рвении, толкавшем вполне честных людей на заблуждения подобного рода. Что

до меня, то я всегда умею сказать: вот тут он поступил дурно, а тут замечательно хорошо. Равным образом, люди хотят, чтобы всякий, принадлежащий к их партии, был слеп и глух к зловещим предсказаниям на ее счет и ко всем ее неудачам; они хотят, чтобы наши убеждения и наш разум служили не раскрытию истины, а поддержанию в нас наших надежд. Я склонен скорей к другой крайности, ибо боюсь, как бы эти мои надежды не увлекли меня за собой. К тому же я не вполне себе доверяю, когда мне чего-нибудь очень хочется. Я повидал в свое время немало чудес: я видел совершенно непостижимое и безрассудное легкомыслие целых народов, позволявших себя вести и собою руководить своим избранникам и вождям, которые вселяли в них надежду и веру, как им самим было выгодно и угодно, хотя и громоздили сотни ошибок одну на другую и гнались за мечтами и призраками. И я больше нисколько не дивлюсь тем, кого обольстили обезьяньи ужимки Аполлония Тианского[30] [broken link: #nc10_30] и Магомета. И здравый смысл и разум подавлены в них страстями. Им не остается другого выхода, как устремляться за тем, что им улыбается и подкрепляет в них уверенность в своей правоте. Особенно явственно я это заметил на примере

той из наших лихорадящих партий, которая сложилась у нас раньше других[31] [broken link: #nc10_31]. Создавшаяся позднее вторая партия, подражая первой, во многом ее превзошла[32] [broken link: #nc10_32]. Отсюда я делаю вывод, что это неизбежное свойство всех общественных заблуждений. Достаточно кому-нибудь высказаться по тому или иному животрепещущему вопросу, как начинается столкновение взглядов, мятущихся, словно волны морские по воле ветра. Если ты решаешься иметь свое мнение, если не отбиваешь шага вместе со всеми, значит дух товарищества тебе чужд. Но помогать плутням даже тех партий, чье дело правое, означает наносить им ущерб. Я всегда противился этому. Таким способом можно воздействовать лишь на глупые головы; а чтобы поддержать дух людей здравомыслящих и объяснить им причины случившихся неудач, существуют пути не только более честные, но и более верные.

Небу не приходилось видеть другой столь же глубокой распри, как распря между Цезарем и Помпеем; ничего похожего оно не увидит и в будущем. И все же мне кажется, что я обнаруживаю в этих великих душах поразительную терпимость друг к другу. Это было соперничество в борьбе за

почет и за первенство, не приведшее их, однако, к яростной и слепой ненависти, соперничество, не прибегавшее к коварству и поношениям. Даже в их наиболее резких выпадах я открываю следы какого-то взаимного уважения и какой-то доброжелательности и прихожу к выводу, что, если бы это было для них достижимо, и тот и другой предпочли бы добиться своего, не обрекая на гибель соперника. А насколько по-другому дела обстояли у Мария с Суллой; примите же и это в расчет. Нельзя слепо отдаваться своим страстям и нестись сломя голову в погоню за выгодой. Подобно тому как в дни моей молодости я противился своему любовному чувству, если видел, что оно во мне разгорается, и прилагал всяческие старания, чтобы сделать его для себя менее сладостным и чтобы оно не могло меня окончательно подчинить своей власти и превратить в своего покорного пленника, так и теперь, в совершенно несходных случаях, когда мои желания становятся слишком настойчивыми, я пользуюсь тем же самым приемом: если я вижу, что они пропитываются и охмеляются собственным хмелем, я отклоняюсь в сторону, противоположную той, куда они меня увлекают; я избегаю доводить свое удовольствие до такой полноты, чтобы оно меня

одолело и я был бы не в силах расстаться с ним, не понеся при этом кровавых потерь.

Души, по своему неразумию видящие вещи только наполовину, извлекают из этого то преимущество, что и неприятные вещи воспринимаются ими не так болезненно, как всеми другими; это духовная скудость, напоминающая в некоторой мере здоровье, и такое здоровье отнюдь не презирается философией. И все же нет ни малейшего основания называть ее мудростью, что тем не менее мы частенько делаем. И в древности некто следующим образом насмеялся над Диогеном, который, пожелав испытать собственное терпение, разделся донага и в самый разгар зимы заключил в объятия снежную бабу. Застав Диогена за этим делом, он обратился к нему с вопросом: «Тебе сейчас очень холодно?» — «Нисколько», — ответил ему Диоген. — «В таком случае, — продолжал его собеседник, — неужели ты полагаешь, что делаешь нечто трудное и исключительное?»[33] [broken link: #nc10_33]. Для того, чтобы измерять душевную стойкость, нужно знать, каково истинное страдание.

Но душам, которые воспринимают несчастья и нападки судьбы во всей их глубине и жестокости, которые взвешивают и переживают их

соответственно подлинному их весу и подлинной горечи, — этим душам следует направлять все свое умение и способности на то, чтобы устранить причины всех этих невзгод и закрыть для них все и всяческие пути. Как поступил царь Котис? Он щедро заплатил за доставленный ему превосходный и роскошный сосуд, но так как этот сосуд был исключительно хрупким, Котис тут же собственноручно разбил его вдребезги, дабы лишить себя столь вероятного повода для гнева на своих слуг[34] [broken link: #nc10_34]. И я равным образом неизменно стараюсь избегать неясности и запутанности в моих делах и стремлюсь к тому, чтобы мои земли никоим образом не примыкали к владениям моих родственников или тех, с кем меня связывает тесная дружба; ведь такое соседство обычно приводит к ссорам и взаимному неудовольствию. Некогда я любил азартные игры — карты и кости; но уже давно заставил себя от них отказаться, и притом только из-за того, что как бы я ни изображал в случае проигрыша полнейшее равнодушие, все же мне не удавалось отделаться от какой-то беспокоившей меня изнутри занозы. Человеку чести, которому подобает до глубины души чувствовать изобличение в какой бы то ни было лжи и самое

что ни на есть ничтожное оскорбление, который не может допустить по отношению к себе глупых шуток, преподносимых ему в утешение и возмещение проигрыша, — такому человеку следует всячески уклоняться от сомнительных дел и никогда не ввязываться в крикливые споры. От мрачных характеров и от сварливых людей я бегу, как от чумы, и не вмешиваюсь в беседу, которую не могу вести бесстрастно и хладнокровно, разве только что меня обязывает к ней мой долг. Melius non incipient, quam desinent[35] [broken link: #nc10_35].

Итак, лучше всего подготовить себя заранее, не дожидаясь, когда в этом окажется надобность.

Мне хорошо известно, что иные из мудрецов избрали для себя другой путь, что они не страшились ввязываться в жаркие споры на самые разнообразные темы. Эти люди уверены в своих силах, под прикрытием которых могли не бояться, что их противники нанесут им поражение; они противопоставляли несчастьям неодолимость своего терпения:

*velut rupes vastum quae prodit in aequor*
*Obvia ventorum furiis, expostaque ponto,*
*Vim cunctam atque minas perfert coelique*

*marisque*

*Ipsa immota manens.[36] [broken link: #nc10_36]*

Не будем гнаться за этими образцами; нам их все равно не нагнать. Эти люди с решимостью и спокойствием в сердце могли взирать на гибель своей родины, которая владела всеми их помыслами и приковывала к себе все их чувства. Для наших обыденных душ это было бы чрезмерным усилием, ибо для этого нужна не наша закалка. Катон оставил нам в назидание память о наиболее благородной жизни, какая когда-либо была прожита. Что до нас, меньших братьев, то нам нужно бежать от грозы, и как можно дальше; нам нужно принимать в расчет нашу чувствительность, а не наше терпение, и нам нужно ускользать от ударов, отразить которые мы не в силах. Зенон, видя, что к нему приближается Хремонид, юноша, которого он любил, чтобы сесть рядом с ним, внезапно поднялся со своего места. Присутствовавший при этом Клеанф спросил у него, по какой причине он это сделал. «Сколько я знаю, — ответил Зенон, — врачи велят не касаться опухолей и вообще предоставлять им полный покой»[37] [broken link: #nc10_37]. Сократ не го-

ворил: «Будьте непоколебимы перед соблазнами красоты, боритесь с нею, старайтесь противиться ей». Но он говорил: «Бегите ее, бегите очей ее и встреч с нею, как могучего яда, который нападает на вас и поражает вас издали»[38] [broken link: #nc10_38]. А его верный ученик и последователь, выдумывая или передавая правду — по-моему, скорее передавая правду, а не выдумывая, — про редкие совершенства Кира Великого, рассказывает, что он не считал себя достаточно сильным, чтобы устоять перед соблазнами божественной красоты знаменитой Панфеи, его пленницы, и поручил навещать ее и заботиться о ней другому лицу, менее свободному в своих действиях, нежели он[39] [broken link: #nc10_39]. Да и святой дух глаголет нам то же самое: ne nos inducas in tentationem[40] [broken link: #nc10_40]. Мы молим не только о том, чтобы наш разум не был повержен в прах и побежден вожделением, мы молим также о том, чтобы он даже не подвергался подобному испытанию, о том, чтобы мы не дошли до столь жалкого состояния, когда нам только и оставалось бы, что претерпевать натиск, уговоры и искус греха; и мы молим господа, чтобы совесть наша пребывала в спокойствии и была полностью и навсегда ограждена от соприкосновения

со злом. Те, кто оправдывают свою мстительность или какую-нибудь другую дурную страсть, часто правдиво изображают положение дел, каково оно есть, но не каким оно было. Они говорят нам об этом тогда, когда причины их заблуждений ими облагорожены и возвеличены, но отойдем немного назад, вспомним, как выглядели эти причины в своем изначальном виде, и мы поймаем этих людей с поличным. Неужто они хотят, чтобы их проступок казался меньшим, потому что совершен ими давно, и чтобы неправедно начатое имело праведные последствия?

Кто желает своей родине блага так же, как я, то есть без того, чтобы предаваться скорби о ней и худеть от этого, тот будет огорчен, но не станет отчаиваться, видя, что ей грозит гибель или существование, равнозначное гибели. Несчастный корабль: его стремятся подчинить своей власти — и с такими несхожими целями — волны, ветры и кормчий;

> *in tam diversa magister*
> *Ventus et unda trahunt[41] [broken link: #nc10_41].*

Кто не алчет милостей государевых, как вещи, без которой не может прожить, того не слишком

заденет ни холодность оказанного королями приема, ни холодное выражение их лиц, ни шаткость их благосклонности. Кто не дрожит, как наседка, над своими детьми или своими почестями и не находится у них в рабстве, тот не перестанет жить в свое удовольствие и после того, как их потеряет. Кто творит добро главным образом с тем, чтобы доставить себе удовлетворение, тот не изменит своего образа действий, видя, что люди не ценят его поступков. Чтобы справиться с подобными неприятностями, достаточно запастись каплей терпения. Этот рецепт приносит мне огромную пользу; я сразу выкупаю себя из рабства, и притом по исключительно дешевой цене, и тем самым избавляюсь от множества трудностей и хлопот. Затрачивая крайне незначительные усилия, я пресекаю еще в зародыше возникающие во мне душевные переживания и ухожу от того, что начинает меня тяготить, прежде чем этот гнет станет по-настоящему обременительным. Кто не отменяет отплытия, тому уже не отменить плаванья. Кто не умеет захлопнуть дверь перед своими бурными чувствами, тот не изгонит их, когда они вторгнутся внутрь. У кого нейдет дело с началом, у того оно не пойдет и с концом. Кто не смог помешать их зарождению, тот не сможет по-

мешать им и обрушиться на него. Etenim ipsae se impellunt ubi semel a ratione discessum est; ipsaque sibi imbecillitas indulget in altumque provehitur imprudens nec reperit locum consistendi[42] [broken link: #nc10_42]. По временам я ощущаю в себе какие-то легкие дуновения, с шелестом овевающие меня изнутри; эти дуновения — предвестники бури: animus, muilo antequam opprimatur, quatitur[43] [broken link: #nc10_43].

> *…ceu flamina prima*
>
> *Cum deprensa fremunt sylvis, et caeca volutant*
>
> *Murmura, venturos nautis prodentia ventos.[44] [broken link: #nc10_44]*

Сколько раз я совершал в отношении себя явную несправедливость, лишь бы избегнуть опасности узнать еще худшую со стороны судей, и к тому же после целого века нудной возни и гнусных и отвратительных происков, которые для меня хуже костра и пытки. Convenit a litibus quantum licet, et nescio an paulo plus etiam quam licet, abhorrentem esse. Est enim non modo liberale, paululum nonnumquam de suo iure decedere, sed interdum etiam fructuosum[45] [broken link: #nc10_45]. Если бы мы были и вправду мудрыми,

то, потерпев неудачу в суде, мы бы ликовали и хвастали, подобно тому ребенку, которого я как-то видел в одном знатном доме и который с прелестною непосредственностью сообщал всем и каждому, что у его мамы нет больше тяжбы, потому что она ее проиграла; и он сообщал об этом с таким восторгом, точно у нее нет больше кашля, горячки или чего-нибудь другого, столь же неприятного. Следуя велениям моей совести, я всегда пренебрегаю теми милостями, которыми могла бы меня осыпать судьба, подарившая меня родством и знакомствами с лицами, располагающими высшей властью в делах этого рода; и я упорно отказывался употребить их влияние в ущерб кому-либо другому и, опираясь на них, придавать моим правам силу большую, чем предусмотрено законом. Короче говоря, всю жизнь я вел себя таким образом, — да будет это сказано в добрый час, — что и поныне остаюсь совершеннейшим девственником по части судебных процессов, хотя у меня было немало поводов к их возбуждению и я мог бы, если бы того пожелал, сделать это с достаточным основанием, и таким же девственником я остаюсь и по части распрей и ссор. Итак, не нанося и не испытывая сколько-нибудь значительных оскорблений, я

прожил довольно долгую жизнь и ни разу не слышал, чтобы, обращаясь ко мне, меня называли каким-нибудь ругательным словом, а не по имени. Редкое благоволение неба!

Причины и пружины наших даже самых жестоких волнений смехотворно ничтожны. Сколько бедствий навлек на себя наш последний герцог Бургундский[46] [broken link: #nc10_46] вследствие ссоры из-за тележки с овчинами! А разве изготовление какой-то печатки не было первейшей и главнейшей причиной наиболее страшного потрясения, какое когда-либо постигало нашу землю? Ибо Помпей и Цезарь — всего-навсего ростки и отпрыски своих двух предшественников[47] [broken link: #nc10_47]. И в свое время я видел, как мудрейшие умы нашего королевства были собраны на совет, обставленный пышными церемониями и сопряженный с тратою государственных средств, якобы для заключения союзов и договоров, в действительности зависевших только от решения всесильной дамской гостиной и прихотей какой-нибудь досужей бабенки. Поэты хорошо это поняли и из-за одного яблока ввергли Грецию вместе с Азией в море огня и крови[48] [broken link: #nc10_48]. Поглядите, из-за какого вздора такой-то вверяет свою честь и

самую жизнь своей шпаге или кинжалу; пусть он поведает вам, что повело к этой ссоре; ему не сделать этого, не покрывшись краской стыда, до того все это выеденного яйца не стоит.

Невелика хитрость взойти на корабль, но раз уж взошел на него, смотри в оба! Тут уж приходится думать о множестве различных вещей, а это потруднее и посложнее. Разве не много проще совсем не входить, чем войти, чтобы выйти? Словом, никоим образом не следует подражать тростнику, который поначалу выбрасывает прямой длинный стебель, но затем, как бы устав и выдохшись, начинает завязывать частые и плотные узелки, точно делает в этих местах передышки, свидетельствующие о том, что у него не осталось ни былого упорства, ни былой силы. Гораздо правильнее начинать спокойно и хладнокровно, сберегая свое дыхание и свой порыв для преодоления возможных препятствий и для завершения начатого. Приступив к нашим делам, мы на первых порах управляем ими и держим их в своей воле, но позднее, когда они уже сдвинуты с места, они управляют нами и тащат нас за собой, так что нам только и остается, что идти следом.

Означает ли это, что я утверждаю, будто мои житейские правила неизменно избавляли меня

от всех и всяческих затруднений и я с легкостью одергивал и обуздывал свои страсти? Не всегда эти страсти соразмерны с вызвавшими их обстоятельствами и уже при своем пробуждении нередко бывают жестокими я неистовыми. И все же мои правила сберегают немало сил и приносят плоды и бесполезны лишь тем, кто, творя добро, не довольствуется никакими плодами, если его имя не снискивает славы. Впрочем, по правде говоря, выгоды, приносимые этими правилами, каждый подсчитывает на свой лад. Вы достигнете большего, хоть это и доставит вам меньшую славу, если основательно поразмыслите, прежде чем уясните себе сущность дела и пуститесь во все тяжкие. Во всяком случае, не только в этом одном, но и во всех возлагаемых на нас жизнью обязанностях путь тех, кто домогается почестей, значительно отличается от пути, которого держатся равняющиеся на порядок и разум.

Я сплошь да рядом вижу людей, которые рьяно, но нерасчетливо устремляются вперед на ристалище и вскоре замедляют свой бег. Плутарх говорит, что кто по застенчивости или из ложного стыда чрезмерно податлив и с легкостью обещает все, о чем его ни попросят, тот с такою же легкостью нарушает слово и от него

отказывается; равным образом, кто легко ввязывается в ссору, не прочь так же легко пойти и на мировую[49] [broken link: #nc10_49], тогда как твердость, препятствующая мне затевать ссоры, должна побуждать меня упорствовать в них, коль скоро я буду выведен из равновесия и распалюсь гневом. То, о чем упоминает Плутарх, — дурное обыкновение: пустившись в путь, нужно идти до последнего вздоха. «Начинайте с прохладцей, — говорит Биант, — продолжайте с горячностью»[50] [broken link: #nc10_50]. Нерассудительность приводит к нестойкости, а она еще несноснее.

В большинстве случаев наши примирения после ссоры бывают лживыми и постыдными; мы стремимся только к соблюдению внешней благопристойности и вместе с тем отрекаемся от наших истинных побуждений и совершаем по отношению к ним предательство. Мы приукрашиваем действительность. Мы очень хорошо знаем, что именно мы сказали и в каком смысле сказали, и это так же хорошо знают и присутствовавшие и наши друзья, перед которыми мы хотим выказать свое превосходство. Поступаясь нашей искренностью и честью нашего мужества, мы отрекаемся от своих мыслей и ищем в иска-

жении истины лазейку, лишь бы, несмотря ни на что, помириться. Мы сами изобличаем себя во лжи, чтобы извинить изобличения такого же рода, которые исходили от нас самих. Негоже доискиваться, нельзя ли как-нибудь по-иному истолковать наши поступки или наши слова; нужно твердо держаться своего собственного толкования свершенного нами в держаться его, чего бы это ни стоило. Речь идет о нашей порядочности и нашей совести, а это вещи, не терпящие личины. Предоставим же такие низменные уловки и отговорки ябедам и крючкотворам из Дворца Правосудия. Извинения и объяснения, на которые, как я ежедневно вижу, никто не скупится, чтобы загладить ту или иную неловкость, кажутся мне хуже самой неловкости. Было бы лучше нанести врагу еще одно оскорбление, чем наносить его себе самому, налагая на себя подобное наказание. Вы задели своего противника в пылу гнева, а подольщаетесь к нему и успокаиваете его хладнокровно и обдуманно; вот и получается, что вы отступаете за черту, которую преступили. Я не знаю слов столь же предосудительных для дворянина, как слова, в которых он отказывается от своих прежних слов, когда это — отказ, вырванный у него принуждением; и они, по-мо-

ему, тем больше должны вгонять его в стыд, что упрямство ему простительнее, чем малодушие.

Мне настолько же легко избегать страстей, как трудно их умерять. Abscinduntur facilius animo quam temperantur[51] [broken link: #nc10_51]. Кто не в силах возвыситься до благородной бесстрастности стоиков, пусть ищет спасения в присущей мне низменной черствости. Чего те достигали с помощью добродетели, того я стараюсь достичь, опираясь на свойства моего характера. Область, лежащая посередине, — средоточие бурь; обе крайние — философов и деревенского люда — могут между собой поспорить, какая из них спокойнее и счастливее:

> *Felix qui potuit rerum cognoscere cusas,*
>
> *Atque metus omnes et inexorabile fatum*
>
> *Subiecit pedibus, strepitumque Acherontis avari.*
>
> *Fortunatus et ille deos qui novit agrestes,*
>
> *Panaque, Sylvanumque senem, Nymphasque sorores.[52] [broken link: #nc10_52]*

Все на свете рождается слабым и нежным. Тем не менее с самого начала следует глядеть в оба, ибо подобно тому как вследствие незначительности какого-нибудь явления мы не находим

в нем ни малейшей опасности, точно так же, когда оно наберет силы, мы не найдем против него средства. Дав волю своему честолюбию, я бы наткнулся на миллионы препон, и справляться с ними мне бы всякий день стоило гораздо больше труда, нежели затраченный мною на обуздание этой естественной склонности, которая ставила бы меня перед такими препонами:

> *iure perhorrui*
>
> *Late conspicuum tollere verticem.[53] [broken link: #nc10_53]*

Всякая деятельность на общественном поприще подвергается крайне противоречивому и произвольному истолкованию, потому что о ней судит слишком много голов. Некоторые считают, что, пребывая в должности мэра (я рад сказать несколько слов и об этом, и не потому, что речь пойдет о чем-то заслуживающем внимания, а потому, что они помогут полнее обрисовать, как я веду себя в подобных делах), так вот, некоторые считают, что, пребывая в названной должности, я показал себя человеком, который с трудом раскачивается и у которого холодное сердце; и они, возможно, не так уж далеки от истины. Я всегда стараюсь хранить спокойствие и в душе

и в мыслях. Cum semper natura, tum etiam aetate iam quietus[54] [broken link: #nc10_54]. И если под воздействием какого-нибудь неожиданного и сильного впечатления они все же иногда распускаются и безобразничают, то, по правде говоря, это у меня получается не намеренно. Такая врожденная вялость не может, однако, служить доказательством умственной немощности (ведь нерадивость и неразумие — вещи, конечно, разные) и еще меньше — бесчувственности и неблагодарности по отношению к жителям нашего города, которые сделали все, что только было в их силах, дабы почтить меня этим высоким постом, и тогда, когда я был им совсем не известен, и позже, переизбрав меня на второй срок, сделали для меня еще больше, чем когда избрали впервые. Я желаю им всего самого наилучшего, и будь в этом настоятельная нужда, я бы, разумеется, ничего не пожалел, служа им. За них я тревожился не меньше, чем за самого себя. Это славный народ, воинственный и благородный, готовый, однако, к повиновению и дисциплине и способный совершить много хорошего, если им соответствующим образом руководят. Говорят и о том, что мое пребывание в должности мэра не отмечено ничем сколько-нибудь значительным

и не оставило заметных следов. Ну что ж, это неплохо; меня обвиняют в бездеятельности в такое время, когда почти все одержимы зудом делать чересчур много.

Если мне что-нибудь по сердцу, я горячо берусь за это. Но такое напряжение не в ладу с постоянством. Кто хочет меня использовать соответственно моим склонностям, пусть поручит дела, требующие силы характера и свободолюбия, такие дела, которые можно выполнить, идя прямою дорогой, и за короткий срок: тут я кое-что смогу сделать; но если дело предстоит затяжное, щепетильное, хлопотливое, для которого обязательны ловкость и изворотливость, и к тому же запутанное, то этот человек поступит гораздо правильнее, обратившись к кому-либо другому.

Всякая крупная должность не так уж трудна. Я готов был бы работать несколько напряженнее, если бы в этом была действительная необходимость. Ибо в моих возможностях сделать кое-что сверх того, что я делаю и чего не люблю делать. Насколько мне известно, я не упустил ничего такого, что, по моему разумению, составляло мой долг. Я забывал совершать лишь те поступки, которые честолюбие примешивает к нашему долгу и прикрывает его именем. Обычно это то, что дает

пищу глазам и ушам и нравится людям, привлекая их не самой сущностью, а внешностью. Если до них не доносится шум, им кажется, что тут сонное царство. Мои склонности противоположны склонностям любителей шума. Я предпочел бы пресечь волнение, не волнуясь, и покарать беспорядки, не впадая в тревогу. Если мне нужно выказать гнев и горячность, я прибегаю к притворству, надевая на себя маску. Характер у меня вялый, и я скорее равнодушен, чем черств. Я не обвиняю высших должностных лиц, дремлющих на своих постах, если дремлют также и их подчиненные; да что там — дремлют и сами законы. Что до меня, то я поклонник жизни как бы скользящей, малоприметной, немой, neque summissam et abiectam, neque se efferentem[55] [broken link: #nc10_55]. Так хочет моя судьба. Я происхожу из рода, который струился из поколения в поколение без блеска и без треволнений и испокон века горд главным образом своею порядочностью.

Мои соотечественники до того тщеславны и суетливы, что даже не замечают таких неярких и не бросающихся в глаза человеческих качеств, как доброта, умеренность, уравновешенность, постоянство и другие тому подобные. Шероховатые предметы мы хорошо ощущаем, а вот что касает-

ся гладких, то, прикасаясь к ним, мы их, можно сказать, не чувствуем; болезнь также ощущается нами, а здоровье или вовсе или почти вовсе не ощущается; и так со всем, что елеем нас поливает, в отличие от того, что за горло хватает. Выносить на площадь исполнение дела, которое можно выполнить в канцелярии, совершить его в полдень на ярком свету, хотя оно могло быть выполнено предыдущею ночью, ревниво стремиться делать все самолично, хотя сослуживец может сделать то же самое нисколько не хуже, означает действовать ради собственной славы и личных выгод, а не ради общего блага. Так, например, поступали греческие хирурги, производившие операции на помостах, на глазах у прохожих, дабы увеличить приток пациентов и свою выручку[56] [broken link: #nc10_56]. Иные люди считают, что разумные распоряжения могут быть поняты только под звуки анфар.

Честолюбие — порок не для мелких людишек и не для усилий такого размаха, как наши. Александру говорили: ваш отец оставит вам могущественную державу, благоденствующую и мирную. Но этот мальчик завидовал победам своего отца и справедливости его управления. Он не пожелал бы властвовать и надо всем миром,

достанься ему такое владычество спокойно и без войны[57] [broken link: #nc10_57]. Алкивиад у Платона — молодой, красивый, богатый, знатный, превосходный ученый — предпочитает умереть, чем остановиться на том, что у него есть[58] [broken link: #nc10_58]. Эта болезнь, пожалуй, простительна душе столь сильной и столь одаренной. Но когда жалкие, карликовые душонки пыжатся и лопаются от спеси и думают, что, решив правильно какое-нибудь судебное дело или поддерживая порядок среди стражников у каких-нибудь ворот города, они покрывают славою свое имя, то чем выше они надеются на этом основании задрать голову, тем больше выставляют напоказ свою задницу. Эти малые подвиги лишены плоти и жизни; рассказ о них замрет на первых устах и не уйдет дальше перекрестка двух улиц. Поговорите об этом, не стесняясь, с вашим сыном и вашим слугой, как тот древний, который, за неимением иного слушателя своей похвальбы, чванился перед служанкой, восклицая: «О Перетта, до чего же у тебя доблестный и умелый хозяин!»[59] [broken link: #nc10_59]. На худой конец поговорите о том же с самим собой, как один мой знакомый советник, который, излившись целым морем параграфов своей речи,

бесконечно тягучей и столь же бездарной, удалился в отхожее место Дворца Правосудия и там, как слышали, в здравом уме и полной памяти бормотал: Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam[60] [broken link: #nc10_60]. Кто не может сделать иначе, тот пусть сам себе платит из своего же кошелька. Слава не покупается по дешевке. Деяния редкостные и образцовые, которые ею по справедливости вознаграждаются, не потерпели бы общества бесчисленной толпы мелочных повседневных дел и делишек. Мрамор вознесет ваши заслуги, если вы починили кусок городской стены или расчистили общественную канаву, на такую высоту, на какую вам будет угодно, но здравомыслящие люди не сделают этого. Молва не следует, по пятам за всяким хорошим поступком, если с ним не сопряжены трудности и он не выделяется своей исключительностью. Даже простого уважения, по мнению стоиков, заслуживают далеко не все добросовестные поступки, и они не хотят, чтобы одобрительно отзывались о человеке, который, соблюдая воздержанность, отказывается от старой распутницы с гноящимися глазами[61] [broken link: #nc10_61]. Люди, хорошо знавшие, какими блестящими качествами отличался Сципион Африканский, отнимают у него

похвалы, расточаемые ему Панэцием за то, что он не принимал подношений, так как похвалы этого рода относятся не столько к нему, сколько ко всему его веку[62] [broken link: #nc10_62].

Наши наслаждения под стать нашей судьбе; так давайте же не будем зариться на чужие, на те, что подобают величию. Наши для нас естественнее, и чем они низменнее, тем они основательнее и надежнее. Раз мы не можем отказаться от честолюбия по велению совести, давайте откажемся от него хотя бы из честолюбия. Давайте презрим эту жажду почета и славы, низменную, заставляющую нас выпрашивать их у людей всякого сорта, — Quae est ista laus quae possit e macello peti[63] [broken link: #nc10_63]? — прибегая к способам мерзким и отвратительным и платя за них любой ценой. Пребывать в подобной чести — бесчестие. Давайте научимся жаждать не большей славы, чем та, что для нас достижима. Раздуваться от восхищения собою самим после всякого полезного, но ничем не выдающегося поступка пристало лишь тем, для кого и такой поступок — нечто редкое и необычное и которые норовят получить за него цену, в какую он им самим обошелся. И чем больше шума поднимают вокруг того или иного хорошего дела, тем меньшего оно

стоит в моих глазах, так как во мне рождается подозрение, что оно совершено скорее ради того, чтобы вокруг него поднялся шум, чем из-за того, что оно хорошее: выставленное напоказ, оно уже наполовину оплачено. Но поступки, которые, выскользнув из рук того, кто их совершает как бы совсем невзначай и безо всякой шумихи, будут впоследствии выделены каким-нибудь порядочным человеком и, извлеченные им из тьмы, выставлены на свет единственно по причине своих достоинств, — такие поступки гораздо чище и привлекательнее: Mihi quidem laudabiliora videntur omnia, quae sine venditatione et sine populo teste fiunt[64] [broken link: #nc10_64], говорит самый прославленный человек на свете[65] [broken link: #nc10_65].

От меня требовалось лишь сохранять и поддерживать, а это — дела довольно незначительные и незаметные. Вводить новшества — в этом, действительно, много настоящего блеска, но отваживаться на них — вещь в наши дни совершенно запретная; ведь они и без того одолевают нас со всех сторон, и нам только и остается, что защищаться от них. Воздерживаться от действий — подчас столь же благородно, как действовать, но такое поведение менее на виду; и то немногое,

чего я и вправду стою, я стою только благодаря заслугам по этой части. Короче говоря, события, имевшие место во время моего пребывания в должности, соответствовали моему складу характера, и за это я им приношу превеликую благодарность. Существует ли кто-нибудь, страстно желающий заболеть, чтобы доставить своему врачу практику, и не заслуживает ли порки врач, который страстно желал бы нашествия на нас моровой язвы, чтобы пустить в ход свое лекарское искусство? Я никогда не склонялся к такой недозволительной, но тем не менее постоянно встречающейся игре воображения, как, например, страстно желать, чтобы разразившаяся в нашем городе смута и неурядицы в городских делах возвеличили и прославили мое управление ими: я от всей души и изо всех сил пекся о том, чтобы они процветали и ничто не могло замутить спокойное их течение. Кто не захочет воздать мне благодарность за порядок, за благословенное и ничем не нарушаемое спокойствие, царившее при мне в городе, тот все же не сможет лишить меня причитающейся мне в этом доли, которая зовется моим везением. И я уж так сотворен, что мне столько же по душе быть счастливым, как мудрым, и столько же — быть обязанным всеми

своими успехами только милости божьей, как своему собственному вмешательству в них. Я достаточно красноречиво расписал людям мою неспособность к руководству общественными делами. Но во мне есть и нечто худшее, чем эта моя неспособность, и это худшее — то, что она меня вовсе не огорчает и я вовсе не жажду от нее исцелиться, принимая во внимание образ жизни, к которому я себя предназначил. Я нисколько не удовлетворен своей деятельностью, но я добился, по крайней мере, того, что сам себе обещал, и намного превзошел свои обещания тем, кому я был обязан служить, ибо в моих правилах обещать несколько меньше, чем я могу и надеюсь исполнить. Я убежден, что никого не обидел и не оставил по себе ненависти. Ну, а оставить по себе сожаления и пылкие чувства, этого я — могу сказать с полной откровенностью — никогда и не жаждал:

> *mene huic confidere monstro,*
>
> *Mene salis placidi vultum fluctusque quietos*
>
> *Ignorare?[66] [broken link: #nc10_66]*

## Глава XI
## О хромых

Года два или три тому назад во Франции календарный год сократили на десять дней. Сколько перемен должно было последовать за этой реформой! Казалось, и земля и небо должны были бы перевернуться. Однако же ничто со своего места не сдвинулось; для моих соседей время посева и жатвы, время, подходящее для их дел, счастливые и несчастливые дни — все это падает как раз на те сроки, которые были от века установлены. Как ошибка в календаре нами не ощущалась, так не ощущается и исправление: ведь все кругом так недостоверно, а способность наша замечать то или иное так несовершенна, так слаба, так притуплена. Говорят, что это исправление можно было произвести гораздо менее хлопотным способом, отменив на протяжении ряда лет добавочные дни високосных годов, всегда связанные с неудобством и неурядицей, до той поры, пока вся эта задолженность не будет погашена (что введенным сейчас исправлением достигнуто не было, так что мы и теперь на несколько дней

отстаем). Тот же способ оказался бы весьма действенным и на будущее время, если было бы установлено, что по прошествии стольких-то лет добавочный день отменяется: тогда наша ошибка ни при каких обстоятельствах не превышала бы одних суток. У нас нет иного исчисления времени, как по годам. Весь мир употребляет этот способ уже много веков, и тем не менее он еще не окончательно упорядочен прежде всего потому, что мы постоянно пребываем в неведении — какую форму придали ему на свой лад другие народы и как они им пользуются. А может быть, как утверждают некоторые, светила небесные, старея, опускаются ниже к нашей земле и повергают нас в сомнения насчет длительности дней и годов? А насчет месяцев еще Плутарх говорил, что наука о звездах в его время не могла точно определить движение луны[1] [broken link: #nc11_1]. Как удобно нам при таких условиях вести летопись минувших событий и дел!

В данном случае я, как это со мной часто бывает, размышлял о том, какое прихотливое и неосновательное орудие — человеческий разум. Мне постоянно приходится наблюдать, что когда людей знакомишь с чем-либо, они задумываются не над тем, насколько это само по себе верно, а

забавляются отыскиванием его основы: они пренебрегают вещами и увлекаются рассуждениями о причинах. Забавные рассуждения! Подлинное понятие о причинах может иметь лишь тот, кто направляет движение всех вещей, а не мы, которым дано лишь испытывать то или иное, которым дано лишь пользоваться вещами по мере надобности, не проникая в их происхождение и сущность. Тем, кому известны главнейшие свойства того или иного вина, оно не становится вкуснее. Напротив: наши тело и дух нарушают и ослабляют данное им право пользоваться миром вещей, когда присовокупляют сюда еще свои мнения и рассуждения. Определять и знать — дело правящего и господствующего; низшим, подчиненным, научающимся дано лишь принимать и пользоваться. Но возвратимся к вопросу о том, что нам привычно. Люди отмахиваются от явлений как таковых и принимаются дотошно исследовать их причины и следствия. Обычно они начинают так: «Как это происходит?» А надлежало бы выяснить: «Да происходит ли это на самом деле?» Ум наш способен вообразить сотни других миров, изыскать их начала и способ их устройства. Для этого не требуется никакого вещества, никакой основы. Пусть воображение

действует: на зыбком основании оно строит так же искусно, как на твердой почве, из ничего — так же ловко, как из подлинно сущего,

> *dare pondus idonea fumo[2] [broken link: #nc11_2].*

Я полагаю, что почти на всякий вопрос надо отвечать: не знаю. И я бы часто прибегал к такому ответу, да не решаюсь: тотчас же подымается крик, что так отвечают лишь по слабости ума и невежеству. И мне приходится обычно заниматься болтовней вместе со всеми, рассуждать о всяких пустяках, в которые я нисколько не верю. К этому следует добавить, что действительно трудно просто-напросто отрицать то, что считается фактом, если не хочешь прослыть записным спорщиком. А ведь немногие люди, особенно когда речь идет о вещах, убедить в которых трудно, не станут утверждать, что они сами это видели, или же ссылаться на таких свидетелей, чей авторитет заставляет умолкнуть возражающего. Видя себя таким образом, мы якобы знаем основы и причины вещей, никогда не существовавших. Так и спорит весь мир по поводу тысячи вещей, коих все за и против одинаково ложны. Ita finitima sunt falsa veris, ut in praecipitem locum

non debeat se sapiens committere[3] [broken link: #nc11_3]. Истина и ложь сходны обличием, осанкой, вкусом и повадками: мы смотрим на них одними и теми же глазами. Я нахожу, что мы не только малодушно поддаемся обману, но и сами стремимся и жаждем попасть в его сети. Мы очень охотно даем себя опутать тщеславию, столь свойственному нашей природе.

За свою жизнь я неоднократно видел, как рождались чудеса. Даже в том случае, если они, едва успев родиться, снова превращаются в ничто, мы имеем возможность предугадывать, что получилось бы, если бы они выжили. Ибо нужно лишь ухватиться за свободный конец нити, и тогда размотаешь, сколько понадобится. Между ничем и ничтожнейшей из существующих в мире вещей расстояние большее, чем между этой ничтожнейшей и величайшей. Так вот, те, кто первыми прослышали о некоем удивительном явлении и начинают повсюду трезвонить о нем, отлично чувствуют, встречая недоверие, где в их утверждениях слабое место, и всячески стараются заделать прореху, приводя ложные свидетельства. Кроме того, insita hominibus libidine alendi de industria rumores[4] [broken link: #nc11_4], мы, естественно, считаем долгом

совести вернуть то, что нам ссудили, без каких-либо изъятий, а также и не без добавлений со своей стороны. Спервоначалу чье-то личное заблуждение становится общим, а затем уж общее заблуждение становится личным. Вот и растет эта постройка, к которой каждый прикладывает руку так, что самый дальний свидетель события оказывается осведомленным лучше, чем непосредственный, а последний человек, узнавший о нем, — гораздо более убежденным, чем первый. Все это происходит самым естественным образом, ибо каждый, кто во что-то поверил, считает актом великодушия убедить в том же другого человека и ради этого, не смущаясь, добавляет кое-что собственного сочинения, если, по его мнению, это необходимо, чтобы во всеоружии встретить сопротивление другого и справиться с непониманием, которое тому, по ему мнению, свойственно.

Даже я сам, считающий долгом совести не лгать и не очень заботящийся о том, чтобы придавать особый вес и авторитет своим словам, замечаю, однако же, когда о чемлибо рассказываю, что достаточно мне распалиться от возражений или даже от своего собственного увлечения рассказом, — и я начинаю украшать и раздувать то,

о чем у меня идет речь, повышая голос, жестикулируя, употребляя сильные и впечатляющие выражения и даже кое-что преувеличивая и добавляя, не без ущерба для первоначальной истины. Но делаю я это, соблюдая все же одно условие: первому, кто меня отрезвит и потребует лишь голой и чистой правды, я, презрев все свои усилия, скажу ее без малейших преувеличений, без каких-либо украшений велеречивости. Речь моя, обычно очень живая и громкая, охотно впадает в гиперболы.

Люди обычно ни к чему так не стремятся, как к тому, чтобы возможно шире распространить свои убеждения. Там, где нам это не удается обычным способом, мы присовокупляем приказ, силу, железо, огонь. Беда в том, что лучшим доказательством истины мы склонны считать численность тех, кто в нее уверовал, огромную толпу, в которой безумцы до такой степени превышают — количественно — умных людей. Quasi vero quicquam sit tam valde, quam nil sapere vulgare[5] [broken link: #nc11_5].

Sanitatis patrocinium est, insanientium turba[6] [broken link: #nc11_6]. Трудное дело — сохранить в неприкосновенности свое суждение, когда общепринятые взгляды оказывают такое давление

на него. Сперва предмет разговора убеждает простаков, после них убежденность, поддержанная численностью уверовавших и древностью свидетельств, распространяется и на людей весьма умных. Я же лично если в чем-либо не поверю одному, то и сто одного не удостою веры и не стану также судить о воззрениях на основании их древности.

Недавно один из наших принцев, которого подагра лишила приятной наружности и веселого расположения духа, прослышал о чудесах некоего священника, словами и движениями рук исцелявшего все болезни, и дал себя убедить настолько, что предпринял дальнее путешествие, чтобы до него добраться. Силой воображения он так воздействовал на свои ноги, что на несколько часов боль утихла, и они стали служить ему, как давно уже не служили. Произойди то же самое еще пять или шесть раз, и все признали бы, что чудо это стало несомненным фактом. Впоследствии чудотворец оказался таким простаком, а действия его столь безыскусственными, что он был признай недостойным какой-либо кары. Так поступали бы при подобных обстоятельствах в большинстве случаев, если бы проникали в самую их сущность. Miramur ex intervallo fallentia[7]

[broken link: #nc11_7]. Часто взгляду нашему предстают издали удивительные образы, которые исчезают, едва к ним приблизишься. Nunquam ad liquidum fama perducitur[8] [broken link: #nc11_8]. Диву даешься, как незначительны основания и легковесны причины, производящие столь глубокое впечатление. Именно потому и трудно отдать себе в них отчет. Ибо, ища причин и следствий, достаточно существенных и весомых для столь важного дела, теряешь из виду его действительные причины и следствия: они кажутся слишком ничтожными. И, по правде сказать, для подобных изысканий необходим исследователь крайне осторожный, внимательный и тонкий, беспристрастный и незаинтересованный. До настоящего времени всякие чудеса и сверхъестественные явления для меня оставались скрытыми. На этом свете я не видел чудища более диковинного, чем я сам. К любой странности привыкаешь со временем и благодаря постоянному с ней общению; но чем больше я сам с собою общаюсь и себя познаю, тем больше изумляюсь своей диковинности, тем меньше разбираюсь в том, что же я, собственно, такое.

Право порождать и производить всякого рода необычайные явления принадлежит случаю.

Оказавшись позавчера в одной деревне в двух лье от моего имения, я обнаружил, что ее жители все еще взбудоражены чудом, которое здесь недавно произошло и уже в течение нескольких месяцев волнует всю округу и молва о котором доходит до соседних провинций, откуда начинают стекаться сюда многочисленные толпы людей всякого состояния и положения. Один молодой человек из местных однажды ночью у себя дома стал забавляться тем, что вещал таким загробным голосом, будто был не человек, а некий дух; при этом он не имел никакой иной цели, как только подшутить над односельчанами. Так как это ему удалось сверх ожидания, он пожелал дать своей проказе больший размах и для этого привлек в качестве помощницы одну из деревенских девок, совершенную дурочку и тупицу. В конце концов, их оказалось трое, одинаково юных и в равной степени нахальных. От вещаний в домашней обстановке они перешли к публичным, прячась в церкви под алтарем, говоря только ночью и не допуская, чтобы в это время зажигали свет. Сперва они говорили о покаянии и грозили страшным судом (ибо этот предмет, всем внушающий уважение и благоговение, особенно удобен для всяческих обманщиков).

Затем принялись устраивать явления духов и всевозможной чертовщины, притом так нелепо и смехотворно, что вряд ли малые дети в играх своих бывают столь неискусны. И однако же, прояви к ним хоть немного благосклонности судьба — неизвестно, как далеко могли бы зайти эти шутовские выходки. Сейчас бедняги в тюрьме, и по всей вероятности им одним придется искупить всеобщую глупость. Кто знает, как выместит на них свою собственную какой-нибудь судья! Этот обман раскрылся, и все увидели, в чем тут дело, но я полагаю, что относительно многих подобных вещей, превосходящих наше разумение, мы в равной мере склонны и сомневаться и верить.

В мире зарождается очень много злоупотреблений, или, говоря более смело, все в мире злоупотребления возникают оттого, что нас учат боязни открыто заявлять о нашем невежестве и что мы якобы должны принимать все, что не в состоянии опровергнуть. Обо всем мы говорим наставительно и уверенно. По римскому праву требовалось, чтобы свидетель, даже рассказывая о том, что он видел собственными глазами, и судья, даже вынося постановление о том, что он доподлинно знал, употребляли формулу: «Мне кажется». Начинаешь ненавидеть

все правдоподобное, когда его выдают за нечто непоколебимое. Я люблю слова, смягчающие смелость наших утверждений и вносящие в них некую умеренность: «может быть», «по всей вероятности», «отчасти», «говорят», «я думаю» и тому подобные. И если бы мне пришлось воспитывать детей, я бы так усердно вкладывал им в уста эти выражения, свидетельствующие о колебании, а не о решимости: «что это значит?», «я не понимаю», «может быть», «возможно ли это?», — что они и в шестьдесят лет стали бы держаться, как ученики, вместо того чтобы изображать, как это у них в обычае, докторов наук, едва достигнув десятилетнего возраста. Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться. Ирида — дочь Фавманта[9] [broken link: #nc11_9]. В начале всяческой философии лежит удивление, ее развитием является исследование, ее концом — незнание. Надо сказать, что существует незнание, полное силы и благородства, в мужестве и чести ничем не уступающее знанию, незнание, для постижения которого надо ничуть не меньше знания, чем для права называться знающим.

В детстве я был свидетелем процесса по поводу одного необыкновенного случая. Данные об этом процессе опубликовал Корас, советник

тулузского парламента, и речь шла о том, что два человека выдавали себя за одно и то же лицо[10] [broken link: #nc11_10]. Помнится (ничего другого я не помню), мне тогда показалось, что обман, совершенный тем из них, кого Корас признал виновным, выглядел так удивительно, настолько превосходил наше понимание и понимание самого судьи, что я нашел слишком смелым постановление суда, приговаривавшее обвиняемого к повешению. Предпочтительнее было бы, чтобы формула судебного заключения гласила: «Суд в этом деле разобраться не может». Это было бы и прямодушнее и честнее, чем решение ареопагитов, которые, будучи вынужденными вынести заключение по делу, для них совершенно неясному, постановили, чтобы обе стороны явились для окончательного разбора через сто лет[11] [broken link: #nc11_11].

Ведьмы всей нашей округи оказываются в смертельной опасности каждый раз, как какой-нибудь новый автор выскажет мнение, признающее их бред за действительность. Для того чтобы несомненные и неопровержимые примеры подобных явлений, преподносимые Священным Писанием, приспособить к нам и связать с событиями нашего времени, причины

и ход которых нам непонятны, необходимо иное разумение, чем у нас. Может быть, лишь этому всемогущему свидетельству дано сказать нам: «Вот это есть ведовство, и это, а вон то — нет». Богу мы в этих делах должны верить — и с полным основанием, но не кому-либо из нас, дивящемуся своим собственным россказням (если сам он разума не утратил, они и должны вызывать у него удивление), сообщает ли он о чужом опыте или о своем собственном.

Я человек с умом грубоватым, со склонностью ко всему материальному и правдоподобному, стремящийся избежать упрека древних: Maiorem fidem homines adhibent iis quae non intelligunt[12] [broken link: #nc11_12]. Cupidine humani ingenii libentius obscura creduntur[13] [broken link: #nc11_13]. Я понимаю, что это вызывает гнев, что мне запрещают сомневаться в чудесах, грозя в противном случае самыми ужасными оскорблениями. Вот вам и новый способ убеждения. Но, слава богу, верой моей нельзя руководить с помощью кулачной расправы! Пусть люди эти обрушиваются на тех, кто объявляет их убеждения ложными. Я считаю эти мнения лишь трудно доказуемыми и слишком смелыми и даже осуждаю противоположные

утверждения, хотя и не столь властным тоном: Videantur sane, ne affirmentur modo[14] [broken link: #nc11_14]. Те, кто подкрепляет свои речи вызывающим поведением и повелительным тоном, лишь доказывают слабость своих доводов. Когда ведется спор чисто словесный и схоластический, пусть у них будет такая же видимость правоты, как у их противников. Но когда дело доходит до вещественных следствий, которые из этого спора можно извлечь, у последних есть несомненное преимущество. Если речь идет о том, чтобы лишить кого-то жизни, необходимо, чтобы все дело представало в совершенно ясном и честном освещении. И жизнь наша есть нечто слишком реальное и существенно важное, чтобы ею можно было расплачиваться за какие-то сверхъестественные и воображаемые события. Что же касается отравления ядовитым зельем, то его я не имею в виду: это ведь человекоубийство, и притом самое гнусное. Однако говорят, что и в этих делах не всегда можно полагаться только на признание такого рода людей, ибо бывали случаи, когда они заявляли, что ими убиты люди, которые потом оказывались живыми и здоровыми.

Относительно же других необычайных обви-

нений я со всей прямотой сказал бы так: каким бы безупречно правдивым ни казался человек, ему можно верить лишь в том, что касается дел человеческих. Во всем же, что вне его разумения, что сверхъестественно, ему следует верить лишь в том случае, если слова его получают и некое сверхъестественное подтверждение. Богу угодно было удостоить им некоторые наши свидетельства, но не должно опошлять его и легкомысленно распространять на все решительно. У меня уши вянут от бесчисленных россказней вроде следующего: такого-то человека в такой-то день трое свидетелей видели на востоке, трое других на следующий день — на западе, в такой-то час, в таком-то месте, одетым так-то. Разумеется, я и себе самому в этом не поверил бы! Насколько естественней и правдоподобней допустить, что двое из этих свидетелей лгут, чем поверить, что какой-то человек мог за двенадцать часов с быстротою ветра перенестись с востока на запад! Насколько естественнее считать, что разум наш помутился от причуд нашего же расстроенного духа, чем поверить, будто один из нас в своей телесной оболочке вылетел на метле из печной трубы по воле духа потустороннего! И для чего нам, постоянным жертвам воображаемых до-

машних и житейских тревог, поддаваться обману воображения по поводу явлений сверхъестественных и нам неведомых. Мне кажется, что вполне простительно усомниться в чуде, если во всяком случае достоверность его можно испытать каким-либо не чудесным способом. И я согласен со святым Августином, что относительно вещей, которые трудно доказать и в которые опасно верить, следует предпочитать сомнение[15] [broken link: #nc11_15].

Несколько лет назад я проезжал через земли одного владетельного принца, который из внимания ко мне и для того, чтобы посрамить мое недоверие, был так милостив, что в некоем месте и в своем присутствии показал мне десять или двенадцать обвиняемых в колдовстве, среди которых была одна старуха, доподлинно, можно сказать, ведьма по уродливой своей внешности, издавна весьма знаменитая в колдовских делах. Я получил и всяческие доказательства, и добровольные признания, мне показаны были какие-то незаметные для непосвященных признаки ведовства у этой злосчастной старухи, я свободно расспрашивал ее и вдосталь наговорился с нею, вооружившись предельным вниманием и здравомыслием, как человек, который не позволит

никакой предвзятой мысли ввести себя в заблуждение. И должен со всей прямотой заявить, что этим людям я прописал бы скорее чемерицу, чем цикуту[16] [broken link: #nc11_16]. Captisque res magis mentibus, quam conscelerati similis visa[17] [broken link: #nc11_17]. Но у правосудия для таких болезней есть свое врачевание.

Что же до возражений и доводов, которые приводились мне разными вполне достойными людьми и там и в других местах, то я не слышал таких, которые убедили бы меня и из которых нельзя было бы сделать выводов гораздо более правдоподобных, чем заключения моих противников. Правда и то, что нить доказательств и доводов, основанных на опыте и на фактах, я разматывать не стал бы: у нее нет конца, за который можно ухватиться. Этот клубок я часто разрубаю, как Александр — Гордиев узел[18] [broken link: #nc11_18]. Во всяком случае, заживо поджарить человека из-за своих домыслов — значит придавать им слишком большую цену. Приводят немало примеров такого рода, как рассказ Престанция о своем отце, которому, когда он был погружен в очень глубокий и тяжелый сон, пригрезилось, будто он вьючная лошадь, везущая пожитки его же солдат[19] [broken link:

#nc11_19]. А он и был тем, что ему привиделось. Если колдуны так же реально грезят наяву, если сны подобным образом могут порою превращаться в действительность, я все же не считаю, что воля наша за это ответственна. Говорю я это, как человек, не являющийся ни судьей, ни королевским советником и отнюдь не считающий себя достойным притязать на это, как обыкновенный человек, рожденный и предназначенный для того, чтобы и поступками своими и словами оказывать всяческое уважение общественным установлениям. Тот же, кто воспользуется этими моими размышлениями, чтобы нанести ущерб даже самому незначительному закону, или господствующему мнению, или обычаю своей деревни, причинит величайший вред самому себе, а кроме того, нисколько не меньший и мне. Ибо для обоснования того, что я говорю, я не могу добавить ничего, кроме заявления, что это мысли, которые тогда у меня возникли, а мысли мои — зачастую нетвердые и путаные.

Я говорю о чем угодно, ведя беспритязательную болтовню, а не занимаясь поучениями. Nec me pudet, ut istos, fateri nescire quod nesciam[20] [broken link: #nc11_20]. И я не говорил бы так смело, если бы считал себя человеком, чьим словам

полагается верить. Такой ответ дал я одному из сильных мира, жаловавшемуся на резкость и горячность моих суждений. Когда я вижу, как прочно вы связаны с одной стороной и как упрямо ее держитесь, я показываю вам усерднейшим образом и другую — для того, чтобы просветить ваше разумение, а не для того, чтобы принудить вас с чем-то согласиться. Сердце ваше и ум в руках божьих, и бог внушит вам правильный выбор. Я не так самоуверен и вовсе не жалею, чтобы лишь мои мнения склоняли чашу весов в столь существенном вопросе: судьба моя отнюдь не предопределила их выражать решения столь возвышенные и важные. По правде сказать, у меня есть много не только таких черт характера, но и таких взглядов, от которых я желал бы отвадить своего сына, будь он у меня. Ведь человек по природе своей так упрям, что даже самые правильные суждения не всегда являются для него наиболее удобными.

К месту будь это сказано или не к месту, но есть в Италии распространенная поговорка: тот не познает Венеры во всей ее сладости, кто не переспал с хромоножкой. По воле судьбы или по какому-либо особому случаю словцо это давно у всех на устах и может применяться как к

мужчинам, так и к женщинам. Ибо царица амазонок недаром ответила скифу, домогавшемуся ее любви: αριστα χολος οιφει — «хромец это делает лучше»[21] [broken link: #nc11_21]. Амазонки, стремясь воспрепятствовать в своем женском царстве господству мужчин, с детства калечили им руки, ноги и другие органы, дававшие мужчинам преимущества перед ними, и те служили им лишь для того, для чего нам в нашем мире служат женщины. Я сперва думал, что неправильные телодвижения хромоножки доставляют в любовных утехах какое-то новое удовольствие и особую сладость тому, кто с нею имеет дело. Но недавно мне довелось узнать, что уже философия древних разрешила этот вопрос[22] [broken link: #nc11_22]. Она утверждает, что так как ноги и бедра хромоножек из-за своего убожества не получают должного питания, детородные части, расположенные над ними, полнее воспринимают жизненные соки, становясь сильнее и крепче. По другому объяснению, хромота вынуждает пораженных ею меньше двигаться, они расходуют меньше сил и могут проявлять больше пыла в венериных утехах. По этой же причине греки считали ткачих более пылкими, чем других женщин: из-за сидячего образа жизни, к которому

вынуждает их это ремесло, не требующее расхода сил на ходьбу. Но к каким только выводам не придем мы, рассуждая подобным образом? О ткачихах я мог бы с таким же основанием сказать, что, сидя за своей работой, они вынуждены все время ерзать на месте, что возбуждает их и горячит, как знатных дам, разъезжающих в каретах, тряска их экипажей.

Не доказывают ли примеры эти того, с чего я начал: что доводы наши часто притягиваются к выводам и притязают на такой охват явлений, что в конце концов мы начинаем судить и рядить о всевозможных нелепостях и небылицах? Кроме удивительной податливости нашего мышления, изобретающего доводы в пользу любой выдумки, и воображение наше с легкостью воспринимает ложные впечатления от весьма поверхностной видимости вещей. Ибо, доверившись тому, что упомянутая выше поговорка — старинная и общераспространенная, я в свое время убедил себя, будто получил особое наслаждение от близких отношений с одной женщиной, не ходившей прямо, и особенность эту отнес к ее прелестям.

Проводя сравнение между Францией и Италией, Торквато Тассо утверждает, будто он заметил, что ноги у нас более щуплые, чем у итальянских

дворян, и причину этого он усматривает в том, что мы постоянно ездим верхом[23] [broken link: #nc11_23]. Но из той же причины Светоний вывел совершенно противоположное следствие, ибо он, наоборот, говорит, что у Германика ноги стали гораздо мускулистее также из-за постоянной верховой езды[24] [broken link: #nc11_24]. Нет ничего более гибкого и податливого, чем наше разумение: это туфля Ферамена, которая каждому по ноге[25] [broken link: #nc11_25]. Оно двусмысленно и постоянно меняет значения, так же как двусмысленны и самые вещи. «Дай мне серебряную драхму», — сказал некий философ-киник Антигону. — «Это подарок, недостойный царя», — ответил тот. — «Ну, так дай мне талант». — «Это подарок, неподходящий для киника»[26] [broken link: #nc11_26].

> *Seu plures calor ille vias et caeca relaxat*
> *Spiramenta, novas veniat qua succus in herbas;*
> *Seu durat magis et venas astringit hiantes,*
> *Ne tenues pluviae, rapidive potentia solis*
> *Acrior, aut Boreae penetrabile frigus adurat.[27] [broken link: #nc11_27]*

Ogni medaglia ha il suo riverso[28] [broken link:

#nc11_28]. Вот почему Клитомах говорил в древности, что Карнеад превзошел труды Геркулеса, ибо доказал, что люди неспособны познавать истину, и тем самым отнял у них право на смелость и непререкаемость суждений[29] [broken link: #nc11_29]. Эта смелая мысль возникла у Карнеада, по-моему, из-за бесстыдства тех, кто воображает, будто им все, известно, и их непомерной заносчивости. Эзопа выставили на продажу вместе с двумя другими рабами. Покупатель спросил у одного из них, что он умеет делать. Тот, желая набавить себе цену, наговорил с три короба, что он и то умеет, и это. Второй сказал о себе столько же, если не больше. Когда же настала очередь Эзопа, и у него спросили, что умеет делать он, Эзоп ответил: «Ничего, ведь все уже забрали те двое: они все умеют»[30] [broken link: #nc11_30]. Так произошло и с философскими школами. Гордость тех, кто приписывает человеческому разуму способность познавать все, заставила других, вызывая в них досаду и дух противоречия, проникнуться убеждением, что разум совершенно бессилен. В утверждении невежества одни держатся такой же крайности, какой другие — в утверждении знания. Да не решится кто-либо отрицать, что человек ни в чем не знает меры и

останавливается лишь по необходимости, когда у него уже нет сил идти дальше.

## Глава XII
## О физиогномии

Почти все наши мнения опираются на некий авторитет и на веру. В этом нет беды: ибо в наш слабый духовно век мы, руководствуясь лишь своим разумением, сделали бы самый плачевный выбор. Поучения Сократа, сохраненные в писаниях его друзей[1] [broken link: #nc12_1], восхищают нас лишь потому, что их чтят и уважают все, а не потому, что мы ими прониклись: в жизни мы их не применяем. Возникни что-либо подобное в наши дни, весьма немногие одобрили бы его.

Красоту и изящество мы замечаем лишь тогда, когда они предстают искусственно заостренными, напыщенными и надутыми. Если же они скрыты за непосредственностью и простотой, то легко исчезают из поля столь грубого зрения, как наше. Прелесть их — неброская, потаенная: лишь очень ясный и чистый взор может уловить это тихое сияние. Разве непосредственность, по-нашему, не родственна глупости и не является пороком? Душевным движениям Сократа свойственны естественность и простота. Так

говорит крестьянин, так говорит женщина. На устах у него одни возчики, плотники, сапожники и каменщики. Формулы и сравнения свои он заимствует из простейших, повседневнейших человеческих действий. Каждому они понятны. Мы никогда не распознали бы в столь жалкой оболочке благородства и великолепия его философских построений, мы, считающие пошлым и низменным все не сдобренное ученостью, мы, способные усмотреть богатство лишь в показной пышности. Наш мир создан словно лишь для чванства: людей, надутых воздухом, кто-то подбрасывает вверх, как воздушные шары. Сократ же не тешит себя суетными выдумками; цель его состояла в том, чтобы дать нам поучения и предписания, которые самым непосредственным и действенным образом послужили бы нам в жизни,

> *servare modum, finemque tenere*
> *Naturamque sequi.[2] [broken link: #nc12_2]*

Он оставался всегда цельным, верным себе и поднимался до предельных высот силы духовной не случайными скачками, а неуклонным ростом всего своего существа. Или, лучше сказать, он

вовсе не поднимался, а скорее спускался и возвращался к своему врожденному и естественному душевному складу, ставя его превыше силы, препятствий, трудностей. Ибо на примере Катона мы ясно видим стремление ввысь, за пределы общедоступного: подвиги его жизни, его кончина показывают нам, как высоко он парил. Сократ же не покидает земли; невысокопарен, размерен шаг его на путях мудрого философствования, и тем же шагом идет он к смерти по терниям самых тяжких испытаний, какие могут встретиться в человеческой жизни.

Как хорошо, что о человеке, наиболее достойном известности и того, чтобы служить для всех примером, мы все знаем достоверно. Нам поведали о его жизни самые мудрые и проницательные люди, которые когда-либо существовали: свидетельства о нем, дошедшие до нас, удивительны по своей правдивости и точности.

Большое это дело — так направить ничем не запятнанное воображение ребенка, не угнетая его и не напрягая, чтобы оно могло порождать самые прекрасные душевные движения. Душу человеческую Сократ не изображает возвышенной и особо щедро одаренной. В его представлении основное качество ее — здоровье, но здоровье, полное си-

лы и ясности. Пользуясь самыми обычными и естественными средствами, всем понятными и доступными образами, раскрыл он перед нами не только наиболее свойственные природе человека, но и наиболее возвышенные взгляды, основы поведения и нравы, какие только известны от начала времен. Это Сократ вернул разум человеческий с неба, где ему нечего было делать, на землю, чтобы он вновь стал достоянием людей и действовал в положенной ему области наиболее прилежным и полезным образом[3] [broken link: #nc12_3]. Посмотрите, как Сократ защищает себя перед своими судьями, какими доводами укрепляет он свое мужество в превратностях войны и какими воспитывает в себе терпенье перед лицом клеветы, угнетения, смерти и, наконец, даже перед злонравием своей жены[4] [broken link: #nc12_4]. Ничего не заимствует он у искусства или науки, самые простые люди видят, что учит он посильному и возможному для них, доходит до самых темных, опускается до самых малых. Величайшее благо оказал он природе человеческой, показав, как много может она сама по себе.

Любой из нас гораздо богаче, чем ему кажется, но мы приучены жить займами или подаянием, мы воспитаны так, чтобы охотнее брать у других,

чем извлекать нечто из самих себя. Ни в чем не умеет человек ограничиться лишь тем, что ему необходимо. Любовных утех, богатства, власти — всего этого он хочет получить больше, чем в состоянии насладиться ими. Алчность его не знает удержу. Я полагаю, что то же самое налицо и в стремлении к знанию. Человек притязает на то, чтобы сделать больше, чем ему по силам и чем это вообще нужно, считая в науке полезным для себя все без исключения, что она охватывает. Ut omnium rerum sic litterarum quoque intemperantia laboramus[5] [broken link: #nc12_5].

И Тацит прав, когда хвалит мать Агриколы за то, что она обуздывала у своего сына чрезмерно кипучую жажду знания[6] [broken link: #nc12_6]. Если к последней отнестись трезво, то убедишься, что к ней, как и к прочим благим устремлениям, примешивается немало тщеславия, а также свойственной всем нам естественной слабости, и что обходится она порою весьма дорого.

Питаться ею гораздо более рискованно, чем каким-либо другим яством или питьем. Ибо то, что нами куплено, мы относим к себе домой в какомнибудь сосуде и там обязательно разбираемся в ценности приобретенного, в том, какое количество этой пищи мы примем и когда именно. Но

что касается наук, их-то мы не можем заключить с самого начала в сосуд иной, чем наша душа: мы поглощаем эти яства, как только приобрели их, и из рынка выходим уже или отравленными, или насыщенными, как должно. А среди них есть такие, которые не питают нас, а лишь отягощают нам желудок и препятствуют пищеварению, и такие, которые отравляют нас под видом излечения.

Я не без удовольствия наблюдал, как кое-где люди из благочестия давали обет невежества, как дают обет целомудрия, бедности, покаяния. Точно таким же укрощением необузданных желаний является способность смирять жадное увлечение книжной наукой и отказывать душе своей в тех сладостных утехах, которыми соблазняет ее чрезмерно высокое мнение об этой науке. Обет нищеты еще полнее, когда к нему добавляется нищета духовная. Для благополучного существования ученость совершенно не нужна. Сократ наставляет нас, что она — в нас самих и что от нас зависит извлечь ее из себя и пользоваться ею. Ученость же, которая за пределами естественности, всегда более или менее суетна и излишня. Хорошо еще, если она не отягощает нас и не сбивает с толку в еще большей степени, нежели

приносит нам пользу. Paucis opus est litteris ad mentem bonam[7] [broken link: #nc12_7]. Все это — ненужная лихорадка ума, орудие, создающее лишь путаницу и беспокойство. Сосредоточтесь мыслями, и в самом себе обретете вы доводы против страха смерти, доводы истинные и наиболее способные послужить вам в нужде: именно благодаря им простой крестьянин, да и целые народы, умирают столь же мужественно, как философы. Разве для того, чтобы примириться со смертью, мне необходимо было прочесть «Тускуланские беседы»[8] [broken link: #nc12_8]? Полагаю, что нет. И если я призадумаюсь, то увижу, что язык мой обогатился, но сердце — нисколько: оно осталось таким, каким создала его природа, и в предстоящей борьбе пользуется лишь теми средствами защиты, которыми владеют все.

Книги не столько обучили меня чему-то, сколько послужили мне для упражнения моих умственных способностей. А что, если наука, вооружая нас новыми защитными средствами против неизбежных жизненных превратностей, тем самым представляет превратности эти нашему воображению гораздо более существенными и грозными, чем те доводы и ухищрения, которыми она пытается нас защитить? Ибо это действи-

тельно ухищрения, и нередко ученость наша тревожит нас ими совершенно зря. Обратите внимание, как писатели, даже самые осторожные и мудрые, окружают некое истинное положение многими легковесными и, если приглядеться, даже бессодержательными доводами. Вот это лишь обманчивые плетения словес. Но так как среди них попадаются и полезные, я не стану больше заниматься их разоблачением. Ими у нас увлекаются повсюду, либо заимствуя, либо подражая. Поэтому пусть каждый сам остерегается называть сильным то, в чем есть лишь приятность, крепким то, что является лишь острым, и благим то, что лишь красиво: quae magis qustata quam potata delectant[9] [broken link: #nc12_9]. Не все золото, что блестит. Ubi non ingenii sed animi negotium agitur[10] [broken link: #nc12_10].

Видя, каких усилий стоило Сенеке подготовиться к смерти, как он обливался кровавым потом, стараясь держаться крепче, уверенней и как можно дольше на своей жердочке, я усомнился бы в его славе, если бы в смертный час он не оправдал ее столь блистательно[11] [broken link: #nc12_11]. Страстное возбуждение, так часто находившее на него, показывает лишь, как пылок и неукротим он был по своей природе. Magnus animus remissius

loquitur et securius[12] [broken link: #nc12_12]. Non est alius ingenio, alius animo color[13] [broken link: #nc12_13]. Победа далась ему дорого, и видно, что противник едва не одолел его. Рассуждения Плутарха, более спокойные и бесстрастные, на мой взгляд, мужественнее и убедительнее: я склонен считать, что душевные движения у него уверенней и гармоничней. Первый острее, и, внезапно поражая нас, он более волнует нашу душу. Второй хладнокровнее, он учит, обосновывает свои положения и тем самым постоянно укрепляет нас, обращаясь скорее к разуму. Первый покоряет наш рассудок, второй убеждает его.

Точно так же в других, еще более чтимых творениях усмотрел я, что, рисуя борьбу души с плотскими соблазнами, они изображают последние столь жгучими, властными и неодолимыми, что нам, людям простым, приходится изумляться необычности и силе искушения не меньше, чем сопротивлению подвижников.

Для чего нам призывать себе в помощь силу науки? Обратим взор свой к земле, на бедных людей, постоянно склоненных над своей работой, не ведающих ни Аристотеля, ни Катона, никаких примеров, никаких философских поучений: вот откуда сама природа каждодневно

черпает примеры твердости и терпения, более чистые и более ясные, чем те, которые мы так любознательно изучаем в школе. Сколько приходится мне видеть бедняков, не боящихся своей бедности! Сколько таких, что желают смерти или принимают ее без страха и скорби! Человек, работающий у меня в саду, похоронил нынче утром отца или сына. Даже слова, которыми простой человек обозначает болезни, словно смягчают и ослабляют их тяжесть. О чахотке он говорит «кашель», о дизентерии — «расстройство желудка», о плеврите — «простуда», и, именуя их более мягко, он и переносит их легче. Болезнь для него по-настоящему тяжела тогда, когда из-за нее приходится прекращать работу. Эти люди ложатся в постель лишь для того, чтобы умереть. Simplex illa et aperta virtus in obscuram et solertem scientiam versa est[14] [broken link: #nc12_14].

Я писал это в то время, когда на меня всей тяжестью навалились беды, связанные с нашей смутой. С одной стороны у дверей моих стоял неприятель, с другой донимали меня мародеры, враги еще более зловредные — non armis sed vitiis certatur[15] [broken link: #nc12_15], — и я терпел одновременно всевозможные невзгоды военного положения.

*Hostis adest dextra levaque a parte timendus,*

*Vicinoque malo terret utrumque latus.[16] [broken link: #nc12_16]*

О чудовищная война! Другие войны врываются к нам извне, эту мы ведем сами против себя, калеча свое собственное тело и отравляя себя своим же ядом. По природе своей она так мерзостна и губительна, что как бы сама себя уничтожает вместе со всем прочим, сама себя раздирает в исступленной ярости. И чаще всего мы видим, что она выдыхается сама по себе, а не из-за недостатка в необходимых припасах или из-за силы врага. Какая бы то ни была воинская дисциплина ей совершенно чужда. Она стремится справиться с мятежом, но мятеж в ней самой, она хочет покарать неповиновение и сама же дает пример его, ведущаяся в защиту законов — превращается в восстание против них же. К чему мы пришли? Лечебные средства наши только распространяют заразу:

*Хвораем мы, и нет спасенья —*

*Мы помираем от леченья[17] [broken link: #nc12_17].*

*Exuperat magis aegrescitque medendo.[18] [broken link: #nc12_18]*

*Omnia fanda, nefanda, malo permixta furore,*
*Iustificam*
*nobis mentem avertere deorum.[19] [broken link: #nc12_19]*

В этих общественных недугах поначалу еще можно разобрать, кто здоров, кто болен; но когда болезнь затягивается, как это произошло у нас, то она охватывает все тело, с головы до пят: ни один орган не остается незатронутым. Ибо нет дуновения, которое вдыхалось бы людьми с такой жадностью, которое распространялось бы так быстро и широко, как всяческая разнузданность. Для наших войск единственным скрепляющим раствором являются теперь иноземцы: из французов нельзя набрать ни одной упорядоченно действующей регулярной воинской части. Какой позор! Дисциплина существует только у иностранных наемников. Что до нас самих, то мы ведем себя по случайной прихоти, и притом не по прихоти начальника, а именно как кому взбредет в голову. И бороться нам приходится не столько с внешним врагом, сколько с внут-

ренним. Командиру только и приходится, что тащиться в хвосте, льстить и уступать, только он должен подчиняться: все остальные свободны и разнузданны. Мне даже забавно видеть, как много подлости и малодушия в честолюбце, какими гнусными и низменными способами он пользуется, чтобы достичь цели. Но горько наблюдать, как люди, по природе своей великодушные и справедливые, все время развращаются от того, что в этой смуте им приходится быть вождями и начальниками. Длительно перенося что-либо, начинаешь привыкать, а привычка порождает примирение со злом и даже подражание ему. И без того хватало нам низменных душ, — теперь растление коснулось благонамеренных и благородных. Если так пойдет дальше, некому будет руководить государством, коль скоро по воле судьбы мы обретем его вновь.

> *Hunc saltem everso iuvenem succurrere saeclo*
>
> *Ne prohibite.[20] [broken link: #nc12_20]*

Что сталось со старинным правилом, по которому солдаты должны бояться своего начальника больше, чем врага? И с поучительнейшим примером яблони, случайно оказавшейся в центре

лагерной стоянки римского войска и, после того как на другой день солдаты ушли, возвращенной владельцу со всеми своими спелыми сочными плодами[21] [broken link: #nc12_21]? Я предпочел бы, чтобы наша молодежь, вместо того чтобы без толку скитаться по городам и весям да обучаться бог знает чему, тратила половину своего времени на участие в морских походах под началом какого-нибудь хорошего капитана, командора родосских рыцарей[22] [broken link: #nc12_22], а другую половину на изучение дисциплины, принятой в турецком войске, как имеющей большие преимущества по сравнению с нашей. У нас солдаты становятся в походе разнузданней, там — смирней и сдержанней. Ибо если обиды, чинимые обывателям, и мародерство караются в мирное время палочными ударами, то в военное время это очень серьезные проступки: за одно яйцо, взятое без уплаты, положено пятьдесят ударов, за любую другую вещь, даже пустяковую, если это не съестные припасы, виновного сажают на кол или обезглавливают на месте преступления. В истории Селима, самого жестокого из завоевателей, я с удивлением прочел, что, когда он шел походом на Египет, замечательные сады, окружающие Дамаск, густые, искусно возделан-

ные, остались не тронутыми его воинами, хотя стояли ничем не огороженные и доступ в них был открыт[23] [broken link: #nc12_23].

Но можно ли в управлении каким-либо государством усмотреть такие недостатки, которые допустимо было бы излечивать столь смертоносным лекарством? Нет, говорит Фавоний, узурпация власти в государстве и в этом случае недопустима[24] [broken link: #nc12_24]. Платон также не соглашается, чтобы мир в его стране нарушался ради того, чтобы усовершенствовать ее управление, и не принимает никаких улучшений, если цена их — кровопролитие и разорение граждан. Он полагает, что человек доброй воли должен в этом случае все оставить, как оно есть, и только молить бога о чудодейственном спасении[25] [broken link: #nc12_25]. Похоже, что он не одобрял и своего любимого друга Диона, когда тот поступил по-иному[26] [broken link: #nc12_26]. В этом смысле я был платоником еще до того, как узнал, что на свете был Платон. А если мы не можем считать своим даже Платона, человека, который благородством своих помыслов заслужил милость божию — провидеть свет христианского учения сквозь духовный сумрак своего времени, — то, по-моему, нам тем более

не подобает учиться у настоящего язычника. До чего же нечестиво предполагать, что господь не поможет нам, если мы не окажем ему содействия. Часто дивлюсь я, может ли среди стольких людей, вмешивающихся в подобные дела, найтись глупец, способный искренне поверить, что он идет к переустройству через всеобщее расстройство, что он обеспечивает душе своей спасение средствами, которые бесспорно навлекают на нас вечное проклятие, что, разрушая государственное управление, свергая власти предержащие, уничтожая законы, которые сам бог повелел ему защищать, рассекая на части тело матери-родины и бросая их на съедение былым врагам, наполняя отцеубийственной ненавистью сердца своих братьев, призывая на помощь чертей и фурий, он споспешествует всесвятейшей любви и правде слова божия. Честолюбие, стяжательство, жестокость, мстительность сами по себе еще недостаточно яростны: раздуем же пламень как можно жарче, присвоив им славные имена праведности и благочестия. Худшее обличье принимают вещи тогда, когда зло объявляется законным и с согласия власть имущих облекается в мантию добродетели. Nihil in speciem fallacius quam prava religio ubi deorum numen praetenditur

sceleribus[27] [broken link: #nc12_27]. По Платону, неправда достигает предела, когда несправедливое почитается справедливым[28] [broken link: #nc12_28].

Народу пришлось тогда немало выстрадать, и не только от настоящих бедствий,

> *undique totis*
>
> *Usque adeo turbatur agris,[29] [broken link: #nc12_29]*

но и от грядущих. Страдали живые, страдали и те, кто еще не родился. У народа — и в частности у меня — отнимали все вплоть до надежды, ибо он лишался того, чем собирался жить долгие годы.

> *Quae nequeunt secum ferre aut abducere perdunt,*
>
> *Et cremat insontes turba scelesta casas.[30] [broken link: #nc12_30]*
>
> *Muris nulla fides, squallent populatibus agri.[31] [broken link: #nc12_31]*

Кроме этого потрясения, претерпел я и другие. На меня посыпались неприятности, которые при всяких общественных неустройствах выпадают на долю людей умеренных. Притесняли меня со всех сторон: гибеллин считал меня гвельфом,

гвельф — гибеллином[32] [broken link: #nc12_32]. Один из любимых моих поэтов хорошо об этом говорит, да сейчас не припомню, где именно. Дом мой и связи с соседями придавали мне один облик, жизнь моя и поступки — другой. Никто не мог предъявить мне определенных обвинений — не за что было уцепиться. Я всегда соблюдаю законы и сумел бы постоять за себя, пожелай кто-нибудь преследовать меня по суду. Все это были безмолвные подозрения, наветы исподтишка. В смутное время им всегда хватает правдоподобия, как хватает в такое время людей завистливых и тупых. Обычно я содействую оскорбительным предубеждениям на мой счет, которыми донимает меня злой рок, ибо всегда избегаю оправдываться, извиняться и объясняться, считая, что защищать свою совесть — значит вступать относительно ее в недостойную сделку. Perspicuitas enim argumentatione elevatur[33] [broken link: #nc12_33]. И, словно каждый видит мою душу насквозь не хуже меня самого, я, вместо того чтобы опровергать обвинение, иду ему навстречу и только усиливаю его своим ироническим, насмешливым признанием, если не попросту отмалчиваюсь, как на нечто не достойное ответа. Но те, кто расценивает такое поведение как высшую степень

самоуверенности, возмущаются им не меньше, чем те, кто видит в нем признание моей слабости и невозможности защищать безнадежное дело: таковы прежде всего сильные мира сего, считающие неподчинение себе высшим преступлением и беспощадные ко всякому, кто, сознавая свою правоту, не намерен смиренно и покорно молить о прощении. Я нередко натыкался на эту стену. Из-за того, что мне в таких случаях выпадало, честолюбец повесился бы, равно как и стяжатель. Но я меньше всего жажду обогащения.

> *Sit mihi quod nunc est, etiam minus, ut mihi vivam*
>
> *Quod superest aevi, si quid superesse volent dii.[34] [broken link: #nc12_34]*

Однако потери, которые я терплю от воровства или разбоя, по чьей-то злой воле, для меня так же мучительны, как для человека, страдающего скупостью, ибо обида бесконечно горше простой утраты.

Тысячи различных бедствий обрушивались на меня одно за другим; легче мне было бы перенести их все сразу. Часто возникала у меня мысль, на кого из моих друзей смог бы я рассчитывать в старости, немощный и нищий, — но, поглядев

вокруг себя, я убеждался, что наг и бос. Чтобы уцелеть, падая камнем с большой высоты, надо попасть в объятия настоящего друга, притом человека сильного и благополучного. А такие друзья если и бывают, то очень редко. И в конце концов я убедился, что самое верное — рассчитывать в нужде на самого себя и, если фортуна поглядит на меня немилостиво, довериться своим собственным силам, в себе самом обрести опору и своими глазами присматривать за собой. Люди же всегда склонны прибегать к чужой помощи, щадя собственные силы, единственные подлинно надежные, если умеешь ими пользоваться.

Каждый бежит от себя, надеясь на будущее, и никто еще не стремился к самому себе. И я пришел к выводу, что бедствия бывают полезны. Во-первых, плохих учеников наставляют розгой, когда не помогают увещания, а кривую деревяшку для выпрямления обжигают и обстругивают. Давно уже я внушаю себе держаться лишь себя самого, отвращаться от вещей посторонних и тем не менее продолжаю глядеть по сторонам: доброжелательность, благосклонное слово вельможи, ласковая улыбка соблазняют меня. Один бог знает, дорого ли все это по нынешним временам стоит и что за этим кроется! Не хмурясь, выслу-

шиваю я льстивые речи тех, кто хочет задешево купить меня, и так вяло обороняюсь, что может показаться, будто я готов уже поддаться им. Так вот, натура столь ленивая нуждается в хорошей встряске, бочку, которая разваливается на части, надо заново сбить крепким молотом, чтобы из нее ничего не брызгало и не растекалось. Во-вторых, беда может послужить мне для того, чтобы подготовить к еще худшим испытаниям на тот случай, если я, рассчитывающий благодаря своим хорошим обстоятельствам и мирному нраву быть одним из последних, кого заденет буря, оказался бы вдруг одним из первых: тогда я заблаговременно научусь всячески ограничивать себя в жизни и приспосабливаться к невзгодам. Подлинная свобода состоит в том, чтобы иметь над собою полную власть. Potentissimus est qui se habet in potestate[35] [broken link: #nc12_35].

Во времена мирные и спокойные человек готовится к случайностям, не выходящим за пределы обычного. Но в нашей смуте, длящейся вот уже тридцать лет, все французы вообще и каждый в отдельности должны быть в любой миг готовы к полному перевороту в своей судьбе. Тем крепче следует нам закалить и вооружить свое сердце. Возблагодарим же рок, суливший нам жить в

такое время, когда нельзя быть мягким, изнеженным и бездеятельным: тот, кто не достиг бы славы иным путем, прославится своим несчастьем.

Читая в истории о смутах в других государствах, я всегда жалел, что не мог наблюдать их собственными глазами. Вот и теперь настолько велико мое любопытство, что я радуюсь возможности созерцать гибель нашего государства, наблюдать признаки ее и формы, какие она принимает. И раз я не в силах воспрепятствовать ей, то доволен хотя бы тем, что могу, присутствуя при этих событиях, извлечь из них полезный урок.

Недаром так жадно стараемся мы в образах, появляющихся пред нами в театре, познать подлинную трагедию человеческих судеб. Необычайность жалостных событий, происходящих на сцене, вызывает в нас волнение и сочувствие, от которых мы испытываем наслаждение. Что щекочет, то и щиплет. И хорошие историки избегают повествований о мирной жизни, словно стоячей воды или мертвого моря, и постоянно обращаются к смутам, к войнам, ибо знают, что этого-то мы от них и требуем. Более половины своей жизни провел я среди бедствий родной страны и уже не знаю, пристойно ли будет признаться, как мало пришлось мне при этом поступиться

своим покоем. По правде сказать, не много стоит мне терпеливо переносить события, которые не затрагивают меня лично. Прежде чем сожалеть о своей горькой участи, я стараюсь разобраться не столько в том, что у меня отнято, сколько в том, что у меня — и внешне и внутренне — сохранилось. Есть некое утешение в том, чтобы, избегая то одного, то другого из обрушивающихся на нас бедствий, наблюдать, как они свирепствуют кругом. Точно так же и в делах общественных: чем шире распространяется затронувшая меня беда, тем меньше я ее ощущаю.

К тому же почти с полным правом можно сказать, что tantum ex publicis malis sentimus, quantum ad privatas res pertinet[36] [broken link: #nc12_36].

А здоровье, которого мы лишились, было такого рода, что оно само облегчает сожаления, которые мы должны были ощущать от его утраты. Это было здоровье, но лишь по сравнению с последовавшим недугом. Не с такой уж большой высоты мы пали. Хуже всего, на мой взгляд, — растление и разбой находящихся в чести и при должности. Гораздо обиднее, когда тебя обирают в безопасном месте, чем в темном лесу. Наш мир представлял какую-то совокупность органов, один немощнее другого, и гнойники большей

частью настолько застарели, что их нельзя было излечить, да они и не желали этого. Вот почему всеобщее крушение скорее воодушевило меня, чем пришибло; ведь совесть моя была не только спокойна, но даже горда и не могла меня ни в чем упрекнуть. К тому же, так как господь бог никогда не посылает людям одни только бедствия, как не посылает одних только благ, здоровье мое в то время было на редкость крепкое, а хотя, не будучи здоровым, я не способен ни к чему, мало есть вещей, которых я не мог бы сделать, когда я здоров. Оно дало мне возможность собрать все свои силы и собственной рукой излечить язвы, которые иначе распространились бы по всему телу. Тогда я убедился, что у меня хватает выдержки и я могу противостоять ударам судьбы и что выбить меня из седла можно лишь очень уж мощным ударом. Говорю я это не для того, чтобы искушать судьбу, не для того, чтобы бросить ей вызов. Я — слуга ее и с мольбой протягиваю к ней руки: пусть, во имя божие, она будет довольна! Чувствую ли я удары ее? Конечно. Как те, кто, будучи охвачен тяжкой скорбью, иногда поддаются соблазнам какого-либо удовольствия и способны улыбнуться, так и я достаточно владею собой, чтобы сохранять обычно мирное состояние духа

и отгонять от себя докучные помыслы. Тем не менее порою я испытываю внезапные укусы этих пагубных мыслей, которые нападают на меня как раз тогда, когда я вооружаюсь, чтобы одолеть их и отогнать.

Но вот, после всех обрушившихся на меня зол, претерпел я нечто еще худшее. И во внешнем мире и у себя дома стал я жертвой чумы, а беда эта покруче всех других[37] [broken link: #nc12_37]. Здоровое тело подвержено гораздо более тяжким болезням, ибо только они могут с ним справиться; так животворный воздух моего окружения, куда не проникало никакое, даже очень близкое поветрие, оказавшись вдруг зараженным, причинил нам множество неслыханных бед.

> *Mixta senum et iuvenum densantur funera, nullum*
>
> *Saeva caput Proserpina fugit.[38] [broken link: #nc12_38]*

Мне пришлось очутиться в таком приятном положении, когда вид собственного дома внушает ужас. Все, что в нем было, осталось безо всякой защиты, так что любой человек мог присвоить себе любую приглянувшуюся ему вещь. Я, всегда отличавшийся гостеприимством, оказался

вынужденным искать крова для себя и своей семьи, несчастной растерянной семьи, внушавшей страх и своим друзьям, и себе самой, внушавшей отвращение всюду, где она пыталась найти убежище, и вынужденной поспешно сниматься с места всякий раз, как у кого-либо из ее членов начинал болеть хоть кончик пальца. Все болезни принимают за чуму: никто не дает себе труда разобраться в них. Лучше же всего то, что, по правилам врачебного искусства, вы после соприкосновения с больным должны в течение сорока дней выжидать, не заразились ли, а в это время воображение ваше работает вовсю и может даже здорового человека довести до болезни.

Все это гораздо меньше тронуло бы меня, если бы мне не пришлось страдать за других и в течение полугода самым злосчастным образом быть вожаком этого каравана. Ибо при мне всегда находятся средства защиты — твердость и терпеливость. Ожидание и боязнь заразы, которых в этом случае особенно опасаются, не могли бы меня смутить. Если бы я был одинок и заразился, то считал бы болезнь лишь довольно легким и быстрым способом уйти из этого мира. По-моему, такая смерть не из худших: обычно она скорая, теряешь сознание без мучений, причем утеше-

нием тебе может служить то, что это общая беда, все происходит без торжественных обрядов, без траура, без похоронной сутолоки. Но что касается окрестного люда, то спаслась едва ли сотая часть.

> *videas desertague regna*
>
> *Pastorum,*
> *et longe saltus lateque vacantes.[39] [broken link: #nc12_39]*

Основное имущество мое — труд крестьян: поле, на котором работали сто человек, теперь надолго осталось под паром.

И каких только примеров твердости духа не давал нам в этих обстоятельствах простой народ! Почти все отказывались от какой-либо заботы о своем существовании. Неубранные гроздья висели на виноградных лозах, главном богатстве нашего края, ибо все ожидали смерти, если не нынче вечером, так назавтра, но лицо их и голос выражали так мало страха, что казалось — эти люди осознали необходимость своей гибели и приняли ее как неизбежный приговор, одинаково касающийся всех. Но как мало нужно, чтобы человек проникся решимостью умереть! Расстояние, разница во времени на несколько часов,

одна мысль, что ты не один, и смерть принимает совсем другое обличье.

Взгляните на наших людей: видя, сколько детей, молодежи, стариков умерло за один месяц, они уже не поражаются, не плачут. Я знал таких, которые даже боялись выжить, чтобы не остаться в ужасном одиночестве, и мне приходилось заботиться лишь о погребении умерших: людям горько было видеть трупы, лежащие прямо в поле, оставшиеся добычей диких зверей, которые в то время сильно расплодились. (Как различны у людей представления обо всем этом! Неориты, один из покоренных Александром народов, бросали тела мертвецов в самую глубь лесной чащи, на съедение зверям — единственный, по их взглядам, достойный способ погребения![40] [broken link: #nc12_40]) Можно было видеть, как совсем здоровый еще человек роет себе могилу. Другие живьем укладывались в ямы. А один из моих крестьян, умирая, старался руками и ногами набросать на себя побольше земли: не так ли человек натягивает на себя одеяло, чтобы ему удобнее было спать? И разве деяние это нельзя по величию сравнить с тем, как поступили римские воины после битвы при Каннах, когда они вырыли ямы, засунули туда головы и сами засыпали

их землей, чтобы таким образом задохнуться[41] [broken link: #nc12_41]. Словом, целый народ за самое короткое время приучился к поведению, которое по твердости и мужеству не уступало никакой заранее обдуманной и взвешенной решимости.

В тех уроках мужества, которые мы черпаем из книг, больше видимости, чем подлинной силы, больше красивости, чем настоящей пользы. Мы отошли от природы, которая так удачно и правильно руководила нами, и притязаем на то, чтобы учить ее. И все же кое-что из того, чему она нас учила, сохраняется; не совсем стерся у людей, чуждых нашей учености, и образ ее, отпечатлевшийся в той жизни, которую ведут сонмы простых крестьян. И ученость вынуждена постоянно заимствовать у природы, создавая для своих питомцев образцы стойкости, невинности и спокойствия. Даже радуешься, видя, как эти питомцы, напичканные самыми расчудесными познаниями, вынуждены подражать глупой простоте, и притом подражать в самых основах добродетельной жизни. Радуешься, видя, как наша наука даже от животных получает полезнейшие в самых важных и существенных жизненных делах уроки: в том, как нам жить и

умирать, как нам обращаться со своим добром, как любить и воспитывать детей, как соблюдать справедливость. Изумительное свидетельство человеческой слабости, а также того, что разум, который мы приспосабливаем к своим потребностям и который всегда изобретает что-нибудь особенное, новое, не оставляет в нашей жизни никаких ощутительных следов природы. Люди обращаются с разумом, как составители духов с оливковым маслом: они насыщают его таким количеством всевозможных аргументов и домыслов, привлеченных извне, что он становится противоречивым и начинает приспосабливаться к каждому отдельному человеку, утратив свою постоянную всеобщую сущность. Вот и приходится нам искать примеров у животных, которые не знают предвзятости, испорченности и противоречий во взглядах. Ибо хотя звери тоже не всегда и не во всем точно следуют природе, их отклонения от нее так незначительны, что всегда можно заметить правильную колею. Так же и лошади, когда их ведешь на поводу, прыгают, рвутся в разные стороны, но не дальше, чем позволяет длина повода, и все же при этом идут туда, куда идешь ты. Так же и птица на шнуре может летать, но только по радиусу шнура. Exilia, tormenta, bella,

morbos, naufragia meditare, ut nullo sis malo tiro[42] [broken link: #nc12_42]. Для чего мы с таким усердием изучаем все препятствия развитию нашей человеческой природы и так усиленно готовимся к борьбе даже с теми из них, которые, по всей вероятности, не встанут у нас на пути? Parem passis tristitiam facit, pati posse[43] [broken link: #nc12_43]. Нас поражает не только нанесенный нам удар, но даже резкий порыв ветра или громкий треск. Или какой смысл, поддавшись порыву безумия (ибо это самое настоящее безумие), напрашиваться на порку только потому, что когда-нибудь нам, может быть, придется ее перенести, или же с Иванова дня[44] [broken link: #nc12_44] доставать шубу, потому что она понадобится на Рождество? Старайтесь заранее познакомиться с бедами, которые могут вас постигнуть, даже с самыми тяжкими, говорят эти безумцы, испытывайте себя, укрепляйте свои силы. Напротив, естественнее и проще всего даже не помышлять об этом. Для нас же они как бы недостаточно рано приходят и недостаточно долго одолевают нас в подлинном своем существе. Ум наш стремится увеличить их, удлинить и еще до того, как они возникнут, впитать в себя и все время занимать себя ими, как будто они и так недостаточно тяго-

тят наши чувства. Когда настанет их час, они себя покажут, говорит один из мудрецов, принадлежащий к секте отнюдь не изнеженной, а наоборот — к одной из самых суровых[45] [broken link: #nc12_45]. Но до того — щади себя, верь в то, что тебе больше по сердцу. Для чего предвосхищать беду и терять настоящее из страха перед будущим и быть несчастным сейчас, потому что должен стать им со временем? Так учит этот мыслитель. Наука часто оказывает нам хорошую услугу тем, что весьма точно определяет истинные размеры наших бед,

> *Curis acuens mortalia corda.[46] [broken link: #nc12_46]*

Жаль было бы, если бы наши чувства и разум не полностью отдавали себе отчет в том, насколько они могущественны.

Нет сомнения, что большинству людей приуготовление себя к смерти было мучительнее самих страданий. Правильно сказал в свое время некий весьма рассудительный автор: minus afficit sensus fatigatio quam cogitatio[47] [broken link: #nc12_47].

Ощущение близости смерти часто само по себе преисполняет нас внезапной решимостью идти навстречу неизбежному. В древности многие

гладиаторы, трусливо бившиеся в поединке, мужественно встречали смерть, подставляя горло под меч врага и призывая его нанести последний удар. Предвидение же смерти еще не столь близкой требует мужества длительного и потому весьма редкого. Не беспокойтесь, что не сумеете умереть: сама природа, когда придет срок, достаточно основательно научит вас этому. Она сама все за вас сделает, не занимайте этим своих мыслей.

*Incertam frustra, mortales, funeris horam*
*Quaeritis, et qua sit mors aditura via.[48] [broken link: #nc12_48]*

*Poena minor certam subito perferre ruinam,*
*Quod timeas gravius sustinuisse diu.[49] [broken link: #nc12_49]*

От мыслей о смерти более тягостной становится жизнь, а от мыслей о жизни — смерть. Первая нам не дает покоя, а вторая нас страшит. Не к смерти мы подготовляем себя, это ведь мгновение. Каких-нибудь четверть часа страданий, после чего все кончается и не воспоследует никаких новых мук, не стоят того, чтобы к ним особо

готовиться. По правде говоря, мы подготовляемся к ожиданию смерти. Философия предписывает нам постоянно иметь перед глазами смерть, предвидеть ее и созерцать еще до наступления смертного часа, а затем внушает нам те правила предосторожности, благодаря которым предвидение смерти и мысль о ней нас уже не мучат. Так поступают врачи, ввергающие человека в болезнь, чтобы получить возможность испытать свое искусство и свои зелья. Если мы не сумели по-настоящему жить, несправедливо учить нас смерти и усложнять нам конец всего. Если же мы способны были прожить свою жизнь стойко и спокойно, то сумеем и умереть точно так же. Философы могут хвалиться этим, сколько пожелают. Tota philosophorum vita commentatio mortis est[50] [broken link: #nc12_50]. Но я остаюсь при том мнении, что смерть действительно конец, однако не венец жизни. Это ее последняя грань, ее предел, но не в этом смысл жизни, которая должна ставить себе свои собственные цели, свои особые задачи. В жизни надо учиться тому, как упорядочить ее, должным образом прожить, стойко перенося все жизненные невзгоды. Среди многих других обязанностей, перечисленных в главном разделе науки о жизни, находим мы

и положение о том, как надо умирать, которое является одним из самых легких, когда мы не отягощаем его страхом.

С точки зрения пользы и бесхитростной правды простые уроки ни в чем не уступают тем, которые преподносит нам ученость; напротив. Люди отличаются друг от друга и способностями и склонностями. Их следует вести ко благу различными путями, исходя из их нрава. Quo me cunque rapit tempestas, deferor hospes[51] [broken link: #nc12_51]. Никогда не видел я, чтобы кто-либо из крестьян моей округи задумывался о том, сколько твердости и терпения понадобится ему в смертный час. Природа учит его думать о смерти лишь тогда, когда приходит время умирать. И тогда ему лучше, чем Аристотелю, которому смерть вдвойне тягостна — и сама по себе, и из-за столь длительного ее предвидения. А ведь недаром Цезарь высказывал мнение, что самая блаженная и легкая смерть — та, о которой меньше всего думалось[52] [broken link: #nc12_52]. Plus dolet quam necesse est, qui ante dolet quam necesse est[53] [broken link: #nc12_53].

Мучительное это предвосхищение возникает у нас от нашего любопытства. И всегда мы все сами себе усложняем, стремясь опережать природу и

законы ее заменяя своими правилами. Предоставим ученым мужам терять охоту к еде, даже когда они здоровы, и с угрюмым видом размышлять о смерти. Простые люди нуждаются в лекарствах и утешениях лишь тогда, когда гром уже грянул, и о беде они думают лишь в той мере, в какой ощутили ее. Разве это не то, о чем мы и говорим всегда: тупость и невежество простонародья помогают ему терпеливо переносить навалившиеся на него испытания и с глубочайшим безразличием относиться к тому, что может грозить в будущем; душа его, более грубая, неотесанная, менее уязвима и чувствительна. Ей-богу же, если это так, будем учиться в школе глупости! Вот последняя цель, которую обещает нам наука, вот куда она полегоньку ведет своих питомцев.

У нас не окажется недостатка в хороших руководителях, способных преподать нам простую мудрость природы. Один из них — Сократ. Ибо, насколько мне помнится, он приблизительно в таком смысле говорил своим судьям: «Если бы я стал, господа, просить вас пощадить мою жизнь, то боюсь, что тем самым подтвердил бы наветы моих обвинителей, будто я изображаю себя человеком, знающим больше, чем все другие, ведающим о том, что скрыто от нас в небесах

и в преисподней. Могу сказать, что со смертью я не знаком, что ничего о ней мне не известно и что я не видел ни одного человека, который на собственном опыте познал бы ее и мог бы просветить меня на этот счет. Те, кто боятся смерти, полагают, видимо, что знают ее. Что до меня, то я не ведаю, что она собою представляет и что делается на том свете. Смерть может быть безразличной, а может быть и желанной. (Можно, впрочем, предполагать, что если это переселение из одного места в другое, то есть даже некое преимущество в том, чтобы существовать в общении со всеми ушедшими из этого мира великими людьми и быть избавленным от произвола неправедных и нечестивых судей. Если же смерть есть уничтожение нашего существа, то вечный ненарушимый покой тоже является благом. Ведь в жизни для нас нет ничего сладостнее отдыха, глубокого, спокойного сна без всяких видений.) Я стараюсь избегать того, что, как мне ведомо, дурно, — например, обижать ближнего или не подчиняться тому, кто выше тебя, будь то бог или человек. Но того, о чем я не знаю, хорошо оно или дурно, я не страшусь. Если я умру, а вы останетесь среди живых, то одни боги ведают, кому из нас будет лучше. Поэтому решайте, как

вам заблагорассудится. Но, следуя своему обыкновению давать советы о том, что справедливо и полезно, я сказал бы, что вам по совести своей лучше было бы оправдать меня, если в моем деле вы разбираетесь не лучше, чем я сам. Судя обо мне на основании моей прежней деятельности, и общественной и частной, на основании моих намерений и на основании той пользы, которую ежедневно извлекают из бесед со мною многие наши граждане, и молодые и старые, той пользы, которую я приношу вам всем, вы могли бы воздать мне по заслугам, лишь распорядившись, чтобы меня, ввиду моей бедности, кормили на общественный счет в Пританее, — милость, которую, как мне случалось видеть, вы с гораздо меньшим правом жаловали другим. Не считайте упорством и высокомерием с моей стороны, если я не следую обычаю умолять вас о пощаде и стараться растрогать ваши сердца. У меня есть друзья и родичи (ибо, как говорит Гомер, я, подобно всем прочим людям, рожден не от камня и не от дерева), которые могут предстать перед вами в слезах и в трауре, есть у меня и трое плачущих детей, способных вызвать у вас жалость. Но я опозорил бы свой родной город, если бы в моем возрасте, и к тому же слывущий мудрецом,

сам опустился до столь недостойного поведения. Что стали бы говорить о других афинянах? Всех собиравшихся, чтобы слушать меня, я всегда наставлял не жертвовать честью ради сохранения жизни. И во время войн, которые вела моя родина, при Амфиполисе, при Потидее, при Делии и в других сражениях, где я принимал участие, мне случалось всем поведением своим доказывать, как далек был я от того, чтобы покупать безопасность ценой позора. Вдобавок, обращаясь к вам с мольбами, я пытался бы склонить вас к измене своему долгу и к совершению весьма непохвального дела, ибо не мольбам моим подобало убедить вас, а беспорочным и крепким доводам справедливости. Вы же клялись богам судить по правде: значит, выходило бы, что я подозреваю и укоряю вас в том, будто вы в них не верите. Да я и сам свидетельствовал бы против себя, обнаружив, что не верю в них, как должно, раз сомневаюсь в их промысле и не желаю просто-напросто вручить им свою судьбу. Между тем я во всем полагаюсь на них и твердо верю, что они совершат все к лучшему и для вас и для меня. Людям благонамеренным — и на этом и на том свете — нечего бояться богов»[54] [broken link: #nc12_54]. Вот, не правда ли, защитительная речь, немногословная

и здравая, но в то же время полная простоты и непосредственности, необычайно возвышенная, правдивая, искренняя, беспримерно справедливая и к тому же произнесенная в столь роковой час? Сократ имел полное основание предпочесть ее той, которую написал для него великий оратор Лисий[55] [broken link: #nc12_55], отлично составленной по всем правилам судебного красноречия, но недостойной такого благородного узника. Можно ли было бы услышать из уст Сократа голос, звучащий мольбой? Могла ли в полном своем блеске унизиться столь высокая добродетель? Мог ли человек, по природе своей такой великодушный и сильный, прибегнуть для защиты к ораторскому искусству и в час величайшего испытания отказаться от непосредственной правдивости, лучшего украшения своих речей, ради витиеватых и ловких приемов речи, написанной кем-то другим и заученной наизусть? Он поступил мудро и согласно своей природе, не изменив поведению, которого придерживался в течение всей своей безупречной жизни, и не осквернив столь святого человеческого облика ради того, чтобы на какой-нибудь год продлить свое старческое существование и запятнать неумирающую память о своей славной кончине.

Жизнь Сократа принадлежала не ему, она должна была служить примером для всего мира. Разве не было бы ущербом для человечества, если бы она завершилась неприглядным и малодушным образом? И, конечно, его безразличие и презрение к своей смерти заслужили того, чтобы потомство придало ей за то особое значение, как на самом деле и произошло. Среди самых справедливых воздаяний нет ничего справедливее посмертной славы Сократа. Ибо афинянам стали так ненавистны виновники его гибели, что все стали избегать их, как людей отверженных: все, к чему они прикасались, считали нечистым, в общественных банях никто вместе с ними не мылся, никто не приветствовал их и не заговаривал с ними, так что в конце концов, не в силах будучи выносить этого всеобщего отвращения, они повесились[56] [broken link: #nc12_56].

Если кто найдет, что в поисках примеров для своего рассуждения об учении Сократа я остановился на примере неудачном и что эта речь слишком уж возвышенна по сравнению с воззрением большинства людей, я отвечу, что сделал это намеренно. Ибо я придерживаюсь совершенно иного мнения и полагаю, что речь эта по своей непосредственности находится на уровне

даже как бы более низком, чем воззрения большинства: в своей безыскусственной, простоватой смелости, в своей детской уверенности она раскрывает нам первичные, чистые впечатления бездумного естества. Ибо вполне можно представить себе, что врожденной является у нас боязнь страданий, но не боязнь смерти самой по себе: ведь это такая же необходимая сторона нашего бытия, как и жизнь. Почему бы стала природа наделять нас отвращением и ужасом перед смертью, если та ей столь полезна для порождения и взращивания новых поколений, если в устройстве вселенной она больше служит рождению и прибавлению вещей, чем их разрушению и утрате?

> *Sic rerum summa novatur.[57] [broken link: #nc12_57]*
>
> *Mille animas una necata dedit.[58] [broken link: #nc12_58]*

Гибель одной жизни есть источник тысячи других жизней. Природа вложила в животных свойство заботиться о себе и своем благополучии. Животные опасаются того зла, которое они причиняют себе в своих столкновениях, боятся они также неволи у людей и насилий, которые мы

чиним над ними. Но они не могут испытывать страха быть убитыми, не могут иметь и никакого представления о смерти. Говорят, что они порою с радостью принимают ее (лошади, умирая, большей частью ржут, лебеди — поют) и даже ищут смерти, испытывая в ней потребность, как это бывает у слонов.

Вдобавок ко всему этому, разве не изумительны простота и одновременно пылкость, с которыми Сократ старается убедить своих судей? Поистине, легче говорить, как Аристотель, и жить, как Цезарь, чем говорить и жить, как Сократ. Здесь именно предел трудности и совершенства: никакое искусство ничего сюда не прибавит. Нашим же способностям не хватает такой выучки. Мы их не знаем и не умеем ими пользоваться, стараемся усвоить чужие и оставляем в пренебрежении свои собственные.

Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что и я здесь только собрал чужие цветы, а от меня самого — только нитка, которой они связаны. И правда, подчиняясь вкусам общества, выступил я в этих заимствованных уборах, но при этом отнюдь не допускаю, чтобы они заслоняли и скрывали меня самого. Это совершенно противно моим намерениям, ибо я хочу показать лишь свое,

лишь то, что свойственно моей натуре, и если бы я с самого начала поступил, как мне хотелось, то говорил бы только от себя. И, несмотря на первоначальный свой замысел и способ изложения, я каждый раз взваливаю на себя все больший груз, уступая природе своего времени и различным побуждениям со стороны. Если меня самого эти ссылки не украшают, как я и думаю, — пускай: другие могут извлечь из них пользу. Есть люди, которые цитируют Платона и Гомера, а между тем творений их и в глаза не видели. Да и сам я нередко черпаю отнюдь не из первоисточника. Обложенный тут, где я пишу, бесчисленными томами, я мог бы, если бы захотел, без труда и без особых познаний надергать у доброй дюжины этих начетчиков, которых даже не перелистываю, сколько угодно цитат, чтобы разукрасить свой трактат о физиогномии. Достаточно мне прочесть предисловие какого-нибудь ученого немца, и я уже буду весь напичкан цитатами. Многие из нас любят лакомиться славой, которую добывают таким способом, мороча дураков.

Эти заимствованные у других общие фразы, из которых составляется вся ученость очень многих людей, служат лишь для выражения самых обыденных мыслей и, кроме того, не для настоящего

полезного наставления, а лишь для красивого пустословия — смехотворный плод учености, который был так забавно использован Сократом против Эвтидема[59] [broken link: #nc12_59]. На моих глазах люди писали книги о вещах, которых они никогда не изучали и даже не могли бы понять. При этом автор поручал кое-кому из своих ученых друзей изыскания в той или иной области для своего труда, а сам довольствовался только тем, что набрасывал общий план и ловко соединял в одну связку различные наброски о вещах, ему неведомых. Чернила и бумагу он, на худой конец, для всего этого давал. Но, по совести говоря, это значит не создать труд, а купить его или позаимствовать. Это значит не доказать людям свою способность написать книгу, а обнаружить перед ними полнейшую неспособность сделать что-либо подобное, если они паче чаяния в этом сомневались. Некий председатель парламента хвастался в моем присутствии тем, что в одном из своих постановлений использовал более двухсот чужих мнений. Выбалтывая это всем и каждому, он, по-моему, сам у себя отнимал славу, которую ему воздавали: хвастовство это для такого лица и по поводу таких вещей, на мой взгляд, — крайне ребяческое и нелепое. Я же если и заимствую

многое, то радуюсь каждой возможности скрыть это, всячески переряжая и переиначивая заимствованное для нового употребления. Даже идя на то, что могут подумать, будто я плохо понял чужой текст, я стараюсь видоизменить его таким образом, чтобы он не слишком резко выделялся из всего прочего. А есть такие люди, которые хвалятся своим воровством и гордятся им; судят о них поэтому гораздо благожелательней, чем обо мне. Мы, сторонники природы, полагаем, что слава изобретателя несравненно выше славы ловкого начетчика.

Если бы я стремился говорить как ученый, я заговорил бы раньше: я начал бы писать в годы, более близкие к годам моего учения, когда ум мой был изощреннее, а память лучше, и если бы труд писателя я пожелал сделать своим ремеслом, то задача эта была бы моему юному возрасту более по силам, чем теперешнему. И кроме того, если бы благодаря моему труду мне улыбнулось счастье, оно бы выпало в гораздо более благоприятное для меня время. Двое моих знакомых, люди в этой области выдающиеся, наполовину, по-моему, потеряли, не выступив со своими произведениями, когда им было сорок лет, а предпочтя дожидаться шестидесятилетнего возраста.

Зрелость имеет свои темные стороны, как и юность, и даже худшие. И для этого рода деятельности старость так же неблагоприятна, как и для любого другого. Тот, кто рассчитывает выжать что-нибудь из своей дряхлости, — безумец, если надеется, что полученное им масло не будет затхлым, заплесневелым и безвкусным. Ум наш к старости коснеет и тяжелеет. О невежестве я расуждаю велеречиво и красно, о знании — мелко и убого. Одно я как бы случайно, мимоходом затрагиваю, о другом говорю всерьез и по существу. Ничто я не обсуждаю так основательно, как Ничто, и единственное знание, о котором я говорю, — это неведение. Я выбрал время, когда жизнь моя, которую я стремился изобразить, вся у меня перед глазами. Все, что мне остается прожить, уже больше касается смерти. И если, умирая, я окажусь таким же болтливым, как многие другие, то и о смерти своей охотно сообщу людям все, что только смогу.

Как жаль мне, что Сократ, являющийся величайшим примером всех добродетелей, был, как утверждают безобразен лицом и фигурой, — это так не соответствовало красоте его души: ведь он был до безумия влюблен во все прекрасное. Природа оказалась несправедливой к нему.

Ибо вероятнее всего, что между духом и плотью существует некое соответствие. Ipsi animi magni refert quali in corpore locati sint: multa enim e corpore existunt quae acuant mentem, multa quae obtundant[60] [broken link: #nc12_60]. В данном случае речь идет о противоестественном уродстве, об искажении членов человеческого тела. Но мы называем безобразием и те недостатки, которые заметны с первого взгляда, портят прежде всего лицо и очень часто вызваны малосущественными причинами: плохим цветом лица, родимым пятном, грубостью лепки, наконец — каким-то неуловимым недостатком в соотношении отдельных черт лица, даже если они в общем правильны и не искалечены. Такого именно рода была некрасивость Ла Боэси, скрывавшая полную красоты душу. Это поверхностное безобразие, хотя оно и очень бросается в глаза, может меньше всего соответствовать состоянию души, и люди могут быть о ней различного мнения. Другое, которое гораздо правильнее называть уродством, значительно более существенно и чаще затрагивает глубины нашего существа. Не всякая обувь, будь она даже из тонкой кожи, хорошо облегает ногу, а вот всякая ловко скроенная приходится впору.

Сократ говорил о своем безобразии, что оно отражает пороки его души, от которых он избавился благодаря самовоспитанию[61] [broken link: #nc12_61]. Но я полагаю, что в данном случае он по обыкновению шутил, и никогда душа человека не обретала своей собственной волей более совершенной красоты.

Я без конца готов повторять, что чрезвычайно ценю красоту, силу могучую и благородную. Сократ называл ее благостной тиранией[62] [broken link: #nc12_62], Платон — величайшим преимуществом, которым может наделить природа[63] [broken link: #nc12_63]. Среди свойств человеческих нет ни одного, которое бы так ценилось всеми. Она имеет первостепенное значение во взаимоотношениях между людьми: ее замечают раньше всего; производя на нас неотразимое впечатление, она властно завладевает нашими помыслами. Фрина проиграла бы свое дело, хотя оно находилось в руках отличного адвоката, если бы, сбросив одежды, не покорила судей блеском своей красоты[64] [broken link: #nc12_64].

И я убедился, что Кир, Александр, Цезарь, эти три повелителя вселенной, не пренебрегали ею, творя свои великие дела. Не пренебрегал ею и Сципион.

По-гречески два понятия — красота и добро — обозначаются одним словом[65] [broken link: #nc12_65]. И в Писании святой дух часто называет благими тех, кого он хочет назвать прекрасными.

Я готов принять иерархию ценностей, содержащуюся в одной песне некоего древнего поэта, которую еще Платон считал общеизвестной: здоровье, красота, богатство[66] [broken link: #nc12_66]. Аристотель говорил, что красивым принадлежит право повелевать, а тем из них, чья красота уподобляется ликам богов, подобает оказывать такое же поклонение, как богам[67] [broken link: #nc12_67].

Тому, кто его спросит, почему с красивыми людьми общаются чаще и дольше, чем с другими, Аристотель ответил: такой вопрос подобало бы задать только слепому[68] [broken link: #nc12_68]. Большинство великих философов могли оплачивать свое учение и приобретать мудрость благодаря своей красоте и через ее посредство. Не только в людях, которые мне служат, но и в животных красота, на мой взгляд, почти так же важна, как доброта.

Однако я полагаю, что не следует по чертам и выражению лица определять внутреннюю сущ-

ность человека и предугадывать его судьбу; это вещи, не зависящие прямо и непосредственно от красоты или безобразия, точно так же как не всякий благоухающий и чистый воздух обязательно хорош для здоровья и не всякий тяжелый и зловонный непременно вызывает заразу во время какого-либо поветрия. Те, кто считает, что у некоторых дам красота вступает в противоречие с безнравственным поведением, нередко ошибаются: ибо и лицо не слишком привлекательное может порою быть открытым и честным, как и наоборот, — мне случалось видеть красивые глаза, взглядом своим выдававшие натуру коварную и злонамеренную. Есть лица, внушающие доверие, и в толпе победоносных врагов вы сразу же выберете среди неизвестных вам людей того, которому сдадитесь и доверите свою жизнь скорее, чем кому-либо другому, отнюдь не руководствуясь при этом соображениями о красоте.

Внешний облик сам по себе мало что доказывает, хотя некоторое значение ему придавать все же можно. И если бы мне пришлось кого-то бичевать, я бы гораздо сильнее хлестал тех злодеев, которые своим поведением нарушают обещания, начертанные, казалось бы, природой на их лицах: я бы жестче карал зло, скрывающееся за

привлекательной внешностью.

По-видимому, есть лица располагающие и есть отталкивающие. И думается мне, что нужно уметь разбираться, где доброе выражение лица, а где глупое, где строгое, а где жестокое, где злое, а где скорбное, где высокомерное, а где задумчивое — и так далее в отношении других свойств характера, которые легко спутать. Бывают красивые лица не только гордые, но и надменные, не только кроткие, но и маловыразительные. Делать на этом основании какие-либо предположения о дальнейшей судьбе этих людей я бы не решился.

Я уже имел случай говорить, что для себя лично принял просто и без обиняков древнее правило: мы никогда не ошибемся, следуя природе; высшая мудрость в том, чтобы ей повиноваться. Я никогда не исправлял, подобно Сократу, силою разума своих природных наклонностей, никогда ни в чем не ставил им искусственных преград. Я плыву по течению, ни с чем не борюсь, обе мои главные страсти живут между собою в мире и согласии, но с молоком моей кормилицы, слава богу, я впитал здравомыслие и умеренность. Скажу между прочим: по-моему, мы слишком высоко оцениваем некий весьма распространенный среди нас тип честного ученого, раба

правил и предписаний, придавленного надеждой и страхом. Такого рода ученость я одобряю в том случае, если она умеет поддерживать себя без помощи извне, если она естественно укоренилась в нас, зародившись от семени всеобщего разума, которое таится в душе каждого не извращенного человека. Это тот разум, который сгладил в душе Сократа последние складки порочности, заставил его покориться людям и богам, властвующим в его родном городе, и мужественно встретить смерть, притом не потому, что душа его бессмертна, а именно потому, что он смертен.

Учение, убеждающее народы, что божественному правосудию от нас ничего не надо, кроме веры, даже без добрых нравов, для любого государства вредно, и тем вреднее, чем оно изощреннее и утонченнее. В делах человеческих отчетливо проявляется, как бесконечно мало общего имеют между собой благочестие и совесть.

Внешность моя и сама по себе недурна и производит благоприятное впечатление.

> *Quid*
> *dixi, habere me? Imo habui, Chreme![69]*
> *[broken link: #nc12_69]*
>
> *Heu tantum attriti corporis ossa vides.[70]*

*[broken link: #nc12_70]*

Вследствие этого для меня все обстоит иначе, чем для Сократа. Часто случалось, что лишь благодаря моему присутствию и моей наружности люди, совершенно меня не знавшие, полностью доверялись мне во всем, что касалось их собственных дел или же моих. И в чужих странах мне поэтому выпадала необыкновенная, редкая удача.

Но два примера из многих стоят того, чтобы о них рассказать особо.

Некий человек задумал ограбить мой дом, застигнув меня врасплох. С этой целью он один подъехал к моему дому и принялся настойчиво колотить в дверь. Я знал его по имени и полагал, что могу доверять ему, как соседу и даже до некоторой степени родичу. Я велел впустить его, как делаю обычно для всех. Он перепуган, конь его задыхается, весь в мыле. Рассказывает он мне следующую небылицу: на расстоянии полумили от нас ему повстречался один его враг, о котором я тоже знал, а также слышал об их ссоре. Враг этот вынудил его пришпорить коня, и он, подвергшись внезапному нападению и имея под своим началом численно гораздо более слабый отряд, устремился к моему дому искать у меня спасения.

При этом он добавил, что очень обеспокоен судьбой своих людей, считая, что все они перебиты или захвачены в плен. Я по простоте душевной старался утешить его, успокоить и накормить с дороги. Но вот вскоре появляются четверо или пятеро его солдат, изображающие такой же испуг, и тоже просятся в дом, затем еще и еще другие, все исправно одетые и в полном вооружении, в количестве двадцати пяти — тридцати человек, с таким видом, будто за ними по пятам гонятся враги. Таинственная эта история уже начала возбуждать во мне подозрения. Я хорошо понимал, в какое время мы живем, как можно позариться на мой дом, и мне было известно, что кое с кем уже случались подобные злоключения. Как бы то ни было, но я решил, что ничего не выиграю, если, начав проявлять гостеприимство, стану в нем отказывать, и что мне невозможно идти на попятный без решительного разрыва. Поэтому я избрал самый естественный и простой выход, как всегда делаю, и велел впустить всех. Должен признаться, что вообще я доверчив и подозрительностью не отличаюсь, всегда готов оправдать человека и истолковать его действия в хорошую сторону, считаю большинство людей ни слишком добрым, ни слишком злыми и, если не вынужден к тому

очевидностью, верю в какие-то особо злодейские наклонности человека не более, чем в чудовищ и чудеса. К тому же я из тех людей, что охотно полагаются на судьбу и без оглядки предаются на ее волю. До настоящего времени я от этого больше выигрывал, чем проигрывал, убеждаясь, что судьба устраивает мои дела гораздо умнее и лучше, чем мог бы устроить я сам. За всю мою жизнь мне приходилось несколько раз выпутываться из сложных обстоятельств, по справедливости говоря, с трудом — или, если угодно, с умом. Но и тут, если успехом я на одну треть обязан самому себе, то две трети уж наверно приходятся на долю счастливой случайности. Я считаю ошибкой с нашей стороны, что мы недостаточно полагаемся на провидение и рассчитываем на свои силы больше, чем имеем на то право. Потому-то начинания наши так редко венчаются успехом.

Судьба ревниво относится к тому, что мы чрезмерно расширяем права человеческого разумения за счет ее прав, и урезывает их тем сильнее, чем обширнее наши притязания. Упомянутые выше солдаты расположились со своими лошадьми во дворе, начальник их сидел со мною у меня в зале. Он не захотел, чтобы его лошадь поставили в конюшню, заявляя, что уедет сейчас

же после того, как узнает о судьбе своих солдат. Теперь он был хозяином положения, оставалось только осуществить злодейский замысел. Впоследствии он часто говорил (ибо рассказывал мне об этом без малейшего стыда), что мое лицо и мое чистосердечное обращение так поразили его, что кулаки у него разжались сами собой и коварные намерения отступили. Он снова вскочил в седло, а солдаты между тем не спускали с него глаз, ожидая, какой знак он им подаст, и с удивлением видя, что он уезжает, не воспользовавшись своим преимуществом.

В другой раз, доверившись очередному перемирию, о котором сообщили нашим войскам, я отправился в поездку по местности, где было еще в высшей степени неспокойно. Я не успел далеко отъехать, как три-четыре конных отряда устремились с разных сторон за мною в погоню. Один из них нагнал меня на третий день, и я подвергся нападению со стороны пятнадцати — двадцати замаскированных дворян, за которыми следовал отряд солдат с ружьями. Меня захватили, увели в чащу ближайшего леса, стащили с коня, отняли мои вещи, стали рыться в моих сундуках, забрали шкатулку с деньгами, а лошадей и слуг поделили между собой новые хозяева. Долгое время спо-

рили мы в этом лесу насчет моего выкупа: не зная, по-видимому, кто я такой, они назначили очень большую сумму. Много спорили и о том, оставлять ли меня в живых. И правда, несколько раз дело оборачивалось так, что нависшая надо мною опасность уже грозила гибелью.

> *Tunc animis opus, Aenea, tunc pectore firmo.[71] [broken link: #nc12_71]*

Я же твердо стоял на своем условии: им остается все, что было у меня отнято, не такая уж малая толика, но никакого другого выкупа они у меня не требуют. Так прошли два или три часа. Они велели мне сесть верхом на лошадь, на которой я не смог бы от них бежать, и поручили стеречь меня пятнадцати или двадцати солдатам с аркебузами, а людей моих распределили между другими солдатами и приказали им везти нас в качестве пленников по разным дорогам. Я удалился уже на расстояние двух-трех аркебузных выстрелов,

> *Iam*
> *prece Pollucis, iam Castoris implorata,[72] [broken link: #nc12_72]*

как вдруг в настроении моих похитителей произошла неожиданная и резкая перемена. Ко мне подъехал предводитель этой банды с гораздо

более мирными речами, принялся собирать у своих людей мои уже растащенные пожитки и возвращать мне все, что можно было найти, вплоть до шкатулки. Лучшим даром с их стороны была, однако, моя свобода: остальное по тем временам для меня весьма мало значило. До сих пор я не ведаю истинных причин этой внезапной, как будто бы ничем не вызванной перемены, этого столь чудесного раскаянья в такое время, в деле, заранее обдуманном, обсужденном и даже оправданном тогдашними обычаями (ибо я с самого начала открыто признался, к какой партии принадлежу и куда направляюсь). Предводитель этих людей, который снял маску и назвал свое имя, повторил мне тогда несколько раз, что освобождением я обязан выражению моего лица и тому, что говорил с ним так твердо и так свободно, ибо все это свидетельствовало, что я не заслужил подобного злоключения. Расставаясь со мной, он просил меня при случае отплатить ему тем же. Быть может, милость божия употребила это ничтожное орудие для моего спасения. Она же защитила меня и на другой день от еще большей опасности, насчет которой эти самые люди меня предупредили. Второй из них был еще жив и может подтвердить мои слова, первый был не

так давно убит.

Если бы лицо мое не свидетельствовало в мою пользу, если бы по глазам моим и по голосу нельзя было убедиться в чистоте моих намерений, я не прожил бы так долго без раздоров и обид, принимая во внимание полнейшую свободу, с которой я направо и налево говорю все, что мне взбредет на ум, и высказываю самые дерзкие суждения о вещах. Такой способ вести себя может с полным основанием считаться неучтивым и не соответствующим принятому у нас обычаю. Однако я не встретил пока никого, кто считал бы его злонамеренным и оскорбительным, а также никого, кто обиделся бы на свободные речи, услышанные из моих уст. Слова же, переданные от одного человека к другому, имеют и иное звучание, и иной смысл. К тому же я ни к кому не испытываю ненависти, и мне так тягостно кого-нибудь оскорбить, что я не могу этого сделать даже во имя правды. Ut magis peccari nolim, quam satis animi ad vindicanda peccata habeam[73] [broken link: #nc12_73]. Говорят, что Аристотеля как-то упрекали за излишнее мягкосердечие к одному злодею. «Верно, — ответил он, — я проявил мягкосердечие, но к человеку, а не к злодейству»[74] [broken link: #nc12_74]. Обычно люди со всем

пылом помышляют о возмездии из отвращения к совершенному преступлению. Но именно это охлаждает мой пыл: отвращение к одному убийству заставляет меня бояться другого, ненависть к жестокому поступку — ненавидеть подражание ему. Ко мне, хоть я не король, я всего-навсего трефовый валет[75] [broken link: #nc12_75], можно отнести то, что говорилось о спартанском царе Харилае: «Его нельзя считать добрым, ибо он не суров со злыми»[76] [broken link: #nc12_76]. Можно, впрочем, сказать и по-другому, ибо Плутарх дает оба варианта, как он это очень часто делает, высказывая об одних и тех же вещах самые различные и даже противоположные суждения: «Он уж наверно добрый человек, раз он добр и к злодеям»[77] [broken link: #nc12_77]. Мне претит совершать вполне законные деяния, если они неприятны людям, которых затрагивают, но, по правде говоря, совесть не позволяет мне творить беззакония, даже когда они идут кому-то на пользу.

## Глава XIII
## Об опыте

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию. Мы прибегаем к любому средству овладеть им. Когда для этого нам недостает способности мыслить, мы используем жизненный опыт,

> *Per varios usus artem experientia fecit:*
>
> *Exemplo monstrante viam,[1] [broken link: #nc13_1]*

средство более слабое и менее благородное, но истина сама по себе столь необъятна, что мы не должны пренебрегать никаким способом, могущим к ней привести. Существует столько разнообразных форм мышления, что мы затрудняемся, какую избрать. Столь же многочисленны виды опыта. Выводы, к которым мы пытаемся прийти, основываясь на сходстве явлений, недостоверны, ибо явления всегда различны: наиболее общий для всех вещей признак — их разнообразие и несходность. Стараясь привести самый яркий пример сходства между вещами, и греки, и латиняне, и мы вспоминаем о яйцах.

Однако же находились люди, и, между прочим, был один такой в Дельфах, которые обнаруживали различие между яйцами: этот человек никогда не принимал одно яйцо за другое и, имея несколько кур, умел разбираться, какое яйцо снесено той или иной курицей[2] [broken link: #nc13_2]. Произведения же наших рук в основе своей несходны: в искусстве ничто никогда не бывает одинаково. Ни Перрозе, ни любой другой фабрикант игральных карт не в состоянии отполировать и выбелить их рубашку, чтобы хоть некоторые игроки не сумели обнаружить различие между этими картами, увидев их в руках своих партнеров.

Сходность между вещами, с одной стороны, никогда не бывает так велика, как несходность между ними — с другой. Природа словно поставила себе целью не создавать ничего, что было бы тождественно ранее созданному.

Тем не менее я не одобряю мнения того человека, который рассчитывал при помощи дробности законов обуздать произвол судей, назначив каждому сверчку свой шесток: он не понимал, что возможностей свободно и широко толковать любой закон столько же, сколько самих законов. И насмешкой звучат притязания людей, рассчиты-

вающих уменьшить или даже вовсе прекратить наши споры, приводя нам те или иные слова Библии. Тем более что ум наш для опровержения чужих взглядов находит поле не менее широкое, чем для изложения своих собственных, и что толкование старых текстов вызывает такие же острые и гневные споры, как появление новых трудов. Мы видим, как ошибался человек, рассчитывавший на дробность законов. Ибо у нас во Франции законов больше, чем во всем остальном мире, и больше даже, чем понадобилось бы, чтобы навести порядок во всех мирах Эпикура[3] [broken link: #nc13_3]: ut olim flagitiis, sic nunc legibus laboramus[4] [broken link: #nc13_4]. И нашим судьям приходится прибегать к столь разнообразным толкованиям и решениям, что, кажется, ни у кого никогда не было такой свободы и такой возможности для произвола. Чего достигли наши законодатели, когда выбрали сто тысяч каких-то примеров и отдельных фактов и к ним пристегнули сотню тысяч законов? Это количество ни в какой мере не соответствует бесконечному разнообразию человеческих деяний. Сколько бы новых суждений и взглядов у нас ни вырабатывалось, жизнь породит еще большее разнообразие явлений. Добавьте еще в

сто раз больше: все равно в числе событий и дел будущего не найдется ни одного, которое среди тысяч уже отобранных и классифицированных нами явлений нашло бы себе настолько полное соответствие, что между ними не обнаружилось бы таких различий, которые потребовали бы и особого суждения. Наши всегда различные и переменчивые действия не имеют почти никакого отношения к твердо установленным и застывшим законам. Наиболее подходящи для нас — и наиболее редки — самые из них простые и общие. Да и то я считаю, что лучше обходиться совсем без законов, чем иметь их в таком изобилии, как мы.

Природа всегда рождает законы гораздо более справедливые, чем те, которые придумываем мы. Доказательство тому — золотой век, каким он изображается у поэтов, а также то состояние, в котором живут народы, не ведавшие иных законов, кроме естественных. Среди этих народов есть такие, которые не имеют никаких постоянных судей и за решением возникающих у них споров обращаются к любому страннику, путешествующему в их горах. А другие в дни торга назначают кого-либо из своей среды, и тот на месте разбирает их споры. Разве плохо было

бы, если бы и у нас самые мудрые решали все споры в зависимости от обстоятельств, на глаз, без непременной оглядки на уже бывшие случаи и без того, чтобы их решение стало примером для будущего? Обувь должна быть каждому по ноге. Король Фердинанд, посылая колонистов в Индию, мудро предусмотрел, чтобы среди них не было ученых законников, опасаясь, что и в Новом Свете расплодятся суды, ибо юриспруденция как наука естественно порождает споры и разногласия. Король, как в свое время Платон, полагал, что любая страна только терпит от юристов и медиков[5] [broken link: #nc13_5].

Почему наш язык, которым мы говорим в обыденной жизни, столь удобный во всех других случаях, становится темным и малопонятным в договорах и завещаниях, и почему человек, умеющий ясно выражаться, что бы ни говорил и ни писал, не находит в юридических документах такого способа изложить свои мысли, который не приводил бы к сомнениям и противоречиям? Единственно потому, что великие мастера этого искусства, особенно прилежно стараясь отбирать торжественно звучащие слова и изысканно формулировать оговорки, так тщательно взвесили каждый слог, так основательно обработали все

виды литературного стиля, что завязли и запутались в бесчисленных риторических фигурах и в таких мелких подразделениях юридических казусов, которые уже не подпадают ни под какие нормы и правила и разобраться в которых нет возможности. Confusum est quidquid usque in pulverem sectum est[6] [broken link: #nc13_6]. Кто не видел, как дети пытаются собрать в крупные капли некоторое количество ртути? Чем больше они ее давят, сжимают, стараются подчинить своему желанию, тем настойчивее рвется на свободу этот своевольный металл: он не поддается их стараниям, дробится на мельчайшие капельки, которых и не сосчитать. Так же и с языком юриспруденции: чем больше в нем тонкостей, тем больше сомнений порождают они в умах людей. Нас толкают на то, чтобы мы увеличивали и разнообразили возникающие затруднения: их удлиняют, их сеют повсюду. Создавая все новые и новые вопросы, перетасовывая их и так и этак, приводят к тому, что колебания и споры множатся, кишат: так почва становится плодороднее, если ее глубоко вспахивать, дробя при этом крупные комья. Difficultatem facit doctrina[7] [broken link: #nc13_7]. Ульпиан порождал в нас сомнения; читая Бартоло и Бальдо[8] [broken link: #nc13_8],

мы станем еще больше сомневаться. Надо было всячески сглаживать следы этого бесконечного разнообразия мнений, а не хвалиться ими и не морочить голову потомкам.

Не знаю, право, что можно сказать по этому поводу, но сам опыт показывает, что от множества толкований истина как бы раздробляется и рассеивается. Аристотель писал так, чтобы быть понятным. Если ему это не удалось, то какой-то другой человек, которому не сравняться с Аристотелем, или третий, наверное, достигнут еще меньшего успеха, чем тот, кто излагает свои собственные мысли. Раскрывая содержание предмета, мы льем столько воды, что он словно растекается у нас из-под рук. Из одного делаем тысячу и, беспрестанно дробя его, превращаем в бесконечные рои Эпикуровых атомов. Никогда не бывает, чтобы два человека одинаково судили об одной и той же вещи, и двух совершенно одинаковых мнений невозможно обнаружить не только у двух разных людей, но и у одного и того же человека в разное время. Обычно меня одолевают сомнения как раз по поводу того, на что комментатор не соизволил обратить внимание. Я чаще спотыкаюсь на гладком месте, подобно тем лошадям, которые, как мне известно, начинают

хромать на ровной дороге.

Кто усомнится, что глоссы лишь увеличивают сомнения и невежество, когда никакие толкования не облегчили понимания ни одной написанной человеком или боговдохновенной книги, важной и нужной для всех? Сотый комментатор отсылает нас к своему продолжателю, а у того узел оказывается запутанным еще сложнее и хитрее, чем у первого.

Бывает ли, чтобы мы решили: для этой книги хватит, о ней уже все сказано? В судебных тяжбах это еще очевиднее. Нет числа ученым юристам, их определениям и толкованиям, которым придают авторитет и силу закона. Но способны ли мы положить конец охоте нагромождать толкования? Приближаемся ли мы хоть немного к спокойному взаимопониманию? Нуждаемся ли мы теперь в меньшем числе адвокатов и судей, чем тогда, когда весь этот тяжкий груз законов едва начинал накапливаться? Напротив, мы затемняем, погребаем свое разумение; мы обретаем его вновь, лишь совладав с бесчисленными замками и засовами. Люди не замечают естественного недуга, терзающего их разум: он все рыщет да ищет, колобродит, что-то строит и путается в собственных построениях, как шелко-

вичные черви, и под конец задыхается в них. Mus in pice[9] [broken link: #nc13_9]. Ему кажется, что он усмотрел вдалеке свет некоей воображаемой истины, но пока он стремится туда, путь ему преграждают такие препятствия, трудности и новые задачи, что он шалеет и сбивается с дороги. Совершенно то же самое произошло с собаками из басни Эзопа, которые, увидев, что в море плавает нечто похожее на мертвое тело, и будучи не в состоянии до него добраться, задумали вылакать отделявшую их от добычи воду и захлебнулись. Сюда же относятся и слова Кратеса о произведениях Гераклита, что для них нужен читатель, умеющий хорошо плавать, дабы глубина и сложность Гераклитова учения не поглотила и не доконала их[10] [broken link: #nc13_10].

Если мы бываем довольны тем, что другие или же мы сами добыли в этой погоне за знанием, то лишь по слабости своих способностей: человек более пытливого ума не будет доволен. За ним пойдет кто-то другой (пойдем и мы сами), открывая новые пути. Пытливости нашей нет конца: конец на том свете. Удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости. Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать

на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечется вперед, не торопится, не встает на дыбы, не страдает — значит, он жив лишь наполовину. Его стремления не знают четкой намеченной цели и строгих рамок, пища его — изумление перед миром, погоня за неизвестным, дерзновение. То же было ив оракулах Аполлона, всегда двусмысленных, темных, уклончивых; они не давали настоящего удовлетворения, а только заполоняли и тревожили сознание. Все это — беспорядочное, но непрерывное движение вперед, по неизведанным путям и к неясной цели. Мысли наши воспламеняются, бегут друг за другом, одна порождает другую.

*Так видим мы, склонившись у ручья:*
*Струю сменяет новая струя,*
*Друг с другом слиты, вдаль они текут,*
*Но друг от друга без конца бегут.*
*Одна другую мчаться заставляет,*
*Другая третью в беге обгоняет,*
*Погоня их и бегство — труд напрасный:*
*Ручей един, хоть струи вечно разны[11] [broken link: #nc13_11].*

Гораздо больше труда уходит на перетолко-

вание толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах; мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга.

Комментаторы повсюду так и кишат, а настоящих писателей — самая малость.

Разве самая первая и самая славная ученость нашего времени не в том, чтобы уметь понимать ученых? Разве это не общая и последняя цель обучения наукам?

Мнения наши перерастают одно в другое: первое служит стеблем для второго, второе для третьего. Так мы и поднимаемся со ступеньки на ступеньку. И получается, что тому, кто залез выше всех, часто выпадает больше чести, чем он заслужил, ибо, взобравшись на плечи предыдущего, он лишь чуточку возвышается над ним.

Как часто я глупейшим, может быть, образом говорил в своей книге о ней самой! Глупейшим хотя бы по той причине, что должен же был я помнить, как отзывался о тех, кто поступает точно так же, а именно: эти столь частые оглядки на собственный труд свидетельствуют, что сердце их трепещет от любви к нему и что даже самые резкие и презрительные слова, которыми они его бичуют, не что иное, как жеманное притворство

материнской нежности. Ведь, по Аристотелю, самовосхваление и самоуничижение часто бывают порождены одною и той же гордыней[12] [broken link: #nc13_12]. Ибо мое извинение, что в этом случае я имею право на большую свободу, чем другие, так как пишу ведь о себе и о своих произведениях, как о прочих своих делах, и что моя тема — это я сам, — это мое извинение, может быть, примут далеко не все.

В Германии я убедился, что после Лютера его учение вызвало не меньше и даже больше раздоров и споров, чем сам он высказал сомнений насчет истин Священного Писания. Наши разногласия чисто словесные. Я спрашиваю: что есть природа, сладострастие, круг, субстанция? Вопрос выражен словами, и в словах же дается ответ. «Камень есть тело». Но тот, кто станет спрашивать дальше: «А что такое тело?» — «Субстанция». — «А субстанция?» — в конце концов припрет отвечающего к стене. Одно слово разменивают на другое, часто еще менее известное. Я лучше разумею, что такое человек, чем что такое животное, смертное ли, разумное ли. Чтобы разрешить одно мое сомнение, мне предлагают три новых: это же головы гидры[13] [broken link: #nc13_13]. Сократ спросил у Мемнона, что есть добродетель.

«Существует, — ответил Мемнон, — добродетель мужская и добродетель женская, добродетель должностного лица и частного человека, ребенка и старца». «Вот хорошо! — вскричал Сократ. — Мы искали одну добродетель, а у тебя их оказывается уйма»[14] [broken link: #nc13_14]. Мы задаем один вопрос, а вместо ответа получаем их целый рой. Как ни одно событие и ни один предмет не бывают совершенно похожи на другое событие и другой предмет, так не может быть между ними и полного различия. Природа в этом смешении проявила необычайную мудрость. Если бы во внешности у нас не было ничего общего, человека нельзя было бы отличить от животного; если бы мы были во всем схожи, нас нельзя было бы отличить друг от друга. Все вещи взаимосвязаны некими общими признаками, никакое подобие не бывает полным, отношения, познающиеся из опыта, всегда не вполне достоверны и совершенны, и однако же сравнению всегда есть за что уцепиться. Вот почему можно пользоваться законами, которые в какой-то мере подходят к любому нашему делу, благодаря различным окольным, притянутым за волосы и сомнительным толкованиям.

Поскольку моральные предписания, отно-

сящиеся к личному долгу каждого человека, устанавливаются, как мы видим, с таким трудом, удивительно ли, что законы, упорядочивающие отношения между людьми, вырабатывать еще труднее? Поразмыслите о юридических нормах, которым мы подчиняемся: это же подлинное свидетельство человеческого неразумия — столько в них противоречий и ошибок. В нашем праве обнаруживается так много несправедливости и в смысле мягкости и в смысле строгости, что я, право, не знаю, часто ли можно найти правильный средний путь между ними. И все это больные органы и уродливые члены самого тела, самого существа правосудия. Вот приходят ко мне крестьяне, торопясь сообщить, что они только что нашли в принадлежащем мне лесу человека, избитого до смерти, но еще дышащего, который попросил их сжалиться над ним, дать ему напиться и поднять его. При этом они добавляют, что не решились подойти к нему и поскорее убежали, боясь, как бы слуги закона не увидели их на этом месте и как бы им не пришлось, подобно всем тем, кого застают у тела убитого, отвечать за это дело и окончательно погибнуть: у них ведь нет ни денег, ни иных средств защитить себя от обвинения. Что я мог им сказать? Несомненно,

им пришлось бы пострадать, прояви они человечность.

Сколько было случаев, когда невиновного постигала кара, и притом не по вине судей? А сколько было таких же случаев, никем никогда не обнаруженных? На моих глазах произошел такой случай. Несколько человек были присуждены к смертной казни за убийство, причем приговор этот не был еще объявлен, но о нем вынесли твердое согласное решение. И вот судьи получают от чиновников одной находящейся по соседству низшей судебной инстанции извещение, что у них есть заключенные, добровольно сознавшиеся в этом преступлении и пролившие ясный свет на все дело. Тем не менее судьи начинают совещаться, следует ли отложить приведение в исполнение приговора, вынесенного первым обвиняемым. Высказывают разные соображения о необычности данного случая, о том, что он может явиться прецедентом для отсрочек в других случаях, что обвинительный приговор вынесен по всем юридическим правилам и судьям не в чем себя упрекать. Одним словом, бедняги были принесены в жертву юридической формуле. Филипп или кто-то другой разрешил подобную же задачу следующим способом. После того, как он весьма

решительно присудил одного человека к уплате другому очень большого штрафа, обнаружилось, что это его решение было неправильным. С одной стороны, приходилось считаться с доводами справедливости, с другой — с доводами юридических норм. Он принял и те и другие, оставив приговор в силе и из своих средств вернув осужденному уплаченный им штраф[15] [broken link: #nc13_15]. Но тут дело оказалось поправимым; люди же, о которых я говорю, были самым непоправимым образом повешены. Мало ли приходилось мне видеть приговоров более преступных, чем само преступление?

Все это вызывает у меня в памяти мнение древних: тот, кто стремится к некоей общей правде, вынужден допускать неправду в частностях, и тому, кто хочет справедливости в делах великих, приходится совершать несправедливость в мелочах[16] [broken link: #nc13_16], а правосудие человеческое действует на манер медицины[17] [broken link: #nc13_17], с точки зрения которой все полезное тем самым правильно и честно. Припоминается мне и положение стоиков о том, что в своем творчестве природа большей частью попирает справедливость, и учение киренаиков, что не существует вещей, которые были бы спра-

ведливы сами по себе, ибо правосудие создают обычаи и законы[18] [broken link: #nc13_18], и воззрения феодорян, полагающих, что для мудрого воровство, святотатство и всякого рода разврат вполне допустимы, если он убежден, что они ему на пользу[19] [broken link: #nc13_19].

Тут ничем не поможешь. Я, подобно Алкивиаду, никогда, насколько это было бы в моих силах, не вручил бы свою судьбу одному человеку, так чтобы жизнь моя и честь зависели от ума и ловкости моего защитника больше, чем от моей невиновности[20] [broken link: #nc13_20]. Я скорее доверился бы трибуналу, способному отдать должное и моим добрым делам и моим проступкам, на который я могу надеяться, даже опасаясь его решения. Безнаказанность — недостаточное воздаяние человеку, который делает больше, чем просто не совершает преступления. Наше правосудие протягивает нам лишь одну руку, да и то левую. Кем ты ни будь, без ущерба не обойдешься.

Китайское царство, не имевшее с нами общения и не ведавшее наших законов и наших искусств, тем не менее во многом их превзошло: история его учит, насколько мир обширнее и разнообразнее, чем древние и даже мы сами

полагали. Так вот в Китае чиновники, которых государь посылает обследовать состояние провинций, не ограничиваются наказанием тех, кто недобросовестно выполняет свои обязанности, но и весьма щедро раздают награды тем, кто делает возложенное на него дело особенно ревностно и с большим тщанием, чем того требует простой долг. Люди являются к этим посланцам государя не только чтобы защищаться, но и чтобы получать поощрение, не только за вознаграждением, но и за подарком[21] [broken link: #nc13_21].

Слава богу, еще ни один судья не говорил со мною в качестве именно судьи по какому бы то ни было делу — моему лично или другого лица, уголовному или гражданскому. Не бывал я и ни в какой тюрьме — даже хотя бы из любопытства. Воображение у меня так развито, что даже один вид тюрьмы мне неприятен. Моя потребность в свободе так велика, что если бы мне вдруг запретили доступ в какой-то уголок, находящийся где-нибудь в индийских землях, я почувствовал бы себя в некоторой степени ущемленным. И я не стал бы прозябать там, где вынужден был бы скрываться, если бы где-то в другом месте можно было обрести свободную землю и вольный воздух. Боже мой, как трудно было бы мне

переносить участь стольких людей, прикованных к какому-то определенному месту в нашем государстве, лишенных доступа в главные города и королевские замки и права путешествовать по большим дорогам за то, что они не желали повиноваться нашим законам! Если бы те законы, под властью коих я живу, угрожали мне хоть кончиком мизинца, я немедленно постарался бы укрыться под защиту других законов, куда угодно, в любое место. В наше время, когда кругом свирепствуют гражданские распри, все мое малое разумение уходит на то, чтобы они не препятствовали мне ходить и возвращаться куда и когда мне заблагорассудится.

Однако законы пользуются всеобщим уважением не в силу того, что они справедливы, а лишь потому, что они являются законами. Таково мистическое обоснование их власти, и иного у них нет. Впрочем, этого им вполне достаточно. Часто законы создаются дураками, еще чаще людьми, несправедливыми из-за своей ненависти к равенству, но всегда людьми — существами, действующими суетно и непоследовательно.

Ничто на свете не несет на себе такого тяжелого груза ошибок, как законы. Тот, кто повинуется им потому, что они справедливы, повинуется им

не так, как должен. Наши французские законы по своей неупорядоченности и нечеткости весьма содействуют произволу и коррупции у тех, кто их применяет. Сформулированы они так темно и неопределенно, что это некоторым образом даже оправдывает и неподчинение им, и все неправильности в их истолковании, применении и соблюдении. Поэтому можно сказать, что как ни полезен для нас опыт вообще, не много пользы принесет нашему жизнеустройству тот, который мы черпаем у иноземцев, если мы оказываемся не способными извлечь выгоду из нашего собственного: ведь свое нам все-таки ближе и, конечно, в достаточной мере может научить нас тому, что нам насущно необходимо.

Тот предмет, который я изучаю больше всякого иного, — это я сам. Это моя метафизика, это моя физика.

*Qua deus hanc mundi temperet arte domum,*

*Qua venit exoriens, qua deficit, unde coactis*

*Cornibus in plenum menstrua luna redit;*

*Unde salo superant venti, quid flamine captet*

*Eurus, et in nubes unde perennis aqua.*

*Sit ventura dies mundi quae subruat arces.[22] [broken link: #nc13_22]*

*Quaerite quos agitat mundi labor.[23] [broken link: #nc13_23]*

В этом университете я, невежественный и беспечный, всецело подчиняюсь общему закону, управляющему вселенной. Я знаю о нем достаточно, если чувствую его. Сколько бы я ни познавал, он не отклонится от своего пути, он не изменится ради меня. Безумием было бы надеяться на это, а еще худшим безумием — огорчаться, ибо закон этот по необходимости единообразен, всеобщ и очевиден.

Благонамеренность и одаренность правящего должны начисто освободить нас от забот о делах управления. Философские изыскания и помышления служат лишь пищей нашей любознательности. С полным основанием отсылают нас философы к законам природы, но им самим эта высокая наука не очень-то по плечу. Они ложно толкуют их и лик ее являют нам слишком уж ярко расписанным, слишком искаженным, отчего единый предмет и предстает перед нами в столь различных видах.

Природа наделила нас ногами для хождения,

она же с умом руководит нами на жизненном пути. Разум ее не столь искусный, тяжеловесный и велеречивый, как тот, что изобрели философы, но зато он легок и благодатен и во всем, что обещает разум философов на словах, хорошо помогает на деле тому, кто, к счастью своему, умеет подчиниться природе бесхитростно и безмятежно, иначе говоря — естественно.

Самый мудрый способ довериться природе — сделать это как можно более просто. О, какой сладостной, мягкой, удобной подушкой для разумно устроенной головы являются незнание и нежелание знать! Я предпочел бы хорошо понимать самого себя, чем Цицерона. Если я буду прилежным учеником, то мой собственный опыт вполне достаточно умудрит меня. Кто восстановит у себя в памяти все неистовство своей недавней гневной вспышки, припомнит, куда она его завела, тот уразумеет лучше, чем из творений Аристотеля, как безобразна страсть, и с более глубоким основанием отвратится от нее. Кто вспоминает о постигавших его бедствиях, о тех, что ему угрожали, о незначительных случайностях, так резко изменивших его жизненные обстоятельства, тот подготовляется к будущим переменам в своей судьбе и к осознанию своего

истинного положения. В жизни Цезаря мы не найдем большего числа поучительных примеров, чем в нашей собственной. И жизнь правителя, и жизнь простолюдина — это всегда человеческая жизнь, полная обычных для нее превратностей. Не будем упускать этого из вида. Мы всегда говорим друг с другом о наших самых насущных нуждах. Разве со стороны того, кто помнит, как часто он ошибочно судил о вещах, не глупо доверять постоянно и неизменно своему суждению? Когда доводы другого человека убеждают меня в ложности моего мнения, я не столько узнаю от него нечто новое, узнаю, что проявил невежество именно в данной области (это было бы не такое уж ценное приобретение), сколько убеждаюсь в своей слабости вообще и в шаткости своего рассудка, вследствие чего и стараюсь исправить все в целом. Так же точно поступаю я и в отношении других своих заблуждений, и следование этому правилу приносит мне большую пользу. Каждый данный случай и все, к чему он относится, я рассматриваю не просто как камень, о который споткнулся: я понимаю, что в походке моей не все вообще ладно, и стараюсь выправлять свой шаг. Уразуметь, что сказал или сделал какую-то глупость, — это еще пустяки: надо понять, что ты

по сути своей глуп, — вот наука куда более значительная и важная. Ложные шаги, на которые наталкивала меня моя память, даже когда она была особенно уверена в себе, не остались без пользы: теперь в ответ на все ее клятвы и заверения я затыкаю уши. Первые же возражения, которые встречает ее свидетельство, настораживают меня, и я уже не решаюсь слепо довериться ей в чем-либо существенно важном и положиться на нее в деле, где замешан кто-то другой. И хотя другие, может быть, гораздо чаще совершают по недобросовестности те ошибки, в которых я повинен из-за недостатка памяти, все же в том или ином деле я охотнее поверю словам, исходящим из уст другого человека, чем своим собственным. Если бы каждый так же пристально изучал последствия и воздействия страстей, которым он подвластен, как я поступал в отношении тех, которым поддался сам, он мог бы предвидеть их прилив и несколько умерять его бурное неистовство. Не всегда они внезапно обрушиваются на нас, вцепляясь нам в глотку: тут наблюдается и отдаленная угроза, и постепенное нарастание.

> *Fluctus uti primo coepit cum albescere vento,*

*Paulatim sese tollit mare, et altius undas*
*Erigit, inde imo consurgit ad aethera fundo.[24] [broken link: #nc13_24]*

В душевной жизни моей рассудок занимает важнейшее место, во всяком случае, он всячески старается его занять. Он не препятствует свободному развитию моих влечений, моим враждебным и дружеским чувствам, даже моей любви к самому себе, но они не задевают и не замутняют его. Если он не способен исправить прочие мои душевные свойства по своему подобию, то, во всяком случае, он не поддается их вредному влиянию: он живет сам по себе.

Призыв «познай самого себя» имеет, видно, существеннейшее значение, если бог знания и света начертал его на фронтоне своего храма[25] [broken link: #nc13_25] как всеобъемлющий совет, который он мог нам дать. Платон говорит, что осуществление этой заповеди и есть следование разуму[26] [broken link: #nc13_26], и Сократ у Ксенофонта подтверждает это различными примерами[27] [broken link: #nc13_27]. Трудности и темные места любой науки заметны лишь тем, кто ею овладел. Ибо нужно обладать некоей степенью разумения, чтобы заметить свое

невежество, и надо толкнуть дверь, чтобы удостовериться, что она заперта. Отсюда и хитроумное платоновское положение, что знающим незачем познавать, раз они уже знают, а незнающим тоже незачем, ибо для того, чтобы познать, надо разуметь, что именно познаешь[28] [broken link: #nc13_28]. Точно так же обстоит с познанием самого себя. Каждый уверен, что в этом отношении у него все в полном порядке, каждый думает, что отлично сам себя понимает, но это-то и означает, что решительно никто о самом себе ничего не знает, как показал Сократ Эвтидему у Ксенофонта[29] [broken link: #nc13_29]. Я, не занимающийся ничем иным, нахожу в этой науке такую глубину и столь бесконечное разнообразие, что все мои изыскания приводят меня лишь к ощущению того, как много мне еще надо узнать. Своей многократно признававшейся мною слабости обязан я склонностью к скромной самооценке, к подчинению предписанным мне верованиям, обязан моим неизменным хладнокровием, умеренностью во взглядах и отвращением к докучной и бранчливой наглости самодовольных всезнаек — главным врагам истины и подлинной учености. Послушайте-ка их речи: любую чепуху городят они торжественным слогом заповедей и законов.

Nil hoc est turpius quam cognitioni et perceptioni assertionem approbationemoque praecurrere[30] [broken link: #nc13_30]. Аристарх сказал, что в древние времена с трудом можно было насчитать семь мудрецов, а в его время трудно было найти семь невежд[31] [broken link: #nc13_31].

Разве мы в наше время можем сказать это не с большим основанием, чем он? Самоуверенность и упрямство — явные признаки глупости. Такой-то сто раз на дню зарывался носом в землю, но вот он опять в седле, столь же решительный и невозмутимый, как и прежде. Можно подумать, что в него вселили новую душу, силу разумения и что с ним произошло то же, что с древним сыном земли, который, падая и соприкасаясь с землею, обретал новую мощь[32] [broken link: #nc13_32],

> *cui, cum tetigere parentem,*
>
> *Iam defecta vigent renovato robore membra.[33] [broken link: #nc13_33]*

Уж не рассчитывает ли этот неугомонный упрямец заново воодушевиться для новой словесной распри? На основании собственного опыта говорю я так о людском невежестве: оно, на мой взгляд, и есть самое точное знание, какое можно получить в школе жизни. Те, кто не хочет при-

знать этого, исходя из столь жалкого примера, как мой или их собственный, могут опереться на Сократа, учителя учителей. Ибо философ Антисфен сказал своим ученикам: пойдемте, послушаем Сократа, вместе с вами стану я у него учиться[34] [broken link: #nc13_34]. И, утверждая положение стоической школы о том, что одной добродетели достаточно, чтобы сделать жизнь счастливой и ничего больше не желать, он добавлял: кроме Сократовой силы духа[35] [broken link: #nc13_35].

Неустанное внимание, с которым я сам себя изучаю, научило меня довольно хорошо разбираться и в других людях, и мало есть на свете вещей, о которых я говорил бы более успешно и удачно. Часто случается, что жизненные обстоятельства своих друзей я вижу и понимаю лучше, чем они сами. Правильность моего изложения изумила кое-кого из них и заставила их обратить внимание на многое в их собственных обстоятельствах. Приучившись с детства созерцать свою жизнь в зеркале других жизней, я приобрел в этом деле опытность и искусство, и когда я думаю над этими вещами, от меня ускользает очень немногое из того, что к ним относится, — из человеческого поведения, настроений, речей. Я изучаю все: и то, чего мне надо избегать, и то, чему я должен

следовать. Так и друзьям своим на основании их дел и поступков объясняю я их внутренние склонности, и не просто для того, чтобы распределить эти бесконечно разнообразные действия но определенным видам и рубрикам, а затем четко распределить все, что приведено мною в порядок, по существующим типам и классам.

> *Sed neque quam multae species, et nomina quae sint,*
>
> *Est numerus.[36] [broken link: #nc13_36]*

Ученые находят для своих построений гораздо более дробные и детальные обозначения. Я же, не проникающий во все эти вещи глубже, чем мне нужно в данный момент, не руководствуюсь никакими правилами и свои построения формулирую лишь в общих чертах и, так сказать, на ощупь. Так же обстоит дело и с этой книгой: я высказываю свои взгляды в отдельных фразах, как если бы речь шла о чем-то таком, что не может рассматриваться как единое целое. Взаимосвязанности и единообразия не найти в душах столь обычных и низменных, как наши. Мудрость есть здание прочное и цельное, каждая часть которого занимает строго определенное место и имеет свой признак. Sola sapientia in

se tota conversa est[37] [broken link: #nc13_37]. Я предоставляю художникам распределять по клеткам все бесконечное многообразие обликов, закреплять и упорядочивать нашу переменчивость, но не знаю, удастся ли им справиться с предметом столь сложным, состоящим из такого количества случайных мелочей. Я считаю крайне затруднительным не только увязывать наши действия одно за другим, но и правильно обозначать каждое из них по одному главному признаку, настолько двусмысленны они и пестры и пребывают в зависимости от освещения.

То, что в царе македонском Персее[38] [broken link: #nc13_38] считали странностью, а именно, что дух его, никогда не пребывая в некоем определенном состоянии, стремился проявить себя в различных образах жизни, в необычных и переменчивых нравах и благодаря этому ни сам Персей, ни другие не в состоянии были понять, что же он за человек, — эти черты представляются мне свойственными всем людям. Особенно хорошо знаю я другого такого же человека, к которому, по-моему, с еще большим правом можно отнести нижеследующее заключение: ему чужд какой бы то ни было средний путь, он по самому неожиданному поводу бросается из одной

крайности в другую, он, даже двигаясь куда-то, беспрестанно сворачивает в сторону или возвращается обратно, все его свойства противоречивы, так что наиболее правильное мнение сведется когда-нибудь к тому, что он старался и стремился стать известным из-за того, что его невозможно познать.

Надо иметь очень чуткие уши, чтобы выслушивать откровенные суждения о себе. И так как мало таких людей, которые могут выносить это, не оскорбляясь, те, кто решаются высказывать нам, что они думают о нас, проявляют тем самым необыкновенно дружеские чувства. Ибо ранить и колоть для того, чтобы принести пользу, — это и есть настоящая любовь. Мне тягостно судить человека, у которого дурных свойств больше, чем хороших. Платон говорит, что у того, кто хочет познать чужую душу, должны быть три свойства: понимание, благожелательность и смелость[39] [broken link: #nc13_39].

Меня иногда спрашивали, к какой деятельности я считал бы себя наиболее способным, если бы кому-нибудь пришло в голову применить к чему-либо мои силы, когда я был еще в подходящем для этого возрасте.

*Dum melior vires sanguis dabat, aemula*

*necdum*

*Temporibus geminis canebat sparsa senectus.[40] [broken link: #nc13_40]*

— Ни к какой, — отвечал я. И я даже рад, что не умею делать ничего, что бы могло превратить меня в раба другого человека. Но я сумел бы высказать моему господину всю правду о нем и ясно обрисовать ему его нрав, если бы он этого захотел. Не в общих суждениях, по схоластическому способу, чего я делать не умею (впрочем, уменье это не приносит никакой пользы тем, у кого оно есть), но наблюдая его шаг за шагом, поскольку для этого у меня имелась бы полная возможность, и внимательным взглядом оценивая их во всех подробностях; и я излагал бы ему это просто и естественно, разъясняя, что о нем думают на самом деле люди, и всячески опровергая его льстецов. Каждый из нас стоил бы куда меньше, чем короли, если бы его постоянно портили лестью, как портит властителей окружающая их сволочь. Да что говорить, если даже Александр, этот великий государь и великий мыслитель, был беззащитен перед лестью! У меня хватило бы верности, и разума, и внутренней свободы для того, чтобы говорить правду. Это

была бы служба, не дающая славы: иначе она утратила бы всю свою действенность, все свои благодатные свойства. И подобную роль может сыграть не каждый человек. Ибо даже истине не дано преимущество быть высказываемой в любое время и при любых обстоятельствах: как ни благородно быть ее глашатаем, и это дело требует определенных условий, определенных рамок. Мир так устроен, что нередко ее доводят до слуха властителя не только без всякой пользы, но даже с дурными последствиями и к тому же неоправданно. И меня никто не убедит в том, что даже самый справедливый укор не может оказаться несвоевременным и что суть дела не должна порою уступать форме. Я полагаю, что такая деятельность больше всего подобала бы человеку, довольному своей участью,

> *Quod sit esse velit, nihilque malit,[41] [broken link: #nc13_41]*

и рожденному в среднем состоянии. Ибо, с одной стороны, он не побоялся бы слишком глубоко затронуть сердце властителя и тем самым повредить своей карьере, а с другой, как человек среднего состояния, находился бы в постоянном общении со всякого рода людьми. Я считаю,

что в подобной роли должен был бы выступать лишь один человек, ибо даровать право на такую свободу и близость к государю многим людям означало бы породить весьма пагубное неуважение к верховной власти. И кроме того, от такого человека я потребовал бы прежде всего верности и молчания.

Нельзя верить королю, хвалящемуся тем, что ради славы своей он стойко дожидался нападения неприятеля, если он не способен ради своей пользы и назидания выслушать откровенные речи друга, которые могли бы лишь оскорбить его слух, так как всякое другое их действие зависит только от его доброй воли. А между тем из всех людей именно облеченные властью более всего нуждаются в правдивом и свободном слове. Жизнь их протекает на глазах у всех, и им приходится домогаться симпатии огромного количества зрителей. Но так как принято скрывать от них все, что может заставить их свернуть с предначертанного пути, они, даже не сознавая того, становятся порою ненавистными своим народам по причинам, которых они часто могли бы избежать, не пожертвовав при этом ни одним из своих удовольствий, если бы их вовремя предупредили и подали им добрый совет. Обычно их

любимцы заботятся больше о себе, чем о своем повелителе, и ничего на этом не теряют, ибо, говоря по правде, подлинно дружеские чувства к государю подвергаются всегда суровым и опасным испытаниям, так что такая дружба требует не только привязанности и искренности, но и мужества.

В общем же все состряпанное мною здесь кушанье есть лишь итог моего жизненного опыта, который для всякого здравомыслящего человека может быть полезен как призыв действовать совершенно противоположным образом. Но что до здоровья телесного, то ничей опыт не будет полезнее моего, ибо у меня он предстает в чистом виде, не испорченном и не ущемленном никакими ухищрениями, никакой предвзятостью. В отношении медицины опыт — как петух, роющийся в своем же помете: разумное он обретает в самом себе. Тиберий говорил, что каждый, проживший двадцать лет, должен сам понимать, что для него вредно, а что полезно, и уметь обходиться без врачей[42] [broken link: #nc13_42]. Эту мысль он мог позаимствовать у Сократа, который, советуя своим ученикам прилежно изучать, как важнейшую вещь, свое здоровье, добавлял, что было бы невероятно, если бы рассудитель-

ный человек, следящий за тем, чтобы правильно упражнять свое тело, есть и пить, сколько нужно, не понимал бы лучше всех врачей, что для него хорошо, что плохо[43] [broken link: #nc13_43]. Да и медицина всегда заявляет, что во всех предписаниях исходит из опыта. Следовательно, Платон был прав, когда говорил, что настоящему врачу, стремящемуся усовершенствоваться в своем искусстве, следовало бы испытать все болезни, которые он намеревается лечить, все случаи и обстоятельства, на основании которых он должен принимать решения[44] [broken link: #nc13_44]. И правильно: если они хотят лечить сифилис, пусть переболеют им. Такому врачу я бы доверился, ибо все прочие, руководя нами, уподобляются тому человеку, который рисует моря, корабли, гавани, сидя за своим столом и в полной безопасности водя перед собою взад и вперед игрушечный кораблик. А когда им приходится взяться за настоящее дело, они ничего не могут и не знают. Они описывают наши болезни, как городской глашатай, выкрикивающий приметы сбежавшей лошади или собаки: такой-то масти шерсть, такой-то рост, такие-то уши, — но покажите им настоящего больного, и они не распознают болезни.

Дал бы бог, чтобы медицина хоть раз в жизни оказала мне настоящую ощутимую помощь, и я с открытой душой вскричал бы:

> *Tandem efficaci do manus scientiae![45] [broken link: #nc13_45]*

Искусства, сулящие нам телесное и душевное здоровье, обещают много, но именно они реже всего исполняют свои обещания. И в наше время те, кто считает врачевание своей профессией, действуют в этой области хуже, чем любой другой человек. Самое большее, что о них можно сказать, — это, что они продают лекарственные средства, но сказать, что они врачи, никак нельзя.

Я прожил достаточно долго, чтобы оценить те навыки, которые обеспечили мне столь продолжительное существование. Так как они мною уже испробованы, на меня могут опираться все, кто захотел бы к ним прибегнуть. Вот кое-что из них, насколько мне помнится. У меня не было таких навыков, которые не изменялись бы в зависимости от обстоятельств, но здесь я указываю наиболее постоянные и свойственные мне до настоящего времени. И здоровый, и больной, я веду один и тот же образ жизни: сплю на одной и той

же кровати, придерживаюсь того же распорядка дня, ем и пью одно и то же. Ничего к этому не добавляется, я меняю только количество пищи и часов сна, в зависимости от своих сил и аппетита. Я блюду свое здоровье, следуя без изменений привычному жизненному распорядку. Болезнь выбила меня из него с одной стороны? Если я доверюсь врачам, они выбьют меня из него и с другой, так что и волею обстоятельств и из-за медицинского искусства я окажусь вне своей обычной колеи. А между тем больше всего я верю в то, что мне никак не могут повредить вещи, к которым я издавна привык.

Именно привычка сообщает нашей жизни ту форму, какая ей заблагорассудится. Здесь она всемогуща: это волшебный напиток Цирцеи, придающий существу нашему любой облик[46] [broken link: #nc13_46]. Многие народы в трех шагах от нас, считают нелепостью бояться столь явно мучительной для нас вечерней прохлады; наши моряки и крестьяне тоже над этим смеются. Немец плохо себя чувствует, лежа на матраце, итальянец — на перине, а француз — если он спит без штор и без огня в камине. Желудок испанца не выносит нашего способа питаться, а наш — швейцарской манеры пить.

Один немец, к великому моему удовольствию, поносил неудобство наших каминов, используя те же доводы, какими мы осуждаем их печи. И правда, жар в замкнутом пространстве и запах раскаленного кирпича, из которого сложены печи, тягостны для большинства тех, кто к этому не приучен. Для меня, впрочем, нет. Вообще же это устойчивое и равномерно распределенное всюду тепло, без пламени, без дыма, без ветра, задувающего через широкие зевы наших каминов, вполне выдерживает сравнение с нашим способом обогревания комнат. Но почему мы не подражаем архитектуре римлян? Ибо говорят, что в древности дома их обогревались снаружи и снизу, откуда тепло распространялось по всему жилью с помощью труб, положенных внутри стен и проходящих через все помещения, которые надо было обогревать: обо всем этом очень ясно говорится где-то у Сенеки[47] [broken link: #nc13_47]. Вышесказанный немец, слыша, как я нахваливаю удобства и красоты его города, вполне заслуживающего похвал, принялся жалеть меня по поводу моего отъезда: одним из первых неудобств, с которыми мне, по его мнению, пришлось бы столкнуться, явилась бы тяжесть в голове из-за каминного угара во Фран-

ции. Говорил он с чьих-то чужих слов и, не имея случая столкнуться с этим неприятным явлением у себя, считал его характерной чертой нашего обихода. Всякий жар от горящего пламени действительно вызывает у меня слабость и тяжесть в голове. Хотя Эвен и говорил, что лучшая утеха жизни — огонь[48] [broken link: #nc13_48], я предпочитаю любой другой способ избегать холода.

Мы не любим пить вино со дна бочки. Для португальцев же винный осадок — наслаждение, царский напиток. В общем, каждый народ имеет свои обычаи и привычки, не только не известные другим народам, но диковинные и странные с их точки зрения.

Что сказать о народе, который уважает лишь печатное свидетельство, доверяет только тем людям, о которых можно прочесть в книге, и верит только в истины очень почтенного возраста? Отливая свои глупости в металлическом шрифте, мы как бы придаем им некое благородство. Когда говоришь «я прочел», кажется, что это звучит более веско, чем «я слышал». Но я, придающий устам человеческим не меньшее значение, чем рукам, знающий, что писать можно так же легкомысленно, как говорить, я, уважающий наш век не менее, чем любой из минувших, так же

охотно сошлюсь на кого-либо из своих друзей, как на Авла Геллия или Макробия, и на то, что я видел, как на то, что они написали. И как принято считать, что добродетель отнюдь не выше от того, что ей предавались дольше, так и я полагаю, что та или иная истина не становится мудрее от своего возраста. Я часто говорю, что погоня наша за примерами чужеземными и книжными — чистейшее недомыслие. Опыт нашего времени так же плодотворен, как опыт времен Гомера или Платона. Но разве не правда, что звонкая цитата соблазняет нас больше, чем правдивая речь? Как будто доказательства, которые можно почерпнуть в книжной лавке Васкосана или Плантена[49] [broken link: #nc13_49], стоят больше, чем те, которые приводит нам жизнь нашего села? Или, может быть, нам не хватает ума, чтобы исследовать то, что происходит у нас перед глазами, дать ему правильную оценку и составить о нем решительное суждение, чтобы извлечь некий пример? Ибо, когда мы утверждаем, что мнения наши недостаточно вески, чтобы люди придавали веру нашему свидетельству, говорится это впустую. Тем более, что, на мой взгляд, если пролить настоящий свет на самые обыкновенные, общеизвестные и всем привыч-

ные вещи, они могут предстать как величайшие чудеса мира и из них можно извлечь удивительнейшие примеры, в особенности касательно дел человеческих.

Но вернемся к моему предмету. Оставив в стороне книжные свидетельства и то, что Аристотель говорит об Андроне, аргийце, который пересекал пески ливийской пустыни и при этом ничего не пил[50] [broken link: #nc13_50], хочу упомянуть об одном дворянине, достойным образом отправлявшем различные должности, который рассказывал в моем присутствии, что он в самый разгар лета ездил из Мадрида в Лиссабон и ничего не пил в дороге. Он отличается превосходным для своего возраста здоровьем и ведет самый обычный образ жизни — за исключением того, что в течение двух-трех месяцев, а иногда и года, ничего не пьет, как он мне сам говорил. Он испытывает жажду, но ждет, чтобы она прошла, считая, что это ощущение само по себе ослабевает, и вообще он пьет лишь по случайному побуждению, а не по нужде или ради удовольствия[51] [broken link: #nc13_51].

А вот еще пример. Недавно я видел, как один из ученейших мужей Франции, и притом один из наиболее состоятельных, занимается у себя в

углу залы, отделенной от остального помещения портьерой. Кругом совершенно беззастенчиво кричали и суетились его слуги. Он же сказал мне — до него это говорил и Сенека[52] [broken link: #nc13_52], — что весь этот шум ему даже полезен, ибо, оглушенный им, он еще глубже погружается в созерцание: громкие голоса помогают ему сосредоточиться. Будучи студентом в Падуе, он занимался в помещении, куда с площади доносился звон колоколов и уличный гвалт, и не только приучился переносить шум, но у него даже выработалась привычка к шуму в часы занятий. Когда Алкивиад спрашивал Сократа, как это он выносит беспрестанную сердитую воркотню жены, тот отвечал: «Привыкают же к скрипу колес, с помощью которых вытягивают из колодца ведра с водой»[53] [broken link: #nc13_53]. Для меня все обстоит иначе. Дух мой чувствителен и легко возбудим: когда он погружен в себя, даже жужжание мухи для него мучительно.

Сенека с молодых лет увлекся примером Секстия[54] [broken link: #nc13_54], который никогда не ел мяса убитых или умерших животных, и уже через год Сенека с удовольствием обходился без мясной пищи. Он отказался от этой привычки лишь потому, что опасался, как бы его

не заподозрили в склонности к новой религии, проповедовавшей такое воздержание. Одновременно он следовал совету Аттала[55] [broken link: #nc13_55] не спать на мягких матрацах и до самой старости пользовался твердыми, не сгибающимися под тяжестью человеческого тела. И если нравы его времени побуждали Сенеку искать сурового образа жизни, то обычаи наших дней заставляют нас стремиться к удобствам.

Обратите внимание на образ жизни мой и моих слуг: даже скифы и индийцы не более отличаются от меня силой и обликом, чем они. Я брал к себе на службу нищенствующих детей, которые вскоре покидали меня и мою кухню, сбрасывали с себя мою ливрею, чтобы возвратиться к своему прежнему существованию. Среди них был один, который, уйдя от меня, питался ракушками, разысканными среди отбросов, и ни уговорами, ни угрозами я не добился, чтобы он отверг радости и блага полуголодной жизни. У нищих бродяг есть и своя роскошь и свои наслаждения, как у богатых, и даже, говорят, свое особое общественное устройство с должностями и званиями. Все зависит от привычки. Она может не только отливать нас в любую форму (но мудрецы говорят, что нам все же следует выбирать

лучшую, и привычка облегчит нам это дело), но даже приучить к любым переменам, что является благороднейшей и полезнейшей из наук. Лучшее из моих природных свойств — гибкость и податливость: я обладаю некоторыми склонностями, более для меня подходящими, привычными и приятными, чем другие, но без особых усилий могу отказаться от них и с легкостью перейти к навыкам совершенно противоположным. Молодой человек должен нарушать привычный для него образ жизни: это вливает в него новые силы, не дает ему закоснеть и опошлиться. Самые нелепые и жалкие жизненные навыки — те, что целиком подчиняют человека каким-то неизменным правилам и жестокой дисциплине.

> *Ad primum lapidem vectari cum placet, hora*
>
> *Sumitur ex libro; si prurit frictus ocelli*
>
> *Angulus,*
> *inspecta genesi collyria quaerit.[56] [broken link: #nc13_56]*

На мой взгляд, юноша должен порою быть невоздержанным: иначе для него окажется губительной любая буйная шалость и в веселой беседе он окажется неудобным и неприятным

обществу. Самое неблаговидное для порядочного человека свойство — это чрезмерная щепетильность и приверженность к какой-то особой манере держаться: неподатливость и негибкость и составляют ее особенность. Постыдно, когда человек отказывается от чего-то из-за своего бессилия или не осмеливается делать то, что делают его товарищи. Пусть подобные люди плесневеют у себя на кухне. Такое поведение неприлично для каждого человека, но особенно пагубно и недопустимо оно для воина, который, по словам Филопемена, должен приучаться к любым жизненным превратностям и переменам[57] [broken link: #nc13_57].

В свое время я был в достаточной мере приучен к свободе и готовности менять свои привычки, но, старея, поддался слабости и стал усваивать определенные постоянные навыки (в моем возрасте переучиваться уже не приходится, надо думать лишь о том, чтобы сохранить себя в какой-то форме). Теперь уже привычка к некоторым вещам незаметным образом так властно завладела мною, что нарушение ее представляется мне просто разгулом. Без тягостного для себя ощущения я не могу ни засыпать среди дня, ни есть что-нибудь в неустановленные для трапез часы,

ни лишний раз позавтракать, ни ложиться спать раньше, чем пройдет по крайне мере три часа после ужина, ни делать детей иначе как только перед сном и только лежа, ни ходить вспотевшим, ни пить одну воду или же неразбавленное вино, ни оставаться долгое время с непокрытой головой, ни бриться после обеда. Обходиться без перчаток мне теперь так же трудно, как без рубашки, трудно не помыть рук после обеда и, встав ото сна, трудно обходиться без полога и занавесок на кровати, как вещей совершенно обязательных. Пообедать без скатерти я могу, но на немецкий манер, без чистой салфетки — очень неохотно. Я пачкаю салфетки гораздо больше, чем немцы или итальянцы, и редко пользуюсь ложкой и вилкой. Жаль, что у нас не привился обычай, принятый при дворе: менять салфетки вместе с тарелками, с каждым блюдом. О таком суровом воине, как Марий, известно, что с возрастом он стал очень брезглив в питье и пользовался только своей собственной чашей. Я тоже предпочитаю особой формы стаканы и неохотно пью из любого, так же как и из поданного любой рукой. Я не признаю металла — прозрачное, ясное стекло мне приятнее. Пусть глаза мои наслаждаются, как могут, когда я пью.

Кое-какими чертами изнеженности я обязан привычке, но постаралась тут со своей стороны и природа. Так, я не могу основательно поесть дважды в день, не отягчив желудка, но не могу и всю дневную порцию съедать в один присест, иначе меня начинает пучить, пересыхает во рту, нарушается аппетит. Не могу я и проводить долгое время на воздухе в ночную пору, ибо если в походе — как это нередко бывает — приходится всю ночь бодрствовать под открытым небом, с некоторых пор у меня в таких случаях часов через пять или шесть начинается расстройство желудка, сильные головные боли, а к утру — обязательно рвота. Когда другие идут завтракать, я заваливаюсь спать, а выспавшись, встаю как ни в чем не бывало. Я всегда слыхал, что вредоносная сырость распространяется лишь с ночной темнотой. Но за последние годы мне пришлось близко и длительно общаться с одним господином, проникнутым уверенностью в том, что сырость особенно въедлива и опасна под вечер, за час или два до захода солнца. Господин этот старательно избегает выходить именно в это время, а ночной сырости совсем не боится, и на меня он тоже повлиял в этом смысле — не столько, правда, своими доводами, сколько силой убежденности. Что ж,

значит, сомнение и исследование могут настолько поразить наше воображение, что мы способны измениться? Кто поддается такому направлению мыслей, сам себя губит. Я очень жалею некоторых известных мне дворян, которые из-за глупости своих врачей еще в молодом возрасте и в добром здоровье стали жить, как в больнице. Лучше перенести простуду, чем, отвыкнув от жизни в обществе, навсегда отказаться от нее и от всякой нужной и полезной деятельности. Одна беда от этой науки, лишающей нас самых сладостных в жизни часов! Надо полностью использовать все предоставленные нам возможности. Упорство чаще всего закаляет и лечит, — так исцелился Цезарь от падучей тем, что не обращал на нее внимания и не поддавался ей[58] [broken link: #nc13_58]. Следует руководствоваться разумными правилами, но не подчиняться им слепо — разве что тем, если такие существуют, рабская приверженность которых благодетельна.

Короли и философы ходят по нужде, а также и дамы. Жизнь людей, находящихся на виду, связана со всяческими церемониями; моя же независима; к тому же солдату и гасконцу свойственно говорить свободно. Вот почему я и скажу: по нужде надо ходить в определенные часы, луч-

ше ночью, приучить себя к такому порядку, как я это сделал, но не стать рабом его, как случилось со мной, когда я постарел, так что теперь мне для этого дела необходимо определенное место и сиденье, и оно связано для меня с неудобствами и проволочками из-за вялости моего кишечника. Но разве не извинительно стараться соблюдать при отправлении самых грязных функций самую тщательную чистоту? Natura homo mundum et elegans animal est[59] [broken link: #nc13_59]. Когда я отправляю именно эту естественную потребность, всякий перерыв мне особенно неприятен. Мне приходилось встречать немало военных, которые страдали от расстройства пищеварения. Я же и мое пищеварение никогда не бываем в разладе, встречаясь как раз в тот момент, когда надо вставать с постели, разве что нам в этом помешает какое-нибудь очень важное дело или болезнь.

Как мне уже приходилось говорить, я не вижу, что лучшего может сделать больной, если не придерживаться своего обычного образа жизни, своей привычной пищи. Какое бы то ни было изменение всегда мучительно. Попробуйте доказывать, что каштаны вредны жителям Перигора или Лукки, а молоко и сыр — горцам. А им станут

предписывать не только новый, но и совсем противоположный образ жизни; такой перемены не вынесет и здоровый человек. Заставьте семидесятилетнего бретонца пить одну родниковую воду, заприте моряка в ванную комнату, запретите лакею-баску гулять, лишите его движения, воздуха и света. An vivere tanti est?[60] [broken link: #nc13_60]

> *Cogimur a suetis animum suspendere rebus,*
>
> *Atque, ut vivamus, vivere desinimus.*
>
> *Hos superesse reor, quibus et spirabilis aer*
>
> *Et lux qua regimur redditur ipsa gravis?[61] [broken link: #nc13_61]*

Если врачи не делают ничего хорошего, то они хоть подготовляют заблаговременно своих больных к смерти, подтачивая постепенно их здоровье и понемногу ограничивая их во всех жизненных проявлениях. И здоровый и больной, я всегда готов был поддаться обуревавшим меня влечениям. Я очень считаюсь со своими желаниями и склонностями. Я не люблю лечить одну беду с помощью другой и ненавижу лекарства, еще более докучные, чем болезнь. Страдать от колик и страдать от того, что лишаешь себя удовольствия

есть устрицы, — это две беды вместо одной. Мучит нас болезнь, мучит и режим. Раз мы и так и этак вынуждены идти на печальный риск, давайте, рискуя, получать хоть какое-то удовольствие. Люди же обычно поступают наоборот, считая, что полезным может быть только неприятное: все, что не тягостно, кажется им подозрительным. Аппетит мой во многих случаях обходился без постороннего вмешательства, во всем завися от состояния моего желудка. Острые приправы и соусы я любил, когда был молод. Затем они стали вредить моему желудку, и я тотчас же потерял к ним всякий вкус. Вино вредно больным: когда я болен, первое, к чему я начинаю испытывать непреодолимое отвращение, — это именно к вину. Все, что мне противно, является и вредным для меня, как не причиняет вреда ничто из того, к чему у меня есть влечение и вкус. Никогда не приходилось мне страдать, если я делал нечто для меня приятное, и я всегда смело жертвовал врачебными предписаниями ради своего удовольствия. В молодости,

*Quem circumcursans huc atque huc saepe Cupido*

*Fulgebat, crocina splendidus in tunica,[62]*

*[broken link: #nc13_62]*

я предавался обуревавшему меня желанию с таким же безудержным сладострастием, как любой другой юноша,

*Et militavi non sine gloria,[63] [broken link: #nc13_63]*

но выражалось это у меня больше в длительности и непрерывности его, чем в количестве любовных приступов:

*Sex me vix memini sustinuisse vices.[64] [broken link: #nc13_64]*

Мне даже стыдно признаться, в каком необычайно юном возрасте познал я впервые власть желания. Вышло это случайно, ибо событие совершилось задолго до того, как я вступил в возраст сознания и разума. Никаких других воспоминаний о тех годах у меня нет, и мою судьбу можно сравнить с судьбою Квартиллы, не помнившей времени, когда она была еще девственницей[65] [broken link: #nc13_65].

*Inde tragus celeresque pili, mirandaque matri*

*Barba meae.[66] [broken link: #nc13_66]*

Часто врачи весьма благотворно согласуют свои предписания с теми сильными желаниями, которые возникают у больных: такая сила потребности в чем-то внушается самой природой, и в ней не может быть ничего вредного. И затем, как важно утолить свою фантазию! На мой взгляд, все зависит от этого, во всяком случае, больше, чем от чего-либо другого. Самые частые и тяжкие болезни — те, которыми мы обязаны своему воображению. Мне во многих отношениях чрезвычайно нравится испанская поговорка: Defenda me dios de mi[67] [broken link: #nc13_67]. Когда я болен, то очень жалею, если у меня нет желания, удовлетворив которое, я мог бы получить удовольствие, и врачам было бы нелегко отвратить меня от этого. Так же обстоит со мной, и когда я здоров: самое лучшее для меня — надеяться и хотеть. Плохо, когда и желания твои слабы и хилы.

Искусство врачевания еще не имеет столь твердо установленных правил, чтобы мы, делая что угодно, не могли сослаться на какой-либо авторитет: предписания медицины меняются в зависимости от климата, от лунных фаз, от теорий Фернеля или Скалигера[68] [broken link: #nc13_68]. Если ваш врач не дает вам спать вволю,

пить вино, есть такой-то сорт мяса, не тревожьтесь: я найду вам другого, который выскажет противоположное мнение. Различия во мнениях и доводах у врачей принимают любого рода формы. На моих глазах некий больной изнемогал и мучился от жажды, чтобы выздороветь, а после другой врач смеялся над ним, осуждая этот совет, как пагубный. На пользу ли ему пошла его мука? Недавно от камней в почках умер один человек того же ремесла, прибегнувший для борьбы со своей болезнью к самой крайней воздержанности. Сотоварищи его утверждают, что, напротив, голодовка только иссушила ему ткани, и песок у него в почках спекся.

Я заметил, что при ранениях и во время болезни говорить мне вредно, так как это возбуждает меня не меньше, чем беспорядочные движения. Голос у меня громкий, резкий, я напрягаюсь и утомляюсь, когда говорю. Доходило до того, что когда я являлся к сильным мира беседовать о важных делах, им приходилось просить меня умерить мой голос. Вот рассказ, который меня позабавил: в одной греческой школе кто-то говорил очень громко, как я; наблюдавший за порядком велел передать ему, чтобы он говорил потише. «Пусть он мне покажет, — возразил тот, — каким

тоном должен я говорить». Ему ответили, чтобы он равнялся на слушающего[69] [broken link: #nc13_69]. Ответ неплохой, но при условии, что смысл его был таков: говорите так или иначе в зависимости от сути того, что хотите сказать своему собеседнику. Ибо если совет означал: достаточно, чтобы он вас услышал, — или: соразмеряйтесь с его слухом, — я не считаю его правильным. На мой взгляд, тон, высота голоса всегда что-то выражают и обозначают. Я и должен пользоваться им так, чтобы он меня представлял. Один голос поучает, другой льстит, третий бранит. Я хочу, чтобы мой голос не только дошел до слушающего, но чтобы он, когда нужно, поразил его и пронзил. Когда я распекаю своего слугу резким и язвительным голосом, ему подобает сказать мне: «Хозяин, говорите-ка потише, я вас отлично слышу». Est quaedam vox ad auditum accommodata, non magnitudine, sed proprietate[70] [broken link: #nc13_70]. Произнесенные слова принадлежат наполовину говорящему, наполовину слушающему. Последний должен принимать их так, как они ему брошены, подобно тому как во время игры в мяч принимающий делает те или иные движения в зависимости от движений бросающего или от характера броска.

Опыт научил меня и тому, что мы губим себя нетерпением. Беды наши имеют свою жизнь и свой предел, свои болезни и свое здоровье. Болезни обладают тем же строением, что и живые существа. Едва зародившись в нас, они следуют своей строго определенной судьбе, им тоже дается некий срок. Тот, кто хочет во что бы то ни стало насильственно сократить или прервать их течение, только удлиняет его, только усиливает недуг, вместо того чтобы его затушить. Я согласен с Крантором, что не следует ни упорно и безрассудно сопротивляться болезни, ни безвольно поддаваться ей, а надо предоставить ее естественному течению в зависимости и от ее свойств и от наших[71] [broken link: #nc13_71]. Пусть болезни проходят сами собой, и я нахожу, что они меньше длятся у меня, не вмешивающегося в их течение. Даже от самых упорных и стойких недугов я избавлялся благодаря bx естественному прекращению, без помощи врачевания и вопреки правилам медицины. Предоставим природе действовать по ее усмотрению: она лучше знает свое дело, чем мы. — Но, — говорят мне, — такой-то умер от этой болезни. — Вы тоже умрете, не от этой, так от другой. А сколько людей умерло от нее, хотя за ними и ходили три врача? Пример

— зеркало довольно неясное: все в него смотрятся и все, что угодно, в нем видят. Если вам предлагают приятное лечение, соглашайтесь на него: на этом вы ничего не потеряете. Меня не смутят ни название, ни цвет лекарства, если оно приятно на вкус и вызывает аппетит.

Удовольствие — одно из главных видов пользы. Сколько раз нападали на меня и сами собою проходили простуда, флюс, подагрические и сердечные приступы, мигрени, которые оставили меня, когда я уже почти примирился с тем, что надолго буду их жертвой. С ними легче справляться, потакая им, чем сопротивляясь. Мы должны кротко подчиняться установленному для нас самой судьбой закону. Ведь мы и созданы для того, чтобы стареть, слабеть, болеть, несмотря ни на какое врачевание. Это первый урок, который мексиканцы преподают своему потомству; едва оно успеет появиться из материнского чрева, как они приветствуют его словами: «Дитя, ты явилось в мир, чтобы терпеть: терпи же, страдай и молчи».

Несправедливо жаловаться на то, что с кем-то случилось нечто такое, что может случиться с каждым, indignare si quid in te inique proprie constitutum est[72] [broken link: #nc13_72]. Взг-

ляните на старика, который молит бога, чтобы он даровал ему полноту сил и здоровья, то есть вернул ему молодость.

> *Stulte, quid haec frustra votis puerilibus optas?[73] [broken link: #nc13_73]*

Разве это не глупость, противная естественным условиям возраста? Подагра, почечные колики, несварение желудка — признаки пожилых лет, как зной, дождь и ветер — неизменные спутники длительных путешествий. Платон не считает, что Эскулап озабочен тем, чтобы благодаря его предписаниям сохранить жизнь в разрушенном, ослабевшем теле, бесполезном отечеству, бесполезном делу, которым оно занималось, бесполезном и для производства здорового, крепкого потомства. Не считает он также, что божественной мудрости и справедливости, все ведущей ко благу, подобало бы об этом заботиться[74] [broken link: #nc13_74]. Милейший старик, ничего не поделаешь: тебя уже не поставить на ноги. Можно немножко починить, немножко подправить, продлить еще на несколько часов твое жалкое существование,

> *Non secus instantem cupiens fulcire ruinam,*

*Diversis contra nititur obicibus,*

*Donec certa dies, omni compage soluta,*

*Ipsum cum rebus subruat auxilium.[75] [broken link: #nc13_75]*

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь. Само существование наше немыслимо без этого смешения; тут необходимо звучание и той и другой струны. Пытаться восставать против естественной необходимости — значит проявлять то же безумие, что и Ктесифонт, который бил своего мула ногами, чтобы с ним справиться[76] [broken link: #nc13_76].

Я редко обращаюсь к врачам, когда чувствую себя плохо, ибо люди эти, видя, что вы в их власти, становятся заносчивыми. Они забивают вам уши своими прогнозами, а недавно, найдя

меня ослабевшим от болезни, они гнуснейшим образом донимали меня своими догматами и своей ученой напыщенностью, угрожая мне то тяжкими страданиями, то близкой смертью. Я не был этим ни угнетен, ни потрясен, но меня охватили раздражение и возмущение. И хотя мысли мои не ослабели и не помутились, им все же пришлось преодолеть какие-то препоны, а это всегда означает волнение и борьбу.

Между тем я стараюсь, чтобы воображение мое ничем не омрачалось, и если бы я только мог, то избавил бы его от малейшей неприятности, малейшего смятения. Ему надо по возможности приходить на помощь, ласкать его, обманывать. Разум мой к этому весьма склонен — у него наготове любые доводы, и он оказывал бы мне большую услугу, если бы его проповеди всегда убеждали.

Хотите пример? Он говорит, что камни в почках для меня даже к лучшему; что вполне естественно в моем возрасте немного страдать от подагры (моим органам уже пришло время слабеть и портиться; это для всех неизбежно, и не могу же я рассчитывать, что ради меня произойдет чудо? Тем самым я плачу дань старости и даже довольно дешево отделываюсь); что я не один в таком

положении и должен этим утешаться: болезнь эта — самая в моем возрасте обычная (повсюду вижу я людей, страдающих от того же самого, и для меня даже почетно находиться в их обществе, тем более что подагра чаще всего одолевает знатных людей и по самой природе своей обладает неким благородным достоинством); что мало кто из людей, страдающих ею, получал облегчение так легко, как я: им это стоило строгого режима и повседневной докуки принимать лекарства, мне же в данном случае просто повезло, ибо я без всякого отвращения проглотил несколько бесполезных, на мой взгляд, настоек чертополоха и грыжника исключительно ради дам, тем более любезных, чем болезнь моя жестока, которые предлагали мне половину своей порции. Для того чтобы без особых болей избавиться от большого количества песка, им приходится тысячу раз взывать к Эскулапу и выплачивать такое же количество экю своему врачу, а у меня это зачастую происходит само собой. Мне даже нетрудно при этом соблюдать приличие в обществе, и я могу задерживать мочу хоть десять часов подряд и, во всяком случае, так же долго, как человек вполне здоровый. Страх перед этой болезнью, говорит мне разум, овладевал тобой в то время,

когда ты с ней не был знаком: ужас внушали тебе отчаянные вопли тех, кто усугубляет недуг своим нетерпением. Болезнь эта поразила те твои члены, которыми ты более всего грешил. Ты ведь сознательный человек!

*Quae venit indigne poena, dolenda venit.[77] [broken link: #nc13_77]*

Кара, постигшая тебя, еще очень мягка по сравнению с тем, что терпят другие: это поистине отеческое наказание. Пришла она поздно, мучит и донимает тебя в том возрасте, который сам по себе бесплоден и никчемен, предоставив, словно по соглашению, твоей молодости предаваться всем радостям и удовольствиям. Страх этой болезни и сострадание, которое люди испытывают к пораженным ею, дают тебе право на известную гордость. Если ты в мыслях и свободен от нее, если она не проявляется в твоих речах, то друзья твои все же не могут не замечать мужества и достоинства в том, как ты держишься. Нельзя не испытывать удовлетворения, когда слышишь о себе: «Какая сила духа, какое терпение!» Люди видят, как на лбу у тебя выступает пот, как ты бледнеешь, краснеешь, дрожишь, как у тебя начинается кровавая рвота, жестокие судороги,

как у тебя порою выступают слезы и то появляется густая, темная, ужасающего вида моча, то, напротив, она задерживается из-за какого-нибудь острого шероховатого камня, который режет и разрывает тебе ткани у входа в мочеиспускательный канал, но видят они также, что ты одновременно ведешь любезный разговор с посетителями, иногда даже шутишь со своими людьми, принимаешь участие в длительной беседе, стараясь словами заглушить боль и не показывать, что страдаешь. Припомни людей древности, жаждавших, чтобы их постигали бедствия и они тем самым могли непрерывно упражняться в добродетели. Подумай и о том, что в этом случае сама природа посодействовала твоему вступлению в эту славную философскую школу, приверженцем которой ты никогда не стал бы по доброй воле. Ты, может быть, скажешь мне, что болезнь эта — опасная и смертельная, но разве другие не таковы? Ибо, когда врачи уверяют, что некоторые болезни отнюдь не ведут к смерти, это с их стороны чистейший обман. Не все ли равно, наступает конец благодаря внезапному приступу или же к смертному исходу приводит нас ровное течение болезни? Но ты умираешь не потому, что ты болеешь, а потому, что ты живешь.

Смерть покончит с тобой и без помощи болезни. А некоторых болезнь даже избавляла от скорой смерти, и они жили дольше, думая, что вот-вот умрут. К тому же болезни, как и раны, бывают лечебными и спасительными. Каменная болезнь часто бывает не менее живучей, чем ты сам. Есть люди, у которых она была с детства и до глубокой старости, и если бы некоторые не избавились от нее, она бы и дальше сопровождала их на жизненном пути. Люди убивают ее чаще, чем она их, а если бы даже она и являла тебе образ близкой смерти, то разве это не добрая услуга — внушать человеку преклонных лет помыслы о кончине? А хуже всего, что тебе-то уже незачем держаться за жизнь. Так или иначе, но в некий день и тебя постигнет неизбежная участь. Подумай, как искусно и с какой постепенностью внушает она тебе отвращение к жизни и отдаляет от мира. Она не терзает тебя своей тиранической властью, как многие другие болезни старческих лет, которые не дают своим жертвам передышки между приступами слабости и болей. Она приучает к мысли о смерти медленно, с перерывами, с длительными паузами между приступами, словно для того, чтобы ты мог сколько угодно обдумывать и повторять урок. А чтобы дать тебе возможность

здраво рассуждать обо всем и мужественно примириться с неизбежным, она представляет тебе твое состояние в целом, и с хорошими и с дурными сторонами, и в один и тот же день делает жизнь твою то довольно легкой, то невыносимой. Если ты и не попадаешь прямо в объятия смерти, то во всяком случае раз в месяц пожимаешь ей руку. Благодаря этому ты можешь даже надеяться, что однажды она завладеет тобою незаметно: ты так часто бывал уже почти в гавани, что и тут будешь думать, будто все обстоит как обычно, а между тем в одно прекрасное утро тебя с твоей доверчивостью переправят на ту сторону так, что ты и осознать этого не успеешь. Нечего жаловаться на болезнь, которая честно чередуется со здоровьем.

Я благодарен судьбе за то, что она так часто нападает на меня с одним и тем же оружием, так что я приучаюсь переносить его удары, закаляюсь, приобретаю навык к сопротивлению и, во всяком случае, знаю, чего мне ожидать. Не обладая хорошей памятью, я прибегаю к помощи бумаги и записываю каждый новый симптом моего недуга. Так как я испытал на себе почти все возможные проявления его, то, чувствуя начало приступа, я перелистываю свои записи, не связанные между

собой, как изречение сивиллы, и почти всегда нахожу в своем прошлом опыте какое-нибудь утешительное для себя благоприятное предсказание. Привычка помогает мне и надеяться на будущее, ибо камни у меня выходят уже в течение долгого времени одинаковым образом и я имею основание думать, что природа ничего тут не изменит и хуже того, что я обычно ощущаю, не будет. К тому же условия, при которых протекает эта болезнь, довольно хорошо согласуются с моей склонностью к быстроте и решительности. Когда приступы болезни не очень мучительны, это меня даже тревожит, ибо в таком случае они гораздо продолжительнее. Обычно же болезнь проявляется в сильных, но кратких приступах и дает мне в течение одного-двух дней основательную встряску. Мои почки действовали исправно столько времени, сколько в среднем живет человек; и почти столько же времени я ими страдаю.

В жизни и хорошему и дурному положен определенный срок: может быть, и эта беда подходит к концу. С возрастом ослабел жар моего желудка: он варит уже не так хорошо и передает почкам полусырой материал. Почему через некоторое время не уменьшится и жар почек, так что они уже не смогут превращать мою желчь в камень

и природе придется искать какой-нибудь другой способ выведения отбросов из организма? В течение прожитых лет в нем, очевидно, иссякли источники ревматических болей. Почему не может случиться то же самое с выделениями, порождающими почечные камни?

Но есть ли на свете что-либо приятнее внезапного облегчения, когда после невыносимых болей камень, наконец, выходит и ко мне с быстротой молнии свободно и полностью возвращается сладостный свет здоровья, как это бывает после внезапных и наиболее мучительных приступов? Разве перенесенные страдания хоть в чем-то перевешивают блаженство столь быстрого улучшения? Насколько сладостнее для меня здоровье после болезни, только что миновавшей, еще совсем близкой, так что я могу противопоставить их друг другу в самом ярком их проявлении, когда они словно красуются друг перед другом, соперничают и борются! Вслед за стоиками, которые говорят, что и у пороков есть своя польза, — они придают цену добродетелям и как бы поддерживают их, — мы можем с еще большим основанием и гораздо менее дерзновенно утверждать, что природа даровала нам боль в помощь и славу наслаждению и истоме. Когда с Сократа сняли

оковы и он ощутил приятный зуд там, где тяжесть их раздражала кожу его ног, он порадовался, что имеет возможность испытать, как тесно связаны страдание и удовольствие, как неизбежна эта их взаимная связь, при которой они следуют друг за другом и порождают друг друга. И он воскликнул, что доброму Эзопу следовало бы извлечь из этого наблюдения подходящий сюжет для басни[78] [broken link: #nc13_78].

На мой взгляд, в других болезнях самое худшее то, что они менее тяжелы по своим проявлениям, чем по своему исходу: целый год ты не можешь поправиться, охваченный слабостью и страхом; на путях к выздоровлению столько случайностей и оно может происходить лишь так постепенно, что никак его не завершить; прежде чем тебе позволят снять головную повязку, а затем ермолку, прежде чем тебе дадут снова подышать свежим воздухом, выпить вина, переспать с женой, поесть дыни — редко, редко, если на тебя не навалится какая-нибудь новая хворь. У моей же то преимущество, что проходит она начисто, тогда как другие оставляют в нашем теле какой-то след, какой-то изъян, из-за чего оно становится подверженным еще иным болезням, которые все время словно помогают друг другу. Мы можем

извинить те недуги, что довольствуются своей властью над нами, не распространяются и не приводят за собою свою свиту, но по-настоящему любезны и милостивы те, что, посетив нас, принесли нам и некую пользу. Заболев каменной болезнью, я, как мне кажется, стал гораздо реже подвергаться всякой другой хвори, — так, с тех пор меня никогда не лихорадит. Думается мне, что частые сильные рвоты, которыми я страдаю, очищают мои внутренности, а с другой стороны, отвращение к пище и необычное воздержание содействуют перевариванию вредных соков и сама природа выводит вместе с этими камнями все лишнее и пагубное. Пусть не говорят мне, что плата за подобное врачевание непомерно велика: а что сказать обо всех этих зловонных зельях, прижиганиях, разрезах, потогонных средствах, заволоках, диетах и других способах лечения, часто доводящих нас до смерти из-за того, что мы не можем вынести тягот и мучений, которых они нам стоят? Таким образом, когда я мучаюсь болями, то считаю их своего рода лекарством, когда же они меня отпускают, то полагаю, что излечен раз и навсегда. Вот еще одно особое преимущество моего недуга: он делает свое дело и в общем не препятствует мне делать мое,

вмешиваясь в него лишь настолько, насколько у меня не хватает мужества терпеть. В самый острый его период я десять часов провел верхом на коне. Надо только терпеливо переносить боль, никакого другого режима не требуется: играйте, обедайте, бегайте, делайте и то и это, если можете, — разгул вам скорей пойдет на пользу, чем повредит. То же самое можно посоветовать сифилитику, подагрику, больному грыжей. С другими болезнями приходится считаться больше: они гораздо сильнее стесняют наши действия, нарушают наш привычный распорядок, и из-за них нам приходится менять весь образ жизни. Моя же болезнь только щиплет кожу, не влияя ни на разум, ни на волю, не отнимая у больного ни языка, ни ног, ни рук и скорее возбуждая его, чем погружая в оцепенение. Душу человека потрясает лихорадочный жар, ввергает в беспамятство падучая, разрывает острая мигрень и, наконец, сокрушают другие болезни, поражающие все наше тело или самые благородные его члены. А здесь душа остается незатронутой. Если ей плохо, то по ее же вине; она сама себя предает, сама себя развинчивает, сама себя лишает мужества. Только глупцы способны поверить, что твердое и плотное вещество, образующееся у нас в почках,

может раствориться от лекарств. Поэтому, как только оно сдвинулось с места, надо обеспечить ему проход, да, впрочем, оно и само это сделает.

Отмечаю еще одно преимущество: при этой болезни нам ни о чем гадать не приходится. Мы свободны от волнения, в которое повергают нас прочие недуги из-за неясности причин, обстоятельств и течения, а волнение это мучительно. Нам ни к чему советы и толкования врачей: по собственным ощущениям узнаем мы, что это и где.

Убедительны или нет эти мои доводы, подобные тем, которыми пользовался Цицерон, говоря о болезни старости[79] [broken link: #nc13_79], но ими я пытаюсь успокоить и развлечь свое воображение, пролить бальзам на его раны. Если завтра они сильнее воспалятся, постараемся найти новые уловки.

Да будет так. С тех пор, как я все это написал, у меня стала снова при малейшем движении выступать из мочевого канала кровь. И несмотря на это, я продолжаю двигаться, как всегда, и с юношеским пылом и дерзостью скачу верхом за своими охотничьими псами. Я нахожу, что отлично справлюсь с этой крупной неприятностью, которая стоит мне лишь тупой боли и

жжения в этой части тела. Наверно, крупный камень терзает и разрывает ткани моих почек, отчего понемногу с мочой и кровью вытекает из меня жизнь, как ненужные, даже вредные нечистоты, и я испытываю при этом нечто вроде приятного чувства. Есть ли у меня ощущение какого-то конца? Во всяком случае, не ждите, что я стану щупать себе пульс и изучать свою мочу, для того чтобы получить какое-нибудь неприятное предсказание; я уж успею почуять беду, и не предваряя ее страхом. Кто боится страданий, тот страдает уже от своей боязни.

Добавлю, что неуверенность и невежество тех, кто притязает на истолкование законов природы и ее внутренних сил, а также их частые ошибки в предсказании должны убедить нас, сколько у природы неизвестных нам возможностей: и в том, что она нам сулит, и в том, чем она нам угрожает, много темного, неясного, противоречивого. Ни в каких случайностях и событиях нашей жизни, кроме старости, — несомненного признака надвигающейся кончины, — не могу я усмотреть никаких законов, по которым мы могли бы строить догадки о своем будущем.

О себе самом я могу судить лишь по своему непосредственному чувству, а не по догадкам. Но

к чему и это, раз я не призываю на помощь ничего, кроме терпеливого ожидания? Хотите знать, что я на этом выигрываю? Посмотрите на тех, кто поступает иначе, ставя себя в зависимость от стольких разнообразных советов и уговоров: как часто заболевают они в воображении, когда тело еще здорово! Нередко я, хорошо себя чувствуя после опасного приступа болезни, с удовольствием расписывал врачам его симптомы, якобы начавшие у меня появляться. Я совершенно безмятежно выслушивал их ужасные заключения и еще больше благодарил бога за его милосердие и еще глубже постигал всю суетность врачебного искусства.

Деятельность и бдительность — вот качества, которые больше всего необходимо воспитывать в молодежи. Жизнь наша в сплошном движении. Мне расшевелиться трудно, и я все делаю с запозданием: и встаю, и ложусь, и принимаю пищу. Семь часов для меня — раннее утро, и там, где я распоряжаюсь, я не обедаю раньше одиннадцати, а ужинаю всегда после шести вечера. Прежде я усматривал причину донимавших меня лихорадок и других недугов в осоловелом и дурманном состоянии, в котором находился после долгого сна, и всегда раскаивался, что сплю по утрам.

Злоупотребление сном Платон считал более пагубным, чем злоупотребление вином[80] [broken link: #nc13_80]. Я люблю спать на твердом ложе и один, даже без своей жены, по-королевски и под плотным одеялом. Я не позволяю согревать мне постель, но с тех пор, как я стал стар, мне по мере необходимости кладут лишние простыни на ноги и на живот. Великого Сципиона попрекали за то, что он любил долго спать, но, по-моему, лишь потому, что людям было досадно — как это в нем самом нечего осудить. В моем жизненном обиходе важнее всего для меня, пожалуй, постель, но и тут я, как всякий другой человек, без труда приспосабливаюсь к обстоятельствам. Много времени уделял я сну в течение всей моей жизни, да и теперь, в пожилом возрастет сплю восемь-десять часов подряд. Однако я с пользой для себя преодолеваю эту склонность к лени и чувствую себя лучше: сперва, правда, испытываешь неприятные ощущения, но через три дня привыкаешь. Я не знаю человека, который довольствовался бы меньшим в случае необходимости, который бы так много двигался и для которого физический труд был бы менее тяжел. Тело мое может выдерживать и тяжкие усилия, если они не порывисты и не внезапны. Я избегаю

слишком резких телесных упражнений, вызывающих пот. Мое тело устает еще до того, как успеет разогреться. Я могу целый день оставаться на ногах и с удовольствием гуляю, но по мостовой я еще с детских лет предпочитал ездить верхом: идя пешком, я всегда оказываюсь вымазанным в грязи. Вдобавок людей невысокого роста на улицах постоянно пинают и толкают, так как они малозаметны. Отдыхать я любил лежа или сидя, но так, чтобы ноги были выше сиденья.

Нет занятия более привлекательного, чем военное дело. Благородно оно и в своем внешнем проявлении (ибо самая мощная, самоотверженная и блистательная добродетель — отвага), и в основе своей не существует дела более правого и более важного для всех, чем защита родины и охрана ее величия. Есть нечто веселящее сердце в обществе стольких молодых, деятельных, благородных людей, в том, что трагическое зрелище становится привычным, в свободной и безыскусственной беседе, в суровой простоте образа жизни и отношений между людьми, в пестром разнообразии того, что приходится делать, в порождающих отвагу звуках военной музыки, возбуждающе действующей и на слух и на душу, в чести, связанной с воинской долей, и даже в

жестоких тяготах этой доли, которую Платон ценит так мало, что в своем «Государстве» делает ее доступной даже женщинам и детям. Добровольно становясь солдатом, возлагаешь на себя те или иные задачи, подвергаешься тем или иным опасностям, смотря по тому, насколько все это, на твой взгляд, доблестно и значительно, и с полным основанием жертвуешь даже своей жизнью:

> *pulchrumque mori succurrit in armis.[81] [broken link: #nc13_81]*

Страшиться опасностей, которым подвергается на войне столько людей, не отваживаться на То, на что отваживаются сердца столь различные, — значит проявлять крайнее, низменнейшее малодушие. В сотовариществе с другими и дети проявляют мужество. Если кто-то превзошел тебя в знаниях, изяществе, силе, удачливости, можно ссылаться и на причины, от тебя не зависящие. Но если ты уступаешь себе подобным в твердости духа, то никого, кроме себя, обвинять не можешь. Смерть более отвратительна, медленна и тягостна в постели, чем на поле битвы, лихорадочное состояние или всевозможные катары так же мучительны, как рана от аркебузного выстрела. Тот, кто способен стойко переносить тяготы нашего

повседневного существования, не имеет нужды усиливать свое мужество, берясь за оружие.

> *Vivere, mi Lucili, militare est.[82] [broken link: #nc13_82]*

Не помню, чтобы у меня когда-либо была чесотка.

Чесаться — одно из самых приятных и доступных удовольствий, какие даровала нам природа. Но за удовольствием этим слишком уж быстро следует искупление. Занятию этому я предаюсь главным образом, когда — временами у меня это бывает — ощущаю зуд в ушах.

Природа наделила меня всеми пятью чувствами без малейшего ущерба и почти в совершенстве. Желудок у меня достаточно хороший, голова ясная, и так бывает почти всегда, даже когда я болен; дышу я легко. Прошло уже шесть лет с тех пор, как я достиг пятидесятилетнего возраста, который многие народы не без основания считали пределом жизни, не допуская даже, чтобы кто-либо его переступал. У меня и теперь бывает вполне хорошее самочувствие: правда, оно продолжается недолго, но тогда мне бывает настолько хорошо, что я вспоминаю о здоровье и беззаботности моей юности. О силе и бодрости

я не говорю: нет никаких причин, чтобы они оставались при мне в моем возрасте.

> *Non haec amplius est liminis, aut aquae*
>
> *Coelestis, patiens latus.[83] [broken link: #nc13_83]*

Лицо и глаза сразу выдают мой возраст и самочувствие. Именно в них с самого начала отражается каждая перемена в моем состоянии, и даже гораздо более резко, чем она ощущается мною на деле. Частенько мои друзья начинают выражать свою жалость ко мне до того, как я сам пойму, в чем дело. Глядясь в зеркало, я не тревожусь, так как и в молодости мне не раз случалось иметь плохой вид и цвет лица, которые могли внушить опасения, но ничего худого при этом не случалось. Врачи, не находившие в моем внутреннем состоянии ничего, что соответствовало бы внешним изменениям, приписывали их душевным волнениям или какой-либо тайной страсти, подтачивающей меня изнутри. Но они ошибались. Если бы телом можно было управлять так же, как, на мой взгляд, управляют своими чувствами и мыслями, нам было бы куда легче жить. В то время в моей душе не только не было смятения, но напротив — она полна была

мира и веселья, как это ей вообще свойственно наполовину от природы, наполовину по сознательному намерению.

*Nec vitiant artus aegrae contagia mentis.[84] [broken link: #nc13_84]*

Я убежден, что эта сила души неоднократно поднимала и слабеющее тело: оно у меня часто в упадке, она же если и не весела, то, во всяком случае, полна ясности и покоя. В течение четырех-пяти месяцев болел я четырехдневной лихорадкой, совершенно исказившей мой внешний облик, дух же оставался не только спокойным, но даже радостным. Если я не ощущаю никаких болей, то слабость и истома не порождают во мне уныния. Существует множество телесных страданий, их и называть-то страшно, но я опасаюсь их меньше, чем бесчисленных страстей и треволнений души, которые я вижу вокруг себя.

Я мирюсь с тем, что мне уже не бегать, — с меня довольно и того, что я влачусь, — и не стану жаловаться на естественный упадок своих телесных сил.

*Quis tumidum guttur miratur in Alpibus?[85] [broken link: #nc13_85]*

Не жалею я и о том, что проживу не столь

долгой и мощной жизнью, как дуб. Нет у меня причин для жалоб и на свое воображение: в жизни я редко тревожился мыслями, способными лишить меня сна, разве что они связаны были с желанием, которое заставляло меня бодрствовать, не омрачая души. Я редко вижу сны, и большей частью то бывают фантастические образы и химеры, обычно порождаемые мыслями приятными и скорее смешными, чем грустными. По-моему, верно, что в снах хорошо проявляются наши склонности, но чтобы соединить в одно разрозненные сонные грезы и истолковать их, требуется особое искусство.

> *Res quae in vita usurpant homines, cogitant, curant, vident,*
>
> *Quaeque agunt vigilantes, agitantque, ea sicut in somno accidunt,*
>
> *Minus mirandum est.[86] [broken link: #nc13_86]*

Платон идет еще дальше. Он полагает, что разум наш должен извлекать из снов предвещание будущего[87] [broken link: #nc13_87]. Мне на этот счет нечего сказать, могу лишь напомнить удивительные примеры, приводимые Сократом, Ксенофонтом, Аристотелем — людьми, чье

свидетельство безукоризненно[88] [broken link: #nc13_88]. История говорит, что атланты[89] [broken link: #nc13_89] никогда не видят снов, они же не едят ничего, что претерпело смерть; могу добавить, что, возможно, по этой-то причине они не ведают сновидений. Ибо Пифагор советовал принимать определенную пищу для того, чтобы видеть те или иные сны[90] [broken link: #nc13_90].

У меня грезы легкие, они не выводят моего тела из состояния покоя и не заставляют меня говорить во сне. А в свое время мне приходилось видеть многих людей, которые из-за тревожных видений очень беспокойно спали. Философ Теон бродил во сне взад и вперед, а слуга Перикла ходил даже по черепицам и гребню крыши[91] [broken link: #nc13_91].

Сидя за столом, я не выбираю кусков, а беру первый попавшийся, который поближе, и редко меняю свои вкусы в пище. Чрезмерное обилие блюд и мисок на столе неприятно мне, как любая чрезмерность. Я легко довольствуюсь малым количеством яств и решительно не согласен с мнением Фавориина, что на пиру нужно отнимать у человека блюдо, к которому он пристрастился, и подсовывать ему все время новые и что жалок

тот ужин, где гостей не потчуют гузками различных птиц, ибо лишь дрозд стоит того, чтобы съесть его целиком[92] [broken link: #nc13_92]. Я охотно ем солонину, но предпочитаю хлеб без соли, и, в противоположность, обычаю наших мест, булочник поставляет к моему столу только такой хлеб.

Когда я был ребенком, взрослым приходилось всячески бороться с моим нежеланием есть именно то, что дети обычно любят: сласти, варенье, пирожные. Мой воспитатель старался отучить меня от этого отвращения к тонким яствам, как от своего рода утонченности. Но это и есть изысканность вкуса, в чем бы она ни проявлялась. Тот, кто борется с особенным, упорным пристрастием ребенка к черному хлебу, салу, чесноку, лишает его лакомства. Есть люди, которые хотят прослыть простыми и неприхотливыми, вздыхая о говядине и свином окороке, когда им подают куропаток. Пусть стараются: они-то и есть самые прихотливые, у них вкус настолько изнежен, что им уже не хочется того, что они могут иметь, когда угодно, per quae luxuria divitiarum taedio ludit[93] [broken link: #nc13_93]. Сущность этого порока в том и состоит, чтобы отказываться от изысканной пищи, потому что она есть у кого-то

другого, чтобы придумывать для своего стола нечто необычайное:

> *Si modica coenare times olus omne patella.[94] [broken link: #nc13_94]*

Тут, правда, есть та особенность, что лучше уж баловать себя вещами, которые легко достать, но любое баловство — порок. Я в свое время считал изнеженным одного из моих родственников, который, служа на наших галерах, разучился пользоваться обычными постелями и раздеваться для сна.

Если бы у меня были сыновья, я пожелал бы для них своей собственной доли. Добрый отец, которого дал мне бог (и который от меня не получил ничего, кроме благодарности за свою доброту, но, правда, великой благодарности), почти из колыбели послал меня в одну из принадлежавших ему деревушек и держал меня там, пока мне нужна была кормилица, и даже еще дольше, приучая меня к самому простому и бедному образу жизни: Magna pars libertatis est bene moratus venter[95] [broken link: #nc13_95]. Не берите на себя самих, а тем более не поручайте женам заботу о питании своих детей. Пусть они растут, как придется, подчиняясь общему для всех естественному закону,

пусть они приучаются и привыкают к воздержанию и простоте, пусть они лучше идут от суровой жизни к легкой, чем обратно. Отец мой преследовал еще и другую цель: он хотел, чтобы я узнал народ, познакомился с участью простых людей, нуждающихся в нашей поддержке, и полагал, что мне лучше глядеть туда, откуда ко мне протягивают руки, чем туда, где мне поворачивают спину. По той же причине он избрал в качестве моих восприемников у купели людей самого скромного звания, чтобы между ними и мной возникли тесные отношения и привязанность.

В надеждах своих он не обманулся. Я люблю дружить с маленькими людьми — как потому, что в этом есть нравственная заслуга, так и по природной своей сострадательности, во многом руководящей мною. В наших гражданских распрях я склонен более резко осуждать партию победоносную и процветающую, и она сразу завоюет мое сочувствие, когда я увижу ее несчастной и угнетенной. Как по сердцу мне душевное благородство Хелониды, дочери и супруги спартанских царей[96] [broken link: #nc13_96]! Когда во время разразившейся в их городе смуты муж Хелониды Клеомброт одержал верх над ее отцом Леонидом, она показала себя хорошей дочерью и разделила

участь отца в его беде и в изгнании, противостоя победителю. Но когда переменилось счастье, изменилась и ее воля, и она мужественно приняла сторону своего супруга и сопровождала его всюду, куда его бросала злая судьба, считая, видимо, что единственный для нее правильный выбор — быть с тем, кому она больше нужна и кто больше нуждается в ее сострадании. Натуре моей более свойственно следовать примеру Фламинина, которому ближе были те, кто в нем нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать[97] [broken link: #nc13_97], нежели примеру Пирра, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми[98] [broken link: #nc13_98].

Я не люблю продолжительного застолья, и оно мне вредно. Ибо я, видимо, с детства привык, не имея за столом иного занятия, есть все время, пока длится трапеза. Однако у себя дома, где, впрочем, не засиживаются за трапезой, я люблю приходить к столу немного позже других, как это делал Август, но я не подражаю ему в привычке выходить из-за стола раньше всех[99] [broken link: #nc13_99]. Напротив, я люблю длительный отдых за столом после еды и рассказы сотрапезников, только бы мне самому не приходилось говорить, ибо я устаю и плохо себя чувствую, если говорю

на полный желудок, хотя нахожу, что крики и споры перед едой очень полезны и приятны. Древние греки и римляне поступали правильнее, чем мы, посвящая, если их не отвлекало какое-нибудь другое чрезвычайное дело, принятию пищи — главному событию повседневной жизни — много часов и даже добрую половину ночи: они ели и пили не так быстро, как мы, привыкшие во всем, что нами делается, мчаться, словно на почтовых, уделяли этому естественному удовольствию больше времени и предавались ему более утонченно, сопровождая его поучительной и приятной беседой.

Те, кто обо мне заботится, легко могут не подавать мне пищи, которую считают для меня вредной: ибо я никогда не желаю и не требую ничего такого, чего не вижу на столе. Но зато они даром теряли бы время, проповедуя мне воздержание от стоящих передо мной кушаний. Так что, возымев намерение попоститься, я должен не выходить к общему столу, и мне надо подавать ровно столько, сколько в данном случае положено, ибо едва я усядусь за стол, как сразу забываю о своем намерении. Когда я отдаю распоряжение, чтобы какое-нибудь блюдо было приготовлено по-другому, слуги мои уже знают,

что я потерял к нему аппетит и не стану есть его в прежнем виде.

Мясо, если оно подходящего сорта, я люблю недоваренное, а предпочтительнее провяленное и в некоторых случаях даже с легким душком. Не переношу лишь, когда оно жесткое, что же касается всяких других свойств, то здесь я не привередлив и меня легче удовлетворить, чем любого из моих знакомых. Вопреки общему вкусу, я даже рыбу нахожу иногда чрезмерно свежей и твердой. Дело не в моих зубах — они у меня всегда были превосходные, и даже возраст мой начинает угрожать им только сейчас. С детства я приучился вытирать их салфеткой и по утрам, и перед едой, и после.

Бог милостив к тем, у кого проявление жизни он отнимает постепенно: это единственное преимущество старости. Тем менее тяжкой и мучительной будет окончательная смерть: она унесет лишь пол- или четверть человека. Вот у меня только что выпал зуб — без усилий, без боли: ему пришел естественный срок. И эта частица моего существа и многие другие уже отмерли, даже наиболее деятельные, те, что были самыми важными, когда я находился в расцвете сил. Так-то я постепенно истаиваю и исчезаю. Я опу-

стился уже настолько низко, что было бы нелепо, если бы последнее падение ощутилось мною так, словно я упал с большой высоты. Надеюсь, что этого не будет.

По правде говоря, при мысли о смерти главное мое утешение состоит в том, что явление это естественное, справедливое и что если бы я требовал и желал от судьбы какой бы то ни было милости в этом отношении, такая милость была бы чем-то незаконным. Люди воображают, что некогда род их обладал и более высоким ростом, и большим долголетием. Но Солон, живший в те древние времена, считает крайним пределом существования семьдесят лет[100] [broken link: #nc13_100]. Я, всегда безраздельно чтивший αριστον μετρον[101] [broken link: #nc13_101] древности и считавший самой совершенной мерой золотую середину, могу ли притязать за чрезмерную, противоестественную старость? Все, что противостоит естественному течению вещей, может быть пагубным, но то, что ему соответствует, всегда должно быть приятным. Omnia quae secundum naturam fiunt, stint habenda in bonis[102] [broken link: #nc13_102]. И Платон говорит в одном месте, что смерть от ран и болезней насильственна и мучительна, та же, к

которой нас приводит старость, — наиболее легкая и даже восхитительная![103] [broken link: #nc13_103] Vitam adolescentibus vis aufert, senibus maturitas[104] [broken link: #nc13_104].

Ко всему в нашей жизни незаметно примешивается смерть: закат начинается еще до своего часа, а отблеск его освещает даже наше победное шествие вперед. У меня есть изображения мои в возрасте двадцати пяти и тридцати пяти лет. Я сравниваю их с моим нынешним обликом: насколько эти портреты уже не я, и насколько я такой, каким стал сейчас, дальше от, них, чем от того облика, который приму в миг кончины. Мы слишком много требуем от природы, надоедая ей так долго, что она вынуждена лишать нас своей поддержки, оставлять наши глаза, зубы, ноги и все остальное на милость чуждых ей помощников, которых нам приходится умолять о помощи: устав от наших домогательств, природа препоручает нас искусству.

Я не очень большой любитель овощей и фруктов, за исключением дынь. Мой отец терпеть не мог соусов, я же люблю соусы всякого рода. Пресыщение для меня тягостно, но не могу сказать, чтобы какой-либо сорт мяса был мне вреден. Безразлично мне также, полная ли светит луна

или ущербная, осень ли на дворе или весна. От времени до времени в нас рождаются случайные и бессознательные причуды. Так, например, редьку я сперва находил полезной для себя, потом вредной, теперь она снова приносит мне пользу. Во многом желудок мой меняет свои склонности, появляется аппетит то к одному, то к другому: от белого вина я перешел к кларету, потом опять вернулся от кларета к белому. Я охотник до рыбы и постные дня превращаю в скоромные, праздником для меня становятся посты. Я согласен с теми, кто считает, что рыба переваривается легче мяса. Признавшись, что в постные дни я ем мясо, добавлю, что вкус мой побуждает меня перемежать рыбные и мясные блюда: резкое различие между ними для него приятно.

С юных лет я порою нарочно лишал себя какой-нибудь трапезы: либо для того, чтобы с большей охотой поесть на следующий день (ибо, в противоположность Эпикуру, который постничал, чтобы отучить свой вкус от изобилия яств[105] [broken link: #nc13_105], я это делал для того, чтобы потом с особенным удовольствием излишествовать); либо для того, чтобы сохранить для какого-нибудь дела телесные или умственные силы, ибо у меня пресыщение весьма тягостно отражается

и на том и на другом, и мне особенно противно недостойное совокупление богини столь бодрой и веселой с этим божком плохого пищеварения и отрыжки, раздувшимся от винных паров[106] [broken link: #nc13_106]; либо ради излечения больного желудка; либо из-за того, что у меня не было подходящего общества, ибо я согласен с тем же Эпикуром, что важно не столько то, какую пищу ты вкушаешь, сколько то, с кем ты ее вкушаешь[107] [broken link: #nc13_107], и одобряю Хилона, который не захотел обещать, что придет на пир к Периандру, пока ему не стало известно, кто будут другие сотрапезники[108] [broken link: #nc13_108]. Приятное общество для меня — самое вкусное блюдо и самый аппетитный соус.

Я полагаю, что правильнее есть зараз меньше, но вкуснее, и чаще принимать пищу. Однако я хочу удовлетворить при этом и свой аппетит и голод: мне не доставило бы никакого удовольствия поглощать унылую пищу три или четыре раза в день насильно, по предписанию врача. Кто может обещать мне, что охота к еде, которую я испытываю сегодня утром, вернется ко мне и в час ужина? Нам, старикам, надо особенно стараться не упустить времени, когда нам вдруг захотелось поесть. Предоставим составителям

календарей и врачам советы и предсказания. Самый ценный плод здоровья — возможность получать удовольствие: будем же пользоваться первым попавшимся удовольствием. Я избегаю упорно следовать одним и тем же правилам воздержания. Если вы хотите, чтобы привычка к тому или иному роду пищи пошла вам на пользу, не надо злоупотреблять ею. В противном случае ваша чувствительность, восприимчивость слабеет, и через каких-нибудь полгода желудок у вас до такой степени освоится с этой пищей, что достигнете вы лишь одного: он уже не способен будет переварить что-либо иное без вреда для себя.

И летом и зимою ноги и ляжки у меня одеты одинаково: на них натягиваются обыкновенные шелковые чулки. Чтобы не простуживаться, я принужден был потеплее закрывать голову, а также и живот из-за своих почечных колик. Болезни мои быстро применились к этому, и обычные меры, которые я принимал, перестали их удовлетворять. В качестве головного убора я стал носить колпак на теплой подкладке я поверх него еще и шляпу. Стеганый камзол служит мне теперь только для осанки: для тепла я должен подбивать его шкуркой зайца или пухом и перьями коршуна, а на голове постоянно носить ермолку.

Продолжайте в том же духе, и вы далеко зайдете. Я этого не сделаю и даже отказался бы и от того, с чего начал, если бы только мог решиться на это. Ну, а если с вами еще что-нибудь приключится? Принятые уже меры окажутся недостаточными — вы к ним привыкли, надо выдумать новые. Так губят себя те, кто следует насильственно навязанному себе же режиму и суеверно держится за него: им нужно идти тем же путем все дальше и дальше, так что конца этому не видно.

Для наших дел и удовольствий было бы гораздо удобнее поступать, как древние, — не обедать среди дня и тем прерывать его, а основательно принимать пищу под вечер, когда наступает время отдыха. Когда-то и я так делал. В отношении здоровья я на собственном опыте убедился, что, напротив, следует обедать днем, так как пищеварение происходит лучше, когда человек бодрствует.

Жажда на меня нападает редко — и когда я здоров, и когда я болен: в последнем случае у меня нередко сохнет во рту, но пить при этом не хочется. Обычно я пью только за едой и не в начале ее. Для человека мало чем отличного от других я пью не так уж мало. Летом и за хорошей трапезой я держусь в границах, установленных для себя

Августом, который пил всего три раза в день[109] [broken link: #nc13_109]. Но, не желая нарушить правило Демокрита, не советовавшего делать что-либо четыре раза[110] [broken link: #nc13_110], ибо это число несчастливое, я в зависимости от потребности пью до пяти раз и осушаю около трех стопок, так как люблю пить из небольших стаканов и притом до дна, хотя многие избегают этого, как чего-то не вполне пристойного. Вино я разбавляю наполовину, иногда на треть водой. У меня дома, по старому предписанию нашего врача моему отцу и себе самому, вино мое разбавляют за два-три часа до того, как его надо подать. Говорят, что обычай разбавлять вино водой введен был Кранаем, царем Афинским[111] [broken link: #nc13_111]. Хорошо это или нет — вопрос, как я убедился, для многих спорный. Я считаю более приличным и более здоровым, чтобы дети начинали пить вино лишь после того, как им минет шестнадцать-восемнадцать лет. Самый обычный и распространенный образ жизни и есть самый прекрасный, и немец, разбавляющий вино водой, был бы мне так же неприятен, как француз, пьющий вино неразбавленным. Общераспространенность обычая превращает его в закон.

Я не люблю спертого воздуха, а дым для меня

— просто смерть (первое, что я привел в порядок у себя дома, были камины и отхожие места в старых зданиях, постепенно приходящие в негодность и невыносимо отравляющие воздух), а к тяготам войны надо отнести и густую пыль, в которой мы целыми днями маршируем по жаре. Дышу я вообще свободно, легко, и простуды у меня большей частью проходят без осложнений в легких и без кашля.

Невзгоды летнего времени мне более тягостны, чем зимнего. Кроме жары, от которой уберечься труднее, чем от холода, кроме возможных солнечных ударов, мучителен и яркий свет, который глаза мои плохо переносят: я, например, не мог бы обедать, сидя напротив ярко пылающего очага. Когда я еще много читал, то закрывал страницу кусками стекла, чтобы белизна бумаги не так резала мне глаза, и получал от этого облегчение. До сих пор я не употребляю очков, и зрение у меня сейчас не хуже, чем в былое время и чем у любого здорового человека. Правда, на склоне дня читать мне становится труднее, но, впрочем, чтение всегда утомляло мне глаза, особенно ночью. Это, конечно, шаг назад, однако едва заметный. Затем я отступлю еще на один шаг, второй, затем на третий, с третьего на четвертый — с такой по-

степенностью, что, видно, буду уже совсем слеп, когда старческая слабость моего зрения сделается для меня ощутимой. Так искусно распускают Парки пряжу нашей жизни. Я до сих пор не могу убедить себя, что становлюсь туговат на ухо, и вы увидите, что, даже наполовину потеряв слух, я буду уверен, что это собеседники недостаточно громко говорят. Чтобы душа наша почувствовала, как она истекает из тела ей надо дать очень резкий толчок.

Шаг у меня быстрый и твердый, и я даже не знаю, чье движение мне труднее задержать — тела или мысли. Для того чтобы я до конца со вниманием выслушал речь проповедника, он должен быть очень близким моим другом. Во время торжественных церемоний, когда каждый внимателен и сосредоточен, когда, как я замечал, даже глаза дам устремлены в одну точку, я не могу справиться с собой и не делать хоть каких-нибудь телодвижений: даже когда я сижу, я непоседлив. Прислужница философа Хрисиппа говорила о своем господине, что у него только ноги хмелеют (ибо у него была привычка шевелить ими, в каком бы положении он ни находился, и она говорила это, как раз когда вино, разгорячившее сотрапезников Хрисиппа, на него самого

совершенно не подействовало)[112] [broken link: #nc13_112]. Так и обо мне в детстве говорилось, что в ногах у меня бешенство или что они налиты ртутью, и доныне, куда и как бы я ни поставил или ни положил ноги, они у меня в непрерывном движении.

Ем я с большой жадностью, что и неприлично, и вредно для здоровья, и отнимает часть удовольствия: поспешность при еде у меня такая, что я нередко прикусываю себе язык и порою даже пальцы. Диоген, встретив однажды ребенка, который так ел, дал за это оплеуху его воспитателю[113] [broken link: #nc13_113]. В Риме были люди, обучавшие пристойно жевать, как учат пристойно ходить[114] [broken link: #nc13_114]. Эта моя привычка мешает мне принимать участие в беседе, а она является одним из приятнейших удовольствий застолья, если, конечно, речи ведутся недлинные и о вещах приятных.

Наши удовольствия частенько испытывают друг к другу зависть и вражду: между ними происходят столкновения и распри. Алкивиад, любивший хорошо поесть, не допускал за столом даже музыки, чтобы она не мешала приятной беседе; объяснял он это, по свидетельству Платона, тем, что звать на пиры певцов и музыкантов

— обычай простонародья, не способного вести занимательной беседы и складно говорить: этим угощать друг друга умеют только люди просвещенные[115] [broken link: #nc13_115]. Варрон считал, что подлинный пир предполагает общество людей привлекательной внешности, умеющих приятно побеседовать, не молчаливых, но и не болтливых, отменно приготовленную вкусную пищу, красивое убранство помещения, погожее время[116] [broken link: #nc13_116]. Хорошая трапеза — празднество, требующее умелой подготовки и доставляющее немалое наслаждение: и великие полководцы, и великие философы не считали ниже своего достоинства участвовать в пирах и уметь их устраивать. В воображении моем и в памяти запечатлелись три таких празднества, доставивших мне большое наслаждение в разное время, когда я находился в более цветущем возрасте. Ибо каждый из пирующих делится с сотрапезниками лучшим, что в нем есть, в зависимости от своего телесного и душевного самочувствия. В нынешнем моем состоянии я для пира не гожусь.

Мне, преданному земной жизни, враждебна бесчеловечная мудрость, стремящаяся заставить нас презирать и ненавидеть заботу о своем теле.

Я полагаю, что пренебрегать всеми естественными наслаждениями так же неправильно, как и слишком страстно предаваться им. Ксеркс, которому доступны были все наслаждения жизни, но который обещал награду тому, кто придумает для него другие, небывалые, был просто самодовольным хлыщом[117] [broken link: #nc13_117]. Но такой же самодовольный пошляк тот, кто отвергает радости, дарованные ему природой. Не надо бежать ни за ними, ни от них, но надо их принимать. Я же принимаю их восторженней, радостней, чем многие другие, охотно предаваясь своим естественным склонностям. Незачем нам преувеличивать их суетность, она и без того все время чувствуется и сказывается. Мы можем благодарить свой дух, болезненный, унылый, внушающий нам отвращение и к ним, и к себе самому: он обращается и с собой, и со всем, что ему дается раньше или позже, по причудам своего ненасытного, неуверенного, вечно колеблющегося существа.

> *Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis, acescit.[118] [broken link: #nc13_118]*

Я, похваляющийся тем, что так усердно, с таким упоением тешу себя всеми прелестями жизни,

даже я, приглядываясь к ним повнимательнее, нахожу, что они — всего-навсего дуновение ветра. Но и мы-то сами — всего-навсего ветер. А ветер, более мудрый, чем мы, любит шуметь, волноваться и довольствуется теми проявлениями, какие ему свойственны, не стремясь к устойчивости и прочности, которые ему чужды.

Чистые радости воображения, так же как и его страдания, по мнению некоторых, — самые для нас важные, как показали весы Критолая[119] [broken link: #nc13_119]. Это не удивительно: оно само творит их, выкраивая из целого куска. Ежедневно приходится наблюдать примеры того, как это совершается, примеры убедительные и даже достойные подражания. Но я, состоящий из вещества смешанного и грубого, не могу удовольствоваться одним воображением. Я так прост, что не могу не влечься тяжелой поступью к наслаждениям, сужденным нам общим законом, которому подвластно человечество, ощутимым для нашего разума и разумным для ощущения.

Философы киренской школы считают, что как страдания, так и радости плоти являются более сильными, как бы удвоенными и более подлинными[120] [broken link: #nc13_120].

Есть люди, которые по своей, как говорит Ари-

стотель, дикости и тупости испытывают к ним отвращение[121] [broken link: #nc13_121]. Я же знаю людей, которые отказываются от них из честолюбия. Почему людям не отказаться и от дыхания? Почему бы им не жить лишь тем, что они могут извлечь из себя, и не отказаться также от света — ведь он дается им даром, они не изобрели его, не тратили на его приобретение никаких усилий? Посмотрим, как бы их поддержали в жизни только Марс, Паллада или Меркурий — вместо Венеры, Цереры и Вакха[122] [broken link: #nc13_122]. Или, может быть, они станут искать квадратуру круга в объятиях своих жен? Терпеть не могу, чтобы дух наш призывали витать в облаках, в то время как наше тело сидит за столом. Я не хочу, чтобы дух был пригвожден к наслаждению, чтобы он барахтался в нем, я хочу, чтобы и там он бдил, чтобы на пирах жизни он был в сидячем, а не в лежачем положении. Аристипп выступал лишь в защиту плоти, словно у нас нет души[123] [broken link: #nc13_123]; Зенон считался только с душой, словно мы бестелесны[124] [broken link: #nc13_124]. И оба ошиблись. Говорят, что Пифагор предавался лишь созерцательной философии, Сократ учил только о нравственности и поведении человека, Платон нашел некий средний

путь между этими крайностями[125] [broken link: #nc13_125]. Но все это одни сказки. Истинный путь обрел Сократ, Платон же в гораздо большей степени последователь Сократа, чем Пифагор, и это ему гораздо больше подходит.

Когда я танцую, я занят танцами, когда я сплю, я погружаюсь в сон. Когда же я одиноко прогуливаюсь в красивом саду и мысли мои некоторое время заняты бывают посторонними вещами, я затем возвращаю их к прогулке, к саду, к сладостному уединению, к самому себе. Природа с материнской заботливостью устроила так, чтобы действия, которые она предписала нам для нашей пользы, доставляли нам также и удовольствие, чтобы к ним нас влек не только разум, но и желание; и неправильно было бы искажать ее закон.

Когда я убеждаюсь, что Цезарь и Александр в самом разгаре своей великой деятельности не ограничивали себя в наслаждениях естественных и тем самым нужных и необходимых, я не считаю, что они себя баловали, напротив, — я скажу, что они тем самым укрепляли свою душу, мужественным усилием воли подчиняя эту свою напряженную деятельность, свою пытливую мысль нуждам повседневной жизни. Они были мудрыми, если считали, что последнее являет-

ся их обычной жизненной рутиной, а первое — призванием к делам чрезвычайным. Все мы — великие безумцы. «Он прожил в полной бездеятельности», — говорим мы. «Я сегодня ничего не совершил». Как? А разве ты не жил? Просто жить — не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел. «Если бы мне дали возможность участвовать в больших делах, я показал бы, на что способен». А сумел ты обдумать свою повседневную жизнь и пользоваться ею как следует? Если да, то ты уже совершил величайшее дело. Природа не нуждается в какой-либо особо счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться в деяниях. Она одна и та же на любом уровне бытия, одна и та же за завесой и без нее. Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму. Все прочее — царствовать, накоплять богатства, строить — все это, самое большее, дополнения и довески. Мне приятно видеть, как полководец под стеной, в которой его войскам сейчас предстоит совершить пролом, спокойно и с удовольствием предается трапезе и

беседе с друзьями, как Брут, несмотря на то, что против него и римской свободы ополчились и земля и небо, отрывает у своего ночного бдения несколько часов, чтобы спокойно почитать Полибия и сделать из него выписки[126] [broken link: #nc13_126]. Лишь мелкие люди, которых подавляет любая деятельность, не умеют из нее выпутаться, не умеют ни отойти на время от дел, ни вернуться к ним.

> *O fortes peioraque passi*
>
> *Mecum saepe viri, nunc vino pellite curas;*
>
> *Cras ingens iterabimus aequor.[127] [broken link: #nc13_127]*

Насмешка ли, что богословское и сорбоннское вино и пиршества ученых мужей превратились в пословицу[128] [broken link: #nc13_128], или за этим есть какая-то правда, но я считаю, что им и подобает трапезовать тем приятнее и спокойнее, чем плодотворнее и серьезнее поработали они днем со своими учениками. Сознание, что остальное время было проведено с пользой, — отличная, вкусная приправа к вечерней трапезе. Мудрые именно так в жили. И это неподражаемое рвение к добродетели, которое так изумляет нас в обоих Катонах, и почти чрезмерная строгость их

нравов покорно и охотно подчинялись законам человеческого естества, законам Венеры и Вакха, согласно правилам философского учения, требовавшего, чтобы подлинный мудрец был так же опытен и искусен в пользовании естественными радостями жизни, как в любом другом жизненном деле. Cui cor sapiat, ei sapiat et palatus[129] [broken link: #nc13_129].

Готовность развлечься и позабавиться весьма подобает, на мой взгляд, душам сильным и благородным и даже делает им честь. Эпаминонд не считал, что участвовать в пляске юношей его родного города, петь, играть на музыкальных инструментах и предаваться всему этому с увлечением — значит заниматься вещами, недостойными одержанных им побед и его высоких нравственных качеств[130] [broken link: #nc13_130]. Среди стольких поразительных деяний Сципиона Старшего, человека, по мнению современников, достойного происходить от небожителей[131] [broken link: #nc13_131], особенную прелесть облику его придает склонность к забавам и развлечениям: приятно представить себе, как он с ребяческой радостью собирает ракушки и играет в рожки с Лелнем на морском берегу[132] [broken link: #nc13_132], как в дурную погоду он

пишет комедии, где с веселым лукавством изображаются самые распространенные и низменные свойства человеческой натуры; как, занятый мыслями об африканских делах, о Ганнибале, он посещает школы Сицилии и просиживает на уроках философии так долго, что на этом оттачивает себе зубы слепая зависть его врагов в Риме[133] [broken link: #nc13_133]. А в Сократе примечательнее всего то, что уже в старости он находит время обучаться танцам и игре на музыкальных инструментах и считает, что время это отнюдь не потеряно даром[134] [broken link: #nc13_134].

Именно Сократ на глазах у всего греческого войска простоял в экстазе целый день и целую ночь, целиком охваченный и взволнованный какой-то глубокой мыслью[135] [broken link: #nc13_135]. Первый среди стольких доблестных воинов, устремился он на помощь окруженному врагами Алкивиаду, прикрыл его своим телом и силой своего оружия оттеснил врагов[136] [broken link: #nc13_136]. Первым среди всего афинского народа, возмущенного, как и он, недостойным зрелищем, попытался он спасти Ферамена, которого вели на казнь по приказу тридцати тиранов[137] [broken link: #nc13_137]. И хотя ему помогали только два человека, он отказался от своей попытки лишь

после того, как его попросил об этом сам Ферамен. Некая красавица, в которую он был влюблен, стремилась в его объятия, но обстоятельства сложились так, что ему надо было отказаться от счастья, и у него хватило на это сил. Все видели, как в битве при Делии он поднял и спас Ксенофонта, сброшенного с коня[138] [broken link: #nc13_138], как на войне он постоянно ходил босой по льду, одевался зимой так же, как летом, превосходил всех своих товарищей терпением в труде и на пирах ел ту же пищу, что в обычное время[139] [broken link: #nc13_139]. Всем известно, что двадцать семь лет он с невозмутимым выражением лица переносил голод, бедность, непослушание своих детей, злобный нрав жены и под конец клевету, угнетение, темницу, оковы и яд. Но если этого же человека призывали к учтивому состязанию с чашей в руках — кто кого перепьет, — ему первому во всем войске выпадала победа. Он не отказывался ни играть в орешки с детьми, ни забавляться вместе с ними деревянной лошадкой и делал это очень охотно. Ибо, учит нас философия, всякая деятельность подобает мудрецу и делает ему честь. Образ этого человека мы должны неустанно приводить как пример всех совершенств и добродетелей. Мало

существует столь целокупных примеров ничем не запятнанной жизни, и ничуть не поучительны для нас постоянно предлагаемые нам другие примеры, нелепые, неудачные, ценные, может быть, какой-нибудь отдельной чертой, которые скорей лишь сбивают нас с толку и больше портят дело, чем помогают ему.

Народ ошибается: гораздо легче ехать по обочинам дороги, где края указывают возможную границу и как бы направляют едущего, чем по широкой и открытой середине, безразлично — природой ли она создана или настлана людьми. Но, конечно, в езде по обочинам меньше и благородства и заслуги. Величие души не столько в том, чтобы без оглядки устремляться вперед и все выше в гору, сколько в том, чтобы уметь посчитаться с обстоятельствами и обойти препятствия. Она считает подлинно великим именно достаточное и возвышенность свою проявляет в том, что средний путь предпочитает лазанью по вершинам. Нет ничего более прекрасного и достойного одобрения, чем должным образом хорошо выполнить свое человеческое назначение. Нет науки, которой было бы труднее овладеть, чем умением хорошо и согласно всем естественным законам прожить эту жизнь. А самая зверская из наших

болезней — это презрение к своему естеству. Кто хочет дать душе своей независимость, пусть, если сможет, смело сделает это, когда телу придется худо, чтобы избавить ее от заразы. Но в других случаях, напротив, пусть душа помогает телу, содействует ему и не отказывается участвовать в его естественных утехах, а наслаждается вместе с ним, привнося в них, если обладает мудростью, умеренность, дабы они по опрометчивости человеческого естества не превратились в неудовольствие. Невоздержанность — чума для наслаждения, а воздержанность отнюдь не бич его, а наоборот — украшение. Евдокс, почитавший наслаждение высшим жизненным благом, и его единомышленники, так высоко ценившие это благо, вкушали его особенно сладостно благодаря своей сдержанности, которая у них была исключительной и примерной[140] [broken link: #nc13_140]. Я предписываю душе своей созерцать и страдание и наслаждение взором равно спокойным (eodem enim vitio est effusio animi in laetitia quo in dolore contractio[141] [broken link: #nc13_141]) и мужественным, но в одном случае радостным, а в другом суровом, и, насколько это в ее силах, приглушать одно и давать распускаться другому. Здраво смотреть на хорошее помогает

и здраво рассматривать дурное. И в страдании, в его кротком начале, есть нечто, чего не следует избегать, и в наслаждении, в его крайнем пределе, есть нечто, чего избежать можно. Платон связывает их друг с другом, полагая, что сила духа должна противостоять как страданию, так и чрезмерной, чарующей прелести наслаждения[142] [broken link: #nc13_142]. Это два источника, благо тому, кто черпает из них где, когда и сколько ему надо, будь то город, человек или зверь[143] [broken link: #nc13_143]. Из первого надо пить для врачевания, по мере необходимости и не часто, из второго следует утолять жажду, однако так, чтобы не охмелеть. Страдание, наслаждение, любовь, ненависть — вот первые ощущения, доступные ребенку. Если со вступлением разума в свои права эти чувства подчиняются ему, возникает то, что мы именуем добродетелью.

Есть у меня свой собственный словарь: время я провожу, когда оно неблагоприятно и тягостно. Когда же время благоприятствует, я не хочу, чтобы оно просто проходило, я хочу овладеть им, задержать его. Надо избегать дурного и утверждаться в хорошем. Этими обычными словами «времяпрепровождение» и «время проходит» обозначается поведение благоразумных людей,

считающих, что от жизни можно ждать в лучшем случае, чтобы она текла, проходила мимо, что надо быть в стороне от нее и, насколько это возможно, не вникать ни во что, словом, бежать от жизни, как от чего-то докучного и презренного. Я знаю ее иной и считаю ценной и привлекательной даже на последнем отрезке, который сейчас прохожу. Природа даровала нам ее столь благосклонно обставленной, что нам приходится винить лишь самих себя, если она для нас жестока и если она бесполезно протекает у нас между пальцами. Stulti vita ingrata est, trepida est, tota in futurum fertur[144] [broken link: #nc13_144]. Тем не менее я готовлюсь потерять ее без сожаления, но потому, что она по сути своей является преходящей, а не потому, что она мучительна и докучна. Так что лишь тем подобает умирать без горечи, кто умеет наслаждаться жизнью, а это можно делать более или менее осмотрительно. Я наслаждаюсь ею вдвойне по сравнению с другими, ибо мера наслаждения зависит от большего или меньшего прилежания с нашей стороны. Особенно сейчас, когда мне остается так мало времени, я хотел бы сделать свою жизнь полнее и веселее. Быстроту ее бега хочу я сдержать быстротой своей хватки и тем жаднее пользоваться ею, чем

быстрее она течет. Мне уже недолго предстоит обладать жизнью, и это обладание я хочу сделать как можно более глубоким и полным.

Иные ощущают сладость удовольствия — сладость благополучия. Я ощущаю то же самое, но не потому, что она проносится и ускользает. Сладость эту надо познавать, смаковать, обдумывать, чтобы ощущение наше стало достойным того, что ее породило. Есть люди, которые и другими удовольствиями пользуются так же, как сном, — не осознавая их. Для того, чтобы даже наслаждение сном не ускользало от меня столь нелепым образом, я в свое время любил, чтобы его иногда прерывали, — и это давало мне возможность оценить его. Я обсуждаю сам с собою каждое удовольствие, я не скольжу по его поверхности, а проникаю до самой сердцевины и заставляю свой унылый и уже ко всему равнодушный разум познать его до конца. Нахожусь ли я в состоянии приятной умиротворенности? Тешит ли меня какая-нибудь плотская радость? Я не растрачиваю попусту своих ощущений, но вкладываю в них душу, не для того, чтобы погружаться в эти ощущения до конца, но чтобы радость моя была полнее, не для того, чтобы раствориться в них, а для того, чтобы найти себя. Я прибегаю к помощи

души, чтобы она полюбовалась собою в зеркале благоденствия, чтобы она смогла взвесить, оценить и обогатить миг блаженства. Пусть душа осознает, как должна она благодарить бога за то, что он умиротворил ее совесть и снедавшие ее страсти, за то, что она владеет телом, упорядоченно и благоразумно выполняющим все приятные и сладостные отправления, которыми богу по милости его угодно было вознаградить нас за страдания, бичующие нас по его же правосудию. Пусть она ощутит, какая благость для нее пребывать в месте, где над нею повсюду ясное небо: никакое желание, никакая боязнь или сомнение не туманят воздуха, нет никаких трудностей — минувших, настоящих и будущих, — которых не пересилило бы без малейшего ущерба ее воображение. Высказанные мной мысли приобретают особую убедительность от сравнения противоположных человеческих судеб. Так возникают передо мною бесчисленные лики тех, кого несчастье или же их собственные заблуждения унесли прочь, словно порыв бури, а также и тех, более близких, кто выпадающее им счастье принимает вяло и нерадиво. Это именно те люди, которые просто проводят время. Они пренебрегают настоящим, пренебрегают тем, чем владеют,

ради каких-то чаяний, ради смутных и тщетных образов, рисующихся в их воображении, —

> *Morte obita quales fama est volitare*
>
> *Aut quae sopitos deludunt somnia sensus[145] [broken link: #nc13_145] —*

и быстро ускользающих от преследования. Задача и цель стремления таких людей состоят в самом стремлении: так и Александр говорил, что цель трудов в том, чтобы трудиться[146] [broken link: #nc13_146],

> *Nil actum credens cum quid superesset agendum.[147] [broken link: #nc13_147]*

Что до меня, то я люблю ту жизнь и действую в той жизни, которую богу угодно было нам даровать. Я не склонен желать, чтобы ей пришлось жаловаться на нужду в куске хлеба, и столь же непростительной ошибкою было бы стремиться к тому, чтобы она обладала вдвое большим, чем ей нужно (Sapiens divitiarum naturalium quaesitor acerrimus)[148] [broken link: #nc13_148]; не хотел бы я также поддерживать свои силы лишь небольшими дозами зелья, с помощью которого Эпименид отбивал у себя охоту к еде и необходимость принимать пищу[149] [broken

link: #nc13_149], не хотел бы и того, чтобы зачатие потомства происходило без всякого чувства и смысла с помощью пальцев или пятки: пусть уж лучше, не говоря худого слова, это зачатие через пальцы и пятку тоже сопровождается сладострастным ощущением. Не хотел бы я также, чтобы плоть наша не ведала желаний и не испытывала раздражений. Требовать чего-либо подобного — неблагодарно и безбожно. Я от чистого сердца и с благодарностью принимаю то, что сделала для меня природа, радуясь ее дарам, и славлю их. Неблаговидно по отношению к столь щедрому даятелю отказываться от таких даров, уничтожать их или искажать. Всеблагой, он и все содеял благим. Omnia quae secundum naturam sunt, aestimatione digna sunt[150] [broken link: #nc13_150].

Охотнее всего склоняюсь я к тем философским воззрениям, которые наиболее основательны, то есть наиболее человечны и свойственны нашей природе: и речи у меня в соответствии с моим нравом скромны и смиренны. Философия, на мой взгляд, ведет себя очень ребячливо, когда из кожи вон лезет, проповедуя нам, что противоестественно сочетание небесного и земного, разума и безрассудства, суровости и снисходительности,

честности и бесчестья, что сладострастие есть ощущение грубое и недостойное того, чтобы его вкушал мудрец, единственное удовольствие, которое может получить философ, сочетавшись браком с красивой молодой женщиной, — это сознание того, что он совершил весьма полезное действие, как если бы он натянул на ноги ботфорты для поездки верхом по важному делу. Пусть же последователи такого философа, лишая невинности своих жен, делают это столь же хорошо, столь же мощно, столь же пылко, сколь добра, мощи и огня в его учении.

Не то говорит Сократ, его и наш наставник. Он ценит, как должно, плотское наслаждение, но предпочитает духовное, ибо в нем больше силы, постоянства, легкости, разнообразия, благородства[151] [broken link: #nc13_151]. И отнюдь не в том смысле, что оно — единственное (Сократ не такой чудак), а лишь в том, что ему отводится первое место.

По его мнению, воздержание не противостоит удовольствиям, а удерживает их в известных границах.

Природа — руководитель кроткий, но в такой же мере разумный и справедливый. Intrandum est in rerum naturam et penitus quid ea postulet

pervidendum[152] [broken link: #nc13_152]. Я всячески стараюсь идти по ее следу, который мы запутали всевозможными искусственно протоптанными тропинками. И вот высшее благо академиков и перипатетиков, состоящее в том, чтобы жить согласно природе, оказывается понятием, которое трудно определить и истолковать, равно как родственное ему высшее благо стоиков, состоявшее в том, чтобы уступать природе. Не ошибочно ли считать некоторые действия менее достойными лишь потому, что они необходимы? У меня из головы не вышибить мысль, что весьма подходящим делом является брак между наслаждением и необходимостью, с помощью которой, как говорит один писатель древности, боги все доводят до вожделенного конца. Для чего же нам разрушать и расчленять строение, возникшее благодаря столь тесному, братскому соответствию частей? Напротив, его следует общими усилиями укреплять. Qui velut summum bonum laudat animae naturam, et tanquam malum naturam carnis accusat, profecto et animam carnaliter appetit et carnem carnaliter, fugit, quoniam id vanitate sentit humana non veritate divina[153] [broken link: #nc13_153]. В этом божьем даре нет ничего, что не было бы достойно наших забот. Мы должны

отчитаться в нем до последнего волоска. И не по своей воле человек возложил на себя обязанности вести человека по жизненному пути, согласно его природе: сам создатель со всей строгостью предписал ее нам как непосредственно важную, вполне ясную и существенную. А так как разуму обыкновенного человека необходимо опереться на какое-либо авторитетное мнение, особенно действенное, если оно высказано на непонятном языке, приведем таковое: stultitiae proprium quis non dixerit, ignave et contumaciter facere quae facienda sunt, et alio corpus impellere alio animum, distrahique inter diversissimos motus[154] [broken link: #nc13_154].

Так вот, попробуйте расспросить такого-то человека, ради каких мыслей и фантазий, гнездящихся у него в голове, он не желает думать о хорошей трапезе и сожалеет о времени, потраченном на еду: вы обнаружите, что за столом у вас нет ни одного яства безвкуснее содержимого его души (в большинстве случаев нам лучше крепко заснуть, чем бдеть, размышляя о том, о чем мы размышляем), вы убедитесь, что все его речи и замыслы не стоят вашей говядины в соусе. Будь это даже возвышенные построения Архимеда — что из того? Здесь мы отнюдь не затрагиваем

и не смешиваем с ребячливой толпой обыкновенных людей и с развлекающими нас суетными желаниями и треволнениями высокочтимые души, поднятые жаром своего благочестия и веры в области неизменного глубокомысленного созерцания божественных вещей. Эти души, полные живого и пламенного чаяния вкушать небесные яства, души, устремленные к главной конечной цели всех желаний подлинного христианина, к единственному непресыщенному, чистейшему наслаждению, не уделяя внимания мирским нуждам, суетным и преходящим, равнодушно предоставляют телу заботу о потреблении земной материальной пищи. Это духовные занятия избранных. Говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, нравы — ниже уровня земли.

Эзоп, этот великий человек, увидел как-то, что господин его мочится на ходу: «Неужели, — заметил он, — нам теперь придется испражняться на бегу?»[155] [broken link: #nc13_155]. Как бы мы ни старались сберечь время, какая-то часть его всегда растрачивается зря. Духу нашему не хватает часов для его занятий, и он не может расставаться с телом на тот незначительный период времени, который нужен для удовлетворения его потребно-

стей. Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы. Какое безумие: вместо того, чтобы обратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того, чтобы возвыситься, они принижают себя. Все эти потусторонние устремления внушают мне такой же страх, как недостижимые горные вершины. В жизни Сократа мне более всего чужды его экстазы и божественные озарения. В Платоне наиболее человечным было то, за что его прозвали божественным. Из наших наук самыми земными и низменными кажутся мне те, что особенно высоко метят. А в жизни Александра я нахожу самыми жалкими и свойственными его смертной природе чертами как раз укоренившиеся в нем вздорные притязания на бессмертие. Филота забавно уязвил его в своем поздравительном письме по поводу того, что оракул Юпитера-Аммона объявил Александра богоравным: «За тебя я весьма радуюсь, но мне жалко людей, которые должны будут жить под властью человека, превосходящего меру человека и не желающего ею довольствоваться»[156] [broken link: #nc13_156]. Diis te minorem quod geris imperas[157] [broken link: #nc13_157]. Мне очень нравится приветственная надпись, которой афи-

няне почтили прибытие в их город Помпея:

*Себя считаешь человеком ты, —*
*И в этом — божества черты[158] [broken link: #nc13_158].*

Действительно, уменье достойно проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду.

Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке, в духе разума, но без всяких чудес и необычайностей. Старость же нуждается в более мягком обращении. Да будет к ней милостив бог здоровья и мудрости, да поможет он ей проходить жизнерадостно и в постоянном общении с людьми:

*Frui paratis et valido mihi,*
*Latoe, dones, et, precor, integra*

*Cum mente, nec turpem senectam*
*Degere, nec cythara carentem.[159] [broken link: #nc13_159]*

